ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ГЕРЦЕН И ОГАРЕВ

I

В ОСНОВУ НАСТОЯЩЕГО ТОМА «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА» ПОЛОЖЕНЫ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ХРАНЯЩИЕСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР

Материалы подготовлены к печати при участии сотрудников Архива

ГОД ИЗДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО – ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ГЕРЦЕН И ОГАРЕВ

I

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 5 · 3

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ТОМ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ

РЕДАКЦИЯ
А.М.ЕГОЛИН (ГЛАВ.РЕД.), Н.Ф. БЕЛЬЧИКОВ,
И.С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН и С.А.МАКАШИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 5 · 3

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ОТ РЕДАКЦИИ

В очередных трех томах «Литературного наследства» публикуются новые архивные материалы, относящиеся к жизни и деятельности Александра Ивановича Герцена и Николая Платоновича Огарева. Настоящим изданием редакция продолжает свою давно начатую работу по собиранию документального наследия этих выдающихся деятелей революционной России (см. «Лит. наследство», тт. 7-8, 39-40 и 41-42).

В настоящем томе, так же как и в двух последующих, публикуются материалы, главным образом, из так называемой *«пражской коллекции»* Герцена и Огарева, хранящейся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства СССР (Москва) в составе фондов «Русского заграничного исторического архива». Эта драгоценная для русского народа коллекция была принесена в дар Академии Наук СССР правительством Чехословацкой республики в 1945 г., после того как Советская Армия разгромила фашистскую Германию и освободила Прагу.

В основе своей «пражская коллекция» состоит из отдельных, поступивших в нее в разное время частей архива Герцена. Архив этот претерпел множество злоключений.

После смерти Герцена его документальное наследие хранилось у сына его, Александра Александровича Герцена (1839—1906) — профессора физиологии сначала (с 1877 г.) во Флоренции, а затем (с 1881 г.) в Лозанне. Вместе с герценовским архивом хранились и огаревские бумаги. В 1877 г., после смерти Огарева, архив пополнился новыми материалами. Их привезла из Гринвича старшая дочь Герцена, Наталья Александровна, ездившая на похороны Огарева. Пополнилось собрание и новыми герценовскими документами. А. А. Герцен сосредоточил в архиве бóльшую часть семейной переписки своего отца и некоторое количество писем Герцена, хранившихся у наследников тех, кому они были адресованы. Кроме того, в архив поступила обширная серия герценовских писем к М. К. Рейхель.

В целом, однако, история архива более чем за шестидесятилетнее пребывание его у старших детей Герцена оказалась историей постепенного распада. Из документального наследия Герцена было произведено несколько изъятий.

По просьбе наследников Прудона им были возвращены его письма к Герцену. Аналогичная судьба постигла письма Саффи и Луи Блана. Неведомо куда девался хранившийся в семейном архиве альбом адресованных Герцену писем «известных современников». В этот альбом, сделанный самим Герценом, были вклеены подлинники писем Кошута, Клапки, Фрейлиграта, Джемса Фази, Карла Шурца, Торэ, Карлейля и др. Уже в двадцатые или тридцатые годы нашего века перешла в чьи-то руки часть драгоценных рукописей «Былого и дум». Не перечисляя других изъятий, произведенных из архива Герцена, укажем на два наиболее крупных.

А. А. Герцен считал, что литературное наследие его отца, так же как и Огарева, является национальным достоянием русского народа и не должно остаться на чужбине. Выполняя свой патриотический долг, А. А. Герцен с девяностых годов прошлого века и до середины девятисотых годов передавал документы герценовского архива в Румянцевский музей в Москве. Однако передать собрание полностью было невозможно. В архиве хранились не только литературные и биографические материалы — в нем было немало документов, относящихся к революционному движению в России, к русской политической эмиграции. Открыть доступ ко всем этим документам царским властям было бы более чем неосторожно.

В 1881 г., сразу же после переезда А. А. Герцена в Лозанну, к нему обратился живший в ту пору в Женеве М. П. Драгоманов с предложением начать широкую публикацию материалов из архива Герцена. Согласие было получено, и вскоре А. А. Герцен передал Драгоманову значительную часть архива. «Мы решились,— сообщал Драгоманов,—напечатать по мере возможности и средств большую коллекцию писем разных лиц к А. И. Герцену и Н. П. Огареву с начала их эмиграции и до смерти их». Осуществляя этот замысел, Драгоманов опубликовал в 1881—1883 гг. в женевском «Вольном слове», редактировавшемся им с № 37, некоторые письма И. Аксакова, Громеки, Мельгунова, Чичерина и др. и подготовил к печати две крупные эпистолярные серии: письма Кавелина и Тургенева к Герцену и письма Бакунина к Герцену и Огареву. Обе книги были напечатаны в Женеве — в 1892 и 1896 гг. Последняя книга вышла в свет уже после смерти Драгоманова. Он умер в 1895 г. в Болгарии, где

с 1889 г. занимал кафедру всеобщей истории в Софийском университете. Подлинники некоторых писем, опубликованных Драгомановым, вернулись к сыну Герцена и были переданы им в Румянцевский музей (письма И. С. Аксакова, К. Д. Кавелина, А. И. Кошелева, Ю. Ф. Самарина и Б. Н. Чичерина). Другая и бóльшая часть архива Герцена, перевезенная из Лозанны в Софию, к наследникам не вернулась; она осталась у дочери Драгоманова — Л. М. Драгомановой, вышедшей впоследствии замуж за И. Шишманова — болгарского буржуазного историка.

Дальнейшие сведения о судьбе материалов, оставшихся у Драгоманова, относятся уже к послеоктябрьской эпохе. В 1918 г. Шишманов, занявший по отношению к молодой советской республике резко враждебную позицию, ездил в Киев в качестве болгарского посланника при Скоропадском. Он захватил с собой зачем-то (вместе с украинскими материалами из архива Драгоманова) и некоторые бумаги герценовского архива. Имеются сведения, что обратно в Софию эти бумаги не возвратились. Они либо погибли, либо были забыты в Киеве. В 1932 г. Шишманов умер. В том же году его вдова, Л. М. Драгоманова-Шишманова, передала архив своего отца в один из институтов» в Варшаве, а находившееся в архиве собрание бумаг Герцена и Огарева продала в «Русский заграничный исторический архив» в Праге. При этом разбивка материалов была произведена недостаточно тщательно и какие-то рукописи Герцена и Огарева попали в Варшаву, где, вероятно, и погибли во время войны.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что в 1932 г. в Прагу попали не все материалы, полученные Драгомановым. Но в основном собрание сохранилось. И теперь, когда перевезенное в составе «пражской коллекции» в Москву, оно впервые стало доступным для изучения, выяснилось, что сын Герцена передал Драгоманову в восьмидесятых годах, помимо писем разных лиц к Герцену и Огареву, значительное количество других рукописных, а также печатных материалов. Среди этих материалов оказались рукописи самих Герцена и Огарева. Рукописей Герцена было сравнительно немного: автографы нескольких статей и заметок 1867—1868 гг. и черновики писем. Рукописей Огарева было больше. Среди них находились, в частности, три записные книжки, которые содержали в себе, кроме стихотворений, такие важные материалы, как публикуемые в настоящем томе конспиративные революционные документы и начало огаревской автобиографии.

Другая половина «пражской коллекции» образовалась из той части архива Герцена, которая оставалась в Лозанне и хранилась после смерти А. А. Герцена в 1906 г. у Натальи Александровны. О предполагаемом содержании этого собрания, обычно именуемого «Архивом семьи Герцена», и о его объеме ходило много преувеличенных слухов и легенд. Главным источником слухов явились, повидимому, вводящие исследователей в заблуждение ссылки на «Архив семьи Герцена» (АСГ) в издании Лемке. В письме к Н. А. Герцен от 31 декабря 1913 г. Лемке спрашивал ее: «Как бы Вы предпочли указывать место нахождения оригинала тех бумаг и писем, которых копии я от Вас или других членов семьи получил? Я не имею точного указания, у кого они: у Вас, Н〈иколая〉 А〈лександровича〉, M-me Терезы или О〈льги〉 А〈лександровны〉? да не думаю, чтобы это было хорошо для читателя. Гораздо солиднее, если говорить: „хранится в семье Герцена“, или „у детей Герцена“, или „в семейных бумагах Герцена“. Выберите и мне сообщите, я должен придерживаться единой формы». Подсказанная Лемке «единая форма» скрыла от науки местонахождение многих рукописей Герцена и вместе с тем внушила исследователям ложную уверенность, что *все* эти рукописи находятся в Лозанне, у Н. А. Герцен. В действительности подлинники многих текстов, опубликованных Лемке со ссылкой на АСГ, находились в руках других родственников Герцена и были рассеяны по многим городам Западной Европы.

Н. А. Герцен умерла в 1936 г. в Лозанне (в возрасте 92 лет). А весной 1937 г. в Тосканский дворец в Праге, где помещался «Русский заграничный исторический архив», были доставлены ящики, в которых находились бумаги и семейные реликвии, оставшиеся после старшей дочери Герцена. Все материалы поступили, как обозначено в инвентаре архива, от Ольги Моно (младшей дочери Герцена) и Шарля Риста (ее зятя).

Собрание, поступившее в Прагу, не было монолитным. Оно состояло из нескольких частей: 1. Остатков собственного архива Герцена (рукописи, биографические документы); 2. Собранной уже после смерти Герцена обширной коллекции его писем к детям (Александру, Наталье и Ольге) и писем к Мальвиде Мейзенбуг о воспитании детей; 3. Коллекции писем шестидесятых годов Герцена к Огареву; 4. Бумаг Н. А. Герцен; 5. Архива Н. А. Герцен-дочери; 6. Архива М. К. Рейхель; 7. Рукописей Бакунина, разных писем к Н. А. Тучковой-Огаревой и другим лицам из окружения Герцена и Огарева и 8. Коллекции портретов, фотографий и семейных реликвий.

Главная ценность собрания заключалась в рукописях Герцена; их оказалось свыше двухсот листов. Еще более богатой оказалась эпистолярная часть собрания; она включала сотни писем Герцена, в том числе большое количество неизданных.

Настоящие три тома «Литературного наследства» включают в себя, естественно, не все бумаги «пражской коллекции». Редакцией отобраны документы, представляющие в том или ином отношении существенный интерес для изучения идейного пути, творчества и биографии Герцена и Огарева. Остальные материалы этого обширного

собрания используются в обзорах, аннотациях, архивных и библиографических описаниях. Таким образом, все главные богатства «пражской коллекции» будут, так или иначе, обнародованы.

Документальные материалы, отобранные для печати в «пражской коллекции» и в других архивохранилищах, расположены редакцией следующим образом:

Первый том (№ 61) — произведения и письма Герцена и Огарева.

Второй том (№ 62) — письма разных лиц к Герцену и Огареву.

Третий том (№ 63) — бумаги редакции «Колокола»; биографические документы; материалы, относящиеся к Герцену и Огареву в фондах III Отделения и архива Министерства иностранных дел; сообщения, обзоры, описания.

Входящие в первый том рукописи Герцена относятся к 1830—1860 гг., т. е. охватывают *весь* период его литературной деятельности. Вместе с тем они представляют и *все* жанры, в которых писал Герцен: автобиография, беллетристика, публицистика.

Герценовский отдел открывается тремя автобиографическими сочинениями 1830-х годов. Позднейшее автобиографическое творчество Герцена представлено двумя отрывками из «Былого и дум» и французской рукописью—«Посвящение (Николаю Огареву)», также связанной со знаменитыми мемуарами. Авторизованная рукопись повести 1847—1851 гг. «Долг прежде всего», считавшаяся утраченной, дает возможность впервые воспроизвести по подлиннику полную редакцию одного из наиболее ярких произведений русской антикрепостнической литературы середины XIX века.

Острым документом борьбы Герцена против космополитических теорий западноевропейских, в частности французских буржуазных демократов, против нигилистического пренебрежения к национальной культуре,которое они проповедывали, является относящаяся к пятидесятым годам сатира-памфлет «Перейдем к панчеловечеству».

Не меньшей политической остротой и злободневностью отличается другая герценовская рукопись середины пятидесятых годов. В этой незаконченной статье без названия, которую мы печатаем под условным заглавием «О буржуазной Европе», автор «Писем из Avenue Marigny» с большой силой и сатирическим блеском критикует современный ему буржуазный мир — его политику, мораль, культуру.

Критике капиталистических общественных порядков, разоблачению лицемерия буржуазной лжедемократии посвящены вновь найденные главы известных произведений шестидесятых годов «Camicia rossa» и «Скуки ради».

Среди других рукописей шестидесятых годов печатаются набросок «Двоюродный братец», представляющий интерес для изучения взаимоотношений Герцена и Чернышевского, запись «О старости и смерти», раскрывающая, несмотря на свою краткость, новые стороны глубоких теоретических обобщений, сделанных в области естествознания автором «Писем об изучении природы», листовка «Нашим польским братьям» и др.

Особенно важна завершающая герценовский отдел публикация, посвященная знаменитым письмам «К старому товарищу». До сих пор мы не располагали проверенным, критически установленным текстом этого выдающегося памятника русской революционной мысли, гениально разъясненного Лениным. Подлинники писем считались утраченными. Теперь они обнаружены в «пражской коллекции» вместе с некоторыми другими материалами, относящимися к истории возникновения этого полемического цикла. Вновь найденные материалы позволили впервые документально установить текст последней авторской редакции писем «К старому товарищу», а также опубликовать неизвестные ранее варианты основного текста и отрывки из писем в их первоначальной редакции, в том числе начало статьи «Между старичками».

Существенные дополнения вносят публикации первого тома в эпистолярное наследие Герцена. Всего в томе печатается 130 новых герценовских писем. Среди них выделяются две крупные, первоклассные по своему значению серии: 65 писем к Рейхель и 52 письма к Огареву. Письма к Рейхель, относящиеся к 1850—1852 гг., к периоду семейной драмы, являются важным автокомментарием к пятой части «Былого и дум», подтверждая глубочайшую правдивость герценовского рассказа. Письма эти имеют и особую ценность: читая их, убеждаешься, что, несмотря на глубокое потрясение, порожденное семейной драмой, мысль Герцена-борца крепла и закалялась, что еще в 1852 г. он пришел к решению «начать агитацию об освобождении крестьян» и в тяжкую пору испытаний написал о себе: «Да, я останусь до конца жизни той же движущейся революционной натурой, semper in motu ‹всегда в движении›...» Письма к Огареву 1864—1870 гг., кроме двух писем, более ранних, в основном освещают историю последних лет «Колокола», отношения Герцена и Огарева к «молодой эмиграции» и поиски ими новых путей борьбы. Для изучения последнего периода деятельности Герцена публикуемые письма являются незаменимым источником.

Помимо того, в настоящем томе печатается группа писем Герцена к разным лицам. Большой интерес представляет письмо к Щепкину 1847 г., содержащее, в сущности, план «Писем из Avenue Marigny». Для характеристики общих политических позиций Герцена в период Крымской войны существенно важен его ответ (1855 г.) неизвестному польскому эмигранту. Герцен указывает здесь, что опираться в борьбе с царизмом на какое-либо сотрудничество с неприятелем он считает для русских революционеров недопустимым. Он убежден, что Россия и все славянские народы завоюют

себе свободу своими собственными руками. Письма к иностранным деятелям — Прудону, Карлейлю, Кэри и др., входящие в этот отдел,— новые яркие свидетельства международного значения и авторитета Герцена.

Во втором отделе первого тома публикуются разнообразные материалы из политического, публицистического и поэтического наследия Огарева. В значительной степени все эти публикации сосредоточены вокруг революционной деятельности друга и соратника Герцена. Выдающийся интерес для исследователей русского революционного движения конца пятидесятых — начала шестидесятых годов представляют пять программно-политических документов, принадлежащих перу Огарева. Новые материалы дают возможность ознакомиться с конспиративной деятельностью русских «революционеров 1861-го года» (Ленин), с созданной ими революционной организацией и с их планами открытого выступления. Большую ценность имеет «Моя исповедь» Огарева — документ первостепенной важности для изучения раннего этапа идейно-политического развития как Огарева, так и Герцена.

Богато и разнообразно представлены публицистика и поэзия Огарева. Особенно интересны новонайденные агитационно-политические произведения Огарева, связанные непосредственно с его практической революционной работой.

Что касается эпистолярного наследия Огарева, то в первом томе публикуется 95 его писем, в том числе две большие серии: письма к Герцену (41 письмо) и письма к Е. В. Салиас (28 писем). Особенно интересны письма Огарева к Е. В. Салиас, относящиеся к шестидесятым годам. Огарев противопоставляет здесь политически враждебной ему идеологии свои революционные взгляды. Он выражает непоколебимую веру в будущую революционную Россию и заявляет, что посреди реакционного поветрия в Европе его «спасает... убеждение в возможности развития основ русской жизни в сильный строй новой цивилизации». «Если у нас явится Пугачев,— пишет он,— то я пойду к нему в адъютанты, потому что я... ненавижу русское дворянство, которое пошло, подло и неразрывно связано с русским правительством». Интересны также письма Огарева к другим корреспондентам, особенно к Н. В. Альбертини, Д. С. Миллю и Дж. Маццини.

Помимо документальных материалов, статей и комментариев, в первом томе печатаются две библиографические работы: «Неучтенные публикации писем Герцена» и «Материалы для библиографии опубликованных писем Огарева».

Передача «пражской коллекции» Академии Наук СССР сильно продвинула вперед дело собирания и объединения документального наследия Герцена и Огарева. Однако собрано далеко не все; документы разбросаны по всему свету и не поддаются полному учету. Мы так и не знаем, например, какова судьба тех почти двухсот автографов Герцена (главным образом эпистолярных), которые в середине 1930-х гг. распродавались в западноевропейских антикварных фирмах. Неизвестно, сохранились ли письма Герцена к Луи Блану и Маццини, находившиеся еще накануне второй мировой войны в руках их наследников. Никогда, по существу, не предпринимались серьезные поиски архива «Колокола» (лондонский период), хотя Наталья Александровна и указывала в 1913 г., что архив этот должен был сохраниться «где-то в Англии». Не разысканы многие ранние рукописи Герцена, в том числе поступившая в семидесятые годы в распоряжение Т. П. Пассек тетрадь, содержавшая «университетскую часть» «Записок одного молодого человека». Не обследованы архивохранилища в Западной Европе и Америке, хотя известно, что, например, в Британском музее в Лондоне хранится в подлиннике более ста неизданных писем Герцена к Георгу Гервегу. Не выявлены полностью статьи Герцена в иностранной периодической печати, хотя установлены названия нескольких изданий, в которых его статьи печатались.

Таким образом, считать литературное наследие Герцена, а также Огарева в полной мере собранным или, хотя бы, учтенным — все еще нельзя. Нужно надеяться, что предпринятое Академией Наук СССР новое издание сочинений и писем Герцена позволит советским ученым добиться успехов и в области дальнейшего разыскания документов, связанных с жизнью, деятельностью и творчеством великого русского революционера-демократа. Публикуемые в «Литературном наследстве» материалы из «пражской коллекции» и других архивных собраний не только непосредственно пополняют известное до сих пор документальное наследие Герцена и Огарева, но и содержат много новых и важных указаний для дальнейших поисков.

В иллюстративном оформлении издания использованы материалы сохраненного Н. А. Герцен и вошедшего в «пражскую коллекцию» собрания дагерротипов, акварелей, рисунков, фотографий и книг.

В выявлении и подготовке к печати документов «пражской коллекции» принимала участие Ю. П. Дзагурова, ст. научный сотрудник ЦГАОР; ею же, в основном, выполнены предварительная систематизация и описание материалов. Кроме того, в подготовке к печати материалов «пражской коллекции» участвовали ст. научный сотрудник ЦГАОР А. В. Кузюкова и заведующая читальным залом Е. С. Фрязинова.

ГЕРЦЕН

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА. СТАТЬИ. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

РАННИЙ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ НАБРОСОК

Публикация А. Сергеева

Первые письма Герцена, известные нам, адресованы «корчевской кузине», Т. П. Пассек (Кучиной). Относятся они к 1827—1828 гг. В воспоминаниях Т. П. Пассек читаем: «В продолжение года, проведенного мною в Корчеве, мы с Сашей беспрерывно переписывались» («Из дальних лет», изд. 2, т. I. СПб., 1905, стр. 217). Переписка эта не дошла до нас. Пассек рассказывает, что в 1834 г., после ареста Герцена, она сожгла его письма: «Писем Сашиных ко мне сгорело более двухсот» (там же, т. II, стр. 31). Но, повидимому, некоторая часть этих писем была, все же, сохранена ею (если не в подлинниках, то в копиях), так как в воспоминаниях, писавшихся в семидесятых годах, Пассек привела из них довольно много отрывков.

Один из эпизодов, запечатленных в переписке Герцена с Пассек, тесно связан с публикуемой ниже рукописью.

В своих воспоминаниях Пассек рассказывает:

«Вскоре по возвращении из Васильевского Саша писал мне:

„Я читаю „Confession de J.-J. Rousseau" — эту исповедь страдальца, энергической души, выработавшейся через мастерские часовщиков, передние, пороки, до высшего нравственного состояния, до всепоглощающей любви к человечеству..."» (там же, т. I, стр. 223).

На этом текст письма, приводимого Пассек, обрывается. Далее она сообщает: «Я еще не читала Руссо, но слыхала, что в его „Исповеди" есть грязные страницы, и отвечала Саше: „Не слишком ли ты еще молод для того, чтобы нечистые картины, которых, я слышала, много в „Исповеди" Ж.-Ж. Руссо, прошли перед твоей душой, не забрызгавши грязью"». Эти строки попались на глаза отцу Герцена и вызвали, как мы знаем, его горячее одобрение. «Саше,— добавляет Т. П. Пассек,— письмо мое не понравилось. Он взбесился» (там же, стр. 223).

В публикуемой рукописи затрагивается та же тема, что и в раннем письме Герцена,— отношение к Руссо. Те строки из письма Герцена, которые приводит Пассек, мы находим и в рукописи; они совпадают почти дословно. Но по своему характеру и внешним признакам публикуемая рукопись отнюдь не письмо, а отрывок мемуарного характера, относящийся к более позднему времени. Может быть, настоящая рукопись тоже была знакома Пассек. Если вспомнить, какие восторженные дружеские отношения существовали между молодым Герценом и его «Темирой», естественно предположить, что Герцен мог переслать Пассек свою обработку адресованного ей когда-то письма.

Публикуемая рукопись, подтверждая факт, сообщаемый Пассек, в известной мере реабилитирует ее воспоминания в той части, где мемуаристка рассказывает о своей переписке с Герценом. Как известно, М. К. Лемке подвергал достоверность записок Пассек серьезному сомнению, хотя сам же печатал в своем издании приводимые ею отрывки из писем Герцена.

Изменяя первоначальный, не дошедший до нас текст, Герцен придал беглой эпистолярной или, быть может, дневниковой записи характер мемуаров, воспоминаний, внес указание на место и время («после „Исповеди" в 29 году в Васильевском...»), ввел упоминания о третьем лице («прочли мы с Темирой»), и т. п.

Точно датировать рукопись не представляется возможным, но начало работы над нею, естественно, должно определяться письмом Герцена к Пассек, написанным в 1828 г., а окончательный текст следует отнести, повидимому, к 1833—1834 гг.

В пользу предлагаемой даты говорят близость идей, выраженных в публикуемом отрывке и в работе Герцена 1832 г.—«О месте человека в природе», наличие в герценовском литературном наследии автобиографического отрывка, написанного в эти же годы: «(Посвящено сестре Ольге)» (I, 110), наконец, свидетельство Огарева о том, что Герцен предполагал летом 1833 г. заняться литературной обработкой своих воспоминаний («Русская мысль», 1888, № 7, стр. 6).

Публикуемая рукопись представляет существенный историко-литературный интерес. Перед нами первый набросок воспоминаний Герцена, документ, в котором молодой Герцен зафиксировал свои ранние социально-философские взгляды.

Идейное формирование молодого Герцена — это сложный процесс длительных и страстных исканий. Общественно-политические взгляды Герцена складывались на основе внимательного изучения русской жизни, под влиянием передовых идей русского общественного движения. Бедствия народа в условиях крепостнического строя с ранних лет развили в Герцене непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Огромную роль в идейно-политическом развитии Герцена сыграло восстание декабристов.

С другой стороны, Герцен рано познакомился с передовыми идеями Запада. С отроческих лет пользовался он богатой библиотекой отца. Проповедь Руссо, гневный протест Шиллера, разрушительный анализ энциклопедистов — все это помогало ему осмыслить русскую действительность.

Первый автобиографический набросок Герцена интересно сопоставить с автобиографической записью Огарева, сделанной им в 1856 г.: «... я не могу забыть первые впечатления, которые сильно затронули меня (il soit dit en parenthèses * и тебя) — это чтение Шиллера и Руссо и 14 декабря. Под этими тремя влияниями, очень родственными между собою, совершился наш переход из детства в отрочество» («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 358).

В публикуемой рукописи нет упоминания о декабристах, хотя создание ее и относится к периоду, наступившему после клятвы на Воробьевых горах, когда симпатии к декабристам уже пробудились в молодом Герцене. Быть может, упоминания о декабристах мы не находим потому, что сохранился только небольшой отрывок из рукописи, а быть может и потому, что юный Герцен сознательно воздерживался от каких бы то ни было письменных упоминаний, касающихся этой «крамольной» темы: письменные высказывания Герцена о декабристах относятся к значительно более позднему времени.

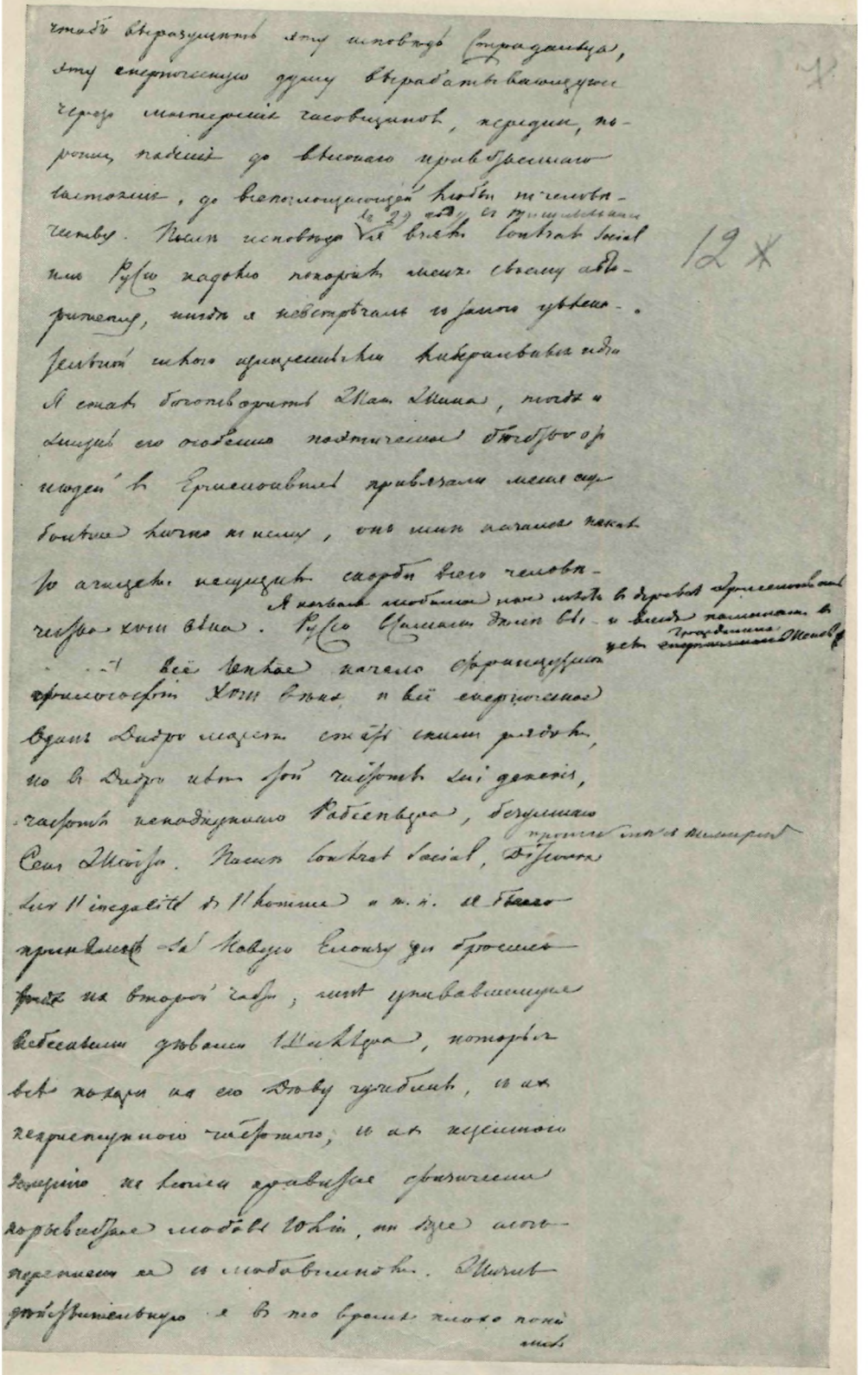
Проповедь Руссо привлекала юного Герцена идеей общественного переустройства, страстной жаждой общечеловеческого счастья. Руссо воплощает для него «теплое» и «энергическое» начало французской философии XVIII в.

Повидимому, в то время, когда Герцен работал над публикуемой рукописью, «шиллеровский» период его жизни уже заканчивался: в рукописи звучит несколько ироническое отношение к идеальным героям Шиллера; увлечение ими — уже пройденный этап.

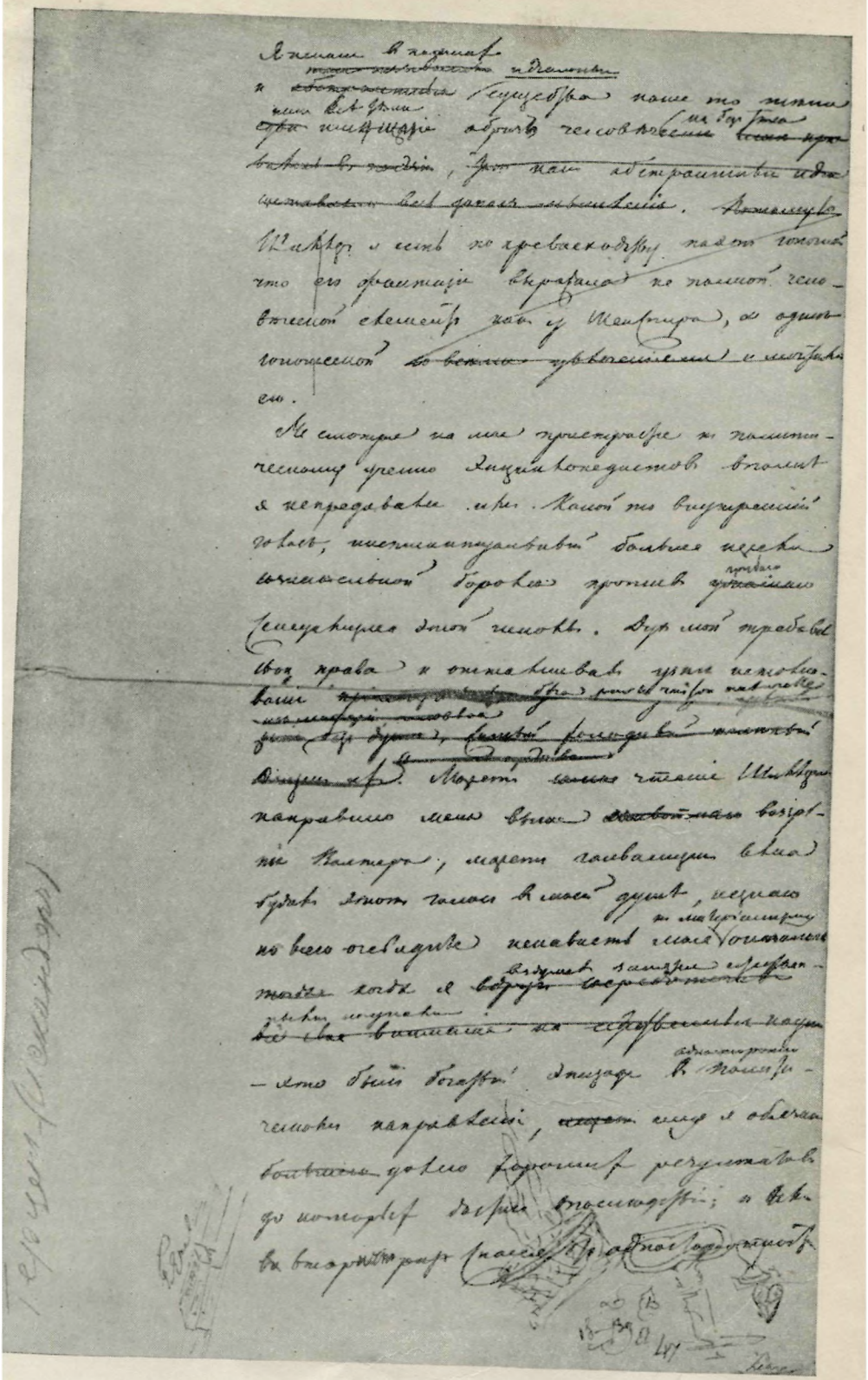
Третья тема, затрагиваемая Герценом в публикуемой рукописи,— это его отношение к Вольтеру. Герцен сознавал, что учение Вольтера носило, главным образом, отрицательный, негативный характер: Вольтер разрушал, но не создавал, не выдвигал положительной программы действий. Он был лишен действенного, революционного стремления переделать старый мир,— того стремления, которое так привлекало юного Герцена в «энергической» проповеди Руссо и Дидро, оказавшей большое влияние на идеологическую подготовку французской буржуазной революции 1789—1794 гг. Симптоматично, что в рукописи Герцена, рядом с Руссо, упоминаются не только Дидро, но также Робеспьер и Сен-Жюст. Идеи Руссо, как мы знаем, находили отклик и в среде декабристов. Но во что вырождалось вольтерианство в условиях

---

* замечу в скобках (франц.).



«...ЧТОБ ВЫРАЗУМЕТЬ ЭТУ ИСПОВЕДЬ СТРАДАЛЬЦА...»
Рукопись автобиографического наброска Герцена, 1833—1834 гг. (?)
Лист 1
Центральный литературный архив, Москва



«...ЧТОБ ВЫРАЗУМЕТЬ ЭТУ ИСПОВЕДЬ СТРАДАЛЬЦА...»
Рукопись автобиографического наброска Герцена, 1833—1834 гг. (?)
Лист 2
Центральный литературный архив, Москва

крепостнической России — Герцен мог наблюдать сам на примере многочисленных русских крепостников-«вольтерианцев».

В то же время Герцена уже не мог удовлетворить метафизический материализм энциклопедистов. В философии Герцена рано сказалась самостоятельность русской философской мысли. Напомним, что в первой же своей философской работе «О месте человека в природе» Герцен подвергает резкой критике немецкий идеализм Фихте и «грубый материализм» энциклопедистов (I, 78 и след.); он рано понял реакционную подоплеку идеалистической философии Шеллинга. Молодой Герцен идет по пути создания своей собственной материалистической философии. И в замечательных «Письмах об изучении природы», о которых В. И. Ленин сказал, что в них «Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом» (В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 10), зрелый Герцен подвергает уничтожающей критике метафизический материализм, хотя и подчеркивает то большое значение, какое имела для своего времени философия французских энциклопедистов.

Таким образом, публикуемая рукопись Герцена — это ценный комментарий к его общественно-философским взглядам начала тридцатых годов. Она показывает, что развитие Герцена, несмотря на юношески-восторженную романтическую фразеологию, шло по пути реалистического познания жизни, выработки революционного мировоззрения. В философских влияниях, воспринимаемых сквозь призму русской действительности, «лежал,— как писал Огарев,— зародыш реализма, который впоследствии развился в нас без пощады к какому бы то ни было идеальному миру» («Лит. наследство», т. 39-40, стр. 358). Как совершенно правильно указывает Я. Е. Эльсберг, «термин „реализм" Герцен, начиная с 30-х годов, не раз употреблял для определения своего философского мировоззрения. Критикуя ограниченность метафизического материализма, он не только в годы студенчества, но и много позднее не решался назвать свои воззрения материалистическими, хотя и вкладывал в понятие „реализм" именно материалистическое содержание» (Я. Эльсберг. А. И. Герцен. Жизнь и творчество. М., 1951, стр. 33—34).

Великий революционер-философ, Герцен еще двадцатилетним юношей смело искал путей к подлинно-революционному познанию мира. В его юношеских высказываниях содержатся многие верные оценки основных философских и общественных идей того времени.

‹...ЧТОБ ВЫРАЗУМЕТЬ ЭТУ ИСПОВЕДЬ СТРАДАЛЬЦА...›

...чтоб выразуметь эту исповедь страдальца, эту энергическую душу, вырабатывающуюся через мастерские часовщиков, передние, похоти, падения — до высокого нравственного состояния, до всепоглощающей любви к человечеству. После «Исповеди» в 29 году в Васильевском я взял «Contrat Social»; им Руссо надолго покорил меня своему авторитету; нигде я не встречал с такою увлекательной силою изложенными либеральные идеи. Я стал боготворить Жан-Жака, тогда и жизнь его, особенно поэтическое бегство от людей в Эрменонвиль, привязали меня еще больше лично к нему; он мне казался каким-то агнцем, несущим скорби всего человечества XVIII века. Я назвал любимое мое место в деревне Эрменонвиль и всегда поминал в нем * гражданина Женевы. Руссо в самом деле выражает все теплое начало французской философии XVIII века и все энергическое. Один Дидро может стать с ним рядом, но в Дидро нет этой чистоты sui generis **, чистоты неподкупного Робеспьера, безумного Сен-Жюста. После «Contrat Social» прочли мы с Темирой «Discours sur l'inégalité de l'homme» и т. п. Я было принялся за «Новую Элоизу», да бросил на второй части; мне, упивавшемуся небесными девами Шиллера, которые все похожи на его Деву чужбины, с их неприступною чистотою, с их неземною жизнию, не могла нравиться физически

* *Далее вачеркнуто:* энергического
** особого рода (лат.).

порывистая любовь Юлии, ни даже слог переписки ее с любовником. Жизнь действительную я в то время плохо понимал. Я искал в поэмах* *идеальные* существа, какие-то тени, как все тени, имеющие образ человечий, но без тела **.

Несмотря на мое пристрастие к политическому учению энциклопедистов, вполне я не предавался им. Какой-то внутренний голос, инстинктуальный больше, нежели сознательный, боролся против *** грубого сенсуализма этой школы. Дух мой требовал свои права и отталкивал узкие истолкования ****. Может, чтение Шиллера направило меня выше***** воззрения Вол⟨ь⟩тера, может, гал⟨ь⟩ванизм века будил этот голос в моей душе — не знаю, но всего очевиднее ненависть моя к материализму оказалась, когда я ****** вздумал заняться естественными науками — это был богатый эпизод в одностороннем политическом направлении, ему я обязан долею хороших результатов, до которых достиг впоследствии; и если вторично спасся от односторонности...

Автограф. ЦГЛА, ф. 129, ед. хр. 20. — Рукопись поступила в архив в 1949 г., среди других материалов так называемой «Бурцевской коллекции».

---

* *Далее вачеркнуто:* так называемые

** *Ранее читалось:* Жизнь действительную я в то время плохо понимал, и абстрактные существа, какие-то тени, едва имевшие образы человеческие, мне нравились в поэзии, так как абстрактные идеи составляли весь запас мышления. Потому-то Шиллер и есть по превосходству поэт юношей, что его фантазия выражала не полный человеческий элемент, как у Шекспира, а один юношеский со всеми увлечениями и мечтами его.

*** *Далее вачеркнуто:* ужасного

**** *Далее вачеркнуто:* происхождение бога pour la raison natuerlle, чувства из материи человека без души, самый холодный, нелепый деизм их был мне противен. *Эта часть вачеркнутого текста читается предположительно, так как правка, сделанная Герценом в этом месте, не совсем ясна.*

***** *Далее вачеркнуто:* животного

****** *Далее вачеркнуто:* вдруг сосредоточил все свое внимание на естественные науки

ЗАТЕРЯННАЯ СТАТЬЯ О КАЗАНИ

Публикация И. Яковлева

В письмах из вятской ссылки, говоря о своих литературных работах, Герцен дважды упоминает законченную им *статью о Казани*. Первое упоминание содержится в письме к Н. А. Полевому от 2 сентября 1836 г.: «К моей статье о Вятке я прибавил Казань и Пермь...»,— пишет Герцен (I, 321). Второе упоминание находим в письме к Н. И. Сазонову и Н. Х. Кетчеру, относящемся ко второй половине или к концу октября 1836 г. В ответ на вопрос московских друзей, что́ может он прислать для печати, Герцен сообщает перечень своих *готовых работ*. В этом перечне под номером вторым названы «Письма о Казани, Перми и Вятке», при этом названы со следующей существенной оговоркой: «могу прислать первое», т. е. *письмо о Казани* (I, 338).

Ни авторы первичных публикаций цитированных писем («Научное слово», 1900, IV, стр. 149 и «П. В. Анненков и его друзья», СПб., 1892, стр. 15—16), ни М. К. Лемке, ни последующие исследователи не снабдили приведенные письма какими бы то ни было примечаниями. Письмо о Казани оставалось до сих пор не только не разысканным, но и вовсе не учитывалось в герценовской био-библиографии.

Между тем, статья Герцена о Казани действительно была написана и опубликована под заглавием «*Письмо из провинции*» в разделе «Смесь» третьей книги «„Очерков России", издаваемых Вадимом Пассеком». Статья была подписана инициалами А. Г. Книга вышла из печати в Москве в начале 1840 г. (цензурное разрешение — 16 февраля).

Принадлежность «Письма из провинции» Герцену устанавливается, помимо совпадения инициалов, самим содержанием статьи: факты, изложенные в ней, совершенно совпадают с фактами герценовской биографии. В «Былом и думах» Герцен подробно рассказывает, как после девятимесячного заключения он был отправлен в пермскую ссылку, как переезжал Волгу «во всем блеске весеннего разлива» (XII, 243), как провел три дня в Казани и все три дня эти «бродил с жандармом по городу» (XII, 245). Найдем мы в «Былом и думах» также и то представление о Казани как о рубеже между Востоком и Западом, которое запечатлено и в «Письме из провинции»: «Татарки с покрытыми лицами, скуластые мужья их, правоверные мечети рядом с православными церквами,— все это напоминает Азию и Восток. Во Владимире, Нижнем подозревается близость к Москве, здесь — даль от нее» (XII, 245).

В «Былом и думах» раскрываются отдельные неясные намеки, которые встречаются в «Письме из провинции», например, досада автора на то, что «обстоятельства не дозволили основательно изучить» Казань. Как известно, «обстоятельства» эти — поднадзорное положение Герцена, проезжавшего через Казань по пути в ссылку (в Пермь), и запрещение со стороны казанского губернатора задерживаться в Казани долее, чем на три дня. Отметим попутно, что биограф Герцена найдет в «Письме из провинции» и новые факты — например, сведения о посещении Казанского университета и «музеума» — между тем как ни в жизнеописаниях Герцена, ни в «канве биографии», составленной М. К. Лемке (XXII, 199), об этом не упомянуто ни словом.

Принадлежность «Письма из провинции» Герцену подтверждается, сверх того, при сопоставлении их с двумя другими, хронологически близкими текстами. Приведем их.

«Письмо из провинции»:

«Маленький городок *Чебоксары* не похож на наши маленькие городки великороссийские. Я тут в первый раз заметил даль от Москвы: толпы черемис и чувашей ‹...› ясно сказали о въезде в другую полосу России...».

«Письмо из провинции»:

«Хорошо встарину писали путешествия, с большим порядком; напр‹имер›, Плано Карпини мало того, что в предисловии говорит, о чем речь в главах, но даже в самых главах систематически предрасполагает порядок изложения. За Плано Карпини не угоняешься...».

«Арест и высылка», 1835 (I, 184):

«В Чебоксарах я вымерил всю даль от Москвы. Тут толпы чувашей и татар напоминали близость Азии...».

«Еще из записок одного молодого человека». (Написано в конце тридцатых годов и напечатано в 1841 г.—II, 440):

«Плано Карпини, например, рассказывает свое путешествие, как по писанному, и, сказав в начале: „dicendo de cibis dicendum est de moribus"*, знает уже, что как опишешь десерт, так и следует о нравах. Я сколько ни думал, не придумал, в какой порядок привести *любопытные* отрывки из моего журнала...».

Эти отдельные совпадения и факты убеждают, что автором публикуемого «Письма» действительно является Герцен. Теперь необходимо ответить на вопросы: когда было написано это небольшое произведение, в связи с какими литературными замыслами Герцена оно возникло и, наконец, когда и каким путем попало в третью книгу «„Очерков России", издаваемых Вадимом Пассеком»?

Прежде всего несомненно, что перед нами отнюдь не частное письмо к друзьям, писанное Герценом с дороги, по пути в ссылку. Будь это так, наш текст, очевидно, датировался бы весной 1835 г.: Герцен останавливался в Казани 21—23 апреля. В действительности же перед нами литературное произведение автобиографического содержания, написанное в жанре «путевых писем» и являющееся частью более обширного замысла — целого цикла таких «путевых писем». В этом убеждает нас не только сохранившееся в переписке Герцена заглавие цикла — «Письма о Казани, Перми и Вятке», но и самый зачин публикуемого очерка со ссылкой на знаменитые «письма» итальянского путешественника XIII века Плано Карпини «Liber tartarorum» («Книга о татарах»)[1]— письма, содержащие рассказ о путешествии папского посла к хану Батыю через Волгу и Урал. Ссылка на книгу Плано Карпини использована Герценом двояко: с одной стороны, для того, чтобы со всей ясностью определить жанр написанного им очерка именно как *путевого письма*; с другой — для того, чтобы намекнуть читателю на свое подневольное положение: автору хотелось бы «сравняться с Плано Карпини», который, «насмотревшись досыта на татар, уехал на родину...» Последнее замечание уже само по себе указывает на то, что «Письмо из провинции», автобиографическая основа которого очевидна, было написано Герценом еще в период ссылки, т. е. между 1835—1837 гг., а не перед самым его опубликованием в 1839—1840 гг., когда Герцен уже возвратился. Но, как сказано выше, в переписке Герцена имеется и уточняющая дата: об окончании работы над статьей, или письмом о Казани Герцен впервые сообщил 2 сентября 1836 г. (I, 321).

Остается выяснить, когда и каким путем попало «Письмо из провинции» в «„Очерки России", издаваемые Вадимом Пассеком». Для этого необходимо вкратце напомнить историю взаимоотношений Герцена с издателем этих сборников.

Вадим Васильевич *Пассек* (1808—1842) был ближайшим университетским товарищем и другом Герцена и Огарева. В ту пору он разделял свободолюбивые стремления их кружка. «Вадим ‹...›,— писал Герцен в «Былом и думах»,— ненавидел от всей души самовластье и крепко прижал нас к своей груди, как только встретился» (XII, 128). Арест и ссылка Герцена и Огарева не только разлучили друзей, но и развели их в разные стороны. Во второй половине тридцатых годов взгляды Вадима Пассека претерпели существенное изменение. Он стал славянофилом, человеком религиозным, приверженцем и проводником идеологии официальной, или казенной, народности.

* сказав о пище, надо сказать о нравах (лат.).

ОЧЕРКИ

РОССІИ,

ИЗДАВАЕМЫЕ

Вадимомъ Пассекомъ.

КНИГА III.

МОСКВА.
въ типографіи Н. Степанова.
1840.

Чему ви се зелените
Въ зими ко по лѣти?
Рада бы се не плакала,
Не морила сердца,
Аль повѣйте добре людье,
Кто би се не плакалъ?
Кье е мой прелюби ойче?
Закопанъ е въ гроби!
Кье е мати, добра мати!
Трава по ній расте.
Нимамъ братра, нимамъ сестре,
Любича ми взели.

Тажа пѣсня на Старочешскомъ, или старомъ Богемскомъ языкѣ.

Ахъ вы лѣси, тмави лѣси,
Лѣси милетивости!
Чему вы се зеленате
Въ зимѣ, лѣтѣ ровно?
Рада бихъ изъ не плакала
Не мутила сердце:
А рѣкнѣте, добри людѣ,
Кто би не плакалъ злѣ?
Кдѣ мой отчикъ, отчикъ милы?
Загребенъ въ розечцѣ.
Кдѣ мое мати, добра мати!
Трава на ней расте.
Ни ма братра, ни ми сестры,
Юношу ми взеку.

XI. ПИСЬМО ИЗЪ ПРОВИНЦІИ. Вы хотите, *друзья, чтобъ я вамъ сообщалъ мои наблюденія,* замѣчанія о дальнемъ краѣ, куда меня забросила судьба: извольте. Но съ чего начать? Въ какомъ порядкѣ передавать вамъ мысли? Хорошо встарину

мисъ, Вотяковъ, Чувашей и Зырянъ, нагнали на меня тоску. Я вспомнилъ Императрицу Екатерину; она писала въ 1767 году къ Волтеру, изъ Казани: «Я «въ Азіи! Я собственными глазами хотѣла видѣть «этотъ край. Въ Казани двадцать различныхъ наро«довъ, нисколько не похожихъ другъ на друга; а «имъ надобно сшить одну одежду, удобную для всѣхъ. «Конечно есть общія начала; но частности и какія «частности: надобно создать цѣлый міръ, соединить «его, сохранить.» Великая Императрица постигла многое, окинувъ геніальнымъ взоромъ одинъ участокъ Россіи, которую Петръ Великій не напрасно называлъ цѣлою *частію свѣта.*

А. Г.

XII. ВОСПОМИНАНІЯ О СИБИРИ И КАЗАНИ. Письмо о Казани—пробудило въ душѣ моей, товарищъ дѣтства моего, воспоминанія первыхъ лѣтъ юности. Памятно мнѣ, когда мы приближались къ Казани. Былъ тихій, лѣтній вечеръ, солнце склонялось уже къ горизонту, дорога шла между молодымъ дубовымъ лѣсомъ. Съ какимъ чувствомъ мы ожидали, когда откроется предъ нами городъ, о которомъ столько разсказовъ въ нашей родной Сибири. Помню съ какимъ жаднымъ вниманіемъ мы всматривались въ полосу зданій, когда въ право открылся предъ нами городъ. Живы и желанія въѣхать въ него до ночи, и чувство скорби при воспо-

* Письмо къ издателю.

«„ОЧЕРКИ РОССИИ“, ИЗДАВАЕМЫЕ ВАДИМОМ ПАССЕКОМ», КНИГА III. ЗДЕСЬ БЫЛА НАПЕЧАТАНА СТАТЬЯ ГЕРЦЕНА «ПИСЬМО ИЗ ПРОВИНЦИИ», 1835—1837 гг.

Титульный лист книги и страницы с началом и концом статьи

Изданные им в 1838—1842 гг. пять сборников «Очерки России» и содержанием помещенных в них материалов и составом сотрудников свидетельствуют о принадлежности их издателя и редактора к консервативному лагерю. Возникает вопрос, каким образом могла оказаться в одном из этих сборников герценовская статья?

Наиболее вероятным является предположение, что рукопись «Письма из провинции» была переслана автором Вадиму Пассеку еще в 1836 г., когда Пассек только что начал собирать материалы для задуманного им журнала. Выражая в своих письмах периода ссылки негодование по поводу начавшегося отхода Пассека от демократических и революционных идей его юности (I, 223), Герцен, тем не менее, окончательно не разрывал с ним личных отношений. Отношения эти сохранялись и благодаря тому, что Пассек с 1832 г. был женат на Т. П. Кучиной — «корчевской кузине» Герцена, подруге его детства и юности. И когда Пассек и его жена, весьма деятельно участвовавшая в литературно-издательских предприятиях мужа, обратились в 1836 г. к Герцену с просьбой поддержать своим участием проектируемый ими журнал (впоследствии сборник), Герцен, хотя и неохотно и, повидимому, не сразу, но все же, в конце концов, удовлетворил их просьбу. О том же, что Пассеки осенью 1836 г. обращались к Герцену с такой просьбой, известно из двух его писем. В первом — к Н. А. Захарьиной от 14 октября 1836 г. читаем: «Сейчас я получил письмо от Тат⟨ьяны⟩ Петр⟨овны⟩. Это забавно,— год не писал ее муж, а теперь издает журнал, так требует моей помощи. Pas si bête! * я не принадлежу к тем молодым писакам, которым достаточно свистнуть, чтобы получить статью» (I, 337). Во втором письме — к Н. И. Сазонову и Н. Х. Кетчеру, датируемом октябрем—ноябрем 1836 г., Герцен сообщал: «От Вадима Пассека получил письмо с требованием статей для будущего журнала; отвечал ни то, ни се...» (I, 339). Напомним: в начале того же письма он извещает московских друзей, что у него готово «Письмо о Казани» и что он может прислать его для печати.

Несомненно, что повторными просьбами В. Пассек и «корчевская кузина» добились своего и получили от Герцена материалы, оказавшиеся у него под рукой, в том числе и недавно написанный первый очерк из цикла «Письма о Казани, Перми и Вятке». Косвенным подтверждением этого является тот факт, что рукопись одного из написанных в Вятке автобиографических очерков Герцена, по содержанию весьма близко примыкающего к «Письму из провинции», оказалась в бумагах Т. П. Пассек. Текст этого очерка был воспроизведен в ее воспоминаниях «Из дальних лет» (т. II, стр. 33—38) и оттуда перепечатан Лемке под заглавием «Арест и высылка» (I, 180—186).

Издание журнала, задуманное Вадимом Пассеком, как сказано, не осуществилось; вместо журнала с 1838 г. он начал издавать непериодические сборники «Очерки России». Почему рукопись Герцена, находившаяся, как мы думаем, в распоряжении Пассека с 1836 г., была напечатана не в первых двух, а лишь в третьей книге, неизвестно. Предположение, что рукопись была доставлена Герценом Пассеку не в 1836 г., а в конце 1839 г. или в самом начале 1840 г. (третья книжка вышла в феврале), кажется нам маловероятным.

Подводя в дневнике 1842 г., после смерти В. Пассека, итог своим отношениям с ним, Герцен писал: «В 1840 году мы встретились в Петербурге ⟨впервые после ареста и ссылки Герцена.— *И. Я.*⟩; расстояние между нами было непереходимое; но я тогда в нем оценил прекрасного семейного человека, и мы сблизились опять и так остались до его кончины» (III, 51). Это новое сближение, впрочем, лишь внешне-бытовое, произошло осенью 1840 г., а именно в октябре, т. е. спустя семь-восемь месяцев после выхода в свет третьей книги «Очерков России».

«Непереходимое расстояние», разделившее Герцена и Пассека, не помешало, однако, Пассеку напечатать в своем сборнике давно уже попавшую к нему герценовскую рукопись. Правда, статья Герцена была подписана в книжке не полным именем автора, а только его инициалами и напечатана была в сопровождении полемических замечаний Диомида Пассека — брата и единомышленника издателя «Очерков России». Замечания эти включены в статью «Воспоминания о Сибири и Казани (Письмо к издателю)», напечатанную за подписью «Д. П — ъ» непосредственно вслед за герценовским «Письмом из провинции» («Очерки России», кн. третья, стр. 21—26).

* Я не так глуп! (франц.).

Полемизируя с Герценом, автор «Воспоминаний» пишет: «Я не согласен с мнением, что Казань есть место встречи двух миров: азиатского с европейским. Казань, точно, соединяет в себе европеизм с азиатством, но это соединение только механическое. Азиатство не проникает в жизнь общества и не придает ему характера европейско-азиатского: русское первенствует и составляет основу и всю силу общества. Азиатство Казани состоит в том, что несколько улиц города населено татарами, что часть про

КАЗАНЬ. БАШНЯ СУМБЕКИ
Литография 1846 г. с рисунка А. Дюрана 1839 г.
Исторический музей, Москва

мышленности и торговли в руках татар. Казань, точно, есть центр азиатства, но азиатства, зашедшего на север и занявшего пространство от Волги до Уральских гор; в ней *собственное* азиатство, а не азиатство от влияния на нее, в настоящее время, Азии.

По моему мнению, Казань вовсе не место встречи и свидания двух миров: азиатский круг ее отделен от Азии населениями вовсе не азиатского характера или совершенно чуждыми азиатству Казани. За Уральскими горами, начиная с самого хребта до Байкальского моря, жители исполнены деятельности, предприимчивости, братства, гражданской семейности — одним словом, всех начал европейской жизни. Там та же Россия, новая, мощная, живая: родное дитя Руси. И таким огромным промежутком, истинно европейским, отделена Азия от европейско-азиатского пространства, где Казань служит центром» (там же, стр. 22—23).

ТАТАРСКАЯ ДЕРЕВНЯ БЛИЗ КАЗАНИ
Литография 1847 г. с рисунка А. Дюрана 1839 г.
Исторический музей, Москва

И дальше: «Никогда Казань не сделается главным караван-сараем, чрез который будут идти идеи из Европы в Азию. Для этого есть другие пункты, уже теперь находящиеся в прямой связи с Азией: Оренбург и Астрахань в Европейской России и Кяхта в Сибири, пока не изберут удобнейшего места на границах Китая» (там же, стр. 23—24).

Диомид Пассек не понял смысла статьи, с которой полемизировал. Герцен доказывал, что проводившаяся правительством в XVIII в. политика создания и укрепления единой государственности для многонациональной страны, политика приобщения народов Поволжья к русской культуре, достигшей уже высокой степени своего национального развития, была явлением прогрессивным. Диомид же Пассек сосредоточил спор вокруг вопроса о культурно-географических границах между «Европой» и «Азией».

ПИСЬМО ИЗ ПРОВИНЦИИ

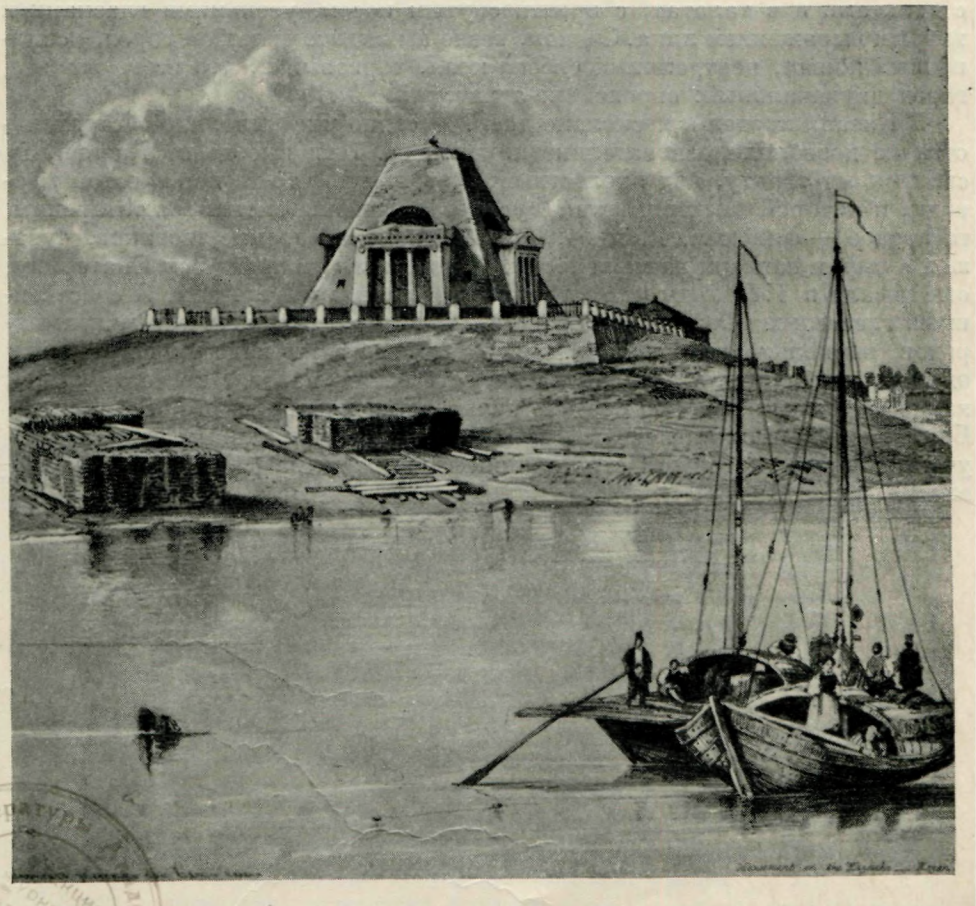
Вы хотите, друзья, чтоб я вам сообщал мои наблюдения, замечания о дальнем крае, куда меня забросила судьба: извольте. Но с чего начать? В каком порядке передавать вам мысли? Хорошо встарину писали путешествия, с большим порядком; напр⟨имер⟩, Плано Карпини мало того, что в предисловии говорит, о чем речь в главах, но даже в самых главах систематически предрасполагает порядок изложения. За Плано Карпини не угоняешься, его книга переведена с латинского, читается всеми образованными людьми, а кто будет переводить мои письма на латинский язык? В одном хотелось бы сравняться с Плано Карпини... он, насмотревшись досыта на татар, уехал на родину...

Je suis en Asie!
Catherine II à Voltaire, de Casan *.

Маленький городок *Чебоксары* не похож на наши маленькие городки великороссийские. Я тут в первый раз заметил даль от Москвы: толпы

* «Я в Азии!». Екатерина II Вольтеру, из Казани (франц.).

черемис и чувашей, их пестрый наряд, странное наречие и певучее произношение — ясно сказали о въезде в другую полосу России, запечатленную особым характером. До Казанской губернии мало заметно пространство, отделяющее от древней столицы, особенно в городах. Владимир, Нижний, слитые с нею в продолжение нескольких веков, живущие ее жизнию, похожи на дальние кварталы Москвы. У них одно средоточие, к нему всё примкнуто. Около Казани своя полоса. Казань, некоторым образом, главное место, средоточие губерний, прилегающих к ней с юга и востока: они получают чрез нее просвещение, обычаи и моды. Вообще значение Казани велико: это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрестке; здесь они от беспрерывного действия друг на друга сжались, сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру. Далее, на восток, слабеет начало европейское, далее на запад мертвеет восточное начало. Ежели России назначено, как провидел Великий Петр, перенести запад в Азию и ознакомить Европу с востоком, то нет сомнения, что Казань — главный караван-сарай на пути идей европейских в Азию и характера азиатского в Европу. Это выразумел Казанский университет. Ежели бы он ограничил свое призвание распространением одной европейской *науки*, значение его осталось бы второстепенным; он долго не мог бы догнать



ПАМЯТНИК ВОИНАМ, ПАВШИМ ПРИ ВЗЯТИИ КАЗАНИ
Литография с рисунка Эдуарда Турнелли, 1839 г.
Исторический музей, Москва

не только германские университеты, но наши, напр⟨имер⟩, Московский и Дерптский; а теперь он стоит рядом с ними, заняв самобытное место, принадлежащее ему по месту рождения. На его кафедрах преподаются в обширном объеме восточные литературы, и преподаются часто азиатцами; в его музеумах больше одежд, рукописей, древностей, монет *китайских, манчжурских, тибетских*, нежели *европейских*. Удивитесь ли вы после этого, встретив в рядах его студентов *бурят*? Но всё это наша Русь, святая Русь: я это *чувствовал*, приплыв по разливу Волги к стенам кремля. Казанский кремль, как Нижегородский, имеет родственное сходство с Московским кремлем: это меньшие братья его. Греческая вера и византийское зодчество привились глубоко к жизни Руси. Смотря на наши соборы и кремли, как будто слышится родной напев и родной говор.

Подъезжая к Казани на пароме, первое, что я увидел, был памятник царя Иоанна Васильевича. Здесь он на месте, здесь Грозный исполнил великое; здесь он был герой и предтеча Петра, силою оружий занявший место для простора идеям его, для простора русскому духу.

Положение города нехорошо. Казань по-татарски значит *котел*; в самом деле, он во впадине; беден чистой водою; в нем много сырых мест. Строения довольно чисты; главные улицы красивы; на них всё живо; везде толпятся, кричат, шумят; множество бурлаков с атлетической красотой форм; множество татар с продажными *ичигами* и *тибитейками* *, с халатами и в халатах, с приплюснутым носом, узенькими глазками и хитрым выражением лица. Словом, везде вы видите большой город, исполненный жизни, центральный своего края, торговый и, что всего важнее, город двуначальный: европейско-азиатский.

В Казани провел я несколько дней. Досадно мне было, что обстоятельства не дозволили основательно изучить ее. При выезде из Казани, по сибирскому тракту, вид прелестный: в этом виде что-то пошире той природы, к которой мы привыкли. Русское население сменялось татарским, татарское — финским. Жалкие, бедные племена черемис, вотяков, чувашей и зырян нагнали на меня тоску. Я вспомнил императрицу Екатерину; она писала в 1767 году к Вольтеру из Казани: «Я в Азии! Я собственными глазами хотела видеть этот край. В Казани двадцать различных народов, нисколько не похожих друг на друга; а им надобно сшить одну одежду, удобную для всех. Конечно, есть общие начала, но частности, и какие частности: надобно создать целый мир, соединить его, сохранить». Великая императрица постигла многое, окинув гениальным взором один участок России, которую Петр Великий не напрасно называл целою *частию света*.

А. Г.

---

* Сафьянные сапоги и шитые шапочки.— *Примеч. Герцена.*

В АЛЬБОМ В. А. ВИТБЕРГ

Публикация Л. Гинзбург

В январе 1838 г. Герцен писал Александру Лаврентьевичу Витбергу из Владимира: «Когда-то увидимся? ежели и никогда, не ужасайтесь: ‹...› где бы ни был пилигрим, он благословит дуб, под сенью которого отдыхал (в альбоме у Веры Александровны), он не забудет родительский дом в чужом доме» (II, 15—16).

Судьба альбома Веры Александровны Витберг, дочери архитектора, неизвестна. Но текст записи, на которую ссылается Герцен в цитированном письме, сохранился: он переписан рукою сына Витберга на отдельном листке (ЦГЛА, ф. 129, ед. хр. 21). Этот текст (сообщенный редакции «Лит. наследства» Б. П. Козьминым) гласит:

Усталый путник прислонился к разбитому дубу. Некогда этот дуб рос к небу; теперь мрачным памятником грозы и прежней славы стоит он, обожженный молнией,— одна юная ветвь, кротко склоняясь к земле, говорила о жизни, ‹при›зывала луч солнца на свои листы, и привольно было светлому лучу играть в ее чистой слезе.

И путник благословил их, продолжая свою дорогу.

А. Герцен

1837 ноября 12
Вятка

Аллегория Герцена совершенно прозрачна. *Разбитый дуб* — разумеется, Витберг; *усталый путник*, прислонившийся к дубу,— Герцен.

В 1816 г. молодой художник Витберг представил правительству проект храма, который должен был быть сооружен в память о событиях 1812 года. Александр I, прельщенный замыслом храма-памятника, утвердил проект Витберга и назначил его директором грандиозного строительства на Воробьевых горах. Однако за недолгим периодом необычайных успехов и славы последовала катастрофа. Против Витберга начались интриги. Сооружение храма было приостановлено в самом начале; Витберг, обвиненный в растрате казенных денег, был отдан под суд. В 1835 г., после почти десятилетних судебных мытарств, Витберг, осужденный, оклеветанный, разоренный конфискацией, был сослан в Вятку. Здесь он сблизился с Герценом. В своих вятских и владимирских письмах да и позднее, в «Былом и думах», Герцен постоянно подчеркивал значение той моральной поддержки, которую оказал ему Витберг в пору тягостных испытаний.

Заключительная фраза записи «И путник благословил их, продолжая свою дорогу» — вероятно, тоже имеет скрытый смысл. Запись датирована 12 ноября 1837 г. В эту пору Герцен с часу на час ожидал результата предпринятых ходатайств о разрешении на отъезд из Вятки. 14 ноября Бенкендорф подал Николаю I соответствующий «всеподданнейший доклад». 16 ноября последовала резолюция Николая о переводе Герцена во Владимир. До Герцена это известие дошло 28 ноября.

Наконец, *ветвь дуба*, говорящая о жизни,— это, очевидно, сама владелица альбома. В 1816 г. Витберг женился на Е. В. Артемьевой. Вера Александровна была старшей дочерью Витберга от этого брака. В Государственной Третьяковской галерее находится рисованный Витбергом в 1848 г. портрет Веры Александровны с сыном. В своих письмах Герцен неоднократно подчеркивает духовную близость

В. А. Витберг с отцом. 1 января 1838 г. Герцен писал В. А. Витберг: «Вам ⟨...⟩, Вера Александровна ⟨...⟩, искреннейшее желание, чтобы ваша чистая, светлая душа не тускла никогда. В вас отразилось много от Александра Лаврентьевича,— храните это наследие» (XXII, 8).

В Вятке, в ноябре 1835 г., Герцен поселился вместе с Витбергом. В марте 1836 г. к Витбергу приехала его семья. Жизнь в одном доме сблизила Герцена с Верой Александровной; в своих письмах он называет ее *сестрой* (XXII, 11, 15, 37). Подобные обращения были приняты между близкими людьми в кругу Герцена и Огарева в тридцатых годах. Братом и сестрой называют друг друга в письмах Наталья Александровна Герцен и Огарев; Герцен словом «сестра» приветствовал М. Л. Огареву.

В. А. ГОЛУБЕВА (ВИТБЕРГ) С СЫНОМ
Рисунок А. Л. Витберга, 1848 г.
Третьяковская галерея, Москва

В мае 1838 г., сразу после замужества, Н. А. Герцен делает такую приписку в письме Герцена к Витбергу, обращаясь к его дочери: «Вы, Вера Александровна, знали Александра, но не знали Наташу,— вот она, давайте же ей вашу руку; ее душе так же доступна ваша чистота и высота, как душе Александра. Он много говорил мне о вас. Вы меня очень утешите, ежели пошлете слово тем, которые, несмотря ни на огромное расстояние, ни на безмерное блаженство, к вам близки всей душой. Жму вашу руку, как руку дочери Великого,— прощайте!» (XXII, 13). Ответное поздравительное письмо Витберга, с приписками его жены и В. А. Витберг опубликовано Н. Машковцевым в 1941 г. («Лит. наследство», т. 41-42, стр. 483—485).

Дружеские отношения Герцена и Натальи Александровны с Верой Александровной поддерживались и в дальнейшем, о чем свидетельствует неопубликованное письмо В. А. Витберг (с припиской отца) из Вятки от 22 ноября 1838 г., в котором она сообщает о приготовленном ею подарке для Н. А. Герцен, благодарит за присланный Натальей Александровной драгоценный камень, и т. п. (ИРЛИ, ф. 265).

Приведенный здесь материал свидетельствует о том, что В. А. Витберг принадлежала к числу тех молодых друзей Герцена, которые — подобно Полине Тромпетер, А. Скворцову и др.— скрашивали тягостную обстановку вятской ссылки.

У ИСТОКОВ «БЫЛОГО И ДУМ»

Публикация Ю. Красовского

В письме Герцена к друзьям из Парижа от 19 июня 1851 г. читаем: «Я писал в одной неудавшейся и неоконченной статейке: „Я равно не желаю ни жить очень долго, ни умереть завтра. Пускай себе придет конец так же случайно и бессмысленно, как начало...“» («А. И. Герцен. Новые материалы. Подгот. Н. М. Мендельсоном». М., 1927, стр. 74). Эта «неоконченная статейка» до сих пор остается неизвестной. Но с ней как-то связана публикуемая нами французская рукопись Герцена «Посвящение (Николаю Огареву)». В рукописи имеется именно та цитата из статьи, которую привел Герцен в письме к друзьям.

Даже при беглом чтении этого текста легко установить его прямую связь с «Былым и думами».

В конце четвертой главы «Былого и дум» — «Ник и Воробьевы горы» содержатся известные строки, обращенные к Огареву: «Так-то, Огарев, рука в руку входили мы с тобою в жизнь! Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь, отвечали всякому призыву...» и т. д. Под этим обращением сноска: «Писано в 1853 году» (XII, 77). «Посвящение» начинается словами: «Мне было тринадцать лет, когда я встретил тебя. Ты был моложе на год. Вместе входили мы в жизнь. Шли мы безбоязненно, с высоко поднятой головой, с огнем в груди, не скупясь расходовали себя; мы отвечали всякому призыву...» и т. д. Перед нами первый вариант обращения к Огареву из четвертой главы «Былого и дум». Пять-шесть других строк из текста «Посвящения», начиная со слов: «...я больше ничего не жду для себя...» до слов: «Конец придет так же случайно... как начало»—вошли почти в не измененном виде в другой раздел «Былого и дум», а именно — в «Западные арабески», где тоже сделана сноска: «Писано в конце 1853 года» (XIII, 297—298).

Но есть, вместе с тем, между «Посвящением» и текстом «Былого и дум» существенная разница. «Посвящение» написано Герценом в момент тяжелого душевного кризиса (оно датировано 10 июня 1851 г., т. е. вторым днем приезда Герцена в Париж из Ниццы). Здесь преобладают мотивы усталости, равнодушия, душевного упадка. Это документ, непосредственно отражающий состояние Герцена в самый напряженный момент его отношений с Гервегом. В письме к Мальвиде Мейзенбуг от 27 августа 1853 г. Герцен вспоминал: «Года два тому назад я писал посвящение Огареву, и в этом посв<ящении> я ему говорил: „я больше ничего не жду для себя, ничто меня не удивит, ничто не порадует меня глубоко...“ Эти строчки были написаны с большою искренностью» (VII, 310). Обращение же к Огареву в «Былом и думах» написано в 1853 г., когда этот тяжелый период уже миновал, и Герцен снова обрел свою веру в будущее и дух оптимизма, снова почувствовал себя революционным деятелем и борцом. Отсюда — иная тональность обращения к Огареву.

Как известно, первые упоминания о «Былом и думах» в переписке Герцена относятся к осени 1852 г. (VII, 157—158). Работа над текстом мемуаров велась Герценом в 1852—1853 гг. Публикуемое «Посвящение», которое имеет уже вполне законченный характер, написано полутора годами ранее. Из текста «Посвящения» ясно, что оно было задумано как предисловие к сборнику произведений Герцена. К какому же?

В «Посвящении» мы читаем: «... мне невольно пришла на ум старческая мысль собрать в одну книгу все, что я написал». Эти слова не могут, конечно, относиться к брошюре Герцена «О развитии революционных идей в России», изданной в Париже

в 1851 г., так как ее никак нельзя назвать «рассеянными позабытыми листками», которые скрывали в себе то, что «так тесно соединяло» прошлое Герцена и Огарева. Очевидно, речь шла действительно о намерении Герцена собрать в одну книгу свои избранные сочинения, включив и те отрывки и записи мемуарного характера, которые он набрасывал, начиная с тридцатых годов. Но 1851 год был в жизни Герцена временем совершенно не подходящим для такого фундаментального предприятия, и оно не было осуществлено.

Таким образом, можно предполагать, что созданию «Былого и дум» предшествовал какой-то период, когда Герцен занялся или думал заняться собиранием *всего* написанного им, а значит и своих старых мемуарно-автобиографических записей. В 1852 г. Герцен отказался от этой мысли и предпринял «новый труд» — приступил к созданию «Былого и дум».

Хотя «Посвящение» и не появилось в печати, многие друзья Герцена были знакомы с этим документом. Знала его М. Мейзенбуг, знала М. К. Рейхель, которой Герцен писал 25 августа 1853 г.: «Вы помните, я в посвящении Огареву сказал: „я не хочу ни завтра умереть, ни долго жить; пусть конец придет так же бессмысленно и случайно, как начало"» (VII, 306).

В 1853 г. Герцен ввел текст «Посвящения» в переработанном виде в окончательную редакцию «Былого и дум».

Бесспорно, что работа над созданием «Былого и дум» как законченного художественно-мемуарного произведения относится к 1852—1853 гг., к лондонскому периоду жизни Герцена. Но первая попытка собрать и осмыслить всё, что было написано, а следовательно, и весь материал мемуарного цикла, должна отныне, на основании публикуемого «Посвящения», датироваться почти двумя годами ранее.

Идея эта возникла еще на континенте, и толчком к ней явились трагические события 1851 г.

Слова же Герцена: «...я не нахожу в себе ни сил, ни свежести, необходимых для того, чтобы предпринять новый труд...»— были быстро опровергнуты им самим на деле. Ближайшие годы явились одними из самых плодотворных лет его творческой и общественной жизни — годами, когда были созданы «Былое и думы» и организована вольная русская печать.

DÉDICACE

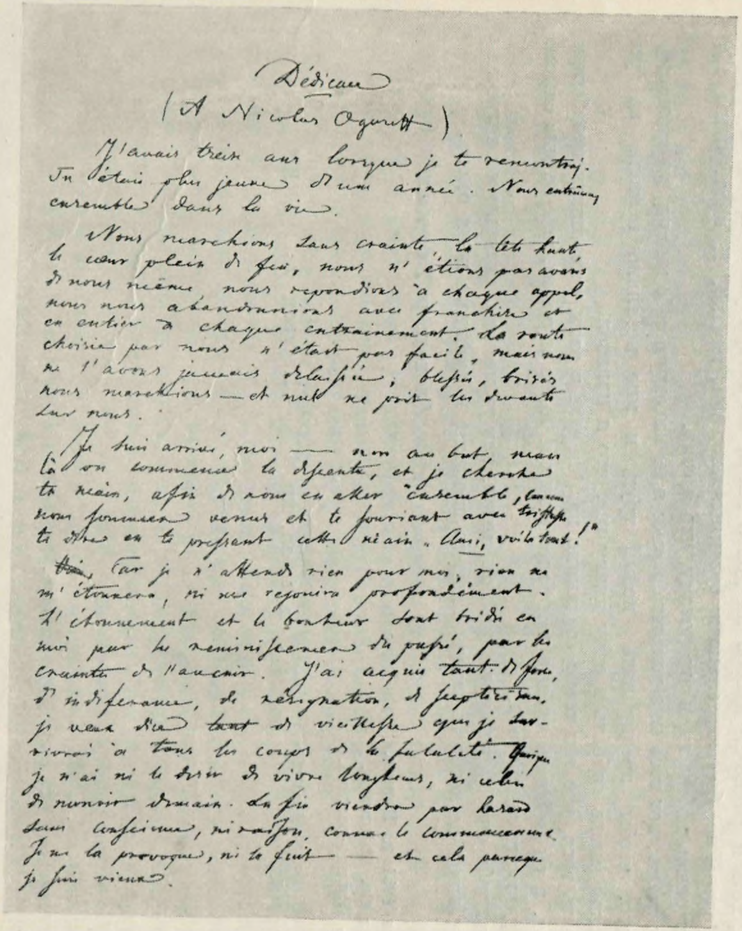
(*A NICOLAS OGAREFF*)

J'avais treize ans lorsque je te rencontrai. Tu étais plus jeune d'une année. Nous entrâmes ensemble dans la vie.

Nous marchions sans crainte, la tête haute, le coeur plein de feu, nous n'étions pas avares de nous mêmes, nous répondions à chaque appel, nous nous abandonnions avec franchise et en entier à chaque entraînement. La route choisie par nous n'était pas facile, mais nous ne l'avons jamais délaissée; blessés, brisés nous marchions — et nul ne prit les devants sur nous.

Je suis arrivé, moi — non au but, mais là où commence la descente, et je cherche ta main, afin de nous en aller ensemble, comme nous sommes venus, et te souriant avec tristesse, te dire en te pressant cette main: «Ami, voilà, tout!» car je n'attends rien pour moi, rien ne m'étonnera, ni me réjouira profondément. L'étonnement et le bonheur sont bridés en moi par les réminiscences du passé, par les craintes de l'avenir. J'ai acquis tant de force d'indifférence, de résignation, de scepticisme, je veux dire tant de vieillesse, que je survivrai à tous les coups de fatalité, quoique je n'aie ni le désir de vivre longtemps, ni celui de mourir demain. La fin viendra par hasard sans conscience, ni raison, comme le commencement. Je ne la provoque, ni la fuis — et cela parce que je suis vieux.

En veux tu encore la preuve: je ne trouve en moi ni l'énergie, ni la fraîcheur nécessaires pour entreprendre un nouveau travail et involontairement l'idée sénile de rassembler tout ce que j'ai écrit dans un seul livre s'est présentée à moi.



Dédicace

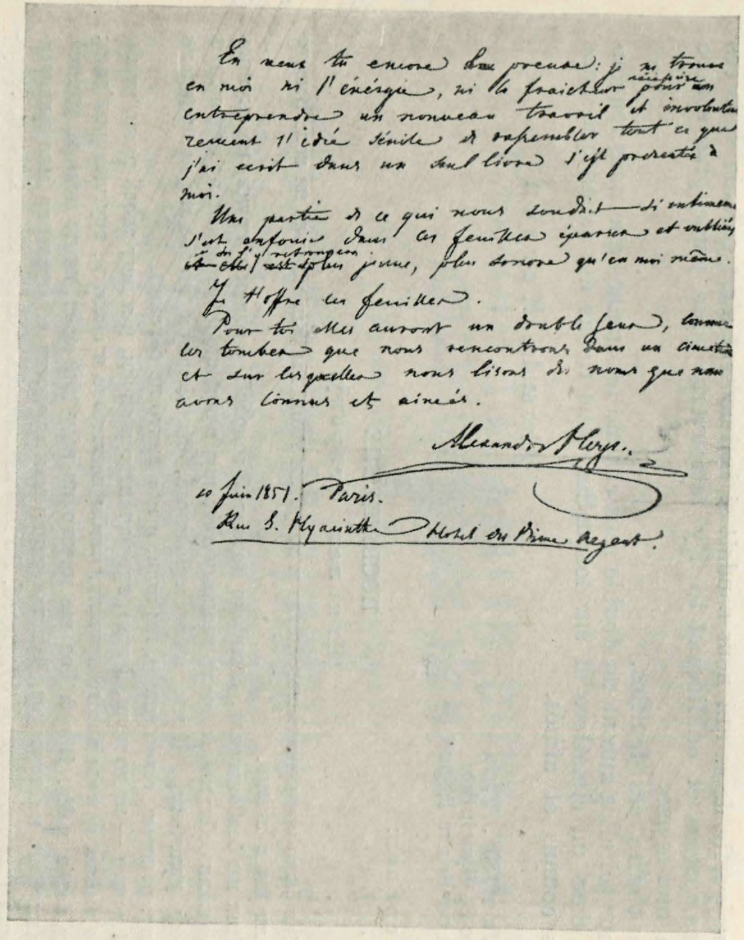
(A Nicolas Ogareff)

J'avais treize ans lorsque je te rencontrai. Tu étais plus jeune d'une année. Nous entrâmes ensemble dans la vie.

Nous marchions sans crainte, la tête haute, le cœur plein de feu, nous n'étions pas avares de nous même, nous répondions à chaque appel, nous nous abandonnions avec franchise et en entier à chaque entraînement. La route choisie par nous n'était pas facile, mais nous ne l'avons jamais délaissée; blessés, brisés nous marchions — et nul ne prit les devants sur nous.

Je suis arrivé, moi — non au but, mais là où commence la descente, et je cherche ta main, afin de nous en aller ensemble, comme nous sommes venus et te souriant avec tristesse te dire en te pressant cette main «Ami, voilà tout!»

Car je n'attends rien pour moi, rien ne m'étonnera, ni ne réjouira profondément. L'étonnement et le bonheur sont tiédis en moi par les réminiscences du passé, par les craintes de l'avenir. J'ai acquis tant de force, d'indifférence, de résignation, de scepticisme, je veux dire tant de vieillesse que je survivrai à tous les coups de la fatalité. Quoique je n'ai ni le désir de vivre longtemps, ni celui de mourir demain. La fin viendra par hasard sans conscience, ni raison, comme le commencement. Je ne la provoque, ni la fuis — et cela parce que je suis vieux.



En veux tu encore une preuve: je ne trouve en moi ni l'énergie, ni la fraîcheur nécessaire pour un entreprendre un nouveau travail et involontairement l'idée sénile de rassembler tout ce que j'ai écrit dans un seul livre s'est présentée à moi.

Une partie de ce qui nous sourit — d'intimement s'est enfouie dans ces feuilles éparses et oubliées; en elles il se retrouve plus jeune, plus sonore qu'en moi même.

Je t'offre ces feuilles.

Pour toi elles auront un double sens, comme les tombeaux que nous rencontrons dans un cimetière et sur lesquels nous lisons des noms que nous avons connus et aimés.

Alexandre Herzen.

10 juin 1851. Paris.

Rue S. Hyacinthe Hôtel du Prince Regent.

«ПОСВЯЩЕНИЕ (НИКОЛАЮ ОГАРЕВУ)»

Рукопись Герцена на французском языке, 1851 г.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Une partie de ce qui nous soudait si intimement s'est enfouie dans ces feuilles éparses et oubliées et tu l'y retrouveras plus jeune, plus sonore qu'en moi-même.

Je t'offre ces feuilles.

Pour toi elles auront un double sens comme les tombes que nous rencontrons dans un cimetière et sur lesquelles nous lisons des noms que nous avons connus et aimés.

Alexandre Herzen

10 Juin 1851. Paris
Rue S. Hyacinthe.
Hôtel du Prince Régent

Перевод:

ПОСВЯЩЕНИЕ

(Николаю Огареву)

Мне было тринадцать лет, когда я встретил тебя. Ты был моложе на год. Вместе входили мы в жизнь.

Шли мы безбоязненно, с высоко поднятой головой, с огнем в груди, не скупясь расходовали себя; мы отвечали всякому призыву, искренне и безраздельно отдавались всякому увлечению. Путь, нами избранный, был нелегок, но мы его не покидали ни разу; раненые, сломленные, мы шли, и нас никто не обгонял.

Я дошел — не до цели, а туда, где начинается спуск, и я ищу твоей руки, чтобы вместе выйти, как мы вместе пришли, чтобы пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: «Друг, вот и всё!». Ибо я больше ничего не жду для себя, ничто меня не удивит, ничто глубоко не порадует. Чувства удивления и радости обузданы во мне воспоминаниями былого, страхом будущего. Во мне накопилось столько безразличия, безропотности, скептицизма, другими словами, столько старости, что я переживу любой удар судьбы, хотя я равно не желаю ни долго жить, ни завтра умереть. Конец придет так же случайно, бессознательно и бессмысленно, как начало. Я не тороплю его и не стараюсь избежать, и это потому, что я стар.

И хочешь, вот тебе еще доказательство: я не нахожу в себе ни сил, ни свежести, для того, чтобы предпринять новый труд, и мне невольно пришла на ум старческая мысль собрать в одну книгу все, что я написал.

Часть того, что так тесно соединяло нас, скрыта в этих рассеянных, позабытых листках, и ты найдешь все это там более юным и более звучным, чем во мне самом.

Я дарю эти листы тебе.

Для тебя они будут иметь двойной смысл, как те могилы, которые мы встречаем на кладбище и на которых читаем когда-то знакомые и любимые нами имена.

Александр Герцен

10 июня 1851 г. Париж.
Улица Св. Гиацинта.
Отель Принца-регента.

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, он. 1, ед. хр. 144.— Перевод Е. Рунич.

РАННЯЯ РЕДАКЦИЯ ПОВЕСТИ «ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО»

Публикация Ю. Красовского

Опубликованная лишь в 1854 г., в лондонском издании «Прерванных рассказов», повесть Герцена «Долг прежде всего» осталась почти не известной русскому читателю. Она оказалась как бы заслоненной блестящей публицистической деятельностью Герцена пятидесятых-шестидесятых годов. С другой стороны, исследователи не интересовались повестью, так как автор не закончил ее. Считалось, что это чуть ли не черновой отрывок, в котором Герцен в значительной степени перецевает себя. Этому ложному представлению отчасти способствовало и предисловие Герцена к «Прерванным рассказам», в котором он говорит о «поблекших листах, захваченных на полдороге суровыми утренниками».

Однако во время работы над повестью Герцен придавал ей, повидимому, большое значение. Повесть была задумана автором как монументальное произведение, как самое крупное из всего написанного им до тех пор. Картина русской жизни при крепостном праве набросана широко и полно. История помещичьего рода Столыгиных не замкнута Герценом в узкие психологически-бытовые рамки; она воссоздана на фоне крепостнического строя в целом. Главы, посвященные Столыгиным, полны страстной ненависти к крепостническому рабству — ненависти, явственно пробивающейся сквозь иронический тон рассказа.

Другая тема повести, правда только намеченная и незавершенная,— это характеристика русского общества и его эволюции, начиная с Петра I и кончая Николаем I. Герцен дает сжатые, выразительные характеристики людей екатерининского, павловского и александровского времени, делает зарисовки отдельных исторических деятелей (Паскевича, Милорадовича и др.). Одна из самых ярких страниц повести посвящена польскому восстанию 1831 г. Есть тут и эпизод из французской революции 1789 г.

Наконец, третий тематический комплекс повести — история Анатоля Столыгина, которая должна была стать основной стержневой линией повести. Это — история умственного формирования русского «молодого человека» XIX века. Здесь, несомненно, немало автобиографического: кое-какие подробности напоминают детство и юность самого Герцена, начиная с указания на то, что имение Столыгиных было расположено «верст сотню по Можайке от города», и кончая описанием Московского университета (в частности, например, характеристика профессоров — «немцев» и «не-немцев» — вошла впоследствии в соответствующие главы «Былого и дум»).

Но дальнейшая история Анатоля Столыгина, идейная эволюция героя, его конец, в значительной степени навеяны историей В. С. Печерина. В русской жизни тридцатых годов Печерин занимает особое место; это своеобразнейшая фигура. Как известно, он был одним из самых блестящих и многообещающих молодых профессоров Московского университета; в 1836 г. он бежал из России от ужасов николаевской действительности и после длительных скитаний по Европе вступил, в 1840 г., в католический орден редемптористов и стал одним из крупнейших католических проповедников в Ирландии. Личность Печерина, по словам самого Герцена (см. его письмо к М. К. Рейхель от 18 марта 1853 г.), живо интересовала его; Герцен много слышал о Печерине от Грановского, Редкина, Крюкова. Аналогия между переходом в католичество Печерина и Анатоля Столыгина — на наш взгляд несомненна. Герцен фиксирует в повести даже

такую характерную деталь: «обращение» Анатоля, как и обращение Печерина, связано с их пребыванием в Бельгии. Создавая в 1847—1851 гг. «Долг прежде всего», Герцен еще не был лично знаком с Печериным; их встреча, как известно, произошла в Лондоне, в марте 1853 г. (этой встрече посвящена отдельная глава «Былого и дум» — «Pater V. Petcherine»).

Герценовский Анатоль Столыгин переходит в католичество, но разочарование быстро постигает его; повесть кончается тем, что он уезжает в Монтевидео проповедовать религию, в которую уже не верит сам. Герцен удивительно точно предвосхитил эволюцию взглядов, пережитую прототипом его героя. Передавая М. К. Рейхель впечатление от личной встречи с Печериным, Герцен 23 марта 1853 г. писал: «М не его жаль: он, кажется, совсем не так счастлив о Христе и потерян» (VII, 197). Как известно, в начале шестидесятых годов Печерин, прийдя к выводу, что он «проспал двадцать лучших лет своей жизни», снял монашескую рясу; он начал живо интересоваться «Колоколом» и возобновил переписку с русскими друзьями, хотя все же и закончил жизнь ирландским священником.

О том, что Герцен придавал своей повести большое значение, свидетельствуют многие факты. В сентябре 1847 г., в Париже, он читал ее Белинскому и Бакунину; в 1848 г. послал ее для напечатания в «Современник»; в 1849 г. дал прочитать Н. И. Сазонову и послал в Германию для перевода на немецкий язык, и уже после этого вновь возвратился к повести для серьезной ее переработки.

Но, конечно, в 1851—1854 гг. повесть эта уже была для Герцена пройденным этапом. Он так и не окончил ее. «Сазонов,— писал Герцен,— перечитав перед моим отъездом из Парижа в 1849 году начало моей повести „Долг прежде всего", писанной за два года, сказал мне: „Ты этой повести не кончишь, да и ничего подобного больше не напишешь"» (XIII, 375). Сазонов оказался прав. Как отмечал сам Герцен, «события далеко раздвинули 1847 и 1851 годы; перебросить нить повести через них и снова поймать, мне кажется невозможным». Начинался новый период в жизни Герцена, период «Былого и дум», период создания вольной русской печати.

«Долг прежде всего» — одно из самых ярких произведений русской антикрепостнической литературы XIX века. Высоко ценил повесть Герцена Лев Толстой. В «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого читаем: «26 июля <1905 г.> Толстой предложил прочесть вслух рассказ Герцена „Долг прежде всего", сказав при этом: „Ничего подобного нет в русской литературе. „Кто виноват?" — робкое, а это — бойкое". Вечером того же дня Толстой „растроганным голосом" прочел первую часть этого рассказа, сказав: „Эта первая глава — превосходная, удивительная"» («Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 511).

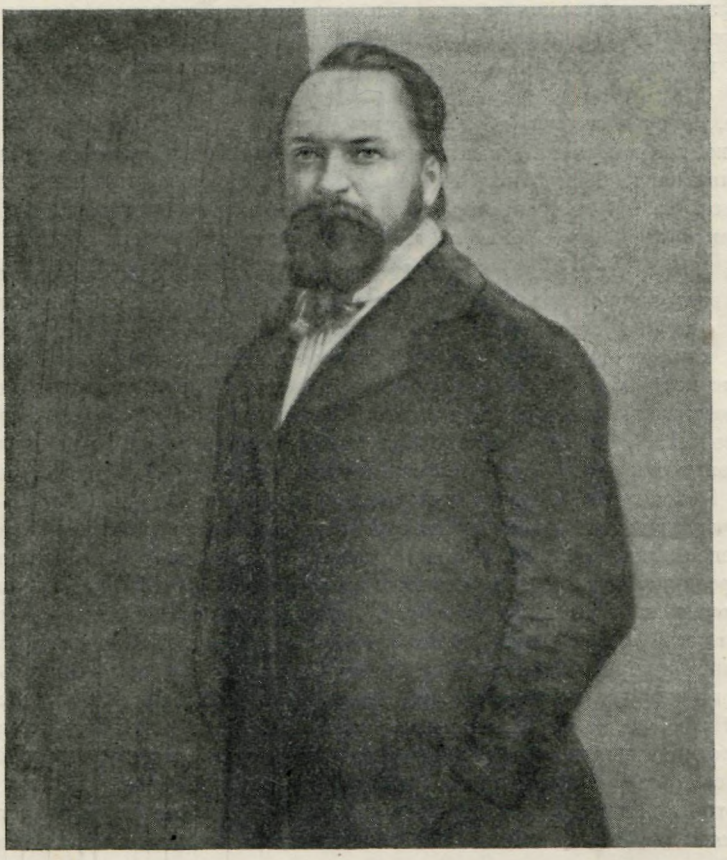
* * *

Что представляет собою публикуемая рукопись повести «Долг прежде всего»? Это — ее ранняя редакция и в то же время это — *единственный авторизованный подлинник повести*. До сих пор повесть публиковалась по печатному тексту лондонского издания «Прерванных рассказов» 1854 г. и по исправленному второму изданию 1857 г. Публикуемый подлинник позволяет уточнить дату написания повести и проследить историю ее создания.

Дата, стоящая под предисловием,— 25 августа 1847 г.,— совершенно точно определяет время написания первой части. Первая часть была закончена в Бретани, куда Герцен вместе с семьей ездил в июле — августе 1847 г. (см. письмо к Е. Ф. Коршу от 21 июня 1847 г.— V, 44). В сентябре 1847 г. в Париже Герцен, как уже сказано, читал законченную первую часть повести Белинскому и Бакунину.

«Первая часть, или пролог новой повести, совсем готов,— сообщает Герцен в письме к В. П. Боткину из Рима от 31 декабря 1847 г.,— не знаю, мерзок ли он, но я, особенно началом, очень доволен. Отошлю как только получу „Современник"» («А. И. Герцен. Новые материалы. Подгот. Н. М. Мендельсоном». М., 1927, стр. 41). В начале 1848 г. Герцен послал повесть в «Современник», о чем писал из Рима Е. Ф. Коршу, Т. Н. Грановскому и К. Д. Кавелину 30 января 1848 г. («Первый отдел повести я послал» — V, 180).

В «Современнике» повесть, однако, не появилась. Несомненно, именно о «Долге прежде всего» пишет П. В. Анненков в своих «Литературных воспоминаниях». «Он ⟨Герцен.— *Ю. К.* начал повесть из французской революции 89 года с русским деятелем посреди ее ⟨Михаил Столыгин, живя в Париже, ходил смотреть на взятие Бастилии.— *Ю. К.*⟩ и не усомнился послать рассказ в „Современник". Позднее Панаев говорил мне в Петербурге: „Герцен с ума сошел: посылает нам картины французской революции, точно она у нас дело признанное и позабытое". Повесть, разумеется,



ГЕРЦЕН
Дагерротип 1850—1852 гг.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

не попала в печать, а явилась за границей в особом сборнике» (П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 494).

Но мысль об издании повести не оставляла Герцена. В 1849 г. он включил «Долг прежде всего» в план задуманного им сборника (см. «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 170). Прошло два года, и Герцен 19 июня 1851 г. писал друзьям из Парижа: «Я хочу напечатать повесть, которую вы, кажется, читали, „Долг прежде всего"...».

В октябре 1851 г. Герцен послал рукопись известному немецкому переводчику Вильгельму Вольфзону для перевода на немецкий язык и издания в Германии. Тогда же он написал и вторую часть «Вместо продолжения повести „Долг прежде всего"», озаглавленную в рукописи «Письмо автора к г. Вольфзону». Под «письмом» стоит дата: «Ницца. 13 октября 1851 года». Эта часть была послана Вольфзону в ноябре (как видно из письма Герцена к М. К. Рейхель от 1 января 1852 г.). Но Вольфзон или затерял рукопись, или из цензурных соображений решил не издавать ее.

В 1854 г., а затем в 1857 г. «Долг прежде всего» был издан самим Герценом в Лондоне, в сборнике «Прерванные рассказы», в переработанном и сокращенном виде.

В конце этого сокращенного издания Герцен поставил дату: «осень 1851 г.». До сих пор она и считалась датой переработки повести для лондонского издания. Рукопись, посланная Вольфзону для напечатания, естественно, должна была заключать в себе последнюю редакцию повести; она датирована Герценом, как уже было нами сказано, 13 октября 1851 г. Следовательно, Герцен сократил и переработал «Долг прежде всего» для издания 1854 г. позднее. В противном случае он не стал бы отсылать Вольфзону рукопись в том виде, в каком мы ее публикуем, а послал бы новый, исправленный и сокращенный вариант. Дату «осень 1851 г.» в издании 1854 г., очевидно, нужно понимать условно, как дату окончания основной работы над повестью.

Дата же, которая стоит под публикуемой рукописью,— 13 октября 1851 г.— совершенно точна, так как подтверждается предпоследней фразой самой повести: «Из нас трех ⟨Белинского, Бакунина, Герцена⟩ в живых остался один я». Как раз в октябре—ноябре 1851 г. распространились слухи о смерти Бакунина, выданного царской России австрийским правительством (см. переписку Герцена с Мишле 1851 г.).

Таким образом, слова: «осень 1851 года» — не означают дату окончания работы над второй сокращенной редакцией повести: в издании 1854 г. Герцен просто поставил дату написания «Письма к Вольфзону». К переработке повести Герцен приступил уже после того, как ему стало ясно, что Вольфзон от издания отказался. Можно предположить, что переработка относится к 1853 г., когда Герцен готовил к печати «Прерванные рассказы». Этим годом помечено предисловие к «Прерванным рассказам», обращенное к М. К. Рейхель. Закономерно и такое предположение: не явилась ли некоторым толчком к переработке повести встреча Герцена с В. С. Печериным в марте 1853 г.? Необходимо указать следующий любопытный факт, явно связанный с В. С. Печериным: конец повести (история перехода Анатоля Столыгина в католичество) сведен в издании 1854 г. к нескольким строкам, вместо нескольких страниц в первой редакции, что, как нам кажется, надо поставить в прямую связь с лондонским свиданием 1853 г. Повидимому, Герцен счел необходимым немного затушевать зависимость своего героя от его реального прототипа. В издании 1857 г. (в это время Герцен уже не встречался с В. С. Печериным) конец повести вновь расширен, но все же в более скромных пределах, чем это было задумано первоначально.

В 1887 г. в Дрездене вышло немецкое издание «Долга ...». Из предисловия анонимного переводчика видно, что перевод этот был сделан с авторизованной рукописи Герцена, посланной им в свое время В. Вольфзону (скончавшемуся в 1865 г.); другими словами, это издание содержало именно первую, раннюю редакцию повести. Издавая собрание сочинений Герцена, М. К. Лемке воспроизвел в обратном переводе с немецкого на русский разночтения немецкого издания с основным текстом, данным по изданию 1857 г. (VII, 498—526). Русским подлинником этой первой редакции повести М. К. Лемке не располагал.

Публикуемая ныне ранняя редакция повести «Долг прежде всего» и является той самой рукописью Герцена, которая была послана им Вольфзону и вышла в свет в немецком переводе в 1887 г.

Что же нового дает публикуемая рукопись по сравнению с немецким изданием 1887 г.?

Как уже указывалось выше, она помогает с точностью установить, когда создавалась и перерабатывалась повесть. В ней содержатся также куски текста, не вошедшие ни в одно печатное издание повести. В первую очередь, следует отметить предисловие «От сочинителя», помеченное «Гавр де Грас. 25 августа 1847». Все это предисловие было зачеркнуто Герценом и потому не публиковалось нигде. Между тем, оно представляет большой интерес; оно написано в иронической манере. «Долг прежде всего» именуется в предисловии «нравоучительной повестью», в которой должна быть развита «любимая тема» автора: «человек должен не рассуждать об обязанностях, а исполнять их, что долг прежде всего, что награда сама идет за исполнением». Очевидная ирония разоблачает «любимую тему».

Особенно много неопубликованных мест находим мы во второй части повести. Немецкий переводчик, имевший под руками весь текст, выбрасывал целые абзацы и отдельные фразы, главным образом по соображениям политическим. Так, например, в отрывке:«...русское общество с Петра I-го раза четыре изменило нравы. *Последние, без сомнения, самые худшие.* Об екатерининских стариках говорили очень много, но люди александровского времени будто забыты, *так и сгинули с лица земли*» — подчеркнутые нами места выброшены, что, конечно, выхолащивает самую суть отрывка. Целиком опущен немецким переводчиком абзац, посвященный сходству прусского и русского самодержавия: «Солдатизм на троне идет от прусских королей; никогда ни французские короли, ни английские, ни даже австрийские императоры не предавались с таким неистовством страсти быть вахмистрами, как русский императорский дом⟨...⟩ Не оттого ли это происходит, что ни прусский, ни петербургский трон не имеют никакого исторического, народного значения, что, однажды сложившись, им не на чем держаться, кроме армии, что они погибли ⟨бы⟩ без солдат?». Выброшены также фразы о том, что Александр I разрешил заговорщикам убить Павла, сравнение Павла с Николаем I, фраза о «нравственной Сибири» и другие наиболее резкие в политическом отношении места. К этому следует добавить, что переводчик вообще очень свободно обращался с герценовским текстом, «исправляя» и «улучшая» его стиль. Поэтому хотя немецкое издание 1887 г. и имеет в основе текст герценовской рукописи 1851 г., тем не менее оно не точно передает стиль, язык и самый дух повести Герцена.

Выяснить отличие публикуемой ныне первой редакции повести (1847—1851) от второй, переработанной Герценом в 1853 г.,— весьма существенно. Но это — предмет специального текстологического исследования, которое даст возможность на конкретном примере проследить весь ход работы Герцена над первой частью «Долга прежде всего», методы его работы над словом, в поисках большей художественной выразительности. Публицистическая же часть, представленная, в основном, «Письмом к Вольфзону», имеет для исследователя стиля произведений Герцена совершенно особый интерес. Герцен именует «Письмо к Вольфзону» всего только «планом» продолжения повести, но, ознакомясь с этим «планом», исследователь неминуемо убедится, что это не «план», не «письмо», а самостоятельное художественно-публицистическое произведение, статья, совпадающая по всей своей манере с герценовской публицистикой «Колокола» и «Полярной звезды», но созданная несколькими годами ранее. Недаром один из фрагментов этого мнимого «плана» — тот, в котором характеризуется революционная отвага поляков — из «Долга прежде всего» перекочевал впоследствии (с небольшими изменениями) в знаменитую статью 1853 г. «Поляки прощают нас» (VII, 255). Герцен потому и не окончил своей повести, что «русская пропаганда», открытие «Вольной русской типографии» требовали от него не создания повестей, а выработки нового публицистического стиля. Ранняя редакция повести «Долг прежде всего» наглядно демонстрирует этот процесс: изображение во второй ее части екатерининского двора, Павла, людей александровского времени, восставших поляков и пр. представляет собою как бы мост, перекинутый Герценом от произведений беллетристических к художественной публицистике «Колокола».

Публикуемая рукопись хранится ныне в Центральном государственном литературном архиве СССР, в фонде Герцена (№ 129, ед. хр. 3). Более 75 лет она считалась утраченной. «Никакие поиски,— пишет М. К. Лемке,— не дали мне возможности напасть на след рукописи Герцена» (VII, 498). В двадцатых годах нашего века она была случайно обнаружена В. П. Полонским у одного из парижских букинистов, приобретена им и в составе его архива в 1946 г. поступила в ЦГЛА.

Рукопись представляет собою две тетради, ныне переплетенные в один переплет, исписанные писарским почерком, с многочисленными исправлениями и добавлениями, сделанными рукою Герцена. Рукопись содержит несколько мелких зачеркнутых вариантов, имеющих характер стилистических исправлений. Кроме небольших карандашных пометок переводчика, на полях рукописи сохранились полустертые критические замечания, тоже сделанные карандашом; судя по почерку, они могут принадлежать Н. И. Сазонову. С некоторыми из них Герцен соглашался и вносил в текст соответствующие поправки.

ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

А. ГЕРЦЕНА

(Повесть эта не была нигде напечатана)*

«Я считал бы себя преступным, если б не исполнил и в сей настоящий год, как в многие прошлые, священного долга моего и не принес бы Вашему превосходительству наиусерднейшее поздравление с наступающим высокоторжественным праздником — ничто в мире не может отвлечь меня от обязанностей, исполнять которые я привык от младых дней моих».

Декабрьское письмо, № 41, 518.

[ОТ СОЧИНИТЕЛЯ **

Я не знаю, какая цель может быть возвышеннее для автора, как своими писаниями поучать, исправлять нравы; это обязанность всякого берущего перо в руки,— исполнение ее, как исполнение всякого долга, носит в себе свою награду,— ибо что может быть приятнее, как учить других, возвышать их до *нашего* совершенства. Но мораль не должна являться в слишком сухой и строгой форме; она может украсить чистое чело свое цветами вымыслов. Хорошо было Цицерону заставлять своего сына Марка читать скучное сочинение «Об обязанностях»,— ибо слепое повиновение родительской воле есть уже само по себе священный долг. Напротив, Сильвио Пеллико, не имевший никакого сына, написал тоже книгу «Dei doveri» ***,—ее все приняли с достодолжным уважением, но уже никто не читал.

Устрашенный его примером, я решился любимую тему мою, что «человек должен не рассуждать об обязанностях, а исполнять их, что долг прежде всего, что награда идет сама за исполнением», развить в нравоучительной повести. Здесь, на пустынных и обмываемых Ламаншом скалах Нормандии, написал я часть моей предполагаемой повести, именно ту, которая предшествует первой.

Повергаю ее суду благосклонных читателей.

Гавр де Грас
25 августа 1847]

ПРОЛОГ, т. е. ЧАСТЬ, ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

I

Сыну Михайла Степановича Столыгина было лет четырнадцать...

Но с этого начать невозможно; для того, чтоб принять участие в сыне, надобно узнать отца, надобно даже сколько-нибудь узнать почтенное и доблестное семейство Столыгиных.

Мне хотелось бы основательно вас познакомить с этим семейством, но я не знал, как это лучше сделать. Мне приходило в голову начать с исторических преданий их знаменитого рода, с того, как Трифон Столыгин успел в две недели три раза присягнуть: раз Владиславу, раз Тушинскому вору, раз не помню кому, и всем изменил; я хотел описать их богатые достояния, их села, в которых церкви были пышно украшены смиренными и благочестивыми приношениями помещиков, повидимому, не столь смиренных в светских отношениях, что доказывали полуразвалившиеся, кривые, худо крытые и подпертые шестами избы...

---

* *Слова:* Повесть эта не была нигде напечатана — *написаны рукой Герцена.*
** *Все предисловие перечеркнуто Герценом.*
*** «Об обязанностях» (итал.).

Но, боясь утомить ваше внимание, я скромно решился начать не дальше, как за воротами большого дома Михайла Степановича Столыгина, что на Яузе. Ограда около дома каменная, ворота толстого дерева; с одной стороны калитка истинная, с другой — ложная; в ней вставлена доска, в должности скамьи; на доске сидит обтерханный старик, повидимому, нищий.

Наружность обманчива,— старик был вовсе не нищий, а дворник Михайла Степановича.

Пятьдесят второй год пошел с тех пор, как красивый русый юноша Ефимка вышел в первый раз за эти ворота с метлою в руках и с горькими слезами на глазах; он тогда только был взят из деревни. Дядя Михайла Степановича, объезжая свои поместья, привез его из Симбирска, не потому, что ему нужен был мальчик, а так,— ему понравился добрый вид Ефимки, он и решился устроить его судьбу. Устроил он ее прочно, как видите. Ефимка мёл юношей, мёл с пробивающимся усом, мёл с окладистой бородой, мёл с проседью, мёл совсем седой и теперь метет с пожелтевшей бородой, с ногами, которые подгибаются, с глазами, которые плохо видят. Одно сберег он от юности — его вся дворня звала Ефимкой; впрочем, страннее этого патриархального названия было то, что он действительно не развился в Ефимы. По мере того как он свыкался с своей одинокой жизнью, по мере того как страсть ко двору и к улице у него делалась сильнее, так что он вставал раза два-три ночью и осматривал двор с пытливым любопытством собаки, несмотря на то, что ворота были заперты и две настоящих собаки спущены с цепи,— в нем пропадала и живость и развязность, круг его понятий становился у́же и у́же, мысли смутнее, тусклее. Раз, лет за двадцать до нашего рассказа, ему взошла в голову дурь — жениться на кучеровой дочери; она была и непрочь, но барин сказал, что это — вздор, что он с ума сошел, с какой стати ему жениться? Тем дело и кончилось. Ефимка тосковал, никому не говорил ни слова, стал попивать и приметно тупеть. К старости он сделался кротким, тихим зверем, страдавшим от холода и от боли в пояснице, веселившимся от сивухи и нюхательного табаку, который ему поставлял соседний лавочник за то, чтоб он мёл улицу перед лавочкой. Других сильных страстей у него не было, если мы не примем за страсть его безусловной послушливости всем, кто хотел приказывать, и безграничного идолопоклонства, исполненного страха и трепета, к Михайлу Степановичу. По несчастию эта благоговейная преданность утрачивается у дворников, только двадцать лет метущих улицу, и у прочих слуг нового испорченного поколения.

Нельзя, впрочем, сказать, чтобы сношения Ефимки с Михайлом Степановичем были особенно часты или важны; они ограничивались строгими выговорами, сопряженными с сильными угрозами за то, что мостовая портится, за то, что тротуарные столбы гниют, за то, что за них зацепляются телеги и сани... Ефимка чувствовал свою вину и со вздохом поминал то блаженное время, когда улиц не мостили, а тротуаров не чинили, по очень простой причине: потому что их не было.

Сношение другого рода, более приятное и торжественное, повторялось всякий год один раз. В светлое воскресение вся дворня приходила христосоваться с барином; причем Михайло Степанович, обыкновенно угрюмый и раздраженный, менял гнев на милость и дарил своих слуг ласковым словом,— отчасти в предупреждение других подарков.

— А помнишь,— говорил ежегодно Михайло Степанович Ефимке, обтирая губы после христосования,— помнишь, как ты меня возил на салазках и делал снеговую гору?!

Сердце прыгало от радости у старика при этих словах, и он торопился отвечать:

— Как же, батюшко, кормилец ты наш, мне-то не помнить? Оно, ведь, еще при покойном дядюшке вашей милости, при Льве Степановиче, было; помню, вот словно вчера было, так помню.

— Ну, оно вчера не вчера было, — прибавлял Михайло Степанович, улыбаясь, — а, небось, пятый десяток есть. Ну, смотри же, Ефимка, праздник — праздником, а улицу мети, да пьяных теперь много шляется; как смеркнется, ворота запри, да смотри, чтоб булыжник не крали.

— Словно глаз свой берегу, батюшко, — отвечал дворник, и барин давал знать, чтоб он шел с красным яйцом, данным ему на обмен.

Сим периодическим разговором ограничивались личные сношения этих ровесников, живших лет пятьдесят под одной крышей.

Ефимка бывал очень доволен аристократическими воспоминаниями и обыкновенно вечером в первый праздник, не совсем трезвый, рассказывал кому-нибудь в черной и длинной кучерской: «Ведь, подумаешь, какая память у Михайла-то Степановича; помнит, что̀... А, ведь, это сущая правда; бывало, меня заложит в салазки, а я вожу, а он-то, знай, кнутиком погоняет, ей-богу — сколько годов, подумаешь...», и он, качая головой, развязывал лапти, снимал онучи и засыпал на печи, подложивши свой армяк (постели он еще не успел завести) и думая, вероятно, о суете жизни человеческой и о прочности некоторых общественных положений, например, дворника.

Итак, Ефимка сидел у ворот. Сначала он медленно и больше для наслаждения, нежели для пользы, подгонял грязную воду по канавке метлой, потом понюхал табаку, посидел, посмотрел и задремал сидя на лавке. Вероятно, он довольно долго бы проспал в товариществе дворной собаки плебейского происхождения, черной с белыми пятнами, ⟨с⟩ длинной, жесткой шерстью и изгрызенным ухом, которого сторонки она беспрестанно приподнимала, чтобы сгонять мух, если б их обоих не разбудила женщина средних лет.

Женщина эта, тщательно закутанная, в шляпке, с опущенным вуалем, давно показалась на улице; она медленно шла по противоположному тротуару. Приближаясь к дому Столыгина, она приостановилась немного у фонарного столба и с очевидным беспокойством стала вглядываться, что делается на дворе Столыгина. Казачок в сенях пощелкивал орехи, кучер возле сарая чистил хомут и курил из крошечной трубочки; вероятно этого довольно было, чтоб отстращать ее. Она прошла мимо. Через четверть часа она явилась на том тротуаре, на котором всё спал Ефим; на дворе в это время не было никого. Проходя мимо Ефима, она шепнула что-то не останавливаясь и не оборачивая головы, но Ефим спал; проснулась одна собака, заворчала было, но вдруг бросилась к женщине со всеми собачьими изъявлениями искренней радости; она испугалась ее ласк и отошла, как можно скорее. Осмотревши еще раз из-за угла, что делается на дворе, она решилась подойти к Ефиму и позвать его.

— Ась, — пробормотал Ефим, просыпаясь, — чего вам?

Он не был так счастлив, как его приятель, и не узнал, кто с ним говорит.

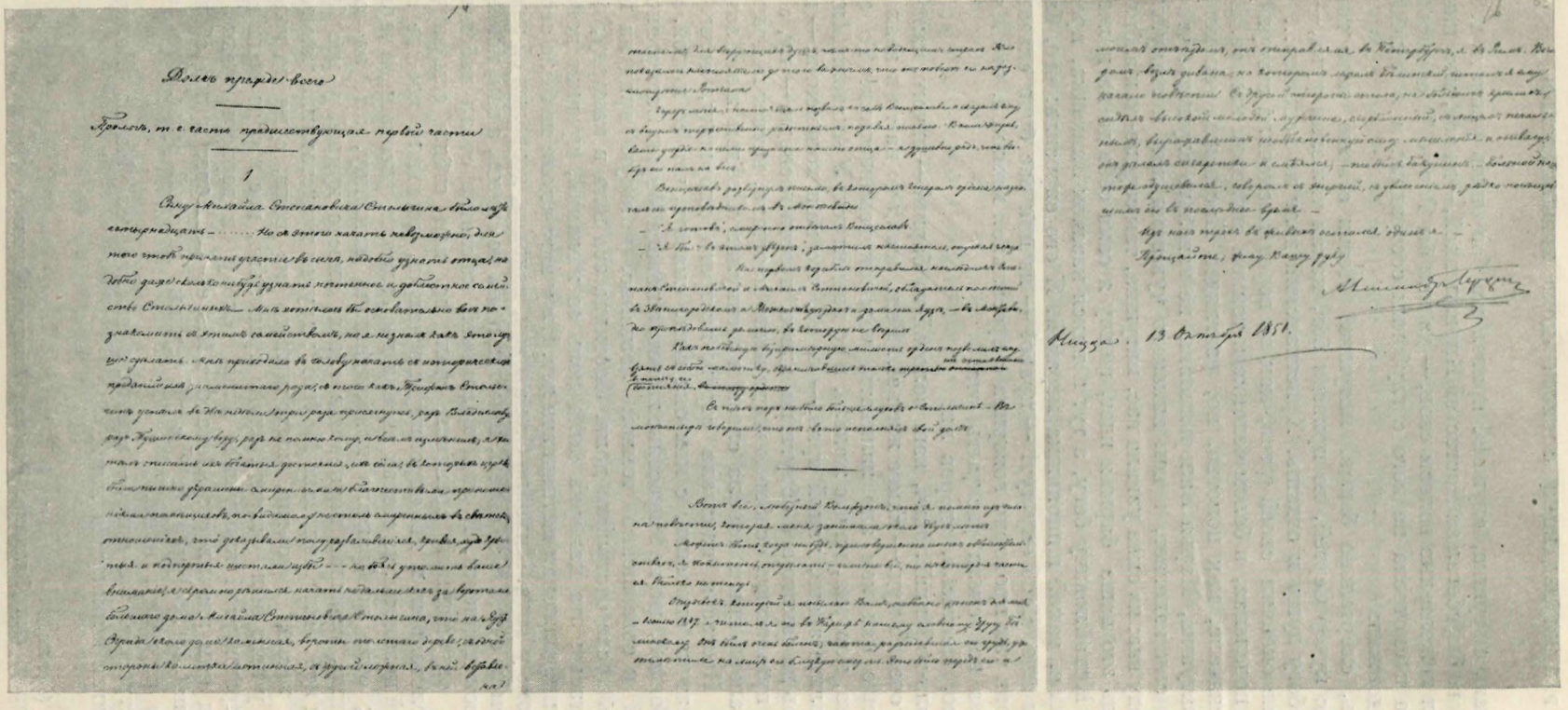
— Ефим, — продолжала незнакомка, — вызови сюда Настасью Кирилловну.

— А на что вам ее? — спросил дворник, что-то заминаясь.

— Да ты меня разве не узнаешь, Ефим?

— Ах ты мать пресвятая богородица! — отвечал он, отплевываясь на сторону и вставая со скамьи, — глаза-то какие стали, матушка! Эх я, чего не спознал! Простите, старому дураку, из ума выжил, матушка, — да как это господь...

— Послушай, Ефим, мне некогда; коли можешь, поскорее вызови Настасью.



«ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО»
Авторизованный список, 1851 г.
Листы 1 об., 52 об. и последний
Центральный литературный архив, Москва

— Слушаю, матушка, слушаю, привел же бог опять увидеть тебя... я сейчас... того бы, сбегал за Настасьей Кирилловной,—да вот, матушка,— старик чесал пожелтелые волосы свои,— да как бы Тит-то Трофимович...

Женщина посмотрела на него с глубоким состраданием и молчала... Старик продолжал:

— Боюсь, смертельно боюсь, матушка! Кости старые, лета какие, а ведь у нас кучер Сергей, не приведи бог, какая тяжелая рука,— так в конюшне богу душу и отдашь. Христианский долг не исполню...

Он еще не окончил своей речи, как из ворот выскочила старушонка худощавая, подслепая, в белом чепчике и темном ситцевом капоте. Ефим побледнел сначала, как полотно, но, разглядев Настасью, успокоился.

— Ах, матушка, Марья Валерьяновна, не извольте слушать, что вам этот старый сыч напевает, в нем никакого чувствия нет, пожалуйте ко мне, я проведу вас; из окна узнала вас, матушка, так сердце-то и забилось. Ей-богу, ведь это наша барыня идет, шепчу я сама себе да на половину к Анатолю Михайловичу бегу, а тут попался казачок Ванюшка, преядовитой у нас он, такой шпионишка мерзкой. Я его спросила: что, барин спит?— спит еще. Чтоб ему тут! — право! — не при вас буди сказано...

Все это она так проворно говорила с пресильной мимикой, что Марья Валерьяновна не успела раскрыть рта.

— Да что, Настасья, здоров ли?

— Анатоль-то Михайлович, наш золотой-то барин?— ничего, кажется, худ только, оченно худ,— какое житье!.. Ведь аспид-то на то и взял его, чтоб было еще над кем зло изливать, человекуненавистник! То есть, матушка, ржа, которая, на что железо, и то поедом ест! У Анатоля Михайловича, изволите знать, какой нрав,— не то, что наш холопский,— выйдешь за дверь да самого его обругаешь вдвое, прости господи,— ну, а они всё к сердцу принимают, особенно когда вами, матушка, начнет попрекать.

Марья Валерьяновна отерла слезы и шепнула: «Пойдем же, Настасьюшка!» — и Настасья наказала строго-настрого дворнику, если Тит подошлет казачка спросить, с кем она шла, сказать, что со швеей, мол, Ольгой Петровной, что на Маросейке живет, и повела Марью Валерьяновну по узенькой и совершенно темной лестнице, которую вряд ли мели когда-нибудь после отстройки дома. Лестница эта шла в каморку, отведенную Настасье; эта каморка была цель ее желаний, предмет домогательств ее в продолжении пятнадцати лет. Ни у кого в доме не было особой комнаты, кроме у Тита. Михайло Степанович, наконец, дозволил ей занять ее, с условием не считать ее своею, никогда в ней не сидеть, а так, покамест положить свои пожитки. В этой маленькой комнатке стоял небольшой деревянный, окрашенный временем стол; на нем стоял самоварчик, покрытый полотенцем, и две опрокинутые чашки, носившие кое-где признаки бывшей позолоты; на стенах висели две головки, рисованные черным карандашом; одна изображала поврежденную женщину, которая смотрела с картины, страшно вытаращив глаза; вместо кудрей у нее были черви,— под ней было написано Méduse*; другая представляла какого-то жандарма в каске, вероятно, выходившего из воды, судя по голому плечу; лицо у него было отвратительно правильно, нос в роде ионийской колонны, опрокинутой капителью вниз, голову он держал крепко насторону, под ним значилось: Alexandre, fils de Philippe, и под обеими: Dess. par Anatole Stolyg⟨u⟩in** с росчерком детской руки. Это были несомненные атрибуты няни.

— Не встретить бы кого,— заметила вполголоса Марья Валерьяновна, надвигая шляпку на лицо.

---

* Медуза (франц.).

** Александр, сын Филиппа. Рисовал Анатоль Столыгин (франц.).

— Ничего, матушка, не бойтесь ничего, фискала-то нашего дома нет. Вишь, староста приехал да обоз с дровами пришел, так и пошел в трахтир принимать, ведь он преалчной, никакой совести нет, чаю пары две выпьет с французской, как следует, да требует бутылку белого с рыбой, да икры паюсной,— как чрево выносит?! Небось, больше восьми десятков живет — да ведь что, матушка, какой неочесливый *; и сына-то своего проведет, ну да тот не спасется от красной шапки. Покуда старый-то пес жив, так всё шито и крыто, а после мы выведем, и как синенькая бумажка в Филиповке у кучера пропала и...— Ее длинная речь in Titum ** осталась неоконченной; молодой человек лет около четырнадцати, худой и очень бледный от внутреннего движения, бросился в объятия Марьи Валерьяновны; он спрятал голову на ее груди; она целовала его волосы и плакала...

— Дружок мой, какой ты худенький,— говорила она ему,— здоров ли ты?

— Я здоров, маменька,— отвечал молодой человек,— совершенно здоров. Как вы, маменька, с дороги?— и он целовал ее руки.

Мать рассматривала, вглядывалась в своего сына; видно было, что его благородные отроческие черты стерли разом все ее горести, что она была безмерно счастлива на эту минуту.

Однако молодой человек, несмотря на радость свидания, был под тяжелым влиянием какой-то мысли, его улыбка была грустна. Эти лета еще не умеют скрывать таких мыслей. Он опустил глаза и сказал:

— Ну, а если папаша узнает?

— Он не узнает, мой друг.

— А как спросит у меня?

— И, батюшка,— вмешалась старуха-няня,— что это, уж такой умник и не сумеет ответ держать! Ведь правду-то сказать, это только ваш папаша воображает, что его в свете никто не проведет, а его вся дворня надувает.

Молодой человек не отвечал, но сделал движение, которое делают все нервные люди, когда ножик свистит по тарелке.

В это время вбежала в комнату молодая девка и торопливо сказала старухе няне: «Проснулся, ходит по гостиной. Анатоль Михайлович, пожалуйте, батюшка, вниз».

Молодой человек покраснел до ушей. Марья Валерьяновна простилась с ним, он вышел вон сконфуженный; она долго смотрела ему вслед, утирая слезы и покачивая головой.

Для того, однако, чтобы объяснить происходившее, мне должно еще раз отступить.

II

Ефимка возил в салазках Михайла Степановича при жизни «дяденьки»,—чего же лучше, как начать с него?

Лев Степанович уже потому заслуживает это, что, несмотря на всю патриархальную дикость свою, он первый *ручной* представитель Столыгиных. Этим он обязан слепой любви родителей к его меньшему брату: Степушку никогда бы не решились отправить на службу, отдать в чужие руки; Левушку родители не жалели, и, как только он кончил курс своего воспитания, т. е. научился на о́ читать по-русски и писать вопреки всем правилам орфографии, его отправили в Петербург.

Послуживши лет десять в гвардии, он перешел в гражданскую службу, был советником, был президентом какой-то коллегии и очень близким человеком какого-то вельможи. Патрон его, долго умевший искусно удержаться в силе в классическое время быстрых перемен, потерял, наконец, равновесие и исчез в своих малороссийских вотчинах. Лев Степанович

* невежливый, непочтительный (моск. и владим. диалект). —*Ред.*

** на манер речи Тита (лат.).

премудро и во-время умел отделить свою судьбу от судьбы патрона, премудро успел жениться на какой-то племяннице, которую не знали куда девать и в которой кто-то принимал участие, наконец,— что премудрее всего вместе,— Лев Степанович, послужив еще до превосходительного чина, вышел в отставку и отправился в Москву для устройства имения, уважаемый всеми как честный, добрый, солидный и деловой человек.

Не надобно думать, чтобы в его удалении был один расчет или одна дипломатия; нет, причина гораздо сильнейшая звала его воротиться к более родной среде. В Петербурге, несмотря на успехи по службе, ему всё было что-то неловко, точно в гостях; ему захотелось почетного раздолья помещичьей жизни, своей воли; родители его давно умерли, Степушка был отделен, имение, доставшееся Льву Степановичу, было одно из богатейших под Москвою. Как же ему было не ехать в свои березовые и липовые рощи, в свой старый отцовский дом, где подобострастная дворня и село готовы были его встретить земными поклонами и подойти к ручке?!

В Москве он остался недолго, заложил на Яузе вместо деревянного дома каменные палаты и уехал в Липовку, изредка наезжая присмотреть за постройкой. За хозяйство Лев Степанович принялся усердно; он и на службе своего имения не расстроил, а, напротив, к родовым полутора тысячам душам прикупил еще тысячу, но теперь, не вдаваясь в агрономические рассуждения, он разом сделался смышленным помещиком с той легкостию, с которой из гвардейских офицеров в год времени стал настоящим советником коллегии. Он не токмо удвоил свои доходы, но значительно улучшил состояние крестьян; в последнем отношении он был неподражаемо патриархален: и хлебом мужику поможет, и овса на посев даст, и корову или лошадь даст взамен падшей, ну да после ухо держи востро. Вдруг, никто не думает не гадает,— барин со старостой и с десятскими (которые провожали обыкновенно Льва Степановича по древнему обычаю «с ваиями» в руках) на дворе:— Эй, ты, Акулина, покажи-ка горшки для молока! — Не вымыты, тут бабе и расправа.— А ты, Нефед, покажи соху, покажи борону, выведи лошадь, покормлена ли? чиста ли?— Словом, поучал их, как неразумных детей.

И мужички рассказывали долго после его смерти «о порядках старого барина», прибавляя: «Точно, бывало, спуску не даст, ну а только умница был, всё знал наше крестьянское дело досконально и правого не тронет, то есть учитель был».

Дворовых он держал без числа и меры: у него были мальчики, единственно употребляемые днем, чтобы чистить клетки соловьев, а ночью ходить по двору, чтоб собаки не лаяли близ господского дома; у него были девочки, которых всё назначение состояло в том, чтоб зимой стирать воду с оконниц, а летом носить угольи и тазики для варенья. Нельзя сказать, чтоб такое количество прислуги его вводило в особенно важные траты: всё, начиная с самих субъектов, было домашнее, рожь и гречиха, горох и капуста, и не одна пища...— умрет корова, выделают кожу, сапожник сошьет портному сапоги, в то время как портной ему кроит куртку из домашнего сукна цвета marengo clair * и широкие панталоны из небеленного холста. Притом у Льва Степановича был неотъемлемый талант воспитывать дворню, талант, совершенно утраченный в наше время; он вселял с юных лет такой страх и послушание, что даже его фаворит и лазутчик — камердинер и дворецкий, Тит Трофимов, гроза всей дворни, не всегда обращавший внимание на приказы барыни, сам сознавался в минуты откровенности и сердечных излияний, что ни разу не входил в спальню барина без невольного чувства страха, особенно утром, не зная, в каком расположении Лев Степанович. Дивиться нечему. Выгоды и почет барского фавора очень недаром доставались Титу. К несчастью, он часто

* светлого маренго (франц.).

попадался на глаза: Лев Степанович был человек характерный, сдерживать себя не считал нужным, и когда утром он выходил к чаю с красными глазами, сама Марфа Петровна долго не смела начать разговора. В эти несоциабельные минуты сильно доставалось Титу, — побьет его, бывало, да и пошлет к барыне: «Поди, говорит, к барыне, покажи ей свою рожу и скажи: вот, мол, как дураков учат, людей делают из скотов». Для Марфы Петровны, в ее скучной и однообразной жизни, подобные случаи служили развлечением, даже она находила своего рода удовольствие в унижении гордого и высокомерного Тита.

Действительно, развлечений в ее жизни было мало, особенно светских. Детей им бог не дал. Пыталась она и ворожить, и заговариваться, и пить всякую дрянь, и к Троице-Сергию ходила пешком, и Титову сестру посылала в Киево-Печерскую лавру, откуда она ей принесла колечко с раки Варвары мученицы, но детей всё не было. Нельзя сказать, чтоб Лев Степанович был несчастен от того, что не было детей, однако он сердился за это, как за беспорядок, и упрекал в минуты досады свою жену довольно оригинальным образом, говоря: «Мне жену бог даровал глупее таракана;— что такое таракан? — нечистота, а детей выводит...», при этом видно было гордое сознание, что он с своей стороны себя в этом не винил; да, и в самом деле, без вопиющей несправедливости мудрено было винить Льва Степановича, взяв во внимание хоть одно разительное сходство с ним поваровых детей. Главное, что сердило Льва Степановича, это — отсутствие цели в хозяйстве и устройстве имения. «Я,— говаривал он,— денно и нощно хлопочу, и запашку удвоил, и порядок завел, и лес берегу, и денег не трачу, а подумаю, на что, сам не знаю; точно управляющий братнина сына, тот и возьмет всё да и спасибо не скажет, — старый, мол, дурак уладил мне именьице, нагрел место; оно, конечно, это мой долг, на то я богом и поставлен помещиком, чтобы хозяйничать, на том свете с меня спросится; а все-таки лучше, если бы был истинный наследник, так бы с молодых лет его и приучал!»

И Лев Степанович грустно качал головою, сидя на жестких креслах, обитых черной кожей, приколоченной медными гвоздочками. Марфа Петровна горько плакивала от подобных разговоров и за светские лишения прибегала к духовным утешениям.

Возле самого господского дома иждивением Льва Степановича была воздвигнута каменная церковь о трех приделах. Спальня выходила окнами к колокольне; при первом благовесте Марфа Петровна поспешно одевалась и являлась ранее всех в храм божий. Лев Степанович приходил позже, и то по большим праздникам и в воскресные дни. Марфа же Петровна являлась при всех богослужениях, на похоронах, крестинах, бракосочетаниях. Лев Степанович становился впереди, помогал клиросу в пении и бдительным оком смотрел за порядком, сам драл за уши и за волосы шаливших мальчишек и через старосту показывал миру, когда надобно креститься и когда класть земные поклоны.

В пятнадцати верстах от главной усадьбы был монастырь. Лев Степанович посылал туда не столько богатые, сколько постоянные приношения: возов десять прошлогоднего сена, овес, не годный на семена, сырые дрова и тому подобное. Марфа Петровна, с своей стороны, делала приношения, тоже более ценные по усердию, нежели по чему иному: она посылала розовую и мятную воду, муравьиный спирт, сушеную малину, которую иноки, не зная, что с нею делать, употребляли для настаивания вином; несколько банок белых грибов в уксусе, искусно уложенных так, что с которой стороны ни посмотришь, все видны одни белые грибы, а как ложкой ни возьмешь, всё вынешь или березовик, или масленок, а если и попадется белый, то огромной величины шлюпик. Иноки иногда посещали благочестивый дом прибежного к храму божию

помещика и всегда находили радушный прием Марфы Петровны, рассказывая ей длинные повествования о Соловецком монастыре и о Саровской пустыни, где всенощное бдение продолжалось до рассвета.

Гостей почти не являлось в усадьбе Льва Степановича; впрочем, у него в доме были постоянные гости.

Ехавши из Петербурга, Лев Степанович дозволил Марфе Петровне пригласить к себе на житье ее дядю, не главного, а так, дядю-старика, оконтуженного в голову во время турецкой кампании, вследствие чего он потерял память, ум и глаза. Настоящий дядя, не зная, куда его деть, намекнул Льву Степановичу, и Лев Степанович согласился на просьбу Марфы Петровны принять ⟨его⟩ в дом. Слепой старик был женат на молдаванке, у которой в доме лежал раненый; она была не в первой молодости и, несмотря на большие римские глаза, отличалась великим смирением духа. Месяцев через шесть после приезда Льва Степановича приехал дядя с женой. Марфа Петровна, призревая их, твердо была уверена, что она этим загладит все свои грехи и, может быть, сделает доступнее молитвы о даровании детей. Обращение, сложившееся между хозяевами и гостями, было довольно странно. Марфа Петровна называла старика дядей, но жену его не только не называла теткой, но говорила ей «ты» и в иных случаях позволяла ей целовать у себя руку. Лев Степанович говорил обоим «ты» и обращался с ними так, как следует обращаться с людьми, вполне зависящими от нас, — с холодным презрением и с оскорбительным выказыванием своего превосходства. Он их трактовал, как мебель, как вещь, не очень нужную, но к которой привык и против которой, действительно, ничего не имел. В редкие минуты, когда Лев Степанович был весел, слепой старик служил предметом всех шуток и любезностей Льва Степановича.

— А, добро пожаловать, — кричал он, — добро пожаловать, отец Ксенофонтий! Эй, — продолжал он, — Васильич (так называл он дядю), не видишь, что ли, отец Ксенофонтий идет тебя благословить?!

— Не вижу, государь мой, — отвечал слепой.

— Да вот с правой-то стороны.

И он посылал Тита благословлять старика, и тот ловил его руку. Лев Степанович хохотал до слез, не догадываясь, что самое пикантное в этой комедии состояло в том, что выживший из ума старик с той остротою слуха, которая обща всем слепым, очень хорошо знал, что отец Ксенофонтий не входил, и представлял только для удовольствия патрона, что обманут. Но верх наслаждения для Льва Степановича состоял в том, чтоб накласть на тарелку старику что-нибудь скоромного в постный день, и когда тот с спокойной совестью съедал, он его спрашивал: «Что ты, на старости-то лет в Молдавии в турецкую ⟨веру⟩, что ли, перешел? В какой день скоромное ешь?!» У старика делались спазмы, он плакал, полоскал рот, делался больным, — это очень забавляло Льва Степановича.

Лев Степанович был бы сильно обижен, если б старик уехал от него. Лев Степанович не позволил бы никому его оскорбить, даже иногда баловал его подарочком — старым камзолом, протертым шейным платком, но за всё это вознаграждал себя беспрерывным преследованием старика.

Утро слепой обыкновенно проводил в своей комнате во флигеле, где курил сушеный вишневый лист, перемешанный с венгерскими корешками. В половине второго девка, приставленная за ним, надевала на него длинный синий сюртук, повязывала белый галстух и приводила в столовую. Здесь он дожидался, сидя в углу на особенных креслах, торжественного выхода Льва Степановича, и горе бывало старику, если опоздает, и Лев Степанович придет в столовую прежде: тут доставалось ему, и Таньке, служившей при нем корнаком *, и молдаванке, и, — я почти

* поводырем (франц. «cornac»).

LE

MONDE RUSSE

ET

LA RÉVOLUTION

MÉMOIRES DE A. HERTZEN

1812 — 1835

TRADUITS PAR H. DELAVEAU

ILLUSTRATIONS DE A. SCHENK

SEULE ÉDITION AUTORISÉE PAR L'AUTEUR

PARIS

E. DENTU, LIBRAIRE-ÉDITEUR

PALAIS-ROYAL, 15, GALERIE D'ORLÉANS

1860

CHAPITRE PREMIER.

Ma nourrice et la Grande Armée. — Incendie de Moscou. — Entrevue de mon père avec Napoléon. — Le général Dovaïski. — Voyage avec des prisonniers français. — Acte de patriotisme. — Calot. — Administration commune de nos biens. — Le partage. — Le sénateur.

— « Ma bonne Vera Artamonovna, racontez-moi donc encore une fois l'entrée des Français à Moscou ? » — disais-je à ma nourrice, en m'allongeant dans mon petit lit, entouré d'une bande de toile pour me préserver des chutes; et je m'enveloppai dans ma couverture de piqué blanc.

— « Comment pouvez-vous aimer à entendre de

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И СТРАНИЦА ФРАНЦУЗСКОГО ИЗДАНИЯ «БЫЛОГО И ДУМ», 1860 г.

Книга появилась в переводе А. Делаво, с измененным названием «Русский мир и революция». Иллюстрации А. Шенка

На рисунке: «Семейная сцена в доме Яковлевых» («Раздел»)

уверен, что и Титу доставалось по дороге. Старику подвязывали салфетку и сажали его за стол, где он смиренно дожидался, пока Лев Степанович ему пришлет рюмку настойки, в которую сам Лев Степанович всегда подливал воды. За столом старик не смел ничего просить да не смел ни от чего и отказаться, даже больше двух стаканов квасу с мятой ему не дозволялось пить. Подадут ли дыню, Лев Степанович вырежет лучшую часть, а корки положит ему на тарелку. Марфа Петровна делала то же со зрячей молдаванкой, прибавляя, что это сущий вздор, будто только мягкую закраину дыни можно употреблять во снедь.

Иногда Лев Степанович будил в старике что-то похожее на чувство человеческого достоинства, и он дрожащим голосом напоминал Льву Степановичу, что ему грешно обижать слепца и что он все-таки дворянин и премиер-майор по чину.

— Премиер-майор,— отвечал Лев Степанович, у которого кровь бросалась в лицо от такой дерзкой оппозиции,— да ты бы ехал в полк, ха, ха, ха, ну что же делать, не по нраву я тебе пришелся, прости великодушно, а уж переучиваться мне не под лета: ведь я тебя не на веревочке держу, ступай опять в Молдавию.

— Не забывайте, Лев Степанович,—робко прибавляла Марфа Петровна,— что всё же он мой дядя и вам, стало, сродник.

— Вот, в самом деле! — возражал еще более разъяренный Лев Степанович, — скажите на милость, научили глупого старика, ха, ха, ха, а я ведь и не знал! Спасибо вам, матушка Марфа Петровна! А знаешь ли ты, что кабы он не твой дядя был, так и не сидел бы не то что за столом у меня, а и под столом. Майорством мне пригрозить хочет, слепая дура!

Испуганная майорша дергала за рукав мужа в этих случаях и начинала плакать, прося простить неразумного слепца, выжившего из ума и не умеющего ценить благодеяния. У старика текли по щекам тоже слезы, но как-то очень жалкие; он походил на беспомощного ребенка, обижаемого грубой толпой, без всяких средств обороны.

После обеда все ложились спать. Пока Лев Степанович отдыхал, Тит должен был стоять у дверей и, когда Лев Степанович ударит в ладоши, Тит должен был входить с кувшином кислых щей. Иногда в это время Тит бегал в девичью и приказывал, по именному назначению, той или другой горничной налить ромашки и подать барину, что «де, на животе не хорошо», и та с трепетом бежала к Агафье Ивановне за ромашкой, и Агафья Ивановна, ⟨ворча⟩ сквозь зубы, сыпала вонючую траву в чайничек. Марфа Петровна никогда не посещала мужа во время частых припадков его, ограничивая свое участие разведыванием, кто именно носил ромашку, для того, чтоб при случае припомнить такую услугу и такое предпочтение...

Лев Степанович, запивши сон кислыми щами или ромашкой, отправлялся по полям и часов в шесть являлся в чайную комнату, где у стены уже сидел на больших креслах слепой майор и вязал чулок, единственное умственное занятие, которое осталось у него. Иногда старик засыпал; Лев Степанович не мог этого выносить и тотчас кричал горничной Таньке: «Не зевай!» И Танька будила старика, который, проснувшись, уверял, что он и не думал спать, что он по ночам плохо спит от поясницы. После чая приходил староста и земский с работ. После старосты Лев Степанович вынимал довольно не новую колоду карт и играл в дурачки с женой и молдаванкой. Когда он бывал в особенно хорошем расположении, то середь игры рассказывал в тысячный раз отрывки из аристократических воспоминаний своих: как покойник граф его любил, как ему доверял, как советовался с ним. «И, однако, дружба дружбой, а служба службой; бывало, задаст такую баню — стоишь себе, повеся голову, а он-то в гневе бумаги побросает на пол, кричит: „Да что у тебя в голове, сено накладено, что ли?! Как, столько служишь при мне, и не знаешь моего нраву?

Езоп эдакой!" Иной раз и чувствуешь, что правехонек, ну да уж и не отвечаешь, надо дать место гневу; он же терпеть не мог, когда отвечают. Тогда было жутко, бывало, грешный человек, и посетуешь, а теперь с благодарностию вспоминаю, как граф поучал».

Всего же более он любил останавливаться с большими подробностями на том, как граф его посылал однажды с бумагой к князю Григорию Григорьевичу... «Утром встал в пять часов. Тит тогда мальчишкой был, не разъедался еще, как теперь, что гадко смотреть,—ходит, с ноги на ногу переваливается,— я-де дворецкой; тогда был полегче, а такой же лентяй и преглупый. Выхожу в переднюю, а он еще спит. Я его растолкал да скорее за парикмахером. Причесали меня, тогда вот эдак три пукли носили одна под другой, — я надел мундир, взял шляпу с плюмажем, еду к князю. Вхожу в переднюю, говорю человеку, что вот-де по такому делу от графа. Человек посмотрел на меня, видит, что с двумя лакеями приехал: „Раненько изволили приехать, говорит, князь не встает раньше десяти часов, а теперь восьми нет; после десяти, я, мол, доложу камердинеру".—„А можно, любезнейший,— говорю я ему,—здесь подождать где-нибудь?" — „Как не можно, комнат у нас довольно; вот пожалуйте в залу". Я взошел в залу, люди полы метут да с окон пыль сметают, я сел в уголок и сижу. Часика через два вышел секретарь, что ли, или камердинер и прямо ко мне.— „Вы от графа?"— „Я, государь мой",— отвечал я, вставая.— „Пожалуйте к его светлости в гардеробную". Вхожу. Князь изволит в пудермантеле* сидеть, и один парикмахер в шитом французском кафтане причесывает, а другой держит на серебряном блюде помаду, пудру и гребенки. Князь взял бумагу да таким громким голосом мне и молвил:— „Благодари графа, я сегодня же доложу об этом деле. Мне граф о тебе говорил, что ты деловой и усердный чиновник; старайся вперед заслуживать такой же отзыв".—„Светлейший, мол, князь, кажется, жизнь свою готов положить на службе..." — „Хорошо, хорошо,— сказал князь и изволил со стола взять табакерку золотую,— вот за твое усердие государыня тебя жалует". Как он это сказал, у меня слезы в три ручья. Я хотел было руку поцеловать у светлейшего, он ее отдернул, я в плечо его. Князь взглянул на меня да как изволит рассмеяться, а сам пальчиком парикмахеру указал, и тот на меня взглянул да и давай хохотать. Что за притча, думаю. „Ну ступай, ступай, мой милый",— сказал князь, так ласково кивнув головой. Я, целуя в плечо князя, весь вымарался в пудре. Князь потом за столом у государыни изволил об этом рассказывать. Ей-богу!..» И во всем лице Льва Степановича распространялась гордая радость.

Но большею частью, вместо аристократических рассказов и воспоминаний, Лев Степанович, угрюмый и «гневный», как выражалась молдаванка, притеснял ее и жену за игрой всевозможными мелочами и капризами: бранил, бросал, сдавая, карты на пол, дразнил их и так добивал вечер до ужина. В десятом часу Лев Степанович отправлялся в опочивальню, замечая: «Слава богу, вот день-то и прошел».

Перед спальней была образная, маленькая комната, которой восточный угол был уставлен большими и драгоценными иконами. Перед ними вечно теплилась лампадка из деревянного масла. Лев Степанович усердно и долго молился, кладя в нужных случаях земные поклоны, или, по крайней мере, касаясь перстом до земли. Тут он отпускал Тита и отправлялся в спальню. А Тит, пользуясь единственно свободным временем, шел в гости или к Исаю-рыбаку или к обручнику Никифору, людям зажиточным и гостеприимным, а всего чаще к старосте, который постоянно покупал на мирской счет сивуху для дворни. Тит брал с собой по выбору кого-либо из

---

* *Pudermantel* (нем.)— накидка, которую надевали во время припудривания волос.

старейшин передней, особенно же Митьку-цирюльника, потому что тот лихо играл на гитаре.

Долго жил так доблестный помещик Лев Степанович, бог знает для чего устраивая и улучшая свое имение, усугубляя свои доходы и не пользуясь ими. Дом его с селом составлял какой-то особый мир, которого центром был Лев Степанович, мир, совершенно разобщенный со всем остальным миром чертою, проведенною генеральным межеванием. Даже газеты не получались в Липовке; войны раздирали Европу, миры заключались, торжествовались победы, совершались великие события, а в Липовке всё шло нынче, как вчера — вечером игра в дурачки, утром сельские работы, Тит всё так же стоял у дверей с квасом после обеда, и никто не токмо не говорил, но и не знал и не желал знать о всемирных событиях.

Но так как всему временному есть конец, то пришел конец и Льву Степановичу, и конец весьма крутой. Однажды после обеда, употребив довольно много борщу, буженины, жареной индейки с моченой брусникой и смочив всё это квасом, — ибо Лев Степанович почти никогда вина не употреблял, хотя и пил перед обедом рюмку водки, иногда после обеда рюмку наливки и в редких случаях с чаем ром, — Лев Степанович перешел в гостиную закусить обед арбузом, который он остроумно называл красным сахарцем, тогда как чай постоянно именовал китайской водицей. Освежившись красным сахарцем, он было пошел в кабинет, да по дороге встретил Настьку, говорившую с известным уже нам музыкантом и цирюльником Митькой. Лев Степанович был чрезвычайно ревнив во всём, что касалось до горничных; ему что-то померещилось не совсем хорошее в выражении Митькина лица. Он закричал на Митьку и схватил в углу стоявшую палку. Митька, горячая голова, как все артисты, ударился бежать; Лев Степанович за ним, со всем грузом буженины и кваса под арбузом; Митька от него, он за ним, тот наверх, на чердак... На крик барина явился Тит, прибежала вся дворня. Барин, багровый от гнева, велел поймать Митьку. Его на чердаке не нашли. Барин велел сыскать хоть под землею и посадить в колодку, пока он решит судьбу инсургента, а сам, усталый, запыхавшись и дрожа от гнева, пошел в кабинет уснуть.

Случай этот распространил ужас и беспокойство в доме, в людских, в кухне, в конюшне и даже в избах. Агафья Ивановна ходила служить молебен и затеплила свечку в девичьей перед иконой всех скорбящих заступницы. Марфа Петровна ходила по комнатам, не зная, что начать. Молдаванка, несколько сбивавшаяся на поврежденную, поминала царя Давида и всю кротость его и читала «Свят, свят, свят», как читают во время грозы.

Тит с двумя десятскими нашел Митьку в питейном доме; он громко кричал, что хочет в солдаты, что если его не отдадут, то сделает над собой грех, и решительно отказывался идти. — «Митрий, а Митрий, ты не горлань! — говорил ему Тит, — барина рука длинная, везде достанет, а ты не горлань, а ступай лучше со мной». И Митька пошел и пел всю дорогу «барыню» с разными вариантами.

Посадив своего друга в колодку, неумытный Тит побежал к двери, с кислыми щами и с еще более кислым лицом, прислушиваясь к каждому шороху.

В пять часов Марфа Петровна присылала босую горничную узнать, изволил ли барин проснуться. Тит молча помахал рукой и приложил палец к губам. В шесть пришла сама Марфа Петровна к дверям. «Кажется, еще не изволили просыпаться, — отвечал шопотом Тит,— вот с час было слышно, изволили храпеть». Марфа Петровна взошла в кабинет и вдруг закричала. Тит уронил от испуга кувшин с кислыми щами. Закричать было немудрено: старый барин лежал, растянувшись, возле кровати, один глаз был прищурен, а другой совершенно открыт, с тупым и мут-

ным выражением, рот немного перекосился и несколько капель кровавой пены текло по губам.

С минуту продолжалась совершенная тишина, но вдруг, откуда ни возьмись, хлынула в комнату вся дворня, и грозный Тит не препятствовал, а стоял, как вкопанный. Однако, более сильный характер, он первый пришел в себя и снова с тем повелительным голосом, которым говорил лет двадцать, сказал:

— Сенька, что тут зевать, внесите сюда корыто! А ты, Ларька, скорей за батюшкой сбегай! Да нет ли у вас, Агафья Ивановна, пятака, на правый-то глаз надобно положить.

Марфу Петровну вынесли в обмороке. Молдаванка взбежала в комнату с каким-то неестественным хныканьем и, поскользнувшись в луже кислых щей, чуть не сломила себе ногу.

Освобожденный арестант, Митька, без всякой rancune* приготовлялся, как записной грамотей, ночью читать, взапуски с земским и с дьячком, псалтырь и для этого просил у молдаванки подарить нюхательного табаку, чтоб не уснуть.

Дворня была испугана и сконфужена. Они доставались человеку неизвестному; нрав старого барина они знали и применились к нему, теперь приходилось начинать вновь службу... и как, что будет? Кто останется, кто нет, на каком положении? — всё это волновало умы и заставляло жалеть о покойнике.

Через два дня Тит написал к будущему обладателю следующее письмо:

«Все — Милостивейший Государь, Государь батюшка и единственный заступник наш Михаил Степанович.

По приказанию Тетушки Вашей, а нашей Госпожи Марфы Петровны. Приемлю смелость начертать Вам, батюшка Михайло Степанович, сии строки, так как по большому огорчению они сами писать сил не чувствуют. Богу же угодно было посетить их великим несчастием — утратою их и нашего отца и благодетеля, о упокоении души коего должны мы до скончания дней наших молить Господа и Дядиньки Вашего в бозе почившего Льва Степановича, то есть скончавшегося сего месяца в двадцать третие число, в 6 часов пополудни. О чем слезно имеет счастие уведомить Вашу Милость через меня, раба Вашего.

Так как по известности мы Ваши, то батюшко и все—Милостивейший Государь Михайло Степанович могите не оставить недостойных подданных Ваших. Чувствуем, как обязаны Вашему здоровью до конца нашей жизни усердствовать, что Дядюшке то и Вам. Как вся дворня, так и выборный Трофим Кузьмин с миром.

Нижайший раб Ваш Тит, если изволите помнить, что при покойном Дядюшке Камердынером находился.

Село Липовка. Июня 25-го дня 1794 года».

(То есть около 9-го Термидора. Переворот в Липовке совпал с переворотом во Франции).

III

Михайло Степанович был сын брата Льва Степановича, Степана Степановича. В то время как Лев Степанович посвящал дни свои блестящей гражданской деятельности, получал высокие знаки милости и одобрения, карьера меньшого брата его, Степана Степановича, разыгрывалась на ином поприще.

Любимец родителей, баловень и «неженка», как выражалась дворня, он оставался в деревне. В двенадцать лет старуха-няня мыла еще его каждую субботу в корыте и приносила ему с села лепешки, чтоб он хорошенько

* злопамятства (франц.).

позволил промылить голову и не кричал на весь дом, когда мыльная вода попадет в глаза. Лет четырнадцати признаки раннего совершеннолетия начали ясно сказываться в отношениях Степушки к девичьей. Матушка его, не слышавшая в нем души, не токмо не препятствовала развитию его ранних способностей, но со слезами умиления смотрела на нежное сердце сына и во многом помогала ему, что при ее средствах и гражданских отношениях к девичьей и не представляло непреоборимых трудностей. Нежные чувства, питаемые с такого нежного возраста, вскоре поглотили всего Степушку; вероятно, как выражаются нежные поэты, любовь была единственным призванием его; он с четырнадцати лет и до кончины своей был верен избранному пути буколического помещика.

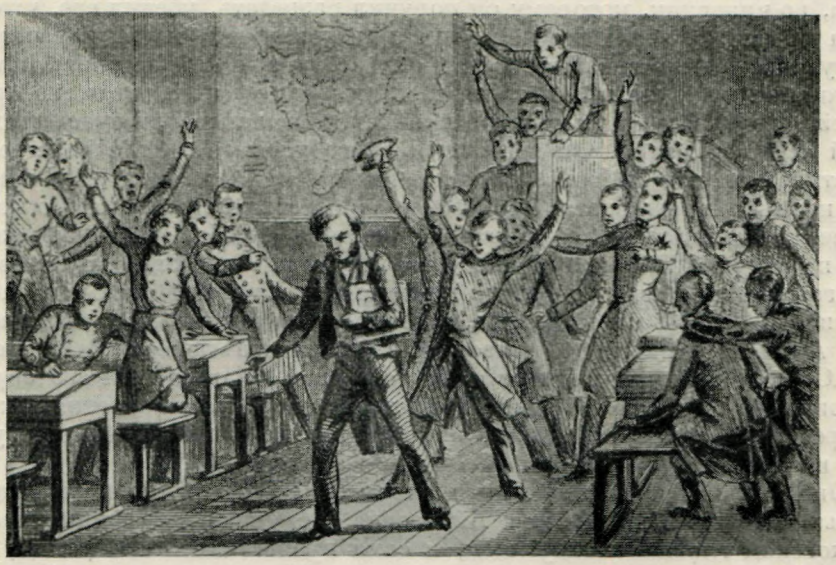
Степушка недолго пользовался покровительством родителей, недолго жил под крылышком своей матушки: ему было 18 лет, когда он ее лишился, а через четыре года умер и отец его. Лев Степанович сам приезжал из Петербурга насчет раздела. Смерть родителей и честное предание их тела земле не доставило Степану Степановичу столько беспокойства и сердечной муки, как приезд брата; он его боялся, советовался со своими подданными, что ему делать, и не мог без содрогания вздумать, как они будут делить дворовых, к числу которых принадлежала девичья. Степан Степанович взял свои меры: всех горничных велел запереть в поваровой комнате, оставив налицо только таких, которые имели значительные недостатки в лице, сильную шадровитость, косые глаза и тому подобное. Лев Степанович всё понял, обделил неопытного брата, закупив его пустыми уступками, предоставил ему почти весь прекрасный пол и, благословляемый им, уехал назад.

Проводивши брата, Степан Степанович, потирая руки от удовольствия, что тот не догадался о его спрятанных сокровищах, деятельно принялся за устройство имения. Он купил двух музыкантов и приказал им учить дворовых девок петь. Хоры составились славные, учители играли один на торбане, другой на кларнете. В праздничные дни сгоняли с утра крестьянских девок и баб на лужок перед домом для хороводов. Степан Степанович после обеда выходил к ним,—да, вы, пожалуйста, не ошибитесь, это все-таки значило: утром, часу во втором. Он обыкновенно садился в сенях, в халате нараспашку; около него стояли лучшие представительницы девичьей, обмахивая мух и приготовляя чай, который Степан Степанович употреблял в большом количестве, больше как благопристойного друга французской водки, нежели за внутренние достоинства. Степан Степанович сам угощал гостей цареградскими стручками, пряниками, брагой и грошевыми серьгами, сам участвовал в танцах и к вечеру так напивался чаем, что две грации отводили его домой.

Материальной частию хозяйства Степан Степанович, как все сентиментальные натуры, заниматься не любил; староста и повар управляли довольно самодержавно всею вотчиною. До барина доступ был нелегок, да кому и случалось с ним молвить слово, остерегался проболтаться, особенно с тех пор, как одна крестьянка с большими и черными глазами пожаловалась барину на старосту, а барин велел старосту на конюшне наказать, не давши себе труда разобрать, что баба была совершенно не права. Староста обмылся пенничком и кротко вынес наказание, не думая оправдываться; но желание мести сильно запало в его душу. Спустя неделю, другую, староста через повара доложил барину, что такая-то баба балуется, и, несмотря на приказ, в очень близких сношениях с своим мужем, что ей было запрещено. Поступок этот, так грубо неблагодарный, огорчил Степана Степановича; он велел ее без очереди назначать в работу. Худая и состарившаяся через год, она на себе носила доказательства, что приказ его был исполнен в точности.

Веселая жизнь Степана Степановича стала скоро известной в околодке; явились соседи,— одни с целью его женить на дочери, другие — обыграть, третьи, более скромные, познакомились потому только, что им казалось пить чужое вино и чужой пунш выгоднее своего. Он поддавался всему,— весьма вероятно, что его бы женили, обыграли, но — нежное сердце его спасло.

Посещая одного из своих соседей, он увидел у него горничную Акулину и влюбился, да ведь как! есть перестал, а пить стал вдвое больше. Подумал он после дома, подумал, видит, что такой страсти переломить невозможно; опостылела ему девичья, и если он иногда дозволял себе кое-какие шалости, то это больше, чтоб не отставать от привычек, нежели из удовольствия. Мучился он, мучился да и пристал к соседу: продай



ИЗГНАНИЕ СТУДЕНТАМИ ПРОФЕССОРА МАЛОВА
Иллюстрация А. Шенка из французского издания «Былого и дум», 1860 г.

Акульку. Сосед поломался, потом согласился продать, но с условием, чтоб Степан Степанович купил всю семью: «Я, говорит, не хочу разлучать, что бог соединил». Степан Степанович на все согласился и заплатил ему 3500 рублей; по тогдашним ценам на такую сумму можно было купить десять Акулек и столько же Дуняшек с их отцами, братьями, сестрами и матерями.

Сельская Брунегильда поняла, именно по сумме, заплаченной за нее, ширь своей власти и в полгода привела нашего Меровинга в полнейшую покорность. Померкло влияние повара, ослабла сила старосты. Отец Акулины Андреевны был сделан дворецким, мать ключницей, да она и им потачки не давала, а держала их в страхе и повиновении. И всего этого было ей мало; более близкая по характеру к Наполеону, нежели к Кромвелю, она захотела быть помещицей, она стала питать династические интересы. И Степан Степанович поехал в четырехместной карете покойного родителя своего в церковь и обвенчался.

Брак их, не так, как брак Льва Степановича, не остался бесплодным. В сенях господского дома, когда они возвратились, сперва подошли к ручке и поздравили новую барыню ее родители, а потом поднесла кормилица сынка десяти месяцев — нашего Михаила Степановича.

После свадьбы барин сделался миф⟨ом⟩. Акулина Андреевна приняла бразды правления. Она с глубоким и основательным политическим тактом взяла все меры, чтобы упрочить свое самовластие; но, как всегда бывает, взявши все меры, она все-таки упустила из виду одну из возможных причин переворота [и на ней всё оборвалось]*. Мало знакомая с физиологией и патологией, она не знала, что организм человеческий только до известной степени противодействует алкоголю. Лет через семь после бракосочетания синий Степан Степанович, хромой от паралича и толстый от водяной, отдал богу душу.

Это было в самое то время, когда Лев Степанович отделывал свой дом на Яузе.

Получивши весть о смерти брата, Лев Степанович в первые минуты горести попробовал было опровергнуть брак покойника и законность его сына, но чиновник, которому он поручил разведать, убедил его, что Акулина Андреевна взяла все меры еще при жизни ее мужа и что четырнадцатую часть ей выделят во всяком случае да еще его заставят заплатить протори. Больно было Льву Степановичу, но он покорился несправедливой судьбе и, как настоящий практический человек, тотчас придумал иной образ действия. Он написал к вдове письмо, полное родственного участия, и звал ее в Москву для окончания дела и для того, чтоб показать ему наследника его брата, а может, и его собственного, пещись о котором он считал священнейшею обязанностью, ибо судьбою и богом назначен ему в опекуны. Весьма вероятно, что Акулина Андреевна не повезла бы своего сына по письму дяди, но после смерти Степана Степановича люди стали что-то грубо поговаривать, а иногда даже и перечить с таким видом, что Акулине Андреевне показалось безопаснее переехать в Москву. Лев Степанович плакал при свидании с Мишей, благословил его образом, в припадке семейных чувств выделил отличную часть имения Акулине Андреевне и взял на себя все хлопоты по опеке над племянником, устранив всякое влияние матери.

Оно вскоре устранилось и другим образом. Своей четырнадцатою частью прельстила Акулина Андреевна поручика из ординарцев при московском главнокомандующем, и сама прельстилась его ростом и его дебелой и свирепой красотой, совершенно противоположной рыхлой наружности аркадского покойника. Она не могла удержаться, чтоб не выйти за него замуж. Роли переменились. Поручик с четвертого дня начал бить жену, жену, которая «ада и небес едва не досягала». Акулина Андреевна с горя стала попивать подслащенные наливки; не знаю, что с нею сталось потом; через год поручик, сделавшись капитаном, получил хорошее место по кригс-комиссариатской части, где-то на Черном море, куда увез и супругу свою. Лев Степанович требовал, чтоб племянник его остался в Москве. После легких прений мать согласилась и вотчим тоже, основываясь на том, что он место долею получил за некоторые дружеские пожертвования, а частию по ходатайству Льва Степановича, вследствие чего берег дружбу его на черный день.

IV

Мише было лет десять. Воспитание его не было сложно: простое патриархальное, деревенское воспитание того времени; оно ограничивалось с физической стороны развитием непобедимого пищеварения, с нравственной — укоренением высокого мнения насчет столбового происхождения и верного взгляда на отношения помещика к дворовым. Воспитание

---

* *Слова:* и на ней всё оборвалось — *зачеркнуты, очевидно, по ошибке; на полях поставлен вопросительный знак.*

это не столько было отвлеченно и книжно, как практично, en action *, и по тому самому имело несомненный успех; воображение десятилетнего мальчика гораздо сильнее поражалось таким преподаванием, нежели всяким школьным. Его окружала толпа оборванных, грязных и босых мальчиков, которых он щипал и бил, которых нежная родительница его секла, если он жаловался.

Один более свободный товарищ его игр был сын сельского священника, отличавшийся белыми волосами, до того редкими, что они не совсем покрывали череп, и способностью в двенадцать лет выпивать чайную чашку сивухи, не пьянея. Иногда сын священника осмеливался делать кой-какие грубости Мише: не позволял ему себя тотчас поймать в горелках, когда Мише приходилось гореть, обгонял его взапуски, сам ел найденные ягоды. Мишу это чрезвычайно оскорбляло; разумеется, и Акулина Андреевна не могла оставаться равнодушною к такому нарушению приличий; она подзывала к себе сына священника и поучала его следующим образом: «Ты, толоконный лоб, помни у меня и чувствуй, что я тебе с кем позволяю играть. Ты воображаешь, что это дьяков сын. Дурачок! с ровней, что ли, играешь! Ты должен уступить помещику, неуч!»

Матушка-попадья, бывало, как услышит подобное слово, тотчас, не вступая в дальнейшее разбирательство дела, поймает сына за бедные волосенки, как-то приправленные на масле, приносимом для лампады тихвинской божией матери,— и довольно ловко представляла вид будто бесщадно дерет его за волосы, приговаривает: «Ах ты, грубиян эдакой, поганый, вот истинно дурья порода! Простите матушка, Акулина Андреевна, изволите сами, матушка, знать, какой ум в наших детях, так, мужики, никаких обращений. А ты благодари барыню, что изволит обучать». — И она наклоняла его голову и сама кланялась.

Миша после напоминал своему приятелю, торжествуя над ним, но тот, обиженный, в свою очередь присовокуплял: «Ведь, всё врет, мать-то, только так горячку порет — для господ». Разумеется, всё это вместе способствовало к прочному развитию не столько любезного, сколько столбового характера.

Странно показалось Мише после такой привольной жизни в доме у дяди, но он и недолго прожил в нем. Двоюродная тетка Льва Степановича выпросила его к себе, воспитывать со своим сыном, который, говорила она, был один и скучал. Лев Степанович побаивался княгини и согласился. Побаивался он ее потому, что она сильно любила болтать и имела большие связи в Петербурге. Что́ она могла ему сделать болтовней и связями, не знаю, да и он не знал, а трусил. Княгиня была богата, держала большой дом, ничего не делала, кроме важных визитов, и не находила времени присмотреть за детьми; оно же и не вовсе было нужно. Она взяла для сына гувернера; рекомендованный самим Вольтером Шувалову во время его путешествия, Шуваловым — княгине Дашковой, Дашковой — нашей княгине, он самоуправно управлял делом воспитания. Гувернер был неглупый человек, с легким, но блестящим образованием и со всеми недостатками француза, из которых половина была очень мила; он был blagueur**, он был высокомерен, дерзок, но зато остер и весел; с улыбкой превосходства смотрел он на всё русское, от роду не слыхал, что есть немецкая литература и английские поэты, как следует знал на память Корнеля и Расина, знал энциклопедистов и Вольтера, даже понимал несколько древние языки, даже любил поразить стихом из Виргилия или Горация [который произносил в этом роде: Беатюсь ки прокюль негосиис, патерна сксерсит бобиос сюис. Само собою разумеется] Наш гувернер был

* в действии (франц.).
** хвастун (франц.).

поклонник Гельвециевой философии и учений Жан-Жака; он с жаром толковал о равенстве, несмотря на то назывался chevalier * и никогда не забывал ставить «де» перед своей звучной фамилией: Дрейяк. Он с улыбкой сожаления говорил о католицизме и проповедовал какую-то религию собственного изобретения, состоявшую из поклонения закону тяготения, потому что без него был бы хаос, что им поддерживается «великий порядок», в котором только человеку открывается «великий художник». При развитии этих глубоких истин он всегда присовокуплял, не знаю для чего, что Платон высшее бытие называл геометром, а Ньютон снимал шляпу при имени бога. Сверх своей религии тяготения, он упорно не хотел суда на том свете, хотя против бессмертия души ничего не имел. Говорят, что сверх должности гувернера он исполнял многие обязанности покойного князя, но я этому никогда не верил.

Учение шло весело и легко. Дрейяк заставлял учеников декламировать, читать вслух, а больше всего болтал с ними. Он мог всегда говорить без различия предмета, без различия пола и возраста беседовавших,— и потому Миша и князь отлично выучились слушать по-французски, а потом и довольно хорошо говорить.

Миша долго грустил в доме княгини; он был похож на дикого зверька, посаженного в клетку, смотрел к лесу и тайком утирал слезы, вспоминая о своей жизни в Липовке. Сметливый от природы он хорошо заметил, что первая роль не ему принадлежит: он был «братец», он был «cher cousin» **, в то время как князь был самим собою. Он равно видел это различие и в обращении княгини, и в обращении постоянных гостей ее, даже в обращении дядьки; старик без возражения исполнял приказы князя, а Мише часто говорил, что ему некогда, что у него не шесть ног, что можно послать кого-нибудь помоложе. Глубоко оскорбляемый всем этим, Миша дулся, сидел в углу и смотрел исподлобья. Дрейяк это относил к дикости, другие и не замечали.

Видя безуспешность своих протестаций, Миша переломил себя, стал ласков, послушен и мало-помалу сделался любимцем не только Дрейяка, но даже всей дворни. Княгиня не могла надивиться, какой он смирненький и неглупый мальчик. Но смирненький мальчик в одиннадцать лет, подчиняясь всем и всех слушаясь, ставил на своем с ловкостию дипломата, достигал всего, чего хотел.

Князь не любил учиться, он был рассеян, скучал за уроками. Миша понял это, и с той минуты сделался прилежен. Дрейяк не мог надивиться способностям «маленького дикаря» и пророчил ему блестящую будущность. Начав учиться из зависти и из затаенного желания унизить соперника, он втянулся в самом деле не столько в науку, как в чтение; шестнадцати лет он перечитал всю библиотеку гувернера. Дрейяк чуть не плакал, слушая, как Миша цитировал ко всему на свете места из «Pucelle»***, из «Кандида», из «Жака-фаталиста».

Мало-помалу воспитание молодых людей пришло к концу. Они писали французские записочки правильнее русских. При всей лени даже князь знал мифологию и французскую и римскую историю; больше и не требовалось в то время от русских. Тогда еще русской литературы не выдумывали, русских журналов и не снилось никому, разве одному Новикову; русской истории тоже еще не было открыто — знали только, что царствовал мудрый правитель Олег, о котором сама императрица изволила написать драму «Олег вещий», и великий преобразователь Петр, о котором даже Вольтер написал целую книгу. Взяв это во внимание, не

* кавалером (франц.).
** дорогой кузен (франц.).
*** «Девственница» (имеется в виду поэма Вольтера «Орлеанская девственница»).— *Ред.*

покажется странным, что наши юноши окончили свое воспитание, никогда не бравши в руки ни одной русской книги, несмотря на то, что у княгини было собрание сочинений Сумарокова, «Россияда» Хераскова и «Камень веры» Стефана Яворского.

Княгиня сама повезла «детей» в гвардию и определила в один полк. Кряхтя, высылал Лев Степанович племяннику часть доходов с имения, объясняя всякий раз княгине, что имение покойного брата расстроено, доходов мало, урожаи плохие и всходы больших надежд не подают.

Служба была тогда легкая. Изредка приходилось надеть мундир, в кои веки доставалось побывать в карауле; это даже нравилось как разнообразие. Остальное время, кроме родственных визитов, визитов к важным людям, обедни по воскресеньям в домовой церкви княгинина брата, было в полном распоряжении молодых людей. Князь бросился в светскую и разгульную жизнь со всем пылом юности, окрыленной богатством, беззаботный, от роду не останавливавшийся ни на чем и отроду ни на чем не останавливаемый, он был вспыльчив, дерзок, несколько раз проигрывался в карты, имел истории, и при всем этом был славный товарищ, благородный, открытый и даже по-своему гордый человек.

Столыгин был неразлучен с князем и играл довольно странную роль. Он участвовал во всех шалостях молодого человека, наводил его на такие, которые бы ему не пришли в голову, и потом почти всегда был ими недоволен. Он с каким-то снисхождением, даже с покровительством гулял на счет своего товарища, он, как будто нехотя и внутри порицая всё, что делалось, во всем брал долю. Столыгин так умел себя держать, что из всех историй выходил совершенно чистым, а между тем, в сущности, не только не отставал от товарищей, но был гораздо основательнее их испорчен; его разврат не бросался в глаза именно потому, что он был обдуманнее и хладнокровнее, нежели у увлекавшегося князя.

Князь верил в его дружбу, знал его превосходство и с детским простодушием прибегал во всяком трудном случае к Мише за советом. Полагаю, что Миша любил князя, но на том условии, чтоб тот никогда не забывал своей зависимости.

Князь был хорош собой и имел успехи у женщин, особенно у сангвинических девиц, у молодых вдов. Столыгин, бравший не столько красотой, сколько дерзкой речью, нескромностью желания и сладострастным взглядом, не мог простить своему другу его высокий рост и его красивые черты, и старался всякий раз затмить его остротами, умом, колкостями.

Поволочившись года три за женщинами всех слоев общества, от барских палат до швей и модисток, причем князь имел две-три драки, поигравши в азартные игры, в которые князь проиграл довольно большие суммы, для скрытия которых от матери надавал двойных векселей; словом, поделавши всё, что называлось тогда службою в лейб-гвардии, молодым людям захотелось съездить в Париж. Столыгин подбил князя. Княгиня долго не соглашалась, но потом сама отпросила их в отпуск, и они отправились в Париж. Надзор за *детьми* был снова поручен Дрейяку, который успел в антракте образовать еще двух русских помещиков греческой мифологией и французскою историей.

В Париже всё их поразило. Улицы кипели народом, там-сям стояли отдельные группы, что-то читая, что-то слушая; крик и песни, громкий разговор, грозные возгласы и движения — всё показывало ту лихорадочную возбужденность, ту удвоенную жизнь, то судорожное и страстное настроение, в котором был Париж того времени; казалось, у камней бил пульс, казалось в воздухе была примешана электрическая струя, наводившая беспокойство и злобу на душу, охоту борьбы, потрясений, страшных вопросов и отчаянных разрешений — всего, чем были полны писатели XVIII века, проповедники эгоизма, вызвавшие столько самоотвержения,

поборники отрицания, возбудившие фанатическую веру...* И всё это выговорилось, заявилось, выказалось, окружило путников прежде, нежели запыленный тяжелый дормез остановился у отели в улице Сент-Оноре, прежде, нежели двое крепостных слуг успели отстегнуть пряжку у вожжей.

Дебют в Париже и Версале был чрезвычайно удачен, благодаря пуку рекомендательных писем, которые шевалье де-Дрейяк славно осветил ослепительными лучами богатства, вести о котором он распустил с достодолжною рельефностью, не останавливаясь, разумеется, на прозаической истине.

Михайло Степанович, напудренный и раздушенный, в шитом кафтане, с крошечной шпажкой, с подвязанными икрами, весь в кружевах и цепочках, сделался фрондером и чуть не опасным умом. Он толковал об tiers-état **, превозносил Неккера и пугал старых маркиз революцией. Его заметили. Несколько колкостей, удачно им сказанных, повторялись.

— Знаете ли, что меня всего более удивляет в этом marquis hyperboréen? *** — сказал раз, сдавая карты, пожилой аббат с сухим и строгим лицом, — не столько его ум, — умом, слава богу, нас трудно удивить, — а его способность всё понимать и ни в чем не принимать истинного участия. Для него жизнь, кипящая возле, имеет тот же интерес, как весть о Сезострисе; это какой-то посторонний всему.

— Скиф в Афинах, — заметил кто-то.

— Совсем нет, — возразил аббат, — у скифа было бы что-нибудь свое, дикое, а он с виду и с речи похож на меня с вами. Признаюсь вам, я в состоянии ненавидеть такого человека; это болезненное произведение цивилизации, привитой к корню, не нуждавшемуся в ней.

— Помилуйте, из него выйдет отличный дипломат; он даже лицом похож на Кауница, — сказал какой-то посольский советник.

— В самом деле! — подхватили многие, и гиперборейский маркиз был забыт.

Путешествие князя и Столыгина окончилось гораздо прежде, нежели они предполагали: виною тому был Дрейяк. Chevalier, одобрительно и скромно улыбавшийся «успехам и торжеству разума над предрассудками», имел обыкновение, общее многим мыслителям, особенно тем, у которых пищеварение расстроено, прогуливаться, вставши с постели. Только что он вышел однажды на бульвары, как услышал за собой какой-то нестройный гул. Он остановился и, сделав из руки зонтик от света, начал всматриваться; сначала он увидел облако пыли, потом блеск пик, ружей, наконец вырезалась нестройная, пестрая масса людей. Дрейяк никак не мог догадаться, что это за люди, но ему недолго пришлось ломать головы; высокий, плечистый мужчина без сюртука, с засученными рукавами, с тяжелым железным ломом, повязанный красным платком, поровнявшись с ним, спросил его громовым голосом, пристально глядя ему в глаза: «Ты с нами?»

Дрейяк, бледный и трепещущий, не мог сообразить, какое может иметь последствие отказ, и потому медлил с ответом; но новый знакомец взял его за шиворот и, сообщив его телу движение, далекое от того, чтоб быть приятным, повторил вопрос. Шевалье, вместо ответа, уронил свою трость. Учтивая дама, случившаяся возле, подняла ее и, показывая более и более густевшей массе народа, заметила:

---

* *Слова:* проповедники эгоизма, вызвавшие столько самоотвержения, поборники отрицания, возбудившие фанатическую веру — *не вошли ни в одно издание.— Ред.*

** третьем сословии (франц.).

*** гиперборейском (северном) маркизе (франц.).

— Это аристократ и аккапарист *, посмотрите, какой набалдашник золотой да еще с камнем! На фонарь его!

— На фонарь,— сказали несколько голосов спокойным подтверждающим тоном, исполненным наивного убеждения, что действительно его необходимо повесить на фонарь, что это — просто аксиома.

— Помилуйте, — сказал Дрейяк,— да я с вами, разумеется с вами, как же не с вами!..

И остановившаяся кучка двинулась вперед, грозно и мрачно, принимая новые толпы из всех переулков и улиц и братаясь с ними.

Дрейяку удалось завернуть (под самым суетным предлогом) в переулок; вылучив там счастливую минуту, он дал стречка и пришел домой более

СУНГУРОВ В ПЕРЕСЫЛЬНОЙ ИЗБЕ

Иллюстрация А. Шенка из французского издания «Былого и дум», 1860 г.

мертвый, нежели живой. Дома он лег в постель, велел налить какой-то тизаны ** и в первый раз признался, что дорого бы дал, если б был на величественных, но спокойных берегах Невы. Тизана помогла ему, он начал успокаиваться, но вдруг раздался залп ружейных выстрелов, — а там еще выстрелы вразбивку, пушка прогремела, и потом, будто, перестрелка ближе, слышался барабан, слышался какой-то дальний, но страшный гул, и опять проклятые выстрелы... Время от времени мимо окон бежали блузники, работники с криком: «A la Bastille! A la Bastille!» — «Grand Dieu! grand Dieu! ayez pitié de moi» ***, — повторял Дрейяк, забывши закон тяготения, и холодный пот выступал у него на лбу, когда он припоминал свое аристократическое значение; он даже с досадой запретил трактирному слуге себя звать chevalier. «Мы все люди, — говорил он ему, — все равны и отличаемся только добродетелями».

Михайло Степанович сам бегал смотреть, как осаждают Бастилью; Дрейяк был уверен, что его убьют, и уже несколько утешался в его отсутствии тем, что нашел славную турнюру ****, как известить об этом

---

* спекулянт (франц. «accapareur»).

** настойка из сухих трав (франц. «tisane»).

*** «К Бастилии! К Бастилии!»—«Господи, господи, сжалься надо мной!» (франц.).

**** оборот речи (франц. «tournure»).

княгиню, когда возвратился Столыгин, ругая на чем свет стоит нелепую защиту и помирая от смеха при мысли, как удивятся его версальские приятели такой новости.

Дрейяк объявил, что дольше в Париже он не останется и, несмотря на все споры и просьбы, он, опираясь на полномочие княгини, отстоял свое мнение с мужеством, которое может дать один сильный страх. Делать было нечего — они возвратились. Столыгин начал в Петербурге продолжать прежнюю жизнь, как вдруг одно нежданное обстоятельство изменило ее...

Князь влюбился в Париже в одну маленькую француженку; добрая от природы, она его не заставила долго страдать; жаль было князю ее покинуть, он предложил ей ехать в Петербург. Маленькая француженка согласилась с восхищением; она была сильно аристократических мнений, и ей что-то очень начинало не нравиться демократическое безденежье, распространявшееся в мире виконтов и маркизов.

Не успел князь уладить для нее квартиру в Петербурге, устроить мебель и украшения, как застал однажды Михайла Степановича в слишком огненном разговоре с нею. На этот раз князь не вынес, рассердился, начал говорить колкости. В другом случае Столыгин, может быть, и уступил бы, по крайней мере, своротил бы на шутку, но, по несчастию, он взглянул на прекрасные глаза француженки и увидел в них злую насмешку и ясный вопрос: «Как вы позволяете так с собой обходиться?» Взгляд этот сильно кольнул его, и он дал себе волю; ссора разгоралась более и более, князь, не помня себя, выбросил Столыгина за дверь и прокричал ему вслед, что он будет ждать его там-то и тогда-то.

Они дрались на шпагах. Дуэль кончилась ничем. Столыгин ранил князя в щеку. Это подражание цезаревым солдатам в Фарсальской битве вряд ли было случайно; оно ему не прошло даром: рану на щеке невозможно было скрыть. Княгиня узнала через людей о дуэли и приказала сказать Столыгину, чтобы он оставил ее дом.

Столыгин попытался объясниться с нею, она его не пустила к себе, он написал письмо, княгиня отослала его нераспечатанным. Делать было нечего, он переехал и тотчас написал нежное и мягкое послание к князю, в котором кудрявыми французскими фразами просил примириться, описывал свое несчастие, говорил, что он сам не хотел после горестного события оставаться долее в их доме, но что он убит гневом женщины, которая была для него более нежели мать, которой он всем обязан, и прочее. Разумеется, князь на другой же день забыл обиду и уговаривал мать простить Михайла Степановича, слагая всю вину дуэли на себя, но переехать назад княгиня не позволила.

Итак, Столыгин явился в первый раз на собственных ногах; ему было лет под тридцать.

Как нарочно, у него не было денег. Он написал к дяде; в ожидании ответа жить было нечем; дорого стоило Михайлу Степановичу попросить взаймы у князя, он с неделю переламывал себя и, наконец, шуточно взял у него несколько сот рублей. Обстоятельство это сильно потрясло его. Оно навело его на ряд мыслей, доселе мало его занимавших. Живя на счет княгини, ему за глаза довольно было денег, присылаемых дядей, теперь было не то. Как он ни вертел, как ни считал, а более 4000 получить было невозможно; доход прекрасный для одинокого человека в то время, но Столыгин привык к жизни в барском доме, к огромным палатам, к толпе прислуги, к пышным экипажам, а всего более к тому, чтоб не знать, чего это стоит; теперь, поразмыслив, он себе показался жалким, несчастным, нищим. Он содрогнулся, уничтожился перед этой мыслию. На этот раз он страдал действительно, не был посторонний к делу, потому что страдал о себе. Он дни и ночи проводил в придумывании, как бы сделаться богаче; одна

надежда и была — смерть дяди, но старик был здоров, почерк его писем так оскорбительно тверд; делать было нечего, и Столыгин, скрепя сердце, глубоко оскорбленный и раздраженный, решился отказаться от прежней жизни. Он заморил в себе желания, он стал рассчетлив, скуп, он сделался желт в лице, заперся в четырех стенах; словом, он так был устрашен мыслию о будущей нужде, что чуть не слег в постель, хотя еще ничего опасного не было в виду.

Дядя писал ему несколько раз, чтоб он или сам приехал, или прислал кого-нибудь в подмосковную, что ему и со своим имением управляться не под силу. Столыгин чувствовал, что сам мало смыслил в сельском хозяйстве и принялся искать управляющего. Месяца через три он получил письмо от Акулины Андреевны с одним морским офицером.

Надобно сказать, что у него с нею сношения были весьма редки; он вообще не любил, когда его спрашивали об матери; месяцев через шесть он писал ей несколько строк и посылал небольшие подарки,— тем и оканчивались его сношения с нею.

Из этого вы можете заключить, что он принял моряка чрезвычайно сухо. Мать его умоляла похлопотать о каком-то деле подателя письма, выхваляла его доблести и честность; Михайло Степанович обещал ему сделать всё, что может, и ничего не делал; но моряк привык выжидать погоды, он всякий день стал ходить к Михайлу Степановичу, наконец тот вышел из терпения и через княгиню обделал его дело.

— Чем вы намерены теперь заниматься? — спросил он его, перебивая длинное и скучное изъявление благодарности.

— Искать частной службы по части управления имением.

Михайло Степанович посмотрел на него и внутренно признал в нем искомого человека.

Он не ошибся. Моряк, как нарочно, отчасти уцелел для благосостояния хозяйства Столыгина; он летал на воздух при взрыве какого-то судна под Чесмой, он был весь изранен, но несмотря на пристегнутый рукав вместо левой руки, на отсутствие уха и на подвязанную челюсть,— эта анатомическая редкость сохранила здоровье, неутомимую деятельность, беспрерывно разлитую желчь и сморщившееся от худобы и злобы лицо. Он был исполнителен, честен, он никого бы не обманул, тем паче человека, которому он был обязан важной услугой; но многим именно эта честность и эта исполнительность показались бы хуже всякого плутовства.

Михайло Степанович предложил ему ехать осмотреть свои имения, он согласился с радостью, и с того дня у моряка не было другого закона, как воля Столыгина; он, как вольнонаемный бандит, не входил в вопрос, худо ли или хорошо ли делает, а исполнял с спокойной совестью и с величайшим рвением чужую волю. Человек этот был просто клад для Столыгина.

V

Столыгин ждал моряка с часу на час со всеми его проект ами и планами, когда вместо него получил письмо Тита. Он его прочел раз пять. У него дух сперся в груди; бледный, как полотно, с кружением в голове, вышел он на улицу, чтоб несколько привести в порядок свои мысли... две тысячи пятьсот душ отлично устроенного имения, дом в Москве, да, вероятно, билеты... Рядом с этими утешительными надеждами, его душой овладело жестокое беспокойство, страшные опасения, нет ли каких особенных распоряжений, не надавал ли старик векселей? Он немедленно поскакал в Москву. В Москве его ожидала новая весть, которой он не мог предполагать. Тит Трофимов и староста, приехавшие поклониться новому барину, известили его о смерти Марфы Петровны.

— А что, есть завещание? — спросил Михайло Степанович.

— Письмо изволили оставить к вашей милости,— отвечал Тит.

— Где оно?

— У меня, батюшка,— отвечал Тит, вынимая из бокового кармана портфель, который в юности был красного цвета.

— Ты бы, дурак, с этого начал,— заметил Михайло Степанович, торопливо вырывая у него письмо.

Едва заметная улыбка пробежала у него по лицу при чтении; он видел ясно, что смерть таким сюрпризом подкосила стариков, что они не успели сделать никаких «глупых распоряжений».

— Кто же при доме в деревне остался? За коим чёртом оба приехали?

— Агафья Петровна, ключница, и покойной барыни дядюшка с супругою.

— Они-то первые и растащат всё. Да где же бумаги?

— Спальня запечатана вотчинной печатью и двое десятских караулят.

— Я собираюсь завтра в Линовку.

— Лошади, батюшка Михайло Степанович, дожидаются: моих тройка на вашем дворе да крестьянских из вашей вотчины еще две придут в Рогожскую,— отвечал староста.

— Хорошо. А теперь, эй, Тит, сейчас же с Ильей Антипычем принять здесь в доме всё и переписать.

Илья Антипычем назывались остатки морского офицера, задержанные в Москве вестию о кончине Льва Степановича и супруги его.

На другой день барин и первый министр его отправились в подмосковную. Михаил Степанович наслаждался, упивался вводом во владение; мысль, что всё это его, его собственное, производила в нем какое-то особенно приятное волнение и в то же время беспокоила его.

На границе липовской земли ждали Михаила Степановича часть дворовых людей и депутация от крестьян с хлебом и солью. Староста и Тит Трофимов ехали впереди в телеге; они остановили дормез и доложили Михаилу Степановичу, что этот большой камень и эта большая яма означают in basso и in taglio * границу его владения; он вышел из кареты. Подданные повалились в ноги. Михайло Степанович указал Титу, чтоб он взял хлеб, и сказал крестьянам резким голосом, что благодарит их за хлеб, за соль, но надеется, что они усердие свое докажут на деле, что он любит порядок, что покойник-дядюшка по старости лет многое запустил, но что он примет их в руки.

— Есть ли на оброчных недоимка? — спросил он старосту.

— Есть небольшая,— отвечал староста.

— А ты чего смотришь, староста?.. А, вот, я тебя научу, что значит быть старостой! У меня, чтоб слова «недоимка» не было! Слышишь? Это просто ни на что не похоже. Какой оброк платят? — стыдно сказать. Я, чай, православные, вам перед соседями совестно так мало платить!

— Они легко могут платить еще по десяти рублей с тягла,— заметил моряк.

— Еще бы! Подмосковные мужики! Слышите, что ли?

— Как вашей милости взгодно будет, мы ваши, как изволите, батюшка, установить, наше крестьянское дело — исполнять, — отвечал староста, и с этим словом он поклонился в землю, и мужички опять повалились в ноги, благодаря, вероятно, за доброе намерение лишить их стыда так мало платить.

— Об этом я поговорю завтра, собери утром на барской двор стариков.

— Эки рожи какие! — продолжал Михайло Степанович, обращая приветствие к дворовым.— Откуда это покойник набрал их? Один Тит на человека похож. Это кто, вон, в засаленном нанковом сюртуке, направо?

---

* вдоль и поперек (итал.).

— Земской Василий Никитин,— отвечал староста,— то есть, он, батюшко, по ревизии записан Львом, да покойный дядюшка, взявши во двор, изволили Васильем назвать.

— Сюда вином от него пахнет, отек весь. Я пьяниц не люблю, у меня вы забудете дорогу к кабаку.

После этой речи он быстрыми шагами пошел по дороге с моряком, который шел возле без фуражки; староста и Тит шли несколько отступя, а за ними дворовые и крестьяне; дормез и телега ехали шагом. Никто почти ничего не говорил, на сердце у всех было тяжело, неловко. Когда они шли по селу, старики дряхлые, старухи выходили из изб и земно кланялись, дети с криком и плачем прятались за ворота, молодые бабы с ужасом выглядывали в окна... Одна собака, смелая и даже рассерженная процессией, выбежала с лаем на дорогу, но Тит и староста бросились на нее с таким остервенением, что она, поджавши хвост, пустилась во весь опор и успокоилась, только забившись под крышу последнего овина.

Так достигли господского дома. Тут дожидались священник с женою и с сотами (от пчелок своих), принесенными на поклон, причетники, слепой майор и молдаванка.

Михайло Степанович учтиво обошелся с ними со всеми, спросил майора о здоровье, спросил священника, всякий ли год крестьяне говеют и, наконец, попросивши его отслужить молебен с водосвященьем, отправился в запечатанный кабинет и там, запершись на ключ, осмотрел с моряком все бумаги, нашел и ломбардные билеты и деньги в целости; говорят, что он нашел еще записку, в которой дядюшка изъявлял желание отпустить на волю дворовых, но он справедливо заметил моряку, что, стало быть, дядя раздумал, если сам не отпустил, и что, стало быть, отпустить их было бы противно желанию покойника,— сжег эту записку на свече.

На другой день Михайло Степанович возвестил майору и его супруге, что, свято исполняя волю покойной тетушки, поручившей ему не оставить их, он им жалует 2000 рублей, причем и вручил им билет (единственный из всех, по которому проценты были взяты). С тем вместе объявил, что он сколько ни желал бы, но не может, по разным соображениям, оставить за ними комнаты, что он вообще советует им не оставаться в Липовке, ехать в Москву. «Кирилу Васильевичу часто, может быть, нужна медицинская помощь, ему непременно надобно жить в Москве. Я велю посылать вам, какие случатся, припасы и дрова». Молдаванка хотела, было, попросить Михайла Степановича дозволить им остаться хоть в людской избе, где была пустая каморка, но, встретив холодные глаза с рыжеватыми ресницами и улыбку Михайла Степановича, она не смела вымолвить ни слова и стала укладываться.

Осмотрев прочие имения и повелев слушать беспрекословно моряка, он уехал в Петербург.

Настали другие времена, военная служба стала труднее. Это трудно согласовалось с желаниями Михайла Степановича, непривычного нести какую бы то ни было обязанность; он вышел в отставку и опять уехал в чужие края.

Года через четыре он приехал в Москву, моряк подал ему отчеты. Другие проживаются в путешествии, Михайло Степанович нашел во всем приращение, и без того, чтобы он трудился, напротив, в то время, как он наслаждался жизнию туриста, и без особых жертв,— он очень мало давал моряку. Даже теперь, возвратившись из путешествия, он отделался золотыми нортоновскими часами, которые купил по случаю и о которых рассказал моряку, чтоб поднять их цену, что они принадлежали адмиралу Эльфингстону.

Михайло Степанович жил один-одинехонек в огромном и запустелом доме на Яузе. Что-то страшно угрюмое было в его существовании. Он

почти ни с кем не знался, редко выезжал, ничего не поправлял в доме, вылинялый штоф на стенах местами продрался, позолота давно почернела, старинная мебель, тяжелая и жесткая, стояла в какой-то неподвижности годы целые; печальные, дурно одетые, слуги приходили на цыпочках обтирать ее; богатство его не только не сняло с него его заботливую боязнь о состоянии, но развило болезненную подозрительность и скряжничество. Каждую неделю приезжал из Липовки моряк, и Михайло Степанович иногда оставлял его дня на два, под предлогом разных дел, а в сущности ⟨чтоб⟩ видеть живого человека; он целые вечера рассказывал ему о своих путешествиях, о своих встречах, жаловался на лишения, которым должен подвергаться в Москве, на глупость прислуги; моряк никогда не возражал, всему удивлялся, а всего более Михайлу Степановичу; такого-то собеседника и надобно было Столыгину.

Сначала ему пришла было мысль служить по дипломатической части: он чрезвычайно высоко ценил свои способности и хотел сразу занять какое-нибудь значительное место. Так как это было совершенно противно порядку нашей службы, основанной на летах и чинах, вместо которых он предлагал таланты, то, само собою разумеется, ему ⟨это⟩ не удалось.

Он съездил в Петербург и воротился в Москву, представляя себя жертвой страшных несправедливостей и интриг.

Что же он делал в Москве? — На это отвечать трудно. Любя старание, он, тем не менее, серьезно имением не занимался; иногда он врывался в управление моряка для того, чтобы показать свою власть или насладиться ею, распространял ужас и трепет, брил лбы, наказывал, драл во дворе, придирался к мелочам, обременял совершенно ненужными работами — там дорогу велит проложить, тут сарай перенести с места на место. Но большей частью он предоставлял моряку управление крестьянами. Несравненно более занимался он устройством дома и дворней; у него всё в воображении носился дом княгини, и он хотел достигнуть чего-то подобного, не тратя денег. Задача была невозможная; на каждом шагу он видел, что ему не удается, бесился и вымещал это на несчастной дворне. Бедные слуги были совершенно потеряны, они не знали, как примениться к нраву барина. Ни точность исполнения, ни величайшее раболепство, которое он любил больше всего, ни честность, ни трезвость не могли спасти от его гнева, который всегда сопровождался жестокими наказаниями. Его камердинер, молодой трезвый малый, повесился, двое лакеев бежали. Эти примеры не только не разбудили чего-либо вроде угрызения совести, но послужили поводом к новым преследованиям и гонениям.

Одно рассеяние вне дома у него и было: почти всякий день ездил он к менялам, променивал старые вещи дяди, делал опыты надуть кущов и всякий раз был надут ими. Несмотря на свою скупость, он часто покупал вещи совершенно ненужные: какую-нибудь вазу, которую некуда было поставить, какой-нибудь разрозненный канделябр. Через месяц ему надоедали они, он их опять променивал, брал китайские занавеси, персидское ружье, — две комнаты были завалены этими случайными покупками. Через менял Михайло Степанович помещал свои деньги за большие проценты, самому ему не хотелось выступить ростовщиком; по большей части антики и стертые картины в почернелых рамах только прикрывают сделки, несравненно выгоднейшие, нежели куртаж за безносого Адониса и за поддельные камеи Пиклера, которые лежат лет пять-шесть на одном и том же месте в лавке.

Так шла жизнь Михайла Степановича и, вероятно, продлилась бы так лет сорок еще, если б он..., что вы думаете? — если б он не женился.

В Москве все женятся; но, конечно, в Москве с знаменитого кутежа, по случаю которого в первый раз упоминается о ней в летописи, и до торжественного празднования ее шестисотлетия, никогда не было человека,

менее способного к семейной жизни. Он сам это знал, всегда смеялся над брачными узами и, несмотря на это, женился, женился, как говорят в сказках, сколько волею, а вдвое того неволею.

У Столыгина завязался запутанный процесс с одним из кредиторов; он знал, что его дело не совсем чисто, а потому адресовался к известному тогда в Москве стряпчему, отставному статскому советнику Валерьяну Андреевичу. Надобно же было, как нарочно, этому юсу иметь прехорошенькую и премолоденькую дочь. Михайло Степанович увидел ее и решился, во что бы то ни стало, добраться до нее. Он через Титову жену подкупил кухарку, начал дальние апроши * по Вобановой системе, а от них перешел к ближним. Простая, бесхитростная девушка, воспитанная

ГЕРЦЕН В КРУТИЦКИХ КАЗАРМАХ

Иллюстрация А. Шенка из французского издания «Былого и дум», 1860 г.

под суровым гнетом старика-отца, отроду не видавшая порядочного человека, не нашла в себе сил Сарогоссы и сдалась. Близость их шла далее и далее и зашла даже так далеко, что Михайло Степанович начал с особенным биением сердца поглядывать на жену хлебника-немца, жившего недалеко от него.

Кухарка статского советника, помогавшая Михайлу Степановичу за беленькую бумажку и за золотые серьги, которые он обещал, долго не получая их, испугалась последствий, могущих быть из этой связи, и сделала донос отцу. Старик убедился разом в справедливости доноса и в том, что предупреждать поздно, но поправить самое время.

Внутри он даже обрадовался неожиданному случаю, который уже разрастался в его голове целым процессом, выигрышем, но он тщательно скрыл это и явился, как следует, раздраженным, карающим отцом. Сначала он разбранил бедную девушку, потом избил ее и оттаскал за косу, потом запер в темную комнату на мезонине; словом, сделал всё, что требовала оскорбленная любовь родителя. Исполнив тяжелую обязанность, он снова сделался, чем был, стряпчим, юристом, и принялся за повальный обыск в комнате дочери. Нетрудно было найти то, чего он искал: пук

* подступы (франц. «approches»).

писем, перевязанных розовой ленточкой и хранившихся в красивом ларчике. Старик надел очки и внимательно прочитал все письма от доски до доски; казалось, что общий вывод из прочтенного доставил ему удовольствие. Он взял письма к себе и сел за стол сам писать, писал долго, перемарывал, дополнял, сокращал, наконец, был доволен редакцией, — переписал сам набело и, взяв свечу, отправился к дочери.

Бедная девушка, оскорбленная, испуганная, стыдящаяся, с опухшими глазами и синими пятнами на лице, задрожала всем телом, когда услышала шаги отца, и прижалась в угол, сама не зная зачем. Старик поставил свечу и грубым, жестким голосом сказал дочери:

— Что забилась туда? скромница какая! Небось, умела на свиданье бегать — страху не было, а от отца прячешься, поди сюда!.. Возьми перо и пиши — ну же!

И он диктовал: «Дочь статского советника Мария Валериановна Трегубская».

Девушка писала в лихорадке, в безумии, дрожа от страха и без малейшего сознания, что делает. Отец прочитал подпись, хотел идти. Марья Валерьяновна бросилась к ногам его и, рыдая, шептала: «Батюшка, простите меня, простите!»

— Хныкать теперь, срамница! — закричал почтенный старец, — скучно на заперти сидеть, не послать ли за полюбовником твоим? Седины мои опозорила!

И, оттолкнув ее, он с негодованием вышел вон.

На другой день Михайло Степанович получил весьма учтивое письмо от статского советника, который сообщал ему, что он поражен в самое сердце вестию о том, что Михайло Степанович, опутав коварными обещаниями, успел сделать на всю жизнь несчастною его дочь, лишил его и последней опоры и последнего утешения, что, наконец, положение жертвы его соблазна он находит сомнительным, а потому надеется на него, что он захочет, наверное, свой проступок покрыть божиим благословением через брак, коим возвратит ей честь, а себе спокойствие совести, которое превыше всех благ земных. Буде же (чего боже храни) Михайлу Степановичу это не угодно, то он с прискорбием должен будет сему делу дать гласность и просить защиты у недремлющего Закона и у высоких особ, богом поставленных невинному в защиту, а сильному в обуздание; в подкрепление же просьбы, сверх свидетельств домашних, он с душевным прискорбием приведет разные документы собственною Михайла Степановича рукою писанные. В заключение оскорбленный отец счел себя обязанным присовокупить, что преступная дочь его есть его единственная наследница как дома, что в Хамовнической части, так и капитала, имеющего ей достаться, когда господу-богу угодно будет прекратить грешные дни его.

В первую минуту досады Михайло Степанович написал предерзкое письмо к Трегубскому, оскорбленный смелостью предложить ему, Столыгину, жениться на дочери человека, который «вырос из чернильницы». Но потом — мы знаем, что он умел себя обуздывать там, где сила была не с его стороны — он одумался, изодрал написанное и написал письмо умеренное. Удивлялся, с чего могли придти Валерьяну Андреевичу такие мысли, просил его не торопиться и уверял, что всё это клевета, которую он рассеет, что это козни его врагов, распускающих об нем всякие слухи, завидуя его тихой и уединенной жизни.

Но Валерьян Андреевич был недаром лет сорок стряпчим, он видел, что Столыгин выигрывает время, что, следственно, ему терять его не должно. Между разными делами, вверенными Трегубскому, у него на руках был огромный процесс о горных заводах одного графа, находившегося в большой силе. Он отправился к нему и вдруг, докладывая ему о течении процесса, подобрал нижнюю губу, опустил щеки, сделал пресмешное лицо

и начал капать слезами. Граф, разумеется, очень удивился и стал расспрашивать Валерьяна Андреевича: тот рассказал ему историю, показал письма и ответ, наконец, вручил просьбу дочери. Графу в самом деле стало жаль старика, он же был необходим ему по делу о заводах.

— Какой это Столыгин? Не тот ли, что воспитывался у княгини N?

— Тот самый.

— Я его видал давно, он всегда был на довольно дурном счету, у него еще была дуэль с сыном княгини и в Париже он с жакобин * был знаком. Это ему не пройдет даром, я тебя уверяю, оставь письмо дочери здесь и успокойся. Да, кстати, апелляционную записку по моему делу кончи поскорее.— Старик утешился.

Через несколько дней предводитель дворянства пригласил к себе Михайла Степановича и, затворив двери кабинета, спросил его, как он намерен окончить неосторожный пассаж с девицей Трегубской, присовокупляя, что ему поручено посоветовать Михайлу Степановичу кончить это дело, как следует дворянину и христианину. Михайло Степанович пустился в ряд объяснений. Предводитель с большим вниманием выслушал его и, заметив, что всё это очень справедливо, прибавил, что, тем не менее, он уверен, что Михайло Степанович оправдает доверие и поступит, как христианин и дворянин, что, впрочем, он его просит дать себе труд прочесть одну бумагу.

Михайло Степанович прочел ее и, молча, бледный, как полотно, положил ее на стол.

— Не угодно ли вам будет,— спросил его предводитель,— теперь подписать вот эту? Позвольте, кажется это перо не хорошо, вот это гораздо лучше,— и он подал ему лучшее перо.

Думать надобно, что первая бумага была очень красноречива и убеждала вполне в необходимости подписать вторую, ибо Михайло Степанович, не говоря ни слова, взял перо и подписал. Предводитель сказал ему, прощаясь, что он истинно душевно рад, что дело кончилось так келейно и что он так прекрасно решился поправить свой поступок.

Через неделю Михайло Степанович был женат. Марья Валерьяновна сначала не имела понятия, как она сделалась женою Столыгина; она думала, что он попросил ее руки, чтоб спасти ее от преследования отца.

Разумеется, оскорбительная правда не могла не открыться впоследствии бедной женщине. Она без того кротко покорялась всем требованиям мужа, но, узнав о проделках отца, ей показалось, что она неправа, что она украла свое место, унизила собою Столыгина, и, не зная, чем вознаградить его, совершенно отдалась во власть мужа, сделалась его рабой. Это развило еще более притеснительное властолюбие Михайла Степановича; он не только воспользовался ее жертвой, никогда не подумавши о том, чего она стоит этому существу, доброму, полному преданности и любви, но становился всё требовательнее. В положении Марьи Валерьяновны было что-то неловкое; перейдя из затворничества, в котором ее держал старый писарь, в затворничество чужого дома, в котором не было в ней нужды, в котором не было ей дела, в котором ничего не переменилось от ее появления,— ей трудно было найтиться. Михайло Степанович требовал, чтоб Марья Валерьяновна занималась хозяйством, осыпал ее упреками, как она в доме отца даже не научилась домашней экономии,— и сам мешался во все мелочи и приказывал слушаться одного себя. Он не давал ей денег, сердился за каждый рубль и требовал, чтоб она хорошо одевалась, говоря, что всё это зависит от ловкости, вкуса и уменья, а не от денег. У ней не было ни одной знакомой; Столыгин запретил жене принимать каких-то родственниц, раза два явившихся позавидовать ее счастью; она со своей стороны сама не хотела делить досуги с племянницей моряка, которую,

* якобинцами (франц. «jacobins»).

кажется, Михайло Степанович хотел ввести по части супружеской тайной полиции. Знакомых у Столыгина было очень мало, из них двух-трех он представил жене, другие знали только по слуху, что он женат. Изредка Михайло Степанович предлагал жене проехаться в карете и думал, что этих прогулок совершенно достаточно для увеселения молодой женщины.

Молодая женщина эта, впрочем, мало горевала о рассеяниях, которых никогда не знала, но она никак не могла равнодушно выносить беспрерывного негодования мужа; она, по женской манере рассуждать, считала его глубоко несчастным, тогда как он был только глубоко капризен; он оскорблял раздражительной избалованностью своею все стороны ее женского сердца, а она винила себя, что не умеет сделать его счастливым. Марья Валерьяновна бывала целые дни на верху блаженства, когда Михайло Степанович скажет ласковое слово, обойдется с ней по-человечески, подарит какую-нибудь вещицу, вымененную на какую-нибудь ненужность; но редки бывали эти дни. И не думайте, чтоб он гнал свою жену по злобе, по чувству мести и воспоминанию о свидании с предводителем. Нет, сначала, правда, он будировал ее, но впоследствии остался только при постоянной ненависти к старику-отцу. Поведение его не имело другого начала как в распущенной строптивости, в отсутствии всяких чувств, кроме ревнивого себялюбия. Он хотел как-то незаслуженно и насильственно срывать даже и те плоды жизни, которые достаются только наградой или последствием истинных чувств; он требовал внимания, преданности, не поступаясь ни малейшим капризом, не отдаваясь нисколько. Он убивал холодной неприступностию, отталкивающей беспощадностию всякое нежное проявление — и жаловался, скорбел, что не находил их бол⟨ее⟩. Притесняя всё вокруг, он себя всегда и во всем представлял жертвой и несчастным. Может, дерзость его эгоизма нигде не выражалась так ярко, как в этих жалобах, в истине которых он долею был убежден. Когда у этого человека не было решительно никакого предлога жаловаться на ближних, он жаловался на аневризм, которого, впрочем, повидимому, у него не было.

Через несколько месяцев родился у нашей четы сын. Ребенок был разительно похож на отца. Это сходство привело в восторг Столыгина; он до того расходился в первые минуты радости, что с благосклонной улыбкой спрашивал Тита: «Ты видел маленького?», и когда Тит отвечал, что не сподобился еще счастия, Михайло Степанович велел кормилице показать маленького барина Титу. Тит подошел к ножке новорожденного и со слезами умиления три раза повторил: «Настоящий папенька, вылитый папенька, папенькин патрет».

Михайло Степанович отдал тут же Титу приказ, чтобы люди не смели садиться, когда кормилица с ребенком в комнате, а кормилице разрешил сидеть даже в своем присутствии, чего, впрочем, она никогда не делала, повинуясь инструкции моряка. Кормилица была из Липовки. За две недели до родов Марьи Валерьяновны приказал Михайло Степанович моряку выслать для выбора двух-трех очень здоровых и недавно родивших баб с их детьми. Моряк выслал шесть, и мера эта оказалась вовсе не излишней; от сильного мороза и слабых тулупов две лучшие кормилицы, отправленные на пятый день после родов, простудились и так основательно, что потом сколько их старуха-птичница ни окуривала колганом и сабуром *, все-таки водяная сделалась; да у третьей на дороге с ребенком родимчик приключился, вероятно, от дурного глаза и, несмотря на чистый воздух и все удобства для больных детей в санной езде, он умер, не доезжая до Репиловки, где обыкновенно липовские кормили. Так как у матери молоко поднялось от этого в голову, то она оказалась неспособ-

* *Колган* и *сабур* — лечебные травы.— *Ред.*

ной кормить грудью. Остались три, как Михайло Степанович приказывал. Из них он сам с повивальной бабкой избрал женщину, действительно замечательную; замечательную, во-первых, потому, что, будучи второй год замужем, она не утратила ни красоты, ни здоровья и была то, что называется кровь с молоком, я даже сказал бы: со сливками. На организм, который не только безнаказанно, но так торжественно вынес бедность, работу, отца, мать, жнитво, мужа, двух снох, старосту, свекровь и барщину,— можно было смело положиться.

К тому же Михайло Степанович велел ей производить ежедневно селедку и бутылку пива. При помощи таких средств, без работы, защищаемая вначале довольно успешно «от барского гнева и от барской любви» Марьей Валерьяновной, кормилица в два месяца стала вдвое толще и румянее, так что свекровь, приходившая иногда из деревни, не могла без ненависти видеть ее, каждый раз бормотала, выходя из ворот: «Вишь, разъелась на барских чаях-то, дай-ка воротиться домой, я спущу с нее жир в неделю». Говорят даже, что почтенная старушка добросовестно сдержала обещание.

Марья Валерьяновна радовалась от всей души, видя, что муж ее любит ребенка; его раздражительной заботливости, капризной мнительности не было границ. Эта любовь была у Столыгина какою-то болезнью, лихорадкой; минутами он даже бывал нежен с малюткой, так много противоречий прячется в груди человеческой. Но и эта любовь не могла исправить Столыгина: он слишком сложился.

Для дворни малютка сделался новым источником гонений и несчастий. Малейший шорох, стук во время его сна, открытое окно, сквозной ветер, отворенная дверь — всё это выводило из себя Столыгина. Что вынесла бедная няня — та самая Настасья, которая послужила невольной причиной смерти Льва Степановича,— мудрено себе представить; надобно было непременно железное здоровье и вечно несовершеннолетний нрав, удовлетворяющийся болтовней и ворчаньем, чтоб выдержать десять первых лет жизни Анатоля. Михайло Степанович часто приходил ночью в детскую. Кормилице дозволил он иногда спать, Настасье никогда; она раздевалась только в бане,— два раза в месяц — и подите, исследуйте тайны сердца! Настасья любила до безумия ребенка, существованием которого отравлялась вся ее жизнь, за которого она вынесла столько физических страданий и физической боли. Марья Валерьяновна, сколько могла, вознаграждала ее и лаской, и подарками, но сама чувствовала, какую бедную замену она ей дает за лишение всякого покоя, за вечный страх, и, наконец, за синие пятна на лице и теле. Настасье было приказано, чтоб летом не было мух в детской, и горе ей, если Михайло Степанович находил муху; Настасья отвечала за то, если малютка, начиная ходить, падал; она отвечала за царапину на его руке, за насморк, который происходил от прорезывания зубов, за его плач и крик... Не только чувство сострадания никогда не пробуждалось в душе Михайла Степановича, но даже в нем не было терпения рассудить о том, что няня не могла ни предупредить, ни отвратить чего-нибудь,— ему казалось легче обрушивать на нее свой гнев, это же состояло в его воле.

Пока ребенок был совершенно глуп, нечто вроде зверька, баловству со стороны Михайла Степановича не было пределов; долго это не могло так оставаться. Михайло Степанович был человек, не способный выносить что бы то ни было, одаренное волею; чем больше развивался Анатоль, тем больше он начинал «мешать ему», как отец выражался, и любовь его переходила, мало-помалу, в жестокое преследование, которое он называл воспитанием. Он продолжал его баловать, но вдруг за какой-нибудь вздор, за какое-нибудь невинное, детское проявление характера, силы, воли, Столыгин с жестокостью нападал на ребенка. Ребенок, со своей стороны,

не приученный к послушанию, капризничал и раздражал безумное желание сломать в нем всякое свободное движение. Михайло Степанович таскал его за волосы, кричал на него диким голосом, ставил на колени,— у нервного ребенка делались судороги, обмороки.

Мать, уступавшая во всем, не могла уступить в этом; ребенок делался свидетелем страшных сцен. Иногда Михайло Степанович выгонял их обоих вон с угрозами и ругательствами; Анатоль, посинелый от страха, судорожно хватался за платье матери и прятался за нее, потом ночью вздрагивал и, проснувшись, шопотом спрашивал у няни: «Папаша ушел? Папаши нет?»

Марья Валерьяновна, при всем кротком самоотвержении своем, стала уважать в себе мать Анатоля, в ней явилась удивительная твердость; после любви ничто так не развивает женщину, как воспитание детей. Эту оппозицию тотчас заметил Михайло Степанович,— он удвоил свои преследования.

Однажды после обеда сидела Марья Валерьяновна, грустная и печальная, в гостиной, возле нее играл Анатоль, у дверей стояла Настасья, Михайло Степанович ходил по комнате, взбешенный и угрюмый.

— Здорова ли ты? — спросил он, насмешливо улыбаясь, жену.

— Здорова,— отвечала она чрезвычайно сухо.

— Слава богу, а то у тебя такой вид, что можно подумать или что ты больна или что какое-нибудь несчастие случилось с тобою.

Это был вызов на ссору. Марья Валерьяновна не отвечала.

— Вам, кажется, не угодно разговаривать?! — заметил, низко кланяясь, Михайло Степанович,— извините,— и стал опять ходить.

В гостиной стояла горка, на которой была расставлена всякая всячина, купленная им у менял. Анатоль, тысячу раз игравший этими вещами, подошел к горке и взял какую-то фарфоровую куклу.

— Не тронь! — закричал отец.

Анатоль посмотрел с испугом на отца, отошел и через минуту опять подошел к горке.

Этого было довольно для Михайла Степановича. Он подошел к нему, схватил за руку и отдернул его с такой силой, что ребенок грянулся об пол; кровь полилась у него из носу, мать и няня бросились к нему.

— Оставьте его, это вздор, капризы! — закричал отец.

Нянька приостановилась в недоумении, но мать, не обращая никакого внимания на слова мужа, подняла ребенка.

— Пойдем,— говорила она ему,— в детскую, папаша болен.

— Да ты слышала или нет, что я сказал? — спросил Михайло Степанович,— оставь его'

— Ни под каким видом,— отвечала мать,— как можно оставить ребенка с человеком в припадке безумия!..

Михайло Степанович еще никогда не слыхал ни от кого ничего подобного; у него глаза засверкали.

— Это что значит? — спросил он дрожащим голосом.

— То,— отвечала жена,— что есть же всему мера, пора положить предел вашему безумию, и если вы в самом деле сумасшедший...

Михайло Степанович не дал ей кончить, он ее ударил.

Она вышла, он не смел идти за ней

Пришедши в спальню, она стала молиться перед образом, потом велела Анатолю приложиться, одела его, накинула на себя шаль, выслала Настасью за чем-то, удалила другую горничную, и, почти никем не замеченная, вышла из ворот. На дворе смеркалось; она никогда не выходила вечером на улицу, ей было страшно и жутко. По счастью, вскоре извозчик, ехавший без седока, предложил ей свои услуги; она кое-как уселась, взяла на колени Анатоля и отправилась к отцу в дом. Выходя из саней,

она сунула извозчику в руки целковый и хотела взойти в ворота, но извозчик остановил ее. Он думал, что она дала ему пятак, и сказал: «Нет, барыня, постой! как можно?..» — и, разглядев, что это не пятак, а целковый, продолжал тем же тоном и нисколько не потерявшись: «Как можно целковый взять? С двоих, матушка, надобно синенькую!..»

Она бросила еще что-то извозчику и взошла в ту несчастную калитку, из-за которой пять или шесть лет тому назад она вышла на первое свидание с человеком, которого судьба избрала на то, чтоб мучить ее целую жизнь.

Когда Михайло Степанович, который заперся у себя в кабинете, пришел в себя, он понял, что переступил несколько границы. «Ну да что же

В ПРИЕМНОЙ БЕНКЕНДОРФА

Иллюстрация А. Шенка из французского издания «Былого и дум», 1860 г.

делать? — подумал он, — у меня нрав такой, пора в самом деле привыкнуть; сердит меня как нарочно — наконец, elle devient impertinente * Я у себя в доме последний человек, не могу ничего по своей воле делать, не могу воспитывать моего сына по моим идеям. Излишняя снисходительность всегда так оканчивается»... Утешив себя такими рассуждениями, он отправился в гостиную. Однако на лице его было видно, что, как ни убедительны они были, но совесть не совсем была спокойна. Большая гостиная была пуста и мрачна, две сальные свечи горели на столе. Он посидел на диване, пусто, не хорошо.

— Сенька!..— закричал он.

Мальчик лет двенадцати, стоявший у дверей в изодранных сапогах и в толстом казакине, взошел.

— Что ты не снимаешь со свечей? Дурак.

Казачок принес щипцы, снял и хотел идти.

— Постой! Куда побежал? Поправь, дурак, светильню, так и оставил набок!..

Казачок поправил светильню.

— Эй! Скажи Настьке, чтоб привела Анатоля Михайловича.

---

* она становится дерзкой (франц.).

Казачок вышел, но долго не возвращался. Слышны были голоса, шопот, беготня. Тит, бледный, как смерть, стоял в дверях; Настасья объясняла ему что-то вполголоса.

Через несколько минут казачок взошел с докладом:

— Анатоля Михайловича нет дома, с барыней изволили пойти.

— Что-о-о?!!

Казачок повторил.

— Что ты врешь?.. Пошли Настьку и старого дурака Тита.

Взошла старуха, дрожа всем телом.

— Куда барыня пошла?

— Не могу доложить,— отвечала старуха,— меня изволила послать за водой, изволили шаль желтую надеть, я думала, что так, от холоду,— а оне изволили...

— Молчи и отвечай только на то, что я спрашиваю!

— Ты что, старый разбойник, смотрел, а, Тит Трофимович, домоправитель?! Покорнейше благодарю! Кто пошел за барыней?

— Я, виноват, батюшка, Михайло Степанович, не видал, как изволили пойти...

Михайло Степанович передразнил Тита: «Виноват, батюшка...» Ну спросите, Тит Трофимович, Ефимку!

Тит побежал к Ефимке и воротился с ответом, что барыня изволила одна выйти из ворот направо.

Бешенство Михайла Степановича достигло высшей степени.

— Позови Куську, Оську да и дурака Ефимку в гардеробную да чтоб взошли двое кучеров.

— Нет, кончено! — прибавил он слабым прерывающимся голосом,— аминь, больше не стану терпеть от этих беспорядков...

Люди переглянулись с ужасом друг на друга; все знали, что значило приглашение кучеров.

В тот же вечер Тит, Настасья и двое лакеев валялись в ногах у Марьи Валерьяновны, утирая слезы и умоляя ее спасти их. Михайло Степанович велел им привести барыню с сыном или готовиться завтра в смирительный дом. Седой и толстый Тит ревел, как ребенок, приговаривая:

— Сгубит он нас, матушка, со света божьего сгонит!

— Матушка Марья Валерьяновна,— говорила Настасья,— спаси ты нас, заступница наша! Или уж оставь меня здесь; что с нами будет, если воротимся без тебя?

— Я домой не дойду,— прибавил старик,— с Каменного моста брошусь, один конец!

Анатоль, обрадованный сначала, что увидел знакомые лица и разогорченный потом их плачем, тоже принялся плакать и просить.

Марья Валерьяновна долго молчала, видно было, что сердце у нее разрывалось; наконец, она встала и сказала грустным голосом:

— Так и быть, я еду, но бог свидетель, что я это делаю только для вас.

Карета ждала внизу. Она всю дорогу проплакала, но к Михайлу Степановичу явилась не как виновная и беглая жена, а с полным сознанием его неправоты; она ему сказала, что после нанесенного ей оскорбления она решительно хотела бросить его дом и возвратилась теперь для того, чтоб спасти совершенно невинных людей от его бешенства.

— Ох! — говорил Михайло Степанович, перепугавшийся и притворившийся больным,— ох, ma chère *, зачем это ты употребляешь такие слова? Мое ухо не привыкло к таким выражениям. Все эти праздные мерзавцы слышат и оттого меня в грош не ставят. Ах, голубушка, у меня от

---

* моя дорогая (франц.).

заботы и болезни бывают иногда такие черные мысли, ну я могу и забыться, надобно кротостью, добрым словом остановить, посоветовать, а не раздражать нарочно; я сам оплакиваю несчастный случай этот, но как в голову может придти оставить дом, больного мужа, взять моего сына? Ах, страшно вздумать! притом вечером, я боюсь всего, думаю: и простудитесь, и задавят... Ох, если б вы знали, сколько я на сердце ношу, многое бы простили мне! Поди сюда, Анатоль, тебя хотели взять у меня!..— И он показывал, будто, задавленный сильным чувством, не может говорить.

После этой истории Михайло Степанович стал себя попристойнее держать, посдерживаться, но оскорбление, но смелость жены он не забыл; он стал еще капризнее и привязчивее. Он не таскал более за волосы Анатоля, но в минуты гнева осыпал его ругательствами и отравлял методически каждый шаг ребенка. Решительный переворот скучным и тяжелым отношениям супругов положил Наполеон.

В 1812 году Михайло Степанович отправил жену в деревню, а сам поехал в Петербург. Все были заняты тогда войною. Несчастная година была, с тем вместе, торжественной годиной; Русь, разбуженная пальбой и московским пожаром, проснулась; люди, жившие целый век в лени и бездействии, отращивали усы и шли в милицию, отставные просили место в рядах войска, слуги повязывали старые сабли, и загорелая рука крестьянина оставляла соху и чистила суконкой какую-нибудь старую фузею, промышляя боевой патрон на сопостата. На Михайла Степановича это подействовало не более взятия Бастильи. Он так занят был собой, одним собой, своими делами, что и не подумал о службе; сверх того и аневризм не позволял ему подвергнуться трудам и лишениям бивачной жизни. В Петербурге он купил за полцены с аукциона дом на Литейной и зимой выписал туда жену с Анатолем. Сам же отправился поправлять сгоревший дом.

Прошло года два, но поправка, повидимому, не приходила к концу; он каждый месяц писал жене, говорил о своем желании их видеть в Москве, прибавляя разные любезности Анатолю, и во всяком письме надеялся, что работы скоро окончатся. Между тем, на половине Марьи Валерьяновны жила уже француженка, которая, как он сам писал к жене, читает ему книги:

«Глаза у меня слабеют, читать почти не могу, и в этом одиночестве всё такие мрачные фантазии приходят об вас. Надобно чем-нибудь развлекаться. Нашел дитя, сиротка-француженка, прекрасно читает. Истинное счастие! Я дал ей кусок хлеба и уголок. Такая скромная и не скучная, всякой вздор читает больному старику».

Через год скромное дитя, должно быть, всё прочла, ибо съехала от Михайла Степановича, бросивши ему в лицо том записок герцога Сен-Симона, оставивший продолжительное, хотя и внешнее впечатление на Михайле Степановиче.

Страшая беспрерывно приездом в Петербург, Михайло Степанович внутренно был очень доволен, что разъехался с женою, хотя иногда ему и бывало скучно по Анатолю. Он долго бы не собрался в путь, если б его не подвинула к тому смерть доброго Валерьяна Андреевича.

Старик оставался в 1812 году в Москве, довольно счастливо скупил в это время множество золотых и серебряных вещей, долею у французов, долею у казаков; после неприятеля он подавал просьбу о денежном вспоможении на поправление дома, сожженного богопротивным врагом во время нашествия галлов и с ними дванадесяти язык. Помощи этой он (к истинному удивлению) не получил. Это его так сильно огорчило, что он помаячил еще года три да и умер, оставив Марье Валерьяновне дом, золотые и серебряные вещи и сто тысяч билетами.

Михайло Степанович по справедливости считал эти билеты своими. Золотые и серебряные вещи он уже в день похорон старика перевез к себе и писал об этом: «разные безделицы en orfèvrerie *, оставшиеся от твоего родителя, я поставил до твоего приезда у себя, вроде игрушек для развлечения и занятия в разлуке».

Марья Валерьяновна промолчала о вещах, но билеты потребовала к себе. Последнее время Столыгин так мало высылал денег в Петербург, что об воспитании Анатоля нечего было и думать. Марья Валерьяновна решилась отцовское наследие употребить на ученье сына. Это ее окончательно поссорило с мужем.

Прикидываясь больным и огорченным и несмотря на аневризм, для которого дорога очень вредна, Столыгин поехал в Петербург. Там он представлял Марье Валерьяновне, как безнравственно и грешно делить имение мужа и жены, говорил, что он ничего в гроб не возьмет, что всё оставит Анатолю, что берет эти деньги для того, чтоб спасти от нелепого употребления. Несмотря на это красноречие, Марья Валерьяновна оставила билеты у себя.

Тогда он нанес бедной женщине самый сильный удар. Он объявил ей, чтоб она готовилась ехать в Москву, куда он едет завтра и берет с собой сына, что пока в его доме ей места нет, но что она может несколько дней пожить в старом доме отца.

В Москве он рассказывал, что спас Анатоля от этой несчастной женщины, «которой характер до того эгрирован**, что она просто погубила бы ребенка». Разумеется, ему никто не верил, кроме моряка, который еще здравствовал в Липовке, да и тот более верил из дисциплины и подчиненности, нежели из убеждения; он защищал Михайла Степановича, впрочем, следующим выразительным аргументом: «Всё же, ведь, как там угодно, а она жена Михайла Степановича, а Михайло Степанович, как бы то ни было, ее муж».

Спустя недели три поехала Марья Валерьяновна в Москву и остановилась в своем доме в Хамовниках.

Когда Тит вечером доложил Михайлу Степановичу о приезде барыни, Михайло Степанович приказал ему утром сходить к ней и спросить ее о здоровье и как-де с дороги себя чувствуют, а о себе, мол, велел доложить, что со всяким днем разрушаюсь, мол, от несчетных болезней, забот и горестей.

— Да у нее людишки мерзкие, так ты скажи Ефимке, чтоб на двор ко мне никого не пускал! Слышишь?! — прибавил разрушающийся старец таким голосом, что Тит кашлянул и переступил с ноги на ногу, прежде нежели сказал густым голосом: — Слушаюсь!

На другой день Михайло Степанович учредил кордонную линию около Анатоля. Марья Валерьяновна написала ему письмо, в котором говорила ему, что если он ее не хочет видеть, пусть отпустит сына к ней. Он находил ее просьбу справедливой, но писал, что Анатоль несколько простужен.

Анатоль со слезами просился у него к матери; он хвалил его за это и прибавлял, что пустит после, что она женщина слабая, нервная, что ей с дороги надобно отдохнуть... «il faut la ménager» ***.

Так прошло дней пять: Марья Валерьяновна не вытерпела и увиделась, как знаем, с сыном, у Настасьи в каморке...

P. S. Вместо продолжения, помещаем письмо г. Г⟨ерцена⟩ к переводчику ****.

---

* из золота и серебра (франц.).

** испорчен (франц. «aigri»).

*** надо поберечь ее (франц.).

**** *Внизу страницы рукой Герцена:* Hier kommt d⟨er⟩ Brief d⟨en⟩ ich nach einer Woche schicken werde ⟨Здесь следует письмо, которое я пришлю через неделю (*нем.*).⟩

ПИСЬМО АВТОРА К г. ВОЛЬФЗОНУ

(вместо продолжения повести «Долг прежде всего»)

Исполняя ваше желание, посылаю вам первую часть моей повести «Долг прежде всего»; кончить ее не могу; нет больше ни того настроения, ни того юмора, в котором она была начата. События далеко раздвинули 1847 и 1851 года; перебросить нить пóвести через них и снова поймать, мне кажется невозможным.

Я посылал эту часть в начале 1848 года в Петербург, но цензура ее не пропустила. Отчего? Я не понимаю; вероятно, и вы не поймете.

Тогда именно начиналась в России та поэтическая эпоха цензуры, которая ныне расцвела так пышно и роскошно. Сверх гражданской цензуры была тогда учреждена другая, *военная*; она разбирала те же книги, но книги и цензоров вместе; она была составлена из генерал-адъютантов, генерал-лейтенантов, генерал-интендантов, начальников штаба, артиллеристов, инженеров, плац-майоров, одного татарского князя и двух православных монахов.

Эта высшая судная цензура, руководствуясь воинским регламентом Петра I-го и Номоканоном, очень справедливо запретила печатать что бы то ни было, писанное мною, хотя бы то было слово о пользе тайной полиции и явного самодержавия или переписка с друзьями о выгодах крепостного состояния, телесных наказаний и рекрутских наборов.

Я, с своей стороны, благодарен марциальным* цензур-генералам за эту справедливую меру; она напомнила мне, что русским пора писать и печатать в Европе, что нам нечего сказать такого, чего бы могла пропустить осадная цензура.

Сколько было моих сил, я старался оправдать доверие цензурного штаба и напечатать те брошюры, которые вы знаете.

Не имея духа продолжать повесть, которой avorton ** вам посылаю, я расскажу, что помню и как помню из ее плана.

План этот я был намерен исказить, урезать, затемнить настолько, насколько Каудинские фуркулы*** прежней русской цензуры этого требовали. Само собою разумеется, что я, писавши к вам, снял все эти китайские башмаки и отечественные колодки.

Мне хотелось в маленьком Анатоле, едва являющемся на сцене, но который должен был сделаться героем рассказа, представить человека, полного сил, энергии, благородства, готовности на деятельность, которого жизнь пуста, тягостна, безотрадна, оттого что он постоянно в борьбе с *долгом*. Человек этот усиливается и успевает мирить свою мятежную волю с тем, что он принимает за долг, и вся его сила утрачивается на эту борьбу. Он совершает героические акты самоотвержения, тушит страсти, жертвует влечениями и всем этим достигает того равнодушно-косного состояния, в котором находится всякий встречный, всякая вялая натура, словом, он весь идет на борьбу с собою за долг.

Вы видите в отрывке Анатоля уже втянутого в то столкновение, в котором он должен нравственно сломаться и погибнуть. Перед ним, в страшной нелепости, является родительская власть и *долг* сына. Его чистая, отроческая натура гнушается старым эгоистом, возмущается против его отношений к матери, но чувство обязанности говорит, что это безнравственное существо — его отец, что он должен его любить и уважать. И он старается заглушить верный голос сердца, затемнить юное чувство справедливости и негодования, и он натягивает покорность и оправдание отцу.

---

* военным (от франц.: «martials»).
** недоносок (франц.).
*** теснины (лат.).

Лет двенадцати Анатоль, бледное, заморенное растение, не по летам развитое и печальное, встречается с бедной девушкой, наивной, чистой, романтической, как все девушки в 16 лет. Девушка эта жила последнее время у его матери; на похоронах ее он ближе познакомился с нею и полюбил ее. Одна она непритворно грустила о Марье Валерьяновне; Анатоль хоронил с матерью всё, что у него было теплого, симпатичного на свете.

Старик Столыгин узнал о любви сына, и новый ряд преследований обрушился на голову юноши. Как все люди, состарившиеся в разврате, он не понимал робкой девственной любви сына и старался, сам не зная зачем, грязнить его чувство оскорбительными и грубыми выражениями. Начались страшные сцены. Мысли самоубийства бродили в голове юноши. Одно облегчение, одна отрада и была для Анатоля,— он убегал, когда мог, из острога — родительского дома, где всё дышало тяжелым рабством и старчески капризным гнетом, к Оленьке. Она делила его печаль, она плакала с ним, она утирала его слезы, и он привязывался к ней более и более.

Так прошли четыре длинных года. Наконец, Столыгин, к неописанной радости дворовых, умер.

Анатоль, как Онегин:

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил.
Мужик судьбу благословил.

А семидесятипятилетний моряк скончался от этого «дебоша», как он выражался. Грустно качая головою, повторял он еще перед смертью: «Библейское общество!.. всё это библейское общество!..»

Около года Анатоль был совершенно поглощен уничтожением всего, что завел его отец и моряк с 1796 года. Он много переменился в этот год; богатая натура его расправила свои крылья на воле. Но он не повеселел, напротив, подчас казалось, что он был печальнее прежнего.

Анатоль начинал чувствовать усталь от своей любви; ему было тесно с Оленькой, ее вечный детский лепет утомлял его, ее мечтаний он не мог больше разделять.

Горе тому чувству, которое знает свой предел; бесконечная даль так же нужна любви и дружбе, как изящному виду. Анатоль пробовал привести Оленьку к одному уровню с собою; существо милое, но не глубокое и не развивающееся, она не могла идти с ним рука в руку. Она охотно жадно слушала его, но оставляла на полдороге. Анатоль мучался и с ужасом ловил себя на радости, когда он мог под каким-нибудь предлогом скорее уйти от Оленьки, к которой с таким упоением он бегал украдкой от отца.

Заметила перемену в нем и бедная девушка; ей становилось страшно, сердце замирало, она искала вины своей, не находила, и часто слезы ее лились по канве, на которой она вышивала для Анатоля бедуина верхом, в белом бурнусе, с огромными стременами. Всё это долго бродило бы по душе молодых людей, если б не тетка. Старуха, с жестокосердием пожилой вдовы, сказала однажды Оленьке, что Анатоль гордец, что он хочет отлынить, что он просто стыдится жениться на ней.

Удар тетки ловко пришелся. Оленька радовалась по-детски и не скрываясь, что она будет богата, но об разнице общественного положения своего с Анатолем никогда и не думала. Униженная, глубоко оскорбленная в первый раз отроду Оленька в тот же вечер написала Анатолю письмо. Она благородно, откровенно отказывалась от его руки, говорила, чтоб он об ней не думал и просила, чтоб вспоминал ее, говорила, что она

счастлива будет былым, и молилась о нем... Словом, писала со всею риторикой юности, которая нам кажется натянутою и кудреватою, а в молодых летах так свято добросовестна.

Оленька, отдав письмо тетке, заперлась в своей комнатке. Горько ей было. Она бросилась одетая на постель, ее утешала одна мысль, что она не переживет этой ночи. Она была так уверена в смерти, что с вечера выпустила в окно своего щегленка и взяла в постель все вещицы, подаренные ей Анатолем, и его силуэт, чтоб с ним умереть.

В слезах и лихорадочном состоянии заснула Оленька и когда раскрыла глаза, опухшие и воспаленные, она увидела Анатоля на коленях у кровати. Он смотрел на нее с прежней любовью, так нежно, с такою добротой, что она забыла о близкой смерти, о своем горе и, невольно улыбаясь, протянула Анатолю свою руку, разъеденную горчишником.

ГИБЕЛЬ СЛУГИ ГЕРЦЕНА — МАТВЕЯ САВЕЛЬЕВИЧА
Иллюстрация А. Шенка из французского издания «Былого и дум», 1860 г.

Анатоль был в отчаянии от письма Оленьки, он ужаснулся своего поведения. «Как,—думал он,— когда я был несчастен, гоним, я не находил другой отрады, как это любящее дитя, я не жалел ее груди, когда сбрасывал половину своих несчастий; я не находил тогда, что она недостаточно развита, а теперь хочу любить по экзамену, выдумываю нелепые требования...»

Через две недели они были женаты.

Через два года они были несчастны.

Людские отношения, основанные на чем-нибудь, вне вольного сочувствия, не прочны, они должны оставаться поверхностными. Легко любить ни за что, и очень трудно любить за что-нибудь. Близость лиц — психологический факт; быть близким из благодарности, из сострадания, из-за того, что этот человек мне отец, а тот — брат, без личной симпатии — нелепость.

Брак ненадолго скрыл от Анатоля то, что он знал прежде. Совсем напротив, Анатоль стал свободнее; то, что требовал долг, было совершено, и он еще яснее увидел, нежели прежде, что он быстро расходится с Оленькой. Упрекая себя в невозможных желаниях, он усиливался ее больше любить и этим губил остальное нежное чувство к ней, хранившееся в его сердце.

Он был так добр, так внимателен к Оленьке, предупреждал охотно ее желания, был ласков, даже весел, но чего-то недоставало во всем этом; минутами он был так черно грустен, иногда, не думая, случалось высказывать слова унылые, свидетельствовавшие о борьбе, об устали, о неудачной жизни, так что Оленька слушала с ужасом, и сердце ее начинало замирать. Ей казалось, что если б он был не так внимателен, если б он перечил иногда ей, да зато был бы... ну, был бы не так,— всё бы стало лучше.

Вместо того, чтобы рвануться вперед, расширить мысль и сердце, стараться догнать Анатоля, понять его грусть, Оленька сосредоточивалась на трепетном страхе, на воспоминании былого счастия, на плаче о жизни, о своей судьбе.

В свою очередь Анатоль видел, что при всех своих усилиях он не может сделать счастливой свою жену, и уж это мучило его просто, как угрызение совести. Он ухаживал за ней, он утешал ее, но выбивался из сил, тем более, что ее печальное настроение приняло хронический характер; что он ни говорил и как они ни соглашались, но на другой день повторяла она всё прежнее.

Всё можно было спасти, и жизнь их могла еще принять здоровое pli *, стоило им выйти из своего лиризма на белый свет. Любовь, о которой мечтал Анатоль, любовь, которую хотела Оленька,— была невозможна для них, но они могли бы обойтись без нее. Вообще для брака не так важна любовь, как понятие о любви, которое вносят в него, а может и того важнее одинаковое понятие о любви и браке мужа и жены. Главное несчастие наших молодых супругов было в трудности выйти из той сосредоточенности на личных интересах, в которой они разъедали друг друга.

Жизнь, окружавшая их в Москве, мало вызывала их со двора. Русская жизнь, точно тихий омут, мертва, застоялась и позеленела; она лишена всяких интересов, кроме ненасытного честолюбия; им только она и может отвлечь человека от карт, от водки и от сна. Разве какое несчастие вдруг обрушится на голову русскому человеку и разбудит его. Но у Анатоля всё шло благополучно.

Года через полтора Анатоль увидел перед собой если не выход, то перемену.

Я забыл сказать, что Анатоль, после окончания своего университетского курса, был записан отцом в военную службу. Нельзя сказать, чтоб Анатоль показал когда-нибудь хоть малейшую склонность к военному званию. Но Михайло Степанович принадлежал еще к тому поколению, которое веровало, что молодой человек не может сделаться годным на что-нибудь, не пройдя через казармы или конюшню. Для того, чтоб поместить Анатоля на службу, он обратился к князю, своему двоюродному брату, с которым, как помните, он был воспитан. Князь командовал какою-то кавалерийскою дивизией, стоявшей близ Москвы, и иногда заезжал к Столыгину. Его жизнь прошла совершенно противоположно жизни его двоюродного брата. Лихой наездник смолоду, храбрый офицер, он отличился в 1812 году с своим полком, был весь обвешан крестами всех немецких государей, введенных казаками во владение, и усыпан русскими звездами; он был прострелен двумя пулями и кругом в долгах. Плохо держался князь на ногах, мало видел, не совершенно ясно слышал, но всё еще с некоторым шиком зачесывал седые волосы à la Titus **, прыскался духами, красил усы, подтягивал мундир, волочился за барышнями, и бог знает для чего, кажется из приличия, держал французскую актрису на содержании.

Это лицо хотелось мне в особенности отделать. Оно принадлежит

---

* направление (франц.).

** на манер Тита (франц.).

к типу, который утрачивается и который должно сохранить в памяти — к типу русского генерала 1812 года.

Надобно вам сказать, что русское общество с Петра I-го раза четыре изменило нравы. Последние, без сомнения, самые худшие. Об екатерининских стариках говорили очень много, но люди александровского времени будто забыты, так и сгинули с лица земли. Оттого ли что они ближе к нам, или от чего другого, но их мало выводят на сцену, несмотря на то, что они совсем не похожи на современных актеров «Памятной книжки» и действующих лиц «Адрес-календаря».

При Екатерине сложилась в высшем петербургском обществе не аристократия, а какое-то служилое вельможничество, надменное, гордое и недавно сделанное ручным. С 1725 и до 1762 года эти люди участвовали во всех низвержениях, возведениях на престол, задушениях, отравлениях и распоряжались, как своим добром, русской короной, упавшей на финскую грязь. Они имели случай узнать, что ножки трона петербургского не так-то крепки, что не только Шлиссельбург и Петропавловская крепость, но и самая Сибирь не так-то далеки и от дворца. Крамольная горсть богатых сановников с участием гвардейских офицеров, двух-трех немецких интриганов, храня наружный вид рабского подобострастия и преданности, сажала кого хотела на царское место, давая знать о том к сведению другим городам империи.

Так, в сущности, мало было дела народу до Петербурга, так безразлично было для его бедной спины имя палача, который держит кнут.

Ангальт-Цербстская принцесса, произведенная Орловыми в чин императрицы всероссийской, умела с лукавой хитростью женщины обстричь волосы буйным олигархам и усыпить их дикие порывы — важным почетом, милостивою улыбкой и крестьянскими душами. Из них-то и образовалось к половине ее царствования вельможничество, о котором мы говорили. В этих людях были смешаны русское патриархальное барство с версальским царедворством, западно-аристократическая неприступная «морга» * с казачьей атаманской удалью, Кауниц с Тренком Пандуром. Люди эти были спесивы по-русски и дерзки по-французски; они обходились учтиво с одними иностранцами, с русскими они были иногда ласковы, но всем до полковничьего чина говорили «ты». Тираны своих мужиков и своей дворни, они не были, однакож, так далеки от них, как их дети и внучата; они понимали крестьянские нужды и не разоряли их дотла. Их притеснение было сноснее холодного грабежа и правильной эксплуатации поколений, следовавших за ними. Ограниченные и надутые собой вельможи эти хранили какое-то чувство собственного достоинства, любили «матушку императрицу и святую Русь». Екатерина щадила их и слушала милостиво их советы, не считая нужным исполнять их.

Тяжелый и важный век этих старых ворчунов, обсыпанных пудрою, сенаторов и кавалеров ордена св〈ятого〉 Владимира 1-й степени, с тростью в руках и гайдуками за каретой, век этих стариков, говоривших громко, смело и несколько в нос, был разом подрезан воцарением Павла I-го.

Павел Петрович в первые двадцать четыре часа после смерти матери сделал из роскошного, пышного, сладострастного мужского сераля, называвшегося Зимним дворцом, казарму, кордегардию, острог, экзерцир-гауз и полицейский дом. Павел был человек одичалый в Гатчине, едва сохранивший какие-то смутные рыцарские порывы от прежнего состояния; это был бенгальский тигр с сентиментальными выходками, угрюмый, курносый, безжалостный, вечно раздраженный и поэтически влюбленный в Лопухину; он, наверно, попал бы в сумасшедший дом, если б не попал прежде на трон.

---

* спесь (франц. «morgue»).

Перевернул он старых вельмож, привыкших при Екатерине к покою и уважению. Ему не нужны были ни государственные люди, ни сенаторы; ему нужны были штык-юнкеры и каптенармусы. Недаром учил он на своей печальной даче лет двадцать каких-то троглодитов новому артикулу и выкидыванию эспонтоном; он хотел ввести гатчинское управление в управление российскою империей, царствовать по темпам. Это было не так легко, как делать в три темпа на караул и в двенадцать заряжать ружье. Трудность эту он принимал за оппозицию и свирепел более и более.

В такой простой, в такой гадкой и отвратительной форме деспотизм еще ни разу не являлся в России, как при этом прокаженном капрале. Его марсомания, которую он передал всем своим детям, доходила до смешного, до презрительного, и в то же время в ней было что-то трагическое.

Солдатизм на троне идет от прусских королей; никогда ни французские короли, ни английские, ни даже австрийские императоры не предавались с таким неистовством страсти быть вахмистрами, как русский императорский дом, начиная с Павла. Не оттого ли это происходит, что ни прусский, ни петербургский трон не имеют никакого исторического, народного значения, что, однажды сложившись, им не на чем держаться, кроме армии, что они погибли ⟨бы⟩ без солдат? *

Пьяное самовластие Павла не имело никаких границ, никакого смысла. Тирания Иоанна Грозного, Петра I могут оправдаться государственными целями; деспотизм Павла был бессмысленный, горячечный, ненужный. Кого пытал он и ссылал с своим генерал-прокурором Обольяниновым, и за что? Никто не знает. Но вельмож он приструнил; струсили они и вспомнили теперь, что они такие же крепостные холопы, как их слуги. С ужасом смотрели они на необузданное безумие императора и втихомолку укладывались и тащились на крестьянских лошадях в тяжелых колымагах и рыдванах в Москву и в свои жалованные вотчины.

Там их и оставил Александр после кончины Павла, которого он позволил убить, только не до смерти. Он не счел нужным вызывать из их деревень маститых государственных людей; благо они засели, обленились и задремали, учреждая в своих поместьях небольшие дворики вроде екатерининских, так, как немецкие князья XVIII века устраивали свои «Дрианон» и «Ферзал» **. Александр окружил себя новым поколением.

Поколение, захваченное в гвардии павловским ураганом, пройдя через его закал, было расторопнее и живее своих предшественников. События, ожидавшие этих людей, довоспитывали их. Шуточное ли дело Аустерлиц, Эйлау, Тильзит и борьба 1812-го, 13-го и 14-го годов!

Молодые офицеры павловского времени возвращались победоносными генералами из Парижа. Опасности, война, поражение, победы, соприкосновение с армиею Наполеона и с Францией — всё это сделало из них людей с особым характером, довольно замечательным. Смелые, добродушные и очень недальние, с религиею дисциплины и застегнутых крючков, но и с религиею point d'honneur'a ***, они владели Россией до тех пор, пока подросло николаевское поколение военных чиновников и статских солдат.

Люди эти занимали не только все военные места, но и девять десятых высших гражданских должностей, не имея ни малейшего понятия о делах, удивляясь гражданским формам, не понимая их и подписывая не читавши бумаги. Они любили солдат и били их не на живот, а на смерть, оттого что им ни разу не пришло в голову, что можно выучить солдата, не бивши его палкой. Они тратили страшные деньги, любили поиграть и выпить

---

* Этого абзаца нет ни в издании 1854 г., ни в немецком издании 1887 г.

** Искаженное немецкое произношение слов «Трианон» и «Версаль».

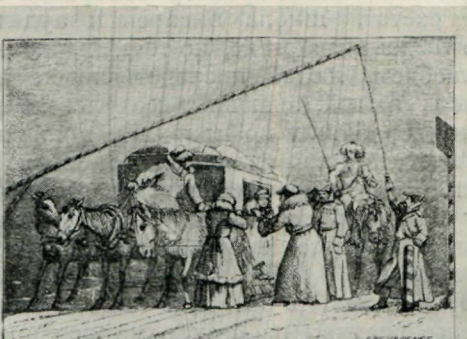
*** чести (франц.).

и, не имея своих денег, тратили казенные, брали глупо и неосторожно взятки, но не были систематическими ворами. Полицейских должностей они терпеть не могли, доносить всякий вздор они считали ниже своего достоинства, из какого-то доброго инстинкта они часто смягчали участь подсудимых, которым, впрочем, всегда грубили и читали морали. На приступ Варшавы пошел бы каждый из них; на казнь Польши, на истязание народа, ежедневное, мелкое, инквизиторское, беспощадное, на войну с детьми и с женщинами не нашелся бы ни один.

Долею к этим людям принадлежит Паскевич... я говорю: долею, потому что он был совершенно неизвестен до турецкой кампании 1828 года. Паскевич, один из дюжинных полковников 1812 года, вызван на сцену не Александром, но Николаем. Тем не менее, Паскевич не дикий исполнитель царской воли; насколько он может, настолько он отводит бездушную, ненасытную месть Николая.

Беда Польше, если Николай переживет Паскевича и на его место назначит одного из своих петербуржцев.

Есть что-то таинственное, роковое в судьбе полнейшего представителя поколения, о котором я говорю, в судьбе графа Милорадовича. Храбрый, блестящий, лихой, пышный, беззаботный, благородный, десять раз выкупленный Александром из долгов, волокита, мот, болтун, любезнейший в мире человек, идол солдат, управлявший несколько лет Петербургом, не зная ни одного закона, граф Милорадович был убит в первый день воцарения Николая.



CHAPITRE VIII

Dernier séjour à Sokolova. — Rupture théorique. — Position contrainte. Il faut partir.

Depuis notre réconciliation avec Belinski, en 1840, notre petit groupe d'amis continuait à marcher en avant avec assez d'ensemble; il y avait bien quelques nuances d'opinions, quelques vues personnelles, mais tout partait au fond des mêmes principes. Aurait-il pu en être toujours ainsi? — Je ne le pense pas. Nous devions nécessairement at-

ГЕРЦЕН И ЕГО СПУТНИКИ НА ГРАНИЦЕ

Страница французского издания «Былого и дум», 1860 г.

Иллюстрация А. Шенка

Этому прозаическому человеку не нужно было таких людей, как Милорадович; они неловки, неудобны, слишком надеются на себя, они, правда, готовы лить свою кровь, седеть на поле брани, но—они иногда возражают, шумят, громко хохочут, пьют много, дурно стоят во фрунте. Николаю нужны люди, которые, входя к нему ежедневно два-три раза в продолжении двадцати лет, каждый раз бледнеют, как Бенкендорф. Ему нужны агенты, а не помощники, исполнители, а не советники. Он никогда не мог придумать, что сделать из умнейшего ⟨из⟩ всех русских генералов, из Ермолова,— он его оставил доживать век в Москве.

Николай — это Павел, вылеченный от безумия, но не поумневший, Павел без добрых порывов и без бешеных поступков. У отца была белая горячка самовластия, delirium tyranorum, у сына она перешла в хроническую fièvre lente *. Павел душил из всех сил и в четыре года свернул шею — не России, а себе; Николай затягивает двадцать шестой год понемногу петлю России с немецкой выдержкой и аккуратностью.

Живую связь между Павлом и Николаем составляло худое, желтое, иссохнувшее, гнусное привидение, существо с ядом и желчью в жилах, неусыпное, во всё мешающееся, вечно злое, мертвящее,— существо, заставившее русский народ проклинать Александра — лучшего из ряда царей после Петра,— существо, заклейменное стихами Пушкина «Холоп венчанного солдата». Николай его терпеть не мог, он чувствовал в нем соперника. Двух Аракчеевых было много для России.

При Николае характер генералов 1812 г. изменяется, школа Аракчеева растет, школа писарей и аудиторов, дельцов и флигельманов, школа людей бездарных, но точных, людей бездушных, но с ненасытным честолюбием, людей посредственных, но способных доносить, пытать, засекать, людей, знающих все уловки, все законы, ворующих систематически, грабящих по правилам политической экономии. Несколько потерянных стариков являются там-сям в Государственном совете, чуждые, отсталые, они стараются догнать холодных злодеев и боятся признаться, что у них есть сердце; двум-трем удалось переродиться.

Вы уже видите теперь, какой тип я хотел представить в моем князе-кавалеристе.

Корнет Анатоль был взят князем к себе в адъютанты. Эта должность, наименее военная из всех в мирное время, оставляла Анатолю полный досуг разъедать свою жизнь теми печальными отношениями к жене, о которых мы говорили.

Но вдруг, когда всего менее кто-либо в России ждал похода, восстала Польша. Князь получил приказ выступить с своей дивизиею и присоединиться к армии Дибича. Всё засуетилось, князь ожил и забыл свои лета, офицеры радовались отличиям и быстрому повышению, солдаты радовались, что во время похода не будет учений и беспрерывных смотров. Один Анатоль был печальнее прежнего. Товарищи смеялись над ним и говорили ему стихами партизана Давыдова:

Нет, братцы, нет! Полусолдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжина ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой...

Даже князь, очень любивший его и вообще ничего не замечавший, разглядел, наконец, что адъютант его очень невесел, и, весьма недовольный, сказал ему раз, что военная служба состоит не в том, чтоб носить мундир и аксельбанты в Москве и что надобно было прежде думать о не-

* медленную лихорадку (франц.).

выгодах военного звания, а что теперь, во-первых, нельзя идти в отставку, а во-вторых, это значило бы — навсегда покрыть позором свое имя, — и, смягчая свой тон, старик прибавил, трепля его по плечу: «Tout cela, mon cher, c'est très bien d'aimer sa femme, mais, enfin, sacré nom de dieu! des femmes, on en trouve partout — un jeune homme — bah! — Enfin, je ne doute pas de votre courage» *.

— Vous le verrez, mon prince **, — отвечал ему Анатоль, вспыхнув в лице, и голосом, более одушевленным, нежели дисциплина дозволяет.

— A la bonne heure ***, — отвечал старик. — Ну же, любезнейший, за дело, а бабиться потом.

Анатоль принялся с отчаянным усердием за службу; в груди у него была смертельная тоска; он старался заглушить ее беспрерывной деятельностью, но успевал плохо.

С детских лет Анатоль развил в себе непреодолимое отвращение ко всякому насилию. На него сильно подействовало страшное обращение с дворовыми отца и с крестьянами — моряка. С биением сердца и со слезами на глазах смотрел он на состарившихся в отчаянной безнадежности, обтерханных, едва сытых слуг, когда отец его с своей необузданной раздражительностью осыпал их бранью, а иногда и ударами трости; с глубокой горестью смотрел он на печальных мужиков, приходивших жаловаться и просить милости, когда Столыгин свирепо и грубо принимал тех, которым удавалось добраться до барских очей, и отсылал и просьбу и мужика к моряку, на которого была жалоба.

Поставленный вне общества, отрезанный от всего мира оградою столыгинского дома, Анатоль только и мог почерпать живые мысли из книг небольшой библиотеки, составленной еще по советам Дрейяка. По счастию нашел он Руссо и Волнея. Они воспитали еще более и уяснили ему его ненависть к притеснению. Недоставало только вести о 14-м декабря, чтоб раскрыть окончательно глаза юноше.

Анатоль был тогда студентом Московского университета. В те счастливые времена профессора не носили форменных фраков, студенты не носили мундиров, не были обязаны стричь волосы, попечителем был добрейший старик, плохо знавший грамоте, а университета не знавший вовсе, старик, писавший до конца жизни: вторник с *ф*, и *князь* вместо: князь. Профессора тогда были или дикие семинаристы, произносившие французское *l* как греческую λ и пившие в семь часов утра водку, или смиренные духом немцы, которые вводили униженный клиентизм и понятие о науке как о куске насущного хлеба. Никто не заботился о том, что̀ преподавали эти немцы и не немцы; никто не учился тогда, не следил серьезно за лекциями, кроме медиков, но почти все становились людьми и выходили из университета в жизнь с горячими сердцами. Смелый Полежаев читал тогда в аудитории свои стихи, которыми бичевал царскую власть; «Думы» Рылеева, «Полярная звезда» и тетрадка пушкинских запрещенных стихов не выходили из рук. И кто же в те времена не шептал на ухо своим друзьям, сжимая крепко руку, известные стихи Пушкина из послания к Чаадаеву:

Товарищ, верь, взойдет она —
Заря пленительного счастья
. . . . . .
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

---

* «Конечно, дорогой, любить свою жену — весьма похвально, но, в конце концов, чёрт возьми, женщины везде найдутся — молодой человек — эх! Словом, я не сомневаюсь в вашей храбрости» (франц.).

** Вы убедитесь в ней, князь (франц.).

*** В добрый час (франц.).

Террор после 14-го декабря не мог разом пришибить все эти молодые силы, все эти свежие ростки. Надобно было воспитать поколение шпионов и наушников, развратить до корня чиновничество и прочно устроить корпус жандармов, чтоб достигнуть до той степени совершенства и виртуозности, до которой дошло русское правительство теперь.

Да, износил, истер, передушил всех этих людей, хранивших веру в близкую будущность России, жернов николаевской мельницы — целую Польшу смолол, а сам всё еще мелет.

Анатоль, вышедши из университета, свято хранил «вольнолюбивые мечты» и, как все мы, по несчастию, удовлетворялся собственным одобрением за биение своего сердца при каждом злодейском поступке правительства и грустным молчанием. Мы обыкновенно, не изменяя нашим убеждениям, сводим их на христианские молитвы и упования, которые горячо и добросовестно повторяются без всякого серьезного влияния на жизнь и без того, чтоб ожидали их исполнения *.

Война с Польшей разбудила его. Нужно ли говорить, с какой стороны были все его симпатии! Но выбора не было. Как идти в отставку в военное время?! И несчастный Анатоль, увлекаемый своим злобным гением, отправился бить поляков. Долг военного не мог поколебать в нем человеческое сердце. И он с первого сражения совался в огонь, думая, что рана или смерть спасет его от участия в этой каиновской войне. Но пули обходили его с той иронией, которая составляет один из основных тонов всемирной гармонии; а храбрость его была замечена, и князь привязал ему георгиевский крест в петлицу. Товарищи завидовали. Наконец, одно событие положило предел его военной службе.

На приступе Варшавы, когда был взят первый бастион, граф Толь, страшный и кровавый вождь вроде Тилли, подъехал с князем к бастиону. Он поцеловал майора, начальствовавшего отрядом, поздравил его с чином и крестом, и потом спросил его, указывая на толпу пленных:

— Кто же у вас их беречь будет?

Майор, державший платок на ране, молчал и смотрел с испугом в глаза генерала.

— На приступе каждый человек нужен. Если все офицеры будут брать столько пленных, нам с ними некуда деваться... Понимаете?

Майор понимал, но не говорил ни слова.

Толь обернулся к Анатолю, подозвал его и сказал ему вполголоса:

— Господин адъютант, майор, кажется, ослаб от раны — скажите старшему капитану, il faut en finir avec les prisonniers **.

Анатоль стоял, как вкопанный, рука его приросла к шляпе.

— Что же вы? Какой вы неповоротливый! — заметил Толь и с досадой поехал шагом прочь, указывая князю трубкой какие-то осадные работы.

— Рады стараться, — отвечал старший капитан с малороссийским выговором, когда ему Анатоль пробормотал мертвым голосом приказ Толя. — А, впрочем, охотнее полез бы еще раз на бастион, нежели бить, как баранов, безоружных людей... все-таки, образ и подобие божие.

Раненый майор, стоявший всё это время в каком-то оцепенении, сказал капитану, выжимая свою кровь из платка:

— Жаль, что проклятый поляк слабо владел штыком — ну, да, ведь, не мы отвечаем.

---

* *Далее зачеркнуто:* Шесть месяцев, проведенные им юнкером, прошли в военной гимнастике; манеж, ученья физически развлекали его. Тут он попал в адъютанты, то есть ничего не делал, являлся утром на минуту к князю, два раза в неделю у него обедал и по праздникам делал с ним визиты. Притеснение отца сначала, грустное отношение к жене потом — совершенно поглощали его.

** надо покончить с пленными (франц.).

ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830 г. ШТУРМ ТЮРЬМЫ В ВАРШАВЕ
Гравюра с рисунка Дитриха
Исторический музей, Москва

ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830 г. СРАЖЕНИЕ У АРСЕНАЛА В ВАРШАВЕ
Гравюра с рисунка Дитриха
Исторический музей, Москва

— Того служба требует,— заметил, качая головой, капитан и закричал:— Хведосеев!

— Здесь, ваше высокоблагородие,— отвечал густым голосом старый унтер-офицер, с щетиною под носом.

— Выведи к стене пленных.

Анатоль повернул лошадь и хотел поскакать. Но отряд охотников шел с криком и песнями на приступ. Ему нельзя было двинуться. Гром пушек, дым, барабан и крик этих несчастных храбрецов, шедших на смерть, не зная за что, всё это казалось Анатолю каким-то окончанием мира, хаосом, разнузданным безумием. Вдруг, средь общего гама и шума, он услышал за собой резкое: «Шай — пли!», и ружейный залп грянул, почти в то же время Анатоль обернулся.

Человек двадцать пленных лежали в крови — одни мертвые, другие в судорогах. Столько же живых стояло у стены. Одни, обезумевшие от страха, кричали, хохотали судорожно и плакали; два-три человека громко читали по-латыни молитву; третьи, бледные, стиснув зубы, с гордостью смотрели на палачей. У солдат дрожали руки, они отворачивались; сам унтер-офицер Федосеев, хотя он для поддержания чести и говорил: «Эк, живучи эти поляки!» — утирал толстым рукавом шинели нос, чтоб не показать, что утирает глаза.

— Вторая шеренга впе-ред, шай — клац! — командовал капитан. Ружья склонились и брякнули.

У Анатоля потемнело в глазах, он покачнулся и дал шпоры лошади. На дороге осколок русской бомбы раздробил ему правое плечо. Он упал замертво.

Недель через шесть Анатоль выздоравливал в лазарете от раны, но история с пленными не проходила так скоро. Она решительно расстроила его ум. Всё время своей болезни он бредил о каких-то двух голубых глазах, которые на него смотрели в то время как капитан командовал: «Вторая шеренга впе-ред!» Больной спрашивал, где этот человек, белокурый, молодой,— и за что он на него посмотрел с таким презрением, с таким укором... И потом опять начинал бредить, звал «Хведосеева» и повторял его слова: «Как поляки живучи».

Князь, жалевший очень своего адъютанта, выхлопотал ему за отличие при взятии Варшавы чин ротмистра.

Анатоль подал в отставку.

В Москву он не поехал, а остался в Варшаве дожидаться жены, чтоб ехать за границу. Он рвался теперь в чужие края, он не мог без ужаса подумать о возвращении в Москву, он ненавидел Россию. Ничто в мире не могло больше развить эту ненависть и оправдать, как то, что делалось в Варшаве.

Жена его нашла в нем совсем другого человека. Вопрос о любви и семейной гармонии не так мучительно занимал его, он возмужал, стал серьезнее, какая-то скрытая злоба пережигала его, и в душе его кипели новые страсти.

На предпоследней русской станции Столыгину пришлось ждать лошадей. Он отправился побродить по бедной, жидовской деревне, нечистой до отвратительной степени. Оборванные мальчишки облепили его, крикливо прося подаяния; слепой жид играл на гуслях; женщины с нечесаными волосами ругались около шинка. Столыгину так противна показалась эта последняя русско-жидовская картина, что он своротил в переулок и пошел за домами проселочной дорогой.

Дорога была пуста; только один человек тихо переступал с ноги на ногу. Путник этот, завернутый в изодранную шинель и с нахлобученной фуражкой на голове, сел на бревно, как человек, выбившийся из сил, и опустил голову на руки. Проходя мимо, Анатоль взглянул на него и

ужаснулся: это был облик смерти, щеки его ввалились, нос выдался, около глаз, лихорадочно блиставших, лоснился синий круг, губы были бледные, и, что всего ужаснее, видно было, что этот человек едва вышел из первой юности.

— Вы больны? — сказал ему по-польски Анатоль.

Молодой человек поднял голову и, как бы пораженный видом хищного зверя, отпрянул назад, но, тотчас же собравшись, он осмотрелся кругом и, видя, что никого нет, сжал рукою в кармане пистолет, потом, уставив пытливый взгляд на Анатоля, ответил: «Болен».

— Не могу ли я вам быть чем-нибудь полезен? — спросил Анатоль.

— Вы русский офицер? — заметил поляк, и голубые глаза его напомнили Анатолю те два страшных глаза, которые перед смертью бросили на него презрительный взгляд, полный укора.

— Я в отставке,— торопился Анатоль отвечать, покрасневши.— Это у меня старая шинель.

Поляк улыбнулся, опустил пистолет и сказал: «Вы можете меня очень обязать, давши мне рублей десять денег».

Анатоль подал ему золотой. Поляк грустно посмотрел на деньги; его худая, но красивая рука, кажется, больше привыкла бросать золото, нежели брать подаяние.

— Дай бог,— сказал он,— чтоб вы никогда не испытывали той благодарности, с которою я беру ваши деньги... Сделайте одолжение,— прибавил он,— разменяйте мне золотой, мне это очень трудно сделать.

Анатоль разменял деньги и, пожав руку незнакомцу, сказал ему: «Счастливый путь».

— Да будет воля его! — пробормотал поляк.

На следующий день они встретились по ту сторону границы. При въезде в какую-то деревеньку, под водоемом, в нише стояла дурно высеченная из камня статуэтка богородицы в раззолоченной короне с Христом на руках. Перед этим изображением горячо молился человек. Столыгин узнал его и бросился к нему, как к старому другу.

Русский, переезжая границу, делается другим человеком; десять лет с костей долой, он юнеет, становится добрее, храбрее,— невозможно описать то радостное чувство, с которым мы покидаем отечество, благодаря немецким Романовым. Мы вознаграждаем себя за дрожь, осторожность и притворство целой жизни, мы делаемся болтливы и опрометчивы; нам кажется, что, оставив за собой последний зеленый мундир и последнего казака у шлагбаума, мы делаемся вольны, как птицы небесные.

Поляк только за несколько часов перешел границу. Он был сильно взволнован и одушевлен.

— Без ваших денег,— сказал он,— я или сидел бы в брест-литовском остроге, или должен бы был убить казацкого урядника; он предпочел очень умно три рубля серебром одной свинцовой пуле.

— Куда вы теперь?— спросил Анатоль.

— Буду пробираться в Берлин, там у меня много знакомых, но пока отдохну где-нибудь. Наконец, у меня нет ни сил, ни средств, я ранен в грудь и очень изнурился, скрываясь по лесам. Я пробуду где-нибудь в Познани, пока получу ответ...

— Послушайте,— перебил Анатоль,— у нас есть место, и мы едем прямо в Берлин, я буду очень рад, и вы доедете покойно.

— Что вы это? — заметил поляк,— помилуйте, да если узнают...

— Кто узнает?

— Как кто, мало у вашего царя шпионов? Когда вы возвратитесь...

— Я никогда не возвращусь,— быстро ответил Анатоль и сам удивился. Он ни разу еще не думал об этом, но, сказавши, ему казалось

так просто и ясно, что он не возвратится, что он еще раз повторил: — Никогда!

Поляк посмотрел на него с удивлением.

— Или,— прибавил Анатоль, шутя,— с вами вместе, а это, кажется, будет не так-то скоро.

— Да,— сказал поляк, грустно качая головой,— долго не увижу я леса моей Литвы...

Столыгину не было жаль ни лесов, ни полей своего звенигородского уезда; ему стало даже совестно.

— В таком случае я принимаю ваше предложение. Однако вы должны знать, кого вы так много одолжаете. Мое имя — граф Ксаверий Х.

— Не в вашем ли имении стояли мы с армией до взятия Варшавы? Большое село?!

— Это наше родовое имение, им владел мой старший брат, после того, как наш отец был сослан в каторжную работу в начале царствования Николая, брат мой убит под Остроленкой, я эмигрировал. Теперь это имение ничье. Николай подарит его своим холопам, может быть своей жене, как Софьевку.

...Анатоль с каким-то благочестием слушал мартиролог графа Ксаверия. Тот, догадываясь, что происходило в душе его, прибавил:

— Польша — мученица, распинаемая за свои прежние грехи и за ваши, Авель между народами. Тяжела доля для ее детей... Отец в рудниках, сын — нищий на чужбине, и между ними — едва остывшее тело убитого русскою пулей. Но, поверьте, воскресение Польши ближе, нежели кажется...

«Удивительные люди, удивительная страна, — думал Столыгин.— Jeszcze Polska ne zginęła!»*

В графе Ксаверии хотелось мне представить один из самых поэтических типов современной жизни, тип польского выходца.

В вашей скучной Европе тридцатых годов, педантски-мещанской в Германии и экономически-мещанской во Франции, каким-то оправданием века, холодного и вялого, укором ему и искуплением, являются поляки, эти мученики героического патриотизма. Подавленные в неравном бою, побежденные, они величаво проходили действительными победителями по Европе. Их не сломило поражение. Напротив, они еще прямее подняли голову, еще гордее смотрели, родина их была с ними, они взяли с собою ее душу и богатые имения свои бросили царю на разграбление. Надежда их на будущее была непоколебима; фанатики-энтузиасты, они не изнемогали под бременем сомнений, они верили во второе пришествие польской свободы и скорее предавались ультрамонтизму, мессианизму, панславизму, бонапартизму, чем отчаянию.

Народы, устыженные своим рабством, с любовью и уважением смотрели на проходивших выходцев; правительства, стиснув зубы, склонялись перед ними, приказывая своим войскам расступиться и дать почетный путь этим сильным бойцам.

Где бы ни поднималось знамя независимости, в Колумбии или в Испании, в Италии или на Кавказе, непременно являлся белокурый поляк и становился в первых рядах и падал первый, завещая своим братьям и детям освобождение Польши.

Как ни преследует теперь реакция поляков, как грязная правительственная пресса ни ругается над ними, но высокопоэтический нимб, окружавший их благородный облик, не потускнеет, и ярким и светлым перейдет он в потомство на удивление векам. При слове «поляк» всякое юное сердце вздрогнет и сильнее забьется, вспоминая геройский бой

* Еще Польша не погибла (польск.).

с царем этих крестоносцев свободы и патриотизма, этих бездомных скитальцев, утративших всё, кроме веры и отваги, этих воинов, для которых слово «Польша» смешивалось с словом «вольность» и всякая борьба за свободу казалась борьбою за Польшу.

БЕЛИНСКИЙ

Гравюра с портрета К. А. Горбунова, 1843 г.
«Полярная звезда» на 1856 год, книжка вторая

«Отрывок, который я посылаю вам <«Долг прежде всего»> особенно ценен для меня. Осенью 1847 читал я его в Париже нашему славному другу Белинскому. Он был очень болен... Вечером возле дивана, на котором лежал Белинский, читал я ему начало повести... Больной... одушевился, говорил с энергией, с увлечением, редко посещавшим его в последнее время...» (Из письма Герцена к Вольфзону от 13 октября 1851 г.)

Столыгин был не менее образован, нежели граф Ксаверий, он даже был многостороннее и полнее развит. Но вскоре граф приобрел большое влияние над ним: у него был определенный и испытанный характер, у Анатоля — неустоявшаяся способность. У Ксаверия во внутренней жизни всё было кончено, решено; он шел своим путем твердо, не возвращаясь беспрерывно к точке отправления, не подвергая ее беспрерывной критике и потому не сбиваясь с него.

У Анатоля были прекрасные симпатии, но не было ни направления, ни цели; его стремления больше определялись отрицательно, он лучше знал, к чему он чувствовал отвращение, нежели к чему влекло его сердце.

В образе мыслей графа была непоследовательность, перелом, но это нисколько не мешало его энер⟨ги⟩ческой деятельности. Аристократ и революционер, светский человек нашего времени и настоящий породистый поляк; блестящее образование его не скрывало непокорный задор литовского магната; и неукротимая гордость праотцов престранно как-то совмещалась со смиренной покорностью религии, с безропотным отданием себя воле божией. Он был фаталист и ревностный католик. Вера его отцов, гонимая свирепыми врагами, едва смеющая вполголоса молиться о народе и робко скрывающая слезы свои о его страданиях, царила безусловно в его сердце, придавая свою торжественную и мрачную библейскую поэзию всем мыслям и фантазиям его.

Прибавьте, что этот человек, отважный, твердый, фанатик чести, надежный заговорщик, был бесхитростен и беззаботен, как дитя, и вы увидите, что жизнь его, при всей тягости, шла легче, стройнее, нежели жизнь Анатоля, у которого никакого внешнего несчастия не было.

Анатоль никогда не имел ни сильных верований, ни сильной связи с каким-нибудь общим делом. Религиозного воспитания в России нет, за цивическое ссылают в Сибирь; скептицизм и рабство, вот нравственные скалы, между которых мы развиваемся и бьемся. Теперь завели какое-то искусственное, притеснительное и обязательное религиозное учение. Но в те времена, когда Анатоль воспитывался в доме своего отца, старого вольтерианца, в России не было ни православных славянофилов, ни полицейского православия, ни Бурачка, ни накожного обращения униатов, ни крещения исправниками чухонцев, ни мощей Митрофана Воронежского, ни «Путешествия к Святым местам России» Муравьева, ни духовного прозрения Гоголя; Языков писал тогда еще застольные песни, а ирмосов и кондаков не только не писали, но и не читали; словом, туманное пятно подогретого православия не затемняло еще тогда последние лучи света, проникающего в полицейские щели на бедную Русь.

Анатоль с жадностью искал к чему-нибудь прислониться, спастись из хаотического брожения, в которое его увлекал скептицизм, получить определение, дело, цель.

Граф Ксаверий часто рассказывал ему об одном удивительном человеке, который в эмиграции пользовался общим уважением святого. С ним советовались, искали у него утешения. Это был старый ксендз, живший в одном бельгийском монастыре. Некогда и он играл роль в политическом мире, лил свою кровь вместе с Костюшкой, потом он обратился к иным орудиям, отдался богу, был ксендзом, монахом и занимался теперь, сверх молитвы, собиранием хроник. «Вот человек,— говорил он,— который мог бы вас призвать к новой жизни, разбудить вас к деятельности. Заезжайте к нему, когда поедете в Париж. Я ему напишу вперед». Анатоль согласился.

Он согласился не потому, чтоб он ожидал в самом деле что-нибудь необыкновенное от ксендза. Но, праздный и готовый на всё, ему любопытно было видеть, что это за человек, о котором так много говорил Ксаверий. Ему даже хотелось поспорить с фанатическим аскетом, с католиком-ученым, вероятно, не отличающимся терпимостью.

Вместо сурового монаха и гордого теолога, в трапезу, где Анатоля заставили ждать, взошел болезненный, исхудалый старичок, без волос, с нежным восковым лицом. Он скорыми шагами подошел к Анатолю, взял обе руки его, с горячностью сжал их и, несколько тронутый, сказал тихим голосом:

— Я могу повторить слова святого Симеона nunc dimittis... (ныне отпущаеши...) — я увидел русского эмигранта!.. Поздравляю вас в нашей гонимой семье, от души поздравляю. Вы приносите нам отрадную весть из враждебного стана, как голубица, прилетевшая с оливой к Ною.

— Боже мой! — продолжал он, усевшись с гостем,— как истина всегда торжествует! Вы бежите от победы, как другие бегут от поражения; вы чувствуете, что она не ваша. Зато она вам и отпустится легко. Очень, очень важно, что молодые русские отпадают от царя, и оно должно так быть. В царской власти нет достаточно любви, ни теплоты, чтобы надолго удержать народ, отторгнутый их себялюбием от единого нераздельного братства. Царь — не пастырь, отдающий себя стаду, а надменный Луцифер, ставящий себя, в противоположность богу, главою церкви. Около его эгоизма, около его порочной пустоты, к которой тяготят души, находящиеся под его влиянием, нет ни света, ни милосердия. Это нравственная Сибирь; в ней не могут оставаться живые души, отчужденные от человечества.

Потом старик расспрашивал его о судьбе сосланных, о Варшаве после ее взятия. С грустию слушал он рассказ об ужасах и безумиях победившего самовластия, но ни одним словом не оскорбил он Анатоля. Напротив, он удивил его своей деликатностью.

Заключая разговор, ксендз прослезился и крепко обнял Анатоля.

— Я ждал вас,— сказал он,— давно носилось в моей душе упование, что я увижу начало обновления России. Внутренний голос влечет людей на единый истинный путь, раскрытый богом от начала веков и преемственно дошедший до нас. Двух путей к цели нет. Который же истинный путь? Путь ли распятия, мученичества, апостольства, Польши, или путь Кайяфы, Иуды, палачей, царя? Может ли тут быть спор?! Слава вам, если господь обратил на вас, на первых, внимание. Но вы не последний, это мне говорит сердце.

Свидание с старцем оставило что-то успокаивающее на душе Анатоля.

Как ясно и безмятежно в самой грусти своей о родине оканчивалось это существование! Анатоль вспоминал его добрую наружность, слезы, которыми он омочил его щеки, и огонь веры, струившийся из его глаз, скоро долженствующих закрыться.

Анатоль остался на несколько месяцев в Брюсселе.

Довольно часто навещал он ксендза в его монастыре. Всегда кроткий, покойный, всегда готовый на беседу, он удивлял Анатоля своими сведениями по исторической части. Часто разговоры их касались религии. Впрочем, ксендз не натягивал их. Долгая жизнь его и большая опытность оставили ему такой огромный запас фактов и заметок об людях и событиях, что недостатка в предметах разговора не было.

Возражения он слушал спокойно, внимательно, взвешивал их и старался опровергать довольно оригинально.

Когда Анатоль говорил ему о своем скептицизме, о невозможности верования, старик не убеждал его, а говорил, что невозможность верования — великое несчастие, что вера есть высокий дар, что дать веру нельзя так, как нельзя дать поэзию, талант, но что душа человека достигает до нее смирением и опытом, убеждающим в суетности всего остального.

«Наука вам точно так же,— говорил он,— не может доказать своего начала. Откуда бы вы ни пошли, она возводит вас к факту неподсудному вам, который она втесняет, который вы должны принять; перед логикой и разумением есть материальный мир и мир духовный; перед обоими человек должен смириться, но один подавляет, а другой освобождает; в одном человек терзается, в другом находит себя».

Для Анатоля эта метода была нова. Он ясно видел, что науку отвергать есть столько же справедливости, как отвергать религию, и что собственно борьба идет не между знанием и откровением, а между сомнением и при-

нятием на веру. По всему характеру своему и по развитию он склонялся гораздо более к скептицизму. Но с пустотою, которая делалась ему всё тягостнее и тягостнее в жизни, он сладить не мог. Скептицизм в науке странным образом наводил его на мистицизм, он углубился в схоластиков; ксендз сам выбирал ему книги.

Среди этих занятий одно событие нежданно потрясло его жизнь.

Столыгин ожидал в первый раз сделаться отцом. Жена его, очень расстроившая свое здоровье беспрерывной грустью, а потом беспокойством во время войны, была слаба, но очень поправилась в несколько месяцев путешествия. Всё шло хорошо, и у них родилась дочь. Анатоль был чрезвычайно рад новорожденной; жизнь его расширялась, делалась необходима и начинала получать цель. Но радость эта скоро померкла; через неделю родильница вдруг захворала, потом больше и больше разнемоглась, воспаление сожгло ее в три дня. Она умерла в страшных мучениях на руках Анатоля.

Смерть этой женщины, которая не могла сделать Анатоля совершенно счастливым, но с которой он так сжился, с которой было связано все былое его, поразила его. Она слишком тесно была вплетена во всю ткань его жизни. Когда Анатоль, удрученный горем, без слез, без ясного понимания, механически, сам не зная для чего, отошел от покойницы и отворил дверь спальни, он встретил в ближней комнате старого ксендза, который читал молитвенник. Увидя Анатоля, он встал, горячо прижал его к груди и сказал ему: «Сын мой, я пришел вместе плакать, вместе молиться». Анатоль, рыдая, спрятал голову свою на груди старика.

Это было на рассвете. Старик всю ночь молился. Извещенный об опасности жены Анатоля, он оставил свой монастырь, чтоб утешить молодого друга своего.

Жизнь Анатоля приняла более мрачный, серьезный и странный вид. Он и новорожденная в колыбели, он и старик, близкий к гробу, вот и всё, — четвертого не было; Ксаверий давно уехал в Париж.

Старик хотел сам окрестить дочь Анатоля и окрестил ее по западному ритуалу. Ее назвали Вероникой.

Месяца через три и Анатоль перешел в католическую веру. Ксендз был на верху счастия. Но для Анатоля и это казалось теперь недостаточным; он просил, чтоб его приняли в братство Иисуса. Ксендз поздравлял его с этим желанием, но советовал не торопиться, подождать, изведать свои силы. Он познакомил его с настоятелем иезуитского монастыря, молодым монахом, холодным фанатиком, вроде Сен-Жюста, который был того же мнения.

Настоятель сказал Анатолю, что он берет его обет условно, что этот обет нисколько не должен связывать, что ближе полугода он не примет его окончательно. «Возвратитесь в мир, — говорил он, — посмотрите снова на кипящую жизнь, на большие города, на светские интересы; и если они влекут вас, если вам жаль будет их оставить, не вступайте лучше в эту передовую фалангу церкви, трудно в ней, много преданности требует наша служба; кто идет с нами, тот отказывается от всего, даже от воли». Анатоль возражал. Настоятель был непреклонен.

Побродил Анатоль шесть месяцев по свету, побывал в Париже, и свет ему опротивел еще больше. Это было в самое то время, когда Людвиг-Филипп и его мещане окончательно восторжествовали над *вредными страстями*, когда кровь лилась реками в Лионе, в Клуатре, Сен-Мерие, и Бюжо, приготовляясь к Трансноninской улице, свидетельствовал беременность герцогини беррийской.

Анатоль еще более готовым явился к настоятелю. Его приняли.

Новые братья нашли тотчас банкира, который взялся продать его име-

ние в России и вперед принял вексель Столыгина. Бóльшую часть достояния он отдал братству, остальное положил на имя дочери.

С ревностию вновь убежденного, с покорной твердостью человека, давно искавшего определенное дело и внешний толчок, вынес он томительные месяцы искуса. Они ему даже показались легки. Внешний труд, труд обязательный, периодический, почти столько же развлекает и врачует больную душу, как болезнь тела. Все католические журналы Бельгии и Франции гремели наперерыв о славном обращении d'un boyard russe *, о его блестящем искусе и полном принятии в орден под именем брата

ИТАЛЬЯНСКИЙ БУЛЬВАР В ПАРИЖЕ
Раскрашенная литография, 1840-е гг.
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

Венцеслава. Св〈ятой〉 отец прислал ему благословение, Ротган написал письмо.

Когда Анатоль успокоился и перестал дивиться новой жизни своей, когда и ему перестала дивиться братия, а стала с ним обращаться как со своим, он с ужасом стал ощущать еще томительнейшую пустоту, нежели прежде.

Настоящая вера его отлетела; прежний, родной, знакомый скептицизм возвращался. Напрасно прибегал он к молитве и к исполнению обрядов; молитва стыла на устах его, обряды казались бессмысленным, автоматическим повторением, уму и сердцу становилось от них теснее.

Новый мир, строгий, стройный в своем единстве и иерархии, успокаивающий, обнадеживающий, который так мощно влек к себе Анатоля, стал ему казаться совсем иным с тех пор как он стоял по другую сторону декораций. Он нашел в нем прежний мир с теми же страстями, но иначе выраженными, менее откровенными и прикрывающимися видом величавым и строгим.

Он погибал, но через его рот не перешло ни одно слово. Он ненавидел

* русского боярина (франц.).

себя за эту шаткость и хотел разом сломить волю и разум; он лучше готов был всё на свете перенести, нежели изменить обету, добровольно данному им вчера. Он молчал, он становился мрачнее, худел, дичал, но строго исполнял все обязанности своего звания.

Инквизиторский глаз настоятеля разглядел через некоторое время подозрительное погружение в самого себя и сосредоточенную душу Венцеслава. Он понял его внутреннюю борьбу и окружил его лазутчиками. Но поведение, слова, вид Венцеслава были безукоризненны, покорность беспредельна. И, при всем этом, от него веяло чем-то опасным для верующих душ, чем-то наводящим страх. Дело показалось настоятелю до того важным, что он поверг его на рассмотрение Ротгана.

Через месяц настоятель позвал к себе Венцеслава и сказал ему с видом торжественно-радостным, подавая письмо:

— Ваша жизнь, ваше усердие нашли признание нашего отца—я душевно рад, что выбор его пал на вас.

Венцеслав развернул письмо, в котором генерал ордена назначал его проповедником в Монтевидео.

— Я готов,— смиренно отвечал Венцеслав.

— Я был в этом уверен,— заметил настоятель, опуская глаза.

На первом корабле отправился наследник Степан Степановичей и Михаил Степановичей, обладатель поместий в звенигородском и можайском уездах и дома на Яузе, в Монтевидео проповедовать религию, в которую не верил.

Как особенную беспримерную милость орден позволил ему взять с собою малютку, ограничившись только третью из оставленного в пользу ее достояния.

С тех пор не было больше слухов о Столыгине. В монастыре говорили, что он свято исполнял свой долг.

Вот всё, любезный Вольфзон, что я помню из плана повести, которая меня занимала около двух лет.

Может быть, когда-нибудь, при совершенно иных обстоятельствах, я попытаюсь отделать, если не всё, то некоторые части ее. Только не теперь.

Отрывок, который я посылаю вам, особенно ценен для меня.

Осенью 1847 читал я его в Париже нашему славному другу Белинскому. Он был очень болен; чахотка, разъедавшая его грудь, уже отметила на лице его близкую смерть. Это было перед его и моим отъездом; он отправлялся в Петербург, я в Рим. Вечером возле дивана, на котором лежал Белинский, читал я ему начало повести. С другой стороны стола, на больших креслах, сидел высокий молодой мужчина, сгорбленный, с лицом печальным, выражавшим необыкновенную силу мышления и отвагу; он делал сигаретки и смеялся,—то был Бакунин. Больной наш тоже одушевился, говорил с энергией, с увлечением, редко посещавшим его в последнее время.

Из нас трех в живых остался один я.

Прощайте; жму вашу руку.

Александр Герцен

Ницца. 13 октября 1851 *

---

* Подпись «Александр Герцен» и дата «Ницца. 13 октября 1851» — сделаны рукой Герцена.

САТИРА-ПАМФЛЕТ ПРОТИВ КОСМОПОЛИТИЗМА

Публикация Я. Эльсберга

В творчестве Герцена, особенно в его публицистике, немало внимания уделено разоблачению космополитизма и порожденных им реакционных идей. Герцен выступает при этом не только против космополитизма русского барства и связанной с этим барством интеллигенции, но и против космополитических идей, получивших распространение среди буржуазной демократии различных стран, в частности Франции и Германии. В статье «Западные книги» (1857) Герцен писал об «исключительном национализме, окруженном космополитическими фразами», свойственном «немецким космопатриотам». Взгляды этих последних отражали националистические «притязания Германии ‹...› на всемирно-историческое первенство». В частности,— отмечает Герцен,— эти «немецкие космопатриоты» отказывали «народу русскому во всех политических способностях» (IX, 69, 70 и 71).

Что же касается полемики против космополитических идей французской буржуазной демократии, то до настоящего времени не было известно документа, в котором бы Герцен особо останавливался на этом вопросе.

Тем больший интерес приобретает публикуемая сатира-пародия, которая в свое время не увидела света и работа над которой не была закончена Герценом. Она сохранилась в «пражской коллекции» в двух рукописных набросках на французском языке (автографы Герцена). Оба наброска черновые, что не дает возможности с уверенностью определить их взаимную последовательность. Текст, помещаемый сначала и озаглавленный «Passons à la panhumanité», мы *условно* называем дальше «первым наброском»; текст, начинающийся обращением «Cher pancitoyen!»,— «вторым наброском».

Публикуемая сатира-памфлет или сатира-пародия направлена против космополитических тенденций, проявившихся в издававшейся в 1853—1855 гг. на острове Джерси еженедельной газете французских эмигрантов «L'Homme». Вместе с тем сатира эта представляет собою вообще наиболее развернутое из всех известных нам выступлений Герцена против космополитизма западноевропейской буржуазной демократии.

Прямая ссылка на газету «L'Homme» содержится в первом наброске. Этот же орган, вероятно, имеет в виду Герцен, упоминая здесь же о «знаменитой газете всемирного космополитизма». Герцен в данном случае пародирует подзаголовок «L'Homme»: «*газета всемирной демократии*». К тому же газета эта печаталась, как указывалось в каждом номере, во «*Всемирной типографии*».

Таким образом, крайние даты публикуемых текстов определяются хронологической рамкой начала и прекращения издания «L'Homme» на Джерси — 30 ноября 1853 г. и 28 декабря 1855 г. Более точная датировка затруднительна.

В газете «L'Homme», редактировавшейся Шарлем Рибейролем, действительно встречались выступления космополитического характера. Так, в нескольких номерах печаталась серия статей «О Франции и революции», подписанных H. Marlet. В них утверждалось, например, что «Франция постоянно стояла во главе прогресса и цивилизации» и была при этом «нацией по преимуществу космополитической» (№ 45, от 4 октября 1854 г.). По словам того же автора, демократическая доктрина хочет создать

«одно семейство, один народ, одно человечество из всех семейств, народов и всех людей, разбросанных по земному шару» (№ 2, от 13 декабря 1854 г.).

В передовой же под названием «Национальности» (№ 26, от 30 мая 1855 г.) Рибейроль, говоря о тех, кто «ищет идеал и развивает его до абсолюта», пишет, что они «не принимают ни рас, ни отечеств, ни национальностей». Однако сам Рибейроль считал, что такая позиция чревата опасностью «потерять наши естественные силы — национальность и отечество».

Таким образом, космополитические воззрения не определяли лицо газеты в целом, постоянными сотрудниками которой были Гюго и Кошут. Герцен также считал возможным печататься на страницах «L'Homme» и рассматривал Рибейроля как политического союзника (см. в наст. томе два письма Герцена к Рибейролю).

Тем не менее, как показывают публикуемые тексты, Герцен остро реагировал на космополитические тенденции, проявившиеся в «L'Homme», хотя и счел, повидимому, свое выступление в печати по тактическим причинам несвоевременным.

Герцен был убежден в том, что рост демократической культуры каждой нации означает развитие лучших национальных традиций, рост и раскрытие всех сил и богатств национального характера. Герцен хорошо понимал, что космополитическая архи-«революционная» фраза обладает на деле антидемократическим и антипатриотическим содержанием. Космополитизм, хотя бы и замаскированный «социалистической» и «пацифистской» фразеологией, уже в середине XIX в. являлся прикрытием для национализма и шовинизма, пренебрежения к передовой национальной культуре. Космополитизм служил целям дискредитации демократии и социализма, создавая карикатурное представление о будущем социалистическом обществе. Идеалом «космопатриотов» является, как говорит Герцен в своей сатире-пародии, «панмонотонность», обезличенная и серая «однообразная жизнь». По их мнению, в социалистическом обществе национальности подлежат уничтожению. Их лозунг — «долой национальность!»

Герцен живо почувствовал всю реакционность и опасность космополитических бредней. Действительно, они оказались чрезвычайно живучими в среде французской буржуазной интеллигенции.

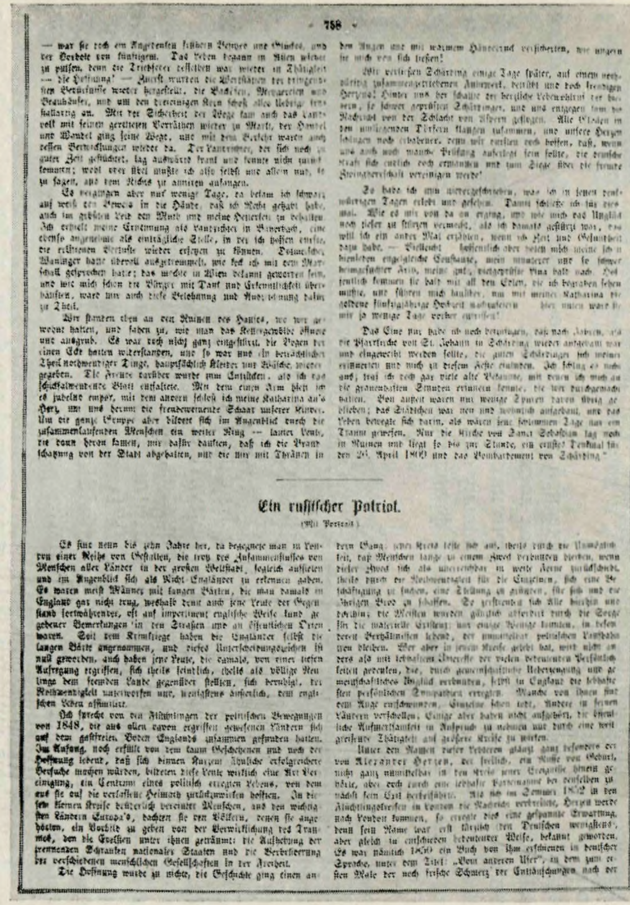
Прошло почти столетие, и главарь американской партии во Франции, предатель Леон Блюм выдавал, как указывает Этьен Фажон, «космополитизм трестов за интернационализм трудящихся». Закабаление Европы и Франции американскими империалистами Блюм называл «международным социалистическим порядком» (Сб. «Правые социалисты на службе поджигателей новой войны». М., Изд. иностранной литературы, 1950, стр. 91, 92). Космополитизм стал одним из важнейших идеологических орудий империалистической реакции.

В заключение несколько слов о форме комментируемой сатиры. Герцен не раз придавал пародии сатирическое звучание. Вспомним, например, «Старика Вёдрина крепкое до польских братий словцо» (XVI, 483—484).

В данном случае Герцен совершенно органически применяет для создания пародии форму *«декретов» (первый набросок)* и *«прокламаций» (второй набросок)*, как бы издаваемых космополитами — «космопатриотами». Это последнее выражение, употребленное в *первом наброске*, Герцен позднее использовал в статье «Западные книги» (IX, 71). Форма пародийных «декретов» и «прокламаций», предписывающих отказ или призывающих к отказу от всякого национального своеобразия, упраздняющих даже «различия в цвете волос» и т. п., сатирически подчеркивала то полное нежелание считаться с действительностью, с народной, национальной жизнью, которое так типично для космополитов всех толков.

Говоря о пустой отвлеченности и риторике, свойственной буржуазной демократии после поражения революции 1848 года, Герцен писал в «Былом и думах», что представители «демократической буржуазии» «...удовлетворялись знаменем, заголовком, общим местом: право на работу, уничтожение пролетариата, республика и порядок, братство и солидарность всех народов. Да как же все это устроить, осуществить? Это — последнее дело. Лишь бы быть во власти, *остальное сделается декретами, плебисцитами*» (XIV, 211; курсив наш — *Я. Э.*).

Alexander Herzen.



— war sie doch ein Angedenken früherer [illegible] und [illegible], und der Vorbote von künftigem. Das Leben begann in Allem wieder zu pulsen, denn die Triebfeder desselben war wieder in Thätigkeit — die Hoffnung! — Zuerst wurden die Werkstätten der dringendsten Bedürfnisse wieder hergestellt, die Bäckereien, Metzgereien und Brauhäuser, und um den dreieinigen Kern schoß alles Uebrige krystallartig an. Mit der Sicherheit der Wege kam auch das Landvolk mit seinen geretteten Vorräthen wieder zu Markt, der Handel und Wandel ging seine Wege, und mit dem Verkehr waren auch dessen Verwicklungen wieder da. Der Landrichter, der sich noch zu guter Zeit geflüchtet, lag auswärts krank und konnte nicht zurückkommen; wohl oder übel mußte ich also selbst und allein und, so zu sagen, aus dem Nichts zu amtiren anfangen.

Es vergingen aber nur wenige Tage, da bekam ich schwarz auf weiß den Beweis in die Hände, daß ich Recht gehabt habe, auch im größten Leid den Muth und meine Heiterkeit zu behalten. Ich erhielt meine Ernennung als Landrichter in Bayerbach, eine ebenso angenehme als einträgliche Stelle, in der ich hoffen durfte, die erlittenen Verluste wieder ersetzen zu können. Dominikus Waninger hatte überall ausgetrommelt, wie keck ich mit dem Marschall gesprochen hatte; das mochte in Wien bekannt geworden sein, und wie mich schon die Bürger mit Dank und Erkenntlichkeit überhäuften, ward mir auch diese Belohnung und Auszeichnung dabei zu Theil.

Wir standen eben an den Ruinen des Hauses, wo wir gewohnt hatten, und sahen zu, wie man das Kellergewölbe öffnete und ausgrub. Es war doch nicht ganz eingestürzt, die Bogen der einen Ecke hatten widerstanden, und so war uns ein beträchtlicher Theil nothwendiger Dinge, hauptsächlich Kleider und Wäsche, wiedergegeben. Die Freude darüber wurde zum Entzücken, als ich das schicksalwendende Blatt entfaltete. Mit dem einen Arm hielt ich es jubelnd empor, mit dem andern schloß ich meine Katharina an's Herz, um uns herum die freudeweinende Schaar unserer Kinder. Um die ganze Gruppe aber bildete sich im Augenblick durch die zusammenlaufenden Menschen ein weiter Ring — lauter Leute, die dann heran kamen, mir dafür dankten, daß ich die Brandschatzung von der Stadt abgehalten, und die mir mit Thränen in den Augen und mit warmem Händedruck versicherten, wie ungern sie mich von sich ließen!

Wir verließen Schärding einige Tage später, auf einem nothdürftig zusammengetriebenen Fuhrwerk, betrübt und doch freudigen Herzens! Hinter uns her schallte der herzliche Lebewohlruf der Bürger, der schwer geprüften Schärdinger, und uns entgegen kam die Nachricht von der Schlacht von Aspern geflogen. Alle Glocken in den umliegenden Dörfern klangen zusammen, und unsere Herzen schlugen noch erhabener, denn wir durften doch hoffen, daß, wenn uns auch noch manche Prüfung auferlegt sein sollte, die deutsche Kraft sich endlich doch ermannen und zum Siege über die fremde Zwingherrschaft vereinigen werde!

So habe ich nun niedergeschrieben, was ich in jenen denkwürdigen Tagen erlebt und gesehen. Damit schließe ich für diesmal. Wie es mir von da an erging, und wie mich das Unglück noch tiefer zu stürzen vermochte, als ich damals gestürzt war, das will ich ein ander Mal erzählen, wenn ich Zeit und Gesundheit dazu habe. — Vielleicht [illegible] hoffentlich aber [illegible] mich meine [illegible] hienieden engelgleiche Constanze, mein munterer und so schwer heimgesuchter Fritz, meine gute, vielgeprüfte Nina bald nach. Hoffentlich kommen sie bald mit all den Edlen, die ich begraben sehen mußte, und führen mich hinüber, um mit meiner Katharina die goldene fünfzigjährige Hochzeit nachzufeiern — [illegible] ward sie mir ja wenige Tage vorher entrissen!

Das Eine nur habe ich noch beizufügen, daß nach Jahren, als die Pfarrkirche von St. Johann in Schärding wieder aufgebaut war und eingeweiht werden sollte, die guten Schärdinger sich meiner erinnerten und mich zu diesem Feste einluden. Ich schlug es nicht aus; traf ich doch gar viele alte Bekannte, mit denen ich mich an die grauenhaften Stunden erinnern konnte, die wir durchgemacht hatten. Von außen waren nur wenige Spuren davon übrig geblieben; das Städtchen war neu und wohnlich aufgebaut, und das Leben bewegte sich darin, als wären jene schlimmen Tage nur ein Traum gewesen. Nur die Kirche von Sanct Sebastian lag noch in Ruinen und liegt so bis zur Stunde, ein ernstes Denkmal für den 26. April 1809 und das Bombardement von Schärding."

Ein russischer Patriot.

(Mit Portrait.)

Es sind neun bis zehn Jahre her, da begegnete man in London einer Reihe von Gestalten, die trotz des Zusammenflusses von Menschen aller Länder in der großen Weltstadt, sogleich auffielen und im Augenblick sich als Nicht-Engländer zu erkennen gaben. Es waren meist Männer mit langen Bärten, die man damals in England gar nicht trug, weshalb denn auch jene Leute der Gegenstand fortwährender, oft auf impertinent englische Weise laut gegebener Bemerkungen in den Straßen und an öffentlichen Orten waren. Seit dem Krimkriege haben die Engländer selbst die langen Bärte angenommen, und dieses Unterscheidungszeichen ist null geworden, auch haben jene Leute, die damals, von einer tiefen Aufregung ergriffen, sich theils feindlich, theils als völlige Neulinge dem fremden Lande gegenüber stellten, sich beruhigt, der Nothwendigkeit unterworfen und, wenigstens äußerlich, dem englischen Leben assimilirt.

Ich spreche von den Flüchtlingen der politischen Bewegungen von 1848, die aus allen davon ergriffen gewesenen Ländern sich auf dem gastfreien Boden Englands zusammen gefunden hatten. Im Anfang, noch erfüllt von dem kaum Geschehenen und noch der Hoffnung lebend, daß sich binnen Kurzem ähnliche erfolgreichere Versuche machen würden, bildeten diese Leute wirklich eine Art Vereinigung, ein Centrum eines politisch erregten Lebens, von dem aus sie auf die verlassene Heimath zurückzuwirken hofften. In diesem kleinen Kreise brüderlich vereinter Menschen, aus den wichtigsten Ländern Europa's, dachten sie den Völkern, denen sie angehörten, ein Vorbild zu geben von der Verwirklichung des Traumes, den die Edelsten unter ihnen geträumt: die Aufhebung der trennenden Schranken nationaler Staaten und die Verbrüderung der verschiedenen menschlichen Gesellschaften in der Freiheit.

Die Hoffnung wurde zu nichte, die Geschichte ging einen andern Gang; jener Kreis löste sich auf, theils durch die Unmöglichkeit, daß Menschen lange zu einem Zweck verbunden bleiben, wenn dieser Zweck sich als unerreichbar in weite Ferne zurückschiebt, theils durch die Nothwendigkeit für die Einzelnen, sich eine Beschäftigung zu suchen, eine Stellung zu gründen, für sich und die Ihrigen Brod zu schaffen. So zerstreuten sich Alle dorthin und dorthin; die Meisten wurden gänzlich absorbirt durch die Sorge für die materielle Existenz; nur einige Wenige konnten, in bessern Verhältnissen lebend, der unmittelbar politischen Laufbahn treu bleiben. Wer aber in jenem Kreise gelebt hat, wird nicht anders als mit lebhaftem Interesse der vielen bedeutenden Persönlichkeiten gedenken, die, durch gemeinschaftliche Ueberzeugung und gemeinschaftliches Unglück verbunden, selbst in England die lebhaftesten persönlichen Sympathien erregten. Manche von ihnen sind dem Auge entschwunden, Einzelne schon todt, Andere in fernen Ländern verschollen. Einige aber haben nicht aufgehört, die öffentliche Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen und durch eine weitgreifende Thätigkeit auf größere Kreise zu wirken.

Unter den Namen dieser Letzteren glänzt ganz besonders der von Alexander Herzen, der freilich, ein Russe von Geburt, nicht ganz unmittelbar in den Kreis jener Ereignisse hinein gehörte, aber doch durch eine lebhafte Parteinahme bei denselben zunächst sein Exil herbeiführte. Als sich im Sommer 1852 in den Flüchtlingskreisen in London die Nachricht verbreitete, Herzen werde nach London kommen, so erregte dies eine gespannte Erwartung, denn sein Name war erst kürzlich (den Deutschen wenigstens), aber gleich in entschieden bedeutender Weise, bekannt geworden. Es war nämlich 1850 ein Buch von ihm erschienen in deutscher Sprache, unter dem Titel: „Vom anderen Ufer“, in dem zum ersten Male der noch frische Schmerz der Enttäuschungen nach der

ГЕРЦЕН

Портрет был помещен при анонимной статье о Герцене — «Русский патриот» в немецком журнале «Die Gartenlaube», 1861 г., № 48

И, действительно, тот же H. Marlet заявлял, что достаточно демократической партии Франции «во всеуслышание и напрямик» сформулировать свою доктрину и «Франция и весь мир придут к ней, и декабрьская тирания падет сама собою» («L'Homme», 1855, № 14, от 7 марта).

Герцен и воспроизводит в сатирической и гротескно-пародийной форме такого рода тезисы, характерные для идеологов космополитизма.

Следует оговорить, что ряд сатирических гипербол и шутливых выпадов Герцена не поддается сейчас расшифровке, поскольку они имеют в виду малоизвестные обстоятельства и подробности деятельности французской эмиграции середины прошлого века.

PASSONS Â LA PANHUMANITÉ

⟨ПЕРВЫЙ НАБРОСОК⟩

[Je viens de recevoir le dernier № du célèbre journal de la Cosmopolitie universelle. Voilà les dernières nouvelles.]

Au nom des quatres couleurs réunies, faisons savoir à qui de droit.

Vu l'universalité de la République terrestre nous ordonnons la destruction des derniers vestiges de la tyrannie.

Article 1. L'Equateur et le Méridien sont abolis, Greenwich déclaré observatoire affranchi; le panministre prendra des mesures nécessaires pour l'abattre.

Article 2. Tous ceux qui, fidèles au paganisme de la latitude et de la longitude, concerveront les distinctions anti-universelles, seront mis à la disposition de la société de tempérance et seront obligés d'écouter les «peace»-discours de la société de la paix chaque soir.

On attend les décrets suivants — abolition de la variété des couleurs des cheveux. Tous les pancitoyens ont adopté la couleur rouge pour les cheveux*.

Les véritables Cosmopatriotes (que l'on reconnaît d'après le degré plus ou moins intense d'haine pour sa ⟨? leur⟩ nation) — portent [des couleurs] un épiderme bigarré.

S'adresser — Panstreet, Cosmo-lane, chez le Camtchadal sans nom № 49 qui teint [les visages des universels] les cheveux et les peint⟨?⟩

Перевод:

ПЕРЕЙДЕМ К ПАНЧЕЛОВЕЧЕСТВУ**

От имени объединенных четырех цветов кожи доводим до сведения тех, кому это знать надлежит:

Принимая во внимание всемирность земной Республики, приказываем уничтожить последние следы тирании.

Статья 1. Экватор и меридиан упразднены, Гринвич объявлен свободной обсерваторией; панминистр примет необходимые меры к его разрушению.

Статья 2. Все лица, оставшиеся верными языческим взглядам на широту и долготу и продолжающие соблюдать антивсемирные различия, будут передаваться в распоряжение общества трезвости и будут обязаны каждый вечер слушать «peace»-речи общества мира.

Ожидаются следующие декреты — упразднение различия в цвете волос, все панграждане приняли для волос красный цвет ***.

---

* Abolition des noms propres. Tout le monde portera le nom d'un journal de Jersey «L'Homme». — *Примеч. Герцена.*

** *Далее зачеркнута фраза с красной строки:* Я только что получил последний № знаменитой газеты всемирного Космополитизма. Вот последние новости.

*** Упразднение имен собственных. Все будут носить имя одной джерсийской газеты «Человек». — *Примеч. Герцена.*

Истинные космопатриоты (они узнаются по более или менее сильной степени ненависти к собственной нации) носят * пеструю эпидерму.

Обращаться Panstreet, Cosmo-lane**, у Безымянного камчадала № 49, красящего*** и окрашивающего ⟨?⟩ волосы.

⟨ВТОРОЙ НАБРОСОК⟩

Cher pancitoyen!
A bas la nationalité,
A bas la couleur des cheveux, la couleur des yeux.

ПАРИЖСКИЙ КЛУБ

Гравюра 1848 г.

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

«А вы что делали, революционеры, испугавшиеся революции? Политические шалуны, паяцы свободы, вы играли в республику, в террор, в правительство, вы дурачились в клубах, болтали в камерах...» («С того берега», гл. «Эпилог 1849»)

Point de différence; unité, uniformité; à bas le Sud et le Nord, à bas le West et l'Est.

Article 1. Vu l'universalité de la République terrestre nous ordonnons ce qui suit. L'équateur est aboli, le méridien est aboli, Greenwich declaré observatoire affranchi.

Article 2. Tous les marins et autres qui voudraient conserver le paganisme de l'Equateur, de la latitude et de la longitude, sont passibles à être mis aux dispositions de la société de tempérance et d'écouter les discours des peace-membres.

Salut et sorelité ⟨?⟩

---

* *Далее зачеркнуто:* окраску
** Пан-улица, Космо-переулок (англ.).
*** *Далее зачеркнуто:* лица универсалистов

Les cosmopatriotes commencent à porter des couleurs.

Vive l'unité, l'uniformité — et tous ceux qui ne mourront pas d'ennui dans cette panmonotonie.

La V⟨ie⟩ unie une fois introduite aux îles⟨de⟩Sandwich et à Kamchatka, on abaissera le cens électoral, en invitant, primo, les élephants, secondo — les singes à user du droit de citoyen animal. Le droit du suffrage bestial leur sera garanti, ainsi que le droit à la rumination.

Et à bas la nation!

Cela sous ⟨le⟩ socialisme.

La panrépublique doit être insociable.

Перевод:

Дорогой панграждaнин!

Долой национальность,

Долой цвет волос, цвет глаз.

Никаких различий, единство, единообразие, долой Юг и Север, долой Запад и Восток.

Статья 1. Принимая во внимание всемирность земной Республики, приказываем нижеследующее: экватор упраздняется, меридиан упраздняется, Гринвич объявляется свободной обсерваторией.

Статья 2. Моряки и прочие лица, кои пожелали бы сохранить языческое верование в экватор, широту и долготу, подлежат передаче в распоряжение общества трезвости, и им вменяется в обязанность выслушивать речи членов общества «реасе»*.

Привет и сестринство⟨?⟩

Космопатриоты начинают носить пеструю окраску.

Да здравствует единство и единообразие и все те, кто не умрет от скуки посреди этой панмонотонности.

По установлении единообразной ж⟨изни⟩ на Сандвичевых островах и на Камчатке снизят избирательный ценз, предложив, во-первых, слонам, во-вторых, обезьянам воспользоваться правом гражданина животного. Звериное избирательное право, равно как и право на жевание жвачки, будет им обеспечено.

И долой нации!

Это при социализме.

Панреспублика не должна быть общественной.

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 35, л. 14 («первый отрывок») и оп. 1, ед. хр. 134, лл. 20—20 об. («второй отрывок»).— Перевод Натальи Эфрос.

---

* мира (англ.).

О БУРЖУАЗНОЙ ЕВРОПЕ

СТАТЬЯ ИЗ НЕЗАВЕРШЕННОГО ЦИКЛА СЕРЕДИНЫ 1850-х ГОДОВ

Предисловие Я. Эльсберга
Публикация и перевод Л. Ланского*

Эта черновая, неоконченная, недоработанная, содержащая ряд неясных мест и оставшаяся в свое время неопубликованной рукопись Герцена из «пражской коллекции» перекликается с некоторыми другими, более поздними его произведениями 50-х годов и частично была в них использована. Но, вместе с тем, рукопись эта обладает чертами замечательного своеобразия. В литературном наследстве Герцена, относящемся к этим годам, нет другого документа, в котором с такой силой проявлялись бы мотивы исторического оптимизма, боровшегося с тем пессимизмом и скептицизмом, которые охватили Герцена после поражения революции 1848 года.

Нетрудно убедиться, что основные, наиболее принципиальные положения рукописи получили затем развитие в том датированном 1 октября 1855 г. добавлении к «Западным арабескам», которое в «Былом и думах» было названо «Post scriptum», а впервые было опубликовано без заглавия во второй книжке «Полярной звезды» на 1856 год (в оглавлении «Полярной звезды» это дополнение было обозначено как «Примечания»).

Легко провести ряд параллелей между рукописью «пражской коллекции» и «Post scriptum'ом». Так, например, в начале рукописи говорится: «Мы изучали Европу по книгам...»; в начале же «Post scriptum'а» Герцен заявляет: «Мы вообще знаем Европу школьно, литературно <...>, а судим à livre ouvert, по книжкам и картинкам...» (XIII, 390).

Далее, очень близка характеристика буржуазной морали в рукописи и в «Post scriptum'е», а также ироническое определение принципа всеобщей подачи голосов как «арифметического источника» — в рукописи и «арифметического знамени» — в «Post scriptum'е» (XIII, 394).

Последние две фразы рукописи почти совпадают со следующими словами из «Post scriptum'а»:

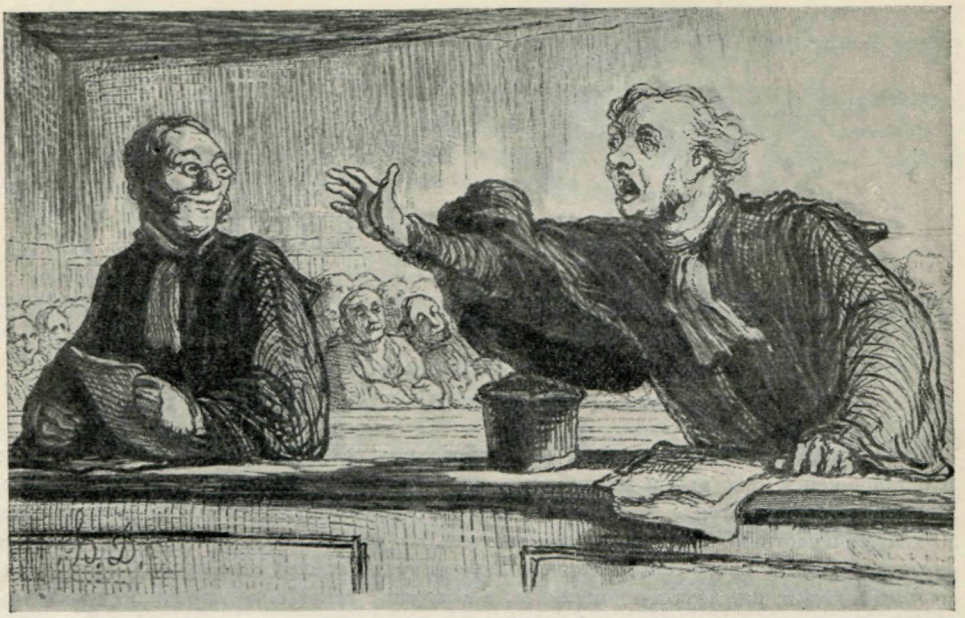
«Щель, сделавшаяся между партером и актерами, прикрытая сначала линючим ковром ламартиновского красноречия, делалась больше и больше; июньская кровь ее размыла — и тут-то раздраженному народу поставили вопрос о президенте. Ответом на него вышел из щели, протирая заспанные глаза, Людовик-Наполеон...» (XIII, 394).

Бесспорно, что «Post scriptum» отличается, по сравнению с рукописью, большей категоричностью и четкостью основных исходных положений, определяющих историко-философские воззрения Герцена, большей остротой и меткостью памфлетных характеристик буржуазии, ее политики и морали, наконец, литературной отделкой и блеском.

Однако в «Post scriptum'е» исчезли очень существенные ноты, которые как раз и придают вновь найденной рукописи особенно большое значение.

---

* В переводе использован ряд слов и выражений Герцена, заимствованных из его русских статей на аналогичные темы, где встречаются прямые текстуальные совпадения с публикуемой статьей.



ПАРИЖСКИЕ АДВОКАТЫ
Гравюра по рисунку О. Домье, 1848 г.
«Судьи и адвокаты, как и следует, были в маскарадных платьях...» («Письма из Avenue Marigny». Письмо 4-е)

«Духовный крах», пережитый Герценом после поражения революции 1848 года, не означал, разумеется, что великий русский мыслитель остановился в своих идейных исканиях. Как показывает даже такая пессимистическая книга, как «С того берега», Герцен вновь и вновь взвешивал те скептические выводы, к которым он приходил, вдумываясь в пути общественного развития западноевропейских стран. Он никогда полностью, до конца, не терял веру в западноевропейский пролетариат, в народные массы Запада, хотя многие его высказывания и, в частности, те, которые содержатся в «Post scriptum'e», и казались безнадежно скептическими.

И вот именно ноты оптимизма, порой лишь прорывающиеся сквозь общую скептическую концепцию, но драгоценные для уяснения всей сложности идейного пути Герцена, его неустанного стремления вперед, представляют в данной рукописи особенно большой интерес.

Герцен здесь в следующих выражениях определяет относительную прогрессивность смены феодального общества — обществом буржуазным: «С точки зрения общей экономики, переход феодального общества в общество буржуазное является неоспоримым прогрессом. Борьба и развитие перенесены на реальную почву, на землю, мир фантазеров и мечтателей начинает просыпаться; часть человечества отрезвляется, все упрощается...». Эта мысль совершенно исчезает в «Post scriptum'e» и вновь появляется лишь в произведениях Герцена 60-х годов.

Вместе с тем Герцен, продолжая и развивая сопоставления, которые встречались еще в «Письмах из Avenue Marigny» (превращения Фигаро), с презрением говорит о политическом и моральном падении буржуазии, некогда боровшейся против феодализма. «Энергичный борец,— пишет Герцен,— становится вскоре заурядным хозяином. Во время борьбы круглая шляпа и черная одежда Франклина торжественно заменяют вышитую одежду и шляпу с перьями; во время борьбы „Гражданин" был велик и прекрасен на трибуне, на площади, с ружьем в руке, с головой под ножом гильотины... и отправляясь с „Марсельезой" на устах. Победитель пробуждается — коронованным Санчо-Пансо».

Следует особо отметить это противопоставление Франклина буржуазной Америке середины XIX в.; сурово-обличительные высказывания об Америке не раз встречаются в работах Герцена пятидесятых-шестидесятых годов.

Эта нота исторического оптимизма не единична в рукописи. Давая характеристику «глубины морального упадка» буржуазии, Герцен зачеркнул следующие первоначально написанные им слова: «Разве, по-вашему, этих симптомов недостаточно, чтоб объявить о полном разложении — либо буржуазный дух погибнет, либо Европа. Что касается меня — я еще верю в старушку».

Совершенно очевидно, что Герцен возлагает свои надежды на революционные и социалистические силы Западной Европы. Он пишет в рукописи: «Буржуазный либерализм представляет собою лишь освобождение собственника, ⟨буржуазная⟩ демократия — лишь внешнее уравнивание: она признает право пролетариата на собственность, не давая ему средств, провозглашает равенство преступников перед судом, предоставляя невинным устраиваться как им угодно». Либерализм и демократизм Герцен называет здесь двумя «друг друга отрицающими началами».

В рукописи, таким образом, встречаются более оптимистические противопоставления народных масс Западной Европы и буржуазии, нежели в «Post scriptum'e». Правда, и в рукописи Герцен следующим образом характеризует борьбу, происходящую внутри буржуазного общества: «С одной стороны — собственник, не желавший ничего уступать из того, что он захватил, per fas et nefas, с другой — демократы, которые

«ФРАНЦИЯ СПАСЕНА». БУРЖУА ПОСЛЕ ПОДАВЛЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ВОССТАНИЯ

«L'Illustration» от 8 июля 1848 г.

«Я видел... плотоядное свирепое самосохранение со стороны мещан... Страшный кровавый бой... был за плечами» («Былое и думы», гл. «1848»)

желают все отобрать у собственника, не посягая на право собственности. С одной стороны — *Скупость*, с другой — *Зависть*». Однако в «Post scriptum'е» эта мысль получает гораздо более резкое, обобщающее и пессимистическое выражение: «Все партии и оттенки мало-помалу разделились в мире мещанском на два главные стана: с одной стороны, мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой—неимущие *мещане*, которые хотят вырвать из их рук их достояние, но не имеют силы, то есть, с одной стороны, *скупость*, с другой—*зависть*. Так как действительно нравственного начала во всем этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, общественного положения» (XIII, 393).

В рукописи не вполне ясно, кого именно Герцен разумеет, говоря о «демократах», как будто речь идет только о политических представителях буржуазной демократии. В «Post scriptum'е» же понятие «неимущие мещане» оказывается чрезвычайно широким и предвещает позднейшую крайне пессимистическую герценовскую формулу: «работник всех стран — *будущий* мещанин» (XV, 248).

Таким образом, не вызывает сомнения важное значение публикуемого документа для понимания идейного развития Герцена и того сложного переплетения противоречивых элементов, которое характеризует его мировоззрение в этот период.

Рукопись была впоследствии использована Герценом не только в «Post scriptum'е».

Сопоставление Барнума, американского дельца-антрепренера, который, по мысли Герцена, является воплощением циничной прозы буржуазного общества, и Ораса, героя одноименного романа Жорж Санд, носителя лицемерно-риторической «поэзии» этого строя, получило развитие в очерке-фельетоне 1856 г. — «Оба лучше».

Характеристика литературы «публичных мужчин», т. е. автобиографий и мемуаров разного рода предателей и шпионов — Де-Ла-Года, Шеню, Шнепфа и других, встречается также в 1856 г. в главе «Былого и дум», посвященной «лондонской вольнице».

Некоторые мысли об отношении русских передовых людей к западноевропейским Орасам, изложенные в рукописи, перекликаются с главами «Былого и дум», рассказывающими о семейной драме Герцена, особенно с «Тифоидной горячкой».

В этой связи следует отметить сатирическую характеристику петербургской космополитической бюрократии «смешанной крови», являющейся, по определению Герцена, «плодом нечистого скрещивания авантюристов всех наций, целые поколения которых набросились на Россию еще во времена Петра I и его преемников»; это «существа без родины, раболепные и терзаемые завистью...».

Противопоставляя эту бюрократию русскому народу, Герцен называет ее «„Сан-Марино" развращенности». Сравнение с карликовой республикой, расположенной в Северной Италии, поясняет мысль Герцена о ничтожном удельном весе этого бюрократического слоя в русской национальной жизни.

Точная датировка рукописи затруднительна; следует полагать, что она была написана не ранее начала 1854 г. и не позже, чем «Post scriptum», т. е. до 1 октября 1855 г.

Уточнению датировки может помочь выяснение того лица, к которому это «открытое письмо» (часто встречающаяся у Герцена форма) обращено. Из вводной части рукописи очевидно, что адресат — русский, впервые оказавшийся за границей, писавший Герцену и притом во многом присоединяющийся к той пессимистической оценке, которую он дает общественной жизни, политике и морали Западной Европы.

Среди немногих русских, посещавших Герцена в Лондоне в 1853—1855 гг., наиболее соответствует указанным признакам некий Бодиско, который не раз упоминается в герценовских письмах 1853—1855 гг. к М. К. Рейхель. В эти годы он довольно много времени провел за границей. В письмах он обозначен по большей части «Б.», «Бод.» или «путешественник».

Упоминания в письмах Герцена от 5 февраля 1854 г. и 31 декабря 1855 г. о поездке Бодиско в Америку, в Вашингтон (VIII, 6 и 255) позволяют думать, что речь идет о Василии Константиновиче Бодиско, дядя которого, А. А. Бодиско, занимал пост русского посланника при правительстве США («Русский биографический словарь»). В. К. Бодиско, московский знакомый Герцена, Огарева, Кетчера, а также Салтыкова-Щедрина, был двоюродным братом Грановского и неоднократно упоминается в его письмах («Т. Н. Грановский и его переписка», т. II. М., 1897, стр. 302).

PREMIÈRE LETTRE

Cher ami,

Votre lettre ne m'a pas étonné — je vous y attendai — car j'ai passé moi-même par les mêmes épreuves. Vous vous trouvez comme dépaysé dans l'Occident, vous n'y trouvez ni les hommes, ni les choses, comme vous y attendiez. C'est très naturel, mais cela ne doit pas trop durer. Après avoir rendu à la passion ce qui est à la passion, rendons aussi sa part à la logique et à l'analyse.

Et d'abord, est-ce que l'Occident est responsable de ce qu'il ne correspond pas aux notions que nous nous faisons de lui; aussi peu que nous de les avoir — tout cela n'est pas arbitraire et tient à des causes générales.

Nous avons étudié l'Europe dans les livres, et pendant que nous *la* lisions, elle se métamorphosait, au moins quant à la croûte, et malheureusement nous ne voyons, nous ne connaissons que cette croûte, ce qui se passe dans les entrailles, dans les profondeurs de la vie populaire, nous l'ignorons, le peuple l'ignore aussi.

Les masses n'avaient pas été entraînées sérieusement dans le mouvement, elles s'agitaient comme le blé s'agite sous l'action du vent, fléchissant de côté et d'autre, mais n'abandonnant pas son sol.

Dans notre notion sur l'homme de l'Occident entrent des éléments parfaitement vrais — mais n'existant plus ou ⟨qui⟩ sont complètement altérés.

La fierté chevaleresque, la grâce aristocratique, la gravité austère du protestant, la sombre énergie des révolutionnaires, la vie somptueuse des artistes en Italie, la vie de méditation et d'idéalisme du poète — tout cela s'est fondu et a presque disparu en un ensemble d'autres moeurs... *de moeurs bourgeoises.*

Elles dominent le monde au point que la classe sénile de l'aristocratie et la classe des mineurs éternels, des travailleurs, qui entre en ses droits, se hâtent de les accepter. Nobles et prolétaires veulent être bourgeois par la manière de vivre.

Du point de vue de l'économie générale la transition de la société féodale à la societé bourgeoise est un progrès incontestable. La lutte et le développement sont transplantés sur un sol réel, sur la terre; le monde des lunatiques et des visionnaires commence à se réveiller; une partie de l'humanité se dégrise, les choses se simplifient; l'aristocratisme de la noblesse était dans l'imagination et dans le sang, l'aristocratisme de la bourgeoisie ⟨est⟩ dans le coffre-fort. [Il fallait tuer le premier, il suffit de prendre chez l'autre.]

Le mot de «classe moyenne» exprime avec une grande plasticité le sens intermédiaire de la bourgeoisie, non seulement qu'elle est entre l'aristocratie et le peuple, mais ⟨qu'⟩ elle est entre le passé et l'avenir. Ne pensez pas que je veuille dire par* cela qu'elle est *le présent* par excellence, tout au contraire, elle est ballotée entre un avenir qu'elle désire et qu'elle craint et un passé qu'elle déteste et ne peut quitter. Un pas en avant et elle rencontre au lieu de Luther — Müntzer, au lieu du libéralisme — le socialisme. Un pas en arrière et elle heurte la monarchie féodale qu'elle n'aime pas, et l'aristocratie nobiliaire qu'elle hait.

Dans un cas pareil il n'y a pas de solution active, il y a le juste milieu, neutralisation des opposés, pondération des pouvoirs, c'est-à-dire leur annihilation. La vocation active de la bourgeoisie était presque entièrement d'opposition — et c'est là qu'était sa force et sa beauté — qu'y a-t-il de plus beau que la bourgeoisie flamande du temps de la Réforme. Quant au principe positif créateur — il était bien pauvre [c'est la religion de la propriété.] C'est pour cela aussi que son haleine était très courte. Le lutteur

* *В подлиннике:* pour

énergique devient de suite maître vulgaire. [Il est beau, renversant le trône mystique, il est détestable lorsqu'il se met sur ce trône; on voit qu'il n'a jamais été élevé pour être roi.]

Pendant la lutte le chapeau rond et l'habit noir de Franklin remplacent solennellement l'habit brodé et le chapeau avec le plumage; pendant la lutte le «Citoyen» était grand et beau sur la tribune, sur la place publique, le fusil à la main, la tête sous le couperet... et partant avec la Marseillaise en bouche.

Le vainqueur se réveille — Sancho Pansa couronné.

Non, non, vous n'êtes plus ma Lisette!
Vous en riche toilette!
Vous avec une aigrette!..

...La signification passée — ne donne en histoire aucun droit à l'héritage.

La noblesse, elle aussi, elle était très belle, elle était un progrès, pour son temps, et le Chevalier, le défenseur armé de l'indépendance personnelle et de la dignité individuelle — était un digne successeur des citoyens slaveholders de Rome.

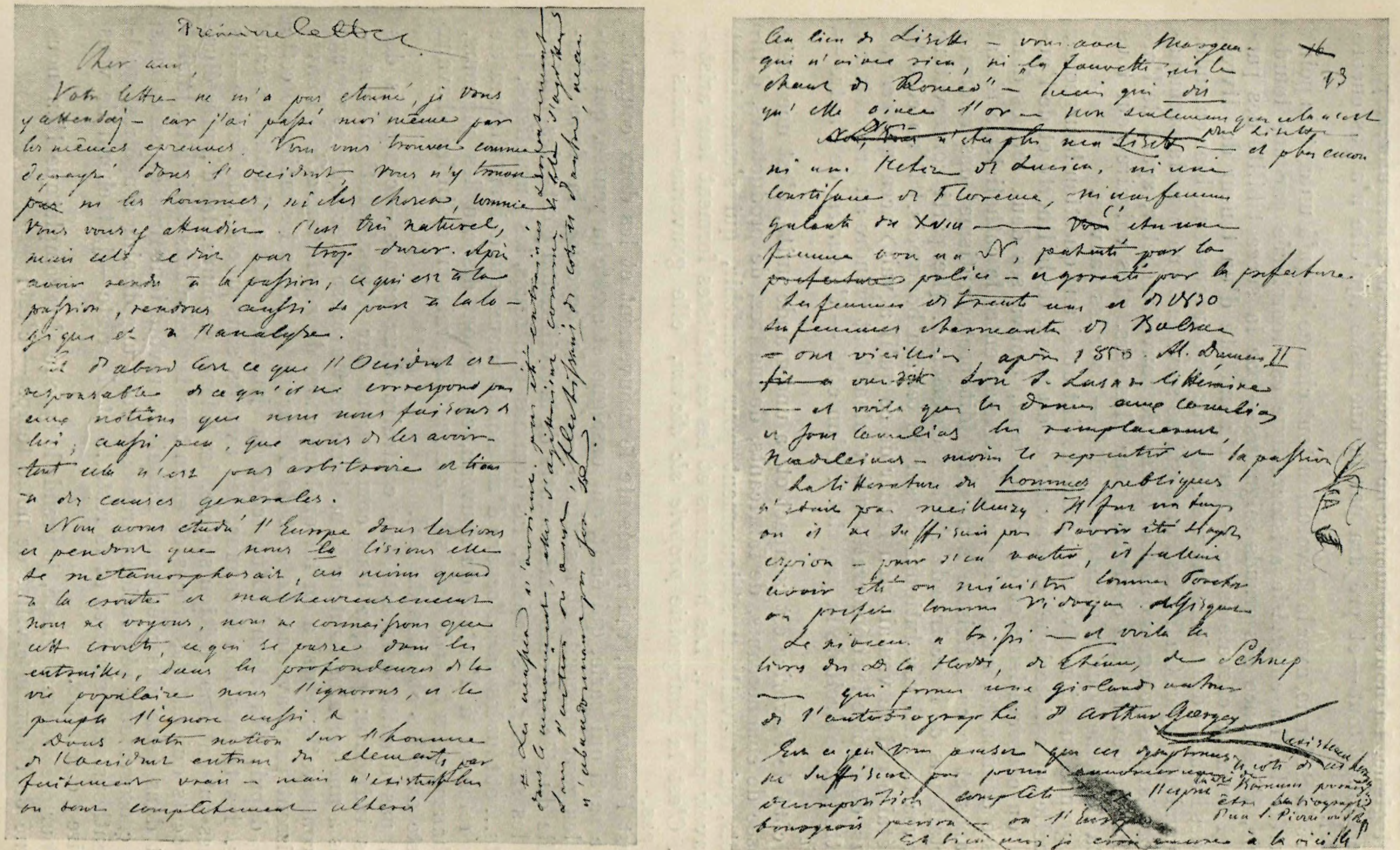
Le développement, comme la nature, ne savent pas ce que c'est ⟨qu'⟩ une sinécure de reconnaissance; qu'y a-t-il de plus beau que les pétales d'une fleur; mais elles tombent et se dessèchent dès que le but est atteint.

[La bourgeoisie comme classe gouvernante s'est montrée au dessous de toute atténte.] Des grandes questions posées par la Révolution la bourgeoisie n'en a résolu pas une seule, elle les a simplifiées en éliminant l'élément aristocratique, elle les a mises en demeure, suspendues pour un temps — par des solutions qui n'étaient ni franches, ni vraies. «Laissez faire, laissez passer»... et avec cela toute la règlementation centralisatrice et monarchique. Le libéralisme bourgeois — ne représente que l'affranchissement du propriétaire, la démocratie — qu'un nivellement extérieur — elle reconnaît le droit à la propriété du prolétaire, sans lui donner les moyens, et proclame l'égalité des scélérats devant le tribunal, laissant les innocents s'arranger comme ils le désirent. Les deux négations — libéralisme et démocratie — ne sont jamais parvenues qu'à bâtir des barraques provisoires, faire un peu «d'ordre dans le désordre», comme l'a si naïvement dit un des représentants de la Démocratie bourgeoise — Caussidière.

Il fallait créer une nouvelle morale... Car la morale [est tout-à-fait historique] n'est rien autre, que la conscience historique du rapport *actuel*, existant, des hommes entre eux, reconnu, senti par eux dans un temps donné — c'est la définition [historique], temporaire de la communauté, de la sociabilité, c'est le lien tacite, le contrat sous-entendu entre les individus, qui par ses métamorphoses-mêmes s'élucide de plus en plus et passe d'un sentiment vague, d'un instinct religieux à une connaissance raisonnée, de manière que le devoir se fait sillogisme, presque désir.

La bourgeoisie était éminemment stérile sous ce rapport. Elle mêla sa petite morale de ménage, de comptoir avec les vertus antiques réthoriquement expliquées, avec les préceptes du christianisme, restauré par Luther et corrigé par l'Économie politique, Brutus et S. Paul, l'Évangile et Bentham, ⟨le⟩ livre de cuisine et l'Emile de J.-J. Rousseau.

Il était de toute impossibilité de prendre ce mélange pour base d'un contrat social nouveau, [la synthèse était] on se borna à rester dans un état [provisoire] transitoire. Mais les parvis d'une baraque provisoire n'avaient pas la force de tenir dans les limites raisonnables les contradictions et [désormais] toutes les absurdités les plus opposées levèrent leur tête et restèrent à côté des vérités. La liberté individuelle et la loi du dimanche, [le laissez-faire — et la règlementation de la vente des vins, l'égalité devant la loi et la justice rendue contre un dépôt d'argent] peuvent servir de base.



Première lettre

Cher ami,

Votre lettre ne m'a pas étonné, je vous y attendais — car j'ai passé moi même par les mêmes épreuves. Vous vous trouvez comme dépaysé dans l'Occident, vous n'y trouvez pas ni les hommes, ni les choses, comme vous vous y attendiez. C'est très naturel, mais cela ne dure pas trop. Après avoir rendu à la passion, ce qui est à la passion, rendons aussi sa part à la logique et à l'analyse.

D'abord c'est ce que l'Occident est responsable de ce qu'il ne correspond pas aux notions que nous nous faisons de lui; aussi peu que nous de les avoir. Tout cela n'est pas arbitraire et tient à des causes générales.

Nous avons étudié l'Europe dans les livres et pendant que nous la lisions elle se métamorphosait, au moins quant à la croûte et malheureusement nous ne voyons, nous ne connaissons que cette croûte, ce qui se passe dans les entrailles, dans les profondeurs de la vie populaire nous l'ignorons, et le peuple l'ignore aussi.

Dans notre notion sur l'homme de l'Occident entrent des éléments parfaitement vrais — mais n'existant plus ou bien complètement altérés

«О БУРЖУАЗНОЙ ЕВРОПЕ». ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Рукопись Герцена на французском языке 1854—1855 гг. Листы 1 и 13

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

La morale traditionnelle du vieux monde avait plus d'unité, plus de démence logique. La nouvelle morale ne parvenant pas à se formuler, estropia tout, confondit tout — et prépara par là une issue [qu'elle n'a pas encore atteinte].

Avec la Réforme, avec la Révolution tout change jusqu'à un certain point et s'arrête là. La courtoisie aristocratique est remplacée par une lourde pruderie, l'insolence des grands seigneurs — par la succeptibilité des parvenus, l'honneur chevaleresque — par l'honnêteté d'un teneur de livres. On fit des Palais — des hôtels ouverts pour tous — pour tous ceux, bien entendu, qui pouvaient payer. On fit des Parks qui ne servaient que pour la promenade — des jardins potagers que tout le monde pouvait acheter, ayant de l'argent. La vie devint plus commode pour plusieurs, plus vulgaire pour tous et resta la même pour la grande majorité — pour les pauvres.

La grande question révolutionnaire devint aussi une question bourgeoise, l'éternelle lutte historique de l'avenir et du passé, de la liberté et de l'autorité, du conservatisme et du changement, trouva ses deux termes dans la classe dominante, comme la lutte religieuse entre le catholicisme féodal des Papes et le catholicisme bourgeois [dit protestantisme] des reformés ne sortait pas de l'enceinte de l'église chrétienne. [Le parti conservateur était avec le parti révolutionnaire sur le terrain bourgeois.] D'un côté le propriétaire qui ne voulait rien lâcher de ce qu'il a⟨vait⟩ accaparé *per fas* et *nefas*, de l'autre les démocrates qui veulent tout prendre au propriétaire, sans attaquer le droit de la propriété. D'un côté — *l'Avarice*, de l'autre — *l'Envie*.

Le côté de l'avarice est compact et a une grande unité, c'est une caste composée de commerçants, de fabricants, de maîtres, de producteurs, d'industriels, qui travaillent sérieusement pour s'enrichir, qui s'enrichissent sans savoir pourquoi. Les banquiers et les capitalistes forment leur aristocratie. C'est la bourgeoisie *proprie sic dictum*, elle gouverne — mais ne règne pas.

C'est l'autre parti, qui représente le mouvement et les deux courants, c'est le parti qui parle, qui écrit, qui enseigne et arrête la pensée, qui proclame les gouvernements et les mines — c'est la *capacité*, la force intellectuelle du siècle. Toute l'aristocratie de la civilisation y est — les littérateurs, les savants, les artistes, les hommes politiques, les journalistes, les avocats... et tous les *hors d'oeuvre* d'un monde vieux, qui doivent disparaître ou se refondre à l'entrée du nouveau, comme ont disparu les piqueurs, les échansons, les fous de palais [— comme disparaissent enfin les chevaux de poste avec les chemins de fer].

Ici pas d'unité compacte, au contraire deux camps — composés des mêmes individus; presque tous commencent par [être révolutionnaires — arrivés à une certaine hauteur la majeure partie passe avec arme et voyage à un conservatisme qui a en lui quelque chose de *révolutionnaire**] l'envie et finissent par l'avarice. Le sort de l'Europe est dans les mains de cette classe depuis Napoléon. D'un côté la jeunesse, les aspirants, les candidats, les talents non reconnus, les avocats sans procès... de l'autre — les hommes qui ont une position sociale, les talents reconnus, les députés élus, les avocats qui ont des procès et enfin tous les fainéants satisfaits. [Maintenant dans cette classe énorme] Parmi les révolutionnaires conservateurs et les conservateurs révolutionnaires on trouve une dizaine d'apôtres, quelques enthousiastes sincères et le reste... et le reste — je tâcherai de vous le faire connaître.

[Pour préciser ma pensée, je prends le type le plus complet que l'on nous a donné de l'homme civilisé de notre temps — c'est]

---

* *Слово* révolutionnaire *по ошибке не вычеркнуто.*

Avez-vous lu ou non le roman de «Horace»? G. Sand a tracé de main de maître [dans son Horace] le type [mesquin, faux, égoïste et dépravé, des derniers Mohikans de la bourgeoisie] de l'homme contemporain. C'est bien dommage que [la main féminine] le grand artiste [le ménagea] par un ménagement bienveillant — laisse à son héros une issue, un peu banale en verité, mais conciliante [un sourire de mépris, mais aussi de condescendance sauve Horace], il devient avocat, et probablement très distingué, il pourrait pousser plus loin.

[Si vous voulez sérieusement étudier Horace, vous verrez en lui tout ce qui vous met tellement en colère dans vos rapports avec la société actuelle].

C'est une décoration vivante, tableau d'un côté — toile grossière et sale de l'autre, c'est un acteur éternel. Horace réel a un Horace idéal — et il le représente, il connaît toutes les passions — mais par l'esprit, dans le bonheur comme dans le malheur il ne cherche que le côté scénique, son épicurisme est de la seconde puissance — il aime à déguster, à savourer l'effet qu'il produit, il s'enivre de la sympathie qu'il provoque, il cherche l'approbation — c'est son sérieux. Dans le coeur de cet homme vous ne prévoyez aucune limite qui l'arrêterait, vous savez de ces limites instinctives, qui s'annoncent avant que l'homme ait le temps de réfléchir; pour lui il n'y a qu'un frein — l'opinion publique. Laissez-le seul — il ne se lavera jamais. Avare de chaque petite jouissance pour lui-même — il ne se donne jamais (au reste, il n'a rien à donner); il fouille toujours occupé exclusivement de soi-même, avec naïveté les sentiments les plus intimes de ses proches, sans s'en apercevoir. Il a la concupiscence de tout — et⟨n'a⟩ni force, ni persistance pour atteindre. La grande chose c'est qu'il ⟨lui est⟩ impossible de sacrifier quelque chose. Pour se ménager d'un ridicule, il [calomniera] perdra une [vierge] jeune fille, il trahira un ami. Par ce ridicule on peut le pousser jusqu'au départ pour l'Amérique, ou un duel à 4 pas. Il est d'après ses opinions révolutionnaire, parle contre la bourgeoisie-même... mais au fond il n'aspire qu'à l'aristocratie [et ne rêve que salons, armoiries]; aussi il perd chaque fois la tête lorsqu'on le laisse dans un salon frotté. Donnez-lui 25 m. francs de rente et il ne vous recevra pas.

Horace est fautif de tous les malheurs qui tombèrent sur l'Europe depuis 1848. Il a commencé par se tromper qu'il était révolutionnaire, ensuite il trompa les masses en se passant pour démocrate, il voulait le pouvoir — mais ne savait pas le retenir par ses mains débiles, il l'abandonna de suite après avoir tous embrouillé, en se vantant de n'avoir pas versé une goutte de sang sur l'échafaud — c'est à dire d'avoir manqué de foi et d'énergie — comme il les manquait en amour et en amitié — il est toujours d'un degré inférieur — lorsqu'il faut agir et d'un degré plus haut que les évenements— lorsqu'il faut pérorer.

Voilà pourquoi Horace traîne dans le malheur tous les êtres *vrais* qui entrent en collision avec lui. Car ils sont constamment ses dupes. C'est un joueur qui n'a que de la fausse monnaie — peut être sans le savoir, — contre l'or pur par lequel vous lui payez. C'est un être artificiel, produit sur un sol [vaseux et impur] d'alluvion aussi artificielle formés par la vie urbaine et bourgeoise. Horace est impossible comme ouvrier ou comme aristocrate. Prenez à côté de lui un être dépravé d'une autre époque — Faublas par ex⟨emple⟩. Entre les deux il n'y a que 50 ans de différence — mais un monde entier les sépare.

A travers la grande corruption de Faublas perce un coeur noble, il y a plus d'étourderie, de légèreté en lui que de vices, et il jouit si naïvement de ses petites conquêtes et se répand si naïvement, qu'on voit clairement que si c'est trop tard de l'arrêter ... qu'on peut le laisser faire — viendra un temps où il se fatiguera et deviendra un homme, peut être chemin faisant il perdra sa santé et sa fortune — mais du coeur il lui en restera. C'est pour

cela qu'il vous vient quelquefois dans la tête de le menacer du doigt en souriant, tandis que vous voudriez écraser comme un crapaud ce Horace qui en comparaison avec Faublas est un moine, un homme sérieux, aux grandes idées, aux aspirations excentriques.

Le monde de Faublas attendait un coup de tonnerre — pour purifier cette atmosphère de volupté, de poudre et d'essence de boudoirs.

Le monde de Horace a besoin d'un tremblement de terre.

Puisque nous sommes [au roman de Louvet] au roman, j'ajouterai encore un mot. Ce roman, sans contredit est beaucoup plus *indécent* que les romans de Paul de Kock... Comment cela se fait qu'en lisant ces derniers vous sentez que la boue est plus profonde et plus sale?

C'est la différence du petit sujet un peu leste que traitaient les artistes du temps de Mignard, de Greuze, qu'on reproduisait en porcelaines de Sèvres... et de ces autres qu'on vend dans des passages écartés du Palais-Royal.

La cause générale est la même — et le niveau s'est baissé, parce que les goûts bourgeois ont pris le dessus. Entre Horace et Faublas, entre Louvet et Paul de Kock — passa la bourgeoisie — et forma deux générations.

Le niveau s'est baissé.

Le niveau est toujours en baisse — et c'est là que commence l'espérance.

Le Figaro de Beaumarchais et la Lisette de Béranger sont déjà des êtres idéaux, comme Sainte Geneviève ou Bayard. Figaro, le barbier un peu filou, a été remplacé par Robert Macaire — qui vole, assassine, viole, fait des faux. Au lieu de Lisette vous avez Margot qui n'aime rien, ni «la fauvette, ni le chant de Romeo», mais qui *dit* qu'elle aime l'or;— non seulement ce n'est plus Lisette — et moins encore ni une Hétère de Lucien, ni une courtisane de Florence, ni une femme galante du XVIII... C'est une femme avec un №, patentée par la police — et garantie par la préfecture.

La femme de trente ans et de 1830, les femmes charmantes de Balzac — ont vieilli après 1850. Al. Dumas Il ouvrit son S. Lazare littéraire — et voilà que les dames aux camélias et sans camélias les remplacèrent,—Madelaines — moins le repentir et la passion.

La littérature des *hommes* publics n'était pas meilleure. Il fut un temps où il ne suffisait pas d'avoir été simple espion pour s'en vanter, il fallait avoir été ou ministre comme Foucher ou préfet comme Vidoque et Gisquet.

Le niveau a baissé — et voilà les livres De la Hodde, de Chénu, de Schnep⟨f⟩ — qui forment une guirlande autour De l'autobiographie d'Arthur Gorgey.

[Est-ce que vous pensez que ces symptomes ne suffisent pas pour annoncer une décomposition complète: — ou l'esprit bourgeois périra, ou l'Europe. Eh bien, moi je crois encore à la vieille.]

A côté de ces existences héroïques la vie de Barnum pourrait être la biographie d'un S. Pierre ou S. Paul.

[C'est cette phalange macédonienne, qui commence par Horace et finit par De la Hodde, que nous rencontrons la première.]

Ces faits qui nous servent de plomb pour mesurer la profondeur de [la chute] l'abaissement moral ne sont pas dangereux. Horace n'est pas un espion; écouter derrière une porte est l'occupation la moins dramatique, un mouchard ne produit aucun effet favorable, au contraire Horace est mécontent des entraves qu'on met à la presse et des espions; ils l'empêchent de se produire dans les cafés et d'étonner son monde par un geste généreux et une sentence hardie.

La crapule proprement dite est d'autant moins dangereuse pour nous — que nous y sommes nés. N'oubliez pas que la dame aux Perles est une Russe. Nos collisions et rencontres nous ne les faisons pas avec les galériens et les employés de la préfécture, nous les faisons avec la phalange macédonienne de la Bourgeoisie — c'est là que Horace domine.

AUX INSURGÉS.

Au nom de l'Assemblée nationale.

CITOYENS,

Vous croyez vous battre dans l'intérêt des ouvriers, c'est contre eux que vous combattez, c'est sur eux seuls que retombera tant de sang versé. Si une pareille lutte pouvait se prolonger, il faudrait désespérer de l'avenir de la République, dont vous voulez tous assurer le triomphe irrévocable.

Au nom de la patrie ensanglantée,

Au nom de la République que vous allez perdre,

Au nom du travail que vous demander et qu'on ne vous a jamais refusé, trompez les espérances de vos ennemis communs, mettez bas vos armes fratricides, et comptez que le Gouvernement, s'il n'ignore pas que dans vos rangs il y a des malfaiteurs criminels, sait aussi qu'il s'y trouve des frères qui ne sont qu'égarés, et qui il rappelle dans les bras de la patrie.

Général CAVAIGNAC.

Paris, le 25 juin 1848.

A la garde nationale.

CITOYENS,

Votre sang n'aura pas été versé en vain; redoublez d'efforts, répondez à mon appel, et l'ordre, grâce à vous, grâce au concours de vos frères de l'armée, sera rétabli.

Citoyens, ce n'est pas seulement le présent, c'est l'avenir de la France et de la République que votre héroïque conduite va assurer.

Rien ne se fonde, rien ne s'établit sans douleurs et sans sacrifices; soldats volontaires de la nation intelligente, vous avez dû le comprendre.

Ayez confiance dans le chef qui vous commande, comptez sur lui comme il peut compter sur vous.

La force, unie à la raison, à la sagesse, au bon sens, à l'amour de la patrie, triomphera des ennemis de la République et de l'ordre social.

Ce que vous voulez, ce que nous voulons tous, c'est un gouvernement ferme, sage, honnête, assurant tous les droits, garantissant toutes les libertés, assez fort pour refouler toutes les ambitions personnelles, assez calme pour déjouer toutes les intrigues des ennemis de la France.

Ce gouvernement, vous l'aurez, car avec vous, car avec votre concours entier, loyal, sympathique, un gouvernement peut tout faire.

Général CAVAIGNAC.

Paris, le 24 juin 1848.

Défense d'afficher.

Vu le décret de l'Assemblée nationale, en date de ce jour, déclarant que la ville de Paris est mise en état de siége,

Nous, commandant supérieur de toutes les forces militaires de la capitale, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par le même décret,

Arrêtons ce qui suit :

Art. 1er. Toutes affiches traitant de matières politiques, et n'émanant pas de l'autorité, sont défendues jusqu'au rétablissement de la tranquillité publique.

Passage d'une colonne d'insurgés prisonniers à travers Paris.

Art. 2. Toutes les autorités civiles et militaires tiendront la main à l'exécution du présent arrêté.

Paris, 24 juin 1848. *Le chef du pouvoir exécutif,*

E. CAVAIGNAC.

Désarmement.

Le chef du pouvoir exécutif arrête :

Les maires des divers arrondissements de Paris devront procéder au désarmement de tout garde national qui, sans motif légitime, manque aux appels qui lui sont faits pour concourir à la défense de la République.

Paris, le 25 mai 1848. E. CAVAIGNAC.

Suppression de journaux.

Le chef du pouvoir exécutif,

En vertu du décret de l'assemblée nationale qui met la ville de Paris en état de siége, arrête :

Le préfet de police et tout agent de la force publique, sur le vu du présent arrêté, fera arrêter le citoyen Emile de Girardin, et supprimer le journal *la Presse* (1).

Le préfet de police fera immédiatement saisir toutes les feuilles publiques qui, par leur publication, prolongeant la lutte qui ensanglante la capitale et compromettent le salut de la République.

Paris, le 25 juin 1848.

E. CAVAIGNAC.

Proclamations.

« Ouvriers et vous tous qui tenez encore les armes levées contre la patrie et contre la République, une dernière fois, au nom de tout ce qu'il y a de respectable, de sacré, de sacré pour les hommes, déposez vos armes; l'Assemblée nationale, la nation tout entière vous le demandent. On vous dit que de cruelles vengeances vous attendent; ce sont vos ennemis, les nôtres qui parlent ainsi; on vous dit que vous serez sacrifiés de sang-froid, venez à nous, venez comme des frères repentants et soumis à la loi, et les bras de la République sont tout prêts à vous recevoir.

« Paris, 25 juin 1848.

« *Le président de l'Assemblée nationale,*

« SENARD.

« *Le chef du pouvoir exécutif,*

« E. CAVAIGNAC. »

La rédaction était de nature à prolonger la lutte qui a ensanglanté la capitale, aussi :

« La cause de l'ordre et de la vraie République triomphe. L'insurrection s'affaisse, des quantités considérables d'armes sont enlevées; partout la garde nationale et l'armée, toujours admirables dans leur unité, gagnent du terrain et enlèvent tous les obstacles. Nous pouvons l'affirmer sans crainte, la patrie et la société sont sauvées. De tous les départements arrivent des secours fraternels, la France entière bat d'un seul cœur et aspire au même but, la République et l'ordre.

« Paris, le 25 juin 1848.

« *Le chef du pouvoir exécutif,*

« E. CAVAIGNAC. »

Défense d'élever des barricades.

Tout individu travaillant à élever une barricade sera considéré comme s'il était pris les armes à la main.

Paris, le 25 juin 1848.

Le chef du pouvoir exécutif,

E. CAVAIGNAC.

Proclamation à la garde nationale et à l'armée.

« CITOYENS, SOLDATS,

« La cause sacrée de la République a triomphé; votre dévouement, votre courage inébranlable ont déjoué de coupables projets, fait justice de funestes erreurs. Au nom de la patrie, au nom

(1) D'autres journaux ont également cessé de paraître, et leurs presses ont aussi été mises sous scellés.

Ces journaux sont frappés, sans exception d'opinion, mais dont la

La Révolution, la *Presse républicaine*, l'*Organisation du travail*, l'*Assemblée nationale*, la *Napoléon républicain*, le *Journal de la commune*, le *Lampion*, la *Liberté*, le *Père Duchêne* et le *Prolo*.

ПОСЛЕ ИЮНЬСКИХ ДНЕЙ

Арестованные повстанцы на улицах Парижа

«L'Illustration» от 8 июля 1848 г.

«Прошло еще несколько дней, и Париж стал принимать обычный вид... Одни частые патрули и партии арестованных напоминали страшные дни» («С того берега», гл. «После грозы»)

Nous nous en approchons avec une simplicité tellement Scythe qu'on la prend pour de l'hypocrisie, on cherche une duplicité lorsqu'il n'y a qu'adulation. Mais peu-à-peu nous distinguons avec horreur un fond de dissolution tel, que nous n'en avons jamais rêvé, au milieu de nos neiges.

Nous ne sommes en général pas moins corrompus qu'eux — mais ils sont beaucoup plus dissolus. Nous sommes plus coupables devant la police correctionnelle — eux plus coupables devant l'«Esprit Saint».

Rappelez-vous toute la ménagerie des héros de Gogol... Ce sont des oueurs, des ivrognes, des menteurs, des voraces, surtout ⟨des⟩ voleurs — leurs passions sont grossières, bestiales — et voilà tout; ce n'est que dans le «Propriétaire civilisé» de Tourgueneff que je reconnais la corruption gazée et astucieuse de l'Occident. Mais aussi c'est un produit funeste de la démoralisation d'un monde décrépit, greffé au tronc sauvage d'une vie inculte. Il y a un milieu entier à Pétersbourg qui en fourmille, c'est cette bureaucratie d'origine métisse, produit d'un croisement impur d'aventuriers de toutes les nationalités, de générations entières qui s'abattirent sur la Russie du temps de Pierre I et de ses successeurs — êtres sans patrie, serviles et rongés par l'envie, l'amour propre et le scorbut. Mais le petit «San-Marino» de dépravation n'est pas du tout national.

Au contraire, la corruption générale chez nous a un caractère de violence, de vantardise*, de prostitution éhontée, tumultueuse — et presque toujours accompagnée d'une grande ignorance.

Ce n'est pas le cas en Occident. [La civilisation les rend dissimulés et décents].

Non seulement on comprend tout ce qui agite l'âme de l'homme contemporain, mais on se fait ici l'organe du développement et de la propagation de toutes les grandes idées, sans que cela influe de quelque manière sur la conduite.

Et c'est nommément là que commence notre confusion. Leur langue est *la nôtre*, cela nous induit tout d'abord en erreur; chez nous c'est la langue d'une minorité persécutée, d'une franc-maçonnerie tacite, par elle nous nous reconnaissions. Cette langue oblige chez nous, et comme son usage n'est pas sans danger,— on ne la parle pas gratuitement. [Ici tout le contraire, cette langue]

Jusqu'à ce que vous preniez les hommes pour des livres ouverts, jusqu'à ce que vous restiez avec eux dans le rapport, dans lequel vous êtes avec un acteur pendant qu'il représente — tout ira bien, mais n'allez pas derrière les coulisses. Certainement il n'y⟨a⟩ aucun *besoin* d'y aller. L'histoire sait extraire des essences aromatiques d'herbes qui sentent mal, vous n'avez pas besoin de regarder dans sa casserole, ni remuer ce foin infecte — on le jettera dehors, l'esprit aromatique seul restera.

Mais d'un autre côté cela ne suffit pas au coeur humain; nous cherchons une autre *communauté* avec les hommes, le lien purement théorique ne nous suffit pas comme les rapports exclusivement d'affaires. La solidarité, la sociabilité, l'attraction mutuelle, la bienveillance innée demandent plus — et leurs exigences, quoiqu'on en dise, ne sont pas moins fortes que les exigences de l'égoïsme.

Il y a quelque chose de tellement repoussant dans ce dualisme moral que, mille fois trompés, nous nous efforçons de ne plus y croire, de ne pas admettre que la conviction et la conduite ne coïncident pas — de là une source amère de collisions les plus horribles.

Une partie de cet étrange état moral dans le monde contemporain s'explique par la stérilité de la doctrine révolutionnaire, de laquelle nous avons parlé. C'était l'émancipation et non la liberté, le libéralisme apprenait

* *В подлиннике:* vantarderie.

avec le mépris de l'autorité, le moyen de se défaire de chaque collier, de chaque chaîne, laissant aux hommes s'arranger après comme ils le savent... Mais les hommes ne savaient pas comment, car ils étaient des affranchis, et non des hommes libres.

Analysez la philosophie du libéralisme — c'est un règlement de guerre, c'est la doctrine de l'attaque et de la résistance, le pouvoir — n'est pas la volonté active du peuple vers un ennemi. Après la victoire on n'avait rien à faire avec cette science, [art] militaire. Pendant la lutte, toute théorie qui l'aide est bonne; c'est le tambour battant pour ranimer et rallier, c'est la parole énergique qui enrôle les combattants. La conduite en temps de guerre est simple et temporaire, en partie elle se règle d'après l'ennemi, le reste consiste dans une organisation unitaire et artificielle. Le reste — le reste on le couvre d'un voile comme la Statue de la liberté à la Convention.

Lorsque le temps vint d'ouvrir la statue — on vit qu'elle n'était pas de marbre, mais d'argile. Lorsqu'il fallait incarner dans une série de lois la splendide rhétorique de l'amour de l'humanité, de la fraternité du peuple, de la république, de la démocratie, de la souveraineté du peuple et de l'égalité absolue,— alors on parvint avec peine de voter la consti⟨tution⟩ la plus piètre, la plus indigeste de toutes celles qui avaient existé,—la constitution de 1848.

Un seul principe a été proclamé — *le suffrage universel*. Voilà la source vivifiante et arithmétique du nouveau pacte social. L'application du suffrage universel aux questions les plus profondes, les plus fondamentales de la République—équivalait à une abdication, à un aveu qu'on marche à tâtons. Qui connaît une vérité, l'aime, l'estime et a foi en elle, ira-t-il dans la rue demander l'opinion du premier passant, voudra-t-il déterminer par l'addition et la soustraction le plus ou le moins de valeur de sa vérité?

Les masses qui ne comprenaient rien dans ce pot-pourri politique qu'on représentait à l'Hôtel de ville et dans l'Assemblée — comprirent par instinct le suffrage universel. La fente qui séparait de plus en plus le public des acteurs, s'élargissait, et lorsque pour la couvrir il ne suffisait plus ni du tapon oriental de l'éloquence de Lamartine, ni des cadavres des *frères* égorgés aux journées de Juin — alors du fond de la fente sortit Louis Bonaparte en se frottant ses yeux endormis. C'était tellement absurde, qu'il devait devenir l'homme de la position...

⟨*На этом рукопись обрывается.*⟩

Перевод:

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Дорогой друг,

Ваше письмо меня не удивило — я этого ожидал от вас, ибо сам прошел через те же испытания. Вам как-то не по себе на Западе — ни люди, ни предметы не оправдали здесь ваших ожиданий. Это вполне естественно, но такое состояние не должно продолжаться слишком долго. Отдав должное страстям, отдадим также логике и анализу то, что принадлежит им.

И, прежде всего, разве Запад несет ответственность за то, что он не отвечает нашим о нем представлениям? — не более, чем мы ответственны за эти свои представления— все это непроизвольно и вызывается общими причинами.

Мы изучали Европу по книгам, но пока мы *ее* читали, она преображалась, по крайней мере в своем верхнем слое, и, к несчастью, мы видим и знаем только этот верхний слой, а что происходит в недрах, в глубинах народной жизни — мы не знаем да и сам народ не знает этого.

Массы не были вовлечены по-настоящему в движение, они колыхались, как колышется нива от ветра, склоняясь то в одну сторону, то в другую, но не оставляя своей почвы.

В наше представление о западном человеке входят элементы, совершенно верные, но или уже не существующие более, или совершенно изменившиеся.

Рыцарская доблесть, аристократическое изящество, строгая чинность протестанта, мрачная энергия революционеров, роскошная жизнь итальянских художников, посвященная размышлениям и идеализму жизнь поэта — все это переплавилось и почти исчезло в совокупности других нравов — *нравов буржуазных*.

Они господствуют над миром до такой степени, что и старческий класс аристократии и класс вечных рудокопов, рабочих, который входит в свои права, торопятся усвоить эти нравы. Дворяне и пролетарии стремятся быть буржуа по образу жизни.

С точки зрения общей экономики, переход феодального общества в общество буржуазное является неоспоримым прогрессом. Борьба и развитие перенесены на реальную почву, на землю; мир фантазеров и мечтателей начинает просыпаться: часть человечества отрезвляется, все упрощается; аристократизм дворян был в их воображении и в крови; аристократизм буржуазии — в денежном сундуке *.

Слова «средний класс» выражают с большой пластичностью промежуточное значение буржуазии — не только то, что она занимает место между аристократией и народом, но и то, что она — между прошедшим и будущим. Не подумайте только, будто я хочу этим сказать, что она является по преимуществу *настоящим*; совсем напротив, она колеблется между будущим, которого она жаждет, но боится, и прошедшим, которое она ненавидит, но не в силах отбросить. Шаг вперед — и она встречает вместо Лютера — Мюнцера, вместо либерализма — социализм. Шаг назад — и она натыкается на феодальную монархию, которую недолюбливает, и на дворянскую аристократию, которую ненавидит.

В подобных случаях нет действенного разрешения вопроса, есть золотая середина, нейтрализация противоположностей, уравновешивание сил, то есть их уничтожение. Действенное призвание буржуазии состояло почти исключительно в оппозиции — и в этом-то и заключалась ее сила и ее красота — что может быть прекраснее фламандской буржуазии эпохи Реформации? Что же касается подлинно творческого начала — им она была чрезвычайно бедна **. Вот почему также столь коротко было ее дыхание. Энергичный борец становится вскоре заурядным хозяином ***.

Во время борьбы круглая шляпа и черная одежда Франклина торжественно заменяют вышитую одежду и шляпу с перьями; во время борьбы «Гражданин» был велик и прекрасен на трибуне, на площади, с ружьем в руке, с головой под ножом гильотины... и отправляясь с «Марсельезой» на устах.

Победитель пробуждается — коронованным Санчо-Пансо.

Нет, нет, ты уж не Лизетта...
В тканях, шелком шитых,
Жемчуг и цветы
В локонах завитых...****

... Былое значение не дает в истории никакого права на наследство.

Дворянство — и оно было когда-то прекрасно, оно было прогрессом, для своего времени, и Рыцарь, вооруженный защитник личной независимости и человеческого достоинства, был достойным преемником римских граждан slave-holders *****.

Развитие, так же, как и природа, не знает, что такое синекура признательности; что может быть прекрасней лепестков цветка? — но они опадают и увядают, едва лишь достигнута цель ******.

---

* *Далее зачеркнуто:* следовало убить первый, достаточно зачерпнуть во втором.

** *Далее зачеркнуто:* это религия собственности

*** *Далее зачеркнуто:* Он прекрасен, опрокидывая мистический трон; он отвратителен, садясь на этот трон; видно, что его совсем не воспитывали для роли короля.

**** Герцен неточно цитирует здесь песню Беранже «Ce n'est plus Lisette». Нами приводится соответствующее место из перевода В. С. Курочкина (тоже не буквального).

***** рабовладельцев (англ.).

****** *Далее зачеркнуто:* Буржуазия как правящий класс показала себя ниже всякого ожидания.

ОРАС

Рисунок Мориса Санда к одноименному роману Ж. Санд, 1853 г.

Гравюра Делавиля

«Вся действующая, пишущая Франция состоит из Орасов... Существо это, позолоченное снаружи и испорченное внутри... Орас главный виновник бедствий, обрушившихся на Европу в последнее время» («Оба лучше»)

Из великих вопросов, поставленных Революцией, буржуазия не разрешила ни одного, она их упростила, удалив из них аристократический элемент, отсрочив, отложив их на время при помощи решений, не отличавшихся ни искренностью, ни правильностью. «Laissez faire, laissez passer»... и наряду с этим всякого рода регламентация — централизаторская и монархическая. Буржуазный либерализм представляет собою лишь освобождение собственника, ⟨буржуазная⟩ демократия — лишь внешнее уравнивание: она признает право пролетариата на собственность, не давая ему средств, и провозглашает равенство преступников перед судом, предоставляя невинным устраиваться, как им угодно. Этим двум друг друга отрицающим началам — либерализму и демократии — никогда ничто не удавалось, кроме сооружения временных балаганов и наведения некоторого «порядка в беспорядке», как столь наивно выразился один из представителей буржуазной демократии — Коссидьер.

Надлежало создать новую мораль... Ибо мораль * есть не что иное, как историческое сознание *нынешних*, существующих взаимоотношений людей, признанное, прочувствованное ими в данный период—это** временное определение единства, общности; это молчаливая связь, подразумеваемый договор между личностями, самые изменения которого более и более способствуют его прояснению и переходу из смутного чувства, из религиозного инстинкта в обоснованное доводами знание, таким образом, что долг становится силлогизмом, почти желанием.

Буржуазия была крайне бесплодна в этом отношении. Она смешала свою мелкую домашнюю, конторскую мораль с античными, риторически истолкованными добродетелями, с заповедями христианства, подновленного Лютером и исправленного политической экономией, Брута — со св. Павлом, евангелие — с Бентамом, поваренную книгу — с «Эмилем» Ж.-Ж. Руссо.

---

* *Далее зачеркнуто:* есть явление, подлинно историческое
** *Далее зачеркнуто:* историческое

Не было никакой возможности принять эту смесь за основу для нового общественного договора *, и тогда ограничились тем, что остались в ** переходном состоянии. Но ограда временного балагана не в состоянии была удержать противоречия в разумных границах, и *** все самые противоречивые нелепости подняли голову и сохранились наряду с истинами. Личная свобода и воскресный закон **** могут служить этому подтверждением.

Традиционная мораль старого мира обладала бо́льшим единством и была логичнее в своем скудоумии. Новая мораль, не сумев определить себя, все искалечила, все спутала — и подготовила этим конец *****.

С Реформацией, с Революцией все меняется до определенных пределов и на этом останавливается. Аристократическая учтивость заменена тупой чинностью, заносчивость вельмож — обидчивостью выскочек, рыцарская честь — бухгалтерской честностью. Дворцы были превращены в гостиницы, открытые для всех — для всех тех, разумеется, кто в состоянии был платить. Парки, служившие только для прогулок, превращены были в огороды, которые могли быть куплены каждым, имевшим деньги. Жизнь стала более удобной для некоторых, более пошлой для всех и осталась неизменной для громадного большинства — для бедняков.

Великий революционный вопрос стал также вопросом буржуазным; извечная историческая борьба грядущего с прошедшим, свободы с насилием, косности с переменами нашла обе свои границы внутри господствующего класса, подобно тому как религиозная борьба между феодальным католицизмом пап и буржуазным католицизмом****** реформатов не выходила за пределы христианской церкви*******. С одной стороны — собственник, не желавший ничего уступать из того, что он захватил, *per fas et nefas*********, с другой — демократы, которые желают все отобрать у собственника, не посягая на право собственности. С одной стороны — *Скупость*, с другой — *Зависть*.

Скупцы образуют сплоченное целое, обладающее большим единством; это каста, состоящая из торговцев, фабрикантов, хозяев, производителей товаров, промышленников, которые работают сосредоточенно, чтобы разбогатеть, и богатеют, сами не зная зачем. Банкиры и капиталисты образуют их аристократию. Это буржуазия *proprie sic dictum* *********, она управляет, но не царствует.

Представителем движения и обоих течений является другая сторона, сторона говорящая, пишущая, обучающая и пресекающая мысль, провозглашающая правительства и подрывающая их — это *Дарование*, умственная сила века. В нее входит вся аристократия цивилизованного мира — писатели, ученые, художники, политические деятели, журналисты, адвокаты... и весь *мелкий сброд* старого мира, который должен исчезнуть или переплавиться при явлении нового мира, как исчезли псари, виночерпии, дворцовые шуты **********.

Здесь нет сплоченного единства, наоборот — два лагеря, состоящие из одинаковых личностей; почти все они начинают ********** с зависти и кончают скупостью. Судьба Европы находится в руках этого класса со времен Наполеона. С одной стороны — молодежь, соискатели должностей, кандидаты, непризнанные таланты, адвокаты без процессов... с другой—люди, имеющие положение в обществе, признанные таланты,

---

* *Далее зачеркнуто:* синтез был

** *Далее зачеркнуто:* временном

*** *Далее зачеркнуто:* отныне

**** *Далее зачеркнуто:* le laissez-faire—и регламентация продажи вина; равенство перед законом — и правосудие, воздаваемое за денежную мзду

***** *Далее зачеркнуто:* которого она еще не достигла

****** *Далее зачеркнуто:* называемым протестантизмом

******* *Далее зачеркнуто:* консервативная партия находилась вместе с партией революционной на буржуазной почве.

******** правдой и неправдой (лат.).

********* в буквальном значении слова (лат.).

********** *Далее зачеркнуто:* как, наконец, исчезают почтовые лошади при появлении железных дорог

*********** *Далее зачеркнуто:* с того, что бывают революционерами — достигнув известного положения, большая часть переходит с оружием в руках и устремляется к консерватизму, имеющему в себе нечто *революционное*

выбранные депутаты, адвокаты, имеющие процессы, и, наконец, все благоденствующие тунеядцы *. Среди консервативных революционеров и революционных консерваторов находится с десяток апостолов, несколько искренних энтузиастов... а остальные... остальных я попытаюсь помочь вам узнать **.

Читали ли вы роман «Орас»? Ж. Санд рукой мастера *** изобразила тип **** современного человека. Очень жаль, что ***** великий художник ****** с благожелательной заботливостью оставляет своему герою, по правде говоря, несколько банальный, но примиряющий выход *******: он становится адвокатом и, вероятно, весьма видным, он мог бы продвинуться гораздо далее ********.

Это живая декорация, живопись на лицевой стороне — грубое и грязное полотно — на другой, это вечный актер. У реального Ораса есть идеальный Орас, за которого он хочет прослыть; ему знакомы все страсти, но только умозрительно,— в счастье, как и в беде, он отыскивает одну сценическую сторону; его эпикуреизм возведен в квадрат — он любит дегустировать, смаковать производимый им эффект; он упивается симпатией, которую искусственно вызывает; он ищет одобрения — вот основное в его жизни. В сердце этого человека нет внутреннего предела, который бы его остановил в чем-нибудь — вы знаете, я имею в виду те инстинктивные пределы, которые дают о себе знать прежде, чем человек успеет размыслить; для него существует только одна узда — общественное мнение. Оставьте его одного — он перестанет умываться. Алчный ко всякому, даже ничтожному удовольствию, он от себя не дает никогда ничего (впрочем, ему нечего давать); он, всегда занятый исключительно самим собою, сам того не замечая, с наивностью копается в самых сокровенных чувствах своих ближних. Он питает ко всему вожделение и не имеет ни силы, ни настойчивости для достижения. Самое главное — то, что он не в состоянии пожертвовать чем-либо. Чтоб выправиться из смешного положения, он ********* готов опозорить ********** девушку, предать друга. Боязнь быть смешным может толкнуть его на отъезд в Америку или на дуэль на четыре шага. По мнениям—он революционер, он высказывается против буржуазии... но в глубине души он стремится только к аристократии **********; так, каждый раз, попадая в роскошную гостиную, он теряет голову. Дайте ему 25 тысяч франков дохода, и он не пустит вас к себе в дом.

Орас — виновник всех бедствий, обрушившихся на Европу с 1848 г. Начал он с самообмана, возомнив себя революционером, затем он обманул массы, выдавая себя за демократа,— он желал власти, но не сумел удержать ее в своих немощных руках; затем, всех запутав, он покинул эту власть, хвалясь тем, что не пролил ни капли крови на эшафоте, то есть тем, что у него не хватило ни веры, ни энергии, как их нехватало у него в любви и в дружбе—он всегда ступенью ниже, когда нужно действовать, и ступенью выше событий, когда должно разглагольствовать.

Вот почему Орас приносит несчастье всем тем *настоящим* людям, которые сталкиваются с ним. Ибо они постоянно бывают одурачены им. Это игрок, который, быть может сам того не зная, играет только на фальшивые деньги, взамен чистого золота, которым вы с ним расплачиваетесь. Это существо искусственное, возникшее на

---

* *Далее вачеркнуто:* теперь в этом огромном классе

** *Далее зачеркнуто:* Чтоб уточнить мою мысль, я беру наиболее полно представленный нам тип цивилизованного человека нашего времени — это

*** *Далее вачеркнуто:* в своем Орасе

**** *Далее вачеркнуто:* скупого, лживого, эгоиста и распутника, одного из последних могикан буржуазии

***** *Далее вачеркнуто:* женская рука

****** *Далее вачеркнуто*: пощадила его

******* *Далее вачеркнуто:* презрительная, но не лишенная снисходительности улыбка спасает Ораса

******** *Далее вачеркнуто:* Если вы захотите по-настоящему изучить Ораса, вы увидите в нем все то, что вас так сильно возмущает при сношениях ваших с современным обществом.

********* *Далее вачеркнуто:* оклевещет

********** *Далее вачеркнуто:* девственницу

********** *Далее вачеркнуто:* и мечтает только о салонах, гербах

наносной почве *, также искусственной, созданной городской и мещанской жизнью. Орас немыслим ни как рабочий, ни как аристократ. Поставьте рядом с ним развращенного человека другой эпохи —Фоблаза, например. Между ними всего только 50 лет, но целый мир разделяет их.

Из-за глубокой испорченности Фоблаза проглядывает благородное сердце; в нем больше ветрености, легкомыслия, чем пороков, и он так наивно радуется своим маленьким победам и так наивно распространяется о них, что ясно видишь,— если уже поздно его останавливать... можно дать ему волю — придет время, когда он утомится и станет человеком; возможно, что по дороге он потеряет здоровье, состояние — но сердце в нем останется. Именно поэтому вам иногда приходит в голову погрозить ему с улыбкой пальцем, в то время как вам хотелось бы раздавить, как жабу, этого Ораса, который, по сравнению с Фоблазом — монах, человек серьезный, с великими идеями, с необычными стремлениями.

Мир Фоблаза ожидал громового удара, чтоб очистить эту атмосферу сладострастия, пудры и благоуханий будуаров.— Мир Ораса нуждается в землетрясении.

Поскольку речь идет ** о романе, я прибавлю еще одно слово. Этот роман, несомненно, гораздо более *неприличен*, чем романы Поль-де-Кока... Почему же, когда вы читаете эти последние, вы чувствуете, что грязь глубже и гаже?

Это разница между легким и несколько вольным сюжетом, обработанным художниками времен Миньяра, Греза и воспроизводившимся на севрском фарфоре... и теми, что продаются в отдаленных пассажах Пале-Рояля.

Основная причина — та же, и уровень понизился, потому что буржуазные вкусы взяли верх. Между Орасом и Фоблазом, между Лувэ и Поль-де-Коком прошла буржуазия — и образовала два поколения.

Уровень понизился.

Уровень продолжает понижаться, и вот здесь-то рождается надежда.

Фигаро Бомарше и Лизетта Беранже сделались теперь такими же идеалами, как святая Женевьева или Баяр. Плутоватого цирульника Фигаро сменил Робер Макер, который крадет, убивает, насилует, делает фальшивые векселя.

Вместо Лизетты является Марго, которая ровно ничего не любит —«ни малиновки, ни песни Ромео», но которая *говорит*, что любит золото; это не только больше не Лизетта — а даже и не гетера Лукиана, не флорентинская куртизанка, не прелестница XVIII века... Это женщина за номером, патентованная полицией и гарантированная префектурой.

Тридцатилетняя женщина, женщина 1830 года, очаровательные женщины Бальзака постарели после 1850 года. Ал. Дюма II открыл свой литературный Сен-Лазар, и вот дамы с камелиями и без камелий заменяют их — Магдалины без раскаяния и без страсти.

Литература публичных *мужчин* была не лучше. Было время, когда казалось недостаточным быть в прошлом просто шпионом, чтоб этим бахвалиться; надо было быть прежде либо министром, подобно Фуше, либо префектом, как Видок и Жиске.

Уровень понизился — и вот появились книги Де-Ла-Года, Шеню, Шнепфа, — образующие гирлянду вокруг автобиографии Артура Гёргея ***.

Рядом с этими героическими существованиями жизнь Барнума может показаться биографией св. Петра или св. Павла ****.

Эти факты, служащие нам лотом для измерения глубины ***** морального упадка, не опасны. Орас — не шпион; подслушивать за дверью — это занятие, наименее дра-

---

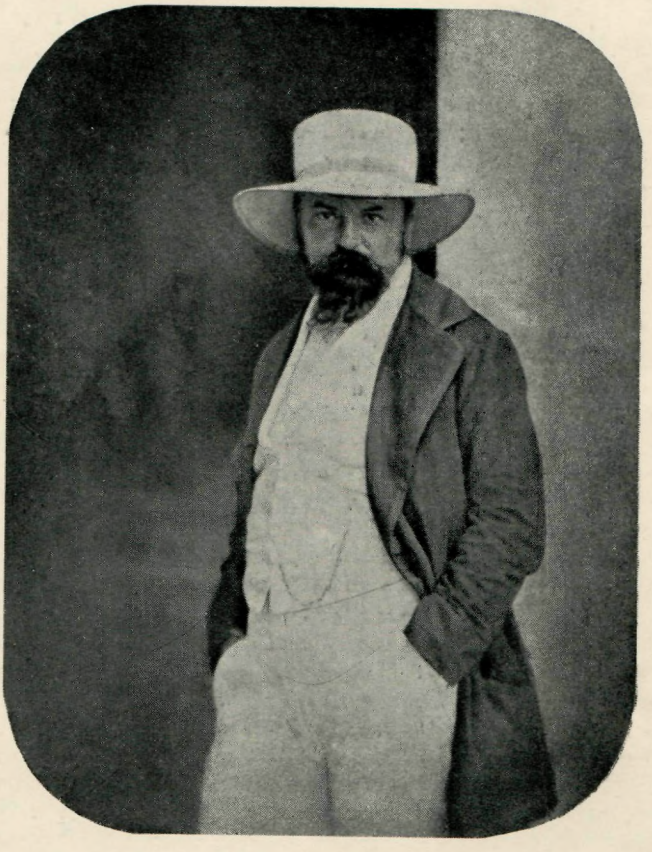
* *Далее зачеркнуто:* тинистой и нечистой

** *Далее зачеркнуто:* о романе Лувэ

*** *Далее зачеркнуто:* Разве, по-вашему, этих симптомов недостаточно, чтоб объявить о полном разложении — либо буржуазный дух погибнет, либо Европа. Что касается меня — я еще верю в старушку.

**** *Далее зачеркнуто:* Именно с этой македонской фалангой, которую открывает Орас и замыкает Де-Ла-Год, мы встречаемся прежде всего.

***** *Далее зачеркнуто:* падения



ГЕРЦЕН
Дагерротип, 1850—1852 гг.
Исторический музей, Москва

матичное; шпик не производит благоприятного впечатления; наоборот, Орас недоволен путами, налагаемыми на прессу, и шпионами; они мешают ему распространяться в кафе и удивлять свой мирок великодушным жестом и смелой фразой.

Беспутство, в буквальном смысле слова, тем менее опасно для нас, что мы в нем рождены. Не забудьте, что дама с жемчугом — русская. Наши столкновения и стычки происходят не с каторжниками и чиновниками префектуры, а с македонской фалангой буржуазии — и именно там господствует Орас.

Мы приближаемся к ним с такой скифской простотой, что ее принимают за лицемерие; ищут в этом двуличия, тогда как здесь лишь заискивание. Но мало-помалу мы замечаем с отвращением такую глубину разложения, какая никогда не снилась нам, среди наших снегов.

Вообще говоря, мы не менее развращены, чем они, но они гораздо более растленны. Мы более виновны в глазах исправительной полиции, они—перед «святым духом».

Вспомните-ка весь зверинец гоголевских героев... Это игроки, пьяницы, лгуны, обжоры, особенно воры—их страсти грубы, животны—вот и всё; лишь в «Цивилизованном помещике» Тургенева я узнаю завуалированный и лукавый разврат Запада. Но и это — гибельный плод разложения дряхлого мира, привитый к дикому стволу не тронутой просвещением жизни. Есть в Петербурге особая среда, где кишит подобный разврат. Это та бюрократия смешанной крови, плод нечистого скрещивания авантюристов всех наций, целые поколения которых набросились на Россию еще во времена Петра I и его преемников—существа без родины, раболепные и терзаемые завистью, самолюбием и цынгой. Но маленькое «Сан-Марино» развращенности не имеет ничего общего с нацией в целом.

Напротив, общая испорченность у нас имеет характер буйства, похвальбы, распутства, бесстыдного, беспорядочного и почти всегда сопровождаемого глубоким невежеством.

Совсем не то на Западе *.

Здесь не только понимают всё, что волнует душу современного человека, но и становятся глашатаями развития и пропаганды всех великих идей, без того, впрочем чтобы это как-либо влияло на поведение.

И именно тут-то и начинается наше смущение. Их язык — это *наш* язык, что с самого начала вводит нас в ошибку; у нас—это язык преследуемого меньшинства, молчаливого масонства, по нему мы узнавали друг друга. Этот язык у нас обязывает, и поскольку пользоваться им небезопасно, на нем попусту не говорят **.

До тех пор пока вы будете принимать людей за открытые книги, пока вы будете оставаться с ними в тех же отношениях, в каких вы бываете с актером в то время, когда он играет, все будет идти хорошо, но не ходите за кулисы. Конечно, нет никакой *необходимости* идти туда. История умеет извлекать ароматические вещества из дурно пахнущих трав; вам незачем ни заглядывать в ее кастрюлю, ни шевелить это гнилое сено — его выкинут, и останется только аромат.

Но, с другой стороны, этого недостаточно для человеческого сердца. Мы ищем другой *общности* с людьми; связи чисто теоретической нам недостаточно, так же как исключительно деловых отношений. Солидарность, общительность, взаимная склонность, врожденное доброжелательство требуют большего, и их требования — что бы там ни говорили — не менее сильны, чем требования эгоизма.

В этом моральном дуализме есть нечто столь отталкивающее, что, будучи тысячи раз обманутыми, мы пытаемся в него более не верить, не допускать, что убеждение и поведение не совпадают, и в этом горький источник для самых ужасных коллизий.

Частично это странное моральное состояние современного мира объясняется бесплодностью революционного учения, о которой мы уже говорили. Это было освобождение, но не свобода; либерализм, вместе с презрением к власти, обучал и способам для избавления от всякого ошейника, от всякой цепи, предоставляя затем

---

* *Далее зачеркнуто:* Цивилизация делает их скрытными и благопристойными.
** *Далее зачеркнуто:* здесь, наоборот, этот язык

людям устраиваться, как знают... Но люди не знали, что делать, ибо они были вольноотпущенниками, а не свободными людьми.

Проанализируйте философию либерализма — это военный устав, это система нападения и защиты; власть не есть деятельная воля народа, направленная против врага. После победы нечего было делать с этой военной наукой*. Во время борьбы всякая теория, которая ей помогает, хороша: это барабанный бой для поднятия духа и для сплочения; это энергичное слово, которое вербует бойцов. Поведение во время войны несложно и непродолжительно; частично оно определяется поведением врага; все прочее заключается в единой и искусной организации. Что же до остального — остальное покрывают чехлом, как Статую свободы в Конвенте.

Когда пришло время открыть статую, увидели, что она не из мрамора, а только из глины. Когда стало нужно воплотить в ряд законов великолепную реторику любви к человечеству, братства народов, республики, демократии, народовластия и полного равенства, тогда с трудом приняли самую жалкую конст⟨итуцию⟩, самую неудобоваримую из всех, когда-либо существовавших, — конституцию 1848 года.

Один лишь принцип был провозглашен — это *всеобщая подача голосов*. Вот животворный и арифметический источник нового общественного договора. Применение всеобщей подачи голосов к наиболее глубоким и наиболее важным вопросам Республики было равнозначно отречению, признанию, что блуждают ощупью. Кто знает какую-либо истину, любит ее, уважает ее и верит в нее — пойдет ли он на улицу спрашивать мнения встречного-поперечного, захочет ли он определить при помощи сложения и вычитания большее или меньшее значение этой своей истины?

Массы, ничего не понимавшие в той политической мешанине, которая происходила в ратуше и Законодательном собрании, инстинктивно поняли всеобщую подачу голосов. Щель, все более и более отделявшая публику от актеров, расширялась, и когда для того, чтобы ее закрыть, уже нехватало ни восточного ковра ламартиновского красноречия, ни трупов *братьев*, умерщвленных в Июньские дни, тогда из глубины этой щели вышел Луи-Бонапарт, протирая заспанные глаза. Все это было так нелепо, что он не мог не стать хозяином положения...

⟨*На этом рукопись обрывается.*⟩

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 20, лл. 87—106.

---

* *Далее вачеркнуто*: это искусство

ДВЕ ЗАПИСИ В ДНЕВНИКЕ

Публикация В. Александрова

1

Осенью 1851 г., на пути в Ниццу, во время кораблекрушения в Средиземном море погибли мать и сын Герцена. «Едва-едва оправившаяся Natalie не вынесла этого удара,— вспоминал Герцен.— Со дня гибели моей матери и Коли она не выздоравливала больше. Испуг, боль остались, вошли в кровь... При виде этих страданий, переходивших в нервную болезнь, при виде ее блестящих глаз и увеличивающейся худобы, я в первый раз усомнился, спасу ли я ее...» (XIII, 541).

Со смертью Натальи Александровны 2 мая 1852 г. Герцен потерял близкого человека, единственного—в этот период жизни на чужбине—друга и единомышленника. Огарев находился в ту пору в России. Естественно, что в эти годы Герцен чувствовал себя глубоко одиноким.

Приезд в Лондон Огарева (вместе с Н. А. Тучковой-Огаревой) 9 апреля 1856 г. явился для Герцена большим событием. В дневниковой записи, относящейся к маю 1856 г., Герцен писал в связи с приездом Огаревых: «Первый раз после осени 1851 на меня повеяло чем-то домашним, я опять мог с полной теплотой и без утайки рассказывать то, о чем молчал годы...» (XVIII, 366; Лемке ошибочно датировано: 9 апреля 1866 г.; подлинник в записной книжке Герцена, хранящейся в ИРЛИ). Публикуемая нами запись о приезде Огаревых датирована 5 мая 1856 г. По содержанию печатаемого текста следует сделать несколько уточняющих пояснений.

Герцен дважды допускает в записи ошибку в указании на свой возраст; 6 апреля (н. ст.) 1856 г. Герцену исполнилось сорок четыре года и пошел сорок пятый, а не сорок четвертый год.

Об эпизоде со сломавшимся кольцом Герцен на другой день, 6 мая 1856 г., писал М. К. Рейхель: «А сказывал ли я вам, что в день моего рождения, т. е. в ночь, без всякой причины, сломилось мое серебряное обручальное кольцо?» (VIII, 280).

Встретившись с Огаревым впервые после длительной разлуки, Герцен был поражен его болезненным видом. В апреле—мае 1856 г. состояние здоровья Огарева действительно вызывало серьезную тревогу не только у его друзей, но и у лечившего его врача Девиля.

В упомянутой выше дневниковой записи из записной книжки Герцена были зачеркнуты следующие слова: «...два-три человека в гробу. О⟨гарев⟩ на краю его» (в публикации Лемке не воспроизведено, приводится по подлиннику). Однако вскоре наступил спасительный перелом: 15 мая 1856 г. Герцен писал М. К. Рейхель: «Огарева здоровье очень поправляется» (VIII, 281), а 27 мая сообщил: «Здоровье Огар⟨ева⟩ улучшилось до того уже, что Девиль считает его вне неминуемой опасности...» (VIII, 304).

⟨РОВНО МЕСЯЦ ТОМУ НАЗАД...⟩

5 мая 1856

Ровно месяц тому назад поздно вечером я сидел с двумя-тремя приятелями, пришедшими встретить мое рождение — начало сорок четвертого года. Я случайно взглянул на руку и смешался: мое серебряное обручальное

кольцо с надписью «Н. Г. 1838 мая 9», которое я ношу с того времени, сломилось. Я не мистик и не люблю мутить мысли предчувствиями, но на этот раз сломанное кольцо навело на меня раздумье.

Не прошло еще месяца, и этот сорок четвертый год оказался одним из важнейших; в самом деле, это начало выхода: кольцо разнимается.

9 апреля мы вставали из-за завтрака, как вдруг Тата сказала: «Какая-то карета остановилась у нашей решетки и с чемоданам⟨и⟩». Я уверен был, что это ошибка, потому что не ждал никого. Это был Ог⟨арев⟩ и Н⟨аталья⟩ Ал⟨ексеевна⟩—но всё поразительное, неожиданное этого свидания было покрыто двумя черными флерами: смерть Н⟨атали⟩, с одной стороны, с другой — страшно болезненное выражение лица О⟨гарева⟩. Первая мысль, после удивления, шума и нервного оглушения: «Он очень болен»— отравила радость. И вот в ту торжественную минуту, которой я только и ждал еще, о которой едва смел мечтать... точно что-то резнуло глубоко по сердцу, и, очутившись в первый раз спустя пять лет с другом, с которым привык к безграничнейшему откровению,— я должен был сделать гигантское усилие, чтоб скрыть от него, ⟨что⟩ было внутри. Я не ошибся.— Девиль на другой день подтвердил мне все мои опасения.

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 19, л. 1.

2

В ночь с 3-го на 4-е декабря 1864 г. умерла от дифтерита трехлетняя дочь Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой Елена (Леля-гэрл), через неделю — 11 декабря — умер сын Алексей (Леля-бой). Смерть близнецов глубоко потрясла Герцена. 18—19 декабря 1864 г. он писал старшей дочери и М. Мейзенбуг: «Какую мрачную и страшную страницу я пережил, все мы пережили, трудно сказать вам это. Я присутствовал при ужасающем зрелище самой жестокой смерти — смерти от удушья — этих двух детей. Я держал девочку во время операции трахеотомии и закрыл глаза мальчику... Всё это сразу; удар за ударом... как сон...» (XVII, 427, перев. с франц.).

Публикуемая запись относится к этим событиям и сделана Герценом в дневнике накануне четвертой годовщины смерти близнецов.

⟨ОПЯТЬ ПРИБЛИЖАЕТСЯ СТРАШНАЯ ГОДОВЩИНА...⟩

Цюрих. 29 ноября 1868 г.

Опять приближается страшная годовщина — смерти детей. Сколько раз хотел я записать для себя, для детей эти дни, эти ночи, страшное 4 декабря — пока не могу. Разве новое несчастие станет между им и воспоминанием. Свежая боль осадит прошедшую.

Автограф. ИРЛИ. Записная книжка Герцена.— Публикуемые строки помещены в книжке вслед за записью от 27 ноября 1868 г. (XXI, 151—152).

ДВА НЕИЗВЕСТНЫХ ОТРЫВКА ИЗ «БЫЛОГО И ДУМ»

Публикация В. Путинцева

Известно, что многие страницы «Былого и дум» при жизни Герцена опубликованы не были. Лишь спустя почти полвека после его смерти в собрании сочинений Герцена под редакцией М. К. Лемке появился знаменитый «рассказ о семейной драме», те волнующие главы мемуаров, о которых Тургенев, прочтя их в рукописи, отозвался следующими словами: «Всё это написано слезами, кровью: это — горит и жжет» («Первое собрание писем И. С. Тургенева». СПб., 1884, стр. 281 — письмо к М. Е. Салтыкову-Щедрину от 19 января 1876 г.). Отдельные разрозненные очерки из «Былого и дум» («Н. Х. Кетчер», «Эпизод из 1843 года», «Немцы в эмиграции» и др.) вошли в «Сборник посмертных статей» Герцена, изданный в Женеве в 1870 г. Герцен не желал их печатать. «Ничего для печати»,— пометил он на одной из тетрадей (Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Г.—О. I. 2). Известно также, что, печатая главы «Былого и дум» на страницах «Полярной звезды» и подготавливая отдельное издание мемуаров в 1861—1866 гг., Герцен во многих случаях по соображениям политического или тактического характера, а чаще всего из-за интимного содержания рассказа опускал те или иные места. Многое было восстановлено в тексте «Былого и дум» в последующих изданиях (например, страницы о П. П. Медведевой в гл. XXI — «Разлука» — части третьей, или отрывок о горничной Катерине в гл. XXVIII части четвертой); кое-что затерялось и до сих пор вызывает догадки и предположения исследователей (см. подробнее в моей статье «Из творческой истории „Былого и дум“» — Сб. «А. И. Герцен». М., Государственный литературный музей, 1946).

1

К числу утраченных страниц «Былого и дум» относятся до сих пор и воспоминания Герцена о его старшем брате (от другой матери), Егоре Ивановиче (1803—1882). В I главе мемуаров, опубликованной в «Полярной звезде» на 1856 г. (кн. II), Герцен сделал следующую сноску: «Кроме меня, у моего отца был другой сын, лет десять старше меня. Я его всегда любил, но товарищем он мне не мог быть. Лет с двенадцати и до тридцати он провел под ножом хирургов. После ряда истязаний, вынесенных с чрезвычайным мужеством, превратив целое существование в одну перемежающуюся операцию, доктора объявили его болезнь неизлечимой. Здоровье было разрушено; обстоятельства и нрав способствовали окончательно сломать его жизнь. *Страницы, в которых я говорю о его уединенном, печальном существовании, выпущены мною; я их не хочу печатать без его согласия*» (стр. 55; курсив наш.— *В. П.*).

Публикуемый ниже отрывок и является, несомненно, одной из страниц рассказа Герцена о Егоре Ивановиче, опущенных в «Полярной звезде» и никогда не воспроизводившихся в печати.

О тех тяжелых отношениях, какие сложились между И. А. Яковлевым и его старшим сыном, о том, как болезненно воспринимал Егор Иванович «замечания и капризы отца», сохранились свидетельства и других мемуаристов. Т. П. Пассек, *очевидно со слов самого Егора Ивановича*, писала, что старик Яковлев «с первого взгляда ⟨по возвращении из-за границы.— *В. П.*⟩ почувствовал к сыну нерасположение, которое

и продолжалось всю его жизнь; оно выражалось ничем не заслуженными притеснениями, доходившими до оскорблений самых глубоких» (Т. П. Пассек. Из дальних лет, изд. 2, т. I. СПб., 1905, стр. 39). По свидетельству М. К. Рейхель, «отношения между отцом и сыном были холодные, формальные», но причину этих отношений, в отличие от Герцена («Бедный страдалец воображал, что отец его терпеть не может»), Рейхель видит не в излишней мнительности Егора Ивановича, а в действительном «отсутствии привязанности со стороны отца», в «отцовском деспотизме, который выражался в крайнем стеснении сына» («Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель и письма к ней А. И. Герцена». М., 1909, стр. 18).

Упоминание Герцена о музыкальности брата также находит подтверждение в воспоминаниях современников. «Он был очень музыкален,— пишет, например, М. К. Рейхель,— и, если не ошибаюсь, брал уроки музыки у Гебеля и сам хорошо играл...» (там же, стр. 19).

‹ВСЁ НЕСЧАСТИЕ БОРЬБЫ, НА КОТОРУЮ ОН ПОТРАТИЛ ТАК МНОГО СЕБЯ...›

Всё несчастие борьбы, на которую он потратил так много себя, состояло преимущественно в том, что он слишком серьезно и добросовестно принимал замечания и капризы отца. В преследованиях его ничего не было *лютого*: tracasseries*, к которым он привык и которыми теснил нас, обращались ко всем. Бедный страдалец воображал, что отец его терпеть не может. Ненавидеть не только без причины, но и с причиной было вовсе не в нраве старика; он действительно был слишком эгоист, чтоб ненавидеть.

Принимать поверхностные шероховатости жизни за большие бедствия — страшная вещь. Без доли лёгости невозможно жить человеку; кто всё принимает к сердцу, тому нет места на земле. Он столько же вне истинной жизни, как тот, с которого всё стекает, как с гуся вода. Две-три струны играют приму — когда они обрываются, всё должно обрываться, когда они фальшат —всё фальшит; остальное — хор, аккомпанемент, вариации— они могут прибавить согласия или несогласия, но основного тона не должны менять в здоровой натуре; человек может от них освободиться, но для этого надобно иметь внутри себя — или, пожалуй, вне — другие обители.

Натура больного именно не была здоровой натурой. Единственная обитель, которая могла представить выход брату, была музыка. Но он был уж слишком замучен, чтоб сделаться истинным артистом. Воспитанье, задержанное болезнию и небрежностью, не дало ему никаких средств внутреннего освобождения. Он вовсе не был лишен способностей, но одичал в своей физической и моральной борьбе.

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 20, л. 56.

2

Купюры и пропуски в тексте которые Герцен допускал при публикации «Былого и дум», обычно отмечались им в «Полярной звезде» и в отдельных изданиях двумятремя рядами точек. Так выделил он опущенные страницы о П. П. Медведевой в «Полярной звезде» на 1857 г. (кн. III, стр. 98; ср. в отд. изд.— Лондон, 1861, т. II, стр. 45), указал читателю на пропуск в главе XXVIII («Былое и думы», 1861, Лондон, т. II, стр. 245) и т. д. Действительно, в рукописи этих глав точкам соответствовали целые страницы текста. Таким образом, пользуясь указаниями самого Герцена, мы можем с большой достоверностью судить о том, в каких именно главах «Былого и дум» остаются до сих пор не известные места и какие возможны находки. Совершенно очевидно, например, что в главе XXXII, первоначально опубликованной в «Полярной звезде» на 1858 г., кн. IV, на стр. 191 под строкою точек скрывался большой кусок текста,

* придирки (франц.).

соответствующий подзаголовкам: «Дамское общество.—Mésalliance*.—Из журнала женщины». Но рукописью этой главы мы не располагаем, и восстановить пропущенный отрывок представляется невозможным.

В той же книге «Полярной звезды» Герцен опубликовал главу XXXIX части пятой, в которой рассказал, как «тугой на уплату петербургский 1-й гильдии купец Николай Романов» уплатил, «по высочайшему повелению Ротшильда», незаконно задержанные им деньги матери Герцена «с процентами и процентами на проценты». Рассказ о встрече и беседе Герцена с Ротшильдом в «Полярной звезде» неожиданно обрывался строками точек. «Нас прервали...,— писал затем Герцен.— Шомбург ⟨служащий Ротшильда.— *В. П.*⟩ просил меня зайти через полчаса». Было ясно, что точками заменен выпущенный Герценом кусок текста. В самом деле, рукопись этого отрывка, обнаруженная в «пражской коллекции», вместо точек содержит публикуемый нами крайне любопытный диалог.

Опустив эту сцену, Герцен должен был внести исправления в последующий текст, тщательно удаляя не скрываемую в рукописи иронию по отношению к всесильному банкиру. Так, после слов Ротшильда: «Вы увидите, как они повернутся; я им покажу как со мной шутить» — Герцен печатает: «...я хотел стать на колени и принести, сверх благодарности, верноподданническую присягу, но ограничился тем, что сказал...» и т. д.— вместо гораздо более острого чернового варианта рукописи: «„Только не за полпроцента“,— подумал я,— и хотел стать...», и т. д.

⟨ОЧЕНЬ РАД... НО,—СКАЗАЛ ОН...⟩

— Очень рад... но,—сказал он, держа перо в руке и с каким-то простодушием глядя прямо мне в глаза,— но, любезный барон, неужели вы думаете, что я подпишу это письмо, которое au bout du compte** может меня поссорить с Россией,— за полпроцента комиссии?

Я молчал.

— Во-первых, — продолжал он,— у Гассера будут расходы, у вас даром ничего не делают — это, разумеется, должно пасть на ваш счет; сверх того... сколько предлагаете вы?

— Мне кажется,— сказал я,— что вам бы следовало предложить, а мне согласиться.

— Ну, пять, что ли? Это не много.

— Позвольте подумать...

Мне хотелось просто рассчитать.

— Сколько хотите... Впрочем,— прибавил он с мефистофелевской иронией в лице,— вы можете это дело обделать даром — права вашей матушки неоспоримы, она виртембергская подданная, адресуйтесь в Штутгард — министр иностранных дел обязан заступиться за нее и выхлопотать уплату. Я, по правде сказать, буду очень рад свалить с своих плеч это неприятное дело.

Нас перервали. Я вышел в бюро, пораженный всею античной простотой — его взгляда и его вопроса. Если б он спросил 10, 15 процентов, то я и тогда бы согласился. Его помощь была мне необходима, он это так хорошо знал, что даже подтрунил насчет обруселого Виртемберга. Но снова руководствуясь той отечественной политической экономией, что за какое бы пространство извозчик ни спросил двугривенный — всё же попробовать предложить ему пятиалтынный, я, без всякого достаточного основания, сказал Шомбургу, что полагаю, что один процент можно сбавить. Ш⟨омбург⟩ обещал сказать и просил зайти через полчаса.

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 20, лл. 47 об.—48.

---

* Неравный брак (франц.).

** в конечном счете (франц.).

НАБРОСОК ОТВЕТА НА СТАТЬЮ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Публикация В. Путинцева

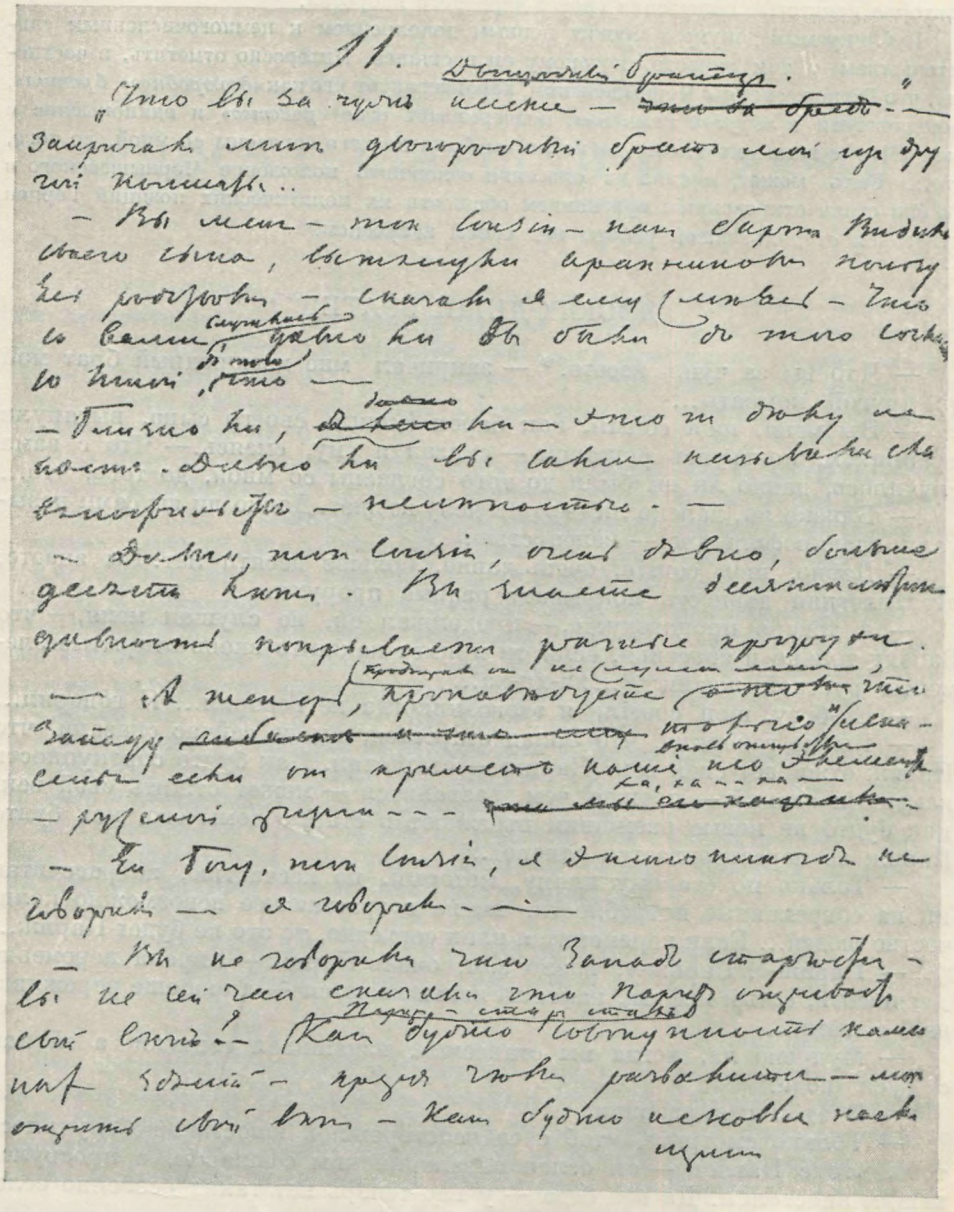
Содержание публикуемого наброска непосредственно связано с известной полемикой между Герценом и Чернышевским в 1861 г. Подвергая в статье «О причинах падения Рима» («Современник», 1861, № 5) резкой критике пессимизм Герцена в отношении исторического развития народов Западной Европы, Чернышевский, обращаясь к Герцену, но не называя его имени, писал: «Рано, слишком рано заговорили вы о дряхлости западных народов: они еще только начинают жить» (Н. Г. Чернышевский. Полное собр. соч., М.—Л., 1950, т. VII, стр. 666). Чернышевский упрекал Герцена в недооценке исторической активности народных масс; вместе с тем он предупреждал Герцена относительно иллюзорности представлений о социалистической природе, свойственной якобы русскому общинному крестьянству.

Публикуемый отрывок, на наш взгляд, был черновым наброском *ответа Герцена Чернышевскому*, первым приступом к той большой статье, которую Герцен собирался напечатать в «Полярной звезде» в связи с выступлением «Современника». В самом деле, диалог автора и *«двоюродного братца»* воспроизводит, в основных чертах, идейное содержание полемики. Кроме того, само сравнение Чернышевского с бароном Видиль, обвинявшимся в намерении убить своего сына ударом рукоятки арапника во время загородной прогулки (дело слушалось в лондонском суде в июле 1861 г.), тогда же встречается в переписке Герцена. Так, в приписке к письму Огарева, адресованному Н. Н. Обручеву и датируемому Лемке 15—20 августа 1861 г., Герцен, имея в виду статью «О причинах падения Рима», писал: «...Чернышевский à la baron Vidil, ехавши дружески возле, вытянул меня арапником» (XI, 212).

Герцен отозвался на выступление Чернышевского заметкой «Repetitio est mater studiorum»* («Колокол», л. 107, от 15 сентября 1861 г.; во вступлении, датированном 30 августа 1861 г., Герцен указывал, что заметка извлечена «из статьи, назначенной в „Полярную звезду“» — XI, 227). Близость этой заметки к наброску «Двоюродный братец» несомненна. Собеседник автора в публикуемом тексте обвиняет его в том, что он утверждает, будто «Западу только и спасенье, если он примет какие-то вновь открытые элементы русской жизни», на что Герцен отвечает: «Ей-богу, mon cousin, я этого никогда не говорил». В заметке «Repetitio est mater studiorum» Герцен тоже предполагает возможное возражение: «Ну, где же тут новый элемент, который она вносит в жизнь устарелого Запада, долженствующий пересоздать его?», и разъясняет: «На это пусть отвечают те, которые это говорят. Я этого никогда не говорил» (XI, 232). В письме к Огареву от 30 августа 1861 г. Герцен спрашивал: «...можно ли статью назвать „Зады“ вместо „Repetitio est mater...“?» (XI, 220; см. также письмо к Огареву от 1 сентября 1861 г.— XI, 226). Заключительная фраза публикуемого наброска: «Пришлось больше помянуть задов, чем хотелось...» — явным образом перекликается с предлагаемым заголовком статьи. Наконец, замечания воображаемого оппонента своим стилем напоминают реплики «двоюродного брата» (например: «Дошли-таки, наконец, до вашего больного места, ха! ха! ха!..» — XI, 231).

---

* «Повторение — мать учения» (лат.).



«ДВОЮРОДНЫЙ БРАТЕЦ»

Набросок ответа Герцена на статью Чернышевского. Автограф, 1861 г.

Лист 1

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

По всей вероятности, набросок «Двоюродный братец» был создан незадолго до заметки в «Колоколе»; вновь обратившись к работе над ответом «Современнику», Герцен повторил некоторые положения своего чернового наброска.

Публикуемый документ служит ценным дополнением к немногочисленным свидетельствам о том эпизоде, которому он посвящен. Интересно отметить, в частности, что Герцен, споря с Чернышевским, характеризует его как *«двоюродного братца»*, находящегося в *«другой комнате»*, подчеркивает свое *«родство»* и единомыслие с ним: «Что с вами случилось, давно ли вы были до того согласны со мной, до того, что...» Быть может, именно из опасения осложнить положение Чернышевского в России столь откровенным признанием общности их политических позиций Герцен отказался от дальнейшей работы над своим наброском.

ДВОЮРОДНЫЙ БРАТЕЦ

— Что вы за чушь несете?* — закричал мне двоюродный брат мой из другой комнаты...

— Вы меня, mon cousin, как барон Видиль своего сына, вытянули арапником, пользуясь родством,— сказал я ему, смеясь.— Что с вами случилось, давно ли вы были до того согласны со мной, до того, что...

— Близко ли, далеко ли — это к делу не идет. Давно ли вы сами называли славянофильство — нелепостью?

— Давно, mon cousin, очень давно, больше десяти лет. Вы знаете, десятилетняя давность покрывает разные прорухи.

— А теперь проповедуете,— продолжал он, не слушая меня,— что Западу только и спасенья, если он примет какие-то вновь открытые элементы русской жизни **... ха-ха-ха...

— Ей-богу, mon cousin, я этого никогда не говорил... Я говорил...

— Вы не говорили, что Запад стареется, вы не сейчас сказали, что Париж отживает свой век? Париж — стар стал. Как будто совокупность каменных зданий — прежде чем развалится — может отжить свой век, как будто не новые наемщики въезжают в старые домы его, как будто Париж не перестроивается заново?..

— Только по старому плану, который, по несчастию, не рассчитан ни на современные потребности, ни на возрастающее невозможно количество людей... Если переменится план серьезно, то это не будет Париж...

— Париж-с, Париж-с, назло вам, очень Париж — Европа переменит двадцатый, сотый кафтан, кафтаны изнашиваются — а она еще переживет нас с вами...

— Мудрено ли, когда мы стареемся, изнашивая сертуки а ей как с гуся вода.

— В этом вся разница.

— Только смотрите, чтоб с ее неосторожной юностью не случилось того, что с Павлом — он ослеп кавалерийским офицером, а проснулся пешим апостолом. Да вот беда — у нас теперь нет таких особенно ослепительных доказательств...

— Не выдумаете ли вы их — или Аксаков с комп⟨анией⟩, то бишь с молодцами?..

Это неожиданное вмешательство *вооруженным* языком изменило экономию моего рассуждения и брюзжания. Пришлось больше помянуть задов, чем хотелось.

Автограф (черновой). — ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 20, л. 5 — 5 об. — Перед заглавием — рукой Герцена цифра «11».

* *Далее зачеркнуто:* что за бред?..

** *Далее зачеркнуто:* что мы его научим

ЗАПИСЬ О СТАРОСТИ И СМЕРТИ

Публикация Х. Коштояица

Публикуемая автографическая запись Герцена о старости и смерти, несмотря на свою краткость, представляет большой научный интерес. Она раскрывает новые стороны глубоких теоретических обобщений, сделанных в области естествознания автором «Писем об изучении природы». Отдельный листок, на котором записаны мысли о старости и смерти, сохранился в «пражской коллекции»; относится запись, повидимому, к началу шестидесятых годов.

В то время на старость и смерть принято было смотреть как на внутреннюю закономерность и необходимость. Герцен же, в отличие от этого широко распространенного взгляда, отчетливо подчеркнул значение условий внешней среды и взаимоотношений организма с этими условиями для определения жизни, старости и смерти. Эти идеи Герцена находились в полном соответствии с важнейшим обобщением, сделанным в тот же период И. М. Сеченовым: «Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен, поэтому в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него» (И. М. Сеченов. Две заключительных лекции о значении так называемых растительных актов в животной жизни.—Избранные труды. Серия «Классики науки», М., 1952, стр. 353). Положение, выдвинутое И. М. Сеченовым, получило исключительное значение на новой основе в современной мичуринско-павловской биологии. Очень интересна следующая мысль Герцена: «Насколько среда может быть увлечена организмом (пожалуй, съедена им) — настолько он усваивает ее и сам прилаживается к ней (делает ее съестной, а себя [пищеварением) и развивается». Нарушение этих взаимоотношений между живым и внешними условиями и приводит, как полагает Герцен, к старости и смерти.

‹ЧТО, В САМОМ ДЕЛЕ, ПРОЩЕ И ДОСТУПНЕЕ, КАК ПОНЯТИЕ СТАРОСТИ И СМЕРТИ...›

‹Начало 1860-х годов›[1]

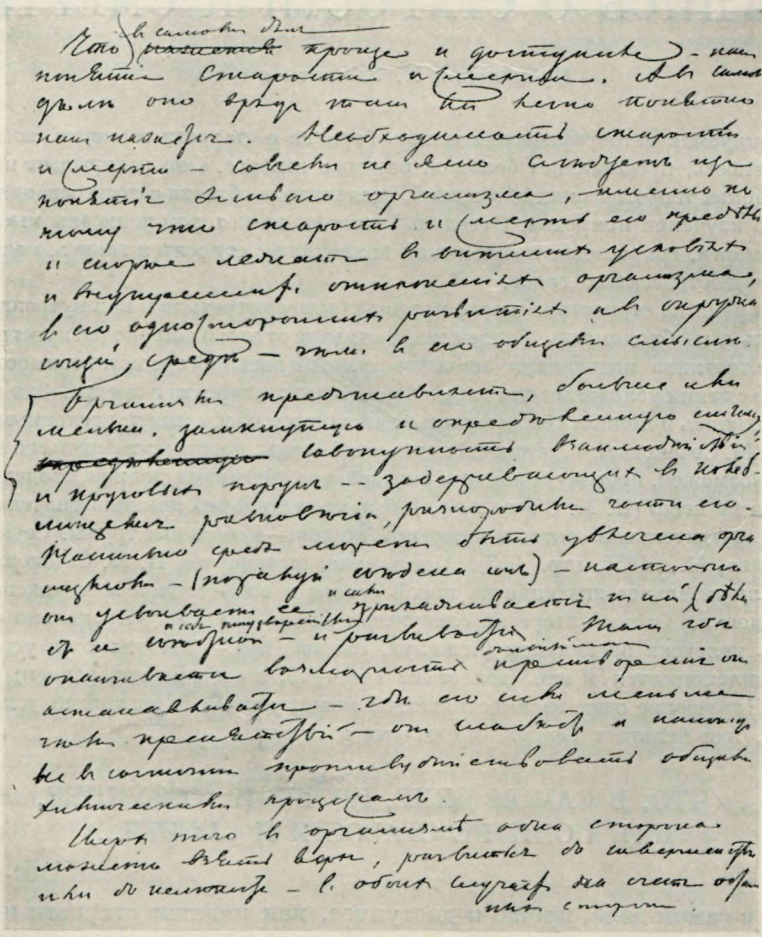
Что, в самом деле, проще и доступнее, как понятие старости и смерти. А в самом деле оно вряд так ли легко понятно, как кажется. Необходимость старости и смерти — совсем не ясно следует из понятия живого организма, именно потому, что старость и смерть его пределы и скорее лежат в внешних условиях и внутренних отклонениях организма, в его односторонних развитиях и в окружающей среде—чем в его общем смысле.

Организм представляет, больше или меньше, замкнутую в определенную систему совокупность взаимодействий и круговых порук, задерживающих в колеблющемся равновесии разнородные части его. Насколько среда может быть увлечена организмом (пожалуй, съедена им) — настолько он усваивает ее и сам прилаживается к ней (делает ее съестной, а себя пищеварением) и развивается. Там, где оканчивается возможность дальнейшего претворения, он останавливается; где его сил меньше, чем препятствий, он слабеет и, наконец, не в состоянии противудействовать общим химическим процессам.

Сверх того, в организме одна сторона может взять верх, развиться до совершенства или до нелепости — в обоих случаях на счет остальных сторон.

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 20, л. 6.

[1] Предлагаемая условная датировка основана на следующем наблюдении: в статьях «Концы и начала», в «письме шестом» содержатся такие строки: «Те,



«ЧТО, В САМОМ ДЕЛЕ, ПРОЩЕ И ДОСТУПНЕЕ, КАК ПОНЯТИЕ СТАРОСТИ И СМЕРТИ...»

Запись Герцена начала 1860-х гг.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

которые отрицают внутреннюю необходимость смерти древнего Рима и находят, что он убит насильственно, забывают одно: что всякая смерть насильственна. Смерть вовсе не лежит в понятии живого организма, она вне его, за его пределом. Старчество и болезнь протестуют своими страданиями против смерти, а не зовут ее и, найди они *в себе силы* или *вне себя* средства, они победили бы смерть» (XV, 283).

Строки эти, датированные Герценом 20 октября 1862 г., явно перекликаются с публикуемым текстом, хотя формулировка понятия смерти, лежащей за пределами понятия живого организма, дана здесь по аналогии, в связи с *процессами историческими*.— *Ред.*

НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ГЛАВА ИЗ «CAMICIA ROSSA»

Публикация В. Путинцева

Приезд Гарибальди в Англию в апреле 1864 г. явился событием большого общественного значения. Английский народ торжественно встретил крупнейшего деятеля итальянского национального освободительного движения. Рабочие создали особый комитет, чтобы организовать демонстрацию в честь Гарибальди. По всей Англии — в Лондоне, Манчестере, Бирмингаме, Глазго, Ливерпуле, Эдинбурге — состоялись народные манифестации. Многие города страны приглашали Гарибальди к себе. «...Его встречают с пушечной пальбой и колокольным звоном...», — писал Герцен сыну 6 апреля 1864 г. (XVII, 146).

Гарибальди прибыл в Лондон 10 апреля. В письме к сыну от 15 апреля Герцен рассказывал: «Прием Гарибальди превзошел всё, что можно было ожидать. От Seven elm Station до Вестминстерского моста и оттуда до St. James'a была одна сплошная масса. Народ лез на колеса, жал руки, шумел; его проезд продолжался от $2^1/_2$ до 8 часов; дома были покрыты коврами, знаменами и пр.» (XVII, 151). О приезде Гарибальди в Лондон рассказывает, со слов Огарева, Т. П. Пассек: «Все, кто желал его приезда, знали, что Гарибальди будут овации, но того характера оваций, какой принял его приезд в народе, никто не ожидал» («Из дальних лет», изд. 2, т. III. СПб., 1906, стр. 33).

В опубликованной тогда же в «Колоколе» заметке «Uncrowned King» Герцен с большой проницательностью писал, что «от этой встречи „некоронованного царя", вероятно, покачнулась не одна корона» (XVII, 150).

Английские власти, вначале весьма равнодушно относившиеся к приезду Гарибальди, встревожились. Стремясь изолировать «некоронованного царя» от народа, английские правящие круги решили «чествовать» его сами. Гарибальди посетили премьер-министр Пальмерстон, Гладстон, герцог Соммерсетский; в честь гостя был устроен прием в вилле герцога Девонширского и т. д. «Аристократия думает, — писал Герцен, — что, схвативши его коня под уздцы, она его поведет, куда хочет, и, главное, отведет от народа; но народ смотрит на *красную рубашку* и рад, что дюки, маркизы и лорды пошли в конюха и официанты к революционному вождю, взяли на себя должности мажордомов, пажей и скороходов при великом плебее в плебейском платье» (XIV, 518).

Овации Гарибальди в Англии начали раздражать Наполеона III, и он решительно потребовал, чтобы правительство Пальмерстона выслало гостя за пределы страны. К Гарибальди отправился Гладстон, единственный член кабинета, говоривший по-итальянски, и стал убеждать его покинуть Англию — под тем предлогом, что... сырой климат британских островов может болезненно сказаться на его здоровье. Гарибальди были совершенно ясны подлинные причины «заботы» о нем Гладстона и Пальмерстона, и он немедленно покинул Англию.

Правительство Пальмерстона рассчитывало, что отъезд Гарибальди разрядит атмосферу. Но оно глубоко ошиблось. Английский народ с возмущением узнал о вынужденном отъезде прославленного гостя. Официальной версии о его «болезни», разумеется, никто не поверил. Правительству пришлось специально отвечать на запрос в палате общин по поводу отъезда Гарибальди.

На 23 апреля был назначен митинг в Примроз-Гилле по случаю шекспировских празднеств (в связи с 300-летием со дня рождения великого драматурга). Стало очевидным, что митинг неминуемо превратится в мощную демонстрацию протеста против позорных распоряжений Пальмерстона и Гладстона. Тогда правительство запретило митинг.

Герцен был глубоко возмущен. Вынужденный отъезд «великого плебея» из Англии он назвал «безобразной интригой» (XVII, 158). 20 апреля он писал дочери: «Гарибальди, совершенно здоровый, был объявлен больным; его триумфальная поездка была приостановлена; его попросили, как об услуге, как об акте признательности в отношении Англии, чтобы он убрался во-свояси, его умоляли...» (XVII, 157). На страницах «Колокола», в статье «Camicia rossa», вскоре вышедшей отдельной брошюрой, Герцен заявил, что «народ английский одурачен» (XIV, 512), и гневно заклеймил трусливую, двуличную политику английского правительства.

Статья «Camicia rossa» писалась в апреле—мае 1864 г. под свежим впечатлением от событий. «Я написал целую брошюрку под заглавием „Камичиа росса — Сон в весеннюю ночь“»,— сообщал Герцен дочерям 18 мая 1864 г. (XVII, 169). Статья предназначалась для очередного выпуска «Полярной звезды»; когда же выяснилось, что «Полярная звезда» выйти не сможет, Герцен напечатал ее в «Колоколе» (л. 188, 15 августа; л. 189, 15 сентября; л. 191, 15 ноября 1864 г.), а затем выпустил отдельной брошюрой.

Публикуемый отрывок представляет собою черновую редакцию одной из глав статьи. Глава эта при публикации «Camicia rossa» была Герценом опущена и в «Колоколе» и в отдельном издании. Отрывок ярко и сильно обличает пресловутый английский парламентаризм, призрачные демократические свободы в условиях буржуазного строя. В эпизоде с Гарибальди отразилось лицемерие буржуазного демократизма, разоблачившего свою истинную сущность перед лицом всего мира.

⟨ЗАПРЕЩЕНИЕ МИТИНГА НА ПРИМРОЗ-ГИЛЛЕ...⟩

Запрещение митинга на Примроз-Гилле — один из самых нелепых фактов, принадлежащих к ряду невероятных промахов, ошибок, неловкостей, niaiseries * знаменитого Россель-Пальмерстоновского управления **. Вся их политика экспедиентов, выжиданий — когда надобно действовать, вмешательств — когда надобно выжидать, консерватизма в либеральной одежде, картонных тигров и леопардов, громких нот и тихих дел давно оказалась совершенно негодной. Без поддержки Дерби, Дизраэли и их приятелей такое управление не продержалось бы дня. Ужас попасть в беззубый торизм — хранит поддельные зубы седого вигизма. От Крымской войны, которая принесла пользу одной России, до вреда Польше и Дании, которым хотели помочь, от conspiracy bill *** до соединения обеих враждующих Америк в одном чувстве — ненависти к Англии — мало было ошибок наивнее запрещения митинга на Примроз-Гилле ****. Неспокойная совесть правительства сказалась в излишнем усердии полиции. Если б нужно было искать доказательств министерского участия в отъезде Гарибальди, то один этот факт был бы достаточен за глаза. Ловко вывернулись государственные люди — нечего сказать.

Неполнота конституционного самоуправления нигде не является ***** так оскорбительно, как в министерских ответах на вопросы, на которые

---

* глупостей (франц.).

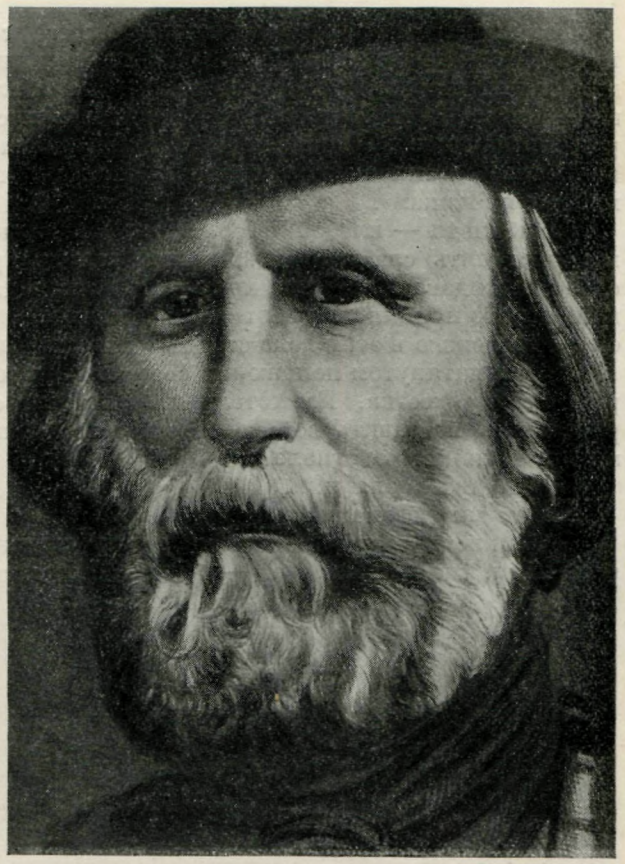
** *Далее зачеркнуто:* несмотря на то, что отличиться тим в этом роде нелегко.

*** закон о заговорщиках (англ.).

**** «Моск⟨овские⟩ вед⟨омости⟩» воображают, что Примроз-Гилль в Гайд-Парке. Он верст пять от него. Это ⟨бо⟩льшой холм на огромном пустыре за зоологическим садом.— *Примеч. Герцена.*

***** *Далее зачеркнуто: а.* без всяких румян *б.* с такой милой наглостью

ДЖУЗЕППЕ ГАРИБАЛЬДИ
Раскрашенная литография
Музей изобразительных искусств им. А. С Пушкина, Москва



министры не хотят отвечать — и не могут молчать. Они говорят вздор; все знают, что это вздор; большинство соглашается с министрами играть на фальшивые деньги, а меньшинство не имеет права требовать пробы *.

Для лордов, для десятифунтовиков дело об отъезде Гарибальди было кончено. Кларендон и Пальмерстон им объявили, что правительство в отъезде Гарибальди не участвовало. L'honneur était sauf ** — чего же больше? Даже газеты, за исключением чисто демократических — вроде «Reynolds Newspaper» или чисто реакционных, как «Standard», точно так же порешили дело, как палаты. Но свежему народному чувству не хотелось удовлетвориться призраком — ему хотелось знать правду.

---

* *Далее зачеркнуто:* Добраться немудрено, в каких случаях большинство будет доходить до истины и в каких нет,— ключ на это в сословных интересах представляемого слоя. Английское представительство дальше мелкой буржуазии, платящей, по крайней мере, 10 фун⟨тов⟩, не идет. В английском народе есть несчастный, раздавленный слой, который вовсе никакого мнения не имеет и отдал бы охотно конституцию — за самую плохую похлебку из чечевицы и тюфяк в грязном углу. Но в нем есть огромный слой работников, идущих вперед, если не быстро, то твердо,— и наверное быстрее буржуазии, которая скорее видоизменяется, чем прогрессирует. С этим легально безгласным классом Англия начинает считаться, и хитрый Гладстон [это подметил очень хорошо и тотчас сделался работничьим] недаром стал его куртизаном. Этот класс, вовсе не представленный в парламенте, живее прочих почувствовал всё обидное и всё нелепое высылки Гарибальди. Он был унижен и оскорблен тем, что аристократия его оттерла от народа, и в то же время чувствовал себя силой, которую боятся. Надобно ему было доказать, что он силы не имеет,— но это всего больше в интересах буржуазии.

** Честь не была затронута (франц.).

Два слова от Гарибальди сняли бы все сомнения. Их ждали все, но они не являлись. Шефтсбюри просил их, говоря, что весь город думает, что он едет не по своей воле,— Гарибальди отказался. Еще больше — когда Чамберт принес ему подписать письмо, которым он благодарил шотландцев за приглашение и извинялся расстройством здоровья, Гарибальди вымарал эту строку и написал, что оставляет Англию «по многим причинам».

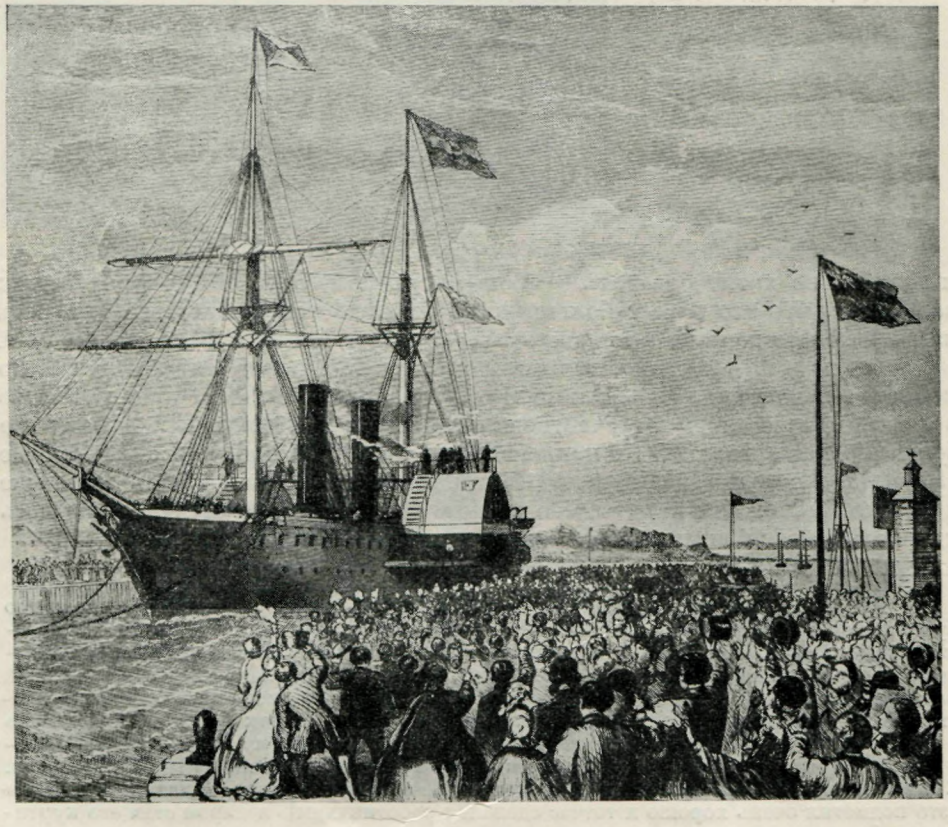
Гарибальди — плебей и со всеми плебейскими предрассудками. Он мог поступить слабо, под влиянием минуты раздражения, мог, давши слово, не выдавать интриги, но солгать всенародно, солгать перед людьми, которые его приняли с любовью и восторгом,— он не мог. Действительно, он одной ложью в этом деле страшно потерял бы у народа.

В этом натянутом положении собирался огромный митинг для шекспировского торжества. Им хотели воспользоваться, чтоб поговорить о Гарибальди и поставить вопрос об его отъезде перед народом. И этот-то митинг полиция разогнала.

Новая интерпелляция.

Новая мистификация.

— Министр внутренних дел ничего не знал — кто разогнал? кого разогнали? где был митинг? — и будто был митинг? были какие-то слухи,



ПРИБЫТИЕ ГАРИБАЛЬДИ В АНГЛИЮ

«The Illustrated London News» от 16 апреля 1864 г.

«Соутгамптон был весь во флагах; народ теснится, кричит, и он в красной рубашке... принимает просто, но и с полным сознанием, что это натурально, что это заслуживает его дело» (из письма Герцена к сыну от 6 апреля 1864 г.)

«ЧЕСТВОВАНИЕ» ГАРИБАЛЬДИ «ДЮКАМИ И ЛОРДАМИ»

«The Illustrated London News» от 23 апреля 1864 г.

«... интрига, затеянная *до въезда* его в Лондон, расцвела удобно на дворцовом грунте. Цель ее состояла в том, чтоб удалить Гарибальди от народа, т. е. от работников» («Camicia rossa»)

но Грей ничего не знал, ничего не приказывал, и Р. Ме⟨й⟩н ничего не приказывал — это случилось само собой, — как грибы растут.

— Во-вторых, если Примроз-Гилль и не парк, то он мог бы быть парком, у него есть кругом решетка, и он находится под заведыванием того же господина, который заведывает парками. Конечно, Primrose-Hill от них отличается тем, что на нем нет ни одного дерева, кроме посаженного в честь Шекспира, но отчего же не быть плешивому парку — есть же плешивые люди...

В этом роде дурачился мин⟨истр⟩ внут⟨ренних⟩ дел и два-три депутата. Когда же, наконец, догадались его спросить: «По какому праву вообще полиция запрещает митинги в парке или где-нибудь под открытым небом?» — «По какому праву? — отвечал министр, — так вы хотите знать... и знать от меня... Это уж атанде — много будете знать — скоро состаритесь».

Депутация является к министру и объявляет, что в будущую субботу созван другой митинг — и решено в случае полицейского вмешательства отражать силу силой. А потому депутаты спрашивают, имеет ли он законные основания противодействовать. Министр молчит об этом, как рыба.

Митинг собрался — я был на нем. Полиции не было. Один молодой полицейский под горой гуторил с ирландкой, продававшей апельсины, и даже ел один из них, показывая, что он митинга не видит и не занимается им.

Итак, право митинга подтверждено? — нисколько. Вопрос остался в том же положении, т. е. что правительство может позволять и не позволять митинги под открытым небом.

Отнять право у жителей Лондона собираться на таких пустырях, как Primrose-Hill, и даже в парках — одно из самых преступных поползновений против народных сходов вообще. Площади и парки — народные залы. Где же народу собираться — и притом в числе 20, 30 000 человек — в Exeter Hall или в зале какого-нибудь театра?.. Но их даром не отдают, а, напротив, берут очень дорого. И что за резон — неудобство гуляющих — пусть они гуляют в другой аллее или совсем не гуляют.

Гулять можно всякий день, а народ слишком занят, чтоб собирать серьезные митинги больше чем два, три раза в год. Десятифунтовики видели очень хорошо опасность и какую французскую ногу подставляет полиция одному из краеугольных основ английской свободы,— однакож *они удовольствовались*. В сущности, если б им занадобилось сделать сходку — они найдут место, ну, а работникам немного затруднить право собираться — может, недурно... и пивное богослужение по воскресеньям долею так строго соблюдается для того, чтоб работники без нужды не часто сходились — о чем им толковать, работать надобно... Благо, министры отыгрались, чего же лучше?.. *

Но если старая, рутинная Англия явилась во всем характере своем крючкотворчества в деле митинга, то и *новейшая* Англия отличилась.

Вопрос об отъезде Гарибальди был поставлен Шеном ясно, просто и без всяких преувеличений. Он наглазно раскрыл интригу и рассказал, не щадя собственных имен, как было дело, что он слышал от Иосифа Коцена, от друзей Гарибальди.

Перчатка была брошена.

Ее поднял Гладстон.

Гладстон — одно из самых интересных лиц современной Англии и английского правительства. Если течение Англии не изменится, об ней можно сказать, что она впадает в Гладстона. Финансист, эллинист, пиэтист — один из тех работников, о которых в России понятия не имеют, свободный от старых предрассудков правительств, он тем легче может их поддержать, если нужно. Дающий министерству одну руку, он дает один палец социальным идеям и, главное, — работникам. Столп церкви, канцлер университета, комментатор «Одиссеи», гениальный министр финансов, он подымается, и это его единая цель. С Гомером подмышкой, как Нерон, chief of the Exequies ** скоро обойдет двух кроме сего спаянных *** врагов, стоящих во главе английского управления.

Россель и Пальмерстон мне представляются в одном лице какой-то двуглавой Агриппины. И я приветствую в Гладстоне — сына, идущего воздать по заслугам родительнице своей и потом воспеть ее добродетели, явный результат англиканского религиозного воспитания. Что он умнее Росселя и дельнее Пальмерстона — об этом нельзя сомневаться, прочитавши любую его речь о бюджете.

Гладстон сам пригласил депутацию от митинга, но в объяснении не был счастлив. Он действительно ездил к Гарибальди, но больше интересуясь его болезнью, он уговаривал его, но как частное лицо и хороший знакомый. Он не скрыл от него, что его присутствие несколько мешает,

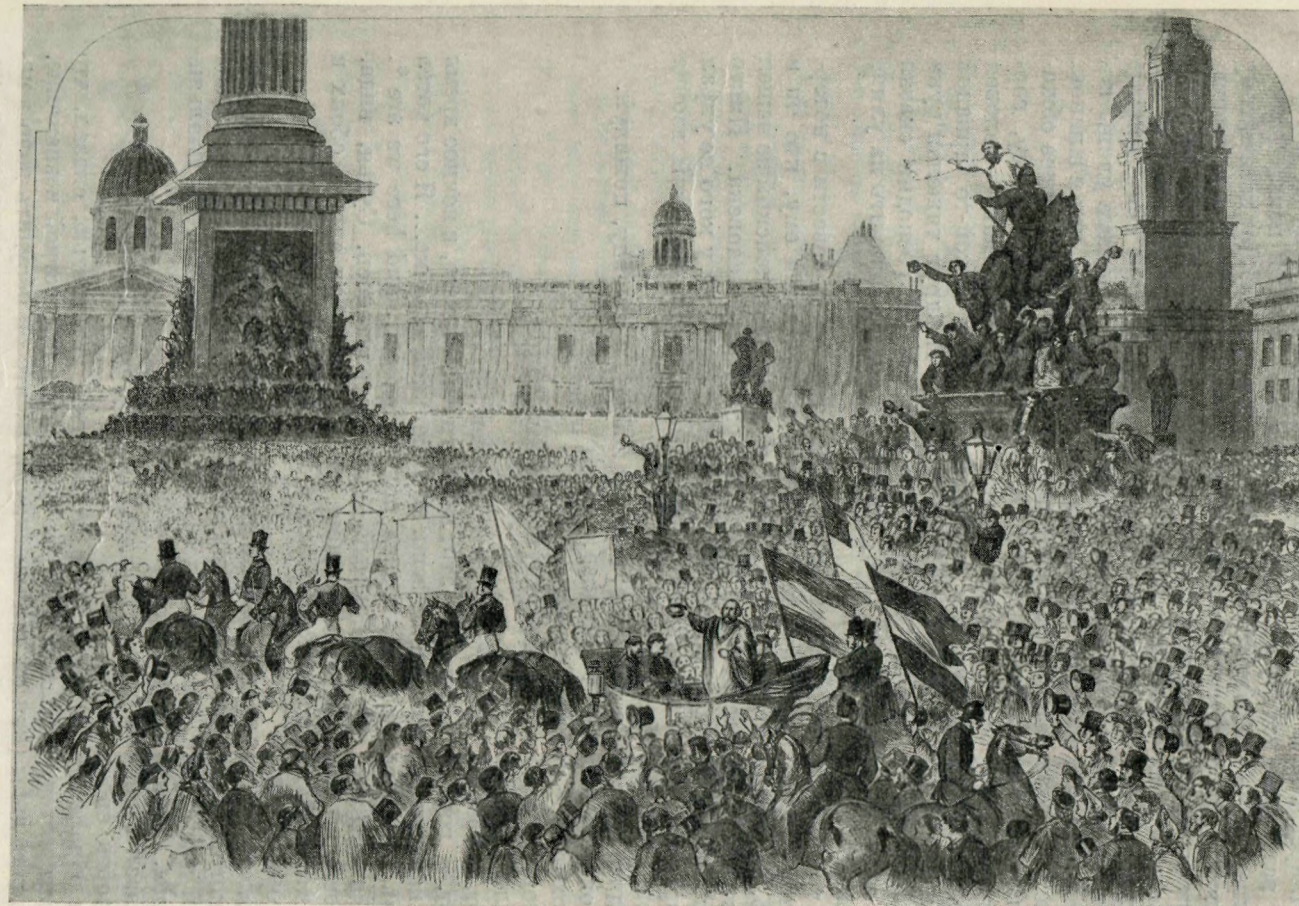
---

* *Пропуск в рукописи. Вероятно, сюда должна быть отнесена запись Герцена на обороте л. 60:*

Готовятся еще интерпелляции — готовятся, вероятно, и ответы. Но все интерпелляции будут бесполезны — пока [парламент не возьмется серьезно] десятифунтовикам не будет полезно взяться за дело митингов [или пока не выйдет судебного дела]. А до тех пор одно из величайших прав свободного английского народа убито палкой констебля, выкрадено полицейской уловкой.

** начальник похорон (англ.).

*** *Далее зачеркнуто:* ученой дружбой



ГАРИБАЛЬДИ В ЛОНДОНЕ

«The Illustrated London News» от 23 апреля 1864 г.

«В день приезда Гарибальди в Лондон я его не видел, а видел море народа, реки народа, запруженные им улицы в несколько верст, наводненные площади; везде, где был карниз, балкон, окно, выступали люди... народ понял, что это *его* праздник»
(«Camicia rossa»)

но это было его мнение. Наконец, он очень жалел, что Гарибальди сам так же думал, как митинг, и уехал в таком глубоком заблуждении.

Вслед за тем с необычайным à propos, которое всегда сопровождает восходящие силы, а иногда и нисходящие министерства — как напр⟨имер⟩ поездка Кларендона,— он произнес свою знаменитую речь, в которой защищал всеобщую подачу голосов и нападал на всякий ценз.

Как ответчик — Гладстон несчастлив. Не тут его сила. Лет десять тому назад было в Лондоне происшествие, много смешившее меня. По окончании оперы в Ковен-Гардене один меломан отправился домой пешком. Конец оперы и театров, конец Аргайльрум и казино — блестящая минута лондонской уличной жизни. Работники спят, мещане спят, мирные люди спят, семейные люди бранятся перед сном, а освещенные улицы покрыты мотыльками и ночными бабочками всех сортов, волос, цен и шляпок. Они летают из стороны в сторону, никогда не обжигаются, а скорее обжигают других, заговаривают с прохожими, скромные просят хересу, гордые — ничего не просят и сами дают улыбку. Меломан — человек чувствительный, как мы увидим впоследствии — под какой-то аркадой наткнулся на мотылька и завел с ним разговор. И вдруг тяжелая рука командора опустилась на его плечо, и плохо одетый господин сказал ему: «Не годится... Нехорошо члену совета Королевы говорить на улице с мотыльками».

Видя, что он не может отделаться от этого угрызения совести в потертом пальто, Гладстон позвал полицейского и, сказавши ему, кто он и в чем дело, поручил свести моралиста в полицию. Но полицейский не нашел в рассказе министра достаточной причины арестовать человека. Никто никому не обломил ребр, не разбил челюсти и никто ни у кого не украл часов. Моралист не шел и продолжал читать морали. Полицейский, взойдя в положение министра, заметил ему:

— Ведите его сами в полицию; если он пойдет, и я пойду, пожалуй.

— С охотой,— говорит министр.

— С охотой,— говорит совесть.

Они пошли, а мотылек вспорхнул да и был таков.

Пришли в полицию.

— Вот,— говорит министр,— этот человек...

— Вот,— говорит человек,— этот министр так и так-то, в ночное время в уголку нашептывал нехорошие вещи хорошенькой девочке... Я его хотел усовестить — он рассердился, позвал полицейского... and here we are *.

Кто обвинитель, кто обвиняемый — всё перепуталось. Судья, видя, что уголовщины никакой нет, а время позднее, записал адреса обоих и велел явиться завтра в 11 часов обоим в суд. А потом лег спать.

В 11 они явились.

...Представьте себе у нас — не настоящего министра или Адлерберга, а так, какого-нибудь Вронченку тогда или Буткова теперь, и его бы позвали в частный дом за какой-нибудь tête-à-tête на углу Невского и Итальянской улицы... Святых пришлось бы вон нести.

Рассказал Гладстон свое...

И человек свое...

Судья обратился к министру с величайшей учтивостью, сказал, что он не сомневается, что вещи, которые он говорил прелестной незнакомке, были назидательны (как он сам намекнул), но что он обсудить дело в порядке не может — по той простой причине, что единственная особа, которая может решить противуречья из показания,— это сама незнакомка. Что если министр может ее представить, то все пойдет как по маслу...

Автограф (черновой). ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 20, лл. 50—55, 57—60. Из зачеркнутых вариантов текста приведены лишь наиболее существенные.

* и вот что получилось (англ.).

ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛЬСКИМ ДЕМОКРАТАМ

Публикация Як. Черняка

Ниже воспроизводится текст листовки «Нашим польским братьям», написанной в 1866 г. и набранной в женевской типографии. Текст публикуется по сохранившемуся в «пражской коллекции» корректурному оттиску, не имеющему ни исправлений, ни пометок. Оттиск сделан на отдельной полоске, размером 14,5×25 см. В тексте имеется типографская ошибка: вместо 7 ноября 1866 г. набрано 7 октября. Шрифт и ширина набора (8,5 см) позволяют предположить, что текст этот мог быть предназначен также для помещения в «Колоколе».

Автором листовки является Герцен, хотя она и подписана именами обоих редакторов «Колокола». Авторство Герцена устанавливается содержанием листовки. Так, характеризуя деятельность свою и Огарева с 1853 г., Герцен мог назвать ее «нашею», за себя и Огарева,— «наша деятельность», «с первых статей нашей русской пропаганды»; Огарев же подобной фразы написать не мог: он начал участвовать в лондонской пропаганде только три года спустя, с 1856 г. Кроме того, в предпоследнем абзаце листовки Герцен говорит прямо: «Три года тому назад я писал к Гарибальди...», приводя далее выдержку из своего письма от 21 ноября 1863 г., опубликованного в «Колоколе» (л. 177, от 15 января 1864 г.; ср. XVI, 533—534).

Содержание листовки было ранее известно только из *французского перевода* — «A nos frères polonais» («Нашим польским братьям») — включенного Лемке в собрание сочинений Герцена (XIX, 94—95). Публикуя текст «A nos frères polonais», Лемке сообщил в библиографическом комментарии: «Напечатано нигде не было, сверено с копией, хранящейся в Музее революции (Петроград) и заверенной Герценом, подписавшим ее: 7 Nov. 1866; копия Румянцевского музея неисправна и Герценом не скреплена» (XIX, 450).

Приведенная справка заключает в себе столь серьезную ошибку Лемке, что заставляет взять под сомнение и все остальное, сообщенное им по поводу данного текста. «Копия Румянцевского музея», о которой говорит Лемке, оказалась в действительности *подлинником — автографом* Герцена на французском языке: он хранится в Отделе рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина; на автографе тоже есть дата «7 Nov. 1866» и пометка, сделанная вверху листа рукой Герцена: «В. В.» (расшифровать эти инициалы нам не удалось). Помимо автографа в том же собрании хранится список, сделанный Н. А. Тучковой-Огаревой с *исправлениями* и с тою же пометкою «В. В.». Если предположить, что Лемке, по каким-то причинам не заметивший автографа Герцена, имел в виду только копию Тучковой-Огаревой, то и в этом случае его утверждение вряд ли соответствует действительности: копия *исправлена*, вероятно, *самим Герценом* (ср. «Описание рукописей А. И. Герцена», изд. 2. М., 1950, стр. 19, №№ 58 и 59).

Дата «7 Nov. 1866», проставленная и на автографе и на обеих копиях, не только обнаруживает опечатку в публикуемом нами тексте (7 октября), но и позволяет уточнить хронологию всех событий, относящихся к данному эпизоду (подробнее о нем см. ниже в настоящем томе). Статья Огарева «Продажа имений в Западном крае», вызвавшая конфликт редакции «Колокола» с польскими и русскими демократическими

деятелями, появилась в «Колоколе» 1 ноября 1866 г. (л. 224). Через неделю оказалось необходимым подготовить на русском и французском языках проект текста листовки, объясняющей «недоразумение»; конфликт к этому времени, следовательно, был уже в разгаре. Быстрота, с какой он развивался, была вызвана прежде всего накаленностью атмосферы, подогретой выступлениями реакционной националистической печати в России, которая требовала руссификации Западного края. Но была и другая причина быстрого развития и расширения конфликта, втянувшего в свою орбиту многих лиц. Редакция «Колокола» еще до обнародования статьи Огарева, познакомила с ее текстом нескольких деятелей, в частности А. А. Серно-Соловьевича. Повидимому, Серно-Соловьевич прочитал статью Огарева почти одновременно с Герценом (в корректуре, как он сам сообщает в своей листовке «Польский вопрос. Протест русского против „Колокола"»); Герцен же правил корректуру статьи Огарева 19—20 октября 1866 г. (XIX, 74—75). Отсюда можно заключить, что уже в двадцатых числах октября по корректуре статьи Огарева ряд лиц — Л. Чернецкий, С. Тхоржевский, полковник Стелла (Савицкий, участник польского восстания), Серно-Соловьевич, несомненно и другие, были осведомлены о предстоящем выступлении «Колокола». Серно-Соловьевич тотчас же, не дожидаясь обнародования статьи, заявил редакции протест и пытался предотвратить этот шаг «Колокола», как он рассказывает об этом в упомянутой листовке («Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 113).

Сличение публикуемого нами русского текста с французским — с тем, который напечатан Лемке, и тем, что хранится в Гос. библиотеке СССР им. В. И. Ленина,— позволяет установить следующее: 1) Первоначальный русский текст, написанный от имени Герцена и Огарева и подписанный обоими, был при переводе его Герценом на французский язык отредактирован и превращен в единоличное обращение, в котором об Огареве говорится в третьем лице («Ogareff dit ...», «Et pourtant la proposition d'Ogareff est tout à fait logique...»)*. Соответственно этому во французском переводе отсутствует подпись Огарева. 2) Автограф Герцена содержит после заключительных слов текста зачеркнутую фразу: «Nous vous prions de lire la traduction exacte de l'article d'Ogareff — qui suit» **.

Как видно из этой фразы, Герцен предполагал сопроводить публикацию французского текста листовки переводом статьи Огарева («Продажа имений в Западном крае»), вызвавшей необходимость объяснения. Это позволяет заключить, что выступление Герцена предназначалось для какого-то журнала на французском языке (но едва ли для газеты, так как листовка вместе со статьей Огарева была более обычной газетной статьи). Если это предположение правильно, то инициалы «В. В.» означают, возможно, либо название издания, либо имя и фамилию лица, которому текст должен был быть послан.

Обнаруженный корректурный оттиск русского текста листовки показывает, что утверждение Лемке: «напечатано нигде не было» — подлежит проверке. Разыскать публикацию не удалось и нам, но это еще не значит, что ее и не было, как утверждает Лемке. Напротив, Герцен сам свидетельствует уже *после* 7 ноября, т. е. после того как были написаны оба текста, русский и французский, что *собирается печатать свой ответ*.

15 ноября 1866 г. он писал М. Мейзенбуг: «Я ожидаю появления протеста <со стороны поляков.— *Я. Ч.*> в печати, чтобы ответить, и возможно, что это займет еще дней десять» (XIX, 99). Правда, 2 декабря Герцен сообщил старшей дочери, что ни в Швейцарии, ни в Париже польский протест до 1 декабря не появился (XIX, 134—135), а в середине декабря писал Н. А. Тучковой-Огаревой, что поляки «хотят официально мириться» (XIX, 138). Но все же, на основании этих сообщений Герцена, сделанных в обстановке развивающегося конфликта, нельзя категорически утверждать, что настоящая листовка не была Герценом обнародована.

Вопрос, таким образом, остается открытым.

---

* «Огарев говорит...», «И все же предложение Огарева совершенно логично» (франц).

** «Мы вас просим прочесть точный перевод статьи Огарева, который следует» (франц.).

НАШИМЪ ПОЛЬСКИМЪ БРАТЬЯМЪ

Между нами произошло важное недоразумѣніе, намъ надобно непремѣнно братски покончить его. Васъ привело въ негодованіе мнѣніе, высказанное однимъ изъ насъ. Мы постараемся въ нѣсколькихъ словахъ объяснить его.

Съ 1853 наша дѣятельность шла возлѣ васъ. Вы ее знаете отъ начала до конца. Съ первыхъ статей нашей русской пропаганды въ Лондонѣ, мы ясно высказали наши начала, и ни разу не уклонялись отъ нихъ. Мы не выдавали себя ни за націоналистовъ, ни за патріотовъ. Въ основѣ нашей религіи былъ рядъ соціальныхъ идей, который мы старались распространять, осуществлять, въ нихъ ваша народность и отечество. Россія представляла намъ наиболѣе готовую почву, для экономическаго переворота и десять лѣтъ прежде освобожденія крестьянъ, мы проповѣдывали объ ихъ *правѣ на землю*. На немъ и на сельскомъ общинномъ и выборномъ самоуправленіи, основываемъ мы всю будущность русской соціальной организаціи.

Переходимъ прямо къ статьѣ, имѣвшей несчастіе раздвоить насъ, на минуту, какъ мы увѣрены, полагаясь на чистоту нашей совѣсти и прямоту намѣреній. Авторъ статьи говоритъ: "Русское правительство совершаетъ преступленіе въ Литвѣ. Секвестрировавши произвольно имѣніе одной части польскихъ землевладѣльцевъ, оно заставляетъ ихъ продавать свои земли — *русскимъ и нѣмецкимъ помѣщикамъ*. Мы не можемъ препятствовать, повторяетъ нѣсколько разъ авторъ, исполненію этой неправды. Постараемся по крайней мѣрѣ, переставить этотъ вопросъ на другую почву. Если грабительствующее правительство, прибѣгаетъ къ насильственной продажѣ, зачѣмъ-же оно вводитъ въ край растленный элементъ русскихъ помѣщиковъ и нѣмецкихъ интригантовъ? Почему крестьяне, одни имущіе право на землю, исключены? Если-же мѣстные крестьяне не хотятъ дѣлать складчинъ, отчего не предложить ее *крестьянамъ другихъ провинцій*". Это послѣднее предложеніе—возбудило противъ насъ—общее порицаніе, къ нашему искренному прискорбію.

Предложеніе автора, *совершенно логически* истекаетъ изъ всего воззрѣнія нашего. Можетъ оно выражено не во время, въ такомъ случаѣ мы первые отъ души скорбимъ, что прибавили еще горькую минуту къ великому сѣтованію вашему. Въ этомъ вы судьи, и мы умолкаемъ. Безусловное, неопровержимое право польской народности, было всегда однимъ изъ нашихъ догматовъ.

Три года тому назадъ, я писалъ къ Гарибальди: "Независимость Польши — наше собственное освобожденіе. Въ тотъ день, когда Польша будетъ возстановлена, мы бросимъ покровъ на прошедшее и твердыми шагами пойдемъ къ нашему будущему, разрушая имперію, дѣлающую несчастіе шестой части земскаго шара".

Тогда наша рѣчь будетъ свободна... До тѣхъ поръ мы искренно жертвуемъ часть нашихъ убѣжденій, какъ скорбный даръ глубокаго сочувствія нашей несчастной, измученной Сестрѣ.

Александръ Герценъ,
Николай Огаревъ.

Женева, 7 Октября, 1866.

«НАШИМ ПОЛЬСКИМ БРАТЬЯМ»
Корректурный оттиск, 1866 г.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Дальнейшие разыскания необходимы тем более, что один протест на французском языке против редакции «Колокола» все же был напечатан — листовка А. А. Серно-Соловьевича «Польский вопрос. Протест русского против „Колокола"» вышла в свет в ноябре—декабре 1866 г. («Лит. наследство», т. 41-42, стр. 113—115).

НАШИМ ПОЛЬСКИМ БРАТЬЯМ

Между нами произошло важное недоразумение, нам надобно непременно братски покончить его. Вас привело в негодование мнение, высказанное одним из нас. Мы постараемся в нескольких словах объяснить его.

С 1853 наша деятельность шла возле вас. Вы ее знаете от начала до конца. С первых статей нашей русской пропаганды в Лондоне мы ясно высказали наши начала и ни разу не уклонялись от них. Мы не выдавали себя ни за националистов, ни за патриотов. В основе нашей религии был ряд социальных идей, которые мы старались распространять, осуществлять, в них наша народность и отечество. Россия представляла нам наиболее готовую почву для экономического переворота, и десять лет прежде освобождения крестьян мы проповедывали об их *праве на землю*. На нем и на сельском общинном и выборном самоуправлении основываем мы всю будущность русской социальной организации.

Переходим прямо к статье, имевшей несчастье раздвоить нас, на минуту, как мы уверены, полагаясь на чистоту нашей совести и прямоту намерений. Автор статьи говорит: «Русское правительство совершает преступление в Литве. Секвестрировавши произвольно имения одной части польских землевладельцев, оно заставляет их продавать свои земли *русским и немецким помещикам*. Мы не можем препятствовать, повторяет несколько раз автор, исполнению этой неправды. Постараемся, по крайней мере, переставить этот вопрос на другую почву. Если грабительствующее правительство прибегает к насильственной продаже, зачем же оно вводит в край растленный элемент русских помещиков и немецких интригантов? Почему крестьяне, одни имущие право на землю, исключены? Если же местные крестьяне не хотят делать складчин, отчего не предложить ее *крестьянам других провинций*?» Это последнее предложение возбудило против нас общее порицание, к нашему искреннему прискорбию.

Предложение автора совершенно логически истекает из всего воззрения нашего. Может, оно выражено не во-время, в таком случае мы первые от души скорбим, что прибавили еще горькую минуту к великому сетованию вашему. В этом вы судьи, и мы умолкаем. Безусловное, неопровержимое право польской народности было всегда одним из наших догматов.

Три года тому назад я писал к Гарибальди: «Независимость Польши — наше собственное освобождение. В тот день, когда Польша будет восстановлена, мы бросим покров на прошедшее и твердыми шагами пойдем к нашему будущему, разрушая империю, делающую несчастье шестой части земного шара».

Тогда наша речь будет свободна... До тех пор мы искренне жертвуем часть наших убеждений как скорбный дар глубокого сочувствия нашей несчастной измученной Сестре.

Александр Герцен,
Николай Огарев

Женева, 7 ноября * 1866

Корректурный оттиск. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 63.

---

* *В подлиннике опечатка:* октября

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА ИЗ ЦИКЛА «СКУКИ РАДИ»

АЛЬПИЙСКИЕ ВИДЫ.— ЖЕНЕВА

Публикация В. Путинцева

В 1868—1869 гг. в петербургской еженедельной газете «Неделя» за подписью «И. Нионский» была напечатана серия очерков под названием «Скуки ради». Очерки возбудили большой интерес. А. П. Пятковский, в то время — ближайший сотрудник «Недели», ее фактический редактор, вспоминал: «Характерный герценовский стиль до такой степени бросался в глаза, что вскоре после напечатания в редакцию стали приходить письма с вопросом: „каким образом А. И. Герцен очутился сотрудником русского журнала?“» (А. Пятковский. Две встречи с А. И. Герценом.— «Наблюдатель», 1900, № 2, стр. 307).

Сотрудничать в «Неделе» Герцена пригласил тот же Пятковский во время встречи весной 1868 г. в швейцарском городке Нионе (отсюда избранный писателем псевдоним).

Возможность печататься на страницах легального русского органа живо заинтересовала Герцена. Он тщательно продумывает характер своего выступления в русском журнале.

В письмах к Огареву этой поры постоянно встречаются упоминания о «статейке для Пят⟨ковского⟩» (XXI, 101): «Ломаю голову, что̀ бы послать поскорее Пятк⟨овскому⟩ — не знаю еще» (XXI, 108); «Попробую послать самую легкую статейку Пятк⟨овскому⟩» (XXI, 138), и т. д. Разумеется, в подцензурной статье Герцен не мог касаться вопросов русской действительности. Так возник замысел очерков из жизни буржуазно-мещанских кругов Франции эпохи второй империи и других западноевропейских стран.

В октябре 1868 г. Герцен послал в Петербург первые пять главок «Скуки ради».

Они были опубликованы в № 48 «Недели» (номер вышел в середине ноября). «Вот тебе новость,—писал Герцен сыну 31 января 1869 г.,—статья моя под заглавием „Скуки ради“, и притом очень радикальная, напечатана в петерб⟨ургском⟩ журнале „Неделя“ с подписью „Нионский“ и почти без малейшей перемены. Я послал тотчас другую половину» (XXI, 279). Продолжение «Скуки ради» появилось в №№ 10 и 16 газеты за 1869 г. (главки VI—XI). Герцен по этому поводу писал Огареву 17 марта 1869 г.: «Вчера, наконец, я получил „Неделю“ в 10 листов — вторая часть моей статьи, с опечатками, но без малейшего выпуска ⟨...⟩ весь Петерб⟨ург⟩ читает» (XXI, 328). А 2 мая сообщал сыну: «Вчера получил 16 № „Недели“; там третья статья моя „Скуки ради“,— забавна» (XXI, 371).

Цикл «Скуки ради» отнюдь не представлялся Герцену законченным; напротив, он строил широкие планы дальнейшего продолжения своей «„недельной“ болтовни» (XXI, 320).

Избранная им очерковая форма давала для этого большие возможности.

После получения «Недели» со «второй частью» Герцен 26 марта писал сыну: «...будут еще *четыре* мои статьи» (XXI, 346). На следующий день он извещал его же:

«...написал еще одну злую штуку в 4-ое продолжение „Скуки ради“» (XXI, 347). Это четвертое «продолжение» было послано в редакцию «Недели». Об этом свидетельствует письмо Герцена к Огареву от 2 мая 1869 г., в котором сказано: «Вчера получил „Неделю“ 16 № с *третьей* статьей. Несколько строк выпущено, но и то, что есть, с каенским перчиком. Ergo, печатать можно; у них есть еще 4-ая, да у меня готовы 5 и 6-ая, а когда ты отдашь письмо о Бакун⟨ине⟩ (или статью), будет и 7» (XXI, 374). Таким образом, Герцен предполагал напечатать в «Неделе» даже письма «К старому товарищу», первоначальный вариант которых («Между старичками») находился в то время у Огарева.

Неожиданно планы Герцена рухнули: в мае распоряжением министра внутренних дел «Неделе» было объявлено третье предостережение, и газета была приостановлена на шесть месяцев. Быть может, свою роль в этом сыграли и очерки «Нионского». Во всяком случае, Герцен еще 27 февраля писал Огареву: «...получил письмо от Марка Вовчка: опять о корреспонденции в „Неделю“. Много шумят, как бы не наварили каши. Вероятно, весь Петерб⟨ург⟩ знает» (XXI, 308).

Не было напечатано даже окончание очерка «Альпийские виды.— Женева» (это должна была быть XII главка «Скуки ради»). Как известно, основой очерка послужила Герцену его рукопись 1867 г., написанная на французском языке и состоявшая из *трех* глав. Первые две главы этой французской рукописи в переработанном виде и составили текст очерка, опубликованный в «Неделе» (главы X и XI «Скуки ради»); третья глава была впервые напечатана, во французском подлиннике и в русском переводе, лишь в изда нии М. К. Лемке. Между тем, в письмах Герцена имеется указание на его работу над *русским* текстом третьей главы. «Что касается до статьи о Женеве,— писал он Огареву 2 марта 1869 г.,— она очень изменена. Фази будет доволен, а остальные проклянут, но, по счастию, никто не узнает» (XXI, 310; говоря, что о статье «никто не узнает», Герцен, разумеется, имел в виду возможность ее публикации в России). Сохранился автограф начала русской редакции третьей главы очерка, опубликованный Лемке в комментариях к французскому тексту главы (XIV, 865—867); в рукописи Герцен прямо обозначает эту часть XII главой «Скуки ради». Однако решение вопроса о том, была ли работа над русским текстом очерка закончена Герценом, до сих пор представлялось затруднительным, поскольку рукопись обрывалась на середине фразы «С этих пор, т. е. с начала шестидесятых годов...»).

В настоящее время в «пражской коллекции» обнаружена вторая половина *той же рукописи*. Таким образом, мы имеем теперь полный, законченный русский текст последней главы и, следовательно, текст всего очерка «Альпийские виды.— Женева», две начальные главы которого были опубликованы свыше 80 лет назад. Есть все основания предполагать, что настоящая глава тоже была послана Герценом в редакцию «Недели»— либо вместе с первыми двумя главами, либо как «4-ое продолжение» «Скуки ради», но в силу сложившихся обстоятельств не увидела света (см. об этом ниже, в наст. томе).

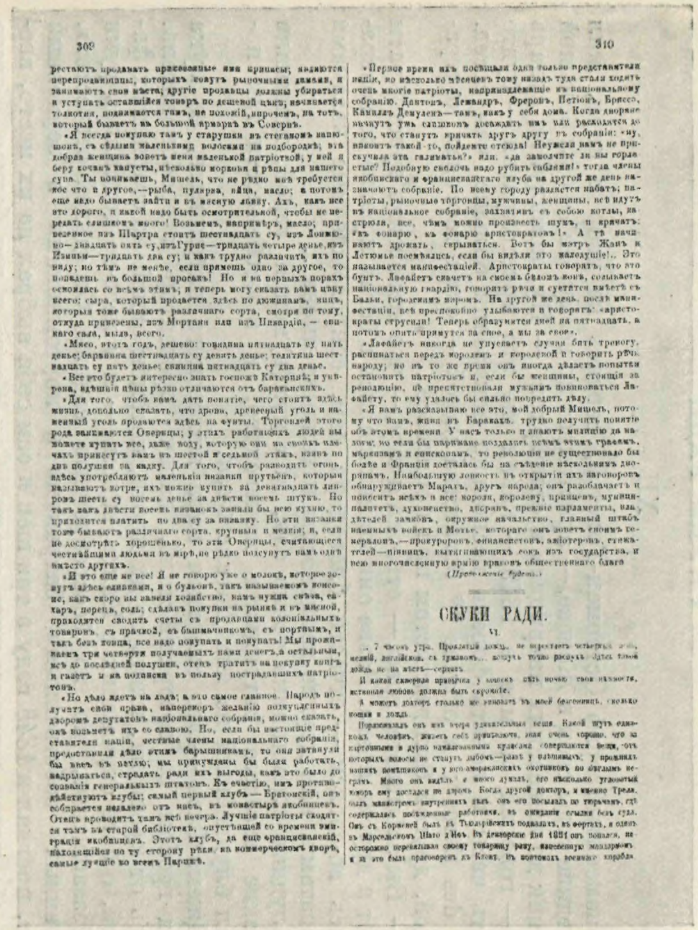
В заключение необходимо остановиться на вопросе о месте очерка «Альпийские виды.— Женева» в изданиях сочинений Герцена. Вопреки точным и определенным указаниям самого Герцена, что очерк принадлежит к циклу «Скуки ради», редакторы последних изданий «Былого и дум», начиная с М. К. Лемке, произвольно включали текст очерка в состав последней части мемуаров — на том основании, что по своему содержанию очерк примыкает к «путевому дневнику» заключительных глав «Былого и дум». Больше того, публикуя в «Избранных произведениях» Герцена («Московский рабочий», 1949) цикл «Скуки ради», И. С. Нович опустил последние главы (X—XI), так как они, по его мнению, «относятся не к группе очерков „Скуки ради“, а к 8-й части „Былого и дум“⟨...⟩, где они обычно и печатаются» (стр. 516). Эту установившуюся традицию следует решительно отвергнуть, поскольку она явно нарушает замысел и авторскую волю писателя. Нет никаких данных для того, чтобы утверждать, что французский вариант очерка 1867 г. создавался как глава «Былого и дум», тем более нельзя предположить этого относительно последней, русской редакции текста. И не случайно Герцен упоминает в очерке о «моем уехавшем докторе», т. е. о центральном персонаже остальных глав цикла «Скуки ради».

№ 10. 23 февраля (7 марта). 1869.

НЕДѢЛЯ.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.

КЪ ВОПРОСУ О ВЫСШЕМЪ ЖЕНСКОМЪ ОБРАЗОВАНІИ.



309 310

рестаютъ продавать праспосоные иза крипасы; являются перепродавицы, которыхъ зовутъ рыночными дамами, и занимаютъ свои мѣста; другіе продавцы должны убираться и уступать оставшійся товаръ по дешевой цѣнѣ; начинается толкотня, подымается гамъ, не похожій, впрочемъ, на тотъ, который бываетъ въ большой ярмаркѣ въ Соверѣ.

«Я всегда покупаю тамъ у старушки въ стеганомъ капюшонѣ, съ сѣдыми маленькими волосами на подбородкѣ; эта добрая женщина зоветъ меня маленькой патріоткой; у ней я беру кочанъ капусты, нѣсколько морковки и рѣпы для нашего супа. Ты понимаешь, Мишель, что не рѣдко мнѣ требуется кое что и другое,—рыба, пулярка, яйца, масло; а потомъ еще надо бываетъ зайти и въ мясную лавку. Ахъ, какъ все это дорого, и какой надо быть осмотрительной, чтобы не переплатить слишкомъ много! Возьмемъ, напримѣръ, масло; привезенное изъ Шартра стоитъ шестнадцать су, изъ Донжюно—двадцать пять су, изъ Гурне—тридцать четыре денье, изъ Изиньи—тридцать два су; и какъ трудно различить ихъ по виду; но тѣмъ не менѣе, если примешь одно за другое, то попадешь въ большой просакъ! Но я на первыхъ порахъ освоилась со всѣмъ этимъ; и теперь могу сказать вамъ цѣну всего: сыра, который продается здѣсь по дюжинамъ, яицъ, которыя тоже бываютъ различнаго сорта, смотря по тому, откуда привезены, изъ Мортани или изъ Пикардіи, — свиного сала, мыла, всего.

«Мясо, этотъ годъ, дешево: говядина пятнадцать су пять денье; баранина шестнадцать су девять денье; телятина шестнадцать су пять денье; свинина пятнадцать су два денье.

СКУКИ РАДИ.

VI.

ГАЗЕТА «НЕДЕЛЯ», В КОТОРОЙ В 1868— 1869 гг., ЗА ПОДПИСЬЮ «И. НИОНСКИЙ», БЫЛИ НАПЕЧАТАНЫ ОЧЕРКИ ГЕРЦЕНА «СКУКИ РАДИ»

Первый лист номера газеты от 23 февраля (7 марта) 1869 г. и лист той же газеты с началом главы VI «Скуки ради»

СКУКИ РАДИ

XII

Знаменитый граф Остерман-Толстой, сердясь на двор и царя, жил последние годы свои в Женеве,— аристократ по всему, он не был большой охотник до женевских патрициев и олигархов. — Ну, помилуйте, сударь мой,— говорил он мне в 1849,— какая же это аристократия — будто делать часы и ловить форель несколько поколений больше, чем сосед, дает des titres*; и origine ** богатства какой — один торговал контрабандой, другой был дантистом при принцессе...

— Вы забываете, граф,— отвечал я ему,— что женевские аристократы имеют и другие права. Разве они не находились в бегах и разве не возвратились во-свояси — отчасти благодаря вам, сопровождаемые казаками и кроатами, как другие венценосцы и великие имена...

Блудные племянники точно так, как кул⟨ь⟩мский герой, понимали значение *высокого* патрициата женевского, и в особенности так понимал блуднейший из них *Джемс Фази*.

Джемс Фази — это смертная кара женевского патрициата, ее му́ка перед гробом, ее позорный столб, палач, прозектор и гробокопатель. Кровь от крови их, плоть от их плоти, потомок одной из старинных фамилий, о боге скучавших с Кал⟨ь⟩вином, — и у него-то поднялись руки на беззащитные, но не бессребренные седины. Он «дядей отечества», выбранных собственными батраками и кортомниками в верховный совет, прогнал в 1846 году в три шеи и сам себя выбрал на их место, вверяя себе почти диктаторскую власть. Сен-Жерве и вся бедная Женева с восторгом рукоплескали ему.

От него старики спрятались этажом выше и повесили к дверям по замку больше, от него они отупели еще на степень, мозги стали быстрее размягчаться, а сердца каменеть. Умных людей между ними больше не было. Вообще, Джемс Фази чуть ли не последний умный человек в Женеве. Глупое озлобление, с которым они повели войну, было худшее оружие с таким врагом.

Фази похож на хищную птицу, и теперь, состарившись и сгорбившись, он напоминает еще исхудалого коршика — и злым клювом и пронизывающим взглядом, и теперь он еще полон проектов и деятельности, кипучей отваги, готовности рисковать, бросать перчатку и поднимать две, он всё еще задорен и дерзок, он всё еще молод, а ему семьдесят два года — подумайте, что он был в пятьдесят.

Ему всё шло впрок, больше всего — недостатки и пороки. Середь удушающей скуки женевской жизни с ее протестантски-монашескими, постными лицемерами, его разгульное спустя рукава, его веселое беспутство, его блестящие, шипучие пороки, опрокидывавшие на него удесятеренную ненависть святош, привязывали к нему всю молодежь, с которой он жил запанибрата, нигде не дозволяя себе наступить на ногу. Фази стоял головой выше своего хора и тремя — своих врагов. Добавьте к этому большую сметливость в делах, верный и решительный взгляд, неутомимость в работе, настойчивость, не останавливавшуюся ни перед какими препятствиями, гнувшую и ломавшую всякую оппозицию — и вы поймете, что не женевскому патрициату было бороться с ним. Дипломат и демагог, конспиратор и комиссар полиции, президент республики и гуляка, — он всё еще находил в себе бездну лишних сил, которая разъедала его своей незанятой праздностью. Этому человеку, очевидно, недоста-

---

* титулы (франц.).
** источник (франц.).

вало широкой рамы, Женева была не по его росту... вытягиваться точно так же вредно, как съеживаться. Фази в Лондоне, в Нью-Йорке, в освобожденном Париже был бы великим государственным деятелем. В женевской тесноте он испортился — привык кричать и бить кулаками по столу, беситься от возражений, привык видеть против себя и за себя людей ниже его ростом. Отсюда страсть к тратам и наживам, привычка бросать деньги и недостаток их... ажиотаж... потери... долги. *Долги* — наше национальное экономическое средство, наша хозяйственная уловка, именно долги-то в глазах женевских Гарпагонов должны были уронить Фази больше, чем все семь смертных грехов вместе.

Что ему было за дело до их ненависти, пока вся Женева — небогатая, молодая, рабочая, *католическая* — подавала за него голос... и кулак.

ЖЕНЕВА

Раскрашенная литография, 1850-е гг.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

«... Женеву я знаю с давних лет... в Женеве все хорошо и прекрасно, умно и чисто, а живется туго... в наше серенькое время мало мест лучше в Европе, а найдешь квартиру — так и тянет куда-нибудь, лишь бы из Женевы вон» («Скуки ради»)

Но tempora mutantur *.

Около пятнадцати лет диктаторствовал тиран Лемана над женевскими старцами. Город удвоил, крепостные стены сломал, сады разбил, дворцы построил, мосты перекинул, игорный дом открыл и *других* домов не закрывал... но Кащеи бессмертные таки подсидели его. У них явился отрицательный союзник.

К борьбе Фази привык, он жил в ней и, когда не тотчас случалось ему одолеть, он раненым львом отступал в свое С.-Жерве и выходил вдвое яростнее и сильнее из своей берлоги.

С таким неприятелем, как Фази с своими молодцами, старикам-формалистам и легистам нечего было делать, как тотчас опять отступать. Они воевали парламентскими средствами и исподволь распускаемыми клеветами. А с какой стороны он хватит, как было знать. С таким неочесливым противником всего можно было ждать. Пока масса была за него, сила его была несокрушима, а переманить ее на свою сторону воспоминанием прежнего патриархального закрепощения было дело не особенно легкое. Помощь должна была явиться из среды *по ту сторону* Фази.

Время шло исподволь, меняя умы и мысли в Женеве, как и на всех точках земного шара, где история еще делается... Опираясь на свою живую стену, Фази, наконец, почувствовал, что стена холоднее... что она не так плотна и не так сплошно поддерживает его... Он годы старался не верить, но вот там... тут ропот — или хуже — равнодушие. И уязвленный своими, гладиатор-вождь обернулся назад с раздраженным лицом...

* времена меняются (лат.).

«Кто бунтует против прежнего агитатора? Неужели он?..». Укоряющая, печальная тень Ал⟨ь⟩берта Галера сумрачно качала головой и указывала с упреком на работников, как будто говоря — «они не твои больше». Галер был суровый проповедник, Фази боялся его социальных идей и гнал его... гнал до гробовой доски,— в могиле он вырос и окреп. Теперь наступило утро его дня, солнце Фази садилось.

Старый боец не оробел, он снова ринулся вперед, но силы бить на две стороны не хватило, и он бил зря. Нанося удары консерваторам, он в то же время хотел левой рукой держать за горло «гидру» социализма — на таком противуестественном раздвоении нельзя было надолго удержаться.

Действительно, Швейцария, Женева — микрокосмы. Разве в моем беглом рассказе не вся современная драма человеческого развития с 1789 г. до нынешнего дня? Не все ее действующие элементы?

Радикальная партия раскололась на две партии — без всякого повода. Одна часть бросила старого вождя, другая несла его с криком на прежних щитах. Земля терялась под их ногами, и озлобление росло. Возле огороженного поля для травли ходили безучастные работники,— у старых племянников явились свои племянники. Новый бой не имел для них смысла, они не верили ни тем, ни другим. Оставленные противники вцепились друг другу в волосы. С этих пор, т. е. с начала шестидесятых годов, || озлобление борющихся партий приняло форму периодического членовредительства. Женевцы пользуются каждым общественным делом, чтоб *почистить друг другу предместья*. Labourer les faubourgs — гениальное женевское выражение, не уступающее гоголевскому «съездить под никитки». После каждых выборов победители и побежденные ходят татуированные, как ирокезы; у кого синий глаз, у кого ссадина на лбу, у кого нос отделан под грушу. Столько мышечного усердия и фонарей ни одна страна не приносит на алтарь отечества — как цивическая весь Кальвина.

Нигде в мире не занимаются с такой рьяностью и так часто выборами, как в Женеве; месяцы прежде — только об них и говорят, месяцы после — только об них и спорят. Отчасти это происходит от чрезвычайной важности, которую женевцы им придают. Консерваторы и радикалы, не согласные ни в чем, согласны в огромном значении Женевы в всемирном хозяйстве и развитии. Для одних это Рим «очищенного протестантизма», для других — исправляющий должность Парижа во время его тяжкой умственной болезни и горькой доли. Женевцы уверены, что как весь мир, чтоб знать время, смотрит на женевские часы, так все политические партии смотрят на них самих. Как же им не заниматься после этого — денно и нощно — выборами; они выбирают некоторым образом не только за кантон, но и за вселенную.

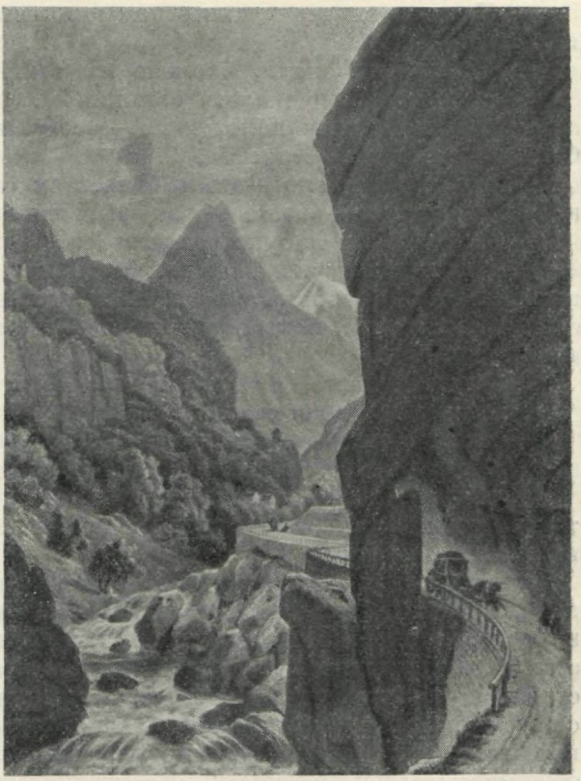
...Запершись на ключ и спустивши сторы, конспирируют на тощий желудок консерваторы в пользу старого порядка вещей, соображая подкупы подешевле и даровые влияния — в виду будущей подачи голосов. Конспирируют и радикалы, заперши свою дверь тоже на ключ, но не с внутренней стороны, а снаружи; la démocratie permanente et militante * конспирирует не натощак, а на абсент и кирш — она шумит в душных кофейнях, самоотверженно морщась от невозможного пива, и не смея заикнуться об этом, потому что хозяин — не только радикал, а голос, власть и центр.

В сущности, всё это делается бескорыстно. Ни «ficelle» **, ни радикалов — сущность дел не заботит, они занимаются торжеством общих мест

---

* непрерывно действующая и воинствующая демократия (франц.).

** хитрый, продувной человек, политический интриган (франц.) — здесь имеются в виду консерваторы.



ДОРОГА ЧЕРЕЗ СИМПЛОН

Раскрашенная литография, 1866 г.

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

«Я сделал путешествие по Швейцарии через Симплон, Лугано, Сплюген, Граубинден etc» (из письма Герцена к М. К. Рейхель от 2 сентября 1865 г.)

и победой или поражением частных лиц. Остальное, т. е. вся реальность жизни, администрации—опускается как мелочь... а иногда и так, что радикалы делают консервативное дело, а консерваторы — радикальное.

Это удовлетворение политической гимнастикой подорвало старые радикальные и либеральные партии. Новые люди потеряли интерес к их препинаниям. Да и как было его не потерять?

В пятнадцать лет радикального владычества в Женеве ее законодатели не коснулись до целого ряда готически-патриархальных узаконений, пропитанных крепостничеством и неуважением к самым элементарным правам лица.

Чтоб убедиться в этом, не угодно ли взглянуть на текст «книжонок» или permis de séjour *, выдаваемых всем иностранцам — и в том числе швейцар⟨ц⟩ам других кантонов. Каждый «не женевец» безапелляционно отдан во власть того *часовщика*, которому на ту минуту вверен полицейский хронометр. Он может иностранца *выслать за дурное поведение*. Законодателям не пришло даже в голову определить, что такое дурное поведение; для кальвиниста, напр⟨имер⟩, ходить в католическую церковь— самое скверное поведение. Далее штрафы за просроченные дни, поборы *за житье* в Женеве — сверх всякого рода поборов за дом, мастерскую, за то и се. Вот тебе и post tenebras lux **!

Я указал, напр⟨имер⟩, одному из старых правительственных радикалов унизительный текст, который жег мне руки.

— Все это или совсем не исполняется, или on fait semblant ***.

---

* видов на жительство (франц.).
** свет после тьмы (лат.).
*** делают вид ⟨что исполняют⟩ (франц.).

— Что же, вы это храните как приятный сувенир — и вам это было не гадко?

— Если б вы знали, сколько мы выбросили старого хлама.

— Чего же было жалеть остальной?..

— Вы знаете наше положение — особенно какое оно было после 1848... Франция, Австрия, Пруссия.

— Это другое дело — стало быть, вам было нужно, нравилось иметь в ваших руках — знаете — такую... единую власть...

— Что же, мы злоупотребляли ей?

— Не знаю, вероятно, что да. Знаете, что вы эдак из приличия бы ввели в дело высылки суд присяжных. Если двенадцать женевцев, которых иностранец не знает, приговорят выслать, высылайте. Все ж лучше, чем один часовщик.

— А вы думаете, что мы до вас об этом не думали?

— За чем же дело стало?

— Если б мы остались у власти...

— *Ничего* бы не сделали... С 1846 было довольно времени...

«Думали — да не отменили». О Селифан, Селифан... по крайней мере, ты сам удивлялся, что, видевши необходимость починить колесо, ты не сказал об этом!

Долею в этом холодном пренебрежении к ближнему и в этой черствой неприхотливости опять-таки следы бизы * и Кал⟨ь⟩вина. В угловатости и бесцеремонности женевца есть непременно что-то чисто архипротестантское, пережившее религию. Фази, составляющий яркое исключение, старался украсить пуританский фон... полинялыми французскими обоями с двусмысленными картинками, из-за которых все-таки так и торчат постные кости. Пасторская нетерпимость и скучные тексты заменились скучными общими местами и юридическими сентенциями... Церковь без украшений, демократия без равенства, женщины без красоты, пиво без вкуса, или, хуже,— с прескверным вкусом — всё сведено на простую несложность, которая идет человеку, пуще всего спасающему душу. Самый разврат в Женеве до того прост, до того сведен на крайне необходимое, что больше отстращивает, чем привлекает. «Ты, мол, греши, коли надобно, но не наслаждайся, единое наслаждение там, где тело оканчивается и дух на воле».

От этого происходят удивительные контрасты. Полуповрежденная Лозанна считает театр грехом и никак не дает деньги на возобновление погорелой оперы... и все неповрежденные в ней только и мечтают о постройке нового театра. Театр занимает воображение — отвлекает от последних новостей библии и от болтовни праздношатающихся и вольнопрактикующих пасторов. В Женеве два театра, но они до того наводнены элементом *простой* камелии и элементом voyou **, что солидные мужчины и особенно женщины (не из иностранок) без крайней необходимости их не посещают.

Зато если есть какое послабление и распущение — по поводу французской близости и пены, прибиваемой к ее границам, есть и полиция. Женева любит круто распорядиться. Куда остальным кантонам, с своими допотопными жандармами, в киверах, напоминающих картины войн 1814 и баварские каски времен фельдмаршала Вреде... Стоит эдакой увалень — стоит да вдруг от скуки или как спросонья спрашивает у гуляющего: «Фо папье»*** и готов сдуру вести au poste ****, где ему же и достанется за это.

---

* северного ветра (франц. bise).

** оборванца (франц. apro).

*** Испорченное произношение франц. «vos papiers» — «ваши документы».

**** в полицейский участок (франц.).

Женевский жандарм разит Парижем, это уже отчасти sergent de ville*, охотник своего дела. Чтоб это увидеть, не нужно въезжать в город, а достаточно приехать в женевский амбаркадер ** — с швейцарской стороны. После итальянской учтивости и простоты в других кантонах — перед вами круто раскрывается преддверие Франции — страны регламентации, администрации, надзора, опеки, предупреждения, внушения. Кондукторы и сторожа железной дороги наглазно превращаются в самодержавных приставов, вагонных тюремщиков и прежде всего в ваших личных врагов и строгих начальников, с которыми говорить и рассуждать не советую.

Франция так нахлороформизировала собою Женеву, что она и не почувствует сначала операции de l'annexion ***. Хотя и найдется меньшинство, которое наделает в желудке галльского кита хлопот не меньше Ионы... но Франция — не кит: что́ ею проглочено, то она не скоро выбросит.

Не страшно ли, что первый человек, который хотел предать Женеву французам, был сам Кальвин. Найдя, впрочем, что в случае нужды и в Женеве можно зажарить еретика Серве, он примирился с независимостью республиканской веси.

И ⟨с к а н д е⟩ р.

Автограф. До знака || —ЛБ. Г.— О. I. 17; после знака || — ЦГАОР, ф. 5770, он. 1, ед. хр. 20, лл. 77—83.— Зачеркнутые варианты рукописи не представляют существенного интереса и не воспроизводятся.

---

* полицейский (франц.).
** железнодорожная платформа (франц.).
*** аннексии (франц.).

ОТВЕТ «БИРЖЕВЫМ ВЕДОМОСТЯМ»

Публикация В. Путинцева

Весной 1869 г. реакционная «Kölnische Zeitung» (№ 67, от 8 марта) и ряд других газет распространили вздорные слухи, будто Герцен ведет со священником русского посольства в Вене Раевским переговоры о возможности возвращения в Россию. Слухи были немедленно подхвачены всей русской официозной, консервативной и либеральной печатью.

Ссылаясь на сообщение своего варшавского корреспондента, сделанное, в свою очередь, «со слов газеты „Славянин"», «Биржевые ведомости» в № 44 за 1869 г. поспешили объявить читателям: «Некоторые данные оставляют очень мало сомнений, что г. Герцен решился принести повинную и будет просить позволения возвратиться в отечество». Газета добавляла, что если Герцену (а также и Огареву) «не будет оказано этой милости, то он будет ходатайствовать о даровании ее хотя одним его детям, неповинным в отцовских увлечениях», и т. д. Сенсационные сообщения «Биржевых ведомостей» перепечатали и другие газеты: «Санктпетербургские ведомости», «Голос», «Новое время»; последняя — с рядом дополнительных измышлений. «Что я им за Кельсиев II достался! — с возмущением восклицал Герцен в письме к Тургеневу от 14 марта 1869 г.—Разумеется, я в Россию ехать хочу и когда можно будет туда ехать без каудинских фуркул, поеду, но в Вене я не был, ни Краевского, ни Раевского, ни Евского не просил. Откуда это?» (XXI, 324). «Это — целая интрига,— писал Герцен в тот же день Огареву.— Без ответа оставить нельзя» (XXI, 321),— и 14 же марта он послал в редакцию «Биржевых ведомостей» этот ответ (см. XXI, 333—334). Письмо Герцена, попавшее в перлюстрацию и затем врученное редакции «Биржевых ведомостей» через III Отделение, было напечатано в № 71 газеты, но в сопровождении такого клеветнического «комментария», что Герцен был вынужден снова отвечать — на этот раз письмом в редакцию «Голоса». «„Биржевые ведомости",— писал Герцен,— поместив мое письмо в 71-м №, перетолковывают смысл моих слов... Я не стал бы писать об этом, но не могу же я оставить читателей в мысли, что я „Биржевые ведомости" принимаю за государственный институт и ходатайствую через них о праве возвращения» (XXI, 366).

Письмо в редакцию «Голоса» Герцен направил 7 апреля 1869 г., а на следующий день, 8 апреля, он писал Огареву: «Чудеса да и только: через час после отправления письма и „Бирж⟨евых⟩ вед⟨омостей⟩" я получил 73 № той же газеты, там статья колонн в 5 ругательств à mon adresse *. Это уж за то, что я не возвращаюсь; между прочим, они говорят, что моему сыну не было препятствий ехать в Россию и что русское правительство не мстит детям за преступление отца, доказательством тому — что оно сохранило мое имение. Далее я представлен каким-то безумным диктатором и шутом. Заметь, что я ничем не вызвал со стороны „Бирж⟨евых⟩ в⟨едомостей⟩" этих статей. Вчера (по несчастию, до получения 73 №) я писал в редакцию „Голоса" несколько сухих строк с просьбой поместить. Придется писать длинный ответ» (XXI, 358). 16 апреля Герцен сообщал Огареву, что «статью против „Бирж⟨евых⟩ вед⟨омостей⟩"» он начал (XXI, 366). Был ли ответ «Биржевым ведомостям» (третий по счету) послан — в редакцию «Голоса» или «Биржевых ведомостей» — остается неизвестным.

---

* по моему адресу (франц.).

В Отделе рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина хранится конец этой статьи-ответа, опубликованный в издании Лемке с некоторыми неточностями и искажениями (XXI, 391—392). В «пражской коллекции» нами обнаружено *начало* той же статьи, еще не воспроизводившееся в печати.

В рукописи второй части своего ответа Герцен обозначил латинскими буквами «B» и «C» места для предполагаемых цитат из статьи «Биржевых ведомостей». Совершенно очевидно, что Герцен собирался включить в статью еще одну цитату, первую по счету, под буквой «A». Место для цитаты «A» не обозначено в рукописи, но легко определяется по контексту. Цитата «A», несомненно, должна была быть приведена после слов, на которых обрывается рукопись «пражской коллекции»: «Теперь послушаемте биржевого соловья»,— и служить соединительным звеном между текстом первой (рукопись «пражской коллекции») и второй (рукопись Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина) частей. Таким образом, статья-ответ Герцена «Биржевым ведомостям» реконструируется нами, вероятно, полностью.

⟨ДВЕ ЧЕРТЫ ПОСТОЯННО СОПРОВОЖДАЮТ ПОСТЫДНУЮ РЕЛИГИЮ ХОЛОПСТВА...⟩

Две черты постоянно сопровождают по⟨стыд⟩ную * религию холопства и придают ей тот дорогой характер преданного лакея, который исчезает в «людской» и передней — и, как феникс, возрождается в нашей задней и нелюдской литературе.

Одна черта состоит во всяческой клевете и во всяческой брани против человека, на которого барин гневается. Другая — в укрывательстве барских проделок, домашних гадостей и семейных грешков. Конечно, это укрывательство иногда, как изорванный халат, больше открывает **, чем закрывает, но усердие все же велико.

Спохватившись в своей нелепой ошибке, в силу которой «Бирж⟨евые⟩ в⟨едомости⟩» перетолковали смысл моих слов,— они, отдохнувши сутки, с новым остервенением впились ⟨в⟩ меня и на этот раз рассказали в 73 № всю мою жизнь — освещенную сальным огарком передней. Мы покажем на двух-трех примерах их любовь к истине, и вместе с тем и на источники, из которых они черпают свои вдохновения.

Замечу мимоходом, что мне поневоле придется говорить о себе и о моем прошедшем и о моем сыне — и меня опять за это обвинят простые духом. Но ведь и от собак человек защищает *себя* — и это вовсе не из самолюбия, а потому что собаки кусают его икры и рвут его панталоны...

Теперь послушаемте биржевого соловья: ‖ [1]

⟨«Рожденный в эпоху нашествия французов на Россию, г. Герцен созрел для действования в ту пору, когда слово в России было скована и за какие-нибудь задирательные стишки или за шаловливую песенку людей посылали в ссылку, как за государственное или криминальное преступление. Раз г. Герцен, подкутив с товарищами на какой-то пирушке, спел весьма глупую песенку, впоследствии напечатанную им в одной из книжек его „Полярной звезды". За это пение г. Герцена в числе прочих взяли на съезжую, а потом послали в Вятку, где он служил у местного губернатора, был членом губернского общества, мечтал в огромном саду своей квартиры о своем будущем величии и не без успеха ухаживал за дамами, а потом назвал всю эту эпоху своей жизни эпохою „тюрьмы и ссылки" и, поставив в Лондоне печатный русский станок, сочинил обо всем этом иеремиаду, которая пробралась контрабандным путем в Россию и имела здесь свой успех».⟩

Каким же образом мой биограф, так пристально читая «Былое и думы», что не забыл ни вятских дел, ни сад при квартире, *игнорирует*, что я

* *Читается предположительно: угол листа оторван.*

** На что уж наторелый дока, проведший полжизни в тайной полиции, неграф Тимашов... а посмотрит⟨е⟩, как он защищает барские порядки.— *Примеч. Герцена.*

никогда, ни на какой пирушке, не пел, подгулявши, никакой песни. И что дело студенческого праздника, устроенного подлым агентом неблагородного правительства Скареткой, была полицейская ловушка, на которую мы не попались и все-таки были сосланы. Я протестовал против этой лжи в присутствии всей комиссии, судившей нас.— Всё это очень неважно, давно забыто, но не могло быть неизвестно человеку, принявшемуся рассказывать в карикатуре мою жизнь. На каком основании биограф или следопроизводитель поверил больше полицейской версии, чем моей? Не потому ли, что он с полицией дружнее, чем со мной?

Затем, после преувеличенной картины влияния лондонского станка*[2], стряпчий правительства продолжает[3]:

<«Наконец, все это заключилось новою колоссальнейшею глупостию: кто-то, вероятно какой-нибудь полячок,— так как они большие охотники распускать ложные слухи,— сообщил г. Герцену, что в Лондоне проживают русские агенты, имеющие поручение похитить его, г. Герцена, на улице, „как Прозерпину“, и увезть в Россию. Г-ну Герцену, издавна приучившемуся считать себя немаловажным человеком в мире вообще и в русском в особенности, не показалось в этом ничего невероятного, и он сделался игралищем самой пошлой шутки. Он всё это напечатал бестрепетною рукою и в азартнейшем духе начал грозить, что государь будет отвечать „за каждый волос“ г. Герцена *„перед целою Европою“*».>

Приходится опять рассказать, как было дело и какой «полячок» подшутил надо мной.

Я несколько раз получал ругательные письма, всякий раз без подписи, но с угрозами. Я их бросал. Но в <18>59 году [4] случилось вот что. Утром мне принесли письмо из Петербурга, посланное через Бел<ь>гию. В нем мне советовали быть осторожным, не выезжать из Англии и говорили, что Шувалов хочет, во что бы то ни стало, уничтожить нашу прессу или меня, хотя бы для этого пришлось убить меня и пр. Мне надобно было повидаться в тот день с лионским Ротшильдом; выходя из его кабинета, я вверху встретил его секретаря Кестнера — он мне сказал, что на мое имя им получено письмо и что оно лежит на камине. Я возвратился, взял письмо и, раскрыв, увидел слово в слово такую же записку. Я подал ее Ротшильду и попросил его прочесть, прибавляя, на всякий случай, что я буду очень благодарен, если он подтвердит, что только что я получил у него в кабинете и при нем распечатал. При этом я ему показал и другое письмо, полученное утром,— оба были писаны по-французски. Дня через три один *из наиболее уважаемых* людей в России[5] — надеюсь, что читатель не сделает надо мной шалости и не спросит имени и поверит моему слову,— сообщил мне то же и добавлял, что не мешает взять свои меры против какой-нибудь скандальной попытки. Последнее мне показалось вероятнее, чем угроза убить из-за угла: при мне были примеры подобной расправы между французами. Чтоб кончить разом эти полицейские забавы, я написал шуточное письмо к Бруннову [6]. Смех был не со стороны моих противников. Это письмо, как прежде мое письмо к франкфуртскому сенату [7], было перепечатано в десяти журналах. Ему придали такую важность, что Шедо-Ферроти взошел в роль Бруннова и печатно отвечал мне. Его ответ позволили продавать в России [8].

---

* <«Одно время в административных сферах просто боялись Герцена. Быть обличенным в „Колоколе“ почиталось ужасным несчастием не только для „рядового“ человека, но даже для губернаторов, директоров департаментов и других высших чинов. Происходили вещи необъяснимые в администрации: ненавидели г. Герцена, не уважали его — и его слушались. Известны случаи, что люди через одно недружелюбное слово, сказанное о них Герценом, утрачивали свою репутацию и теряли карьеру. Власть Герцена все усиливалась и усиливалась наперекор всякой логике...»— «Бирж. вед.»>.

«Биржевые ведомости», воспользовавшиеся очень любезно моей шуткой о «Прозерпине», странным образом не знают вовсе никаких отечественных традиций, ни то, как поступали с детьми великих мучеников, как Трубецкие, Ивашевы и пр., ни то, до чего доходили посягательства наших

КАРИКАТУРА НА ВЫСТУПЛЕНИЯ РУССКОЙ АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ПРОТИВ ГЕРЦЕНА («РАЗВЛЕЧЕНЬЕ», № 28 ОТ 11 ИЮЛЯ 1862 г.)

Рисунок А. Юшанова

Под карикатурой подпись: «Вы на меня не серди́тесь, Александр Иванович, я ей-ей уважаю вас от всего сердца и считаю за честного человека, а что вот теперь говорю против вас, так это только из одного коммерческого расчета: вы знаете—своя рубашка к телу ближе...»

дипломатических агентов и шпионов in partibus *. Испытав страшнейшее оскорбление от английского министерства по случаю просьбы о выдаче Н. И. Тургенева, они старались его увезти, если не как Прозерпину, то как княжну Тараканову или как Войнаровского [9].

* в чужих странах (лат.).

Кстати, к детям наших мучеников. Вот в каком девственном неведении живут «Биржевые ведомости». Неведение это очень мило, но тогда надобно называться Ведомостями Смольного монастыря или Троицко-Сергиевской Лавры, а не Биржевыми.

Автограф. До знака ‖ — ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 20, л. 76; после знака ‖ — ЛБ. Г.— О. II. 12.

[1] Здесь обрывается рукопись «пражской коллекции» и должна быть приведена первая цитата — «А» — из статьи «Биржевых ведомостей» (№ 73 за 1869 г.). Исходя из контекста ответа Герцена, определяем наиболее вероятную цитату, намеченную им для его ответной статьи.

[2] Здесь помечена цитата «В»; она определена приблизительно, исходя из контекста, и приводится в сноске, чтобы не разрывать герценовской фразы.

[3] Здесь помечена цитата «С»; она определена приблизительно, исходя из контекста.

[4] Герцен ошибочно называет 1859 год, следует — 1861.

[5] И. С. Тургенев (см. письмо к М. К. Рейхель от 3 ноября 1861 г.— XI, 275).

[6] «Бруты и Кассии III Отделения (письмо к русскому послу в Лондоне)».— «Колокол», л. 109, от 15 октября 1861 г. (XI, 248—249).

[7] Статья, озаглавленная «Знаменитому Сенату вольного города Франкфурта-на-Майне», была напечатана в 1858 г. отдельным листом, посланным сенаторам и затем приложенным к «Колоколу», л. 20, от 1 августа 1858 г. (IX, 291—302).

[8] Речь идет об известной клеветнической брошюре о Герцене, изданной в Берлине в декабре 1861 г. на русском и французском языках агентом III Отделения в Брюсселе бароном Ф. И. Фирксом, скрывшим свое авторство под псевдонимом Д. К. Шедо-Ферроти — «Письмо А. И. Герцена к русскому послу в Лондоне с ответом и некоторыми примечаниями Д. К. Шедо-Ферроти» (ср. XI, 284—302). См. ниже письмо Герцена к Шедо-Ферроти.

[9] В 1826 г. правительство Николая I потребовало от английского правительства выдачи Н. И. Тургенева, но получило отказ. Однако в русских общественных кругах распространились слухи о том, будто Тургенев тайно похищен и привезен в Россию. Пушкин в письме от 14 августа 1826 г. спрашивал Вяземского: «Правда ли, что Николая Т⟨ургенева⟩ привезли на корабле в П⟨етербург⟩?» (А. С. Пушкин. Полное собр. соч., т. XIII. М.—Л., изд. АН СССР, 1937, стр. 291).

ГЕРЦЕН И ЕГО ПИСЬМА «К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ»

Предисловие Д. Чеснокова

Публикация В. Путинцева и Я. Черняка*

Ниже печатается уточненный по автографу текст писем Герцена «К старому товарищу» и публикуются материалы, раскрывающие историю возникновения в процессе известной полемики Герцена с Огаревым и Бакуниным в 1869 г. этого выдающегося памятника русской революционной мысли. Новые материалы имеют важное значение для оценки места, которое занимают письма «К старому товарищу» в духовном развитии Герцена.

Герцен работал над текстом писем «К старому товарищу» с января по осень 1869 г. На всех этапах этой работы он знакомил с ее результатами Огарева. Первоначальную редакцию писем «К старому товарищу» — статью «Между старичками» — в рукописи читал также Бакунин. В переписке Герцена и Огарева были подвергнуты детальному разбору и обсуждению важнейшие положения, выдвинутые в этих письмах. В результате развернувшейся дискуссии сложилась новая редакция писем «К старому товарищу», которая до сих пор была известна в несовершенных публикациях «Сборника посмертных статей» (Женева, 1870 г.) и последующих изданий и ниже *впервые печатается в полном и исправленном виде.*

«Письма» Герцена подводили итог всему ходу его идейно-политического развития. Сам Герцен полагал, что его расхождения с Бакуниным сводятся к разногласиям в тактике; он не осознал еще с достаточной ясностью, что между ним и Бакуниным произошел полный разрыв, раскрылась, как говорил Ленин, «пропасть между миросозерцанием уверенного в победе своего класса пролетария и отчаявшегося в своем спасении мелкого буржуа» (В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 11).

В самом деле, Бакунин в конце шестидесятых годов довел мелкобуржуазный индивидуализм и анархизм до крайних пределов. В разгар полемики с Герценом, в мае 1869 г., Бакунин опубликовал брошюру «Постановка революционного вопроса», в которой его обычный анархистский призыв к бунту перешел в пропаганду разбоя. Подобные произведения Бакунина способны были лишь компрометировать революцию и революционное движение и заставляли пролетарских революционеров, и прежде всего Маркса и Энгельса, подозрительно относиться не только к деятельности Бакунина, вред которой был очевиден, но и к *мотивам этой деятельности*, выглядевшей временами прямо-таки провокационно. Герцен и Огарев отнеслись к брошюре Бакунина резко отрицательно. Однако в то время как Огарев, выступая против плана Бакунина использовать разбойников в революционных целях, в общем его бунтарскую тактику признавал, Герцен, отвергая бакунинскую тактику, выступал и против бакунинского мировоззрения в целом. Это расхождение между Герценом и Огаревым привело к тому, что Огарев в тот период, когда Герцен обратил свои взоры к Коммунистическому Интернационалу, руководимому Марксом, дал вовлечь себя, несмотря на все предостережения Герцена, в агитационно-пропагандистскую кампанию, которую в 1869—1870 гг. авантюристически вели Бакунин и Нечаев.

---

* Тексты писем «К старому товарищу» и варианты подготовлены при участии Л. Ланского.

Герцен в конце шестидесятых годов, в результате долгих поисков ответа на мучившие его социальные вопросы, приблизился к правильному пониманию характера закономерностей исторического развития. Он начинает понимать, что основа закономерностей исторического развития лежит в экономике общества.

Уже в «письме первом» Герцен указывал: «Экономический переворот имеет необъятное преимущество перед всеми религиозными и политическими революциями — в трезвости своей основы. Таковы должны быть и пути его—таково обращение с данными. По мере того как он вырастает из состояния неопределенного страданья и недовольства, он невольно становится на *реальную почву*, тогда как все другие перевороты постоянно оставались одной ногой в фантазиях, мистицизмах, верованиях и неоправданных предрассудках, патриотических, юридических и пр. Экономические вопросы подлежат математическим законам».

Обращаясь к конкретному ходу исторического развития, Герцен констатировал закономерную смену типов общественных отношений. Капиталистический строй в свое время пришел на смену феодальному, но, в свою очередь, должен уступить место строю социалистическому. Герцен писал: «Ясно видим мы, что дальше дела́ не могут идти та́к, как шли, что конец исключительному царству капитала и безусловному праву собственности так же пришел, как некогда пришел конец царству феодальному и аристократическому. Как перед 1789 обмиранье мира средневекового началось с сознания несправедливого соподчинения среднего сословия, так и теперь переворот экономический начался сознанием общественной неправды относительно работников. Как тогда упрямство и вырождение дворянства помогли собственной гибели, так и теперь упрямая и выродившаяся буржуазия тянет сама себя в могилу» («письмо первое»).

Герцен не ограничивается констатацией закономерного хода исторического развития: он пытается оценить историческую роль различных классов в этом развитии и вплотную подходит к пониманию того, что общественной силой, призванной утвердить социалистический строй, является рабочий класс. Поэтому-то он с таким пристальным вниманием следит за работой конгресса Интернационала — того Интернационала, которым руководил Маркс. Следует, однако, отметить, что вера в рабочий класс еще только складывалась у Герцена; положение об исторической роли рабочего класса, как создателя социалистического общества, он формулировал в самой общей и очень расплывчатой форме. Кроме того, к рабочему классу он неправомерно относил кустарей, ремесленников и т. д. Но все это не умаляет значительности шага, сделанного Герценом в оценке роли рабочего класса в борьбе за социализм.

В «письме втором» Герцен говорит: «Работники, соединяясь между собой, выделяясь в особое „государство в государстве", достигающее своего устройства и своих прав помимо капиталистов и собственников, помимо политических границ и границ церковных, составляют первую сеть и первый всход будущего экономического устройства. Международный союз может вырасти в Авентинскую гору * à l'intérieur ** — отступая на нее, мир рабочих, сплоченный между собой, покинет мир, пользующийся без работы, на свою доходную непроизводительность... и он, отлученный, nolens volens ***, пойдет на сделки. А не пойдет — тем хуже для него, он сам себя поставит *вне закона* — и тогда гибель его отсрочится только настолько, насколько у нового мира нет сил».

Дальше Герцен специально останавливается на роли организации рабочего класса. «Международное соединение работников,— пишет он,— всевозможные соединения их, их органы и представители должны всеми силами достигать того невмешательства власти в *работу*, которое она не делает в *управлении собственностью*, должны становиться вольным парламентом четвертого состояния и вырабатывать свою внутреннюю организацию, будущую канву, без всяких вперед идущих теодицей и космологий».

Нетрудно здесь упрекнуть Герцена в абстрактности и неопределенности. У него нет четкой, заостренной постановки вопроса о непримиримой классовой борьбе про-

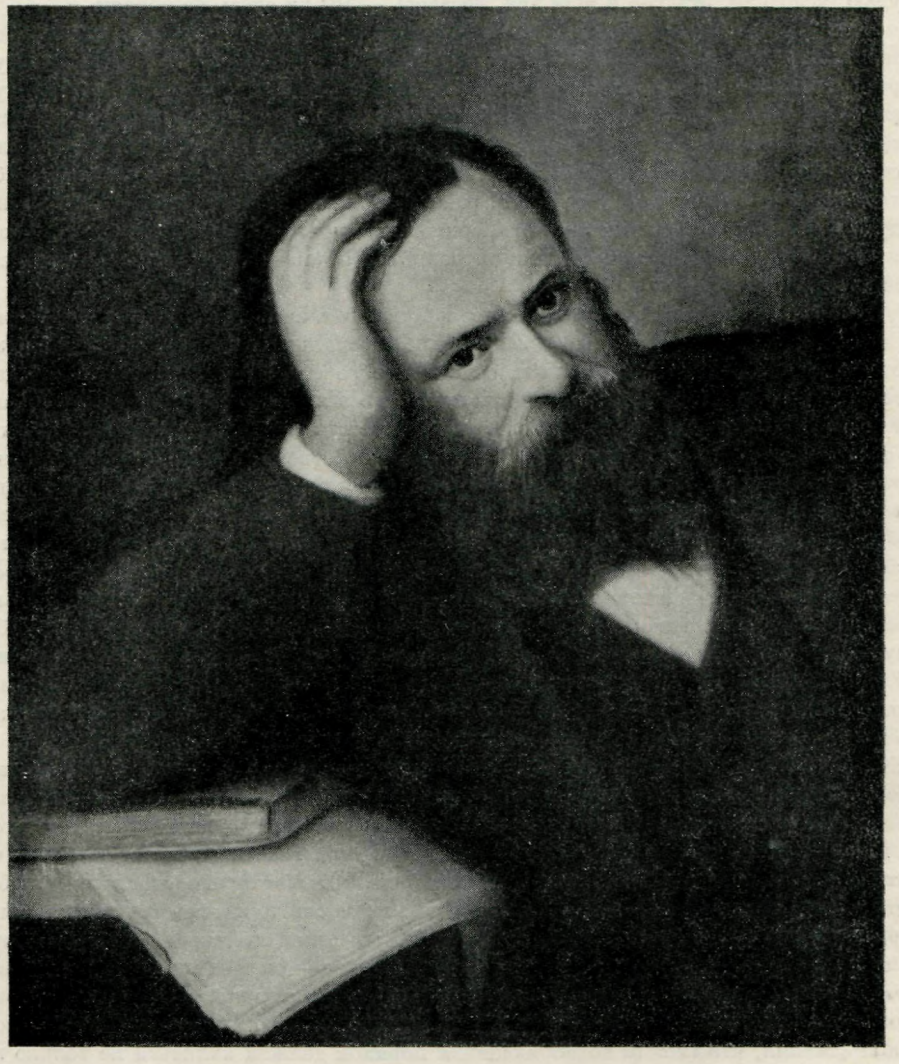
---

* На Авентинскую гору удалялись из Рима плебеи в момент обострения их борьбы с патрициями и этим вынуждали последних идти на уступки.— *Ред.*

** внутри <т. е. в недрах буржуазного мира> (франц.).

*** волей-неволей (лат.).

летариата и экспроприации экспроприаторов. Он не говорит прямо и ясно о необходимости социалистической революции, а тем более о диктатуре пролетариата. Однако Герцен уже «обратил свои взоры» к пролетариату и его партии; от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма он начал переходить на позиции «суровой,



ГЕРЦЕН

Пастель работы неизвестного художника по фотографии 1861 г. С. Л. Левицкого
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

непреклонной, непобедимой классовой борьбы пролетариата» (В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 11). Это и вызвало разрыв Герцена с идеологом отчаявшихся мелких буржуа — Бакуниным.

Борясь с Бакуниным, который, не выделяя рабочий класс из остальной массы тружеников, отрицал необходимость организации масс и делал ставку на их инстинкт, на их якобы постоянно существующую готовность к бунту, Герцен выдвигал задачу объединения и организации масс, прежде всего рабочего класса, под знаменем научной передовой теории. Он указывал на важность научного познания объективного хода исторического развития. Герцен понял, что без организации масс на базе передовых

революционных идей, без ясного понимания массами своих целей, их борьба не может иметь успеха.

«Наше время — именно время окончательного изучения,— писал Герцен в «письме первом»,— того изучения, которое должно предшествовать работе осуществления та́к, ка́к теория паров предшествовала железным дорогам. Прежде дело хотели взять грудью, усердием, отвагой и шли зря, на авось — мы на авось не пойдем».

В «письме втором» Герцен снова высказывает ту же мысль. «Обойти процесс пониманья так же невозможно, как обойти вопрос о силе»,— пишет он. В данном случае Герцен выступает уже не как просветитель, абстрактно рассуждающий о роли культуры и просвещения вообще, а как революционер, стремящийся найти движущие силы общественного развития и понять их действие, для того чтобы этими силами овладели массы в целях преобразования общественного строя. Поэтому Ленин, говоря в работе «Что делать?» о значении передовой революционной теории, называл Герцена в ряду других предшественников русской социал-демократии — Белинского, Чернышевского и блестящей плеяды революционеров 70-х годов — и ссылался на его опыт (Соч., т. 5, стр. 342).

Что касается путей преобразования общества, то в письмах «К старому товарищу» Герцен не преодолел полностью своих старых либеральных колебаний. Он явно злоупотреблял понятием «постепенности общественного развития». По мнению Герцена, дело не только в том, чтобы просвещать массы, но и в том, чтобы обращаться с проповедью к эксплуататорам, показать им неизбежность гибели, если они добровольно не откажутся от своих привилегий. «Твердыню собственности и капитала,— пишет Герцен в «письме первом»,— надобно потрясти расчетом, двойной бухгалтерией, ясным балансом дебета и кредита. Самый отчаянный скряга не предпочтет утонуть со всем товаром, если может спасти часть его и самого себя, бросая другую за борт. Для этого необходимо только, чтоб опасность была *так же* очевидна для него, как *возможность спасения*». Еще определеннее в этом отношении высказывается Герцен в заключительном «письме четвертом»: «Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Проповедь нужна людям, проповедь неустанная, ежеминутная, проповедь, равно обращенная к работнику и хозяину, к земледельцу и мещанину. Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде саперов разрушенья,— апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам».

За подобные отступления Герцена к либерализму цеплялись контрреволюционные либералы типа Струве, стремившиеся превратить Герцена в идеолога «постепеновщины». Однако все содержание писем «К старому товарищу» свидетельствует о том, что главным для Герцена было уничтожение капиталистического строя и замена его строем социалистическим. Эта замена, полагал Герцен, может быть осуществлена любым путем, который окажется целесообразным, в том числе и насильственным. Герцен возражал лишь против того, чтобы метод насильственных «толчков» и «взрывов» применялся при отсутствии созревших условий, а главное — он настаивал на том, *чтобы революционный взрыв был подготовлен*. Герцен, следовательно, выступал не против революции, а против авантюристической игры в революцию. Уже в «письме первом» Герцен заявлял, что «новый водворяющийся порядок должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной». Он правильно указывал, что, ликвидируя старое, новый порядок должен использовать то, что накоплено людьми предшествующих поколений.

В «третьем письме», отвечая на вопрос, следует ли «сидеть сложа руки весь век», если условия для революционного преобразования общества не созрели, если массы не подготовились к нему, Герцен пишет: «Не знаю, весь ли век или часть его, но наверное до тех пор не сходить в рукопашную, пока нет ни единства убеждений, ни сосредоточенных сил... Быть правым в бою немного значит: правота давала победу только в суде божием — у нас на небесное вмешательство надежды мало». И Герцен требует, в «письме втором», чтобы революционеры умели «ждать и работать», а не шли «по старой колее пророков и прорицателей, иересиархов, фанатиков и цеховых революционеров», которые призывали к осуществлению революционного переворота в любой момент, не считаясь с исторической обстановкой.

Итак, в противоположность Бакунину и бакунистам, исходившим из предположения о постоянной готовности общества к взрыву, Герцен доказывал закономерность общественного развития.

Бакунистскому призыву к бунту он противопоставлял необходимость упорной, кропотливой работы с массами, ставке Бакунина на инстинкт и стихийность масс — ставку на организованное движение трудящихся во главе с пролетариатом, под знаменем научной теории.

Наконец, бакунистскому возвеличению личности и мелкобуржуазному индивидуализму Герцен противопоставил массовое организованное движение, указав на историческое значение организаций рабочего класса.

Еще колеблясь в вопросе о том, какими путями и методами капиталистическое общество может быть преобразовано в социалистическое, Герцен не сомневался, что при определенных условиях насильственная революция станет неизбежной, и требовал лишь, чтобы массы были подготовлены к революции и осуществляли ее, «*зная, куда идут, зная, что́ ломают и что́ сеют*» («Между старичками»).

Полемика, развернувшаяся вокруг первоначальной редакции «писем» Герцена, лишь укрепила его на этих новых позициях, противоположных позициям бакунизма.

Герцен решительно отстаивал свои новые позиции от критических нападок Огарева. Ярким примером этому является спор Герцена с Огаревым по вопросу об «экономических промахах» в историческом развитии. Огарев не понимал исторической роли капитализма: он считал его уродливым отклонением от нормального хода развития человечества. В первоначальной редакции «письма третьего» Герцен справедливо возражал Огареву: «Взяв у меня [слово] выражение „экономический промах", ты его относишь к современному политическому построению — словно оно по ошибке было сословным (а я думаю, что сословность — это расчленение — выход из безразличия в органическое единство). Всё исторически выработавшееся обстоятельствами, толчками и переворотами — Naturprodukt. Называть продукты истории, хотя бы они и устарели, политическими (или иными) промахами — то же, что считать лягушку зоологическим промахом».

Герцен возражает против подобного антиисторического подхода к общественной жизни. Он стремится понять закономерный ход ее развития.

Отвергая критические замечания Огарева, клонящиеся к отрицанию возможности познать закономерность исторического развития и к умалению роли экономической основы общества, Герцен внимательно относился к тем из его замечаний, в которых были подвергнуты критике отступления к либерализму в тактических вопросах. Как правило, эти поправки Огарева Герцен принимал.

Так, например, в статье «Между старичками» Герцен ставил вопрос: «Следует ли толчками возмущать творческую тишину внутренней работы, инкубации беспрерывной, неуловимой?..»* Огарев по этому поводу заметил: «Я не вижу в историческом ходе рода людского этой беспрерывной, неуловимой инкубации. История шла гораздо больше борьбой и прыжками, чем творческой тишиной внутренней работы». В рукописи, против этого возражения Огарева, Герцен написал: «Я не говорил о беспрерывности, а говорю о теперешней минуте». Иными словами, Герцен хотел сказать, что он переживаемый момент считает таким моментом развития, когда происходит эта инкубационная работа, но отнюдь не отрицает необходимости взрыва в будущем. Тем не менее, в окончательном тексте писем «К старому товарищу» Герцен изменил это положение: он опустил мысль о беспрерывной неуловимой инкубации и сильнее выделил место о роли «акушера», насильственно вмешивающегося в роды в целях их облегчения.

Критикуя с неправильных позиций точку зрения Герцена о соотношении политического и экономического моментов в истории, Огарев, однако, натолкнул Герцена на необходимость более четкой постановки этого вопроса. Герцен в окончательной редакции «писем» не противопоставляет экономические «промахи» политическим, а показывает приоритет экономических факторов над политическими и связь между

* Этот вопрос текстуально повторяется и в черновом, зачеркнутом варианте писем «К старому товарищу» (к «письму первому»).

ними; он устранил оборот речи, который давал повод упрекнуть его в том, что он недооценивает роль политики. Более того, Герцен в письмах «К старому товарищу» специально останавливается на роли политического фактора в истории и в связи с этим рассматривает такой важный вопрос, как роль государства в историческом развитии. Именно по этому вопросу Герцен дает бой Бакунину. Герцен указывает, что государство не только играло, но и будет играть важную роль в историческом развитии. «Государство не имеет собственного определенного содержания,— пишет Герцен,— оно служит одинаково реакции и революции, тому, с чьей стороны сила; это — сочетание колес около общей оси; их удобно направлять туда или сюда, потому что единство движения дано, потому что оно примкнуто к одному центру. Комитет общественного спасения представлял сильнейшую государственную власть, направленную на разрушение монархии. Министр юстиции Дантон был министр революции». Дальше Герцен *прямо* говорит, что революционеры *должны* использовать государство которое, конечно, отомрет, но только в отдаленном будущем, принеся пользу революции. «Из того, что женщина беременна,— пишет Герцен,— никак не следует, что ей завтра следует родить. Из того, что государство — форма *преходящая*, не следует, что это форма уже *прешедшая*... С какого народа, в самом деле, может быть снята государственная опека, как лишняя перевязка, без раскрытия таких артерий и внутренностей, которые *теперь* наделают страшных бедствий, а *потом* спадут сами?» («третье письмо»).

Интересно указание Герцена на то, что важным фактором, определяющим необходимость сохранения государства, являются международные отношения в условиях классового общества. Народ, строящий новое общество, утверждает Герцен, не может безнаказанно приступить к этому строительству без государства, поскольку он окружен другими народами, «страстно держащимися за государство». «Можно ли говорить о скорой неминуемости безгосударственного устройства, когда уничтожение постоянных войск и разоружение составляют дальние идеалы? И что значит *отрицать* государство, когда главное условие выхода из него—*совершеннолетие* большинства» («третье письмо»).

Эти рассуждения Герцена были непосредственно направлены против Бакунина, ратовавшего за немедленное установление безгосударственного строя.

Таким образом, полемика, развернувшаяся вокруг писем «К старому товарищу» в момент их создания, помогла Герцену укрепиться на новых позициях, связанных с выработкой нового мировоззрения, соответствующего положению рабочего класса. Правда, Герцен сделал еще только первые, но зато решающие, шаги в этой области, приведшие его к полному разрыву с анархистом Бакуниным.

Классическую оценку содержания писем Герцена «К старому товарищу» дал Ленин в своей знаменитой статье «Памяти Герцена»: «У Герцена скептицизм был формой перехода от иллюзий „надклассового" буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата. Доказательство: „Письма к старому товарищу", Бакунину, написанные за год до смерти Герцена, в 1869-м году. Герцен рвет с анархистом Бакуниным. Правда, Герцен видит еще в этом разрыве только разногласие в тактике, а не пропасть между миросозерцанием уверенного в победе своего класса пролетария и отчаявшегося в своем спасении мелкого буржуа. Правда, Герцен повторяет опять и здесь старые буржуазно-демократические фразы, будто социализм должен выступать с „проповедью, равно обращенной к работнику и хозяину, земледельцу и мещанину". Но все же-таки, разрывая с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к *Интернационалу*, к тому Интернационалу, которым руководил Маркс,— к тому Интернационалу, который начал *„собирать полки"* пролетариата, объединять *„мир рабочий"*, „покидающий мир" пользующихся без работы"!» (Соч., т. 18, стр. 11).

Письма «К старому товарищу» открывали новый важный этап в духовном развитии Герцена от утопического к научному социализму. Преждевременная смерть оборвала этот этап в самом начале. Несколько месяцев спустя после создания «писем» Герцена не стало.

Д. Чесноков

ПОСЛЕДНЯЯ АВТОРСКАЯ РЕДАКЦИЯ ПИСЕМ «К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ»

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Выдающееся произведение Герцена — цикл полемических статей-писем против Бакунина, озаглавленный «К старому товарищу»,— не было опубликовано при жизни автора. В 1869 г. в письмах к Огареву Герцен не раз упоминал о том, что статьи против Бакунина он хотел бы напечатать (XXI, 279, 320, 374). Однако самому Герцену не суждено было осуществить этого намерения. «Письма» впервые увидели свет уже после смерти автора, в 1870 г., в «Сборнике посмертных статей», где они были напечатаны по подлинной рукописи. *Рукопись эта до сих пор оставалась неизвестной исследователям*; ныне она обнаружена в «пражской коллекции» Герцена — Огарева. Изучение автографа позволило установить, что в публикации 1870 г., до сих пор являвшейся первоисточником текста «писем», существует немало пробелов и неточностей. Издатели «Сборника» в «письме первом» опустили сопоставление «грядущего переворота» с мечтами фурьеристов (слова: «как мечтали о страстях фурьеристы»), в «письме втором» — определение задач «международного соединения работников» (т. е. 1-го Интернационала) как «вольного парламента четвертого состояния», и т. д.; в «третьем письме» вторая цитата из ответа Огарева, из сноски, куда ее поместил Герцен, оказалась перенесенной в основной текст. Некоторые места «писем» подверглись редакционным исправлениям. Отдельные слова при первой публикации «писем» были неверно прочитаны («примешивая» вместо «прилаживая» — в «письме первом»; «разъяснение» вместо «расчленение» и «обезоружение» вместо «разоружение» — в «третьем письме» и т. д.). В некоторых случаях эти ошибки изменяли смысл целой фразы. В тексте «Сборника», например, сказано: «Медленность, сбивчивость исторического хода понимания нас бесит и душит, она нам невыносима...» («письмо первое»). Между тем, анализ этого места в рукописи показывает, что слово «понимания» случайно осталось от написанной Герценом над строкой и потом вычеркнутой фразы и тоже должно быть опущено. А это существенно меняет самую мысль — речь идет, таким образом, *о медленности исторического процесса*, а не о медленности его познания. В «письме втором» Герцен пишет о «выгоде сводного хозяйства, общинных запашек полей», в «Сборнике» же напечатано: «*свободного* хозяйства». Вместо «взять неразвитие *силой* невозможно» («третье письмо») в «Сборнике» стояло: «взять неразвитие *силы* невозможно». Пропуск тире в предложении («третье письмо»): «Террор так же мало уничтожает предрассудки, как завоевание — народности» — делал утверждение Герцена двусмысленным. Совершенно произвольно поступали издатели «Сборника» с герценовским курсивом, обычно имеющим ярко выраженный смысловой характер.

В общей сложности количество исправлений, вносимых рукописью в первопечатный текст «писем», доходит до ста. При сопоставлении же подлинника с позднейшими изданиями писем «К старому товарищу» эта цифра значительно возрастает. Источником дальнейшей порчи герценовского текста — на этот раз преднамеренной — явилась царская цензура. Она осуществила свое варварское вмешательство в текст писем при их опубликовании в V томе так называемого «павленковского издания» собрания сочинений Герцена (СПб., 1905). Как это ни странно, но именно этот искаженный текст лег в основу публикации «писем» в томе XXI «Полного собрания сочинений и писем» Герцена под редакцией Лемке. Трудно объяснить, почему Лемке, не имея возможности обратиться к подлиннику, обратился не к первопечатной публикации «Сборника», а к изуродованному царскими цензорами тексту «павленковского издания», хотя дело, как известно, происходило уже в советское время (XXI том вышел в 1923 г.).

Публикация Лемке, в свою очередь, послужила дополнительным и — вследствие популярности издания — главным источником распространения дефектного текста, обедненного идейно и политически, а в ряде случаев и грубо искаженного. Игнорируя

первопечатный источник — «Сборник» 1870 года, новейшие редакторы сочинений Герцена обращались к текст у писем в издании Лемке и публиковали письма «К старому товарищу» (см. издания «Избранных философских произведений» 1940, 1946 и 1948 гг.) без таких, например, мест: «Государство, церковь, войско — отрицаются точно так же логически, как богословие, метафизика и пр. В известной научной сфере они осуждены, но вне ее академических стен они владеют всеми нравственными силами» («письмо первое»), или: «С консерватизмом народа труднее бороться, чем с консерватизмом трона и амвона. Правительство и церковь сами початы духом отрицания, борьба мысли недаром шла под их ударами — она заразила разящую руку; самозащищение правительства — корыстно и гонения церкви — лицемерны» («третье письмо»). В «письме втором» из характеристики «теократических и политических догматов» выпадало указание на догмат «надобно <...> царя слушаться»; после слов: «Отними у самого бедного мужика право завещать — и он возьмет кол в руки и пойдет защищать своих, свою семью и свою волю"» — опускалось: «т. е. непременно станет за попа, квартального и чиновника, т. е. за трех своих злейших опекунов, обирающих его, предупреждающих, чтоб он ничего не оставил своим, но не оскорбляющих его человеческое чувство к семье, как он его понимает»; опускались слова о том, что Аракчеев имел «за себя секущее войско, секущую полицию, императора, сенат и синод». Из издания в издание переходили купюры в начале «письма второго», где речь идет как раз о «международных работничьих съездах», т. е. о руководимом Марксом Интернационале. Из «третьего письма» выпадала характеристика польского восстания как «правого в требовании, мужественного в исполнении», исчезали слова: «как дева, бог весть с чего зачавшая», и т. п.

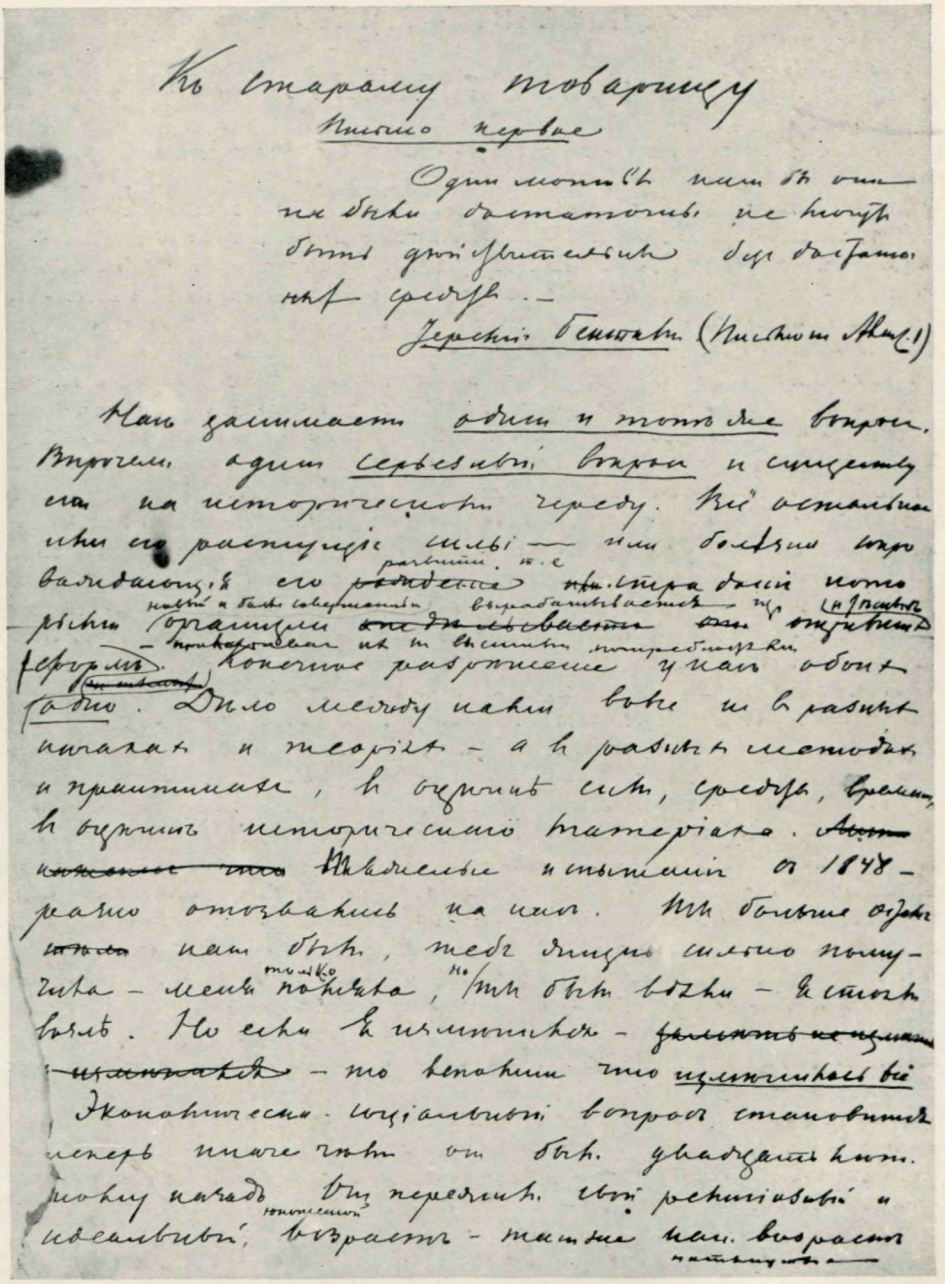
Публикация писем «К старому товарищу» по подлинной рукописи Герцена должна положить конец подобным недопустимым искажениям текста одного из наиболее выдающихся памятников русской революционной мысли.

Вместе с тем нельзя забывать об особенной судьбе замечательного произведения Герцена: работа над этой рукописью им *не была завершена*. Прервав шлифовку и уточнение текста осенью 1869 г., Герцен не имел, по ряду причин, возможности возобновить работу над «письмами» и умер, не доведя ее до конца. Характер публикуемого автографа не оставляет сомнений в том, что Герцен, если бы ему привелось самому подготовить рукопись к печати или править корректуры, внес бы в текст еще немало дополнений, исправлений и уточнений. Об этом свидетельствует наличие в рукописи нескольких мест, правка которых была Герценом начата, но не окончена. Это подтверждают также имеющиеся в автографе наброски вставок — они не отделаны и оставлены без точных указаний, куда намеревался автор их отнести.

Этими особенностями рукописи и объясняются, отчасти, многочисленные недостатки первой публикации «писем», в отношении текстологическом, недостатки, в отдельных случаях затруднявшие понимание мысли Герцена.

Мы не ставили своей задачей окончательное разрешение всех вопросов, связанных с текстом писем «К старому товарищу». Наша задача заключалась в том, чтобы подготовить и обнародовать все материалы, необходимые для исследования документа.

Для установления текста писем «К старому товарищу» мы располагаем в настоящее время в качестве источников: а) полной автографической черновой рукописью последней авторской редакции всех четырех писем «К старому товарищу»; б) рукописными фрагментами статьи Герцена «Между старичками» и других первоначальных редакций писем «К старому товарищу»; в) полемическими заметками Герцена на полях рукописей Огарева — его ответов «старому другу». Изучение всех рукописных источников позволяет *впервые документально установить текст последней авторской редакции* «писем» Герцена и воспроизвести его *полностью*. Прочитаны также и *публикуются все варианты рукописи*; сведенные воедино, они во многих случаях глубже разъясняют развитие мысли Герцена, сущность его замысла и пополняют драгоценными штрихами общую идейную характеристику выступления Герцена. В свете этих новых данных еще раз и с особенной силой выступает гениальная проникновенность и точность ленинской характеристики писем «К старому товарищу».



К старому товарищу

Письмо первое

Одни мысли нам бы они не были достаточны, не могут быть для убеждения без факта. нет средств. —

Герцен Бакунин. (Письмо 1-е)

Нам занимает одни и тот же вопрос. Впрочем, один серьезный вопрос и существует на исторической сцене. Все остальные — или болезни отживающей его расширяющейся силы — или болезни зарождающейся силы. т. е.

Нынешнее поколение русской образованности — по крайней мере его передовые органы — не только не сознает, но и не в состоянии потребности — потребности как-то высшего порядка.

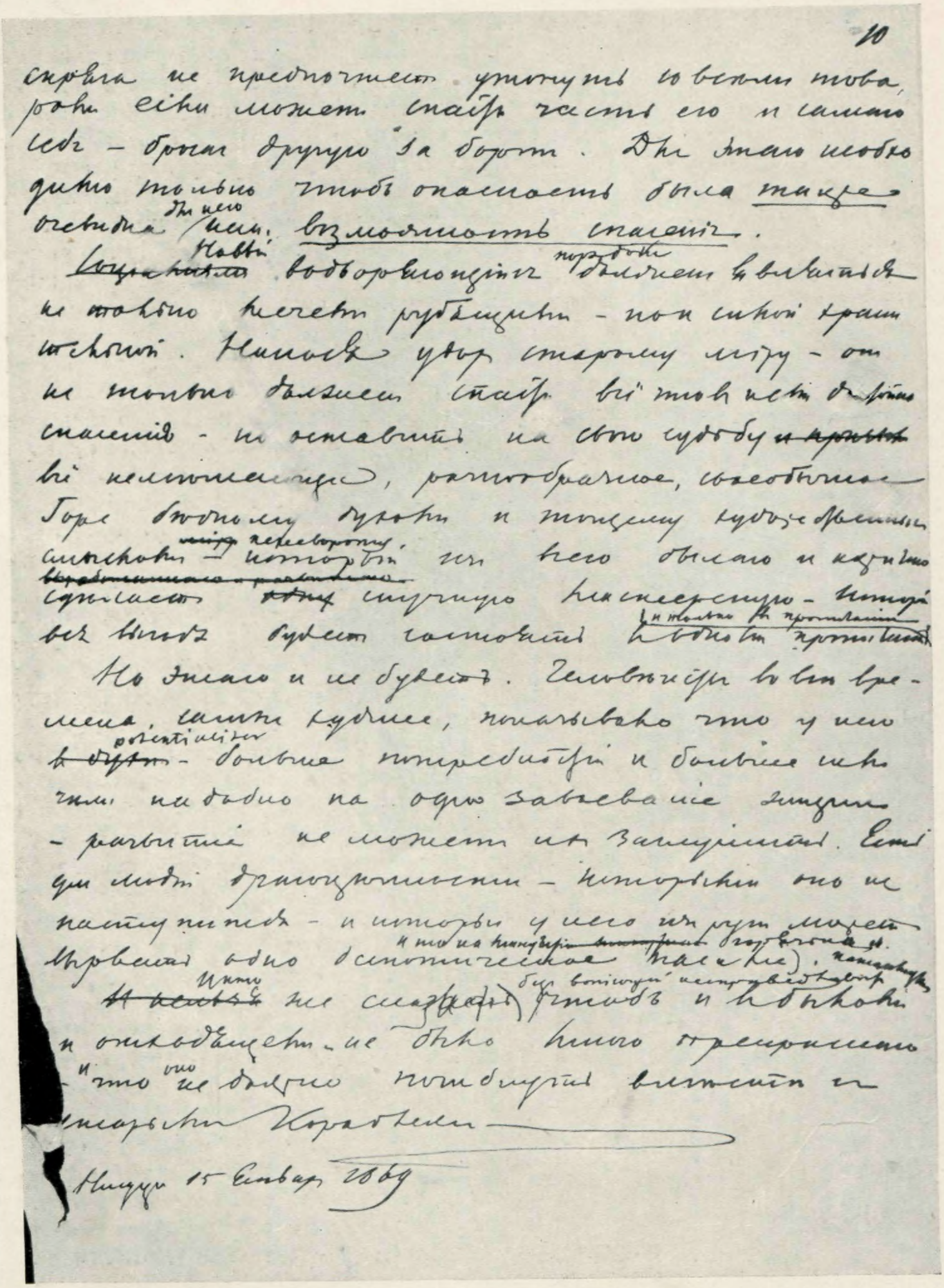
Европы, конечное разрешение у нас общих задач. Дело между нами вовсе не в разных началах и теориях — а в разных методах и приемах, в другом чувстве, среде, времени, в другом историческом материале. Наши ожидания и опыты 1848 — мало отозвались на нас. Мы больше отрицали, чем утверждали, тогда жизнь сильно потрясла — мы почувствовали, но не поняли. Мы были вовлечены — и стали вновь. Но если в нем — [illegible] — то вполне чтобы удержаться

Экономический — социальный вопрос становится теперь иначе для нас. удовлетворительному нашему разрешению. Мы перешли свой революционный и идеальный возраст — настало наше время

АВТОГРАФ ПЕРВОГО ПИСЬМА «К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ», 1869 г.

Лист первый

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва



10

скорее не предпочтет утопить со всеми това-
рами, если может спасти часть его и самого
себя — бросая другую за борт. Для этого необхо-
димо только, чтоб опасность была также
очевидна (для него), как возможность спасения.
~~Социальная~~ Новые водворяющиеся порядки должны являться
не только мечом рубящим — но силой храни-
тельной. Нанося удар старому миру — они
не только должны спасти все, что в нем достойно
спасения — но оставить на свою судьбу ~~и прочее~~
все немешающее, разнообразное, своеобычное.
Горе бедному духом и тощему художественным
смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого
сделает скучную мастерскую — которой
вся выгода будет состоять в одном пропитании.
Но этого и не будет. Человечество во все вре-
мена, самые худшие, показывало что у него
~~в духе~~ — больше потребностей и больше силы,
чем надобно на одно завоевание пищи
— развитие не может их заглушить. Есть
для людей драгоценности — которыми оно не
поступится — и которые у него из рук может
вырвать одно бешеное насилие.
~~И поэтому~~ Иного не сказать, чтоб и в былом
и отходящем не было много прекрасного
— и что оно не должно погибнуть вместе с
старыми кораблями —

Ницца 15 январ. 1869

АВТОГРАФ ПЕРВОГО ПИСЬМА «К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ», 1869 г.

Лист последний

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

«Одни мотивы, как бы они ни были достаточны, не могут быть действительны без достаточных средств».

Иеремия Бентам
(*Письмо к Александру* I)

Нас занимает *один и тот же* вопрос. Впрочем, один *серьезный вопрос* и существует на историческом череду. Всё остальное — или его растущие силы... или болезни, сопровождающие его развитие, т. е. страдания, которыми новый и более совершенный организм вырабатывается из отживших и тесных форм, прилаживая их к высшим потребностям. Конечное разрешение у нас обоих *одно*. Дело между нами вовсе не в разных началах и теориях, а в разных методах и практиках, в оценке сил, средств, времени, в оценке исторического материала. Тяжелые испытания с 1848 разно отозвались на нас. Ты больше остался, как был, тебя жизнь сильно помучила — меня только помяла, но ты был вдали — я стоял возле. Но если я изменился, то вспомни, что *изменилось всё*.

Экономически-социальный вопрос становится теперь иначе, чем он был двадцать лет тому назад. Он пережил свой религиозный и идеальный, юношеский возраст — так же, как возраст натянутых опытов и экспериментаций в малом виде, самый период жалоб, протеста, исключительной критики и обличенья приближается к концу. В этом великое знамение его совершеннолетия. Оно достигается наглядно, *но не достигнуто*, не от одних внешних препятствий, не от одного отпора, но и от внутренних причин. Меньшинство, идущее вперед, не доработалось до ясных истин, до практических путей, до полных формул будущего экономического быта. Большинство — наиболее страдающее — стремится одною частью (городских работников) выйти из него, но удержано старым, традиционным миросозерцанием другой и самой многочисленной части. Знание и пониманье не возьмешь никаким coup d'état * и никаким coup de tête **. Медленность, сбивчивость исторического хода нас бесит и душит, она нам невыносима, и многие из нас, изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других. Хорошо ли это, или нет? В этом весь вопрос.

Следует ли толчками возмущать с целью ускорения внутреннюю работу, которая очевидна? Сомнения нет, что акушер должен ускорять, облегчать, устранять препятствия, но в *известных* пределах — их трудно установить и страшно переступать. На это, сверх логического самоотвержения, надобен ⟨т⟩акт*** и вдохновенная импровизация. Сверх того, не везде одинакая работа — и одни пределы.

Петр I, Конвент научили нас шагать семимильными сапогами, шагать из первого месяца беременности в девятый и ломать без разбора всё, что попадется на дороге. Die zerstörende Lust ist eine schaffende Lust **** — и вперед за неизвестным богом-истребителем, спотыкаясь на разбитые сокровища — вместе со всяким мусором и хламом.

...Мы видели грозный пример кровавого восстания, в минуту отчаяния и гнева сошедшего на площадь и спохватившегося на баррикадах, что у него нет знамени. Сплоченный в одну дружину мир консервативный побил его — и следствие этого было то ретроградное движение, которого следовало ожидать — но что было бы, если б победа стала на сторону

---

* государственным переворотом (франц.).
** наскоком (франц.).
*** *Рукопись повреждена.*
**** Страсть разрушенья есть творческая страсть ⟨Бакунин⟩.

баррикад? — в двадцать лет грозные бойцы высказали всё, что у них было за душой?.. Ни одной построяющей, органической мысли мы не находим в их завете, а экономические промахи, не косвенно, как политические, а прямо и глубже ведут к разорению, к застою, к голодной смерти.

Наше время — именно время окончательного изучения, того изучения, которое должно предшествовать работе осуществления так, как теория паров предшествовала железным дорогам. Прежде дело хотели взять грудью, усердием, отвагой и шли зря, на авось — мы на авось не пойдем.

Ясно видим мы, что дальше дела́ не могут идти так, как шли, что конец исключительному царству капитала и безусловному праву собственности так же пришел, как некогда пришел конец царству феодальному и аристократическому. Как перед 1789 обмиранье мира средневекового началось с сознания несправедливого соподчинения среднего сословия, так и теперь переворот экономический начался сознанием общественной неправды относительно работников. Как тогда упрямство и вырождение дворянства помогли собственной гибели, так и теперь упрямая и выродившаяся буржуазия тянет сама себя в могилу.

Но общее постановление задачи не дает ни путей, ни средств, ни даже достаточной среды. Насильем их не завоюешь. Подорванный порохом весь мир буржуазный, когда уляжется дым и расчистятся развалины, снова начнет с разными изменениями *какой-нибудь буржуазный* мир. Потому что он *внутри не кончен и потому еще, что ни мир построяющий, ни новая организация* не настолько готовы, чтоб пополниться, осуществляясь. Ни одна основа из тех, на которых покоится современный порядок, из тех, которые должны рухнуть и пересоздаться, не настолько почата и расшатана, чтоб ее достаточно было вырвать силой, чтоб исключить из жизни. Государство, церковь, войско отрицаются точно так же логически, как богословие, метафизика и пр. В известной научной сфере они осуждены, но вне ее академических стен они владеют всеми нравственными силами.

Пусть каждый добросовестный человек сам себя спросит, готов ли он? Так ли ясна для него новая организация, к которой мы идем, как общие идеалы — коллективной собственности, солидарности,— и знает ли он процесс (кроме простого ломанья), которым должно совершиться превращение в нее старых форм? И пусть, если он лично доволен собой, пусть скажет, готова ли та среда, которая по положению должна первая ринуться в дело?

Знание неотразимо—но оно не имеет принудительных средств —излеченье от предрассудков медленно, имеет свои фазы и кризисы. Насильем и террором распространяются религии и политики, учреждаются самодержавные империи и нераздельные республики — насильем можно разрушать и расчищать место — не больше. Петрограндизмом социальный переворот дальше каторжного равенства Гракха Бабёфа и коммунистической барщины Кабе не пойдет. Новые формы должны всё обнять и вместить в себе все элементы современной деятельности и всех человеческих стремлений. Из нашего мира не сделаешь ни Спарту, ни бенедиктинский монастырь. Не душить одни стихии в пользу других следует грядущему перевороту, а уметь все согласовать к общему благу (как мечтали о страстях фурьеристы).

Экономический переворот имеет необъятное преимущество перед всеми религиозными и политическими революциями — в трезвости своей основы. Таковы должны быть и пути его — таково обращение с данными. По мере того как он вырастает из состояния неопределенного страданья и недовольства, он невольно становится на *реальную почву*, тогда как все другие перевороты постоянно оставались одной

Россійская Соціаль-Дем. Рабочая Партія.

Le SOCIAL-DEMOCRATE

Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь!

СОЦІАЛЬДЕМОКРАТЪ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАНЪ СОЦІАЛЬ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТІИ.

№ 26. Среда 8 мая (25 апрѣля) 1912 года. Цѣна 30 сант.

Памяти Герцена.

Минуло сто лѣтъ со дня рожденія Герцена. Чествуетъ его вся либеральная Россія, заботливо обходя серьезные вопросы соціализма, тщательно скрывая, чѣмъ отличался революціонеръ Герценъ отъ либерала. Поминаетъ Герцена и правая печать, облыжно увѣряя, что Герценъ отрекся подъ конецъ жизни отъ революціи. А въ заграничныхъ, либеральныхъ и народническихъ, рѣчахъ о Герценѣ царитъ фраза и фраза.

Рабочая партія должна помянуть Герцена не ради обывательскаго славословія, а для уясненія своихъ задачъ, для уясненія настоящаго историческаго мѣста писателя, сыгравшаго великую роль въ подготовкѣ русской революціи.

Герценъ принадлежалъ къ поколѣнію дворянскихъ, помѣщичьихъ революціонеровъ первой половины прошлаго вѣка. Дворяне дали Россіи Бироновъ и Аракчеевыхъ, безчисленное количество «пьяныхъ офицеровъ, забіякъ, карточныхъ игроковъ, героевъ ярмарокъ, псарей, драчуновъ, сѣкуновъ, серальниковъ», да прекраснодушныхъ Маниловыхъ. «И между ними — писалъ Герценъ — развились люди 14 декабря, фаланга героевъ, выкормленныхъ, какъ Ромулъ и Ремъ, молокомъ дикаго звѣря. Это какіе то богатыри, кованые изъ чистой стали съ головы до ногъ, воины—сподвижники, вышедшіе сознательно на явную гибель, чтобы разбудить къ новой жизни молодое поколѣніе и очистить дѣтей, рожденныхъ въ средѣ палачества и раболѣпія».

Къ числу такихъ дѣтей принадлежалъ Герценъ. Возстаніе декабристовъ разбудило и «очистило» его. Въ крѣпостной Россіи 40-хъ годовъ 19 вѣка онъ сумѣлъ подняться на такую высоту, что всталъ въ уровень съ величайшими мыслителями своего времени. Онъ усвоилъ діалектику Гегеля. Онъ понялъ, что она представляетъ изъ себя «алгебру революціи». Онъ пошелъ дальше Гегеля, къ матеріализму, вслѣдъ за Фейербахомъ. Первое изъ «Писемъ объ изученіи природы», — «Эмпирія и идеализмъ», — написанное въ 1844 году, показываетъ намъ мыслителя, который, даже теперь, головой выше бездны современныхъ естествоиспытателей-эмпириковъ и тьмы темъ нынѣшнихъ философовъ, идеалистовъ и полуидеалистовъ. Герценъ вплотную подошелъ къ діалектическому матеріализму и остановился передъ — историческимъ матеріализмомъ.

Эта «остановка» и вызвала духовный крахъ Герцена послѣ пораженія революціи 1848 г. Герценъ покинулъ уже Россію и наблюдалъ эту революцію непосредственно. Онъ былъ тогда демократомъ, революціонеромъ, соціалистомъ. Но его «соціализмъ» принадлежалъ къ числу тѣхъ безчисленныхъ въ эпоху 48-го года формъ и разновидностей буржуазнаго и мелкобуржуазнаго соціализма, которыя были окончательно убиты іюньскими днями. Въ сущности, это былъ вовсе не соціализмъ, а прекраснодушная фраза, доброе мечтаніе, въ которое облекала свою тогдашнюю революціонность буржуазная демократія, а равно не высвободившійся изъ подъ ея вліянія пролетаріатъ.

Духовный крахъ Герцена, его глубокій скептицизмъ и пессимизмъ послѣ 1848-го года былъ крахомъ *буржуазныхъ иллюзій* въ соціализмѣ. Духовная драма Герцена была порожденіемъ и отраженіемъ той всемірноисторической эпохи, когда революціонность буржуазной демократіи уже умирала (въ Европѣ), а революціонность соціалистическаго пролетаріата *еще не* созрѣла. Этого не поняли и не могли понять рыцари либеральнаго россійскаго языкоблудія, которые прикрываютъ теперь свою контръ-революціонность цвѣтистыми фразами о скептицизмѣ Герцена. У этихъ рыцарей, которые предали русскую революцію 1905-го года, которые забыли и думать о великомъ званіи *революціонера*, скептицизмъ есть форма перехода отъ демократіи къ либерализму, — къ тому холуйскому, подлому, грязному и звѣрскому либерализму, который разстрѣливалъ рабочихъ въ 48 году, который возстановлялъ разрушенные троны, который рукоплескалъ Наполеону III и который *проклиналъ*, не умѣя понять его классовой природы. Герценъ.

У Герцена скептицизмъ былъ формой перехода отъ иллюзій «надкласснаго» буржуазнаго демократизма къ суровой, непреклонной, непобѣдимой классовой борьбѣ пролетаріата. Доказательство: «Письма къ старому товарищу», Бакунину, написанныя за годъ до смерти Герцена, въ 1869-мъ году. Герценъ рветъ съ анархистомъ Бакунинымъ. Правда, Герценъ видитъ еще въ этомъ разрывѣ только разногласіе въ тактикѣ, а не пропасть между міросозерцаніемъ увѣреннаго въ побѣдѣ своего класса пролетарія и отчаявшагося въ своемъ спасеніи мелкаго буржуа. Правда, Герценъ повторяетъ опять и здѣсь старыя буржуазнодемократическія фразы, будто соціализмъ долженъ выступать съ «проповѣдью равно обращенной къ работнику и хозяину, земледѣльцу и мѣщанину». Но все-же-таки, разрывая съ Бакунинымъ, Герценъ обратилъ свои взоры не къ либерализму, а къ *Интернаціоналу*, къ тому Интернаціоналу, которымъ руководилъ Марксъ, — къ тому Интернаціоналу, который началъ «*собирать полки*» пролетаріата, объединять «*міръ рабочій*», «покидающій міръ пользующихся безъ работы»!

Не понявъ буржуазнодемократической сущности всего движенія 1848-го года и всѣхъ формъ до-марксовскаго соціализма, Герценъ тѣмъ болѣе не могъ понять буржуазной природы русской революціи. Герценъ — основоположникъ «русскаго» соціализма, «народничества». Герценъ видѣлъ «соціализмъ» въ освобожденіи крестьянъ *съ землей*, въ общинномъ землевладѣніи и въ крестьянской идеѣ «права на землю». Свои излюбленныя мысли на эту тему онъ развивалъ безчисленное количество разъ.

На дѣлѣ въ этомъ ученіи Герцена, какъ и во всемъ русскомъ народничествѣ — вплоть до полинявшаго народничества теперешнихъ «соціалистовъ-революціонеровъ» — нѣтъ *ни грана* соціализма. Это — такая же прекраснодушная фраза, такое же доброе мечтаніе, облекающее *революціонность* буржуазной крестьянской демократіи въ Россіи, какъ и разныя формы «соціализма» 48-го года» на западѣ. Чѣмъ больше земли получили бы крестьяне въ 1861-омъ году и чѣмъ дешевле бы они ее получили, тѣмъ сильнѣе была бы подорвана власть крѣпостниковъ помѣщиковъ, тѣмъ быстрѣе, свободнѣе и шире шло бы развитіе капитализма въ Россіи. Идея «права на землю» и «уравнительнаго раздѣла земли» есть не что иное какъ формулировка революціонныхъ стремленій къ равенству со стороны крестьянъ, борющихся за полное свержение помѣщичьей власти, за полное уничтоженіе помѣщичьяго землевладѣнія.

Революція 1905-го года вполнѣ доказала это: съ одной стороны, пролетаріатъ выступилъ вполнѣ самостоятельно во главѣ революціонной борьбы, создавъ соц.-дем. рабочую партію; съ другой стороны, революціонные крестьяне («трудовики» и «крестьянскій союзъ»), борясь за всякія формы уничтоженія помѣщичьяго землевладѣнія вплоть до «отмѣны частной собственности на землю», боролись именно какъ хозяева, какъ мелкіе предприниматели.

Въ настоящее время словопренія насчетъ «соціалистичности» права на землю и т. п. служатъ только къ *затемненію* и прикрытію дѣйствительно важнаго и серьезнаго историческаго вопроса: о различіи *интересовъ* либеральной буржуазіи и революціоннаго крестьянства въ русской *буржуазной* революціи; иначе говоря, о либеральной и демократической, о «соглашательской» (монархической) и республиканской тенденціи въ этой революціи. Именно этотъ вопросъ поставленъ «Колоколомъ» Герцена, если смотрѣть на суть дѣла, а не на фразы, — если изслѣдовать классовую борьбу, какъ основу «теорій» и ученій, а не наоборотъ.

Герценъ создалъ вольную русскую прессу заграницей

НОМЕР ГАЗЕТЫ «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» ОТ 8 МАЯ (25 АПРЕЛЯ) 1912 г.
ЗДЕСЬ БЫЛА ВПЕРВЫЕ НАПЕЧАТАНА СТАТЬЯ В. И. ЛЕНИНА «ПАМЯТИ ГЕРЦЕНА»

Заголовок газеты и начало статьи с цитатой из писем «К старому товарищу»

Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК КПСС, Москва

ногой в фантазиях, мистицизмах, верованиях и неоправданных предрассудках, патриотических, юридических и пр.

Экономические вопросы подлежат математическим законам. Конечно, математический как и всякий научный закон носит доказательств⟨а⟩ в самом себе и не нуждается ни в эмпирическом оправдании, ни в большинстве голосов. Но для *приложения* — эмпирическая сторона и все внешние условия осуществления выступают на первый план. «Мотивы могут быть истинны, но без достаточных средств они не осуществятся». Всё это принято во всех делах человеческих и обходится слишком сангвиническими людьми в деле такого значения, как общественное пересоздание. Какой механик не знает, что его выкладка, формула не перейдет в действительность, пока в ряду явлений, захватываемых им, будут элементы, не подчиняющиеся, посторонние или подлежащие другим законам. Большей частью в физическом мире эти возмущающие элементы несложны и легко вводятся в нее, как вес линии маятника, упругость среды, в которой делаются его размахи, и пр. В мире исторического развития это не так просто. Процессы общественного роста, их отклонения и уклонения, их последние результаты до того переплелись, до того неразымчато взошли в глубочайшую глубь народного сознания, что приступ ⟨к⟩ ним вовсе не легок, что с ними надобно очень считаться — и одним реестром отрицаемого, отданным, как в «приказе по социальной армии», ничего, кроме путаницы, не сделаешь.

Против ложных догматов, против верований, как бы они ни были безумны, одним отрицаньем, как бы оно ни было умно, бороться нельзя. Сказать «не верь!» так же авторитетно и, в сущности, нелепо, как сказать «верь!» Старый порядок вещей крепче *признанием его*, чем материальной силой, его поддерживающей. Это всего яснее там, где у него нет ни карательной, ни принудительной силы, где он твердо покоится на *невольной* совести, на неразвитости ума и на незрелости новых воззрений *, как в Швейцарии и Англии.

Народное сознание так, как оно выработалось, представляет естественное, само собой сложившееся, безответственное, *сырое* произведение разных усилий, попыток, событий, удач и неудач людского сожития, разных инстинктов и столкновений — его надобно принимать за естественный факт и бороться с ним, как мы боремся со всем бессознательным, — изучая его, овладевая им и направляя его же средства сообразно нашей цели.

В социальных нелепостях современного быта никто не виноват, и никто не может быть казнен — с большей справедливостью, чем море, которое сек персидский царь, или вечевой колокол, наказанный Иоанном Грозным. Вообще винить, наказывать, отдавать на копья — всё это становится ниже нашего пониманья. Надобно проще смотреть, физиологичнее, и окончательно пожертвовать уголовной точкой зрения, а она, по несчастью, прорывается и мешает понятия, вводя личные страсти в общее дело и превратную перестановку невольных событий в преднамеренный заговор. Собственность, семья, церковь, государство были огромными воспитательными нормами человеческого освобождения и развития — мы выходим из них по миновании надобности.

---

* Что говорить о папских силабусах и индексах, о полицейских наказаниях за такие-то и такие-то мнения, о сенатских решениях философских вопросов, когда неясность, сбивчивость самых элементарных понятий поражают в мире *свободного мышления*, в высших сферах оппозиций и революции... Вспомни старый спор Маццини против Прудона и новое препирательство о вменении, о воле, об идеализме, о позитивизме — Жирарден, Луи Блан, Жюль Симон.— *Примеч. Герцена.*

Обрушивать ответственность за былое и современное на последних представителей «прежней правды», делающейся «настоящей неправдой», так же нелепо, как было нелепо и несправедливо казнить французских маркизов за то, что они не якобинцы, и еще хуже — потому что мы за себя не имеем якобинского оправдания — наивной веры в свою правоту, в свое право. Мы изменяем основным началам нашего воззрения, осуждая целые сословия и в то же время отвергая уголовную ответственность отдельного лица. Это мимоходом — для того, чтоб не возвращаться.

Прежние перевороты делались в сумерках, сбивались с пути, шли назад, спотыкались и, в силу внутренней неясности, требовали бездну всякой всячины, разных вер и геройств, множества выспренних добродетелей, патриотизмов, пиэтизмов. Социальному перевороту ничего не нужно, кроме *пониманья и силы*, знанья — и средств.

Но пониманье страшно обязывает. Он〈о〉 имеет свои неотступные угрызения разума и неумолимые упреки логики.

Пока социальная мысль была неопределенна, ее проповедники — сами верующие и фанатики — обращались к страстям и фантазии столько, сколько к уму. Они грозили собственникам карой и разорением, позорили, стыдили их богатством, склоняли их на добровольную бедность страшной картиной ее страданий. (Странное captatio benevolentiae * — согласись). Из этих средств социализм вырос. Не то надобно доказать собственникам и капитал〈ист〉ам, что их обладание грешно, безнравственно, беззаконно — понятия, взятые из совсем иного миросозерцания, чем наше, — а то, что *нелепость* его пришла к сознанию неимущих, в силу чего оно становится *невозможным*. Им надобно показать, что борьба против неотвратимого — бессмысленное истощение сил и что чем она упорнее и длиннее, тем к бо́льшим потерям и гибелям она приведет. Твердыню собственности и капитала надобно потрясти расчетом, двойной бухгалтерией, ясным балансом дебета и кредита. Самый отчаянный скряга не предпочтет утонуть со всем товаром, если может спасти часть его и самого себя, бросая другую за борт. Для этого необходимо только, чтоб опасность была *так же* очевидна для него, как *возможность спасения*.

Новый водворяющийся порядок должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной. Нанося удар старому миру, он не только должен спасти всё, что в нем достойно спасения, но оставить на свою судьбу всё не мешающее, разнообразное, своеобычное. Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании.

Но этого и не будет. Человечество во все времена, самые худшие, показывало, что у него в potenzialità** — больше потребностей и больше сил, чем надобно на одно завоевание жизни — развитие не может их заглушить. Есть для людей драгоценности, которыми оно не поступится и которые у него из рук может вырвать одно деспотическое насилие, и то на минуты горячки и катаклизма.

И кто же скажет без вопиющей несправедливости, чтоб и в былом и отходящем не было много прекрасного и что оно *** должно погибнуть вместе с старым кораблем.

Ницца. 15 января 1869

---

* домогательство благоволения (лат.).
** возможности (итал.).
*** *Далее, очевидно по ошибке:* не

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Международные работничьи съезды становятся ассизами *, перед которыми вызывается один социальный вопрос за другим; они получают больше и больше организующий склад, их члены — эксперты и следопроизводители. Они самую стачку и остановку работ допускают, как тяжелую необходимость, как pis aller**, как средство сосчитать свою силу, как боевую организацию. Серьезный характер их поразил врагов. Сильное *их покоя* испугало фабрикантов и заводчиков. Было бы огромное несчастие, если б они преждевременно вышли из этого строя.

Работники, соединяясь между собой, выделяясь в особое «государство в государстве», достигающее своего устройства и своих прав помимо капиталистов и собственников, помимо политических границ и границ церковных, составляют первую сеть и первый всход будущего экономического устройства. Международный союз может вырасти в Авентинскую гору à l'intérieur***—отступая на нее, мир рабочих, сплоченный между собой, покинет мир, пользующийся без работы, на свою доходную непроизводительность... и он, отлученный, nolens-volens, пойдет на сделки. А не пойдет — тем хуже для него, он сам себя поставит *вне закона* — и тогда гибель его отсрочится только настолько, насколько у нового мира нет сил. А пока их нет — надобно в тиши собирать полки́ и не грозить. Угроза при бессилии вредна. Подавленный взрыв двинет назад. Досуг нужен для двойной работы — серьезного изученья и вербованья пониманьем,— а настороженный враг, имеющий силу в руках, схватится за оружие для своей обороны прежде, чем противный стан успеет построиться. Уничтожать и топтать всходы легче, чем торопить их рост. Тот, кто не хочет ждать и работать, тот идет по старой колее пророков и прорицателей, иересиархов, фанатиков и цеховых революционеров. А всякое дело, совершающееся при пособии элементов безумных, мистических, фантастических, в последних выводах своих непременно будет иметь и безумные результаты рядом с дельными. Сверх того, пути эти всё больше и больше зарастают для нас травой, пониманье и обсуживание — наше единственное оружие. Теократические и политические догматы не требуют пониманья, они даже тверже и крепче покоятся на вере, без духа критики и анализа. «Папу надобно считать непогрешимым, царя слушаться, отечество защищать, писания и предписания исполнять...» Всё прошлое, из которого мы хотим выйти, так и шло. Менялись формы, образы, обряды — сущность оставалась та же. Человек, склонявший голову перед капуцином, идущим с крестом, делал то же, что человек, склоняющий голову перед решением суда, как бы оно нелепо ни было. Из этого-то мира нравственной неволи и подавторитетности, повторяю, мы и бьемся выйти в ширь пониманья, в мир *свободы в разуме.* Всякие попытки обойти, перескочить сразу — от нетерпенья, увлечь авторитетом или страстью—приведут к страшнейшим столкновениям и, что хуже, к почти неминуемым поражениям. Обойти процесс пониманья так же невозможно, как обойти вопрос о силе. Навязываемое предрешение всего, что *составляет вопрос*, поступает очень бесцеремонно с *освобожденным веществом.* Взять вдруг человека, умственно дремавшего, и огорошить его в первую минуту, спросонья, рядом мыслей, сбивающих все его нравственные понятия и к которым ему не поставлено лестницы, вряд ли много послужит развитию! — а скорее смутит, собьет с толку оглушенного или, обратным действием, оттолкнет его в свирепый консерватизм.

---

* судилищами (франц. «assises»).
** крайнее средство (франц.).
*** внутри ⟨т. е. в недрах буржуазного мира⟩ (франц.).

Я нисколько не боюсь слова «постепенность», опошленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих властей. Постепенность так, как непрерывность, неотъемлемы всякому процессу разуменья. Математика передается постепенно, отчего же конечные выводы мысли и социологии могут прививаться, как оспа, или вливаться в мозг так, как вливают лошадям сразу лекарства в рот?

Между конечными выводами и современным состоянием есть практические облегчения, компромиссы, диагонали, пути. Понять, которые из них короче, удобнее, возможнее — дело практического такта, дело революционной стратегии. Идя без оглядки вперед, можно затесаться, как Наполеон в Москву,— и погибнуть, отступая от нее и не доходя даже до Березины.

Международное соединение работников, всевозможные соединения их, их органы и представители должны всеми силами достигать того невмешательства власти в *работу*, которое она не делает в *управлении собственностью*, должны становиться вольным парламентом четвертого состояния и вырабатывать свою внутреннюю организацию, будущую канву, без всяких вперед идущих теодицей и космологий.

Формы, сдерживающие людей в полунасильственных и в полудобровольных ковах, à la longue * не вынесут напора логики и развития общественного пониманья. Одни из них до того внутри сгнили, что им — дать толчок ногой; другие, как рак, держатся корнями в дурной крови. Ломая одинаким образом те и другие, можно убить организм и наверное заставить огромное большинство отпрянуть. Всего яростнее восстанут за «рака» наиболее страдающие от него... Это очень глупо, но пора с глупостью считаться, как с громадной силой.

Во всей Европе подымется за старые порядки сплошь всё крестьянское население. А разве мы не знаем, что такое сельское население? Какова его упорная сила и упорная косность? Отобрав из рук революции земли эмигрантов, оно-то и подсидело республику и революцию. Конечно, оно отпрянет и накинется по неразумью и невежеству... но в этом-то вся важность.

На неразумье и невежестве зиждется вся прочность существующего порядка, на них покоятся старые, устарелые воспитательные формы, в которых люди вырастали из несовершеннолетия и которые жмут теперь меньшинство, но которых вредную ненужность большинство не понимает. Мы знаем, что значит ошибиться в возрасте и в степени пониманья. Всеобщая подача голосов, навязанная неприготовленному народу, послужила бы для него бритвой, которой он чуть не зарезался.

Но если понятия государства, суда сильны и крепки, то еще крепче укоренены понятия о семье, о собственности, о наследстве... Отрицание собственности — само по себе бессмыслица; «собственность не погибнет», скажу, парафразируя известную фразу Люд⟨овика⟩-Филип⟨па⟩. Видоизменение ее, вроде перехода из *личной* в *коллективную*, неясно и неопределенно. Крестьянину на Западе так же необходимо привилась его любовь к *своей* земле, как в России легко понимается крестьянством общинное владение. Нелепого тут ничего нет. Собственность, и особенно поземельная, для западного человека представлялась освобождением, его самобытностью, его достоинством и величайшим гражданским значением... Может быть, он убедится в невыгоде беспрерывно крошащихся и дробимых участков и в выгоде сводного хозяйства, общинных запашек, полей... но как же его «без пристрастия» уломать, чтоб он спервоначала отказался от веками взлелеянной мечты, которой он жил и тешился и которая, действительно, поставила его на ноги — прикрепила *к нему* землю — к которой *он* был прежде крепок?

---

* с течением времени (франц.).

Вопрос, прямо идущий затем, — вопрос о наследстве, еще труднее. Кроме холостых фанатиков вроде монахов, раскольников, икариан и пр., никакая масса не согласится на безусловное отречение от права завещать какую-нибудь часть своего достояния своим наследникам. Я не знаю довода, по которому было бы можно противудействовать против этой формы любви избирательной или кровной, против передачи вместе с жизнию, с чертами, даже с болезнями — вещей, служивших мне орудием? Разве, во имя обязательного *братства* и *любви ко всем*? В худшем человеческом положении — у дворовых крепостных людей были кой-какие тряпки, которые они оставляли своим и которые почти никогда не отбирались помещиками. Отними у самого бедного мужика право завещать — и он возьмет кол в руки и пойдет защищать «своих, свою семью и свою волю», т. е. непременно станет за попа, квартального и чиновника, т. е. за трех своих злейших опекунов, обирающих его, предупреждающих, чтоб он ничего не оставил своим, но не оскорбляющих его человеческое чувство к семье, как он его* понимает.

— Что же тогда?.. Или свернуть свое знамя и отступить, потому что сила, очевидно, будет с их стороны, или ринуться в бой и в случае местной, временной победы начать водворение нового порядка — нового освобождения ... избиением!

Аракчееву было сполагоря вводить свои военно-экономические утопии, имея за себя секущее войско, секущую полицию, императора, сенат и синод, да и то ничего не сделал. А за упразднением государства — откуда брать «экзекуцию», палачей и пуще всего фискалов — в них будет огромная потребность? Не начать ли новую жизнь с сохранения социального корпуса жандармов?

Неужели цивилизация кнутом, освобождение гильотиной составляют вечную необходимость всякого шага вперед?..

...Дальше я не пойду теперь. А скажу в заключение вот что. Стоя возле трупов, возле ядрами разрушенных домов, слушая в лихорадке, как расстреливали пленных, я всем сердцем и всеми помышлениями звал дикие силы на месть и разрушение старой, преступной веси, — звал, даже не очень думая, чем она заменится.

С тех пор прошло двадцать лет.

Месть пришла с другой стороны, месть пришла сверху... Народы всё вынесли, *потому что ничего не понимали*, ни тогда, ни после; середина вся растоптана и втоптана в грязь... Длинное, тяжелое время дало досуг страстям успокоиться и мыслям отстояться, дало досуг на обдумание и наблюдение.

Ни ты, ни я, мы не изменили наших убеждений, но разно стали к вопросу. Ты рвешься вперед попрежнему со страстью разрушенья, которую принимаешь за творческую страсть... ломая препятствия и уважая историю только в будущем. Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять *шаг людской* в былом и настоящем, для того, чтоб знать, как идти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за мной — не могут идти.

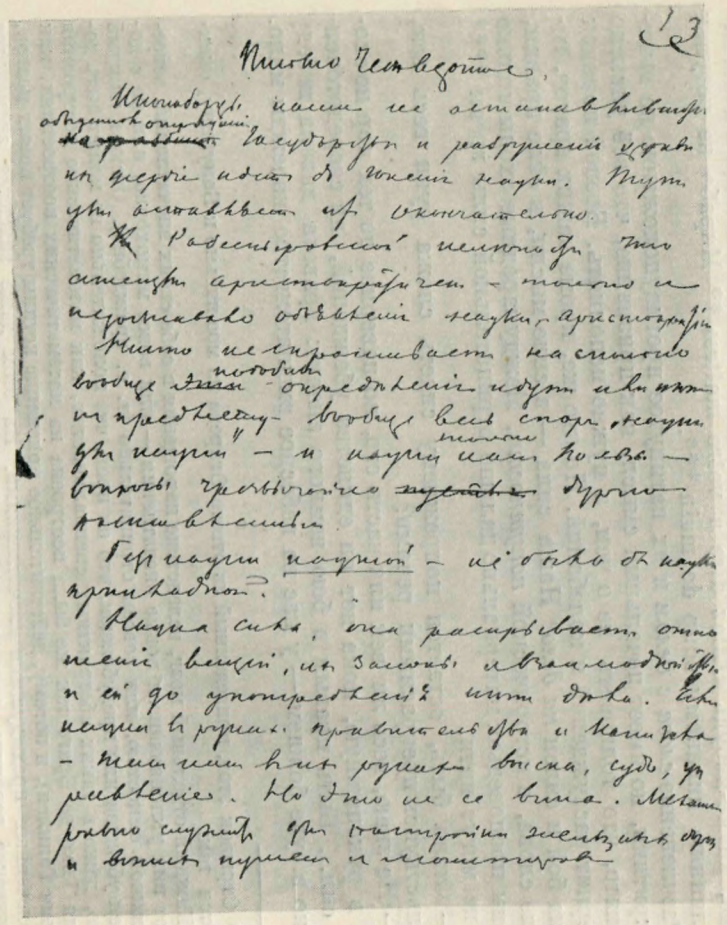
И еще слово. Высказать это в том кругу, в котором мы живем, требует, если не больше, то, конечно, не меньше мужества и самостоятельности, как брать во всех вопросах самую крайнюю крайность. Я думаю, ты со мной согласишься в этом...

И⟨скандер⟩

25 января 1869
Nizza.

---

* *В рукописи, очевидно по ошибке:* их



Письмо четвертое.

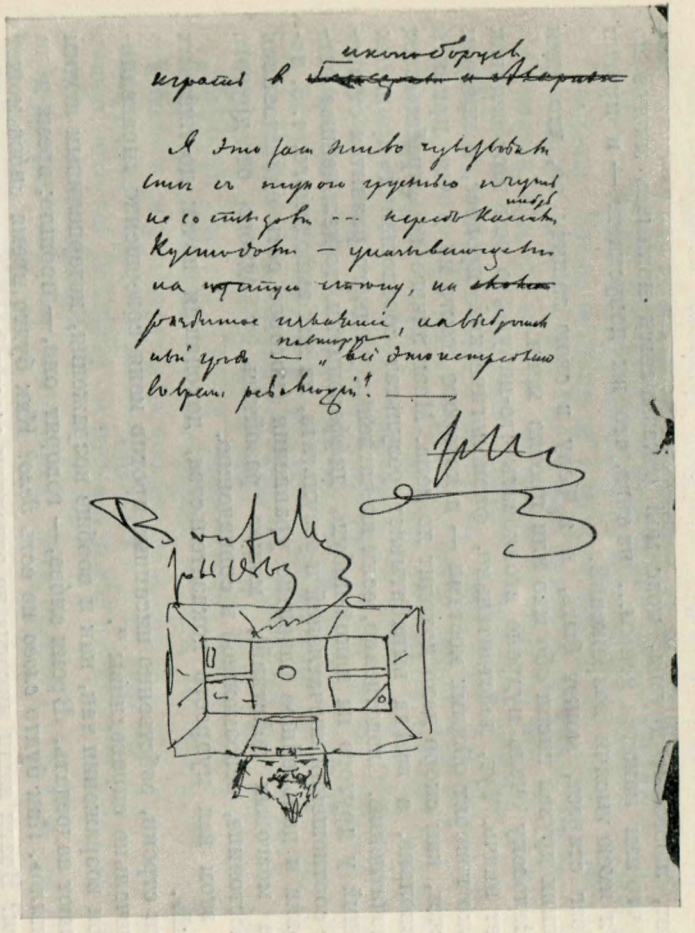
Шелгунов начал ее отличать от объективного описания и разрушений ... на первом листе в своей науке. Тут ... отличается ... окончательно.

Разбегаются ... от ... аристократически - только ... определений науки, аристократия ...

Никто не ... на ... вообще ... определений идут ... на предмет ... вообще весь спор ... науки — и науки ... вопросы чрезвычайно ... ... отличаются.

Где наука наука? — не было ... науки ...?

Наука сила, она ... отношений вещей, их законы и ... и ей до употребления ... дела. ... науки в руках правительства и капитала — тем ... ... суд, ... развитие. Но это не ... Механика равно служит ... построить ... и взять ... и ...



Я это ... живо чувствовал ... с тупою грустью ... не со стыдом — перед Калиф Курицыной — удивившегося на ... ... развитые чувства, и выбросил ... — „всё это ... время революций!" —

АВТОГРАФ ЧЕТВЕРТОГО ПИСЬМА «К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ», 1869 г.

Листы первый и последний

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО

Нет, любезные друзья, мозг мой отказывается понимать многое из того, что вам кажется ясным... из того, что вы допускаете — и против чего я имею тысячи возражений.

Мозг стареет, может быть, и я беру в свою защиту то, что один из наших друзей писал обо мне или против меня.

«Человеку очень мудрено втолковать что-нибудь, о чем этот человек думает иначе. Тут, действительно, физиологический процесс, о котором столько говорят общими местами — и которого никто не хочет принять в расчет, как скоро дело доходит до дела. Мозг ничего не вырабатывает произвольно, а всегда вырабатывает результат соотношения принятых им впечатлений. Следственно, если впечатления у одного разнятся от впечатлений у другого на какой-нибудь дифференциал, то дальнейшее развитие соотношения впечатлений и результата, из них выводимого, т. е. постановка и дальнейшее развитие уравнения (которое есть единственная форма мозговых действий), может разойтись у одного от другого на расстояние, невозможное к совпадению.

В этом вся мудрость доказательства, доходящая почти до тщетных усилий».

Эти строки, собственно писанные против меня, совершенно справедливы, печально справедливы *.

Мои возражения так, как и вообще возражения, нетерпеливым людям начинают надоедать. «Время сло́ва,— говорят они,— прошло; время де́ла наступило». Как будто *слово* не есть *дело*? Как будто время сло́ва может пройти? Враги наши никогда не отделяли *слова* и *дела* и казнили за *слово* не только одинаким образом, но часто свирепее, чем за *дело*. Да и действительно, какие-нибудь «Allez dire à votre maître» ** Мирабо не уступят по влиянию никакому coup de main ***.

Расчленение *слова* с *делом* и их натянутое противуположение не вынесет критики, но имеет печальный смысл, как признание, что всё уяснено и понято, что толковать не о чем, а нужно исполнять. Боевой порядок не терпит рассуждений и колебаний. Но кто же, кроме наших врагов, готов на бой и силен *на дело*? Наша сила — в силе мысли, в силе правды, в силе слова, в исторической *попутности*. Международные сходы только сильны проповедью; материально дальше отрицательной силы гревы **** они не могут идти.

— Стало быть, остается попрежнему сидеть сложа руки весь век, довольствуясь прекрасными речами?

— Не знаю, весь ли век или часть его, но наверное до тех пор не сходить в рукопашную, пока нет ни единства убеждений, ни сосредоточенных сил... Быть правым в бою немного значит: правота давала победу только в суде божием — у нас на небесное вмешательство надежды мало.

---

* Отрывок этот, приведенный из ответа Огарева на мое письмо к Бакунину, оканчивается так:

«Каждый отдельный мозг, вследствие нарощения в себе своих впечатлений, встречает от них уклоняющиеся новые впечатления — или вовсе мимоходно, или не с достодолжной емкостью, или совсем отрицательно (т. е. враждебно). Отсюда каждый человек убежден или предубежден, что он прав, что́ положительно не может быть доказано, даже в таких абстрактных специальностях, как математические построения (теория Тихо де Браге так же была построена на математических построениях, как и теория Галилея), и потому, действительное признание истины требует новых мозгов, не увлеченных предыдущими впечатлениями. На этом даже зиждется знаменитое историческое развитие, или прогресс».— *Примеч. Герцена.*

** «Ступайте, скажите вашему господину» (франц.).

*** внезапному удару (франц.).

**** забастовки, стачки (от франц. «grève»).

Чем кончилось польское восстание— правое в требовании, мужественное в исполнении, но невозможное по несоразмерности сил?..

Каково теперь на совести тем, которые подталкивали поляков?

На это говорят наши противники с каким-то философским фатализмом: «Избрание путей истории не в личной власти; не события зависят от лиц, а лица — от событий. Мы только мнимо заправляем движением, но, в сущности, плывем, куда волна несет, не зная, до чего доплывем».

Пути вовсе не неизменимы. Напротив, они-то и изменяются с обстоятельствами, с пониманьем, с личной энергией. Личность создается средой и событиями, но и события осуществляются личностями и носят на себе их печать; тут — взаимодействие. Быть страдательным орудием каких-то не зависимых от нас сил — как дева, бог весть с чего зачавшая,— нам не по росту. Чтоб стать слепым орудием судеб, бичом, палачом божиим, надобно наивную веру, простоту неведения, дикий фанатизм и своего рода непочатое младенчество мысли. Честно мы не можем брать на себя ни роль Аттилы, ни даже роль Антона Петрова. Принимая их, мы должны будем обманывать других или самих себя. За эту ложь нам придется отвечать перед своей совестью и перед судом близких нам по духу.

То, что мыслящие люди прощали Аттиле, Комитету общественного спасения и даже Петру I, не простят нам. Мы не слыхали голоса, призывавшего нас свыше к исполнению судеб, и не слышим подземного голоса снизу, который указывал бы путь. Для нас существует один голос и одна власть — *власть разума и пониманья*.

Отвергая их, мы становимся расстригами науки и ренегатами цивилизации.

Самые массы, на которых лежит вся тяжесть быта, с своей македонской фалангой работников, ищут слова и пониманья — и с недоверием смотрят на людей, проповедующих аристократию науки и призывающих к оружию. И заметьте, проповедники не из народа, а из школы, из книги, из литературы. Старые студенты, жившие в отвлеченьях, они ушли от народа дальше, чем его заклятые враги. Поп и аристократ, полицейский и купец, хозяин и солдат имеют больше прямых связей с массами, чем они. Оттого-то они и полагают возможным начать экономический переворот с tabula rasa, с выжиганья дотла всего исторического поля, не догадываясь, что поле это с своими колосьями и плевелами составляет всю непосредственную почву народа, всю его нравственную жизнь, всю его привычку и всё его утешенье. С консерватизмом народа труднее бороться, чем с консерватизмом трона и амвона. Правительство и церковь сами початы духом отрицания, борьба мысли недаром шла под их ударами — она заразила разящую руку; самозащищение правительства — корыстно и гонения церкви — лицемерны.

Народ — консерватор по инстинкту и потому, что он не знает ничего другого, у него нет идеалов вне существующих условий; его идеал — буржуазное довольство так, как идеал Атта-Троля у Гейне был абсолютный белый медведь. Он держится за удручающий его быт, за тесные рамы, в которые он вколочен; он верит в их прочность и обеспеченье, не понимая, что эту прочность он-то им и дает. Чем народ дальше от движения истории, тем он упорнее держится за усвоенное, за знакомое. Он даже новое понимает только в старых одеждах. Пророки, провозглашавшие социальный переворот анабаптизма, облачились в архиерейские ризы. Пугачев для низложения немецкого дела Петра сам назвался Петром, да еще самым немецким, и окружил себя андреевскими кавалерами из казаков и разными псевдо-Воронцовыми и Чернышевыми.

Государственные формы, церковь и суд выполняют овраг между непониманием масс и односторонней цивилизацией вершин. Их сила и размер — в прямом отношении с неразвитием их. Взять неразвитие силой невозможно.

Ни республика Робеспьера, ни республика Анахарсиса Клоца, оставленные на себя, не удержались, а вандейство надобно было годы вырубать из жизни. Террор так же мало уничтожает предрассудки, как завоевания — народности. Страх вообще вгоняет внутрь, бьет формы, приостанавливает их отправление и не касается содержания. Иудеев гнали века; одни гибли, другие прятались—и после грозы являлись и богаче, и сильнее, и тверже в своей вере.

Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены *внутри*. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы.

В сущности, все формы исторические—volens-nolens—ведут от одного освобождения к другому. Гегель в самом рабстве находил (и очень верно) шаг к свободе; то же—явным образом—должно сказать о государстве,— и оно, как рабство, идет к самоуничтожению — и его нельзя сбросить с себя, как грязное рубище, до известного возраста.

Государство — форма, через которую проходит всякое человеческое сожитие, принимающее значительные размеры. Оно постоянно изменяется с обстоятельствами и прилаживается к потребностям. Государство везде начинается с полного порабощения лица — и везде стремится, перейдя известное развитие, к полному освобождению его. Сословность — огромный шаг вперед, как расчленение и выход из животного однообразия, как раздел труда. Уничтожение сословности — шаг еще больший. Каждый восходящий или воплощающийся принцип в исторической жизни представляет *высшую правду* своего времени—и тогда он поглощает лучших людей; за него льется кровь и ведутся войны; потом он делается *ложью* и, наконец, воспоминанием... Государство не имеет собственного определенного содержания — оно служит одинаково реакции и революции, тому, с чьей стороны сила; это — сочетание колес около общей оси; их удобно направлять туда или сюда, потому что единство движения дано, потому что оно примкнуто к одному центру. Комитет общественного спасения представлял сильнейшую государственную власть, направленную на разрушение монархии. Министр юстиции Дантон был министр революции. Инициатива освобождения крестьян принадлежит самодержавному царю. Этой государственной силой хотел воспользоваться Лассаль для введения социального устройства. Для чего же—думалось ему—ломать мельницу, когда ее жернова могут молоть и нашу муку? На том же самом основании и я не вижу разумной применимости — в отречении.

Между мнением Лассаля и проповедью о неминуемом распущении государства в федерально-коммунную жизнь — лежит вся разница обыкновенного рождения и выкидывания. Из того, что женщина беременна, никак не следует, что ей завтра следует родить. Из того, что государство — форма *преходящая*, не следует, что это форма уже *прешедшая*... С какого народа, в самом деле, может быть снята государственная опека, как лишняя перевязка, без раскрытия таких артерий и внутренностей, которые *теперь* наделают страшных бедствий, а *потом* спадут сами?

Да и будто какой-нибудь народ может безнаказанно начать такой опыт, окруженный другими народами, страстно держащимися за государство, как Франция и Пруссия и пр. Можно ли говорить о скорой неминуемости безгосударственного устройства, когда уничтожение постоянных войск и разоружение составляют дальние идеалы? И что значит *отрицать* государство, когда главное условие выхода из него — *совершеннолетие* большинства. Посмотрели бы вы, что делается теперь в просыпающемся Париже. Как тесны грани, в которые бьется движенье, и как они никем не построены, а сами выросли, как из земли.

Post scriptum.

Маленькие города, тесные круги страшно портят глазомер. Ежедневно повторяя *с своими одно и то же*, естественно дойдешь до убеждения, что везде говорят одно и то же. Долгое время убеждая в своей силе других... можно убедиться в ней самому — и остаться при этом убеждении... до первого поражения.

Искандер

Bruxelles — Paris. Август 1869

ПОХОРОНЫ В БЕДНОМ КВАРТАЛЕ ПАРИЖА

Рисунок В. Г. Перова, 1863 г.

Третьяковская галерея, Москва

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Иконоборцы наши не останавливаются на обыденном отрицании государства и разрушении церкви; их усердие идет до гонения науки. Тут ум оставляет их окончательно.

Робеспьеровской нелепости, что атеизм аристократичен, только и недоставало объявления науки аристократией.

Никто не спрашивает, насколько вообще подобные определения идут или нет к предмету — вообще, весь спор «науки для науки» и науки только как пользы, вопросы, чрезвычайно дурно поставленные.

Без науки *научной* не было бы науки прикладной.

Наука — сила; она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия, и ей до употребления нет дела. Если наука в руках правительства и капитала — так, как в их руках войска, суд, управление, то*

* *В рукописи:* . Но

это не ее вина. Механика равно служит для постройки железных дорог и всяких пушек и мониторов.

Нельзя же остановить ум, основываясь на том, что большинство не понимает, а меньшинство злоупотребляет пониманьем.

Дикие призывы к тому, чтоб закрыть книгу, оставить науку — и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной. За ним так и следует разнуздание диких страстей—le déchaînement des mauvaises passions. Этими страшными словами мы шутим, нисколько не считая, вредны ⟨ли⟩ они для дела и для слушающих.

Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей. Христианство проповедывалось чистыми и строгими в жизни апостолами и их последователями, аскетами и постниками, людьми, заморившими все страсти—кроме одной. Таковы были гугеноты и реформаторы. Таковы были якобинцы 93-го года. Бойцы за свободу в серьезных поднятиях оружия всегда были святы, как воины Кромвеля — и оттого сильны.

Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Проповедь нужна людям, проповедь неустанная, ежеминутная, проповедь, равно обращенная к работнику и хозяину, к земледельцу и мещанину. Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде саперов разрушенья,— апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам.

Проповедь к врагу—великое дело любви: они не виноваты, что живут вне современного потока, какими-то просроченными векселями прежней нравственности. Я их жалею, как больных, как поврежденных, стоящих на краю пропасти с грузом богатств, который их стянет в нее, — им надобно раскрыть глаза, а не вырвать их, — чтоб и они спаслись, если хотят.

Я не только жалею людей, но жалею и вещи, и *иные вещи* больше *иных людей*.

Дико-необузданный взрыв, вынужденный упорством, ничего не пощадит; он за личные лишения отомстит самому безличному достоянию. С капиталом, собранным ростовщиками, погибнет другой капитал, идущий от поколенья в поколенье и от народа народу. Капитал, в котором оседала личность и творчество разных времен, в котором сама собой наслоилась летопись людской жизни и скристаллизовалась история... Разгулявшаяся сила истребления уничтожит вместе с межевыми знаками и те *пределы* сил человеческих, до которых люди достигали во всех направлениях с начала цивилизации.

Довольно христианство и исламизм наломали древнего мира, довольно французская революция наказнила статуй, картин, памятников,— нам не приходится играть в иконоборцев.

Я это так живо чувствовал, стоя с тупою грустью и чуть не со стыдом... перед каким-нибудь кустодом, указывающим на пустую стену, на разбитое изваяние, на выброшенный гроб, повторяя: «Всё это истреблено во время революции»...

Искандер

Bruxelles. Июль 1869

ВАРИАНТЫ

Варианты отдельных мест писем «К старому товарищу», сохранившиеся в рукописи и публикуемые ниже, позволяют в некоторых случаях более полно восстановить ход мысли Герцена. Несомненный интерес имеют те из зачеркнутых кусков текста, порою весьма значительных по объему, которые развивали и уточняли важнейшие положения писем. Таково, например, в вариантах к «письму второму» место о процессе «разумного понимания»; оно, говорит Герцен, «не сходит с неба», «а имеет свой процесс — он может быть ускорен и замедлен»; интересны в вариантах к «третьему письму» слова Герцена о том, что «государство и церковь неминуемо, безотлагательно съеживаются с каждой мыслью, входящей в общее сознание, в общее понимание», идут навстречу своей гибели. Следует отметить в вариантах к тому же «письму» периодизацию истории «всех развитых государств»; слова об отношении к науке в вариантах к «письму четвертому», и т. д.

Пристального внимания заслуживает определение освобождения крестьян как «начала экономического переворота в России» («третье письмо»); характеристика польского восстания как «преждевременного поднятия оружия» (там же); оговорка: «может, за исключением России», сделанная в утверждении, что «во всей Европе подымется за старые порядки сплошь все крестьянское население», и т. п. Варианты проливают свет на некоторые темные выражения в окончательной редакции «писем». Так, в вариантах к «письму первому», во фразе о «несправедливом соподчинении среднего сословия» Герцен после слова «соподчинении» зачеркнул: «дворянству со стороны»; в «письме втором», говоря о «старых, устарелых воспитательных формах», Герцен пояснял: «церковь, государство, суд, семья».

При публикации вариантов мы сохраняем слова и выражения, повторяющиеся в других местах основного текста, поскольку настойчивое обращение Герцена к одной и той же мысли характерно само по себе и представляет самостоятельный исследовательский интерес.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Страница 159-я

Строка 10: «... сопровождающие его [рождение] [или] развитие, т. е. страдания...».

Строка 11: «...организм [отделывается от] вырабатывается из...».

Строка 15: [«Мне кажется, что] Тяжелые...».

Строка 16: «Ты больше остался [тем], как был...».

Строка 17: «Но если я изменился [заметь, не изменил, а изменился»].

Строки 25—26: « ...но и от внутрен[ней незрелости]них причин».

Строки 28—30. Ранее было: «Большинство, [отделенное пропастью непониманья, не вышло из старого традиционного миросозерцанья. Оно само бьется в нем, ищет, не видит выхода впотьмах и, не находя его, гибнет в неравной борьбе или в несчастных вспышках».

Строка 31: «... coup de tête. [Большинство крестьян отделено бездной непониманья или ложного пониманья».]

Строки 35—36. Ранее было: «Следует ли толчками возмущать творческую тишину внутренней работы, инкубации—беспрерывной, неуловимой—и в настроении работников, и в страхе врагов».

Строка 38: «На это, сверх [упорности] логического самоотвержения...»

Строка 50: «... на сторону [*правых*, на сторону мстителей] баррикад?».

Страница 160-я

Строка 2: «... душой?.. [Не забудь, что] Ни одной...».

Строка 2, после слов органической мысли *в рукописи зачеркнутая вставка:* «[Я полагаю, что] [Работник, отвечавший в Июньские дни на вопрос: что он разумеет под республикой демократической и социальной? — «Правление

работников» — был меньше в неопределенности и ясне⟨е⟩ понимал, что хотел, чем большинство — понимавшее только, чего они не хотели. Неловкими мерами были бы наверное нанесены страшнейшие удары всей производительной деятельности».]

Строка 3: «... не косвенно [и случайно], как...».

Строка 4. После слов к голодной смерти *в рукописи указана вачеркнутая вставка:* «[Органические мысли... вышли не от геройских бойцов... возвестились не с баррикад... Banque du Peuple Прудона, кооперативное движение — в Англии и Германии... едва теперь привились к сознанию и привели к интернациональному работничьему парламенту]».

Строка 5: «[Серое время] *Далее знак, обозначающий вставку, но самой вставки нет.* Наше время—именно время окончательного [развития и] изучения [оно естественно предшествует] работе [оставляя в стороне судорожные попытки, оно ищет знания] того...».

Строки 6—7: «... так, как [знание] теория паров...».

Строки 8—9: «[и] отвагой и шли зря, [и] на авось — [куда дошли, ты знаешь] мы на авось не пойдем».

Строка 10: «[Мы] Ясно видим мы [одно], что...».

Строки 12—13: «...царству феодальному и аристократическому [что те же явления повторяются]».

Строки 13—14: «... обмиранье мира [феодального] средневекового началось с сознания [своего] несправедливого соподчинения [дворянству со стороны] среднего сословия...».

Строка 15: «... переворот [социальный] экономический [начинается] начался сознанием...».

Строка 18: «... тянет сама себя [веревкой на шее] в могилу».

Строка 19: «Но [задача социальная— идет гораздо глубже и гораздо сложнее] общее постановление [ее] [социальной] задачи...».

Строки 21—22: «... развалины, [возродится снова, т. е.] снова...».

Строки 22—23: «... *буржуазный* мир [на иной лад]. Потому что он *внутри* [он даже] *не кончен и потому еще, что* [внутри не кончен] *ни мир*...».

Строка 24: «... чтоб пополниться, [не готовы к]...».

Строка 27: «... чтоб ее [можно] достаточно было вырвать [из жизни] силой...».

Строки 29—30: «... научной сфере, [бессильной сделаться общедоступной. К тому же одно отрицание не чинополагает], они осуждены...».

Строки 36—37: «...пусть [тогда] скажет...».

Строка 39: «... средств [и свою эмбриогению, которую сокращать и ускорять можно, но в известных границах]».

Строка 51: «[Социализм] Экономический переворот имеет...».

Страница 162-я

Строки 1—2: «... мистицизмах, [идеализмах] верованиях и [ничем] неоправданных предрассудках...».

Строки 8—9: «Всё это [известно и] принято...».

Строка 14: «...возмущающие [формулу] элементы...».

Строка 15: «... и [сами] легко вводятся...».

Строка 16: «... размахи, [трение, температура] и пр.».

Строка 24: «... бороться нельзя [пока права разума не признаны или не доступны]».

Строки 28—29: «... твердо покоится [и хранится] на [рабской] *невольной* совести...».

Подстрочное примечание, строка 6: «... позитивизме [деизме и всем юридическом, патриотическом. Вспомни затаенную злобу всех гернгутеров и рациональных пиэтистов либерализма — и их борьбу против материализма, ⟨э⟩гоизма, контова ученья, безбожья, утилитаризма во имя христианской нравственности без евангелия ⟨и⟩ религии по [и] Руссо...] — Жирарден, Луи Блан, Жюль Симон».

Строка 35: «... боремся со всем [естественным] бессознательным...».

Строки 36—37: «... нашей [разумной] цели».

Строка 40: «... персидский царь, [Всё прошлое должно быть] или вечевой колокол...».

Строка 41: «Вообще винить, [судить, казнить] наказывать...».

Строка 42: «... физиологичнее, [и, главное,] [надобно] и...».

Строки 44—45: «... и превратную [оценку] перестановку...».

Строка 45: «... преднамеренный заговор [властей]...».

Строки 45—48. Ранее бы: ло«Ни государство не есть преднамеренный заговор властей и собственников против пролетариев и слабых, ни церковь не имела спервоначала в виду кретинизировать массы, ни замкнутые семьи с своим многоголовым [полип<овым?>] эгоизмом наследственной собственности не воры [злодейские вершенья], а всё это, напротив, [всё это] формы воспитательные, воспитавшие [развившие] людей до более широких [современных] потребностей. [Себяопределения и воли]. [Толковать о преступном, сгонять]. Обрушивать ответственность за былое [коварство] и современное...».

Страница 163-я

Строки 4—5: «... не якобинцы; [Но] мы и еще хуже — потому что мы [и их] за себя не имеем [и] якобинского оправдания — наивной веры [что они делали дело] в свою правоту...».

Строка 6: «Мы [не можем без измены своему разумению осуждать] изменяем [собственным свои<м>] основным началам...».

Строка 9: «... в сумерках [постоянно делали непоследовательности], сбивались...».

Строка 11: «... разных вер [разных] и геройств...».

Строка 13: «... кроме *пониманья и силы*, [истины] знанья—и средств».

Строки 14—15: «Но [разум] пониманье страшно обязывает. Он<о> [не наказывает; изменяющий разуму] имеет свои неотступные угрызения [совести] разума...».

Строки 19—20: «... на добровольную бедность [странное Captatio benevolentiae] страшной картиной...».

Строки 21—26. Ранее было: «Не то надобно доказать непроизводительной части общества, обладающей собственностью и капиталом, что это грешно и безнравственно — понятия, взятые из совсем иного миросозерцания, чем наше, а то, что [оно] [это] [современная монополь их вредна и обличенная] *нелепость* его [нуждающаяся в огромных контрфорсах, чтоб не рухнуть], чем более эта нелепость [будет] придет [больше и больше приходит, в силу чего она] в сознанье понимающего работника, обиженного ею, тем она сделается невозможнее [и невозможнее], означая не неправду греха стяжания, а то, что борьба против неотвратимого — только истощение сил...».

Строка 33: «[Социализм] Новый водворяющийся порядок...».

Строка 36: «... судьбу [и причем] всё не мешающее...».

Строки 37—38: «... смыслом [миру] перевороту, который из всего былого и нажитого [выработанного и развитого] сделает [одну] скучную мастерскую...».

Строка 42: «... что у него в [духе] potenzialità...».

Строки 46—47: «... и то на минуты [минутная] горячки и катаклизма. [И нельзя] И кто же ска[зать]жет...».

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Страница 164-я

Строка 2. Ранее было: «Характер международных работничьих съездов становится серьезнее и серьезнее [очень серьезен]. Это ассизы...».

Строки 3—4: «... получают больше и больше [характер обсуживающий] организующий склад, [что] их члены...».

Строка 7: «Серьезный характер [этот] их поразил [их] врагов».

Строки 20—21: «[К тому же] Угроза при бессилии вредна. [Бессильный] Подавленный взрыв [может] [должен] двинет назад. [Часто раздающиеся призывы к открытому бою — и еще больше угрозы без боя] [взрывов и угроз — вовсе не настало, а я их встречаю]. Досуг...».

Строки 23—24: «... для своей обороны прежде, чем [мы получим организацию] противный...».

Строки 25—26: «...торопить их рост. [Правота без силы только в „Суде божием" давала право на победу, и истина, переданная без пониманья,— не истина для того, кому передана, а догмат, катехизис. У нас же нет ни материальной силы, ни общеразвитого пониманья.] [Разумное] [Пониманье не сходит с неба в виде дара, а имеет свой процесс — он может быть ускорен и замедлен, но безнаказанно миновать его нельзя]. Тот, кто не хочет ждать [пониманья] и работать [а делать]...».

Строки 26—27: «... иересиархов, [и] фанатиков [патриотизма или чего-нибудь другого] и цеховых революционеров. [Неужели для нас эти пути не должны быть засыпаны решительно? Вне пониманья и разума только авторитет и увлеченье — конечно, и им можно идти и далеко идти, но тогда, по крайней мере, надобно большую силу [и пуще всего силу неразум⟨ную⟩], а ее-то у нас вовсе нет, она у нас [она] впереди, пожалуй неразумную, но большую. Где же она у нас?.

Не надобно только сверх того забывать, что] А всякое дело...».

Строки 29—30: «... будет иметь [представителей безумья] и безумные результаты рядом с [представителями своего или впереди] дельными».

Строки 30—32. Ранее было: «Без здравого пониманья мы не можем шагу сделать, [Мне сдается, что] пути темного фанатизма и исступления — не] [наши пути] [засыпаны для нас]».

Строки 31—32: «... оружие. [Церковные] Теократические и политические догматы не требуют [настоящего] пониманья...».

Строки 33—34: «... анализа. [Бога] Папу надобно [любить] считать...».

Строка 35: «...предписания [верить] [Какой тут разбор]».

Строки 40—41: «... *свободы в разуме.* [Но разумное понимание не сходит с неба, как святой дух, а имеет свой [фа ⟨?⟩] [эмбриологию] процесс. Я восстаю против насильственного питания абортивов [так] — как восстаю против угроз и апатического бездействия]. [Если люди от нетерпенья будут втеснять массам (не насилием, разумеется, а авторитетом и увлеченьем) свой катехизис, для того, чтоб скорее придти в столкновение — [это не облегчит] это будет путь, ужасно бурный и судорожный]. Всякие попытки...».

Строка 43: «[Об этом я хочу сказать несколько слов] Обойти процесс...».

Строки 49—51. Ранее было: «... скорее сделает из оглушенного пустого репетитора, фразера или освирепелого консерватора».

Страница 165-я

Строка 2: «... шагом [русского] разных реформирующих [правительств] властей».

Строки 3—4: «... всякому процессу [и в особенности процессу] разуменья. Математика [преподается] передается...».

Строки 7—8: «... есть практические облегчения, [между ними есть] компромиссы...».

Строка 8: «Понять [из дела великого] которые...».

Строка 9: «... дело [иногда местного] практического такта...».

Строки 13—14: «... соединения их [сил, всевозможные кооперации настоятельное требование], их органы...».

Строки 15—17: «...*управлении собственностью,* [они] должны становиться [тем] вольным парламентом четвертого состояния, [тем указателем властям предержащим и в то же время] вырабатывать...».

Строки 18—19: «... космологий. [Но для выполнения этой ликвидации государства надобно иметь общественную среду и притом сильную числом и средствами —

сильную пониманьем. До сих пор противогосударственные перевороты делались с примесью мистического безумия — и, всякий раз, делали только посягательство... не выдерживавшее государственного отпора. Таково было христианство, анабаптистство. Стремленье анабаптистов было инстинктивно верно — но не было ясно [ни] для них, ни понятно другим]. [Все] Формы...».

Строка 23: «... и другие, [и в самой свободной и цивилизованной стране] можно убить организм...».

Строка 24: «... отпрянуть [от тебя и побить каменьями]. Всего...».

Строка 27: «Во всей Европе [может, за исключением России] подымется...».

Строки 31—32: «... по неразумью и невежеству [но разве неразумье и невежество [не страшнейшие силы] лечат таким геройским путем]... но в этом-то вся важность. [Шуточное дело... неразумье, невежество] [Да] На [них-то и] неразумье и невежестве...».

Строки 33—35: «... устарелые воспитательные формы [церковь, государство, суд, семья], в которых люди вырастали [вон] из несовершеннолетия и которые жмут теперь [но к которым мы привыкли, а] меньшинство...».

Строки 35—36: «... не понимает [соответствуют и удовлетворяют]. Мы знаем...».

Строки 36—37: «Всеобщая подача голосов, [данная] навязанная...».

Строка 39: «Но если понятия государства, [церкви так] суда сильны [еще] и крепки, то [что сказать] еще крепче...».

Строки 40—41: «Отрицание собственности [голословное и отвлеченное [гуловое] само по себе] — само по себе бессмыслица [но и]...».

Строки 43—44: «... в *коллективную*, [нисколько не понятно] неясно [вовсе не ясны] и неопределенно».

Строка 46: «[Ни] Нелепого [ни мудреного] тут ничего нет».

Страница 166-я

Строка 6: «... любви избирательной или [естественной] кровной...».

Строка 8: «... *ко всем*? [т. е. во имя двух метафизических романтизмов [свихнувшихся голов], которых пора сдать в архив] [всем французским революционерам старого толка]».

Строка 11: «[Скажите кр<естьянину?>] Отними у [народа] самого бедного мужика...».

Строка 12: «... своих, [кровных] свою семью...».

Строка 13: «... станет за попа, квартального и [помещика] чиновника...».

Строка 19: «... водворение [силы] нового порядка...».

Строка 25: «... [Или] Не начать ли...».

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО

На обороте л. 19 рукописи имеется следующая запись Герцена: «С ними с первыми надобно вступить в бой — хуже и вреднее дураков нет — как умники». *Трудно сказать, к какому месту статьи относится эта запись.*

Страница 168-я

Строки 3—4: «... и против [всего, что] чего я...».

Строка 5: «Мозг стареет, может быть, [берет свое pli — и я очень помню] и я беру...».

Строки 7—19: Половина цитаты из статьи-письма Огарева в сноске переписана рукой Герцена; вторая половина представляет собой часть рукописи самого Огарева подклеенную Герценом, причем начало письма, которое Герцен цитировал выше, написанное рукой Огарева, находится на обороте (см. публикацию «Новые материалы к истории текста писем „К старому товарищу"»).

Строка 22: «...вообще возражения [ваши застрельщики стараются наложить embargo на слово (несмотря на то, что никто ни с кем не согласен)] нетерпеливым людям...».

Строки 24—25: «...может пройти? [Заклятые] Враги наши никогда не [разделяли] отделяли...».

Строки 27—28: «... уступят [любому авангардному делу] по влиянию...».

Строка 29: «[Дикий развод] Расчленение...».

Строки 29—30: «... не вынесет критики [это ясно], но имеет печальный смысл, как [торжественное] признание...».

Строка 33 : «... [вооружен] силен *на дело*...».

Строка 34: «... в исторической *попутности* [и в Слове]...».

Строки 34—35: «... только сильны [словом] проповедью...».

Строка 37: «[— Так как же это все и] — Стало быть, остается...».

Строка 38: «... довольствуясь [говором] прекрасными речами?».

Строка 40: «... в рукопашную, [— пока это можно миновать и] пока нет...».

Строка 41: «Быть правым в бою [дает мало корысти] немного значит...».

На обороте л. 20 рукописи имеется следующая запись Герцена: «[И как же ликовали успокоившиеся. Даже у нас, у которых не тот социализм и не так поставлен вопрос — мудрецы нашего журналиста <?> — со смехом указывали на нас, как на староверов и отсталых в нашей вере в экономический переворот]».

Страница 169-я

Строка 1: «[Разве] [Пять лет тому назад мы не видели, что значит преждевременное поднятие оружия?] Чем кончилось...».

Строки 4—5. Ранее было: «Тут наши горячие ул<ь>тра прибегают к турецкому фатализму, к принижению личности и делают себя — из смирения — слепыми орудиями судеб, в которые не верят».

Строка 8: «Напротив, они-то и [пути очень] изменяются...]».

Строка 13: «... орудием судеб, [богородицей] бичом...».

Строка 14: «... наивную [детскую] веру...».

Строка 15: «... непочатое [девственность] [детскость] младенчество мысли».

Строка 19: «То, что [они] мыслящие люди...».

Строки 26—27. Ранее было: «И не странно ли, что многострадальные массы, с своей македонской фалангой работников, знающих на практике, какова тяжесть буржуазного Атласа, [помещенного] покоящегося на их груди, на их спине, что не они кричат: «Конец слову, закроем книгу, теперь не до аристократической науки, не до схоластики прений, теперь до расправы?» Совсем напротив, они жаждут слова, жаждут науки...».

Строка 29: «[Ультра]. И заметьте...».

Строка 34: «...исторического поля, [теряя из вида] не догадываясь...»

Строка 45: «... держится за [свой] удручающий его быт...».

Строка 46: «... вколочен; [потому что он в них видит] он верит...».

Строки 50—51: «...ризы [и]. Пугачев, [человек не книги, а народа] для низложения...»

Строка 53: «... и Чернышевыми [из освобожденных колодников]».

Страница 170-я

Строка 5: «[Вспомни вековое гонение] Иудеев гнали века...».

Строка 8: «... в наружной [гражданской] жизни...».

Строки 9—10: «... что народам [гораздо] легче...».

Строки 11—12: «... свободы. [Но границ внутреннему освобождению нет, и греки превосходно говорили, „что *мудрому* закон не нужен, что его разум — закон". Ну так и будем же сосредоточивать силы на то, чтоб самих себя и других делать этими мудрыми.

Ты, верно, помнишь сказку Бальзака об ослиной шкуре, которая съеживалась при каждом желании,— так и государство и церковь неминуемо, безотлагательно съеживаются с каждой мыслью, входящей в общее сознание, в общее понимание, — но их еще довольно остается — заставим же эти ослиные шкуры исполнять наши желания до тех пор, пока они исчезнут.] В сущности, все формы...».

Строки 17—18: «...проходит всякое [развивающееся] человеческое [сознание] сожитие...».

Строка 18: «... постоянно изменяется [как Протей— сходными, но неодинаковыми фазами —] ».

Строка 22: «... выход из [дикого] животного однообразия...».

Строки 22—23: «... раздел труда. [Сделав свое дело — сословность распускается, и никакое государство не в состоянии спасти ее — и само невольно перерождается в демократическое, если не хочет гибнуть.

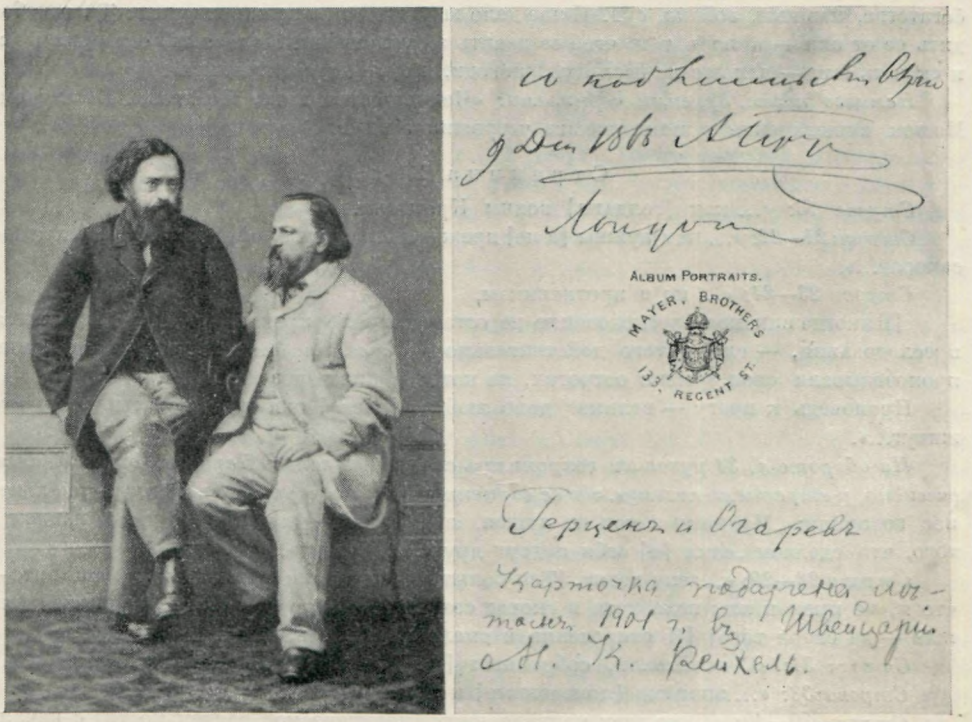
Все развитые государства проходили больше или меньше периодами завоевательными, патриотическими, олигархическими и буржуазными — везде приходили к периодам протестантизма — религиозного и политического — к представительству и самодержавию собственности. В свой период восходящий или воплощающийся принцип в государ] представляет *высшую правду* своего времени»].

Строки 26—27: «... войны; [когда он пережит] потом он делается *ложью* и, наконец, [одним] воспоминанием... Государство [так тягуче, что оно прилаживается ко всему, выносит всё,—оно] не имеет...».

Строка 29: «... это [локомотив,] сочетание колес около общей оси; [которое] их удобно...».

Строки 33—37. Ранее было: «... крестьян, то есть начало экономического переворота в России принадлежит самодержавному царю. Оно еще и нам сослужит службу— и не одну, как того ждал Лассаль. Для чего же проповедывать сломку мельницы, думалось ему, когда ее жернова могут помолоть и нашу муку? Не лучше ли завладеть ею?».

Строка 38: «... я не вижу [зачем ломать, как приложить к делу] разумной применимости...».



ОГАРЕВ И ГЕРЦЕН

Фотография с надписью Герцена М. К. Рейхель: «С подлинным верно. 9 дек. 1860. А. Герцен. Лондон»

Исторический музей, Москва

Строка 43: «... *преходящая,* [никак] не следует...».

Строка 45: «... как [ненужная кора или] лишняя перевязка...».

Строка 48: «...опыт». [Ни Швейцария, ни Бел⟨ь⟩гия не могут пользоваться своими весьма недальними учреждениями — задавленные соседними монархиями и войсками — что же будет с кучкой общин, управляющихся поволостно?..]».

Строки 52—53: «И что значит *отрицать* государство [в практике], когда главное условие...».

Страница 171-я

Строки 1—3: «Post scriptum. [Перечитываю] [Дописываю это письмо в Париже, и именно под влиянием того, что я здесь видел, [что видел я] навело меня на следующую очень не новую мысль, которую я все же повторю] [прибавляю следующие строки] Маленькие города, [маленькие центры,] тесные круги страшно портят глазомер. [В своем кружке] Ежедневно [говоря⟩ повторяя *с своими* [и говоря] *одно и то же,* [можно] естественно...».

Строки 4—5: «... в своей силе других, [для ободрения] можно...».

Строка 8: [Бр⟨юссель—⟩] [Париж].

На обороте л. 31 рукописи Герценом перечеркнуто следующее начало записи: «Нет, саго mio, нет, сколько я ни ломаю головы, я не могу принять того воззрения, к которому ты в особенности теперь примкнул.

Отвлеченная правда их».

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Строка 10: «... не останавливаются на [разбитии] обыденном отрицании...».

Строка 13: «[К] Робеспьеровской нелепости...».

Строка 17: «... вопросы, чрезвычайно [пустые] дурно...»

На обороте л. 32 рукописи имеется следующая запись: «Так как в их руках всё — богатство, машины, войско, суд. Наше дело вырвать ее из вражьих руках ⟨!⟩, освободить ее от них — а не в том, чтоб ее давить за услуги им. Нельзя же остановить ум и сказать ему — дальше не исследуй, погоди, пока мы освободимся».

Немного ниже, другими чернилами: «Человечество выше Неватона. [Желудок] Мешок пищеварения в политически устроенном за...».

Страница 172-я

Строка 16: «... как [солдаты] воины Кромвеля...».

Строки 21—22: «... нам нужны [а не] прежде авангардных офицеров, [и не] прежде саперов...».

Строки 23—24: «... но и противникам.

[Никогда никакое преследование не останавливало проповеди. Тот, кто боится преследования, — слово того действительно *не в самом деле.* Раскольники наши проповедывали свои ереси в острогах, на каторге, под розгами...]

Проповедь к врагу — великое дело любви: [разве] они не виноваты [тем], что живут...».

На обороте л. 34 рукописи сохранилась следующая запись Герцена, относящаяся, очевидно, к «третьему письму», где ее вариант был им зачеркнут: «Греки радикальнее нас говорили: „Мудрому закон не нужен, его разум — закон". Ну так и начнем с того, что сделаем „сами [и] себя и друг друга мудрыми"».

Строки 28—29: «...если хотят. [Тем больше хочется мне сказать им [именно] это — что я, не имея к ним ненависти и скорее сожаление, которое имеется к поврежденным — да сверх того] [Я откровенно и смело признаюсь, что]».

Строка 34: «С капиталом, собранным [по копейке] ростовщиками...».

Строка 38: «... знаками [помеченные] и те *пределы...*».

Строки 39—40: «... во всех направлениях [практической деятельности] с начала цивилизации».

Строки 42—43: «... нам не приходится играть в [Генсерихи и Аларихи] иконоборцев».

Строки 45—46: «... на [сломан] разбитое изваяние...».

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ТЕКСТА ПИСЕМ «К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ»

СТАТЬЯ ГЕРЦЕНА «МЕЖДУ СТАРИЧКАМИ»

В переписке Герцена, относящейся к началу 1869 г., неоднократно встречаются упоминания о написанной им большой статье, направленной против Бакунина и озаглавленной «Между старичками».

31 января 1869 г. Герцен сообщал сыну: «Я написал длинное, дельное и едкое письмо к Бакун<ину> для печати в „Поляр<ной> звезде" под заглавием „Между старичками"; он не назван, но узна́ют все» (XXI, 279).

В марте 1869 г. статья «Между старичками» была отправлена Огареву в Женеву. «Посылаю тебе статью по поводу Бак<унина>,— писал Герцен 11 марта.— Прочти ее со вниманием. Она может напечататься в „Пол<ярной> зв<езде>", если таковая будет, или совсем не печататься. Но мое мнение о деле таково» (XXI, 320).

Герцен настойчиво стремился продолжить и заострить полемику с Бакуниным. 17 марта он писал Огареву: «Я ничего не имею против того, чтоб он <т. е. Бакунин.— *В. П.* и *Я. Ч.*> прочел, не теряя (у меня нет черновой). Готов и печатать» (XXI, 328). В письме же от 24 марта Герцен решительно заявляет: «Смысл моей статьи против Бакун<ина> прост. Мне хотелось бы<...> вытянуть от него определение, *в чем* его идеал?» (XXI, 332—333). Очевидно, «вытянуть определение» нужно было Герцену для того, чтобы подвергнуть его всесторонней критике.

Огарев прочел статью Герцена в тот же день, когда она была ему доставлена, и на следующий день перечитал еще раз. «В ней чрезвычайно много хорошего; но и с ней я не могу (пока) согласиться, как и с неопределенностью Бакунина»,— писал Огарев Герцену 15 марта («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 534). «...Она меня слишком серьезно занимает»,—признавался он в письме от 23 марта (там же, стр. 537). Около 27 марта статью взял прочесть Бакунин, а 1 апреля она вновь вернулась к Огареву (там же, стр. 541 и 545). «...О твоей статье,— писал Огарев Герцену 3 апреля — в другой раз <...> да и Бак<унин> еще не высказался» (там же, стр. 546).

Герцен, между тем, продолжал обдумывать, нельзя ли опубликовать статью. Как видно из его письма к Огареву от 2 мая 1869 г., он предполагал, получив замечания Огарева, послать статью в Россию — в «Неделю», где под псевдонимом «И. Нионский» печатались тогда очерки «Скуки ради» (XXI, 374). Но намерения своего Герцен не осуществил. Когда он, повидавшись с Огаревым в Женеве (10—16 мая 1869 г.), обсудил с ним статью, планы его изменились, и статья «Между старичками» осталась неопубликованной.

Согласно прочно установившейся традиции, исследователи до сих пор принимали за статью «Между старичками» первые два письма Герцена из цикла «К старому товарищу», датированные 15 и 25 января 1869 г. Идентичность текста статьи «Между старичками» и первых двух писем цикла «К старому товарищу» предполагал, как само собою разумеющийся факт, и Лемке (см. XXI, 275, 320). Поэтому полемические замечания о статье «Между старичками», содержащиеся в огаревском «Первом ответе старому другу», были произвольно отнесены Лемке (XXI, 451—453) и другими публикаторами («Лит. наследство», т. 39-40, стр. 342—345) к письмам «К старому товарищу». Исследователей не остановило при этом даже то обстоятельство, что приводимые Огаревым цитаты из статьи «Между старичками» отнюдь не совпадали с текстом писем «К старому товарищу». Сохранившийся в «пражской коллекции» список начальных страниц статьи «Между старичками»—список, сделанный рукою Натальи Александровны Герцен,—проясняет вопрос. Эпиграф к статье—из письма Бентама — вписан в этом документе рукою самого Герцена; таким образом, копию «пражской коллекции» следует рассматривать как авторизованную рукопись Герцена.

Хотя статья Герцена «Между старичками» до сих пор, за исключением двух отрывков, публикуемых ниже, *остается неизвестной*, можно считать установленным, что текст ее отнюдь не совпадал полностью с текстом первых

двух писем «К старому товарищу». Следовательно, замечания Огарева на статью Герцена относили к «письмам» по ошибке. Правда, цитируемые Огаревым места отсутствуют и в сохранившемся начальном отрывке статьи «Между старичками». Но слова Огарева: «... позволь мне, оставляя в стороне *всех литературных мулов*, обратиться именно к тем пунктам в твоей статье, которых я не могу принять за непогрешительность, т. е. за истину» («Лит. наследство», т. 39-40, стр. 342; курсив наш. —*В. П.* и *Я. Ч.*) — только теперь становятся понятными. Вот что писал Герцен в первой же фразе статьи «Между старичками»: «... ты говоришь, что я, некогда шедший вперед, указывавший путь другим, осматриваюсь в тумане и *напоминаю тебе мула Миньоны*, медленно переступающего с ноги на ногу в мгле итальянских ущелий». И далее: «Действительно, я не перестал, несмотря на седые волосы, любить ни песни Миньоны, *ни тихой поступи мулов* с их бубенчиками и красными шнурками...» (курсив наш.— *В. П.* и *Я. Ч.*).

Список статьи «Между старичками» был, очевидно, сделан Натальей Александровной в Ницце.

Легко объяснить, почему в копии статьи отсутствовал эпиграф из Бентама: письмо Бентама к Александру I (от июня 1815 г.) было напечатано в апрельской книжке «Вестника Европы» за 1869 г. в статье А. Пыпина «Русские отношения Бентама» (стр. 762), а статья Герцена создавалась в январе 1869 г. Таким образом, ясно, что Герцен вписал эпиграф значительно позднее. (Заметим, что об апрельской книжке «Вестника Европы» Герцену еще 18 апреля 1869 г. писал Огарев, добавляя, что самого журнала у него «еще нет».— «Лит. наследство», т. 39-40, стр. 552.)

17 мая Герцен на десять дней покинул Женеву и уехал в Aix-les-Bains. По всей вероятности, именно в это время Герцен, находившийся под впечатлением полемики с Огаревым, продолжал работу над статьей «Между старичками», причем *в новой рукописи были сохранены первоначальные даты статьи* «Между старичками» «Ницца. 15 января 1869» и «Nizza. 25 января 1869». Тогда же Герцен написал свое «третье письмо» в первоначальной, неизвестной редакции (сохранившийся отрывок этой редакции печатается ниже); оно было направлено, как можно полагать, главным образом, против только что вышедшей (около 10 мая) брошюры Бакунина «Постановка революционного вопроса» — брошюры, распространявшейся Нечаевым в России во время так называемой «агитационной кампании» 1869 г. Такова вторая стадия работы Герцена над циклом.

Вернувшись 26 мая в Женеву, Герцен ознакомился с новыми статьями-письмами Огарева, продолжившего полемику в своем «Втором ответе старому другу» и в ответе на вновь написанное герценовское «третье письмо» — ответе, озаглавленном «Третья статья». Замечания Огарева по поводу «третьего письма» Герцена представляли собой возражения, изложенные в форме семи тезисов, в которых косвенно защищалась тактика нечаевской «агитационной кампании» и были подвергнуты острой критике взгляды Герцена. В это же время Огарев, отстаивая необходимость продолжения «агитационной кампании», добился согласия Герцена не печатать материалов дискуссии полностью, так как их обнародование могло повредить кампании.

Когда Герцен уезжал около 28 июня из Женевы в Брюссель, Огарев вырезал из своей рукописи «Первый ответ старому другу» полтора листка и передал их Герцену. Текст, содержавшийся на этих полутора листках, Герцен включил в виде двух цитат в новую редакцию «третьего письма». При этом первая цитата («Человеку очень мудрено...») была переписана Герценом, а для второй, в сноске («Каждый отдельный мозг...»), он воспользовался вырезкой, вклеив ее в соответствующее место своей рукописи. Новая редакция «третьего письма», написанного в июле — августе 1869 г., была обращена уже не только к Бакунину, но и к Огареву: «Нет, *любезные друзья*, мозг мой отказывается понимать многое из того, что вам кажется ясным...» (курсив наш.— *В. П.* и *Я. Ч.*).

В августе 1869 г. в Брюсселе Герцен читал А. П. Пятковскому первые три письма «К старому товарищу». Пятковский в своих воспоминаниях свидетельствует, что «письма к Бакунину» «уже лежали готовыми в рукописи» (А. Пятковский. Две встречи с А. И. Герценом.— «Наблюдатель», 1900, № 3, стр. 238). Тогда же или

ШАРМАНЩИЦА НА БУЛЬВАРЕ В ПАРИЖЕ
Рисунок В. Г. Перова, 1863 г.
Третьяковская галерея Москва

несколько раньше было написано «письмо четвертое» (рукопись его датирована июлем 1869 г.), и цикл писем был заключен. В «пражской коллекции» сохранился герценовский автограф первого абзаца «письма четвертого», который несколько отличается от начальных строк письма в окончательном тексте. Эта первоначальная рукописная редакция публикуется ниже.

Герцен продолжал смотреть на свои письма как на статьи для печати. Еще 30 июня, по дороге из Женевы в Брюссель, он писал Огареву из Страсбурга: «Я, может, напечатаю где-нибудь в Брюсселе наших часть препинаний (по части социализма, может, формы следует изменить)» (XXI, 402). Через два с половиной месяца, в письме к Огареву от 18 сентября, Герцен писал о цикле статей против Бакунина: «...ужасно жалею, что они не были напечатаны» (XXI, 487). А. П. Пятковский в цитировавшихся выше воспоминаниях рассказывает о своих переговорах с Некрасовым по поводу того, нельзя ли напечатать письма «К старому товарищу» в «Отечественных записках» («Наблюдатель», 1900, № 3, стр. 250). В условиях царской цензуры эти переговоры, разумеется, ни к чему не привели и привести не могли.

Изучение вопросов, связанных со статьей Герцена «Между старичками» и историей текста писем «К старому товарищу», приводит к следующим весьма важным выводам:

1) доказано, что выступление Герцена против Бакунина в 1869 г. началось со статьи «Между старичками», явившейся первоначальной редакцией первых двух писем «К старому товарищу»; 2) установлено, таким образом, что даты, проставленные на рукописи двух первых писем «К старому товарищу», не соответствуют действительности; 3) доказано существование не дошедшей до нас, кроме четырех абзацев, статьи Герцена под названием «Третье письмо», которая являлась продолжением статьи «Между старичками» и была первоначальной редакцией «третьего письма» цикла «К старому товарищу»; 4) установлено, наконец, что для работы Герцена над окончательным текстом писем «К старому товарищу» большое значение имели ответы Огарева на статью «Между старичками» — цикл писем, адресованных «старому другу», т. е. Герцену (см. ниже вступительную заметку к этому циклу).

‹ДВА ОТРЫВКА ИЗ СТАТЬИ ГЕРЦЕНА «МЕЖДУ СТАРИЧКАМИ» (ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ ПЕРВЫХ ДВУХ ПИСЕМ ИЗ ЦИКЛА «К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ»). ЯНВАРЬ 1869 г.›

МЕЖДУ СТАРИЧКАМИ

«Одни мотивы, как бы они ни были достаточны, не могут быть действительны без достаточных средств».
Иер‹емия› Бентам,
в письме к Алекс‹андру› I.

1

Ты жалеешь меня, старый приятель, жалеешь о моих раздумьях, о моих остановках, тебя оскорбляет недостаток деятельности, ты говоришь, что я, некогда шедший вперед, указывавший путь другим, осматриваюсь в тумане и напоминаю тебе мула Миньоны, медленно переступающего с ноги на ногу в мгле итальянских ущелий —

Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg*.

Ты меня взял за чувствительную струну и как Иван Васильевич «разодел и разукрасил» прутья, которыми хотел стянуть меня, чтоб, при всей строгости, и я не остался не взысканным твоей милостью. Действительно, я не перестал, несмотря на седые волосы, любить ни песни Миньоны, ни тихой поступи мулов с их бубенчиками и красными шнурками, ни теплые итальянские горы под паром вечерней или утренней зари.

Но за что же ты набросил какую-то тень на мула? Туман не в его органе зрения, как в куриной слепоте, *а на самом деле*, и если мул вопреки ему ищет свою дорогу и не торопится зря, то просто потому, чтобы не упасть в пропасть вместе с ношей или не сбиться с пути.

Что же касается** дурного — если б и люди, вместо того, чтобы идти, потому что ходить хочется, искали бы прежде торную дорогу в тумане общих понятий и избившихся слов? А то можно вообразить себе, что идешь, работая ногами на одном месте, как векша, или царапать землю, как крот — благо, лапы чешутся. Жаль, что Гёте не прибавил крота к мулу.

Der Maulwurf kratzt und sucht sich keinen Weg ***

Я нынешним летом с час стоял у медвежьей ямы в Берне и смотрел, как медвежонок — этот крот огромного роста — копал яму. Он рыл с видимым сознанием всей важности дела... рьяно, усердно... вокруг бегали другие больше суетные медвежаты, заигрывали с ним, он ворчал, огрызался и как бы нехотя иной раз отрывался от работы и, быстро обежав кругом столба, снова принимался с яростью копать, отдувался, фыркал, обтирал глаза лапой и неустанно старался.

Может, эта циклопическая работа иной раз необходима, я и не говорю, что она дурна, только признаю себя плохим циклопом. К тому же есть случаи, в которых она положительно вредна, выражая очень понятное, но все же чисто личное нетерпенье, — под предлогом или, вернее, под самообольщением общей цели.

Я иногда откровенно завидовал людям, браво идущим вперед, не выходя к перебору начал, не обращая вниманья ни на другой грунт, ни на перемену среды, ни на ряды событий, хотя многие из них заступали в импасы****, в которых они тонули дальше и дальше, боясь приостановиться из чувства

---

* Мул ищет в тумане свой путь (нем.— Из «Вильгельма Мейстера» Гёте).

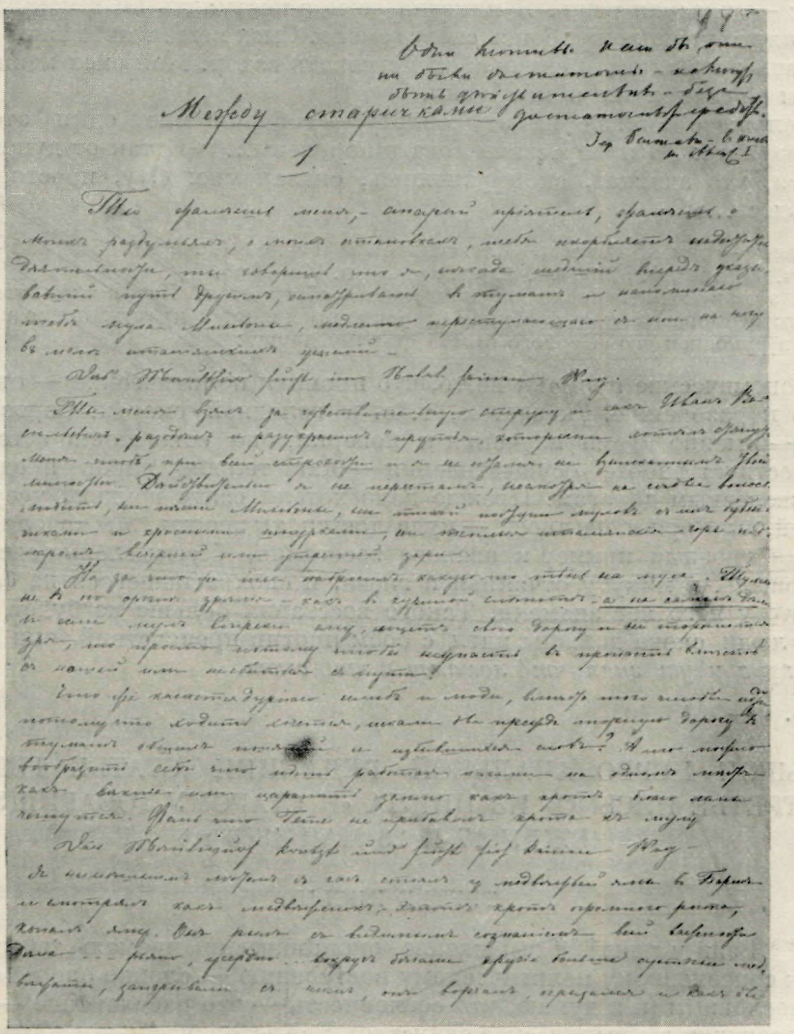
** *Так в копии. Вероятно, ошибка Н. А. Герцен, прочитавшей* касается *вместо* кажется.

*** Крот царапает и не ищет никакого пути (нем.).

**** тупики (франц. «impasses»).

чести и ложного стыда, желая держаться, во что бы ни стало, на краю всех крайностей.

Трудно сознаться человеку, что он сошел с дороги — оттого ли, что обстоятельства дали в сторону, или что он сделал свое, но для меня



«МЕЖДУ СТАРИЧКАМИ»
Список, сделанный рукою Н. А. Герцен (дочери), 1869 г.
Эпиграф — рукою Герцена
Лист 1
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

решительно невозможно продолжать при таком сомнении. Самолюбие это или робость, доверье к своему чутью или недоверье к своим силам, но во мне оно так.

Мне всегда мешало раздумье, мы об этом спорили с тобой тридцать лет тому назад. Тут дело в личностях, в характерах, в pli * целой жизни.

---

* привычке (франц.).

Одни складываются с молодых лет в попы, проповедующие с катехизисом, веры или отрицанья, в руках,— они призывают себе на помощь все средства и все силы, даже силу чудес, для вящего торжества своей идеи. Другие этого не могут — для них голая, худая, горькая истина дороже декорации — для них ризы, облачения, драматическая часть дела смешны, а *смех* — ужасная вещь. Я никогда не мог поступить ни в какую масонскую или другую ложу, боясь своего смеха. Смех мешал мне важно переговаривать о пустяках и священнодействовать вздор. Мой смех мешал даже другим — сердил их и конфузил.

«Положите палец на эту облату,— говорил мне один аторней*, и повторяйте: „В присутствии бога и королевы...“» Я так от души расхохотался, что адвокат, сконфузившись, сказал мне: «Ну, просто, подпишите здесь...».

Список — рукой Натальи Александровны Герцен (дочери). Эпиграф — рукою Герцена. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 20, л. 44—44 об.

На этом рукопись «пражской коллекции» обрывается. Источником текста следующего отрывка из статьи «Между старичками» является цитата, приводимая Огаревым в рукописи его «Первого ответа старому другу»:

Экономические промахи не то, что́ промахи политические — они ведут прямо к разорению, к застою, т. е. к голодной смерти. Серое время наше — именно время изучения и поверки; оно совершенно естественно предшествует работе осуществления — как теория паров предшествовала железным дорогам. Прежде дело хотели взять грудью, усердием и отвагой, шли зря и на авось — куда дошли, ты знаешь. Мы видели своими глазами грозный пример кровавого восстания, бессмысленно сошедшего на площадь, в минуту отчаянья и гнева, и спохватившегося на баррикадах, что у него нет знамени. Такого восстания больше не будет, и если новые люди снова должны идти с боем против препятствий, они пойдут *зная, куда идут, зная, что́ ломают и что́ сеют.*

ЛБ. Г.—О. VI. 40.

⟨ОТРЫВОК ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ СТАТЬИ ГЕРЦЕНА «ТРЕТЬЕ ПИСЬМО» ИЗ ЦИКЛА «К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ». МЕЖДУ 17 И 26 МАЯ 1869 г.⟩

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО

(2)** Взяв у меня*** выражение «экономический промах», ты его относишь к современному политическому построению — словно оно по ошибке было сословным (а я думаю, что сословность — это расчленение — выход из безразличия в органическое единство). Всё исторически выработавшееся обстоятельствами, толчками и переворотами — Naturprodukt.

Называть продукты истории, хотя бы они и устарели, политическими (или иными) промахами — то же, что считать лягушку зоологическим промахом ****.

Ты говоришь, что если теория паров предшествовала железным дорогам, то что пары были до теории. Стало, ты полагаешь, что современный государственный быт был политический *без экономических* оснований. Это противно тому, что ты сказал, и самой действительности: если б не было

---

* поверенный, адвокат (англ. «attorney»).

** *Цифра в скобках написана карандашом на полях. Текст на половине листка. Верх оторван. На линии отрыва следы не поддающейся прочтению строки текста.*

*** *Далее вачеркнуто:* слово

**** *Далее вачеркнуто:* Далее. Продолжая схоластику, различения

УЛИЦА РИВОЛИ В ПАРИЖЕ
На этой улице находилась последняя квартира Герцена, в которой он поселился в конце 1869 г. и где он умер
Автолитография Ф. Бенуа, 1860-е гг.
Литературный музей, Москва

неразвитых, дурно развитых, изуродованных экономических отношений, то не было бы и желания выпутаться из них и дойти до разумных.

〈На этом полулист кончается. На обороте его находится следующий обрывок текста:〉.

нии. А то является полнейший хаос и деспотизм. Все возможные и существующие свободы — в пренебрежении, национальные движения отринуты. Бельгийские, женевские работники глядят с улыбкой на завоевание Франции.

Автограф. ЛБ. Г.— О. II. 11. — Лемке (XXI, 451 и 593) ошибочно принял настоящий текст за реплику Герцена по поводу первого выступления Огарева и механически присоединил его к тексту действительной реплики, находящейся на огаревской рукописи «Первый ответ старому другу».

〈ОТРЫВОК ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ СТАТЬИ ГЕРЦЕНА «ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ» ИЗ ЦИКЛА «К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ». ЛЕТО 1869 г.〉

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

В своем озлоблении против существующего наши иконоборцы — и ты с ними (или они за тобой) — не останавливаются на государстве и церкви, на ограничении права собственности или отрицании его— они объявляют войну против науки, личности и семьи...

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 20, л. 46.

ОТВЕТЫ ОГАРЕВА «СТАРОМУ ДРУГУ»

Предпринятая Герценом в 1869 г. в статье «Между старичками» (затем в цикле писем «К старому товарищу») критика анархистско-авантюристической тактики Бакунина не могла ограничиться обсуждением одних только тактических вопросов. Как тактика, так и многие программные положения, выдвигавшиеся Бакуниным, причиняли огромный вред делу революции. Поэтому Герцен предполагал подвергнуть рассмотрению целый комплекс коренных вопросов революционного движения и социализма, в том числе и теоретические проблемы. В этом обсуждении самое активное участие принял и Огарев. Первоначально, а именно с середины марта 1869 г., его участие в дискуссии ограничивалось рамками обычной переписки с Герценом; на последующей стадии оно стало гораздо более интенсивным. Огарев написал три специальные статьи — тоже своего рода цикл писем, адресованных «старому другу», т. е. Герцену. При этом первая и третья статьи включали прямые полемические обращения к Бакунину.

Рукописи «ответов» Огарева сохранились не полностью. Впервые они были опубликованы в 1941 г., в т. 39-40 «Лит. наследства». Однако текст оказался напечатанным не совсем исправно и неполно. Это обстоятельство вместе с назревшей потребностью собрать в одном месте всю группу источников, относящихся к письмам «К старому товарищу», обусловили необходимость опубликовать заново, по подлинникам, дошедший до нас текст «ответов» Огарева.

Когда же были написаны «ответы» Огарева и как развивалось обсуждение главнейших вопросов, поднятых в ходе дискуссии?

Получив в середине марта 1869 г. в Женеве текст рукописи «Между старичками», Огарев тотчас написал Герцену, находившемуся тогда в Ницце: «Главное, я одно тебе замечу, что вооруженное восстание ⟨необходимость и неизбежность его.— *В. П.* и *Я. Ч.*⟩ обусловливается существующим войском, которое до сделки никогда не допустит. Едва ли ты в этом найдешь что-нибудь unpraktisch *. Тут ничего теоретического нет, а история-то с этой дороги сойти не может» («Лит. наследство», т. 39-40, стр. 534). Герцен, получив письмо Огарева, отвечал: «Ты прав насчет замечания о войске, помешающем сделке—но где же сила против войска? Опять в пропаганде, учении и экономическом устройстве коммунного труда» (XXI, 328).

Как было сформулировано Герценом в статье «Между старичками» то место, которое вызвало замечание Огарева, мы не знаем — эта часть рукописи не сохранилась или остается неразысканной. Но в окончательной редакции «письма первого» из цикла «К старому товарищу» Герцен писал: «Новый водворяющийся порядок ⟨социализм.— *В. П.* и *Я. Ч.*⟩ должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной...» (см. выше). Таким образом, неизбежность вмешательства в ход истории революционного насилия — «меча рубящего» — отнюдь не отрицалась Герценом. Спор шел об условиях и сроках, при которых вооруженное восстание дало бы с точки зрения основных задач борьбы за социализм положительные результаты. Что же касается идеи «сделки», то она в окончательной редакции — в «письме втором» цикла «К старому товарищу» — выражена следующим образом:

«Международный союз ⟨пролетариата — Интернационал.— *В. П.* и *Я. Ч.*⟩ может вырасти в Авентинскую гору à l'intérieur — отступая на нее, мир рабочих, сплоченный между собой, покинет мир, пользующийся без работы, на свою доходную непроизводительность... и он, отлученный, nolens-volens пойдет на сделки. А не пойдет — тем хуже для него, он сам себя поставит *вне закона* — и тогда гибель его отсрочится только настолько, насколько у нового мира нет сил. А пока их нет — надобно в тиши собирать полки и не грозить. Угроза при бессилии вредна. Подавленный взрыв двинет назад» (наст. том, стр. 164).

Таким образом, допуская при известных условиях возможность «сделки», Герцен, по существу, не согласился с критикой Огарева, содержавшейся в письме от 15 марта 1869 г. (XXI, 328).

---

* непрактическое (нем.).

7 апреля 1869 г. Огарев после беседы с Бакуниным, которому он, по поручению Герцена, дал прочесть статью «Между старичками», сообщил Герцену следующее: «Бак⟨унин⟩ к тебе ныне относится очень дружески, но о статье твоей, напротив, говорит, что она несправедлива, просит не печатать и хочет отвечать на рукопись, но просит дать время пройти работничьим смутам, ибо в самом деле у него не может быть возможного времени...» («Лит. наследство», т. 39-40, стр. 547).

Строки эти, свидетельствующие, по своему тону, что Огарев склонен был взять на себя неблагодарную роль «буфера», писались в тот момент, когда в Женеве уже дня два находился Нечаев. Тотчас после приезда (4—5 апреля 1869 г.) Нечаев познакомился с Огаревым и Бакуниным и начал свою деятельность с рассылки из Женевы по России своей отпечатанной уже к тому времени, в типографии Чернецкого прокламации к студентам-технологам. В те же дни Нечаев поднял все основные вопросы, побудившие его приехать в Женеву, в том числе вопрос о бахметьевском фонде и о том, чтобы привлечь к участию в начавшемся в России студенческом движении представителей революционной эмиграции во главе со «старичками» — Герценом, Бакуниным и Огаревым. Вопросы, поднятые Нечаевым, в высшей степени обострили разногласия тактического характера.

Возникшие почти тотчас же (12—13 апреля) разногласия между Герценом и Огаревым по поводу огаревских прокламаций («От стариков к молодым друзьям» и «Наша повесть») заставили Огарева отложить свое намерение написать связный и подробный разбор статьи «Между старичками». Осуществил свое намерение Огарев лишь после приезда Герцена в Женеву из Ниццы, т. е. после 10 мая 1869 г.

Приезд Герцена в Женеву был вызван существенными причинами. Он считал необходимым прежде всего урегулировать недоразумения, возникшие между ним и Огаревым, затем локализовать вредные последствия сближения Огарева с Бакуниным. Герцен находил, что Огареву вновь угрожала опасность подпасть под влияние «беспардонного» бунтаря, как это случилось лет семь назад, во время подготовки восстания 1862—1863 гг. Наконец, Герцену надо было повидать Нечаева, чего настойчиво добивался Огарев. Но в самый момент приезда Герцена произошло событие, коренным образом изменившее все предположения и планы. Около 10 мая была отпечатана в типографии Чернецкого брошюра Бакунина «Постановка революционного вопроса» (см. «Русская подпольная и зарубежная печать», т. I, М., 1935, стр. 172). Ничего более вредного, безудержно-анархического и авантюристического Бакунин в ходе «агитационной кампании» Нечаева не написал. Брошюра, призывавшая, в частности, использовать разбойничий мир для возбуждения, организации и подготовки народного восстания, вызвала страстное негодование Герцена. Он решил немедленно вскрыть весь тот вред, который приносила развитию революционного движения в России бакунинская демагогия. На следующий день после приезда — это было 11 мая, ознакомившись с брошюрой Бакунина, Герцен писал Н. А. Тучковой-Огаревой: «Все недоразумения ⟨с Огаревым.—*В. П.* и *Я. Ч.*⟩ *окончились в полчаса.* С Бак⟨униным⟩ будет труднее,— он совсем закусил удила, и я привезу его новую статью, которая наделает страшных бед. Я буду протестовать и снимаю всякую солидарность ⟨...⟩ Баку⟨нин⟩ хотел ⟨...⟩ пустить такую дрожь на всю Россию, что там за университетом закроют типографии ⟨...⟩ Вещь эта произведет бездну беды ⟨...⟩ О сущности я и не говорю. Разумеется, я совершенно не согласен. Вообще этим оружием я не бьюсь ⟨...⟩» (XXI, 377—378).

Огарев также отрицательно отнесся к этой брошюре, хотя он и не был в своей критике столь последовательным, как Герцен. В это время, между 10 и 17 мая, он писал свой «первый ответ» другу и включил в него специальную главку, посвященную резкой полемике с Бакуниным. С точки зрения Герцена это был очень важный факт. Герцен не требовал от Огарева отказа от участия в «агитационной кампании» 1869—1870 гг., что было бы логическим следствием его теоретической позиции в этот период, а стремился употребить все свое влияние на Огарева, чтобы отстранить, ограничить влияние на него Бакунина. Герцен предоставлял Огареву возможность самому, на собственном опыте, убедиться в принципиальной ошибочности избранного пути. Герцен знал, что корни политиче-

ской линии Огарева в 1869—1870 гг. уходят далеко вглубь — к 1862 и 1863 гг., когда Огарев, предвидя возможную неудачу восстания в России и в Польше, намечал новый срок революционного переворота, именно — на 1869—1870 гг. Герцен надеялся, что в самом ходе «агитационной кампании» Огарев убедится в неправильности сделанного им расчета движущих сил революции и тогда расторгнет свой временный союз с Бакуниным и Нечаевым.

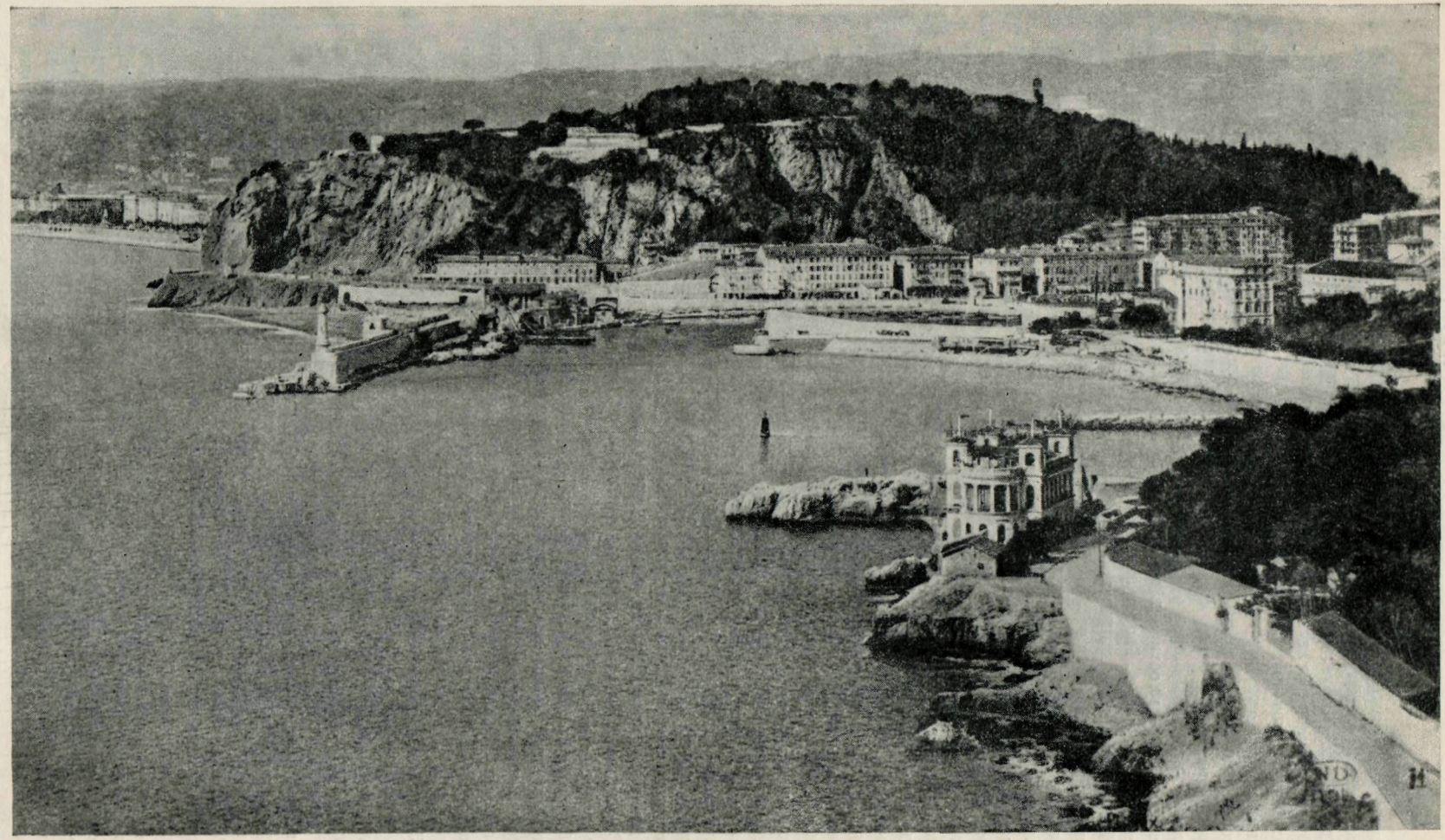
Огарев, продолжая спор с Герценом в том же «ответе», в который он включил главу против Бакунина, настойчиво развивает идею вооруженного восстания, идею революции, имеющей целью смести политическое господство меньшинства и расчистить дорогу для «нового экономического построения», т. е. для социализма. «Требуется прежде всего,— пишет Огарев,— разрушение существующего политического построения: иначе экономическое основание политического (т. е. общественного) построения не может иметь места». Огаревская критика в «первом ответе» помогла Герцену продумать и найти точку зрения на сочетание экономического ряда развития с рядом политическим, на сочетание «постепенных» и «толчковых» рядов развития. В ходе дискуссии с Огаревым Герцен укрепился в своем понимании глубокой связи, которая существует между «толчковыми», т. е. революционными, моментами развития и «постепенным» экономическим развитием.

От рукописи «первого ответа» Огарев, как мы уже упоминали, отрезал первые полтора листка и передал их Герцену. Текст, написанный на этих отрезанных полутора листках, Герцен включил, в виде двух цитат, в окончательную редакцию «третьего письма». Первую цитату («Человеку очень мудрено втолковать...») Герцен переписал своей рукой, а вторую, в сноске («Каждый отдельный мозг...»), включил путем подклейки в свою рукопись вырезки из автографа Огарева. Сопоставив вырезку из «первого ответа» с основной частью рукописи Огарева (ЛБ. Г.— О. VI. 40, лл. 3—4), мы убедились, что отрезанные листки содержат начало «первого ответа». Текст его нам удалось восстановить почти целиком.

«Второй ответ» Огарева начинается с повторения эпиграфа из Бентама, вставленного Герценом в текст статьи «Между старичками» после 10 мая (см. об этом выше). Мы полагаем, что «второй ответ» был написан Огаревым после 17 мая, то есть во время отсутствия Герцена, уехавшего на десять дней из Женевы. Он был либо подготовлен Огаревым ко времени вторичного приезда Герцена, т. е. к 26 мая, либо закончен вскоре после его приезда, т. е. в конце мая. «Второй ответ» содержит следующую цитату из статьи «Между старичками»: «Следует ли толчками возмущать творческую тишину внутренней работы, инкубации, беспрерывной, неуловимой?». Приведя эту цитату, Огарев замечает: «Я не вижу в историческом ходе рода людского этой беспрерывной, неуловимой инкубации. История шла гораздо больше борьбой и прыжками, чем творческой тишиной внутренней работы». Герцен, прочитав возражения Огарева, подчеркнул в его рукописи слово «беспрерывной» и написал против этого места: «Я не говорил о беспрерывности, а говорю о теперешней минуте». Несмотря на то, что Герцен, казалось бы, отклонил аргумент Огарева, в окончательный текст «письма первого» он процитированные Огаревым слова не включил. Герцен так сформулировал эту мысль в окончательном тексте: «Следует ли толчками возмущать с целью ускорения внутреннюю работу, которая очевидна? Сомнения нет, что акушер должен ускорять, облегчать, устранять препятствия...» и т. д. (см. выше).

Ясно, что Герцен принял во внимание самую существенную сторону возражения Огарева.

Наиболее интересным для анализа дискуссии о статье «Между старичками» является «третий ответ» («третья статья») Огарева. Этот текст мог быть написан Огаревым только после возвращения Герцена в Женеву, т. е. после 26 мая, и до окончательного отъезда Герцена из Женевы в Брюссель —28 июня. Отвечая на не дошедшую до нас первоначальную редакцию «третьего письма», «третья статья» Огарева дает возможность судить о содержании тезисов, защищавшихся Герценом, так как в этой статье Огарев отвечает на тезисы Герцена. Сохранившийся клочок первоначальной редакции «третьего письма» Герцена, публикуемый выше, подтверждает сказанное. Находящийся на этом клочке тезис Герцена обозначен им цифрой — «(2)».



НИЦЦА

Вид Ниццы на открытом письме, адресованном Н. А. Герцен (дочерью) М. К. Лемке 2 декабря 1912 г. На обороте надпись: «Посылаю вам вид Ниццы и скалы, на которой кладбище наше. Точка обозначает место, где стоит памятник папаши»

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

В ответе Огарева его возражение на этот тезис помечено точно так же — «(2)», что позволяет рассматривать и другие возражения Огарева, помеченные цифрами от «(1)» до «(7)» как соответствующие семи тезисам Герцена.

Эти возражения Огарева возвращают нас к важному моменту спора — к соотношению между экономическим и политическим рядами развития. В окончательной редакции писем «К старому товарищу» Герцен изменил формулировку мысли об «экономических промахах», совершавшихся всеми прежними революциями; тут он говорит о «промахах», как, с одной стороны, о выражении незрелости экономической мысли различных революционеров предшествующего периода, с другой — как об экономической необоснованности и неподготовленности революционных «попыток», «вызовов на революцию» и т. д. Герцен писал в окончательной редакции «письма первого»: «Ни одной построяющей, органической мысли мы не находим в их [завете (у мелкобуржуазных революционеров 1848 г. и у Бакунина.—*В. П.* и *Я. Ч.*), а экономические промахи не *косвенно*, как политические, а *прямо и глубже* ведут к разорению, к застою, к голодной смерти». Из подчеркнутых нами слов, вставленных Герценом в новую редакцию, ясно, что Герцен принял возражения Огарева в той их части, в которой Огарев обращал его внимание на необходимость рассматривать экономические и политические «промахи» в их единстве и связи, а не в противопоставлении. Но Герцен не принял и не мог принять другой части возражений Огарева, демонстрировавших глубокую ошибочность воззрений Огарева по этому вопросу. Огарев перенес понятие «экономический промах» на все развитие «сословности», т. е., по терминологии спорящих, классового строения общества, и на господство буржуазного меньшинства. Огарев, следовательно, всю историю буржуазного общества сводил к «патологии», «ошибке», «промаху» и рассматривал капитализм как результат «ошибок» предшествующего периода. Другими словами, Огарев находился в плену исторического идеализма, в плену мелкобуржуазной (крестьянской) критики капитализма — субъективной, непоследовательной и половинчатой, в то время как Герцен, обладавший исключительно трезвым и ясным чувством реальности, приближался к объективной, исторической критике капитализма, данной в гениальной системе взглядов Маркса. Но, вместе с тем, нет сомнения, что именно спор с Огаревым помог Герцену додумать свои догадки и привести к единству свои взгляды.

В результате спора с Огаревым было завершено Герценом второе письмо «К старому товарищу», посвященное противопоставлению пролетарских форм и методов борьбы с капитализмом методам мелкобуржуазного «революционного» вспышкопускательства, выражающего лишь отчаяние мелкого буржуа. Отвергнув одну и приняв другую часть возражений Огарева, Герцен сумел подойти почти вплотную к «суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата», переход к которой «от иллюзий „надклассового" буржуазного демократизма» он, по определению Ленина, совершал (В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 11).

Заслуживает быть особо отмеченным, что и Огарев, участвуя после смерти Герцена в подготовке писем «К старому товарищу» к печати (его предисловие к «Сборнику посмертных статей», помечено: «Сентябрь 1870 г.»), не счел необходимым ознакомить с их текстом Бакунина. Бакунин, узнав о выходе «Сборника», писал в Женеву Огареву и другим (в недатированном письме от начала 1871 г.): «А пришлите мне посмертную, недавно напечатанную книгу Герцена. Непременно пришли. Он, говорят, много толкует и, разумеется, с фальшивою недоброжелательностью, кисло-сладкою симпатиею обо мне. Надо же мне прочесть, а пожалуй, и ответить» («Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву». Женева, 1896, стр. 324). Из приведенных строк ясно, что ни Герцен, ни Огарев не показывали Бакунину рукописи последней редакции писем «К старому товарищу». Нам удалось обнаружить черновик ответа Огарева на цитированное письмо Бакунина. «После твоего письма, — писал Огарев 23 февраля 1871 г., — я перечел еще раз герценские письма „К старому товарищу" (1869 г.). Обидного в них для тебя ничего нет, правды в них много, но согласиться с ними целиком я не могу. Книгу пошлем тебе не сегодня-завтра. Ты в письмах, кроме струнки позитивизма, никакой обиды не найдешь. Отвечать буду я сам», — заключает Огарев, отводя намерение Бакунина вступить в посмертную полемику с Герценом (ЛБ. Г.—О. VII. 5, тетрадь № 35, л, 2).

‹РЕКОНСТРУКЦИЯ «ПЕРВОГО ОТВЕТА» ОГАРЕВА НА СТАТЬЮ ГЕРЦЕНА «МЕЖДУ СТАРИЧКАМИ» И НА БРОШЮРУ БАКУНИНА «ПОСТАНОВКА РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОПРОСА». 10 — 17 МАЯ 1869 г.›

1

Вообще человеку очень мудрено* втолковать что-нибудь, о чем этот человек думает иначе. Тут, действительно, физиологический процесс, о котором столько говорят об‹щими› местами — и которого никто не хочет принять в расчет, как скоро дело доходит до дела. Мозг ничего не вырабатывает произвольно, а всегда вырабатывает результат соотношения принятых им впечатлений. Следственно, если впечатления у одного разнятся от впечатлений у другого на какой-нибудь дифференциал, то дальнейшее развитие соотношения впеча‹тлений› и результата, из них выводимого, т. е. постановка ‹и› дальн‹ейшее› развитие уравнения (которое есть единственная форма мозговых действий), может разойтись у одного от другого на расстояние, невозможное к совпадению.

В этом вся мудрость доказательства, доходящая почти до тщетных усилий.

Каждый отдельный мозг, вследствие нарощения в себе своих впечатлений, встречает от них уклоняющиеся новые впечатления — или вовсе мимоходно, или не с достодолжной емкостью, или совсем отрицательно (т. е. враждебно). Отсюда каждый человек убежден или предубежден, что он прав, что́ положительно не может быть доказано, даже в таких абстрактных специальностях, как математические построения (теория Тихо де Браге так же была построена на математических построениях, как и теория Галилея); и потому действительное признание истины требует новых мозгов, не увлеченных предыдущими впечатлениями. На этом даже зиждется знаменитое историческое развитие, или прогресс ‹...› ** случаев (не лишенных своего особенного объяснения) — тут нечего заподозревать друг друга (на манер преимущественно русских, но также и иных писателей) в преднамеренности, в фальши, в предательстве и т. д.— я не приступлю здесь ни к какому развитию этого вступления, потому что, по моему предположенью, эта записка должна быть чрезвычайно коротка, — и потому приступлю прямо к делу.

2

Прежде всего обращусь к тебе, Герцен, как к моему не только первому, но единственному другу и к твоей статье «Между старичками», которой ты меня попрекаешь, что я ее нашел *замечательной*, а в сущности *** с ней• не согласен. Я и теперь, по прошествии **** времени, достаточного для того, чтоб человек мог одуматься, я и теперь нахожу ее *замечательной*, но это нисколько не обязывает меня соглашаться с тобой или с Бак‹унины›м. Мало ли что на свете замечательного, что остается вне того направления, которое вырабатывается в моем мозгу. Поэтому позволь мне,

---

* *Далее зачеркнуто:* доказать

** *Здесь обрывается рукопись Огарева, вклеенная Герценом в автографический текст третьего письма «К старому товарищу» (см. выше); в ней отрезано еще несколько строк текста — начало последнего абзаца главки 1-й. — Остальная (бо́льшая) часть рукописи Огарева (от слова* случаев *до конца) находится в ЛБ. Г.—О. VI. 40, причем первые два абзаца — до слов* за непогрешительность, т. е. за истину *зачеркнуты карандашом.*

*** *Далее зачеркнуто:* будто

**** *Далее зачеркнуто:* небольшого

оставляя в стороне всех литературных мулов, обратиться именно к тем пунктам в твоей статье, которых я не могу принять за непогрешительность, т. е. за истину. Ты говоришь:

«Экономические промахи не то, что промахи политические — они ведут прямо к разорению, к застою, т. е. к голодной смерти. Серое время наше — именно время изучения и поверки; оно совершенно естественно предшествует работе осуществления — как теория паров предшествовала железным дорогам. Прежде дело хотели взять грудью, усердием и отвагой, шли зря и на авось — куда дошли, ты знаешь. Мы видели своими глазами грозный пример кровавого восстания, бессмысленно сошедшего на площадь, в минуту отчаянья и гнева и спохватившегося на баррикадах, что у него нет знамени. Такого восстания больше не будет, и если новые люди снова должны идти с боем против препятствий, они пойдут, *зная, куда идут, зная, что̀ ломают и что̀ сеют*».

Что ты называешь *экономическими* и что *политическими* промахами — я этого здесь в смысл не могу взять. Когда это *политические* промахи не вели к *экономическому* разоренью? Такого примера ты в целой истории не отыщешь — возьми какое время хочешь: наполеоновские ли неудавшиеся войны, глупая ли оппозиция Англии против освобождения Северной Америки, избрание ли диктатора в Риме, междоусобия ли славянских князей и пр. и пр. — всё вело к остановке экономического развития и к экономическому разорению — разница промахов может быть только квантитативна, т. е. разорение было побольше или поменьше, смотря по общественному значению политического промаха.

Где же, наконец, эта граница между политическим и экономическим промахом? Община пренебрегла запасами для посева * — следствие: голод; тут промах экономический. Община пренебрегла выбором своих старост и десятских — все работы стали от дурного заведывания, дурного распределения труда и материала — опять голод; тут промах политический.

Как же в вопросе экономического построения общества, который включает в себя все интересы хозяйственные и все отношения общественной жизни, как же тут разграничить экономическую и политическую задачу, которые неизбежно одна в другую переливаются и которых разделение немыслимо? Нельзя же для разрешения реальной общественной задачи брать основание, которое только вертится на неопределенных словах.

Наконец, чтоб окончить эту маленькую (но, в сущности, очень великую) тему — что такое теперь *политическое* построение? Это сословное построение, т. е. совершенный экономический промах. Что такое теперь *экономическое* построение? Это — идеал будущего, это народное, бессословное построение. Где же ты тут найдешь реальную, т. е. разумную, границу между этими двумя задачами? Они нераздельны**. Только для постановки экономического дела надо, чтоб *это* политическое построение сошло с места и оставило жизнь вырабатывать политическое построение новое, экономическому делу сообразное. Ты же *** становишься на точку зрения Сен-Симона, Овена, Фурье ****, которые требуют теории и потом ее осуществления, наподобие тому, как теория паров предшествовала железным дорогам.

Ты забываешь, что теории паров предшествует их существование, точно так же как действительному общественному экономическому отношению, т. е. политическому экономическому отношению, должна предшествовать

---

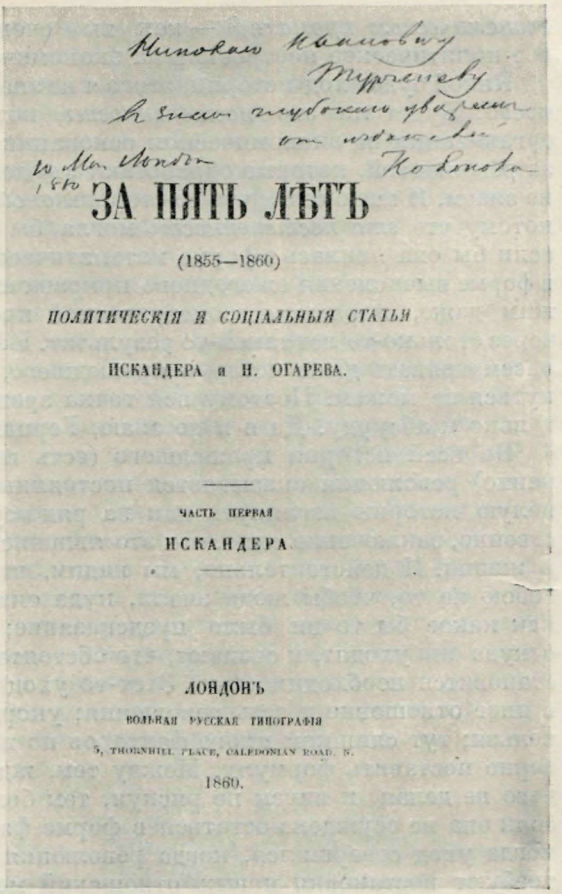
* *Переделано из:* забыла запасы семян
** *Надписано над зачеркнутым:* скорее слиты
*** *Далее зачеркнуто:* больше всего
**** *Далее зачеркнуто:* и пр.

[СБОРНИК «ЗА ПЯТЬ ЛЕТ»

На титульном листе дарственная надпись: «Николаю Ивановичу Тургеневу в знак глубокого уважения от издателей „Колокола". 20 мая 1860 г. Лондон»

Автограф Герцена

Литературный музей, Москва


Николаю Ивановичу
Тургеневу
в знак глубокого уважения
от издателей
Колокола
20 Мая Лондон
1860

ЗА ПЯТЬ ЛѢТЪ

(1855—1860)

ПОЛИТИЧЕСКІЯ И СОЦІАЛЬНЫЯ СТАТЬИ

ИСКАНДЕРА и Н. ОГАРЕВА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИСКАНДЕРА

ЛОНДОНЪ

ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ТИПОГРАФІЯ

5, THORNHILL PLACE, CALEDONIAN ROAD, N.

1860.

возможность существования экономического отношения. Заметь, что пары и общественное отношение — дело немножко специально различное. Поэтому, когда факт не существует, т. е. экономическое построение общества, то извлекать из него теорию и прилагать ее к новому политическому построению общества нельзя *.

Требуется, прежде всего, разрушение существующего политического построения: иначе экономическое основание политического (т. е. общественного) построения не может иметь места. Заметь также, что то, что мы страшно неопределенно привыкли называть *социальным* ** и преклоняться перед названием, — оно-то и есть политическое построение на экономическом основании. Заключение ясно: прежде разрушения старого политического построения ***, основанного на сословности (т. е. на

* *Этот абзац от слов:* Ты забываешь...— *надписан над густо зачеркнутым, трудно читаемым текстом:* По-моему, саго mio, это и называется говорить — о том, чего не понимаешь. Во-первых, все теории пропадали, потому что были дело сочиненное, а не результат факта. Следственно, тут становится вопрос, что идет вперед — факт или теория? Вопрос, кажется, разрешается довольно просто: теория, хотя бы и самоуточненная, не может быть применима, когда она не есть результат действительных потребностей той среды, куда она метила примениться. А если может, — другого рода дело. Не говорю, что это очень мудрено узнать, но главное тут не в том, что в некоторых данных можно ошибиться, но можно ошибиться в совершенно другом — это в том, насколько факт можно поставить как факт, а не как простое брожение фантазии. Об этом мы и поговорим.

** *Вплотную возле слова* рукою Герцена *знак* N3.

*** *Надписано над зачеркнутым:* основания

экономическом промахе * — как ты очень хорошо выразился **), новое политическое построение на экономическом основании невозможно.

Какой будет ход истории, этого я не знаю да едва ли кто и знает больше моего. Будет ли это *постепенность*, которая приведет к политической организации на экономическом основании через 5000 лет, или революция за революцией, которые обработают это дело лет в 200, — этого мы ничего не знаем. Я знаю одно, что со стороны *оной постепенности* я стать не могу, потому что *эта постепенность* могла бы быть в самом деле чем-нибудь, если бы она явилась в форме математического (арифметического) расчета, в форме вычисления ежегодного приращения некоторых развитий — положим даже, порядком геометрической прогрессии, которое должно дать через столько-то лет такой-то результат. Но мы по такой методе еще не умеем рассматривать даже истории прошедшего, а уже истории будущего и коснуться не можем. Поэтому вся точка зрения постепенности приводит нас только к абсурду. Да я и не знаю, Герцен, когда ты был ее сторонник?

Во всей истории прошедшего (есть постепенность или нет ее — всё равно) революция оказывается постоянным явлением, так что можно на целую историю взглянуть как на ряд неудавшихся революций***. Следственно, заключение одно, что это явление имеет свою causa sufficiens**** в жизни. И действительно, мы видим, что обычно революция выражает собою не то, чтобы люди знали, куда они идут; это так же невозможно, как какое бы то ни было предсказание; но люди положительно знают, откуда они уходят, и сознают, что обстоятельства сложились так, что уход становится необходимостью. Этот-то уход от прежнего, от существующего в иное отношение и есть революция; укорять ее тем, что она не удалась, нельзя; тут слишком много факторов по плюсу и по минусу, чтобы сразу верно поставить формулу. Между тем, ждать осуществления теории, ничего не делая и ничем не рискуя, тем больше нельзя, что самая теория, если она не осуждена остаться в форме фантазии, может только явиться, когда уход совершился, когда революция совершилась, и обстоятельства требуют постановки новых отношений между людьми, на новом основании, но на этот раз возможных уже не в форме фантазии, а в форме результата совершившихся обстоятельств.

Я думаю, далее теперь распространяться нечего. Мы расходимся немного, Герцен: вся разница, что ты требуешь выжидания осуществления идеала; а я требую результата совершившихся ***** движений.

3 ******

Теперь обращусь к тебе, Бакунин, чувствуя, что расхожусь с тобою совершенно противоположным образом.

Ты в «Постановке революционного вопроса» хочешь навязать народу движения, которых нет, движения, которые являются как******* частные уходы от бед и преследований, и от этого и в прежней России не удались, что не могли никогда дойти до ношения в себе общего дела, общего вопроса,

---

* *Рукою Герцена:* Нет, сословность не промах, а возраст. Первые зубы — не промах, а выпасть должны.

** *Надписано над зачеркнутым:* назвал

*** *Воспроизводим черновик этих строк:* Во всей истории прошедшего [революция] (есть постепенность или нет ее—всё равно) революция—оказывается [является как] постоянным явлением [следственно в жизни она имеет свою causa sufficiens] так что можно на целую историю взглянуть как на ряд неудавшихся революций.

**** достаточную причину (лат.).

***** *Далее вписано карандашом и вновь зачеркнуто:* или совершающихся

****** *В рукописи ошибочно:* 2.

******* *Слова:* являются как — *вписаны карандашом.*

общей переделки. Также не могут удаться и в современной России. Удаться могут только движения, которые пойдут не в лес, а на сельские площади, которые будут знать, чего требуют, которые даже если и пострадают, то зная за что. Времена кочевья, разбоя и т. д. проходят. Если в России требуются переселения, то они не выражают ни кочевья, ни разбоя; они требуют осуществления новой народной свободы и нового экономического построения *. Кочевье осталось в Азии как форма степной жизни; разбой остался в России как частный случай. Чего же ты хочешь от подобных форм? Они вне народных требований.

Ты говоришь: «мы, разумеется, стоим за народ». Кто это *мы*? Прежде всего надо, чтобы народ нас признал за своих.

Народ не требует разбоя. Это неправда. Правда тут только, что народ покровительствует преследованным. Народ требует права переселений, которое действительный результат его экономических понятий и большее их расширение. Право переселения постановляет не частную поземельную собственность и продажу земель (что́ до сих пор утверждало правительство), но постановляет общественную поземельную собственность и меновую единицу поземельного владения. (На сию минуту эту тему развивать некогда, через неделю или две подготовлю.) Были бы силы, я охотно пошел бы с мужиками на переселение куда бы то ни было, но не на основании братства, которое мне уже надоело своей неосуществимостью в христианском мире, а на основании переустройства поземельного владения, которое гнездится в русском понимании, потому что так земля сложилась.

На чем же мы сойдемся, мои старички? Если уже ни на чем нельзя, то на том, чтоб оставить каждого делать по-своему без всякой вражды и притязания. Кто прав — покажет неотдаленная будущность.

Автограф. ЛБ. Г.—О. VI. 40.

⟨ВТОРОЙ ОТВЕТ ОГАРЕВА — ПРОДОЛЖЕНИЕ ОТВЕТА НА СТАТЬЮ ГЕРЦЕНА «МЕЖДУ СТАРИЧКАМИ». КОНЕЦ МАЯ 1869 г.⟩

МЕЖДУ СТАРИЧКАМИ **

Второй ответ старому другу

«Allez en avant, et la foi vous viendra».
D'Alembert

(Cité par Cournot dans «L'origine et les limites de la correspondance entre l'algèbre et la géométrie»)***.

Без сомнения, твой эпиграф из Бентама совершенно верен: «Одни мотивы, как бы они ни были достаточны, не могут быть действительны без достаточных средств». Следственно, весь вопрос в том, каким образом приобретаются средства?

Далее ты говоришь, что «экономически социальный вопрос становится теперь иначе, чем он был двадцать лет тому назад. Он пережил свой религиозный и идеальный возраст так же, как возраст натянутых опытов и экспериментаций в малом виде...».

---

* *Над зачеркнутым:* склада

** *Сбоку рукой Герцена карандашом:* Письмо второе

*** «Идите вперед, и вера к вам придет» — Д'Аламбер. (Цитируется Курно в ⟨книге 1847 г.⟩ «Происхождение и границы соответствия между алгеброй и геометрией») (франц.).

Эти два положения совершенно нераздельны. Именно, когда идеальный возраст прошел, именно тут-то и требуется приобретение средств к практическому созданию экономически-общинного (социального) положения, которое не то чтобы было следствием одних мотивов, одной предначертанной теории, а напротив того, само ставило бы мотивы, которых произведением, которых результатом была бы новая общественность.

«Следует ли толчками возмущать творческую тишину внутренней работы, инкубации, беспрерывной, неуловимой?..» *

Я не вижу в историческом ходе рода людского этой беспрерывной**, неуловимой инкубации. История шла гораздо больше борьбой и прыжками, чем творческой тишиной внутренней работы.

Контовское деление на эпоху теологическую, эпоху метафизическую и эпоху позитивную (положительного знания или понимания) может нам очень нравиться, но если ты на историю взглянешь совсем позитивно — где ты найдешь (по части сознания)«от начала века» что-нибудь, кроме перемешанных теологий и метафизик рядом с общественностями, едва с ними связанными,— то пережившими старую мысль, то не дожившими до новой. Позитивное знание только теперь начинается и должно вести к своей особой, так сказать, небывалой методе, которая и теперь еще неясно установилась.

Где ты найдешь хотя ⟨бы⟩ в древнем мире что-нибудь, кроме перемешанных теологий и метафизик? Гомеровские боги, существующие рядом с развитием Аристотелевской метафизики! Римское право ты, конечно, не примешь за положительную философию. Оно представляет самую сложную и сухую метафизику***.

Возьми эпоху пообширнее, т. е. древний мир и христианский мир. Что же вносит после Аристотелевской метафизики и метафизики римского права — христианство? Новую теологию и только. До чего же это доработалось человечество в несметном количестве веков? Maximum до немецкой метафизики и, наконец, до метафизики Конта, которая только приводит к тому, что основы положительной науки находятся в опыте и изучении природы. Это один из ее действительных результатов. Но самые основы этой положительной науки едва-едва постановлены, едва начинают быть возможными, потому что опытному изучению еще далеко до ясности. Решительно, положительная постановка вопросов — едва начинается, а в прошедшей истории есть везде только ее зародыши, специальные попытки, за которые общество казнило специальных тружеников (и то я говорю только о математиках и естествологах, т. е. о людях, которые невольно гнули к атеизму в противность богословию,—сюда я причисляю и астрономов, начиная с Коперника,— а вовсе не говорю о политиках, которые всегда танцовали между некоторыми убеждениями и невольно добирались до идеала Маккиавелли и Талейрана — из которых ничего нельзя вывести; это люди, отделяющие понятие от дела, мысль от поступка, общественную цель от современного положения — до такой параллельности, что оставайся сила в их руках — положение данного времени никогда не могло бы измениться и приблизиться к новой цели).

Но общественность не могла не иметь целей, и положение данного времени не могло не изменяться. Каким же образом вырывалась сила из рук этих людей, которые не хуже других понимали общественные цели,

---

* *Против этого места (л. 8 об.) рукой Герцена:* Может, дурно сказано — следует «очевидной», «явнобрачной» — не подлежащей сомнению.

** *Слово* беспрерывной *подчеркнуто Герценом и (л. 8 об.) его замечание:* Я не говорил о беспрерывности, а говорю о теперешней минуте.

*** *К этому и предшествующему абзацам относится примечание Герцена (л. 8 об.):* Всё это очень хорошо, но относится к Вырубову, а не ко мне.

ŒUVRES POSTHUMES D'ALEXANDRE HERZEN

СБОРНИКЪ

ПОСМЕРТНЫХЪ СТАТЕЙ

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

ГЕРЦЕНА

(СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА)

ИЗДАНІЕ

ДѢТЕЙ ПОКОЙНАГО

ЦѢНА : 7 ФР.

ЖЕНЕВА

ВЪ ТИПОГРАФІИ Л. ЧЕРНЕЦКАГО

40, Rue-L'Evêque, 40.

1870

TOUS DROITS RÉSERVÉS

СБОРНИК ПОСМЕРТНЫХ СТАТЕЙ ГЕРЦЕНА (ЖЕНЕВА, 1870 г.). ЗДЕСЬ БЫЛИ ВПЕРВЫЕ НАПЕЧАТАНЫ ПИСЬМА «К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ»

Фронтиспис и титульный лист

но удерживали положение данного времени? Вырывалась ли она достигнувшим до возможного предела развитием сознания (или, проще сказать: знания или понимания) или противуставящейся иной силой, которая, если брала верх, то ставила новые общественные отношения и складывалась в новую общественность? Будь то Петр I или Конвент, а всё же не тишина внутренней творческой работы.

Я не вижу в истории ни одного примера такого развития понимания *, которому властвующее меньшинство уступало бы добровольно. Подвинулись ли мы в 1869 году настолько, чтобы развитие народного понимания могло идти как координата с народным терпением? Или прежде должно лопнуть народное терпение** (не дошедши еще до совершенного понимания нового общественного склада, но приобретая силу в борьбе), чтобы поставить обстоятельства народного склада в новые отношения и уже de facto создать из них новое общественное устройство?

Избежна эта метода исторического развития, которую ты можешь проследить от начала века, или еще неизбежна? That is the question***.

В конечных целях мы расходиться не можем, как ты сам это сказал. А конечная цель развития человеческой общественности — это, именно, придти к тому положению, к тем отношениям, где движение развития могло бы совершаться так, чтобы сознание и, вследствие оного, изменение в отношениях могли бы идти как координаты. Дошли ли мы в 1869 году до такого развития? Нет! Следственно, мой «That is the question» остается в полной силе.

Я думаю, что ответ, который я теперь предложу, не будет иллогичен: какие бы ни были вспышки, каждая вспышка станет новым запросом на пересоздание общественности, который без этой вспышки, хотя бы вспышка и рухнула, не проснулся бы****. Может, надо для достижения результата — число вспышек, которое мы определить не в состоянии; но помешать мы им не можем, так, как не можем помешать необходимости, опытом нами изученной в историческом ходе судеб. Что же нам остается делать? Помогать им по мере сил.

Это мы обычно и делали. В юности лет — именно потому, что die zerstörende Lust ist eine schaffende Lust; в старости лет — потому, что мы исторических пружин стереть не в состоянии; мы не в состоянии своротить ход исторического развития исключительно на научное развитие, которое одно и может выражать ту тишину творческой работы, о которой ты говорил. Если человечество когда-нибудь может достигнуть этого предела своего развития, где знание и общественность получат движение координат, то его спокойная творческая работа только начнется с этой минуты, но теперь оно его еще не достигло. Сила знания и сила выжидания остаются раздельны. Наука не составляет такой повсеместности, чтобы движение общественности могло совершаться исключительно на ее основании; наука не достигла той полноты содержания и определенности, чтобы каждый человек невольно в нее уверовал. Между тем сила выжидания исчезает в общественном страдании и общественное движение становится необходимостью. Что же делать?

Естественный путь: общественные движения, общественные перевороты, на некоторый процент изменяющие общественные отношения, и даже если переворот не удается, всё же он изменяет отношения настолько,

---

* *Рукой Герцена карандашом сбоку (л. 10 об.):* Да и понимания истории вовсе не было.

** *Отчеркнуто Герценом и сбоку его рукой (л. 10 об.) написано:* И то и другое — в взаимодействии.

*** «Вот в чем вопрос» (англ.).

**** *Сбоку (л. 11 об.) слова Герцена:* Люди могут очень задерживать (с хорошей и худой целью) вспышки и пихать на них à la Mazzini.

что самую науку общественности ставит на новую почву, и дело подвигается.— Вы меня спросите — куда? — Да, во-первых, всё к той же общей цели: достигнуть предела развития, где знание и общественность могли бы стать в отношение координат и где становится возможна спокойная внутренняя работа человеческого движения: «Allez en avant, et la foi vous viendra» *.

К сожалению, все перевороты в роде человеческом были и могут быть только местные; общий переворот в роде человеческом немыслим. Общий переворот может только обозначить сумму местных переворотов. В этом факте своя огромная доля неудачей. Но, вместе с тем, в этом факте заключается условие, вследствие которого местный удачный переворот может в данное время выработать только свою местную новую общественность. Поэтому социализм теоретичный, социализм всеобъединяющий, будь он Фурье или Гракха Бабёфа— неприложим. Реальная почва только и может быть выдвинута посредством реального движения, покамест общая цель, о которой я говорил, не достигнута. Реальное движение может быть только местное, и, в случае удачи, социализм, созданный на новых реальных отношениях, на новой реальной почве **, может быть только своеобразный, а нисколько не единый. Дело науки будет принять сумму и сопостановку различных общин, построившихся на различных реальных почвах, под свое ведение.

Мне кажется, что из этого достаточно ясно следует, что никакая предвзятая социология не построит никаких местных общин и никакой социальной общественности.

Я заключу на этот раз тем, что я нисколько не думаю, чтобы какая-нибудь предвзятая социология могла построить общины — будь то в России, где их корень в крестьянстве, будь то на Западе, где их корень в городских кооперациях ***. Реформа постепенная остается неудачною — или потому, что она выходит из предвзятых социологий, или потому, что она неискренна и ведет не к цели народных желаний, а к целям правительственного меньшинства. Это оказалось при всех русских реформах (о чем я писал, начиная с разбора манифеста об освобождении крестьян) да и в других странах оказывалось подобное. Таким образом, неудача постепенных реформ вызывает революцию, как неизбежность. Революция, смотря по обстоятельствам, действует путем сделки или путем террора. Возможны ли в современных движениях пути сделки или нет — это уже доказывают гревы****; но, во всяком случае, террор является не побуждением мести, а невольным делом перестройки.

Тут я также не могу не прибавить, что, во всяком случае, в русском деле и в западном революция не то что уничтожит всякое право собственности (даже на штаны) и не то что уничтожит всякое право на наследство (хотя бы штанов) — а постановит по-своему отношение личности к коллективности, из которой (постановки) определятся, количественно и качественно, иначе права передачи вещей одним лицом другому. Предначертать этого при современном постоянно задерживающем строе невозможно. Поэтому постепенная реформа является de facto постоянным вызо⟨во⟩м на революцию.

Автограф. ЛБ. Г.—О. VI. 41.

---

* «Идите вперед, и вера к вам придет» (франц.).

** *Рукою Герцена против этих строк (л. 13 об.):* Без сомнения

*** Роли изменились: я тебе именно это доказывал или в том же роде при Мерч⟨инском⟩; у тебя тогда была какая-то алгебра полит⟨ической⟩ экономии, и ты в ней искал предзнание. Я думаю, Мерч⟨инский⟩ помнит наш спор. Теперь ты читаешь Нечаева и Бакунина.— *Примеч. Герцена (л. 14 об.).*

**** забастовка, стачка (от франц. «grève»).

‹ТРЕТИЙ ОТВЕТ ОГАРЕВА — НА ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ РЕДАКЦИЮ СТАТЬИ ГЕРЦЕНА «ТРЕТЬЕ ПИСЬМО» ИЗ ЦИКЛА «К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ». ИЮНЬ 1869 г.›

ТРЕТЬЯ СТАТЬЯ

(1) Вместо продолжения контроверзы со студентами делаю самые искренние подстрочные примечания к твоему 3-му письму.

Нет! Я не понимаю, что́ называется политическим и что́ социальным элементом, потому что я получаю ненависть к слову социальный, социализм и пр.— Спроси себя и отвечай себе искренно: ты сам-то понимаешь *, что такое значит «социальный элемент»? Может быть, это слово очень хорошо для того, чтоб создать *новую религию*: но для того, чтобы *понять* в чем дело — оно невозможно.

Если я его употреблял или употребляю по привычке — я каюсь в этом и прошу прощения. Это слово именно приводит к неопределенности личности и ее отношения к коллективности. Я скорее, т. е. яснее понимаю слово *община* и потому яснее понимаю переворот русский, чем европейский, а потому и остаюсь исключительно преданным русскому вопросу. Поэтому также я не могу согласиться с тобой о ненужности революции и не могу согласиться с юношами об исключительности революции. Я вижу, что без революции общинный элемент поддержать нельзя, и он будет мало-помалу раздавлен; а забывая, при революции, что община** тот элемент, которому следует сохраниться и достигнуть своего разумного преобразования — можно испортить дело революции. Следственно, равно нельзя сказать, чтоб можно было обойтись без революции — посредством никак еще не определимого развития, как, с другой стороны, нельзя сказать, чтоб революция могла обойтись без сохранения какого бы то ни было уже существующего в жизни элемента. Ты видишь, что я не могу не спорить на обе стороны. Для меня революция представляет средство уничтожения*** сословных элементов, которые мешают развитию именно того общинного элемента, которого сохранение для революции составляет цель, и чем скорее может сложиться революция — тем лучше, тем прочнее этот общинный элемент может войти в свои права и приступить к своему развитию. Почему я говорю *прочнее* — да именно потому, что иначе он будет задавлен влиянием и силой высших сословий и правительства, которое прикидывается, будто его поддерживает, а на самом деле везде старается его разрушить: в доказательство приведу хотя бы один последний указ о казачестве (кроме множества других распоряжений, которые, пожалуй, соберу).

(2) Также еще раз я не могу согласиться с сравнением зоологического и исторического развития. Что каждое есть Naturprodukt—об этом, конечно, я спорить не стану; но в каждом из обоих Naturprodukt'ов — свои приемы, свои особенности, своя метода. Зоология строит свои ряды из окончательности форм отдельных организмов (муравей, жук, лягушка, обезьяна, человек), между тем как человеческая общественность (т. е. историческое

---

* Освобождение лица от одной части авторитета государственного и ее опеки, которая не касается ни до экономического факта, принятого за оправданный, ни до юридического быта, основанного на идеализме и дуализме, называется политическим. Освобождение innerhalb ‹внутри› государства патриотизма — социальное освобождение начинает отсюда — оно не подтверждает по давности экон‹омический› факт и берет иное отношение к вещи.— *Примеч. Герцена (л. 31 об.).*

** *Далее зачеркнуто:* это именно

*** *Далее зачеркнуто:* тех

развитие) меняет свои формы безокончательно, без постоянства и ограничения общественных форм *.

Я никогда не говорил, чтобы современный государственный быт был только политическим без экономических оснований; я, напротив того, говорил, что резких пределов между политическими и экономическими основаниями нет и что оба вопроса всегда присущи человеческой общественности. Но если современный государственный быт представляет политические и экономические формы, до того устарелые, что они к дальнейшему общественному построению неприложимы — что же с этим делать? Это факт, который, пожалуй, назовем историческим Naturprodukt'ом.

Этот Naturprodukt произведен целою цепью обстоятельств, толчков и насилий, сложившихся в сословности, которые теперь держаться не могут ни в своих политических, ни в своих экономических формах, и если держатся, то только посредством продолжения насилий.

Что же ты им противуставишь? Обстоятельства ли, которых мы определить не можем? Науку ли, которая нам не ясна? Или толчки, которые точно так же будут историческим Naturprodukt'ом? Рассуди сам.

(3) Я действительно говорил (и продолжаю поддерживать), что математических рядов исторического развития мы не знаем (да мы не знаем и математических рядов геологического и зоологического развития. Мы знаем только математические ряды абстрактные). И именно поэтому, что мы их не знаем, мы не в праве мешать ни постепенным, ни толчковым (революционным) рядам исторического развития. Заметь, что ведь никто из нас и не мешает постепенному ряду развития, а если б он был осмыслен, сознателен для своих деятелей, то толчковые (революционные) ряды были бы немыслимы; но так как ряд постепенного развития не осмыслен, бессознателен для своих деятелей, призрачен, то толчковые (революционные) ряды неизбежны, и нам остается не останавливать их, а содействовать им.

(4) Насчет приложения «пугачевского террора» к западной ли или к восточной цивилизации, ты сам упоминаешь, что я говорил о его бесплодности; но я, если ты хорошенько вспомнишь, говорил о его бесплодности не вследствие его уважения к массам, а именно потому, что такой террор (будь он в России или в Европе — в форме наполеоновского) ставит влияние личности выше всякого уважения к массам и берет себе в основание не вопрос народного общественного строя, а само влияние личности, эксплоатирующей в свою пользу народные бессознательности — традиционные предрассудки: так Пугачев действовал во имя царизма, а Наполеон во имя французского национализма. Но возьми историю наших декабристов (и это я тебе докажу с книгой в руках, в которой ты так горячо их отстаиваешь). Наши декабристы решались действовать на основании такого же террора, но уже не во имя влияния личности, но во имя нового народного общественного строя. Положим, что их ошибка в том, что их понимание нового общественного строя (или, лучше сказать, понимание этого строя им современным миром) не имела существенного основания в том общинном элементе народной жизни, который революция обязана сохранить для развития будущего; но их ошибка нисколько не состояла

---

* «Ведь если Саша прав и обезьяна переродилась в человека, тем не менее обезьяна в природе не умерла, а исторические общественные формы, отживши, вымирают. Римская республика исчезла в итальянском феодализме. Итальянские республики никогда не имели того же построения, а республиканский Рим больше не существует. Разница между общественностью и зоологией — огромная».— *Примеч. Огарева.*

Этого мы не знаем. Может, и человечество остановится, и не на одном, а на нескольких типах, навсегда или на время. Это по мере достижения предела— la limite— напр⟨имер⟩, Китай — или и Европа на буржуазию частями, как Голландия ⟨?⟩. И зверь не замкнут: у пчелы до окончат⟨ельной⟩ посадки и у муравья, может, были миллионы попыток, и кто отвечает, что у зверей не были и не будут разные прогрессы.— *Примеч. Герцена (л. 21 об.)*

в пропа⟨га⟩нде путей террора. Не заяви они во всех своих соображениях и поступках искание новой общественности, искание, которое должно было осуществиться путем террора (причем всё же исчезало уважение перед влияниями личности и возникало уважение — зачем же говорить идолопоклонство? — перед массами); не заяви они этого, может мы до сих пор не пришли бы к пониманию, что в России есть элемент общинной народной общественности, который революция обязана сохранить для развития будущего.

Террор, предполагавшийся декабристами, был беспощаден; пути его, сообразно с духом времени, были пути исключительно военные. Почему же тебе их пути не казались страшными? А как скоро эти пути переходят в террор крестьянский и работничий — они тебе кажутся страшными, несмотря на то, что они вводят в жизнь элемент общинной народной общественности, т. е. тот элемент, который революция обязана сохранить для развития будущего и который, следственно, ставит революцию на реальную почву?

(5) Может, я где-нибудь неясно высказался. В сущности, я думал и хотел сказать следующее: мы можем рассчитывать (даже не приблизительно) пути революции, но знать их не можем. Легко может случиться, что слагающийся террор не достигнет своей цели и перейдет в промежуточные формы общественного устройства; так же легко может случиться, что слагающиеся промежуточные формы — именно по своей слабости — приведут прямо к террору. Ничего этого останавливать мы не только не в праве, но не в состоянии. А помогать можем и тому и другому, потому что и то и другое составляют возможности. Объяснюсь примером. Правительство вводит новые судебные учреждения; мы этому мешать не в праве. Но мы узнаём, что новые учреждения довольно призрачны и, возбудив ожидание и не давая удовлетворения, всего больше способны вызвать террор, чем что другое; как же мы будем останавливать террор? Если Тьер только через 40 лет догадался, что экономический террор неизбежен, то зачем же нам непременно откладывать в себе понимание этого на неопределенное время? А прожить-то придется недолго; зачем же именно умереть в непонимании того, что готовится?..

(6) Насколько террор может или не может иметь успех — для этого расчета у меня опять нет данных. Быть может, террор должен будет повториться *n* раз и удастся только в *n*-ный раз; но вызван он всегда будет неудачею постепенных реформ, которые уже должны быть неудачны по своей неосмысленности и по своей неискренности.

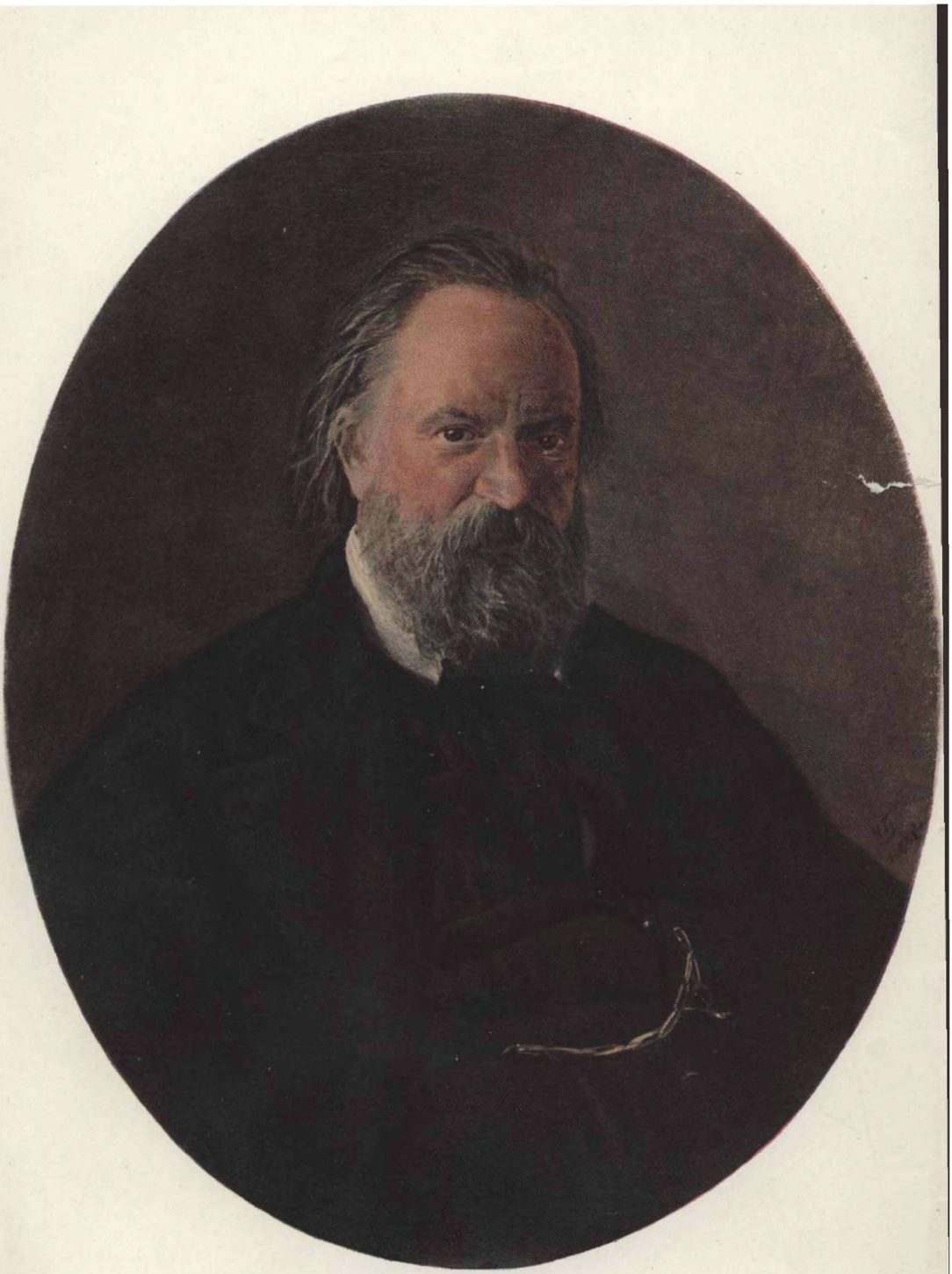
(7) Ты всё пугаешься перед словом разбой или грабеж (и даже коммунизм). Но я уже давно говорю, что разбой или грабеж, который обыкновенно всегда является временно, при всякой вспышке (даже 14 дек⟨абря⟩ предлагалось разбить кабаки, а южное общество шло еще решительнее) — я давно говорю, что разбой может быть и не быть, может явиться как частный случай восстания — ради его спасения — но главное дело в неизбежном восстании, которое и должно стать началом. Сколько бы вызовы ни были ошибочны, сколько бы они ни хватали далеко — они не обойдут простого местного восстания, о котором я и говорил в другой статье, что его начало может иметь своею местностью только русский восток *.

Кажется, что я сказал всё, что мог, хотя вопрос не из легких. Если думаешь, что нужно продолжать — я с моим удовольствием готов. Но также скажи — какую форму дать всему вместе. В этом виде оно, кажется, только удобно для личных разъяснений.

---

* См. письмо «От дедушки к внучку» — «Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 65—66 (указанная дата «начало 1870 г.» не верна; следует: «весна 1869»).— *В. П.* и *Я. Ч.*

ПИСЬМА ГЕРЦЕНА



А. И. ГЕРЦЕН

Портрет маслом Н. Н. Ге, 1867 г.

Третьяковская галерея, Москва

ПИСЬМА К РАЗНЫМ ЛИЦАМ 1847—1869 гг.

ПИСЬМА ГЕРЦЕНА К Г. Я. БУДКОВСКОМУ, СТАНИСЛАВУ ВОРЦЕЛЮ, О. А. ГЕРЦЕН, КАРЛУ ГИСКРА, ИЗДАТЕЛЮ ГАЗЕТЫ «DAILY NEWS», ТОМАСУ КАРЛЕЙЛЮ, ГОТФРИДУ КИНКЕЛЮ, РЕДАКТОРУ «KÖLNISCHE ZEITUNG», ГЕНРИ-ЧАРЛЬЗУ КЭРИ (?), ПЕРИКЛУ МАЦЦОЛЕНИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ «МОЛОДОЙ ЭМИГРАЦИИ», В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ», НЕИЗВЕСТНЫМ, ПЬЕРУ-ЖОЗЕФУ ПРУДОНУ, ФЕРЕНЦУ ПУЛЬСКОМУ, ШАРЛЮ РИВЕЙРОЛЮ, ЭМИЛИИ РИВ, М.-Э. ТЕСЬЕ ДЮ МОТЭ, КАРЛУ-ЭДМУНДУ ХОЕЦКОМУ, В. Н. ЧИЧЕРИНУ, Д. К. ШЕДО-ФЕРРОТИ и М. С. ЩЕПКИНУ

М. С. ЩЕПКИНУ

Публикация Л. Ланского

Михаил Семенович *Щепкин* (1788—1863) принадлежал к числу людей, горячо любимых Герценом. Герцену Щепкин был дорог и как человек, и как великий актер. «Щепкин и Мочалов—без сомнения, два лучших артиста, изо всех виденных мною в продолжение тридцати пяти лет и на протяжении всей Европы»,— писал Герцен (XVI, 504). Первое знакомство их состоялось в 1839 г., после возвращения Герцена из ссылки; последняя встреча — в 1853 г. в Лондоне, куда Щепкин приезжал специально для свидания с Герценом. «Четверть столетия старше нас,— писал Герцен о Щепкине,— он был с нами на короткой, дружеской ноге родного дяди или старшего брата». В дневниках и письмах Герцена сохранилось немало упоминаний о Щепкине. После смерти великого актера Герцен напечатал свои воспоминания-некролог о нем.

Публикуемое ниже письмо, считавшееся утраченным, обнаружено нами среди неразобранных бумаг историка И. Е. Забелина. Написано оно Герценом вскоре по приезде в Париж, под влиянием первых живых впечатлений от французской столицы. Письмо адресовано Щепкину, но Герцен не сомневался в том, что оно сразу же станет известно всем его московским приятелям. В этом письме впервые высказывается мысль, развитая позднее в знаменитых «Письмах из Avenue Marigny»,— о тлетворном влиянии буржуазии на искусство.

На первых же порах Герцену удалось разглядеть за позолоченной маской подлинное лицо новых хозяев Франции. С омерзением пишет он об отяжелевшем и отупевшем от сытости мещанине-буржуа, «страшном охотнике до дешевого волокитства, до половинного развратика» и сальных анекдотов, в жертву которому принесены гениальные актерские дарования, «поглощенные, испорченные, размененные на мелочь». Герценовские гневные обличения французской буржуазии и глубоко оптимистическое противопоставление ей молодых сил рабочего класса заставляют вспомнить Маркса и его бичующие характеристики «торжествующего буржуа» июльской монархии. Любопытно отметить, что В. П. Боткин, либерал и апологет западноевропейских буржуазных порядков, отозвался об этом письме с большой враждебностью и раздражением. По мнению Боткина, его «точно писал один из тех немцев, которые года три назад приезжали в Париж учить французов» («П. В. Анненков и его друзья», СПб., 1892, стр. 540). Совершенно очевидно, что Боткин имел здесь в виду именно Маркса, издававшего вместе с А. Руге в 1844 г. в Париже «Deutsch-französische Jahrbücher». В вызванной этим письмом известной полемике между Герценом, Боткиным, Анненковым и Грановским принял живейшее участие и Белинский.

Публикуемое письмо, имеющее самостоятельный интерес, важно также для изучения генезиса «Писем из Avenue Marigny».

Париж $\frac{23}{11}$ апреля 1847

Знаете ли, Михаил Семенович, уж кутить — так кутить, писать — так писать в целый лист, не писать — так совсем не писать (как за лучшее считают все наши общие друзья, кроме Кавелина; друзья наши — друзья истины, но более друзья лени) [1]. Я давно собирался говорить с вами — вы догадываетесь о чем — о здешних театрах и о главных представителях. Нигде театр не сочленен так с городом, как здесь; город этот всякий вечер сидит в двадцати двух театрах по шести часов сряду, все театры полны; если не придешь за четверть часа, то не найдешь места и, сверх того, должен франка два заплатить лишних. Сцена служит ответом, пополнением толпе зрителей, вы можете смело определить по пьесам господствующий класс в Париже, и наоборот. Господствующее большинство принадлежит здесь мещанству, и мещанство ярко отражается во всей подробной пошлости своей в уличных романах и, по крайней мере, в 15 театрах. Скриб — гений своего времени, его пьесы обращаются на интересах мещанства, даже тогда, когда он берет сюжеты выше или ниже — он всё в уровень с мещанами. Мещанин *любит с хор смотреть на пышный бал, на королевскую* прогулку—Скриб ему именно и подает высшие сословия, рассматриваемые с его точки. Но это роскошь. Мещанин — хочет себя и себя в идеале, и вот ему толпа пьес без истинных страстей, но с движением, с хитро завязанным узлом, в них апотеоза самой пошлой, благочинной жизни; всегда наказан благородством мужа, собственника, пылкий артист, юноша — и нигде ни малейшего сочувствия ни к мощному колебанию волн кругом и внизу, ни к современным вопросам, от которых бледнеют лица и выпадают волосы в 30 лет. Но мещанин не всегда любит мораль, он мораль любит собственно для жены, для семьи, а сам страшный охотник до дешевого волокитства, до половинного развратика, любит вклеить в разговор двусмысленную неблагопристойность и включительно любит пороки до тех параграфов кодекса, по которым сажают в тюрьму. И вот толпы водевилистов на 15 сценах угощают мещан водевилями с сальными движениями, с сальными куплетами, в которых кипит острота, каламбуры такие, что Языков[2] бы повесился бы — и ни искры художественного достоинства. Представление здесь продолжается страшно долго, иногда до часу; вообразите *пять водевилей*, один пошлее другого, *в один вечер*. Я часто выходил из театра с Анненковым — подавленный грустью и печально брел с ним с горя выпить бутылочку фрапе *. Не говорю уж о жалкой толпе, которая может ежедневно смотреть всю эту дербедень — а вот что страшно, какие таланты поглощены, испорчены, разменены на мелочь, какие сильные таланты, удовлетворяя жажде одного смеха, сделались гаерами, прибегают к средствам, от которых внутренно отрекаются. Во главе их Левассор (Пале Рояль), —Арналь (Варьете)[3] больше выдержал художественного комизма, — но Левассор — этот протей, которого не узнаешь в двух ролях, этот актер, по превосходству французский, веселый, острый, необузданный, живой, шалун и везде талант — и он прибегает к гаерству, но у него как-то и в дурачествах и в натяжках есть что-то увлекательное, у талантов меньшего разбора — голый эффект и расчет на самые мелкие и грязные средства. Есть, напр⟨имер⟩, пьесы, которые держатся на плечах — там выходит хорошенькая актриса в одной юбке с совершенно голыми плечами и придерживает на груди рубашку, так ловко, что всё видно, что она прячет. И тут я узнаю опять моего мещанина — он тонет в старчески-сластолюбивом восторге от этих штук, какой-то стон пробегает по партеру, а предложите этим почтенным заседателям отелей идти смотреть голых женщин, он возмутится, он боится разврата, т. е. идти

* замороженного вина (франц.).

ГЕРЦЕН

Фотография с дарственной надписью Герцена М. К. Рейхель (?): «Будьте здоровы. А. Герцен. 1854, 4 февраля»

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

смотреть открыто и прямо, а если можно в щелочку, это другое дело. Он придет домой из театра и скажет своей жене: «Мамур, какие мерзости представляют на театре», — и вздохнет о том, что у Мамур нет таких плечей.

Было время, когда бойкий партер, с этой невероятной быстротой пониманья, которой одарен француз, умел ловко встрепенуться от политического намека, от сарказма — отяжелевший от сытости мещанин отупел, его восторги так пошлы или его хладнокровие так отвратительно, что досада берет. Напр⟨имер⟩, в одной опере поют: «Нет, англичанину не царить во Франции!», а публика начинает реветь: ne regnera — ne regnera *, как будто перед Парижем стоит неприятельское войско; это очень похоже на то, если б человек себе в похвалу стал петь: «Меня — — меня — — — не съездит в рыло — — никто — — никто — никто — —».

«Так вот у вас как, славны бубны за горами!» Нет-с, не так. Я вам представил большинство, я вам представил материальную силу, силу сегодняшнего дня — мещанина, но около этого живота со всех сторон более благородные органы, но, по привычке к злословию, я вам о лицевой стороне говорить не буду, разве только в отношении театра. Низший класс в эти театры редко ходит, цены мест дороги, а если идет, то идет или во «Французскую революцию»[4] в цирк, или смотреть «Королеву Марго»[5] в Théâtre historique **, или неестественную драму в Porte St. Martin — и всё это, разумеется, несравненно лучше смотреть для бедняка, нежели 1001 водевиль. Кто хочет знать, сколько шагов Франция сделала вперед в последнее время, тому не мешает посмотреть на работников и даже на прислугу — какие смехи, чем беднее здесь человек, тем он далее от мещанина в хорошую сторону; я думаю, что этим путем когда-нибудь уврие*** столкнется затылком с аристократом С.-Жерменского предместья... но не об этом речь.

Истинное искусство, и как предание прежней славы французской трагедии, славы Расина и Корнеля, славы Тал⟨ь⟩мы, и как серьезное, величавое исполнение истинного служения искусству, сохраняется aux Français ****. Эта труппа сгруппировалась около гениального артиста: около одного из тех явлений, которые сторицей вознаграждают за пошлость — вы догадываетесь, что я говорю о Рашели. Она играет в расиновских трагедиях — я не понимал доселе возможности увлекаться Расином, мы все еще, как блаженной памяти Н. А. Полевой, рассуждаем: «Трагедии-де эти классические — след⟨овательно⟩ отвратительные». А когда дают пьесу романтическую — Гюго с ком⟨панией⟩ — еще отвратительнее. В трагедиях Расина глубокое знание сцены и широкое поле пластическому таланту, античному; это всего понятнее там, где живет предание о том, как понимал или создал роль Тал⟨ь⟩ма. Актеры — как все трагические во Франции — несколько натянуты, т. е. важны, но оно не мешает сюжету; это те важные позы на греческих барельефах, в которых вам хотят представить жизнь с ее стороны торжественной, религиозной. Надобно слышать превосходную дикцию, видеть покойную грацию поступи, движенья, это уменье дать какую-то осязаемую выпуклость речи. Такова рама, обстановка Рашели. Середи строгого чина, царящего на сцене, взбегает женщина среднего роста, худощавая, небрежно одетая, — и все актеры исчезли. Лицо у нее горит страстью, ее губы трепещут, а взгляд не позволяет вам дышать, и сколько в этом взгляде презренья, гордости... и нежности любви; сколько мужских, грубых нот в этом голосе — и сколько девственных, свято-мягких. В Аталии —

---

* не царить—не царить (франц.).
** Исторический театр (франц.).
*** рабочий (франц. «ouvrier»).
**** Герцен имеет в виду Французский театр («Théâtre Français»).

РАШЕЛЬ ПОЕТ МАРСЕЛЬЕЗУ

«L'Illustration» от 8 апреля 1848 г.

«Вспомните, как эта женщина, худая, задумчивая, выходила без украшений, в белой блузе, опирая голову на руку; медленно шла она, смотрела мрачно и начинала петь вполголоса ... мучительная скорбь этих звуков доходила до отчаяния. Она звала на бой, но у нее не было веры, пойдет ли кто-нибудь ... И вдруг из этой слабой груди вырывается вопль, крик, полный ярости, опьянения: «Aux armes, citoyens!...» На мгновение женщина берет верх, она бросается на колени, кровавый призыв делается молитвой, любовь побеждает, она плачет, она прижимает к груди знамя... Amour sacré de la patrie! Но уже ей стыдно, она вскочила и бежит вон, махая знаменем и с кликом „aux armes, citoyens!..“» («С того берега». «После грозы»)

Théâtre de la République. — Mademoiselle Rachel chantant la *Marseillaise*.

Рашель, необузданная, восточная царица, довела меня до того, что я от души желал, чтоб она победила Иоаса — то ли было повиноваться этой страстной кошке, по которой пробегает какая-то дрожь от властолюбия и от сознания своей силы. — Ну, думаете вы, наконец-то конец-то. А я беру другой лист.

2-й лист

Здравствуйте, Михаил Семенович, во втором листе! Как ваше здоровье, не прикажете ли сигарку парижскую, она не более как в пять раз дороже как у нас, зато втрое хуже. А клико здесь совсем нет — вдова Клико изволила на сей год всё продать в Англию, Голландию и Россию; кроме сих трех стран два года нигде клико не будет — с чем вас и поздравляю. Так на чем же я остановился? — да, на Рашели.— Театр всегда полон, эту публику составляют, во-первых, все старики, которых лет шестьдесят тому назад вместо молока кормили Расином, во-вторых, толпа англичан с неподвижными мускулами в лице от твердости характера — они в антрактах покупают текст и пресурьезно читают во время представления — «то ли, мол, скажет, что пропечатано». Наконец, тут артисты, литераторы, порядочные люди.

В следующем письме напишу вам о «Буфе» и о Фредерике Леметре [6].

№. Из всех небольших пьес, виденных мною здесь, самая лучшая, без сомнения, «Le docteur en herbe»[7]. Это торжество Левассора, но ее у нас не дадут с успехом; роль Левассора, т. е. самого будущего доктора,

требует страшного таланта и молодости. Да еще есть пьеса недурная: «Ce que femme veut»[8]. Тут роль Арналя так для вас и писана — он играет Шампинье — роль совершенно в вашем роде. Полагаю, что обе пьесы можно получить у Урбена или Готье [9].

Да еще забыл вам сказать о Дежазе [10], она ⟨со⟩старилась * и, несмотря на блестящий талант, ⟨не⟩* сильно подействовала на меня. Она очень лю⟨бит⟩ * штаны и всё является в мужских ролях.

С м е с ь. Ответа, если не хочется писать, я не прошу, но желал бы знать, получите ли вы письмо это, потому что адрес помню шатко.

Скажите Кавелину, что его статья в «Соврем⟨еннике⟩» не только в Берлине, но здесь ** нашла читателей, разумеется между занимающимися, как дельная, ученая вещь ***—ну вот и замарал письмо, потому что очень пустился в комплименты[11].

— Я сегодня обедаю у Николая Петровича[12].

«Современник» получает Анненков, я — нет, нельзя ли через немецкую книжную лавку или по почте присылать?

Засим всем поклоны — и вашему семейству (скажите Николаю Мих⟨айловичу⟩[13], чтоб он не думал, что я не прочел в «Инвалиде» о его отставке), и всем друзьям, приятелям.

Ко мне писать можно и через Турнейсена и прямо—Avenue Marigny № 9, au premier, Faub⟨ourg⟩ S. Honoré.

Жена моя и Марья Федоровна[14] крепко жмут руку вашу, а жертва вашего грандисонства, Марья Каспаровна[15], которая на-днях приехала сюда, сидит теперь дома, потому что обрезала себе на ноге палец, и ее лечит Piorry — приятель Сатина.

Прощайте!

Да еще нельзя ли мне прислать, когда выйдет, Соловьева новая книга[16].

Автограф. ГИМ. Фонд Забелина, № 440, ед. хр. 844, лл. 30—32.

[1] «Московскими я всеми недоволен,— писал Герцен Огареву позднее, 3 августа 1847 г., — есть предел всему, и если их молчание — не просто холодное невнимание, то, по крайней мере, уродство» (V, 48). Упоминаемое письмо Кавелина неизвестно.

[2] Михаил Александрович *Языков* (1811—1885) — петербургский приятель Белинского и И. И. Панаева, пользовавшийся репутацией остроумного человека.

[3] Пьер *Левассор* (1808—1870) и Этьен *Арналь* (1794—1872) — известные французские комические актеры.

[4] «*Французская революция*» — пьеса, поставленная в 1847 г. в парижском цирке и пользовавшаяся огромным успехом. См. о ней в «Парижских письмах» П. В. Анненкова («Анненков и его друзья», СПб., 1892, стр. 278—279).

[5] «*Королева Марго*» — инсценировка романа А. Дюма-отца.

[6] *Фредерик Леметр* (1800—1876) — замечательный французский актер.

[7] «*Le docteur en herbe*» («Будущий доктор») — комедия Дювера и Лозанна.

[8] «*Ce que femme veut*» («Чего хочет женщина») — водевиль тех же авторов.

[9] *Урбен* и *Готье* — книгопродавцы.

[10] Полина-Виржини *Дежазе* (1797—1875) — прославленная французская актриса, особенно отличавшаяся в ролях с переодеванием.

[11] Герцен имеет в виду статью К. Д. Кавелина «Юридический быт древней России», помещенную в 1-й книжке «Современника» за 1847 г. и вызвавшую одобрительный отзыв во французском журнале «La revue indépendante».— См. об этом в «Лит. наследстве», т. 56, 1950, стр. 498—499.

[12] *Николай Петрович* Боткин, брат В. П. Боткина.

[13] *Николай Михайлович* Щепкин (1820—1886), сын артиста.

[14] *Марья Федоровна* Корш (1809—1883), друг Герцена и его семьи.

[15] *Марья Каспаровна* Эрн, впоследствии Рейхель.

[16] Герцен имеет в виду докторскую диссертацию известного историка С. М. Соловьева (1820—1879) — «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома», вышедшую в свет в 1847 г.

---

* *Письмо повреждено.*

** *Далее вачеркнуто:* сделала большое впечатление

*** *Далее вачеркнуто:* и что он может не удивляться

ПЕРИКЛУ МАЦЦОЛЕНИ

Публикация Я. Линкова

Печатаемое письмо адресовано Периклу *Маццолени* (Mazzoleni), участнику итальянского национально-освободительного движения, доверенному лицу Маццини в Лондоне в период подготовки миланского восстания 1853 г.

Герцен с горячим сочувствием относился к героической борьбе итальянского народа, порабощенного Австрийской империей. В течение многих лет он был тесно связан с Маццини и Гарибальди, которые пользовались его гостеприимством в Лондоне.

Но дружеские отношения Герцена с руководителями итальянского национально-освободительного движения отнюдь не означали их полной идейно-политической солидарности.

Герцен видел в этих выдающихся людях прежде всего мужественных борцов за свободу Италии. Это не мешало ему, однако, критически относиться ко многим их взглядам и принципам, в частности к заговорщицкой тактике Маццини.

Что касается до отношения к Маццолени, то оно было резко отрицательным: «Чиновник, бюрократ по натуре, он нас смешил своей министерской важностью и дипломатическими манерами»,— писал о нем Герцен (XIV, 287).

Обстоятельства, вызвавшие публикуемое письмо к Маццолени, освещены в шестой части «Былого и дум» (глава «Польские выходцы»). Желая «внести свою лепту в итальянское дело», Герцен в конце 1852 г. передал Маццини сумму в 140 фунтов стерлингов, сказав при этом, что еще 60 фунтов остаются за ним. В начале 1853 г. Маццини покинул Лондон, в связи с подготовкой восстания в Милане. Вскоре после его отъезда Маццолени обратился к Герцену с письмом, в котором уведомлял, что так как до его сведения дошли слухи, будто бы Герцен не знает, кому доставить оставшиеся 60 фунтов, он просит переслать их ему как представителю Маццини в Лондоне.

«... Получив письмо от этого статс-секретаря по революции,— рассказывает далее Герцен,— я ему отвечал шутя, что он напрасно меня представляет в каком-то беспомощном состоянии, стоящего середь Лондона, затрудняясь, кому отдать шестьдесят ливров; что я без письма Маццини вовсе не намерен их кому бы то ни было отдавать» (XIV, 287).

Публикуемое письмо и является этим ответом Герцена. Получив письмо, Маццолени написал Герцену «длинную и несколько гневную ноту, которая должна была, не унижая достоинства писавшего, быть колкой для получающего, не выходя впрочем из пределов парламентской вежливости». Разумеется, она не заставила Герцена переменить своего решения. «Не прошло недели после этих искушений,— заканчивает Герцен свой рассказ,— как <...> приехала ко мне Эмилия Г<окс>, одна из преданнейших женщин Маццини и близкий его друг. Она мне сообщила о том, что восстание в Ломбардии не удалось и что Маццини еще скрывается там и просит немедленно выслать денег, а денег нет. — Вот вам,— сказал я ей,— знаменитые шестьдесят фунтов; не забудьте только сказать тайному советнику Маццолени <...>, что я не так-то дурно сделал, не бросив в омут Европейского комитета эти полторы тысячи франков» (XIV, 287—288).

Отношение Герцена к так называемому Европейскому комитету, созданному в 1850 г. в Лондоне международной революционной эмиграцией и охарактеризованному Герценом в письме к Маццини от 13 сентября 1850 г. как «хаос» (VI, 143), было крайне отрицательным. Герцен разоблачал полную политическую несостоятельность Комитета, считая его мертворожденной организацией.

Известно, что отношение Маркса к Центральному европейскому комитету было также резко отрицательным (см., например: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. VIII, стр. 259—260, и т. XXI, стр. 120).

6 octobre ⟨18⟩53, Dimanche

Monsieur,

L'affaire de laquelle vous avez eu l'obligeance de m'écrire est toute personnelle entre Mazzini et moi. Je n'ai absolument rien promis à aucun comité, et je me réserve de donner des explications suffisantes à Mazzini, concernant le retard.

D'après votre lettre on pourrait penser que je suis en peine de trouver un moyen quelconque de verser la somme de 500 fr. au comité, à vous ou à Worcell. L'argent a été destiné *exclusivement* pour l'Italie, et la somme est plus grande que 500 fr. [Or donc vous savez mieux que moi toute l'impossibilité d'un mouvement sérieux en Italie[1]].

Notre vénérable ami ⟨Worcell⟩ m'a très mal compris; je lui ai dit, après lui avoir prouvé toute la nécessité de ne pas perdre nos dernières ressources, que pourtant si on insistait, je remettrai *contre ma conviction*, une partie de la somme. Vous ne parlez rien de l'urgence, ni de l'avis de Mazzini, mais seulement de mon désir de faire le payement, quant à celà il n'est pas trop ardent.

C'est aux martyres de notre cause que je destinais cet argent. Je l'ai dit à Worcell — tout ce qu'on prendra chez moi maintenant, on l'arrachera aux pauvres Polonais et à nos frères en général — et que fera-t-on avec cet argent? une goutte de plus ou une goutte de moins, ne fera pas beaucoup dans les destinées de l'univers, qui ne se dispose pas pour le moment de se mouvoir.

Recevez mes salutations empressées

A. Herzen

Monsieur Péricle Mazzoleni.

Перевод:

6 октября ⟨18⟩53 г. Воскресенье

Милостивый государь,

Дело, о котором вы имели любезность написать мне, чисто личного характера и касается только Маццини и меня. Я решительно ничего не обещал никакому комитету и воздерживаюсь от каких-либо объяснений с Маццини по поводу задержки.

Из вашего письма можно заключить, что я затрудняюсь найти способ—как внести сумму в 500 фр. комитету, вам или Ворцелю. Деньги эти были предназначены *исключительно* для Италии, и сумма превышает 500 фр.*

Наш уважаемый друг ⟨Ворцель⟩ очень плохо меня понял: доказав ему всю необходимость не растрачивать наших последних средств, я сказал ему, что, тем не менее, если на этом будут настаивать, *я, вопреки своему убеждению*, передам часть суммы. Вы ничего не говорите ни о срочности этого, ни о мнении Маццини, а только о моем желании произвести платеж — что касается сего последнего, оно не слишком пламенно.

Для жертв нашего дела предназначал я эти деньги. Так я и сказал Ворцелю — всё, что возьмут у меня сейчас, отнимут у несчастных поляков и вообще у наших братьев — а что сделают с такой суммой? каплей больше, каплей меньше, — этим не слишком-то повлияешь на судьбы мира, который не расположен в настоящее время приходить в движение.

Примите уверения в совершенном моем почтении.

А. Герцен

Господину Периклу Маццолени.

Авторская копия. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134, л. 6 — 6 об.

[1] Речь идет об оценке ближайших перспектив национально-освободительного движения в Италии. Подобно Марксу и Энгельсу, Герцен не верил в успех миланского восстания, о подготовке которого был осведомлен, поскольку оно было организовано маццинистами по принципу заговора, «путча».

* *Далее зачеркнуто:* А вы лучше меня знаете всю невозможность серьезного движения в Италии[1].

РЕДАКТОРУ «KÖLNISCHE ZEITUNG»

Публикация Л. Мандельштам

Среди печатных материалов «пражской коллекции» Герцена — Огарева сохранилась газетная вырезка, содержащая текст письма Герцена на немецком языке к редактору какой-то газеты. Письмо послано из Лондона и помечено 16 июня. Ни название газеты, ни год издания, ни номер не обозначены. Однако вырезка содержит материал, позволяющий датировать появление письма в газете периодом от 18 июня до 6 июля 1854 г. и высказать догадку, что вырезка сделана из номера «Kölnische Zeitung» («Кельнской газеты»). Дело в том, что ниже герценовского письма в вырезке сохранился текст, содержащий сведения о жителях Кельна на 18 июня и объявление о предстоящих 6 июля 1854 г. торгах (в Амстердаме). На обратной же стороне вырезки напечатана корреспонденция из Бухареста о начальных событиях Крымской войны.

Годовая дата подтверждается сверх сказанного и содержащимся в письме упоминанием Герцена о семи годах своего «изгнания» (годом изгнания, как известно, Герцен считал год своего отъезда за границу — 1847 г.). Что же касается высказанного предположения о наименовании газеты, в которой появилось герценовское письмо, то наша догадка пока не могла быть документально проверена и подтверждена, так как нам не удалось найти комплекта «Kölnische Zeitung» за 1854 год.

Отправляясь от установленной даты письма, нетрудно вскрыть обстоятельства, побудившие Герцена выступить с этим письмом. Как раз в июне 1854 г. прусскими властями, действовавшими в данном случае по инициативе и просьбе русского правительства, было подвергнуто запрещению и изъято из книжных магазинов третье (немецкое) издание книги Герцена «О развитии революционных идей в России» (см. информацию об этом в «L'Homme», 1854, № 31, от 28 июня). Книга вышла в Гамбурге у издателей Гофмана и Кампе и из цензурных соображений называлась «Russlands sociale Zustände» («Социальное положение России»). По получении этого известия «Kölnische Zeitung» (или другая немецкая газета, если наша гипотеза неверна) в номере от 12 июня 1854 г., поместив сообщение о репрессиях, которым подверглась книга, клеветнически заявила, что изъятое сочинение служит «скорее на пользу нежели во вред царю». При этом редакция пустила в ход, в качестве подлинных цитат из Герцена, свои собственные измышления, а герценовские высказывания исказила до неузнаваемости. Всё это и вызвало Герцена на немедленный публичный протест.

В заметке, предварявшей публикацию письма и также сохранившейся в вырезке, редакция писала: «Г-н Герцен прислал из Лондона в редакцию пространное письмо от 16 июня с просьбой опубликовать его. Мы приводим ниже в выдержках основной текст этого письма».

Таким образом, полный текст письма Герцена остается нам неизвестным. При этом следует думать, что сокращения, произведенные редакцией, имели тенденциозный характер. К такому предположению склоняет следующее исполненное вражды или глубочайшего непонимания по отношению к Герцену замечание от редакции, помещенное после текста письма: «Нам остается только добавить, что мы с своей стороны разделяем точку зрения, что петербургский кабинет может ожидать от литературной деятельности г-на Герцена (равно как и от деятельности Кошута и Джерсийского комитета) не столько возбуждения демократически-социалистических элементов внутри страны, сколько ослабления своих западных врагов. Это отнюдь не мешает нам очень сожалеть о неточностях в приведенных цитатах, а также заявить, что по имеющимся у нас достоверным данным, полученным из Лондона, полная искренность г-на Александра Герцена не подлежит никакому сомнению.— *Редакция*».

Ни в «Канве биографии Герцена», составленной Лемке, ни в переписке Герцена и литературе о нем нет никаких упоминаний о публикуемом здесь письме Герцена, а также о вызвавшем это письмо сообщении немецкой газеты от 12 июня 1854 г.

London. 16 Juni 1854

Herr Redacteur!

Indem Sie am 12 d. M. die Beschlagnahme meines Werkes über Russland anzeigen, wiederholen Sie zugleich auf das Zeugnis eines berliner Korrespondenten, dass das beschuldigte Werk — «der Sache des Zaren eher *vorteilhaft* als schädlich sei». Und *deshalb* hat man in Berlin das Buch mit Beschlag belegt? Nun, ich stelle mich selbst und gestehe, dass ich ein russischer Agent bin; *ein* — wie ich in einer Rede bei einem polnischen Meeting in London sagte (einer Rede, die auch sehr vorteilhaft für den Zaren war)[1] — *zufälliger Repräsentant* des jungen Russlands, des Russlands, welches vor Wut bebt... des Russlands, dessen heiliges Glaubensbekenntnis die völlige Unabhängigkeit Polens, die Vernichtung des Kaisertums von Petersburg und die Schöpfung einer slawischen Föderation ist.

Nach sieben Jahren der Deportation, nach abermals sieben Jahren der Verbannung, habe ich, zum Teil wenigstens, zwei Dinge erreicht, die ich mir vorgenommen hatte. Ich habe der hochmütigen Unwissenheit unserer Nachbarn gezeigt, dass Keime der Zukunft im russischen Volke da sind. Wenn ich mich darin auch irrte, so habe ich wenigstens die Aufmerksamkeit dafür erweckt. Ferner habe ich für meinen Teil eine Batterie gegen den Zaren errichtet, — ich habe eine russische Druckerei organisiert, welche unaufhörlich (und das gratis) druckt, und welche der russischen Regierung viel mehr schlechtes Blut als alle Protokolle ihrer Diplomaten macht.

Schliesslich muss ich Ihnen sagen, dass die halben Zitationen, welche in dem Artikel vorkommen und teilweise *nicht aus* dem Buche genommen sind, entweder ganz verfälscht sind oder in einer Weise beleuchtet werden, welche ihren Sinn völlig entstellt. Da, wo ich von der slawischen Föderation spreche, hat man Russland gesetzt, und unter Russland versteht man das Russland wie *es jetzt ist*. Und das alles, um die preussische Polizei zu entschuldigen.

Перевод:

Лондон. 16 июня 1854 г.

Господин редактор!

В номере газеты от 12 с. м., сообщая о запрещении моего сочинения о России, вы повторяете утверждение одного берлинского корреспондента, что запрещенное сочинение служит «скорее *на пользу* нежели во вред царю». Не *потому ли* в Берлине и наложили запрет на книгу? Теперь я сам являюсь с повинной и признаю, что я русский агент; как я уже сказал однажды в речи на польском митинге в Лондоне (речи, очевидно, также принесшей большую пользу царю) [1] — *случайный представитель* молодой России, трепещущей от ярости России, той России, символ веры которой — полная независимость Польши, уничтожение петербургской империи и создание славянской федерации.

После семи лет ссылки и еще семи лет изгнания мне удалось, по крайней мере частично, выполнить две поставленные себе задачи. Я показал высокомерному невежеству наших соседей, что в русском народе есть зародыши будущего. И если я тут и ошибался, то, по крайней мере, я привлек внимание к этому вопросу. Затем я и сам соорудил батарею против царя — мной организована русская типография, которая непрерывно (и притом бесплатно) печатает и которая портит русскому правительству кровь куда более, чем все донесения его дипломатов.

В заключение я должен сказать вам, что половина цитат, приведенных в статье и частично взятых *не из* книги, либо совершенно фальсифицирована, либо подана с полным искажением их смысла. Там, где я говорю о славянской федерации, поставлена — Россия, а под Россией подразумевается *нынешняя Россия*. И все это сделано для того, чтобы оправдать прусскую полицию.

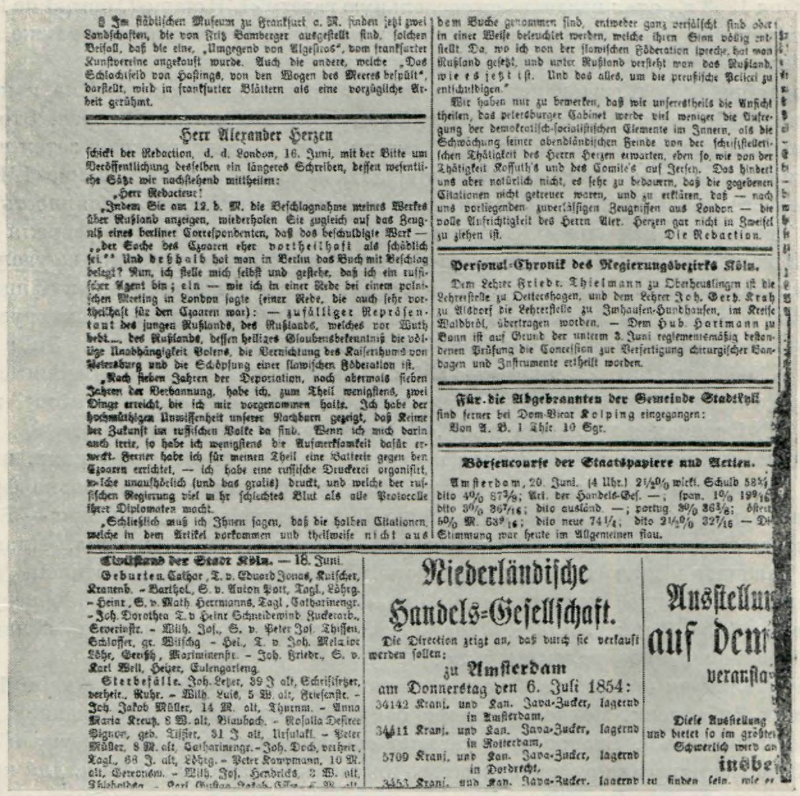
Газетная вырезка. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 14 и 15 (имеется два экземпляра).

[1] Упоминаемый Герценом польский митинг, посвященный 23-й годовщине польского восстания 1830 г., состоялся в Лондоне 29 ноября 1853 г.

Герцен имеет в виду следующее место из своей речи, произнесенной на этом митинге:

«Граждане, пять лет тому назад наш друг Михайло Бакунин являлся в ту же годовщину на трибуне польского собрания в Париже и предлагал союз демократической Польши с русскими революционерами.

Эта мечта всех благородных умов польской эмиграции, наша мечта с самых юных лет, начинает осуществляться.



§ Im städtischen Museum zu Frankfurt a. M. finden jetzt zwei Landschaften, die von Fritz Bamberger ausgestellt sind, solchen Beifall, daß die eine, „Umgegend von Algesiras", vom frankfurter Kunstvereine angekauft wurde. Auch die andere, welche „Das Schlachtfeld von Hastings, von den Wogen des Meeres bespült", darstellt, wird in frankfurter Blättern als eine vorzügliche Arbeit gerühmt.

Herr Alexander Herzen

schickt der Redaction, d. d. London, 16. Juni, mit der Bitte um Veröffentlichung desselben ein längeres Schreiben, dessen wesentliche Sätze wir nachstehend mittheilen:

„Herr Redacteur!

„Indem Sie am 12. d. M. die Beschlagnahme meines Werkes über Rußland anzeigen, wiederholen Sie zugleich auf das Zeugniß eines berliner Correspondenten, daß das beschuldigte Werk — „„der Sache des Czaaren eher vortheilhaft als schädlich sei."" Und deßhalb hat man in Berlin das Buch mit Beschlag belegt? Nun, ich stelle mich selbst und gestehe, daß ich ein russischer Agent bin; ein — wie ich in einer Rede bei einem polnischen Meeting in London sagte (einer Rede, die auch sehr vortheilhaft für den Czaaren war): — zufälliger Repräsentant des jungen Rußlands, des Rußlands, welches vor Wuth bebt…, des Rußlands, dessen heiliges Glaubensbekenntniß die völlige Unabhängigkeit Polens, die Vernichtung des Kaiserthums von Petersburg und die Schöpfung einer slawischen Föderation ist.

„Nach sieben Jahren der Deportation, nach abermals sieben Jahren der Verbannung, habe ich, zum Theil wenigstens, zwei Dinge erreicht, die ich mir vorgenommen hatte. Ich habe der hochmüthigen Unwissenheit unserer Nachbarn gezeigt, daß Keime der Zukunft im russischen Volke da sind. Wenn ich mich darin auch irrte, so habe ich wenigstens die Aufmerksamkeit dafür erweckt. Ferner habe ich für meinen Theil eine Batterie gegen den Czaaren errichtet, — ich habe eine russische Druckerei organisirt, welche unaufhörlich (und das gratis) druckt, und welche der russischen Regierung viel mehr schlechtes Blut als alle Protocolle ihrer Diplomaten macht.

„Schließlich muß ich Ihnen sagen, daß die halben Citationen, welche in dem Artikel vorkommen und theilweise nicht aus dem Buche genommen sind, entweder ganz verfälscht sind oder in einer Weise beleuchtet werden, welche ihren Sinn völlig entstellt. Da, wo ich von der slawischen Föderation spreche, hat man Rußland gesetzt, und unter Rußland versteht man das Rußland, wie es jetzt ist. Und das alles, um die preußische Polizei zu entschuldigen."

Wir haben nur zu bemerken, daß wir unseresteils die Ansicht theilen, das petersburger Cabinet werde viel weniger die Aufregung der demokratisch-socialistischen Elemente im Innern, als die Schwächung seiner abendländischen Feinde von der schriftstellerischen Thätigkeit des Herrn Herzen erwarten, eben so, wie von der Thätigkeit Kossuth's und des Comite's auf Jersey. Das hindert uns aber natürlich nicht, es sehr zu bedauern, daß die gegebenen Citationen nicht getreuer waren, und zu erklären, daß — nach uns vorliegenden zuverlässigen Zeugnissen aus London — die volle Aufrichtigkeit des Herrn Alex. Herzen gar nicht in Zweifel zu ziehen ist.

Die Redaction.

Personal-Chronik des Regierungsbezirks Köln.

Dem Lehrer Friedr. Thielmann zu Oberheuslingen ist die Lehrerstelle zu Oettershagen, und dem Lehrer Joh. Gerh. Krah zu Alsdorf die Lehrerstelle zu Imhausen-Hundhausen, im Kreise Waldbröl, übertragen worden. — Dem Hub. Hartmann zu Bonn ist auf Grund der unterm 3. Juni reglementemäßig bestandenen Prüfung die Concession zur Verfertigung chirurgischer Bandagen und Instrumente ertheilt worden.

Für die Abgebrannten der Gemeinde Stadtkyll

sind ferner bei Dom-Vicar Kolping eingegangen:

Von A. B. 1 Thlr. 10 Sgr.

Börsencourse der Staatspapiere und Actien.

Amsterdam, 20. Juni. (4 Uhr.) 2½% wirkl. Schuld 58¾; dito 4% 87⅜; Act. der Handels-Ges. —; span. 1% 19 9/16; dito 3% 36 7/16; dito ausländ. —; portug. 3% 36⅛; östr. 5% M. 63 9/16; dito neue 74¼; dito 2½% 32 7/16 — Die Stimmung war heute im Allgemeinen flau.

Civilstand der Stadt Köln. — 18. Juni.

Geburten. Cathar., T. v. Eduard Jonas, Kutscher, Kranenb. – Barthol., S. v. Anton Pott, Tagl., Löhrg. – Heinr., S. v. Math. Herrmanns, Tagl., Catharinengr. – Joh. Dorothea, T. v. Heinr. Schneidewind, Zuckerarb., Severinstr. – Wilh. Jos., S. v. Peter Jos. Thissen, Schlosser, gr. Witschg. – Hel., T. v. Joh. Melchior Löhe, Gerber, Maximinenstr. – Joh. Friedr., S. v. Karl Well, Heizer, Eulengarteng.

Sterbefälle. Joh. Letzer, 39 J. alt, Schriftsetzer, verheir., Ruhr. – Wilh. Luis, 5 W. alt, Friesenstr. – Joh. Jakob Müller, 14 M. alt, Thurnm. – Anna Maria Kreutz, 8 W. alt, Blaubach. – Rosalia Desiree Bignon, geb. Tissier, 31 J. alt, Ursulakl. – Peter Müller, 8 M. alt, Catharinengr. – Joh. Doch, verheir., Tagl., 63 J. alt, Löhrg. – Peter Kampmann, 10 M. alt, Gereonsw. – Wilh. Jos. Hendricks, 3 W. alt, …

Niederländische Handels-Gesellschaft.

Die Direction zeigt an, daß durch sie verkauft werden sollen:

zu Amsterdam

am Donnerstag den 6. Juli 1854:

34142 Kranj. und Kan. Java-Zucker, lagernd in Amsterdam,

34411 Kranj. und Kan. Java-Zucker, lagernd in Rotterdam,

5709 Kranj. und Kan. Java-Zucker, lagernd in Dordrecht,

3453 Kranj. und Kan. Java-Zucker, lagernd …

Ausstellun[g] auf dem …

veranstal…

Diese Ausstellung … und bietet so im größte… Schwerlich wird an… insbe… zu finden sein, wie es …

ПИСЬМО ГЕРЦЕНА К РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «KÖLNISCHE ZEITUNG» ОТ 16 ИЮНЯ 1854 г.

Газетная вырезка

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Польша, как я сказал в другом месте, *прощает нас*, она разрывает круговую поруку, естественно существующую между народом и его правительством, она подает нам руку, потому что она знает, какая глубокая ненависть к петербургскому управлению наполняет нас; во имя этой ненависти она начинает любить нас.

Я подошел к польским друзьям моим не как отдельное, разобщенное со своими лицо, отказывающееся от своего отечества, просящее забыть свое начало,— напротив, я громко говорил о моей любви к России, о моей незыблемой вере в ее будущность. Они меня приняли *случайным* представителем будущей России, ненавидящей черные дела своего правительства ⟨...⟩

Когда поляки подают нам свою руку, покрытую рубцами, на примирение, можно ли сомневаться в существовании революционных начал в России?» (VII, 395).

ШАРЛЮ РИБЕЙРОЛЮ

Публикация Я. Линкова

Шарль *Рибейроль* (Ribeyrolles, 1812—1869), к которому обращены два публикуемые ниже письма Герцена, талантливый публицист и политический деятель, представлял собою видную фигуру среди французской революционной эмиграции пятидесятых годов. Демократ-республиканец, он в дни революции 1848 г. был главным редактором газеты «La Réforme». После прихода к власти Наполеона III Рибейроль эмигрировал в Англию. Он поселился сначала в Лондоне, а потом на острове Джерси, где, начиная с 30 ноября 1853 г., стал издавать еженедельную газету «L'Homme (Journal de la démocratie universelle. Science. Solidarité)», а в конце 1854 г. предпринял также издание ежегодника «Almanach de l'exil» («Альманах изгнания»).

В октябре 1855 г., за напечатание открытого письма Феликса Пиа к королеве Виктории, Рибейроль, Пианчиани и Ал. Тома были высланы с Джерси. Это послужило поводом для известного протеста Виктора Гюго и последовавшей затем высылки с Джерси как самого писателя, так и еще тридцати пяти эмигрантов. Издание «L'Homme» было перенесено в Лондон. Джерсийские события нарушили регулярность выхода газеты. Третий год издания «L'Homme» предполагалось начать с 1 февраля 1856 г. (см. «L'Homme», 1855, № 53). Выходила ли газета в 1856 г., установить не удалось. Во всяком случае, к началу 1857 г. газета прекратила свое существование и официально.

Маркс в письмах к Энгельсу тепло отзывался о Рибейроле и редактируемой им газете — «славном „L'Homme" отца Рибейроля» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXII, стр. 90). 22 января 1857 г. Маркс с чувством сожаления сообщал Энгельсу: «Мне кажется, я уже писал тебе, что брюссельская „Nation" прекратилась <...> Скончался и благородный „L'Homme"» (там же, стр. 173).

Герцен был знаком с Рибейролем и охотно участвовал в его изданиях, насчитывавших среди своих сотрудников крупнейших представителей не только французского, но и международного революционно-демократического движения — Барбеса, Луи Блана, Ворцеля, Гюго, Кинэ, Кошута, Маццини, Мишле, Пиа, Пианчиани, Саффи, Таландье и других. В свою очередь, Рибейроль «с удовольствием» печатал «гражданина Герцена», которого называл «лучшим борцом» русской революции («L'Homme», 1854, 3 мая, № 23)*. Однако особенной близости — идейной и личной — между Герценом и Рибейролем не было.

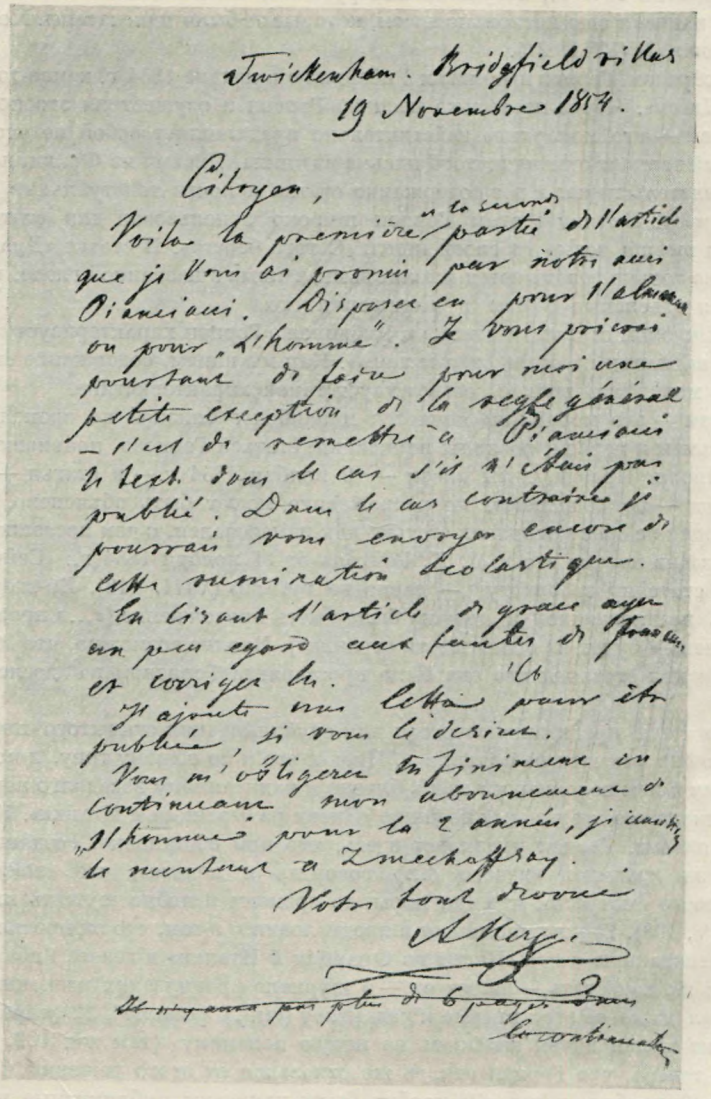
Оба публикуемые письма непосредственно связаны с сотрудничеством Герцена в изданиях Рибейроля. Первое является сопроводительным к отправленной для печати рукописи статьи. Второе представляет собою вступительную заметку к той же статье. Заметка написана в виде открытого письма к редактору издания, для которого она предназначалась. Открытое письмо — литературная форма, к которой Герцен охотно прибегал в те годы. В № 13 газеты от 22 февраля 1854 г. Герцен напечатал свое первое «Письмо к гражданину-редактору „L'Homme"» (VIII, 21—26), а в №№ 18, 19, 20 от 29 марта, 5 и 12 апреля 1854 г. поместил под общим заглавием «Старый мир и Россия» три письма к Линтону — редактору газеты «The English Republic» (VIII, 27—57).

Письма к Рибейролю писались Герценом в момент, когда шла Крымская война, в которую были вовлечены основные державы Европейского континента. В напряженной политической обстановке Герцен занимал четкую и ясную позицию последовательного демократа. Он предстает в публикуемом открытом письме как русский революционный патриот, решительно подымающий голос протеста против характерного для западноевропейской буржуазной прессы (в частности, английской) стремления стереть грань, отделявшую русские народные массы, русский народ от царизма, и таким

---

* Сотрудничество Герцена в «L'Homme» продолжалось с 1853 г. по 1855 г., т. е. в течение всего периода существования газеты на острове Джерси. См. ниже, в *приложении* к настоящей публикации, перечень статей Герцена, помещенных в «L'Homme». — *Ред.*

образом оклеветать русский народ, изобразив его соучастником преступлений правящей клики, показать его в ложном освещении и использовать военную обстановку для того, чтобы вызвать антипатии к русскому народу со стороны западноевропейской общественности.



АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЕРЦЕНА К ШАРЛЮ РИБЕЙРОЛЮ
ОТ 19 НОЯБРЯ 1854 г.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Наряду с этим открытое письмо Герцена направлено и против антиславянской пропаганды, которая под разными предлогами велась в той же западноевропейской буржуазной прессе (особенно в немецкой). Герцен противопоставлял этой пропаганде идеи солидарности и братства народов и прежде всего идею революционного единства и братства славянских народов.

Какую же статью послал Герцен Рибейролю вместе с рукописью публикуемого открытого письма? Несомненно, что это была статья «Le Dualisme c'est la monarchie», появившаяся вскоре в «Almanach de l'exil pour 1855», Jersey, стр. 179—189, и

оказавшаяся затем забытой в течение почти восьмидесяти лет. Она была вновь «открыта» и опубликована лишь в 1932 г.

В своем первом письме к Рибейролю от 7 февраля 1854 г. Герцен писал: «Три года тому назад вышли в Германии мои „Письма из Италии и Франции". Книга шла успешно; события 1848 г., обсуживаемые русским, имели особенный интерес. Впоследствии я написал еще несколько писем, которые не были напечатаны. Хотите их для вашего журнала?» (VIII, 21).

Таким образом, Герцен предлагал Рибейролю в начале 1854 г. какие-то фрагменты из своих «Писем». Через несколько месяцев Герцен и осуществил это предложение.

«Дуализм — это монархия» действительно представляет собой не что иное, как расширенный вариант одиннадцатого письма из цикла «Письма из Франции и Италии». Об этом свидетельствуют и все содержание статьи и почти текстуальные совпадения отдельных мест. Наряду с этим Герцен широко использовал для статьи и главу «Omnia mea mecum porto» из своей книги «С того берега». В статье «Дуализм — это монархия» не только развиваются мысли, высказанные в названной главе, но дословно повторяются отдельные фразы и выражения.

В публикуемом открытом письме к Рибейролю Герцен характеризует свою статью как «новые вариации на очень старые темы». Как мы видим, содержание статьи «Дуализм — это монархия» вполне соответствует такой характеристике.

«Дуализм — это монархия» является и наиболее близкой по времени к публикуемым письмам и первой, после их написания, статьей Герцена, появившейся в изданиях Рибейроля. Правда, даты писем — 19 ноября 1854 г.— и статьи — 29 ноября того же года — не совпадают, но расхождение может быть объяснено, во-первых, тем, что Герцен не сразу отправил статью, как намеревался, о чем косвенно свидетельствует фраза из письма его к М. К. Рейхель от 21 ноября 1854 г.: «Сейчас послал в Джерсей статейку забористую,— давно не ругали» (VIII, 118). Во-вторых, статья посылалась незаконченной и должна была иметь продолжение («...в продолжении,— пишет Герцен,— будет не более шести страниц»). Вполне возможно, что 29 ноября — дата завершения статьи и что она была проставлена Герценом на досланном конце статьи.

Что касается предназначавшегося для опубликования открытого письма к Рибейролю, то оно в печати не появилось. Письмо это и по общему тону, и по отдельным высказанным в нем положениям очень близко к написанному незадолго перед тем Герценом предисловию к русскому изданию «Писем из Франции и Италии». Как и в публикуемом письме, Герцен указывает здесь, что при обстановке, созданной войной, русскому за границей «нечего ‹...› говорить и нельзя», что «война пьянит», мешает «просто смотреть», что «до поры, до времени надобно молчать или говорить о другом» (V, 108). Герцен упоминает в предисловии и о том, что он предполагал опубликовать неизданную часть «Писем из Франции и Италии» в газете Рибейроля. «Мне предлагали их поместить,— пишет он,— в журнале французских изгнанников в Англии, я писал даже об этом письмо к редактору (см. „L'Homme", 22 февраля 1854), но отложил, не желая ничем вызывать на новую полемику» (там же, 109, примеч. 1). Мы видим теперь, что Герцен вскоре же отказался от этого решения. Предисловие датировано 9 ноября, а уже 19 ноября были написаны публикуемые нами письма и подготовлено к отправлению Рибейролю начало статьи «Дуализм — это монархия».

‹1›

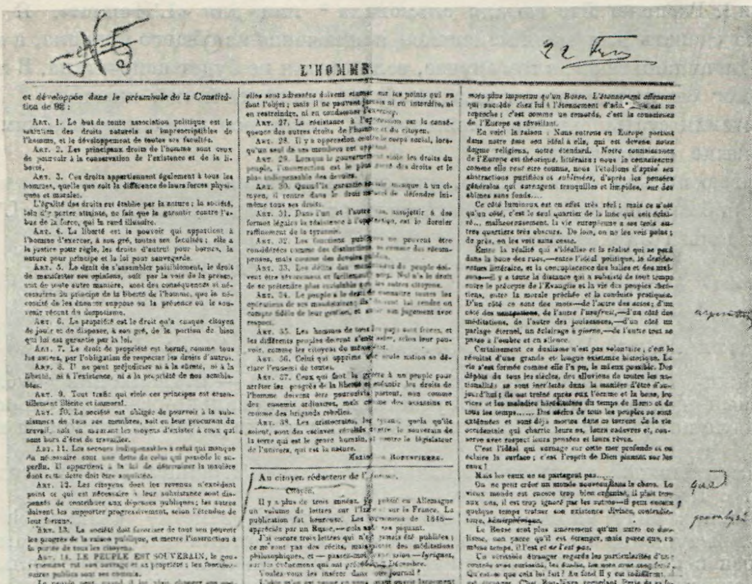
Twickenham. Bridgefield villas
19 Novembre 1854

Citoyen,

Voilà la première et la seconde partie de l'article que je vous ai promis par notre ami Pianciani[1]. Disposez-en pour l'almanach[2] ou pour «L'Homme». Je vous prierai, pourtant, de faire pour moi une petite exception de la règle générale — c'est de remettre à Pianciani le texte dans le cas s'il n'était

pas publié. Dans le cas contraire je pourrais vous envoyer encore de cette rumination scolastique.

En lisant l'article, de grâce ayez un peu égard aux fautes de français et corrigez-les.



ПИСЬМО ГЕРЦЕНА «К ГРАЖДАНИНУ РЕДАКТОРУ L'HOMME» С АВТОРСКИМИ ИСПРАВЛЕНИЯМИ

Вырезка из 13-го номера газеты «L'Homme» от 22 февраля 1854 г.

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

J'ajoute une lettre pour être publiée, si vous le désirez.

Vous m'obligerez infiniment en continuant mon abonnement de «L'Homme» pour la 2 année; je remettrai le montant à Zmechoffsky.

Votre tout devoué
A. Herzen

[Il n'y aura pas plus de 6 pages dans la continuation]

Перевод:

Twickenham, Bridgefield villas
19 ноября 1854 г.

Гражданин,

Вот первая и вторая часть статьи, которую я обещал вам через нашего друга Пианчиани [1]. Располагайте ею для альманаха [2] или для «L'Homme». Я попрошу вас всё же сделать для меня маленькое исключение из общего правила, а именно — передать Пианчиани текст, в том случае, если статья не будет напечатана. В противном случае я мог бы прислать вам еще такой же схоластической жвачки.

При чтении статьи уделите, пожалуйста, некоторое внимание ошибкам во французском языке и исправьте их.

Прилагаю письмо, если угодно, для опубликования.

Вы меня бесконечно обяжете, продлив на второй год мою подписку на «L'Homme»; я передам деньги Змеховскому.

Искренно преданный вам
А. Герцен*

Авторская копия. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134, л. 8.

[1] Луиджи *Пианчиани* (Pianciani, 1810—1890) — итальянский публицист и общественный деятель; активный участник национально-освободительного движения. После поражения революции 1848 г. жил в эмиграции в Лондоне и на острове Джерси.

Принимал ближайшее участие в издании газеты «L'Homme». Герцен неоднократно встречался с Пианчиани в Лондоне.

[2] Имеется в виду упомянутый во вступительной заметке «Almanach de l'exil pour 1855», выпущенный в свет французскими эмигрантами-республиканцами на острове Джерси в конце 1854 г. Издание было задумано как ежегодное; альманах на 1856 год должен был появиться в Лондоне в январе 1856 г. (см. «L'Homme», 1855, № 53, от 28 декабря). Однако, вышел ли он, нам неизвестно, как неизвестна вообще дальнейшая судьба издания.

<2>

<Twickenham, 19 ноября 1854>

Citoyen rédacteur,

Je vous envoie pour votre almanach de la scolastique révolutionnaire[1], quelques nouvelles variations sur des thèmes très vieux. Je vous aurais envoyé quelque chose de plus actuel — mais il est impossible de se faire entendre maintenant lorsqu'on parle du monde Slave. La guerre grise, la fumée du sang des victimes tombées monte et étend devant les yeux un voile rouge, qui empêche de voir.

J'ai tenté de continuer quand même à parler de la Russie, comme je le faisais antérieurement — applaudi par la presse radicale en Europe et en Amérique. L'essai ne m'a pas réussi. On s'est indigné qu'un réfugié russe ait la scélératesse d'aimer le peuple russe, de ne pas le confondre avec le gouvernement [féroce] monstrueux de Pétersbourg et de penser même que le monde slave a un avenir [2].

A-t-on jamais vu qu'on ait exigé d'un réfugié quelconque qu'il haïsse non son gouvernement — mais son peuple?

J'avais raison en disant dans une lettre publiée dans «L'Homme»[3], que notre position était exceptionnelle. A vous on vous vole le présent, à nous on nous interdit même l'espérance. Est-ce toujours au nom de la solidarité et de la fraternité des peuples, qu'on excommunie, qu'on met hors la loi du progrès quatre-vingt millions de Slaves?..

Une voix s'éleva protestant énergiquement contre cette injustice;— c'était la voix d'un de ceux qui ont *le droit* de nous haïr, la voix d'un Polonais. Nos frères polonais comprennent très bien d'ou vient notre amour pour

* *Далее зачеркнуто:* В продолжении будет не более 6 страниц

le peuple et quelle est la haine que nous portons au Tzarisme. J'avais les larmes aux yeux ⟨en⟩ lisant la brochure de Swentoslawski...[4]

[Je cède à la force majeure, la guerre oblige — au silence.]

En attendant, je pense qu'il sera permis de faire de la science, de l'abstraction, de la dogmatique socialiste, du doctrinarisme révolutionnaire.

Je vous salue fraternellement
A. Herzen

19 Novembre 1854
Twickenham
Au citoyen Ch. Ribeyrolles

«БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ»
Французская карикатура на перепуганных революцией европейских монархов
«Le Charivari» от 18 апреля 1848 г.

Перевод:

19 ноября 1854 г. Twickenham

Гражданин редактор,

Посылаю вам для вашего альманаха немного революционной схоластики [1], несколько новых вариаций на очень старые темы. Я послал бы вам и что-нибудь более актуальное, но теперь невозможно заставить себя слушать, когда говоришь о славянском мире. Война пьянит, дым от крови павших жертв поднимается кверху и застилает глаза багровой пеленой, мешающей видеть.

Я пытался, тем не менее, продолжать говорить о России, как говорил раньше под рукоплескания радикальной прессы в Европе и Америке. Мой опыт не удался. То, что русский изгнанник имел подлость любить русский народ, не смешивать его с* чудовищным петербургским правительством, и даже думать, что у славянского мира есть будущее — вызывало негодование [2].

---

* *Далее зачеркнуто:* жестоким

Но видано ли, чтобы от какого-либо изгнанника требовали ненависти не к своему правительству, а к своему народу?

Я был прав, сказав в письме, напечатанном в «L'Homme»[3], что мы поставлены в исключительное положение. У вас похищают настоящее, а нам — запрещена даже надежда. Уж не во имя ли все той же солидарности и братства народов отлучают, ставят вне законов прогресса восемьдесят миллионов славян?

Против этой несправедливости поднялся энергичный голос протеста — это был голос одного из тех, кто имеет *право* нас ненавидеть — голос поляка. Наши братья поляки прекрасно понимают, откуда проистекает наша любовь к народу и какова наша ненависть к царизму.

Со слезами на глазах читал я брошюру Свентославского... *[4]

Пока же, полагаю, дозволено будет заняться наукой, отвлеченностями, социалистической догматикой, революционным доктринерством.

Шлю вам братский привет

А. Герцен

19 ноября 1854 г.
Twickenham
Гражданину Ш. Рибейролю

Авторская копия. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134, л. 7—7 об.

[1] В характеристике своей статьи как «революционной схоластики», а также в словах: «... социалистической догматикой, революционным доктринерством» (см. конец письма) сказалась горькая ирония Герцена, вынужденного всей обстановкой исторического момента *только* к теоретической постановке вопросов революции в своих статьях для иностранного читателя.

[2] Герцен имеет здесь в виду известную полемику, вызванную в иностранной печати его статьей «Старый мир и Россия. Письма к редактору „The English Republic" В. Линтону» (VIII, 27—57).

[3] Речь идет о письме Герцена «К гражданину редактору „L'Homme"» от 7 февраля 1854 г., напечатанном в этой газете 22 февраля того же года со следующим примечанием редактора (Шарля Рибейроля): «Мы любим всех, кто смел,— всё равно в области мысли или в сражении, — и поэтому с удовольствием публикуем письма гражданина Герцена для того, чтобы высказать наше мнение о *бессильной* французской цивилизации...» (VIII, 561).

[4] Зенон *Свентославский* (1811 — ?) — активный участник польского национально-освободительного движения. В эмиграции на острове Джерси организовал типографию, где печатал различные издания польской, французской и итальянской революционной эмиграции, в том числе и на свой счет газету «L'Homme». В 1857 г. организовал лондонское отделение своей типографии, где печаталось второе издание «Полярной звезды» и произведения Герцена и Огарева. Автор ряда брошюр и воззваний на темы, связанные с польским национально-освободительным движением. Герцен был близко знаком с Свентославским и характеризовал его в «Былом и думах» словами: «чистейший и добрейший человек, фанатик, сохранивший за 50 лет безрассудный польский пыл и запальчивость мальчика пятнадцати лет, проповедывал о необходимости возвращаться в Россию и начать там живую и печатную пропаганду» (XIII, 619).

О какой именно брошюре Свентославского пишет Герцен, установить не удалось.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ГЕРЦЕНА, ПОМЕЩЕННЫХ В ГАЗЕТЕ «L'HOMME» **

° 1. Alexandre Herzen. Amnistie et Alliance. Aux frères russes — 1853, № 5, 28 декабря («Поляки прощают нас» — VII, 255—261, 494—495).

° 2. Alexandre Herzen. Du servage en Russie — 1854, № 8, 18 января («Русское крепостничество». Сокращенная редакция, гл. 1 — VII, 361—370, 497).

---

* *Далее вачеркнуто:* Я подчиняюсь непреоборимой силе обстоятельств, война вынуждает к молчанию.

** Знаком° в списке отмечены статьи, публикация которых в «L'Homme» не была до сих пор учтена в герценовской био-библиографии. Список составлен Натальей Эфрос.

° 3. Alexandre H e r z e n. La commune Russe — 1854, № 9, 25 января («Русское крепостничество». Сокращенная редакция, гл. III — VII, 377—388).

4. A. H e r z e n. Au citoyen rédacteur de l'Homme — 1854, № 13, 22 февраля («Письмо к гражданину редактору „l'Homme"» — VIII, 21—26, 560—561).

5. A. H e r z e n. La Russie et le vieux monde (Première lettre à W. Linton Esq.)— 1854, № 18, 29 марта («Старый мир и Россия. Первое письмо к В. Линтону» — VIII, 29—35, 561).

6. A. H e r z e n. La Russie et le vieux monde (Deuxième lettre à W. Linton Esq.)— 1854, № 19, 5 апреля («Старый мир и Россия. Второе письмо к В. Линтону» —VIII, 35—43).

7. A. H e r z e n. La Russie et le vieux monde (Troisième lettre à W. Linton Esq.)— 1854, № 20, 20 апреля («Старый мир и Россия. Третье письмо к В. Линтону»—VIII, 43—57).

° 8. La communauté libre russe. Aux soldats russes en Pologne. (Traduit du russe). Без подписи — 1854, № 22, 26 апреля («Вольная русская община в Лондоне. Русскому воинству в Польше» — VIII, 67—71, 570).

° 9. ⟨Discours d'Alexandre Herzen⟩ — 1855, № 14, 7 марта («Народный сход в память февральской революции. Речь, произнесенная 27 февраля 1855 г. на митинге в память революции 1848 г. в Сен-Мартинс-Холле в Лондоне» — VIII, 142—152, 571).

° 10. ⟨L'Etoile polaire⟩. Без подписи — 1855, № 24, 16 мая («Полярная звезда. Третное обозрение освобождающейся Руси». Обращение в связи с началом выхода в свет «Полярной звезды». Сокращенно и в несколько измененной редакции — VIII, 166—172, 572).

° 11. I⟨scande⟩r. Aux nôtres — 1855, № 40, 5 сентября («К нашим» — VIII, 221—225, 573).

Статьям Герцена в «l'Homme» в ряде случаев предпосланы примечания от редакции, свидетельствующие о высокой оценке ею выступлений Герцена. Так, например, к третьему письму к Линтону дано следующее редакционное вступление:

«Письма гражданина Герцена, не говоря уже о ценности и оригинальности их содержания, приобретают исключительное значение в современных условиях. Они проливают свет, проникающий до самых глубин, на этот почти новый мир, остававшийся до сих пор таинственным и неведомым.

Революция найдет там силы, о которых она не знала и которые сможет использовать, когда старые империи и одряхлевшие власти обессиленные умрут. От Финляндии до отдаленнейших азиатских степей отныне будут знать, как бить сбор и как смыкать ряды» (1854, № 20, 20 апреля).

Обращение к «Русскому воинству в Польше» начиналось таким предисловием:

«Мы уже поместили в нашей газете ряд сообщений, касающихся России, ее учреждений, ее нравов, ее социального строя и ее правительства. Мы ставили себе целью дать европейской революции представление о значении русского элемента в случае боевой схватки, чтобы впоследствии можно было подготовить мощную народную диверсию в тылы врага. Свободная русская община не является нашим идеалом, отнюдь нет, и староста не заставит нас забыть о царе. Тем не менее, если в общинное устройство у них верят массы, если это сможет поднять их против империи в тот момент, когда Западная республика нанесет ей фронтальный удар,—нужно признать в общине новую силу, нужно приветствовать общину в нынешнем горестном ее рабстве. Это такие союзники, которым надо протянуть руку, с тем чтобы после каждому пойти своим путем. Сегодня мы помещаем новое воззвание, исходящее из тех же кругов, обращенное на этот раз к русским солдатам, стоящим в Польше.

Кто же не поймет всей важности этих святых призывов к братскому долгу, напечатанных на родном языке и распространенных тысячами в армейской массе? Пусть кризис все еще нарастает, пусть правительства объявляют призыв вплоть до гвардии, зовут на выручку другие народы, подобные листки могут заставить пороховницы взорваться. Будем же революционерами, если мы хотим, чтобы свобода вернулась» (1854, № 22).

Перед объявлением о выходе в свет «Полярной звезды» стояли такие строки: «„Полярная звезда" уже дважды появлялась на северном небе. Она погасла несколько лет назад вместе со своими мучениками в Сибири. Ныне гражданин Герцен возобновляет в изгнании ее труд. Да не померкнет больше этот свет. Он будет особенно ценен нам сейчас, когда революцию могут толкнуть на неверный путь и когда ведется столько интриг, рождающих мрак» (1855, № 24).

Упоминания о Герцене встречаются и в других материалах газеты. Так, помещая в № 23 от 3 мая 1854 г. анонимную статью «Русская революция», редакция писала: «Мы обязаны этой страницей истории одному из наших друзей—изгнаннику, поселившемуся в американских землях и сотрудничающему в братской „Républicain de New-York".

Из этих строк видно, насколько уже зрела и глубока русская революция и что следует думать о некоторых английских газетах, выступающих против гражданина Герцена—лучшего в наши дни борца за эту революцию».

СТАНИСЛАВУ ВОРЦЕЛЮ

Публикация И. Белявской

Сохранившееся в «пражской коллекции» письмо Герцена к Станиславу *Ворцелю* (1799—1857) дает возможность осветить более подробно один эпизод из истории Вольной русской типографии в Лондоне.

Открыта она была, как известно, летом 1853 г. Первоначально русская типография находилась в том же помещении, что и польская. Создание русской типографии Герцен рассматривал как дело,«наиболее практически революционное», а тому, что она объединена с польской, придавал особое значение. «Я устроил на собственный счет русскую типографию...,— писал он в октябре 1853 г.— Я соединил эту типографию с типографией польской Централизации, в знак союза и полного единения революционной Польши с нами» (VII, 331).

Герцен познакомился с руководящими деятелями польской эмиграции в 1847 г. Тогда же сблизился он и с выдающимся борцом за независимую и демократическую Польшу — Станиславом Ворцелем. Знаменитый польский эмигрант был поборником республики и демократии, сторонником освобождения крестьян с землей. Герцен глубоко уважал Ворцеля, самоотверженного революционера-патриота, и вместе с ним положил начало русско-польскому союзу в революционной борьбе.

Члены польской «Централизации» активно помогали Герцену в устройстве типографии (VII, 189). Но в конце ноября — начале декабря 1854 г., из-за того, что дом, в котором помещались обе типографии, подлежал продаже с аукциона, Герцен решил перевести русскую типографию в другое место. К этому времени и относится публикуемое письмо. Решение Герцена было неправильно понято членами «Централизации» и сильно встревожило многих, в том числе и Ворцеля. В разговоре с Ворцелем Герцен предложил: «Вот что я могу сделать для вас: я напишу письмо, в котором скажу, что хозяйственные распоряжения заставляют меня перевести типографию, но что это не только не значит, что мы расходимся, но, напротив, что у нас, вместо одной, будут две типографии; письмо это вы можете напечатать, если желаете, или показать, кому угодно». «Действительно,—рассказывает Герцен,—я в этом смысле и написал письмо на имя Жабицкого...» (XIV, 290). Но, повидимому, письма Жабицкому оказалось недостаточно, тогда Герцен и написал то письмо Ворцелю, которое мы здесь публикуем по черновому автографу.

Отделение русской типографии от польской не изменило отношения Герцена к польским революционерам и польской освободительной борьбе. Герцен продолжал постоянно и последовательно отстаивать дело польской независимости.

〈22 décembre 1854〉[1]

Cher citoyen Worcell,

Vous savez déjà par le cit〈oyen〉 Zabicky[2] que le changement du local de l'Imprimerie russe n'a été motivé que par des considérations purement économiques. Permettez-moi de vous le répéter encore une fois. Rien n'est changé dans nos rapports — seulement nous avons deux imprimeries, au lieu d'une.

Jamais [de ma vie] je n'ai plus senti la nécessité de nous serrer encore plus que maintenant — je parle de la petite minorité de révolutionnaires russes et des représentants de la Pologne républicaine et sociale.

[C'est par la Pologne que commencera la révolution en Russie — c'est] Nous briserons ensemble nos chaînes, nous sommes soudés plus que par l'amour [de la liberté], par la haine [de la même opression] commune.

Vous êtes nos frères aînés, votre drapeau [nous est sacré, nous n'avons pas encore de sien propre — nous le prenons pour le nôtre et] 〈est〉 le nôtre; par un hasard heureux ce drapeau est rouge.

Je vous serre la main fraternellement

A. Herzen

22 Décembre

Перевод:

<22 декабря 1854 г.>[1]

Дорогой гражданин Ворцель,

Вы уже знаете от гражд<анина> Жабицкого [2], что перемещение русской типографии было вызвано чисто экономическими соображениями. Позвольте мне еще раз повторить вам это. В наших отношениях ничего не изменилось — только у нас теперь две типографии вместо одной.

СТАНИСЛАВ ВОРЦЕЛЬ
Гравюра, 1850-е гг.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Никогда * не чувствовал я такой необходимости еще теснее сплотиться, как теперь,— я говорю о маленьком меньшинстве русских революционеров и о представителях республиканской и социальной Польши **.

Мы вместе разобьем наши цепи, нас спаяло нечто большее, чем любовь ***,— нас спаяла общая ненависть ****.

Вы наши старшие братья, ваше знамя ***** — наше знамя, по счастливой случайности это знамя — красное.

Братски жму вам руку
А. Герцен

22 декабря

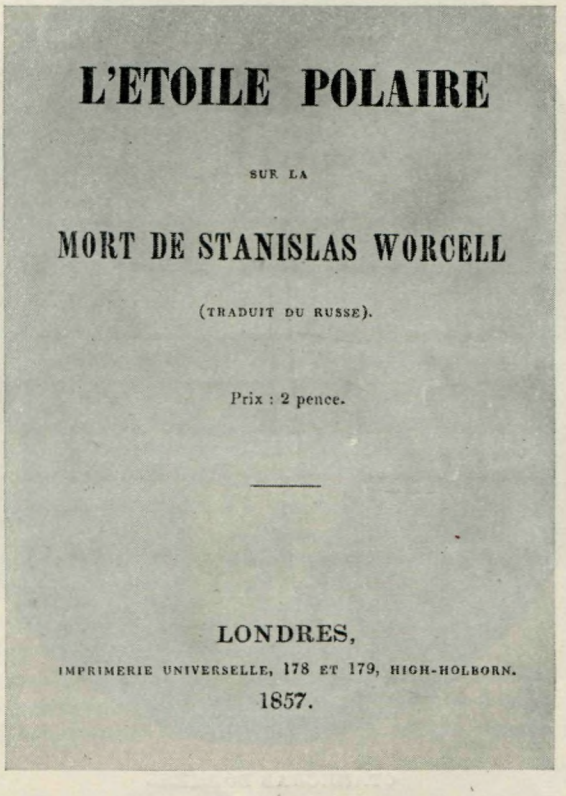
---

* *Далее зачеркнуто:* в моей жизни
** *Далее зачеркнуто:* именно с Польши начнется революция в России — это
*** *Далее зачеркнуто:* к свободе
**** *Далее зачеркнуто:* к тому же гнету
***** *Далее зачеркнуто:* священно, у нас нет еще своего собственного знамени — и мы берем его как наше и

Автограф (черновой). ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134, л. 4.

[1] Год устанавливается на основании очерка «Польские выходцы», где Герцен, говоря о польском митинге, состоявшемся в Лондоне 29 ноября 1854 г., отметил: «... в то же время я должен был перевести русскую типографию в другое место» (XIV, 289).

[2] Антон *Жабицкий* (1810—1871?)— видный деятель польского и европейского революционного движения. Участник польского восстания 1830—1831 гг. и венгерской революции 1848 г. После поражения революции 1848 г. эмигрировал в Лондон, где в начале пятидесятых годов сделался одним из руководящих членов «Централизации».



L'ETOILE POLAIRE

SUR LA

MORT DE STANISLAS WORCELL

(TRADUIT DU RUSSE).

Prix : 2 pence.

LONDRES,

IMPRIMERIE UNIVERSELLE, 178 ET 179, HIGH-HOLBORN.

1857.

«„ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА" О СМЕРТИ СТАНИСЛАВА ВОРЦЕЛЯ»

Французский перевод некролога Ворцеля, написанного Герценом, 1857 г.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Убежденный демократ, он приветствовал подготовку народного восстания Польше и польско-русский революционный союз. Незадолго до восстания 1863 г. Жабицкий говорил:

«Самого серьезного союзника мы нашли в лагере нашего общего врага. Связанные с русским народом узами общего происхождения и говоря на близком ему языке, мы сумели передать ему наши чувства и убеждения ⟨...⟩ Союз Польши с революционной Россией ⟨...⟩ не угрожает никому расовой войной. Он заключен с единственной целью — уничтожения общих цепей».

Возглавляя левое крыло польской демократической эмиграции, Жабицкий, вместе с лондонской секцией польских изгнанников, примкнул к I Интернационалу.

На протяжении нескольких лет Жабицкий был членом Генерального совета I Интернационала и выступал в Совете как сторонник Маркса (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIII, ч. 1, стр. 438—439; ч. 2, стр. 730).

ТОМАСУ КАРЛЕЙЛЮ

Публикация М. Алексеева

Встречи Томаса *Карлейля* (Carlyle, 1795—1881), известного английского историка и философа, с русскими людьми были многочисленны и разнообразны. Одним из наиболее интересных собеседников Карлейля был Герцен, познакомившийся с ним в первый же год своей лондонской жизни. Инициатива знакомства принадлежала Карлейлю.

Когда Герцен приехал 25 августа 1852 г. в Лондон, Карлейль находился в Германии. Узнав, что автор «С того берега» в Лондоне, Карлейль просил свою жену, Джейн Уелш Карлейль, тотчас же оказать ему гостеприимство. Об этом мы узнаем из следующего сообщения в письме Герцена к М. К. Рейхель от 14 сентября 1852 г.:

«Сегодня я приглашен к M^rs^ Карлейль (жена автора, вы знаете его „Историю революции", его самого нет, он очень любит мой „Von anderen Ufer"); он хотел со мной познакомиться. Жена приглашает за него» (см. ниже в наст. томе).

По возвращении из Германии Карлейль не замедлил лично познакомиться с Герценом. Свидание произошло в лондонском доме Карлейля 20 декабря 1852 г. Об этом мы узнаем из другого письма Герцена к М. К. Рейхель. 23 декабря Герцен писал своей корреспондентке:

«Я третьего дня весь вечер просидел у Карлейля. Он совершенно то́, что мы знали, читая его „Историю революции"; талантливость, касающаяся гениальности, парадоксы, смелость суждений и un grain de folie*. Я спорил с ним страшно, его grain de folie, что деспотизм спасет мир и *повиновенье* приведет к социализму. Я, наконец, ему сказал: „Читали ли вы когда-нибудь „Историю революции" Карлейля? Вот писатель, который гораздо лучше и глубже понимает, нежели вы". Из этого произошел смех...» (см. ниже в настоящем томе).

Еще одно сообщение о состоявшемся знакомстве находим в письме к Карлу Фогту от 5 апреля 1853 г.

«Не помню, писал ли я вам,— сообщал Герцен в этом письме, — что познакомился с Карлейлем, автором „Истории французской революции"? Это — человек таланта громадного, но чересчур парадоксальный; его называют шотландским Прудоном» (VII, 204, пер. с франц.).

В нашем распоряжении есть документ, свидетельствующий, что личное общение обоих писателей продолжалось и в следующем, 1853 году. В альбоме Н. Н. Петровой-Званцевой (ЦГЛА) сохранилась следующая, еще не опубликованная, автографическая записка Карлейля Герцену от 11 июля 1853 г. (Лондон, Chelsea):

«My dear Sir. I am sorry, I saw no more of you: if your steps ever tend this way,—in the evening, at about 3 p. m.,—I should be well pleased with another meeting. Yours very sincerely. T. Carlyle»**.

В последующие годы Герцен и в своих частных письмах, и в печати неоднократно упоминал о Карлейле и своих с ним спорах. Едва ли, однако, встречи Герцена с Карлейлем, начиная со второй половины 1850-х гг., были особенно часты, но их общение, несомненно, продолжалось, как продолжались и их споры. Вероятно, именно Герцен представлял Карлейлю некоторых русских путешественников, приезжавших в Лондон. С иными из них продолжались те же споры. Здесь, прежде всего, следует назвать И. С. Тургенева. Из письма Тургенева к П. В. Анненкову от 27 июня 1857 г. мы знаем, что знакомство его с Карлейлем произошло в Англии в конце мая этого года («Наша старина», 1915, № 1, стр. 78—79).

Отношение Герцена к Карлейлю носило более или менее устойчивый характер. В исторических произведениях Карлейля, например в «Истории французской

* avoir un grain de folie—галлицизм: «быть немного сумасшедшим», «тронутым».

** «Милостивый государь. Сожалею, что больше вас не видел: если ваши шаги направятся как-нибудь в эту сторону, около трех часов пополудни,—я буду очень рад новой встрече с вами. Искренне ваш Т. Карлейль» (англ.).

революции», Герцен отмечал поразительную художественность «картин» и одновременно полную несостоятельность основных точек зрения автора (VIII, 208). В 1867 г. Герцен писал, что у Карлейля только «...картины хороши, а рассуждения à la Jean-Paul Richter ins Blaue hinaus»* (XX, 38).

Франция после крушения революции 1848 года составляла одну из волнующих тем в беседах Герцена с Карлейлем в первые годы их знакомства. Другой темой, гораздо более острой, по крайней мере для одной из спорящих сторон, была Россия. В 1857 г., в одной из своих статей, Герцен мимоходом упомянул, что ему «случалось говорить об России» с «серьезными людьми», как Прудон, Маццини и Карлейль (VIII, 491), а еще через два года опубликовал интереснейший документ — свою переписку с Карлейлем, возникшую в связи с этими спорами.

Поводом для обмена письмами была на этот раз посылка Герценом Карлейлю текста своей речи, произнесенной 27 февраля 1855 г. в С. Мартинс-Холле в Лондоне на интернациональном митинге в годовщину февральской революции. Герцен произнес речь на французском языке. Текст речи тогда же был напечатан отдельными брошюрами на французском и русском языках и появился на английском языке в газетах «The People Paper» (полностью) и «The Leader» (сокращенно) (VIII, 571). Какой именно текст был послан Карлейлю, документально не установлено; нужно думать, что Герцен послал отдельное французское издание речи, а не газетную вырезку. Карлейль ответил Герцену 13 апреля 1855 г. Через четыре года (в 1859 г.) Герцен напечатал этот ответ в «Полярной звезде» (1859, кн. 5, стр. 228—229) **. Письмо Карлейля помещено здесь в собственном переводе Герцена: английский текст опубликован не был и не входит в издания писем Карлейля. По свидетельству М. Гершензона, подлинник письма Карлейля находился в том составленном самим Герценом альбоме автографов, в котором были «вклеены по одному или по нескольку писем к нему его знаменитейших современников» (М. Гершензон. Образы прошлого. М., 1912, стр. 278—279).

Сохранился ли этот альбом, принадлежавший наследникам Герцена, и если сохранился, то у кого и где — установить не удалось.

Карлейль писал Герцену: «Я прочел вашу речь о революционных началах и элементах в России; много в ней мощного духа и сильного таланта; она особенно поражает трагической серьезностью тона, которого нельзя не видеть и нельзя легко принять читателю, какого бы мнения он ни был о вашей программе и о вашем пророчестве России и миру».

«Что касается до меня,— продолжал Карлейль,— я признаюсь, что никогда не считал, а теперь (если это возможно) еще меньше, чем прежде, надеюсь на всеобщую подачу голосов во всех ее видоизменениях. Если она может принести что-нибудь хорошее, то это так, как воспаление в некоторых смертных болезнях».

Развивая свою мысль, Карлейль именовал далее всякую антиавторитарную политическую систему, в данном случае современный ему буржуазный парламентаризм, «чистой анархией», заявляя, что этой «чистой анархии, <...> развитой парламентским красноречием, свободой книгопечатания и счетом голосов», он готов предпочесть «самый царизм или даже великий туркизм», и кончал реакционной апологией «таланта повиновения» народных масс («*талант*, необходимый всем нациям, всем существам, и беспощадно требуемый от них всех под опасением наказаний,— *талант повиновения*»).

Карлейль явно впадает здесь в тот «удивительно неисторический апофеоз средневековья», который находили в его философствованиях Маркс и Энгельс. Определяя социально-политическое содержание основных произведений Карлейля, Маркс писал в 1850 г.:

«Томасу Карлейлю принадлежит та заслуга, что он выступил в литературе против буржуазии в эпоху, когда ее взгляды, вкусы и идеи заполонили всю официальную английскую литературу; причем выступления его носили иногда даже революционный характер. Это относится к его истории французской революции, к его апологии

---

* в манере Жана-Поля Рихтера и вздорны (франц. и нем.).

** Полностью перепечатано (без указания источника) Н. Барсуковым в книге «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. X, СПб., 1896, стр. 229—230.

Кромвеля, памфлету о чартизме, к «Past and Present»*. Но во всех этих произведениях критика настоящего тесно связана с удивительно неисторическим апофеозом средневековья, встречающимся, впрочем, часто и у английских революционеров, например, у Коббета и у одной части чартистов. В то время как в прошлом он восторгается, по крайней мере, классическими эпохами определенной фазы общественного развития**, настоящее приводит его в отчаяние, а будущее страшит» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. VIII, стр. 281).

Последние слова характеристики Маркса конкретизируются следующим замечанием Энгельса о Карлейле: «Февральская революция ⟨1848 г.⟩ превратила его в настоящего реакционера; справедливый гнев на филистеров сменился у него кислым филистерским брюзжанием...» (там же, т. III, стр. 507).

Герцен, естественно, должен был резко отрицательно отнестись к карлейлевской проповеди пассивности и застоя. Пережив после 1848 г. крушение своих надежд на европейскую революцию, Герцен, однако, в эти самые годы все сильнее начинал верить в грядущую революционную Россию. Поэтому, отвечая Карлейлю, Герцен со всей убежденностью и энергией противопоставил его реакционной апологии «таланта повиновения» революционный «талант борьбы». Это замечательное письмо Герцена, от 14 апреля 1855 г., хотя и опубликованное им самим по-русски, в 5 кн. «Полярной звезды», 1859 г. (стр. 229—230), к сожалению, не получило до сих пор той известности, которую оно заслуживает. По случайным, повидимому, причинам оно не вошло в «Полное собрание сочинений» под ред. Лемке и оказалось, вследствие этого, по существу, забытым. В «пражской коллекции» сохранилась авторская копия этого письма, которую мы и публикуем, сопровождая французский текст тем несколько свободным *авторским переводом*, который Герцен напечатал в «Полярной звезде».

Cholmondeley Lodge, Richmond. ⟨14 avril 1855⟩

Monsieur,

Il m'est impossible de ne pas dire quelques mots concernant le sujet très intéressant que vous avez touché dans votre lettre — pour laquelle je vous remercie bien cordialement. Je n'ai jamais été enthousiaste du «suffrage universel». Le suff⟨rage⟩ un⟨iversel⟩ (comme toute forme sans lien nécessaire avec le contenu n'est par elle-même ni bonne ni mauvaise) peut donner des résultats très absurdes. Le socialisme vise beaucoup plus loin qu'à faire l'addition numérique des voix et la soustraction des minorités pour apprécier la valeur arithmétique d'une loi. Le socialisme tend à découvrir les lois de l'organisation sociale la plus naturelle dans l'état donné à les antécédents historiques, à les réaliser. «Anarchie» — «Talent d'obéir» — tout cela demande des définitions; le vague, l'indéfini sont très dangereux. Si «Anarchie» veut dire désordre arbitraire, solution de la solidarité, non conformité à la raison — le socialisme la combat plus que la monarchie.

Le talent d'obéir en conformité avec notre conscience — est une vertu. Mais le talent de lutter lorsqu'on nous force à obéir contre la conviction — est aussi une vertu.

L'ordre de la nature — est la plus grande, la plus harmonieuse anarchie —c'est pour cela que la nature va d'elle-même. Ici le mot d'Anarchie ne signifie pourtant pas un tohu-bohu de caprices, d'excentricité. La logique c'est *l'anarchie de la pensée* — il ne faut pas *d'autorité* pour me convaincre que $2\times2=4$. La religion au contraire est *la monarchie* de la logique et demande outre le talent d'obéir, le talent de croire. Sans le talent de lutter — le monde en serait au Japon. Pas d'histoire, pas de développement.

---

* «Прошлое и настоящее» (англ.).

** Маркс имеет в виду, в частности, отношение Карлейля к английской революции XVII в. и к французской революции XVIII в.

«Toute puissance vient de Dieu», a dit l'apôtre Paul, ce citoyen romain insurgé, ce blasphémateur de S-te Diane d'Ephèse, ce démagogue de la via Appia, ce partageux — qui a été exécuté par César, qui justement ne lui trouvait pas assez de «talent d'obéissance».

Vous êtes trop philosophe pour ne pas me pardonner que je défende mes opinions tout en connaissant l'infériorité de mes forces.

Dès que je serai à Londres j'en profiterai pour venir vous voir et présenter mes respects à Madame. Je serai enchanté de vous voir dans mon ermitage de Richmond et de continuer, si vous le désirez, viva voce l'entretien.

Adieu
Alex. Herzen

14 avril ‹18›55

Автограф (авторская копия). ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134.

Русский текст, напечатанный Герценом в «Полярной звезде»:

‹Чомле-Лодж. Ричмонд. 14 апреля 1855 г.›

Позвольте вам сказать несколько слов о тех близких мне предметах, которые вы затронули в вашем письме.

Я никогда не был горячим поклонником *всеобщей* подачи голосов. Она, как всякая форма, не связанная с необходимым содержанием, может быть хороша и дурна, может привести к результатам счастливым или совершенно нелепым. Социализм идет дальше арифметического сложения и вычитания голосов, которыми определяют *числовое* достоинство закона. Социализм старается раскрыть законы наиболее естественного устройства общества и стремится к данным историческим условиям.

«Анархия», «талант повиновения» — все это очень смутно и требует большей определительности. Если анархия значит беспорядок, произвол, разрыв круговой поруки, разрыв с разумом, то социализм больше борется с ней, чем монархия...

Талант повиноваться в согласии с нашей совестью — *добродетель*. Но талант *борьбы*, который требует, чтоб мы не повиновались против нашей совести, — тоже добродетель!

Природа представляется нам самою огромною гармоническою анархией, и именно оттого-то в природе все в порядке, что идет само по себе. Разумеется, анархия в этом смысле не значит tohu bohu, путаница капризов, странностей. Признание анархии в мысли не значит освобождение ее от логики, но дело в том, что я не из *повиновения* говорю, что $2\times2=4$. Религия, совсем напротив, она как монархия требует не только талант разумения, но и талант послушания и верования.

Без таланта борьбы и противудействия мир бы еще стоял на точке Японии. Не было бы ни истории, ни развития...

«Всякая власть от бога», сказал ап. Павел, а сам был мятежный гражданин римский, богохулец Дианы Ефесской, бродящий демагог на Via Appia, общинник (partageux), казненный Цезарем именно за то, что он у него не находил достаточно развитым «талант повиновения».

Вы как мыслитель должны извинить меня, что я против вас отстаиваю мои мнения, зная очень хорошо сравнительную слабость моих сил.

Как только я буду в Лондоне, непременно явлюсь с моим почтением к г-же Карлейль и очень буду рад вас видеть в моей Ричмондской пустыне для того, чтобы продолжать viva voce наши споры.

Чомле-Лодж, 14 апреля 1855

НЕИЗВЕСТНОМУ ПОЛЬСКОМУ ЭМИГРАНТУ

Публикация И. Белявской

Письмо, которое мы печатаем по черновому автографу, не содержит ни обращения, ни даты. Как явствует из его текста, оно относится к последнему году Крымской, или Восточной, войны.

Содержание письма уясняется в связи со следующими обстоятельствами. После вступления Англии и Франции в войну широкое распространение получили слухи о создании польского легиона и даже армии, которая якобы должна была двинуться вместе с союзниками из Дунайских княжеств на север — в Польшу. Источником этих слухов, а также некоторых организационных мероприятий, предпринятых в связи с этими слухами, служили демагогические обещания английского и французского правительств всячески содействовать полякам в создании легиона и освобождении Польши.

В действительности, ни Англия, ни Франция никогда не думали об освобождении Польши, они лишь воспользовались польским вопросом в своей дипломатической игре.

Лживость этих обещаний стала, однако, очевидной не сразу. Поляки еще долго не могли освободиться от иллюзий, которые усиленно поддерживались польскими аристократами-эмигрантами (Чарторыйскими и их окружением), являвшимися на деле прямыми агентами западных держав в их борьбе против России. Среди проектов, выдвигавшихся аристократической партией польской эмиграции по указке английского правительства, существовал, в частности, проект создания корпуса и легиона из русских военнопленных под командованием польских офицеров и... на средства английского правительства.

Для переговоров о реализации этого проекта летом 1855 г. в Лондон прибыл граф Владислав Замойский, родственник и ближайший единомышленник князя Адама Чарторыйского (VIII, 200; Fr. Rawita Gawroński. Materyały do historyi polskiej XIX w. Kraków, 1911, s. 53, 54, 55). Из опубликованного Лемке донесения заграничного агента III Отделения известно, что проект этот вызвал решительное возражение со стороны демократической партии и ее руководителя Ворцеля и что Замойский вынужден был вынести проект на обсуждение на митинге польской эмиграции, который должен был быть созван 29 июля 1855 г. Состоялся ли этот митинг и где именно, сведений нет.

Однако известно, что 31 июля Ворцелем, Герценом и Кошутом была подписана и отослана Замойскому для прочтения на митинге 1 августа (неизвестно был ли это второй митинг или первый, отложенный с 29 июля) декларация протеста против формирования легиона (VIII, 200). Текст декларации, как и другие документы, относящиеся к участию Герцена в этих событиях, не известны в печати. Поэтому мы можем высказать только догадку, что письмо, которое мы печатаем, относится к этому времени (т. е. к концу июля 1855 г.) и что адресатом его является кто-то из польских эмигрантов.

Публикуемое письмо существенно важно также и для характеристики общих политических позиций Герцена в период Крымской войны. Понимая, что война может привести к ослаблению царизма, Герцен считал необходимым, чтобы русские революционеры воспользовались военной ситуацией для усиления своей борьбы с царизмом (VIII, 68).

Вместе с тем Герцен отчетливо видел, что западные державы вели захватническую войну и вовсе не помышляли, как о том кричала их пропаганда, об уничтожении русского царизма, ибо они считали царизм важнейшим оплотом в борьбе против революции.

«Монархическая Европа,— заявил Герцен на польском митинге, состоявшемся в конце ноября 1853 г. в Лондоне,— во всех своих оттенках, от дикого и кровожадного короля неаполитанского до умеренного и честного короля бельгов или короля сардинского, не может начать серьезной войны с царем. В каждом из них

слишком много Николая для этого. Никакой Бонапарт, никакой наследственный, ни благоприобретенный деспот не нанесет в самом деле удара своему петербургскому товарищу — им всем он слишком нужен» (VII, 400). Герцен понимал, что западные державы, заинтересованные в сохранении царизма, стремятся лишь несколько ослабить его роль на международной арене, сделать его «пристойным». В таких условиях Герцен считал совершенно недопустимым, как это видно из публикуемого письма, участие русских военнопленных в союзнической армии. Само содержание революционно-демократического патриотизма Герцена, которым и определялись его политические позиции в период Крымской войны, решительно исключало для него какую-либо поддержку тактики блокирования с военными силами западных держав (VIII, 222; XIII, 613, 615). Автор специального исследования на тему «Герцен и Крымская война», Ш. М. Левин, пишет по этому поводу: «Борьбу против николаевской монархии Герцен ни под каким видом не хотел смешивать с какой бы то ни было формой поддержки неприятелей, сотрудничества с ними. Он считал всякую связь и помощь им недопустимыми, компрометирующими русских революционеров, вредными для их престижа и влияния в русском обществе и народе» («Исторические записки», т. XXIX, М., 1949, стр. 189).

Герцен ясно понимал, что военно-политические устремления западных держав в Крымской войне отнюдь не направлены ни к освобождению южных славян, ни к освобождению Польши.

Характеризуя в «Былом и думах» иллюзорные надежды, которые питал в отношении этих устремлений Ворцель, Герцен писал: «Но как же он мог думать, что Англия поднимет Польшу, что Франция Наполеона вызовет революцию? Как он мог надеяться на ту Европу, которая допустила Россию в Венгрию, французов в Рим?» (XIV, 282). Поддерживая освободительные стремления поляков и отстаивая требования независимости Польши, Герцен высказывал непоколебимую веру, что Россия и все славянские народы осуществят у себя национальные революции и в результате их завоюют свободу своими собственными руками (VIII, 68, 70, 88, 89).

Это убеждение Герцена исключительно сильно выражено и в публикуемом письме.

КАРИКАТУРА ЭПОХИ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ
Рисунок П. М. Боклевского
Исторический музей, Москва

КАРИКАТУРА ЭПОХИ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ
Рисунок П. М. Боклевского
Исторический музей, Москва

〈Лондон. Конец июля 1855 г.〉

En vous remerciant bien cordialement pour votre lettre, je vous demande la permission [d'entrer au fond] de vous exposer [ma manière de voir dans le cas des prisonniers] 〈les〉 motifs pour lesquels je déclinerai* le voyage à Portsmouth.

Si vous avez par hasard lu quelques unes de mes publications, vous [connaissez mes opinions] savez que j'ai toujours pensé, et je le pense maintenant, que l'indépendance absolue de la Pologne est un dogme [sans lequel il]. Celui des Russes qui le nie, n'est pas révolutionnaire. Or donc que les Polonais qui ont combattu toujours ouvertement le [gouvernement russe] despot〈isme〉 de Pét〈ersbourg〉 le combattent aussi avec les Turcs — je trouve que cela est naturel et juste. Les Finnois sont dans le même état. Quant aux Russes je ne le crois pas. Le Polonais venant en Pologne avec ses alliés sera reçu comme un combattant pour l'indép〈endance〉 de son pays. Tandis que le soldat russe, qui va pour la solde, n'a aucun caractère politique.

Nous autres, qui travaillons ardemment pour miner le Tzarisme mongol, comme vous le dites très bien, nous ne pouvons pas donner un conseil qui ne sera pas du tout populaire là-bas.

La mort de Nicolas a été un de ces à propos historiques, un de ces coups d'état de la providence qu'il faut nécessairement en profiter. Je n'ai jamais eu plus d'espérances. Mais soyez persuadé que le trône mongol placé dans la boue finnoise ne tombera que dans un trou creusé par les mains russes et polonaises. Car l'intervention étrangère exaspère le sentiment d'une nationalité exclusive.

Le Polonais combat pour sa patrie en combattant avec [le Turc] l'Anglais. Le soldat russe combattra pour l'argent, pour la solde. [S'il avait des]

Notre carrière révolutionnaire est à la maison.

---

*〈ово〉 déclinerai *зачеркнуто, очевидно, по ошибке.*

J'ai été toute ma vie un ennemi mortel du tzarisme, je le serai, mais j'ai une grande confiance que non seulement la Russie, mais tout le monde Slave fera sa révolution par ses propres forces — «fara da se», comme disent les Italiens. Comment puis-je donc donner le conseil à une dizaine d'hommes d'aller faire la guerre à leurs compatriotes?

Maintenant, si on peut, par l'intermédiaire de ces hommes qui s'en vont, envoyer des écrits, des publications — j'en serais enchanté.

D'un autre côté les alliés ne veulent pas ⟨faire⟩ crouler le Tzarisme, ils veulent seulement le rendre décent.

Перевод:

⟨Лондон. Конец июля 1855 г.⟩

Принося вам сердечную благодарность за ваше письмо, я прошу у вас разрешения * изложить мотивы **, которые побуждают меня отклонить поездку в Портсмут.

Если случайно вам приходилось читать какие-либо из моих сочинений ***, вы знаете, что я всегда, как раньше, так и теперь, считал полную независимость Польши догмой ****; тот русский, кто это отрицает, — не революционер. Вот почему я нахожу естественным и справедливым, чтобы поляки, всегда открыто боровшиеся с ***** петербургским деспотизмом, боролись с ним совместно с турками. В таком же положении находятся и финны. Что до русских, то о них я этого не думаю. Поляк, который вступит в Польшу вместе со своими союзниками, будет встречен как боец за независимость своей родины, между тем как участие русского солдата, идущего из-за жалованья, лишено всякого политического характера.

Никто из нас, устремляющих горячие усилия к тому, чтобы подорвать, как вы прекрасно выразились, монгольский царизм, никто из нас не может дать такого совета, который там ⟨в России⟩ не будет совершенно пользоваться популярностью.

Смерть Николая была одной из тех счастливых исторических случайностей, одним из тех решительных вмешательств провидения, которым нельзя не воспользоваться. Никогда не было у меня бо́льших надежд. Но, будьте уверены, монгольский трон, установленный на финской грязи, свалится не иначе, как в яму, вырытую русскими и польскими руками. Ибо иностранное вмешательство обостряет чувство национальной исключительности.

Поляк сражается за свою родину, сражаясь вместе с ****** англичанами. Русский солдат будет сражаться за деньги, за жалованье *******.

Нашей революционной деятельности место — дома.

Я был всю жизнь смертельным врагом царизма и останусь им. Но я глубоко убежден, что не только Россия, но и весь славянский мир совершит свою революцию собственными силами—«fara da se», как говорят итальянцы. Итак, могу ли я посоветовать десятку людей идти воевать против своих соотечественников?

А вот, если через посредство этих отъезжающих людей можно было бы переправить рукописные и печатные материалы, я был бы чрезвычайно рад.

С другой стороны, союзники не собираются разрушать царизм, они хотят только сделать его пристойным.

Автограф (черновой). ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134, лл. 30—31.

---

* *Далее зачеркнуто:* коснуться сущности
** *Далее зачеркнуто:* мою точку зрения по вопросу о пленных
*** *Далее зачеркнуто:* вам известны мои взгляды
**** *Далее зачеркнуто:* без которой он
***** *Далее зачеркнуто:* русским правительством
****** *Далее зачеркнуто:* турками
******* *Далее зачеркнуто:* если бы у него были

ПЬЕРУ-ЖОЗЕФУ ПРУДОНУ

Публикация Натальи Эфрос

Публикуемое письмо, датированное июнем 1856 г., является еще одним ярким документом, в котором отразилась «духовная драма», пережитая Герценом после 1848 года. Письмо проникнуто глубоким скептицизмом и пессимизмом по отношению к Западу. «Теперь это уже не смерть»,— определяет Герцен состояние современной ему Западной Европы,— это «гнилостное брожение».

Адресат письма не обозначен. Однако цитата, приведенная Герценом в тексте с указанием, что автором цитаты является адресат публикуемого письма, дает возможность установить, к кому оно обращено. «Шесть лет назад,— пишет Герцен,— вы сказали эти огромные слова: „Не Катилина стоит у ваших ворот, а смерть“». Слова эти принадлежат Прудону (см. ниже, примеч. 3). Таким образом, не остается сомнений, что письмо адресовано именно ему.

Переписка Герцена с *Прудоном* (Proudhon, Pierre-Joseph, 1809—1865) дошла до нас в неполном виде (см. нашу публикацию «Французские корреспонденты Герцена» — «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 266, 286). До сих пор в печати ни одного письма ни Герцена к Прудону, ни Прудона к Герцену за 1856 г. известно не было. Неизвестны письма и за дальнейшие годы — 1857—1859. Нет также упоминаний о переписке

13 ИЮНЯ 1849 г. В ПАРИЖЕ

Разгром отрядом национальных гвардейцев типографии, где печатались республиканские и демократические газеты

«L'Illustration» от 23 июня 1849 г.

этих лет ни в письмах Герцена и Прудона к третьим лицам, ни в других источниках.

Это позволяло предполагать, что в эти годы они вообще не переписывались. К такому выводу и пришел автор французской книги о Герцене и Прудоне — Р. Лабри (Raoul L a b r y. Herzen et Proudhon. P., 1928, стр. 131—153).

Публикуемое письмо не только не дает основания утверждать, что в 1856 г. Герцен и Прудон не писали друг другу, но, напротив, наводит на мысль, что между ними в это время существовала оживленная переписка. Герцен отвечает, по всей вероятности, на какое-то неизвестное нам письмо Прудона, просит извинить ему его, очевидно, продолжительное молчание («Я чувствую себя всецело перед вами виноватым в своей... немоте»).

Написано письмо в том дружеском тоне, который характерен для всей переписки Герцена и Прудона в период между 1851—1855 гг. Как известно, Герцен и в эту пору не закрывал глаза на то, что он называл «темными сторонами» таланта Прудона — на реакционные элементы его мировоззрения. Но, в отличие от основоположников научного социализма Маркса и Энгельса, Герцен долго идеализировал Прудона, видел в нем «главу революционного принципа во Франции» и не понимал, что в действительности, как писал Маркс еще в 1846 г., «... Прудон — с головы до ног философ, экономист мелкой буржуазии» (К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Избранные письма. Госполитиздат, 1948, стр. 32).

Идеализации Герценом революционной роли Прудона в немалой мере способствовало отважное поведение Прудона в Национальном собрании в 1848 г., позволившее Марксу сказать: «Его выступление в Национальном собрании, хотя оно и обнаружило, как мало понимал он все происходящее, заслуживает всяческой похвалы. *После* июньского восстания это было актом высокого мужества» (К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Избранные письма. Письмо Швейцеру, стр. 157).

Борьба на два фронта — против Луи-Бонапарта и против буржуазных демократов-республиканцев, которую вел Прудон,—создала ему многочисленных врагов. Сам он говорил о себе, что предан остракизму всех партий без исключения. Вскоре после смерти Прудона в цитированном письме к Швейцеру Маркс писал: «При этом, однако, не следует забывать, что в то время, когда я объявил книгу Прудона <«Философия нищеты, или система экономических противоречий»> кодексом мелкобуржуазного социализма и теоретически это доказал, экономисты и социалисты предавали Прудона анафеме как ультра-революционера. Вот почему я и позднее никогда не присоединял своего голоса к тем, кто кричал об его „*измене*" революции. Не его вина, если, с самого начала ложно понятый как другими, так и самим собою, он не оправдал необоснованных надежд» (там же, стр. 156).

Нападки на Прудона, в особенности же со стороны левых буржуазных партий, вызывали глубокое возмущение Герцена. Оно явственно звучит в публикуемом письме и выражено здесь в словах, близких к тем, которые Герцен гневно обрушил на противников Прудона в гл. VI «С того берега» — «Omnia mea mecum porto» (V, 476).

Спустя два года после того как Герценом было написано публикуемое письмо, его отношение к Прудону резко изменилось. Перелом был вызван выходом в свет в 1858 г. книги Прудона «О справедливости», которую Герцен в письме к М. К. Рейхель от 4 июня 1858 г. определил как «целый том <...> римско-католической клеветы против женщины...» и, позднее, как «старые изношенные пугала из гегелизма правой стороны» (IX, 252; XIII, 460).

Реакционные элементы мировоззрения Прудона еще резче дали себя знать во втором «исправленном и дополненном» издании книги «О справедливости» и в следующей его книге «О войне и мире». Он занял в них враждебную позицию по отношению к национально освободительной борьбе польского народа, позицию, которую так резко осудил Маркс (см. цит. письмо к Швейцеру, стр. 156—157). Этого Герцен не мог простить Прудону. Не прекращая с ним личных отношений, Герцен порвал с Прудоном идейно и политически.

Juin 1856
1 Petersboro Villas Finchley. New-Rood.
Londres

Cher et vénérable ami,

J'ai appris avec un grand bonheur que vous vous étiez informé de mes nouvelles, il y a quelques jours. Je suis d'autant plus heureux de cela, que je me sens parfaitement coupable envers vous de mon mutisme slavo-anglais. Les Russes se taisent ne pouvant rien dire; les Anglais, ayant le droit

П.-Ж. ПРУДОН
(в бытность депутатом французского Национального собрания)
Литография, 1848 г.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

de tout dire, ont perdu l'attrait de la chose et c'est ainsi que les extrêmes se touchent et que les Etats-Unis sympathisent avec la Russie[1]. J'ai donc deux causes atténuantes et cela n'est pas tout. Il y a une certaine stagnation de la pensée; elle se voit si complètement inutile, si complètement luxe, débordée, foulée aux pieds par la seule réalité réelle—par la force majeure—elle n'a rien à dire, ou à dicter. Au moins les Trappistes[2] avaient l'avantage,

faute de nouvelles plus intéressantes, de se dire le «Memento mori», ils avaient un malheur à attendre. Moi je n⟨en⟩attends aucun; des permutations, des changements, fermentation putride avec des variantes de hasard. Il y a 6 ans vous avez dit ces immenses paroles: «Ce n'est pas Catilina qui est à vos portes — c'est la mort!»[3] Ce n'est pas la mort maintenant — c'est déjà le point du célèbre *Circulus* — dans lequel il ne commence pas encore à tourner vers sa transfiguration, — passez-moi l'expression au nom du philosophe agriculteur de Jersey[4] — vers sa transfiguration inodore. J'ai pu observer ici un fait bien curieux: à mesure que vos prédictions s'accomplissaient — on se détachait de vous. Chaque fait qui venait à l'appui de vos paroles — mettait en rage les stylites de l'orthodoxie révolutionnaire. On vous en voulait de l'audace de ne pas vous tromper. Oh que j'ai rompu de lances — contre la «cérébrine» en petrification des hommes les plus excellents «mais de mauvais musiciens», comme le disait Hoffmann. Voilà que je retombe dans les cancans. Si dans les autres pays cela va vite, la maladie est aiguë, en Angleterre au contraire c'est la lourde hydropisie (véritable maladie pour une île).

Перевод:

Июнь 1856 г.
1 Petersboro Villas Finchley. New-Rood
Лондон

Дорогой и уважаемый друг.

С большой радостью узнал я, что вы осведомлялись обо мне несколько дней назад. Я тем более рад этому, что чувствую себя всецело пред вами виноватым в своей славяно-английской немоте. Русские молчат, лишенные возможности что-либо говорить; англичане, имея право говорить всё, потеряли к этому вкус, а отсюда и происходит что крайности сходятся и Соединенные Штаты сочувствуют России [1]. Итак, у меня два смягчающих вину обстоятельства, но это еще не всё. Сейчас какой-то застой мысли, она сознает себя до такой степени бесполезной, до такой степени ненужной роскошью, до такой степени выкинутой за борт, растоптанной единственной реальной реальностью, непреоборимой силой, что ей нечего сказать, нечего предложить. У траппистов[2] было, по крайней мере, то преимущество, что они могли, при отсутствии более интересных новостей, говорить себе: «Memento mori»*, они могли ждать несчастья. Я уже не жду никакого несчастья; перемены, измененья—гнилостное брожение с вариантами, вносимыми случайностями. Шесть лет назад вы сказали эти огромные слова: «Не Катилина стоит у ваших ворот, а смерть!»[3]. Теперь это уже не смерть, а та точка знаменитого *Circulus***, когда он еще не начинает поворота к своему видоизменению, к своему,— простите мне, во имя джерсийского философа-земледельца[4] это выражение — лишенному запаха видоизменению. Я имел возможность наблюдать здесь весьма любопытный факт: по мере того как ваши предсказания сбывались, от вас отходили. Каждый факт, подтверждавший ваши слова, приводил в бешенство столпников революционного православия. Вам ставилось в вину то, что вы имели дерзость не ошибаться. Ах, сколько изломал я копий об окаменевшее «мозговое вещество» превосходнейших людей, но «плохих музыкантов», как говорил Гофман. Но я опять перехожу на сплетни. Если в других странах все идет быстро, болезнь носит острый характер, то в Англии, напротив, болеют тяжелой водянкой (самой подходящей болезнью для острова).

Авторская копия. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134, л. 3—3 об.

[1] О чем идет речь, неясно, но, может быть, сказанное Герценом надо поставить в связь с затяжным и острым конфликтом, имевшим место в те годы между Англией и Америкой:

Поводом к конфликту послужило нарушение Англией во время Восточной войны законов нейтралитета. Англия, понесшая от русских войск большой урон

* Помни о смерти (лат.).
** Круговорота (лат.).

в живой силе, стала вербовать («покупать», как тогда говорили) солдат не только в Европе, но и в Соединенных Штатах. Вашингтонский кабинет воспротивился этому. Вербовщики были арестованы и преданы суду, а президент Пирс в резкой ноте потребовал отозвания английского посланника. Отказ английского правительства выполнить это требование заставлял опасаться вооруженного столкновения. «Англичане сдуру дразнят Америку; если они ее додразнят до драки,— вот пойдет кутерьма-то»,— писал Герцен к М. К. Рейхель 31 марта 1856 г. (VIII, 266).

Особенного напряжения конфликт достиг летом 1856 г., т. е. как раз тогда, когда писалось публикуемое письмо. Столбцы всех газет заполнялись сообщениями об англо-американской распре. Естественно, что и Герцен мог коснуться этого вопроса. А поскольку Америка, выступая в защиту нейтралитета, тем самым объективно содействовала интересам России, он мог сказать, что «Соединенные Штаты сочуветвуют России».

ПАРИЖ. ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ, АВЕНЮ МАРИНЬИ
Литография, 1850-е гг.
Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

[2] *Трапписты* — католический монашеский орден, с особенно строгим уставом. На монахов этого ордена налагался обет молчания, и им вменялось в обязанность постоянно думать о смерти. Выражение «Memento mori» произносилось ими вместо приветствия.

[3] Заключительные слова статьи Прудона «Philosophie du 10 mars. Monarchie ou république» («Философия 10 марта. Монархия или республика»), напечатанной в газете «La voix du peuple», 1850, № 178, 24 марта. Эти слова Герцен приводит также и в «С того берега» (V, 469) и в «Письмах из Франции и Италии» (VI, 126) и в «Былом и думах» (XIII, 452). Герцен цитирует не совсем точно, у Прудона сказано: «Это не Катилина, это не банкротство у ворот ваших, а смерть».

[4] *Джерсийским философом-земледельцем* Герцен называет Пьера Леру (Leroux, Pierre, 1797—1871).

После декабрьского переворота, заставившего Леру покинуть Францию, он поселился на острове Джерси. Заинтересовавшись агрономией, он ставил здесь опыты по удобрению почвы.

Circulus — утопическое учение о круговороте, или обращении материи, выдвинутое Леру в полемике против Мальтуса. В соответствии с этим учением, в мире существует постоянный круговорот материи, неиссякающей и вечной. Все живые существа, в том числе и человек, возвращают почве в виде своих пищеварительных отправлений и при разложении трупов то самое количество органической материи, необходимое для поддержания жизни, которое они получили из почвы. Таким образом, жизнь возрождается из смерти, производство — из потребления, и угрозы перенаселения, о которой говорил Мальтус, не существует.

ГЕНРИ-ЧАРЛЬЗУ КЭРИ (?)

Публикация Л. Гинзбург

Публикуемое письмо — одно из свидетельств международного значения деятельности Герцена, мировой известности, которой он пользовался, особенно после того как в 1855 г. появились английский и немецкий переводы «Тюрьмы и ссылки». Письмо, сохранившееся в бумагах Герцена в копии (почерк неустановленного лица), адресовано в Америку. В письме затронуты вопросы, которые Герцен ставил и на страницах своих произведений.

Герцен сумел критически подойти и к буржуазной демократии Западной Европы, и к общественно-политическому строю Соединенных Штатов Америки. По поводу этого строя Герцен много раз высказывался с беспощадной резкостью. «В Северо-Американских Штатах перехватывают письма и журналы, секут граждан на площадях и продают с аукциона *вольных* негров»,— писал Герцен в 1860 г. в статье «Россия и Польша» (X, 244). В очерке «Роберт Оуэн», появившемся в «Полярной звезде» на 1861 год, Герцен говорит: «...народ, объявивший восемьдесят лет тому назад „права человека", распадается из-за „права сечь". Преследования и гонения в Южных Штатах, поставивших на своем знамени слово *Рабство*, так, как некогда Николай ставил на своем слово *Самодержавие*, за образ мыслей и слова, не уступают в гнусности тому, что делал неаполитанский король и венский император. В Северных Штатах „рабство" не возведено в догмат религии; но каков уровень образования и свободы совести в стране, бросающей счетную книгу только для того, чтобы заниматься вертящимися столами, постукивающими духами,— в стране, хранящей всю нетерпимость пуритан и квакеров!» (XIV, 486). Таким же негодованием проникнуты отзывы о Соединенных Штатах в статье 1862 года «Mortuos plango» («Оплакиваю мертвых»): «До Северо- и Юго-Американских штатов было рабство и крепостное состояние, неправая война и неправое стяжание, но этот цинизм, эта наглость, эта преступная простота, это бесстыдное обнажение,— это ново и принадлежит Америке» (XV, 5).

Наряду с беспощадной критикой американской буржуазной демократии, которую в «Роберте Оуэне» Герцен назвал «диктаторской и полицейской», у него встречаются и положительные высказывания о политическом строе Америки. Однако это противоречие кажущееся. Оно объясняется тем, что Герцен в одних случаях говорит о *существующих* в современной Америке порядках, резко их осуждая; в других же случаях он говорит о тех предпосылках американской общественной жизни, которые он считал благоприятными, говорит о *возможности* развития народных, подлинно демократических сил. Герцен полагал, что страна, свободная от феодально-монархического наследия старой Европы, имеет перед Западной Европой серьезные преимущества.

Капитализм Западной Европы Герцен считал насквозь прогнившим: перспективы организованного рабочего движения он в сороковых-пятидесятых годах недооценивал. Тем большее значение придавал Герцен возможности сближения России и Америки. Но когда Герцен говорил об этом плодотворном для обеих стран сближении, он имел в виду не только будущую свободную Россию, но и Америку *будущего*, американский *народ*, который, как он надеялся, вступит когда-нибудь на путь подлинно демократического развития.

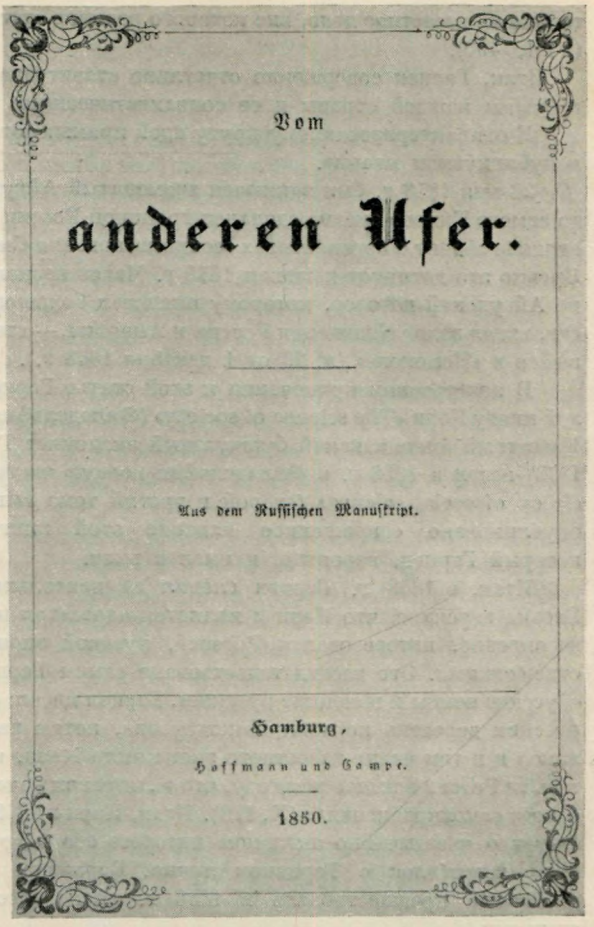
Герцен был убежден в том, что строй будущего — это социализм. Вопрос о жизнеспособности той или иной страны он решал в зависимости от наличия в ней социалистических тенденций. Россия, по убеждению Герцена, в большей мере, чем какая-либо другая страна, обладает «способностью к социализму», и этим определяется ее будущее всемирно-историческое назначение. С тем же критерием наличия социалистических тенденций подходил Герцен и к оценке Америки; но здесь вопрос оставался для него открытым.

Иногда Герцену представлялось, что американский народ сумеет пойти путем «общественного преобразования» и создаст в своей стране справедливый социальный строй. В статье «Россия» (1849) он писал: «Я ничего не пророчу, но я также не думаю,

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ
«С ТОГО БЕРЕГА», 1850 г.

Появилось в переводе на немецкий язык без обозначения автора.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва


Vom

anderen Ufer.

Aus dem Ruſſiſchen Manuſkript.

Hamburg,

Hoffmann und Campe.

1850.

что судьбы человечества и его будущее пригвождены к Западной Европе. Если Европе не удастся подняться путем общественного преобразования, то преобразуются другие страны; есть уже такие, которые готовы к этому движению, а другие к нему подготовляются» (V, 333). Далее Герцен называет Россию и Америку. В 1854 г. Герцен писал: «Работник ⟨т. е. пролетарий.— *Л. Г.*⟩ может отвратить от старого света большой позор и большие несчастия. Но спасенный им, он не переживет одного дня, потому что с ним водворится социализм — и вопрос будет положительно решен. Но и работник может быть побежден, как это было в июньские дни. Противодействия будут еще свирепее, еще страшнее. Тогда разложение старого мира придет иным путем, и социализм осуществится в других странах» (VIII, 30).

Из дальнейшего текста видно, что здесь опять подразумеваются Россия и Америка.

Но если Герцен твердо верил в социалистическое будущее России,—хотя и ошибался в понимании природы этого социализма,—то «социалистические тенденции» американского общества нередко внушали ему сомнения: «Трудно сказать, каково будет отношение Соединенных Штатов к социалистическим тенденциям, иными словами, к будущему...»,—говорит Герцен в 1857 г. в «Письме к Джузеппе Маццини о современном положении России» (VIII, 411). Те же сомнения, в том же 1857 году, Герцен высказывает в статье «Еще вариация на старую тему»: «Как Америка будет относиться к социальным ⟨т. е. социалистическим.— *Л. Г.*⟩ стремлениям, трудно сказать; дух товарищества, ассоциации, предприятий сообща чрезвычайно в ней развит, но ни общего владения, ни нашей артели, ни сельской общины нет; личность соединяется с другими

только на известное дело, вне которого ревниво отстаивает полнейшую независимость» (VIII, 490).

Итак, Герцен совершенно отчетливо ставит знак равенства между историческим *будущим* каждой страны и ее социалистическими тенденциями.

К охарактеризованному кругу идей примыкают суждения, высказанные Герценом в публикуемом письме.

28 мая 1858 г. был заключен знаменитый Айгунский договор, по которому Амур до самого Тихого океана сделался границей России с Китаем. В публикуемом письме Герцен говорит о перспективах «соприкосновения Сибири с Америкой в устьях Амура». Письмо это датируется июлем 1858 г. Через несколько месяцев Герцен откликнулся на Айгунский договор, которому придавал большое значение и в котором, в частности, видел залог сближения России и Америки,— статьей «Америка и Сибирь», появившейся в «Колоколе» (л. 29 от 1 декабря 1858 г.).

В подстрочном примечании к этой статье Герцен рекомендует вниманию читателей книгу Кэри «The science of society» (Филадельфия, 1858). Ссылка Герцена не точна. Известный американский буржуазный экономист Генри-Чарльз *Кэри* (Carey, 1793—1879) издал в 1858 г. в Филадельфии первую часть своего трехтомного труда «Principles of social science» (второй и третий тома вышли в 1860 г., а в 1864 г. было опубликовано сокращенное издание этой книги — «Manuel of social science»), который Герцен, вероятно, и имел в виду.

Итак, в 1858 г. Герцен следил за деятельностью Кэри и знал его работы. Весьма вероятно, что Кэри и является адресатом публикуемого нами письма. Кэри, несомненно, интересовался Россией, русской экономикой и русско-американскими отношениями. Это засвидетельствовано самим Герценом. В конце 1859 г., в статье «Русские немцы и немецкие русские», Герцен писал: «...характер мирского управления русских деревень поразил Гакстгаузена, потом разных американских путешественников и в том числе известного экономиста Кэри, который мне сам говорил, возвратясь из России в нынешнем году, что в „мирском начале наших коммун лежит великая основа самоуправления“» (X, 120). Итак, Кэри в 1859 г. посетил Россию, что свидетельствует о чрезвычайно активном интересе его к «русскому вопросу», и на обратном пути встретился с Герценом лично. Вероятно, личному знакомству и беседам о России предшествовало в 1858 г. знакомство заочное — обмен письмами и статьями.

Отметим еще один факт, подкрепляющий высказанное предположение. Кэри всегда жил и печатался в Филадельфии. Если те две статьи, о которых в своем письме сочувственно упоминает Герцен, действительно принадлежали Кэри, то они, по всей вероятности, появились в каких-либо филадельфийских изданиях.

В этой связи интересно, что статья Герцена «Америка и Сибирь» начинается цитатой из посвященной русско-американским отношениям статьи «Наш восточный сосед», напечатанной в филадельфийской газете «Daily Evening Bulletin» (8 октября 1858 г.).

В статье Герцена «Prolegomena», написанной в 1867 г., находим еще одно упоминание о Кэри, опять в связи с проблемой самоуправления русской общины. «Первобытный принцип *самоуправления*...»,— пишет Герцен и делает сноску: «Так хорошо оцененный вестфальским бароном Гакстгаузеном и американским социологом Кэри» (XX, 83).

Кэри — буржуазный социолог, проповедовавший «единство интересов» предпринимателей и рабочих. Одна из основных его работ так и озаглавлена — «The harmony of Interest» (1852).

Маркс и Энгельс с уничтожающим сарказмом отзывались об экономических взглядах Кэри; Энгельс — особенно в «Анти-Дюринге», поскольку Дюринг был прямым последователем Кэри. Надо полагать, что Герцен не вдавался в сущность экономических теорий Кэри. Герцена пятидесятых годов ввело в заблуждение то «сочувствие» угнетенным трудящимся массам, которое Кэри охотно высказывал в своих работах, а еще больше его взгляд на русскую общину как на «великую основу самоуправления».

Juillet 1858. Laurel House.
Putney

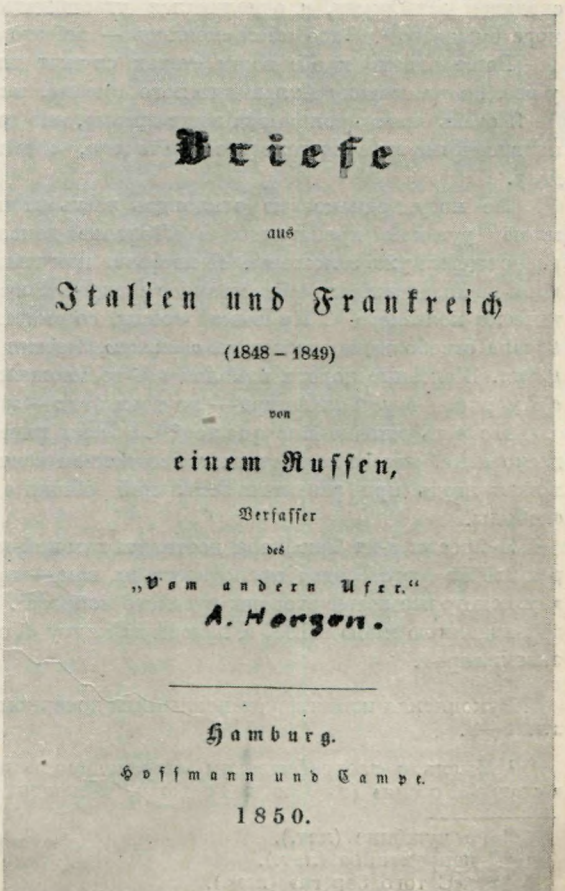
Monsieur,

Il y a bien longtemps, après l'avortement de la révolution de 1848, je ne cessais répéter que l'Occident de l'Europe, absorbé par ses querelles héréditaires, par la lutte des Montecchi et des Capuletti, et dépérissant sous le mal d'un antagonisme fièvreux entre un corps usé et un idéal impossible,—ne s'apercevait point de ce que l'histoire commence à déménager [1]. Je leur montrais, à ces aristocrates de la vieille souche, l'Amérique et la Russie se touchant par la nuque, et je me hasardais à dire que l'Océan pacifique était la Méditerranée de l'avenir [2]. On se moquait de moi — tout cela paraissait trop paradoxal.

Votre lettre et vos deux articles me sont une preuve que chez vous, de l'autre côté de l'Océan, on apprécie les choses d'une manière différente.

Je vous remercie beaucoup pour votre lettre; elle m'a fait un grand plaisir en me donnant un nouveau témoignage de la sympathie qu'on a pour notre travail en Amérique.

Il m'est impossible de ne pas décliner une partie des compliments que vous me faites. Le succès de la propagande Russe que j'ai organisée à Londres — est une preuve, que les éléments d'une régénération sociale sont tout prêts. Moi — je ne suis que leur organe — *in partibus*,— si je n'étais soutenu par l'opinion publique en Russie, je ne pourrais rien faire ⟨de⟩ pratiquement utile.— Par la guerre de Crimée, la mort de Nicolas et pardessus


Briefe
aus
Italien und Frankreich
(1848 – 1849)
von
einem Russen,
Verfasser
des
„Vom andern Ufer."
A. Herzen.
Hamburg.
Hoffmann und Campe.
1850.

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «ПИСЕМ ИЗ ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ», 1850 г.

Книга вышла в переводе на немецкий язык анонимно, но с указанием, что она написана автором «С того берега». На титульном листе воспроизводимого экземпляра имя Герцена вписано кем-то от руки

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

tout par le commencement de l'Emancipation des paysans *avec la terre* — la Russie est entrée dans une nouvelle phase de son développement.— Les chemins de fer changeront tous les rapports — et le contact de la Sibérie avec l'Amérique aux embouchures de l'Amour — tout cela est gros d'un avenir [3].

Mais il y a une condition sine qua non: la Russie ne fera rien par la voie du despotisme militaire, rien par la continuation du régime de Nicolas — elle ne peut progresser qu'en développant la Commune rurale et la liberté individuelle.

J'ai prié M-r Trübner de vous faire parvenir quelques unes de mes brochures sur la Russie;— permettez-moi de vous les offrir de tout mon coeur — lisez-les avec patience; elles vous montreront quelques côtés nouveaux de la question Russe [4]. Je voudrais bien vous offrir un livre allemand que j'ai publié en 1850: «Vom anderen Ufer», mais je ne possède pas une copie [5].

Перевод:

Июль 1858. Laurel House.
Putney

Милостивый государь,

Много лет назад, после неудачи революции 1848 г., я не переставал твердить, что Запад Европы, поглощенный своими спорами о наследственных правах, борьбой Монтекки и Капулетти и разрушаемый болезнью лихорадочного антагонизма между телесной хилостью и недосягаемым идеалом,— не замечает, что история начинает перемещаться [1]. Я указывал всей этой старой родовой знати, что Россия и Америка сходятся затылками, и осмеливался утверждать, что Тихий океан — Средиземное море будущего [2]. Надо мной смеялись — всё это казалось слишком парадоксальным.

Ваше письмо и обе ваши статьи служат для меня доказательством того, что у вас, по ту сторону Атлантического океана, иначе расценивают вещи.

Я очень благодарен вам за ваше письмо, оно доставило мне большое удовольствие, явившись новым свидетельством симпатии, с какой в Америке относятся к нашему делу.

Не могу, однако, не отклонить часть ваших похвал. Успех организованной мною русской пропаганды в Лондоне доказывает, что основы социального возрождения уже заложены. Я не более как глашатай этого *in partibus* *, и если бы меня не поддерживало общественное мнение в России, я не мог бы сделать ничего практически полезного. С Крымской войны, со смерти Николая I, в особенности же после начала освобождения крестьян *с землею*, Россия вступила в новую фазу своего развития. Железные дороги изменят все соотношения — и в соприкосновении Сибири с Америкой в устьях Амура — во всем этом — зародыш будущего [3].

Но есть условие sine qua non**. Россия ничего не достигнет, идя путем военного деспотизма, ничего не достигнет продлением режима Николая, прогресс для нее возможен лишь при развитии земельной общины и установлении индивидуальной свободы.

Я просил г-на Трюбнера доставить вам кой-какие из моих брошюр о России. Разрешите от всего сердца преподнести их вам — прочтите их терпеливо, они покажут вам некоторые новые стороны русского вопроса [4]. Мне очень хотелось бы преподнести вам изданную мною в 1850 г. немецкую книгу «Vom anderen Ufer» ***, но у меня нет экземпляра [5].

Рукописная копия неустановленным почерком. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 201, лл. 1—2.

[1] Мысль о географическом «перемещении» истории Герцен высказал в 1849 г., в статье «Россия» (письмо к Гервегу), помещенной в виде приложения к немецкому

* на чужбине (лат.).
** непременное (лат.).
*** «С того берега» (нем.).

изданию «С того берега» (см. V, 330). В 1851 г. в работе «О развитии революционных идей в России» Герцен поместил большое извлечение из статьи «Россия», в том числе и абзац, посвященный России и Америке. Вероятно, имея в виду это высказывание, Герцен в статье 1858 г. «Америка и Сибирь» (она написана через несколько месяцев после публикуемого нами письма) подчеркнул, что скоро исполнится десять лет с тех пор как он высказал «мысль о взаимном отношении» России и Америки. В той же статье, как и в публикуемом нами письме, Герцен подчеркивает, что он развивал эту свою концепцию «много раз и еще несколько месяцев тому назад». Далее приводится соответствующая цитата из предисловия к русскому переводу французской брошюры Герцена «Франция или Англия?», направленной против реакционного режима Наполеона III. Предисловие это датировано «3 сентября 1858 г. Путней» (IX, 198—203).

[2] В 1854 г. в первом письме к В. Линтону из цикла «Старый мир и Россия» Герцен писал о России и Америке: «Взгляните, например, на эти две огромные равнины, сходящиеся затылками, обогнув Европу» (VIII, 30). В цитированной уже статье «Америка и Сибирь» Герцен говорит, что Россия и Америка «доходят ⟨...⟩ до берегов Тихого океана, этого „Средиземного моря будущего" (как мы раз назвали его и потом с радостью видели, что американские журналы много раз повторяли это)» (IX, 401). В 1866 г., в «Колоколе» (л. 298) Герцен поместил заметку «Америка и Россия». «Все русские и не русские газеты полны вестями о сближении Северо-Американского союзничества с Россией. Западные публицисты сердятся, хмурятся (и есть отчего), русские перепечатывают на десять ладов, с разными вариациями, то, что нами было сказано немного попрежде, а именно *восемь лет* тому назад. Вот что напечатано в нашей передовой статье 1 декабря 1858 г. в „Колоколе"». Далее следует выдержка из статьи «Америка и Сибирь». Эпиграфом к заметке «Америка и Россия» поставлены слова: «Тихий океан— Средиземное море будущего» (XIX, 62).

[3] Генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев (впоследствии получил титул графа Амурского) в пятидесятых годах организовал экспедиции для исследования устья Амура и энергично заселял берега Амура русскими поселенцами. Герцен с живым интересом и сочувствием присматривался к этому процессу закрепления России на тихоокеанском побережье. В 1857 г., в статье «Письмо к Джузеппе Маццини о современном положении России» Герцен утверждает, что заселение русскими «устьев Амура является одним из самых крупных шагов цивилизации. Какое упрямство, какая недобросовестность может отрицать это?» (VIII, 411). В этой связи Герцен опять ставит вопрос о русско-американском сближении, в частности о расширении торговых связей с Соединенными Штатами. В 1858 г. заключение Айгунского договора, юридически оформлявшего выход русских к Тихому океану в районе Амура, вызвало, понятно, отклики в Америке и Западной Европе. Статью «Америка и Сибирь» Герцен начинает цитатой из американского журнала, в которой имеется следующее высказывание: «Трактат, заключенный Муравьевым, со временем будет иметь мировое значение ⟨...⟩ Трактату этому ⟨...⟩ мы имеем столько же причин радоваться, как жители Иркутска и всей Сибири» (IX, 399). В конце своей статьи Герцен возвращается к той же теме: «Имя Муравьева, Путятина и их сотоварищей внесено в историю, они вбили сваи для длинного моста... через целый океан» (IX, 404). Адмирал Е. В. Путятин в том же 1858 г. заключил с китайским правительством Тяньцзинский договор, по которому русские приобретали право свободного посещения портов Китая для производства морской торговли.

Впоследствии Герцен высказывал и резко отрицательные суждения о Муравьеве-Амурском, но все же до конца не понял деятельности и личности этого фрондирующего царского сатрапа, склонного «на всякий случай» заигрывать с революционными элементами в стране. Толчком к критической переоценке послужила темная история дуэли Беклемишева (Муравьев ему покровительствовал) с Неклюдовым, в особенности связанная с этим делом высылка Петрашевского из Иркутска в Минусинский округ. Этому делу посвящены статьи: «Убийство Неклюдова в Иркутске» («Под суд», л. 2, 15 ноября 1859 г.), «Дуэль в Иркутске» («Колокол», л. 67, от 1 апреля 1860 г.) и «Тиранство сибирского Муравьева» («Колокол», л. 82, от 1 октября 1860 г.).

[4] В течение многих лет Герцен пользовался издательским и торговым аппаратом лондонского книгопродавца Н. Трюбнера. «Американская и континентальная литературная агенция» — так называлось книжное дело Трюбнера. В рекламных объявлениях, которые Трюбнер печатал на обложках своих изданий, между прочим сообщалось: «Агенция Трюбнера и К-нии в постоянном сношении с Америкой и предлагает свои услуги для доставки книг (старых и новых), журналов, карт, физических снарядов». Книжная торговля Трюбнера в Лондоне указана и в упомянутом уже нами издании книги Кэри — «Principles of social science». Во всяком случае, из письма Герцена явствует, что имя Трюбнера известно его адресату. Под брошюрами о России, которые Трюбнер должен был доставить этому адресату, Герцен, очевидно, разумеет в первую очередь: «О развитии революционных идей в России» (1851), «Старый мир и Россия» (1854), «Русский народ и социализм» (1855). Издания всех этих произведений имелись на иностранных языках.

[5] Речь идет о первом, немецком, издании «С того берега», за которым последовали два русских издания — 1855 и 1858 гг.

Б. Н. ЧИЧЕРИНУ

Публикация Л. Гинзбург

Публикуемый нами незаконченный черновик письма Герцена к Борису Николаевичу *Чичерину* (1828—1904) — одно из звеньев знаменитой полемики, происходившей между ними в 1858 г. и явившейся ярким эпизодом в истории борьбы русских революционных демократов с либералами. Умеренный либерал, сторонник некоторых буржуазных реформ, осуществляемых монархической властью при поддержке привилегированных классов, Чичерин являлся одним из наиболее упорных и последовательных противников социализма, демократии и революционного движения.

Еще в 1855 г. Чичерин и друг его Кавелин, посылая Герцену материалы для опубликования в «Голосах из России», сочли нужным сопроводить их «Письмом к издателю», в котором отмежевывались от революционных установок Герцена. «Мы готовы столпиться около всякого сколько-нибудь *либерального* правительства и поддерживать его всеми силами, ибо твердо убеждены, что только через правительство у нас можно действовать и достигнуть каких-нибудь результатов <...> Что же может быть общего между вами и нами? <...> К нам революционные теории не только не приложимы: они противны всем нашим убеждениям и возмущают в нас нравственное чувство... Ваши революционные теории никогда не найдут у нас отзыва, и ваше кровавое знамя, развевающееся над ораторскою трибуною, возбуждает в нас лишь негодование и отвращение» (VIII, 323). Под этим письмом Чичерина и Кавелина стояла характерная подпись: «Русский либерал».

О своих встречах и спорах с Чичериным в Лондоне в сентябре 1858 г. Герцен рассказал в «Былом и думах», в главе «Н. Х. Кетчер» (XIII, 227). Там же приведено письмо, написанное им вскоре после отъезда Чичерина из Лондона (XIII, 229). Чичерин в «Воспоминаниях» признается, что главной целью его поездки в Лондон было свидание с Герценом («Воспоминания Б. Н. Чичерина. Путешествие за границу». М., 1932, стр. 47—68). «Мне *хотелось основательно с ним переговорить о современном положении* и посмотреть, нельзя ли направить его в смысле полезном для России» (стр. 49). Попытка Чичерина «направить» Герцена по желательному для либералов пути потерпела неудачу.

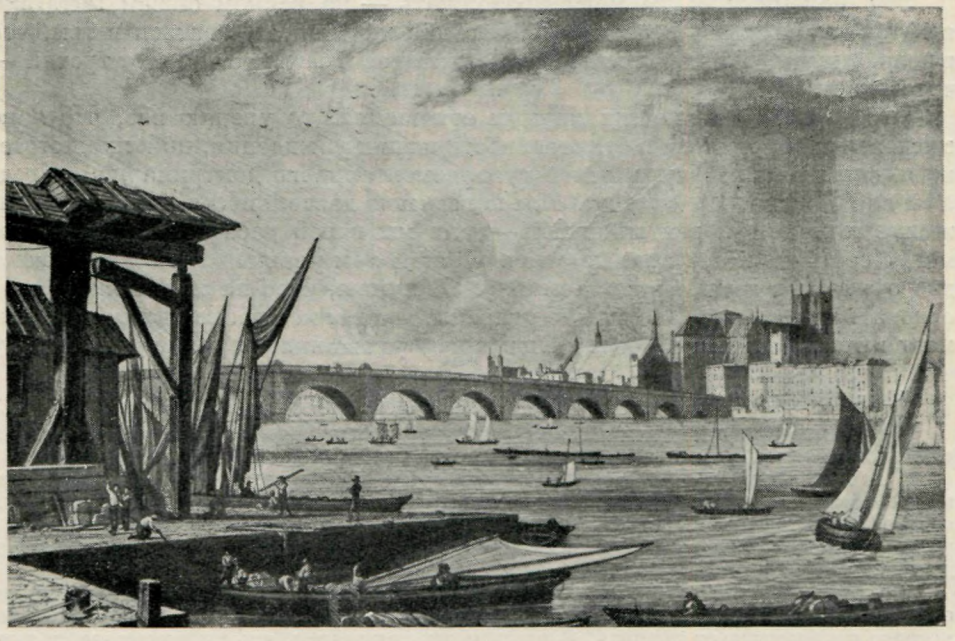
11 октября Чичерин написал Герцену из Парижа письмо, в котором советовал ему «умерить тон» и возложить надежды на Александра II. Это письмо Чичерина (вместе с тремя другими его письмами к Герцену) напечатано М. Драгомановым в «Вольном слове», 1883, № 61—62 (отрывки из них см. IX, 404—424).

На письмо от 11 октября и на лондонские нападки Чичерина Герцен откликнулся в «Колоколе» заметкой «Нас упрекают» (л. 27, от 1 ноября 1858 г.), в которой, не называя Чичерина, охарактеризовал его как «либерального консерватора» и узкого доктринера. На это Чичерин ответил развернутой декларацией официального либерализма, направленной против демократии, против революционной идеологии и тактики. Восхищаясь либеральными письмами Герцена к Александру II и проч., Чичерин в то же время с ненавистью говорит о революционных и демократических тенденциях «Колокола». Эта статья была отправлена Герцену с сопроводительным письмом от 11 ноября 1858 г. «Мне, признаюсь, хотелось заявить публично,— писал Чичерин,— что по крайней мере часть русской литературы не сочувствует вашему направлению».

Статью Чичерина (она подписана инициалом Ч) под заглавием «Обвинительный акт» Герцен напечатал в «Колоколе» (л. 29, от 1 декабря 1858 г.), предпослав ей вступление, в котором заявлял: «„Обвинительное письмо“, печатаемое нами сегодня, существенно отличается от прошлых писем против „Колокола“. В тех был дружеский упрек и тот дружеский гнев, в негодовании которого звучала знакомо и приветливо родная струна. Ничего подобного в этом письме. Те были писаны с *нашей стороны*, оттого в самых несогласиях и упреках было сочувствие. Это письмо писано с совершенно *противной* точки зрения, т. е. с точки зрения административного прогресса, гувернементального доктринаризма» (IX, 405).

Свое письмо к Герцену от 11 ноября Чичерин заканчивал словами: «Я желал бы, кроме печатного ответа, который, вероятно, не замедлит, получить от вас слова два письменно с извещением, что статья до вас дошла». Следующее же письмо Чичерина к Герцену (Ницца, 20 ноября 1858 г.) начинается фразой: «Почтеннейший Александр Иванович, вчера только я приехал в Ниццу и получил ваше письмо». Письмо Герцена к Чичерину до сих пор не было известно. Обнаруженный в «пражской коллекции» черновик восполняет этот существенный пробел.

В публикуемом письме Герцена и ответном письме Чичерина отчетливо отражено разделение русского общества на две враждующие «армии». Чичерин формулирует это размежевание, как «различие между либерализмом и радикализмом». На самом деле, происходило размежевание между либералами и революционными демократами. При этом Чичерин как представитель самого правого



ЛОНДОНСКИЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ТЕМЗУ
Литография, 1840-е гг.
Литературный музей, Москва

официального течения в либерализме пятидесятых годов (салон в. к. Елены Павловны и т. п.) несколько предвосхитил окончательное размежевание. С Чичериным солидаризировались бывшие друзья Герцена — Кетчер, Корш, но другие видные либералы на первых порах отказали ему в своей поддержке. Кавелин прислал Чичерину протест против его «Обвинительного акта» и коллективную записку, подписанную Тургеневым, Анненковым, Бабстом, Ник. Тютчевым, А. Галаховым, с выражением сочувствия кавелинскому протесту. Об этом эпизоде идет речь в последнем письме Чичерина к Герцену от 13 (25) февраля 1859 г. из Ниццы (IX, 423—424).

Не следует, однако, придавать слишком серьезное значение разногласиям в лагере либералов. Дело сводилось, в сущности, к разному пониманию позиции Герцена. Кавелин упрекает Чичерина в том, что тот усмотрел в деятельности Герцена революционные тенденции и всячески старается причислить Герцена к либеральным сторонникам мирных реформ. Таким образом, Чичерин определил в 1858 г. политическую позицию Герцена вернее, чем выступившие на «защиту» Герцена Кавелин, Тургенев, Анненков и другие. Как указывает Ленин, у Герцена были либеральные колебания,

либеральные ошибки, но по существу своего социально-политического воззрения и своей деятельности он во все времена был не либералом, а демократом, принадлежал к революционному лагерю.

15 ноября ⟨1858 г.⟩. Putney

Статейка ваша будет напечатана 1 дек⟨абря⟩[1]. О фонде* я готов был спорить и даже писал вам об этом, но я думал, что два воззрения могут высказаться без озлобления и без личностей (неужели что-нибудь подобное вы нашли в моих строках?). Я скажу откровенно, что мне было больно видеть тон статьи и еще больше тон приложенного к ней письма. Почему вы меня убеждаете поместить статью, т. е. почему вы сомневаетесь, что я ее помещу,— разве не видели прежде в «Колоколе» писем против его направления?[2]

Эту полемику я не могу продолжать — на всяком общем terrain** я готов высказывать свое мнение, но как же мне защищаться в том, что я делаю «пуфы» и «величаюсь». Это должен разобрать третий; этот третий — читатель.

Что касается до наших личных отношений, то уверяю вас, что я не сомневался никогда ни в откровенности ваших убеждений, ни в их чистоте, но я считаю ваше направление гувернементального доктринаризма вредным для России. Вы считаете такою всю мою деятельность. Мы оба люди, живущие в нашей деятельности, — если мы в ней расходимся, в чем же могут состоять наши личные отношения? В том уважении, которое имеют два офицера в двух разных армиях[3]. Не думаю, чтоб на этом можно было основать что-нибудь. Но будьте уверены, что полное разномыслие не отнимает ничего от признания и душев⟨ного⟩ уважения, и окончу я ⟨...⟩***

Черновой автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134.

[1] Как указано во вступительной заметке, статью Чичерина Герцен напечатал в «Колоколе» (л. 29, от 1 декабря 1858 г.) под заглавием «Обвинительный акт».

[2] Герцен подразумевает такие материалы, как, например, напечатанное в «Колоколе» «Возражение на статью „Колокола“ (по вопросу об экономических условиях освобождения крестьян)» (л. 18, от 1 июля 1858 г.) или письмо, в котором Герцена резко упрекали за уступки правительству (лл. 23—24, от 15 сентября 1858 г.) и другие.

[3] Приведем ту часть письма Чичерина от 30 ноября, которая является прямым ответом на публикуемое письмо Герцена: «Между нами вышло одно недоразумение, которое я не могу не отстранить. Я никогда не сомневался, что вы поместите статью. То, что я писал к вам по этому поводу, относится не к *вам*, а ко *мне*. *Мне* неприятно было послать к вам статью, направленную *против* вас, и поэтому только я охотно поместил бы ее в другом журнале, если бы он существовал. Вы же, я уверен, напечатаете всё. Сожалею также о слове „пуф“, которое вас оскорбило ⟨в „Обвинительном акте“ Чичерин писал: „Звонят в набат, а повод к трезвону не только давно забыт, но, оказывается, что это — просто пуф, подхваченный легковерием“.— *Л. Г.*⟩. Опять же оно относится не к вам. Я хотел сказать, что сочиняются они в России, а до вас только доходят, а вы не имеете возможности их проверить ⟨...⟩ Если, паче чаяния, лист 1 декабря опоздает, прошу вас убедительно заменить это несчастное и неудачное слово выражением: „долетевшая до вас сплетня, которую вы, разумеется, не имели возможности проверить“ ⟨Герцен этим предложением не воспользовался.— *Л. Г.*⟩ ⟨...⟩ Наконец, в заключение, вы правы: мы — офицеры, стоящие в различных армиях. Только вот что здесь любопытно: знамя у обеих армий одно — свобода, цель одна — освобождение крестьян с землею, свобода совести, свобода от цензуры, всеобщая гласность, независимость общественного мнения, гарантии личности и т. д. Стало быть, почва, на которой мы стоим, одна, а между тем мы глубоко разделены и разделены тактикой. Каждая армия считает маневры другой вредными для общего дела. Тут что-нибудь да не так, а в чем дело — это окажется, вероятно, впоследствии. Может быть, тут скрывается различие между либерализмом и радикализмом, может быть, и что-нибудь другое» (IX, 416—417).

---

* существе дела (франц. «fond» — основа, сущность).

** почва (франц.).

*** *На этом рукопись обрывается.*

ФЕРЕНЦУ ПУЛЬСКОМУ

Публикация Б. Козьмина

Публикуемое письмо — единственное известное нам письмо Герцена к венгерскому литератору и политическому деятелю Ференцу *Пульскому* (1814—1897). Пульский принимал участие в венгерской революции 1848—1849 гг.; после того как войсками Николая I революция была подавлена, Пульский несколько лет прожил на положении политического эмигранта в Англии, являясь одним из ближайших сотрудников Кошута. В 1866 г. Пульский возвратился в Венгрию. Здесь он занялся археологией и писанием своих мемуаров. В 1879 г. его мемуары вышли в свет под названием «Eletem es levrom», а в 1880—1883 гг. они были напечатаны на немецком языке — «Meine Zeit und mein Leben», т. I—IV, Pressburg — Leipzig.

Герцен глубоко сочувствовал венгерским эмигрантам и делу, за которое они боролись. Приехав в 1852 г. в Лондон, он счел необходимым познакомиться с вождем венгерской эмиграции Лайошем Кошутом (XIV, 178—185), а через него и со многими другими эмигрантами-венграми.

Венгерской революции Герцен придавал чрезвычайно большое значение. Если бы первоначальные успехи венгерской революционной армии были поддержаны революционным движением в других странах, они могли бы, полагал Герцен, сыграть роль перелома в общем ходе исторических событий в Европе. «Был миг, в который можно было надеяться,— писал Герцен в «Былом и думах»,— этот миг пропустила Польша, пропустила вся Западная Европа, и Паскевич донес Николаю, *что Венгрия у его ног*. С падением Венгрии ждать было нечего...» (XIV, 281).

Мысли Герцена о венгерской революции в значительной степени совпадали со взглядами Маркса и Энгельса на венгерские события 1848—1849 гг. Энгельс указывал, что «победа венгерцев означала бы новый взрыв европейской революции» и что, понимая это, Николай I «приказал своим армиям вторгнуться в Венгрию, подавил превосходными силами венгерские войска и тем закрепил поражение европейской революции» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 27).

С негодованием относился Герцен к венгерскому главнокомандующему Гёргею — виновнику предательской сдачи венгерской армии в плен. Он скорбел о «Венгрии, проданной врагу полководцем, изменившим отечеству» (V, 484). В то же время Герцен высоко ценил Кошута, хотя и вполне сознавал его слабости. Он уважал в нем человека, сохранившего верность своему делу и не шедшего ни на какие компромиссы ни с австрийским правительством, ни с Николаем I.

Герцен с большим сочувствием следил за судьбой венгерского народа. Как известно, он был убежденным и последовательным сторонником принципа самоопределения народов. За Венгрией (как за Польшей, как за Италией, как и за всякой другой страной) Герцен признавал «*неотъемлемое, полное* право на государственное существование» (IX, 463), на отделение от Австрии, на образование независимого государства. С другой стороны, сочувствие Герцена к венгерскому народу определялось отношением его к Австрийской империи. Австрию, говорил Герцен, «я ненавижу как человек, как славянин, как друг Италии» (VIII, 545). Он называл это государство «*бастилией народов*» (X, 4). «Австрия,— писал Герцен незадолго перед франко-австрийской войной 1859 г.,— не народ. Австрия — полицейская мера, сводная администрация, она ни к чему живому не примыкает, не покоится на себе; без частей ее нет, это — величайший исторический призрак, который когда-либо существовал. Тут всё — ложь. Римская империя—в Германии*, Германская империя—состоящая преимущественно из славян, итальянцев, мадьяр‹...›, связь нескольких народностей, основанная на перекрестном отвращении их друг от друга. Тут нет ничего органического...». Герцен выражал уверенность, что «империя австрийская не имеет никакой будущности;

---

* До 1806 г. Австрия именовалась Священной римской империей германской нации.— *Ред.*

когда ее *отменят*, тогда только люди настоящим образом удивятся, как могла существовать такая нелепость, сшитая из лоскутков конгрессами и упроченная глубокими дипломатическими соображениями Империя...» (IX,464). С негодованием отзывался Герцен о намечавшемся сближении царской России с Австрией. В 1859 г. он писал: «Союз с Австрией значит союз против славян. Это был бы смертный грех, несмываемое пятно» (X, 230). «Неужели это правда, что кайзер петербургский сближается с кайзером австрийским?.. Неужели мы доживем〈...〉до этого предела и до этой бесконечности позора?»,— гневно спрашивал Герцен в 1860 г., когда вновь стали циркулировать слухи о русско-австрийском сближении (X, 392). «...Гибель Австрии,— писал Герцен,— единственное условие жизни народов, скованных ею воедино» (IX, 463). Вот почему, отнюдь не веря, что Наполеон III искренне желает добиться освобождения Ломбардии из-под власти Австрии, Герцен, тем не менее (несмотря на свою ненависть ко всяким войнам), готов был приветствовать австро-итало-французскую войну 1859 г. Узнав, что она началась, он писал Мальвиде Мейзенбуг: «Австрия должна погибнуть, Франция должна в освободительной войне вновь познать свободу или же окончательно стать жертвою грубого деспотизма. Настоящая война против Австрии будет в высшей степени популярна в России...» (IX, 555). Герцен был убежден, что война приведет к гибели ненавистной ему Австрии. В письме к сыну он признавался: «Войны я не желал, но война *есть*, и Австрия может от нее погибнуть, и через то не только Италия освободится, но — Венгрия и славяне. Я становлюсь со стороны войны» (IX, 559). «...Я за войну и против Австрии...»,— повторял Герцен в письме к М. К. Рейхель (IX, 579). «...Надобно пользоваться этой войной для разрушения Австрии, не делаясь бонапартистом»,—пояснял Герцен в письме к сыну (IX, 582). Мысли по поводу австро-итало-французской войны Герцен изложил подробно в статье «Война», напечатанной в 44 листе «Колокола».

В этой статье он указывал, что не рад войне. «Разве,— писал Герцен, — есть люди, настолько нищие пониманием, что и взаправду думают, что Наполеон ночи не спит, а все кручинится о том, что Италия не свободна?» И все-таки начатая Наполеоном война, по мысли Герцена, полезна народам, порабощенным Австрией, подобно тому, как Крымская война, имевшая целью повредить России, «только ей и принесла пользу», ибо «осадой Севастополя началось освобождение крестьян, призыв к оружию был призывом к мысли...». Надеясь на предстоящую гибель Австрии, Герцен, тем не менее, допускал возможность и другого исхода: «...старая дипломатия оставит подшибленного коршуна, изгнанного из Ломбардии, заедать чудные земли от Адриатики до Дуная». Если произойдет именно это, если кровь прольется напрасно, «...Европа,— по мнению Герцена,— снова, как в 1848 году, даст доказательство своей неспособности вполне совершить что-нибудь» (X, 1—4). В следующем листе «Колокола» Герцен вновь возвратился к войне. В статье «На углу» он пояснял свое отношение к бонапартовской Франции. Отвечая своему воображаемому собеседнику, утверждавшему, что быть *против* Австрии значит быть за Францию, Герцен говорил: «Вы забыли вашу математику и аналитическую геометрию. Я здесь стою по ту сторону координат, у меня все отрицательные величины, я могу быть *противее* одному, чем другому,— вот и всё» (X, 39). Герцен был «противее» Австрии, чем Франции Наполеона III.

Как известно, австро-итало-французская война оказалась весьма непродолжительной. Разбив австрийскую армию при Сольферино, Наполеон III поспешил заключить с побежденным противником мир. В 55 листе «Колокола» Герцен напечатал статью «Мир», в которой ему пришлось сознаться в своей ошибке. «При начале войны нам казалось,— писал Герцен,— что Наполеон хочет〈...〉революционный вопрос *понизить* в вопрос народностей и распустить его в нем. Мы думали, что он выгонит австрийцев из Италии и задавит ее потом своим деспотическим покровительством. Такой удар — чего нет другого — оканчивал чужеядную австрийскую империю, призывал к жизни славян и мадьяр». Однако эти надежды не осуществились: «Наполеон только унизил, опозорил Австрию,— потом спас ее!» (X, 68—69).

Герцен не дожил до того дня, когда Австрийская империя распалась и находившиеся под ее властью славяне, венгры и итальянцы добились освобождения. Он с огорчением наблюдал, как австрийскому правительству удалось договориться

с венгерской буржуазией, подкупив ее конституционными «уступками» (1867). Превращение Австрии в двуединую Австро-Венгрию не могло, конечно, обмануть Герцена, которому было ясно, что от этой реформы жизнь венгерского трудового народа и других подвластных Австрии народов не облегчилась.

12 mai ⟨1859⟩[1]
Park Home Fulham

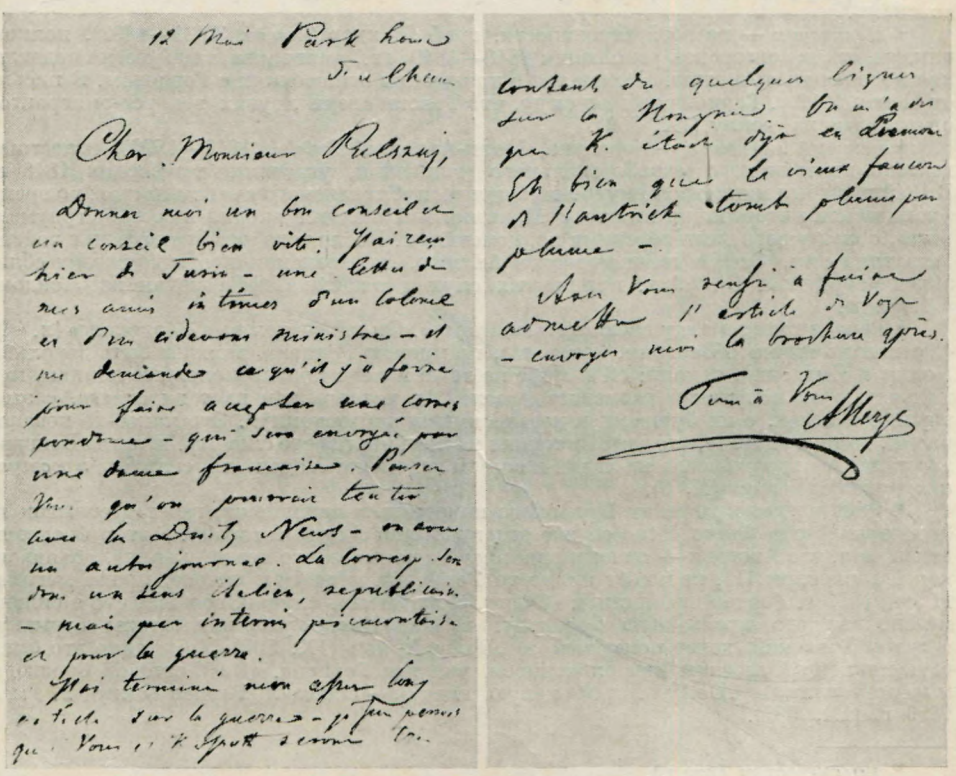
Cher Monsieur Pulszkj,

Donnez-moi un bon conseil et un conseil bien vite. J'ai reçu hier de Turin une lettre de mes amis intimes [2], d'un colonel[3] et d'un ci-devant ministre [4]— il⟨s⟩ me demande⟨nt⟩ ce qu'il y a à faire pour faire accepter une correspondance — qui sera envoyée par une dame française. Pensez-vous qu'on pourrait tenter avec la «Daily News» — ou avec un autre journal? La corresp⟨ondance⟩ sera dans un sens italien, républicain — mais per interni piémontoise et pour la guerre.

J'ai terminé mon assez long article sur la guerre [5];— je suis persuadé que vous et Kossutt seront très contents de quelques lignes sur la Hongrie. On m'a dit, ⟨que⟩ K⟨ossutt⟩ était déjà en Piemont. Eh bien que le vieux faucon de l'Autriche tombe plume par plume.

Avez-vous réussi à faire admettre l'article de Vogt? — envoyez-moi la brochure après [6].

Tout à Vous
A. Herzen



АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЕРЦЕНА К ФЕРЕНЦУ ПУЛЬСКОМУ ОТ 12 МАЯ 1859 г.
С фотографии (подлинник в Будапеште)
Научная библиотека Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Перевод:

12 мая <1859 г.>[1]
Park Home Fulham

Дорогой господин Пульский,

Дайте мне добрый совет и поскорее. Я получил вчера из Турина письмо от моих близких друзей [2], полковника [3] и бывшего министра[4]; они спрашивают меня, что следует сделать, чтобы корреспонденция, которая будет послана одной французской дамой, была принята. Как вы думаете, не попытаться ли в «Daily News» или в какой-нибудь другой газете? Корреспонденция будет в итальянском, республиканском духе, но per interni * пьемонтской и за войну.

Я закончил свою довольно длинную статью о войне [5]; уверен, что вы и Кошут будете очень довольны несколькими строками, касающимися Венгрии. Мне сказали, что К<ошут> уже в Пьемонте. Что ж, пусть старый австрийский сокол теряет перо за пером.

Удалось ли вам устроить статью Фогта?— пришлите мне потом брошюру[6].

Весь ваш А. Герцен

Печатается по фотокопии, присланной из Будапешта в дар Научной библиотеке им. А. М. Горького при Московском гос. университете им. М. В. Ломоносова. Текст сообщен А. Берман.

[1] Год в подлиннике не обозначен. Из содержания письма ясно, что написано оно во время австро-итало-французской войны 1859 года.

[2] С первыми слухами о войне венгерские и итальянские эмигранты поспешили из Англии в Италию, главным образом в Турин (Пьемонт). Здесь формировались итальянские и, под руководством Кошута, венгерские отряды для борьбы с австрийскими войсками.

[3] *Полковник* — по всей вероятности, граф Шандор *Телеки* (1821—1892), полковник, участник венгерской революции 1848—1849 гг., эмигрировавший после подавления революции в Англию. Находился в дружеских отношениях с Герценом. В письме от 11 мая 1859 г. Герцен сообщал сыну, что Телеки среди других венгров-эмигрантов отправился на войну (IX, 559).

[4] *Бывший министр* — вероятно, Марк-Аврелий *Саффи* (1819—1890), известный деятель итальянского освободительного движения, участник революции 1848 г. В 1849 г. он был министром внутренних дел республиканского правительства; во время французской интервенции вместе с Мадцини и Армелини входил в состав «триумвирата», обладавшего диктаторскими полномочиями. После того как французские войска захватили Рим, Саффи эмигрировал в Англию, где познакомился и дружески сблизился с Герценом. В 1859 г. при первых слухах о войне Саффи уехал из Лондона в Италию.

[5] Герцен имеет в виду свою статью «Война». Он напечатал ее в «Колоколе» (л. 44). «Несколько строк» о Венгрии, которыми, по мнению Герцена, должны быть довольны Кошут и Пульский, таковы: «Я в мире не знаю ничего противоположнее немцам, как мадьяры с их полудикой разметистой волей, к которой так идет их отвага, с этой жизнью в лесах, с их бурными и независимыми комитатами**. Это какое-то кованое племя, до того упругое, что сам Меттерних не мог никогда его сломить. И когда Венгрия восстала, Австрия дышала на ладан и совсем перестала бы дышать, если б не *преступная* рука Николая» (X, 6).

[6] Речь идет о намерении Пульского поместить в английских газетах отрывок из брошюры Карла Фогта «Studien zur gegenwärtigen Lage Europa's». Автор брошюры доказывал, что Австрия — опаснейший враг Германии и что поэтому война, объявленная Наполеоном III, не может принести Германии и немцам ничего, кроме выгоды. 11 мая 1859 г. Герцен писал сыну: «Фогту, если имеешь случай, сообщи, что я сильно муссировал его прекрасную брошюру: в Нью-Йорке уже напечатаны отрывки, а здесь Пульский хочет поместить в „Daily News“» (IX, 560). Намерение это было осуществлено Пульским при ближайшем участии Герцена. «Из Фогтовой брошюры мы поместили в „Daily News“ целую главу»,— сообщал Герцен сыну 27 мая 1859 г. (IX, 582).

---

* по существу (итал.).

** *Комитаты* (в издании Лемке ошибка или опечатка — «Комитеты») — административно-территориальная единица в Венгрии. В период позднего феодализма комитаты являлись центрами сопротивления, которое постоянно оказывало среднее и мелкое дворянство чужеземным королям и венгерским магнатам.

Г. Я. БУДКОВСКОМУ

Публикация В. Кулешова

Печатаемое письмо Герцена адресовано, как это явствует из имеющейся на подлиннике надписи, художнику-академику Густаву Яковлевичу *Будковскому* (1813 — 1884).

2 ноября 1859 г. проживавшие в Париже по командировке Российской академии художеств художники, в их числе и Будковский, письменно обратились к русскому послу во Франции гр. П. Д. Киселеву. Письмо содержало протест против «оскорбительного и неприличного» шпионского наблюдения, которому стали подвергаться художники со стороны некоего прибывшего из Петербурга агента по фамилии Васильчиков. Художники писали послу: «... мы долгом поставляем... довести до сведения вашего, что господин Васильчиков самовольно, без позволения нашего и даже в отсутствии некоторых из нас, посещал наши квартиры, осматривал наши произведения и осведомлялся об образе жизни и средствах наших у привратников». Письмо подписали академики Алексей Боголюбов, Штром и Будковский, классные художники Чернышев, Бейдеман, Щедрин, Кольман, Брюллов, Бучеров, Васильев, барон Клодт, Лагорио.

Письмо носило конфиденциальный характер и не предназначалось для печати. Оно появилось, тем не менее, в ближайшем же листе «Колокола», а именно — в листе 56, вышедшем в свет 15 ноября 1859 г. Публикация предварялась указанием Герцена на источник, из которого редакция получила документ: «Мы читали в одной парижской газете, что граф Киселев получил следующее письмо...», далее был помещен текст.

Какая «парижская газета» напечатала заявление художников Киселеву и откуда получила она этот документ, установить не удалось. На основании публикуемого письма к Будковскому можно предположить, что священник русского посольства в Париже И. Васильев (в письме — «поп»), являвшийся агентом III Отделения, пустил слух, что заявление художников сообщил «парижской газете» Герцен. При этом, видимо, были высказаны догадки, что текст письма был добыт Герценом при помощи его двоюродного брата С. Л. Львова-Львицкого — впоследствии изменившего написание своей фамилии на Левицкий. Благонадежный российский подданный, часто и подолгу живавший в Париже, Левицкий был вхож в посольство и близко общался с художниками (см. примеч. к публикуемому письму).

«Клевете попа» художники не поверили. Но то обстоятельство, что Герцен счел необходимым энергично заверить своего явно взволнованного корреспондента о строгом соблюдении редакционной тайны в «Колоколе», позволяет думать, что, независимо от передачи письма неизвестным нам лицом в «парижскую газету», оно было сообщено самими художниками Герцену. Такой вывод находит себе косвенное подтверждение в том факте, что вслед за письмом художников Герцен напечатал в «Колоколе» (лист 60, от 1 января 1860 г.) еще одну корреспонденцию, также посвященную разоблачению полицейско-бюрократического произвола и шпионской слежки в Российской академии художеств. Корреспонденция, восходящая, повидимому, к тому же источнику, что и письмо к Киселеву, называлась «Академия художеств в осадном и иконописном положении» и заканчивалась словами о том, что в. кн. Мария Николаевна, в ту пору президент Академии (она упоминалась и в письме к Киселеву), «посылает Васильчикова подсматривать за художниками...» (X, 196).

23 дек⟨абря 1859 г.⟩
Park Home Fulham

Милостивый государь,

Спешу немедленно вас поблагодарить, что вы не поверили глупой клевете попа, о которой вы пишете. Хотя я и не поп, но предпринятое мною дело — дать голос русским страданиям — есть для меня священ-

нодейство. Я знаю мою обязанность относительно тех, кто посылает мне что б то ни было, а потому *ни одна строка, ни разу, никогда* не выходила из-под ключа, а чтоб не было много рукописей, я их жгу. Ни одно собственное имя не произносилось.

Мне кажется излишним поднимать это дело, вопреки желанию художников, — вы можете показать мое письмо.

Сверх всего остального я с г. Львицким никаких сношений не имею с 1846 года[1].

С истинным уважением
остаюсь
Ал. Герцен

Автограф (кроме надписи чужой рукой: «Академику Густаву Будковскому»). Рукописный отдел библиотеки Вильнюсского гос. университета.— Впервые по неисправной копии опубликовано М. К. Лемке (XXII, 124).

[1] Герцен ошибся в дате: разрыв отношений с Львицким произошел не в 1846 г., когда Львицкий находился за границей, а Герцен в России, а в 1848 или даже в 1849 г., когда оба они жили за границей и встречались друг с другом. Что отношения были прерваны и надолго, об этом свидетельствуют следующие слова Герцена из его письма к М. К. Рейхель от 13 августа 1861 г. (после того как Герцену было разрешено на несколько дней приехать в Париж к больной дочери): «Главное событие в Париже — замирение с Львицким» (XI, 170). Причина и обстоятельства, вызвавшие конфликт, документально не установлены. Скорее всего у Герцена возникли какие-то подозрения о связях Львицкого с III Отделением — подозрения неосновательные, вызванные, повидимому, лишь тем, что некоторые письма Львицкого 1848—1849 гг. попали в перлюстрацию и явились причиной начавшейся в III Отделении переписки о Герцене и наблюдения за ним (V, 260—261).

ЭМИЛИИ РИВ

Публикация Л. Ланского

Публикуемое письмо адресовано близкому другу и почитательнице Герцена, молодой англичанке Эмилии *Рив* (Reeve, ум. 1865). В письмах к друзьям Герцен неоднократно писал о «замечательном уме» и редком образовании Рив. Но что особенно Герцен ценил в Рив,— это сочувственное отношение ее к молодой, революционной России, которую она, в противоположность большинству западноевропейских буржуазных деятелей, сумела отделять от самодержавной, официально-бюрократической России. Герцен утверждал, имея в виду Рив: «...полное понимание нашего вопроса я встретил *один раз* — и это не в мужчине, а в женщине и притом в англичанке» (XVIII, 130). В замечательном письме к Рив, включенном Герценом в цикл «Писем к путешественнику», Герцен отметил, что Рив почувствовала «*живые всходы*» под русскими снегами и отгадала, «что мрачный и немой мир наш не *отходил*, а *нарождался*» (XVIII, 131). О своем неосуществленном намерении изложить в серии писем, адресованных Рив, свою точку зрения на отношения буржуазного Запада к России Герцен сообщил в пятом «Письме к путешественнику» (XVIII, 130).

Осенью 1860 г., отправляя младшую дочь Ольгу с М. Мейзенбуг в Париж, Герцен, по рекомендации последней, предложил Э. Рив занять место воспитательницы его старшей дочери — Таты. М. Мейзенбуг писала по этому поводу в своих воспоминаниях:

«Герцен дал слово отпустить меня с Ольгой на зиму в Париж <...>, но он хотел оставить старшую дочь дома и найти для нее подходящего человека. Я предложила для этой цели любимую мной и глубоко ценимую Герценом Эмилию Рив, которую считала вполне подходящей для того, чтобы руководить духовным развитием подрастающей девушки. Кроме того, я надеялась помочь Эмилии Рив выйти из ее тесного домашнего круга в умственно равный ей мир. Герцен радостно согласился на это,

я тотчас же написала об этом Эмилии, и она с восторгом приняла предложение» (М. Мейзенбуг. Воспоминания идеалистки. М.—Л., 1933, стр. 497. Ср. X, 362—363, 368, 411, 472).

Поручая Рив воспитание любимой старшей дочери, Герцен счел нужным изложить свои взгляды на цели, методы и средства воспитания и образования молодой девушки, присоединив к этому педагогическому «руководству» психологический анализ характера Таты. Так возникло публикуемое письмо — интересный документ для изучения педагогических воззрений Герцена.

Питая глубокое презрение к буржуазному, «мещанскому» идеалу воспитания, проникнутого пошлостью и лицемерием, Герцен стремился выработать для воспитания своих детей новые педагогические нормы, которые должны были способствовать их стройному и гармоническому развитию.

20 sept⟨embre⟩ 1860.
Eagle's Nest. ⟨Bournemouth.⟩

Chère mad⟨emoiselle⟩ Reeve,

Je prends la plume pour vous remercier cordialement pour votre bon *yes*, je l'apprécie de tout mon coeur. Maintenant je passe *in medias res* — comme disent les pédants.

Il faut mettre le toit sur l'éducation de Tata. C'est la période la plus difficile. Elle est très intelligente, ses dispositions sont plus artistiques qu'abstraites; elle aime beaucoup la lecture, elle a un caractère plutôt concentré et peu expansif, mais passionné. Je veux pousser pendant cet hiver fortement en avant ses études. Je les mets sous votre influence et direction. Vous dire que vous êtes une des intelligences les plus fortes en Europe — je le répète — en Europe — a seulement l'inconvénient de sonner comme un compliment. Donc, sans le dire, je suis sûr que vous pouvez faire beaucoup. Le problème que je vous présente — est l'application; — ⟨c'⟩est, dans le fond, ⟨ce⟩ que vous avez voulu.

Comment acquérir l'influence nécessaire sur une jeune personne sans prêcher, comment avoir l'autorité sans ordonner?

C'est dans ces choses-là que je constate mon peu de capacité, oui, j'y sens ma limite. En général, j'apporte trop de sceptisisme dans la question de l'éducation, et tout filtre à travers les doigts.

Trouvez cette diagonale des forces et tout ira bien. Théoriquement c'est assez facile de résoudre ma question — mais il s'agit de l'incarnation immédiate. Si vous trouvez ce levier, vous aurez une force morale immense sur Tata, et la seconde question qui se présentera alors est celle-ci: *ou la mener avec cette force.*

Je commence par dire *où ne pas la mener*. Elle a 15 ans. Ce que je voudrais, c'est d'éloigner d'elle, autant que faire se peut, l'idée banale du mariage, la préoccupation bourgeoise de sa position et avec cela tous les petits vices des *aspirantes* au mariage — la coquetterie, la rage des parures (une jeune fille doit se parer, — je parle ici de la maladie des chiffons).

Une des causes les plus efficaces qui m'ont décidé de ne pas vivre dans la même maison, ce sont les caravanes des Russes qui passent continuellement, — qui absorbent le temps — ne pouvant rien faire de bon pour Ta⟨ta⟩.

La séparer de notre manière de vivre c'est encore négatif. Il faut créer un intérêt ou le développer. La science ne fera pas grand'chose—quoiqu'elle soit indispensable. Mais les deux forces sur lesquelles je compte sont l'art (science et passion soudées) et deux-trois amies — jeunes filles. Elle a été trop peu dans la société des femmes.

Ayant ce but devant les yeux et autant que possible les moyens, on peut tout faire en s'emparant de la confiance, en développant une *foi* tant soit peu religieuse en moi et en vous.

Quant au problème du développement intellectuel, nous ne pouvons pas avoir deux opinions, et au reste je suis là pour nous concerter.

Encore une chose. Moi, je suis tout-à-fait pour les distractions esthétiques dans une certaine mesure. J'entends par là l'Opéra, le concert, les galleries de tableaux; le théâtre est trop mauvais.

V⟨otre⟩ H⟨e r z e n⟩

Перевод:

20 сент⟨ября⟩ 1860 г.
Eagle's Nest. ⟨Bournemouth.⟩

Дорогая мад⟨муазель⟩ Рив,

Берусь за перо, чтоб от души поблагодарить вас за ваше доброе *yes**; я всем сердцем ценю его. Теперь перехожу *in medias res* **, как говорят педанты.

Необходимо завершить образование Таты. Это самый трудный период. Она очень умна, у нее больше склонности к искусству, чем к отвлеченным материям. Она очень любит читать; характер у нее скорее сосредоточенный и малоэкспансивный, но страстный. Мне хочется в течение этой зимы сильно продвинуть вперед ее учение. Я передаю его под ваше влияние и руководство. Сказать, что вы — один из самых сильных умов в Европе, повторяю — в Европе, — неловко, только потому, что это звучит, как комплимент. Итак, не говоря этого, я уверен, что вы можете сделать многое. Задача, которую я ставлю перед вами, это практика, то есть, в сущности, то, чего вы желали.

Как приобрести необходимое влияние на молодую особу, без нравоучений, как добиться авторитета, без приказаний?

Именно в вещах подобного рода я признаю недостаточность своих способностей, да, здесь я чувствую, что мои возможности ограниченны. Вообще я вношу слишком много скептицизма в вопрос воспитания, и все просачивается сквозь пальцы.

Найдите эту диагональ сил, и все пойдет прекрасно. Теоретически довольно легко разрешить мой вопрос — но дело идет о непосредственном применении. Если вы найдете этот рычаг, вы приобретете огромное влияние на Тату, и второй вопрос, который тогда встанет,— *куда ее направить, пользуясь этим влиянием.*

Начинаю с того — *куда ее не надо направлять*. Ей 15 лет. Чего мне хотелось бы — это отдалить от нее, насколько это возможно, пошлую мысль о браке, мещанскую озабоченность своим положением и вместе с тем все грешки особ, *ищущих* замужества, — кокетство, страсть к нарядам (молодая девушка должна наряжаться — я говорю здесь о нездоровом увлечении тряпками).

Одна из наиболее существенных причин, побудивших меня не жить одним домом,— это постоянные караваны русских посетителей, которые поглощают время и не могут принести никакой пользы Тате.

Отделить ее от нашего образа жизни — это еще только негативное решение вопроса. Нужно пробудить или развить какой-либо интерес. Наука многого здесь не сделает, хотя без нее не обойдешься. Но две силы, на которые я рассчитываю,— это искусство (наука, спаянная со страстью) и две-три подруги — молодые девушки. Она слишком мало находилась в женском обществе.

Имея эту цель перед глазами и, насколько возможно, средства,— можно сделать все, заручившись доверием, развив *веру*,— несколько религиозного характера— в меня и вас.

Что касается вопроса об умственном развитии, в этом у нас не может быть разных мнений; к тому же я нахожусь здесь, и мы всегда сможем договориться.

Еще одно: я всецело за эстетические развлечения — в известной мере. Я имею в виду оперу, концерты, картинные галереи, театр же слишком плох.

В⟨аш⟩ Г⟨е р ц е н⟩

Автограф (черновой). ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134, лл. 12—13.

---

* да (англ.).
** к сути дела (лат.).

ИЗДАТЕЛЮ ГАЗЕТЫ «DAILY NEWS»

Публикация Л. Мандельштам

Публикуемое открытое письмо Герцена и Огарева в редакцию «Daily News», хотя и было своевременно напечатано в иностранных газетах, до сих пор оставалось вне поля зрения исследователей.

Письмо воспроизводится по тексту газетной вырезки, сохранившейся в «пражской коллекции». (Здесь же имеется еще одна вырезка: перевод публикуемого письма, напечатанный в немецкой газете; в какой именно — установить не удалось.) Ни номер газеты, ни время ее выхода на вырезке не проставлены. Отсутствие в библиотеках Москвы и Ленинграда комплектов «Daily News» не позволяет определить точную дату опубликования письма в газете, но когда оно было написано — можно установить без труда. Тем самым определяется и приблизительное время появления письма в «Daily News».

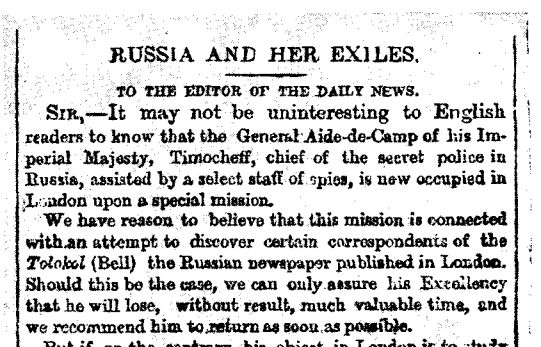
На письме стоит дата: «27 декабря». Год не указан, однако можно не сомневаться, что это 1860 год.

В письме идет речь о заграничной поездке управляющего III Отделением и шефа жандармов Тимашева. В период своего пребывания на этом посту— с 1856 по 1861 г.— Тимашев ездил за границу дважды: первый раз летом 1859 г., второй раз зимой 1860/61 г. Несомненно, что в письме Герцена и Огарева, датированном «27 декабря», речь идет о второй поездке. К этой второй поездке Тимашева относятся следующие упоминания в письмах и сочинениях Герцена.

18 декабря 1860 г. Герцен писал Долгорукову: «Тимашев прибыл в Лондон и ищет купить шпиона, чтоб узнать, кто нам пишет из России. Не напечатать ли это? Я, как узнаю подробнее, извещу через „Таймс"». Однако в постскриптуме Герцен вносит поправку: «Сейчас узнал, что его еще нет, но что ждут. Не знаете ли вы, в Париже ли он?» (X, 476).

24 декабря 1860 г., обращаясь к корреспондентам «Колокола» в России, Герцен следующими словами заключал свое предисловие ко второй книге «Исторического сборника Вольной русской типографии в Лондоне»: «Тимашев, как ни езди в Лондон и каких мошенников III Отделения ни посылай, *ничего не узнает*,— за это мы ручаемся» (XI, 19).

Наконец, в листе 89 «Колокола» от 1 января 1861 г. Герцен снова вернулся к заграничной поездке руководителя высшей политической полиции. Герцен писал: «Будущий граф и настоящий, но не бескорыстный защитник Главного общества железных



RUSSIA AND HER EXILES.

TO THE EDITOR OF THE DAILY NEWS.

SIR,—It may not be uninteresting to English readers to know that the General Aide-de-Camp of his Imperial Majesty, Timocheff, chief of the secret police in Russia, assisted by a select staff of spies, is now occupied in London upon a special mission.

We have reason to believe that this mission is connected with an attempt to discover certain correspondents of the *Tolokol* (Bell) the Russian newspaper published in London. Should this be the case, we can only assure his Excellency that he will lose, without result, much valuable time, and we recommend him to return as soon as possible.

But if, on the contrary, his object in London is to study the nature of the police in a great and free country, we sincerely wish him success.

The insertion of these lines, signed by us, will oblige —
We are, &c.,
ALEXANDER HERZEN,
NICOLAS OGAREFF,
Editors of the "Bell."

Orsett House, Westbourne-terrace, Dec. 27.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЕРЦЕНА И ОГАРЕВА К ИЗДАТЕЛЮ АНГЛИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ «DAILY NEWS» ОТ 27 ДЕКАБРЯ 1860 г.

Газетная вырезка

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

дорог шатается по Европе, распространяя запах шпионства, застенка, орудий пытки и проч. Говорят, что он был здесь ‹в Лондоне.— *Л. М.*›... Много ли видно в щели? хорошо ли слышно за дверьми?» (XI, 3).

Письмо Герцена, помещенное в распространенной английской газете, содействовало разоблачению попыток царского правительства парализовать деятельность Вольной русской типографии в Лондоне.

‹27 December 1860›

To the Editor of the «Daily News»

Sir,— it may not be uninteresting to English readers to know that the General Aide-de-Camp of his Imperial Majesty, Timasheff, chief of the secret police in Russia, assisted by a select staff of spies, is now occupied in London upon a special mission.

We have reason to believe that this mission is connected with an attempt to discover certain correspondents of the «Kolokol» («Bell»), the Russian newspaper published in London.

Should this be the case, we can only assure his Excellency that he will lose, without result, much valuable time, and we recommend him to return as soon as possible.

But if, on the contrary, his object in London is to study the nature of the police in a great and free country[1], we sincerely wish him success.

The insertion of these lines, signed by us, will oblige.— We are etc.

Alexander Herzen,
Nicolas Ogareff,
Editors of the «Bell»

Orsett House. Westbourne-terrace.
Dec‹ember› 27

Перевод:

‹27 декабря 1860 г.›

К издателю «Дейли ньюс»

Милостивый государь, английским читателям, быть может, небезинтересно узнать, что генерал-адъютант его императорского величества Тимашев, шеф русской тайной полиции, при содействии штата отборных шпионов выполняет в настоящее время в Лондоне специальное поручение.

Мы имеем основание думать, что это поручение связано с попыткой раскрыть имена некоторых корреспондентов «Колокола» — русской газеты, издаваемой в Лондоне.

Если это действительно так, мы можем только уверить его превосходительство, что он безрезультатно истратит много драгоценного времени, и советуем ему как можно скорее вернуться во-свояси.

Если же, напротив, его задачей в Лондоне является изучение свойств полиции в большой и свободной стране[1], мы искренне желаем ему успеха.

Вы обяжете нас, поместив эти подписанные нами строки. Остаемся и пр.

Александр Герцен,
Николай Огарев,
издатели «Колокола»

Orsett House, Westbourne-terrace.
27 дек‹абря›

ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 368. — Над текстом письма заголовок: «Russia and her exiles».

[1] В пятидесятых годах Герцен неоднократно противопоставлял относительную прогрессивность буржуазно-демократического строя Англии реакционным режимам царского самодержавия и полицейского государства Наполеона III и часто ссылался при этом на устройство английской полиции, которая — в отличие от царской и наполеоновской полиции — не была наделена в то время политическими полномочиями.

Д. К. ШЕДО-ФЕРРОТИ (Ф. И. ФИРКСУ)

Публикация Я. Эльсберга

Публикуемое письмо Герцена от 22 августа 1861 г. является ответом на письмо Д. К. Шедо-Ферроти (псевдоним барона Федора Ивановича Фиркса), появившееся в августе 1861 г. в Берлине в виде брошюры под название «Lettre à monsieur Herzen, par D. K. Schedo-Ferroti», 1861, B. Behr (E. Bock) Berlin.

Брошюру эту не следует смешивать с другой известной брошюрой того же автора, вышедшей несколько позднее: «Письмо А. И. Герцена к русскому послу в Лондоне с ответом и некоторыми примечаниями Д. К. Шедо-Ферроти», Берлин, 1862.

Вероятно, Герцен получил от Шедо-Ферроти не печатную брошюру, а письмо, которое одновременно или несколько позже было издано автором. На это указывают следующие слова из письма Герцена к кн. П. В. Долгорукову от 1 ноября 1861 г.: «Я получил вчера от него ‹Шедо-Ферроти.— *Я. Э.*› другое письмо (прежнее было напечатано)...» (XI, 268). Это «другое письмо» — от 29 октября 1861 г.— вошло затем во вторую брошюру Шедо-Ферроти о Герцене (XI, 288).

Когда Герцен отвечал на первое письмо Шедо-Ферроти, он еще не имел ясного представления о политической физиономии своего корреспондента. Это доказывается тем же цитированным выше письмом к Долгорукову, где Герцен спрашивает: «Почтеннейший князь Петр Владимирович, пишу к вам *секретный вопрос:* не знаете ли вы, кто такое и что такое *Шедо-Ферроти*? Мне называли его Фирксом. Мы справлялись в адрес-календаре, но не знаем».

Тем, что Герцен в августе 1861 г. неясно представлял себе политический облик Фиркса — Шедо-Ферроти, объясняется сдержанный, но любезный тон публикуемого письма, в котором, однако, чувствуется принципиальное политическое несогласие и некоторое недоверие.

Ответ Долгорукова Герцену неизвестен, но о характере ответа можно высказать вполне достоверное предположение, исходя из памфлета Долгорукова, напечатанного в «Колоколе» в 1867 г. Долгоруков говорит здесь о Фиркше, как об одном из «константиновцев», т. е. как об одном из людей, принадлежащих к окружению в. кн. Константина Николаевича и его клике либеральных бюрократов во главе с А. В. Головниным (ср. П. В. Долгоруков. Петербургские очерки. М., изд. «Север», 1934, стр. 262).

Сведения Долгорукова были справедливы. И сам Герцен после получения второго письма Шедо-Ферроти имел основание, обращаясь 1 ноября к Долгорукову, рассматривать только что полученное новое письмо от Шедо-Ферроти (полностью разоблачившего последнего в глазах издателя «Колокола») как проявление «системы III Отделения делать интимидации» (XI, 268). В выступлении Шедо-Ферроти Герцен справедливо увидел попытку правительственного агента, скрывавшегося под маской принципиальности и убежденности, запугать издателя «Колокола» «общественным мнением».

К первому письму Шедо-Ферроти была приложена датированная апрелем 1861 г. брошюра того же автора на французском языке: «Крепостные, еще не получившие свободу» — шестой этюд из серии «Исследования о будущем России» («Etudes sur l'Avenir de la Russie», sixième étude — «Les serfs non encore libérés», par D. K. Schedo-Ferroti, 1861, B. Behr (E. Bock), Berlin).

В своем письме-брошюре Герцену Шедо-Ферроти сообщал, что он «взял себе за правило направлять один экземпляр своих писаний лицам, о которых в них идет речь» (стр. 7).

Брошюра Шедо-Ферроти представляет собой образец иезуитства и демагогии. Он пользуется напечатанными в «Колоколе» (лл. 87–88, от 15 декабря 1860 г.) материалами об ужасающе бесправном положении рабочих, приписанных к нерчинским заводам и рудникам, считавшимся личной собственностью императора. Рабочие эти,

«не сделавшие никакого преступления», несли, по признанию официальных документов, «участь гораздо тяжелее преступников».

Шедо-Ферроти, называя себя «одним из первых, кто поднял голос в пользу освобождения крестьян» (стр. 1), пытается выступить в роли «защитника» этих крепостных, которым манифест 19 февраля 1861 г. не принес даже личного освобождения.

На самом деле брошюра Шедо-Ферроти пользуется вопросом о нерчинских рабочих только как благовидным (в глазах либерального общества) предлогом для полемики с «Колоколом» и, в частности, с той заметкой и теми подстрочными примечаниями редакции «Колокола» (автором этой заметки и этих примечаний был, вероятно, Н. П. Огарев), которые служили комментарием к нерчинским материалам, опубликованным под общим заглавием «Императорский кабинет и Муравьев-Амурский».

Шедо-Ферроти защищает Александра II от обвинения «Колокола» в «императорском воровстве у России, краже у государства в пользу Романовых».

Особенно же настойчиво как в этой брошюре, так и в письме к Герцену Шедо-Ферроти выступал против материалов «Колокола», поскольку в них обличались высшие сановники империи. Шедо-Ферроти делал при этом вид, что является даже более последовательным критиком пороков администрации, чем Герцен, и заявлял в письме: «... вопрос о лицах имеет гораздо меньше значения, чем вы ему, очевидно, приписываете» (стр. 7). Он выдавал себя за сторонника «реформы *учреждений*», на деле отстаивая тут же незыблемость «монархического принципа» (стр. 8).

Эта полемика Шедо-Ферроти представляет интерес главным образом потому, что она поясняет огромное значение политических обличений «Колокола». Именно потому, что эти обличения были направлены, в сущности, против всех представителей правительства, они воспринимались не как обвинения отдельных лиц, а как революционно-демократические разоблачения самодержавного строя в целом и обладали таким революционизирующим влиянием, которое пугало не только Шедо-Ферроти, но и либералов, не находившихся в непосредственной зависимости от правительства.

Столкновения вокруг дележа власти, которые происходили тогда между монархистами-либералами и откровенными реакционерами-крепостниками, никак не могли затушевать общность их интересов в борьбе против демократии, против Герцена.

Впрочем, у Шедо-Ферроти была и особая личная причина, побудившая его выступить против «Колокола» именно по данному поводу: в этих разоблачениях был затронут и его покровитель, «либеральный» великий князь Константин Николаевич, по должности председателя так называемого «Сибирского комитета» высказавшийся за сохранение на нерчинских заводах и рудниках на тот или иной срок «обязательного», т. е. крепостного труда («Колокол», лл. 87—88, от 15 декабря 1860 г.).

Отвечая Шедо-Ферроти (на первое письмо), Герцен решительно отвергает либеральную политику, заключавшуюся в том, чтобы «учить правительство» и верить царю. Наоборот, отражая настроения всего демократического лагеря в период революционной ситуации, в период могучего подъема крестьянского движения, достигшего своей высшей точки в 1861 г., Герцен заявляет, что не верит больше в царя, и выражает надежду на вероятность скорого революционного переворота в России и гибели монархии.

Отмечая, что он в «Колоколе» пятидесятых годов, разумеется, по тактическим соображениям, не проповедовал «*социальных* (т. е. социалистических.— *Я. Э.*) *теорий*», Герцен вместе с тем решительно отвергает обывательски-либеральную оценку социализма как несбыточной утопии.

В шестидесятых годах в «Колоколе» громко звучит революционно-демократическая и социалистическая пропаганда.

Публикуемое письмо Герцена — новое подтверждение того, что он в шестидесятые годы, как писал Ленин, «безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма» (В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 14).

ВИНЬЕТКА ЖУРНАЛА «ГУДОК» № 4 ЗА 1862 г. С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГЕРЦЕНА

Гравюра по рисунку А. Богданова

Имя Герцена в 1860-х гг. было под запретом в русской печати. Публикация рисунка, изображающего Герцена (справа, со знаменем в руках), создала «Гудку» большую популярность. Однако вскоре по требованию цензуры виньетка была снята, и 5-й номер журнала вышел уже без нее

22 августа 1861. Лондон

Милостивый государь,

Вы слишком хвалите мой русский язык, чтоб я не в лучшем вооружении явился на ваш вызов.

Скажу сначала, что по странному стечению обстоятельств вы сделали выписки из статьи, к которой примечания были писаны не мною (что не мешает мне совершенно разделять мнение автора). Если б вы обратили на нас ту снисходительную осторожность, которую вы мне рекомендуете относительно предержащих властей, вы, вероятно, написали бы «Редакция» вместо моего имени. Представьте себе, что за все неподписанные статьи в «Revue des Deux Mondes» Bulloz будет отвечать не как редактор, а как автор.

Далее — простите меня — я нахожу непоследовательным уснащение вашей речи (после того как вы меня именно караете за брань) словами brutal, calomnie* и пр. Как согласить их с той урбанностью**, которую вы желали бы видеть в наших сочинениях? Я несколько раз плутни называл плутнями. Что хуже — слово ли brutal или слово плутня — это дело вкуса, и как рассудить эти нюансы — принадлежат ли они aux dames de la Halle*** или нашим дамам торговой бани?

О том, что кто-то, говоря с вами, сравнивал меня с Вольтером — я ничего не могу сказать. Елагин меня чуть не сравнивает — с Картушем[1]. Охота вам говорить с такими людьми.

О теориях мы говорить не будем. Вы — более консерватор, чем Александр Николаевич[2]. Я в ваших глазах, вероятно, краснее человека в скарлатине. Где же нам сойтись? Только мне кажется, что вы «Колокол» мало читали. Я в «*Колоколе*» *никаких социальных теорий* не проповедывал. И упрек, что мы не занимались вопросом освобождения крестьян с землею, несправедлив. Два проекта были напечатаны нами в двух отдельных брошюрах. Я. И. Ростовцев один из них (V и VIII книжки «Голосов», он же сокращенный был в «Колок⟨оле⟩») рекомендовал членам редакцион⟨ной⟩ комиссии.

Но отчего мы не учим правительство? — Это очень просто. Оно скверно учится. Разве нет раздельного труда? — Мы делаем то, что нам по плечу. Вы делаете то, что сообразно вашему желанию.

Вы меня предостерегаете, что социальные идеи, о которых я говорю, начнут осуществляться через 1000 лет. Вычисление ваше не имеет фактического основания, и вы его сделали шутя. Но я вас предостерегаю в вещи, которой поверка ближе к нам. Мне кажется, что вы принимаете петербургское правительство за чрезвычайно прочное, и строите на нем**** систему улучшений и прогресса, а оно не простоит десяти лет, если пойдет путем флигель-адъютантских митральес[3], польских учреждений ***** на монгольский манер[4] и пр. Когда можно было думать, что Александр II идет иным путем, мы, не боясь свиста и осуждения, сказали ему: «Ты победил, Галилеянин!» Мы не верим в него больше.

Вот всё, что мне хотелось на первый случай сказать вам. Я вас благодарю за ваше письмо. У меня нет авторского самолюбия, и я вполне отдаюсь на суд искренней критики.

Преданный вам А. Герцен

---

* грубый, клевета (франц.).
** вежливостью (франц.).
*** рыночным торговкам (франц.).
**** *В черновом автографе:* на песке
***** *В черновом автографе:* казенных учреждений

Автограф. Беловой — в бумагах Шедо-Ферроти (ИРЛИ). Подготовлен к печати К. Н. Григорьяном. Черновой — в бумагах Герцена, в «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134, лл. 21—22 об.).

В черновом автографе письмо заканчивается следующим постскриптумом: «P.S. У вас крест⟨ьянское⟩ слово приказчик, за ним de boutique ⟨лавка⟩—полно, так ли это? Я Елагину отвеч⟨ал?⟩ так, как Елагину подобает отвечать — в одном „Кол⟨околе“⟩,—но фраза, выписанная в нем и напечатанная гораздо прежде, относится к другой статье».

[1] *Н. В. Елагин* (1817—1891) — один из самых реакционных цензоров в царствование Николая I, выпустил в 1859 г. в Берлине книжонку памфлетного содержания «Искандер — Герцен», в которой писал о Герцене как о человеке, прибравшем к рукам «огромные суммы денег» — завещанное ему состояние отца. Поэтому Герцен и пишет, что Елагин чуть не сравнивал его с Картушем, т. е. почти называл его вором и разбойником. Ответ Герцена Елагину см. X, 165.

[2] Царь Александр II.

[3] Говоря о «*флигель-адъютантских митральесах*», Герцен имеет в виду те кровавые усмирения крестьянских восстаний, которые проводились царским правительством после опубликования манифеста 19 февраля.

В каждую губернию, в качестве «особо доверенного лица государя-императора» («Крестьянское движение в 1861 году после отмены крепостного права», части I и II, изд. Академии Наук СССР, М.—Л., 1949, стр. 3) был командирован флигель-адъютант или генерал-майор императорской свиты. Происходило жестокое подавление крестьянских волнений, причем некоторые из царских посланцев применяли даже артиллерию. Так, при карательном отряде графа Апраксина, усмирявшего знаменитое восстание в селе Бездна, имелись две пушки (см. «Колокол», л. 100, от 1 июня 1861 г., корреспонденция «Мартиролог крестьян»). Поэтому Герцен и упоминает о «митральесах» (франц.— скорострельные пушки).

[4] Герцен касается здесь тех ничтожных и фальшивых уступок, на которые, под угрозой революционного взрыва, царское правительство вынуждено было в марте 1861 г. пойти в Польше. Был восстановлен государственный совет Королевства польского и т. п.

НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ

Публикация В. Александрова

Письмо, на которое отвечает Герцен публикуемой запиской, пришло во время его поездки с сыном 24—29 апреля 1862 г. в St. Leonards с целью снять дачу (см. письмо к И. С. Тургеневу от 21 апреля 1862 г.—XV, 110). Адресата письма установить не удалось.

29 avril 1862. Orsett House
Westbourne-terrace

Monsieur,

Je trouve de retour de Sevenoaks votre lettre du 24 avril et je m'empresse de vous répondre. Demain, mercredi, tout le soir depuis 8 heures je serai à la maison et enchanté de vous voir.

Recevez mes salutations empressées.

A. Herzen

Перевод:

29 апреля 1862 г. Orsett House
Westbourne-terrace

Милостивый государь, по возвращении из Sevenoaks я нашел ваше письмо от 24 апреля и спешу вам ответить. Завтра, в среду, я весь вечер, с 8 часов, дома и буду очень рад повидаться с вами. Примите уверение в совершенном почтении.

А. Герцен

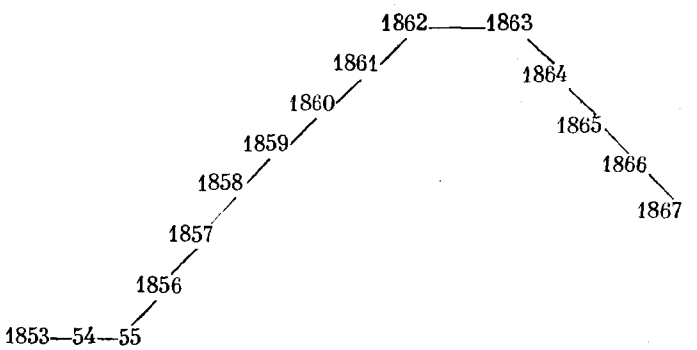
Автограф. ИРЛИ. Р. III, оп. 1, I—5130.

НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ

Публикация Л. Ланского

Публикуемое ниже автобиографическое письмо Герцена сохранилось в виде чернового наброска. Кому оно адресовано, установить не удалось. Судя по тому, что оно написано по-французски, адресатом его был иностранец. Письмо совершенно лишено элементов, обычно присущих частному письму; повидимому, оно явилось ответом на запрос редактора какого-либо издания и предназначалось для печати.

Дата письма может быть установлена только приблизительно. В письме содержится упоминание о введении гласного суда в России. Судебная реформа 1864 года фактически вошла в действие лишь с 1866 г. Имеется, однако, признак, дающий возможность установить, что письмо написано уже после 1867 г.: на оборотной стороне двух последних листков рукой Герцена записаны следующие годовые даты, размещенные в виде двух — возрастающей и ниспадающей — кривых:



Эти цифры наглядно изображают состояние издательской деятельности Герцена за протекшее десятилетие: незначительное распространение его изданий в 1853—1855 гг., неуклонный рост с 1856 по 1861—1862 гг. и столь же резкое падение с 1863 до 1867 г. Последняя дата доказывает, что письмо могло быть написано только после 1867 г. Герцен дает в публикуемом письме развернутую оценку своей литературно-публицистической деятельности пятидесятых-шестидесятых годов. Представляет интерес также его указание на то, что «первая мысль о „Колоколе"» принадлежала Огареву (ср. XVI, 134).

Отправил ли Герцен письмо адресату и было ли оно напечатано в каком-либо заграничном издании, выяснить не удалось.

〈1867—1869 гг.〉

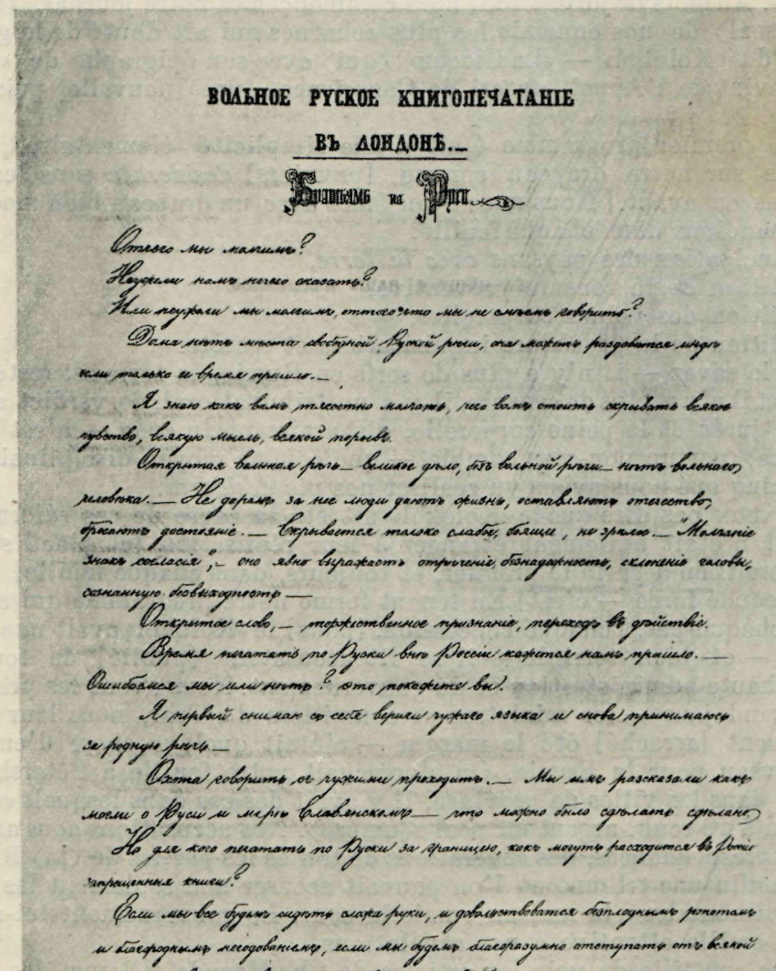
Monsieur,

Vous me demandez des détails de ma vie, principalement depuis 1848 et l'histoire du «Kolokol». J'ai très peu de choses à vous dire, quant à moi. Je n'ai pas quitté l'Europe depuis 1847 et je n'ai pas pris de part active aux affaires de l'Occident. J'étais spectateur ému de la grande marée croissante et décroissante de 1848... et j'écrivais quelques articles qui ont paru en [Allemagne] [Suisse] allemand sous le titre «De l'autre rive» («Vom anderen Ufer») et des «Lettres sur la France et l'Italie» [un ou deux articles parurent dans «La Voix du peuple» de Proudhon]. Expulsé de France en 1850 par des motifs qui me sont restés inconnus — et qu'il m'est [impossible] difficile d'expliquer autrement que par ma participation au journal de Proudhon [que je connaissais personnellement et pour lequel j'avais un respect profond] la «Voix du peuple» — je me suis éloigné à Nice (encore italienne). C'est là que j'ai publié en 1851 un livre sur le «Développement des idées révolutionnaires en Russie» et une lettre sur «Le socialisme et le peuple Russe» adressée à Michelet.

Après une série de malheurs personnels (1851—52) [qui brisèrent mon

existence] je quittai Nice et allai me réfugier [pour plus de dix ans] [en 1852] à Londres ⟨...⟩*

Les barrières tombèrent — sans qu'on les ait enlevées. Nos imprimés entraient en masse dans la Russie. Immédiatement après la mort de Nico-



ВОЛЬНОЕ РУСКОЕ КНИГОПЕЧАТАНІЕ

ВЪ ЛОНДОНѢ.—

Братьямъ на Руси.

Отчего мы молчимъ?

Неужели намъ нечего сказать?

Или неужели мы молчимъ, оттого что мы не смѣемъ говорить?

Дома нѣтъ мѣста свободной Руской рѣчи, она можетъ раздоватся индѣ если только ея время пришло.—

Я знаю какъ вамъ тяжело молчать, чего вамъ стоитъ скрывать всякое чувство, всякую мысль, всякой порывъ.

Открытая вольная рѣчь— великое дѣло, безъ вольной рѣчи— нѣтъ вольнаго человѣка.— Не даромъ за нее люди даютъ жизнь, оставляютъ отечество, бросаютъ достояніе.— Скрывается только слабое, боящее, не зрѣлое.— "Молчаніе знакъ согласія",— оно явно выражаетъ отреченіе, безнадежность, склоненіе головы, сознанную безвыходность.—

Открытое слово,— торжественное признаніе, переходъ въ дѣйствіе.

Время печатать по Руски внѣ Россіи кажется намъ пришло.— Ошибаемся мы или нѣтъ? это покажете вы.

Я первый снимаю съ себя вериги чужаго языка и снова принимаюсь за родную рѣчь.—

Охота говорить съ чужими проходитъ.— Мы имъ разсказали какъ могли о Руси и мірѣ Славянскомъ— что можно было сдѣлать сдѣлано.

Но для кого печатать по Руски за границею, какъ могутъ расходится въ Россіи запрещенныя книги?

Если мы все будемъ сидѣть сложа руки, и довольствоватся безплоднымъ ропотомъ и благороднымъ негодованіемъ, если мы будемъ благоразумно отступать отъ всякой опасности и встрѣтивъ препятствіе, останавливатся не дѣлая опыта ни перешагнуть, ни обойти— тогда долго не придутъ еще для Россіи свѣтлые дни.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕРЦЕНА «ВОЛЬНОЕ РУССКОЕ КНИГОПЕЧАТАНИЕ В ЛОНДОНЕ. БРАТЬЯМ НА РУСИ»

Литографированный листок, 1853 г.

Лист 1

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

las je commençais la publication d'une revue [russe] «L'Etoile polaire», ce titre appartenait à un Almanach publié avant 1825 — par le célèbre Rileieff et ses amis. Le succès était grand. Les premiers volumes étaient réimprimés — dans une autre imprimerie, la nôtre ne pouvant suffire, avec sept ou huit ouvriers qui travaillaient constamment.

*Пропуск; вероятно отсутствует одна страница.— Ред.

Dans les premiers cinq ans qui suivirent 1856 — nous avons écrit, redigé, mis en livres et ⟨*1 нрзб.*⟩ une vingtaine de volumes (je vous en envoie une liste).

Depuis le printemps de 1856 — je travaillais avec mon ami N. Ogareff — qui vint à Londres. C'est à lui qu'appartient la première idée du «Kolokol». Au mois de juillet 1857 nous commençâmes notre journal. Il n'y a pas un ⟨seul⟩ de nos ennemis les plus acharnés qui ait douté de la grande influence du «Kolokol» — «La Cloche» ⟨qui⟩ avec son épigraphe de «Vivos voco»—devint de l'Appel, du cri de Conscience —une [nouvelle] puissance en Russie.

[Notre premier programme était d'une simplicité élementaire. Nous avons mis sur notre drapeau comme [premiers] *desiderata* sans lesquels pas un pas en avant.] Nous nous avançâmes avec un drapeau bien modeste. Nous demandions dans chaque feuille:

L'émancipation des paysans *avec la terre*,

L'abolition de la censure préventive,

L'abolition des peines corporelles,

L'abolition de la procédure inquisitoriale et secrète.

[Vous le savez — il n'y a plus de serfs en Russie, la terre est restée aux paysans, et il n'y a plus de censure, il y a un tribunal oral, le verdict appartient aux jurés et la peine corporelle, disparaissant du code — n'est maintenue ⟨que⟩ par un non-sens complet— que comme moyen disciplinaire.]

Dans cinq ans nous avons vu réaliser nos *pia desideria*.

Je ne veux pas dire que le «Kolokol» ait été la cause de ces réformes — mais qu'il n'était nullement étranger à leur réalisation [et placé sur un terrain libre il en a parlé le premier, et toujours, dans chaque feuille]

[La seconde force — c'est] En tenant ferme notre programme qui s'élargissait à chaque pas, à chaque concession, [nous] le «Kolokol» avait une autre puissance — et bien terrible — il se fit accusateur [public] de tous les abus de la haute administration et du gouvernement. Nous avons les premiers tiré au grand jour — les ministres et conseillers du Tzar, nous leur avons publiquement [arraché] ôté le masque — c'était quelque chose d'entièrement nouveau pour la Russie. On s'arrachait notre feuille à Pétersbourg, à Moscou, dans les villes de province, il y avait des cas dans lesquels on ⟨a⟩ payé jusqu'à 10 roub. argent un seul n⟨uméro⟩. Nos accusations nous amenèrent des correspondances, des révélations de toutes les parties de ⟨la⟩ Russie. On avait enfin une tribune où l'on pouvait accuser non seulement les puissants [invulnérables à la maison], mais la cour. Le gouvernement lui-même préta une oreille attentive à nos révélations.

Je vous conseille de voir les articles de Ch. Mazade («Revue des Deux Mondes») sur l'influence de «Kolokol»[1].

Nous ajoutâmes bientôt un supplément juridique[2] et après un autre pour servir d'organe et d'avocat des dissidents[3]. Ce dernier amena à deux résultats remarquables. C'est que le gouvernement qui ne permettait pas à la presse de toucher [la question] les doctrines des dissidents — permit d'en parler...

Перевод:

⟨1867—1869 гг.⟩

Милостивый государь,

Вы просите у меня подробностей моей жизни, главным образом начиная с 1848 г., и историю «Колокола». О себе лично я могу сообщить очень немного. Я не покидал Европы с 1847 г. и не принимал деятельного участия в делах Запада. Я был взволнованным наблюдателем нараставшего и убывавшего прилива 1848 г.... и написал несколько статей, появившихся * на немецком языке под названием «С того берега»

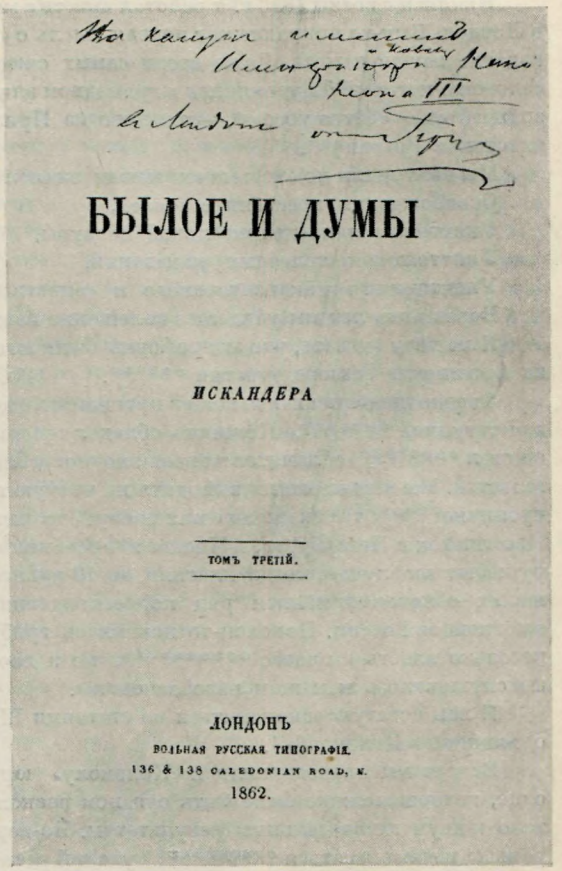
---

* *Далее зачеркнуто: а.* в Германии *б.* в Швейцарии

ЭКЗЕМПЛЯР «БЫЛОГО И ДУМ» С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ

«Накануне именин императора и кавалера Наполеона III в Лондоне от Герцена»

Собрание Н. П. Анциферова, Москва



БЫЛОЕ И ДУМЫ

ИСКАНДЕРА

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

ЛОНДОНЪ
ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ТИПОГРАФІЯ.
136 & 138 CALEDONIAN ROAD, N.
1862.

(«Vom anderen Ufer») и «Писем о ⟨!⟩ Франции и Италии» *. Изгнанный из Франции в 1850 г. по причинам, которые мне остались неизвестными и которые ** я затрудняюсь объяснить иначе как моим участием в газете Прудона *** «Голос народа», я удалился в Ниццу (тогда еще итальянскую). Там-то я опубликовал в 1851 г. книгу «О развитии революционных идей в России» и письмо о «Социализме и русском народе», адресованное Мишле.

После ряда личных несчастий (1851—52) **** я покинул Ниццу и нашел убежище ***** в Лондоне ******.

Преграды пали, хоть они и не были уничтожены. Наши издания широко проникали в Россию. Сразу же после смерти Николая я начал издание******* журнала «Полярная звезда»,— это название принадлежало альманаху, выпускавшемуся до 1825 г. знаменитым Рылеевым и его друзьями. Успех был велик. Первые томы были переизданы—в другой типографии,— наша не могла справиться при семи или восьми рабочих, трудившихся не покладая рук.

В первые пять лет — после 1856 г.— мы написали, отредактировали, напечатали и ⟨*1 нрзб.*⟩ десятка два томов (я посылаю вам их список).

---

* *Далее зачеркнуто:* одна или две статьи появились в «Голосе народа» Прудона.
** *Далее зачеркнуто:* мне невозможно
*** *Далее зачеркнуто:* которого я знал лично и к которому питал глубокое уважение
**** *Далее зачеркнуто:* разбивших мою жизнь
***** *Далее зачеркнуто: а.* более, чем на десять лет *б.* в 1852 г.
****** *Пропуск; вероятно отсутствует одна страница. — Ред.*
******* *Далее зачеркнуто:* русского

Начиная с весны 1856 г. я работал вместе с моим другом Н. Огаревым, приехавшим в Лондон. Ему-то принадлежит первая мысль о «Колоколе». В июле 1857 г. мы начали издание нашей газеты. Даже среди самых ожесточенных наших врагов не найдется человека, который бы усомнился в громадном влиянии «Колокола» («La Cloche»)— с его эпиграфом — «Vivos voco» *,—ставшего из Призыва, крика Совести **— подлинной властью в России***.

Мы выступили под весьма скромным знаменем. Мы требовали в каждом листе:

Освобождения крестьян *с землей*,

Уничтожения предварительной цензуры,

Уничтожения телесных наказаний,

Уничтожения инквизиторского и секретного судопроизводства ****.

Через пять лет мы увидели воплощение наших *pia desideria*****.

Я не хочу сказать, что эти реформы были вызваны «Колоколом», но осуществление их прошло не без его участия ******.

Твердо придерживаясь нашей программы, расширявшейся с каждым шагом, с каждой уступкой *******, «Колокол» обладал теперь уже иной силой— и очень грозной— он стал ******** обличителем всех злоупотреблений высшей администрации и правительства. Мы первые стали выводить на чистую воду министров и советников царя, мы публично********* снимали с них маску. Это было нечто совершенно новое для России. Наш листок в Петербурге, в Москве и провинциальных городах рвали друг у друга из рук; бывали случаи, когда платили до 10 рублей серебром за один номер. Следствием наших обвинений явился ряд корреспонденций, разоблачений, присылавшихся со всех концов России. Наконец-то появилась трибуна, с которой можно было обвинять нетолько власть имущего **********, но и двор. Само правительство внимательно прислушивалось к нашим разоблачениям.

Я вам советую ознакомиться со статьями Ш. Мазада в «Revue des Deux Mondes» о влиянии «Колокола» [1].

Вскоре мы присоединили к «Колоколу» юридическое добавление [2], а потом еще одно, которое должно было быть органом раскольников и их защитником [3]. Это привело к двум замечательным результатам. Во-первых, правительство, не позволявшее раньше печати касаться ********** учений раскольников, теперь разрешило говорить о них ...<*На этом рукопись обрывается.*>

Автограф (черновой). ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 20, лл. 105, 107—110.

[1] В «Revue des Deux Mondes» появились следующие статьи Шарля Мазада о политической жизни России: «La Russie sous le règne de l'empereur Alexandre II» («Россия в царствование Александра II»— 15 января 1862 г.); «La crise de l'autocratie et la société russe» («Кризис самодержавия и русское общество» — 15 июня 1862 г.); «La société et le gouvernement russes depuis l'insurrection polonaise» («Русское общество и русское правительство со времени польского восстания» — 15 марта 1866 г.); «Deux années de l'histoire intérieure de la Russie» («Два года внутренней истории России» — 1 апреля 1868 г.).

[2] Герцен имеет в виду приложение к «Колоколу», называвшееся «Под суд!».

[3] Речь идет о приложении к «Колоколу» — «Общее вече».

---

* Сзываю живых (лат.).

** *Далее зачеркнуто:* новой

*** *Далее зачеркнуто:* Наша первая программа была элементарно проста. Мы выставили на своем знамени в качестве [первых] *desiderata* <пожеланий>, без которых невозможен ни один шаг вперед

**** *Далее зачеркнуто:* Вы знаете, что в России крепостных больше нет, земля осталась за крестьянами, цензура уничтожена, имеется гласный суд, приговор выносится присяжными заседателями, и телесные наказания, исчезая из кодекса, сохраняются, хоть это и сущая нелепость, лишь как дисциплинарная мера.

***** благих пожеланий (лат.).

****** *Далее зачеркнуто:* Находясь на свободной почве, он первый заговорил о них, и постоянно, в каждом листе. Вторая сила — это

******* *Далее зачеркнуто:* мы

******** *Далее зачеркнуто:* общественным

********* *Далее зачеркнуто:* срывали

********** *Далее зачеркнуто:* неуязвимого там у себя

*********** *Далее зачеркнуто:* вопроса

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ «МОЛОДОЙ ЭМИГРАЦИИ»

Публикация Б. Козьмина

Оба печатаемые ниже документа с большой отчетливостью характеризуют те напряженные взаимоотношения, какие сложились между Герценом и Огаревым, с одной стороны, и так называемой «молодой эмиграцией»—с другой. Герцен с недоверием и враждебностью отнесся к молодым эмигрантам, в большинстве своем — выходцам из демократических слоев. Его отталкивала их грубость, их непримиримость, «желчность», по его выражению, их, порой, недостаточно широкая эрудиция при большой самоуверенности, а иногда и пренебрежении к «старикам». «Молодые эмигранты», воспитанные в политическом отношении на статьях Чернышевского и Добролюбова, со своей стороны, не хотели простить Герцену его колебаний в сторону либерализма в первые годы существования «Колокола». Их возмущали те — по словам Ленина — «бесчисленные слащавые письма в „Колоколе" к Александру II Вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения» (В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 12). Они не умели или не хотели понять, что в Герцене демократ и революционер все же всегда брал верх над либералом, что «обманная воля», дарованная царем в 1861 г. народу, и беспощадные расправы царской полиции и войск с крестьянами заставили издателей «Колокола» отказаться от надежд на возможность мирных преобразований, осуществляемых волею царя. «Молодые эмигранты» не учитывали также и того, что своим отношением к польскому вопросу Герцен, употребляя выражение Ленина, «спас честь русской демократии» (там же, стр. 13). Насколько близорука в этом отношении оказалась «молодая эмиграция», можно судить по брошюре такого видного ее представителя, как Александр Серно-Соловьевич, изданной в 1867 г. под названием «Наши домашние дела».

Эта брошюра, написанная в чрезвычайно резком тоне, справедливо осуждала Герцена за отступления от демократизма к либерализму, но совершенно игнорировала тот политический перелом, который переживал Герцен в шестидесятых годах и который привел его под конец жизни к тому, что он «обратил свои взоры не к либерализму, а к *Интернационалу*...» (В. И. Ленин, Соч., т. 18, стр. 11).

Герцен и «молодые эмигранты» неоднократно делали попытки объединиться для совместной работы. Однако объединение и примирение так и не удалось (подробнее об этом см. в нашей статье «Герцен, Огарев и „молодая эмиграция"» — «Лит. наследство», т. 41-42, 1941, а также в настоящем томе).

Наиболее важной попыткой к объединению явился эмигрантский съезд, состоявшийся в Женеве в конце 1864 — начале 1865 г. Первое из печатаемых нами писем непосредственно относится к этому съезду. Написано оно было Герценом за несколько дней до открытия съезда: письмо датировано 24 декабря 1864 г., первое же заседание состоялось 29 декабря (см. в этом же томе письмо Герцена к Огареву от 30 декабря 1864 г.).

Среди участников женевского съезда мы находим почти всех русских политических эмигрантов того времени: Н. И. Утина, А. А. Серно-Соловьевича, П. И. Якоби, М. С. Гулевича, Н. И. Жуковского, Л. И. Мечникова и других. Кроме эмигрантов, на съезде присутствовали некоторые русские, хотя и пребывавшие за границей вполне легально, но тем не менее решившиеся поддерживать связи с эмиграцией: В. Ф. Лугинин, С. А. Усов, В. О. Ковалевский, Л. П. Шелгунова.

Печатаемый нами первый документ является, повидимому, черновиком письма к одному из участников будущего съезда, антагонисту Герцена. На обороте неизвестной рукой написано карандашом: «Переписка, кажется Ковалевского, по поводу переговоров в Женеве с С⟨ерно⟩-Солов⟨ьевичем⟩ и комп⟨анией⟩ в 1864—65, около января.+++ Очень важно». Предположение, содержащееся в этой пометке, представляется нам маловероятным. Мы не знаем точно, какую именно позицию занимал на женевских совещаниях В. О. Ковалевский — поддерживал ли он Герцена или же примкнул к его противникам. Однако трудно допустить, чтобы он активно выступал против Герцена. Ему, незадолго до того приехавшему из России, вероятно еще далеко не ясны

были разногласия среди эмигрантов, относился же он к Герцену в это время с большим уважением. Между тем содержание печатаемого ниже письма заставляет думать, что оно адресовано лицу, занимавшему определенную антигерценовскую позицию. К сожалению, мы лишены возможности точно определить адресата. Можно высказать лишь догадку, что адресовано письмо Н. И. Утину. Приглашение на женевский съезд Герцен получил непосредственно от Утина (мы имеем в виду письмо Утина к Герцену от 5 августа 1864 г., которое будет напечатано в следующем томе «Лит. наследства»). Обращаясь к Герцену, Утин намечал четыре основные задачи, стоявшие, по его мнению, перед русской эмиграцией: пропаганда, организация регулярных сношений с Россией, налаживание связей с людьми, могущими принести пользу революционному делу, и создание денежного фонда, необходимого для революционных мероприятий и помощи нуждающимся эмигрантам.

Особенно важным Утин считал пропаганду и создание денежного фонда. Желая усилить пропаганду, он, как и многие другие эмигранты, считал необходимым преобразовать «Колокол» в орган общеэмигрантский.

В основе всех предложений Утина лежала та мысль, что эмиграция должна стать центром, непосредственно руководящим революционной работой в России. Но как раз эта мысль и была для Герцена наиболее неприемлемой: он считал, что из-за границы руководить движением невозможно. Герцен полагал, что задачи эмиграции должны ограничиваться только пропагандой, организацией связей с революционными группами и кружками, действующими в России, и созданием фонда, который, кстати сказать, фактически уже существовал при редакции «Колокола» с 1862 г. Руководство же движением и «пропаганда в действии», по мнению Герцена,— не дело эмиграции. Эти задачи могут принять на себя и разрешать только революционеры, работающие внутри страны, а не за ее пределами.

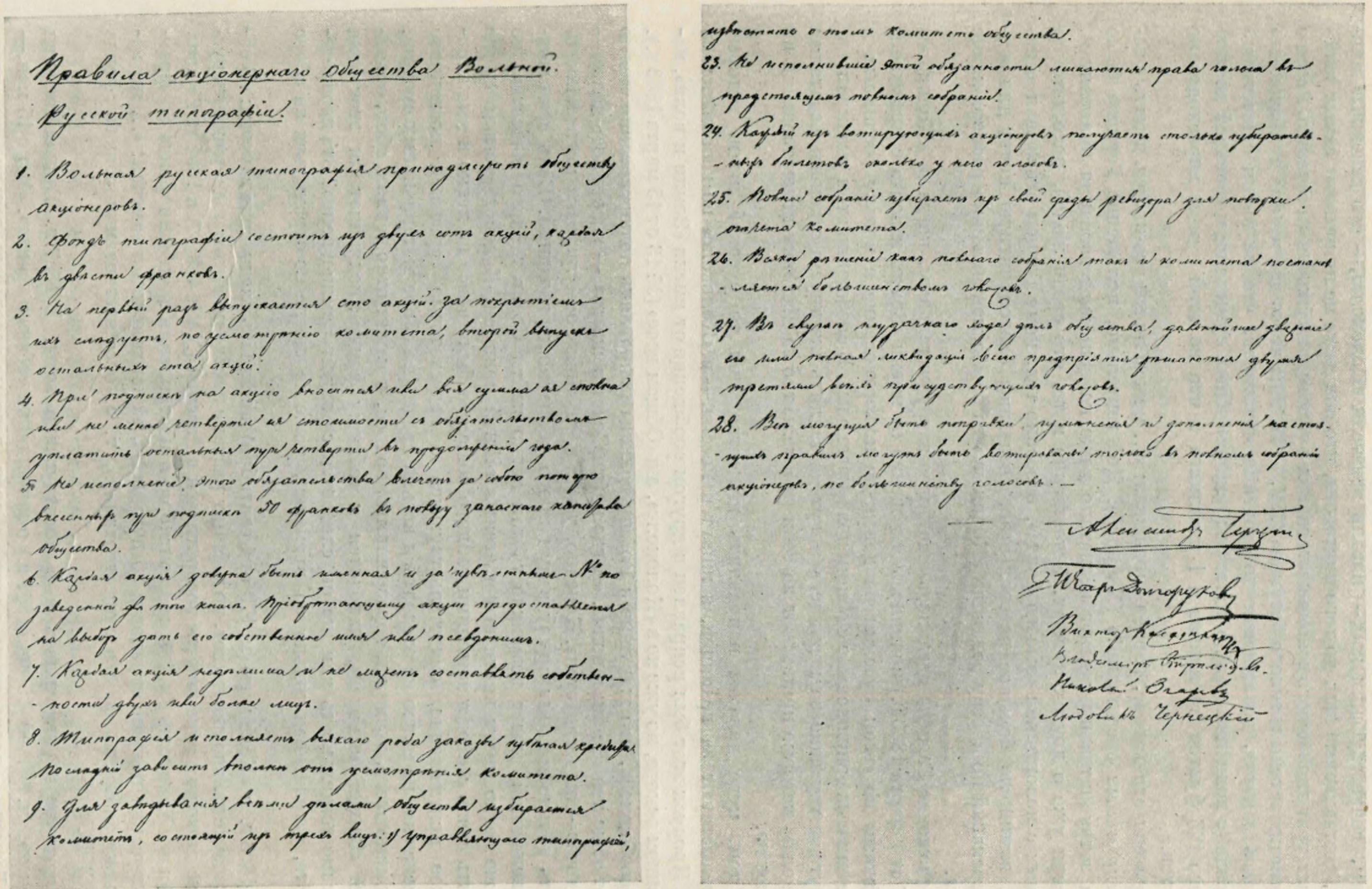
Расходился Герцен с «молодыми эмигрантами» и по вопросу о фонде. Они желали поставить под свой контроль не только «общий фонд», созданный редакцией «Колокола», но и фонд оставленный Герцену Бахметевым, который Герцен считал необходимым во что бы то ни стало сохранить в неприкосновенности до того времени, когда о судьбе жертвователя будут получены более точные сведения.

Таков был круг вопросов, вызывавших разногласия в среде русской эмиграции в шестидесятых годах. Заняться этими вопросами предстояло женевскому съезду. Как известно, соглашение на съезде достигнуто не было. Мало того, после съезда отношения между «старой» и «молодой» эмиграцией значительно ухудшились.

Второе из писем, печатаемых ниже, имеет непосредственное отношение к «общему фонду». Адресовано письмо неизвестному лицу, претендовавшему на пособие из фонда, но получившему отказ, вследствие того, что ему, по мнению Герцена, не удалось «предъявить право» на пособие. Лицо это осталось, конечно, недовольно и поспешило выразить Герцену свое негодование, обвинив его в присвоении права бесконтрольно распоряжаться фондом. Для того чтобы содержание ответа Герцена было по возможности ясным, необходимо остановиться вкратце на истории «общего фонда».

Как мы уже говорили, фонд этот был создан в 1862 г. при редакции «Колокола». В листе 133-м помещено было извещение «От издателей», датированное 12 мая 1862 г. В нем сообщалось, что в ответ на несколько писем, полученных из России, издатели «Колокола» решили учредить при редакции «сбор денег, предназначаемых на *общее наше русское дело*», принимая на себя «не только обязанность хранения денег, но и тяжелую ответственность употребления их». В заключение издатели «Колокола» заявляли, что они будут вести строгую отчетность и отдадут в израсходовании денег «*гласный отчет* тогда, когда он будет возможен» (XV, 129).

Это обращение издателей «Колокола» не встретило серьезного сочувственного отклика. Пожертвования поступали, но весьма немногочисленные. Через четыре месяца Герцен и Огарев оказались вынуждены напечатать в «Колоколе» новое заявление «От издателей», в котором между прочим сообщали: «Сумма до такой степени мала, что ее даже недостаточно для пособия русским эмигрантам, число которых возрастает, благодаря безумному террору, царящему в Петербурге» (XV, 369). Через месяц пона-



Правила акціонернаго общества Вольной Русской типографіи.

1. Вольная русская типографія принадлежитъ обществу акціонеровъ.

2. Фондъ типографіи состоитъ изъ двухъ сотъ акцій, каждая въ двѣсти франковъ.

3. На первый разъ выпускается сто акцій. За покрытіемъ ихъ слѣдуетъ, по усмотрѣнію комитета, второй выпускъ остальныхъ ста акцій.

4. При подпискѣ на акцію вносится или вся сумма ея стоимости или не менѣе четверти ея стоимости съ обязательствомъ уплатить остальныя три четверти въ продолженіи года.

5. Неисполненіе этого обязательства влечетъ за собою потерю внесенныхъ при подпискѣ 50 франковъ въ пользу запаснаго капитала общества.

6. Каждая акція должна быть именная и за извѣстнымъ № по заведенной для того книгѣ. Пріобрѣтающему акцію предоставляется на выборъ дать его собственное имя или псевдонимъ.

7. Каждая акція недѣлима и не можетъ составлять собственность двухъ или болѣе лицъ.

8. Типографія исполняетъ всякаго рода заказы публики, кредитъ послѣдней зависитъ вполнѣ отъ усмотрѣнія комитета.

9. Для завѣдыванія всѣми дѣлами общества избирается комитетъ, состоящій изъ трехъ лицъ: управляющаго типографіей,

...

извѣстить о томъ комитетъ общества.

23. Не исполнившіе этой обязанности лишаются права голоса въ предстоящемъ полномъ собраніи.

24. Каждый изъ вотирующихъ акціонеровъ получаетъ столько избирательныхъ билетовъ сколько у него голосовъ.

25. Полное собраніе избираетъ изъ своей среды ревизора для повѣрки отчета комитета.

26. Всякое рѣшеніе какъ полнаго собранія, такъ и комитета постановляется большинствомъ голосовъ.

27. Въ случаѣ неудачнаго хода дѣлъ общества, дальнѣйшее движеніе его или полная ликвидація всего предпріятія рѣшается двумя третями всѣхъ присутствующихъ голосовъ.

28. Всѣ могущія быть поправки, измѣненія и дополненія настоящихъ правилъ могутъ быть вотированы только въ полномъ собраніи акціонеровъ, по большинству голосовъ. —

Александръ Герценъ

П. Князь Долгоруковъ

Викторъ Касаткинъ

Владиміръ [illegible]

Николай Огаревъ

Людовикъ Чернецкій

«ПРАВИЛА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ВОЛЬНОЙ РУССКОЙ ТИПОГРАФИИ» С АВТОГРАФИЧЕСКИМИ ПОДПИСЯМИ ГЕРЦЕНА, ОГАРЕВА И ДРУГИХ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА, 1865 г.

Написаны рукой В. И. Касаткина

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

добилось новое напоминание об «общем фонде». «...Мы еще раз должны сказать всем русским, сочувствующим нам,— писали издатели «Колокола»,— что денежные присылки, доставленные нам, до того ничтожны, что они даже не покрывают самых необходимых трат для первого вспомоществования русским, вынужденным оставить Россию на время правительственного безумия» (XV, 474). Еще через два месяца в «Колоколе» появилась заметка, доводившая до сведения читателей, что за время существования фонда (с половины мая до половины ноября) общая сумма пожертвований достигла всего 163 фунтов стерлингов и 1 шиллинга и что из этой суммы израсходовано 90 фунтов.

Приведя эти данные, Герцен спрашивал: «... можем ли мы что-нибудь делать с такими *скромными* средствами?» (XV, 545). Действительно, положение Герцена было весьма затруднительным: денег нехватало даже на вспомоществования эмигрантам, не говоря уже о других нуждах. Естественно и то, что среди людей, недостаточно знакомых с положением «общего фонда», особенно тех, кому Герцен отказывал в пособии, возникало большое недовольство, создавшее благоприятную почву для всяких нареканий по адресу редакции «Колокола» за ее «бесконтрольное» распоряжение фондом.

Положение Герцена сделалось еще более затруднительным, когда в «Колоколе» (л. 157 от 1 марта 1863 г.) появилось сообщение от имени «Земли и воли» с призывом, обращенным ко «всем русским на денежное пожертвование в пользу сосланных и ссылаемых и на сопряженные с общим делом расходы». В сообщении этом указывалось, что «путешествующие за границей» могут доставлять жертвуемые деньги издателям «Колокола», которые принимают на себя ручательство за доставку пожертвований по назначению.

О том, куда должны направлять пожертвования те русские люди, которые не путешествуют за границей, а живут в России,— в «Колоколе» не говорилось ни слова. Пропуск этот был исправлен в другом сообщении от имени «Земли и воли», напечатанном вскоре, но уже не в «Колоколе», а в «Общем вече» (№ 13 от 15 марта 1863 г.). Здесь сообщалось, что живущие в России должны направлять пожертвования прямо в Совет общества «Земля и воля». «А где найти Совет общества,— говорилось далее,— кто захочет—сам догадается». Конечно, такая неудачная формулировка могла способствовать только полному срыву задуманного сбора пожертвований. Ведь если каждый желающий имеет возможность так легко найти Совет тайного общества, то столь же легко могут найти его и агенты тайной полиции. В действительности же наладить связь с представителями тайного общества было вовсе не легко и вышеприведенное приглашение, свидетельствующее о недостаточно серьезной постановке дела, конечно, не могло не отозваться весьма вредно на сборе материальных средств.

Помимо этого, возникал неразрешимый вопрос, в каких отношениях сбор, объявленный «Землей и волей», находится к «общему фонду», сохраняет ли этот фонд свою самостоятельность или же он сливается с фондом «Земли и воли»? Эта неопределенность, устраненная только со временем, тоже не могла не отражаться на сборе денег.

В 1863 г. в «Колоколе» (л. 170 от 1 сентября) появилась следующая заметка: «В общем фонде не только ничего нет, но дефицит растет с необходимостью поддерживать русских, не имеющих возможности возвратиться в Россию» (XVI, 489). А в 1864 г. Герцен, сообщая в «Колоколе» (л. 189 от 1 сентября) о поступлении в «общий фонд» 50 франков, 6 русских полуимпериалов и 20 гульденов, меланхолически замечал: «... мы начали даже забывать об его существовании», т. е. о существовании общего фонда (XVII, 341).

Положение не изменилось и в последующие годы. В 1867 г. Герцен сообщил («Колокол», л. 241 от 15 мая 1867 г.) о ликвидации «общего фонда». «Мы с 15 мая,— писал Герцен, — прекращаем всякий сбор и, готовые передавать деньги *„по назначению"*, не будем иметь ни кассы, ни участвовать в ее распределении» (XIX, 315).

Так печально закончилось одно эмигрантское предприятие, имевшее, казалось бы, большие шансы на успех. История его до настоящего времени остается не вполне ясной.

⟨1⟩

25 дек⟨абря⟩ 1864. Montpellier

На днях я писал, что «Колокол» и на 1865 ⟨год⟩ — как прежде — будет «органом социального развития России» — органом всего и всех, кто идет к нему и пр.[1] Оставьте его этим органом — и давайте ваши труды, труды общих друзей, устройте корреспонденции, устройте сбыт; вы говорите,

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Рисунок Н. Н. Миклухи-Маклая с фотографии 1859 г.
Литературный музей, Москва

что это легко, тем лучше. Это легкое не было сделано, потому что не было силы. Поднимать бессильные знамена — значит ронять их, т. е. производить недоноска non viable*. Что могло быть выше знамени, взятого из ог⟨аревской⟩ ст⟨атьи⟩ «Что нужно народу?»— *Земля и воля*[2]. Что сделалось с ним, что сделали из него? На одной сильной личности держалось движение, а сослали — где продолжение?[3] Право, надобно прямо

* нежизнеспособного (франц.).

смотреть в глаза обстоятельствам. Когда в 1863 году приезжал Сл⟨епцов⟩ и повествовал — я сильно сомневался[4]. Бак⟨унин⟩ по страсти к агитации, Ог⟨арев⟩ по фанатизму к делу верили больше меня. Я не хотел и не должен был мешать, я осадил свой скептицизм и наделал ряд ошибок... наконец, я поставил свое veto против забрания ⟨?⟩ фондов Б.[5]; что было бы, если б и эта ошибка была сделана?

Сойтиться с людьми, близкими по религии и симпатии,—я хочу искренно... Но что за новое политическое дело — русская эмиграция? Деятельность пропаганды в действии — должна быть дома, в России. Дейст⟨вительное⟩ дело сводится на пропаганду, сношения и фонды. Укажите сношения, сделайте их на практике, соберите фонды — дайте осязать силу, а не прекрасное желание. «Ее нет еще» — что же делать, будем ждать. В истории нет примера, чтоб группа людей, выделившаяся своевременно, чтоб вести массу, была лишена средств, таланта, денег, поддержки в обществен⟨ном⟩ мнен⟨ии⟩.

Может, всё это и есть в зачатке. Перед вами, перед нами 3 месяца, пожалуй 4 — до окончат⟨ельного⟩ переезда[6]. — *Делайте*, и «Кол⟨окол⟩» станет органом силы и групп (но только никак не эмиграции, состав⟨ляющей⟩ случайность и временную нужду), но для этого нужны *силы* и *группы* — их не было. Было знамя... Давайте статьи вроде статей Жуковского, Genrebilder * вроде Якушк⟨ина⟩[7], разбирайте один за одним все экономические вопросы. — Зачем вы разошлись с Касат⟨киным⟩, у которого капитал?[8]

Вы опять думаете устроить дело на бах⟨метевский⟩ фонд (т. е. взявши наши средства — etc.)?[9]

Автограф ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134, лл. 24—25.

[1] Герцен имеет в виду свою статью «1865», опубликованную за подписью его и Огарева в «Колоколе» (л. 193 от 1 января 1865 г.; ср. XVIII, 3—4).

[2] Речь идет о статье Огарева «Что нужно народу?», напечатанной без подписи в «Колоколе» (л. 102 от 1 июля 1861 г.).

Статья эта, написанная в соответствии с советами будущих деятелей тайного общества «Земля и воля», Н. А. Серно-Соловьевича, Н. Н. Обручева и других, рассматривалась как программа общества. Она была отпечатана также в виде листовок и получила широкое распространение в России. На вопрос, «что нужно народу?», Огарев отвечал: «Очень просто, народу нужна *земля да воля*».

[3] Подразумевается Н. А. Серно-Соловьевич. Говоря о том, что с его арестом (7 июля 1862 г.) деятельность общества «Земля и воля» прекратилась, Герцен допускает неточность. В действительности, и лишившись Серно-Соловьевича, тайное общество продолжало свою работу до тех пор, пока восторжествовавшая в стране реакция не сделала деятельность общества невозможной.

[4] А. А. Слепцов, член Центрального комитета «Земли и воли», по поручению Комитета в феврале 1863 г. приехал в Лондон для переговоров с Герценом и Огаревым. Он предлагал превратить «Колокол» в орган «Земли и воли» и создать при нем Главный совет тайного общества. Герцен, не желая терять самостоятельности, уклонился от первого предложения Слепцова, но Совет общества «Земли и воли» при редакции «Колокола» был создан.

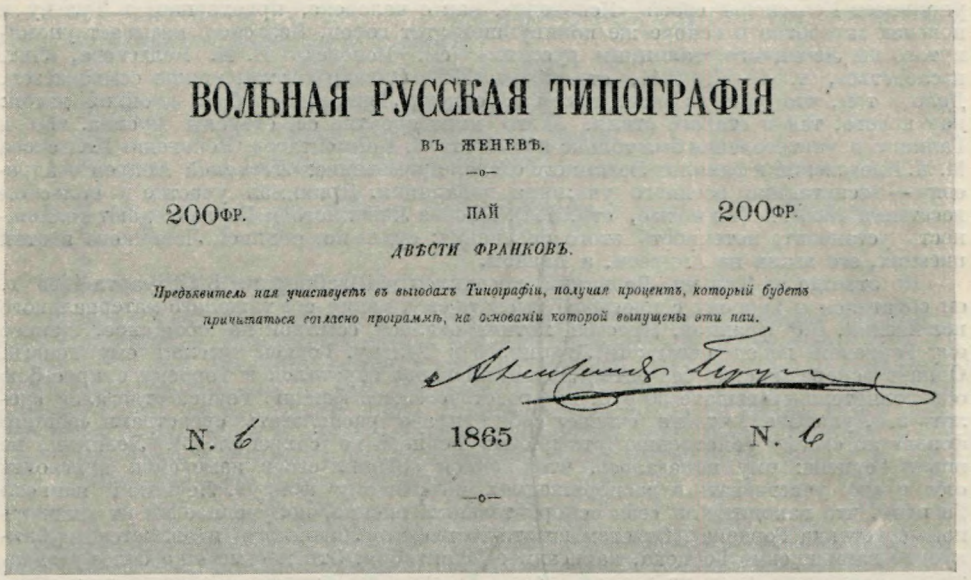
[5] Герцен, по всей вероятности, имеет в виду намерение русской колонии в Гейдельберге во главе с В. И. Бакстом создать особый фонд для помощи нуждающимся эмигрантам и для различных революционных предприятий, организуемых эмиграцией (о русской колонии в Гейдельберге см. подробно в моей статье «Герцен, Огарев и „молодая эмиграция"» — «Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 4 и сл.). Герцен не без основания подозревал, что, проектируя организацию этого фонда, Бакст вместе с товарищами добиваются слияния его с так называемым «бахметевским фондом». Поэтому он отрицательно отнесся к их проекту, наложив на него свое veto (ср. письмо Герцена к Огареву от 15 февраля 1863 г. и комментарии Лемке к нему — XVI, 68—69). О том же проекте упоминает он и в конце настоящего письма.

[6] Речь идет о переводе Вольной русской типографии из Лондона на континент, о чем Герцен начал думать еще в 1863 г., когда в Швейцарии образовался центр рус-

* жанровые картинки (нем.).

ской эмиграции. Герценовская типография была отправлена в Женеву 15 марта 1865 г.

[7] Герцен имеет здесь в виду статьи, напечатанные в некрасовском «Современнике» начала 1860-х годов публицистом Юлием Галактионовичем *Жуковским* (1822—1907) и известным собирателем произведений народной поэзии Павлом Ивановичем *Якушкиным* (1820—1872). Среди других своих работ Ю. Г. Жуковский опубликовал на страницах журнала за 1863—64 гг. статьи: «О народности в политике», «Крестьянское дело и общественная инициатива», «Новые исследования о литературной собственности», «Затруднения женского дела», «Историческое развитие вопроса о рабочих ассоциациях во Франции», «„Война и мир“ Прудона», обзоры «Русская литература» и др. Упоминая о «*Genrebilder вроде Якушкина*», Герцен, несомненно, имел в виду очерки П. И. Якушкина «Велик бог земли русской» (1863) и его известные «Путевые письма» (1861). Эти очерки, насыщенные богатым бытовым и этнографическим материалом, высоко ценились демократическим читателем 60-х гг.



ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ТИПОГРАФІЯ

ВЪ ЖЕНЕВѢ.

—o—

200ФР. ПАЙ 200ФР.

ДВѢСТИ ФРАНКОВЪ.

Предъявитель пая участвуетъ въ выгодахъ Типографіи, получая процентъ, который будетъ причитаться согласно программѣ, на основаніи которой выпущены эти паи.

N. 6 1865 N. 6

—o—

ПАЙ ВОЛЬНОЙ РУССКОЙ ТИПОГРАФИИ В ЖЕНЕВЕ С ФАКСИМИЛЕ ГЕРЦЕНА, 1865 г.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

[8] Представители «молодой эмиграции» враждебно относились к В. И. Касаткину не только потому, что в эмигрантских спорах и столкновениях он поддерживал Герцена, но и вследствие его тяжелого характера. Сам Герцен еще в 1863 г. писал Огареву: «Мне кажется, что Касатк⟨ин⟩ — мелочной человек» (XVI, 538).

[9] О П. А. Бахметеве см. в публикации Н. П. Анциферова в «Лит. наследстве», т. 41-42, 1941, стр. 526—528, а также рассказ Герцена в «Былом и думах» (XIV, 414—418).

⟨2⟩

ИВ. ЛЕВИЦКОМУ

30 окт⟨ября⟩ 1865. La Boissière

Милостивый государь,

Я так давно писал к вам ответ на вашу записку[1], что вовсе не помню его. Но замечание, что «я не могу лично распоряжаться с деньгами общего фонда»* совершенно верно. В 1862, когда было решено составить фонд, было положено — о выдачах спрашивать двух тогда назначенных лиц. В той же записке, составленной первыми вкладчиками, именно сказано, что при желании пособия — следует предъявлять право[2].

* *Слова, взятые в кавычки, вачеркнуты рукой И. Левицкого, а на полях его же рукой каллиграфическим почерком написано:* переврано.

Считая себя обязанным объяснить вам мои слова, в которых решительно нет ничего оскорбительного, я считаю себя вправе после вашего письма просить о прекращении всяких отношений между нами *.

Желая вам искренно успеха, остаюсь

А. Герцен

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134, л. 23.

[1] В «пражской коллекции» сохранились документы, проливающие свет на обстоятельства, вызвавшие настоящее письмо Герцена. Имеем в виду четыре письма Левицкого к Герцену, написанные в Женеве в 1865 г., и письмо к нему же Н. Я. Николадзе (Рио-Нелли), тоже в 1865 г. Но прежде чем говорить об этих обстоятельствах, необходимо сообщить то немногое, что известно об адресате письма — Левицком.

Из упомянутых писем его к Герцену выясняется, что он был направлен Герценом в Тульчу, а это дает основание предположить, что именно об этом Левицком упоминает Кельсиев в своей «Исповеди», как о человеке, приехавшем в Тульчу в поисках заработка и вскоре же покинувшем этот город. Кельсиев называет упомянутого им Левицкого «галицким русским» (см. «Исповедь» В. И. Кельсиева, «Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 384 и 386). Однако в этом можно сомневаться. Дело в том, что одно из своих писем к Герцену Левицкий снабдил двойной датой: как нового, так и старого стиля. А это маловероятно со стороны русина, ибо в Галиции в употреблении был только новый стиль. Комментатор «Исповеди» Кельсиева М. М. Клевенский к фамилии Левицкого сделал примечание: «*Левицкий* Андрей Андреевич — воспитанник военного училища в Галиции. Принимал участие в польском восстании 1863 г.» (там же, стр. 464). Письма Левицкого к Герцену дают возможность установить неточность этого пояснения: судя по подписи Левицкого в этих письмах, его звали не Андреем, а Иваном.

По отъезде из Тульчи Левицкий поселился в Швейцарии. 5/17 марта 1865 г. он обратился к Герцену с просьбою выслать ему, ввиду его тяжелого материального положения, 200 франков. Просьба мотивировалась ссылкой на обещание, данное ему Герценом перед поездкой Левицкого в Тульчу. Герцен выслал ему деньги. Однако вскоре (письмо без даты) Левицкий вновь обратился к Герцену с просьбою о дополнительной выдаче 50 руб. из средств «общего фонда». Герцен отказался сделать это, указывая, что не считает себя вправе располагать средствами «общего фонда» по своему усмотрению (это письмо Герцена не сохранилось). Левицкий не понял Герцена: ему показалось, что Герцен обвинил его в намерении присвоить себе право участвовать в распоряжениях по «общему фонду». Левицкий написал Герцену, что находит для себя оскорбительным письмо, полученное им от «надворного советника Герцена». Ответом на это-то письмо Левицкого и является публикуемое нами письмо Герцена, написанное 30 октября. Это письмо еще более раздражило Левицкого, и он на другой день, 31 октября, написал Герцену еще одно, весьма резкое письмо, в котором заявлял о полном прекращении сношений с Герценом.

Столкновение между Герценом и Левицким послужило, повидимому, предметом третейского разбирательства. Об этом мы узнаем из письма Н. Я. Николадзе к Герцену (датируется ноябрем 1865 г., Женева, подписано: Рио-Нелли). В письме читаем: «Я имел случай рассказывать Шелгуновой историю Левицкого при предварительном совещании в jury d'honneur**. Она поручила Ржонсницкому (польский эмигрант, живший в Женеве. — *Б. К.*) передать Левицкому, что, «считая его поступок с вами отвратительным, не желает иметь с ним никаких сношений».

[2] Составленная первыми вкладчиками «общего фонда» записка не обнаружена до сих пор. Неизвестно также, кто именно были те два лица, которым в 1862 г. было поручено рассматривать вопросы о выдаче вспомоществований. Надо думать, что одним из этих лиц являлся представитель редакции «Колокола»,— вернее всего, сам Герцен. Что же касается другого лица, то можно предполагать, что им был эмигрант Касаткин: как видно из письма к нему Герцена от 4 апреля 1863 г., он производил выдачи из «общего фонда»(XVI, 202). Однако может быть это был не Касаткин, а Бакст.

Само собою разумеется, что кем бы ни был второй уполномоченный, роль его всегда являлась весьма скромной, а с течением времени свелась к нулю, и, таким образом, Герцен распоряжался «общим фондом» единолично. Этим, по всей вероятности, и объясняется то, что, рассказывая в «Былом и думах» о судьбах «общего фонда», Герцен ни о каком втором распорядителе не упоминает. Ясно также и то, что все неприятности, связанные с «общим фондом», падали всецело на Герцена.

«Одним деньги эти нужны были,— сообщает он,— для посылки эмиссаров, другим — для образования центров на Волге, третьим — для издания журнала». И когда Герцен отказывал в подобных просьбах, обиженные говорили про него: «Стареет и становится скуп» и грозили «продернуть» его в печати (XIV, 418, 419).

---

* *Начиная со слова* «просить» *и до конца вычеркнуто Левицким.*

** суде чести (франц.).

ОЛЬГЕ ГЕРЦЕН

Публикация Н. Анциферова

Ольга *Герцен* — младшая дочь Герцена от первого брака. Родилась в Ницце в 1850 г. Была воспитана Мальвидой Мейзенбуг; вышла замуж за французского историка Габриэля Моно. Она дожила до глубокой старости и в 1950 г. отмечала свой столетний юбилей. Герцен пользовался всяким случаем привлечь внимание Ольги к русскому языку и русским писателям, в особенности к Пушкину, стихотворение которого он цитирует в публикуемом письме.

⟨Женева.⟩ 16 ноября 1866 г.

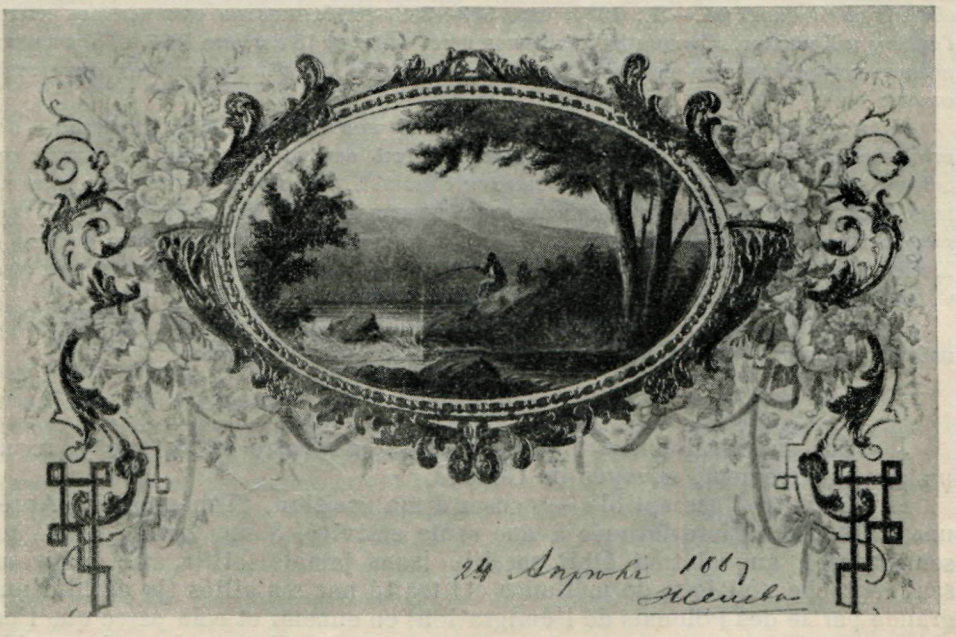
Милая моя Оля, поздравляю тебя с днем рожденья. Вот тебе уже и 16 лет, ты совсем большая девочка, или девица. Как же ты поживаешь? Как ты учишься? Как идет музыка?

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила,
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла...

Как же я это давно тебя не видал! Крепко целую и обнимаю тебя. Пиши мне [1].

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 243.

[1] Усилия Герцена сохранить в младшей дочери русского человека и привить ей свои воззрения не увенчались успехом. Спустя три года после публикуемой записки, в 1869 г., Герцен с горечью писал Огареву: «Ольга (ей стукнуло 19 лет) — не имеет ничего общего с нами, в ней сложили немецко-artistische, аристократический взгляд...» (см. ниже в наст. томе). И, действительно, Ольга Герцен еще в молодые годы превратилась в иностранку, утратившую всякую связь с родиной, с русской культурой и с великим идейным наследием своего отца. В зрелые годы она уже совершенно забыла русский язык.



ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИСТ ПОЧТОВОЙ БУМАГИ, НА КОТОРОМ НАПИСАНО ПИСЬМО ГЕРЦЕНА К ДОЧЕРИ ОЛЬГЕ ОТ 24 АПРЕЛЯ 1867 г.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

КАРЛУ-ЭДМУНДУ ХОЕЦКОМУ

Публикация И. Белявской

Публикуемый текст представляет собою незаконченное письмо Герцена, воспроизводимое по черновому автографу. Письмо не имеет обращения, и в нем не проставлена годовая дата. Оно обрывается на фразе, в которой Герцен написал лишь слова: «Mademoiselle Meisenbug».

Адресат и дата публикуемого письма устанавливаются нами на основании следующих соображений. Как видно из содержания письма, оно относится к периоду, когда отношения между издателями «Колокола» и значительной частью польской эмиграции чрезвычайно обострились. Это произошло после появления в «Колоколе» известной статьи Огарева «О продаже имений в Западном крае» (л. 229, от 1 ноября 1866 г.). Опубликование статьи вызвало целый «шквал» нападок, весьма резких по форме, часто переходивших в прямую клевету и брань. 15 ноября 1866 г. Герцен писал М. Мейзенбуг: «...на нас как снег на голову налетел этот польский шквал. Боже, что за жалкие люди!» (XIX, 99).

Издатели «Колокола» не могли молчать, когда встретились с тем, что у польских оппонентов, как писал Огарев, «все мозги съёжены — не то что на национальный, а просто на шляхетский принцип» («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 462).

В связи с нападками польских националистов Герцен и Огарев вынуждены были в 1867—1868 гг. неоднократно выступать в печати с изложением своей позиции по польскому вопросу. Эти вопросы занимали значительное место и в их частной переписке (см., напр., XIX, 439; XX, 3, 32, 40, 42, 45, 90, 231, 255, 298 и др.; «Лит. наследство», т. 39-40, стр. 462, 477, 478; сб. «Звенья», т. II, стр. 379—381). 18 августа 1867 г. Герцен сообщал Огареву: «Хоецкий пишет ко мне (теперь-то!) о твоей статье и считает тебя заклятым врагом Польши. Я долго думал, отвечать ли, и решил отвечать» (XIX, 439). С известным польским эмигрантом Карлом-Эдмундом *Хоецким* (1822—1899) Герцен был связан многолетним личным знакомством. Во втором томе сборников «Звенья» (М.—Л., 1933, стр. 369—382) опубликовано одиннадцать писем Герцена к Хоецкому. Среди них находится и тот ответ от 18 августа 1867 г., о решении послать который Герцен сообщил Огареву в тот же день. Герцен писал Хоецкому в этом ответе:

«Как это вы, знающий меня 20 лет, знающий мои отношения с Огаревым — повторяете клеветы людей, не понимающих того, что̀ они говорят, или желающих отделаться от последних русских, оставшихся с вами?!.. Все прочие — это еще куда ни шло, но вы! Не сердитесь на меня за настоящее письмо. Я не мог замолчать под ⟨гнетом⟩ ваших слов» («Звенья», цит. изд., стр. 381, перев. с франц.). В свою очередь и Хоецкий не мог промолчать, получив это письмо. 27 августа 1867 г. Герцен известил Огарева: «NB. От Хоецк⟨ого⟩ ответ дипломатический» (XIX, 445).

Публикуемое письмо с той же датой 27 августа и является, как мы убеждены, наброском ответа Герцена на этот «ответ дипломатический» Хоецкого.

⟨Nice.⟩ 27 août ⟨1867⟩

Je vous suis vraiment très reconnaissant de votre lettre que je reçois un peu tardivement, envoyée de Genève.

Si j'étais trop susceptible — pensez à ma position. [Toute ma vie] Après une existence entière devouée à une seule activité, à une seule idée, à un seul service, auquel tout était sacrifié [sans jamais faillir, sans avoir un seul reproche politique de méfiance et] traité par ses alliés (je parle d'une grande partie des Polonais de l'émigration) en ennemi et cela parce que l'on ne sympathise pas avec toutes leurs élucubrations. J'ai vu dans l'ensemble de vos paroles — leur insinuation, et je sentais vivement que je n'avais pas menti cette méfiance. J'accepte de tout mon coeur votre explication,

je vois que j'ai exageré la portée de vos paroles et je vous tends avec la même franchise la main, en demandant un oubli complet de l'incident.

Mademoiselle Meisenbug...

Перевод:

<Ницца.> 27 августа <1867 г.>

Я вам поистине весьма благодарен за ваше письмо, пересланное из Женевы и полученное мною с некоторым опозданием.

Если я проявил чрезмерную обидчивость, то войдите же в мое положение *. Посвятив всю жизнь единой деятельности, единой идее, единому служению, всем пожертвовав для этого **,— вдруг увидеть, что твои же союзники (я говорю о большинстве поляков-эмигрантов) обращаются с тобой, как с врагом, и только потому, что ты не сочувствуешь всем их разглагольствованиям. Я видел, что все ваши слова внушены ими и живо чувствовал, что это недоверие не вымышлено мной. От всего сердца принимаю ваше объяснение, вижу, что преувеличил значение ваших слов, и, протягивая вам с прежней искренностью руку, прошу предать полному забвению случившееся.

Мадмуазель Мейзенбуг...

Автограф (черновой). ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134.

ГОТФРИДУ КИНКЕЛЮ

Публикация И. Белявской

Готфрид *Кинкель* (1815—1882) — второстепенный немецкий поэт, профессор; с 1850 г. он находился в эмиграции. Знакомство его с Герценом состоялось вскоре же после приезда последнего в Лондон. В известном памфлете «Великие люди эмиграции» Маркс и Энгельс дали беспощадный анализ политической деятельности Кинкеля. Герцен в «Былом и думах» также оставил, по существу, отрицательную характеристику немецкого эмигранта, хотя и смягченную внешне легкой иронией. Время подтвердило справедливость этих оценок; к началу шестидесятых годов Кинкель уже находился в числе национал-либералов и ярых сторонников политики Бисмарка. Этим, однако, еще не завершилась политическая эволюция Кинкеля. Через несколько лет он снова оказывается в роли противника Пруссии и с преувеличенным усердием нападает на Россию и все русское.

1 августа 1868 г. Герцен, находившийся проездом в Цюрихе, где Кинкель занимал профессорскую кафедру, сообщал Огареву: «С Кинкелем у меня было курьезное столкновение. Он явным образом сам в фальшивом положении — снова anti-пруссак и под влиянием поляков. Поляки нас, должно быть, шельмуют всем на свете. Он меня начал допрашивать о нашей перемене, а сам ничего не читал. Я старался сначала обратить все дело в шутку, но был вынужден написать ему письмо, которого копию покажу. Разумеется, я с ними все сношения перерву» (XXI, 33).

Публикуемое письмо к Кинкелю, очевидно, и является той копией, которую Герцен намерен был показать Огареву.

В 1867—1868 гг. Герцену приходилось не раз выступать в печати по польскому вопросу. Такие выступления диктовались необходимостью опровергнуть те нападки и вымыслы, которые распространяла английская, французская, немецкая и польская печать о России, об издателях «Колокола» и их отношении к польскому вопросу (XX, 45—46). Именно в этой связи Герцен опубликовал в 1868 г. такие статьи, как «Prolegomena» и «Frisant la question polonaise» (XX, стр. 45, 231). В первой статье, которую Герцен рассматривал как своего рода credo издателей «Колокола», дана блестящая критика вырождающейся буржуазной демократии Западной Европы

---

* *Далее зачеркнуто:* Всю мою жизнь

** *Далее зачеркнуто:* ни разу не погрешив, не дав ни малейшего повода к политическому упреку, к недоверию и

и высказана глубокая вера в социалистическое будущее России (которое Герцен ошибочно видел в крестьянской общине); во второй статье с большой убедительностью показано действительное отношение издателей «Колокола» к польскому вопросу, как в период восстания 1863 г., так и после него (XX, 231, 240). Герцен стремился донести до своих читателей и корреспондентов сущность своей деятельности и ее главное направление, указать то место, которое занимал в ней польский вопрос. В своих статьях и переписке Герцен подчеркивал, что для него всегда главным было «русское дело», освобождение русского народа. Этими мотивами вызвано и публикуемое нами письмо.

〈Цюрих. 31 июля 1868 г.〉

Monsieur

Je vous ai envoyé hier les №№ du Kolokol que j'ai trouvés chez moi. Dans l'un 〈d'eux〉 il y a une exposition générale de notre point de vue — *invariable* [comme il l'était à Londres] (Prolegomena). Dans un autre — nos rapports actuels — à la question polonaise[1] [(à propos de Mieroslavsky)].

J'ai cru nécessaire de le faire par un sentiment très simple d'égard et pour vous et pour moi.

[En venant vous faire une visite de bon souvenir — certes je ne me suis pas attendu à être attaqué]

Je conteste à tout homme sérieux le droit d'inculper des gens qui ont aussi fait leurs preuves et de les attaquer sans les lire — sur des articles de la «Gazette d'Augsburg»[2] ou sur des *on dit* des ennemis. Je vous prie, après lecture faite, de définir pour vous-même en quoi consiste le *changement* de notre [profession de foi] ligne de conduite, changement si [grand, si fou] notable que vous avez cru de votre devoir — de le dire et d'insister — lorsque passant par la ville que vous habitez je vous ai fait une visite de bon souvenir.

Si je suis en erreur ou non, c'est une autre question, ce que je veux prouver c'est que j'ai prêché mon hérésie depuis le commencement de ma propagande en Occident — c'est à dire depuis 1849 [ce qu'il n'y a pas de changement]

[N'avez-vous jamais entendu de moi à Londres les mêmes choses que vous trouvez dans les feuilles que je vous envoie maintenant]

S'il y a changement — le changement n'est pas de notre côté, mais dans la position entièrement changée par vous. Les grands changements [en Prusse] en Allemagne — pouvai〈en〉t [vous faire prendre — vous et vos... en général] vous imposer le drapeau prussien pour un drapeau de progrès — tandis que la bannière impériale tachée du sang polonais reste toujours pour nous le symbole du despotisme écrasant et du régime militaire que nous détestons.

[Nous sommes restés fidèles — dans notre haine pour l'empire de Pétersbourg — et encore plus dans notre foi dans l'avenir social du peuple russe. Je vous demande pardon et pour]

Ne m'en voulez pas ni pour la visite, ni pour les commentaires qu'elle a nécessités. Vous devez être d'autant plus indulgent — que ni l'une, ni les autres ne se répéteront pas de longtemps.

Recevez, monsieur, mes salutations les plus distinguées.

Alex. H e r z 〈e n〉

31 Juillet 1868
Hôtel Baur

На обороте рукой Герцена: Kinkel,
Neumünsterhoff, Hirstland, Zürich

Неустановленным почерком: Monsieur N. Ogareff.
493, Petits Philosophes Genève

Перевод:

<Цюрих. 31 июля 1868 г.>

Милостивый государь,

Я отправил вам вчера те номера «Колокола», которые нашел у себя. В одном из них есть общее изложение нашей точки зрения — *неизменной* * («Prolegomena»), в другом — наш нынешний взгляд на польский вопрос ** [1].

Я счел необходимым сделать это из простого чувства уважения и к вам, и к себе***.

Я не признаю ни за одним серьезным человеком права обвинять людей, зарекомендовавших себя на деле, и нападать, не читая их,— лишь на основании статей «Аугсбургской газеты» [2] или вражеских *пересудов*. Прошу вас, по прочтении, определить для себя самого, в чем состоит *перемена* нашей линии поведения ****, перемена столь ***** значительная, что вы сочли своим долгом сказать мне об этом — и настаивать, когда, будучи проездом в вашем городе, я зашел навестить вас по старой памяти.

Ошибаюсь ли я или нет—это другой вопрос; я хочу лишь доказать—что я проповедовал свою ересь с самого начала своей пропаганды на Западе, то есть с 1849 г.******

Если есть перемена, то перемена не с нашей стороны, а в том, что вы совершенно изменили свою позицию. Большие изменения, происшедшие ******* в Германии, могли******** заставить вас принять прусское знамя за знамя прогресса, тогда как императорский стяг, запятнанный польской кровью, остается для нас попрежнему символом гнетущего деспотизма и господства военщины, ненавидимой нами *********.

Не сетуйте на меня — ни за мое посещение, ни за объяснения, вызванные им. Вы должны быть тем более снисходительны, что ни то ни другое теперь уже долго не повторится.

Примите, милостивый государь, уверение в моем истинном почтении.

Алекс<андр> Г е р ц <е н>

31 июля 1868 г.
Hôtel Baur

Автограф (черновой). ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 20, л. 106 и об. и ед. хр. 134, лл. 1—2.

[1] Статья «Prolegomena» была написана Герценом осенью 1867 г. (XX, 2, 40, 43). Напечатана в № 1 «Kolokol», от 1 января 1868 г. (XX, 45—68). Вторая статья, посланная Кинкелю — «Frisant la question polonaise»(«К польскому вопросу»). Она была написана Герценом в ответ на выступление польского националиста Л. Мерославского, опубликованное в Женеве, в марте 1868 г. (XX, 240). Статья Герцена, датированная 25 марта 1868 г., появилась в № 7 «Kolokol», от 15 апреля 1868 г. Герцен направил Кинкелю номера «Kolokol» с этими статьями в качестве доказательства того, что для него главным являлось «русское дело», что он всегда поддерживал борьбу польского народа за независимость и что позиция издателей «Колокола» в этих вопросах оставалась *неизменной*.

[2] «*Аугсбургская газета*» — «Augsburger Allgemeine Zeitung» — часто помещала статьи с нападками на Герцена и вымыслами о нем.

---

* *Далее зачеркнуто:* какой она была в Лондоне

** *Далее зачеркнуто:* (по поводу Мерославского)

*** *Далее зачеркнут абзац:* Придя навестить вас по старой памяти, я, конечно, не ожидал, что меня встретят в штыки.

**** *Первоначально было:* нашего символа веры

***** *Далее зачеркнуто:* большая, столь безумная

****** *Далее зачеркнуто:* что нет изменений. Разве вы никогда не слышали от меня в Лондоне то же самое, что найдете в листках, посылаемых мною вам теперь.

******* *Далее зачеркнуто:* в Пруссии

******** *Далее зачеркнуто:* вас заставить принять — вас и ваших... вообще

********* *Далее зачеркнут абзац:* Мы остались непоколебимы в своей ненависти к петербургской империи и еще больше в своей вере в социальное будущее русского народа. Прошу у вас прощения и за

КАРЛУ ГИСКРА

Публикация А. Углова

1 сентября 1868 г. Герцен писал А. Рейхелю: «Вчера я получил из Вены ответ от министра внутренних дел ‹...› Министр Гискра был изысканно вежлив» (XXI, 78—79).

Публикуемый нами документ и есть то письмо, с которым Герцен 25 августа 1868 г. обратился к министру внутренних дел Австрии, Карлу Гискра («Жискра» как неправильно именует его Лемке).

Карл *Гискра* (1820—1879) — австрийский политический деятель, сторонник австрийского централизма и единства империи. В 1848 г. Гискра был членом франкфуртского парламента, в 1867 г.— получил портфель министра внутренних дел в кабинете Карла Ауэршперга и сохранял его при Тафе и Гаспера вплоть до марта 1870 г.

Желание Герцена, прежде чем ехать в Карлсбад, получить официальное подтверждение, что он может «рассчитывать на покровительство австрийских законов», вполне естественно: на его памяти австрийское правительство выдало Николаю I Бакунина. Правда, то было в пору жестокой всеевропейской реакции (1851); однако, несмотря на внешний либерализм кабинета Ауэршперга, созданного после образования Австро-Венгрии в 1867 г., Герцен никогда не переставал считать монархическую Австрию одним из самых реакционных государств Европы, а ее правительство — способным на грубые политические преследования.

‹Prengins, 25 août 1868›

Monsieur le ministre,

Les médecins exigent mon départ pour les eaux de Carlsbad[1] — je suis tout prêt d'y aller—mais il y a une considération qui me fait hésiter—et me décide à vous importuner par ces lignes.

Je suis émigré russe et naturalisé en Suisse [(à Morat)] depuis 1851 — mais étant rédacteur d'un journal qui a le malheur de ne pas plaire au gouvernement de S. Pétersbourg — il pourrait bien faire q‹uel›q‹ues› démarches pour demander mon extradition. Je la crois impossible. Pourtant j'ai voulu avant d'entreprendre le voyage m'adresser en toute confiance directement à vous, Monsieur le ministre, vous priant de me dire, si je puis [l'entreprendre sans courir la chance mentionnée, c'est à dire] compter sur la protection des loix autrichiennes.

[En terminant ma lettre, je crois nécessaire d'ajouter ma parole d'honneur, que je n'ai aucun but politique — ni direct, ni indirect]

La saison étant avancée — j'attendrai avec impatience la réponse que vous auriez l'extrême bienveillance de me faire parvenir.

Recevez, monsieur le minsitre, l'expression de la plus haute estime de la part de votre obéissant serviteur.

Mon adresse*

A. Herzen

Rédact‹eur› en chef du «Kolokol»

25 août

Перевод:

‹Prengins, 25 августа 1868 г.›

Господин министр,

Врачи настаивают на моей поездке на воды в Карлсбад [1]—я совсем готов ехать, но одно соображение заставляет меня колебаться и побуждает обеспокоить вас настоящими строками.

---

* *Адрес не написан.*

Я русский эмигрант, натурализовавшийся в Швейцарии * с 1851 г.—но так как я состою редактором журнала, имеющего несчастье не нравиться С.-Петербургскому правительству, оно, быть может, предпримет некоторые шаги, чтобы потребовать моей выдачи. Я считаю ее невозможной. Тем не менее, прежде чем пуститься в путь, я решил взять на себя смелость обратиться непосредственно к вам, г-н министр, и попросить вас сообщить мне, могу ли я ** рассчитывать на покровительство австрийских законов ***.

Лечебный сезон уже в разгаре — я с нетерпением буду ждать ответа, которым вы бы меня крайне обязали.

Примите, г-н министр, выражение глубочайшего почтения, с которым остаюсь ваш покорный слуга

А. Герцен
Главный редак⟨тор⟩ «Колокола»

Мой адрес ****

25 августа

Автограф (черновой). ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134, л. 18—18 об.

[1] Признаки диабета, побудившие врачей настаивать на поездке в Карлсбад, появились у Герцена в сентябре — ноябре 1867 г., а затем в июле 1868 г. (XX, 15, 21, 23; XXI, 15). Герцен собирался нехотя. «Он ⟨Фогт⟩ требует безотлагательно начать лечение и именно: после 1 сентября ехать в Карлсбад,— писал Герцен сыну 12 августа 1868 г. ⟨...⟩ Ехать мне, разумеется, не хочется» (XXI, 36).

По совету знаменитого доктора С. П. Боткина, осмотревшего Герцена 16 сентября 1868 г., он поехал лечиться не в Карлсбад, а в Виши.

НЕИЗВЕСТНОЙ

Публикация Л. Гинзбург

11 мая 1869 г. Герцен писал из Женевы Н. А. Огаревой: «Негрескул наделал неприятных сплетен насчет этой дамы, которую он отыскивал; она, перепуганная, написала мне из Парижа письмо, но он — человек верный. Он женат (как же это Труб⟨ников⟩ и Черк⟨есов⟩ не знали, что он женат на дочери знаменитого Лаврова?)» (XXI, 377).

В этих строках речь, несомненно, идет о неизвестном адресате публикуемого письма; цитируемое письмо дает нам также возможность датировать этот документ. Герцен прибыл в Женеву из Ниццы 10 мая 1869 г.; 17 мая он выехал из Женевы в Aix-les-Bains (см. письмо к М. Мейзенбуг — XXI, 383—384). Таким образом, несомненно, что публикуемое письмо написано между 10 и 17 мая 1869 г. Герцен начинает его словами: «Я только что приехал в Женеву...», но выражение «только что» не следует понимать буквально, оно могло означать: несколько дней назад.

Итак, упоминаемый в письме «*почтенный господин*» — это М. Ф. Негрескул, а «*почтенная семья*», к которой он принадлежит, — семья П. Л. Лаврова; Негрескул был женат на дочери Лаврова, Марии Петровне, которая принимала участие в освободительном движении.

Личность корреспондентки Герцена, которую разыскивал Негрескул, установить пока не представляется возможным. Вероятно, она была прикосновенна к конспиративной революционной деятельности, и именно в этой связи Герцен объяснял ей, что Негрескул и Чернецкий опасений не вызывают. Это предположение подтверждается и отзывом о Негрескуле в цитированном письме Герцена к Огаревой: Негрескул — «человек верный»; свои слова Герцен подкрепляет сообщением о том, что Негрескул — зять Лаврова.

---

* *Далее зачеркнуто:* в Мора

** *Далее зачеркнуто:* предпринять поездку без указанного риска, т. е.

*** *Далее зачеркнуто:* Заканчивая письмо, считаю нужным подтвердить честным словом, что не преследую никакой политической цели — ни прямой, ни косвенной.

**** *Адрес не написан.*

<Женева. 10—17 мая 1869 г.>

Madame,

Je ne fais qu'arriver à Genève et j'y trouve votre lettre, madame. Je m'empresse de vous répondre immédiatement. Vous avez parfaitement raison et je partage complètement vos scrupules. Je ferai tout mon possible pour donner à l'affaire la tournure que vous désirez.

Un monsieur [que je ne connais pas, mais qui a une très bonne réputation et appartient à une famille plus qu'honorable] très honorable[1], s'est adressé à moi [à Nice] en me demandant si je pouvais trouver un moyen de savoir *où vous étiez*? Comme il partait pour Genève je lui ai donné un mot à [mon vieux collaborateur, le] un de mes amis [avec lequel nous travaillons plus de 15 ans, un des hommes les plus probes et les plus purs de] — L. Czerniecky. Voilà tout ce qui me concerne. [Il ne m'a rien parlé] Pas un mot de la personne à laquelle vous faites allusion —il ne s'agissait que de s'assurer si vous étiez bien au port.

Je n'ai reçu aucune lettre.

Comptez, madame, cette affaire comme terminée et n'ayez aucune inquiétude et recevez mes salutations les plus respectueuses.

Je suppose que tout le reste, c'est une des précautions que ces messieurs ont prises.

Перевод:

<Женева. 10—17 мая 1869 г.>

Милостивая государыня,

Я только что приехал в Женеву и нашел здесь ваше письмо. Спешу немедленно вам ответить. Вы совершенно правы, и я полностью разделяю ваши сомнения. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы дать делу желаемый вами оборот.

Один весьма почтенный господин*[1] обратился ко мне ** с вопросом, не могу ли я найти способ узнать, *где вы*? Так как он отправлялся в Женеву, я дал ему записку к одному из моих *** друзей **** — Л. Чернецкому. Вот всё, что касается меня *****. Не было сказано ни слова об особе, на которую вы намекаете,— надо было только убедиться, что вы действительно уже в порту.

Никакого письма я не получал.

Считайте, милостивая государыня, это дело законченным, будьте совершенно спокойны и примите мои уверения в глубоком к вам почтении.

Я предполагаю, что всё остальное — предосторожность этих господ.

Автограф (черновой). ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134, л. 17.

[1] Михаил Федорович *Негрескул* (род. около 1843) в 1867 г. принадлежал к кружку Г. Лопатина, а в 1868—1869 гг. принимал деятельное участие в студенческом движении. В декабре 1869 г. Негрескула арестовали в связи с нечаевским делом. В мае 1870 г. он по болезни был выпущен из тюрьмы, но содержался под домашним арестом; в феврале 1871 г. умер от туберкулеза.

Весной и летом 1869 г. Негрескул побывал в Ницце, Женеве, Берлине. Б. П. Козьмин считает, что «целью его поездки было установление связей с русской эмиграцией» («Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 151); при этом Негрескул держал себя крайне враждебно по отношению к Нечаеву, с которым весной 1869 г. одновременно находился в Женеве. Он внушал эмигрантам, что Нечаев обманщик и опасный авантюрист (там же, стр. 34). Свою вражду с Нечаевым Негрескул всячески подчеркивал и в показаниях, данных им через некоторое время на следствии по нечаевскому делу (Сб. «Нечаев и нечаевцы». М.—Л., 1921, стр. 132—134).

О столкновениях Негрескула с Нечаевым упоминается в докладе, опубликованном в 1872 г. Гаагским конгрессом Интернационала в связи с исключением из Интернационала Бакунина и бакунистов (см. «Альянс социалистической демократии и международное товарищество рабочих».— К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIII, ч. II, стр. 614).

* *Далее зачеркнуто:* которого я не знаю, но который пользуется отличной репутацией и принадлежит к более чем почтенному семейству

** *Далее зачеркнуто:* в Ницце

*** *Далее зачеркнуто:* моему старому сотруднику

**** *Далее зачеркнуто:* с которым мы работаем вместе около 15 лет, одному из честнейших и безукоризненнейших людей из

***** *Далее зачеркнуто:* Он мне ничего не говорил

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ»

Публикация В. Александрова

Летом 1868 г. редакция петербургской газеты «Неделя» обратилась к Герцену с предложением о сотрудничестве. Переговоры вел во время своей заграничной поездки фактический редактор газеты — А. П. Пятковский. Герцен предложение принял. В номере 48-м «Недели» за 1868 г. (вышел в свет 15 ноября) был напечатан, за подписью «И. Нионский», первый очерк из цикла «Скуки ради».

С января 1869 г. «Неделя» перешла в руки новой редакции — Е. И. Конради, П. А. Гайдебурова и Ю. А. Росселя. Пятковский сотрудничество в газете прекратил и перешел в «Отечественные записки» и «Дело». В письме от 1 февраля 1869 г. Пятковский известил Герцена о происшедших переменах и посоветовал ему тоже уйти из «Недели». На это Герцен отвечал: «Письмо Ваше от 1 февраля *опоздало:* статью, мною посланную, и продолжение *этого ряда* ⟨цикла «Скуки ради».— *В. А.*⟩ редакция „Н⟨едели⟩" имеет полное право поместить. Потом я желал бы присмотреться к дальнейшему духу издания. Мне не хотелось бы с самого начала входить во внутренние несогласия лабораторий ⟨...⟩ Первый фельетон явился в „Н⟨еделе⟩", и остальные пусть будут в ней» (XXI, 316—317). Со своей стороны новая редакция «Недели», узнав о советах Пятковского, поспешила подтвердить Герцену, что желает его сотрудничества и в дальнейшем. «Из редакции русского журнала я получил любезнейшую просьбу продолжать»,— сообщал Герцен Г. Н. Вырубову 16 февраля (XXI, 285). Не ограничившись письменным обращением, редакторы «Недели» поручили уезжавшему за границу книгопродавцу А. А. Черкесову побывать у Герцена в Ницце и лично подтвердить их просьбу, что он и выполнил. «Вчера... явился Черкесов,— писал Герцен Огареву из Ниццы 17 марта 1869 г.,— с новой просьбой от „Недели", чтобы я ее не покидал, и с жалобами на Пятк⟨овского⟩» (XXI, 328).

Как явствует из публикуемой ниже записки, Герцен не изменил своего решения завершить печатание цикла «Скуки ради» в «Неделе» даже тогда, когда узнал, что в мае 1869 г. газета, после третьего предостережения, была на полгода приостановлена (XXI, 96). Между тем, очерки, присланные Герценом ранее, были уже напечатаны в №№ 10 и 16 за 1869 г. (от 23 февраля/7 марта и 6/18 апреля), и Герцен в апреле направил в Петербург продолжение. Таким образом, в портфеле редакции, в момент приостановки издания, оставались герценовские рукописи, содержание и судьба которых до настоящего времени неясна. Возможно, что среди рукописей была и XII глава из цикла «Скуки ради» — «Альпийские виды.— Женева», публикуемая выше.

⟨Женева. 2 июня 1869 г.⟩

Письмо, адресованное в Женеву, я получил[1] и все №№ «Недели»; продолжение статьи пусть полежит в редакции. Через полгода увидим, что и как. Предлагая, напр⟨имер⟩, Фогту[2], следует вперед сказать гонорар.

Письмо и* всё, что желаете прислать — к Георгу[3] в Женеву**, для передачи Нионскому[4].

2 июня

Автограф (черновой). ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134, л. 29.

[1] Это письмо остается неизвестным.

[2] Речь идет о Карле *Фогте*. Редакция «Недели» хотела привлечь его к сотрудничеству в газете.

[3] *Георг* — женевский книгопродавец. Корреспонденции из России для Герцена посылались в адрес Георга.

[4] Отметим, что редакция «Недели» в № 3 от 18/30 января 1870 г. поместила некролог Герцена, в котором, разумеется, не сочла возможным указать, что Герцен сотрудничал в этой газете. В некрологе в осторожных выражениях говорилось о горячей любви Герцена к России, о его «искренности, глубоком убеждении, уме и несомненном таланте». В № 5 «Недели» от 1/13 февраля 1870 г. была помещена статья «Иностранные газеты о Герцене».

* *Далее зачеркнуто:* вексель можете

** *Далее зачеркнуто:* если страховое, то

М.-Э. ТЕСЬЕ ДЮ МОТЭ

Публикация Натальи Эфрос

Тесье дю Мотэ (Tessié du Motay), Мари Эдмон — французский химик, участник революции 1848 г. После июньской демонстрации 1849 г. эмигрировал из Франции и был заочно судим и приговорен к ссылке. В конце 1852 г. друзья (Прудон, Шарль Эдмон и Даримон) выхлопотали ему разрешение вернуться на родину. Тесье поселился в Париже, отошел от политической деятельности и посвятил себя исключительно своей специальности. Изобретения в области освещения газом доставили ему материальное благополучие. В конце шестидесятых годов он занял место директора газовой компании.

Имя Тесье неоднократно встречается на страницах «Былого и дум» и в переписке Герцена. Однако при каких обстоятельствах и когда произошло их знакомство, точно не установлено. В 1851—1852 гг., живя, как и Герцен, в Ницце, он входит в ближайший круг друзей писателя. Тесье находился возле Герцена во время постигших его тяжелых несчастий (гибели матери и сына, болезни и смерти Натальи Александровны). Он был посвящен и в семейную драму Герцена. Тесье принадлежал к числу тех лиц, которым Наталья Александровна поручила объясниться за нее с Гервегом, что, как известно, он и выполнил.

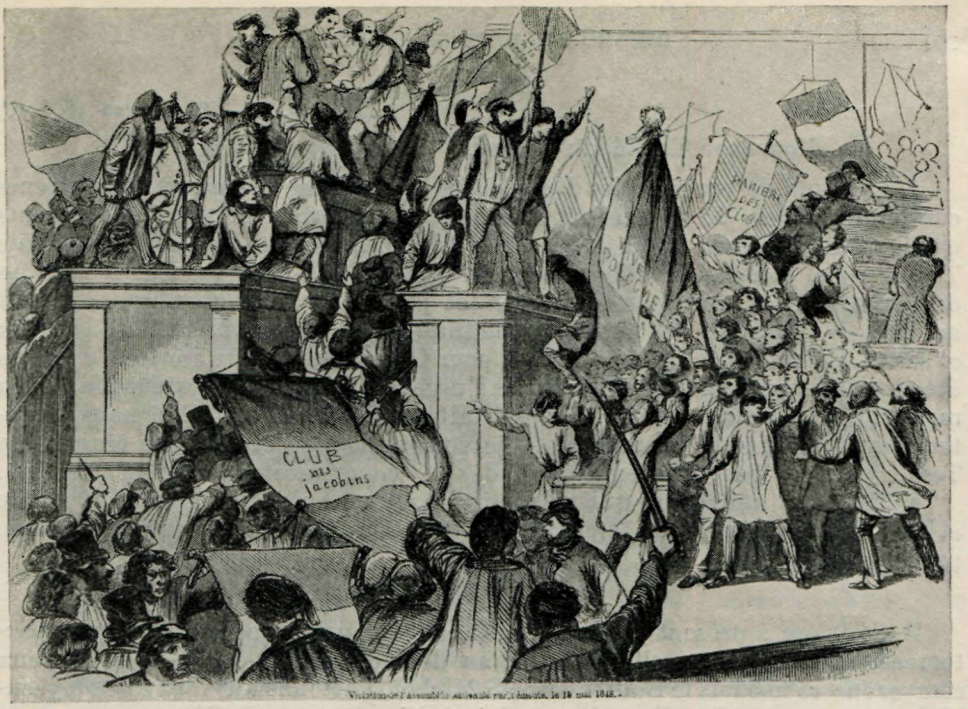
После смерти Натальи Александровны Тесье переехал к Герцену и стал учителем его сына. Составляя в августе 1852 г. духовное завещание, Герцен включил Тесье в состав опекунов своих детей.

С возвращением Тесье во Францию их дружеские связи не прерываются и сохраняются до конца жизни Герцена. Это не мешало Герцену замечать происходившие с Тесье перемены.

Он порицает лойяльность Тесье в отношении политического режима Второй империи. «Тесье очень мил..., — писал он Н. А. Огаревой 27 августа 1869 г. — Мне жаль, что у него ленточка ⟨орден⟩» (XXI, 431, 432). Герцен резко осуждает увлечение Тесье модным тогда спиритизмом. «Для меня нет признака больше верного глубокому падению нашего времени в Европе, как *плясанье столов*,— говорит он в письме к М. К. Рейхель от 9 июня 1853 г.— Зараза эта дошла и до вас. Тесье занимается им, после этого я сомневаюсь в его химических знаниях» (VII, 246—247). А в «Былом и думах», подводя итоги одиннадцатилетию, прошедшему со дня смерти Натальи Александровны, он с горечью пишет: «Сегодня второе мая 1863 года... Одиннадцатая годовщина. Где те, которые стояли возле гроба? Никого нет возле... иных вовсе нет, другие очень далеко,— и не только *географически*. Голова Орсини, окровавленная, скатилась с эшафота ⟨...⟩ Тесье дю Мотэ, химик-натуралист, остался тот же, кроткий и добродушный, но сзывает духов и вертит столы» (XIII, 569).

Переписка Герцена с Тесье, о существовании которой свидетельствует ряд упоминаний в письмах Герцена к третьим лицам, за исключением одного письма к нему Тесье от 18 октября 1852 г. из Женевы (VII, 159), в печати неизвестна. Наше письмо является, таким образом, первым публикуемым письмом Герцена к этому корреспонденту.

Письмо не имеет даты, но оно, несомненно, относится ко времени пребывания Герцена в Париже между 20 и 29 августа 1869 г. В этот приезд, в связи с намерением переселиться на постоянное жительство в Париж, Герцен был занят подысканием квартиры, о чем упоминается и в этом письме. Тесье, с которым Герцен часто тогда встречался, помогал ему в этих поисках. Дата письма поддается и несколько большему уточнению. Герцен пишет Тесье, что рассказал ему о своих планах остаться в Париже «с госпожей О⟨гаревой⟩ и Лизой». Об этой беседе, надо думать, идет речь и в письме Герцена к Н. А. Огаревой от 26 августа 1869 г. «Я Тесье сказал; он с дружбой говорит о тебе, велел сказать, что климат здесь здоровее Лондона и что найдется дом нам, если нужно здоровейший» (XXI, 431). Письмо к Тесье, написанное, очевидно, после этой беседы («я на днях говорил вам о своих планах»,— пишет Герцен), надо отнести, таким образом, к последним дням пребывания Герцена в Париже, т. е. к 27—29 августа 1869 г.



ВТОРЖЕНИЕ В ЗАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 15 МАЯ 1848 г.

«L'Illustration» от 21 мая 1848 г.

«Я был у дверей Ассамблеи, когда Гюбер произнес: «Именем французского народа объявляю Национальное собрание распущенным» («К друзьям», 2—8 августа 1848 г. Париж)

ДЕМОНСТРАЦИЯ 13 ИЮНЯ 1849 г. В ПАРИЖЕ

В центре — Ледрю-Роллен

«L'Illustration» от 15 июля 1849 г.

Герцен — участник этой демонстрации— должен был покинуть Францию

<Париж. 27—29 августа 1869 г.>

Mon cher Tessié du Motay,

J'ai besoin de vous [parler d'une chose bien intime] écrire quelques lignes confident<iell>es. Je vous ai dit l'autre jour en parlant de nos arrangements que je resterai ici avec M-me O<gareff> et Lise. D'après une question de Madame Tessié[1]—j'ai compris que vous ne lui aviez pas parlé de cela. Entre nous les demi-confidences sont impossibles, et je déteste les pénombres. Lise est ma fille — il y avait des nécessités de famille, qui nous obligeaient à garder ce secret. Cela n'a jamais été un secret pour O<gareff> et notre amitié n'a jamais été ébranlée. Maintenant je ne vois pas l'urgence de faire un mystère <de> [d'un rapport] cette alliance sérieuse et parfaitement humaine. Il faut nous accepter comme une famille constituée— je vous aime trop et j'estime trop M-me Tessié pour ne pas vous expliquer, dès le commencement, notre position.

Voilà, caro amico, ce qui m'a mis la plume en main pour vous écrire et «omni casu» laissez-moi la conviction que nous resterons bons amis comme par le passé.

Tout à vous Al. Herzen

P. S. Jusqu'à présent je ne suis pas avancé dans ma recherche d'un appartement. Il m'est impossible d'aller au delà de 6.000, 6.500 — et je veux essayer encore une fois le Boul<evard> S. Michel. J'attends une lettre de Meysenboug pour me décider. Peut-être irai-je à Nice— même à Gènes.

Перевод:

<Париж. 27—29 августа 1869 г.>

Дорогой Тесье дю Мотэ,

Мне нужно написать вам доверительно несколько строк.

Как-то на днях, говоря с вами о наших планах, я сказал вам, что останусь здесь с г-жей О<гаревой> и Лизой. Из одного вопроса г-жи Тесье [1] я понял, что вы не сказали ей об этом. Между нами недопустимы полупризнания, и я ненавижу неясность. Лиза — моя дочь; были семейные обстоятельства, заставлявшие нас держать это в тайне. Но это никогда не было тайной для О<гарева>, и наша дружба никогда не нарушалась. Теперь я не вижу более необходимости делать секрет из этого серьезного и очень человечного союза. Нас надо рассматривать как правомерную семью. Я слишком люблю вас и слишком уважаю г-жу Тесье, чтобы сразу же не разъяснить вам нашего положения.

Вот, caro amico, что заставило меня взять перо в руки, чтобы написать вам, и, «omni casu», позвольте мне сохранить уверенность в том, что мы попрежнему останемся добрыми друзьями.

Весь ваш Ал. Герцен

P. S. Я до сих пор не подвинулся в поисках квартиры. Я не могу дать больше 6000—6500 и хочу еще раз попробовать на буль<варе> С<ен->Мишель. Я жду письма от Мейзенбуг, чтобы принять решение. Быть может, поеду в Ниццу, а быть может, и в Геную.

Автограф (черновой). ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 203, л. 1.

[1] С женой Тесье Герцен был в дружеских отношениях еще со времени совместной жизни в Ницце в 1851—1852 гг.

Письма Герцена к иностранным корреспондентам переведены:

А. И. Берман — письмо к Ференцу Пульскому;

Л. Р. Ланским — письма к Станиславу Ворцелю, Карлу Гискра, Готфриду Кинкелю, Периклу Маццолени, неизвестной, неустановленному лицу, Эмилии Рив;

Л. С. Мандельштам — письма издателю газеты «Daily News», редактору «Kölnische Zeitung»;

Натальей Эфрос — Генри-Чарльзу Кэри (?), неизвестному польскому эмигранту, Пьеру-Жозефу Прудону, Шарлю Рибейролю, М.-Э. Тесье дю Мотэ.

ПИСЬМА к М. К. РЕЙХЕЛЬ 1850—1852 гг.

Публикация Н. Анциферова

«Письма — больше, чем воспоминанья: на них запеклась кровь событий, это—само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное».

А. Герцен (XII, 306)

1

Публикуемые письма адресованы Марии Каспаровне *Рейхель*, рожд. Эрн (1823—1916), ближайшему, после Огарева, другу Герцена и всей его семьи. Письма относятся к тем годам, когда Герцен переживал глубокий идеологический кризис, вызванный поражением революции 1848 года. Автор книги «С того берега» подвел итог событиям, потрясшим Западную Европу,— итог этот был полон горьких скептических раздумий. «Иностранцем своего времени» почувствовал себя Герцен в пору всеевропейской реакции. «Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848-го года,—указывал Ленин,—был крахом *буржуазных иллюзий* в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирноисторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии *уже* умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата *еще не* созрела» (В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 10).

В те же годы Герцен пережил и семейную драму, осмысленную им в тесной связи «частного» с «общим». Во вступлении к части пятой своих знаменитых мемуаров Герцен писал: «„Былое и думы" — не историческая монография, а отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее дороге» (XIII, 283). Такое понимание личной судьбы, распространявшееся и на пережитую семейную драму,— характерная особенность герценовского отношения к жизни. Идейному росту Герцена содействовало не только то, что он глубоко пережил крупнейшие революционные события своего времени, не только неустанные и зоркие наблюдения над социальным укладом окружавшей его действительности, но и события частные, личные: в своей семейной драме он обвинил тот несправедливый общественный строй, с которым боролся всю жизнь.

Публикуемые письма — новое свидетельство духовной силы Герцена: из семейной драмы он вышел не ослабленным, а окрепшим. В самые тяжкие дни он сохранял интерес к общественной жизни, продолжал литературные труды. Он просит свою корреспондентку прислать ему брошюру Мишле о России и Польше (письмо от 14 декабря 1851 г.), с огромной силой гнева и негодования откликается на государственный переворот Луи Бонапарта (письмо от 8 декабря 1851 г.), делится с Рейхель впечатлениями о «Несторе всех социалистов» — Оуэне (письмо от 14 сентября <1852 г.>), сообщает о своих политических спорах с Карлейлем (письмо от 23 декабря 1852 г.).

Из всего пережитого Герцен выходит победителем. Вот итог, подведенный им самим: «*Я переболел эту эпоху и, разумеется, по самому этому закалился*» (VII, 17; курсив наш.— *Н. А.*). Годы, последовавшие за преодоленным кризисом, были годами расцвета всех творческих сил Герцена. Автор книги «С того берега» приступает к созданию величайшего из своих произведений — «Былого и дум» и к устройству «Вольной русской типографии». Глубокая вера в величие исторических судеб России

спасла Герцена от пессимизма. Правда, залог социалистического переустройства мира он ошибочно увидел в общинном строе русского крестьянства; к преодолению новых, порожденных этой ошибкой иллюзий он подошел только в конце жизни, обратив свои взоры на «мир рабочий, сплоченный между собой» (XXI, 439), но в тот период, о котором сейчас идет речь, спасением от пессимизма, от отчаяния явилась *непоколебимая вера в великое историческое призвание русского народа*. В публикуемых ныне письмах, как и во всем творчестве Герцена, ярко отразился патриотизм Герцена-революционера. Любовь к родине, постоянная память о ней помогли ему преодолеть тяжелый душевный кризис. 26 марта 1852 г., после свидания с приехавшими из России Станкевичами, он пишет: «Стан‹кевичи› были и очень, очень освежили меня; мне русский дух необходим ‹...› Ах, если б этак на недельку дернуть!» (VII, 23). Чтобы воспитать детей в русской традиции, он хочет поручить их М. К. Рейхель: «...вы сделаете из детей русских», «Я вам завещаю развить в них сильную любовь к России» (письмо от 2 июля 1852 г.). «С какой нежностью вспоминаю я эти русские картины!» — восклицает Герцен в письме от 1 октября 1852 г., обращаясь к образам прошлого. «Так живо перед глазами зеленый лес и староста Василий Яковлевич...». Нерасторжимая связь с родиной, с русским народом была глубоко осознана Герценом в трудные дни семейных потерь.

2

Публикуемые письма служат ценным дополнением к части пятой «Былого и дум», посвященной описанию семейной драмы Герцена. В своей совокупности они дают ясное представление о том, как зарождался этот труд, которому сам автор придавал особое значение. Некоторые из публикуемых писем — своего рода черновые наброски к части пятой (см., например, письмо от 30 июня 1852 г.). Особая биографическая ценность этих писем заключается в том, что они лишены какой бы то ни было литературной обработки; они представляют собой непосредственное отражение дум и переживаний Герцена в пору труднейших личных испытаний.

В публикуемых письмах запечатлена преимущественно частная жизнь Герцена. Однако они имеют большой *общественный* интерес — и не только потому, что все, связанное с жизнью этого замечательного русского человека, драгоценно для нас, но, главным образом, потому, что в сознании Герцена, как уже было отмечено, «общее» и «частное» неразрывно связано одно с другим. Пережив гибель матери и сына, утонувших в море, переживая крушение семьи, он, узнав о государственном перевороте во Франции, писал М. К. Рейхель: «...уже не семья, а целая страна идет ко дну, и с ней, может быть, век, в который мы живем» (письмо от 8 декабря 1851 г.). «Общее, частное,— все неслось куда-то в пропасть,— читаем мы в «Былом и думах»,— и так уж далеко ушло под гору, что ни остановить, ни изменить нельзя было; приходилось ждать тупо, страдательно, когда все сорвавшееся с рельс полетит в тьму» (XIII, 542).

Ту же мысль выразила и жена Герцена, Наталья Александровна, в письме к Н. А. Тучковой-Огаревой от 27 января 1849 г.: «Что́ личное счастье, богатство, истина жизни — личной, ведь общее, как воздух, обхватывает тебя, а этот воздух исполнен только предсмертным, заразительным дыханием» («Русские пропилеи», т. I. М., 1915, стр. 262).

В «Былом и думах» содержатся такие строки: «*Мы знаем гуртовые события, а не судьбы лиц, находившихся в прямой зависимости от них* и в которых без видимого шума ломились жизни и гибли в столкновениях, кровь заменялась слезами, опустошенные города — разрушенными семьями, поля сражений — забытыми могилами» (XIII, 498; курсив наш.— *Н. А.*). Эти строки могут служить эпиграфом к публикуемым письмам. Ограничимся еще одной выдержкой: Герцен утверждал, что его семейный очаг опустел, «раздавленный при встрече двух мировых колес истории» (там же).

Говоря о двух мирах, Герцен имел в виду Россию и Западную Европу. Россия представлялась ему полной «дремлющих сил» (XIII, 497), а себя он осмыслял, находясь за рубежом, как ее представителя среди «старого, классического, образованного, но растленного и отжившего» буржуазного общества Запада (там же). Для Герцена вся растленность этого общества как бы воплотилась в личности виновника его семейной драмы — немецкого поэта Георга Гервега.

Размышляя о своей эпохе, Герцен часто обращался к образной аналогии с концом древнего мира, когда из лесов вышли варвары — носители новых исторических сил, чтобы сокрушить одряхлевшую рабовладельческую Римскую империю. Рассматривая свою семейную драму как результат «встречи двух мировых колес истории» (XIII, 498), Герцен видел в себе «варвара, осмелившегося быть свободным человеком между

ГЕРЦЕН С ДОЧЕРЬЮ ТАТОЙ
Дагерротип начала 1850-х гг.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

крамольными холопами Запада» (письмо от 30 июня 1852 г.), а в своем противнике — личность, в которой «точно сосредоточилась вся испорченность старого мира» (VII, 136). Во враге, «разбившем» его жизнь, Герцен видел типичного представителя западного мещанства, воплощенного Ж. Санд в образе Ораса, в себе — «степняка», «раненого медведя», оглушенного ударом, «который ревет и взметает землю» (XIII, 499).

Стремясь «проникнуть мыслью в событие», Герцен вернулся к идеям своей статьи 1843 г. «По поводу одной драмы». В статье этой он писал:

«Частная жизнь, не знающая ничего за порогом своего дома, как бы она ни устроилась, бедна; она похожа на обработанный сад, благоухающий цветами, вычищенный и прибранный. Сад этот может долго утешать хозяев <...>, но случись ураган,— он вырвет деревья с корнями и затопит цветы, и сад будет хуже всякого дикого места. Таким хрупким счастием человек не может быть счастлив; ему надобен бесконечный океан, который волнуется ураганами, но через несколько мгновений бывает гладок и светел, как прежде» (III, 257).

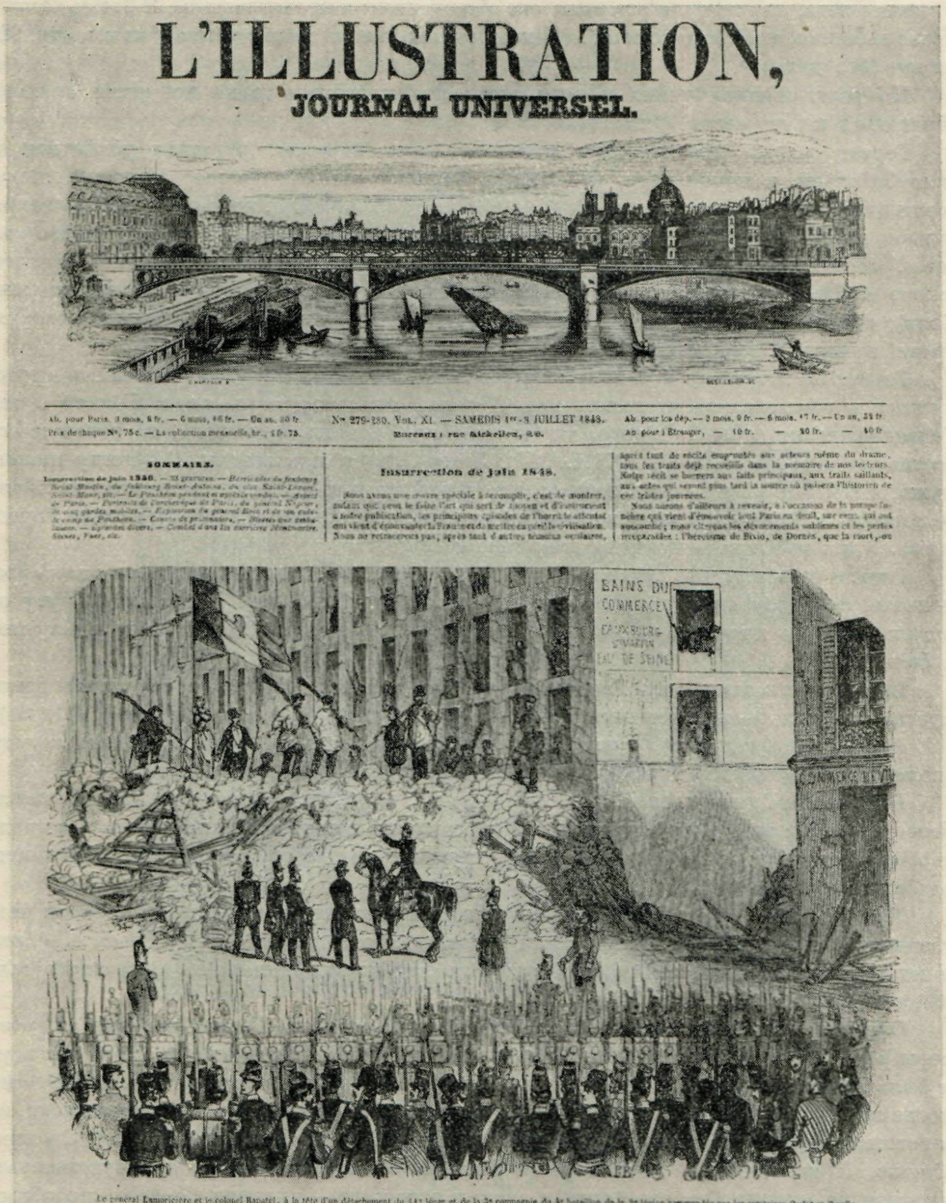
В романе «Кто виноват?» Герцен показал всю беззащитность этого сада, когда жизнь в нем замкнулась в себе самой. В трудные дни своей личной жизни Герцен вспомнил «Кто виноват?» и перечитал журнал Любеньки и последние главы. «Неужели это было пророчество моей судьбы так, как дуэль Онегина была предвещанием судьбы Пушкина?..» — спрашивал он себя (XIII, 519). И хотя семейная жизнь самого Герцена никогда не была «ограничена домашним кругом», но и она не устояла перед налетевшим «ураганом».

Анализируя корни пережитой им семейной драмы, Герцен подверг критике те представления о любви, которые были характерны для романтиков тридцатых и сороковых годов. В «Раздумиях по поводу затронутых вопросов» Герцен, полемизируя с реакционными взглядами Прудона на семью, писал по поводу проповеди свободной любви Ж. Санд: «Вчерашние рабы брака идут в рабство любви. На любовь суда нет, против нее сил нет <...> Я отрицаю то царственное место, которое дают *любви* в жизни, я отрицаю ее самодержавную власть и протестую против слабодушного оправдания увлечением» (XIII, 470).

Но протестуя против «рабства любви», Герцен в то же время признавал за ней огромную духовную силу. Освобожденная от юношеской экзальтации, любовь его к Наталье Александровне неколебимо прошла через все испытания. Наталья Александровна навсегда осталась для Герцена «*единственным женским образом*» (XII, 202) на его жизненном пути. Он писал, что их взаимная любовь «вела» их «через всю жизнь» (VII, 41). После посещения могилы Натальи Александровны 21 сентября 1863 г. Герцен занес в дневник: «Каменное молчание и легкий шелест кипарисов мне были странны и чужды. *Она не тут*; здесь ее нет,— она жива во мне» (XIII, 571). Чтить ее память Герцен научил и детей. Сила любви к Наталье Александровне объясняет и глубину отчаяния Герцена, которым полны письма, повествующие о семейной драме.

Вместе с мотивом любви к жене через все эти письма проходит мотив ненависти к Гервегу. Но не самое увлечение Натальи Александровны Гервегом, как оно ни было мучительно для Герцена, породило в нем ненависть к бывшему другу. Вспоминая свой отъезд из Цюриха в конце 1849 г. и свое прощание с Гервегом, Герцен писал: «Зачем он тогда не нашел силы прямо и открыто рассказать мне свою исповедь?.. Я был мягко настроен тогда, все бы пошло человечественно» (XIII, 514). Ко лжи и обману Гервег присоединил клевету. Нарушив тайну семейной драмы друга, Гервег обвинял Герцена в том, будто он насильно держит жену при себе, и уверял общих знакомых, что Наталья Александровна обещала последовать за ним, как только муж станет спокойнее относиться к ее увлечению.

Насколько прав был Герцен, обвиняя Гервега в сознательной клевете, явствует из недавно обнародованного письма Натальи Александровны к Гервегу, написанного после его изгнания из дома Герцена: «Я буду любить мою семью до тех пор, пока будет хоть сколько-нибудь любви в моем сердце <...> это моя природа; я люблю безумно <...> я живу жизнью моих детей. Я как бы слежу за каждым их движением даже когда я не вижу их; быть чем-нибудь для них, сделать их жизнь хоть немного более прекрасной — для меня невыразимое счастье. Я держусь за это всеми фибрами моего существа. Потом я знаю, что я для Александра» (E. C a r r. The romantic exiles. L., 1933, стр. 85; письмо без даты). В этом признании Натальи Александровны, сделанном ею Гервегу в ту пору, когда ее увлечение еще не прошло, выражена такая сила любви к семье, которая исключает всякую возможность разрыва. Это — мотивировка отказа следовать за Гервегом. В следующем письме Натальей Александровной высказано глубокое раскаяние, о котором Герцен рассказал в главе «Осеапо nox» («Ночь на океане»). Она писала: «Все, что было в Александре жизнерадостного, беззаботного, детского,



L'ILLUSTRATION,

JOURNAL UNIVERSEL.

Ab. pour Paris. 3 mois, 8 fr. — 6 mois, 16 fr. — Un an, 30 fr.
Prix de chaque N°, 75 c. — La collection mensuelle, br., 2 fr. 75.

N° 279-280. Vol. XI. — SAMEDIS 1er-8 JUILLET 1848.
Bureaux : rue Richelieu, 60.

Ab. pour les dép. — 3 mois, 9 fr. — 6 mois, 17 fr. — Un an, 32 fr.
Ab. pour l'Étranger, — 10 fr. — 20 fr. — 40 fr.

SOMMAIRE.

Insurrection de juin 1848. — 35 gravures. — Barricades du faubourg Saint-Martin, du faubourg Saint-Antoine, du clos Saint-Lazare, Saint-Maur, etc. — Le Panthéon pendant et après le combat. — Assaut de Paris. — Portraits de l'archevêque de Paris, du général Négrier, de cinq gardes mobiles. — Exposition du général Bréa et de son aide-de-camp au Panthéon. — Convoi de prisonniers. — Blessés aux ambulances. — Épisodes divers. — Combat dans les carrières Montmartre. Sonnets, Vues, etc.

Insurrection de juin 1848.

Nous avons une œuvre spéciale à accomplir, c'est de montrer, autant que peut le faire l'art qui sert de moyen et d'instrument à notre publication, les principaux épisodes de l'horrible attentat qui vient d'épouvanter la France et de mettre en péril la civilisation. Nous ne retracerons pas, après tant d'autres témoins oculaires, après tant de récits empruntés aux acteurs même du drame, tous les traits déjà recueillis dans la mémoire de nos lecteurs. Notre récit se bornera aux faits principaux, aux traits saillants, aux actes qui seront plus tard la source où puisera l'historien de ces tristes journées.

Nous aurons d'ailleurs à revenir, à l'occasion de la pompe funèbre qui vient d'émouvoir tout Paris en deuil, sur ceux qui ont succombé; nous citerons les dévouements sublimes et les pertes irréparables : l'héroïsme de Bixio, de Dornès, que la mort, ou

Le général Lamoricière et le colonel Rapatel, à la tête d'un détachement du 11e léger et de la 3e compagnie du 4e bataillon de la 2e légion commandée par les capitaines Oudot et Perelle, parlementant avec les insurgés de la barricade de la caserne du faubourg Saint-Martin.

ИЮНЬСКИЕ ДНИ

Ламорисьер ведет переговоры с повстанцами у баррикады в квартале С.-Мартен

«L'Illustration» от 8 июля 1848 г.

«...на всех переулках и улицах строились баррикады. Я, как теперь, вижу эти сумрачные лица, таскавшие камни... На одну баррикаду... взошел молодой политехник, водрузил знамя и запел тихим, печально торжественным голосом Марсельезу; все работавшие запели...» («С того берега», гл. «После грозы»)

я сняла с него, как кожу, и оставила его обнаженным и кровоточащим. Я боюсь самого моего дыхания, трогающего его <...>, как будто я лью яд на его рану» (там же, стр. 92; письмо без даты) *.

Но разглашенная тайна и возмутительная клевета еще не побудили Герцена обратиться к суду чести. Он молчал.

Гервег начал преследовать Наталью Александровну, угрожая убийством и самоубийством, и кончил тем, что послал Герцену «письмо грязное, отвратительное своим цинизмом, полное доносов на N<atalie> и разоблачений, которым даже названия нельзя найти» (VII, 39). На обороте конверта стояла надпись — «Дело честного вызова», заставившая Герцена прочесть письмо. Это письмо было написано Гервегом вскоре после катастрофы, постигшей семью Герцена (гибель в море его матери и сына Коли), сейчас же после начала болезни Натальи Александровны, болезни, которую врачи признали смертельной.

Гервег послал жену в Ниццу, поручив ей изобразить перед Герценом все происшедшее в самом оскорбительном для Натальи Александровны виде. Вместе с тем Гервег всячески добивался того, чтобы сбросить Герцена «с высоты», на которую его поставила любовь Natalie (XIII, 544). Эмма Гервег показывала К. Фогту письма мужа, с тем, чтобы тот передал их содержание Герцену: получить возможность лично беседовать с Герценом она уже не рассчитывала. В одном из писем к жене Гервег грозил сделать «позор» Герцена достоянием общества.

Герцен сознавал, что отказом от дуэли рискует собственной честью, так как «феодальный поединок стоит твердо в новом обществе» (XIII, 545). В письме к Гаугу он писал: «Я очень хорошо знал, с каким могучим и неумолимым чудовищем я вступаю в бой» (VII, 40).

Причины отказа от дуэли Герцен формулировал в своем «Призыве к братьям демократам»: «Дуэль — не искупление и не кара. Дуэль — удовлетворение» (VII, 66).

Независимо от исхода, дуэль восстанавливает честь, а Герцен, прибегая к суду «политических единоверцев», хотел лишить своего противника чести.

В письме к Гаугу он выдвигал новый мотив: «Мой отказ имел еще другой смысл, более широкий: этим поступком я хотел определенно и торжественно признать на деле свободу женщины. Я решил дать ей полную независимость, чтобы она сама могла реабилитировать себя» (VII, 40).

Узнав о вызове, Наталья Александровна послала Гервегу письмо, в котором подтвердила свой отказ следовать за ним и свой свободный выбор — остаться с мужем и детьми. По ее словам, поведение Гервега после разрыва сделало ей «отвратительным самое прошедшее» (XIII, 550).

Отказываясь покориться «феодальным» понятиям чести, Герцен исходил из своей веры в то, что он окружен «новыми людьми», которые поддержат его. Хотя эта вера и была лишена оснований, она помогла Герцену преодолеть отчаяние, овладевшее им после семейной драмы. Он получил много писем, выражавших не только сочувствие, но и готовность участвовать в его «vendetta» (мести). Герцену писали Маццини, Орсини, Мишле, Прудон. Даже друг Гервега Рихард Вагнер откликнулся сочувственным письмом на призыв Герцена (хотя и сделал оговорку — признал Гервега способным к моральному возрождению). Соратники Маццини: Медичи, Пизакане, Козенц и другие — прислали коллективное письмо, в котором признавали право Герцена «при данных обстоятельствах» отказаться от дуэли.

Однако суд чести, которого требовал Герцен, не состоялся. Демократия не произнесла приговора, как обнадеживал Маццини. И Герцен с горестью писал московским друзьям: «Кабы вы знали, как гадки, подлы, мерзки здешние людишки и как никуда не годны, не способны те, которые лучше, то, право, взглянули бы с благодарностью на Воробьевы горы» (VII, 165).

---

* Письма Натальи Александровны опубликованы в цитируемой книге в переводе на английский язык. В «пражской коллекции» сохранился негатив снимка с одной из последних записей Натальи Александровны: «Единственному, неизменному милому другу моему, моему кровному и духовному близнецу Александру Герцену. Наталия Герцен. Ницца, 1852 г. апреля 5-го».

Горькое разочарование Герцена в буржуазной демократии сделалось еще острее. В неспособности исторгнуть недостойного сочлена из своей среды он увидел ту же неспособность к решительным действиям, какую проявили буржуазные демократы в 1848 г. Вопрос о «вердикте» был для Герцена вовсе не завершением «несчастной трагедии», а «вопросом колоссальным», вопросом всей его «революционной религии, всех последних надежд» (письмо от 23 июля 1852 г.).

ПОСЛЕ ИЮНЬСКИХ ДНЕЙ В ПАРИЖЕ

Жены и дети повстанцев у ворот тюрьмы

«L'Illustration» от 23 июля 1848 г.

«Шесть тысяч семейств должны ждать депортацию, чтобы узнать, расстрелян или нет их брат, сын, отец... или ходить из крепости в крепость, искать, узнавать» («Письма из Франции и Италии», «Опять в Париже»)

«Последние надежды» угасли. Герцен обманулся в тех, кого считал «новыми людьми». Их нерешительность послужила ему еще одним «микроскопическим доказательством» того, «что не только на больших размерах, но и в самых мелких, демократия бесплодна, неспособна, что внутренние, незримые волокна ее так же бессильны, как и ее вестовая труба, как ее воззвание. Понимаете, как у меня теперь все это сплетено в один жизненный вопрос?» (там же). По отношению к буржуазной демократии не оставалось никаких иллюзий. И Герцен обратил свои взоры к Воробьевым горам, которые сделались для него символом его демократической веры в Россию и русский народ, символом его революционного патриотизма.

Эта обращенность к России помогла Герцену сладить со своим отчаянием и найти исцеление в открывшейся перед ним новой области его революционной деятельности. Герцен стал «за первый станок русского вольного слова» (XII, 8).

Но исцеление пришло далеко не сразу. Письма к М. К. Рейхель говорят о безмерно тяжелом пути, пройденном Герценом в переломный год.

Первоначально им овладела мысль, что «он перешел высшую точку своей жизни», и ему «надобно удалиться со сцены» (письмо от 5 июня 1852 г.). Он стал роптать на свое «каменное здоровье». Он готов был признать себя лишним в жизни и поручить детей М. К. Рейхель. Вместе с тем им владеет желание мести. В письме от 15 октября 1852 г. он принимает даже сравнение себя с Гамлетом, сделанное Тесье.

Но Герцен не был Гамлетом. Его никогда не покидало сознание силы. 3 декабря 1851 г. он пишет: «Сила в горести — победа». Он не только не признавал себя сломленным, но 15 июня 1852 г. написал: «Выше я никогда не стоял» (VII, 62). В одном из последних писем 1852 г. он дал превосходную по точности самооценку: «*Да, я останусь до конца жизни той же движущейся революционной натурой, semper in motu* *, *как я вырезал на печати. Это горенье, это бродящее начало спасает меня середь бедствий и страшных событий*» (письмо от 23 декабря 1852 г.; курсив наш.— *Н. А.*).

Пережив крах буржуазных иллюзий в социализме, наблюдая воочию умирание революционности буржуазной демократии на Западе, Герцен в то же время продолжал высоко ценить революционизирующие элементы западноевропейской жизни. «Европа хороша,— писал Герцен,— она кладет такие жгучие начала и так бередит раны, что люди не оседают, а рвутся вперед...» (там же).

«Всегда в движении», «вечно рвущимся вперед» — таким мы и знаем автора «Былого и дум» и писем «К старому товарищу», таким он и вошел в историю. В публикуемых письмах ясно вырисовывается отрезок пути, пройденного Герценом в течение «страстного» года (письмо от 5 июня 1852 г.), пути через огромные потрясения к формированию действительно «нового человека», каким Герцен хотел сознавать себя (письмо от 23 июля 1852 г.).

Вопрос «быть или не быть» решен безоговорочно в пользу «быть» — быть и действовать. Многие страницы публикуемых писем, полные отчаяния, вызванного смертью жены, свидетельствуют не о слабости духовных сил Герцена, а о глубине его любви к Наталье Александровне. Его поддерживает сознание, что он спас ее от Гервега, что он помог ей преодолеть болезненную страсть к этому недостойному ее любви человеку. Наталья Александровна в последние дни жизни писала Н. А. Тучковой-Огаревой в Россию: «Я никогда не была так счастлива, как теперь» («Русские пропилеи», т. I. М., 1915, стр. 273). Она завещала М. К. Рейхель: «...Береги детей, чтобы клеветы на наш союз не коснулись их; они могут и должны только благословлять его <...> *на них так ясна печать истинности и полноты этого союза. И с ней они не погибнут...*» (письмо, датируемое серединой марта 1852 г.). Сознание того, что он спас свою жену, давало силы Герцену для борьбы с «духом уныния» и вдохновляло его на создание памятника, достойного Натальи Александровны: Герцен решил запечатлеть ее образ в своих воспоминаниях. «Я беру назад, что писал в прошлом письме о ненужности. На мне еще лежат обязанности сказать погребальное слово и слово благодарности»,— писал он 7 июня 1852 г., вскоре после смерти жены.

Первоначально это «слово» должно было быть обращено только к московским друзьям. В большом письме от 30 июня 1852 г.— уже целая программа «Былого и дум». «Я принялся было писать о всех последних событиях моей жизни для Огарева и московских друзей...»,— сообщал Герцен М. К. Рейхель.

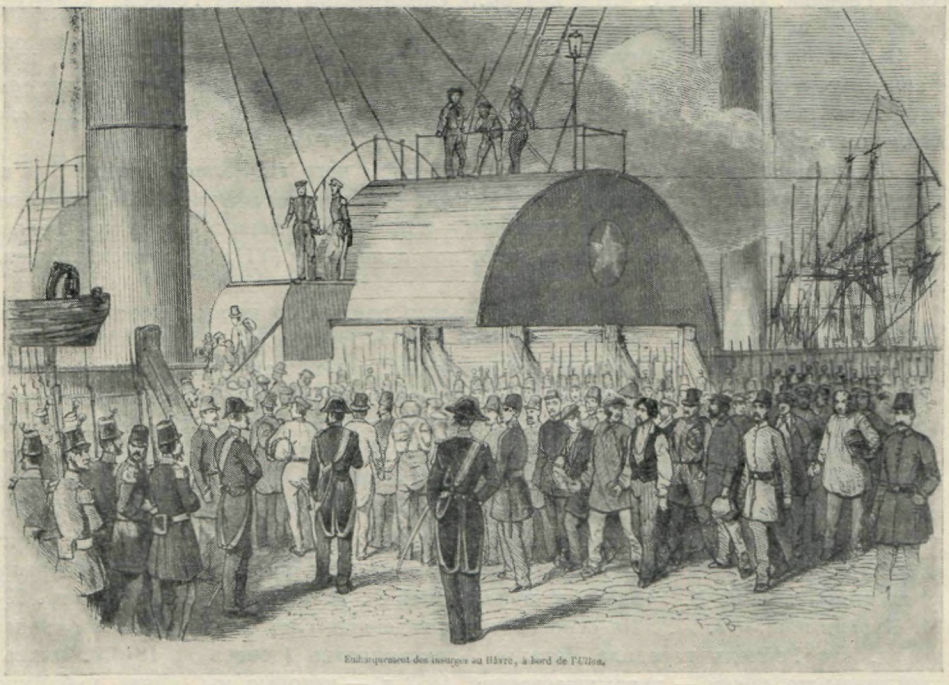
Герцен начал писать «Мемуар», чтобы сказать правду о своей семейной драме, чтобы отомстить врагу и создать памятник своей любви. Публикуя несколько страниц, названных им «Oceano nox», он писал: «Этот отрывок (никогда еще не печатавшийся) принадлежит к той части „Былого и дум", которая будет издана гораздо позже, и для которой я писал все остальные» (XIII, 531). Так казалось Герцену. В действительности желание рассказать друзьям о семейной драме послужило только эмоциональным толчком к началу работы, преследовавшей широчайшие общественные задачи и вдохновлявшейся этими задачами.

---

* всегда в движении (лат.).

Герцен сумел разжать сжимавшее его кольцо, ему стало «тесно за оградой личного», как бы широко он ни понимал это личное, ему нужен был «бесконечный океан» исторической жизни и борьбы народов, и он, работая над своими воспоминаниями, постепенно перешел от «личного», осознанного им в плане «общего», к «общему». Так создавалась замечательная эпопея «Былое и думы» — энциклопедия не только русской, но и общеевропейской жизни.

В одном из последних публикуемых писем (от 23 декабря 1852 г.) отчетливо звучит мотив, зовущий к борьбе: «У меня теперь вертится в голове удивительный проект: начать агитацию об освобождении крестьян». А 5 февраля 1853 г. он, обращаясь к М. К. Рейхель с просьбой сделать ее дом центром для сбора материала из России, пишет ей: «Главное теперь — пропаганда об эмансипации мужиков» (VII, 179). Заканчивая 5 июля 1860 г. вступление к «Былому и думам», Герцен писал: «Пусть же



ПОСАДКА НА КОРАБЛЬ В ГАВРЕ УЧАСТНИКОВ ИЮНЬСКОГО ВОССТАНИЯ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ В ССЫЛКУ

«L'Illustration» от 12 августа 1848 г.

«Вчера отправили в депортацию 750 человек по железной дороге в Гавр. Доселе никто не верил в возможность без суда... сослать 8000 человек»
(«К друзьям», 2—8 августа 1848 г. Париж)

„Былое и думы" заключат счет с личною жизнью и будут ее оглавлением. Остальные *думы* — на дело, остальные *силы* — на борьбу» (XII, 8).

* * *

Публикуемые письма были обнаружены среди материалов «пражской коллекции» ЦГАОР (ф. 5770). В объемистом деле 247 хранится 31 автограф писем Герцена (из них 28 автографов были опубликованы Лемке в VII томе редактированного им издания, три печатаются нами впервые—№ 21, 24 и 26 нашей публикации) и три автографа писем Н. А. Герцен (публикуемые также впервые — № 23, 25 и конец письма № 22). Все эти письма датируются 1852 годом. Еще один, четвертый, автограф письма Герцена, также впервые публикуемый нами, сохранился в деле 302 «пражской коллекции» (№ 2).

Кроме того, в том же деле 247 находятся три объемистые тетради. На первой написано: «Copies. Lettres de Herzen à Marie Reichel, 1852, № 1», на второй: «Copies. Lettres de Herzen à Marie Reichel, 1852, № 2», на третьей: «Copies. Lettres de Madame Natalie Alexandrovna Herzen à Marie Reichel, 1851—1852» ⟨№ 3⟩.

В этих трех тетрадях — копии 64 писем; из них 51 письмо Герцена и 13 — его жены. Тетрадь № 1 содержит копии 9 писем Герцена и копию начала письма № 38 (нашей публикации), а также копии трех писем к мужу Марии Каспаровны, Адольфу Рейхелю. В тетради № 2 — копии 24 писем Герцена к М. К. Рейхель и четырех писем к ее мужу. В тетради № 3 — копии 11 писем Герцена и 13 писем его жены (письмо Натальи Александровны № 12 скопировано дважды).

Страницы этих тетрадей перенумерованы. В первой тетради нумерация — от 57 до 100-й страницы, во второй — от 101 до 158-й, в третьей — от 159 до 204-й. Судя по нумерации тетради № 1, существовала еще одна тетрадь, не попавшая в архив семьи Герцена. Возможно, что в ней были скопированы письма Герцена к Рейхель (тогда Эрн) за более ранние годы.

За исключением упомянутых трех писем Герцена и трех писем его жены, представленных и в оригиналах и в копиях, подлинники остальных писем, с которых снимались копии, отсутствуют в деле № 247 и в других материалах «пражской коллекции».

Возникают вопросы: кем, когда, для кого и для чего снимались копии? Где находятся оригиналы? Почему письма эти не были опубликованы Лемке (за исключением письма-исповеди Натальи Александровны — оно представлено в «пражской коллекции» копией, Лемке же опубликовал текст по подлиннику (VII, 16), местонахождение которого нам неизвестно)?

Трудно, ввиду отсутствия документальных данных, с полной определенностью ответить на эти вопросы. Можно отвечать только гадательно.

Сведения о судьбе оригиналов публикуемых писем находим в воспоминаниях Рейхель, но сведения эти, вследствие своей противоречивости, не позволяют внести ясность в вопрос. «Мне писал Герцен часто; у него была потребность высказываться без стеснения. Я была своя в его семье, а несчастье с Колей и его матерью соединило нас в одном горе,— рассказывает Рейхель.— Перечитывая теперь, после многих лет, его письма, *которые я после его кончины передала его старшей дочери*, чтобы они не затерялись после моей смерти, так как в моей семье никто не знал по-русски, я вижу, сколько доверия и дружбы он имел ко мне» («Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель и письма к ней А. И. Герцена», М., 1909, стр. 73—74. Курсив наш.—*Н. А.*). На основании приведенных слов можно было бы сделать вывод, что Рейхель передала Наталье Александровне (дочери) в 1870 г. также и оригиналы тех писем — преимущественно 1852 г.,— которые мы сейчас публикуем по копиям. Однако такому выводу противоречит другое свидетельство Рейхель: «Во время моей болезни ⟨в 1852—1853 гг.⟩ *затерялись письма до и о его ⟨Герцена⟩ приезде в Лондон*, который совершился еще в 1852 году; есть только письмо, где он пишет, что встретил новый год 52—53 на корабле (там же, стр. 78; курсив наш.— *Н. А.*). Нет сомнения, что *это и есть те письма, текст которых мы публикуем по дошедшим до нас копиям и по четырем автографам.* Повидимому, подлинники писем были найдены и поступили в семейный архив Натальи Александровны Герцен в Лозанне уже после того, как Рейхель в 1909 г. издала свои воспоминания.

Причины, по которым затерянные и вновь найденные письма не попали в свое время в публикацию Лемке, также не могут быть установлены с полной определенностью. Тут возможны два предположения. Все письма, образующие ныне дело № 247 «пражской коллекции», касаются, помимо затронутых в них общих вопросов, пережитой Герценом и его женой семейной драмы. Этой драме посвящен особый раздел части пятой «Былого и дум». Сам Герцен решился опубликовать лишь несколько отрывков этого раздела, объединив их в одну главу «Oceano nox» (посвященную свиданию с Натальей Александровной в Турине, гибели сына и матери и кончине Н. А. Герцен). И после смерти Герцена его семья, в архиве

которой оставалась эта часть «Былого и дум», долгие годы не решалась публиковать ее. Лишь в начале десятых годов нашего века Наталья Александровна дала согласие Лемке на издание неопубликованной части «Былого и дум», чтобы положить (по ее словам) конец кривотолкам по поводу семейной драмы. Возможно, что дети Герцена не захотели, чтобы в издании собрания сочинений и писем их отца оказались слишком акцентированы именно эти страницы, полные глубокого трагизма. Однако, с другой стороны, Наталья Александровна все же разрешила Лемке опубликовать 41 письмо за 1850—1852 гг. из той серии писем к Рейхель, которая поступила к ней в 1870 г. Эти письма также касались семейной драмы. Поэтому возникает второе и более вероятное предположение: письма, считавшиеся утраченными, нашлись при разборе архива Рейхель после ее смерти в 1916 г. (в Лозанне), когда Лемке уже не имел возможности включить их в свое издание.

Отсутствие оригиналов писем в «пражской коллекции», где они представлены копиями, не должно удивлять. Известно, что не все бумаги Герцена, хранившиеся его наследниками, попали в «пражскую коллекцию». Кое-что особенно ценное с точки зрения семьи было удержано в качестве реликвий. Вероятно были причислены к реликвиям и подлинники писем к Рейхель за 1850—1852 гг. Сравнительно незадолго до передачи архива Герцена в Прагу и были, нужно думать, сняты копии с писем.

О позднем происхождении копий свидетельствует примечание копииста, имеющееся на одной из копий: «Письмо напечатано Лемке в 1923 г., VII т., стр. 17» (указание неточное: VII том вышел в 1919 году). Кем именно были сделаны копии — неизвестно. Повидимому, это был простой переписчик, и притом малоквалифицированный.

Как публиковать копии, если оригиналы отсутствуют? Насколько точно соответствуют они оригиналам? Нужно отметить, что переписчик не все сумел разобрать: он допустил много ошибок, при копировании французских, английских и итальянских слов, в некоторых случаях он не разобрал даже русского текста. *В копиях немало описок, затемняющих понимание отдельных деталей.* Копии производят впечатление сделанных очень поспешно, хотя почерк и разборчивый. Так, например, в копии письма Н. А. Герцен от 14 декабря 1851 г. несколько раз от ее лица речь ведется в мужском роде.

Однако сличение текста копии письма-исповеди Натальи Александровны (от 18 февраля 1852 г.) с текстом, опубликованным М. К. Лемке, как отмечено выше, по подлиннику, приводит к выводу, что все же существенных смысловых различий нет. То, что Лемке пользовался подлинником, а не публикуемой копией, явствует из его примечания: «Вот приложенное письмо Н. А—ны, написанное частью рукою Герцена, частью ею самою» (VII, 15).

Сличение копий с оригиналами писем Герцена к М. К. Рейхель, хранящихся в «пражской коллекции», приводит нас также к выводу, что сколько-нибудь существенных смысловых различий между ними нет. Можно надеяться, что и другие копии не искажают основного содержания писем.

Явные ошибки и описки переписчика исправляются нами без оговорок. В тех же случаях, когда являлось подозрение, что искажена мысль автора — ввиду невозможности сличить копию с подлинником — в тексте предложено наше толкование, а в примечаниях дан точный текст копии. Если же смысл восстановить трудно, в соответствующем месте ставится: ⟨!⟩

Стилистические неровности не исправлены, так как они могут быть отнесены на счет самого Герцена, находившегося в тяжелом душевном состоянии: он не следил за слогом, мог неясно выразить мысль.

В нашу публикацию писем Герцена к М. К. Рейхель включены также тесно связанные с ними письма Герцена к дочерям его — Наталье и Ольге, семь писем Герцена к мужу М. К. Рейхель, известному немецкому музыканту, Адольфу Рейхелю, а также тринадцать писем к М. К. Рейхель жены Герцена, Натальи Александровны. Письма Натальи Александровны печатаются петитом.

1

24 ноября ⟨1850 г.⟩ Ницца

Я только ждал совершенного окончания начала свежей дочери[1], чтобы положительно сказать, что все окончилось хорошо. Сегодня с обеда будет 5-⟨й⟩ день. Все это в порядке. Ну, а об вас я все пел, когда узнал, что вы мерились*, следующее:

Жду я мою Мери[2],
Милую Мери мою,
Веду ее в mairie,
Возьму ее в Лювру **
Отдам ее я мэру
Для разного примеру.

Из этого видите, что вы мне мерещитесь беспрестанно mehr als viel***.

Письма ваши хороши. Вы делаете обратное тому, что мальчишки: те уходят подальше, чтобы показать нос, а вы уехали за тридевять земель, чтобы оказывать дружеские чувства.— Ну, дайте вашу руку, тонкую, длинную — так, как в песне поется о конопле[3].

Я больше удивился ⟨тому⟩, что у меня родилась Ольга, нежели то⟨му⟩, что родилась дочь ⟨?⟩[4] Но с Любашей как-то соединяются одни ненавистные воспоминанья прачек и марательниц, а с Ольгой — Олег вещий. К тому же хорошо по части равенства:

Саша
Тата
Коля
Оля

А если будет еще лет через 10, то я назову просто «Ля».

☞ Что же Ротбург и Шомшильд[5]

Что же письмо о Бакунине?
А вот что-то из России? известите, если есть что.
Отдали ли письмо Мас⟨с⟩оле[6] — жду ответа?

[1] 20 ноября 1850 г. у Герцена родилась дочь Ольга.

[2] *Мери* (Мария) — имя адресатки письма, Марии Каспаровны Эрн, которая только что, в ноябре 1850 г., вышла замуж за Адольфа Рейхеля.

[3] «*Песня о конопле*» начинается словами: «Я посею конопельку не на пахану земельку, уродися, конопелька, тонка, долга, высока...» — А. Соболевский. Великорусские народные песни, т. III, 1897, стр. 363.

[4] Судя по следующей фразе, имя *Ольга* было дано новорожденной после каких-то семейных споров.

[5] *Ротбург* и *Шомшильд* — шутливые анаграммы из фамилии банкира Ротшильда и Шомбурга, одного из его служащих.

[6] Мари-Александр *Массоль* (Massol, 1805—1875) — философ, сенсимонист, впоследствии масон. Масс*оле*, вместо Массолю — продолжение шутки с именем новорожденной дочери Ольги.

2

⟨Ницца.⟩ 25 декабря ⟨1850 г.⟩[1]

Ваши письма отраду мне в старости подают,—право, карейшая**** «Маша́», как вас называют немцы, думая, что это по-русски.

---

* Т. е. оформили свой брак в мэрии (от фр. mairie).

** Лувр.

*** более чем часто (нем.).

**** дражайшая (от итал. «сага»).

Вот за это вам, что пишет об вашем мерильстве* брачном Мельгунов[2], прошу затвердить: «ему желаю быть основной тоникой, ей — доминантой, обоим желаю accord parfait с разрешением en fis. И этому fis желаю перехода из mineur в majeur даже в tambour majeur, только не в русский и немецкий dur. Fermata»[3].

М. К. РЕЙХЕЛЬ

Фотография 1860-х гг.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

[1] Публикуемое письмо было переслано Марией Каспаровной Рейхель дочери Герцена, Наталье Александровне, в 1906 г. (ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. № 302). Среди тех писем, которые были скопированы в трех тетрадях дела 247, оно не обнаружено.

Отправляя это письмо, М. К. Рейхель писала: «Вот тебе, карейшая Тата, драгоценный листочек, оставь его теперь у себя и береги». На оборотной стороне письма Герцена рукой его жены написано несколько строчек карандашом. Они почти стерлись: их не могла уже разобрать и Мария Каспаровна. «Первые строки мамы: „Лежу в постели от лома в ногах. За Тату mille, mille mercі, она очень довольна была адресом". Далее, как ни старалась, не могла разобрать», — писала Мария Каспаровна.

* бракосочетании в мэрии (от франц. «mairie»).

[2] *Мельгунов* — Николай Александрович Мельгунов.

[3] Поздравление Марии Каспаровне и ее мужу — известному музыканту — выражено в музыкальных терминах (тоника, доминанта и др.), так, что каждый термин в отдельности и весь ряд их в целом имеют и другой смысл: пожелание семейного благополучия новобрачным.

Accord parfait—полнозвучный аккорд=совершенное семейное согласие. *С разрешением en fis*—гармонический переход или разрешение в тональность фа диез (нем. «fis»)= разрешение от бремени сыном (франц. «fils»). *Переход из mineur в majeur* — в гармонии переход из минорного лада в мажорный = пожелание благополучного перехода из малолетнего возраста в совершеннолетний будущему сыну Рейхелей. *Tambour majeur* — старший барабанщик = человек с весом, положением в обществе. *Dur* — обозначение мажорного лада = в шутливом «переводе» Мельгунова: без русской и немецкой «*дур*ости» или само*дур*ства. *Fermata* — знак остановки в музыке; здесь — вместо точки.

3

ПИСЬМО Н. А. ГЕРЦЕН[1]

<Ницца.> 11 ноября <1851 г.>

Ах, вы, мои болезные, ну, какое уж теперь празднование рождений [2], солнца поворот, пора позабыть этот день, новое поколение на смену!

Не горюй об отъезде Колюши, он теперь пошел, как маятник, из стороны в сторону, того и гляди прикатит опять в Париж, аль, что еще было бы <лучше> — ты к нему, к нам. Во всяком случае разлука не до мая предстоит. У нас тоже «сарынь на кичку» [3] от ожиданья. Саша понтует, Тата роется в своих тряпочках, все для Коли выбирает. А у нас такая стужа, что я чуть было не слегла, да уж взяла все меры, чтобы Колю не в постели встретить. И мы новостями-то не богаты. Пока прощай, рукопожатия, и Максимилиановичу[4] тоже, и Морицу, и Саше[5].

[1] Первое письмо Н. А. Герцен из публикуемой серии (от 12 октября 1851 г.) не печатается, вследствие незначительности его содержания.

В перечне писем, приложенном к третьей тетради, обозначено письмо Н. А. Герцен от 24 ноября 1850 г.; однако копия с него почему-то не снята, и оно остается неизвестным.

[2] Наталья Александровна Герцен родилась 22 октября ст. ст., или 3 ноября н. ст. 1817 г.

[3] *«Сарынь на кичку»* — Н. А. Герцен имеет в виду царивший в их доме беспорядок, вызванный ожиданием приезда Коли, Л. И. Гааг (матери Герцена) и Шпильмана (см. о нем примеч. 1 к письму № 4).

[4] *Максимилианович* — повидимому, муж М. К. Рейхель.

[5] *Мориц* и *Саша* — дети А. Рейхеля: Мориц — от первого брака, Саша — от М. К. Рейхель.

4

<Ницца.> 11 ноября 1851

Вот теперь-то у вас, вероятно, «сарынь на кичку» — Шпильман[1] шумит, Коля кричит, Луиза болит голову[2], Луиза Ивановна покупает, Адельгейда[3] бегает, дилижанс свищет.

Les v'la donc partis *.

А у нас Наталья Александровна № 1[4] в лихорадке, ветер, тишина <...> Саша рисует вату и думает, что это облака, для бабушки. Ольга гораздо живее представляет, что как бы человек ни был молод, а нужды имеет большие и малые.

☞ Aviso importante **:

Я послал два экземпляра брошюры[5] на адрес Луизы Ивановны 7-го числа; их можно получить на почте, если не получены, до отъезда. Один из них отдайте Сазонову для Прудона, а у него есть для Мас<с>оля. Сверх сего, у Франка[6] в вашем распоряжении 5 экземпл<яров>; да только попросите, ради бога, Рейхеля спросить его, отослал ли он по приказанию

* Ну, вот они и уехали (франц.).

** Важное уведомление (итал.).

Мишле, чтобы непременно в редакции журналов доставить[7]. От Мишле я получил превосходное письмо[8], насчет этого письма он будет отвечать в издании своих легенд[9].

Турне сильвуплэ*.

А я уже с тех пор еще статейку махнул о Бакунине[10]. Мишле ее пришлет⟨!⟩и напечатает. Да, хотел бы он портрет, помните, что у Боткина был, — как бы, где бы[11]? Головин[12] взбешен, что я написал брошюру к Мишле, из зависти. А здесь что-то толкуют, что скоро, с позволеньем сказать, в кандалы рефугиариев**, — да всех на остров Сардинию, а потом сортировать:

Прусских — к прусским,
Русских — к русским etc... etc.
За хохол да на съезжий *** двор,
За виски да в тиски ****

Вот вам и Фегрд Мануйлоч[13], я даже, тью, уши навострил в Швейцарию. Мельгунову второй экземпляр отдайте.

[1] Иоганн *Шпильман* — воспитатель глухонемого сына Герцена Коли, друг всей семьи. Шпильман часто писал о своем воспитаннике к М. К. Рейхель; письма эти хранятся в «пражской коллекции».

[2] *Луиза* — Л. Цабель, племянница Л. И. Гааг; она плохо говорила по-русски.

[3] *Адельгейда* — горничная матери Герцена (см. о ней примеч. 5 к письму № 17).

[4] Жена Герцена.

[5] Речь идет о брошюре Герцена «Du développement des idées révolutionnaires en Russie» («О развитии революционных идей в России»).

[6] *Франк* — книгопродавец в Париже.

[7] 17 ноября 1851 г. Мишле писал Герцену, что получил три экземпляра его брошюры и передал их со своей рекомендацией в редакции «Le National», «L'Avénement du Peuple» и «La République». Мишле собирался, получив от Франка новую партию брошюр, передать их и в другие редакции (VI, 531—532).

В письме к Герцену от 27 сентября 1851 г. Прудон упоминает о своем разговоре с Мишле по поводу какой-то брошюры Герцена. М. К. Лемке ошибочно указал в подстрочной сноске, будто речь идет о статье «Русский народ и социализм». Между тем эта статья вышла отдельной брошюрой лишь в начале 1852 г. В действительности Прудон, вероятно, имел в виду брошюру «Du développement des idées révolutionnaires en Russie».

[8] Письмо Мишле от 3 ноября 1851 г. было написано в связи с полученной им от Герцена статьей «Русский народ и социализм». В этом письме французский историк обещал Герцену изменить свой отзыв о русском народе, высказанный им в «Легенде о Костюшке». Письма Мишле к Герцену опубликованы Г. Моно (G. Monod), мужем дочери Герцена, Ольги в «La Revue», 1907, № 10—11.

[9] Мишле ответил Герцену в брошюре «La Pologne et la Russie» (Paris, 1852), вошедшей затем в книгу «Légendes démocratiques». См. примеч. 3 к письму № 11.

[10] Герцен имеет в виду статью «Michel Bakounine» (VI, 466—485).

[11] 15 ноября 1851 г. Герцен послал Мишле эскизный портрет Бакунина, набросанный по памяти Н. А. Герцен (VI, 521).

[12] *Головин* Иван Гаврилович (1816—1880-е годы) — журналист; с 1814 г. эмигрант. Герцен познакомился с ним в Париже в 1849 г., встречался в Женеве, Ницце и Лондоне. Беспринципная политическая деятельность Головина оттолкнула от него Герцена, и впоследствии он порвал с ним (см. «Былое и думы», гл. IX «И. Головин»).

[13] *Фегрдом Мануйлочем* Герцен называет здесь в шутку сардинского короля Виктора-Эммануила II. *Фегрд* — исковерканное «Беренгард». Герцен подшучивает над претензией савойской династии считать себя древнейшей в Европе: она вела свой род от короля Павии Беренгарда.

---

* tournez s'il vous plaît (франц.) — переверните, пожалуйста ⟨здесь кончалась первая страница письма⟩.

** изгнанников (от лат. «refugere»).

*** *В копии:* свежий

**** *В копии:* стисни

5

28 ноября 1851 года, г. Ницца

Дайте руку вашу — прибавить мне нечего, последние надежды исчезли: сегодня 13-й день, и всё молчит[1].

Бедна стала жизнь. И злоба в душе, рядом со страданьем; дом наш изменился, стен узнать нельзя, да, *бог посетил его* — точно чума была или казнь. Даже люди присмирели, будто испугались. Один я стою и дерзко смотрю судьбе в глаза — пусть еще что-нибудь выдумает, мне всё равно: готов умереть или жить, готов, т. е. окончен. Наташа в дурном состоянии: то спит часов пять-шесть, то в какой-то неестественной экзальтации, чисто нервной, и тает, точно после месяцев болезни.

Дети здоровы, Оленька растет.

Я всё боюсь ваших писем, так сердце и сожмется, как подают пакет.

Прощайте, берегитесь, умоляю вас...[2] Я буду вам писать и расскажу все после, дайте немного забыть.

[1] 16 ноября 1851 г. Герцена постиг тяжелый удар: произошла катастрофа с пароходом «La Ville de Grâce», на котором возвращались в Ниццу мать Герцена, сын его Коля и воспитатель мальчика — Шпильман. Все трое погибли (VI, 524).

[2] М. К. Рейхель в это время кормила грудью ребенка. Этим объясняются настойчивые просьбы к ней Герцена и его жены — «беречь себя». М. К. Рейхель была очень привязана к Коле и тяжело переживала его гибель.

6

ПИСЬМО Н. А. ГЕРЦЕН

Ницца. 28 ноября <1851 г.>

С первой минуты ты была неразлучна, но писать я не могла, а теперь... не утешенье хочу принести тебе, ни себе его не ищу, оно невозможно, оно не нужно. Ищу твоей руки, зову тебя вместе нести невыносимо тяжкий крест...

Вся сила моя ушла на ежеминутное ожиданье десяти дней и ночей, все не могу поверить, не могу понять и все жду, жду, сама не знаю чего...

Береги себя, береги, напиши мне о себе, поскорее. Обнимаю тебя крепко, крепко.

Наталия Герцен

7

1 декабря 1851 г. Ницца

Я жду с нетерпением и боюсь письма от вас. Как страшно у вас теперь. У нас первый день была какая-то судорожная преокупация*. А у вас письмо и молчание. Чем ближе человек, тем труднее писать.

Воображенье мое до сих пор отказывается представить — я всё думаю — завтра что-нибудь будет.

Жму руку Рейхелю. Прощайте.

И письмо из России не дошло до меня[1].

[1] О каком не дошедшем письме из России идет здесь речь, установить не удалось.

8

ПИСЬМО Н. А. ГЕРЦЕН

<Ницца.> 1 декабря <1851 г.>

Смотрю на твои письма [1] и все хочу писать тебе, и все не могу, и все не знаю, что сказать,— вместе бы сидеть, молча. Ты знаешь, что с нами, мы знаем, что с тобой; что говорить — точно кожа снята с ног до головы; каждое движение, каждое прикосно-

---

* озабоченность, беспокойство (от франц. «préoccupation»).

вение — нестерпимая боль, а *надо* терпеть и будем; вот рука моя — обопрись на нее, если нужно тебе, пока я жива.

Прости же, друг, что не говорю много; ей-богу, сил нет. После, после... Обнимаю тебя. Пиши о себе, что Саша твой? И мой уж теперь больше, чем когда ...*

Твоя N〈a t a l i e〉

Александр все собирается тебе большое письмо написать. Дети просят написать тебе, что обнимают тебя.

[1] В «пражской коллекции» (ед. хр. 102) сохранилось несколько писем М. К. Рейхель, вызванных известием о катастрофе у Гиерских островов. Одно из них (без даты является первым откликом Рейхель на несчастье, постигшее семью Герцена. На основании первых слов ее письма от 30 ноября (см примеч. 1 к письму № 9) можно предположить, что недатированное письмо было написано 29 ноября.

ГИЕРСКИЕ ОСТРОВА

«L'Illustration» от 19 ноября 1853 г.

«Видели ли вы в „Illustration" за неделю было представлено самое то место на Гиерских островах, где было несчастье, и почти в годовщину?» (из письма Герцена к М. К. Рейхель от 26 ноября 1853 г.)

Приводим текст этого письма:

〈29 ноября 1851 г.〉

Друзья мои! милые! Нет ни слова, ни мыслей, и рука не двигается; пишу, чтоб вы видели, что я живу и на ногах. Не сила помогает перенести, а неверие — неужели возможно такое страшное безвыходное несчастие; ангел бесценный, незабвенный! Не в царстве небесном — в наших сердцах ему лучшее место.

Да, ваша сестра, ваш друг — удар нам равный,— дайте руки, больше не могу.

9

3 декабря 1851 г. Ницца

Я читаю и перечитываю ваше письмо[1] и благодарю вас от души. Мы, в самом деле, близки с вами; вы из любви к нам сделали то самое, что мы сделали для вас. Вы имели деликатность, нежность скрыть стон и умерить печаль. Дайте же еще раз руку. Нет надежды на будущее — мы слишком стары, но силу иметь надобно. Сила в горести — победа. Ну, печально идти — так печально, тяжело нести судьбу — так тяжело, пусть ломаются плечи, грудь и голова.

Свирепость судьбы против маменьки ужасна, невыразима, едва полтора года пожила она[2]. И как покойно и весело ехала она к нам, 〈везла〉 все эти вещицы, подарки даже Фогту и жене его, о которых рассказывала Луизе[3], и, вдруг, между надеждами и планами — смерть. Смерть в море, холод — невероятно, голова отказывается верить. И у нас здесь ждали, когда показался пароход «Nante et Bordeaux» с торжеством, весь дом был освещен фонарями.

* *Здесь пропуск в копии.*

В тот же вечер отправился я в Hyères[4]. У меня была смутная надежда на спасенье Коли; насчет маменьки я не надеялся: Луиза видела, как она поскользнулась и упала в море. Вечером с жандармами и комиссаром осматривал тела; наших не было. Тяжело было ехать назад с такою вестью, что́ сказать — но и тут на дороге я думал об вас не меньше, чем о Наташе; я слышал, что вы сами кормите. Я продиктовал Луизе первое письмо, чтобы вас приготовить. Когда всякая надежда на спасенье была невозможна, мы ждали, что, по крайней мере, тела найдут. Хотел ехать в Hyères схоронить их, но и этого утешения нет. Только на море в первые дни было большое пятно оливкового масла, над тем местом, где потонул корабль, и нашли сак Шпильмана. Шпильман вел себя героически, он погиб за Колю, для Коли. Вы некоторые подробности видели в «Прессе»[5]; он держал в руке веревку, брошенную из лодки, когда маменька, увлекаемая водой, закричала ему (что слышала Адельгейда): «Retten Sie nur Kolja»*. Шпильман кричал: «Donnez l'enfant»**. Но было поздно. Коля стоял у борта, поставленный Шпильманом, пока он ходил за веревкой. Видя, что вода поднимается, Шпильман бросил веревку и ринулся к Коле; он его взял, поднял на руки и бросился в воду. Далее никто не видал ничего. В одно мгновенье пароход был под водою. Лодка торопилась отъехать, чтобы не попасть в водоворот, и пароход ушел на 20 футов глубины. Говорят, что вытащили из воды немца замертво и привели в жизнь в больнице, что этот немец был в отчаянии о своей семье, не взял денег, не записался и ушел неизвестно куда. Иногда мне сдается, что это Шпильман; писали мы в Цюрих. Я мечтаю о статуе, о группе Шпильмана с Колей на руках и внизу утопающая женщина, последнее слово которой: «Спасите дитя». На днях я отправляю туда известного живописца Каффи (помните, может, по Риму) сделать вид того места между Hyères и островами. Пришлю и вам.

Результат всего — что жизнь страшна, что решительно не на что опереться. Завтра, может быть, вы получите весть о нашей смерти — или мы оба об вашей. Остается одно настоящее, но чтобы им пользоваться, надобно силу, юность и охоту.

Прощайте, переведите Рейхелю письмо и пожмите ему руку.

[1] Очевидно, Герцен имеет в виду письмо М. К. Рейхель от 30 ноября. Приводим текст письма по автографу, сохранившемуся в «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 102).

<Париж.> 30 ноября 1851 г.

Пишу вам и сегодня, мои милые, может найду силу поговорить побольше, нежели вчера. Боже, боже мой, все больше и больше приходишь к сознанию: на то ли нежили, холили, любили, чтоб смерть такую безжалостную руку наложила, не спасла ни любовь, ни забота! У меня все так полно свежих воспоминаний, портрет, сделанный в день отъезда, и так похож, только такое грустное личико, как будто чувствовал! Рубашечка ночная, в которой он последнюю ночь ночевал, панталончики, чулочки, которые Луиза Ивановна оставила Морицу, но теперь никому до этого не касаться, никому этого не носить.— Знаете ли, что теперь еще не верится, и как вообразишь и ночь, и темноту, и это милое личико, и голос, который ответа не находит — никто, никто не помог!Шпильман, благородное создание, мог спастись один и лучше <решил?> погибнуть вместе. И Луиза Ивановна! Какой страшный, страшный конец! Да и ничего не знаешь и не узнаешь — все покрыто ночью, мглою.

А жизнь вяжет к себе другими ниточками — но как она ни вяжи, из старой сети не сделать ей новую. Бедный Рейхель, как он настрадался все эти дни, приготовляя меня, ну вот и живу. Да живу ли я? Иногда бывает, как будто ничего не чувствуешь, как будто все в груди вымерло. Не будь Рейхеля, не будь Саши, кажется и все бы навсегда умерло. Саша покамест здоров, сегодня ночью был только немножко беспокоен, а то смеется и радуется, хороша дескать жизнь. Луиза Ивановна так была добра к нему, нянчила все на руках.

---

* Спасите только Колю (нем.).

** Подайте ребенка (франц.).

И ни тени предчувствия — я была так невозмутимо покойна насчет путешествия. Последнее письмо Луизы Ив⟨ановны⟩ из Марселя так довольно — у меня духу недостает перечитать его. Друзья мои! Хоть слово об вас, не оставляйте долго без вести от вас.

Бедный мой Саша, и он так любил Колю, в другой раз напишу ему.

Ваша Marie

Л. И. ГААГ — МАТЬ ГЕРЦЕНА

Дагерротип конца 1840-х гг.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

[2] Подразумевается — в новых условиях, за границей, после получения самостоятельных средств к жизни.

[3] *Луиза* — Л. Цабель, (см. примеч. 2 к письму № 4). В «пражской коллекции» сохранились ее письма к М. К. Рейхель (ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 267). Приводим отрывок одного из них с описанием гибели корабля:

«Мы отплыли из Марселя в субботу в 10 часов вечера на пароходе „La Ville de Grâce“.

Вскоре разразилась буря, и мы были все больны. Около 3 часов утра буря стихла, и поездка продолжалась вполне благоприятно. Внезапно наш корабль получил ужасающий толчок. Все выбежали на палубу, и вот мы увидели, что другой пароход „La Ville de Marseille“, который шел из Неаполя, натолкнулся на наш, из-за чего он ⟨„La Ville de Grâce“⟩ получил большую пробоину. Помощь немедленно подоспела: послали спасательную лодку ⟨подошедшую⟩ приблизительно на расстояние 200 шагов от нас; подоспел еще третий корабль, „Nantes et Bordeaux“, который тоже оказал помощь. Я и Адельгейда были перенесены на „Nantes et Bordeaux“, и к вечеру воскресного дня прибыли сюда ⟨в Ниццу⟩. Тетя, Коля и Шпильман находятся или в Гиере или в Тулоне. Александр немедленно отбыл, чтобы их...».

Конец письма оторван. Оно написано по-немецки и датировано 19 ноября 1851 г. Возможно, что это письмо продиктовано Герценом (см. письмо № 9).

[4] *Hyères* — город между Ниццей и Марселем.

[5] В газете «La Presse» от 21 ноября 1851 г. подробно описано это кораблекрушение (VI, 524—526).

10

ПИСЬМО Н. А. ГЕРЦЕН

⟨Ницца.⟩ 3 декабря ⟨1851 г.⟩

Со страхом ждала я твоего письма, о боже мой! Это безумие,— все, все еще не могла совсем поверить, но и ты пишешь, что *последнее* подтвержденье⟨...⟩ * но благодарю за твое письмо, оно хорошо. Пиши, друг. Береги себя. Обнимаю тебя со всеми твоими.

11

Ницца ⟨начало⟩ декабря 1851 г.[1]

На этот раз буду писать мало. Вот, после удара частного, удар общий[2]. Скоро пора думать об Англии; я, впрочем, становлюсь равнодушен ко всему — это старость, довольно — пора паруса подобрать, усталь страшная.

Погоди немного,
Отдохнешь и ты.

Прощайте, наш добрый, добрый друг. Пришлите sous bande** брошюру Мишле «La Pologne et la Russie»***; там, кажется, его ответ мне[3].

[1] В копии письмо ошибочно датировано ноябрем.

[2] Герцен имеет в виду государственный переворот, совершенный Луи-Бонапартом в Париже 2 декабря 1851 г.

[3] В своей брошюре «La Pologne et la Russie, Légende de Kosciuszko» (Paris, 1852) Ж. Мишле назвал брошюру Герцена «Du développement des idées révolutionnaires en Russie» — «чудесной брошюрой», «искрой над гробовой плитой».

12

ПИСЬМО Н. А. ГЕРЦЕН

⟨Ницца.⟩ 1851 год $\frac{\text{5 декабря}}{\text{23 ноября}}$

И у тебя именинник. Милая крошка![1] Ну, пусть ему весело поживется, пока от нас зависит — ни одной минуты в их жизни не надо ни терять, ни огорчать попустому. А впереди я уже и не задумываю ничего, одно только — хотелось бы, чтобы около них был бы кто-нибудь, кто бы любил их; на всякий случай, неравно умрешь хоть я и не собираюсь и делаю все, чтобы дольше прожить, но знаем мы, как полезны наши заботы. Спроси поосторожнее Тат⟨ьяну⟩ Ал⟨ексеевну⟩ [2], как будешь к ней писать, не желает ли она приехать повидаться; сама я боюсь об этом писать.

Я рада, что могу, наконец, плакать и говорить, т. е. писать; сердце начало смягчаться, а то эта ужасная борьба ожидания и страха... мне становилось иногда так дико быть, и все происходившее около ⟨становилось⟩ так же непонятным, нелепым, как то, что совершилось. Шпильман, Шпильман! Какая великая смерть, она отрадна; грустная, горькая отрада, но отрада; она возвышает, это несчастье, тем, что она—протест против слепой, глупой, возмутительной случайности, она — произвольная [3],— подавляет ее, торжествует над ней, и это отрадно... Он всё у меня в глазах с Колей на руках, и всё, как будто, усиливается помочь ему... а может быть, он скитается

---

* *Здесь в копии пропуск.*

** бандеролью (франц.).

*** «Польша и Россия» (франц.).

где-нибудь, безумный,— говорили, что замертво вынули одного немца и что он, придя в себя, имел вид сумасшедшего; говорил, что потерял всех своих, и скрылся бог весть куда, не приняв ни денег, ни другой помощи!..

О, если бы отыскать его!

Попробуй сделать копию с того дагерротипа, который у тебя, и, если выйдет похож, пришли нам. Шпильманов сак тоже вытащили из моря, и в нем дагерротип Коли,

КОЛЯ ГЕРЦЕН
Дагерротип конца 1840-х гг.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

с которым он не расставался, письмо из Авиньона к нам, которое он опоздал послать на почту, с рисунком Коли, который изображает Ариосто Орландо, с надписью: «An Mama!» *

Другое письмо, которое ты, верно, знаешь, писанное к маменьке[4] в Париже и которое есть тоже одно из великих доказательств его благородной, преданной натуры.

Кроме Ал⟨ександра⟩ и детей, одно присутствие Луизы мне сносно, ее я заставляю рассказывать и пересказывать все тысячу раз с начала до конца. Говорят, с каким волнением, нетерпением ехали все: бедная, бедная маменька! Бесконечно жаль ее,

* Маме (нем.).

походили бы за нею, похолили бы, сделали бы все, что в силах, в этом есть какое-то утешенье, а так в испуге вообразить ее, бедную, не могу.

Да и правда, ждали-то их, как прежде, в пятницу, все глаза просмотрели — ждали на пароходе, в бюро сказали, что будет, потом в дилижансе в субботу, весь день пробегали из дому с горы к воротам, чтобы закричать и остановить дилижанс; Саша так и стоял на карауле весь день; ну, в воскресенье уже думали наверное — нарезали (и все второпях, чтобы врасплох не застали) — розанов, убрали ими все комнаты и все комнаты приготовили так, чтобы, как взойдешь, как будто век жил в ней, а Тата все любимые свои игрушки отобрала и все переставляла их с такою любовью... «Пароход! — закричал Франсуа[5] с невыразимым торжеством,— и уж невдалеке». Ал⟨ександр⟩ побежал в Ниццу, Саша несколько минут после пустился стрелой, так что я со страхом смотрела, и мы с Татой принялись зажигать огоньки... вот и готово все давно, и ждем, и ждем, и ждем...

Ох, Маша! Маша! Друг, да неужели это все правда?.. И дождалась я только пары перчаток, которые он, засыпая, снял и положил Луизе в карман...[6] Поделюсь с тобой, пришлю одну... Прощай!

[1] М. К. Рейхель в честь Герцена назвала своего сына Александром. Его именины, так же как именины Александра Ивановича и Саши Герцена, приходились на 23 ноября ст. ст.

[2] *Татьяна Алексеевна* — Т. А. Астракова.

[3] Шпильман погиб, бросившись на помощь Коле.

[4] Н. А. Герцен имеет в виду мать Герцена.

[5] *Франсуа* — слуга Герценов.

[6] В «Былом и думах», в гл. «Осеано нох», Герцен писал о жене: «Она вынимала его ⟨Коли⟩ маленькую перчатку, которая уцелела в кармане у горничной, и наставало молчание, то молчание, в которое жизнь утекает, как в поднятую плотину» (XIII, 541).

13

8 декабря 1851. Ницца

Еще остается 23 дня 1851 года. Двадцать три несчастья еще могут случиться. Между губами и кубком всегда есть место протолкнуться беде. Наконец. я думаю, что в этом хаосе уже не страшно и не жалко погибнуть.— Едва мы стали оправляться и привыкать к ужасному лишению 16-го ноября, вдруг уже не семья, а целая страна идет ко дну, и с ней, может быть, век, в который мы живем.

Это новая гомеопатия — ударом более общим снимать удар частный. Но, наконец, силы сочтены, боль и всё прекращаются минутами и дают место одеревенелому равнодушию.

Мы отрезаны от вас. Вчера не было курьера. Я даже думаю — писать или нет!.. Помните ли вы, как в евангелии пророчится конец мира?[1] Матери возьмут детей своих и разобьют об камень,— время это пришло. Всё страшное и черное, что я пророчил с 49-го года, страшнее и чернее сбывается.

Зачем мы, маленькая кучка людей, развились и ослабили нервы, зачем мы не Дмитрий Иванович Пименов[2], не Егор Иванович[3]. Они переживут нас всех и 1 января 1862 года поедут спокойно поздравлять друг друга, говоря о морозе и желая «нового счастья».

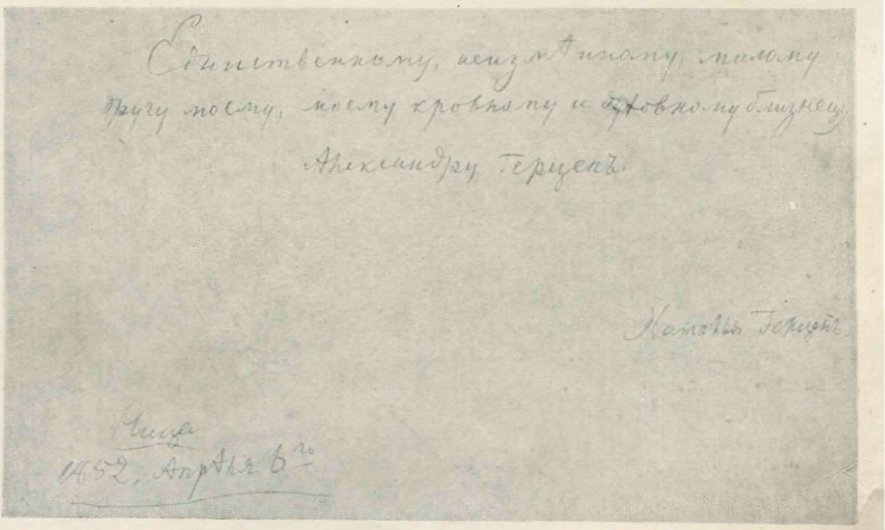
Помните ли мой эпилог 49 году?[4] Что же я скажу за надгробье 1851 году? Какое проклятье... пора уж и молчать.

С 16 ноября, кажется, прошел год, два, и думать о 1 января просто кажется смешно, будто еще лет пятнадцать. Вы знаете, что военным или морякам год в кампании или экспедиции считается за два, ну а такой год, по справедливости, как считать, я думаю, что я ровесник Бернацкому?[5]

9 ч. вечером

Получил ваше письмо и последние вести[6]... Молчу. Вы поймите и предшествующую болтовню, вялую, не то пишу, что хочется. Погодите распо-

Н. А. ГЕРЦЕН
Портрет маслом неизвестного художника



ЗАПИСЬ, СДЕЛАННАЯ НАТАЛЬЕЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ ДЛЯ ГЕРЦЕНА
В ДНИ ПРЕДСМЕРТНОЙ ЕЕ БОЛЕЗНИ

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

лагать будущим, сговоримся как-нибудь вместе. Вряд ли и тут долго климат продержится.

Швейцария или Англия?[7]

Да, я и не сообщал вам, что мне следует, исполняя письмо, давно написанное маменькой, вручить вам 10 000 фр. Я по этим делам и вступил в сношения с Ротшильдом.

Ну и прощайте, ночь, ночь и финал; право, я рад, что у меня сегодня болит голова.

Очень хотелось бы знать о здоровье Николая Ивановича[8], Мас⟨с⟩оля и пр.

Да что Мельгунов не пишет?

Прощайте, обнимаю вас, и Рейхеля, и Сашу.

[1] Герцен имеет в виду текст из евангелия Луки, гл. 19, о разрушении Иерусалима и об избиении младенцев.

[2] *Дмитрий Иванович Пименов* — литератор, чиновник (начальник Шереметьевского странноприимного дома). Комическая личность, описанная в главе пятой «Былого и дум».

[3] *Егор Иванович* — брат Герцена по отцу.

[4] *Эпилог 49 году* — название VII главы книги «С того берега» («Эпилог 1849»). Глава начиналась словами: «Проклятие тебе, год крови и безумия, год торжествующей пошлости, зверства, тупоумия. Проклятие тебе. От первого до последнего дня ты был несчастием: ни одной светлой минуты, ни одного покойного часа нигде не было в тебе...» (V, 484 сл.).

[5] Алоизий-Проспер *Бернацкий* — ветеран польской эмиграции 1830—1831 гг., примыкавший к ее аристократической группе. Герцен встречался с ним в Париже и Лондоне; в 1851 г. Бернацкому было 73 года.

[6] Приводим текст письма М. К. Рейхель по автографу, сохранившемуся в «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 202):

⟨Париж⟩ 6 декабря 1851 г.

Друзья мои! Вчера ваши письма пришли — нет от них ни утешения, ни отрады, но мне нужно иметь их — сколько раз подбежишь к окну, когда звонят, не от вас ли это. Нет ни в чем утешения, одно чувство боли, тоски, в ваших письмах видишь то же, а мне больше ничего и не надо. И все глубже и глубже входит в сердце боль и основывает там для себя седалище, обзаводится домом. Как не свойственно человеку страдание, как бьется и рвется сердце и вооружается неверием и таит надежду — и не хочет сознать, потому что сознание страшного отнимает у него жизнь. В одну из последних ночей, когда мой ангел ночевал у меня, он меня спрашивал: «Kola fort, Mascha weint?»* — и на мой утвердительный ответ он продолжал: «Kola will auch nicht gerne fort...»** — не могу больше, дайте отдохнуть, потом напишу опять.

В Париже дрались — сегодня, кажется, все кончено, солдаты сделали свое дело, да здравствует порядок. Р⟨ейхеля⟩ нет дома, придет — скажет в чем дело. Из журналов ничего узнать нельзя — все они пишут таким высоким стилем. Да вы их и сами читаете. Не знаю, можно ли будет здесь оставаться, у Р⟨ейхеля⟩ *такая* репутация, что того и гляди под ключ или вон — вообще аусзихтов *** мало.

Саша ничего, делает притязания на сидение, а еще очень глуп, никого не знает, хотя и начинает интересоваться окружающим.

Ме⟨льгуновым⟩ хочется вон из Парижа, и он и она нездоровы. У Ник⟨олая⟩ А⟨лександровича⟩ все нога болит, он не дает ей зажить и опять выбежит, и нога опять за то же. Я его давно не видала.

Обнимаю вас всех крепко, крепко детей ваших и моих — навсегда с вами и навсегда ваша

Marie

[7] Мысль о переезде в Англию, как выясняется из этого письма и письма № 11, возникла раньше, чем это было принято считать, и не в связи с судом над Гервегом, а вследствие резкого ухудшения общеполитической обстановки *(«климата»)* во Франции и Италии после государственного переворота, совершенного Луи-Бонапартом.

[8] *Николай Иванович* — Н. И. Сазонов.

---

* «Коля уезжает, Маша плачет?»

** «Коле тоже не хочется уезжать».

*** перспектив, видов (от нем. «Aussicht»).

14

ПИСЬМО Н. А. ГЕРЦЕН

Ницца. 8 декабря 1851

Кажется, во всех адских мучениях забыто одно — это ожидание в неизвестности, а оно стоит, если еще не лучше, всякого другого. Уж мы надумались и о Париже, и о тебе; теперь надо почаще сообщаться, не знаем, что ждет нас завтра. Родители Луизы крепко упрашивают ее воротиться к ним к празднику; она уж было и решилась, да теперь, кажется, опасно путешествовать, а я и рада тому — мне жаль ее отпустить: она как будто остаточек.

Я натягиваю, натягиваю все силы, чтобы запречься опять в жизнь... Нет, не тянет. Сижу и шью Тате куклу,— вот все, что могу, или в карты с детьми, и то все время или дура или фафашка. Сегодня в первый раз утишились мои головные боли, так Ал⟨ександр⟩ провалялся, Оленька захворала, да что ж, уж ничего... На нынче прощай. Письмо принесли поздно [1]. Скоро буду опять писать. Обнимаю тебя.

Тата очень меня упрекала, что я не исполнила ее порученья, не написала тебе и поздравленья с именинами Саши. Мой Саша тоже очень им интересуется, и особенно ему все хочется подарить ему что-нибудь, да не знает что; он получил часы 23 ноября — в воспоминанье. Сквозь всю их детскую беспечность нет, нет, да и пройдет темное облако; вздохнут, посмотрят на меня да и притихнут. Тата заставила меня раз улыбнуться своим участием: «Что? Все голова болит, мама?» — «Все болит».— «Это от горя» — и покачала головкой... Так спокойной ночи!

[1] Н. А. Герцен имеет в виду следующий ответ М. К. Рейхель на письмо от 5 декабря:

⟨Париж⟩. 7 декабря 1851

Друзья мои! Сегодня ваше письмо — благодарю — в нем все сказано; итак, ни тени надежды — а у меня еще таилась она, я это теперь вижу, и мучила, да мучила она, вероломный друг. Теперь кончено,— силы, силы, друзья! лучше знать всю бездну несчастия и взглянуть ему прямо в глаза. Останешься ли прямо от его взгляда, или согнешься, это уж другое дело, но лучше все знать. У меня до сих пор не много было силы, я поддерживала себя, сколько могла, физически, для моего Александра, и я успела,— моральной силы у меня не было. Сегодня после вашего письма я чувствую, что что-то приподнялось во мне.— Дайте руки, пожать их крепко, крепко,— да, я близка к вашим сердцам, мы потеряли одно, *равно* нам всем драгоценное. И так да будет. К Егору Ив. я писала. К другим в Москву писала тоже, только немного.

Вчера я видела Мел⟨ьгуновы⟩х; он все не может писать вам по причине больных глаз; как только будет получше, тотчас напишет.

Рейхель вам кланяется. Крепко обнимаю вас всех. Ваша

M a r i e

Точно ли Колю не вынули из воды? Не приняли ли его куда как иностранца,— это еще остаток безумной надежды у меня. На это отвечать мне не надо. А как высоки были Л⟨уиза⟩ И⟨вановна⟩ и Ш⟨пильман⟩: оба не думали о себе.

К Ш⟨омбургу⟩ завтра Р⟨ейхель⟩ снесет ваше письмо. Сегодня воскресенье.

15

14 декабря 1851. Ницца

На сегодня буду писать мало, опоздал, не оттого, что много дела, а оттого, что ничего не делаю. Вас мы помним и любим не попрежнему, а больше.— Бедный, бедный Коля, и как не начаться равнодушью ко всему! Зачем? А спрашивать-то и не у кого. А тут жизнь своей мышьей беготней рассеивает — и это противно, но зато в иную минуту так горько. Об общем, что сказать вам; по-моему, это — шаг вперед[1], но для нас лично все погибло, это-то и есть смерть старого общества, которую проповедовали.

Прощайте. Дружески обнимаю вас. Рейхеля благодарю за Шомбурга.

Пришлите же sous bande* хоть два экземпляра «Pologne et Russie» Michelet. Стоит 60 cts и продается à la Librairie nouvelle, 15 B⟨oulevar⟩d des Italiens.

---

* бандеролью (франц.).

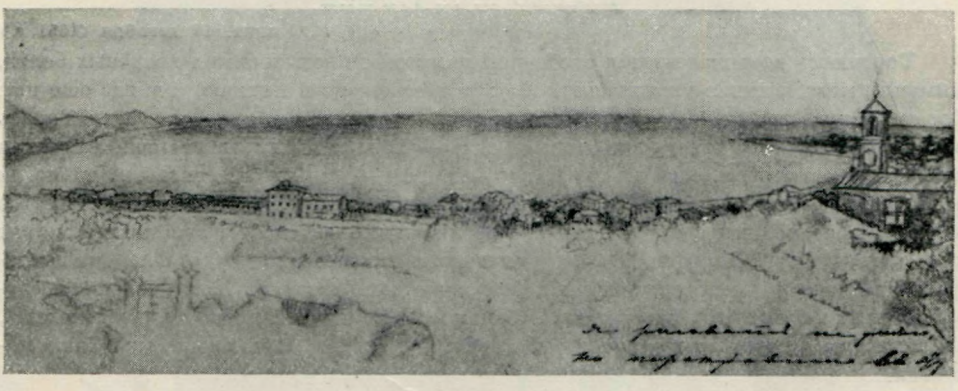
[1] Герцен имел здесь в виду государственный переворот во Франции 2 декабря 1851 г., полагая, по принципу «чем хуже, тем лучше», что откровенная, ничем не прикрытая реакционность режима Наполеона III будет способствовать скорейшему вызреванию сил демократической и революционной оппозиции в Европе.

16

ПИСЬМО Н. А. ГЕРЦЕН

1851. 14 декабря. Ницца

Представь себе, что твое письмо от 4-го мы получили только вчера, с ним вместе и от 10-го. Боже, боже, какое время! Сюда кое-как доходят подробности того, что делается у вас... Общее несчастье [1] вызвало нас из нашего собственного несчастья, в котором мы было совсем цепенели... Как тяжело существовать, переживши столько, все переживши,— без страха и надежды в будущее, без желанья его — что за жизнь! За себя давно уж рассчиталась с миром и с благодарностью; всякий раз, как мне приходилось вспоминать о себе,— хорошо мне становилось от сознания, что жилось столько,



НИЦЦА. ВИД ИЗ ОКНА ДОМА ДУЙСА, В КОТОРОМ В 1851—1852 гг. ЖИЛ ГЕРЦЕН
Рисунок карандашом Н. А. Герцен, 1851 г.
Исторический музей, Москва
«В комнате, где ее не стало, я раскрыл ставен. Знакомый вид моря, берега и церкви — она ее рисовала несколько раз.» (Из дневника Герцена, 24 сентября 1863 г.)

сколько только может жить смертный, и от этого же сознанья — отдавалась так вполне другим и сама жила уж их жизнью; кажется ни один нерв в детях не двигался, не жил помимо меня, вне меня; и, разумеется, при всех усилиях обуздать себя, ограничиться настоящим, ⟨я⟩ уносилась в будущее и жила больше им, потому, между прочим, что оно нераздельно с *общим* будущим. А теперь что?.. одна из пышных, живых ветвей нашей жизни отломилась так неожиданно, так нелепо. И дерево умирает, если не засмолят ему такую рану..., а у меня ее ничто не засмолит; до конца силы будут уходить в нее. Они и прежде бы уходили, только в цвет прекрасный, в плод, а теперь... на воздух. После того, не верится в прочность других ветвей, да если бы и верилось — не лучше; будущее с его свободой, с его развитием, с новой, более истинной жизнью и жизнью безграничною, идущею все вперед, вперед — все расширяющейся...— это будущее исчезло, как сновиденье, и перед глазами одна свинцовая стена, которая давит и взор и грудь, и шагу не дает ступить.

Страшно, страшно — прошла минута, не придавивши тебя, и рад; улыбнулся кто из тех, кем живешь, и довольна, и больше не знаю, чего желать, чего искать, об чем стараться... руки падают, невыносимо тяжко! А бедный Ал⟨ександр⟩ с его живым деятельным характером!

Мы уже начали наше переселенье по карте,— ох, как не хочется еще переносить свои остатки на чужую сторону — мне хотелось съездить с Ал⟨ександром⟩ в Hyères; видно, и это не удастся, а потом путь-то какой предстоит отсюда — морем в Англию...

Сегодня мне приснилась маменька, да так живо! Я вне себя была от радости, боялась только, чтобы она траур не заметила, и только что спросила ее об Коле,— проснулась,— и долго все ждала ответа. Как странно! В предпоследний час на пароходе он рисовал всё мертвые головы, нарисовавши несколько, сложил и подписал Шпильману: «Nur viele todte Köpfe» *— потом ему стало тошно, он уснул так спокойно,— страшное движенье его разбудило, он кричал от испуга, плакал, говоря [2]: «Ich habe kalt»**— на него не успели надеть ни шляпы, ни ботинки — как это мучает меня! Хоть бы на коленях на моих... Хоть бы в постели... Фу, как ужасна, как отвратительна жизнь...

[1] *Общее несчастье* — все тот же государственный переворот Луи-Бонапарта.
[2] В своих воспоминаниях М. К. Рейхель отмечает, что глухонемого Колю Герцена Шпильману удалось научить немного говорить.

17

ПИСЬМО Н. А. ГЕРЦЕН

Ницца. 19 декабря ⟨1851 г.⟩

Тороплюсь воспользоваться свободной минутой от невыносимых головных болей, которые меня заживо уничтожают. Так у вас решено в Англию, а у нас еще нет; бог весть, куда попадешь, хорошо бы было не очень рассеиваться по белу свету. Теперь мне так хотелось бы уехать из Ниццы! Тоска — море перед глазами, точно открытая могила. Так без цели, сама не знаю, зачем и куда — только бы уехать. А давно ли казалось, что не надо лучше Ниццы; век свековать в ней; жалкое, капризное существо человек, нелепое, как судьба, слабое, особенно как она подсечет его своим топором под самый корень! Впрочем, я все еще желаю и надеюсь окрепнуть. Оленька захворала крепко, тогда как я это писала, но вскоре поправилась. Хоть первые распашоночки и впору еще ей, я думаю твой Саша вырос из своих... подожди, если можешь, немножко, я занимаюсь кроеньем рубашечек ему, таких, как бывало мой Саша нáшивал.

Отвращенье от Абеля [1] есть необыкновенный успех в развитии.

Бедная Елизавета Богдановна [2]. А Юлии Богдановне [3] дай бог, чтобы было получше, да не было бы похуже. Луиза выписала нам портреты Коли от своих родных[4]. Спасибо им, в ту же минуту отправили; одна сторона личика похожа и мила, только грустное выраженье. Ее ⟨Луизу⟩ зовут неотступно: больные, без уходу и помощи; она и желает и жалеет воротиться; все это натурально. Она поедет в начале января. Адель[5] проводит ее; последняя выходит замуж на скорую руку, чтобы мать не уговорила остаться у себя. Mercí за шарик, где ж посылать? Что же Станкевичи[6] едут сюда? Обнимаю тебя со всеми, прощай; совсем голова пуста, не может найтиться в отсутствии боли ⟨?⟩.

[1] *Абель* — неизвестное лицо, упомянутое Герценом в письме к жене от 20 июня 1851 г. (VI, 412).
[2] *Елизавета Богдановна*—Е. Б. Грановская, жена Т. Н. Грановского; упоминается в связи с ее тяжелой болезнью.
[3] *Юлия Богдановна*—Ю. Б. Мюльгаузен, сестра Е. Б. Грановской, друг М. К. Рейхель.
[4] Л. Цабель писала 1 декабря 1851 г. М. К. Рейхель (приводим в переводе с немецкого): «Выудили мешок Шпильмана и, можете себе представить, к счастью, в нем оказался портрет Коли и еще хорошей сохранности; я так обрадовалась этому за Natalie. Я написала также моим родителям, чтобы они выслали принадлежащие им портреты Коли» (ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 267).
[5] *Адель* — Адельгейда Меассалер, горничная Л. И. Гааг, ходившая за Колей. Во время кораблекрушения ей удалось спастись.
[6] *Станкевичи*— Александр Владимирович, автор книги о Грановском, и его жена, Елена Константиновна.

* Всё только мертвые головы (нем.).
** Мне холодно (нем.).

18

22 декабря 1851. Ницца

Особенного писать нечего; я задержал письмо, думая, что будет от вас, но почты нет и не будет сегодня (т. е. сегодня придет вчерашняя), видно, дороги плохи.

ДЕТИ ГЕРЦЕНА — САША И ТАТА
Дагерротип начала 1850-х гг.
Литературный музей, Москва

Я, кажется, забыл вам написать, что в записке маменьки назначены 3000 фр. Марии Фед⟨оровне⟩ Корш[1]; ведь, я думаю, вам легче бы переслать их через Шомшильда[2]. А я и без того боюсь писать к Ег⟨ору⟩ Ив⟨ановичу⟩[3] открыто. Поэтому, как бы не догадались по вашим письмам, о ком речь. Я только жду известия о продаже моих фондов, чтобы писать Ротшильду; доверенность я послал 17-го числа; уж попросите благодушно Рейхеля сходить да спросить Шомбурга, получены ли и проданы ли фонды. Тогда я тотчас напишу, чтобы вам выдали деньги — 13 000 ⟨фр.⟩, а вы три ⟨тысячи⟩ и отправите. Насчет Беляева[4] — советую вам написать ему, чтобы пока % прислал. Пожалуйста, вы не церемоньтесь, пишите

просто ему. Что вы хотите делать с 10 000 ‹фр.›? Поступите по совету Шомбурга.

Письмо мое, вроде записки министра финансов, я сегодня глуп. Простите. У меня, наконец, в душе одна злоба и Trotz*: на смех судьбе, людям — жить и поживать**.

Ваш последний могикан.

[1] *Мария Федоровна Корш* (1808—1883) — близкий друг семьи Герцена.

[2] На копии, внизу, неизвестной рукой карандашом написано: «Шомшильд = Шомбург, служит у Ротшильда. Из двух фамилий сделана одна» (см. примеч. 5 к письму № 1).

[3] *Егор Иванович* — брат Герцена.

[4] *Беляев* — Козьма Васильевич Беляев, знакомый Герцена по Вятке, которому он давал деньги взаймы.

19

‹Ницца.› 8-го ‹января 1852›, четверг

Вчера был ужасный день. Я потому уже не писал. Tic douloureux*** с воспаленьем в боку и кашляет[1]. К ночи стихло. Сегодня relâche****, но кризису, т. е. важной перемены, еще нет; поту не было; воспаленье легче. Силы мало.

На сей раз рассуждать не хочу; и то только одна вера в вашу дружбу и боязнь, что вы еще более будете беспокоиться, не получив вести, заставили меня взяться за перо.

Дети ничего. Письмо пойдет завтра утром рано, а потому вечером припишу. Сегодня седьмой день, а по другим — шестой. Мне начинает казаться, что пароксизмы сравнительно слабее. Вчера утром я почти терял надежду.

Прощайте.

[1] Публикуемое письмо дает возможность установить, что тяжелая, предсмертная болезнь Натальи Александровны началась 3 или 4 января 1852 г. Этой болезнью воспользовался Гервег для осуществления плана мести Герцену и Наталье Александровне. Гервег послал Герцену вызов, присоединив к вызову клевету на Наталью Александровну. Об этом письме Гервега несколько раз упоминает Герцен и в письмах, и в «Былом и думах». Черновик письма, хранившийся в архиве семьи Гервега, опубликован Э. Карром: «The romantic exiles» («Романтики в изгнании»). L., 1933.

20

ПИСЬМО Н. А. ГЕРЦЕН

‹Ницца.› 6 марта ‹1852 г.›

Давно бы сообщила тебе, как бы было что, но ни мы, ни кто догадаться не можем, что̀ выплывет из этого не ада, а грязного шантажа [1].

Ты знаешь письмо Э‹нгельсона› [2]; на него в ответ говорят, что оно слишком длинная (?) диссертация, что третьему вмешиваться тут нельзя (как же дуэль без секундантов?), что только с глазу на глаз с А‹лександром› можно решить дело и что, наконец, вложенное письмо (мое) им***** не читано, по незнанию от кого оно[3] (я подписала всеми буквами свое имя), а по письму видно, что читано, да и как же не прочесть опровержения причины вызова[4]?—Храбрых, наступательных действий от такой трусости и ожидать нельзя; но так как отношенья с А‹лександром› оставались единственным якорем спасенья в свете[5] и как этот якорь подрезан мною, то все гнуснейшие козни

---

* упрямство (нем.).

** *В копии:* на смех судьбы, людям жить и обижать.

*** Болезненное подергивание, тик (франц.).

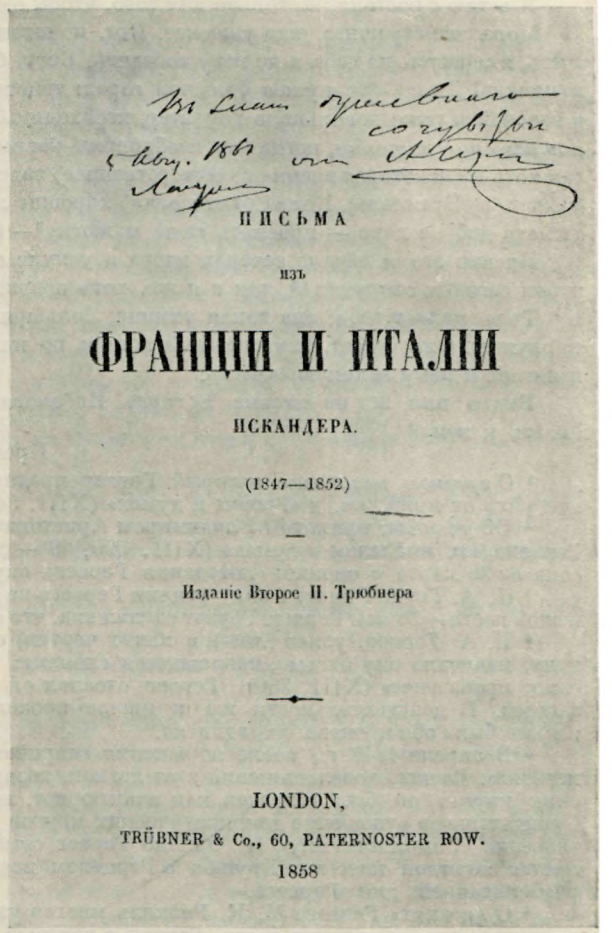
**** передышка (франц.).

***** *В копии ошибочно:* мною

ЭКЗЕМПЛЯР «ПИСЕМ ИЗ ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ» С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ГЕРЦЕНА НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ

«В знак душевного сочувствия от А. Герцена. 5 августа 1861 Лондон»

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва



мужа и жены и устремились против меня, для того чтобы (как он выр⟨ажался⟩) реабилитировать его перед А⟨лександром⟩ и перед светом.

Ты должна писать нам, если знаешь более нас[6]. Пославши вызов А⟨лександру⟩, он в то же время известил об этом жену, а об ответе на этот вызов ни слова, напротив: уверяет, что я пишу ему страстные письма. Вот все, что знаю.

Не понимала я ни мести, ни презренья — пришлось ощущать то и другое в высшей степени. Когда бы прекратились эти внешние дрязги—сколько у нас с А⟨лександром⟩ материала на прекрасную жизнь, жизнь полную, глубокую, мудрую — гармоническую! Хоть у меня и не было со встречи с ним ни одного мгновенья, в которое я бы не чувствовала более или менее ясно *одного кровообращенья* с ним, как с сросшимся близнецом, но при всем бывала Фома неверный; наконец, как он же, вложила персты...

Восход нашей жизни сливается с закатом, только зарево последнего жарче.

Ну, вот я написала тебе столько, сколько ты и не просила; нужды нет — если оно не для тебя, так для меня. Иной раз душа через край, и не всякий раз можно удержаться отлить.

Послала ли письма в Россию?[7] Поскорее пошли.

Писавши тебе первое письмо, я не думала, чтобы кто третий его читал да и Саз⟨онова⟩ мудрено *обратить:* он никогда не предполагал сердечной стороны в нашем отношении с А⟨лександром⟩ и неблагоприятствовал мне издавна, особенно за то, что не мог этого отношения поставить в уровень с своим итальянским...*[8]. Мне противно, что я пишу об этом, но может быть тебе пригодится для объяснения.

* *Здесь пропуск в рукописи. — Ред.*

Я встаю с постели, но только для того, чтобы одеться и лечь в нее опять.

Море еще страшнее, еще ужаснее. Нет, не жизнь мне с ним в соседстве. Это слабость, я сержусь на себя и не могу победить. Бегу, бегу из Ниццы, как только будет возможно! Да и Саше нужен большой город; теперь он здоровяк такой; сердцем его и головой я тоже довольна, а характер, необходимый в жизни, никогда не разовьется *при нашем воспитании*, когда ему необходимы равные ‹т.е.ровесники›; борьба нужна, так хоть на некоторое время ‹в› общ‹ественное› завед‹ение›—придется, скрепя сердце, (может ‹в› Брюссель). Коли С‹танкевичи› хорошие люди, так они рады будут случаю сделать доброе дело — прислать сюда малютку[9]— бедная! Спасайте ее во все руки.

Письмо это я начала вечером вчера и уснула с ним, а А‹лександр› свое рано утром сегодня отправил[10], так и я же, хоть поздно, да отправлю сегодня же.

Тата целует тебя; она такая умница; большая выросла; кроме нее, никто мне не служит. Оля бегает, как снежный шарик, по комнатам, живая, как А‹лександр›, и питает к нему великую страсть.

Видно или нет из письма Е‹гора› Ив‹ановича›, что мы, или хоть я, можем писать к нему?

Прощай и будь здорова.

[1] О *грязном шантаже*, который Гервег предпринял, чтобы заставить Н. А. Герцен *уйти от мужа*, см. в «Былом и думах» (XIII, 542—552).

[2] Об участии, принятом Владимиром Аристовичем *Энгельсоном* в семейной драме Герцена, см. в «Былом и думах» (XIII, 590, 606—607). Упоминаемое письмо Энгельсона от 30 марта с оценкой поведения Гервега опубликовано Лемке (XIV, 96—99).

[3] Н. А. Герцен имеет в виду отклик Гервега на письмо Энгельсона, разглашенный женой поэта — Эммой Гервег. Гервег сделал вид, что сомневается в подлинности письма.

[4] Н. А Герцен, узнав (лишь в общих чертах) содержание письма Гервега к Герцену, написала ему письмо, кончавшееся словами: «Вы мне сделали отвратительным самое прошедшее» (XIII, 550). Гервег отослал ей письмо обратно якобы нераспечатанным. В действительности же он письмо прочел, так как в этом возвращенном письме была обнаружена его записка.

[5] В апреле 1848 г., после поражения «парижского немецкого демократического легиона», Гервег, возглавлявший этот легион, возвратился в Париж. В демократических кругах он был встречен как авантюрист, постыдно бежавший с поля брани. Отрицательное отношение демократических кругов к Гервегу выразил Гейне в стихотворении «Симплициссимус I». Однако Гервег сумел убедить тогда Герцена, что является жертвой клеветы. Дружба с Герценом послужила своего рода общественной реабилитацией для Гервега.

[6] О «кознях» Гервега М. К. Рейхель многое узнавала от Н. И. Сазонова, сохранявшего с ним дружеские связи. Герцен с горечью писал Огареву об их общем друге студенческих лет: «Хорош еще и Николенька. Я с этим куском жира и разврата прервал все сношения. У этого мерзавца ‹т. е. Гервега› остался один приятель — это он ‹т. е. Сазонов›. У ней ‹т. е. у Натальи Александровны› один обвинитель еще — это он же ‹т. е. Сазонов›» (Сб. «Звенья», т. 8, 1950, стр. 34). В комментарии к цитируемому письму допущена ошибка: комментатор утверждает, будто упомянутый в письме «Николенька» — это Н. Х. Кетчер.

[7] Н. А. Герцен имеет в виду свои письма к Н. А. Тучковой-Огаревой. Одно из них, от 2 марта 1852 г., опубликовано в «Русских пропилеях», т. I. М., 1915, стр. 273—274.

[8] Намек на связь Н. И. Сазонова с одной итальянкой (см. XIII, 587—588).

[9] *Малютка* — внебрачная дочь Карла-Эдмунда Хоецкого, Мария, которая была украдена посторонними лицами в отсутствии отца. После долгих усилий девочку удалось найти, но отец не мог сам приехать за ней. Герцен и Наталья Александровна предлагали приютить ребенка Хоецкого у себя. О дочери Хоецкого см. в «Былом и думах» (XIII, 608).

[10] Речь идет о письме Герцена от 6 марта (VII, 19).

21

‹Ницца.› 8 марта ‹1852 г.›

Зачем вы не пишете и никто не пишет? И без писем и с письмами довольно скверно, но ведь надо писать и... отвечать.

22

ПИСЬМО Н. А. ГЕРЦЕН

‹Ницца. Середина марта 1852 г.›

Машенька! Чувствую, мне необходимо написать тебе еще письмо, *по секрету от А‹лександра›*: плохо возвращаются мои силы; болезнь прошла, кажется, но вот

уже скоро три месяца, а я встаю только затем, чтобы опять лечь, и малейшее потрясение кладет меня в лоск, а потрясений столько и такие страшные, что, может, и в могилу уложат. Нравственных сил у меня много, *непреоборимых:* сила моя — моя любовь к А⟨лександру⟩, опора моя — его любовь ко мне; никогда, мне так кажется, мы не были так проникнуты друг другом, никогда не знали, не провидели так друг друга, никогда не были так *воедино*. Все наше прошедшее не только не потеряло ни искры, но *сознанное, оцененное,* как река в море, влилось в наше настоящее...

Ну, а физические силы — через $3^1/_2$ месяца их мне нужно будет много [1]... коли не хватит? Вне России ты самая близкая нам, это обязывает тебя подумать *наперед*, затем я и пишу *теперь*. Коли умру — завещаю тебе *быть как только ты можешь близко и материально моей семье*, об остальном уж и не прошу тебя, уверена. Только еще — береги детей, чтобы клеветы на наш союз не коснулись их; они могут и должны только благословлять его. На них я надеюсь, на детей, на них *так ясна печать истинности и полноты этого союза. И с ней они не погибнут*, но клеветы набросят тень... мне жаль, мне это невыносимо думать; охрани их от этого.

Не покидай их, пока можешь, на подмогу выпиши из России родных нам душою, кто может...

Как бы хотелось сохранить в них *русскую натуру и натуру А⟨лександра⟩*; как бы хотелось, чтобы их путеводила и охраняла такая же любовь, как моя...

Выпишите тогда непременно Татьяну Алексеевну [2], потом, может быть, вырвется из цепей Natalie O.[3]

Со временем я бы желала, чтобы дети воротились в Россию; они — ее достояние, я бы не хотела, чтобы она была лишена такого сокровища; этот догнивающий мир не стóит их; нам только, старикам, не жаль сложить в нем свою голову; ей *мягче* здесь, избитой и наболевшей.

Может, ты помнишь маленький фантастический отрывок[4], в котором Александр рассказал, как он мальчиком шести лет, нервный, худой, с огненными, живыми глазами, резвый — вдруг раз присмирел и призадумался, глядя на падающую с неба звездочку... в эту минуту вошла в комнату его мать и сказала ему: «У тебя родилась сестрица» — это было 22 октября 1817 года... с той минутой мы неразлучны[5]. Он писал это с верою; я верила тому, что он писал. Но действительная жизнь кипеньем и волненьем своим относила, уносила его от меня... вера моя слабела, я ловила его в этой пене, в этих волнах... и гибла, гибла от избытка любви к нему; да, мне *казалось*, что есть *избыток* ненужный... он меня давил, убивал, этот избыток (*не оправданье* — избави бог); страшная ошибка с моей стороны, ошибка, допустившая * меня увлечься в фантастический мир, блуждать в нем и чуть не погубить себя и что́ люблю[6].

Обнимаю тебя с ребятишками твоими. Тата будет писать в следующий раз[7]. Вчера минуло 14 лет, как А⟨лександр⟩ приезжал из Владимира тайно видеться со мною — на три минуты!.. У нас в этот день — крест в кружке́[8].

Мне хорошо, сон, аппетит и т. д., но ничего не могу делать — ни ходить, все лежать да лежать...

На обороте запись без начала и без конца: ...он, т. е. барельеф из бел⟨ого⟩ мр⟨амора⟩, на котором изобразить 16-е ноября и вделать его в колонну.

А мне бы хотелось ребенка на монум⟨ент⟩: из белого мрамора, но как же всех соединить?[9] А если медаль...

Письмо № 22 помечено в копии как письмо с утраченным концом. А между тем среди подлинников писем Герцена, хранящихся в ЦГАОР, есть отрывок из письма Натальи Александровны (дело 247, л. 6-й), на обороте которого ее рукою сделана помета «Кажется 16-е». Судя по содержанию этого отрывка (со слов: «меня увлечься...» и до конца), он является концом публикуемого письма. На обороте Наталья Александровна пишет о проекте памятника Коле, Л. И. Гааг и Шпильману.

Пометка дает основание датировать публикуемое письмо серединой марта.

[1] Н. А. Герцен ожидала родов. Они произошли преждевременно, 3 апреля 1852 г.

[2] *Татьяна Алексеевна* — Т. А. Астракова.

[3] *Natalie O.*— Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева. После революции 1848 г. выезд из России за границу был чрезвычайно затруднен.

* *Далее письмо цитируется по автографу.*

[4] Н. А. Герцен имеет в виду отрывок «Это было 22-го октября 1817 г.», написанный Герценом в Вятке в 1837 г. (I, 482).

[5] От слов: «Александр рассказал» до слов: «мы неразлучны» — текст почти буквально повторен Натальей Александровной в письме к Н. А. Тучковой-Огаревой от 2 марта («Русские пропилеи», т. I, стр. 273).

[6] Н. А. Герцен имеет в виду свое былое увлечение Гервегом.

[7] В «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 264) сохранилось значительное количество писем детей Герцена к М. К. Рейхель.

[8] Герцен и Наталья Александровна после многолетней разлуки тайно встретились 3 марта ст. ст. 1838 г. С тех пор они относили этот день к наиболее светлым дням своей жизни и всегда вспоминали его. 3 марта было отмечено ими в календаре особым знаком: крестом в кружке. О другом счастливом дне — свидании в Крутицах—Герцен писал 3 апреля 1837 г.: «Скоро 9 апреля, большой праздник в нашем календаре, крест в кружке» (I, 405).

[9] Памятник создан не был. Видимо, смерть Натальи Александровны и все последующие события отвлекли Герцена от осуществления этого проекта (см. о проекте VII, 21—22).

23

ПИСЬМО Н. А. ГЕРЦЕН

⟨Ницца.⟩ 1 апреля ⟨1852 г.⟩

Вчера твое письмо от 28 марта, теперь ты знаешь причину молчанья — все болезнь да болезнь — дети и А⟨лександр⟩ выздоровели, а меня грипп так ловко уложил в постель, что шевелюсь с трудом — наболело все — смерть! — лихорадка, кашель, уж даже грустно.

Тата в восхищении от яичка — mercі! Б⟨откин⟩ [1] сделался совсем на Николая Чудотворца похож.

Благодарность мою за купленное и выразить не могу, особенно одна вещь так *совершенно* по моему вкусу, что мне лучше стало от нее на некоторое время.

Теперь ты получишь от меня посылочку, это будет к твоему рожденью и именинам: усердия, объяснений, толкований было без меры, а будет ли толк, не знаю; вижу, иное взял бы да переделал, а сил нет, а другие не понимают: напиши для будущего, в чем недостатки.

Ну, прощай, будьте вы там здоровы.

N ⟨a t a l i e⟩

Я никакой неосторожности не сделала, чтобы занемочь опять. Говорят, в городе эпидемия, даже смертность небывалая от гриппа. А так хотелось быть здоровой к 6-му [2]. Детей особенно Сашурочку, целую.

N ⟨a t a l i e⟩

[1] Николай Петрович *Боткин* (1813—1868) — один из братьев В. П. Боткина. Его характеристику см. в воспоминаниях Рейхель (цит. изд., стр. 46). Указание на то, что он проезжал через Ниццу, см. в издании Лемке (VI, 156).

[2] 6 апреля н. ст.— день рождения Герцена. В «Былом и думах» в главе «Смерть» описано, как печально прошел в 1852 г. этот день, в последний раз проведенный Герценом вместе с женой.

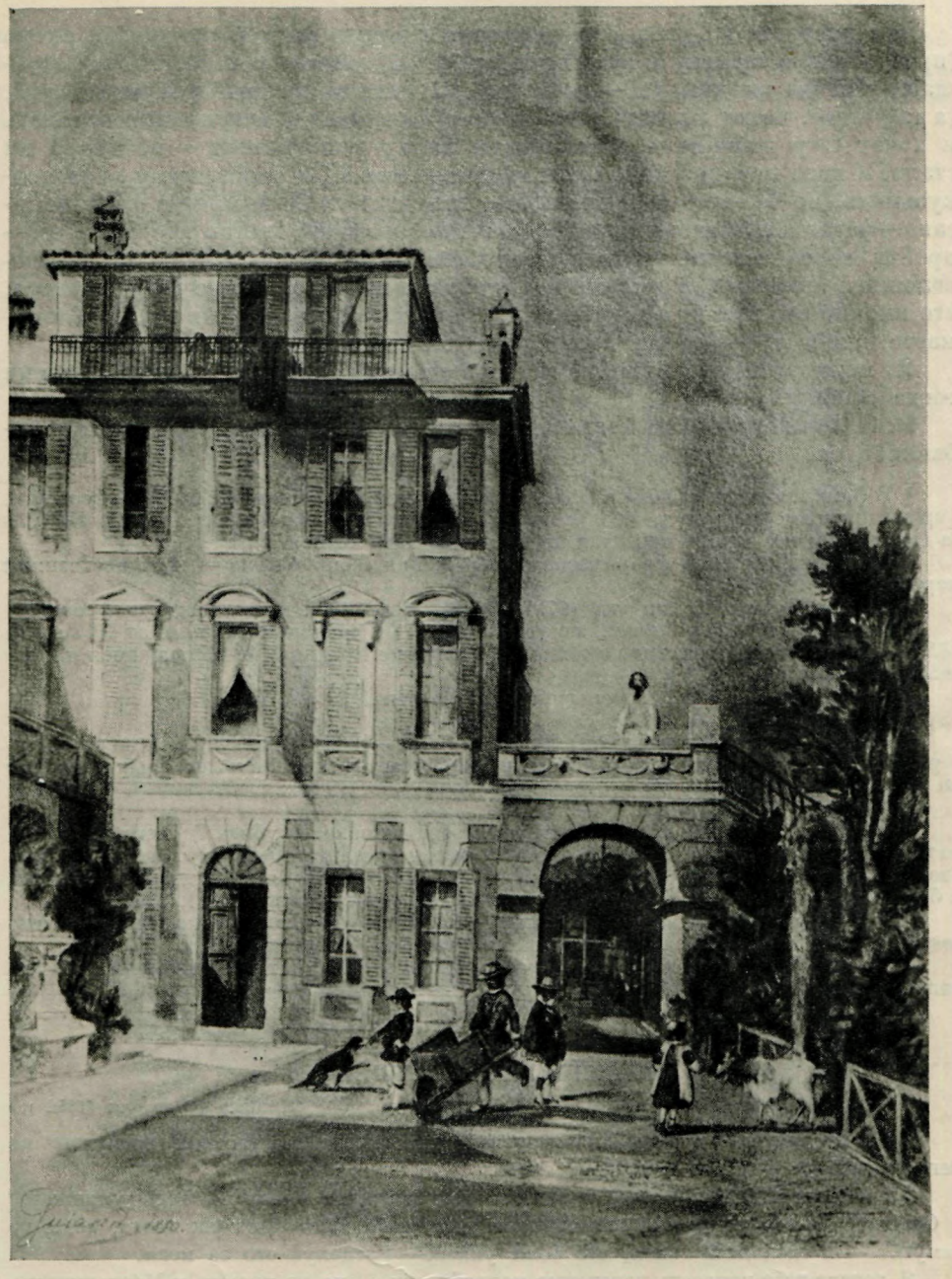
Письмо № 23 сохранилось в [«пражской [коллекции» в подлиннике (ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 247).

24

⟨Ницца.⟩ 2 апреля ⟨1852 г.⟩

Вы, милостивая государыня, буквой N[1] не шутите теперь, после «штатского удара»[2], как выражается Мел⟨ьгунов⟩. А то вот какие выходят блажи — вы упорно называете Villa Douis (т. е. Дуйс), Villa Donis — оно бы и ничего, даже и лучше, и на Донизети[3] похоже, но беда в том, что Ст⟨анкевичи⟩ искали час, а Бот⟨кин⟩ — два.

Рад был я очень увидеть опять москвича. Товарищ его не нашел сил и храбрости явиться[4]. Застал он нас всех в гриппе, даже меня. Н⟨атали⟩ № 1 пострадала более всех; даже я начинал побаиваться, чтобы не вышло тифозной горячки — четыре месяца в постели, да еще проклятое дело это, как туча.



ДОМ СЮ В НИЦЦЕ, В КОТОРОМ В 1850—1851 гг. ЖИЛ ГЕРЦЕН

Акварель Ж. Гюйо, 1850 г.

Местонахождение оригинала неизвестно; печатается с негатива, сохранившегося в «пражской коллекции»

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

«Перед новым годом Natalie принесла мне показать акварель, которую она заказывала живо писцу Guyot. Картина представляла нашу террасу, часть дома и двора, на дворе играл дети, лежала Татина коза, вдали на террасе была сама Natalie» («Былое и думы», гл. «Еще год»

Что касается до дела, оно вступает в новую фазу и окончится скоро (прочтите мою записку к Мел⟨ьгунову⟩[5]). Он[6] дошел до того, что уж стращает, чем бы вы думали — *асизами**. Он пишет к жене и Хоецк⟨ому⟩[7], (а та[8] читает всему городу), что он намерен чудеса преступлений наделать и хочет «эту женщину» посадить на лавку подсудимых — во что б ни стало. У него есть какой-то план клевет, — может, и удастся ему меня подкузьмить, но что-то сдается мне, что это не так. Если мне на роду написано—фатализм бывает во всякой трагедии, это West Indian Pickles** ее,— пройти через земский суд и попробовать на конце жизни с противоположной стороны Сибири[9] то, что пробовал вначале, то мне что-то сдается, что именно его при этом не будет. Но, бог милостив, мы и *постоим* (понимаете каламбур — насчет посиделок, т. е. асизов[10]).

Я, может, на днях пришлю вексель[11] на имя Рейхеля, об употреблении тогда сообщу.

P. S. Рейхелю и вам большой поклон от Энгельсона, «крепкий», прибавляет он.

[1] В фамилии домовладельца Douis Рейхель по ошибке заменила букву *и* буквой *п*. Герцен шутливо намекнул, что буквой *п* начинается имя Наполеона III. На Villa Douis Герцен с семьей переехал после катастрофы 16 ноября.

[2] Шутливый перевод французского выражения «coup d'état» — государственный переворот.

[3] *Доницети* или Доницетти (1797—1848), известный итальянский композитор.

[4] Кого имеет в виду Герцен, не установлено. В письме к Рейхель от 10 апреля 1852 г. Герцен тоже упоминает о каком-то товарище Боткина, не решившемся к нему зайти (VII, 48).

[5] Эта записка Герцена к Мельгунову неизвестна.

[6] *Он* — Гервег.

[7] Карл-Эдмунд (Шарль-Эдмон) *Хоецкий* (1822—1899) — польский эмигрант, литератор. В конфликте между Герценом и Гервегом он принимал деятельное участие на стороне Герцена.

[8] Жена Гервега — Эмма.

[9] Герцен говорит здесь, повидимому, о своей готовности убить Гервега и понести за то уголовное наказание. «Какой процесс, какая виселица могли устрашить? Жизнь свою я уже не ставил ни в грош. *Это — одно из первых условий* для дел страшных и безумных»,— писал Герцен впоследствии в «Былом и думах» (XIII, 521).

[10] «... Мы и постоим» ⟨а не посидим⟩ — игра слов, основанная на том, что слово «assises» по-французски значит и «суд присяжных» и «сидящие».

[11] Вексель был послан вместе с распоряжением об употреблении денег 13 апреля. См. ниже письмо № 26.

25

ПИСЬМО Н. А. ГЕРЦЕН

⟨Ницца.⟩ 13 апреля ⟨1852 г.⟩

От души радуемся и поздравляем с успехами концерта. Хотелось бы послушать из него что-нибудь — у нас есть, кому спеть.

Ай да Сашка Богатонов[1], хоть бы ты его дагерротип прислала, ведь усадила же я Оленьку. А смиреньем его не слишком увлекайся. Оля была уж такая, воды не замутит — и сделалась такая, что боже упаси.— Расцелуй его за меня.

Я хотела тебе написать некоторые подробности..., но из письма к М⟨ельгунову⟩ увидишь en gros ***.

N ⟨a t a l i e⟩

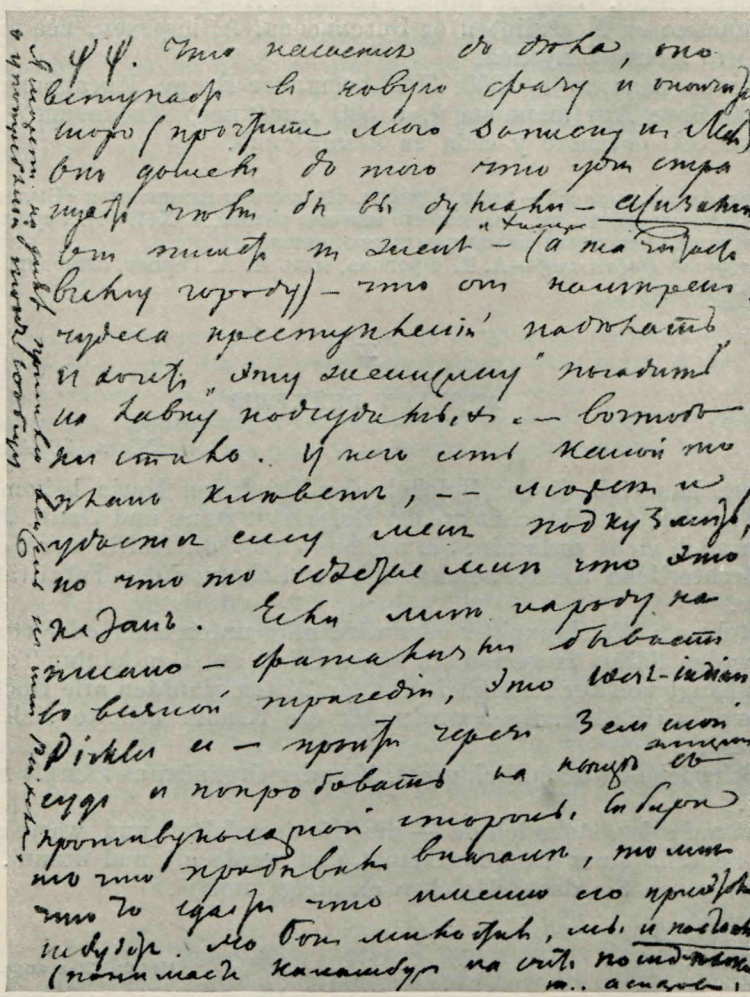
Сию минуту твое письмо,— ну коли под печатью молчанья хранилось что-нибудь для нас угрожающее, вредное, ты сломала бы эту печать — я уверена в этом, а, стало, это клеветы, которые он[2] на меня делал перед женой, во 1-х, перед А⟨лександром⟩, перед своими друзьями и, наконец, *передо мной самой*. На ответ Эн⟨гельсона⟩, которого у тебя копия и где вложено было мое письмо — он писал, ты знаешь что́, уж я тебе

* суд присяжных (от франц. «cour d'assises»).

** вестиндские пикули (острая приправа к еде) (англ.).

*** в общих чертах (франц.).

писала. Вдруг третьего дня письмо Энг⟨ельсону⟩ является с *целыми печатями* на мое имя с *припиской на пакете*, что это письмо не ему, а мне. Ну вот и гадай. Да прочтите же Колач⟨еку⟩ [3] мое-то письмо, а вызова, нового, о котором ты пишешь, *нет*.



АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЕРЦЕНА К М. К. РЕЙХЕЛЬ ОТ 2 АПРЕЛЯ 1852 г.
Написано на свободных листах письма Таты к М. К. Рейхель
Лист 2
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

[1] *Сашка Богатонов* — Саша Рейхель («Reich» по-немецки—«богатый»). Вероятно, это шутливое прозвище было дано ему Герценом. Богатонов — персонаж комедии Загоскина.

[2] Гервег.

[3] Адольф *Колачек* (1796—1861) — австрийский политический деятель и публицист. Примыкал к «левой» франкфуртского парламента. С 1850 г. издавал «Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft und Leben» («Немецкий ежемесячник политики, науки и жизни»). В этом журнале Герцен поместил несколько глав из своей книги «С того берега» и работу «О развитии революционных идей в России». В шестидесятых годах Колачек, отошедший от революционного движения, сделался сторонником правительства Франца-Иосифа.

Письмо № 25 сохранилось в «пражской коллекции» в подлиннике (ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 247).

26

⟨Ницца. 13 апреля 1852 г.⟩

На сей раз две строки. Прочтите прежде письмо к Мел⟨ьгунову⟩. Оно вам объяснит дело. Вызова второго не было. Хорошо, кабы Mr Колач⟨ек⟩ прочел письмо от N⟨atalie⟩ и от Энгельсона. А впрочем, все вместе так скучно, что лучше 5 дуэлей.

Прилагаю вексель в 2500; 2000 отошлите Егору Ив⟨ановичу⟩ с тем, чтоб 1500 Вере Арт⟨амоновне⟩[1], а 500 Акс⟨инье⟩ Ив⟨ановне⟩[2] отослал, остальные 500 оставьте у себя за комис⟨сии⟩.

[1] *Вера Арт⟨амоновна⟩* — няня Герцена. Ее именем начинаются «Былое и думы»: «...— Вера Артамоновна, ну, расскажите мне еще разок...» (XII, 11). Герцен в течение всей своей жизни оказывал ей материальную помощь.

[2] *Акс⟨инья⟩ Ив⟨ановна⟩* — А. И. Фролова, мать Н. А. Герцен, ошибочно названная Лемке Захарьиной.

27

АДОЛЬФУ РЕЙХЕЛЮ

Nizza. 26 April ⟨1852⟩.

Gestern habe ich, lieber Reichel, den Brief von Maria bekommen, aus welchem ich sah, dass sie schon auf der Reise ist[1]. Dank und Dank. Ja, Freunde haben mich nicht verlassen. Sie nehmen ⟨mir⟩ die Hälfte der Schmerzen, ⟨das⟩ fürchterliche Kreuz welches mir als Lohn von der Fatalität zugefertigt war.

Ich stehe am Wendepunkte: oder wird alles untergehen, oder etwas gerettet. In beiden Fällen fange ich ein neues Leben an. Den letzten Teil.

Alles hängt von der Krankheit ab; den 24-ten glaubten alle Doctoren und wir, dass alles sich beendigen wird; aber die Kranke erholte sich und war 2 Tage heil.

Die Schwäche ist unendlich gross. Aber der Organismus kämpft mit acharnement*.

Bereit auf alles, stehe ich da — die Hände gefaltet und warte auf ⟨eine⟩ stupide Sentenz einer stupiden Macht und werde alt und dumm.

Adieu, geben Sie das Zettelchen an Melg⟨unoff⟩[2].

Перевод:

Ницца. 26-е апреля ⟨1852 г.⟩

Вчера, милый Рейхель, я получил письмо от Марии, из которого увидел, что она уже в пути[1]. Спасибо, спасибо. Да, друзья не покинули меня, они берут на себя половину страданий, страшный крест, ниспосланный мне судьбой как возмездие.

Я стою у поворотного пункта: или все погибнет, или что-нибудь будет спасено. В обоих случаях я начну новую жизнь. Последнюю часть.

Все зависит от болезни; 24-го и все доктора, и мы сами думали, что наступит конец, но больная пришла в себя, и 2 дня ей было лучше.

Слабость беспредельная. Но организм борется с acharnement *.

Готовый ко всему, стою я, сложа руки, и ожидаю бессмысленного приговора некоей бессмысленной силы и становлюсь старым и глупым.

Прощайте, передайте записочку Мельг⟨унову⟩[2].

[1] М. К. Рейхель выехала в Ниццу по просьбе Герцена, чтобы своим присутствием облегчить последние дни жизни Н. А. Герцен (VII, 50).

[2] Эта записка Герцена к Мельгунову неизвестна.

---

* ожесточением (франц.).

28

АДОЛЬФУ РЕЙХЕЛЮ

⟨Nizza.⟩ 27 April ⟨1852⟩

Keine grosse Änderung weder zum Guten, noch zum Schlechten. Die Prostration ist gross. Sie isst beinahe nicht. Da haben sie meinen Bericht. An Melg⟨unoff⟩ werde ich ein anderes Mal schreiben. Wir warten übermorgen M-me Reichel. Sascha wird sie empfangen auf dem Pont du Var.

Sagen Sie H⟨errn⟩ Bernazky[1], dass anstatt mir die Erlaubnis zu geben über Frankreich zu gehen — hat man mir ein Refus vom Ministre des affaires étrangères geschickt[2].

Le soir

Cela va très mal. Toutes les espérances s'évanouissent. Dieu des dieux, ce qu'elle souffre. Demain je vous écrirai si cela va bien*.

Перевод:

⟨Ницца.⟩ 27 апреля ⟨1852 г.⟩

Без больших перемен: ни к лучшему, ни к худшему. Сильная прострация. Она почти ничего не ест. Вот вам мой отчет. Мельг⟨унову⟩ напишу другой раз. Послезавтра ждем M-me Рейхель. Саша встретит ее на Варском мосту.

Скажите г-ну Бернацкому[1], что вместо того, чтобы дать мне разрешение на проезд через Францию, мне прислали refus ** от министра иностранных дел[2].

Вечером

Очень плохо. Все надежды исчезают. Боже милосердый, как она страдает! Завтра напишу вам, если будет благополучно.

[1] О *Бернацком* см. примеч. 5 к письму № 13.
[2] Правительство Наполеона III отказало Герцену в праве на проезд через Францию из-за его участия в революционном движении 1848—1849 гг.

Письмо от 27 апреля—последнее, написанное при жизни Натальи Александровны. Через несколько дней Герцена постигло тяжелое горе, надолго подорвавшее его душевные силы: 2 мая, вскоре после родов, скончалась (вместе с новорожденным сыном Владимиром ***) Наталья Александровна. М. К. Рейхель осталась на некоторое время в семье Герцена. 22 мая она уехала к мужу в Париж и, по просьбе Герцена, увезла с собой Тату и Ольгу. Саша остался с отцом. Накануне отъезда М. К. Рейхель Герцен писал ее мужу·

29

АДОЛЬФУ РЕЙХЕЛЮ

Nice. 21 Mai 1852

Cher Reichel. Demain part Marie et mes enfants, je les laisse sous votre garde. C'est la limite de la confiance. Marie et vous — vous me remplacerez pendant quelque temps. C'est un bienfait pour moi. Mais vous ne devez pas en souffrir. J'ai parlé avec Marie et j'insiste sur ce point; je veux avoir la permission d'évaluer moi-même les dépenses. Si les enfants restent une année je vous remettrai 5000 fr. Vous pouvez disposer de 2500 dès aujourd'hui et cela sera pour les premiers six mois. Ne m'objectez rien, de grâce, vous me chagrineriez profondément.

Je ferai tout mon possible pour revenir à Paris. Alors je prendrai une petite maison près de vous. Dans le cas contraire Marie m'amènera les enfants dans quelques mois. Dites à Bernazki[1] que c'est le temps de pousser ses amis, ses ennemis, à m'aider un peu et demander Schombourg s'il n'y a pas possibilité de faire quelque chose par Rotchild.

---

* *Первоначально было:* mieux; *исправлено карандашом:* bien.
** отказ (франц.).
*** Герцен назвал сына, родившегося 30 апреля, Владимиром в память своего «венчального города» — Владимира. Герцен и Наталья Александровна в последние месяцы общей жизни часто вспоминали свое владимирское житье.

Je vous envoie une lettre de change à votre ordre sur Rotchild, sur une somme de 5000 fr. J'en ai déjà donné l'avis. Faites vous rembourser le même jour et remettez 1000 fr. à Ernst[2], gardez les 2500 pour vous et 1500 laissez les en billets chez vous, je les demanderai, moi ou Ernst, une partie ou le tout.

Aimez les enfants.

Aujourd'hui il y a 14 ans que je me suis marié, il n'y a que des tombeaux autour. Je ne suis pas vivant non plus, mais je me tiens.

Je vous embrasse.

Перевод:

Ницца. 21 мая 1852 г.

Дорогой Рейхель. Завтра Мария отправляется с моими детьми, я оставляю их на ваше попечение. Это — предел доверия. Мария и вы — вы замените меня на некоторое время. Это для меня благодеяние. Но вы не должны пострадать от этого: я говорил с Марией и на этом настаиваю; я хочу получить разрешение самому определить расходы. Если дети пробудут год, я внесу вам 5000 фр. Вы можете располагать 2500 фр. начиная с сегодняшнего дня, и это будет за первые полгода. Не возражайте же, пожалуйста, вы глубоко огорчили бы меня этим.

Я сделаю все возможное, чтобы вернуться в Париж. Тогда я найму домик поблизости от вас. В противном случае Мария привезет мне детей через несколько месяцев. Скажите Бернацкому [1], что пора подтолкнуть его друзей и врагов помочь мне немного, а также спросите Шомбурга, нет ли возможности сделать что-нибудь через Ротшильда. Посылаю вам переводный вексель на ваше имя к Ротшильду на сумму в 5000 фр. Я уже дал на него авизо. Получите деньги в тот же день и передайте 1000 фр. Эрнсту [2], 2500 возьмите себе, а 1500 оставьте в билетах у себя, я сам или Эрнст запросим их — часть или всю сумму.

Любите детей.

Сегодня исполнилось 14 лет со дня моей женитьбы, кругом только могилы. Я тоже уже не жив, но держусь.

Обнимаю вас.

[1] *А. Бернацкий.*
[2] *Эрнст* — Э. Гауг.

30

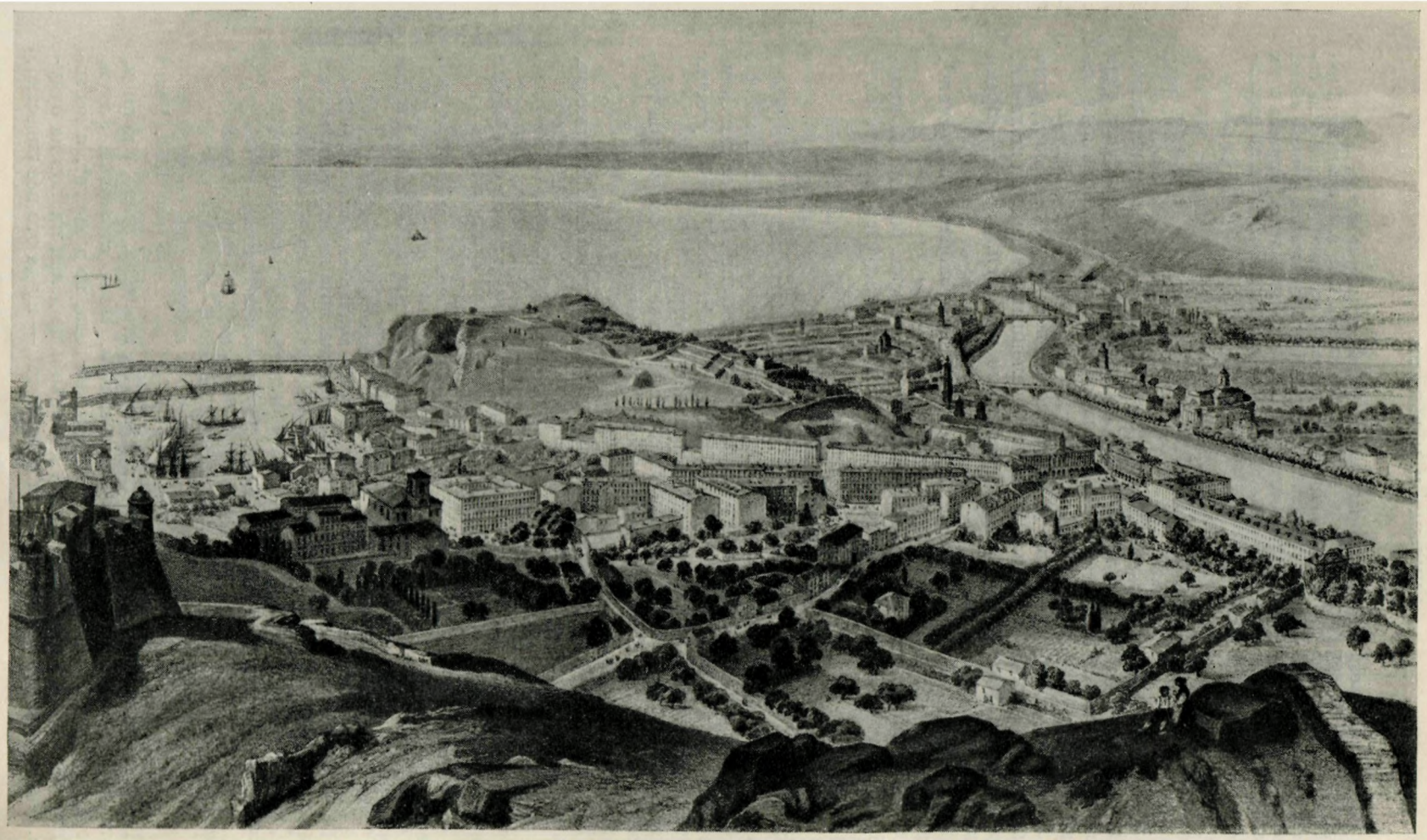
⟨Ницца.⟩ 24 мая ⟨1852 г.⟩, утро

Если бы я вымерил прежде, как трудна разлука с детьми, может, я, вопреки уму и разуму, оставил бы их. Особенно отсутствие Таты. Такая пустота и тоска в огромном доме, да к тому же отвратительная соседка моя[1].

Если все пойдет хорошо, я постараюсь, так или иначе, навестить их через три месяца. Судорожное волнение, в котором я жил, улеглось, зато пустота и весь ужас потери яснее, живее. Всякую ночь я вижу во сне смерть N с такими страшными подробностями, и мне так кажется, что еще можно спасти. Сегодня я даже видел Ив⟨ана⟩ Ал⟨ексеевича⟩[2]. Фантазия, сон и быль — все обращено на былое, на кладбище. Видел еще и Огарева.

Лишь бы время искуса прошло, чтобы отдаться тихо и спокойно воспоминанью. Сегодня, может быть, будет письмо из Марселя[3]. Прощайте. Если увидите Саз⟨онова⟩, скажите ему, что я усердно благодарю за письмо, но писать особо не имею еще ни сил, ни желания[4]. Дружески жму руку Рейхелю. Сейчас получил письмо из Драгиньяна. Вот это мило! Ай да Генерал![5]

[1] Речь идет об А. Х. Энгельсон. Она вызывала постоянное раздражение Герцена упорными попытками захватить в свои руки воспитание его детей.
[2] *Ив⟨ан⟩ Ал⟨ексеевич⟩* — И. А. Яковлев, отец Герцена, умерший в 1846 г.
[3] Герцен ожидал известий от М. К. Рейхель, отправившейся с его детьми в Париж через Драгиньян и Марсель и, очевидно, обещавшей написать из этих городов.



НИЦЦА

Литография Жюля Арну, 1850-е гг.

Слева направо: порт, гора Шато, на правом склоне горы — кладбище, где в 1852 г. была похоронена Н. А. Герцен, а в 1870 г.—Герцен; далее река Пайон с Варским мостом

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

[4] Письмо Сазонова к Герцену, о котором идет речь, до нас не дошло.

[5] *Генерал* — Эрнст Гауг, участник венской революции 1848 г. и защитник Римской республики в 1849 г. Гауг — австрийский офицер в отставке, чин генерала получил от Гарибальди. В период семейной драмы Герцена он оказался в числе самых близких Герцену людей. Гауг сопровождал М. К. Рейхель и детей Герцена в их поездке. Какое сообщение в письме М. К. Рейхель из Драгиньяна вызвало восклицание Герцена о Гауге, установить не удалось.

31

〈Ницца.〉 24 мая 1852

И второе письмо, т. е. из Марселя, пришло. Теперь вы, вероятно, в Париже. Я жду письма, чтобы ехать в Геную. Письма адресуйте туда или сюда poste restante — все равно дойдут, лучше даже, пока я не напишу еще раз, посылать в Ниццу.

Моей нравственной устали и ничтожности нет предела. Мне трудно написать вам несколько строк. Нет ни определенных мыслей, ни желаний. Серо и тяжко. Таты мне сильно недостает, но не бейся, сердце,— время воли еще не пришло.

Вы обещали намекнуть насчет Никол〈ая〉 Пл〈атоновича〉 в России [1]. Кольните Сат〈ина〉 слегка[2].

Скука у нас царит. Купаемся, спим, пустота, тоска, бежать бы куда-нибудь. А тут эта пошлая дура кокетничает, тянется, дуется и здоровеет[3].

Нет Ахилла и Патрокла.
Жив презрительный Терсит [4].

Это грубо и гадко. Но, во-первых, она мне мешает жить, во-вторых, она в моих глазах топит человека, которого я много и сильно люблю[5].

С другой стороны берлинка[6] только и охает о векселе[7]. Это ее так занимает, что не мешало бы передать Петерсону[8]. Он меня очень утешил своими письмами[9]. Какая нежная и крепкая натура.

Прощайте. Вас я продолжаю любить безмерно и даже без всякой подлости, чтобы этим заслужить детям сахарную булочку.

Рейхеля обнимаю.

К следующему разу я напишу адрес доктора, на случай необходимости, ибо Пальм[10] стар, а незнакомых боюсь.

[1] Герцен звал к себе Н. П. Огарева.

[2] Н. М. Сатин был должен Герцену крупную сумму. Герцен просил его проценты с этой суммы выплачивать Егору Ивановичу, но Сатин просьбы не исполнял.

[3] А. Х. Энгельсон (см. примеч. 1-е к предыдущему письму).

[4] Неточная цитата из «Торжества победителей» Ф. Шиллера в переводе В. А. Жуковского.

[5] Герцен считал, что жена В. А. Энгельсона губит своего мужа. О семейной жизни Энгельсонов см. в «Былом и думах» (XIII, 593—599).

[6] *Берлинка* — жена Гервега, дочь крупного берлинского коммерсанта.

[7] Э. Гервег, взяв у Герцена 10 000 фр. взаймы, выдала ему вексель (VII, 35 и XIII, 555). После разрыва с Герценом она всячески пыталась получить вексель обратно. См. об этом в «Былом и думах» (XIII, 555).

[8] *Петерсон* — прозвище Э. Гауга.

[9] См. VII, 41—44.

[10] *Пальм* — доктор Пальмье, лечивший в Париже семью Герцена.

32

31 мая 1852. Ницца

Вчера получил ваше письмо из Парижа. Ну, это дело, стало, с концом, пусть дети пока поживут под кровом вашим. Пока страшный фатум, который играет со мной так по-тигриному два года, не доиграет, я несвободный человек и живу, задерживая дыханье и не делая планов на будущее. Потом отдохнем, а как хочется отдохнуть! — ну да это все известно.

Доктор, о котором я писал, — Compardou; к нему будет записка от Тесье[1], но он не уверен в адресе, а потому рекомендует спросить M-me Tessié — ей от меня искренний, дружеский поклон.

Полковник[2] отправился вчерашнего числа в Геную. Я останусь еще здесь дней пять (если не будет особых обстоятельств), и, верите ли моему малодушию, я остаюсь только потому, что полковница в Генуе, а мне от нее тошно, как от корабельной качки. Бедный полковник, мне его смертельно жаль! Портрет для Оли очень удался, и я желаю еще с него копию. Ту и отправлю.

У нас теперь духа женского в доме нет, точно état-major*, или казарма, или, пожалуй, монастырь. Прощайте. Я еще заеду на почту и, если есть письмо, прежде прочту и припишу вам.

Скажите Морицу[3], чтобы он не обижал ваших приемышей, ибо он maître de la maison**.

[1] *Тесье дю Мотэ* — см. о нем выше в наст. томе.
[2] *Полковник* — прозвище В. А. Энгельсона.
[3] *Мориц* — малолетний сын А. Рейхеля от первого брака.

33

2 июня 1852. Ницца

Второе письмо ваше из Парижа пришло. Ах, вы, моя милая Маша, как вы рассуждаете о том, что я не уехал или что я не один. Сердцем, умом, бешенством и грустью, всем—понимаю я это. Но я год и десять месяцев[1] склоняюсь перед какой-то силой и имею не волю, а упорство.

Последние минуты N⟨atalie⟩, первые дни после ее кончины были отравлены тревогой, беспокойством, ожиданьем. Мне не дали сосредоточиться: шумом, говором, напоминанием злодея меня развлекли... Теперь стало тише, но та же туча висит над головой, изнашивая силы вечной борьбой. Я думаю, что я скоро дойду до колоссальной апатии — надломленная душа сломится тогда.

Мне в будущем ничего нет, и нет мне будущего. Дети. По совести, разве они не воспитаются, не вырастут после меня, когда есть друзья, как вы и как двое, трое еще? Заметьте, что во мне нет ни малейшей способности учить, напр⟨имер⟩, Сашу. Мое положение ужасно изменилось после 2-го мая и даже после отъезда детей.

Я становлюсь независимее и ненужнее, все интересы мало-помалу тухнут, грусть и думы о былом[2], грусть и страшное желанье казни и обличения — вот три четверти моей души, четверть принадлежит друзьям. Дети входят во всё. Но дети — будущее, которого у меня нет, да которого я уже не ищу. При всем этом меня иногда ужасает, иногда пугает мое каменное здоровье, это что-то нечеловеческое.

Жизнь более покойная непременно придет, но я должен дойти до нее исподволь, я слишком еще завишу от обстоятельств и людей, чтобы делать круто. Au reste***, с отъезда M-me Engelson у нас гораздо лучше, тише, серьезнее. Жду только писем от Петер⟨сона⟩, т⟨ак⟩ ч⟨то⟩, вероятно, все-таки к субботе уеду. Обо всем извещу.

P. S. Письмо, извещающее о Трио[3], от Таты пришло. Так как от Петерс⟨она⟩ ничего, то я опять день-другой больше здесь.

[1] В августе 1850 г., т. е. за «год и десять месяцев» до того дня, когда было написано публикуемое письмо, из ~~Парижа~~ в Ниццу приехал Гервег и поселился под одной

* штаб (франц.).
** хозяин дома (франц.).
*** Впрочем (франц.).

крышей с Герценом. «В Ницце я мог измерить всю величину бедствия ⟨...⟩,— писал впоследствии Герцен.— Я был оскорблен, ошеломлен, глубоко несчастен» (VII, 35).

[2] В этих «думах о былом» зародились «Былое и думы» (см. письмо № 38).

[3] Возможно, речь идет об одном из музыкальных сочинений А. Рейхеля.

34

5-го июня. Ницца. 1852

Сегодня едет Эдмунд в Турин; во вторник утром, места уже взяты, отправляемся мы в Геную. От вашего спутника[1] получили грамотку из Лондона, он здоров. Наконец я двигаюсь с места — что̀ будет, гдѐ осяду, ка̀к — не знаю, да, по правде сказать, все это равнодушно.— Дети у вас; Саша не останется один. Хорошо, если я в наличности, а нет — так и это недурно. Людей совершенно ненужных не бывает, у кого нет детей — есть *Фаяль*[2], у кого нет Фаяля — есть дом, сад, огород; стало, такой надобности не переживешь[3].

Два месяца, два года тому назад[4] я был необходим. Передо мною было страшное событие, и крик раскаянья и крик спасения — я спас и спас бы торжественно, но пароход «Bordeaux et Nantes» был не в моей воле, но ряд злодейств чудовищных, нечеловеческих был не в моей воле. Я как восстановитель, как мост между светлым былым и настоящим, брошенный через пропасть, был необходим. И вы знаете, сколько гордости, предрассудков я принес на жертву — все это кончилось смертью. Я чувствую почти всегда эту холодную руку, покрытую по̀том. С этой смертью я сделался почти лишним. Великое дело, когда человек умеет понимать, что он *перешел* высшую точку своей жизни.

Моя высшая точка была этот *страстно̀й год*. Кто хотел, кто мог вглядеться во все совершившееся во мне — тот не откажет мне в силе и последовательности. Далее самое это ⟨!⟩ сделается ролей, манерой. Надобно удалиться со сцены, пятый акт оканчивается, театр покрыт гробами — кому же нужно видеть, как Тальма, после, у себя раздевается, как его кусают блохи и как он чешется. Живи или умирай,— это все равно, но знай, что ты доигран; но знай, что 3-го мая были и твои похороны. Это так верно, что сто̀ит, подумать, напр⟨имер⟩, о Пие IX, о Ледрю Роллене и Cie: если бы они во-время умерли — они остались бы великими тенями, а теперь один гадок, а другой смешон.

Всё, что вы можете против этого сказать,— дети. Я это чувствую, но я вам писал третьего дни: я неспособный человек; впрочем, они-то и держат в узде. Да еще — дружба. Она проводила меня и теперь окружает; не оттого ли это чувство долговечнее, что оно не столько дает, не столько требует, не всё берет — об этом рассуждайте сами, а я довольно беседовал.

[1] Речь идет о Гауге.

[2] В копии к слову «Фаяль» сделана сноска: «Собака Пачелли».

[3] *...такой надобности не переживешь* — в смысле надобности продолжать жить.

[4] *Два месяца* — борьбы за жизнь Наталии Александровны; *два года* — борьбы за освобождение ее от влияния Гервега.

35

7-го июня 1852. Ницца

Завтра утром мы выезжаем, адресуйте впредь до перемены à Gênes (Etats Sardes), poste restante*. Мне очень больно расстаться с Ниццей — это последнее подтверждение всех несчастий. Может быть, годы пройдут прежде, нежели я увижу дом Сю,— для меня это скала, к которой был прикован Прометей,— дом Дуйс и могилу[1]. Но выбора нет, пятое действие

* Генуя (Сардинское королевство), до востребования (франц.).

несется быстро, веет концом. Не концом гру́сти: сломленная душа не склеится,— но концом тревоги, чувством унижения.

Да, намекните Огареву — а куда он приедет? Пожалуй, мы и в Нью-Йорк лупнем. Я беру назад, что писал в прошлом письме о ненужности. На мне еще лежат обязанности сказать погребальное слово и слово благодарности[2].

Прощайте.

P. S. Сейчас получил из Лондона второе посланье[3] и от Осипа Ивановича[4] тоже. Петерс⟨он⟩ — молодец; да, дружба себя показала. Прощайте, а из Генуи скажу: «Здравствуйте!».

ГЕНУЯ

Литография с рисунка Леопольдины Дзонетти-Борзино, 1850-е гг.

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

«Я приехал в Геную... средневековые улицы гористые, узкие, черные... необычайной вышины дома... полуразрушенные переходы, укрепления...»
(«Былое и думы», гл. «Venezia la bella»)

M-me Pacelli[5] целует Тату.

При свидании поклонитесь M-me Tessié и скажите, что ее муж — мое единственное утешенье теперь с Сашей.

[1] В доме Сю Герцен жил вместе с семьей Гервега. Дом Сю был изображен на акварели художника Гюйо (см. выше в наст. томе), послужившей поводом к объяснению Герцена с Натальей Александровной, описанному в «Былом и думах» в главе «Еще год». Здесь семья Герцена пережила известие о гибели Луизы Ивановны, Коли и Шпильмана. Вскоре после этой катастрофы Герцен переехал в дом Дуйса, где скончалась Н. А. Герцен.

[2] Это — первое указание на замысел написать «мемуар», возвеличивающий память Натальи Александровны, тот «мемуар», который привел Герцена к созданию «Былого и дум».

[3] *Второе посланье* — от Гауга (Петерсона).

[4] *Осип Иванович* — прозвище Джузеппе Маццини в переписке Герцена.

[5] *M-me Pacelli* — жена итальянского музыканта, учителя Саши (см в «Былом и думах», гл. «Смерть» — XIII, 553—554).

36

22 июня 1852. Белинцона

Ну вот, опять Швейцария. Я замечаю, что когда я переезжаю из одного места в другое, я начинаю словом: «Ну вот».

Приехал сейчас, и устал, и получил депеши разные, и довольно недоволен[1]. Всё идет вяло, надобно, видно, самому приняться. Помните сказку о жаворонке и жнецах?

Для забавы мы приехали на австрийском корабле (т. е. пароходе) под двуглавым орлом[2]. Прощайте на этот раз. Тате и Оле скажите, что я устал очень и Саша тоже. Оттого и писать будем после.

Письмо пошлите, адресуя импасс *.

Только помните мой адрес — à Bellinzona (Suisse).

[1] Герцен был неудовлетворен осторожностью, проявленной его итальянскими друзьями в деле осуждения Гервега. В тот же день, когда Герцен писал это письмо, В. А. Энгельсон, переговорив с итальянскими революционерами, извещал Герцена: «...они не хотят называть себя судьями, ибо только одна из тяжущихся сторон к ним обращается, и ⟨...⟩ они не выслушали того, что мерзавец мог бы сказать в свое оправдание» (VII, 78).

[2] Переезд двух изгнанников (Герцена и Тесье) на австрийском, а не на сардинском корабле представлял для них опасность в случае проверки паспортов. Этот переезд описан в эпизоде «Прогулка на „Князе Радецком"» из XXVII главы «Былого и дум» (XIII, 358—360).

37

Lugano. Albergo del Lago. 1852. 26 июня

Если б можно было приотворить грудь и разом бы передать всё, что в ней происходит, — какой горький и ядовитый macédoine** вы бы увидели!

Я столько потерял и так мало остается терять, что поневоле смотрю равнодушно на то, что делается. А в самом деле, есть отчего треснуть и черепу и сердцу.

Слыхали ли вы когда-нибудь о пытке, которая продолжается полтора года и в которой, как только свыкнешься с одной болью, принимаются за другую, противоположную.

Зачем меня выписали сюда? кажется, затем, чтобы опозорить, а всё из дружбы, из преданности[1]. Петерс⟨он⟩, как только попался с немцами, так и потерял чутье, такт. И всё у него не клеится... я хлопочу его спасти как-нибудь из импасса — всё это кончится каким-нибудь громом, который удивит, испугает и от которого, я думаю, останется цел один мерзавец цюр⟨ихский⟩... Он сидит назаперти, никуда не выходит, и даже ставни затворены. Жена ⟨его⟩ окружила нас шпионами. Петер⟨сон⟩ из всех сил старается: вредит себе и нам, чувствительно и дружественно. И всем нам*** нет покоя — ни на минуту. Ах, вы, Марья Каспаровна, Марья Каспаровна, неделю бы отдохнуть, собрать рассеянные мысли, страдать от несчастий, а не от ударов тупыми ножами.

Нет, от фатума не отвертишься. Но голову свою я не склоню и не продам ее дешево. Рвусь я назад в Италию, у меня нет другой родины[2], я сжился и с природой и с людьми. Какая славная природа; в Генуе как чудесно я провел время (впрочем, благословенье Осипа Ивановича провожает меня даже в глуши Тесины)[3]. Медичи[4] я просто люблю с нежностью. А тут эти тедески****—золотуха с идеализмом. В Геную, в Ниццу, на кладбище, на море, которое тоже для нас кладбище[5]. А, может, еще и в Италию съезжу. Лишь бы вынырнуть из этой клоаки. Дела затянулись. Надобно дать успокоиться умам.

* тупик (франц. «impasse»).

** смесь, кушанье, приготовленное из разных овощей или фруктов (франц.).

*** *В копии:* всем там

**** немцы (итал. «tedeschi»).

И в Лондон я собираюсь на несколько дней. По делам особенным[6]. А когда увижу детей? Ничего не знаю! А может, и совсем не увижу. Прощайте. Пишите пока сюда — Lugano (cant⟨one⟩ Tess⟨ino⟩), пришлют за мной, если уеду.

Природа здесь удивительная: Италия по плодоносности и роскошная до избытка, и место очень красиво.

Рейхеля обнимаю.

[1] В Лугано, поближе к Цюриху, где жил Гервег, Герцен приехал по приглашению Гауга (VII, 64), собиравшегося принять меры к наказанию Гервега (см. «Былое и думы», XIII, 562—570).

[2] После изгнания из России Герцен особенно привязался к Италии.

[3] *Тесина* — район итальянской Швейцарии, с городами Лугано и Белинцона.

[4] Джакомо *Медичи* (1819—1882) — один из видных участников борьбы за освобождение Италии. «Несколько недель, проведенных с ним в Генуе,— писал Герцен в «Былом и думах»,— сделали мне большое добро; это было в самое черное для меня время, в 1852 г., месяца полтора после похорон...» (XIII, 345).

[5] Герцен имеет в виду гибель в море Луизы Ивановны и Коли.

[6] В Лондоне, по предложению Маццини, должен был состояться суд чести над Гервегом.

38

1852. 30 июня. Lugano

Ваши письма, посланные в Геную, получили вчера. Сижу всё еще у озера Lugano с сосредоточенной злобой и с ироническим смехом à l'adresse* бессильной нашей демократии**[1]. Вот уже ей можно сказать пушкинские стихи:

Нет ни в чем вам благодати,
И со счастием разлад,
И прекрасны вы некстати,
И умны вы невпопад[2].

Дело шло как нельзя лучше. Генерал с той же дружбой и с той же преданностью испортил было всё. Теперь Тесье поскакал усмирять Генерала[3]; это последняя карта и самая сильная. Вы его знаете; после вас я еще больше сблизился с ним; сильная воля, огромный ум и отвага вандейца и революционера вместе. На него надеюсь, если он покорит Генерала. За сим выступлю я. Впрочем, одно дело сделано. Цюрихский злодей окончательно опозорен. Он сидит назаперти в своей комнате и не смеет показаться на улице. Я напечатаю свой отказ и с ним вместе все наши свою декларацию, что честного боя с таким подлецом иметь нельзя[4]. Узнайте от Бернацкого, не желал бы он дать и свое имя, но с условием, чтобы Сазонов не знал об этом. С этим документом я отправлюсь в Цюрих и поселюсь в том же отеле. Он может меня прирезать, но на это надобно побольше храбрости. Друзья все отказались от него, он сам живет на хлебах у г-жи Кох[5], вроде наемного фаворита. Ну, а стрелять из-за угла ему не приходится, т⟨ак⟩, к⟨ак⟩ убивали спадаццини***, здесь нездорово—пахнет виселицей. Я же готов быть подстрелен им, лишь бы его повесили. Я попрошу Сашу привести на место казни и показать: «Так, мол, оканчивается душевный разврат и растленье всего человеческого».— Вот тут и ломайте себе голову над этим словом «фатум», словом без мысли, выражающим справедливость, всемирную насмешку над разумом, безумие и власть. Ты думаешь, что ты свободен — ну так я пошлю бешеную собаку тебе на дорогу. Ты презирай собаку, ты гордись чистотой, правотой, но собака

* по адресу (франц.).

** *В копии, вероятно, ошибочно:* демонстрации.

*** наемные убийцы (итал. «spadaccini», правильное произношение — «спадаччини»). *В копии:* убив салдиш — *слова явно копиистом неразобранные.*

тебя укусила за ногу, и тебя посадят на цепь, и ты умрешь, стращая собой окружающих, и перекусаешь других. Что же ты в сравнении с бешеной собакой? И добрые люди умилялись и говорили: «Велик бог, умеющий приготовлять бешеных собак». Слабым это особенно нравилось, потому именно, что сильные были поставлены с ними вместе в зависимость собачьего яда, ими искусно придуманного Иеговы.

Я хотел очень много писать вам, но такие подлые чернила, что не могу с ними сладить. Вы пишете, что сохраняете мои письма — вот я и придумал из вас сделать Mère Lachaise[6] и хоронить себя мало-помалу. Я принялся было писать о всех последних событиях моей жизни для Огарева и московских друзей, но невозможно — невозможно, как всякая другая работа, а так pêle-mêle* набросать, это еще идет. Не хотелось бы мне, чтобы что-нибудь осталось бы неясным. Письмо к Гаугу, которое в Лондоне наделало столько шуму и приобрело мне столько симпатий, слишком сжато[7]. (A propos, M-me Biggs[8] писала сама ко мне, предлагает, в случае поездки в Англию, свой дом, для меня и для детей, но, кажется, теперь это не будет нужно.) Вы знаете мою жизнь с 1837 г.[9] Она развивалась так пышно, я был так избалован любовью, дружбой, успехами, что беззаботно и самонадеянно отдавался судьбе, как будто нечего было бояться. Меня баловали все. Я платил искренней преданной любовью. Блестящий период русской жизни окончился торжественно прощаньем в Черной Грязи, в январе 1847 г.**; мы вместе с вами переехали границу. Год целый я изучал, присматривался. Наша жизнь в Риме и первые месяцы после февральской революции составляют второй и последний период поэзии. Это был закат, принимаемый мною за восхождение новой жизни. Когда я совершенно ознакомился с людьми и делами в 1849 г. — тогда только оценил я, что в этом мире движенья я еще сильнее, нежели в русской тишине. Тогда я понял, какое место здесь я займу и как подниму русский вопрос.

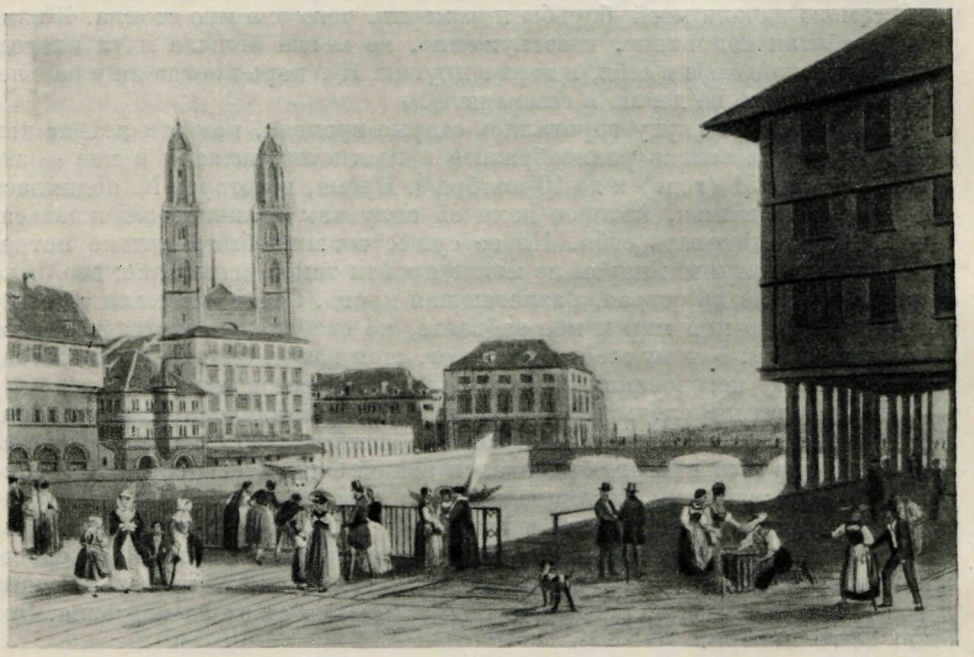
Успех был огромный, лучшее, что я написал, написано в конце 1848 и начале 1849 г.[10] Занять это положение, которое я имею, мне не стоило ни малейшего труда, но оно занимало меня, поглощало. Между тем, с каждым днем 1849 г. истинные надежды исчезали, озлобление, стыд, глупость стольких с одной стороны с нами <!>, нервная раздражительность — все это поддерживало судорожное и болезненное состояние духа.

Во время этой болезни подошел еще ближе ко мне злодей, которого я считал другом, с которым я никогда и не думал меряться. Он был потерян, опозорен; я рвался вперед, он старался скрыть отступленье. Мое искреннее негодованье нашло в нем отзыв. Но его негодованье было следствием раздраженного самолюбия. Я отдался ему с тою опрометчивостью, с которой человек отдается sans arrière-pensée***. Помните, я вам давал в Ницце читать его письма[11]. Оставленный всеми, он держался за полу моего платья, как дети держатся за мать, проходя толпою незнакомых. Он плакал, расставаясь, он ютился ко мне по-женски. Я видел, что он очень несчастен, я верил, что он из неосторожности навлек на себя нареканье, думал, что какой-то противный для меня элемент скрытного разврата и жесткого эгоизма пройдет. Так мы приехали в Женеву. Холодно и неприязненно встретила немецкая эмиграция баденского беглеца; я его спас от остракизма; я защищал его перед всеми, перед Фази[12] и Струве[13], перед Маццини и его собственными приятелями. В это время обдуманно, осторожно, по капле он отравлял мое существование и, сжимая мне руку, благодаря горячо за мою деятельную дружбу, он изменял, лгал. Не буду

---

* как попало (франц.).
** *В копии ошибка:* 1846 г.
*** без задней мысли (франц.).

повторять писанного в письме к Гаугу; может, в другой день, писавши вам, мне захочется снова подвергнуть себя пытке, тогда я напишу. Теперь скажу вам несколько общих замечаний. Я никогда не мог понять того страшного «круженья сердца»[14], как я раз писал вам. Ибо, сверх любви, я торжественно должен сказать, что я не встречал шире и выше развитой эстетически и разумно души, как N.— Шесть месяцев настойчивой клеветы, хитрого предательства, вечной угрозы самоубийства, вечного отчаяния — так резко оттенявшегося на моем светлом характере; ревнивого отчуждения себя от людей — в противность моей гуманности; ежечасного занятия с детьми — в противоположность моей рассеянности — погнули сердце высокой, необыкновенной женщины. Такова была моя незыблемая



ЦЮРИХ
Раскрашенная литография, 1866 г.
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

вера, таков еще был мой полет, моя самонадеянность, что я, видя многое, не подозревал ни двоедушья, ни предательства. Страсть не есть преступление. И верите ли, что я понял истинный характер поступков, слов в Ницце, когда вы приехали. Сличая, вспоминая, я долго мало-помалу со страшной внимательностью изучал его прежде, нежели вскрикнул: «Да! Это злодей, растливший душу свою до того, что всякий след совести исчез». Мое заблужденье оправдывает заблужденье N.— Две вещи у меня лежат на совести: что я прежде ⟨не⟩ узнал его и — второе, мучающее меня и день и ночь,— что я, узнавши, не убил его.

Ко всему прочему, я с презрением увидел в последнее время, что в груди его гнездилось еще одно подлое чувство, именно — «зависть ко мне».

Ирония хотела, чтобы я лучше ударился в грязь, поднять меня ⟨!⟩ в нашей партии симпати⟨ею⟩, которую имели ко мне и в которой отказывали ему. Признания моих трудов и презренье к его праздности точило его,

несмотря на вечный разговор о том, что ему ничего не нужно, кроме круга двух людей и отшельнической жизни. Наконец — сластолюбивый, изнеженный, мелко-мещанский Сарданапал — он, уверяю вас, завидовал моим деньгам (которые бросал горстями).

Снова ссылаюсь на письмо к Гаугу. Когда, наконец, великие дни раскаянья показали мне, как недаром я верил в N. и тогда, когда она была в чаду,— тогда высотой преданности, любовью сильной, мужественной я взял половину ноши на свои плечи. Когда я думал, что раздавил этого червя,— он поднял голову с дерзостью, неизвестной на галерах, и уличенный во лжи, предательстве, с той же настойчивой злобой, клеветал, спрятавшись за 100 лье,— тогда я оценил мою слабость, мое преступление, что оставил его в живых.

С самого начала моей борьбы я вымерил, чего она мне стоила. Жизнь моя, разбитая неповинно, незаслуженно, не могла больше идти вперед. Вдруг исчезла и вера в себя, и вера в других. Я теперь иногда ищу развлеченья, но ничего не делаю в самом деле.

Как будто на минуту воротились старые времена, как эти летние дни в ноябре, тогда зелень разнообразнее и цветистее, нежели в мае — это время от июля 51 ⟨года⟩ и до 16 ноября[15]. Время, в которое N. поднялась на высоту раскаянья, которое дало ей силу так величаво защищаться, потом реабилитировать себя. Но ее существование было сильно потрясено этими событиями; даром не могло пройти такое испытание; это была болезнь, но болезнь острая, разлагающая кровь. Она принимала с бесконечной любовью мой мир и мое забвенье, но свобода равенства казалась ей разрушенной. К тому же и я ⟨не⟩ мог, стоя возле, скрыть всякий стон, всякую минуту негодования за былое, грусти и сомненья.

Едва последние следы бури прошли, как разразилось 16-ое ноября. Вот вам опять фатум. Она пережила 16-ое ноября, но стояла одной ногой в гробе, когда этот изверг обрадовался нашей беде, чтобы сильной рукою толкнуть эту женщину, которую называл святою,— ему удалось.

Я три недели не раздевался и не спал у кровати больной,—казалось, первая опасность прошла, плерези* была прервана. Усталый от опасений, выздоравливая сам от безнадежности, ослабленный тревогой, сидел я раз у себя в комнате, когда мне подали письмо от этого мерзавца. Это было 28-го января.

С юности я никогда не был оскорблен никем. Теперь преступник, мерзавец, пишет слогом пьяного извозчика записку, пятнает меня, пятнает доносами N.— и я прикован к постели едва вышедшей из опасности больной.

Что я испытал, боже мой, что я испытал в первые дни! Итак, думал я, все эти блестящие...** все это пестрое и пышное предисловие для того, чтобы меня, избитого семейно гибелью Коли, матери, борьбой, болезнью N., дать на поруганье, на побои — кому же? — Злодею, которому я подарил жизнь потому, что две женщины[16], бледные и отчаянные, просили о ней. И что я сделаю теперь? Кругом все чужие, не с кем посоветоваться, не с кем слова сказать. А тут и дети. Так и быть, самоотверженье до конца, сбейте венок с головы навозом. Я вынесу и позор. Вот вам награда за 39 л⟨ет⟩[17], проведенных на бреши*** — на одну доску с Булгар⟨иным⟩ и Базилевским[18]. И притом я с хохотом чувствовал, что я, опозоренный, выше того, которому с таким легким признаньем бросали венки — в сто раз выше, что я совершил... величайший акт преданности. Но ведь этот акт преданности и не должен был быть для других.

---

* плеврит (франц. «pleurésie»).

** *Пропуск в копии.*

*** на посту (франц. «rester sur la brèche» — оставаться на посту).

Первый человек, подошедший с пониманьем, был Энгельсон.— «La colazione se comanda»*,— говорит Франсуа[19]. Прощайте.

После завтрака.

До 6-го февраля я был в каком-то безумии, не мог спать и помню очень, что в день отъезда Луизы, т. е. в ночь, вдруг меня осенила новая мысль, дерзкая, смелая — отказаться от чести драться с этой бестией, но отказаться не просто, но с шумом, открыто. Я вскочил и написал письмо Мац⟨цини⟩ — этим письмом я сам себя компрометировал перед собою.— Вместе с отказом и главным поводом ему было религиозное чувство оправдания N., но для этого надо было непременно дать ей самой речь. Я подождал до 15 февраля и сообщил ей двадцатую долю, и то едва, гнусных доносов. Она уже знала, кто он, но такой гнусности, такой роскоши наглости — не ожидала. Она встала во весь рост, и под ее проклятьем он еще погибнет.

Риск был страшный. Но где же иной выход? Представьте себе смерть без оправданья. Что значило мое свидетельство и двадцать дуэлей? Всё склонилось перед ее объяснением, и с тех пор около меня составилась новая броня друзей. Вы знаете ответ из Лондона и пр⟨очее⟩[20]. Один человек — Сазонов, поступил гадко, безумно[21]. Моя дружба, мое знакомство с ним кончены на веки веков. Кто тут не умел понять, в том не было ни искры души. Жир[22] и гордость, ничем не оправданная, не заменяют ее.

Казалось, я восторжествую. Но кладбище между мной и торжеством. Но рок между им и мной и против меня. Да, он ⟨рок⟩ еще побьет варвара, осмелившегося быть свободным человеком между крамольными холопами Запада[23]. Он нападает за веру в гниль, за доверье к старческому бессилию, и подлая рука его сведет еще в могилу и покроет позором *на время* меня и всю семью, несмотря на безусловную чистоту мою, на то, что, оглядываясь, мне не в чем упрекнуть себя **.

Да, ирония, ирония! Генерал[24], который так высоко понимал вопрос, теперь нудит меня драться с подлецом.

Трудно было отказать. Но теперь «troppo tardi»***. Теперь скорее цепи и Сибирь, нежели равный бой. Храбрость я могу еще показать на другом поле. Его я могу наказать, раздавить, сделать несчастным, презрительным, свести с ума, свести со света, но драться с ним — никогда! Это мой ultimatum.

И довольно на этот раз.

Прощайте, искренний, добрый друг; вам поручаю мою честь, вам мое оправданье перед русскими — насчет других... Итальянцы поняли всё это прежде других, да и Тесье не даст посрамить. Во всяком случае, первая часть второй части должна окончиться скоро[25]. Верьте в меня незыблемо. На досуге и в светлую минуту напишу насчет детей, на случай какого-нибудь сюрприза.

Жму много и крепко вашу руку. Я видел вчера Тату и Олю во сне. Оля выросла будто и меня не узнала. Я рвусь назад в Геную, но не поеду с осмеянным видом, а восторжествовать, или совсем не поеду.

Что Мельгунов?

Рейхелю дружеский поклон.

Addio

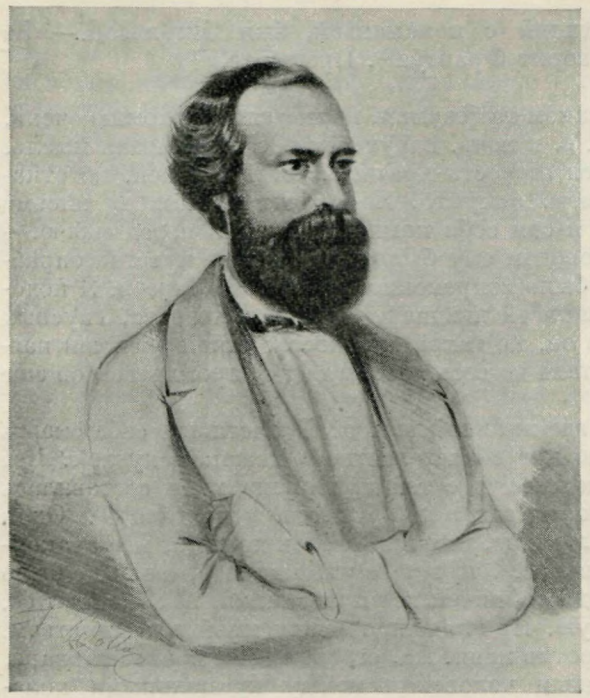
Получила ли Тата особое письмо, адресованное к ней?

С этого письма сделаны две копии (одна — в первой тетради, другая — во второй), отличающиеся одна от другой несколькими мелкими разночтениями. В первой тетради копия сделана не до конца. Она обрывается на словах «sans arrière-pensée».

* Завтрак подан (итал.).

** *В копии здесь поставлен знак вопроса в скобках.*

*** «слишком поздно» (итал.).



ФЕЛИЧЕ ОРСИНИ

Литография с рисунка Ф. Болла, 1840-е гг.

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

«Я познакомился с Орсини в Ницце в 1851 году; временами мы были даже очень близки, потом расходились, снова сближались...» («Былое и думы»)

[1] Из Лугано Герцен послал «Призыв к братьям-демократам», в котором, объясняя причину своего отказа от дуэли с Гервегом, просил международную демократию вынести приговор: «Пусть впервые совершится правосудие без прокурора и жандармов, во имя солидарности народов и автономии личности» (VII, 67).

Далеко не все представители буржуазной демократии, к которым обращался Герцен, приняли сочувственно его «Призыв» (см. VII, 67—71 и 80—83). Отозвались лишь некоторые из тех, на кого он рассчитывал, что не могло не причинить ему сильного огорчения.

[2] Неточная цитата из стихотворения Пушкина без заглавия, написанного между 1820 и 1826 гг.

[3] Гауг собирался вызвать Гервега на дуэль. Это совершенно не входило в намерения Герцена, так как придало бы совсем иной характер наказанию Гервега. «Усмирить» Гауга удалось только К. Фогту (XIII, 564—565).

[4] В ответ на «Призыв к братьям-демократам» Герцен получил несколько ответных деклараций, в которых подтверждалось его право не драться на дуэли с Гервегом. Среди подписавших были: Ф. Орсини, Дж. Медичи и К. Пизакане (VII, 79—84).

[5] *Г-жа Кох* — авантюристка, бывшая возлюбленная Луи Наполеона.

[6] *Mère Lachaise* (Мать Ляшез) — шутка Герцена: Père Lachaise (Отец Ляшез) — известное кладбище в Париже.

[7] Герцен имеет в виду письмо к Гаугу от марта 1852 г., в котором он впервые изложил историю своей семейной драмы (VII, 24—31).

[8] *M-me Biggs* (ум. в конце 1866) — друг Роберта Оуэна. Герцен познакомился с ней в Ницце, в 1850 г., через Маццини (XIV, 466—467) и, в свою очередь, познакомил ее с Феличе Орсини (Ф. О р с и н и. Воспоминания. Academia, 1934, стр. 160).

[9] Герцен познакомился с М. К. Рейхель, тогда Эрн, в Вятке, во время своей ссылки. Знакомство произошло, повидимому, в 1835, а не в 1837 г. (I, 200).

[10] Герцен имеет в виду книгу «С того берега».

[11] Письма Гервега к Герцену опубликованы Лемке (XIV, 34—89).

[12] Джемс *Фази* (1796—1878) — швейцарский политический деятель (см. о нем выше в наст. томе).

[13] Густав *Струве* (1805—1870) — немецкий буржуазный радикал, республиканец (см. о нем в «Былом и думах» — XIII, 328—332).

[14] Это выражение Герцен использовал впоследствии в качестве заглавия одной из глав в «Былом и думах», посвященных его семейной драме.

[15] *...время от июля ⟨18⟩51 и до 16 ноября* — период между свиданием Герцена и Натальи Александровны в Турине и гибелью матери и Коли. Об этом периоде Герцен писал: «Спасибо судьбе за эти дни, за эту треть года, шедшего за ними: ими торжественно заключилась моя личная жизнь» (XIII, 534).

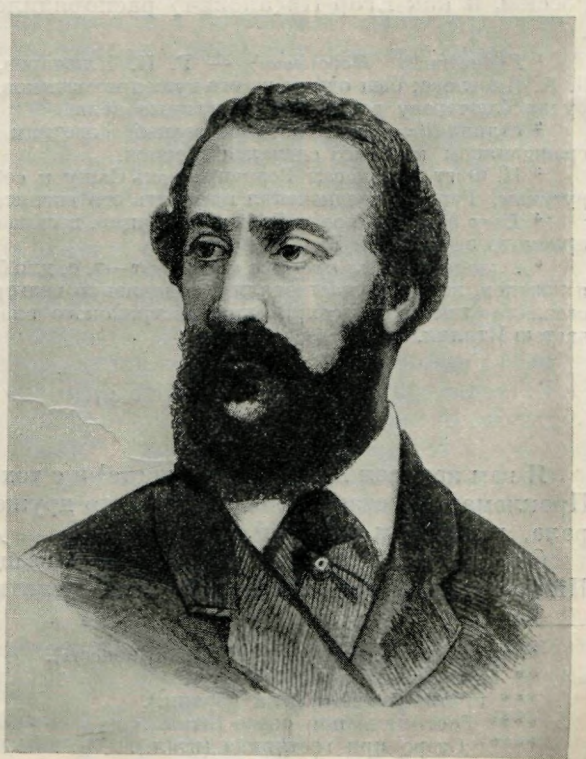
[16] Н. А. Герцен и Эмма Гервег.
[17] В 1851 г. Герцену было 39 лет.
[18] *Базилевский* — камергер, высеченный своими крепостными людьми (VII, 383—384, IX, 78 и XIII, 74).
[19] *Франсуа* — слуга Герценов.
[20] Речь идет об ответе Маццини. Он обещал Герцену полную поддержку и с осуждением писал о Гервеге. *Пр⟨очее⟩* — поддержка, оказанная Герцену друзьями в Ницце и в Генуе. Письмо Маццини от 27 мая 1852 г. опубликовано в «Образах прошлого» М. Гершензоном (М., 1912, стр. 265).
[21] Сазонов, поверив Гервегу, стал убеждать Герцена не удерживать Наталью Александровну, которая якобы ради Гервега готова была покинуть семью.
[22] Сазонов был очень толст.
[23] Герцен говорит о буржуазных демократах, остававшихся во власти мещанских традиций.
[24] *Генерал* — Эрнст Гауг.
[25] По определению Герцена, «первая часть» его семейной драмы закончилась смертью жены. Под «первой частью второй части» он, вероятно, подразумевал подготовку суда над Гервегом, который, по его предположению, должен был состояться в Лондоне.

39

⟨Lugano.⟩ 2 июля 1852 г.

Получил тысячу франков и письмо. Детей, разумеется, Егору Ив⟨ановичу⟩ не дам, а вы можете ему написать, что теперь-де более, нежели когда-либо, надобно ему подумать о детях и изменить духовную; пусть он посоветуется с Гр⟨игорием⟩ Ив⟨ановичем⟩[1]; может, наконец, на ваше имя перевести, а вам поручить передать.

Дела́, кажется, немного поправились. Генерал оставил свои намерения, и теперь идет правильная осада. Всякий день открывается новая гадость, новое злодейство этого изверга. Если б не его подлая трусость, нельзя вымерить, до чего бы он дошел. Что-нибудь да будет, хорошо ли? Мудрено сказать — но «что-нибудь» лучше этого застоя.



КАРЛО ПИЗАКАНЕ
Гравюра
Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК КПСС, Москва
«...я знал bel capitano и не раз беседовал с ним о судьбах его печальной родины...» («Былое и думы»)

Я пишу инструкцию Рейхелю насчет опеки. Я хочу, чтобы Рейхель заведывал всею финансовой частью, исключая перемещения капиталов, которое надобно делать сообща и еще с советом Прудона и Шомбурга. В этой инструкции будет речь и о воспитании (с материальной стороны), и о будущем разделе капитала. В Совете о воспитании будут Тесье, Фогт, Энгельсон, Хоецкий и Мельгунов, если останется ⟨за границей⟩. Да еще и Мишле. По юридическим делам Фази с Шаллер⟨ом⟩[2].

Вы царствуйте над Татой и Олей. Я полагаю, что сначала Саша должен учиться в Женеве — у Фогта, потом в Париже. В Париже он должен жить у вас[3].

Вы — альфа и омега, прошу не умирать ни под каким видом. Дело в том, что, кроме вашего пристрастия к нам, вы сделаете из детей русских. Саша и так верит, что он швейцарец (это его консерватизм так, как давно в Париже консерватизм Таты). Я вам завещаю развить в них сильную любовь к России. Пусть даже современем они едут туда — может, и с вами. Об этом буду еще писать много. Сашей я доволен. Он чрезвычайно инфлуенсируется* средой: в Ницце он был похож на Пьера Рокка[4], здесь стал похож на нас. Итальянцы в Генуе сильно на него подействовали — он вообразил себя защитником Италии; это детски, но хорошо и нисколько не похоже на сухую политику, в которую его топили как...** Вот вам об нем анекдот. Один из итальянских друзей подарил ему небольшую шпагу, говоря: «для кроатов и казаков»[5]. Саша был ужасно рад шпаге, но серьезно отвечал: «Отчего же не против итальянцев, которые против нас, contre notre cause?»*** Недурно. Итальянец расцеловал его.

Живу я всё в городе, которого нет. Lugano состоит из огромного отеля, превосходно содержимого, при котором находится озеро — остальное вздор. Трактир называется Albergo del Lago****, а озеро, вероятно, Lago del Albergo*****. Тесье уехал, и я с Эдмундом и Сашей до того иногда скучаю, что становится весело. Прощайте. А что, деньги пришли в Россию, и как Егор Ив⟨анович⟩ распорядился?

[1] *Гр⟨игорий⟩ Ив⟨анович⟩* — Г. И. Ключарев, ведавший денежными делами И. А. Яковлева; был одним из его душеприказчиков. Уезжая за границу, Герцен поручил Ключареву вести свои денежные дела.

[2] Юлиан *Шаллер* — государственный советник в кантонс Фрибург (Фрейбург), гражданином которого сделался Герцен.

[3] К. Фогт предлагал Герцену взять Сашу к себе. Желая, чтобы сын оставался русским, Герцен предпочитал поручить его воспитание М. К. Рейхель.

[4] *Пьер Рокка* — повар Герцена в Ницце, весьма ему преданный. Ему был поручен присмотр за могилой Н. А. Герцен.

[5] *...шпагу... «для кроатов и казаков»*—т. е. для борьбы против кроатов (хорватов) и казаков, которые участвовали в подавлении венгерской революции 1848 г. и содействовали тем самым сохранению австрийского владычества над порабощенной ими частью Италии.

40

17 июля 1852. Lucerne

Я вам написал дней пять на листе[1] и с тех пор переселился в Люцерн[2]. Прокламации остановлены; будет одно дружеское письмо ко мне от Генерала, в котором рассказ[3].

Он еще не посылал никакой прокламации[4]. Явилась жена его из Ниццы, теперь пойдет, должно быть, политическая часть трагедии.

---

* поддается влиянию (франц. «influencer»).
** *Пропуск в копии.*
*** против нашего дела (франц.).
**** Гостиница при озере (итал.).
***** Озеро при гостинице (итал.).

Представьте, что он, избитый, отправился к комиссару полиции, говорит, что его хотели убить. Комиссар сказал, что он не может вступать в разбор частного дела, но что готов его принять под покровительство полиции.

Что за пучина гадости и разврата! Получил письмо от Гартмана[5] и прошу вас вот что для меня сделать — пошлите Рейхеля за ним или записочку, он живет Rue et Hôtel des trois frères*, и скажите, что я собираюсь ему писать много, но должен еще отдохнуть. Я собираю демократический вердикт против подвига Гервега и прошу его участвовать со всей демократической Италией. Расскажите ему вкратце, в чем дело, похожденье 1-го июля[6], и покажите приложенную статейку, не имеет ли он возможности тиснуть ее в парижском журнале?

Приезд мой сюда дал делу иной вид. Вероятно, первая его часть скоро кончится, а может, и последняя. Ему все хочется дать вид дуэли со мной, и он, уже битый, говорит, что он уверен, что я обниму его на поле битвы. Я не в духе писать. Скажите Гартм⟨ану⟩ просто, что я в Швейцарии.

[1] Герцен имеет в виду свое большое письмо от 11—13 июля 1852 г. (VII, 94—96).
[2] Герцен переехал в Люцерн по просьбе К. Фогта, чтобы решить, какие в дальнейшем принимать меры относительно Гервега.
[3] Герцен уговорил Гауга не печатать составленную им подробную записку о всей истории с Гервегом (см. XIII, 566).
[4] *Он* — Гервег. Так как Гауг 11 июля дал пощечину Гервегу, можно было ожидать, что Гервег вызовет Гауга на дуэль. Однако вызова не последовало (XIII, 562—564).
[5] Морик *Гартман* — немецкий поэт, политический эмигрант, проживавший в Париже.
[6] 1 июля 1852 г. Гауг дал пощечину Гервегу (см. XIII, 562—569).

41

21 июля 1852 г. Lugano

Мне кажется, что я давно к вам не писал. С тех пор я успел уже съездить в Берн и возвратиться[1].

Да, чего же лучше, записку послать с Боткиным[2], дайте ему непременно статью из ниццской газеты, два-три экземпляра, пусть ⟨в⟩ подкладку подошьет [3].

Расскажите 1-ое июля. Напишите Марии Федоровне[4] дружеский поклон; писать в даль еще не могу; когда совсем успокоюсь, буду писать.

Теперь к делу. Наконец, благородный противник наш дал залп, т. е. прислал новый картель мне — чрезвычайно учтивый на этот раз, говоря, что ему прискорбно, но делать нечего. Я отвечал секунданту, что̀ он[5] и что злодеев наказывают, а не дерутся с ними. Между тем он осведомился у адвокатов, нельзя ли завести процесс с Гаугом и Тесье pour la violation du domicile**. Адвокаты сказали, что он не только не выиграет, но что ведь тогда публично придется сказать, что ему надавали плюх. Его экс-жена[6] шумит, кричит, что надобно дуэль непременно с Генералом[7]. Между тем, он, т. е. битый, составил акт, в котором доносит, что я подсылаю каждые 15 дней спадасинов[8]. Этот акт подписал какой-то дурак-профессор[9].

Теперь Тесье, Генерал и Фока[10] ⟨принялись⟩ дурака учить, что-де спадасинами не ругают честных людей. Опасности большой нет. Все, что может быть,— это дуэль с секундантом или с кем-нибудь, кто мне в глаза бы сказал, что он за него хочет драться[11].

Что Колачек[12] дрянь — не подлежит сомненью, он даже его ⟨Гервега⟩ денежно поддерживает. Фогт собрал целый анекдотник мерзостей об их эксплоатации отца барыни[13].

Но вы не можете себе представить, что за могильная усталь одолевает мною иногда, особенно после спора и междуусобий. Люди так немы,

* Улица и гостиница «Трех братьев» (франц.).
** за нарушение неприкосновенности жилища (франц.).

иногда так неделикатно глухи, что приходится говорить то, что следовало бы только слышать, и кричать, о чем следовало бы едва намекнуть. Все это портит душу, делает ее грубее, отнимает тот пушок, который сопровождает только юное, только то, до чего грубо не касались.

В Берне старыми знакомыми принят был хорошо; видел Фази, Шаллера.

Фогт сегодня будет сюда. Потом поеду в Женеву, хотелось бы увидать детей. И хоть зиму прожить спокойно. Не поедет ли M-me Tessié в Женеву, дети могли бы у них пожить. Досадно, что мне нельзя в Париж.

Неужели Боткин не заедет сюда или Станкевич? Я просто прошу настойчиво об этом. Найти меня будет не трудно, но всего лучше назначить rendez-vous в Интерлакене или в Вевее, в Женеве, одним словом, где хотят. Позаботьтесь об этом. Прощайте. Записку Огареву доставьте, только со всеми осторожностями.

[1] О поездке в Берн мы узнаем впервые из этого письма. В «Канве биографии» Герцена, составленной Лемке (XXII), сведений о ней нет.

[2] Видимо, речь идет о записке к Огареву, которую Герцен собирался послать с Н. П. Боткиным.

[3] В ниццской газете «L'Avenir de Nice» (№ 385 от 13 июля 1852 г.) была перепечатана заметка Гауга из «Italia e popolo» о том, как и за что он дал пощечину Гервегу.

[4] *Мария Федоровна* — М. Ф. Корш.

[5] «*... что́ он*» — в смысле «что он собой представляет».

[6] *Экс-жена* — Эмма Гервег. В этот период супруги Гервеги временно разошлись.

[7] *Генерал* — Эрнст Гауг.

[8] В ответ на заметку Гауга в «L'Avenir de Nice» Гервег поместил 18 июля в реакционной «Neue Züricher Zeitung» письмо в редакцию с обвинением Герцена в том, будто он, используя «русские субсидии», подсылает к нему наемных убийц — *спадасинов* (франц. «spadassin»).

[9] Речь идет о докторе Вилле, друге Гервега, выступавшем в его защиту (см. коллективное письмо друзей Герцена к Вилле, где дана мотивировка отказа Герцена от дуэли с Гервегом — VII, 79—80).

[10] *Фока* — К. Фогт.

[11] Итальянские друзья подали Герцену совет драться на дуэли с тем лицом, которое согласится взять на себя задачу восстановить честь Гервега.

[12] О *Колачеке* см. примеч. 3 к письму № 25.

[13] К. Фогт писал Герцену 2 июля о получении писем от родных жены Гервега, которые «хотят во что бы то ни стало покончить эксплоатацию» (денежную), которой они подвергаются со стороны Гервега.

42

23 июля <1852 г.> Люцерн

Ваше письмо от 21-го. Каково почта ходит. Я с тех пор написал вам; был в Берне*; видел Фази, Шаллера и прочих кесарей Швейцарии — все идет хорошо. Но alea jacta est**, т. е. была не была, делать нечего, мы должны были спуститься на грязную арену журналистики[1]. Сначала будет грязь, одна грязь... но, если через нее пронесу гроб, но если я не упаду с ним или не буду убит, то торжество огромное. Я чувствую силу только на этот подвиг, даже сумасшедшую, это моя idée fixe***, оттого-то я и покоряю других... с такой arrière-pensée**** можно смириться и вынести площадную брань человека, который отвечает ею на плюхи.

Мерзавец этот напечатал в цюрихской газете, что я подослал наемных спадасинов, что он отдается под покров общества, что редакторы «Italia e popolo» — Schurken*****. От нас будет протест, ну и пойдет подлейшая

---

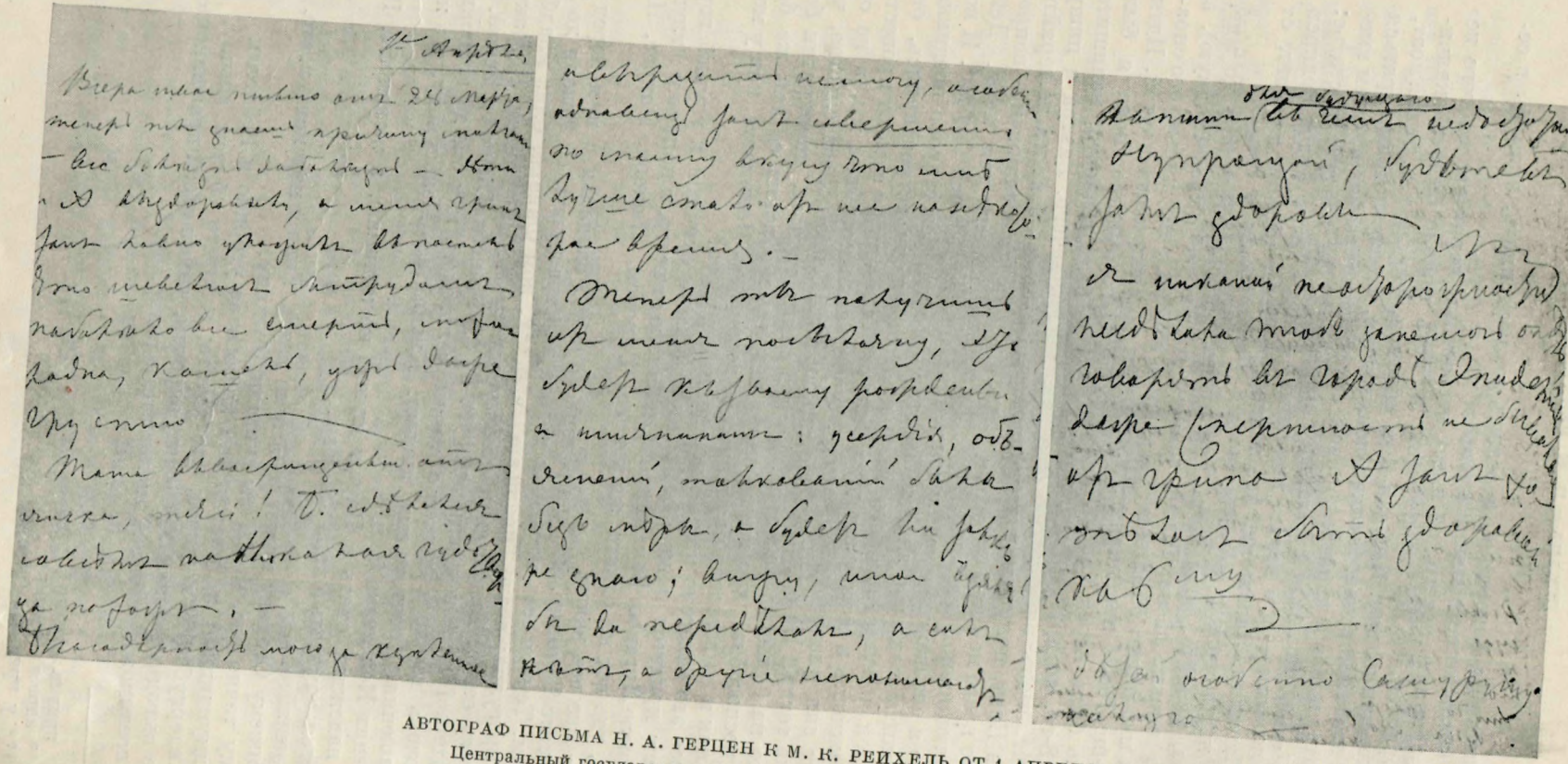
* *В копии:* написал вам было в Берн

** жребий брошен (лат.).

*** навязчивая идея (франц.).

**** задней мыслью (франц.). Здесь в смысле — глубоко усвоенной мыслью

***** канальи (нем.).



АВТОГРАФ ПИСЬМА Н. А. ГЕРЦЕН К М. К. РЕЙХЕЛЬ ОТ 1 АПРЕЛЯ 1852 г.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

полемика, лишь бы, говорю я, пережить ее, пересилить, лишь бы в середину не вклеился посторонний дуэль[2].

Генерала обвинять нечего, он имеет несчастный характер, многого не понимает, сердится, но он любит меня, и, хоть тяжело бывает, оканчивается все же, как я хочу. Я писал вам, кажется, что он, т. е. битый поэт, мне прислал второй картель. Я отказался, говоря, что со злодеями драться нельзя. На этот вызов я напечатаю свой appel* демократии[3] и, с тем вместе, вердикт, подписанный страшными именами[4]. Он говорит в статье: «Какая демократия — это чернь, подлецы» — ему в ответ будут подписи Прудона, Маццини. Знаете ли, кто теперь работает славно? — Фогт, от него я и не ждал столько дружбы.

A propos, узнайте, ради бога, как пропало письмо Прудона ко мне. Я получил письмо M-me Tessié, записку Даримона[5] (превосходную), в которой он мне пишет об adresse** Прудона, говоря, ⟨что⟩ письмо его опоздало. A M-me Tessié прибавляет: и посылает со следующей почтой. Идти оно должно было через Геную. Письмо от 11-го пришло, пока я был в Берне, 18-го, но другого нет, это досадно до бесконечности, напишите M-me Tessié, пусть он напишет еще раз, делать нечего. Завтра я пишу к Мишле в Нант, получил от него на днях. Важность вопроса не теряйте из вида, это вовсе не несчастная трагедия, а вопрос колоссальный — вопрос всей революционной религии, всех последних надежд для меня. Действительно я сознаю себя *новым* человеком, как выразился *Саффи*[6]. И вот я делаю опыты наказать злодея без старого суда, без старого поединка, одной силой демократического мненья. *Новые* люди встрепенулись, они поняли важность и отвагу предприятия; но, если они не сумеют провести, не найдут сил раздавить мерзавца, труса, если погибнем мы, а не он; ну что же тогда? Не будет ли это микроскопическое доказательство, что не только на больших размерах, но и в самых мелких, демократия бесплодна, неспособна, что внутренние, незримые волокна ее так же бессильны, как и ее вестовая труба, как ее воззвание. Понимаете, как у меня теперь все это сплетено в один жизненный вопрос?

Может, придется пожить в Люцерне (самый скучный и глупый город в мире после Лугано и Беллинцоны), я близко от всего, я налицо и в глуши, в месте, где нет ни одного знакомого. Впрочем, Люцерн, Мадрас, Нью-Йорк — мне все равно.

Скажите Боткину, что непременно требую свиданья с ним перед его отъездом. Теперь есть железная дорога до Страсбурга, от Базеля до Люцерна прогулка; возле Тиволи am Hafen***, дом Фанера, близ кладбища на берегу озера. Я думаю по такому адресу Moritz[7] найдет. В трактире Schweizerhof он может спросить F. F. ⟨!⟩ Francis Dillon[8] и Tessié. Для меня очень важно видеться с таким человеком, как он, до времени его возвращения. Прочтите ему письмо. Кланяйтесь Мельгунову, что же он не стыдит Кол⟨ачека⟩?

О надеждах ехать в Париж ничего не понимаю, а желал бы. Иначе придется зимовать около Женевы.

Прощайте.

Записку Огареву может и Боткин взять. Если я переменю место, тогда сообщу точно час, чтобы вы сказали Боткину.

Едмундишко[9] и Генерал вам кланяются усердно и Рейхелю.

Нидергуберу[10] пошлите, что хотите; я что-то об нем слышу, но не вовсе выгодные отзывы. Говорят, впрочем, что он своей прачешной сильно эксплоатировал жену. А может это и вздор.

---

* призыв (франц.).
** адресе (франц.).
*** у пристани (нем.).

[1] В № 209 «Neue Züricher Zeitung» от 27 июля 1852 г. Герцен вынужден был напечатать специальное «заявление» («Erklärung») по поводу клеветнических обвинений со стороны Гервега (VII, 110—112).

[2] Герцен имеет в виду возможность своей дуэли с каким-либо защитником Гервега или дуэли Гервега с Гаугом.

[3] «Призыв к братьям-демократам» был разослан Герценом в рукописном виде, напечатан он им не был. В этом призыве Герцен дает мотивировку своего отказа от дуэли с Гервегом (VII, 65—67).

[4] Герцен рассчитывал получить для «вердикта» Гервегу подписи Мишле, Прудона, Маццини и других вождей буржуазной демократии. Позднее он надеялся и на поддержку Жорж Санд.

[5] Альфред *Даримон* (1819—1902)—в эпоху революции 1848 г. буржуазный демократ; деятельный сотрудник газет, издававшихся Прудоном. В мемуарах: «A travers une révolution 1847—1855» писал о Герцене. К шестидесятым годам Даримон эволюционировал вправо и сделался сторонником т. н. программы «либеральной империи».

АДОЛЬФ РЕЙХЕЛЬ

Фотография конца 1850 — начала 1860-х гг.

Исторический музей, Москва

[6] Марк-Аврелий *Саффи* (1819—1890) — деятель итальянского освободительного движения, соратник Маццини. В 1849 г. он был одним из триумвиров Рима, но впоследствии отошел от политической деятельности. В лондонский период жизни Герцена Саффи был одним из его близких друзей.

[7] *Мориц* — малолетний сын Ад. Рейхеля от первого брака.

[8] Под именем Francis *Dillon* скрывался гарибальдийский генерал Гауг.

[9] *Едмундишко* — К.-Э. Хоецкий.

[10] *Нидергубер* — участник австрийского революционного движения, эмигрировавший в конце 1848 г. из Вены и поселившийся в Париже. Рейхель и Герцен оказывали Нидергуберу материальную помощь. Впоследствии он был разоблачен как агент французской полиции.

43

29 июля 1852 г. Люцерн

Отправляю вам экземпляр статьи Г⟨ервега⟩ и наш ответ[1], читайте и не очень ⟨о⟩горчайте⟨сь⟩. Надо пройти грязью; но, тем не менее, дело идет. Он исчез; одни говорят, что он бросился в Пьемонт, другие, что он поехал с секундантом на меня войной — но тогда он ошибся местом, я, как видите, в печати объявил, что я здесь, а они проскакали пять дней тому назад.

Нашлись покровители у него, даже такие, которые дают деньги.

От Станкевича получил[2], поеду к нему непременно. Вы понимаете, как важно мне видеть русского. Я еду завтра. Пишите в Берн, *à M-r Charles Edmond,* poste restante.

A propos, он распустил слух, что все, сделанное мною, сделано для того, чтобы не потерять часть именья, принадлежащего Н.— Что скажете? Справлялись ли о письме Прудона[3] и не напишет ли он другое?

Тате писать некогда, пора на почту, поцелуйте ее. Я ужасно дорого бы дал взглянуть на нее... Иногда меня преследует глупая мысль, что, может быть, мы не увидимся.

Рейхель без пощады должен быть опекуном. Я еду составлять тестамент* с Шаллеровой помощью.

С подлецом не будет дуэли — за это я отвечаю.

Но мало ли что может быть? Война.

Прощайте. Жму крепко вам руку.

[1] Речь идет о письме Гервега в «Neue Züricher Zeitung» от 18 июля и вызванной этим письмом заметке Герцена, помещенной в той же газете в номере от 25 июля, и заметке Тесье дю Мотэ в номере от 27 июля (ср. VII, 111—112 и XIV, 112—113 и 117—119).

[2] Письмо А. В. Станкевича к Герцену неизвестно.

[3] Герцен ожидал от Прудона ответа на свое обращение к нему по поводу суда над Гервегом. Ни письмо Герцена, ни ответ Прудона неизвестны.

44

АДОЛЬФУ РЕЙХЕЛЮ

2 Août 1852. Berne

Cher Reichel,

J'ai fait hier par devant un notaire de Fribourg mon testament[1]. Je me suis cru en droit après votre lettre et celle de Marie de vous nommer *seul* tuteur de mes enfants. En cas de besoin vous pourrez convoquer un conseil de famille,— il est composé de six personnes, mais cela n'aura lieu — la convocation — que dans des cas très graves, par exemple déplacement de fonds, changement de ville pour les enfants; outre cela le conseil de famille donnera son avis sur la direction générale de l'éducation. En cas de votre mort, ou départ de l'Europe, vous serez remplacé par Engelson et C. Vogt. Jules Schaller et C. Vogt sont nommés exécuteurs testamentaires. Vous n'avez à rendre aucun compte détaillé sur l'emploi des sommes destinées à l'éducation — de 12 000—15 000 par an.

Je crois, cher Reichel, qu'on ne pouvait plus faciliter votre tâche; j'ai même bataillé contre le désir tout naturel de vous soumettre plus que je ne l'ai fait, aux autorités pupillaires.

Le conseil n'est pas bien composé, quant à la postion sociale des personnes, mais je ferai des changements.

Moi, je voudrais mettre deux Russes — Ogareff ou Melgounoff ou Granovsky. Mais pour cela il faut qu'un d'eux se soit expatrié. Maintenant nous avons:

ces trois seulement	+ Engelson
ont un domicile fixe.	Tessié
Les autres ne restent	+ C. Vogt
jamais ni en Suisse	+ J. Schaller
ni à Paris.	Haug

Il y a dans le testament une instruction complète concernant les legs et le partage. Tout cela est d'une simplicité antédiluvienne. Je vous ai

* завещание (франц. «testament»).

chargé de faire des démarches pour lever la séquestration du bien de Kostroma[2]. Le gouvernement suisse vous aidera. Je vous ai chargé d'une seule affaire compliquée, c'est de faire rentrer la dette de Satine[3]. Les autres dettes me sont indifférentes. On n'a pas payé de mon vivant, qui diable voudra payer après ma mort. Vous et Marie — vous me garantissez complètement l'avenir de mes enfants. Si vous vous adjoignez encore quelques amis russes, je serai tellement content, que je tâcherai de mourir au plus vite. Une instruction sur l'éducation sera écrite par moi.

Et voilà tout. Mon corps doit être enterré à Nice[4]. Donc je serai transporté après ma mort, c'est de la conséquence au moins[5].

Перевод:

2-е августа 1852 г. Берн

Дорогой Рейхель.

Я составил вчера у Фрибургского нотариуса завещание[1]. После вашего письма и письма Марии я счел себя вправе назначить вас *единственным* опекуном моих детей. В случае надобности вы сможете созвать семейный совет. Он составлен из шести человек. Но это — созыв совета — будет иметь место лишь в чрезвычайно важных случаях, например — при перемещении капиталов, перемене города для детей; помимо этого семейный совет выскажет свое суждение об общем направлении воспитания ⟨детей⟩. В случае вашей смерти или отъезда из Европы вас заменит Энгельсон и К. Фогт. Юлиан Шаллер и К. Фогт назначены душеприказчиками. С вас не потребуется никакого подробного отчета об употреблении сумм, предназначенных на воспитание — от 12 до 15 тысяч в год.

Я думаю, дорогой Рейхель, что нельзя было более облегчить вашу задачу. Я даже боролся против вполне естественного желания подчинить вас в большей степени, чем я это сделал, опекунской власти.

С точки зрения общественного положения лиц, совет составлен плохо. Но я внесу изменения.

Мне бы хотелось ввести двух русских — Огарева и Мельгунова или Грановского. Но для этого необходимо, чтобы один из них покинул родину. В настоящее время мы имеем:

только эти трое ⟨отмеч.+⟩	+ Энгельсон
имеют определенное место жительства.	Тесье
Остальные не живут постоянно	+ К. Фогт
ни в Швейцарии	+ Ю. Шаллер
ни в Париже.	Гауг

Завещание содержит исчерпывающую инструкцию, касающуюся завещанного имущества и акта раздела. Все это отличается допотопной простотой.

Я поручил вам предпринять шаги к снятию секвестра с Костромского имения[2]. Швейцарское правительство поможет вам. Я поручаю вам только одно сложное дело — это получить долг от Сатина[3]. Остальные долги мне безразличны. При жизни мне не платили, кой чорт захочет платить после моей смерти. Вы с Марией вполне обеспечите будущее моих детей. Если вы привлечете себе в помощь еще кого-нибудь из русских друзей, я буду так доволен, что постараюсь умереть как можно скорее. Инструкция о воспитании будет мною написана.

Вот и всё. Мое тело должно быть погребено в Ницце[4]. Стало быть, после смерти меня будут перемещать, в этом по крайней мере есть последовательность[5].

[1] Завещание Герцена опубликовано (VII, 120—123). Копия, сделанная при вскрытии завещания после смерти Герцена, сохранилась в «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 291а).

[2] В завещании сказано: «...обязательство хлопотать о восстановлении в пользу моих детей права собственности на земельное имение, которое принадлежит мне в России в Костромской губернии, Чухломском уезде, на каковое имение ныне наложен секвестр, по причинам политического характера» (VII, 122; ср. «Звенья», № 9, 1951, стр. 546).

[3] Этот долг не был возвращен Герцену при жизни Сатина. После смерти отца А. А. Герцен обратился к детям Сатина с напоминанием о долге, но ответа не последовало. Его письмо от 3 февраля 1882 г. хранится в «пражской коллекции» (оп. 1, ед. хр. 324). Отказ Н. А. Тучковой-Огаревой способствовать получению долга вызвал негодование А. А. Герцена (см. «Путевые заметки» Е. С. Некрасовой. Рукописный отдел Гос. библиотеки им. В. И. Ленина. Некр. XXXII—41). Упомянутый в завещании долг Н. Ф. Павлова в письме к Рейхелю не отмечен.

[4] В завещании Герцена написано: «Я хочу, чтобы после моей смерти мой прах был перевезен в Ниццу и погребен там на кладбище, отведенном для не-католиков, рядом с могилою моей жены. Там же должно воздвигнуть общий похоронный памятник для моей матери и сына, погибших при кораблекрушении, для жены и для меня» (VII, 123).

[5] Герцен имеет в виду, что он странствовал всю жизнь, и после смерти его праху предстоит странствовать.

45

2-го августа 1852. Берн

Здравствуйте. Я точно Никол⟨ай⟩ Семен⟨ович⟩[1] из угла в угол по Швейцарии, на почтовых, на пароходах — быстро и ненужно. Вчера был в Фрибурге и сделал завещанье. Рейхель, как мне сказывал Haug, не очень был доволен, что я хотел назначить опеку из нескольких лиц. Я назначил одного Рейхеля — он один ответственный опекун. Совет — для чрезвычайных дел. Вот и всё. Это формальность, теперь я бы желал очень, чтобы Огарев и Тучкова участвовали своим советом и содействием. Это вы сделаете. Я желал бы тоже, если только будет возможно, чтобы Саша жил у вас. Цель моя, сверх надзора, поддержать связь между ним и сестрами. Насчет его ученья, Тесье и Фогт могут дать наилучшие советы. Да и тоже наши-то, московские, неужели не помогут!

Словом, я с этой стороны спокоен. Поеду к Станкевичу в Женеву. Сашу свезу к Фогту в Интерлакен, где оставлю его под надзором Э. Хоецкого и под охраною француза[2]. И поеду один. Я себя отучаю мало-помалу от всех.

Г⟨ервег⟩ скрылся из Цюриха. Говорят, будто поехал в Пьемонт, что недурно. Жена его напечатала какое-то письмо[3]. Тягостное время, может, скоро окончится. А знаете ли, что на днях к вам будет гость, с которым пришлю многое?

Отгадайте кто?[4]

[1] *Никол⟨ай⟩ Семен⟨ович⟩* — здесь и в дальнейшем Николай I. Относительно него ходили упорные слухи, что он не сын Павла I. Намекая на это, Герцен сочинил ему другое отчество. Склонность Николая I к постоянным переездам неоднократно отмечалась Герценом.

[2] *Француз* — вероятно, Тесье.

[3] Эмма Гервег поместила 20 июля в газете «L'Avenir de Nice» письмо в редакцию, в котором пыталась оградить имя Гервега от «морального убийства» (XIV, 115—116).

[4] Речь идет, повидимому, о каком-то приезжем из России, но о ком именно, выяснить не удалось.

46

Дувр. 5 час. утра 24 августа

Через $1^1/_2$ часа мы в Лондоне. С уваженьем, с истинным уваженьем поставил я ногу на английскую землю; какая разница с Францией! Здесь чувствуешь себя свободным, и я не забыл повторить «Va peur»* на пароходе[1]. Саша не был болен и сидел с нами в кабине и уж по-английски пьет херес и ест mouton**.

Я привык к нравам и выучился ругаться.

---

* Игра слов: «vapeur» (франц.)— пароход, «va peur» (франц.)— долой страх.
** баранину (франц.).

НОЧНАЯ СЦЕНА В ЛОНДОНСКИХ ДОКАХ

Гравюра по рисунку Г. Доре, 1872 г.

ПОД МОСТОМ ЧЕРЕЗ ТЕМЗУ

Гравюра по рисунку Г. Доре, 1872 г.

«...Страшный муравейник, где сто тысяч человек всякую ночь не знают, где прислонить голову...»
(«Былое и думы», гл. «Лондонские туманы»)

Теперь о Диллоне[2], он так отличился, что я полтора часа хохотал на пароходе. Он вовсе не визировал своего пасса, а с генеральским тоном и шагом прошел в другую комнату. Его пропустили, но, когда пришлось садиться на пароход, французский альгвазил* потребовал пропуска, который дают при визе. Его превосходительство с гордостью и чувством обиженного самолюбия отвечал: «Да у меня уже взяли его» — и быстро взошел на пароход. Полицейский ему кричал вслед: «Постойте, постойте», но он шел себе, и тот обернулся ко мне сказав: «Sacré nom de Dieu, et il va, et il va»**. Это, конечно, одна из самых блестящих побед; если б она не удалась, его бы свели в сибирку[3]. Притом всё это было ненужно.

Ну и прощайте. Еще раз поблагодарите Ст⟨анкевичей⟩ и расскажите им анекдот о визе. Мельг⟨унову⟩ жму руку и Рейхелю.

Приписка к Тате:

Посылаю тебе, Тата, английский поклон. Ты знаешь, что лучшие иголки и ножницы английские — стало, и поклон оттуда лучше. Целую Оленьку.

[1] Ближе ознакомившись с общественно-политическими порядками Англии, Герцен изменил свое отношение к ним. См., например, резкую критику буржуазно-феодальной Англии и лицемерия ее правящих классов в главе «Былого и дум»: «Джон-Стюарт Милль и его книга „On Liberty"» и в статье «Camicia Rossa».

[2] *Диллон* — Гауг.

[3] *Сибирка* — здесь в значении «тюрьма».

47

31 августа 1852. London, 4 Spring Gardens Charring-Cross

Скорей пошлите к Ник⟨олаю⟩ Ал⟨ександровичу⟩[1], я ему сообщу радость: мое железное здоровье не выдержало пять дней *диэты*.

Французское вино страшно дорого, 6 шил⟨лингов⟩ бутылка, я и вздумал свести себя на эль, на херес и на содовую воду. Ma petite santé*** совершенно было погибло от такой воздержанности, каждая предосторожность мне решительно вредна, даже экономическая.

Я, шутки в сторону, так скверно себя чувствовал, спазмы, гастрические боли, что с сегодняшнего дня снова начинаю пить пиво и пить вино. Я прибавляю на вино все то, что следовало заплатить доктору. Переехали мы на квартиру; можете адресовать ваше письмо, как написано выше, на мое имя. Вчера писал я к Ротшильду, пусть бы Reichelius noster**** перенесся к Шомб⟨ургу⟩ узнать об обороте дела. Если откажут, поеду через недельку в Брюссель, а оттуда поплетусь на родину № 2[2] и поселюсь где-нибудь около Женевы.

Меня это пугает, я сделался так подл и такой трус, что боюсь тишины, как мерзко воспитанные дети боятся оставаться в темной комнате. Я чувствую всю lâcheté***** моего поведенья. Но так страшно все переломано внутри, что хочется не видать, не чувствовать, быть в *гостях*.

Борьба, борьба без развязки, без цели. Все люди разделяются на две категории: одни, которые, сломавшись, склоняют голову,— это святые, монахи, консерваторы; другие наргируют ****** судьбу, на полу дрягают ногами в цепях, бранятся — это воины, бойцы, революционеры.

---

* полицейский (испан.).

** «Чёрт возьми! а он идет себе да идет» (франц.).

*** Мое слабое здоровье (франц.).

**** наш Рейхель (лат.).

***** низость (франц.).

****** презирают (от франц. «narguer»).

Я третьего дня писал здесь к M-rs Biggs[3]: «La vie est un don néfaste, on ne peut l'accepter, qu'à la condition de la lutte, de la lutte à outrance, de la lutte sans succès ni merci, mais qui nous donne cette ivresse tumultueuse, abasourdissante dans laquelle on meurt sans s'apercevoir, sans se rendre compte»*. И да здравствует шум.

Здесь вышла презабавная история с нашими письмами из Женевы[4]: адрес был дан нелепо Генералом[5], и их распечатали у Осипа Иван⟨овича⟩, не зная к кому. И такова моя судьба: не черные, так красные распечатают. Но лучше, что там находится диатриба** Тесье на Ос⟨ипа⟩ Ив⟨ановича⟩, и особа, распечатавшая, сказала ему — ну это, разумеется, напутало карты, а впрочем, с божией споспешествующей милостью дело пойдет на лад. Вердикт от него будет.

Лондонская жизнь недурна, и, в сущности, здесь можно так же остаться, как в Париже. Саша выучится очень скоро говорить, а я, если не скоро, то выучусь. Средства образованья есть и какие аксессуары — парки и музеи. А sécurité***, святая sécurité, чего-нибудь да стоит?!

Прощайте. Что Ст⟨анкевичи⟩? Жму им руку. Пишите-ка поскорее.

Приписка к Тате:

Тата, ну уж мы в Лондоне насмотрелись всяких диковин, вчера были мы в саду, где всякие звери и птицы, а сегодня едем смотреть Петра I — это не зверь, а царь, и из этого царя сделали оперу.

Оленьке поклон и Марихен[6] и M-me Gasparini[7].

1 сентября

Вместо «Petrogrande» давали «I Puritani» — Марио[8] и пр., как следует. Я отвык от театра и воротился с удушающей скукой.

Прощайте.

[1] *Ник⟨олай⟩ Ал⟨ександрович⟩* — Н. А. Мельгунов.

[2] Горькая шутка Герцена: родина № 2 — Швейцария, в которой Герцену, как известно, пришлось натурализоваться.

[3] О *m-rs Biggs* см. примеч. 8 к письму № 38.

[4] Речь идет, повидимому, о письмах Герцена и Тесье, отправленных в Лондон к Мацини («Осипу Ивановичу») из Женевы, в конце июля 1852 г.

[5] *Генерал* — Эрнст Гауг.

[6] *Марихен* — Мария Фомм. М. К. Рейхель поручила ей уход за детьми Герцена в Париже; впоследствии она служила бонной у Герцена в Лондоне.

[7] *M-me Gasparini* — Гаспарини, мать Марии Фомм, «наш фактотум», как назвала ее М. К. Рейхель.

[8] «*Petrogrande*» («Петр Великий») — музыкальная драма в пяти действиях композитора Л.-А. Жюльена. Впервые шла в Лондоне в 1852 г. «*I Puritani*» — опера Беллини. *Марио* — известный итальянский тенор середины прошлого века.

48

Вторник, 14 сентября ⟨1852 г.⟩ London

Давно не писал я, отчасти оттого, что нечего писать, отчасти оттого, что и скучно и вечный насморк. Мы здесь как-то страшно деятельно ничего не делаем. Вчера был я в Севен-Оксе[1], что в Кенте, гостили мы у M-rs Biggs; это по-русски, а не по-французски: приехали мы утром и хотели вечером уехать, но они нас оставили ночевать и Сашу оставили еще на два дня. Там встретил я Нестора всех социалистов — Овена[2], 80 л⟨ет⟩; старик ездит верхом, беспрестанно говорит, проповедует со всей энергией

* «Жизнь — это злополучный дар, его нельзя принять иначе, как при условии борьбы, борьбы до последней крайности, борьбы без успеха и пощады, дающей, однако, нам то шумное и оглушающее опьянение, в котором умирают, не замечая, не отдавая себе в том отчета» (франц.).

** едкая критика (франц. «diatribe»).

*** безопасность (франц.).

молодости, но повторяет все одно и то же. Сегодня я приглашен к М-ts Карлейль (жена автора, вы знаете его историю революции, его самого нет, он очень любит мой «Vom and⟨eren⟩ Ufer»*); он хотел со мной познакомиться. Жена приглашает за него[3].

Итак, новый мир с новыми людьми вертится, а кабы вы знали, как внутри скучно. К тому же из Женевы ровно ничего не пишут. Генерал часто капризничает, насилу уймем; уж даже Осипу Иван⟨овичу⟩ с ним не сладить. Я написал предлинную грамоту к Прудону, да не знаю как отправить; не прислать ли на ваше имя — как бы вас не спросили. Впрочем, в письме, кроме частного дела, ничего нет. А только, во всяком случае, вы должны списаться, не возьмут ли Ст⟨анкевичи⟩[4], оно удалось[5].— От Ротшильда был ответ, что-де письмо получено, но что-то последует после. Итак, я жду. Нужно спросить, кому Шомб⟨ург⟩ поручил мне писать.

Сейчас узнал, что Пр⟨удон⟩ в Лионе, так, вероятно, он на обратном пути. Пожалуйста, безгневно попросите Рейхеля, когда будет близко, завернуть к Дарим (я беру буквы в рост)[6] и отдать записочку. Книг я не получал, да и нельзя послать иначе, как письмо[7]. А Франции не понимаю. Никто не едет сюда, нет ли оказии какой, одолжили бы двумя-тремя экземплярчиками. Прощайте. Как вы на новоселье? Я думаю, придется еще дней 8—10 остаться здесь. Холод страшный, и у меня «коль», т. е. катарр, простуда. Mich⟨elet⟩ и Ст⟨анкевичам⟩ поклон. Что Мельг⟨унов⟩ не пишет?

[1] Это указание дает возможность датировать поездку Герцена в Севен-Окс 13-м сентября.

[2] См. главу «Роберт Оуэн» в «Былом и думах» (XIV, 466—510).

[3] Об отношениях между Герценом и Карлейлем см. выше в наст. томе.

[4] Речь идет о письме Герцена к Прудону от 6 сентября 1852 г. с изложением подробностей своей семейной драмы (VII, 127—140). Письмо было послано через М. К. Рейхель 17 сентября. В сопроводительной записке к М. К. Рейхель Герцен просил ее снять копию с письма и прочесть ее Станкевичам и Мельгунову (VII, 141). Комментируемый текст свидетельствует, что Герцен хотел даже, чтобы Станкевичи увезли копию адресованного Прудону письма в Россию.

[5] *...оно удалось* — относится к письму к Прудону. Ср. в сопроводительной записке к М. К. Рейхель: «Хочу знать ваше мнение об этом письме. Оно кажется мне хорошим» (VII, 133).

[6] *Дарим* — Альфред Даримон (см. о нем примеч. 5 к письму № 42). Конспирируя, Герцен сокращает его фамилию («я беру буквы в рост»). Через Даримона Рейхели должны были передать письмо Прудону.

[7] Смысл этой неясно написанной или неверно прочтенной копиистом фразы уясняется из письма Герцена к М. К. Рейхель от 17 сентября 1852 г. (VII, 141).

49

⟨Лондон.⟩ 1852. 24 сентября

День идет за днем, будто жду чего-то; вот уже другой месяц пошел, как я в Лондоне. И я нисколько не знаю, когда и куда еду. Всего вероятнее, поеду дней на пять в Дублин — взглянуть на изумрудный остров и на народ, которого судьба бьет три столетья без пощады и устали.

Неопределенность эта скучна, для Саши даже вредна; чего-то я жду — ответа от Пр⟨удона⟩, кажется, всё это сущий вздор, а вот что не вздор — что здесь нами ужасно занимается немецкая ⟨!⟩ полиция,— вот тут и думай, как проехать в Женеву, уж не через Шпанию ли?

Мы еще не надоели здешнему кружку, к которому, натурально, принадлежим; все еще приглашают и ласкают и сами у нас бывают, так что дни, т. е. вечера, почти всегда за полнедели разобраны. Мы всякий день ложимся спать в три, даже в четыре часа, тоже и спирты всяк употребляем, но santé du foie** восстановлено назло Мельгунову; только я по-

* «С того берега» (нем.).

** здоровье печени (франц.).

ЛОНДОН С ВИДОМ НА СОБОР СВ. ПАВЛА

Гравюра Б. Жерольда, 1872 г.

«...Опрокинутая миска св. Павла...» («Былое и думы», гл. «Лондонские туманы»)

стоянно страдаю, с тех пор как здесь, гастрическими спазмами, все собираюсь спросить доктора.

В России, как пришла весть о смерти Веллингтона, государь велел пришибить князь Петра Михайловича Волконского. Мы-де не хуже Англии, у нас тоже старые генералы мрут.

Воскресенье еду в Брайтон, чтобы увидаться с Руге[1]. Не подняться, кажется, цюрихскому мерзавцу от всех ударов, которые я ему нанес, а есть еще гнусные поступки, которые потрясают общественную совесть.

Мюллер-Стрюбинг[2] здесь; это неожиданная вовсе помощь, теперь и Жорж Санд будет замешана[3].

[1] Арнольд *Руге* (1802—1880) — публицист и политический деятель, один из вожаков немецкой буржуазно-радикальной эмиграции, впоследствии перешедший на сторону Бисмарка. Свое посещение Руге, «брюзгливого старика, озлобленного и злоречивого», Герцен описал в «Былом и думах» (XIV, 298).

[2] Герман *Мюллер-Стрюбинг* (ок. 1810—1893) — немецкий революционер-эмигрант, сблизившийся с прогрессивными представителями русского общества за границей. См. его характеристику в «Былом и думах» (XIV, 314—322).

[3] Мюллер-Стрюбинг находился в дружеских отношениях с Жорж Санд. Сведений об отклике Жорж Санд на дело Герцена не имеется.

50

АДОЛЬФУ РЕЙХЕЛЮ

<Лондон. Конец сентября 1852 г.>[1]

Cher Reichel, ne me grondez pas, mais en amitié, lorsque vous serez dans la Rue Richelieu, mettez le pied dans la librairie de Frank; je ne comprends rien pourquoi il n'envoie ni livres, ni réponses. C'est tout bonnement

grossier. Au moins il devrait faire notre compte avant de finir toutes les relations.

Est-ce que Pr⟨oudhon⟩ est arrivé? Et Schombourg? Quand donc viendra Melg⟨ounoff⟩, et St⟨ankewitch⟩ viendra-t'il?

Il faut voir Londres, quoique cela soit difficile: un brouillard de l'épaisseur de goudron le couvre.

Перевод:

⟨Лондон. Конец сентября 1852 г.⟩[1]

Дорогой Рейхель, не браните меня, но по дружбе, когда вы будете на улице Ришелье, загляните в книжную лавку Франка; я совершенно не понимаю, почему он не шлет ни книг, ни ответа. Это просто грубо. Он должен был бы, по меньшей мере, рассчитаться с нами, прежде чем порвать всякие сношения.

Приехал ли Прудон? И Шомбург? Когда же приедет Мельгунов и приедет ли Станкевич?

Лондон следует повидать, хотя это и трудно: его покрывает густой, как деготь, туман.

[1] Дата письма установлена приблизительно, на основании упоминания о Франке и о Прудоне в предыдущих письмах.

51

⟨Лондон.⟩ Октябрь 1852

Вот и октябрь. Идет-таки, идет. Я вспомнил сегодня, писавши в Женеву, насмешливую и горькую надпись на солнечных часах в Ницце:

Io vado e vengo
Ogni matina,
Ma tu andrai
Un giorno
Senza ritorno *.

Помните? — надпись эта провожала меня во все ужасные минуты моей жизни, мне приходилось всякий день ездить мимо — и после 16 ноября и в мае[1].

Господи, а ведь еще году нет, а столько уже ушло senza ritorno**, а я всё еще в шуме, уж и боюсь покоя, право, кажется и не нужно останавливаться — в Америку, в Австралию, куда-нибудь, как-нибудь поддерживать раздраженье, благо силы выносят, благо всё это не совсем набило оскомину, а жить ⟨!⟩ andremo un giorno senza ritorno***.

1 октября[2]. Покров день, сельский праздник в Покровском[3], с какой нежностью вспоминаю я эти русские картины. Так живо перед глазами зеленый лес, и староста Василий Яковлевич, и две дочери его, одна Лушка, другая Анна — и я там был на празднике и в 1829 и 1830.

В 29-м я готовился в университет, в 30-м я был студентом и уж вполне воспитан революцией 30 июля; как рвался я тогда вперед, в жизнь; успех за успехом, а потом с колокольни да и в пропасть. В 44-м году мы были целое лето в Покровском, тогда там царил уже Савелий[4].

Что касается до болезни Ст⟨анкевича⟩, скажите ему, что я точно так же болен с самого приезда; вспомните, как вы долго были больны в 1850 г. Носит ли он фланель? это необходимо; я советую ему как можно меньше пить воды и питаться более всего говядиной и вместо бордо пить

* Я ухожу и возвращаюсь каждое утро, но ты уйдешь в некий день без возврата (итал.).

** без возврата (итал.).

*** уйдем в некий день без возврата (итал.).

ДОМ И ПРУД В ПОКРОВСКОМ

Фотографии Н. П. Киселева, 1937 г.

«Выйдешь под вечер на балкон: ничто не мешает взгляду; вдохнешь в себя влажно-живой, насыщенный дыханием леса и лугов воздух, прислушаешься к дубравному шуму,—и на душе легче, благороднее, светлее... Вот так и кажется, что годы бы не выехал отсюда» («Письма об изучении природы». Письмо первое. Написано Герценом в Покровском, в августе 1844 г.)

бургонское. Да пусть он бросит вечное леченье и выгонит всех докторов. Я, право, вылечил бы его и даже Мельгунова, который не болен.

Здесь всё еще меня празднуют, как только кончат, так я уеду, как настоящая кокетка. Но куда? That is the question*. Впрочем, вероятно, дождусь половины октября, я, может быть, поеду в Кадикс, благо есть попутчики. Хорошо здесь, но долго оставаться скучно. Будет ли какой ответ от Франка?

Если кто приедет сюда, пришлите экземпляр «V⟨om⟩ and⟨eren⟩ Ufer»** и роман, переведенный Вольфзоном[5] и «Briefe aus Italien»***, но только с оказией; как же не найти, а то по почте это будет стоить пуд стерлингов.

Перебывавши у всех великих мужей, я собираюсь к великим женщинам — в понедельник еду к M-me Brüning (кн. Ливен), это дама-лев, дама-шакал, дама-пери. Она участвовала в освобождении Кинкеля, она царит здесь в Германской республике; все тайно в нее влюблены (вот что значит русская дама!)[6]. Вы понимаете, что я по службе должен явиться: «Вашего демосачества[7], казацкого полку на вести прислан! В долгом английском отпуску находясь, имею счастье представиться». В следующем письме будет рассказ.

Вероятно и Шомшильд возвратился, да и еще вероятнее, что отказ был. Впрочем, я теперь ни за какие блага в Париже жить не стал бы. А только проездом.

[1] 16 ноября 1851 г.— день гибели матери Герцена, сына Коли и Шпильмана. В мае 1852 г. умерла жена Герцена.

[2] Хотя «Покров день» праздновался 1 октября старого стиля, а значит 13 октября нового стиля, проставленная Герценом дата 1 октября относится к новому стилю. См. ниже в тексте письма: «...вероятно, дождусь половины октября». Ср. также строки о намерении побывать у M-me Brüning и рассказ о визите к ней в следующем письме, от 7 октября.

[3] *Покровское*—Покровское-Засекино, имение И. А. Яковлева в Звенигородском уезде, в 52 км от Москвы. Здесь Герцен провел лето 1843 и 1844 гг. В юные годы он приезжал сюда из другого подмосковного имения отца — Васильевского.

[4] *Савелий* — староста, сменивший Василия Яковлевича.

[5] *Вольфзон* — немецкий писатель. Перевел «Кто виноват?» и должен был перевести «Долг прежде всего» Герцена (см. выше в наст. томе).

[6] *M-me Brüning* (рожд. кн. Ливен), уехав из России в Германию, сблизилась с демократическими кругами и приняла участие в организации побега из каторжной тюрьмы Готфрида Кинкеля, деятеля революции 1848 г. (см. о нем в наст. томе). После этого она вынуждена была перейти на положение эмигрантки и переехала в Англию.

[7] *Демосачество* — от слова «демос», шутка Герцена.

52

⟨Лондон.⟩ 7 октября ⟨1852 г.⟩
4 Spring Garden's

Будто давно не писал к вам. Да, право, не знаю, что писать, то много, то мало; когда много — то больше темного и печального. А это, наконец, и для вас скучно, писанное хныканье и для меня не почтенно.

Франк[1] — подлец, я ему напишу сегодня; никаких книг он не посылал.

Пора отсюда ехать; уже развязали бы меня Прудон и Шомшильд[2]; я полагаю пока остановиться в Брюсселе, а весною увидим. Мне бы очень хотелось к 20-му уехать — довольно Лондона. А propos — я был, наконец, у M-me Брюнинг (кн. Ливен). Это умная русская барыня, которая

* Вот в чем вопрос (англ.).
** «С того берега» (нем.).
*** «Письма из Италии» (нем.).

вздумала представлять немку. Ее хотели в Германии схватить и выдать, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ Николай Семенович[3] ужасно был взбешен за ее участие в освобождении Кинкеля. Зная ее нелюбовь к Руси, я представил из себя отчаянного русофила и, между прочим, не только стал по-русски говорить, но уговорил певицу, бывшую тут, спеть 2 русских песни. Все это немцам во зло, а вам в славу и честь. Немцы все в нее влюблены, а она собой нехороша — но бойчее и аристократичнее немецких идеальных картофелей; вот демократы-то и того.

На днях был я в Брайтоне и, между прочим, видел там Руге — вот истинно бог хорошо придумал ему фамилию; он в продолжение обеда ругнул всех своих друзей. Одного Бакунина хотел было похвалить, да и то своротил на брань, и все это с такой злобой, с такой желчью и притом тихим голосом и с тонкой улыбкой. Просто поэзия[4].

Саша начинает мароковать по-английски. Скучает оттого, что нету товарищей; детей его возраста довольно в парке (С. Джемс), да не умеет говорить с ними. Проект ехать в Италию, кажется, отменен диэтой. От вас жду, впрочем, шомшильдский ответ.

Если будет оказия, пришлите брошюры. Прощайте.

Приписка к Адольфу Рейхелю:

Cher Reichel,

Je vous serre la main, les deux mains, si vous étiez quadrumane je vous aurais serré les 4 pour toutes les commissions tracassières que j'ai eu la cruauté de donner et vous la mansuétude de faire. Vous savez que Müller-Strübing est ici; il veut donner des leçons de français à Londres et pense qu'il suffit pour cela de connaître l'allemand et M-me Sand*.

Приписка к Тате:

Благодарю тебя, Тата, за корпию, ты мне и еще потом сделай. У вас была большая гроза, мы об этом читали в газетах. Кланяйся Морицу, Оленьку поцелуй.

Прощай.

7 октября 1852
Лондон[5]

[1] *А. Франк* — парижский книготорговец.

[2] Выйдя из тюрьмы в июне 1852 г., Прудон стал хлопотать о разрешении Герцену и Эд. Хоецкому проживать во Франции. О том же хлопотал со своей стороны Шомбург, опираясь на авторитет, которым пользовался Ротшильд у правительства Наполеона III.

[3] *Николай Семенович* — Николай I.

[4] Арнольд Руге использовал беседу с Герценом о его семейной драме для того, чтобы написать трагедию «Новый свет» («Die neue Welt»), в которой провозгласил «право гения на удовлетворение своих страстей». В качестве «гения» в трагедии выведен Гервег. Руге имел бестактность послать «Новый свет» Герцену, что вызвало резкий ответ: «Я спрашиваю себя, зачем вы прислали мне ее! Ее нужно было послать в Цюрих. Это апофеоз преступника, канонизация подлого труса, предателя» (VIII, 13).

[5] Далее — письмо Саши Герцена к сестре:

«Милая Тата, папа ездил в Брайтон и я тоже. Там я ходил к морскому берегу и очень долго искал тебе раковин, но их не было из-за того, что море было высоко. Напиши мне, что тебе хочется другого. Целую тебя, и Оленьку, и Машу, Рейхеля, Сашу и Мориса.

Саша

Spring Garden's. London

---

* Дорогой Рейхель, жму вам руку, обе руки; если бы вы были четверорукий, я бы вам пожал все четыре за все те хлопотливые поручения, которые я имел жестокость вам дать, а вы снисходительность выполнить. Вы знаете, что Мюллер-Стрюбинг здесь; он намерен давать в Лондоне уроки французского языка и думает, что для этого достаточно знать немецкий язык и г-жу Санд (франц.).

53

АДОЛЬФУ РЕЙХЕЛЮ

<Лондон. Середина октября 1852 г.>[1]

Cher Reichel, vous devez me prendre non seulement pour le premier égoïste du monde, mais pour un homme qui ne fait jamais un pas sans y être intéressé. Dès que vous voyez votre nom dans ma lettre, vous pouvez être sûr qu'il y a commission, procuration <?>, délégation, abnégation[2], rue Lafitte[3], rue Richelieu[4], prière, fiacre, poste etc.

Ebbene, lato maestro, jugez vous-même, j'ai reçu une lettre de la pauvre M-me Darimon[5] (le mari n'en fait rien); ils sont dans un état pitoyable de misère. Elle veut faire un assez grand emprunt; c'est impossible, expliquez-lui que j'ai d'autres amis et de plus intimes, pour pouvoir lui prêter 1000 francs. Tout pesé, je lui offre 300 fr.— je vous envoie une petite traite à votre ordre de 300 fr. Ayez donc la bonté de prendre en argent chez Chomburg et de le remettre à M-me Dar<imon>. Ajoutez à cela que sa lettre m'est parvenue complètement décachetée.

Je vous prie, cher Reichel, expliquez à cette femme malheureuse, que ce n'est pas un caprice de ma part; je fais tout ce que je crois juste; mais si j'allais au delà des limites, cela serait fini. Au reste personne ne peut mieux savoir mon désintéressement que la rédaction de «La voix du peuple» qui a enterré mon cautionnement[6]. Faites donc cela. A propos, étant chez Chomb<urg>, dites lui que je voudrais, s'il le conseille, vendre les papiers Hollandais que j'ai et qui rapportent si peu (s'ils sont en hausse depuis 1850). Je suis tellement entouré de véritables malheureux qu'il faut chercher d'avoir plus de rente et penser un peu que l'avenir ne représente plus rien à ces hommes que l'Amérique et la faim[7].

Перевод:

<Лондон. Середина октября 1852 г.>[1]

Дорогой Рейхель, вы должны считать меня не только первейшим эгоистом на свете, но и человеком, который никогда шага не сделает без личной заинтересованности. Стоит вам только увидеть свое имя в моем письме, вы можете быть уверены, что в нем есть поручение, полномочье <?>, распоряжение, отреченье[2], улица Лафит[3], улица Ришелье[4], просьба, извозчик, почта и т. д.

Ebbene, lato maestro*, судите сами, я получил письмо от бедной г-жи Даримон[5] (муж тут не причем); они находятся в страшнейшей нужде. Она хочет занять довольно большую сумму; это невозможно; объясните ей, что у меня есть другие и более близкие друзья, что лишает меня возможности дать ей взаймы 1000 франков. Взвесив всё, я предлагаю ей 300 франков. Посылаю вам небольшой вексель в 300 франков на ваше имя. Будьте же добры взять деньгами у Шомбурга и передать деньги г-же Даримон. При этом добавьте, что ее письмо дошло до меня совершенно распечатанное.

Прошу вас, дорогой Рейхель, объясните этой несчастной женщине, что это не каприз с моей стороны; я делаю все, что считаю справедливым. Но если бы я превышал возможности, денег бы не осталось. В конце концов мое бескорыстие никому не может быть лучше известно, чем редакции «La voix du peuple», которая похоронила мой залог[6]. Сделайте же это. Кстати, когда будете у Шомб<урга>, скажите ему, что я хотел бы, если он посоветует, продать голландские бумаги, которые у меня есть и которые дают так мало дохода (если курс их повысился с 1850 г.). Меня окружает столько поистине несчастных людей, что нужно постараться получать побольше ренты и немного подумать о том, что будущее не сулит этим людям уже ничего, кроме Америки и голода[7].

---

* Итак, свободный художник (итал.).

[1] Датируется по сопоставлению с вопросами о Даримоне, содержащимися в письмах к М. К. Рейхель от 15 и 20 октября (№№ 54 и 55).

[2] Герцен шутя подбирает французские слова, оканчивающиеся на «sion» или «tion», что в произношении совпадает.

[3] На улице Лафит помещалась банкирская контора Ротшильда, куда Рейхель нередко ходил, исполняя поручения Герцена.

[4] На улице Ришелье был книжный магазин Франка.

[5] Жена Альфреда Даримона.

КОБДЕН, БРАЙТ И ГИБСОН — УЧАСТНИКИ БУРЖУАЗНО-ПАЦИФИСТСКОГО «КОНГРЕССА МИРА» 1849 г.

Карикатура О. Домье

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

[6] О залоге, который Герцен дал Прудону для обеспечения газеты «La voix du peuple», см. в «Былом и думах» (XIII, 453—457).

[7] Речь идет о политических эмигрантах, которым Герцен постоянно оказывал материальную помощь.

54

〈Лондон.〉 15 октября 〈1852 г.〉
4 Spring Garden's

Вы пишете: «Ведь недурно было вам в Париже в последний раз». Алекс〈андр〉 Иван〈ович〉 Тургенев[1] говаривал в споре с Ховриной[2]: «Ах, вы моя милая игнорантка»*. Прошу заменить Ховрину собой, а Тургенева таковым же мной. Восемь дней, проведенных в Париже с вами, с Ст〈анкевичами〉 и М〈ельгуновым〉[3], меня оживили, я забыл, рассеялся

* невежда (франц. «ignorante»).

от души. Да разве из этого следует, что там можно жить при совершенном отсутствии всякой легальности? лучше уж просто взять пасс в Москву или Петербург, да и ехать самому[4]. Если даже и дадут позволенье, то можно только повидаться.— Скучно, но такова доля тех дураков, которые предпочитают мечты апостольства чину статского советника. Au reste*, эти общие кресты легки, если б не было частного креста: я сделан бойцом, зато и здоровье лошадиное, которое возмущает Н⟨иколая⟩ Ал⟨ександро-вича⟩[5], и если бессилен теперь, то это оттого, что фатум напал на меня тайком сзади, когда я боролся впереди.— Вы знаете, отчего воздушный шар не может сладить с локомотивом? Оттого, что нету точки опоры. Отнимите у Геркулеса доску[6], у которой он стоит, он грянется наземь от кулака Маврикия Рейхеля[7].

Я в большом раздумье — кажется, вообще главное, что я делаю, это раздумье. Остаться здесь или ехать? Ехать! Куда ехать? Испания, Брюссель, Фрибург. И не могу решиться. Тесье говорил, что у меня натура Гамлета и что это очень ⟨по-⟩славянски. Действительно, это — замечательное колебанье, неспособность действовать от силы мысли и мысли, увлекаемые желаньем действия, прежде окончанья их. Zögern sich aufreissen**. Хохот иронии, досада на всё, пуще всего на себя, чувство своего бессилья, недоделки, рассеянья и retour***.

Вам смешно, может быть, потому что вы составили себе немецкую идею о Гамлете, представляете его сухим, как Шомбург, бледным, как воск. Вспомните, что его мать говорит: «Подайте сыну моему *вина*, принц так толст, он устал». И Фортинбрас готов — это Тата. Тата скорей, нежели Оля,—светлая и wehmütig****, умная дурочка[8].

Итак, Лондон, Брюссель — загадаю на картах. Для моего дела мне здесь не нужно более оставаться. Я дожил до того, что даже против меня начала составляться партия[9]. A propos, на днях был Зольгер[10], он сначала было хотел мне бравировать и играл роль de la non intervention*****. Меня это огорчило и взбесило. Мы поговорили крупно, и Зольгер, удивленный сначала, стал вникать в дело и кончил тем, что со слезами проклял своего прежнего приятеля[11] и стал совершенно с иной стороны. Головин[12] явился из Лугано. Как-то помолодел, окрасил в новую краску волосы и представляет собой новый тип d'un gamin ours******. Издает журнал или Revue******* по-французски; я ему советовал назвать по-русски: «Реву с острова»— не соглашается[13]. Он уже успел здесь повздорить с Кобденом[14], преуморительный и добрый малый. Я жду, когда он наймет квартиру, чтобы искать себе в противоположной части города. А право, он добрый человек, но не очень близко; хорошее ружье попадает ловко в цель на далеком расстоянии.— Прощайте. Напишите ответ об Даримоне.

[1] *А. И. Тургенев* 1784—1845). Герцен встречался с ним в Москве в сороковых годах.

[2] *М. Д. Ховрина* (1801—1877) — сестра московского обер-полицмейстера Лунина. Ее салон в сороковых годах посещали Герцен, Огарев, Чаадаев и др.

[3] Лемке в «Канве биографии» указывает, что Герцен в 1852 г. пробыл в Париже, на пути в Лондон, с 20 по 24 августа. Свидетельство Герцена о «*восьми днях*», проведенных им во французской столице, вносит таким образом существенную поправку в «Канву биографии» (XXII, 262).

[4] Герцен опасался, что в случае переезда на жительство в Париж он будет выдан правительством Наполеона III царским властям.

---

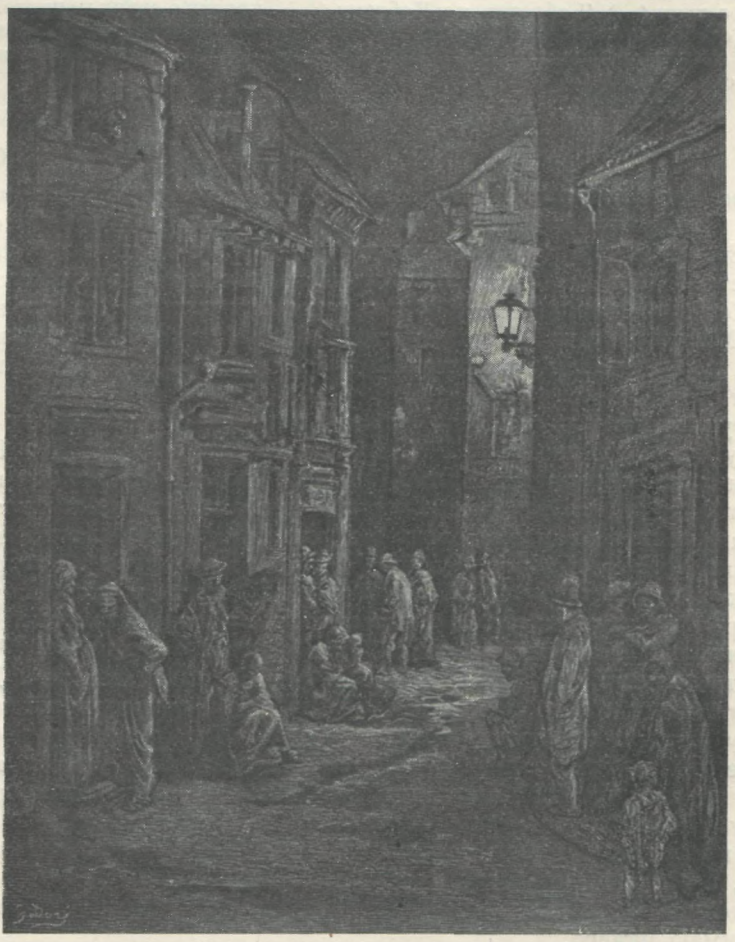
* Впрочем (франц.).
** Медлить стряхнуть оцепенение (нем.).
*** раздумье над собой (франц.).
**** грустная (нем.).
***** невмешательства (франц.).
****** мальчишки-медведя (франц.).
******* Обозрение (франц.).

[5] Николай Александрович Мельгунов был мнителен и постоянно жаловался на свое здоровье.

[6] Герцен имеет в виду известную статую «Фарнезский Геракл». Прославленный герой античной мифологии изображен здесь отдыхающим: он стоит, опираясь всей тяжестью своего тела на подпору, изображающую дерево.

[7] *Маврикий Рейхель* — малолетний сын Адольфа Рейхеля от первого брака (Мориц).

[8] *Фортинбрас* — персонаж трагедии Шекспира «Гамлет». На свою старшую дочь, Тату, Герцен, в смысле духовной преемственности возлагал особые надежды.



ЛОНДОНСКИЕ ТРУЩОБЫ

Гравюра по рисунку Г. Доре, 1872 г.

«Одиноко бродя по Лондону, по его каменным просекам, по его угарным коридорам... я много прожил» («Былое и думы», гл. «Лондонские туманы»)

[9] Вероятно, Герцен имеет в виду группу немецких эмигрантов, поддерживавших Гервега.

[10] Рейнгольд *Зольгер* — прусский литератор и политический деятель, примыкавший к лагерю буржуазной демократии, по словам Герцена «самый остроумный» из его противников. В 1850 г., в октябрьском номере журнала «Deutsche Monatsschrift», появилась статья Зольгера «Буржуазия». Ею открылась серия статей, посвященных полемике с Герценом как с автором книги «С того берега». Зольгер упрекал Герцена в пессимизме и скептицизме, которые, по мнению критика, привели русского революционера к недооценке созидательных сил западной цивилизации. Разбирая «С того берега», Зольгер определял позицию Герцена как индивидуалистическую.

[11] *Прежний приятель* — Гервег.

[12] О *Головине* см. примеч. 12 к письму № 4.

[13] Неясно, о каком «Revue» пишет Герцен. Головин издавал в Ницце в 1850—1851 гг. еженедельник «Carillon» («Трезвон») и в Турине в 1852 г.— «Journal de Tourin» («Туринскую газету»). Газета была закрыта по требованию австрийского посла, и Головин в том же 1852 г. переехал в Лондон, где, видимо, собирался издавать новый журнал, но реализовать это намерение ему не удалось.

[14] Ричард *Кобден* (1804—1865) — один из лидеров английской промышленной буржуазии, возглавлял движение за отмену хлебных пошлин (были отменены в 1846 г.).

Головин о своем столкновении с Кобденом писал: «Я задумал агитацию в пользу русских крестьян <...> Я обратился к Кобдену <...>, просил о серии митингов в пользу free work <свободного труда>. Кобден мне ответил, что вмешательство в дела чужих государств противно правилам „общества мира"» (И. Г. Головин. Записки. Лейпциг, 1859, стр. 142).

55

<Лондон.> 1852. 20 октября

Письмо ваше и приложенье Мельгунова, разумеется, получил. Записочку от Тат<ьяны> Ал<ексеевны>[1] Саше не отдал, потому что он вчера уехал в Seven Oaks и до субботы пробудет там. Записочка эта, как почти всё от Астр<аковой>, сильно меня тронула. Ел<ена> Конст<антиновна>[2] ее не любит и по-московски, с большою нетерпимостью. Я сам назвал ее когда-то Матрена Занд, но истинно теплее и деятельнее симпатии я редко встречал, и, взвесивши недостатки с добром, мне кажется, что последнее перевесит.

Мельгунову вексель на Ротшильда пришлю (у меня вышли его бланки). Но прошу, как он сказал, эти 2000 вручить вам или Рейхелю к 1 января. Вы не можете вообразить, какой расход; превышает всякое вероятье; не думайте, что я говорю о дороговизне или о собственных тратах. Нет. Это не так важно. Квартира стоит в месяц 10 фунтов. Проедаем, проживаем и прогуливаем в месяц фунтов 50 (тут и Васбиндер[3], который Саше дает уроки и пр.), итого от 1500 до 1600 фр. На расход, вроде Дарим<она> и на разные предприятия ничего не предпринимающие...* Мое положение меня обязывает к этому. Тут Головин с своим *ревю***[4]— возьмет две, три акции, тут NN, QQ, PP, XX со всяким вздором. Да рядом еще видишь так <много> нужды и страданий, что самому хочется помочь. А потому надобно соблюдать некий порядок. *Ищу* квартиру побольше и подальше; о Бельгии думать нечего, а в Швейцарию проезд труден.— Не верю я в демарши*** Прудонца[5], а то бы я хоть проездом прожил бы недельку. Разлука с детьми нехороша. Я все надеялся, что и вас из Парижа прогонят, да нет, скоро сделают императорским генерал-басом Рейхеля, а вас генерал-дискантом.

Много ли осталось жить, кто знает? и потому следовало бы быть вместе. Не придумаю ничего.

Здесь, что можно было сделать по моему делу, сделано. Теперь идет переписка с Жорж Санд. Мемуар писать необходимо[6]. Из Швейцарии пишут, что отказ этого б<олвана> принять вексель страшно и окончательно уронил его. Прощайте.

Приписка к Тате:

Dein Brief, Tata, hat mir sehr viel Freude gemacht, er ist sehr schön geschrieben****. Учись хорошенько, Саша начинает говорить по-английски. Поцелуй Оленьку.

---

* *Далее в копии пропуск.*

** обозрение (от франц. «revue»).

*** хлопоты (франц. «démarches»).

**** Твое письмо, Тата, доставило мне большую радость, оно очень красиво написано (нем.).

[1] *Тат⟨ьяна⟩ Ал⟨ексеевна⟩*—Т. А. Астракова (1814—1892), вдова друга Герцена, Николая Ивановича Астракова. Т. А. Астракова — автор повести «Воспитанница», в которой описана жизнь Натальи Александровны у кн. М. А. Хованской (повесть напечатана в «Современнике», 1857, кн. 10. Псевдоним — Белевский). В своих «Воспоминаниях» А. В. Щепкина писала о Т. А. Астраковой: «Она курила трубку с очень длинным чубуком и любила говорить о правах женщин, требуя для них доступа к науке и другой деятельности и равноправия с мужчинами».

[2] *Ел⟨ена⟩ Конст⟨антиновна⟩* — Станкевич.

[3] *Васбиндер* (по справке Лемке — Fasbinder) — знакомый Герцена. См. упоминание о нем в письме Герцена к сыну от 17 ноября 1858 г. (IX, 387).

[4] См. примеч. 13 к письму № 54.

[5] *Прудонец* — шуточное прозвище, данное Герценом Прудону.

[6] В обращении «Братьям на Руси», датированном 2 ноября 1852 г., Герцен сообщил о своем решении писать воспоминания («Былое и думы»): «Исповедь моя нужна мне, вам она нужна, она нужна памяти святой для меня, близкой для вас, она нужна моим детям» (VII, 155).

56

⟨Лондон.⟩ 12 ноября 1852 г. Пятница. Утро

Добрый, милый друг Мария Каспаровна, не мне вас утешать, свои раны свежи. Ваше первое письмо о болезни малютки меня испугало[1]. Да, я не верю в прочность ничего — да, я дошел до полного атеизма в жизни.

И это страшное сближенье ночи 11 ноября с прошлогодним.

Вы решились быть матерью, вы решились быть женой: за минуты счастья — годы бед.

Жить могут княгини Марии Алексеевны — надо было в цвете сил отречься от всего, жиром закрыть сердце, сочувствие свести на любопытство[2]. Не надобно быть ни матерью, ни женой. Я всеми силами стараюсь себя воспитать в бесчувственность.

Двигайте же силы и дайте руку, не одна вы — у вас Рейхель, и смело назову себя, как ближайшего вашего друга.

Скажите Наташе, чтобы написала несколько строк.

Рейхеля целую и жму руку, и Саша крепко пригорюнился, услышав о вашем несчастье. У него много чувства при всей рассеянности. Прощайте. Жаль, жаль мне вас: нет, нас особенно судьба уважает.

[1] У М. К. Рейхель умер малолетний сын Саша.

[2] Герцен характеризует здесь бездушие и черствость своей родной тетки, княгини М. А. Хованской (рожд. Яковлевой), в доме которой воспитывалась Наталья Александровна.

57

⟨Лондон.⟩ 23 ноября 1852 г.

Из экономии пользуюсь сей верной оказией, чтобы сказать вам слова два. У меня тоска по детям растет со всяким днем, и ваше выраженье о сиротстве еще более ее возбудило. Не знаю, как придумать и что сделать. В мире нет лучшего помещенья, как у нас, отчего же бы после праздника не приехать бы на две недели? Жду Нат⟨алью⟩ Ал⟨ексеевну⟩[1], это всё мне кажется там, на девятом небе. Я сегодня ночью всё Оленьку видел во сне. Ну, если я умру или...— я уже не хочу перебирать всех возможностей, всё возможно, Мария Каспаровна, всё — *даже хорошее* — rouge ou noir*, чет или нечет, решетка или копье — выдумаете вы что-нибудь? А вот спросите Хоецкого, нельзя ли мне на месяц приехать к вам? Со всех сторон цепи. Помните в «Роберте»[2] хор с цепями? И всё это так ненужно, так бесцельно. С Сашей дело идет; теперь у нас школа — школой. Латынь и неметчина — Мюллер-Стрюбинг[3], француз⟨ский⟩ — Васбиндер[4],

* красное или черное (франц.).

английский—Гауг, история—я, рисованье—Булевский[5], ученик Овербека[6], математика — инженерный майор Домагальский[7].

Дождь льет проливной, пятнадцатый или пятидесятый день. Климат в самом деле гнусный. Прощайте. Скучно.

Приписка Tate:

Ну, сколько же дней, Тата, осталось до елки? Что ты подаришь Оленьке? И что мне прислать тебе к елке? А ты сделай мне корпии еще и пришли в письме, другой не употреблю, как твоей и той, которую делала мамаша.

Напиши мне о здоровье Madame Gasparini[8], а Рейхелю поклонись и Стан⟨кевичам⟩.

Твой папа

[1] Герцен надеялся, что Н. А. Тучкова-Огарева согласится приехать из России и быть воспитательницей его детей. Таково было предсмертное желание Н. А. Герцен.
[2] Опера Мейербера «Роберт-дьявол»
[3] *Мюллер-Стрюбинг* — см. о нем примеч. 2 к письму № 49.
[4] *Васбиндер* — см. о нем примеч. 3 к письму № 55.
[5] Людвиг *Булевский* — польский эмигрант, один из основателей газеты «Польский демократ».
[6] Фридрих-Иоганн *Овербек* — известный немецкий художник.
[7] Михаил *Домагальский* — польский эмигрант.
[8] *Madame Gasparini* — см. о ней примеч. 7 к письму № 47.

58

⟨Лондон.⟩ 26 ноября ⟨1852 г.⟩ Пятница

И вы больны. Боюсь за вас, боюсь за детей. Да здорова ли квартира, бросьте ее и, если нет, бросьте деньги — всё вздор. Лишь бы себя спасти. Трудное время, потому что, наконец, выбиваемся из нравственных сил. Уж так бы без перерыву одно несчастье за другим — а то, как при гонении сквозь строй, когда упадешь, полечат, а потом опять досекать.

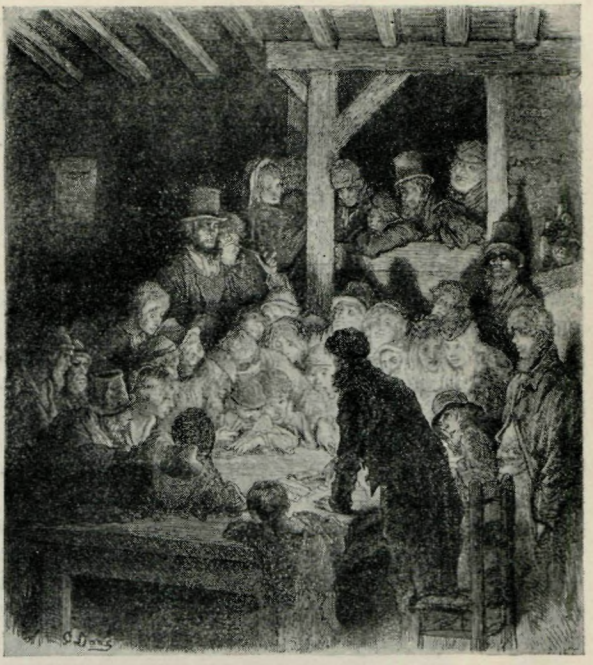
Спросите у Хоецк⟨ого⟩, не может ли Браницкий[1] узнать, в случае нужды могу ли я на месяц приехать, т. е. дадут ли пермиссию*. Я, может, один приехал бы.

Какого ответа ждет Прудонец — я не знаю, я от него ничего не получал с тех пор, как в Лондоне. Я думал ему писать второе письмо о моем деле. Но вижу, что сделанное недурно, а дальше ничего нельзя ждать от людей. Худо ли, хорошо ли, но надобно делать самому. О издании же обозрений[2] жду от него.

Вот вам забавный случай, который мог быть очень серьезным. Расскажите его Ст⟨анкевичам⟩ и Мель⟨гунову⟩ в дополнение к биографии Гауга. Помните нашу безумную поездку на австрийском пароходе по Lago Maggiore? Комиссар полиции узнал Гауга и, не имея права схватить, послал тайного агента. Тот проводил до Люцерна, а в Люцерне он узнал, что Гауг с англ⟨ийским⟩ паспортом. Погоня австрийская тотчас потребовала арестации Гауга. Швейц⟨арское⟩ правительство согласилось. Но мы уехали в Нейгауз, Берн; между тем посол требует сыскать, сердится, и Дрюэ[3] ищет, ищет. Посол пишет, что имя на паспорте Томсон. И вот открывают в Ааргау английского путешественника по имени Томсона; его тащат в Берн, сажают в тюрьму, и английский посол уже ссорится с Дрюэ. Наконец, Томсона освободили. Итак, Гауг тогда на пароходе был на один шаг от расстреливанья, ибо сентенция над ним произнесена уже, но комиссар полиции сплоховал. И Едм⟨унд⟩[4] ведь лазил чёрт знает зачем на пароход.

Если не предвидится никакой возможности мне побывать современем у вас и не будет никаких вестей от Ник⟨олая⟩ Ал⟨ександровича⟩[5] — то (как вы думаете откровенно), можно бы было через месяц или два детям

* разрешение (от лат. «permissio»).



В ЛОНДОНСКОЙ ТАВЕРНЕ

Гравюра по рисунку Г. Доре, 1872 г.

«Обыкновенно вечером... я отправлялся гулять... всматривался в тавернах в незнакомое племя, останавливался на мостах через Темзу» («Былое и думы», гл. «Лондонские туманы»)

приехать под командой Ал⟨ександры⟩ Хр⟨истофоровны⟩[6] и с Марихен[7] и с Франсуа[8]?

Да вы говорите так, как думаете. А не то мы вашего выздоровленья ⟨как⟩ милостыни ждать будем. Домом своим я не очень доволен — сыр.

Впрочем, что здесь делать в отношении погоды? Это, в самом деле, выше воображения; дождь льет с половины октября с вьюгой; когда нет дождя, такой туман, что едва видны одни фонари, которые тушат на улицах в *восемь* часов утра и зажигают в $^1/_2$ 4-го. Говорят, от половины генваря до 1 марта холодно бывает, но хорошо. Вот тут-то бы и приехать.

Пишите, разумеется, тотчас же.

Рейхель говорит, будто я девять дней не писал, уж не пропало ли какое письмецо?

Кстати, чтобы Рейхель не отучился от дела: что́ Шомб⟨ург⟩ никакого ответа не дает насчет голландских фондов, продать их или нет? Продать — так что́ купить? И не пора ли исполнение сбыть с рук? А впрочем, это не к спеху.

Прощайте

12 часов

Совершенно смерклось, и дождь хлещет. Приятная страна! Сашино ученье теперь устроилось:

Латынь и неметчина	— Мюллер
Англ⟨ийский⟩	— Гауг
Рисованье	— Булевский
Математика	— Домагальский
Французский	— Васбиндер
Историю исключаю	— я сам
География	— Гауг ⟨?⟩

[1] О *Браницком* см. примеч. 1 к письму № 65.

[2] Герцен затевал журнал — орган международной демократии. «Тесье, Фогт и Эдм⟨онд⟩ с горячностью приняли мысль завести обозрение»,— писал 1 октября 1852 г. Герцену Энгельсон (VII, 143).

[3] Шарль *Дрюэ* — член федерального совета, представитель исполнительной власти в Берне.
[4] *Едм⟨унд⟩* — К.-Э. Хоецкий.
[5] *Ник⟨олай⟩ Ал⟨ександрович⟩* — Н. А. Мельгунов.
[6] *Ал⟨ександра⟩ Хр⟨истофоровна⟩* — А. Х. Энгельсон.
[7] *Марихен* — Мария Фомм (см. о ней примеч. 6 к письму № 47).
[8] *Франсуа* — слуга Герценов.

59

⟨Лондон. 27 ноября 1852 г.⟩
Суббота, 4 часа пополудни[1]

Я к вам пишу для того, чтобы узнать, что могло вас заставить так долго не давать вестей о себе. Неужели ни Эдмунд, ни Энгельсон не могли вас заменить?

Нерв⟨ов⟩ моих не щадят, они действительно крепки. Тургенев[2] говорит, что у меня вовсе нервов нет. Тем не менее, на что же без нужды мучить? Нельзя сказать, чтобы я уж так — одна рука в меду, другая в поташе.

Завтра письма не будет, потому, как вы знаете, в воскресенье здесь почты нет. Еще 48 часов al meno* ждать.

А потому уведомьте, что̀ вы и дети, если еще не писали.

И развяжите меня, ради бога, с этим делом о приезде. Окончательно: *да или нет*? Занятья и все устройство жизни, которые я едва наладил, опять пошли à tous les diables**. Это из рук вон. В трех письмах пишет Эдмунд ⟨?⟩[3].

[1] Публикуемое письмо, помеченное субботой, написано, очевидно, на другой день после предыдущего письма, отправленного в пятницу 26 ноября.
[2] *Тургенев* — Иван Сергеевич Тургенев.
[3] Далее в копиях следует письмо Саши Герцена к Тате:

30 ноября. Вторник

Милая Тата,

Что же ты мне так долго не писала? Напиши мне, что я тебе должен прислать к елке?

Я видел в Зверином саду две собаки, которые очень похожи на Цапу, и мне стало жалко их видеть в клетке. Там есть лошадка, до того малая и милая, что ты могла бы на ней ездить. Пришли мне маленький рисунок в твоем письме. Целуй Ольгу, Морица, Рейхеля и Машу.

Будь здорова. Саша

60

⟨Лондон.⟩ 29 ноября 1852. Вечер

Я начинаю делаться смешным и презрительным в своих глазах. Вот оно, отдание праздников. Я так нервно становлюсь расстроен, что просто смех. Сегодня утром я ждал от вас письмо как $2 \times 2 = 4$; письма не было; разумеется, я вас почитал при смерти, в больных. Вдруг вечером ваше письмо, спокойное и доброе, с корпией, и я, ей-богу, плакал, как ребенок, и теперь плàчу с досадой — я становлюсь и трус и слаб — меня пугает иногда эта пустота, одиночество, мне кажется, я не увижу больше никого близкого, ни детей,— все будет схоронено, рассеяно, и я ищу искусственных потрясений и à force d'excitation*** все так же умею пить, делать каламбуры и дурачиться.

Предположенье, писанное в прошлом письме, я оставил, но вот новое: если Тесье поедет сюда, а он собирается, то его жена могла бы взять детей сюда, они пожили бы месяца два, а потом, я истинно не думаю, даже так далеко. Мало ли что может быть потом? Гауг едет решительно в Австралию; *может, мне можно будет* побывать у вас. Писать Ротшильду нечего;

---

* по крайней мере (итал.).
** ко всем чертям (франц.).
*** возбуждаясь (франц.).

тут одно опасно, что позволят да и накроют. Теперь, впрочем, всем говорят будет позволено возвратиться[1], но для этого следует написать подлое письмо. Я бы месяца через два перебрался в Париж. Разумеется, Рот⟨шильд⟩ легко бы мог сделать. Ну и из России нет ни слуха, ни духа. На днях к вам приедет Ротчев[2], известный путешественник; он теперь из Калифорнии и едет в Австралию; он человек интересный, но советываю все-таки не очень расстегиваться, он и с нами приятель, и с русской знатью. Просил меня дать записочку о допущении смотреть детей.

ЛОНДОНСКАЯ УЛИЦА НОЧЬЮ

Гравюра по рисунку Г. Доре, 1872 г.

«...Город... заснул... пусто, только слышна мерная поступь полисмена с своим фонариком» («Былое и думы», гл. «Лондонские туманы»)

30 ноября

Беды нет, что о Голландии забыл Рейхель; кто же помнит Голландию? La Olanda fara da se[3].

Что Мельг⟨унов⟩ не едет сюда? избалуется в Париже; и Ст⟨анкевич⟩ хотел. Кланяйтесь Бр⟨аницкому⟩ и прощайте.

Ротчев поедет назад, пришлите стихи, перевод Лермонтова, мое письмо к Michelet. Работа моя опять идет плохо.

Приписка к Тате:

Милая Тата, корпию я получил и тотчас положил в уши. Ты современем мне еще пришли. А мы с Сашей ходили смотреть шимпанзе, таких

обезьян умных, как люди; они в саду возле нас. Кривляются, как Энгельсон[4], и мать носит свою дочь на руках и ласкает. Представь все это Оленьке.

Прощай. Твой п а п а

[1] Герцен имел в виду слух о том, что Наполеон III предоставил эмигрантам возможность на известных условиях вернуться во Францию.

[2] *А. Г. Ротчев* (1813—1873) — автор книги «Правда об Англии, или сказание о расширении владений ее во всех частях света» (1854).

[3] *La Olanda fara da se* — шутливая перифраза (в применении к голландским акциям) девиза, провозглашенного партией Кавура «Italia fara da se» («Италия справится сама»).

[4] Энгельсон обладал незаурядным актерским дарованием и, как писал Герцен в «Былом и думах», «делал целые драматические представления, от которых нельзя было не хохотать доупаду... К тому же половина была импровизирована» (XVI, 594, 595).

61

⟨Лондон.⟩ 6 декабря ⟨1852 г.⟩

Письма ваши получены. Забудьте, пожалуйста, мое глупое слезливое письмо, бросьте его в печь, так, нашла глупая минута и подвернулось перо. Из письма Тат⟨ьяны⟩ Ал⟨ексеевны⟩[1] я вижу, что Егор Ив⟨анович⟩ не отдал денег. Вы с ним в переписке, спросите его от меня, отдал ли он и когда, кому? Мне пишут отовсюду о разных возможностях; я готов приехать (пошлите à propos записку Edmond'y[2], он живет — Rue d'Antin, Hôtel d'Antin, 18), но если для этого надобно сделать что-нибудь дрянное, то я лучше умру в Лондоне. Я изъявил желанье приехать и поставил причиной, что мои дети в Париже. Их дело разрешить. Разумеется Браницк⟨ому⟩ это легко. Au reste*, к горлу я не приступаю. Жить в Лондоне необыкновенно хорошо (вы не знали английской жизни, спокойно, безопасно, и всё под рукой. Но я только и существенно ⟨!⟩ для детей хотел бы переселиться.

Последние дни я был больше похож на Алексея Кучина или на Абрама Полесника[3], нежели на себя. Дни целые мы с Гаугом таскались по псарням и по таким частям Лондона, где никто не бывает. — Ну да уж, матушка Мария Каспаровна, такого пса приискали, т. е. квадратная собака. Саша в восторге[4], он веселее меня провел этот день (никто не знал, по счастью, что мои именины). Головин один посетил и Ротчев — он едет сегодня в Париж. Помните, что я писал: будьте осторожны, не говорите о русских знакомых. А когда он поедет назад, дайте ему экземп⟨ляр⟩ моего письма к Michelet (возьмите у Энгельсона, если нет) и Лермонтова.

Прощайте.

Рейхеля целую.

[1] *Тат⟨ьяна⟩ Ал⟨ексеевна⟩* — Астракова.

[2] *Edmond* — Хоецкий.

[3] Кто такие *А. Кучин* и *А. Полесник*, в точности не известно. Судя по контексту, Герцен вспоминает о крепостных псарях И. А. Яковлева.

[4] Собака была подарена Саше в день его именин от имени Таты.

62

1852 ⟨12⟩ декабря. Воскресенье. Вечер — поздно[1]

Да и зачем вы это всё больны, моя добрая, милая Мария Каспаровна? Так это вы, так-то сильны, по первому удару и сломились? Mut gefasst**. Посмотрите на меня, все сучья обрублены, едва ли сохранена честь и доброе имя.

---

* Впрочем (франц.).

** Бодритесь (нем.).

Je reviens gras et fleuri*.

И не то чтобы сердце лишено было всяких чувств, материал хорош — cuir Russe**!

Поверьте, всё вздор. Помните, я вам писал о M-me Brüning[2] — львице, северной медведице — стало, о ее победах и о прочем. Неделю тому назад, т. е. в мои именины, у нас вечером были гости. Она жаловалась, что ей что-то не по себе. А сегодня доктор объявил, что спасенья нет, расширение в сердце, разложенье крови — я ее видел месяц тому назад. Женщине 35 лет, image de la santé***; она хохотала, пела мне русские песни — о смерти столько же думала, сколько о Зоненбурге![3] А вот доктор говорит: может протянуться неделю, даже две, но спасти нельзя. Трое детей — мне даже это начинает нравиться, вот такая бессмыслица, хаос, нет, старичок-то в треугольнике[4] выжил из ума — бонапартист эдакой в трикорне****.

В Париж я непрочь; без пакости если пускают, — приеду; вы бы Эд⟨мунду⟩ поручили насчет фатерки, небольшой, но очень изящной (я здесь избаловался и чрезвычайно), возле вас, эдак по avenue Marbeuf 10, $2^1/_2$ или $3^1/_2$ №. Я привезу с собой собаку, свою кухарку (honni soit qui mal y pense***** — M-me Moture 45 лет; а в 15 уже была безобразна, но без рябин и других ненужных в лице человеческом частей), сына кухарки, моего сына, отца моего сына — стало, надобно две спальни, людская, псовая и кухня. До цены дела нет, лишь бы возле и с комфортом.

Теперь скажите Ст⟨анкевичу⟩, и это очень серьезно и без малейшего эгоизма, я его прошу не возвращаться в Россию, не видав Лондона, это такое варварство не уметь ценить этот высший центр, этот город независимости и силы. Всё то же — туман, дождик. Но что же за беда, на это есть зонтик и кареты. Париж в сравнении с Лондоном — хороший городок, но не больше. Но Лондон действительно мир — non urbis sed orbis****** (Ст⟨анкевич⟩ переведет). Я его уважаю и чту, и тем больше, чем больше живу в нем.

Приписка к Тате:

Тата,

Собаку, которую ты подарила, зовут «Ботсссууайн». Чтоб это сказать по-английски, надобно на *Бот* высунуть язык — *Ботс*, закрыть глаза, а потом прибавить *ууайн*: сначала сделать маленький ротик — *ууу* — и потом пребольшой — *айн*. Если мы приедем, этот Ботсссуайн будет Оленьку возить в тележке по Елисейским полям, а ты возле с плеткой. Кланяйся Рейхелю и Едмундушке.

Приписка Саши:

12 ⟨декабря 1852 г.⟩[Воскресенье

Милая Тата, вчера я ходил купать собаку, она плавала в канале и потом меня всего замочила. Я ее мыл мылом, она меня за это лизала и хвостом в лицо била. Целую тебя, Олю, Машу, Рейхеля и Морица.

Саша

---

* Я снова жирен и цветущ (франц.).
** русская кожа! (франц.).
*** олицетворение здоровья (франц.).
**** треуголке (франц. «tricorne»).
***** позор тому, кто дурно об этом подумает (франц.) — девиз «ордена подвязки».
****** не город, а мир (лат.).

Приписка Герцена к Рейхель:

13 ⟨декабря 1852 г.⟩. Понедельник

Прощайте. «Записки» идут[5], знаете, кого я обрисовал недурно: Алексея Александровича[6]. Теперь буду опять об университете. Кланяйтесь Энгельсону, я подозреваю, что он хочет дать стречка в Петербург. Итак, выписывайте меня — дело у вас, а не у нас. Жму руку вам.

[1] Основание для датировки — слова в тексте письма: «неделю тому назад, т. е. в мои именины». Именины Герцена приходились на 5 декабря (23 ноября ст. ст.).
[2] О *M-me Brüning* см. письма №№ 51 и 52.
[3] Быть может, речь идет о немце Зонненберге, состоявшем при И. А. Яковлеве в неопределенной должности (см. «Былое и думы», XII, 70—74).
[4] *Старичок-то в треугольнике* — треугольник, в середине которого изображено «всевидящее око» — символ «бога-отца».
[5] Речь идет о работе над «Былым и думами».
[6] *Алексей Александрович* — А. А. Яковлев («химик»). Герцен рассказывает о нем в главе VI «Былого и дум».

63

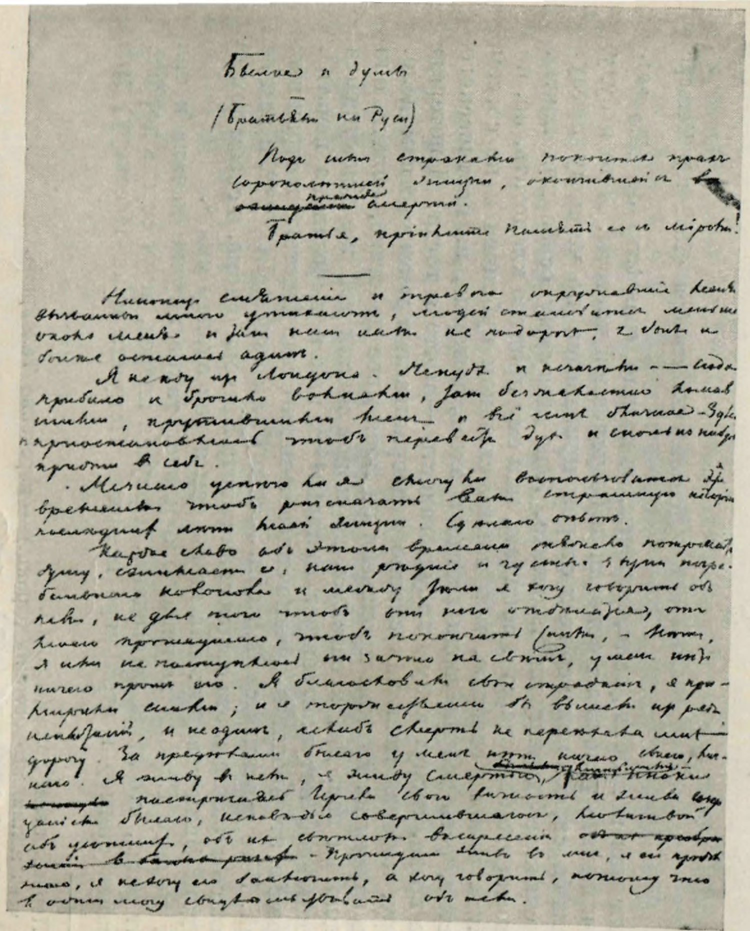
⟨Лондон.⟩ 1852. 17 декабря. Пятница

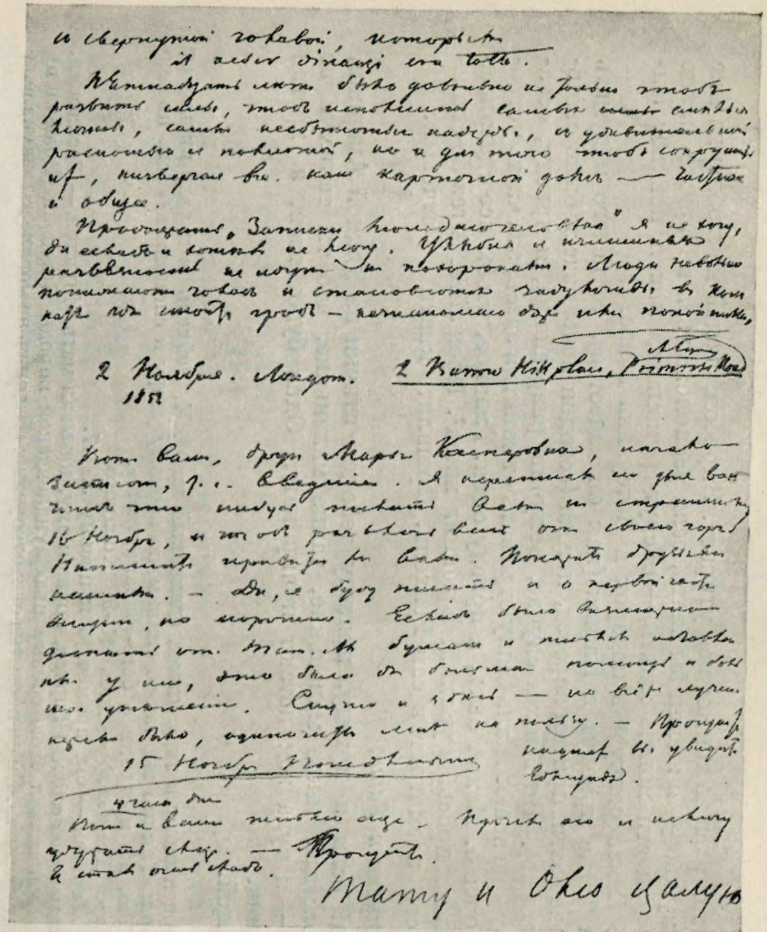
Вы меня наказали славно и поделом, и я жму вам за это руку, много и горячо. Я понял и оценил вполне укор в вопросе: «Уж будто и первый?»... Видите, дело так пусто, хочется будто утешить; вот бонапартистом я вам угодил, ну а начало было неблагодарно, неблагодарно и глупо[1]. Я очень рад, что Тата ездила к Прудонцу и желал бы посмотреть, как этот медведь любезничал с этой козой. Что, какова Мари Хоец⟨кая⟩?[2] Она прежде была мила. Насчет елки, помилуйте, что тут спрашивать. Марихен[3] — подарок в 50, 60, 70 ⟨фр.⟩, да и старушке водяной[4] тоже надобно «этвас»*, детям, Морицу непременно с аднотенцией**—от Г⟨ерцена⟩, мол. Только вы не тормошитесь за вздором, сделайте елку в русский новый год — оно и патриотизм, и здорово, и лучше на досуге выбирать.

Теперь перехожу к диссертации о моем приезде. Когда увидите Х⟨оецкого⟩, скажите ему, что я его письмо получил, но чтобы он был осторожен и не хлопотал бы через край, а то это падет на меня. Я хочу в Париж для детей и для вас, но не верю, чтобы в Париже можно было жить. Побывать было бы очень хорошо. Жить au jour d'aujourd'hui*** только можно в Лондоне. Это независимость, это воля и досуг. Словом, весь состав жизни серьезной, деятельной и совершенно свободной. Я удивляюсь поверхностности мнений о Лондоне людей, как Тесье. Самая дороговизна — фантазия, собственно различье во всем от франка до шилл⟨инга⟩, т. е. от 20 фр. до фунта, т. е. 25, но, принимая английский образ жизни, и это различие пропадает. Я так привык, напр⟨имер⟩, к английской жизни, что в продолжении двух месяцев не ел тарелки супа. Помните, как здесь обедают — огромный кусок рыбы и пятьдесят соусов да огромный кусок румштека — вот и всё. Завтрак aboli****, утром в 9 кофей с ветчиной, обед в 6, французское вино в отставке. Дни заняты все утро от 10 до 6 ⟨!⟩. Я из лени не выучился по-английски, но умею читать газеты, даже брошюрку какую-то прочитал. Понимать легко. А propos, собаку не мы назвали, а так ее называли прежде — Ботсвейн (или Байроновой собакой)[5].

Думали ли вы когда-нибудь, что Лондон действительно средоточие всех материков? Возьмите Северное полушарие и посмотрите: англо-

* что-нибудь (нем. «etwas»).
** пояснением (от лат. «annotatio»).
*** в нынешние времена (франц.).
**** отменен (франц.).





«БЫЛОЕ И ДУМЫ (БРАТЬЯМ НА РУСИ)»

Список первоначального варианта введения в «Былое и думы», сделанный Герценом для М. К. Рейхель 2 ноября 1852 г.

Листы первый и последний

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

саксонская раса не локтем нос утирает. Впрочем, людей не люблю да мне их и не нужно — я желал бы знать, если расположиться в Париже, какие и какие пакости можно ждать,— оберут рукописи, книги, пошлют Никол⟨аю⟩ Семен⟨овичу⟩[6] в подарок и Ботсуайна и нас?

Если Тесье приедут в Париж (как он надеется), то нечего и думать детей сюда везти, притом переезд, погода (сегодня ночью здесь было светопреставление). Во всяком случае, получив разрешение, я приеду, останусь ли — не знаю. Жаль Сашу отрывать от занятий здесь, эта часть устроилась хорошо. Может быть, я приеду один. Главное, чтобы все сделалось без больших просьб и усилий. Брюнинг жива[7]. Прощайте. A rez-de-chaussée* пусть посмотрит и сам Рейхель. Пришлите книги с Ротчевым.

Приписка к Тате:

Тата! если я приеду, привезу тебе две птички из Южной Америки, удивительные, такие маленькие, такие маленькие, что ты таких и не видела — а туда же: летают и чирикают. Одна будет твоя, а другая Оленькина.

Прощай.

[1] Герцен имеет в виду упрек, сделанный им М. К. Рейхель в начале письма от 12 декабря: «Так это вы, так-то сильны, по первому удару и сломились?» (см. письмо № 62). Там же и строки о боге-«бонапартисте».

[2] *Мари Хоец⟨кая⟩* — дочь К.-Э. Хоецкого.

[3] О *Марихен* — см. примеч. 6 к письму № 47.

[4] *Старушкой водяной* Герцен, повидимому, называл мать Марихен — Гаспарини.

[5] Байрон назвал свою собаку ньюфаундлендской породы Ботсвейн (Boatswein), что значит «боцман». Ей он посвятил стихотворение: «Надпись на могиле ньюфаундлендского пса» (1806).

[6] *Никол⟨ай⟩ Семен⟨ович⟩* — Николай I (см. примеч. 1 к письму № 45).

[7] О *Брюнинг* см. письма №№ 51, 52 и 62.

64

⟨Лондон.⟩ 23 декабря ⟨1852 г.⟩ Четверг

Я еще раз повторяю, если, впрочем, не поздно, «pas trop de zèle»**[1]: я могу приехать только на основании безусловной чистоты. А то я буду похож на барса, если еще со всех сторон прибавится по черному пятну. Вы это скажите Эдмунду или прочтите. Я не пишу ему особо для почты. Я дружески его благодарю и понимаю, как ему приятно хлопотать, но, по несчастию, или по счастию, моя жизнь слишком публична и не совсем неизвестна, есть добрые люди всегда и здесь, которые, из поэтического чувства вреда, тиснут какую-нибудь гадость — и что я тогда? Я потеряю ту опору, которая меня так славно поддерживала в моем частном деле.

Ваши вести из Москвы произвели на меня иное действие, нежели они произвели на вас. Да, я останусь до конца жизни той же движущейся революционной натурой, semper in motu***, как я вырезал на печати[2]. Это горенье, это бродящее начало спасает меня средь бедствий и страшных событий. Гёте сказал: «Ich hab mein Sach *auf's nichts* gestellt»****, и вам не показалась страшным эта старческая забота Кетчера о доме, о своем доме![3] Зачем дом? Эдип говорит: «На камне сем я век окончу мой»[4].

Вот почему Европа хороша, она кладет такие жгучие начала и так бередит раны, что люди не оседают, а рвутся вперед, мрут середь дороги, едва замеч⟨енные⟩ в этой игре истории. Покупка дома К⟨етчеру⟩ мне

---

* Первый этаж дома (франц.).

** «без излишнего рвения» (франц.) — изречение Талейрана.

*** всегда в движении (лат.).

**** «Я сделал ставку *на ничто*» (нем. — первая строка стихотворения Гёте «Vanitas! Vanitatum vanitas!»).

вдруг дала заглянуть в ту жизнь, и мне показалось, что наши друзья устали. Я желаю им много, но меня это обдало ужасом — не знаю, во мне столько любви и нетерпимости и ненужных сил — может, всё, что я написал, — вздор.

Насчет денег я прошу Мельгу⟨нова⟩ написать, я решительно и без пощады требую: 1-ое, чтобы Н. Ф. Павл⟨ов⟩ дал в эту подписку 1000 руб. ассиг. или 300 сер. 2-ое, что я требую, наконец, какой-нибудь уплаты процентов, я не требую больше 5, но не обязан проигрывать, когда карты дурны у Павлова или у Сатина.

Когда я приеду в Париж, я вам покажу, сколько я истратил на общие дела денег. Скажу вам одно, что с теми деньгами, которые были у вас, я истратил за весь год 33 т., а получаю 50; стало, было бы 17 т. в экономии, а вместо этого — 22 т. долгу Ротш⟨ильду⟩. Если исключить 20, посланные в Россию, то останется 19 т., употребленные не на себя. Это дает мне некоторое право de rentrer dans les fonds*. Да, потом в Евангелии сказано: «Не будь ни Аполосов, ни Павлов»[5].

У меня теперь вертится в голове удивительный проект: начать агитацию об освобождении крестьян. Тут мне очень полезен будет Эдм⟨унд⟩[6]. Еще вопрос: напишите, пожалуйста, каким образом Тесье получил право возвра⟨щения⟩[7], требовали ли подписку и какую.

Энгельсона целую; я его иногда страшно хочу видеть. Он как-то действует на мои нервы, так сильно и так эксцентрично, — à propos, скажите ему (и себе), что я третьего дня весь вечер просидел у Карлейля. Он совершенно то, что мы знали, читая его «Историю революции»; талантливость, касающаяся гениальности, парадоксы, смелость суждений и un grain de folie**. Я спорил с ним страшно, его grain de folie — что деспотизм спасет мир и *повиновенье* приведет к социализму. Я, наконец, ему сказал: «Читали ли вы когда-нибудь „Историю революции“ Карлейля? Вот писатель, который гораздо лучше и глубже понимает, нежели вы». Из этого произошел смех и...*** Впрочем, я сижу постоянно дома. С Осип⟨ом⟩ Ив⟨ановичем⟩ нелады[8]. Много пишу. Если придет авторизация****, то к 15 генв⟨аря⟩ приеду; за дом заплочено до 1 февр⟨аля⟩. Однако rez-de-chaussée***** 20 хорошо на месяц или на два, разумеется дорого, ну да после можно******. Я здесь плачу́ 275 фр. за удивительную квартиру; rue же Marbeuf — не близкая улица. Из Ниццы мне книги прислали, а картины[9] надобно дождаться, они отправлены в Сутомтон ⟨Southampton⟩.

1 ⟨!⟩ декабря

Кланяйтесь Ст⟨анкевичам⟩. Не пускайте их в Россию, скажите, что ⟨там⟩ такая холера, что хуже не надо.

Тату и Олю целую.

[1] Речь идет о хлопотах, предпринятых с целью добиться для Герцена разрешения на поездку в Париж (см. предыдущие письма).

[2] К. Браницкий писал, что вместе с девизом «semper in motu» на печати Герцена было выгравировано пламя, изображавшее его «одушевленную деятельность» («Les Nationalités slaves», 1879, стр. 170).

[3] Т. Н. Грановский, П. Л. Пикулин, Н. Ф. Павлов и М. С. Щепкин, желая как-нибудь наладить жизнь безалаберного Н. Х. Кетчера, создали комитет для сбора средств, чтобы приобрести для него дом. В сборе денег принимали участие также И. С. Тургенев и А. В. Станкевич. Дом, действительно, был куплен на Новой Басманной. Герцен поручил Н. Ф. Павлову передать для покупки 1000 руб. асс., однако он не сочувствовал превращению Кетчера в собственника.

---

* восстановить основной капитал (франц.).
** пункт помешательства (франц.).
*** *Пропуск в копии.*
**** разрешение (франц. «autorisation»).
***** первый этаж (франц.).
****** *Пропуск в копии.*

[4] *На камне сем я век окончу мой* — процитированные по памяти слова тоскующего по родине царя Эдипа из трагедии В. Озерова «Эдип в Афинах» («Я мой век на камне кончу сем» — д. 2, явл. 1).

[5] *Не будь ни Аполосов, ни Павлов* — процитированные по памяти слова из первого послания апостола Павла к коринфянам.

[6] Возможно, что Герцен, обдумывая свой проект создания Вольной русской типографии, имел в виду воспользоваться обширными польскими связями Эдм. Хоецкого.

[7] Право возвращения во Францию из эмиграции.

[8] *С Осип⟨ом⟩ Ив⟨ановичем⟩ нелады.*— Высоко ценя Маццини, как одного из крупнейших деятелей итальянского национального освободительного движения, Герцен, вместе с тем, весьма критически относился к заговорщическим методам его борьбы и не мог примириться с тем, что он отрицательно относился к социализму.

[9] Герцен ожидал прибытия картин с изображением Натальи Александровны в гробу и ее похорон (см. письмо от 18 июня 1853 г., ошибочно датированное Лемке 1852 годом: «Прислали мне из Италии оставленные портреты и картину похорон».— VII, 64).

65

⟨Лондон.⟩ 31 декабря 1852

Я на днях написал вам письмо — подумал, подумал и изорвал. А тут Эдмонд уверил, что так легко, так легко, что сто́ит подумать — и в Париже. Оно не так легко, теперь давай письмо Рот⟨шильду⟩ — так и быть, я письмо напишу, но где же, право, теребить Рот⟨шильда⟩, и зачем же мне такую ношу благодарности брать на свои плечи? Ох, писал я, pas trop de zèle*.

Далее я не сделаю шага. И отчего же (до сих пор не понимаю) Тесье так приехал... и отчего Эдм⟨онд⟩ притесняет Рот⟨шильда⟩, а не Браниц⟨кого⟩[1]. Если из всего этого выйдет ничего, будемте с вами думать о том, как, напр⟨имер⟩, к 1 марта вам сюда побывать или детям приехать. Я чувствую полнейшую необходимость соединить семью. На Нат⟨алью⟩ Ал⟨ексеевну⟩[2] надежды невелики, Тат⟨ьяна⟩ Ал⟨ексеевна⟩[3] пишет, что дела их идут дурно, и пр. Кстати, вот вам записка в Россию. Письма присланные я прочитал с горячими слезами, превосходные письма... Итак, две женщины в Москве не утратили мужества иногда перекликнуться[4]. Заметьте, между прочим, что из этого ничего и не будет. У вас или у Ел⟨ены⟩ Конст⟨антиновны⟩[5] есть то письмо (список), которое N. писала перед кончиной[6]. Пошлите список в Россию. Письмо это бесконечно важно.

Я пишу к Эдмунду, передайте ему да скажите, чтобы непременно переслал мне *sous bande*** те №№ «*Gazette des tribunaux*», где были процессы Бауэра[7], пусть только франкируют, у вас это стоит копейки, а здесь шиллинги. Вещи и книги, посланные 1 декабря из Ниццы, не могу еще получить, когда получу, я пришлю что-нибудь для отправки Тат⟨ьяне⟩ Алек⟨сеевне⟩ из вещиц. Прощайте. Я не в духе. Поздравлять с новым годом не буду. Бог с ним. Лучше не будет, хуже нельзя быть. Написал еще длинное письмо «Sur le servage en Russie»***[8], в котором обругал Гакстгаузена[9]. Жму руку Рейхелю. Подарили ли вы от меня что-нибудь Маше Хоец⟨кой⟩? Клан⟨яйтесь⟩ Ст⟨анкевичам⟩ и М⟨ельгунову⟩.

Приписка к Тате:

А ты, Тата, стала очень спесива, пишешь мало, я не знаю еще от тебя, как тебе понравился Прудонец; он славное дитя; как вы с ним играли? Я советую опять съездить.

---

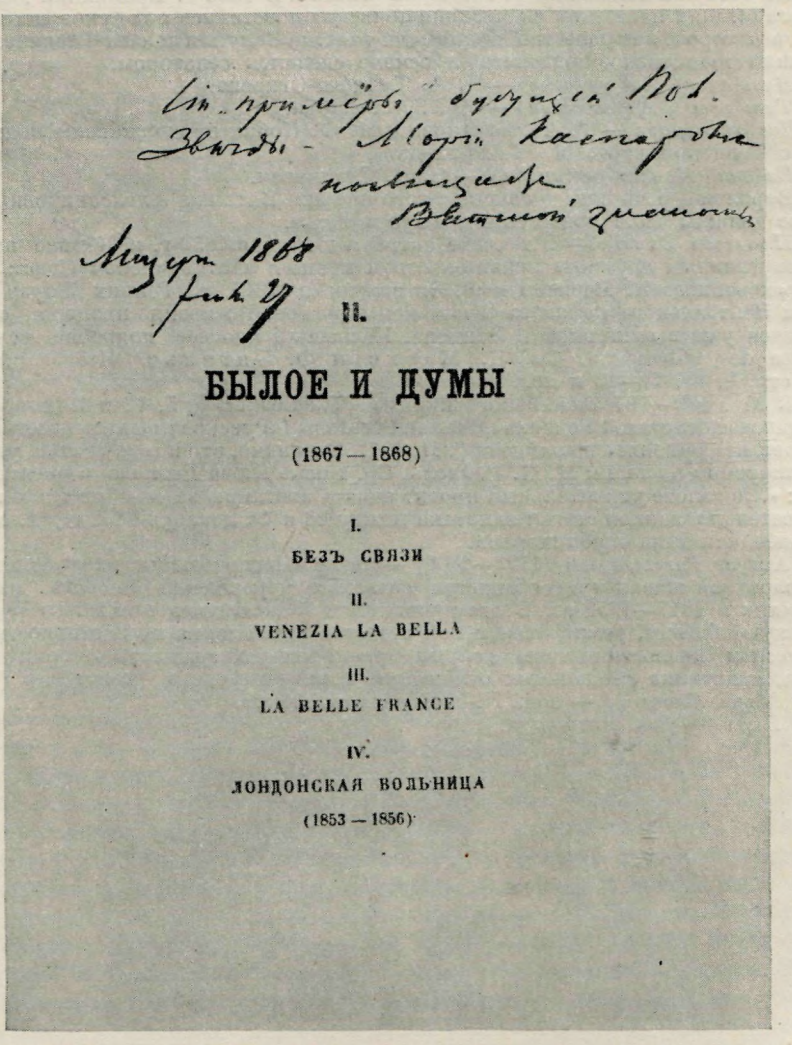
* без излишнего рвения (франц.).

** бандеролью (франц.).

*** «О крепостном праве в России» (франц.).

А любишь ли маленькую Мари Славянку?[10]

Кланяйся ей. Ее надобно называть Маруся-казачка, а Оленька — московская судомойка, а Мориц — Шмерц, а я — папа.



Сии примеры будущей Пол. Звезды — Марии Каспаровне посвящает вятский знакомый

Люцерн 1868 июль 27

II.

БЫЛОЕ И ДУМЫ

(1867—1868)

I.

БЕЗЪ СВЯЗИ

II.

VENEZIA LA BELLA

III.

LA BELLE FRANCE

IV.

ЛОНДОНСКАЯ ВОЛЬНИЦА

(1853—1856)

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ГЕРЦЕНА М. К. РЕЙХЕЛЬ НА ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИИ Ч. VII «БЫЛОГО И ДУМ» («ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА», КН. VIII, ТИПОГРАФСКИЕ ЛИСТЫ)

«Сии «примёры» ‹первые плоды› будущей „Пол. звезды“ — Марии Каспаровне посвящает вятский знакомый. Люцерн, 1868, июль 27»

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Приписка к М. К. Рейхель:

31 декабря

Я, мадам Рейшель, передумал и посылаю письмо барону[11] и вам — делайте, как хотите; если он хочет только отвертеться, то оставьте письмо у себя, поговорите серьезно с Эдмундом. Если пошлете, то положите в пакет и запечатайте черным сургучом.

[1] Ксаверий Владиславович *Браницкий,* граф (1812—1879) — польский аристократ, офицер русской гвардии. В юные годы член оппозиционного «кружка шестнадцати», один из друзей Лермонтова, также входившего в этот кружок. В 1848 г.

Браницкий эмигрировал и вскоре занял положение одного из наиболее влиятельных членов аристократической части польской эмиграции. Он субсидировал орган А. Мицкевича «Трибуна народов» (см. «Былое и думы», XIII, 308). В Париже познакомился с Герценом. В 1861 г., благодаря своим связям, выхлопотал Герцену право приехать в Париж для свидания с дочерью Ольгой. В 1863 г. Браницкий дал средства для организации известной экспедиции польских повстанцев под руководством Лапинского, в которой, как известно, принимали участие Бакунин и сын Герцена. В 1873 г. он принял французское подданство и вскоре сделался сенатором.

[2] *Нат⟨алья⟩ Ал⟨ексеевна⟩*— Н. А. Тучкова-Огарева.

[3] *Тат⟨ьяна⟩ Ал⟨ексеевна⟩*— Т. А. Астракова.

[4] *Две женщины* — Т. А. Астракова и М. Ф. Корш, продолжавшие поддерживать связь с Герценом через М. К. Рейхель.

[5] *Ел⟨ена⟩ Конст⟨антиновна⟩*— Е. К. Станкевич.

[6] Вероятно, речь идет о списке с того письма Натальи Александровны Гервегу, которое должны были прочесть ему Гауг и Тесье.

[7] *Процессы Бауэра.*— В течение октября и ноября 1852 г. в Кёльне происходил инспирированный прусским правительством процесс против членов Союза коммунистов, основанного К. Марксом и Ф. Энгельсом в 1847 г. Генрих Бауэр являлся членом Центрального комитета Союза коммунистов. Во время процесса сам Бауэр находился уже в эмиграции в Лондоне. Кёльнский процесс подробно освещался в «Gazette des tribunaux». См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избр. соч., 1941, т. II, стр. 5, 15, 17—19 и др.

[8] В №№ 189—191 английского журнала «The Leader» от 5, 12 и 19 ноября 1853 г. была напечатана статья Герцена «Russian Serfdom» («Русское крепостничество»). Лемке сообщает, что рукопись не найдена (VII, 497). Очевидно, это и есть статья, упомянутая в публикуемом письме к М. К. Рейхель. Ср. также слова Герцена в письме от 23 декабря: «...в голове удивительный проект начать агитацию за освобождение крестьян». Следовательно, данная статья написана между 23 и 31 декабря 1852 г., т. е. почти на год ранее, чем была опубликована.

[9] Август *Гакстгаузен* (1792—1866) — автор «Исследования внутренних отношений, народной жизни и в особенности сельских учреждений России», изданного в 3-х частях в 1847—1852 гг. В этом сочинении Гакстгаузен восхвалял русскую деревенскую общину, усматривая в ней средство укрепления крепостничества. Герцен в «Русском крепостничестве» вскрыл реакционную сущность теории прусского барона, защитника феодальных отношений и николаевского деспотизма (VII, 378).

[10] *Мари Славянка* — дочь К.-Э. Хоецкого, Маша.

[11] *Барон* — Дж. Ротшильд.

ПИСЬМА к Н. П. ОГАРЕВУ 1864—1870 гг.*

Публикация Ю. Красовского

Сорокалетняя дружба Герцена и Огарева — явление исключительное в истории русского общественного развития. Эта дружба, которую не могли разрушить ни отдельные идейные разногласия, ни конфликты личного порядка — была фактом, далеко выходящим за пределы личных биографий двух выдающихся деятелей русского освободительного движения. Она имела большое общественно-политическое значение, отразив в себе целый период общественного развития — от юношеской клятвы на Воробьевых горах в крепостнической России конца двадцатых годов до больших классовых боев, руководимых I Интернационалом, накануне Парижской Коммуны. Поэтому естественно, что переписка Герцена с его ближайшим другом и соратником является источником первостепенной важности.

До сих пор было опубликовано 394 письма Герцена к Огареву; подавляющее большинство из них напечатано в собрании сочинений Герцена под редакцией М. К. Лемке. Данной публикацией в литературу вводится еще 52 письма Герцена к Огареву. Письма охватывают последнее шестилетие жизни Герцена, с 1864 по 1870 г.; только два письма относятся к более раннему периоду.

В письмах затронуты многие события семейной жизни и личной биографии Герцена последних лет, тяжелая болезнь Таты, отношения Герцена с Н. А. Тучковой-Огаревой, денежные дела, болезнь самого Герцена и т. п. Однако было бы совершенно неправильно оценивать эти письма только с точки зрения узко-биографической или семейной. Особенность всех вообще писем Герцена — их многотемность. В одном и том же письме Герцен касается самых разнообразных вопросов: и лично-биографических, и общественных. Учитывая эту особенность герценовских писем, мы должны полностью отбросить деление их на письма личные и письма с общественной тематикой. И тут необходимо, забегая несколько вперед, прямо сказать, что хотя публикуемые письма Герцена часто касаются его семейной жизни, они отражают в первую очередь именно общественно-литературную деятельность Герцена, сообщая много важных фактов, по-новому освещающих отдельные этапы творческой, общественной и личной биографии великого русского публициста и революционера.

Блестящим примером этого может служить хотя бы первое письмо Герцена, относящееся к 1839 г. Написанное накануне отъезда в Москву из владимирской ссылки, оно фиксирует один из кардинальных моментов общественно-философского становления Герцена и отмечено зрелостью, целеустремленностью, законченностью мыслей и идей. Из ссылки Герцен возвратился достигшим идейного совершеннолетия, во всеоружии обширных философских знаний; в письме он упоминает об изучении Гегеля и, как известно, первые же встречи с московскими друзьями, с Белинским показали, что это изучение действительно было глубоким и всесторонним, чуждым всякого догматизма, чуждым раболепия перед западными авторитетами. 1839 год — год освобождения из ссылки и возвращения к друзьям — был, несомненно, воспринят Герценом как новый, переломный этап в его жизни, как начало нового активного периода общественной деятельности.

---

* В публикацию включены также два более ранних письма—1839 и 1852 гг.

В этом письме Герцен подводит итоги прошлому и намечает перспективы будущего.

«Кончились тюрьмою годы ученья,— пишет он,— кончились ссылкой годы искуса, пора наступить времени Науки в высшем смысле и действования практического».

Но собственный идейный багаж и взгляды московских друзей не удовлетворяют Герцена. «Мы ⟨...⟩ не достигли того гармонического развития, тех верований и убеждений, в которых бы мы могли основаться на всю жизнь и которые бы осталось развивать, доказывать, проповедовать»,— пишет он.— «...Мы все скверно учились, доучиваемся кой-как и готовы действовать прежде, нежели закалили булат и выучились владеть им». Он призывает идти «в школьники», неустанно трудиться над выработкой мировоззрения. «Грех нам схоронить талант,—восклицает он,—грех не отдать в рост, иначе мы ничего не сделаем, а можем сделать, право можем».

В этом же письме Герцен дает выразительные характеристики главных участников московского кружка: Н. Х. Кетчера, Н. И. Сазонова, и других — характеристики, которые тоже свидетельствуют о зрелости и зоркости молодого Герцена, об его умении «объективно понимать» своих тогдашних друзей и соратников. Достаточно привести хотя бы характеристику Н. Х. Кетчера. «Кетчер — человек решительно практический, характер его выражается весь двумя словами — симпатия и доброта, но этот характер завернут в какую-то угловатость ⟨...⟩ Он отродясь не занимался делом, служил губернским переводчиком при русской литературе», и т. д. Несомненно, что это письмо является одним из основных документов герценовского эпистолярного наследия. Оно дает богатый материал каждому, кто изучает историю идейного развития Герцена на рубеже тридцатых — сороковых годов.

Следующее письмо публикуемой нами коллекции датировано 3 апреля 1852 г. Оно также характеризует целый этап жизни Герцена, и притом один из самых тяжелых. Написанное за месяц до смерти Натальи Александровны, накануне этого трагического финала семейной драмы Герцена, оно представляет собою своего рода исповедь. Один из абзацев письма так и начинается: «Я хочу просто с тобой говорить, раскрыть состояние моей души».

Все остальные письма относятся ко второй половине шестидесятых годов. В этих письмах, хотя и отрывочно, запечатлена история «Колокола» в последние годы его существования. Здесь мы найдем сведения о статьях Герцена и Огарева, появлявшихся в «Колоколе», о подготовке того или другого номера, о привлечении к участию в «Колоколе» новых сотрудников.

После 1863 г. влияние «Колокола» стало, как известно, падать. Падение популярности «Колокола» явилось одним из признаков и, вместе с тем, отражением общего отлива общественно-политического и революционного движения в России. С другой стороны, программа «Колокола» все меньше удовлетворяла деятелей нового — «разночинского» — этапа русской революционной борьбы. В работе редакции «Колокола» отрицательно сказывалось, наконец, перемещение географического центра русской революционной эмиграции. Для «молодой эмиграции» шестидесятых годов таким центром являлся уже не Лондон, а Швейцария. И Герцен хорошо понимал это. В письмах 1864 г., в ожидании нового подъема революционного движения, он писал, что необходимо переехать в Швейцарию с тем, чтобы вдохнуть в «Колокол» новую жизнь, сделать его снова руководящим органом русской революционной эмиграции. «Что „Кол⟨окол⟩" издавать в Лондоне при новом взмахе в России нельзя,— писал он Огареву 4 января 1865 г.,— это для меня ясно. Здесь ⟨в Швейцарии⟩ перекрещиваются беспрерывно едущие из и во Францию, из и в Италию, здесь многие живут и пр.» (XVIII, 6). Намерение переехать в Швейцарию было тесно связано с ранее начатыми попытками Герцена установить единый фронт с людьми нового революционного поколения, с «молодой эмиграцией». В декабре 1864 г. Герцен отправился в Женеву для участия в съезде русской эмиграции, для переговоров с молодыми эмигрантами — и на первых порах эти переговоры развивались довольно успешно.

«Вчера была первая „посполитая беседа",— сообщает Герцен Огареву в письме от 30 декабря 1864 г.,— она началась под обстоятельствами, самыми благоприятными для птенцов — и которые меня расположили к тысяче уступок». Из публикуемого

письма мы узнаем, что Герцен так искренне и сильно желал соглашения с «молодой эмиграцией», что серьезно задумывался над вопросом: нельзя ли «передать птенцам совсем „Колокол" и остаться при „Полярной звезде"». Но в дальнейшем переговоры зашли в тупик. Ультимативность требований со стороны «молодой эмиграции», резкость отзывов молодых революционеров о политической деятельности Герцена, которого они считали «отсталым», и, с другой стороны, та невысокая оценка интеллектуального и морального уровня большей части «молодой эмиграции», какую давал Герцен, не веря в ее силы, определили неудачу наметившегося соглашения. Но мы знаем, что и позднее, несмотря на резкие столкновения с «молодой эмиграцией», Герцен не терял надежды на союз с молодыми революционерами, и есть сведения, что он делал попытки в том же направлении в 1869 г. (см. статью: Б. П. Козьмина. Герцен, Огарев и «молодая эмиграция».— «Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 32).

«Молодая эмиграция» с полным основанием выступала против либеральных иллюзий и колебаний Герцена, но за его идейными ошибками не всегда умела разглядеть демократа-революционера, политического деятеля, «сыгравшего великую роль в подготовке русской революции» (В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 9). В мае 1868 г. Герцен писал Огареву: «Меня возмущает их неблагодарность — ко всем прошедшим деятелям и в том числе к нам...».

Герцен совершенно справедливо считал, что имеет право на уважение со стороны молодых революционеров, право на признание ими его революционных заслуг. «...Это чувство верное, и его краснеть нечего,— читаем в том же письме к Огареву.— Смешны люди, которые себя переценивают,— зато ведь и люди, не ценящие себя, по пробе, жалки».

Цитируемое письмо, относящееся к маю 1868 г., имеет большое принципиальное значение: Герцен высказал в нем свой взгляд не только на «молодую эмиграцию», но и на революционную демократию шестидесятых годов вообще. Наряду с оценками неверными, пристрастными, вызванными ожесточением полемики, письмо содержит суждения позитивного характера. Герцен разграничивает «базаровщину» с «нигилизмом», т. е. отделяет, в освободительной борьбе, «героев» революционной фразы и внешнего революционного декорума от подлинных деятелей народной революции и ее вождей — Чернышевского, Добролюбова, Михайлова. Из этого же письма мы узнаем, что известная статья Герцена «Еще раз Базаров» первоначально была написана в еще более остром полемическом тоне. Но, согласившись с замечаниями Огарева, Герцен переделал статью, очистил ее от излишних резкостей и личных выпадов. Политический деятель-демократ и в данном случае взял в нем верх.

Для правильного восприятия встречающихся в публикуемых письмах отрицательных оценок «молодой эмиграции» не следует забывать, что Герцену в Швейцарии часто приходилось сталкиваться не только с второстепенными, но и со случайными участниками революционного движения шестидесятых годов. Будущее показало, что недоверие Герцена к иным из «молодых эмигрантов» — к тем, кого он именует «ракалией нигилизма» — оказалось в ряде случаев обоснованным: некоторые из них окончили свою политическую деятельность по другую сторону баррикады, стали ренегатами революционного дела. В условиях эмигрантского быта столкновения Герцена с представителями «молодой эмиграции» происходили часто по отдельным, не принципиальным вопросам; создавалась атмосфера взаимного недоверия и напряженности. Герцен не всегда умел увидеть и понять за внешней грубостью полемики существо требований, которые предъявляло ему новое поколение революционеров-разночинцев — те, кого он сам называл «молодыми штурманами будущей бури».

Известно, что многие нарекания на Герцена со стороны «молодой эмиграции» были вызваны денежными претензиями. Среди некоторой части «молодой эмиграции» имела хождение легенда о «скупости» Герцена. Однако публикуемые письма, как раз наоборот, дают представление о том, какую широкую денежную помощь русским и польским эмигрантам оказывал Герцен. Не говоря уже о Бакунине или о ближайших помощниках Герцена по изданию «Колокола» — Тхоржевском и Чернецком, в публикуемых письмах упоминается о денежной помощи А. Я. Щербакову, В. Мерчинскому и другим.

Читая герценовские письма, мы встречаемся со всеми основными деятелями русской эмиграции шестидесятых годов: с представителями ее левого разночинно-демократического крыла — «молодой эмиграции» и с представителями правого крыла.

В письмах 1868 г. говорится о небезызвестном П. В. Долгорукове, который одно время даже сотрудничал в «Колоколе»; позднее Герцен порвал с ним, отказавшись от каких бы то ни было соглашений и переговоров. И хотя предсмертная болезнь «князя-гиппопотама», как называл его Герцен, и заставила Герцена выполнить просьбу умирающего, приехать к нему в Берн, тем не менее в письме к Огареву от 16—18 июля 1868 г. Герцен писал, что если Долгоруков выздоровеет, он «не намерен продолжать знакомство с ним».

В письмах 1867 г. несколько раз упоминается Кельсиев и его нашумевшее возвращение в Россию. Несомненно, что кельсиевская история произвела тяжелое впечатление на Герцена, но в то же время, как мы знаем, Герцен трезво оценил политическое ренегатство Кельсиева. И позднее, когда в печати появилось явно инспирированное III Отделением сообщение о том, будто Герцен возвращается в Россию, Герцен гневно откликнулся на эти неуклюжие попытки сделать его «вторым Кельсиевым».

Революционная принципиальность не оставляла Герцена никогда.

Середина 1860-х гг. для русской общественной жизни была одним из самых тяжелых периодов. Разгул реакции после покушения Каракозова на Александра II достиг наивысшей точки. Полицейский террор вызвал упадок всей общественной жизни страны. Предшествующие же удары реакции — арест Чернышевского и других революционеров, закрытие «Современника» и «Русского слова», прекращение деятельности «Земли и воли» — способствовали глубокому кризису революционного и демократического движения. Кризис этот, естественно, отразился и на деятельности Герцена и Огарева: прекратилось издание русского «Колокола». Расхождения с «молодой эмиграцией» приняли тяжелую форму личных недоразумений и взаимного недоверия. С другой стороны, реакция побеждала на Западе: прусский милитаризм совершал свое победное шествие по Европе; Франция Наполеона III становилась оплотом всяческого консерватизма; западноевропейская буржуазная демократия все очевиднее переходила на охранительные позиции, теснее сближалась с реакцией. Все это продиктовало Герцену ряд пессимистических высказываний в его письмах 1867 г.

Они были связаны также с тяжелыми событиями в общественной и личной жизни самого Герцена: прекращением «Колокола», напряженными отношениями с «молодой эмиграцией» и новыми осложнениями в семейном быту. Но, вместе с тем, эти годы явились в идейной жизни Герцена периодом нового и мощного движения вперед. «У Герцена,— указывает Ленин,— скептицизм был формой перехода от иллюзий „надклассового" буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 11). И этот «переход»— доказательство его Ленин усматривает, как известно, в письмах «К старому товарищу» 1869 г.,— интенсивнее всего совершался в рамках того хронологического периода, к которому относятся публикуемые письма. Герцен обращает свои взоры в сторону социалистического рабочего движения, в сторону Интернационала, руководимого Марксом. Переезд в Брюссель, бывший тогда одним из центров рабочего движения, а потом в Париж, несомненно, был вызван стремлением снова погрузиться в гущу политических событий, стать их непосредственным участником. Парижские письма конца 1869 г. показывают, как чутко улавливал Герцен приближение новой революционной бури. Ощущение изолированности, тяжелое душевное состояние Герцена сменяются в 1868—69 гг. новым подъемом общественной и литературной деятельности. «Именно эти годы, — пишет Я. Эльсберг.— действительно столь трудные, горькие и мучительные для Герцена<...> показывают еще раз, до какой степени неистощимой была его энергия и неутомимой его мысль, как упорно и постоянно Герцен шел вперед» (Я. Эльсберг. Герцен. М., 1951, стр. 498).

ГЕРЦЕН

Фотография с надписью: «В память встречи в Париже в октябре 1869. Александр Герцен»
Кому была подарена фотография — неизвестно
Литературный музей, Москва

В публикуемых письмах нередко идет речь о Бакунине. Читая письмо за письмом, мы видим, как последовательно, хотя и постепенно, подготовлялся полный разрыв Герцена с Бакуниным. Уже в письмах 1867 г. чувствуется ироническое, принципиально-враждебное отношение к «старому товарищу». В 1868—1869 гг. оформляется вполне осознанное отрицание бакунинских теорий. Для Герцена, который создал письма «К старому товарищу», который внимательно и сочувственно присматривался к деятельности I Интернационала, бакунинская проповедь отрицания всякого государства и его анархистско-авантюристическая тактика немедленных бунтов и стихийных восстаний были совершенно неприемлемы. «...События идут иным путем ⟨...⟩ — писал Герцен. — Ни одной йоты из вашей программы не осуществится — в два, три поколения. Зачем же вы только ругаетесь над людьми, действующими настоящими орудиями, в настоящее время? Я под этими орудиями разумею ⟨...⟩ всю политическую агитацию, которая очень сильна и volens-nolens имеет в себе социальные элементы» (письмо от 17 сентября 1869 г.).

Еще резче, еще определеннее выступил Герцен против Бакунина после того, как в Швейцарию приехал Нечаев. Герцен понимал, какой вред наносят революционному движению Бакунин и Нечаев, сумевшие вовлечь в свою «агитационную кампанию» 1869—1870 гг. и Огарева. Герцен внимательно приглядывался к Нечаеву, угадывая мистификаторскую подоплеку его революционных прожектов. В письме к Огареву от 12 января 1870 г. он писал: «Юношу ⟨Нечаева⟩ видеть я могу и мужеству его отдаю полную справедливость, но деятельность его и двух старцев ⟨Бакунина и Огарева.— *Ю. К.*⟩ считаю положительно вредной и несвоевременной. Всякий день вижу русских — слушаю, вслушиваюсь и убеждаюсь больше и больше в том».

В заключение обзора общественных мотивов в письмах Герцена к Огареву, нужно подчеркнуть содержащиеся в них проявления революционного патриотизма и национальной гордости великого русского публициста. В этом отношении замечательны гневные слова Герцена в письме от 6 ноября 1867 г.: «Еще раз обучить дураков что̀ такое Россия, да и оставить...» Слова эти имеют в виду тех буржуазных демократов Западной Европы, а они составляли большинство, которые и на рубеже 1870-х гг. упорно продолжали не замечать за официальным фасадом царской империи народную, борющуюся революционную Россию. Предпринятое Герценом в 1868 г. издание «Колокола» на французском языке преследовало, в качестве главной цели, разоблачение этих ошибочных, тенденциозных представлений «людей Запада» о России и русском народе. Герцен даже отказался участвовать в конгрессе «Лиги мира и свободы» 1867 г. Как указывал сам Герцен, его отказ был вызван антирусской позицией подавляющего большинства участников этого съезда буржуазных демократов Запада: тем, что они не понимали путей исторического развития России, а главное — недооценивали ее революционные возможности и силы, не верили в эти силы. Наконец, революционный патриотизм Герцена сказывается и в его ожесточенных спорах с Г. Н. Вырубовым. Из писем Герцена мы знаем, что он «минутами» ненавидел Вырубова, с которым поддерживал близкие личные отношения, за нападки на Россию, за неверие в ее будущее и за унижение России в глазах французов. Герцен многозначительно сообщает, что в этих спорах он «в долгу не остался» (XXI, 432, 509).

Но перечисление всех общественных и литературных тем, затронутых в публикуемых письмах, завело бы нас очень далеко. Можно смело сказать, что эти письма дают богатый материал не только историкам общественной и политической мысли XIX века, но и историкам литературы. На страницах публикуемых писем встречаем имена Белинского, Достоевского, Шиллера, Бальзака, Тэна, Ренана и других деятелей русской и мировой культуры. Особо сто́ит отметить словаГерцена о Бальзаке, как о художнике мощных социальных обобщений, о его реализме в изображении общества и эпохи. Это мимоходом сообщенное впечатление от чтения Бальзака, драгоценное само по себе, опять-таки свидетельствует о постоянном остром интересе Герцена к общественной стороне любых вопросов и тем. Об этом же говорит и его оценка прежних разногласий с Грановским, данная в одном из писем 1868 г., и оценка

бакунинской фразеологии и выступлений Бакунина против «политической агитации», уже приведенные выше, и т. п.

Как сказано выше, много места в публикуемых письмах уделено личной жизни Герцена.

Отношения Герцена с Н. А. Тучковой-Огаревой протекали мучительно, особенно после 1864 г., когда скончались двое их детей-близнецов, Леля-girl и Леля-boy. В публикуемых письмах наиболее подробно отражены события 1867 г. Н. А. Тучкова-Огарева хотела вернуться в Россию, взяв с собой дочь Лизу, которую Герцен страстно любил. Герцен был против отъезда Огаревой и дочери; «борьба» за Лизу принимала иногда формы, поистине драматические.

Н. А. Тучкова-Огарева была в плохих отношениях со старшими детьми Герцена, и, как видно из писем, его многочисленные попытки собрать всю семью воедино всегда терпели крах. Постепенно семья распалась. Все дальше и дальше отходила от семьи дочь Ольга, и это было для Герцена особенно мучительно. Ее воспитательница — Мальвида Мейзенбуг — сделала все, чтобы Ольга Герцен стала в семье чужой, превратилась в иностранку, равнодушную и к родине, и к деятельности отца. В письме от 27 декабря 1869 г. мы находим следующие горькие строки Герцена: «Ольга (ей стукнуло 19 лет) — не имеет ничего общего с нами, в ней сложили немецко-artistisch, аристократический взгляд, без каких бы то ни было égards и пощад ‹...› Тихо и кротко опуская пухлые глаза, Мейз‹енбуг› мягко ненавидит все наши самые дорогие воззрения и спасает от них Ольгу...».

Семейные отношения становились все более и более напряженными. Все попытки Герцена восстановить семью и добиться согласия между ее отдельными членами оказывались тщетными. Он превратился в скитальца, переезжающего из города в город. Женева, Ницца, Берн, Люцерн, Цюрих, Брюссель...— вот названия городов, которые мы читаем в верхнем правом углу его писем. «Я спасаюсь легкой и поверхностной удободвижимостью...», — признается он в письме от 13 апреля 1868 г.

1868 год был кульминационным пунктом тяжелого конфликта в герценовской семье. «Думать, что так пойдет еще десять лет, а там и вынесут самого — это ужасно...» — пишет Герцен в письме от 13 апреля 1868 г.

Последним ударом оказалась драма в личной жизни любимой дочери Таты. Этому эпизоду, трагически завершившемуся ее тяжелой болезнью, посвящено 20 писем Герцена. «...Я имел в Тату последнюю *веру*,— пишет Герцен в письме от 2 декабря 1869 г.,— основанную на симпатии, на сходстве ее с покойницей (психически); веру имел, а вести не умел ‹...› Ну и эта вера обломилась».

Осложнения и несчастия в семейной жизни Герцена, следовавшие с середины 1860-х гг. одно за другим, явились, разумеется, серьезным испытанием его душевных сил. И все же, как видно из его писем, он никогда не погружался целиком в свои личные несчастия, всегда жил большими интересами общественной жизни и глубоко верил в победу революционного начала. Напомним хотя бы следующие замечательные слова в одном из его писем, посвященных, в основном, семейным темам»: «А вокруг буря, все растущая буря,— вот это утешает. Мы кое-что еще снова увидим...» (XIX, 103).

Читая эти письма, не надо забывать еще одного существенного обстоятельства, наложившего на них свой отпечаток. Адресованы они Огареву, с которым Герцен был откровенен, как с самим собой. Отсюда их экспрессивность, их предельная искренность. Герцен в этих письмах не считает нужным что-либо скрывать, даже мимолетные настроения, он не заботится о полноте и точности выражения своих мыслей, уверенный, что Огарев поймет их и с полунамека. Здесь Герцен «нараспашку», здесь невольно сделан акцент на самых тяжелых моментах жизни. Герцен в этих письмах может показаться «пессимистом», бóльшим, чем он действительно был в личной жизни и общественной деятельности. Это необходимо иметь в виду при чтении многих из публикуемых писем.

Естественно, что письма Герцена к Огареву являются ценнейшим материалом и для характеристики адресата — Огарева: для характеристики его работы в «Колоколе», его участия в общественно-политической жизни русской эмиграции шестидесятых годов,

его споров с Герценом. С другой стороны, они характеризуют и личную жизнь Огарева, его отношения с Мэри Сетерленд и т. п.

И, наконец, последняя тема, которая настойчиво звучит в письмах 1868—1869 гг.,— это усиливающаяся болезнь самого Герцена. Здесь, может быть, наиболее подробно и основательно, чем где бы то ни было до сих пор, освещена эта сторона позднего периода герценовской биографии.

Подводя итоги, можно смело сказать, что публикуемые 52 письма Герцена к Огареву представляют собой важный новый источник для характеристики общественной, литературной и личной биографии великого русского публициста-революционера.

Письма публикуются по автографам «пражской коллекции» Герцена — Огарева (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 143—144).

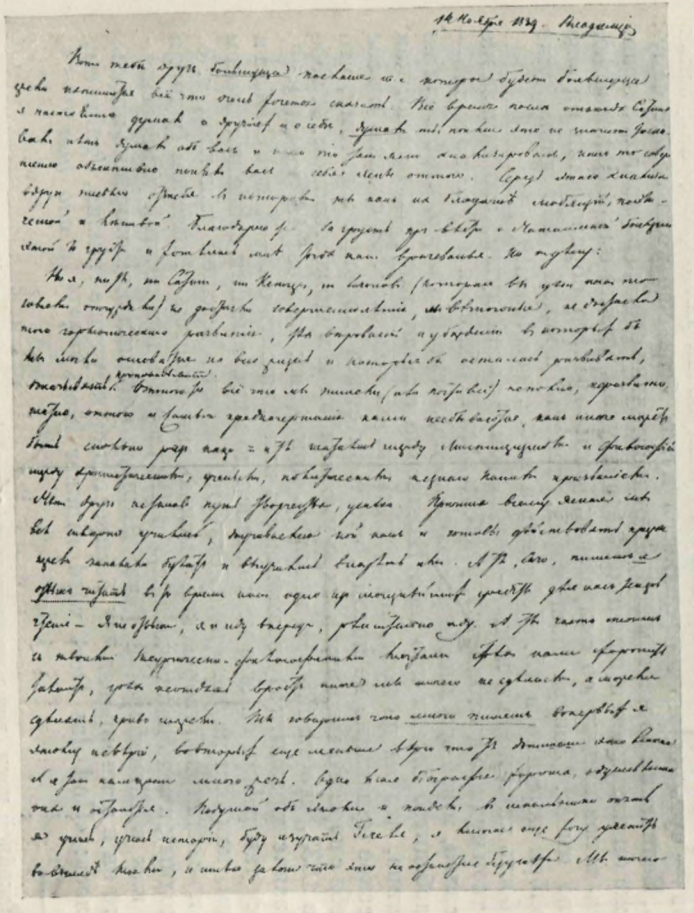
1

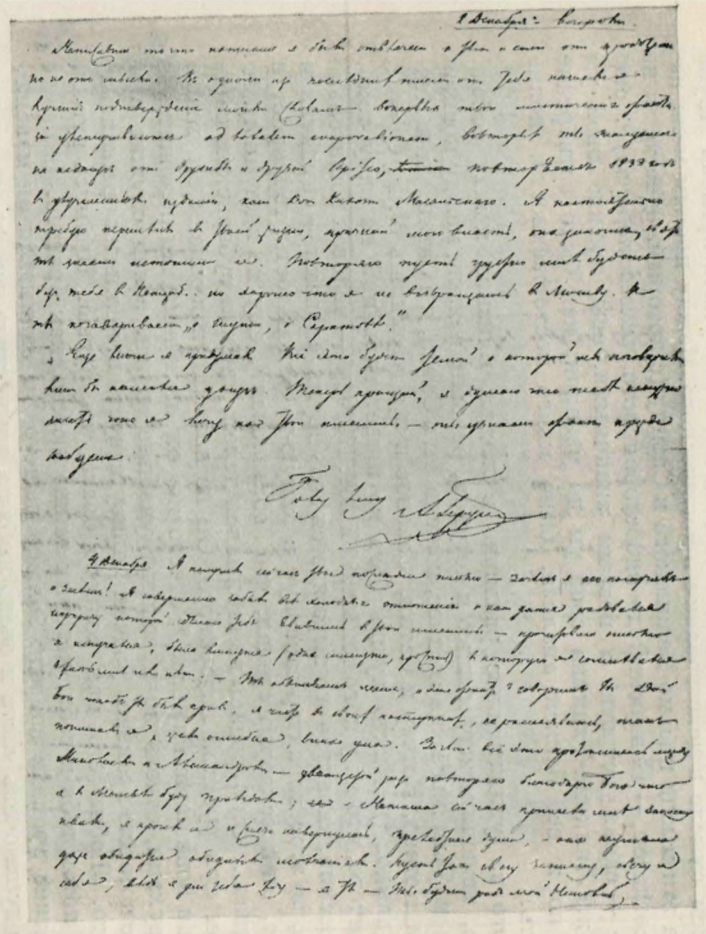
14 ноября ⟨—4 декабря⟩ 1839. Владимир

Вот тебе, друг, *большущее* послание, т. е. которое будет большущее, ежели напишется всё, что очень хочется сказать. Всё время после отъезда Сатина[1] я постоянно думал о друзьях и о себе, *думал* — ты пойми — это не значит тосковал, нет, думал об вас и как-то так ясно анализировал, как-то совершенно объективно понял вас и себя яснее оттого. Середь этого анализа вдруг письмо от тебя, в котором ты, как на блюдечке, любящий, поэтический и ленивый. Благодарю тебя за грусть при вести о наташиной болезни, этой-то грусти и хотелось мне тогда, как врачеванья[2]. Но к делу:

Ни я, ни ты, ни Сатин, ни Кетчер, ни Сазонов (которого вы уже как-то совсем отчуждили) не достигли совершеннолетия, мы, вечно юные, не достигли того гармонического развития, тех верований и убеждений, в которых бы мы могли основаться на всю жизнь и которые бы осталось развивать, доказывать, проповедовать. Оттого-то всё, что мы пишем (или почти всё) не полно, не развито, шатко, оттого и самые предначертания наши не сбываются, как иначе может быть? Сколько раз, напр⟨имер⟩, я и ты шатались между мистицизмом и философией, между артистическим, ученым, политическим, не знаю каким призванием. Нет, друг, не таков путь творчества, успеха. Причина всему ясная: мы все скверно учились, доучиваемся кой-как и готовы действовать прежде, нежели закалили булат и выучились владеть им. А ты, саго, пишешь *я отвык читать*, в то время как одно из мощнейших средств для нас теперь чтение. Я не отвык, я и иду вперед, решительно иду. А ты часто стоишь с твоими теургически-философскими мечтами. Грех нам схоронить талант, грех не отдать в рост, иначе мы ничего не сделаем, а можем сделать, право можем. Ты говоришь, что *много пишешь*. Во-первых, я этому не верю; во-вторых, еще меньше верю, что ты допишешь это многое. А я так намерен много жечь. Одна моя биография хороша, одушевленная, она и останется[3]. Подумай об этом и пойдем в школьники опять; я, учась, учась истории, буду изучать Гегеля; я многое еще хочу уяснить во взгляде моем и имею залоги, что это не останется без успеха. Мы ничего не потеряли, что теряли много времени в отношении образования; мы жили, и как полна была наша жизнь последних годов, как свята любовью, мы узнали практический элемент человечности; тем лучше можем усвоить себе многосторонность и глубину. От наших будущих произведений не будет пахнуть лампой кабинета, они прозябли на чистом воздухе, под открытым небом; прибавить соков — и плоды будут свежи, как лимоны в Италии... или мы просто ничтожности, о нет, anch'io son pittore! *[4]— и ты больше, нежели я. Я рад, что так холодно мог рассмотреть нас, да это оттого, что время не терпит. Кончились тюрьмою годы

* и я художник! (итал.).





АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЕРЦЕНА К ОГАРЕВУ ОТ 14 НОЯБРЯ — 4 ДЕКАБРЯ 1839 г.

Листы первый и последний

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

ученья, кончились ссылкой годы искуса, пора наступить времени Науки в высшем смысле и действования практического. Между прочим меня навело на эти мысли письмо Белинского к Сатину (с которым, однако, я не вовсе согласен,— Белинский до односторонности *многосторонен*) [5], еще прежде — самая встреча с новыми знакомыми, еще прежде свой ум (довел же Ляпкина-Тяпкина свой ум до узнания, как было сотворение мира); но я всё боялся анализа, было много восторженности, полно ликовать.

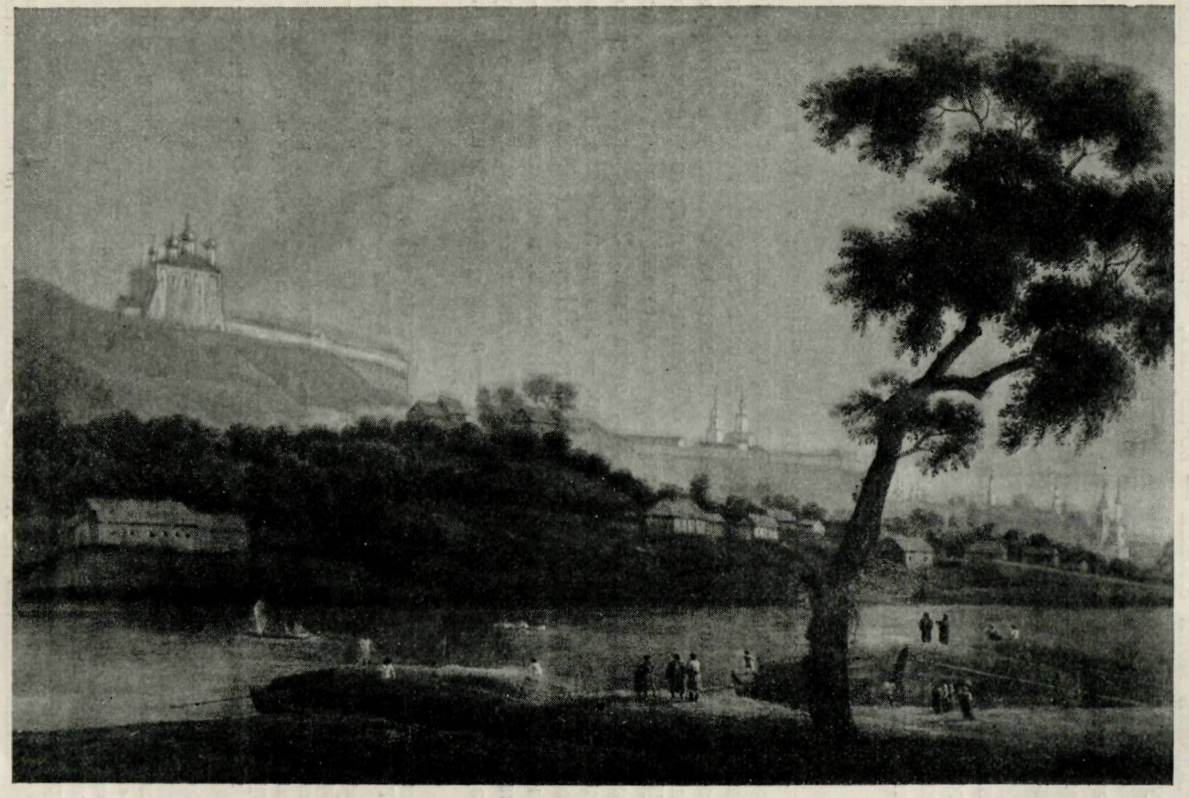
И что за удивительное различие в людях, близких между собою! Больше, нежели между мышью и петухом, больше, нежели между кошкой и фазаном. Ты и я всё еще сходнее, нежели ты и Сатин, я и Сатин, ты и Кетчер, я и Кетчер, Кетчер и Сатин, Сазонов и пр. (Помнишь N. P. Q = ... учил Давыдов [6]). Никто лучше бога не пишет варьяций на одну тему, может оттого, что ни у кого темы такой нет. Кетчер — человек решительно практический, характер его выражается весь двумя словами — симпатия и доброта, но этот характер завернут в какую-то угловатость; террорист и Лафайет, он прескверно сделал, что *обелинился* [7], ему не идет пиэтизм, абсолютизм... Он отродясь не занимался делом, служил губернским переводчиком при русской литературе. Он не поэт (хотя в жизни его много поэзии du bonhomme Patience)[8], отчего же он не занимается положительными науками, отчего не переводит учебные книги, зачем служит при театре, с потерею времени, зачем присутствует в коллегии Бажанова[9] так часто. Люблю его, как родного брата, но ругаю. Примусь ругать Сатина, потом тебя и себя, которых также люблю, как братьев.

У Сатина времени впереди больше нашего[10] и занимался он меньше, зато его душа очень чиста и очень любяща, ну не жаль ли, что он не дал ей всего полета; его образование не твердо, дамское, как локоны его, такое же, как у твоей жены, напр⟨имер⟩. Французская философия французских романов — чуть ли это не равняется нулю, беда еще коли *минус* чему-нибудь. Белинский во многом неправ относительно его, но во многом и прав. Пусть же он занимается немецкой литературой, укажи ему и философию, да пусть в нее входит со смирением; философского образования он еще вовсе не имеет. Завтра наш черед, теперь прощай, ибо давно уже 14-е ноября перешло в 15. Felicissima notte, eccelenza!*

Слабость характера и лень — вот Тифон [11] твоей души, это наказание тебе за твои чудные достоинства, у тебя и взгляд обширен и чувство верно— разум силен, и всё это вместе растворено в флегме. Не верю, чтоб воля не могла победить. Ежели про тебя Белинский скажет так решительно, как про Сатина, что ты не поэт, не художник, он соврет [12]. Я сознаю в тебе поэтическое призвание не потому, что твои стихи хороши, а потому, что знаю тебя с первого дыхания в мире умственном и художественном. Я тебе писал в 1833, что ты поэт [13], и теперь повторяю; но поэт in potentia **, от тебя зависит развить эту возможность или подавить ее.— И про Сатина я не скажу так резко, он еще не поднялся до мира высших сознаний, почем мы знаем, как они на него подействуют. Сатин в высшем развитии, т. е. он же, но с обширной творческой мыслью, мне сдается Шиллером (у них и лица сходны); а ведь как хочешь люби Шиллера, в нем нет той универсальности, как в Шекспире и Гёте. Шиллер понимал односторонне жизнь, оттого-то он и аспирировал *** беспрестанно к будущей жизни, оттого ему и казалось: «Und das Dort wird nimmer hier» ****[14], *а оно hier* *****.

---

* Спокойной ночи, ваше превосходительство! (итал.).
** в возможности (лат.).
*** устремлялся (франц. «aspirer»).
**** «Потустороннее никогда не будет здешним» (нем.).
***** *здесь* (нем.).



ВЛАДИМИР

Картина маслом Сократа Воробьева, 1836 г.

Исторический музей, Москва

«Как прелестны окрестности маленького Владимира... Владимир спит в садах и горах, разбросанный сам по горам»
(из письма Герцена к Н. А. Захарьиной от 8 апреля 1838 г.)

Этого никогда не поймет Сатин, слишком нежна, слишком аркадическа его душа, оттого он написал: «Ты позабыл, ты человек». Blasphème! *

2 декабря — вечером

Написавши то, что написано, я был отвлечен и тем и сем от продолжения, но не от мысли. В одном из последних писем от тебя нашел я лучшие подтверждения моим словам — во-первых, твои мистические фантазии улетучиваются ad totalem evaporabionem **; во-вторых, ты жалуешься на недосуг от дружбы и друзей. Capisco***, повторяется 1833 год в улучшенном издании, как Дон-Кихот Масальского [15]. Я настоятельно требую перемены в твоей жизни, признай мою власть, она законна, свята, ты знаешь источник ее. Повторяю, пусть грустно мне будет без тебя в Петерб⟨урге⟩, но хорошо, что я не возвращаюсь в Москву. И ты поговариваешь «о глуши, о Саратове».

Еще многое я придумал. Все это будет темой, о которой мы поговорим, лишь бы нашелся досуг. Теперь прощай, я думаю, что тебе не нужно писать, что я лечу на твои именины,— ты узнаешь факт прежде сообщения.

Totus tuus**** А. Герцен

4 декабря

Я получил сейчас твое последнее письмо — зачем я его получил, о зачем! [16] Я совершенно забыл все холодные отношения и как дитя радовался сюрпризу, который сделаю тебе, явившись в твои именины,— прочитавши письмо, я испугался, была минута (одна минута, прости!), в которую я сомневался — ехать мне или нет. Ты обвиняешь меня; «это факт», говоришь ты. Дай бог, чтоб ты был прав, я чист в своих поступках, не раскаиваюсь, так понимал я, ежели ошибся, вина ума. Зачем всё это протеснилось между Николаем и Александром — двадцатый раз повторяю: благодарю бога, что я в Москве буду проездом. Наташа сейчас принесла мне записку к вам, я прочел ее, и слеза навернулась, прелестная душа — она не умела даже обидеться обидным молчанием.— Пусть так, свезу записку, свезу и себя, ведь я для тебя еду — а ты — ты будешь рад, мой Николай[17].

Письмо написано незадолго до возвращения Герцена в Москву из владимирской ссылки. Герцен, повидимому, не послал письма, а передал его Огареву в Москве.

[1] Н. М. Сатин посетил Герцена во Владимире, пробыв у него четыре дня — с 7 до 11 ноября 1839 г. (II, 340 и XXII, 38).

[2] Герцен имеет в виду письмо Огарева от 29—30 октября 1839 г., начинающееся словами: «Наташа больна. Вот что, прежде всего поразило меня...» («Русская мысль». 1888, № 11, стр. 7).

[3] Герцен имеет в виду автобиографическую повесть. «О себе» (рукопись утрачена).

[4] «*И я художник!*» — восклицание, приписываемое Корреджио, впервые увидевшему «Святую Цецилию» Рафаэля.

[5] Это письмо Белинского к Сатину неизвестно. О судьбе переписки Сатина с Белинским см. в «Лит. наследстве», т. 56, 1950, стр. 222—224.

[6] Иван Иванович *Давыдов* (1794—1868) — профессор философии и русской словесности Московского университета.

[7] Герцен производит здесь глагол «белиниться» от фамилии Белинского, находившегося тогда в апогее своего кратковременного увлечения философией «примирения» с окружающей действительностью. Н. Х. Кетчер, который, по позднейшей характеристике Герцена, никогда не мог доработаться «ни до одного ясного понятия, ни до одного твердого убеждения» и для которого «вопросы шли под знаменем лиц, а не наоборот» (XIII, 229), выступал тогда в роли рьяного последователя Белинского.

Имя Лафайета употреблено Герценом как синоним политического деятеля умеренно-либерального толка. В письме к Кетчеру от 16 марта 1839 г., называя Лафайета

* Хула! (франц.).
** до полного испарения (лат.).
*** Понимаю (итал.).
**** Весь твой (лат.).

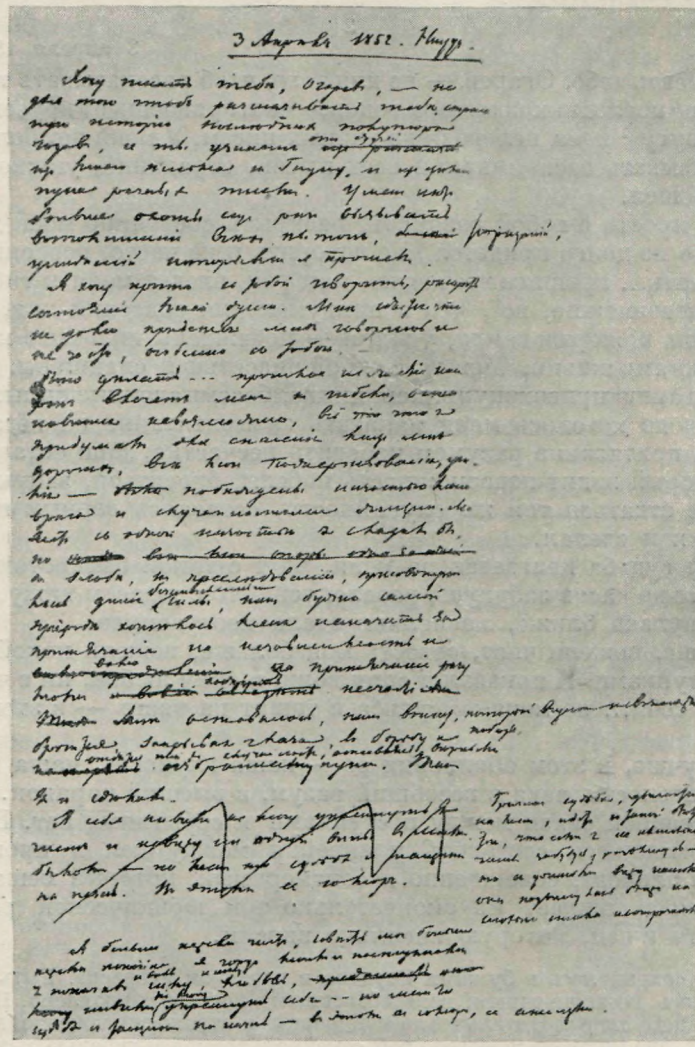
«классиком либерализма», Герцен оценивал его как «очень посредственного человека» и писал о его «узком» уме и о том, «как дрянно им изображена революция» (II, 244—245).

[8] *bonhomme Patience* — персонаж из романа Жорж Санд «Мопра» (1837).

[9] *Бажанов* — содержатель широко известной в тридцатые-сороковые годы кофейни на Неглинной улице в Москве. Кетчер был завсегдатаем этой кофейни.

[10] Н. М. Сатин был на два года моложе Герцена и на год моложе Огарева.

[11] *Тифон* — чудовище в античной мифологии.



ЧЕРНОВОЙ НАБРОСОК ПИСЬМА ГЕРЦЕНА К ОГАРЕВУ ОТ 3 АПРЕЛЯ 1852 г.

Лист 1

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

[12] Об отношении Белинского к поэзии Огарева см. «Лит. наследство», т. 56, 189.

[13] См. письмо Герцена к Огареву от 7 августа 1833 г., в котором он называл своего друга «поэтом, поэтом истинным» (I, 126).

[14] Неточная цитата из стихотворения Ф. Шиллера «Пилигрим».

[15] Константин Петрович *Масальский* (1802—1862) — автор многочисленных исторических романов. Герцен имеет, вероятно, в виду его повесть «Дон-Кихот XIX века» (см. Собр. соч. К. П. Масальского, т. I, М., 1843).

[16] Имеется в виду письмо Огарева от 25 ноября 1839 г. (напечатано в «Русской мысли», 1888, № 11). Огарев обвинял Герцена в недоброжелательном отношении к его

жене, Марии Львовне, прилагавшей все усилия к тому, чтоб оторвать мужа от его прежних друзей.

«Ты был неправ в отношении Марии,— писал Огарев,— это доказывает факт; но что ты пользы этим никакой не сделал, как восстановил ее против себя жестоко и, может быть, надолго, это — тоже факт» (II, 344).

[17] Герцен приехал в Москву 7 декабря 1839 г. и пробыл здесь до 11 декабря, после чего отправился в Петербург. О его встрече с Огаревым см. в письме Герцена к жене от 11 декабря 1839 г. (II, 348).

2

3 апреля 1852. Ницца.

Хочу писать тебе, Огарев,— не для того, чтоб рассказывать тебе страшную историю последних полутора годов,—ее ты узнаешь от друзей, из моего письма к Гаугу [1] и из целого пука разных писем. У меня нет больше охоты еще раз вызывать воспоминания всех пыток, страданий, унижений, которыми я прошел.

Я хочу просто с тобой говорить, раскрыть состояние моей души. Мне сдается, что не долго придется мне говорить и не часто, особенно с тобою.

Что делать... прошлое несчастие, как рок, влечет меня к гибели, остановиться невозможно, всё, что я придумал для спасения лиц, мне дорогих, все мои пожертвования, усилия — побеждены низостью моего врага и случайностями жизни. Может, с одной низостью я сладил бы, но к злобе, к преследованию присовокупились дикие, бессмысленные силы, как будто самой природе хотелось меня наказать за притязание на независимость и волю, за притязание разумом победить несчастие. Мне оставалось, как воину, который видит невозможность победы, броситься, закрывая глаза, в борьбу и отдаться той же случайности, оставаясь верным избранному пути. Так я и сделал.

Грозная судьба двигается на меня, идет с такой быстротою, что если я на несколько часов забудусь, развлекусь... то с ужасом вижу, насколько она подвинулась ближе, насколько стала неотразимее.

Я больше, нежели чист, совесть моя больше, нежели покойна, я горд моими поступками. Я показал и силу воли, и силу любви, ни в чем не могу упрекнуть себя... но меня-то судьба и тащит на казнь — в этом ее юмор, ее атеизм.

Или, лучше, в этом обвинении ее — наша глупость, наша неисправимая религиозность, вера в всеобщий разум, в высший порядок.

Нравственной связи между поступками и событиями нет. Во все формулы, стремящиеся составить уравнения между дел и происшествий, вторгается элемент, совершенно несоизмеримый, который мешает, путает последствия и лишает их окончательно той юридической разумности, которую мы ищем, которую насильно вносим.

Письмо сохранилось в бумагах Герцена в черновом наброске. Быть может, оно так и осталось незаконченным, неперебеленным и не было отправлено. Письмо написано за месяц до смерти Натальи Александровны и отражает тяжелое душевное состояние Герцена, вызванное пережитой семейной драмой и гибелью матери и сына.

[1] Герцен имеет в виду свое письмо к Эрнсту Гаугу (в подлиннике Гауку) от марта 1852 г., в котором подробно изложена история его взаимоотношений с Гервегом (VII, 24—42).

3

30 декаб‹ря› 1864. Женева.
Hôtel garni de la Poste

Caro Aga, Фогт[1] взялся тебе послать на имя Тхоржевского через Banque général de la Suisse (Freiligrath) * 625 фр.=25 фунт.; сим, впрочем, заключается мой перевод денег на месяц. Касат‹кин›[2] обещает для меня разменять каких-то фондов на 7000 фр‹анков›, а Фогт в марте достать под

* Главный швейцарский банк (Фрейлиграт) (франц.).

дом из банка. Фогт не в своей тарелке, он сидит в этой галере банковой, которую Фази [3] (и Клапка [4], говорят) запутали удивительно.

Вчера была первая «посполитая беседа» [5], — она началась под обстоятельствами, самыми благоприятными для птенцов[6] — и которые меня расположили к тысяче уступок. Из Петерб⟨урга⟩ пришло письмо об аресте Пантелеева[7] и отправлении его в Вильно. Еще аресты имеются в виду. Это поразило всех — все писали и получали пренеосторожные письма. А между тем затевали было новый журнал в Петербурге, от которого можно было многого ждать. Жук⟨овский⟩ был бы его душой. Позволение есть, но все боятся теперь [8].

Главное предложение вот в чем: сделать «Колок⟨ол⟩» обширнее; берутся за корреспонденции и статьи, денег не дают ни гроша (да и нет их) и хотят сделать не редакцию, а совет для обсуживания статей. Чернецкому скажи, что ему надобно всю надежду и всё упование положить на нас. Эти господа еще, быть может, составят связи и кружок, но ждать от них серьезной помощи в деле переезда — безумие.

Сегодня вечером или завтра утром является в Женеву Алекс⟨андр⟩II[9] из Флоренции, на несколько дней.

Фогт советует для Henry[10] порядком справиться в Веве; он полагает, что там дешевле и лучше — он тоже предпочитает общественные заведения. Я поручу это дело Жук⟨овскому⟩[11]. Жук⟨овский⟩ живет в Лозанне и зарабатывает уроками от 300 до 400 фр⟨анков⟩.

А что ты думаешь о том, чтоб передать птенцам совсем «Колокол» и остаться при «Поляр⟨ной⟩ зв⟨езде⟩»? Это можно сделать завещанием, а то вряд ли сделаем ли что-нибудь, не отказавшись от них. Желание доброе есть, и хотя всё изгажено чудовищными самолюбиями (Ут⟨ин⟩ [12] во главе) и партией женщин (Шелгун⟨ова⟩, Ут⟨ина⟩, Гилочева ⟨?⟩) [13] и Ал⟨ександром⟩ С⟨ерно⟩-С⟨оловьевичем⟩, который за что-то ненавидит меня, — но, может, им и удастся.

Пиши ответ скорее, — вероятно, я здесь пробуду до эпифании, — потом поставлю + на двери [14] и поплетусь еще не знаю какой дорогой.

Фогт второй раз забыл твое письмо — вечером возьму.

Кас⟨аткин⟩ и анти-Касаткин[15] в экзасперации * и клевещут друг на друга.

Прощай.

Деньги вышлются завтра.

Сегодня ждут вердикт — мы идем смотреть.

28 декабря 1864 г. Герцен приехал в Женеву, чтобы принять участие в съезде русской революционной эмиграции и подготовить переезд типографии из Англии в Швейцарию. Этому и посвящено публикуемое письмо.

[1] Карл *Фогт*.

[2] Виктор Иванович *Касаткин*.

[3] О Джемсе *Фази* см. выше в наст. томе. В период, к которому относится публикуемое письмо, Фази был директором швейцарского банка.

[4] Георг *Клапка* (1820—1889) — венгерский революционер, участник революции 1848 года; жил в 50-х годах в Лондоне, в 60-х — в Женеве; часто встречался с Герценом.

[5] Говоря о «посполитой беседе», Герцен имел в виду съезд русских эмигрантов, происходивший в Женеве с 29 декабря 1864 г. по 6 января 1865 г. В съезде приняли участие: Герцен, Н. И. Утин, Л. И. Мечников, В. И. Касаткин, Н. И. Жуковский, Н. А. Серно-Соловьевич, Л. В. Шелгунова, В. Ф. Лугинин, С. А. Усов, В. О. Ковалевский, А. А. Черкесов, В. И. Бакст, А. Ф. Стюарт, М. С. Гулевич, П. И. Якоби. Из публикуемого письма следует сделать вывод, что участниками съезда были также Н. И. Утина (Корсини) и еще одна женщина, фамилию которой, написанную неразборчиво, не удалось ни прочесть сколько-нибудь уверенно, ни установить косвенным путем. О съезде см. в статье: Б. К о з ь м и н. Герцен, Огарев и «молодая эмиграция». — «Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 1—48, а также выше в наст. томе. Этим письмом впервые устанавливается точная дата открытия съезда — 29 декабря.

* ожесточении (франц. «exaspérer»).

[6] «*Птенцами*» Герцен называет здесь представителей «молодой эмиграции».

[7] Лонгин Федорович *Пантелеев*.

[8] Речь идет не о журнале, а о газете «Народная летопись», основанной Ю. Г. Жуковским под фиктивным редакторством Н. Д. Ахшарумова. Газета была тесно связана с «Современником». Она просуществовала всего полтора месяца — со 2 марта по 16 апреля 1865 г., после чего была приостановлена правительством и более не возобновлялась. См. Б. Козьмин. Газета «Народная летопись».— Сб. «Русская журналистика». 1. Шестидесятые годы. М.—Л., «Academia», 1930, стр. 75—103.

[9] *Александр II* — шутливое прозвище сына Герцена, Александра Александровича, приехавшего из Флоренции (где он постоянно жил) в Женеву, специально для участия в эмигрантском съезде.

[10] *Henry* — Генри Сетерленд (1851— ?) — воспитанник Огарева, сын Мэри Сетерленд. В письме, повидимому, речь идет о том, что Генри необходимо определить в какое-то учебное заведение.

[11] Здесь уже речь идет не о сотруднике «Современника» Юлии Галактионовиче Жуковском (см. примеч. 8), а об эмигранте Николае Ивановиче *Жуковском*.

[12] Николай Исаакович *Утин*.

[13] Людмила Петровна *Шелгунова* и Наталия Иеронимовна *Утина* (рожд. княж. Корсини). Третья фамилия написана неразборчиво и читается предположительно.

[14] *Эпифания* — церковно-католический праздник, соответствующий православному «Богоявлению» или «Крещению». В этот день (6 января), по обычаю, на дверях домов мелом или углем ставили кресты.

[15] «*Анти-Касаткиным*» Герцен, вероятно, называл В. И. Бакста или А. Ф. Стюарта, постоянно выступавших против В. И. Касаткина в борьбе, завязавшейся у эмигрантов вокруг вопроса об издании своего органа и использовании бернской типографии.

4

⟨Канн.⟩ 10 апреля ⟨1865 г.⟩ Воскресенье [1]

Писать нечего. Во вторник мы едем в Ниццу, в середу возвращаемся — и, смотря по твоему письму,— в пятницу или субботу отправляемся в Авиньон — отдых — и, след⟨овательно⟩, omni casu * *в понедельник* в Женеве. Ровно через неделю.

Счет получил. Я хотя им и недоволен, но за что ты осерчал на меня, я не знаю. Платить такие суммы за укладку мебели Чер⟨нецкого⟩ я никогда и не думал, а я говорил ему и тебе, что его переезд будет стоить до *60 фун*. Если он не сумел бы сделать всю операцию, он должен был продать часть дряни. Он пишет общий итог

38—3,

на что ты ему дал 51!
и еще 5!
56
40
96 Итого *36* передержки.

Да я должен заплатить еще 40 — за провоз (или около — будто вес при переезде в Nine Elms не облегчился). Из них Чернец⟨кий⟩ возьмет на себя (это ничего не значит) £18.—В чем же я виноват? Что значит, напр⟨имер⟩, работа Чернец⟨кого⟩ — 3 liv.? 1 liv. 17 — работы Жюля [2], которому я плачу́ жалованье?

Это, Ник⟨олай⟩ Пл⟨атонович⟩, называется эксплуатацией, а не наивностью, как вы именуете.

Если это так пойдет ⟨...⟩ ** не кончится. Если ex⟨empli⟩ gr⟨atia⟩*** увидит этот счет ⟨...⟩ ** ения от жандармиру⟨...⟩ ** будет прав.

Вчера явился поганы⟨й⟩ ⟨...⟩**—как это чорт их носит из угла в угол [3].

Сюда приезжали вчера из Ниццы две польки—мать с дочерью — в отель, спрашивали, тут ли я, и ждали от 2 до 6 (от одного поезда до другого), но не дождались — нас не было дома. Фамильи не сказали.

---

* во всяком случае (лат.).

** *Правый край письма оборван, и текст восстановить невозможно.*

*** например (лат.).

Еще здесь явился *Рале* — из Москвы, учитель, приятель Камилла Депре [4] etc.

Затем прощай.

На обороте: Николаю Платоновичу Огареву.

Письмо касается переезда Герцена вместе с типографией в Женеву. «Переезд этот кладет черту, начинается новый период, вероятно, последний или, наверное, предпоследний нашей деятельности»,— писал он сыну 4 апреля 1865 г. (XVIII, 72).

А. А. ГЕРЦЕН (СЫН)

Портрет, написанный для Гарибальди, 1854 г.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

[1] Либо число, либо день указаны Герценом ошибочно: 10 апреля 1865 г. приходилось на понедельник.

[2] *Жюль* — слуга Герцена.

[3] Речь идет, вероятно, о пребывании в Ницце и в Канне членов царской семьи, в частности наследника, будущего Александра III, и царицы (см. XVIII, 72 и 79).

[4] Камилл *Депре* — московский виноторговец.

5

Пятница. Берн — Schweitzerhoff.
23 июня ⟨1865 г.⟩

В Берн мы приехали в $^1/_2$ 5-го; тотчас явился Дардель [1], а в 7 — Фрелих [2]. Несмотря на то, что он говорит à la Kinkel [3], он замечательный человек. Педагогия сделала страшные успехи, и преподавание здесь чуть ли не передовое. Для музыки особое устройство — вроде консерватории под руководством Франка [4], *частные уроки не дозволяются*; кто хочет

учиться — учись в самом деле. Пирогов [5] остался доволен до того, что из Петербурга прислали смотрителя Смольного монастыря, а из Гельсингфорса на казенный счет пять финляндок. Фрелих принялся так серьезно, что с Ольгой сам говорил и расспрашивал. Ее ответами я очень доволен; она отвечала просто и знает больше, чем Мал⟨ьвида⟩[6], что она ничего не знает; Фр⟨елих⟩ сказал мне: «Девочка, которая имеет столько внутренней грации, пойдет вперед. Если Мечник⟨ову⟩ [7] можно было уладить, то тут и говорить нечего». Он вообще ею очень доволен. Надобно сказать, к тому же, что и всю дорогу она вела себя превосходно.

На нее, кажется, подействовало то, что ее считают каким-то скорпионом. А потому чувства этого не следует больше развивать, потому что это подконец понравится. Сегодня она с Мал⟨ьвидой⟩ идут на три часа в школу.— Экскурсии перед экзаменом не будет, но потом, я уговариваю Мейз⟨енбуг⟩ остаться (Мейз⟨енбуг⟩ ведет себя не хуже Ольги), ей больно и досадно, но ей ясна польза. Всё уладим.

Пишите скорей. Мне некогда — иду к Адольфу Ф⟨огту⟩ [8] и другим. Буду писать подробно.

Как кончилась поездка in die Ferne? *

У меня при выезде из Женевы попало что-то в глаз, это что-то я довез до Берна со слезами и воспалением. Дардель выворачивал глаз, дул и решил оставить натуре.

Письмо *это* пишу всем.

Целую Тату, Лизу, а Сашу вперед поздравляю с рождением. Прощайте.

Письмо, в основном, посвящено вопросу о воспитании детей, постоянно занимавшему Герцена. Здесь идет речь о предпринятой им в 1865 г. попытке поместить младшую дочь Ольгу в один из швейцарских пансионов.

[1] *Дардель* — врач в Берне, лечивший Герцена и Огарева.

[2] *Фрелих* — швейцарский педагог. В его пансион Герцен определил Ольгу. Первые впечатления, как видно из этого письма, были благоприятны. Однако вскоре Герцен убедился, что воспитание в этом «педагогическом притоне», в «западне» для «пошлой дрессировки детей» (XIX, 185) поставлено плохо, и взял Ольгу оттуда. См. также другие отзывы Герцена о пансионе Фрелиха (XVIII, 155, 232).

[3] Готфрид *Кинкель*, см. о нем выше в наст. томе. О его манере говорить Герцен писал: «Обдуманная и плавная речь Кинкеля, правильная и избегающая крайностей, шла какой-то назидательной беседой; он с изученным снисхождением выслушивал другого и с искренним удовольствием — самого себя» (XIV, 300).

[4] Цезарь *Франк* — известный французский композитор.

[5] Николай Иванович *Пирогов* — знаменитый врач и педагог. В 1862—1865 гг. жил во многих городах Западной Европы, наблюдая за научной подготовкой молодых русских ученых-стипендиатов.

[6] Мальвида *Мейзенбуг* — воспитательница Ольги Герцен.

[7] Надя *Мечникова* — дочь известного публициста Льва Ильича Мечникова, тоже учившаяся в пансионе Фрелиха.

[8] Адольф *Фогт* — младший брат Карла Фогта, бернский врач, постоянно лечивший Герцена.

6

⟨Ницца.⟩ 8 апреля 1867. Понедельник

Рапортичку твою получил, свидетельствующую, что ты жив, и принимаюсь повествовать анекдоты не о Лизе, а о себе. Я нашел здесь старого фотографа, делавшего всех нас в 1852. Он разбогател и имеет свой дом с садом. Повели меня показывать обезьян,— одна из них в клетке,— просунула руку и прямо меня в лицо, оцарапала глаз — и, еще немного, наделала бы бед. Это было в пятницу, и до сих пор глаз красен.

Еду я, если не будет никакой помехи, 14-го в час,— это значит 15-го буду в $3^1/_2$ в Женеве (26 часов с минутами train direct **). Стало, писать

* в даль (нем.).

** поезд прямого назначения (франц.).

обо многом нечего. N⟨atalie⟩ не очень здорова (опять больше болит бок) и не очень в хорошем юмёре *. Но я окончательно выбил из головы — до приезда С⟨ати⟩на или его жены — все проекты бегства. Она хочет даже искать женщины со мною,— и тут я помогу всеми средствами и связями. Готова в июне ехать за этим в ваши страны, только боится Женевы (в чем и я согласен, мы можем с тобой сговориться, где встретиться),—и потом на зиму в Геную. На этот план я согласен. С Татой хотелось бы, кажется, примириться, но все же «ее простить». «Если б она дала слово, что не

ДОЧЕРИ ГЕРЦЕНА — НАТАЛИЯ, ОЛЬГА И ЛИЗА
Фотография конца 1850-х — начала 1860-х гг.
Исторический музей, Москва

выйдет замуж, я поручила б ей Лизу».— «Ты не понимаешь, что говоришь»,— и разговор я переменил.

Житье Лизы с N⟨atalie⟩ — *положительный, очевидный* вред, и вред, пропорциональный огромным умственным способностям Лизы. Лиза любит N⟨atalie⟩, но она в доме никого не уважает, кроме меня, и смотрит на них, как на детей.

Я Долгор⟨укову⟩ писал и сказал мое мнение об incident** Гулевич [1], серьезно и сильно. Au reste***, я никогда не писал, что ты письмо к Долг⟨орукову⟩ писал под шафе,— это ты выдумал, — я *вообще* заметил по

* настроении (франц. «humeur»).
** случае (лат.).
*** Впрочем (франц.).

décousu * писем, по их фразам неясным, по их пустоте, что они писаны или под гнетом преокупаций ** или под действием преопиваций (к чему ведут и частые обмороки тоже).

Очень бы хотел корректуру своей 1-ой Греции [2] и Аксакова [3]. «Колокол» может опоздать двумя днями. Addio.

Коррек⟨тура⟩, посланная утром 11, может придти до отъезда. Во всяком случае, не давай bon à tirer ***, не беда, если выйдет 17.

Большое письмо к Аксакову вполовину готово,— мне кажется, что тон хорош и выдержан [4].

Позже

И опять белую бумагу в должности письма (с поздравлением) получил. Скажи мне,— если успеешь письменно,— за что ты мне упорно не отвечаешь на шесть запросов,— получено ли было письмо, в котором внутри были почтовые марки? Газеты, присланные тобой, пришли через шесть дней. Коррек⟨тура⟩ — через день.

Квартирам я рад, но не на гору. Я чувствую почти долгорук⟨овское⟩ отвращение от женевских молодцев [5]. В Каруже [6] жить готов.

В 7 № ты всегда можешь остаться. Тхоржевский же ⟨может⟩ ночевать в Hôtel'e.

Вероятно, больше одного послания не будет.

Оставаться ли тебе на веки веков в Женеве? — Тоже to be or not to be**** — как с квартирой. Одно из главных шкод здесь—свет, так страшно светло и ярко, что без зонтика нельзя ходить. A propos к погоде, я сегодня спал по небрежности горничной с открытым окном,— и не заметил — с 7 на 8 апреля!

«Гòлоса», где мое письмо, не получал [7].

P. S. Корректуру получил в 10 и посылаю в 3 часа сегодня, в понедельник. Статья твоя ясна и хороша [8].

Рукой Лизы Герцен:

Милый Ага, я ела мороженое у дяди на рожденье. Здесь очень тепло.

Письмо относится ко времени резкого обострения отношений между Герценом и Н. А. Тучковой-Огаревой и ее попыток уехать вместе с Лизой в Россию, к сестре— Елене Сатиной. Герцен соглашался с предложением вызвать из России Сатиных для переговоров.

[1] Об «инциденте», связанном с передачей эмигранту М. С. Гулевичу газет, предназначавшихся для Герцена, см. в письме Герцена к Огареву от 2 апреля 1867 г. (XIX, 261). Письмо к П. В. Долгорукову, упоминаемое здесь, неизвестно.

[2] В 1867 г. на острове Крите произошло восстание против турок. Герцен писал: «Я считаю необходимым заявить сочувствие „Колокола" к греческому делу ⟨...⟩ Я сегодня же попробую написать» (XIX, 243). Он написал статью «На площади св. Марка». Через несколько дней он написал вторую статью, посвященную «восточному вопросу». «Посылаю вторую „первую Грецию" под загл⟨авием⟩ „Жаль"»,— сообщал Герцен Огареву 3 апреля 1867 г. (XIX, 262).

[3] Герцен имеет в виду корректуру своей статьи «Письмо к И. С. Аксакову», появившейся в «Колоколе», л. 239 от 15 апреля 1867 г. (XIX, 268). Статья начиналась перепечаткой открытого письма Герцена к И. С. Аксакову (от 10 марта 1867 г.); это письмо было помещено Аксаковым с его замечаниями в № 58 газеты «Москва». Перепечатку Герцен сопроводил полемической заметкой против И. С. Аксакова, датированной 5 апреля 1867 г., но в действительности оконченной 11 апреля.

[4] Речь идет о статье «Ответ И. С. Аксакову», напечатанной в л. 250 «Колокола» от 1 мая 1867 г. (XIX, 278—291)— продолжение полемики, начатой в статье «Письмо к И. С. Аксакову».

[5] *«Женевскими молодцами»* Герцен именует колонию «молодой эмиграции» в Женеве.

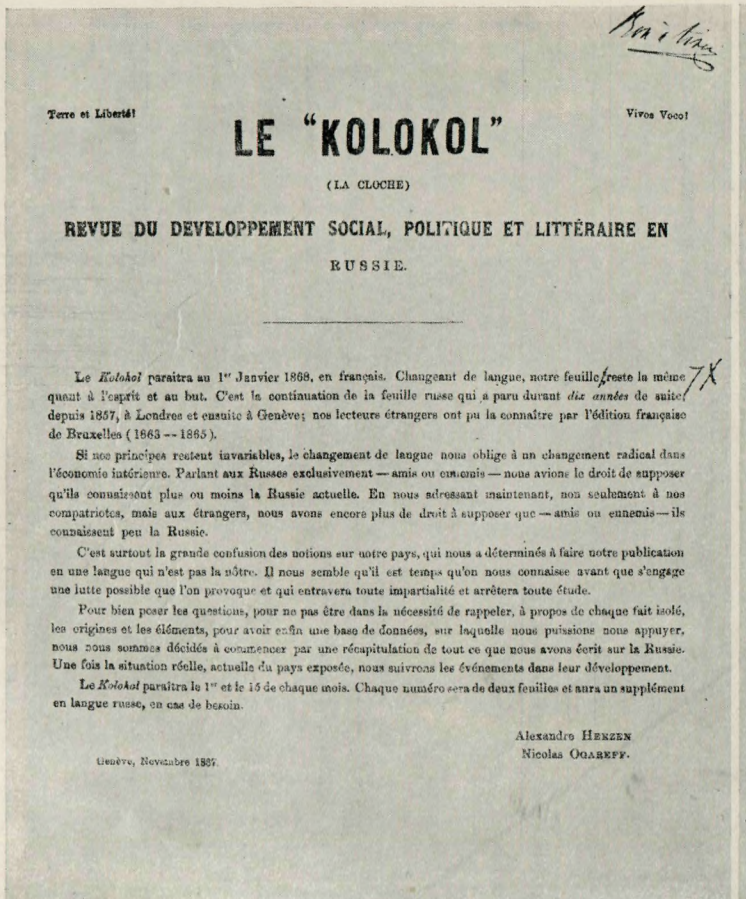
---

* бессвязности (франц.).

** озабоченности (франц. «préoccupation»).

*** разрешения печатать (франц.).

**** быть или не быть (англ.).



Terre et Liberté! Vivos Voco!

LE "KOLOKOL"

(LA CLOCHE)

REVUE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL, POLITIQUE ET LITTÉRAIRE EN RUSSIE.

Le *Kolokol* paraîtra au 1er Janvier 1868, en français. Changeant de langue, notre feuille reste la même quant à l'esprit et au but. C'est la continuation de la feuille russe qui a paru durant *dix années* de suite depuis 1857, à Londres et ensuite à Genève; nos lecteurs étrangers ont pu la connaître par l'édition française de Bruxelles (1863--1865).

Si nos principes restent invariables, le changement de langue nous oblige à un changement radical dans l'économie intérieure. Parlant aux Russes exclusivement — amis ou ennemis — nous avions le droit de supposer qu'ils connaissent plus ou moins la Russie actuelle. En nous adressant maintenant, non seulement à nos compatriotes, mais aux étrangers, nous avons encore plus de droit à supposer que — amis ou ennemis — ils connaissent peu la Russie.

C'est surtout la grande confusion des notions sur notre pays, qui nous a déterminés à faire notre publication en une langue qui n'est pas la nôtre. Il nous semble qu'il est temps qu'on nous connaisse avant que s'engage une lutte possible que l'on provoque et qui entravera toute impartialité et arrêtera toute étude.

Pour bien poser les questions, pour ne pas être dans la nécessité de rappeler, à propos de chaque fait isolé, les origines et les éléments, pour avoir enfin une base de données, sur laquelle nous puissions nous appuyer, nous nous sommes décidés à commencer par une récapitulation de tout ce que nous avons écrit sur la Russie. Une fois la situation réelle, actuelle du pays exposée, nous suivrons les événements dans leur développement.

Le *Kolokol* paraîtra le 1er et le 15 de chaque mois. Chaque numéro sera de deux feuilles et aura un supplément en langue russe, en cas de besoin.

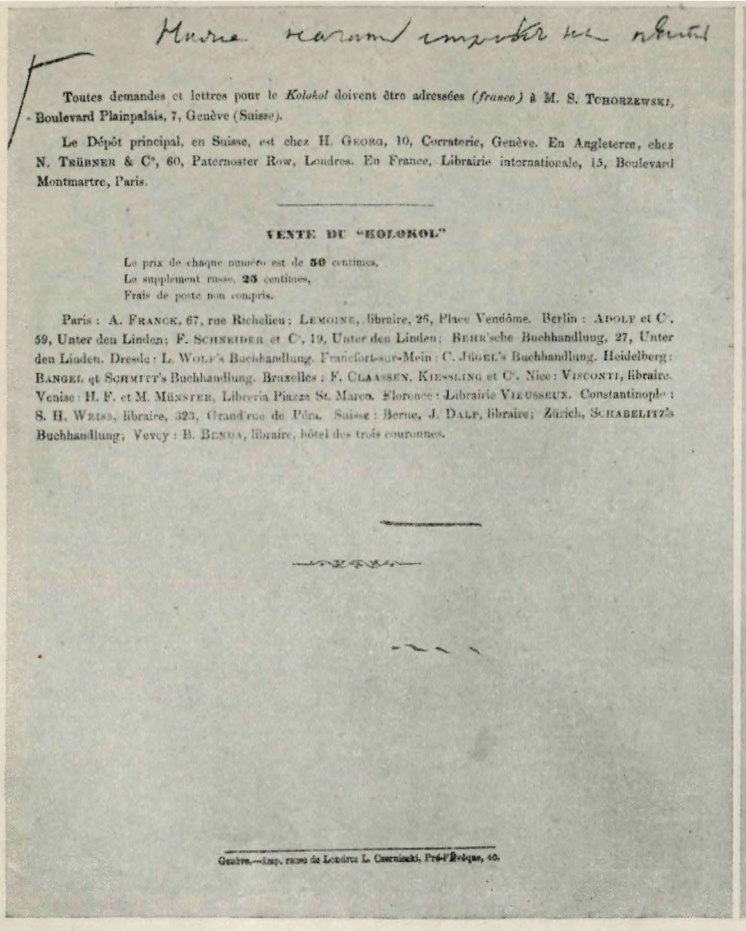
Alexandre HERZEN
Nicolas OGAREFF.

Genève, Novembre 1867.

КОРРЕКТУРА ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ «КОЛОКОЛА» НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. НА ОБОРОТЕ ПИСЬМО ГЕРЦЕНА К С. ТХОРЖЕВСКОМУ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 1867 г.

Лист 1

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва



Toutes demandes et lettres pour le *Kolokol* doivent être adressées *(franco)* à M. S. Tchorzewski, Boulevard Plainpalais, 7, Genève (Suisse).

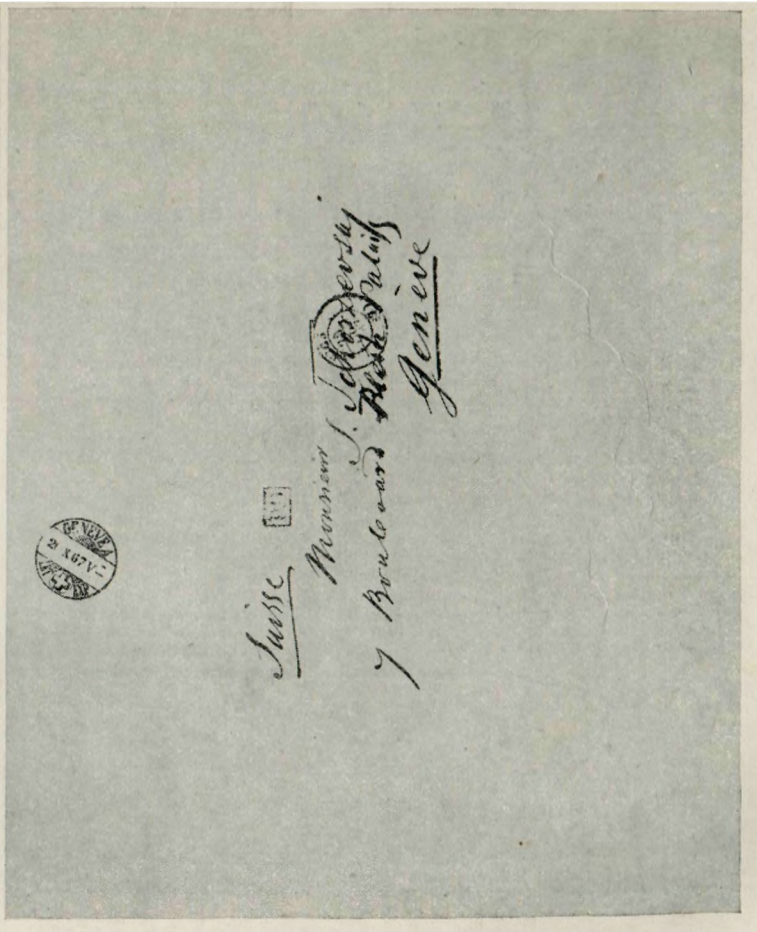
Le Dépôt principal, en Suisse, est chez H. Georg, 10, Corraterie, Genève. En Angleterre, chez N. Trübner & Cie, 60, Paternoster Row, Londres. En France, Librairie internationale, 15, Boulevard Montmartre, Paris.

VENTE DU "KOLOKOL"

Le prix de chaque numéro est de **50** centimes,
Le supplément russe, **25** centimes,
Frais de poste non compris.

Paris : A. Franck, 67, rue Richelieu ; Lemoine, libraire, 26, Place Vendôme. Berlin : Adolf et Cie, 59, Unter den Linden ; F. Schneider et Cie, 19, Unter den Linden ; Behr'sche Buchhandlung, 27, Unter den Linden. Dresde : L. Wolf's Buchhandlung. Francfort-sur-Mein : C. Jügel's Buchhandlung. Heidelberg : Bangel et Schmitt's Buchhandlung. Bruxelles : F. Claassen. Kiessling et Cie. Nice : Visconti, libraire. Venise : H. F. et M. Münster, Libreria Piazza St. Marco. Florence : Librairie Vieusseux. Constantinople : S. H. Weiss, libraire, 323, Grand'rue de Péra. Suisse : Berne, J. Dalp, libraire ; Zürich, Schabelitz's Buchhandlung ; Vevey : B. Benda, libraire, hôtel des trois couronnes.

Genève.—Imp. rue de Londres L. Czerniecki, Pré-l'Evêque, 40.



КОРРЕКТУРА ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ «КОЛОКОЛА» НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. НА ОБОРОТЕ АДРЕС С. ТХОРЖЕВСКОГО

Лист 2

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

[6] *Каруж* — предместье Женевы. В марте и апреле в переписке Герцена подробно обсуждался вопрос о приискании квартиры на случай, если Герцен со всей семьей переедет в Женеву.

[7] В № 75 петербургской газеты «Голос» цитировалось с комментариями упомянутое выше письмо Герцена к И. С. Аксакову

[8] Статья Огарева «Частные письма об общем вопросе» в «Колоколе», л. 239, 15 апреля 1867 г.

7

⟨Ницца.⟩ 12 ⟨апреля 1867 г.⟩ Пятница

Итак, если не будет телеграммы — или не сяду на дороге, то 15, в понедельник, в 4 буду в Женеве.

Не краткость твоих писем меня немного сердит,— а их усталая пустота. Ровно ничего, ни слова, ни о статьях, посылаемых мною, ни о чем ином, кроме о недосуге писать. Такая, видно, полоса.

Письмо к Акс⟨акову⟩ вчера кончил[1] — по-моему, это sui generis chef d'œuvre * — но смелый, если ж затормозить — всё пропало.

Был с Лизой в театре,—она, разумеется, в восхищении; давали «Monte-Cristo».

От Бак⟨унина⟩ нет ответа [2].

N⟨atalie⟩ нездорова, — как нарочно к отъезду, сегодня не вставала и берет ванну.

На дороге думал остановиться в Шамбери, но всё это портит время. Сяду здесь и выйду у вас.

Затем будь здоров.

Сейчас был русский — принес 100 фр. в фонд и много рассказывал забавного.

5 часов

[1] См. примеч. 3 и 4 к письму № 6. Под «Ответом И. С. Аксакову» Герценом поставлена дата: «Ницца, 6 апреля 1867 г.». Это — дата начала работы над статьей; окончена она была 11 апреля. На этом основании комментируемое письмо датируется 12 апреля 1867 г.

[2] Герцен ждал ответа Бакунина на письмо, в котором предлагал протестовать против обвинений Аксакова в «поджигательстве». Бакунин опубликовал свой ответ Аксакову в виде двух писем к Герцену, напечатанных в л. 241 «Колокола» от 15 мая 1867 г.

8

⟨Ницца.⟩ 29-го окт⟨ября 1867 г.⟩. Вторник

Ты решительно изменил календарь — и поправил ошибку прежнего письма 4 днями вперед (+ — = 0)[1].

Я написал начало очень небольшой статьи для увертюры русского прибавл⟨ения⟩ к «Колоколу» [2]. Пришлю ее на разбор и набор. Вероятно, спокойный тон не понравится юному Бак⟨унину⟩. Не хочется больше лаять на ветер.

А Кельсиев-то читал лекцию о хлыстах в Географ⟨ическом⟩ обществе. Я еще больше убеждаюсь, что он пакостей политических не наделал [3].

У тебя что-то много русских (и здесь их бездна, но плохи); пиши с каждым С⟨атину⟩ — десять, двадцать записок. Они упорно молчат на запрос N⟨atalie⟩ о деньгах.

Роман Достоевск⟨ого⟩ я частью читал в «Русс⟨ком⟩ вестнике»—в нем много нелепого [4]. Получил ли ты груду «Москов⟨ских⟩ ведом⟨остей⟩»? — Знаешь ли, что нам нужно? — «Отголоски русской печати». Они здесь есть, совершенно бесцветное и дрянное направление, но отрывков бездна.

---

* в своем роде шедевр (лат. и франц.).

31 окт⟨ября⟩

Ты пишешь о хлопотах, да ведь время-то сколько? Никакой нужды нет выдать нумер spécimen* до 20, 25 ноября так, чтоб он пошел *1 декабря*.

Если Бакун⟨ина⟩ статья по-французски [5], то помни, что Лакруа[6] (книгопродавец) мне писал о строгости таможни. Если она длинна, то будет ли место? Считай 2 листа франц⟨узского⟩ и 1 русс⟨кого⟩, больше ни под каким видом. Второй лист 15 января.

Гулевич прибыл в здешние столицы.

Перед обедом

Всё плохо. 1-ое — от Сатиных письмо, видно, что денег нет, он поехал что-то закладывать, — ergo пиши и пиши. 2-ое. Я, наконец, не могу дольше бороться и сказал, что если к *1 мая* Сат⟨ин⟩ приедет и докажет безопасность для Лизы и если она будет крещ⟨ена⟩, то я противиться не стану[7]. Но до весны надобно с ним списаться, если до марта никого верного не будет. Я готов послать. Ни тени пониманья, ни тени раскаянья.

В следующ⟨ем⟩ письме пришлю чек в 400 фр.

Жду на днях америк⟨анский⟩ ответ [8].

[1] В этом месте в подлинник вклеена вырезка из письма Огарева, содержащая неправильную дату, поставленную им на предыдущем письме: «29 октября, суббота» вместо «26 октября, суббота». На это письмо, не известное в печати, и отвечает Герцен. Огарев в своих письмах часто допускал ошибки в датах.

[2] Статья «О выходе „Колокола" на французском языке», напечатанная в № 1 «Kolokol» (русское прибавление) (XX, 104).

[3] После того как В. И. Кельсиев возвратился в Россию, в революционных кругах его заподозрили в том, что на допросах в III Отделении он давал откровенные показания, которые якобы послужили поводом для многочисленных арестов. Это оказалось неверным. 31 октября 1867 г. Огарев писал Герцену: «В. И. никого не выдал, кроме тебя и меня, и никто не пострадал (новейшие известия). Он одним плох, что переметнулся, но осторожно» («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 478—479).

[4] Речь идет о «Преступлении и наказании». Роман был напечатан в №№ 1—12 «Русского вестника» за 1866 г.

[5] Возможно, что Герцен имеет в виду речь Бакунина, произнесенную на заседании «Лиги мира и свободы». В письме к Огареву от 8 ноября 1867 г. Бакунин писал: «Посылаю тебе речь Мрочковского и мою ответную речь насчет русских и польских дел. В прошедшее воскресенье ты мне изъявил желание напечатать и ту и другую в следующем нумере „La Cloche"» («Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву». Женева, 1896, стр. 323).

[6] Альбер *Лакруа* (1834—1901) — бельгийский писатель и издатель. В 1867 г. Герцен вел с ним переговоры о выпуске в свет «Былого и дум» на французском языке.

[7] Лиза Герцен не была крещена; отсутствие церковной метрики служило одним из формальных препятствий к ее поездке с матерью в Россию.

[8] Часть денег Герцена была вложена в американские акции (XX, 37).

9

⟨Ницца.⟩ 3 ноября ⟨1867 г.⟩ Воскресенье

Посылаю чек в 500 фр., возьми 400 и дай Тхорж⟨евскому⟩ 100 на расходы. В числе этих денег 150 за маленького [1].— Может, я поеду с Татой в Турин и туда выпишу Сашу,— надобно спасать итальянские фонды. От Ротш⟨ильда⟩ ответа еще нет.

А как страшно умирает дряхлый латинский мир!

Предисловие кончил, о Кельсиеве посылаю, не бойся печатать [2].

А читал ли ты вторую статью о Кельсиеве в «Голосе» (фельетон)? Просто приглашение. «Правительство готово отступиться от возмездия за вину, для того чтоб возвратить полезных граждан»...[3]

Ко всему сюда приехал Фед⟨ор⟩ Апол⟨лонович⟩ Жемчужников, брат Нат⟨альи⟩ Ап⟨оллоновны⟩ [4], с больной женой. Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ [5] положительно говорит, что едет весной за Nat⟨alie⟩.

* пробный (франц.).

Так скучно... так скучно. Когда ж мне судьба даст хоть месяц покоя? Один совершенно хотел бы провести время в том, чтоб опомниться.— Ан нет!

Прощай.

[1] *Маленький* — внук Герцена, Туп, сын А. А. Герцена и англичанки Ш. Генсон.
[2] См. примеч. 3 к письму № 8. Герцен имеет в виду статью «В. И. Кельсиев», помещенную в № 1 «Kolokol» (русское прибавление) (XX, 112).
[3] «Внутреннее обозрение» в газете «Голос», 1867, № 278, 8 (20) октября.
[4] Федор Аполлонович *Жемчужников* — дядя Н. А. Тучковой-Огаревой (у Лемке ошибочно назван Николаем Аполлоновичем). *Наталья Аполлоновна* — Тучкова (1802—1894), жена А. А. Тучкова, мать Натальи Алексеевны, урожденная Жемчужникова.
[5] *Алексей Алексеевич* — Тучков (1799—1878), отец Натальи Алексеевны Тучковой-Огаревой и Елены Алексеевны Сатиной.

10

6 ноября <1867 г.> Середа[1]

Всё получено — т. е. «Голос»,
«Camic<ia> Rossa» *[2],
Объявл<ение> [3],
письмо Тхорж<евского>.

Я писал, если Бак<унину> нужно, то предложить ему *сто фр<анков>*. Но Тхор<жевский> пишет, что он их требует на какое-то дело... Это, в самом деле, «другое дело», и в таком случае следует отказать. О Щербак<ове> [4] писала Мар<ия> Касп<аровна>. На днях я отправил чек в 500 фр.[5] и статью о Кельсиеве на твое имя.

Глядя на ужасы, происходящие кругом, я могу, в сущности, только одобрить Кельсиева. Я еще ни разу не доходил до такой полноты безнадежности — и в общем, и в частном. Еще раз обучить дураков, что́ такое Россия, да и оставить в покое и удалиться куда-нибудь[6].

Письма твои, вообще рассеянные, писаны в недосуге или в кафе, что видно по почерку и по содержанию. Ты пишешь: «Если б я имел право, напр<имер>, я не отпустил бы Лизы...». Да и я еще не отпустил, но вопрос не в желании и не в праве, а в возможности или невозможности препятствовать, в возможности или невозможности так жить. С Татой и, след<овательно>, со всеми во Флор<енции> будет разрыв холодный и финальный, как она уедет [7]. С Россией — переписка, к тебе ни тени доверия, на меня затаенная злоба и желание отомстить. Ал<ексей> Ал<ексеевич> едет, говорят, в конце зимы. Говорить я буду и с ним и с Сат<иным>. Но ты видишь, что Сат<ин> — человек, который проигрывает тысячи, оставляя настоящий долг чести в стороне [8].

Что же я сделаю? Еще одно средство — твое письмо к Сат<ину> и Ал<ексею> Ал<ексеевичу>, но это надобно поберечь до последнего дня.

Господи, какая скука! Устроили мы жизнь! — А тут, того и смотри, опять денежное расстройство (по итал<ьянским> фондам).

Ответа от Ротшильда нет.

Тхорж<евского> благодарю за всё, завтра Чернец<кому> пошлю статью[9]. Предисловие посылаю, поправь и отошли набирать[10].

Посылайте объявления всюду — напр<имер>:

London — M[r] Schlesinger Esq.
25 Upper Bedford place
Russel sq.
E. Piggot Esq.
9 Bouveris Street
«Daily News» Fleet Street
N. York — F. Kapp Esq.
P. O. Box 3750

* «Красная рубашка» (итал.).

ЛУГАНО

Фотография с надписью Герцена: «Павильон Лизе»

Литературный музей, Москва

«...посылаю тебе в альбом две картинки: одна представляет дом, в котором я жил в Лугано.. вторая представляет статую Вильгельма Телля перед отелем... Дом не взошел в пакет и вместо него павильон, к нему же принадлежащий» (из письма Герцена к детям и Огареву от 12 августа 1865 г.)

[1] Ответ на письмо Огарева от 31 октября 1867 г. («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 478—479). В подлиннике ошибочная дата: «6 октября».

[2] Герцен подтверждает получение *отдельного издания* «Camicia Rossa» — цикла статей о Гарибальди, первоначально напечатанных в «Колоколе» (1864, лл. 188, 189 и 191).

[3] Герцен имеет в виду объявление об издании «Колокола» на французском языке; оно было напечатано отдельным листом и в № 1 «Kolokol» 1868 г. В письме к С. Тхоржевскому от 25 октября 1867 г. Герцен просил прислать ему 50 экз. объявления (XX, 29).

[4] Алексей Яковлевич *Щербаков* (род. ок. 1842) — участник революционного движения шестидесятых годов; был в 1863 г. арестован по делу о «казанском заговоре» и в ноябре 1866 г. бежал за границу из тюрьмы. Герцен неоднократно оказывал ему материальную поддержку (XIX, 341; XX, 22; см. также «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 478).

С конца 1868 г. Щербаков занимался с Лизой Герцен (русским языком и естествознанием).

[5] Герцен ежемесячно выдавал Огареву 500 франков.

[6] Говоря об *ужасах, творящихся кругом*, Герцен, несомненно, имел в виду напряженную общественно-политическую обстановку на Западе и свое расхождение с западноевропейской буржуазной демократией. Усиление бонапартистских тенденций во Франции, победное шествие прусского милитаризма, неудачи итальянского освободительного движения — все это воспринималось Герценом как серьезный кризис в общественно-политической жизни Западной Европы.

В письме к Г. Н. Вырубову от 12 ноября 1867 г. Герцен писал: «...вы не вовсе правы в том, что вожаками остались Франц‹ия› и Англия. Англия идет, но не ведет‹...› А солдатская страна ‹Франция› прет назад, и нашла коса на камень, т. е. на Пруссию. Она поведет; теперь праздник в немецкой слободе — колбасократия. Франция — твердый и мощный оплот всякого консерватизма...» (XX, 38). В письме к М. К. Рей-

хель от 10 декабря Герцен писал об Италии: «Замечательно, что в 1847 я был при нарождении Италии, а теперь присутствую при ее кончине...» (XX, 95).

Об умирании старой латинской Европы, о своих сомнениях в будущности латинских народов Герцен писал в «Venezia la Bella» (февраль 1867 г.). В одном из публикуемых нами писем 1867 г. он восклицает: «А как страшно умирает дряхлый латинский мир!» (письмо от 3 ноября 1867 г.).

Годы эти были для Герцена годами окончательного разоблачения западноевропейской буржуазной демократии. Для Герцена стала ясна невозможность совместной работы с ней.

В своих статьях этого периода Герцен констатирует резкое «увеличение враждебности по отношению к России в демократических газетах» (XX, 99), непонимание и отрицание исторического значения России и русского народа («вы нас не знаете и отрицаете...» XX, 73). Как известно, вследствие этой враждебности к России западноевропейских буржуазных демократов, Герцен отказался участвовать в конгрессе «Лиги мира и свободы», где собрались все западные буржуазные демократы. «Мне теперь хочется только ругаться с Западом»,— признается он в письме к Огареву от 14 ноября 1867 г. (XX, 40)

Издание французского «Колокола», задуманного сначала как сборник статей, было предпринято с целью уничтожить неправильное представление о России, познакомить западноевропейское общественное мнение, западноевропейскую печать с русским народом. В 1867 г. Герцен писал Огареву: «У меня мысль сделать ⟨...⟩ из многих статей французскую книгу. *Надобно опять их ошельмовать — дураки, т. е. французские публицисты* ⟨...⟩» (XIX, 443; подчеркнуто нами.—*Ю. К.*). Эта фраза объясняет, кого имел в виду Герцен, говоря в комментируемом письме об «*обучении дураков*». В 1867 г. Герцен попытался заняться этим «обучением»: его известные статьи «Prolegomena» и «Личное дело» да и весь французский «Колокол», по сути дела, и явились осуществлением этой идеи Герцена.

ЛУГАНО. ПАМЯТНИК ВИЛЬГЕЛЬМУ ТЕЛЛЮ

Фотография с надписью Герцена: «Вильгельм Телль — Лизе (статуя Велье)»

Литературный музей, Москва

«Тата должна тебе рассказать, как он стрелял в яблоко на голове у сына и спас Швейцарию... Его надобно любить, как Гарибальди» (из письма Герцена к детям и Огареву от 12 августа 1865 г.)

Упоминание о В. И. Кельсиеве в данном письме тоже связано с отношением Герцена к Европе. Одной из причин отъезда Кельсиева в Турцию и на Балканы было его разочарование в Западе. «...Мне Запад стал ненавистен...»,— пишет он в своей «Исповеди» («Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 370). Эти слова Кельсиева надо сопоставить с нижеследующими строками, содержащимися в письме Герцена к Огареву от 3 августа 1868 г.:

«Неужели ты не помнишь его писем после смерти Варв⟨ары⟩ Тим⟨офеевны⟩ ⟨жены В. И. Кельсиева.—*Ю. К.*⟩ к нам? Он тогда уже писал ⟨...⟩, что в западную революционную идею не верит» (XXI, 34).

Но, конечно, отрицание Запада «почвенником» Кельсиевым и критика Запада со стороны революционного демократа Герцена шли из совершенно разных принципиальных установок.

Подвергая беспощадно суровым оценкам политическую действительность буржуазного Запада, конца 1860-х гг., Герцен сравнивал свои переживания с столь памятным для него опытом 1848 г. В письме к сыну от 26 октября 1867 г. Герцен писал: «Дела принимают такой оборот, что я серьезно снова себя чувствую в том трагически тяжелом состоянии, как в июньские дни двадцать лет тому назад» (XX, 32).

Важно, однако, отметить, что именно в эти последние годы своей жизни Герцен начинает различать в удручавшем его сером небе буржуазной эпохи просветы в будущее, начинает, хотя еще очень осторожно, *оптимистически* смотреть на перспективы революционной борьбы на Западе, и оптимистически обобщать ее опыт за период 1848—1867 гг. «Странное дело: — писал Герцен в последней части «Былого и дум» — с 1848 г. мы всё пятились да отступали, всё бросали за борт да ежились, а кой-что сделалось, и всё исподволь изменилось. Мы ближе к земле, мы ниже стоим, т. е. тверже, плуг глубже врезывается, работа не так казиста, чернее — может, оттого, что это — в самом деле работа» (XIV, 701).

[7] Речь идет о намерении Н. А. Тучковой-Огаревой уехать в Россию и взять с собой Лизу. Во Флоренции жили старшие дети Герцена.

[8] У Сатина были денежные расчеты с Огаревым после ликвидации имений Огарева. Свой долг Сатин обязался выплачивать частями, но посылал деньги очень неаккуратно (XX, 22).

[9] Герцен имеет в виду свою статью «Prolegomena», напечатанную в № 1 «Kolokol» от 1 января 1868 г. (фактический выход 15 декабря 1867 г.; был отпечатан к 5—6 декабря).

[10] Предисловие к № 1 «Kolokol» за 1868 г.

11

⟨Ницца.⟩ 9 ноября ⟨1867 г.⟩ Суббота

Ожидание ответа из Америки, который мог быть к 5, наводит тоску. Я было написал длинное письмо вчера, но бросил его в камин. Скучно плакаться — на общее и частное — надобно понатянуть мышцы и идти. Меня убивает безумная трата времени и беспокойный провизуар *. И Тата сидит с уложенным чемоданом[1]. Саше приехать не хочется и недосуг, я до ответа Рот⟨шильда⟩ не знаю, какими деньгами я располагаю, столько нужд и желанья помочь и поправить, — и молчание. Вчера я писал в комп⟨анию⟩ Рот⟨шильда⟩.

Конечно, Бак⟨унину⟩ отдать след⟨ует⟩ 100 фр.—для него, но не для чего другого.

Жемчужников ничего о С⟨атине⟩ особенного не рассказывал, кроме их перестрелки в Москве с Ал⟨ексеем⟩ Ал⟨ексеевичем⟩. Он уговаривал Ал⟨ексея⟩ Ал⟨ексеевича⟩ прекратить завод, говоря, что он *постоянно* ему в ущерб, на что Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ отвечал: «Хорошо, я прекращу завод, когда ты прекратишь игру, в которой ты *постоянно* проигрываешь». Этот анекдот — лучшая комментария. Они все переезжают на житье в Москву. Спасу ли я от России Лизу или нет — не знаю, сделаю всё... до уступок и лжи, — во всяком случае, до 1-го июня N⟨atalie⟩ не уедет из Ниццы.

На меня гнев, хотя и скрытый продолжается за дело кухарки. Я поступил круто, но был безусловно прав [2].

---

* переходное состояние (франц. «provisoire»).

3e ANNÉE. — N° 29. 15 centimes le N° (20 cent. hors de Belgique.) DIMANCHE, 22 JUILLET 1866.

LA RIVE GAUCHE

JOURNAL INTERNATIONAL DE LA JEUNE RÉPUBLIQUE

PARAISSANT LE DIMANCHE

ABONNEMENT : Belgique, aux bureaux de la Poste, un an, 6 fr. — Étranger, le port en sus.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Abonnements, annonces, ventes, commissions.
Librairie Rozez Sls, 40-42, Passage de la Monnaie, Bruxelles.

RÉDACTION.
Adresser à M. Ch. Longuet, à Londres, 3, Percy Street; Bedford Square, et à la Rive Gauche, à Bruxelles. (Affranchir.)

GRANDE BRETAGNE :
Librairie nouvelle, A. Resub.
67, King Street, Soho Square, Londres.

Les communications postales sont interrompues depuis trois jours entre certaine partie de l'Allemagne et la Suisse (voie d'Allemagne, seule voie que nous pouvons employer pour éviter la France l'ouverture de nos correspondances) où se trouvent nos collaborateurs; d'un autre côté ne pouvant correspondre avec notre rédacteur en chef, qui n'a pas encore été transféré à Sainte-Pélagie, nous nous voyons forcé de remettre au prochain numéro la division qui doit être prise au sujet de la Rive gauche.

Nous empruntons au Courrier français deux articles signés Jules Vallès et Pierre Denis pour compléter notre numéro.

Nous remercions vivement les personnes qui nous ont envoyé des lettres de sympathie. Elles seront communiquées à ceux qu'elles intéressent.

L. Fontaine.

SOMMAIRE.

La Gloire . . . . . Jules Vallès.
Une Voix . . . . . A. Herzen.
Protestation . . . . . V. Denis.
La Lutte sociale. . . . . P. Lafargue.
Choses et autres.

LA GLOIRE.

Quatre-vingt mille hommes tués! Et rien n'est fini!

Partout, la mort, partout! Idole stupide et cruelle qu'on appelle la guerre, tu as encore fait des tiennes sous ce ciel du haut duquel Dieu promène son regard impassible! Qu'ils soient maudits, les philosophes et les poètes qui ont donné des lettres de noblesse à ces tueries féroces! Qu'on leur trempe les ailes et le nez dans le sang qui se caille au soleil de Custozza et qu'on a versé dans les ravins de Sadowa! Que ne pouvons-nous en attacher quelques-uns vivants à une pierre du cimetière, pour qu'ils sentent monter à eux l'odeur qui s'échappe par les lèvres bleues des blessures! Que les vautours les touchent en passant de leur aile, et que, les pieds dans la charogne, ils demandent grâce! Que les mères, rôdant sur le champ de bataille, ramassent les cadavres de leurs fils et les enferment, ces prêtres du combat, entre des murs de chair humaine! Le ciment ne manque pas. Quatre-vingt mille écrasés à coups de crosse, fauchés par la mitraille, tués par les balles, troués par la lame blanche des baïonnettes, décousus au tranchant des sabres! — La terre vadide, meurtrie! Les moissons aussi sont mortes: et le pain, comme s'il ne devait plus y avoir de bouches pour manger, a été souillé, pétri dans ce pétrin sanglant!

Que parlez-vous d'héroïsme et de gloire! L'héroïsme, il consiste à exposer généreusement sa vie, — non à semer sur ses pas la mort! Et c'est une horrible façon de montrer qu'on a du cœur, que d'aller écraser le cœur des autres dans leur poitrine, que de faire dans la chair vivante des trous pour y planter ce qu'on appelle un drapeau! Le rôle de victime est grand, mais celui de boucher est triste. Et c'est ce métier qu'on fait, au signal d'un clairon, à l'appel des tambours, et l'on crie: tue! tue! Où y trouve-t-il je ne sais quelle joie sauvage, on y naît je ne sais quel criminel honneur! La peste est fatale! Elle mène par le chemin glorieux du fer, à l'orgueil de l'assassinat, et ce sont les gueux les plus lâches qui sont à ce moment les plus cruelles. Quand donc, grands dieux, cesserai-je de livrer le sort des hommes au hasard des batailles? Quand déroulera-t-on le drapeau noir, qui a été jusqu'ici le pavillon de l'humanité? Quand? — Je ne sais; mais, tandis qu'à mes côtés j'entends toujours parler de gloire, je me songe, moi, qu'à la liberté.

Ou ne court pas sur ce terrain le risque d'être tué par le fer ou le plomb, mais le danger est encore plus douloureux peut-être; on est exposé à devenir lâche en face de ses opinions, et, si c'est un crime de renier par cupidité ou par peur sa pensée, c'est une souffrance de cacher sa peine ou son indignation. Sensation pénible de ne pouvoir faire le procès de la gloire ni l'éloge de la liberté.

Cependant, le canon gronde toujours, et le vent qui nous apporte le bruit des batailles apporte aussi la peste sur ses ailes: elle s'appelle le typhus là-bas, le choléra ici. La mort, partout la mort: fille de l'héroïsme, sœur de la brutalité!

Jules Vallès.

UNE VOIX RUSSE SUR LA GUERRE

(Kolokol du 1er juillet.)

Encore du sang et du sang!

Sur le fond noir de deuil polonais et de la terreur en Russie, le reflet de la guerre est plus sinistre, plus lugubre encore qu'en 1859.

Prendre cause pour cette guerre ou la condamner est une chose inutile: à quoi bon défendre ou incriminer le choléra ou la peste? Lorsque le choléra arrive, il faut le subir, panser ses blessés, enterrer ses morts et surtout chercher les causes qui l'engendrent, qui le développent.

Nous savons que le choléra germe dans les fosses remplies de putréfaction et nous nous hâtons (très-lentement) de les purifier. La guerre se couve, se concentre, sur les sommets sociaux pleins d'autres miasmes et de la putréfaction d'un monde entier.

La guerre a le même caractère fatal, inévitable et inconscient que la contagion; elle n'est praticable qu'en s'appuyant sur le manque d'intelligence et de conscience en haut.

Certainement chaque lutte a une cause subjective: les causes ostensibles de la guerre actuelle se trouvent dans les alliances et les séparations fondées sur inimitiés, dans l'avortement de deux, trois révolutions, dans l'état nerveux des esprits auxquels les réformes et les replâtrages politiques ont promis beaucoup et n'ont presque rien donné, dans des causes dévorant la chair vive au nom d'un pseudo-organisme — comme la Prusse, dans des obstructions chroniques, des excroissances et des adjonctions monstrueuses — comme l'Autriche.

Mais le choléra ne tombe pas du ciel non plus. Il faut une certaine détention de l'organisme pour qu'il s'inocule, une disposition particulière, morbide, pour recevoir le miasme. Le choléra a sa logique — comme la diplomatie — sa logique chimique, cela s'entend.

Encore une fois, toute la question européenne est une question de drainage. Question de purification des fosses et des sommets, drainage des cloaques et des palais, drainage surtout du cerveau. Question de lumière et de ventilation.

Ce n'est qu'une légion décuplée de fossoyeurs, de « vidangeurs » moraux qui peut à la longue prévenir le mal, prêchant à haute voix la séparation entre tout ce qui meurt et tout ce qui est vivant.

Et où sont-ils ces « travailleurs de la nuit », selon l'expression anglaise, — que nous appelons au grand jour? Où sont ces apôtres prêts à aller de chaumière en chaumière prêcher les deux drainages, l'horreur de la putréfaction et l'horreur du sang?... Qui leur permettrait d'ailleurs de prêcher — et qui voudrait les écouter — au milieu du bruit, de l'éclat, du désordre, du trouble, de la confusion... de toute cette poésie de la guerre.

Tambourghi! Tambourghi!! — Ce bruit enivre; la pensée se trouble et plus il y a de fureur, d'ardeur belliqueuse, plus elle s'obscurcit.

Pourquoi tout-ils se battre? Personne ne le sait — j'en excepte les Italiens qui profitent de l'occasion qui

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ГАЗЕТЫ «LA RIVE GAUCHE» («ЛЕВЫЙ БЕРЕГ») ОТ 22 ИЮЛЯ 1866 г. ЗДЕСЬ БЫЛА НАПЕЧАТАНА СТАТЬЯ ГЕРЦЕНА «ГОЛОС РУССКОГО ПО ПОВОДУ ВОЙНЫ» («ВОЙНА»)

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Насчет коррект⟨уры⟩ и писем — ты никогда не заботься. Прими со мной за общее правило — *пока я не переменю адреса, писать по старому,* и если я дал адрес в Ниццу и ты узнаешь, что я в Исландии, то письма пиши в Ниццу. Это единственное средство, чтобы письма доходили. Для меня письма слишком важны, чтоб я не распорядился.

6 ноября * я послал Чернец⟨кому⟩ статью и тебе статью [3]. Пора набирать. Я очень рад, что Бак⟨унина⟩ статья в том же духе. Я ни в чем европейском не буду участвовать — ни в «писе»[4], ни в «каке».

Итак, лабазник, гостиннодворец и дрягиль Касаткин сердится, — я ему говорю то же, что медведь ужалившей пчеле, но бескорыстнее медведя: отказываюсь от второй части.

Засим прощай.

Тхоржевскому буду на днях писать, а пока спроси, послал ли он Висконти[5] «Былое и думы» — первые три тома и «Письма из Италии» — и что сто́ит с пересылкой.

NB. Если не посылали еще в Россию объявление [6], — непременно следует послать sous bande** «Голосу», «Сев⟨ерной⟩ почте», «Jour⟨nal⟩ de S. Péters⟨bourg⟩».

В Монпелье написать не штука, когда С ⟨Сп?⟩[7] поедет.

Я не знаю, с чего переехал с красного вина на белое и пью шабли в 1—50 сант. и таковой же grave. Est-ce grave?***

[1] Попытки Герцена устроить примирение Н. А. Тучковой-Огаревой и Таты и собрать всю семью в одном месте не удались; Тата в ноябре 1867 г. окончательно переселилась во Флоренцию.

[2] Об этом инциденте см. в письме Герцена к Огареву от 28 октября 1867 г. (XX, 34).

[3] См. примеч. 9 и 10 к письму № 10.

[4] «*Пис*» (англ. «peace») — мир. Речь идет о Первом конгрессе «Лиги мира и свободы», открывшемся 9 сентября 1867 г. в Женеве. Герцен уклонился от участия в конгрессе из-за откровенно враждебного отношения его участников к России. Мотивировку своего отказа Герцен изложил публично в статье «Un fait personnel» («Личное дело»), напечатанной в № 1 «Kolokol» от 1 января 1868 г. О статье Бакунина см. примеч. 5 к письму № 8.

[5] *Висконти*—книгопродавец.

[6] Подразумевается «Объявление о выходе „Kolokol"».

[7] Кто такой С. или Сп.— установить не удалось.

12

12 ⟨ноября 1867 г.⟩ Вторник. Ницца

Resolved****— я еду с Татой в Турин в воскресенье, 17 числа, и буду во Флоренции 20-го, — там пробуду дней 10 и возвращусь в Ниццу, а потом в начале декаб⟨ря⟩ — т. е. ex⟨empli⟩ gr⟨atia⟩*****10 буду у Ротшил⟨ь⟩да. Одно письмо, может, и можешь прислать еще сюда, если тотчас напишешь[1].

Здесь один русский, очень дельный, рассказывал мне об ужаснейшем указе, заготовленном, — и он думает, уже публикованном, — об обязательном выкупе казенной земли крестьянами. Условия ужасны и совершенное разрушение коммуны[2].

Счет⟨а⟩ от Ротшильда получены.

1-ое. Капитал спасен до копейки.

2-ое. Куплено бумаг на 8000 дол⟨ларов⟩ больше, и при второй покупке сойдет еще, — что и представит около 4000 фр. дохода больше.

---

* *В подлиннике описка*: 6 окт⟨ября⟩

** бандеролью (франц.).

*** Игра слов: *grave* — сорт белого виноградного вина и *grave* — важно. Буквальный перевод: «⟨Я пью⟩ грав. Важно ли это?»

**** Решено (англ.).

***** примерно (лат.)

3. Вся операция стоила посылками, комисс⟨иями⟩ и пр. 2690 фр. Вот и всё.

Я возьму на расплаты и пр. из капитала,— это понизит немного доход, да сверх того итальянские бумаги опять теряют 12%, и так всё-таки выйдет *3000 фр. в год барыша*. Это меня поставит à flot *.

[1] Невозможность окончательного примирения с Н. А. Тучковой-Огаревой заставила Герцена покинуть Ниццу. «С Ниццей я прощаюсь — довольно,— пишет он 7 ноября Огареву,— а куда из нее, не знаю» (XX, 36). С этого времени начинается скитальческая жизнь Герцена, продолжающаяся почти до самой его смерти. Намерение Герцена около 10 декабря быть у Ротшильда, т. е. в Париже, не осуществилось, так как отпала самая необходимость в этой поездке.

[2] В тот же день, 12 ноября 1867 г., Герцен писал Г. Н. Вырубову в Париж: «Здесь говорят, что в финансовой нужде в России заготовлен ужасный указ об обязательном выкупе казенными крестьянами земель,— безобразнейшее дело» (XX, 38). Эта информация неизвестного русского, посетившего Герцена в Ницце, оказалась ошибочной. Но процесс «разрушения коммуны», т. е. общины, происходил в России весьма интенсивно, и помимо «обязательного выкупа казенных земель крестьянами». Герцен и Огарев очень интересовались всеми сообщениями, касавшимися этого вопроса (см., например, XXI, 503).

13

⟨Ницца.⟩ 29 декаб⟨ря 1867 г.⟩ Воскресенье

Пишу к Тхорж⟨евскому⟩ о вздоре — чтоб он устроил étrennes** и прибавлю только строку[1]. Как всегда было — сто и двести раз — теперь тишь и гладь — испуг (а не то что пониманье) и внешняя суета. Жемч⟨ужников⟩ получил письма и едет во вторник прямо в Россию, через Триест — вот был бы случай писать С⟨атину⟩. Мне ужасно больно, что я его обидел запиской[2]. Но, с другой стороны, всё же и Жемч⟨ужников⟩ говорит, что он проигрывал суммы, а поэтому стегнуть надобно было. С⟨ати⟩на напис⟨ ..⟩ *** сильно зло ⟨...⟩ *** тил тебя и меня — и прибавила, что N⟨atalie⟩ может показать нам, но она не показала, говорит, что «нехорошо»... Это за деньги. А ведь денег-то и не посылают всё же. Я верю в его любовь, в его дружбу, но, Огарев, отчего же ни на одного русского положиться нельзя и отчего слово «долг», «обязанность» только тогда существует, когда есть возле палка?

Читаешь ли о фенианах?[3]

Дан финал — и ра⟨...⟩*** и нас прищемит где-нибудь, как мух... вот отчего и трудно писать смесь — но постараюсь в следующем письме прислать.

Прощай. Здесь Слепцов[4] и Батанов[5].

Все окна у нас открыты. Солнце печет. Лиза совершенно здорова. Аминь.

На обороте: Передайте Огареву.

[1] Это письмо Герцена к Тхоржевскому неизвестно.

[2] Записка Герцена от 9 октября 1867 г. адресована «Елене Алексеевне или супругу ее». В ней Герцен резко требовал возвращения долга Огареву (XX, 22).

[3] *Фенианы* — «Фенианское братство», или фении, буржуазно-демократическая партия в Ирландии, боровшаяся за освобождение страны от английского ига. В 1865 г., после неудачного выступления в Англии, фении подняли восстание в Ирландии, но были разбиты. Эти события широко освещались в печати.

[4] Встречался ли А. А. Слепцов с Герценом в Ницце в конце 1867 — начале 1868 г., точных сведений нет. Вероятнее всего — встречался, хотя Герцен и писал Огареву 8 января 1868 г.: «Слепцов боится ходить ко мне,— хорош!» (XX, 131).

[5] Фамилия *Батанов*, написанная здесь Герценом, ни разу не встречается больше в его переписке. Но в письмах Герцена, опубликованных Лемке, три раза упоминается фамилия *Батаков* (XX, 202, 252 и 257) и все три раза— весною 1868 г. Повидимому, это один и тот же человек, фамилия которого либо неточно написана Герценом в публикуемом письме, либо ошибочно прочтена Лемке в напечатанных им письмах. Уста-

* Mettre à flot (франц.)— вывести из затруднения.

** новогодние подарки (франц.).

*** *Угол письма оборван.*

новить личность этого человека не удалось, но из контекста герценовских упоминаний явствует, что речь идет об одном из представителей «молодой эмиграции», связанном, в частности, с Гулевичем, Элпидиным, Касаткиным и Мечниковым. Вскоре после знакомства с Герценом Батаков потерял его доверие. Об этом свидетельствуют следующие слова Герцена в письме к сыну от 16 марта 1868 г.: «... ошибку сделал и я, давши трубочку свезти Батаксву,— об нем слухи *нехороши*» (XX, 202). Возможно, что Батаков или Батанов — это псевдоним одного из эмигрантов.

14

13 апр⟨еля 1868 г.⟩ Понедельник. Марсель

Вчера приехал я в Марсель — быстро, в 17 часов, без отдыха, но худшее — в вагоне, набитом битком, и в бизу, не хуже вашей. Сегодня в 12 еду в Ниццу — это дорога скромная, и на ней «яичницы» не бывает. (Я предполагаю, что ты знаешь это превосходное выражение, открытое Жирарденом[1]. Инженер железной дороги телеграфирует начальнику: «пришлите скорее докторов — il y omelette» *).

Еду всё-таки с тоской. Ты иногда говоришь о моем, в сущности, безотрадном, взгляде на жизнь—да как же иначе? Я спасаюсь легкой и поверхностной удободвижимостью, которая развлекает, да работой, которая занимает. Моя жизнь, твоя, детская — мне не нравится. Долею я $^1/_2$ причины всего — хочу сладить, поправить и стою exactement ** так же, как в Orsette hous'e и других гаузах. Думать, что так пойдет еще десять лет, а там и вынесут самого—это ужасно, и уж, конечно, не тебе, а мне следовало бы пить горькую чашу. Я знаю одно средство — это испуг Россией,— впрочем, напишу, что будет.

Отдай записку Тхоржевскому.

Вчера я зашел вечером в «Альказар» и сел возле молодого блондина. Мы с ним разговорились; умный, простой взгляд его меня удивил. Мы говорили обо всем на свете.— «Вы, мне кажется, поляк?» — сказал я.— «Нет, швед, и первый раз путешествую». Тут «сева»*** еще не истощилась и не изошла. Он говорит, что когда он приехал в Берлин, то ему постоянно мерещилось, что этот город в осадном положении и что он арестован. А Бамбергер[2]-то! «Я вздохнул свободно только в Женеве»,— прибавил он.

Ну вот тебе и смесь.

Что костыли?[3]

Renan скучен[4].

Я потерял твое письмо: вероятно упало, снимая пальто. Но в нем не было ничего[5].

Иду есть бульабесс **** — и в вагон.

В «Liberté» написано, что в Польше готовятся огромные земли — в дар генералам. Не пропусти этого[6].

Успех «Крупова» в Париже очень велик — помирают — хохочут да и только. Каков старина![7]

[1] Эмиль *Жирарден* (1806—1881) — французский публицист, редактор газет «La Presse» и «Liberté».

[2] Людвиг *Бамбергер* (1823—1899) — немецкий демократ, участник революции 1848 года. В шестидесятых годах жил в Париже. В его политических высказываниях в это время начали проявляться националистические тенденции. В письме к Огареву из Парижа 11 апреля 1868 г., Герцен, упоминая о встрече с Бамбергером, назвал его «бисмаркующим» (XX, 228).

[3] 20 февраля 1868 г. Н. П. Огарев упал во время припадка и сломал себе ногу.

---

* «здесь яичница» (франц.).

** точно (франц.).

*** жизненные соки (от франц. «sève»).

**** bouillabaisse (франц.)— рыбная похлебка с чесноком и пряностями, национальное блюдо на юге Франции.

Ma pensée se fixait toujours sur le petit Léon et sur son étrange développement; cette idée, en revenant sans cesse, m'empêcha de m'adonner entièrement à l'étude de la ~~science religieuse~~ et au lieu de m'absorber dans les considérations élevées sur les choses célestes, je tendais vers l'étude des questions relatives à ce bas monde, bien que je connusse la vanité de tout ce qui est matériel et le néant de tout ce qui est physique. Peu à peu un vague désir d'étudier la médecine se développa en moi; quand je vins à en toucher un mot à mon père, il entra dans une colère indescriptible : « Ah! mauvais garnement! honte de ma vie! ~~quand je t'attraperai~~ je te ~~montrerai~~ de quoi ~~il retourne~~! Tes aïeux et tes pères t'ont bien valu, ils ne sont pas sortis de leur état; et toi, de quoi diable vas-tu t'aviser? Dire qu'il m'a fallu arriver à la vieillesse pour voir une pareille honte! Voilà la joie que me cause un fils né de moi. Le bedeau n'est pas le seul éprouvé par Dieu. Je comprends maintenant que tu hantes toujours le fou : qui se ressemble s'assemble. C'est pourtant toi qui l'as gâté, femme de peu de raison, dit mon père en s'adressant à ma mère. » Il est vrai que je ne sais pas trop jusqu'à présent en quoi ma mère était coupable de ce que je voulais étudier la médecine. « Mon Dieu, me dis-je, qu'ai-je donc fait de si mal? J'ai envie d'étudier la médecine, et, au dire de mon père, on dirait ~~vraiment~~ que j'ai demandé la permission d'aller sur la grande route pour tuer les gens. » Je laissai la colère pater-

de me chercher une ~~place~~ paroisse. J'avais entendu dire au domestique que le fils de notre seigneur était bon, bienveillant. Aussi pensai-je que si, par l'intermédiaire de ~~Fédor Grigorivitch~~, il voulait dire un mot en ma faveur, mon père pourrait bien prendre en considération une si haute protection et finir par consentir. Pourquoi, d'ailleurs, n'en pas faire l'essai? J'endossai mon paletot de nankin, cirai bien soigneusement mes souliers, me mis un foulard bleu au cou et partis pour la maison seigneuriale. Chemin faisant, je rencontrai le petit Léon :

— Petit Simon, s'écria-t-il, au bois... Léon a trouvé un nid de petits oiseaux... Il n'y a pas de mère... il faut chauffer, nourrir...

— Je ne puis pas, mon ami, j'ai affaire là.

— Où cela?

— Dans la maison seigneuriale.

— Oh! oh! dit-il en ~~sautillant~~... Oh! oh! l'oncle Zacharie... on l'a battu... Léon a regardé... L'oncle Zacharie est fort... c'est un imbécile... il est fort... grand... il s'est laissé battre... N'y va pas... on te battra.

— N'aie pas peur, je te dis que j'ai affaire.

Il me suivit longtemps du regard, puis il siffla pour appeler son chien et s'enfuit au bois; mais à peine eus-je fait vingt pas que l'idiot me rejoignit.

— Léon, va là... On battra son ami... Léon jettera une pierre.

«ДОКТОР КРУПОВ». ПЕРЕВОД, ПОМЕЩЕННЫЙ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЖУРНАЛЕ «REVUE FRANÇAISE»

Страницы журнала с правкой рукой Герцена, сделанной при переиздании перевода в «Kolokol», 1868 г.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

[4] В письме к М. Мейзенбуг, написанном в тот же день, 13 апреля 1868 г., Герцен писал (цитируем в переводе с французского): «Я пробежал последнее произведение Ренана («Современные вопросы»). На двести страниц наберется страниц двадцать хороших. Когда вы отвернетесь от этого ученого, скучного доктринера, ни раба, ни свободного... и идеалиста еще большего, чем вы?» (XX, 230).

[5] Это письмо Огарева к Герцену неизвестно.

[6] Использовано в заметке «Дуван», напечатанной в «Kolokol», №№ 5—6, от 15 мая 1868 г. (русское прибавление).

[7] Весной 1868 г. Герцен перепечатал в «Kolokol» (№№ 4—6) со своими исправлениями французский перевод «Доктора Крупова», появившийся в 1858 г. в «Revue française» (перевод Аксенфельда). См. XX, 177 и XXI, 224.

15

〈Ницца. Май 1868 г.〉

Я, как Ст〈р〉афорд[1], — je me laisse exécuter en gentleman * и Базарова сдаю в железную оружейную палату до иного времени[2]. Может, долею ты прав, а долю неправую я жертвую. Я нарочно разграничил базаровщину с нигилизмом, — к нему только отчасти принадлежали Мих〈айлов〉, Доброл〈юбов〉 и Чернышевский. Тебе Мерч〈инский〉, вероятно, сказал, что Писарева Чернышевский назвал стрижем[3], — ты его и похерил. А будто ты не видишь, что *его-то тип* Базарова и есть настоящий. Антонович его затушевал[4], а Писарев так и выблевал, как съел. Да, это идеал всей ракальи нигилизма.

Ты их побаиваешься и жалеешь.

Я их ненавижу и желал бы осмеять.

А что меня возмущает их неблагодарность — ко всем прошедшим деятелям и в том числе к нам — это чувство верное, и его краснеть нечего. Смешны люди, которые себя переценивают, зато ведь и люди, не ценящие себя, по пробе, жалки.

Рано или поздно, — я надену на них дурацкую шапку, — но «Поляр〈ная〉 звезда» на 1869 — не будет их лобным местом[5].

Я ведь ждал их ответа, — и тогда развернул бы свои батальоны.

Засим кланяюсь.

6 часов утра

[1] Томас *Страффорд* (1593—1641) — английский реакционный политический деятель времен Карла I, член парламента, а с 1633 г. наместник Ирландии. В английской буржуазной политической литературе имя Страффорда было синонимом непримиримости и настойчивости: в данном случае Герцен, повидимому, имеет в виду мужественное и гордое поведение Страффорда на эшафоте.

[2] «*Базаров*» — статья Герцена «Еще раз Базаров» (XXI, 224—238). Намерение написать статью, в которой было бы высказано отношение к новому революционному поколению, возникло у Герцена в начале 1868 г. В письме к Огареву от 8 января 1868 г. Герцен сообщал, что он прочел сочинения Писарева, в частности, его статью о тургеневском Базарове, и, сетуя, что «порядком узнал этого Маккавея петербургского нигилизма так поздно», добавил: «Может, я напишу что-нибудь об нем» (XX, 130). Повидимому, в феврале или марте Герцен начал работать над задуманной статьей. В апреле 1868 г. произошло столкновение Герцена с одним из представителей «молодой эмиграции», Н. А. Вормсом. Столкновение это вызвало резкие отзывы Герцена о «молодой эмиграции» и заставило его воспользоваться своей статьей о Базарове в качестве полемического ответа на нападки «молодых эмигрантов» (XX, 259, 264, 266, 267, 268, 269). Намерение Герцена опубликовать своего «Базарова» встретило серьезные возражения со стороны Огарева, которые Герцен принял во внимание. 27 апреля 1868 г. он писал Огареву: «...„Базарова“ бросить не могу. Я его переделаю в письма и оставлю на год в портфеле» (XX, 262). Таким образом, Герцен отказался от своей статьи о «Базарове» в ее первоначальном варианте; об этом варианте мы теперь можем иметь некоторое представление по публикуемому письму, относящемуся, скорее всего, к началу мая 1868 г. В июне 1868 г. Герцен послал Огареву переделанную в письма статью (XX, 377, 382), которую он, по его выражению, «промыл»; Огареву он предоставил право редакторства («Вымарывай, что хочешь» — XXI, 9). Тем самым Герцен, повидимому исходя из соображений тактического порядка, учел справедливость протестов Огарева против его полемических выпадов в адрес «молодой эмиграции».

* позволяю казнить себя по-джентльменски (франц.).

Как известно, в статье «Еще раз Базаров» Герцен дал оценку Писареву и писаревскому толкованию Базарова как истинного представителя молодого поколения. Писарев, по словам Герцена, «в Базарове узнал *себя* и *своих* и добавил, чего недоставало в книге» (XXI, 224). «То, что Писарев говорит, я слышал и видел десять раз; он простодушно разболтал задушевную мысль целого круга и, собрав в одном фокусе рассеянные лучи, осветил ими нормального Базарова» (там же, 225). Герцен признавал сильные стороны в Базарове (см. его известное письмо к Тургеневу), но резко выступал против «базаровщины», против претендующей на революционность внешней, показной фразеологии некоторых представителей молодого поколения, против внешнего подражания Базарову. «Базаров нравственно выше последующих базароидов»,—

МИРНАЯ МАРСОМАНИЯ

Картина маслом А. В. Устинова, 1850-е гг.

Название, повидимому, заимствовано художником из повести Герцена «Доктор Крупов»

Третьяковская галерея, Москва

писал он в письме к Огареву от 7 мая 1868 г. (XX, 269). Герцена возмущало нежелание «молодой эмиграции» понять революционные заслуги деятелей прошлого; резкие нападки «молодых эмигрантов» на Герцена вызывали не менее резкие ответы с его стороны. Комментируемое письмо является образцом этой ожесточенной полемики, от которой, как мы указывали выше, Герцен в значительной мере отказался в окончательной редакции своего «Базарова».

В своем письме Герцен разграничивает «базаровщину» и «нигилизм». Термином «нигилизм» Герцен пользуется для условного обозначения всего революционно-демократического движения в России шестидесятых годов — его идеологии, его деятелей.

Еще в письме к М. А. Бакунину в 1867 г. Герцен указывал, что нигилизм—«явление великое в русском развитии» (XIX, 331). В статье «Еще раз Базаров» Герцен пишет: нигилизм «стал доктриной, принял в себя многое из науки и вызвал деятелей с огромными силами, с огромными талантами...» (XXI, 238). Имен этих деятелей, за исключением Белинского, Герцен в своей статье не назвал, но он называет их (с некоторой оговоркой) в публикуемом письме — это Чернышевский, Добролюбов, Михайлов.

Как известно, Герцен высоко ценил значение революционной деятельности «Чернышевского, Михайлова и их друзей» (XIX, 128); революционеров нового поколения он

называл «молодыми штурманами будущей бури» (XIV, 411). Прекращая «Kolokol», Герцен писал: «Есть молодежь, так глубоко, так бесповоротно преданная социализму, столь богатая смелой логикой, столь сильная научным реализмом и отрицанием во всех областях клерикального и правительственного фетишизма, что бояться нечего — *идея не погибнет*» (XXI, 187—188) Таким образом, Герцен с полной объективностью оценивал силу и значение русского революционного движения, русской революционной демократии шестидесятых годов и ее вождей: Чернышевского, Добролюбова, Михайлова.

К этой славной «фаланге» он относил, впрочем, судя по написанному им некрологу Писарева (XXI, 88), и самого Писарева.

[3] «*Стрижи*» — термин, употреблявшийся в ожесточенной литературной полемике, которая развернулась в 1864 г. между «Современником», с одной стороны, и «Эпохой» Ф. М. Достоевского — с другой. Сатирический образ «стрижей» был создан не Чернышевским (арестованным за два года до начала полемики), а Салтыковым-Щедриным и был направлен не против Писарева, а против редакции «Эпохи» в целом и каждого из ее сотрудников в отдельности и ближайшим образом против Достоевского.

[4] Максим Алексеевич *Антонович* (1835—1918) — литературный критик шестидесятых годов, сотрудник «Современника». Одна из наиболее известных его статей — «Асмодей нашего времени» («Современник», 1862, № 3) — была посвящена роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». М. А. Антонович рассматривал тип Базарова как карикатуру на молодое поколение, утверждая, что И. С. Тургенев целиком на стороне «отцов».

[5] Позднее Герцен передумал. 1 июля 1868 г. он послал своего «Базарова» Чернецкому (см. письмо к Огареву от 2 июля 1868 г.— XXI, 9), и статья появилась в 8-й книге «Полярной звезды».

16

6 июля ⟨1868 г.⟩ Понедельник.
Lucerne[1]

Посылаю назад корректуру. Такого ужаса я не видал. Лучше оставить «Aphorismata»*. Посмотри, что за бессмыслицы ты пропустил и что за чудовищные ошибки...— от «вливать Ниагару» вместо «останавливать» до «теологической екзегемы» вместо (посмотри сам) екзегезы,— таких сотни! Но это вздор перед бессмысленными и усеченными фразами. Надобно сверить с оригиналом и, если это хлопотливо,— прислать мне то и другое, но пусть прежде Чернецкий посильно поправит[2]. Нельзя ли хоть этот лист прочесть с Мерчинск⟨им⟩?![3]

Может, рукопись плоха, но как же пропускать nonsens'ы**, лучше браковать.

Пусть пришлет рукопись, но я ставлю embargo*** и не позволю делать mise en pages ****.

Дождь льет — гадко — холодно — мрачно — писать больше буду, когда найду отель — искать нельзя. Что ты за счастливец, что можешь по дождю ходить, как в хорошую погоду, я решительно не могу.

Иду с N⟨atalie⟩ смотреть отель на горе — возле. Лиза кричит и торопит. — Прощай.

5 часов.

Прошу писать так:
Lucerne. Hôtel Belle-Vue.
Немного дорого, но сердито.
Тата будет около 10.
Дождь перестал на четверть часа.

[1] В июле 1868 г. Герцен сделал еще одну попытку найти постоянное местожительство — на этот раз в Люцерне. «Я природу Люцерна очень люблю, потому и избрал его центром» (XXI, 9).

---

* «Афоризмы» (греч.).
** бессмыслицы (англ.).
*** запрет (исп.).
**** верстку (франц.).

[2] Речь идет о корректуре произведения Герцена «Aphorismata. По поводу психиатрической теории д-ра Крупова...» (XXI, 215). Подобные же жалобы на небрежность корректуры см. в другом письме Герцена (XXI, 17).

[3] *Мерчинский* — эмигрант, был близок к Герцену и Огареву.

17

15 июля ⟨1868 г.⟩ Lucerne. Belle-Vue

Письма̀ в Берне никакого не получил,— ты не мог же иначе адресовать, как к Тхоржевскому. Могу спросить на почте. Что за белиберду ты пишешь, что за Туца требуют 80 фр. в месяц (т. е. 960 фр. в год)[1]. Таких цен не существует, и я тебя прошу до Тхоржевского ничего не платить. Он сговорится* за 20 или 23 фр. Кого ты посылаешь торговаться? Скажи просто, что ты спросишь отца, и откажи в платеже. А Тхоржевский уладит. В Bellenheim'е цена пансионерки, живущей в пансионе, 700 фр., т. е. за девушку 15, 16 лет. Впрочем, интересно знать предлог,— можно в Берне и в газетах напечатать, потому что это эксплуатация.

Долгор⟨уков⟩ торжественно доказал, что доктора ничего не знают. Он переживет не только роковые 10 дней, но 100, 200. И вылечился неистовой едой, он с 6 утра ест, и пьет бордо, чай, кофе... в пересыпочку с мясом. Если он останется жив, я сделал faux pas **, ездивши к нему. Сын, конечно, не виноват, но все же он странный человек, и ряд виденных мною сцен просится в печальный роман русской безобразной жизни[2].

Еще к медицине,— в прошлом году, в Ницце, доктор великого князя приговорил гунявого Вормса[3] к неминуемой смерти,— он жив и здрав. В том же году, в Флоренции все приговорили знакомого Мейз⟨енбуг⟩, Бердушека, а умер Матеучи[4]. Что знает медицина об эпилепсии?

К чорту попов тела, им дорога за попами духа! Для опыта я начал пить карлсбадскую воду.

Затем прощай.

Знаешь ли ты, что Алекс⟨андр⟩ Никол⟨аевич⟩[5] спьяна, не спросясь никого, кроме Рейтерна, отдал Главному французскому обществу железную дорогу (Николаевскую), обещанную Московскому обществу[6]. Дол⟨горуков⟩ jun⟨ior⟩*** говорит, что это всех поразило и что дан был aviso ****, чтобы журналы как можно меньше шумели.

Ауэрбахи[7] говорят, что решительно никто не занимается «Колок⟨олом⟩» и не знает его. Видно, пора бастовать. Если нас и меня поминают, то по «Поляр⟨ной⟩ звезде» и по «Былому и думам». Как я крепко ни держался, а не хочется воду толочь.

Ну что же дает Мечников и что его пятый лист?[8]

Мне пишет какой-то незнакомец, ищущий переводчика, который бы отлично знал по-франц⟨узски⟩ и по-англ⟨ийски⟩ или по-франц⟨узски⟩ и итальянски,— пусть бы Мечников сказал свои кондиции. Работы на целые годы.

Прощай.

Тхорж⟨евский⟩ всё еще отдыхает здесь.

На каком основании, несмотря на мою просьбу, Чернец⟨кий⟩ не посылает мне отпечатанных листов «Пол⟨ярной⟩ зв⟨езды⟩» по два экземпляра?[9]

Статью о Рылееве для «Кол⟨окола⟩» пошлю на твое имя[10].

NB. Не пиши на твоих письмах Suisse*****, пока ты не уехал из Швейцарии.

---

* *В подлиннике:* сговорился

** ложный шаг (франц.).

*** младший (лат.).

**** уведомление (итал.).

***** Швейцария (франц.).

[1] Огарев намеревался поместить жившего у него внука Герцена, Туца, в один из женевских пансионов.

[2] В июне 1868 г. П. В. Долгоруков сильно заболел; при нем находился его сын, В. П. Долгоруков. По просьбе больного Герцен приехал к нему в Берн. Подробнее об этом см. в других письмах Герцена к Огареву за этот период (XXI, 13, 16, 17, 19—22) и в наст. публикации письмо № 18.

[3] Николай Александрович *Вормс* (1845—1870), поэт, сотрудник «Современника» и «Русского слова», с 1866 г.—эмигрант.

[4] Карло *Матеучи* (1811—1868) — известный итальянский физик, профессор Болонского и Флорентинского университетов. В 1862—1863 гг.— министр просвещения. Отклик Герцена на смерть Матеучи — см. XX, 390.

[5] *Алекс⟨андр⟩ Никол⟨аевич⟩* — царь Александр II.

[6] Михаил Христофорович *Рейтерн* — министр финансов. Передача Николаевской железной дороги французскому обществу осуществлена не была.

[7] Кого Герцен имеет здесь в виду, установить не удалось. В письмах Герцена второй половины шестидесятых годов встречаются фамилии Ауэрбаха и Баха, приезжавших за границу из России и посещавших Герцена. М. К. Лемке без каких-либо оснований и мотивировок считал, что Герцен в своих письмах именует Ауэрбахом — будущего народовольца и знаменитого русского химика А. Н. Баха. Ошибочность этого утверждения очевидна: А. Н. Баху в 1868 г. было 11 лет. Вероятно речь идет или об Александре Андреевиче *Ауэрбахе* (1844—1916), известном горном инженере, неоднократно бывавшем в эти годы за границей, или о его брате, Германе Андреевиче Ауэрбахе, и его жене, писательнице Юлии Федоровне Ауэрбах, авторе ряда повестей, напечатанных в русских журналах (см. И. Т и м е. А. А. Ауэрбах (некролог). — «Горный журнал», 1917, т. I, стр. 182—185).

[8] О намерении Л. И. Мечникова участвовать в «Kolokol» и «Полярной звезде» Герцен сообщил Огареву 8 июля 1868 г. (XXI, 14). В №№ 9—13 «Kolokol» была напечатана большая статья Мечникова: «Les antagonistes de l'état en Russie».

[9] В июле печаталась восьмая (последняя) книга «Полярной звезды».

[10] Статья Герцена «Кондратий Рылеев и Николай Бестужев» помещена в № 11 «Колокола» от 15 августа 1868 г. (XXI, 46—57).

18

⟨Lucerne. 16—18 июля 1868 г.⟩[1]
Lahers ⟨?⟩ intellig.

Долгоруков выздоравливает. Фогт его сажает на молочное леченье. Сына он прогнал. Он ездил в Интерлакен и уехал в Париж.—Я, если отец оживет, не намерен продолжать знакомство с ним. Это всё[2].

Тхорж⟨евский⟩ в понедельник едет в Женеву.

Café du Lac. 5 часов

Итак, ты думаешь, что *Мрочковский* женился, что *его* жена хороша — ха, ха, ха... Ну, а что скажет Оболенская? Ха... ха... ха...[3]

Addio.

[1] Дата комментируемого письма устанавливается на основании упоминания о предполагаемом отъезде Тхоржевского в Женеву «в понедельник» (приходившийся на 20-е число), а также из сопоставления с предыдущим письмом от 15 июля.

[2] П. В. Долгоруков умер 17 августа 1868 г.

[3] Валериан *Мрочковский* (1840—1889) — польский эмигрант, участник восстания 1863 г., ближайший сотрудник Бакунина; вместе с Бакуниным принимал участие в борьбе против I Интернационала. Зоя Сергеевна *Оболенская* — дочь гр. С. Н. Сумарокова, гражданская жена Мрочковского.

19

6 августа ⟨1868 г.⟩ Четверг.
Zürich. H⟨ôte⟩l Belle-Vue

Всё получил. Хотя и не следовало посылать часть — poste rest⟨ante⟩, часть — Hôtel Baur. Разумеется, и деньги получил и «Вестник»[1]. Полемика

PARIS GUIDE

PAR

LES PRINCIPAUX ÉCRIVAINS

ET ARTISTES

DE LA FRANCE

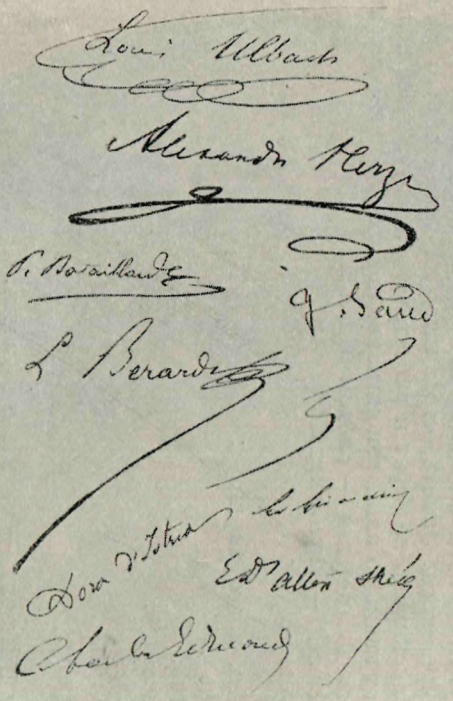
DEUXIÈME PARTIE

LA VIE

PARIS
LIBRAIRIE INTERNATIONALE
15, BOULEVARD MONTMARTRE

A. LACROIX, VERBOECKHOVEN ET Cie, ÉDITEURS
A Bruxelles, à Leipzig et à Livourne

1867



1068 PARIS. — LA VIE

regagnent un à un leurs demeures. Minuit a sonné depuis longtemps : tout le monde est parti, excepté un petit groupe des plus âgés, qui remémorent à voix basse les hauts faits de la guerre de 1830. Ils ont de la peine à se séparer. Se retrouveront-ils tous à l'assemblée de l'année prochaine? Tel qui a déjà un pied dans la tombe s'oublie lui-même et ne craint que pour son voisin.

LA COLONIE RUSSE

PAR

ISKANDER (A. Herzen)

Cher ami, vous me prenez au collet très-cavalièrement comme un gendarme... moi je végète alpestrement en Suisse, je ne pense à rien de mauvais, et tout à coup vous m'arrêtez : « Vos papiers, s'il vous plaît! — Quels papiers? Des esquisses, des croquis au crayon, au charbon, à la plume? Des croquis de quoi? — Mais *des Russes à Paris*... »

Mais, cher ami, vous avez tout oublié à l'exception de ma personne. A quoi pensez-vous donc? Je ne connais ni les Russes contemporains, ni Paris relâti. Je n'ai que des souvenirs, des fleurs fanées, des cartons à demi effacés, à demi dénués d'intérêt.

Savez-vous qu'il y a bien *vingt ans* que moi, pieux pèlerin du Nord, j'entrai pour la première fois à Paris, et qu'il y a déjà *quinze ans* que son climat m'est devenu malsain.

Oui, c'était au mois de mars 1847 (1). J'ouvris une vieille et lourde croisée de l'hôtel du Rhin et je tressaillis. L'homme sombre en bronze, les bras croisés, le chapeau enfoncé (2) était devant moi sur une colonne. Or, c'est vrai, c'est une réalité — je suis à Paris — à Paris! et tout le sang me montait à la tête!

Un sentiment existe pourtant que les aborigènes de Paris ne connaissent pas, eux qui ont tout éprouvé jusqu'à la fatigue,

(1) Le souvenir, je le prends dans un volume non imprimé — de mes « souvenirs. »
(2) Un vers de Pouschkine.

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПАРИЖУ», ИЗДАННЫЙ В СВЯЗИ СО ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКОЙ 1867 г. ЗДЕСЬ БЫЛА ПОМЕЩЕНА СТАТЬЯ ГЕРЦЕНА «РУССКАЯ КОЛОНИЯ»

Титульный лист и страницы книги с факсимиле Герцена и других участников сборника и началом статьи Герцена

С⟨ерно⟩-Сол⟨овьевича⟩ и их брань меня истинно утешает,— наконец-то они перегрызут друг друга. Удивляюсь одному — смирению обругиваемых[2].

Само собой разумеется, что я ни в каком случае, никогда (до получения тобой наследства) не вычту 500 фр⟨анков⟩ из твоих денег, которых едва тебе хватает на житье. Но почему возможность, что Мерч⟨инский⟩ не отдаст, тебе представилась *теперь*, а в первом письме ты так решительно говорил, что, казалось, и сомнений не было?[3] Если кто-нибудь узнает — беда! Впрочем, Женева становится всё невозможнее — что за сток грязи!— Наконец и Булевский![4] A propos, на польском открытии памятника 16 августа Кинкель будет говорить речь[5].

Не могу понять, как ты удержался и не прочел записки, отданные Касаткиной?[6] Конечно, лучше бы было мне их прислать, но теперь поздно. 15 мы в Prangins. На небе, как говорит Напол⟨еон⟩, есть немало *черных точек*. N⟨atalie⟩ очень досадует на Сашу за то, что он не известил ее о своем браке[7], а несмотря на мой совет он едет и, вероятно, очень скоро, в Швейцарию. Свиданье это приведет к дурному. И зачем оно? Я сколько ни улаживал, сделал мало, а тут Мейз⟨енбуг⟩ пишет, что с Ольгой заедет *к тебе* в Женеву. Истинно, если б меня кто-нибудь выпутал из всего этого, я в ноги бы поклонился. Заметь, что никто (ни даже Тата, о N⟨atalie⟩ я и не говорю) нисколько не берет в расчет, чего я хочу, а все делают на свой салтык. Вот казнь за наше непониманье иерархии, семейного авторитета и за проповедь анархии — словом и делом.

Где Тхоржевский — неуловимый?

Иду за письмами.

12 часов

Едем в Wesen, и вот маршрут:

7 — пят⟨ница⟩.
8 — суб⟨бота⟩.
9 — воскр⟨есенье⟩.
10 — Фрибург.
11, 12, 13 — *Fribourg.*

9 — я заеду в Цюрих — узнать о письмах.

Вернее писать в Фрибург, туда же Тхоржевский может прислать на мое имя *пояс*.

2-й экз⟨емпляр⟩ «Современ⟨ности⟩» получил.

Письмо написано во время путешествия Герцена вместе с Н. А. Тучковой-Огаревой, Татой и Лизой по Швейцарии (XXI, 35).

[1] Вероятно, речь идет о номере «Вестника Европы», в котором была опубликована статья о Кельсиеве (см. следующее письмо).

[2] В 1868 г. в Женеве, под редакцией Л. И. Мечникова и Н. Я. Николадзе, начал выходить журнал «Современность», издававшийся группой русских эмигрантов. Об отрицательном отношении Герцена к этому изданию см. в его письме к Огареву от 5 июля 1868 г. (XXI, 11). Против «Современности» выступил и один из виднейших руководителей «молодой эмиграции» — А. А. Серно-Соловьевич. В брошюре «Миколка-публицист» он подверг жестокой критике статью Н. Я. Николадзе «Русская эмиграция», которая была помещена в № 3 «Современности». Об этой полемике и пишет Герцен.

[3] Мерчинский задолжал Герцену и Огареву 1000 франков (XXI, 30).

[4] Людвиг *Булевский* — польский эмигрант, неоднократно выступавший против Герцена.

[5] Повидимому, Герцен пишет об открытии какого-то памятника в польской колонии в Рапперсвиле, близ Цюриха (может быть, в связи с 20-летием познанского восстания). О Кинкеле см. в наст. томе комментарий к адресованному ему письму Герцена.

[6] О каких «записках», полученных от жены В. И. Касаткина, Елизаветы Васильевны, здесь говорится — установить не удалось. В более ранних письмах Герцена к Тхоржевскому, от 4 июня 1868 г. (XX, 306) и к Огареву, от 30 июля (XXI, 30)

встречаются упоминания о какой-то «рукописи», которую, по мнению Герцена, «необходимо было достать» и которую он был согласен купить у Касаткиной, а также о какой-то ее «статейке», предназначавшейся для «Kolokol».

[7] А. А. Герцен женился на Терезине Феличе в июле 1868 г.

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА
Фотография начала 1860-х гг.
Литературный музей, Москва

20

11 августа ⟨1868 г.⟩. 7 утра
Берн. Hôtel de Bern, № 2

Я здесь остановился на несколько часов,— по крику всех о Карлсбаде. Не верю, но пойду к Фогту. Чирьев нет, вода мне помогла,—чего ж еще?[1]

Но, пожалуй, и ушлют.

Всё же не до Prangins.

В Berent было очень хорошо. Прощай. Всё в Цюрихе исправно получ⟨ил⟩.

Кому переводить теперь Потапку[2]? — «Колок⟨ол⟩» может опоздать дня три.

Еду сегодня вечером в Фрибург, а если очень нужно завтра, omni casu * к субботе буду в Prangins. Сообщи Тхоржев⟨скому⟩.

Еще напишу.

Кельсиев забавен[3].

[1] В 1868 г. врачи обнаружили у Герцена признаки диабета. Доктор А. Фогт, обычно его лечивший, рекомендовал диэту и поездку в Карлсбад или Виши.

[2] Повидимому, «Потапкой» Герцен называет свою статью «La manie de délation» («Мания доносов»), напечатанную в № 11 «Kolokol» (вышел с датой 15 августа 1868 г.). В статье упомянуто, хотя и мимоходом, имя А. Л. Потапова — руководителя тайной полиции при Александре II. Вопрос Герцена: «Кому переводить теперь Потапку?» — показывает, что свои статьи для «Kolokol» он писал по-русски и давал затем переводить.

[3] Речь идет о книге В. И. Кельсиева «Пережитое и продуманное», получившей резко отрицательную оценку даже в русской подцензурной печати. В письме к Огареву от 4 августа Герцен пишет, что отказывается поместить отзыв об этой книге в «Kolokol», и аргументирует свой отказ тем, что «Вестник Европы» ошельмовал Кельсиева «мастерски — и довольно» (XXI, 35). В «Вестнике Европы» был напечатан отзыв А. Н. Пыпина. В № 11 «Kolokol» появилась только заметка Герцена «Экс-эмигрант Кельсиев» с кратким упоминанием о книге (XXI, 67).

21

12 августа ⟨1868 г.⟩. Фрибург. Zeringhof

Всё получил. Еду завтра. В Берне, разумеется, был прежде Фрибурга. Фогт требует Карлсбада. Сахар растет, вес удельный урины растет. Сыпь перебегает по телу.— Здоров, как бык. В австрийском посольстве сказали, что затруднений нет[1].

Фогт отсрочил поездку до начала сентября.

Завтра в Prangins.

Насчет Салтыков (не Мих. Ал.⟨?⟩) не согласен и вижу в тебе того же анархиста, который уанархил свою жизнь и не одну свою **[2].

Саша писал и примирился с Н⟨атали⟩, кажется.

В Женеве буду 15 или 16. Тогда на словах ответь.

Анекдот о Женеве.

Поп, с которым ехал из Берна.

[1] Кроме австрийского посольства в Берне, Герцен обращался письменно в Вену к министру внутренних дел с запросом о возможности беспрепятственно отправиться на лечение в Карлсбад (см. об этом выше в наст. томе).

[2] Этот абзац — ответ на неизвестную нам реплику Огарева по поводу следующих слов Герцена о своем положении в семье: «Заметь, что никто (ни даже Тата, о N⟨atalie⟩ я и не говорю) нисколько не берет в расчет, чего я хочу, а все делают на свой салтык. Вот казнь за наше непониманье иерархии, семейного авторитета и за проповедь анархии — словом и делом» (см. письмо от 6 августа 1868 г.). В другом письме Герцен по поводу неурядиц в семье писал «об эквилибрации салтыков» (см. письмо от 14 августа 1868 г.). Таким образом, очевидно, что «Салтыков» — слово, звучащее как фамилия,—представляет собою родительный падеж множественного числа от слова *салтык* — лад, склад, нрав. Начертание же слова с прописной буквы, «под фамилию», понадобилось, очевидно, для какой-то игры слов (в сочетании с нераскрытыми инициалами в скобках «Мих. Ал.»).

22

14 августа ⟨1868 г.⟩. Château de Prangins. Nyon

Хорошо — и, без сомнения, при покое, лучше Карлсбада для леченья,— вроде Буасьер, но обширнее видом и всем. Комнаты широки, высоки и удобны. Я с тобой в rez-de-chaussée ***, есть для тебя кресло на колесах.

---

* во всяком случае (лат.).

** Тут неразрешимая антиномия — ум ее снимает балансом, мерой.— *Примеч. Герцена.*

*** первом этаже (франц.).

Едет сюда и Мейз⟨енбуг⟩ с Ольгой, кажется, и Саша с Weib und Kind* наверное, что это конгресс omnium** — начало ли разлуки со всеми, или что? Саша письмом много поправил. N⟨atalie⟩ хотела бы сама (испуганная болезнью) мира — но... но всякая безделица будит дикую сторону ненависти или просто дерзости. Вот тут и философствуй об эквилибрации *** салтыков[1], — когда нужно действовать, сохранять... пропитывать. *Отказаться* от всего — и ждать, когда условия жизни и мозгов дозволят уравновешение, можно. Но если хочешь спасти — то Лизу, то Тату — устроить какую-нибудь жизнь, сносную для себя и десяти других, когда видишь, что без тебя всё рухнет,— тогда надобно иметь волю или страдать... проклиная свою слабость. Ты был поставлен необыкновенно счастливо нравом и обстоятельствами. Мимо тебя всё идет, не зацепляясь; всё на свете понимая глубоко, ты выходишь сух из воды. Отсутствие детей сняло с тебя страшные вериги; вымышленные отношения всё же легче. Вместо крутой раздражительности, невольно берущей мелочи к сердцу, у тебя кроткий и безмерный эгоизм, и притом до нежности гуманный. Внешний ветер не подымает злую тину со дна, а только подергивает темнотой зыбь. Тебе иерархическая власть была не нужна, ты никого не вел, не тащил, и если попал в беду, то попал один. [Тут] антиномия авторитета и воли. Всё скверное, что разрушено, разрушено волей против авторитета. Всё хорошее, что *создано*, создано *авторитетом*. Ты славно ломал, без шума; я не умел ни того, ни другого,— и попусту шумел.

Воскресенье делает нелепым поездку в субботу,— ничего не могу ни купить, ни сделать, а потому приеду в воскресенье вечером, в понедельник до 3 сделаю все комиссии, и в 5 можем ехать. Таинственный русский[2] может видеться со мной в воскресенье.

Приглашать сюда надобно sobrement ****. Да и дорога от станции желез⟨ной⟩ дороги очень длинна. Это недурно, я истинно мало имею желания видеть русских и прусских — и очень желаю знать, что за любопытство о литературе он тебе сообщил.

[1] См. примеч. 2 к предыдущему письму. Чем кончился этот «семейный конгресс», из переписки Герцена и Огарева не видно.

[2] «*Таинственный русский*» —критик и публицист А. П. Пятковский, о котором см. выше в настоящем томе.

23

18 ⟨сентября 1868 г.⟩. Пятница — Париж.
Grand Hôtel du Louvre, № 221

В воскресенье или понедельник я еду в Виши, *на пять недель*; осмотревшись там, я прежде заеду в Лион встретить Nat⟨alie⟩ и Тату и посмотрю, что лучше — или остаться (как я думаю) в Лионе, или ехать в Виши. Виши дальше, чем я думал, 4 часа езды от Лиона.

Ботк⟨иным⟩[1] я доволен до (чтобы тебе сделать понятным) n + единичной степени[2]. Я на досуге тебе опишу весь осмотр организма, от слуха и зрения до щекотанья пяток. Теперь главные результаты, и наскоро.

1. В диабете сомнений нет. Четыре разложения, сделанные им при мне, доказывают излишний сахар. Он научил меня самого примерно разлагать урину и советует купить Polarisation's Apparat*****, о чем я писал Саше.

---

* с женой и ребенком (нем.).
** всеобщий (лат.).
*** равновесии (лат. «acquilibris»).
**** с воздержностью (франц.).
***** Аппарат для поляризации (нем.).

2. Диабет не лечится, но значительно контрбалансируется диэтой и водами.

3. Организм так силен, что восполняет без труда уносимое сахаром. Нет *никаких признаков*, чтоб болезнь приняла быстрое направление — без особых психических потрясений. Б⟨откин⟩ считает всю болезнь идущею от мозга.

4. Запускать болезнь нельзя ни под каким видом. Карлсбад ослабит без нужды, а потому Виши (пить и ванны). Если будет весной уменьшение, снова пить Виши; если будет увеличение сахара, ехать в Карлсб⟨ад⟩ и, во всяком случае, *ездить каждый год*, если сахар не уничтожится, в Виши или в Карлсб⟨ад⟩ (это всего скучнее).

5. Диэты глупой не требует. Одно мясо может опротиветь, он допускает и фрукты и хлеб в малом количестве. Пиво уничтожено, водка — homeopatisch *, красное вино дозволено. Вот и всё.

Теперь кое-что о тебе.

1-ое. Б⟨откин⟩ спрашивает, принимал ли ты *бромистый потасий*?

2. Он *Люке* очень уважает и верит ему, как Нелатону и Лангенбеку[3]. Посоветоваться с ним советует и для этого съездить в Берн, чтоб тому было досужно. Он думает, что усилие пути — безвредно. Насчет дальнейшего он меня снабдил рядом вопросов самому Люке. Я, разумеется, буду при консультации.

Вот и финал.

Вас⟨илий⟩ Боткин лежит здесь без задних и передних лап, весь в ревматизмах. Ник⟨олай⟩ Ботк⟨ин⟩ тоже здесь. Я их не видел [4]. С доктором я провел всё время, мы вместе обедаем и проводим вечер. Он замечательный человек.

Об Мерчинс⟨ком⟩ (которому кланяйся и благодари очень) он говорит, что он в ужасном положении, и советует нам уговаривать его ехать в Россию.

Скажи Тхор⟨жевскому⟩, что в доме Rotsch⟨ild'a⟩ говорят, что Lombard не имел права так поступить и что княжий сын имеет право сделать ему процесс [5].

Я тебе писал в кафе 16-го, это второе письмо.

Сегодня обедаем у Вефура с Белогол⟨овым⟩ [6] и Ботк⟨иным⟩.

О том, чтоб Ботк⟨ину⟩ платить, и думать сметь нельзя. Он ужасно к сердцу принял и мое доверие и просто меня,— больше, чем я ожидал.

Ты можешь писать или в Vichy (poste restante) или в Lyon, Hôtel de l'Europe, во всяком случае, там или тут получу.

12 часов.

Чемоданом я всё-таки не очень доволен — скверные ремни, пусть пан скажет ему. Разве это не тот ли, который он отдавал за 80? Или 90?

[1] Сергей Петрович *Боткин* — знаменитый врач-клиницист.

[2] Ирония: Огарев любил прибегать в письмах к математическим формулам.

[3] Георг-Ильберт *Люке*, Огюст *Нелатон* и Бернар-Рудольф *Лангенбек* — известные европейские хирурги. В подлиннике последняя фамилия, вероятно, по ошибке: «Лангебейн».

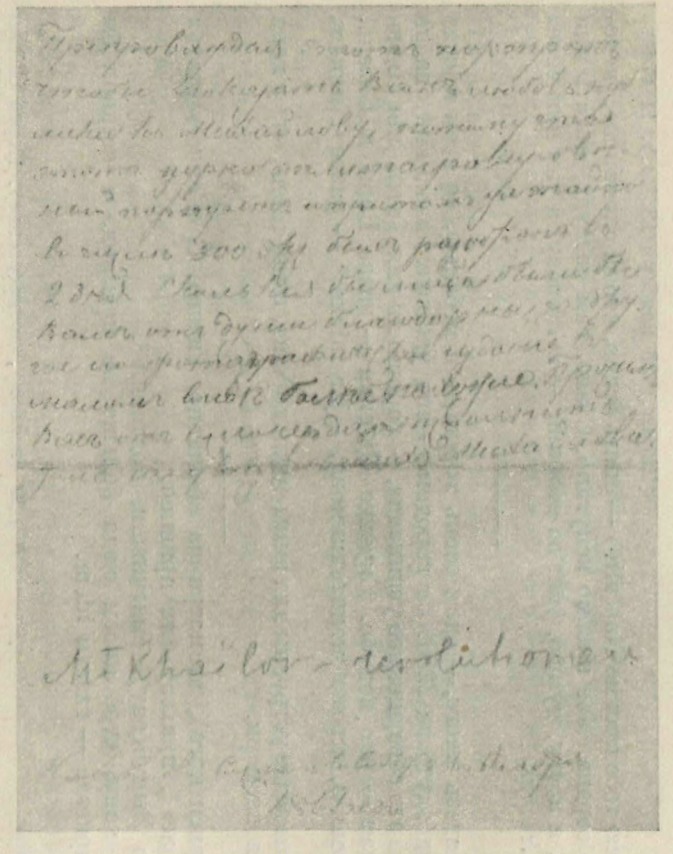
[4] С В. П. Боткиным Герцен встретился 20 сентября 1868 г. Об этой встрече и о том, что Боткин ему «ненавистен», он тогда же писал Огареву (XXI, 91).

[5] «*Княжий сын*» — Владимир Петрович Долгоруков. Речь идет, вероятно, о каких-то его денежных притязаниях после смерти отца, кн. П. В. Долгорукова.

[6] Николай Андреевич *Белоголовый* — врач и литератор, сотрудник «Колокола», мемуарист. В известных «Воспоминаниях» Белоголового (СПб., 1897, стр. 567) описаны его встречи с Герценом в Париже, в 1868 г.

---

* гомеопатическими дозами (нем.).



М. Л. МИХАЙЛОВ

На обороте портрета надпись неустановленного лица, свидетельствующая, что портрет был прислан Герцену из России: «Препровождаю этот портрет, чтобы показать Вам любовь публики к Михайлову, потому что этот дурно отлитографированный портрет, и притом же тайно, в числе 300 экз. был разобран в 2 дня. Сколькие бы лица были бы Вам от души благодарны за другое его фотографическое издание в малом виде, более похожее. Просим Вас от всего сердца исполнить желание уважающих Михайлова»

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

24

⟨Цюрих.⟩ 28 нояб⟨ря 1868 г.⟩. 11 вечера

Посылаю тебе письмо Nat⟨alie⟩ — опять отлив, что за сломанное, исковерканное сердце. Мое письмо испугало. Стало, сам рассуди, писать или нет. Итак, я поеду, думаю, так: во вторник — в Женеву, а там дня через *три* — в *Ниццу*.

Домов здесь много, — один очень хорош, — с мебелью, со всем просят 2500, — отд⟨адут⟩ за 2250. За городом — вид удивительный, кантона на три. Но всё это совершенное уединение, — хорошо ли для Таты, для Ольги и для Лизы — вот вопрос. Скучнее Цюриха — разве Берн и Базель. Всё угрюмо и, кроме политехникона, — jar nicks * — разве Кинкель и Лион!

Комнаты везде устроены для зимы очень хорошо, и так тепло, что у меня начинается насморк.

От Чернец⟨кого⟩, несмотря на обещание, ничего. В «Голосе» статья о «Колоколе» [1], привезу или пришлю.

Письмо Выруб⟨ову⟩, смягчивши, подточил [2].

Скажи пану, чтоб писем сюда больше не посылал, а оставил бы до моего приезда — газеты idem.

29 ⟨ноября⟩, воскр⟨есенье⟩. Перед обедом

Не мог спать всю ночь от духоты, — нет, топленые комнаты не для нас писаны, я уж сегодня раскрыл двойную раму; да, Мейзен⟨буг⟩ здесь швелгировала ** бы.

«Колок⟨ол⟩» надобно, послед⟨ний⟩ [3], разослать по радикальным редакциям:

«La liberté»
«Le temps»
«Daily news»
«Siècle»
«Revue de d⟨eux⟩ mondes»
«Revue moderne»
«Opinion nationale»
и что вспомнишь еще.
Не хочешь ли в смесь «Родичева» в посылаемом «Голосе»? [4]

[1] Герцен имеет в виду корреспонденцию Н. Родионова из Женевы от 30 октября 1868 г. об упадке влияния «Колокола» на русское общество и о расхождениях, возникших между издателями «Колокола» и русскими эмигрантами («Голос», 1868, 10/22 ноября 1868 г., № 311).

[2] Статья Герцена «Ответ г. Вырубову», опубликованная в «Supplément du Kolokol» (15 февраля 1869 г., фактически вышел 18 февраля). Статья явилась ответом на открытое письмо Г. Н. Вырубова, опубликованное в № 14 «Kolokol» за 1868 г. Вырубов протестовал против причисления его Герценом к «нигилистам». Поводом для такого наименования послужило выступление Г. Н. Вырубова на Бернском конгрессе «Лиги мира и свободы» осенью 1868 г. (см. «Kolokol», № 14).

[3] Последний номер французского «Kolokol'а» — № 14/15 — вышел 1 декабря 1868 г.

[4] В № 311 «Голоса» от 10/22 ноября 1868 г. была помещена заметка о том, что «весьегонский мировой посредник 4-го участка г. Родичев, взыскивая с крестьян выкупные недоимки, которых они заплатить не могли, пересек несколько деревень огулом». В «Смеси» «Колокола» этот материал использован не был.

---

* совсем ничего (нем. диалект).
** наслаждалась (нем. «schwelgen»).

25

1 января 1869 г. Ницца

Ну вот и с новым годом. Как ты встретил? Я — скучно,— не от физических болезней, а от психических, которые идут опять crescendo*. В новом году лучшего ничего не будет, и я, чтоб улыбнуться, смотрю назад в анфиладу 59—49—39 и до 1829 (год вступления в Университет). Я вчера Лизе читал в «Был⟨ом⟩ и д⟨умах⟩» мою встречу нового года 1838 с Матвеем на станции между Казанью и Нижним. Fuimus! **.

Посылаю Чернецкому корректуру; бумаги Долгор⟨укова⟩ без заглавия, без хронол⟨огического⟩ порядка *** — очень безобразны. Да куда вы это всё торопитесь — и отчего такой недосуг? Ни вариаций шрифта, ни вообще типографского кокетства нет ни тени у Чер⟨нецкого⟩, но это не мешает иметь нам и зависит чисто от вниманья. К чему издавать прибавл⟨ения⟩ к 12 — можно к 22, и вообще есть маржа**** до 31 января — месяц целый [1].

Вот и твое письмо от 29 — вместе с письмом от Тхор⟨жевского⟩ от 30 [2]. Я думаю, что к новому году и к праздникам увеличивается переписка так, что почта теряет голову.

Неужели у тебя нет никаких занавесок, что ты бегаешь от солнца? если нет,— спроси у Тхор⟨жевского⟩, нет ли стор у нас.

Я никогда не воздерживал антиолигархического задора.

Au fond *****, Майор[3] взял немного, что же тебе противно и малопонятно?

Русскую корр⟨ектуру⟩ посылаю тебе,—распорядив заглавия и прибавив анекдот об Орлове[4], отошли Чернецк⟨ому⟩, mise en pages****** я требую.

Если нужно будет, отбери из семейных бумаг Дол⟨горукова⟩, что́ можно уступить Долгорукой. Это не хитро.

Что за ушиб Мери? Передай happy New Year *******.

Еще прививная оспа ничего не сделала.

N⟨atalie⟩ болезнь идет, как у Таты, своим медленным шагом. Она постоянно сердится [5].

[1] В январе Герцен и Огарев были заняты подготовкой «Прибавления» — «Supplément du „Kolokol"», вышедшего в феврале 1869 г. В нем были опубликованы материалы из архива П. В. Долгорукова: «Documents et papiers du prince Pierre Dolgoroukoff». «Письма Дубельта» в этом «Прибавлении» нет.

[2] Письма Огарева от 29 декабря и Тхоржевского от 30 декабря — неизвестны.

[3] *Майор* (Майер) — женевский врач-хирург, лечивший Огарева.

[4] *Анекдот об Орлове* и его ссоре с графом З. Г. Чернышевым находится в «Supplément du „Kolokol"» в заметке «Из записок Карабанова (изустное предание графини Анны Иродионовны Чернышевой)»; эта заметка, входящая в раздел публикации архива Долгорукова, напечатана по-русски; оттого Герцен пишет о «русской корректуре».

[5] В декабре 1868 г. Тата и Наталья Алексеевна были больны ветряной оспой.

26

⟨Ницца.⟩ 9 янв⟨аря⟩ 1869 г. Суббота

Так как писать нечего, то я хочу блеснуть бумагой [1]. Бюльтеней о здоровье до чьей-нибудь болезни посылать не буду.

О Мартьянове помянуть хорошо [2], но фраза как-то больно перлашезинская или ваганьковская вышла [3]. Ее только справь.

Кине писал — на его милое письмо, Нефтелю писал по тем же консидеранам ******** [4].

* Возрастая (итал.).

** Были мы! (лат.).

*** Письма Дубельта нет в наборе.— *Примеч. Герцена.*

**** достаточно времени (франц. «marge»).

***** В сущности (франц.).

****** верстку (франц.).

******* Поздравление с новым годом (англ.).

******** соображениям (франц. «considérant»).

Написал статейку вроде промемории Бакун⟨ину⟩ — можно в «Пол⟨ярной⟩ зв⟨езде⟩» напечатать. При случае пришлю [5].

О «Неделе» ни слуха ни духа — ты прислал как-то старые №№, которые я читал в Женеве, и не знаю отчего даже есть двойные. Я ждал, будет ли моя статья и как будет,— и теперь жду. Прежде ничего им не пошлю [6]. Есть ли вести о Мерчинском?

10 ⟨января⟩. Воскресенье

На «Монитера» я запнулся и жду окончательный расчет за «Кол⟨о-кол⟩» и прибав⟨ления⟩. Мы уже забрали у Георга на 600 фр. вперед. «Московс⟨кие⟩ ведомости» совсем лишние — в счетах Георг для меня не делает никакой скидки [7].

Лиза сегодня опять перешла в свою комнату. Кажется, эпидемия прошла.

Перечитал две-три повести Бал⟨ь⟩зака — и очень доволен. Как все изменилось с 30-х годов! Другие люди, другие интересы. При всех недостатках Бал⟨ь⟩зак — великий мастер, в нем есть диккенсовские картины. Я понимаю, почему Тен недавно писал о нем. Мир, о котором писал Б⟨альзак⟩, это тот скрытый под мозаикой гной и навоз, из которого выросли новые поколения.

Addio.

[1] Письмо написано на лощеной лиловой бумаге в клетку.

[2] Герцен имеет в виду статью Огарева «Голод и новый год», в которой содержится упоминание о П. А. Мартьянове, умершем в Сибири, на каторге, в 1865 г. Слова Герцена являются ответом на вопрос Огарева в письме от 7 января ⟨1869 г.⟩: «Что значит твой Sta viator насчет моего примечания о Мартьянове? Всё ли его похерить или что изменить — я не понимаю? Мне кажется — что ж делать, что больно, лучше же пусть будет больно, но немножко воскресить память недюжинного человека» («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 501—502).

[3] *Фраза как-то больно перлашезинская или ваганьковская вышла* — Père Lachaise — кладбище в Париже; Ваганьковское кладбище — в Москве.

[4] Письмо к Эдгару Кине от 8 января 1869 г. сохранилось (XXI, 270—273); письмо к д-ру В. Ф. Нефтелю в Америку неизвестно. См. в т. 62 «Лит. наследства» публикацию писем Нефтеля к Огареву.

[5] В январе 1869 г. Герцен написал обращенную к Бакунину полемическую статью «Между старичками» — первоначальную редакцию писем «К старому товарищу». Сохранившаяся часть статьи «Между старичками», в целом остающейся неизвестной, публикуется впервые в наст. томе.

[6] О сотрудничестве Герцена (под псевдонимом «И. Нионский») в петербургском журнале «Неделя» см. выше в наст. томе

[7] 3 января 1869 г. Герцен писал Огареву, что необходимо пересмотреть список выписываемых журналов и газет и по возможности сократить его (XXI, 269). *Георг* — женевский книгопродавец.

27

⟨Ницца.⟩ 12 января ⟨1869 г.⟩. Вторник

Semper idem * — по-русски «всё так же идем»,— и всякий материал для писания иссякает. Очень ждем «Неделю», «От⟨ечественные⟩ зап⟨иски⟩», пожалуй и «Вестник Европы». Работается мало — так уж читать.

Тата всё еще татуирована и не может выходить, кроме сада,— сколько я мекаю — это еще на месяцы (она занемогла 26 нояб⟨ря⟩) хватит. N⟨atalie⟩ совсем поправилась. Лиза толстеет и ест наславу.

Здесь сын петербургских лавочников Милютин [1]. Он давал для ниццардов праздник, стоивший 40 000 фр., и дает обеды по 100 фр. с рыла. Жду, когда его за это проучат в Monaco. И прусский принц[2] был на его празднике, и все.

13 января. ⟨Среда⟩

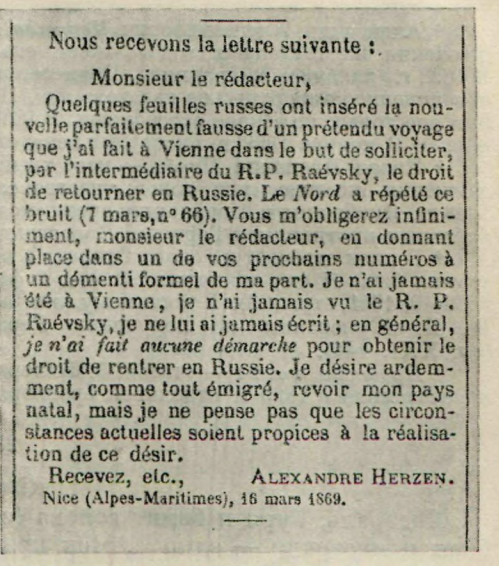
И русский новый год — для вариации к оному явился и Вырубов, с которым вчера проспорил целый день. Когда будешь посылать что-

* Всегда то же самое (лат.).

ПИСЬМО-ОПРОВЕРЖЕНИЕ, АДРЕСОВАННОЕ ГЕРЦЕНОМ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «LE NORD», 16 МАРТА 1869 г.

Газетная вырезка

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва



Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,

Quelques feuilles russes ont inséré la nouvelle parfaitement fausse d'un prétendu voyage que j'ai fait à Vienne dans le but de solliciter, par l'intermédiaire du R.P. Raévsky, le droit de retourner en Russie. Le *Nord* a répété ce bruit (7 mars, n° 66). Vous m'obligerez infiniment, monsieur le rédacteur, en donnant place dans un de vos prochains numéros à un démenti formel de ma part. Je n'ai jamais été à Vienne, je n'ai jamais vu le R. P. Raévsky, je ne lui ai jamais écrit ; en général, *je n'ai fait aucune démarche* pour obtenir le droit de rentrer en Russie. Je désire ardemment, comme tout émigré, revoir mon pays natal, mais je ne pense pas que les circonstances actuelles soient propices à la réalisation de ce désir.

Recevez, etc., ALEXANDRE HERZEN.

Nice (Alpes-Maritimes), 16 mars 1869.

нибудь, пришли последнюю книжку «Phil⟨osophie⟩ Positive» *. Он многое рассказывал о Лугинине [3].

NB. Не забудь спросить Тхор⟨жевского⟩, посылал ли он «Пол⟨ярную⟩ зв⟨езду⟩» Вырубову, — *он ее не получал.*

Час

Писем нет.

14 янв⟨аря⟩. Четверг.

Письмо есть. Но, право, писать нечего. — Выруб⟨ов⟩ сказывал, что здесь жена Черкесова — и он скоро будет [4]. Он завел в Париже книжную лавку, которой заведует Якоби [5]. Разумеется, жена его и он нас игнорируют. Вообще, сколько я замечаю, ненависть к нам пережила «Колок⟨ол⟩».— Вот вам и спасибо — за целую жизнь.

Когда же «От⟨ечественные⟩ зап⟨иски⟩»?

Деньги Жук⟨овского⟩ — урок [6]. Вот тебе и «Монитер» — для à propos.

Сегодня от Сат⟨ин⟩ой письмо. Она писала месяц тому назад, что деньги готовы для тебя. N⟨atalie⟩ писала 30 дек⟨абря⟩, чтоб выслали. Сегодня ответ, но о деньгах ни полслова. Я не могу приучиться к этой санфасонности **.

Прощай.

Брошюры поляка[7] — сверх двух, трех экземпл⟨яров⟩ мне — пошлите 10 Висконти — ее можно бы объявить кое-где.

[1] Сын купца-миллионера — владельца так называемых «милютиных лавок» в Петербурге.

[2] *Прусский принц* — будущий император Фридрих III (1831—1888), сын Вильгельма I.

[3] Владимир Федорович *Лугинин* (1834—1911) в 1862 г. уехал за границу и участвовал в организации в Гейдельберге русской читальни. Лугинин был в дружеских отношениях с Герценом и Огаревым, но по политическим взглядам оставался типичным либералом. В 1865—1866 гг. он жил в Париже; в августе 1867 г. получил разрешение вернуться в Россию; в последующие свои приезды за границу избегал встреч с представителями революционной эмиграции (см. XXI, 330). С 1890 г.— профессор химии Московского университета.

* Позитивная философия (франц.).

** бесцеремонности (франц. «sans façon»).

[4] Александр Александрович *Черкесов* (1839—1908) — участник революционного движения шестидесятых годов; жена его — Вера Васильевна (урожд. Ивашева). В 1862 г., находясь за границей, Черкесов принимал участие в попытках организовать объединенное эмигрантское издательство. В 1865 г., по пути из-за границы в Россию, был арестован, но вскоре освобожден. В 1868—1869 гг. приезжал во Францию и Швейцарию. В ноябре 1869 г. снова был ненадолго арестован в связи с нечаевским делом.

[5] Павел Иванович *Якоби* — известный врач-психиатр; деятель революционного движения шестидесятых годов; участвовал в польском восстании 1863 г. В 1864—1868 гг. Якоби жил в Швейцарии; среди «молодой эмиграции» он был одним из наиболее активных противников Герцена. Впоследствии Якоби вернулся в Россию.

[6] Герцен отвечает на слова Огарева в письме от 12 января 1869 г.: «Жуков⟨ский⟩ у меня был. Я ему заплатил (90 фр., 2 фр. остался должен)...» («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 503). Повидимому, это была плата за какой-то перевод, сделанный Н. И. Жуковским по поручению Герцена, но не использованный в печати (см. XXI, 144).

[7] *Брошюры поляка* — статья Ф. Вихерского «Письмо к генералу Ф. Ф. Трепову», напечатанная в 1869 г. отдельной брошюрой в типографии Чернецкого.

28

⟨Ницца.⟩ 29 марта ⟨1869 г.⟩. V⟨illa⟩ Filippi

Мистраль, буря и болит голова (заметь сходство погод, и даже время бизы и мистраля — одно [1]). Чек пришлю, как только получу от Тх⟨оржевского⟩ счет. Скажи ему, что погода так скверна, что я никак не советую ехать раньше 12 или 13 апреля — за мистралем будут дожди. Пусть же он увидит юг праздничным.

О Бакун⟨ина⟩ теориях мне повествовала Ауэрбах [2].

От Чернецкого имени падет рефлекс * и на нас — услужил [3].

Фраза в моем письме в «Nord» придает вес отрицанью, в ней сверх того нет лжи, и, конечно, если б в России была такая амнистия, как последняя в Австрии, я бы поехал [4]. Полагаю, что штудиум ** на месте — после 22 лет — был бы важнее всех Брюсселей [5]. Особого письма, может, тебе и не стоило писать, я говорил о приписке к моему в «Confédéré», «Bund»'е — au reste *** всё равно [6].

«Доктора» посылаю, я им три раза писал, чтоб тебе послали «Неделю»[7],—всё же свиньи,— или не справиться ли у Георга, может, прислали без имени.

Я унал, поскользнувшись, и нисколько не ушибся.

[1] Герцен отвечает на письмо Огарева от 26 марта 1869 г. из Женевы, которое начиналось словами: «Погода сегодня ужаснейшая: холод и биза...» («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 540).

[2] *О Бакунина теориях* см. в письмах Огарева к Герцену от 26 и 27 марта 1869 г. («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 541—542). Об *Ауэрбахах* см. выше примеч. 7 к письму № 17.

[3] В марте 1869 г. женевские рабочие организовали всеобщую забастовку, продолжавшуюся три недели. Хотя забастовка кончилась небольшими уступками со стороны хозяев, но моральная победа женевских рабочих была несомненна. Это была первая большая стачка общеевропейского значения, проведенная под непосредственным руководством I Интернационала (его женевской секции). Маркс и Энгельс оценивали ее как серьезную победу рабочего класса. Чернецкий, в качестве владельца типографии, в которой печатались издания Герцена и Огарева, был вовлечен в этот конфликт на стороне хозяев. Это вызвало сильное негодование Герцена (XXI, 348). В письме от 27 марта 1869 г. Огарев сообщал Герцену: «⟨Чернецкий⟩ приходил сказать мне, что сам сознает, что сделал ошибку, и больше потому, что не понимает хорошо по-французски» («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 542).

[4] В марте 1869 г. газета «Kölnische Zeitung» напечатала в № 67 (в статье «Russland und Polen») клеветническую, вероятно, инспирированную заграничной агентурой III Отделения, информацию о Герцене. Газета сообщала, будто Герцен и Огарев решили ходатайствовать перед царским правительством о разрешении вернуться в Россию и что посредником в переговорах Герцен избрал священника при русском посоль-

* отблеск (франц. «reflex»).
** изучение (не «Studium»).
*** впрочем (франц.).

стве в Австрии, Раевского. Перепечатанное многими иностранными и русскими газетами, известие это с разными прибавлениями широко и быстро распространилось. Возмущенный Герцен («Что я им за Кельсиев II достался!» — писал он 14 марта И. С. Тургеневу) немедленно разослал опровержения в редакции главных газет (в том числе и в «СПб. Биржевые ведомости»). Заключительная фраза письма, посланного 16 марта 1869 г. в газету «Nord», гласила: «Je désire ardemment, comme tout émigré, revoir mon pays natal, mais je ne pense pas que les circonstances actuelles soient propices à la réalisation de ce désir» *. Огарев писал по поводу этой фразы Герцену: «Конец твоей записки в „Норд" мне не нравится: если было отвечать не плевком, а холодно и презрительно, то к чему выставлять им чувство любви к отечеству и желание возвратиться на родину? Дураки, пожалуй, примут за намек и попытку. Неужели ты в самом деле думаешь, что есть возможность возвратиться?» («Лит. наследство», т. 39-40. 1941, стр. 540). На этот вопрос и отвечал Герцен словами публикуемого письма: *«если б в России была такая амнистия, как последняя в Австрии, я бы поехал»*. Амнистия 21 июня 1867 г. в Австрии, о которой идет речь, объявляла «прощение» и возвращала «полностью» гражданские права всем участникам революции 1848 года (см. заметку Герцена «Венгерская амнистия» — XIX, 387).

[5] Герцен намеревался со всей семьей переехать на постоянное жительство в Брюссель. Бельгийская столица являлась в это время одним из крупнейших центров революционного движения в Европе.

[6] В письме от 24 марта 1869 г. Герцен писал Огареву: «Если ты думаешь полезным, пошли мое письмо „нордовское" в „Bund" или другую газету, в „Confédéré de Fribourg" и прибавь строку вроде „Comme mon nom a été mentionné dans la même correspondance, je m'associe à la déclaration de monsieur H⟨erzen⟩"...» ** (XXI, 333). Обе газеты напечатали заявление Герцена и Огарева («Лит. наследство», т 39-40, 1941,стр. 544 и 546).

[7] Герцен посылал Огареву свою повесть «Доктор, умирающий и мертвые», напечатанную под псевдонимом «И. Нионский» в журнале «Неделя» за 1869 г.

29

⟨Ницца.⟩ 18-го ⟨апреля 1869 г.⟩. Вечер

Загадка за загадкой. От тебя телеграмма. Я тебе телеграфировал 16-го в 6 часов вечера и послал письмо 16-го в 12 утра. Там я писал всё ясно и подробно. Я почти уверен, что ты не дождался письма.

Конечно, я не согласен на подписи, но если вы не дождались и напечатали — нечего делать, т. е. если разослали, а нет — перепечатать на мой счет[1].

Буря ревет. Холод. Corpo di Bacco *** — что за ужасный год.

[1] В № 82 газеты «Голос» за 1869 г. появилась клеветническая статья о студенческих беспорядках в Петербурге. Прочтя статью, Огарев немедленно написал и отдал в набор прокламацию «От стариков молодым друзьям», подписав ее именем Герцена, Бакунина и своим собственным. Одновременно со сдачей рукописи в типографию он отправил копию прокламации Герцену, спрашивая его согласия на тройную подпись. Герцен согласия не дал (см. мотивировку отказа в письме Герцена от 16 апреля 1869 г.—XXI, 365). Вследствие этого прокламация вышла в свет без подписей.

30

17 Sept⟨embre 1869⟩. Bruxelles. H⟨ô te⟩l des Empereurs

После отвратительного плаванья в продолжение 12 часов, по заливам и каналам в бурю и дождь, мы добрались вчера в 10 вечера в Антверпен — переночевали и приехали сегодня в 12 в Брюссель. Здесь я нашел твои письма и одно от Тхоржевского. Тотчас прочел гнусное положение о учащихся [1] и принимаюсь писать.

1-ое. Чернецкому писать, caro mio, не буду, надевать на себя новую цепь не приходится. Если он не понимает, пусть продает всё, — мы и с Даничем обойдемся, имея Долгорукова буквы [2].

---

* «Как каждый эмигрант, я пламенно желаю вновь увидеть свою родину, но не думаю, чтобы нынешние обстоятельства благоприятствовали исполнению этого желания».

** Ввиду того, что мое имя упомянуто в той же корреспонденции, я присоединяюсь к заявлению г. Г⟨ерцена⟩ (франц.).

*** Чёрт возьми (итал.).

2. Делай над Выруб⟨овым⟩ и Роберти всё (в границах der Schicklichkeit*) что тебе вздумается [3].

3. Не пропускай в «СПб. ведомостях» фельетоны Вырубова (они с подписью) [4].

4. О квартире, пожалуй, публикуй,—но зачем?—Вероятно, хозяйки расспрашивали, а Тхорж⟨евский⟩ не остерегся, ему бы сказать: Огар⟨ев⟩ and household **,— сердиться за это вряд можно ли.

5. Я тебе послал свою фотографию из Брюсселя до отъезда — получил ли?

6. Насчет денег — я сделаю одно замечание. 6000 фр., действительно, мало (и некогда, ограничиваясь 5 т., ты не знал, что говоришь). Если я призываю тебя к большей расчетливости — то это откровенно так. Я уверен, что на Сат⟨ина⟩ à la longue *** надежды плохи, а на меня твердо, непоколебимо, ты постоянно будешь иметь 5000, и если б Сатин не посылал ни гроша. Но ты явным образом не останавливаешься на 6 т., и это меняет дело. Когда я тебя упрекаю в праздном содержании малого в 18 лет [5], ты сердишься. Как же ты возьмешь теперь все деньги? Неужели ты думаешь, что я оставлю тебя голодовать? Это так же безобразно, как ты предлагал заплатить некогда за Мерчинского. Стало быть, в переводе за 1500 тебе нужны еще 1500. Отчего ты всегда имеешь arriérés? **** Отчего ты не делаешь бюджет? Я на первый случай пошлю в след⟨ующем⟩ письме 1000 фр. Один господин (тебе знакомый) обещал тебе доставить 500, которые я дал ему. Если нужны еще, я пришлю, но позволь мне бояться за будущее,— ведь границы я ставлю не по капризу, а по расчету.

Еще письмо, из него вижу, что портрет пришел.

В логической консеквентности ***** ты и отчасти Бак⟨унин⟩, вы правы, но так как события идут иным путем, то вы и останетесь предтечами. Ни одной йоты из вашей программы не осуществится — в два, три поколенья. Зачем же вы только ругаетесь над людьми, действующими настоящими орудиями, в настоящее время? Я под этими орудиями разумею не писконгресс в Лозанне[6], а всю политическую агитацию, которая очень сильна и volens-nolens ****** имеет в себе социальные элементы [7].

Затем скажу, что из Флоренции письма получил,—Тата очень встревожена тем, что Пенизи (слепой) сильно и безумно в нее влюблен и предлагал руку [8]. Левье [9] говорит, что он в отчаянии, и боится за него.

Буду ждать здесь ответа на это письмо и потом поеду в Париж.

От Lacroix получил письмо — он на нынешний год издавать отказывается. Попробую Hachett'a и Hetzel'я [10].

Гюго мечтает о революционной войне à la 93 год.

Мерославский — о войне за Речь Посполитую [11].

Боссак [12] — о какой-нибудь войне, и все на конгрессе мира. Им бы пригласить Бисмарка.

Что вы не можете выписать «Zukunft» — это смех, и я предоставляю вам решить эту трудную задачу. И кто сказал, что «Zukunft» выходит в Кенигсберге? Ну где же тут вести типографии и литографии? — милейшие чудаки.

Всё—журналы, письма etc., jusqu'à nouv⟨el⟩ or⟨dre⟩*******,—посылать сюда.

---

* благопристойности (нем.).
** и семья (англ.).
*** в конце концов (франц.).
**** просроченные долги (франц.).
***** последовательности (лат. «consequentia»).
****** волей-неволей (лат.).
******* до нового распоряжения (франц.).

С журнал⟨ом⟩ Выруб⟨ова⟩ делай, что хочешь, можешь даже послать его Пьеру Леру [13] или Собакевичу.

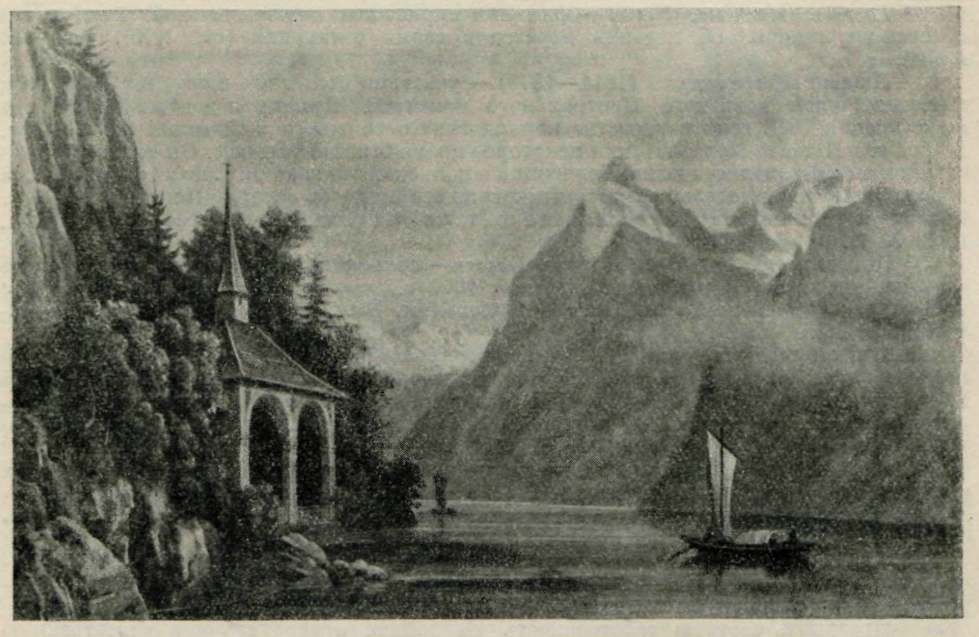
Нельзя ли найти квар⟨тиру⟩ около тех мест, где жил Мерчинский прежде?

Лиза пути и пароходы выносит блестяще. Она требует карточку.

Прошу подробностей о жюри с Либкнехтом[14].

Когда в Базеле шла речь о том, что коммунальное владение землей не испробовано, — неужели не нашлось русского, чтоб отвечать. А где же был Баку⟨нин⟩?[15]

После пожара у Сатина — он и Ел⟨ена⟩ ничего не пишут.



ЧАСОВНЯ ВИЛЬГЕЛЬМА ТЕЛЛЯ НА ФИРВАЛЬДШТЕТСКОМ ОЗЕРЕ

Раскрашенная литография, 1866 г.

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

«...Мы с Лизой были на пароходе под дождем и осматривали Tell's Platz...»
(из письма Герцена к Огареву от 18 июля 1868 г.)

[1] После студенческих волнений 1868—1869 гг. правительством был создан комитет, разработавший новые правила для учащихся высших учебных заведений. Эти правила, утвержденные Александром II 8 июня 1869 г., предусматривали жесткий надзор и суровые дисциплинарные меры.

[2] Герцен имеет в виду предполагавшийся переезд типографии Чернецкого в Париж и частичную ее ликвидацию, так как она приносила большие убытки. *Данич* — наборщик в типографии Чернецкого.

[3] Евгений Валентинович *де Роберти* (1843—1915) — философ-позитивист, ближайший друг Г. Н. Вырубова, выпустивший вместе с ним брошюру «Несколько слов о позитивной философии». Возможно, что Герцен и Огарев предполагали выступить против космополитических теорий, развивавшихся Вырубовым и де Роберти. Такая статья неизвестна.

[4] В «Санкт-Петербургских ведомостях» осенью 1869 г. были помещены следующие фельетоны Г. Вырубова, с его полной подписью, под общим подзаголовком «Из парижской жизни (письма к редактору „СПб. ведомостей")»: 1. «Французские нигилисты» (№ 216, от 8/20 августа 1869 г.) и 2. «Французские социалисты» (№ 313, от 13/25 ноября 1869 г.).

[5] *Малый 18 лет* — Генри, сын Мэри Сетерленд, подруги Огарева. Герцен настаивал на том, чтобы Генри изучил какую-либо специальность, которая могла бы сделать его самостоятельным.

[6] *Пис-конгресс в Лозанне* — III Конгресс буржуазно-демократического объединения «Лиги мира и свободы», состоявшийся в Лозанне в сентябре 1869 г. Слова Герцена свидетельствуют о его ориентации на «политическую агитацию» I Интернационала.

[7] Как известно, Герцен отнесся к наметившемуся весной 1869 г. активному участию Огарева в бакунинско-нечаевской «агитационной кампании», проникнутой духом анархизма и политического авантюризма, резко отрицательно. О возникших в этой связи спорах и расхождениях по важнейшим вопросам революционной тактики и оценки политической обстановки см. в наст. томе в публикации новых материалов, относящихся к истории текста писем «К старому товарищу».

[8] Имя Пенизи впервые встречается в письме Герцена от 8 февраля 1867 г. из Флоренции; там он дал высокую оценку молодому слепому итальянцу, впоследствии сыгравшему роковую роль в судьбе Таты.

[9] *Левье* — врач, лечивший Пенизи.

[10] *Lacroix, Hachette, Hetzel* — фамилии парижских книгоиздателей. Герцен вел с ними переговоры об издании переводов своих сочинений (см. XXI, 485—486 и 488).

[11] Людвиг *Мерославский* (1814—1878) — участник польского восстания 1830 года; эмигрант, член польского Центрального комитета. Принимал деятельное участие в революции 1848 года в качестве командующего войсками в Сицилии и в Бадене. В 1863 г. в Польше Мерославский некоторое время был диктатором. Он являлся представителем националистических тенденций в польской эмиграции. Еще в 1857 г. в своей переписке Маркс и Энгельс резко критиковали его книгу об истории Польши. В 1863 г. Герцен выступил против Мерославского со статьей «К польскому вопросу» («Колокол», 1868, № 7).

[12] Повидимому, гр. Фред-Кароль *Боссак*— польский эмигрант, офицер русской службы; упоминается в письмах Герцена 1867 г., вместе с другим представителем правого крыла польской эмиграции — Булавским. Был сторонником активных военных действий.

[13] В шестидесятые годы Пьер *Леру*, вернувшийся после амнистии во Францию из эмиграции, совершенно отошел от политической борьбы и в литературной своей деятельности выступал с пропагандой реакционно-мистических утопий о соединении социализма с религией. Отношение Герцена к Пьеру Леру в этот период было резко отрицательным (см., например, XIX, 309).

[14] В 1869 г. газета «Zukunft» выступила против Бакунина, обвиняя его в связях с русским правительством. Вильгельм *Либкнехт* перепечатал это сообщение в редактировавшемся им журнале «Volksstaat». Бакунин привлек Либкнехта к третейскому суду («jury»), который признал обвинение недоказанным.

[15] Одним из основных вопросов, стоявших на Базельском конгрессе Интернационала, происходившем 6—12 сентября 1869 г., был вопрос о земельной собственности. Конгресс принял выработанную сторонниками Маркса резолюцию о праве общества «упразднить частную собственность на землю, превратить ее в общественную собственность».

31

Огареву:

<Париж.> 14 октября <1869 г.>

Два слова для тебя.

Сделай ты мне одолженье и напиши, что за резон, по которому Бак<унин> требует лишний и ненужный документ из Америки. Сегодня я принялся писать к Кап<пу>[1] и прочел, что пас<порт> выдан в 1866 и скреплен в 1867; стало, его станет almeno * еще на 5 лет. Об этом напиши.

Сейчас пришел Давыдов[2], прямо из России; он говорит, чтоб Тхоржевский бумаги продавал сейчас за 7000 руб., так, чтоб П<остников> ему вручил деньги, а он ему бумаги, — без показания каталога и с обязательством не оставлять у себя ничего[3].

Поддержите Г. Г. [4] совет<ом> и сообщите.

Давыдов рассказывает интересные вещи.

[1] Фридрих *Капп* (1824—1884) — историк, участник революции 1848 года; эмигрировал в Америку, где был комиссаром по переселенческим делам. Обращение к Каппу, с которым Герцен был хорошо знаком, связано повидимому с желанием

* по крайней мере (итал.).

Бакунина получить новый американский паспорт (XXI, 501, 502). Упоминаемое письмо Герцена к Каппу неизвестно.

[2] О каком *Давыдове* здесь идет речь — неясно. В переписке Герцена 1869 года фигурирует некий В. Л. Давыдов, 25 августа уехавший «прямо в Москву». Более поздних сведений о нем нет. Тот ли это Давыдов, успевший вернуться к 14 октября в Париж, или другой — выяснить не удалось.

[3] После смерти П. В. Долгорукова у Тхоржевского остался его архив, содержавший многие важные документы, которые Долгоруков не успел использовать для своих разоблачений закулисных тайн романовского самодержавия и русских аристократических родов. В августе 1869 г. Александр II дал распоряжение III Отделению уничтожить архив, и уже 27 августа в Женеву приехал некий издатель «Постников» (в действительности агент III Отделения — К. А. Роман), вступивший в переговоры с Тхоржевским о покупке бумаг П. В. Долгорукова якобы для того, чтобы издать их. «Постников» виделся в Женеве с Огаревым, а в начале октября — с Герценом в Париже; оба они советовали Тхоржевскому продать архив. Продажа состоялась, и архив, таким образом, попал в руки III Отделения, где, повидимому был уничтожен. Историю продажи архива Долгорукова см. в книге: Р. М. К а н т о р. В погоне за Нечаевым. Пг., 1922.

[4] Кто такой Г. Г.— не выяснено.

32

〈Париж.〉 29 〈октября 1869 г.〉[1]

Нет, Огарев, еще время идти на покой и разбивать палатки не пришло[2]. Только было я расположился, от Саши два письма о тяжелом нервном расстройстве у Таты, затем телеграмма, в которой просит неотлагаемо ехать туда — что она очень нездорова. Я телеграф〈ировал〉 и получил опять приглашение[3]. Все это история Пенизи. Вспомни, что я писал.— Буду извещать всякий день. В 7 часов еду в Марсель, в 5 завтра сажусь на корабль «Messagerie», в воскресенье в Генуе и в понедельник во Флоренции.

Пиши на имя Саши и на его адрес.

5 часов

После долгого обсуждения решено ехать всем до Генуи. От Саши 3-я телеграмма — «[совершенное] расстройство умственных способностей».— Вот этот негодяй Левье до чего довел.

Пиши во Флоренцию[4].

[1] Этим письмом начинается серия писем, посвященных одному из наиболее тяжелых эпизодов в семейной жизни Герцена — неожиданному заболеванию старшей дочери, Таты. Из публикуемого письма явствует, что Герцен выехал с Тучковой-Огаревой и Лизой во Флоренцию 29 октября, а не 31-го, как указывает Лемке в «Канве биографии» (XXII, 380). О том, как воспринял Герцен известие о заболевании дочери и в каком состоянии ехал к ней, см.: Н. А. Т у ч к о в а - О г а р е в а. Воспоминания. Л., 1928, стр. 415.

[2] Эти слова имеют в виду следующую фразу из письма Герцена к Огареву, отправленного накануне, 28 октября 1869 г.: «Я думаю, что, повертевшись во всем мире, все же, надобно разбить где-нибудь свой инвалидный дом и в нем поместить больших и детей» (XXI, 508).

[3] Телеграммы А. А. Герцена —см. в «Лит. наследстве», т. 41-42, 1941, стр. 528.

[4] Ответное письмо Огарева — от 31 октября — см. «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 563—564.

33

2 ноября 〈1869 г.〉. Флоренция, Casa Fumi[1]

Наскоро первое впечатление. Бедная, бедная Тата,— меня она узнала и обрадовалась очень, но в ее разговоре ничего нет связного. Она меня спросила о Долгоруком и о Стелле[2]. Все дело в ужасе, который на нее нагнали. Положение ее до сих пор печально. Шиф[3] надеется и будет лечить гальванизмом.

Далее — следующий раз.

Виноват ужасно Левье, а Пенизи — подлец невероятный.

[1] Текст этого первого письма Герцена из Флоренции уже известен в печати. Письмо было опубликовано Лемке под № 3603 (XXI, 512) с неправильным указанием,

будто оно адресовано Н. А. Тучковой-Огаревой. В действительности ей было адресовано только второе письмо — № 3604, от того же 2 ноября (XXI, 513). Перепечатываем первое письмо для связи и чтобы исправить ошибку Лемке.

[2] *Стелла* — конспиративный псевдоним Ивана Михайловича Савицкого, бывшего полковника царской службы, воспитанника Академии генерального штаба. Во время польского восстания 1863 г. Савицкий командовал одним из повстанческих отрядов; после разгрома восстания эмигрировал за границу. В письме к Тате от 2 декабря 1866 г. Герцен писал: «A propos, поляки распустили слух, что он ⟨Стелла⟩ сватался за тебя и, получив отказ, немного повредился» (XIX, 135).

[3] Мориц *Шифф* (1798—1867) — известный физиолог, профессор университета во Флоренции.

34

3 ноября ⟨1869 г.⟩. H⟨ôtel⟩ New-York. Флоренция

Вчера я тебе писал в каком-то тумане[1], — сегодня сообщу подробнее. Да, старый, старый друг, этот удар грома, середь осеннего спокойного времени, расшиб и меня. Представь себе Тату, с большой кротостью в лице, с глазами, обращенными с полной любовью ко мне, и не понимающую ничего. Пенизи ее застращал, и она постоянно видит убийц, которые зарежут меня, Сашу, даже Шифа. Теперь она совершенно покойна, слушается, как зверёк, своей garde-malade *, слушается Шифа и, главное, меня. Меня она страстно любит. Шиф велел ее класть спать в 6 часов. Вчера она легла и горько заплакала, потом взяла мою руку, прижала к губам и так осталась четверть часа. Везти ее теперь и думать нельзя. Это может довести до бешенства. Шиф ⟨...⟩ советует глубокий покой, и потом недели через две ехать, куда угодно, но только в такой город, где есть известный психиатр, напр⟨имер⟩ в Милан, где живет Biffi, начальник дома умалишенных.

Вот как началось прямо сумасшествие. Она была рассеяна, обижена до высочайшей степени клеветами, которые распустил этот слепой изверг, и в ужасе от его угроз. Одним днем, перед их окнами, какой-то человек хватил ножом девушку, — та упала, исходя кровью. Тата видела, как полиция ее понесла. Вечером они пошли к Шифу. Саша остановился на дороге, и Тата взошла одна. Когда пришел Саша, он застал ее без памяти на диване. Шиф и проф. Блазерна примачивали холодную воду. Тате показалось, что Сашу убили, и с той минуты она не приходила в себя, — это было около 20, 21 октября; сначала все думали, что такая галлюцинация пройдет, но к 24 оказалось напротив. Тата хотела броситься с террасы, Саша ее силой удержал, — с тех пор ее не покидают ни днем, ни ночью. За ней ходит ночью креолка (акушерка — приятельница Осип⟨а⟩ Ив⟨ановича⟩)[2] — днем по очереди все. Она совершенно тиха — долго, долго думает и спрашивает меня: «Я, кажется, ничего не понимаю». Она взяла перо и написала: «N⟨atalie⟩! Не верь, что я сумасшедшая».

Саша очень потрясен. Левье он тотчас отстранил. Дурак этот раскаивается теперь, а его вмешательство было самое преступное. Я его не видел и не хочу видеть.

Шиф говорит, что в этот период болезни он не советует слишком подвергать Ольгу и Лизу влиянию больной. Пока она остается у Саши (квартира у него хороша); N⟨atalie⟩ и Лиза, вероятно, послезавтра приедут. пока в Ницце, адресуй Саше[3].

Будем ждать, чем все это кончится, собравши все силы.

Благодари Тхорж⟨евского⟩, но зачем же он приедет? — Теперь решительно ничего не нужно, кроме нас и терпения[4].

[1] См. опубликованное выше письмо № 33 от 2 ноября. О получении его Огарев писал Герцену 4 ноября («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 564).

[2] *Осип Иванович* — наименование Маццини в переписке Герцена с Огаревым.

* сиделки (франц.).

[3] Ответное письмо Огарева — от 5 ноября 1869 г.— см. «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 565.

[4] Далее следует приписка А. А. Герцена·

Мой милый, дорогой Ага!

Не сердись на меня, ведь я сам сначала не знал, в чем дело, и страшная мысль не влезала в голову. Все, что я тебе писал,— чистая правда, только двумя или тремя днями позже, ибо мы все думали, что это мимоходное раздражение. Помни, что я

Н. А. ГЕРЦЕН (ДОЧЬ)
Фотография 1860-х гг.
Литературный музей, Москва

ничего не знал про всю историю, и Тата мне только в последних днях рассказала. Шиф думает, что дней через 10 ей можно будет ехать, и тогда она пойдет быстро к выздоровлению.

Крепко тебя обнимаю. С а ш а

35

4 нояб⟨ря 1869 г.⟩. H⟨ôte⟩l New-York

NB. 3⟨-е⟩ письмо из Флор⟨енции⟩.

Все ли получил?

Мой приезд сделал очень сильное и хорошее влияние. Вчера Тата была весь день тише и менее тревожна. Даже правильно отвечала на некоторые вопросы. Шиф доволен, но ждет, продолжится ли это в следующие

дни. Ехать теперь еще невозможно — и шум дороги, и посторонние лица, и прямая опасность, что она бросится вон из вагона, делают немыслимым. Сегодня, вероятно, у нее будет с Шифом Biffi, которого считают одним из искуснейших психиатров. Como от Милана, как Ричмонд от Лондона и, вероятно, мы переедем туда. Пока Шиф советует нанять здесь на месяц за городом, в тишине, квартиру. Он не желает, чтоб Ольга и Лиза слишком часто и долго были с ней, говоря, что пример этот не по нервам молодых особ.

Вина — если можно недогадливость ставить в вину — Саши только в том, что он до 20-х чисел октября *ничего не видел*. А Мал⟨ь⟩вида думала беатно *, *что все кончено*. Когда он спохватился ее везти в Париж (в день, когда девушку пырнули ножом на улице), Тата решительно сказала, что ни с кем в мире не поедет никуда, кроме со мной.

Тата обманывала Сашу, Мал⟨ь⟩виду и всех, кроме Ольги, с необычайной хитростью. Ольга, видно, умнее больших: решилась писать ко мне гораздо прежде, но Тата ее уговорила не писать, говоря (и это правда), что сама мне пишет.

Когда Пенизи увидел, что надежды нет, он написал Тате и Саше самые дерзкие письмы, с угрозами. Тата тут же Саше сказала: «Это Гервег»,— но, глубоко обиженная и униженная, совсем растерялась. Пенизи ее уверил, что у него на откупу убийцы, связанные с ним тем, что он знает их злодейства и может погубить (пожалуй, это и правда), и от страха за Сашу и за Гуго Шифа[1], который себя вел великолепно, она дошла до полного помешательства. Ей лучше, но малейший стук может все испортить. Левье, осел и дрянь, испугавшись, побежал к Пенизи и сказал ему, что он подлец. Затем перестал ходить и к Саше, что превосходно. Тогда Пенизи стал Сашу бомбардировать анонимными письмами, с угрозами и руганью, с угрозами гласности и пр. (действительно, вся метода Гер⟨вега⟩).

Передай часть всего этого Тхоржев⟨скому⟩ — он любовью к нам всем заслуживает это.

Кстати, я так бросился из Парижа, что забыл у Ар⟨истида⟩ Ре⟨я⟩ рукопись Бакун⟨ина⟩, я ему напишу. Надеюсь, что Бак⟨унин⟩ простит, узнав причину **[2].

N⟨atalie⟩ и Лиза, вероятно, завтра приедут. Вот что ты мне узнай на всякий случай ***, согласился ли бы Robin[3] ехать месяца на четыре или пять в Como — давать уроки Лизе и Ольге,— жить особо, но уроки давать всякий день ex⟨empli⟩ gr⟨atia⟩ **** франков за 250—300 в месяц.

Затем мораль. Ну вот тебе и свобода в воспитании женщины, ну вот и отстутствие авторитета, анархия и пр. и пр. Оглянись назад sine ira et studio*****. Вспомни смело всё от Мар⟨ьи⟩ Льв⟨овны⟩, от покойной Nat⟨alie⟩ до Park house'а и Тедингтона, и скажи, откуда все удары и все бедствия. От мужского пьянства и дебоширства и женского *несовершеннолетия*, которое без мартингали****** бьет и убивает всё вокруг.

Скучно до бесконечности — я даже читать не могу. К тому же весь распростудился на корниче и переезжая Аппенины.

Мне кажется, что потом все же следует воротиться в Париж. Anregung'а ******* к труду нигде нет больше.

---

* с блаженной доверчивостью (франц. «béatement»).

** *Весь абзац отчеркнут; на полях надпись:* не забудь.

*** *На полях нарисована рука, указательный палец направлен к тексту.*

**** например (лат.).

***** без гнева и пристрастия (лат.).

****** в конской упряжи ремень, соединяющий узду или мундштук с подпругой; ремень этот не позволяет лошади закидывать голову и подниматься на дыбы (франц. «martingale»).

******* Побуждения (нем.).

Телеграфируя, ты можешь экономить три слова — вместо D-r Herzen Casa Fumi, Fuori di Posta Romana, пиши:

Herzen. Casa Fumi Posta Romana.

Прощай.

«Шпекин»? Неужели ты забыл нашего доброго, милого почтмейстера Шпекина, который распечатывал письма Хлестакова? Но я тебе и написал, что я мог бы больше писать из Парижа, если б не Шпекин[4] — ясно?[5]

[1] Гуго *Шифф* — младший брат Морица Шиффа; был, по словам Герцена, «очень неравнодушен к Тате» (XXI, 518).

[2] Аристид *Рей* (Rey)—французский бакунист. Бакунин 18 октября 1869 г. послал Рею через Озерова свою статью «Profession de foi d'un démocrate socialiste Russe...» («Символ веры одного русского демократа-социалиста...»). Одновременно в письме к Герцену Бакунин просил его помочь Рею опубликовать эту статью (XXI, 495 и ниже). Очевидно, Герцен должен был взять рукопись статьи Бакунина у Рея, но из-за болезни дочери позабыл об этом.

[3] Поль *Робен* (Robin) — французский бакунист, впоследствии член Генерального совета I Интернационала (см. о нем XXI, 408).

[4] Упоминая в не дошедшем до нас письме к Огареву имя «Шпекина», Герцен хотел сказать, что, повидимому, их переписка перлюстрируется. В 1868—1869 гг. Герцен находился под неусыпным наблюдением всей европейской полиции, особенно французской. В деле бельгийского Министерства юстиции о Герцене, хранящемся в ЦГЛА, имеется немало донесений агентов полиции о переездах Герцена и о его переписке.

[5] Ответное письмо Огарева — от 6 ноября 1869 г.— см. «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 566.

36

6 ноября ⟨1869 г.⟩. H⟨ôte⟩l New-York

4-е ⟨письмо⟩ из Флор⟨енции.⟩

Улучшение, о котором я писал, не поддержалось. Вчера день был тяжелый, ее испугали выстрелы (дом за городом), и все припадки усилились. Шиф недоволен домом и шумом. А найти не можем ничего другого. На скорое выздоровление вряд можно ли надеяться. N⟨atalie⟩ она обрадовалась. Эти дни принадлежат к самым скучным и тяжелым и самым убивающим все силы — так, как смерть Коли и Луизы Ив⟨ановны⟩, 2 мая 1852 и 4 дек⟨абря⟩ в Париже[1].

Я ровно ничего не делаю — и с 10 часов вечера до того устаю, что тороплюсь ложиться спать, или, по крайней мере, протянуться.

Если не будет ничего, то до понедельника писать не будем.

Прощай.

От Робин ответ достань.

Ну дело-то Тхор⟨жевского⟩ застряло?

Приписка Н. А. Тучковой-Огаревой:

6 ноября

Вот и я во Флоренции; я нашла Тату очень тревожную, но потом она успокоилась, все говорит об своих снах и об разных страхах за всех. Я надеюсь, что ей скоро будет лучше, потому что можно ее успокаивать, говорить ей: ты это во сне видела, этого вовсе нет, и она улыбается.— Я нашла, что она похудела. — Теперь мы все ищем квартиру, потому что у Саши не довольно покойно для нее.

Главное — это страх за нас всех и мысль, что мертвые могут воскреснуть*.

Не знаю, что тебе сказать еще — не пишется, все остальные здоровы.

Рукой Герцена:

Лиза совершенно здорова.

[1] 16 ноября 1851 г.— трагическая гибель матери Герцена — Луизы Ивановны и сына Коли; 2 мая 1852 г.— смерть Натальи Александровны Герцен; 4 декабря 1864 г — смерть детей-близнецов, Лели-boy и Лели-girl.

* 3 ноября 1869 г. Герцен сообщал Н. А. Тучковой-Огаревой, что Татой овладела навязчивая идея, будто «Леля-бой и Леля-герль живы в Ницце, что их спасла из моря m-me George» (XXI, 514). Речь здесь, повидимому, идет о том же.

37

⟨Флоренция.⟩ 8 ноября ⟨1869 г.⟩. H⟨ôte⟩l New-York

Все понимаю я — и твое беспокойство, и твою печаль... Этот удар, действительно, не по силам. Я не думаю, чтоб все были подлецы, но что те, которые не подлецы,— дураки, вечно слепые, оторопелые,—это так. Да и сами люди бегут к своей гибели с противной быстротой.

Покою, покою — и больше ничего, я хочу только быть зрителем,— веры нет ни в кого, ни во что.

Все дело я изучил теперь, как адвокат, от доски до доски, — по письмам, мемуарам, по длинному описанию Мейз⟨енбуг⟩ и пр. (половину всего современем передам тебе). Без сомнения, на первом плане виновата без всяких оправданий Тата — она хитрила со всеми, не приняла никакого решенья, ни одного совета (помня, что я требовал, чтоб она сейчас ехала в Париж с конца августа). Так как я разумею под словом наказание — последствия, бедная Тата и наказана через край.

Пенизи — злодей, защищенный своей слепотой,— прямо и просто бил на деньги. Если б можно было обломать ему руки и ноги — это было бы хорошо; но что сказать о его агенте Левье? Это уж не страдательная оторопелость Мейзенб⟨уг⟩ и не непостижимое невнимание Саши. (Подумай, что Саша стал догадываться в октябре м⟨есяце⟩!),— это деятельное вмешательство. Как же отомстить? Всё старым путем дуэли? Много я сделал с Герв⟨егом⟩? На месть надобно силу. Месть без силы дальше дуэли не идет, а без дуэли она смешна, жалка. Кто же возьмет на себя убить *больную* вместе с противником? — Я в этом положении был пять месяцев в 1852 году.

Ну их к чёрту, все эти диссертации. К делу. Сегодня я делаю опыт перевести Тату в небольшой пансион — с Нат⟨али⟩ и garde-malade *. Лиза будет пока с Ольгой. Я, разумеется, с Татой. *Если это удастся*, я ее повезу в Милан к Biffi (его не могли мы поймать в Флоренции) — и, вероятно на месяц, в Como.— Под удачей я понимаю, если она не выйдет из себя не экзасперируется ** против новой квартеры. У Саши вовсе не годится — слишком шумно, ребенок, Терезина[1] (добрая, но ничего не умеющая делать и не способная ходить за больной). Тату надобно отучить от обстановки и людей. Вообще два последних дня она была покойнее, лучше с виду, вставала, ходила, сидела... но связи в мыслях и словах никакой. Только видно, что она сильно всех нас любит. Нат⟨али⟩ ходит за ней превосходно.

Ну и прощай. Так тяжело, скучно, что я, ничего не делая, жду ночи, совсем усталый и злой, чтоб броситься часов на 8 — на 9 в постель.

Обнимаю Тхоржевского за его письмо — истинно дружеское; теперь ехать ему незачем, когда будет нужно, я не забуду его. Да что же его дело? Мне, может, придется у него занять деньги до половины января. Траты колоссальные.

Писал ли ты к Бакун⟨ину⟩ насчет его рукописи, я ему ее постараюсь достать.

Приписка карандашом:

5 часов вечера. Понедельник

Перевезли довольно хорошо.— Via Montebello Pension — «Corona d'Italia». Тата мрачна — утомлена, но тиха.

Прощай.

[1] *Терезина* — жена А. А. Герцена, итальянка (урожд. Феличе).

---

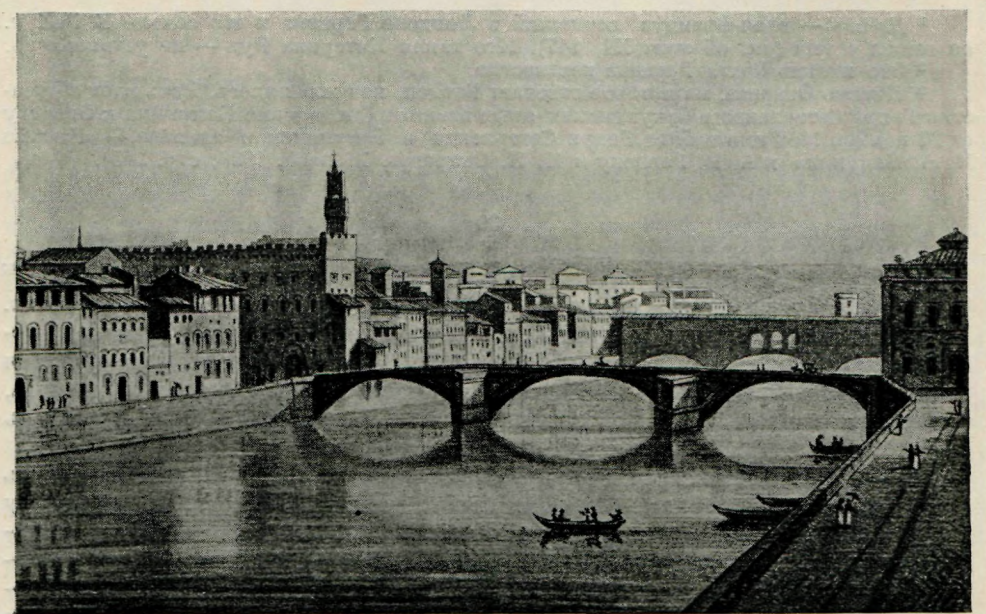
* сиделкой (франц.).

** ожесточится (франц. «s'éxaspérer»).

38

〈Флоренция.〉 10 ноября 〈1869 г.〉. Середа

Письмо твое получил. Я писал всякий день и через день; стало, если не получил или получил позже — вина почты. (Это должно быть 6-е письмо.) Как же ты ждешь особенных вестей в хронической болезни? Тате лучше, в этом нет сомнения, и если не произойдут извне потрясения — она будет больше и больше просыпаться. Я, как ты видишь и знаешь, буду писать обо всем. Но без особенной нужды буду писать через день.



ФЛОРЕНЦИЯ
Литография
Исторический музей, Москва

Первая ночь на новой квартире была тревожна, но день хорош. Связи гораздо больше. Напр〈имер〉, она говорит, что чувствует себя больной, что в голове все так неясно, что она не знает, когда спит, когда не спит, и что наяву — у нее всё сны. Что не может читать, потому что все будто не то напечатано, а об ней. «Я точно Катерина Руп или Девиль»[1] (мы были поражены этим сравнением). Преследований Пенизи она все боится — и я думаю тем хуже боится, что во многом считает себя виноватой (и действительно виновата) 〈...〉 Шиф советует после дней болезни ехать в Комо. Я и поеду, если нужно будет; если ж улучшение пойдет так, повезу ее в Специю. Из Флор〈енции〉 в Милан часов 15 желез〈ной〉 дороги, из Флор〈енции〉 в Специю — часа *четыре*. Разница громадная.

Письмо Егора Ив〈ановича〉[2] — жасмин с розой. Вот тебе прочность глупости, и при этом он считает себя серьезным человеком.

Новость твоя о Генри очень хороша. Но как же это он вдруг развился и как это сделал Бакун〈ин〉? Я ужасно и искренно буду рад, если это правда. Я видел ясно, что он идет на краю гибели, в ложном положении, в ложном просвещении, без умно ведущей воли, без своей

инициативы,— меня страшило горе, которое он тебе доставит, и признаком многого дурного я ставил женскую нервность, кокетство, усталь... Ты никогда не понимал меня и моего мнения, увлеченный защитительным и оборонительным фамилизмом. Твоему сужденью, прости меня, я не верю, однако следи, и из истинного участья прошу тебя написать, что тебя заставило говорить об этом как об обращении Савла[3]. Последнее событие отняло у меня последние веры в лица. Мог ли я ждать от Таты того рода двуличий и лжи, в которые она запуталась до чего — ты знаешь.

[1] *Девиль* — врач-француз, лечивший в Лондоне Герцена и его семью. В 1861 г. он сошел с ума (см. об этом XI, 147). Кто такая Катерина Руп — не установлено.
[2] Это письмо брата Герцена неизвестно.
[3] Письмо Огарева, на которое отвечает Герцен, не сохранилось. Речь идет об участии Генри Сетерленда в бакунинских организациях (см. письмо Бакунина к Огареву от 23 ноября 1869 г. о работе Генри Сетерленда в бакунинском альянсе.— «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву». Женева, 1896, стр. 245).

39

⟨Флоренция.⟩ 16 ноября ⟨1869 г.⟩. Вторник

Вчера мы возили утром Тату к Шифу, и этот опыт совершенно удался. Карета, воздух, другие комнаты, прежние знакомые лица, конечно, немного ажитировали *, но somme toute ** большой успех. Шиф дивится быстроте выздоровления,— от гал⟨ь⟩ванизма он сам отказался, говоря, что он не нужен ⟨...⟩ Мы решили ждать до четверга и ⟨...⟩ ехать в Специю ⟨...⟩ Из Специи я буду телеграфировать.

Как насмех, Мейзенбуг опять в своих ревматизмах — ей вообще ехать не хочется из Флоренции. Но я, наконец, действительно взял диктатуру и поставил ал⟨ь⟩тернативу — ехать ей или взять Ольгу и без нее. Она решилась ехать через неделю в Геную, там мы ждем ее и Ольгу. Она необходима для помощи, т. е. Мейз⟨енбуг⟩, надобно же постоянно, чтоб кто-нибудь был в комнате с Т⟨атой⟩. Я считаю Мейз⟨енбуг⟩ степенью больше виновной, чем Саша, во всем несчастии, и сказал ей это. Если она через неделю не поедет, Саша привезет Ольгу.

Позже

Твое письмо[1]. Меня всегда немного сердят твои папские притязания на непогрешимые суждения, к которым ты привязываешь скромные фразы, значащие в переводе: «Затем говори, что хочешь,— я плюю на твои мнения». Я дивлюсь даже поверхностности идеализма, строящего вещи a priori*** и произносящего безапелляционные суждения без всяких документов. Ты думаешь, что мне легко было винить или признать виновной покойную Nat⟨alie⟩ и теперь Тату? Но я не могу же отводить себе глаза, как ты любишь делать, а потому и повторяю, что Тата во всей истории, кюмулируя**** ошибку за ошибкой, отписывая мне одно, делая другое, не слушаясь моего призыва, просьбы ехать, и продолжая давать надежды — кругом *виновата* (vulgariser *****, как принимается это слово). А чтоб прекратить нелепый спор, я пришлю тебе три тетради и ряд писем. По-моему, мнение Шифа гораздо умнее и дельнее: он ее ошибки относит к началу смущения в мозгу. Я ее вполовину спас и спасу совсем, если не привзойдет ничего нового. Но никогда не скажу, что Пенизи (пожалуйста, не Пинези) *сделал бы всё то, что сделал*, без кокетливых шалостей Т⟨аты⟩, так, как

---

* волновали (франц. «agiter»).
** в итоге (франц.).
*** заранее (лат.).
**** накапливая (от франц. «cumuler»).
***** опошляя (франц.).

Герв⟨ег⟩ никогда не убил бы N⟨atalie⟩ если бы она не дала повода. Оставим это до документов.

Пиши до перемены на адрес Саши.

Домб⟨ровский⟩[2] был схвачен при мне еще. Я впопыхах забыл написать.

[1] Упоминаемое письмо Огарева до нас не дошло.

[2] Ярослав *Домбровский* (1836—1871) — известный польский революционный деятель; был арестован французской полицией в Париже в 1869 г., во время пребывания там Герцена.

40

⟨Флоренция.⟩ 18 ноября ⟨1869 г.⟩. Четверг

Выздоровление идет с такой быстротой, что Шиф не надивится. Я смело говорю, что без меня и ухода Nat⟨alie⟩ этого не было бы.

Третьего дня Тата в первый раз, говоря с Ольгой, вспомянула о прошлом. До сих пор она не касалась ни одним словом (а ты вообразил, что она себя обвиняет!). В тот же день, вечером, разбирая бумаги, она вдруг рассказала подробности, предшествовавшие полному помешательству. Она до сих пор не убедилась, что Пенизи — просто мерзавец. Теперь ни один посторонний не догадался бы, что она все еще сильно нервно потрясена. Когда на нее находят страхи, она шопотом говорит кому-нибудь из нас: «Нет ли какой опасности?» Я стал над этим просто смеяться, и это удалось — она смеется со мной и говорит, что она сама чувствует, что это вздор, но не может переломить. С Лизой она очень мила, и никакой опасности нет. Вот тебе отчет. Далее припишу, едем ли, как и когда. Саша не едет, потому что его не нужно.

Книга о Грановском сильно вызвала старое время. Этот Станкевич всегда был прост, форменный тон биографа ex-officio * — противен, умеренность и аккуратность пошлы. Но для нас это *повод* восстановления, как плохая литография с картины. Как разно шли первые годы нашей юности и его... Общественные вопросы, потребность политической борьбы и des Eingreifens ** самому, — у него едва обозначается в Берлине.

А ловко и ты попался, ein sittliche⟨r⟩ Mensch *** [1].

12 часов

Если ничего не помешает, мы едем в половине пятого в Пизу. Моя мысль там ночевать, но Тата не хочет (у нее там много знакомых) и думает продолжать до Специи. Туда приезжают в 9. Я увижу на дороге, что̀ лучше, билеты возьму до Пизы. Берем целое купе — телеграфировать буду с места — завтра.

Прощай.

Отошли Тхор⟨жевскому⟩ сейчас записку.

[1] Речь идет об известной книге Александра Владимировича *Станкевича* (1821—1912) — «Т. Н. Грановский», СПб., 1869. Станкевич довольно подробно описывает в книге взаимоотношения Грановского с Огаревым, прозрачно называя последнего «поэтом и другом Герцена», цитирует интимные письма Грановского к Огареву и от себя указывает, что «Грановский разглядел в своем друге ничем не оправдываемую самонадеянность и самолюбие, был недоволен капризами его в личных отношениях, но не переставал глубоко, с болию и печалию любить его» (стр. 223).

В письме к М. К. Рейхель от 22 ноября 1869 г. Герцен дал резко отрицательный отзыв об этой книге (XXI, 528).

В книге А. В. Станкевича приведено немало материалов, говорящих об идейном расхождении между Герценом, Огаревым и Грановским в 1846—1850 гг. Идейный и политический рост Герцена (после ссылки) и Огарева (после возвращения из-за границы), их последовательный революционный демократизм не мог не вступить

* по обязанности (лат.).

** вмешательства (нем.).

*** благонравный человек (нем.).

в противоречие с идеалистическо-либеральными взглядами большинства членов московского кружка и в первую очередь — со взглядами Т. Н. Грановского. Здесь важно отметить указание Герцена на «разность» их взглядов, их политических установок уже в первые годы существования кружка. Кроме того, Т. Н. Грановский отрицательно относился к личной жизни Огарева, что нашло отражение в некоторых его письмах; на это обстоятельство и намекает Герцен.

41

19 ноября ⟨1869 г.⟩. Spezia. H⟨ôte⟩l «Croce di Malta»

Вчера в половину пятого мы выехали из Флоренции. В Пизе я спросил Тату окончательно, ехать ли до Специи или ночевать в Пизе? Она решилась ехать, и я был сам того мнения, что это лучше. Она немного встревожилась тем, что я пошел брать билеты и вешать багаж. Но на дороге заснула; в половину десятого мы были в отеле — в хороших комнатах — поели и легли (Лиза в большой спальной со мной). Ночь Тата спала дурно, все же тревога перемещения не могла не отозваться. Теперь она проснулась совсем здоровая и свежая... 8 часов. Перед глазами залив и горы, все залито солнцем. Дня три здесь должны быть целительны.

Наконец-то Флоренция за нами — я и прежде не любил этот город, а теперь ненавижу. Мейз⟨енбуг⟩ обещалась быть с Ольгой через неделю в Генуе. Ей ехать явно не хочется.

Вчера я писал из Флор⟨енции⟩. Писем два дня не было. Пиши или к Саше, т. е. на его адрес, или сделай опыт писать в Геную — Genova. Poste restante.

Через час пошлю телеграмму.

Прощай.

Тата хочет сама идти со мной телеграфировать.

Тхор⟨жевскому⟩ скажи, что я на него тирировал * вексель в 800 фр., который прошу заплатить при предъявлении.

Несмотря на то, что огромная задача разрешена и главное дело сделано, я вижу опять бездну «черных точек». Пока будет опасность — все пойдет хорошо. Минует она — и снова начнутся ссоры и Hader **, а сил их выносить больше нету.

42

⟨Специя.⟩ 20 нояб⟨ря 1869 г.⟩. После завтрака

Твое письмо с «ребусами» получил[1].

Rebus I. «Я прекращаю этот спор, в котором больше самолюбия и позы господина, чем любви». Это ни к чему не привязано, и потому я даже не понял, у кого «поза господина». Видишь, как в наши лета отстаивание своих мнений взошло в кости.

Прибавлю слово о вендете. Ей нет места — или место и время прошло. Левье совсем растерялся, Пен⟨изи⟩ молчит и, вероятно, ждет ошибки, чтоб перенести все дело в печать. Он живет на содержании двух русских барынь — Бончар и Максимовой⟨...⟩, и от одной есть сын. Это великие интриганки и дряни. А так как поведение Таты было из рук вон неосторожно, то я и не знаю, что можно сделать поздней дракой.

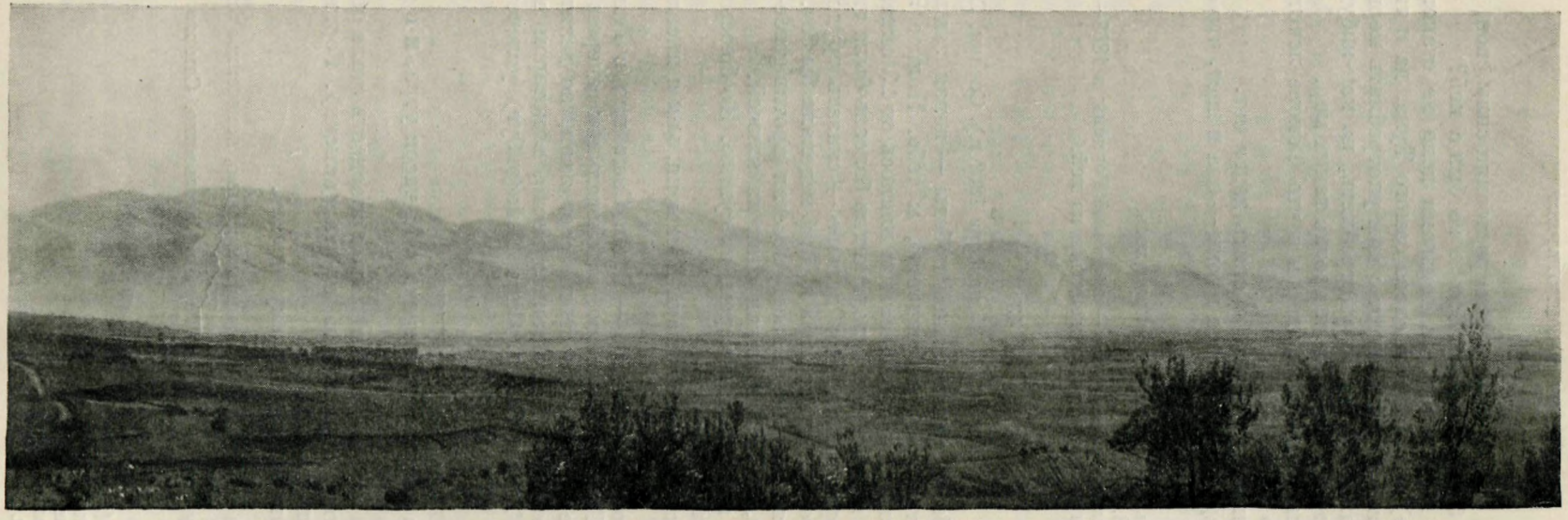
Rebus II. Ты мне говоришь: «Ты ревнив». Может... Но неужели ты загадал эту штуку по поводу моего объяснения о Генри? Неужели я уж до таких геркулесовых столбов смешон?[2]

В разговорах Тата касается всего, — побаиваюсь, — у меня есть письмо к ней Мещер⟨ского⟩[3] — тоже боюсь отдать. Он же уехал в Россию. Мо-

---

* перевел (франц. «tirer ⟨une lettre de change⟩»).

** раздоры (нем.).



ПОНТИЙСКИЕ БОЛОТА

Картина маслом А. А. Иванова, 1840-е гг.

Русский музей, Ленинград

«Печальная Кампанья... сменяется еще более печальными Понтийскими болотами...» («Письма из Франции и Италии»)

жет, он-то бы и спас ее. Бедная, зачем расточила силы свои, зачем запуталась... и зачем не бежала ко мне или я не был с ней?

Отдавай Туца — непременно, за деньгами дело не станет, я припоминаю бакун⟨инское⟩ замечание и слова самого Туда, да и ты говоришь в прошлом письме, что иногда следует с ним употреблять меры строгие... Вероятно, и гувернантка будет их употреблять, но как-нибудь systematisch*. Au reste**, и ты и я мы были против таких мер.

Тхорж⟨евский⟩ пишет, что ты здоров и что Фоконе лечит Мери.

Я Саше напишу о Туце.

Тх⟨оржевский⟩ пишет, что у тебя опять денег нет.

От Сат⟨ина⟩ дочери письмо. Дела плохи — она пишет, что отец совсем опустился.

[1] Упоминаемое письмо Огарева не сохранилось.
[2] См. письмо № 38.
[3] Александр Николаевич *Мещерский* — знакомый Герцена; в 1868—1869 гг. жил в Италии, был влюблен в Тату и хотел жениться на ней.

43

20 нояб⟨ря 1869 г.⟩. Специя. Croce di Malta

Вот, Огарев, тебе документ нашей победы — целая записка, писанная Татой, по собственному побуждению, к тебе. Полное затмение ее ума с⟨о⟩ всеми признаками сумасшествия длилось от 23 октября до 7—8 ноября — ровно две недели, но последние дни болезнь была тише. Теперь она в полном выздоровлении... Что дальше — сказать трудно. Но одно верно, что без нашего приезда и Саша и Шиф наделали бы бед. Когда я на свой страх (и опираясь на свою власть) восстал против garde-malade***, Шиф был недоволен, а в этом лежал один из ключей.

Дороги я теперь не боюсь ни морем, ни сушью. Но боюсь внутренней тоски и случайностей.

Книгу о Гр⟨ановском⟩ я поглощаю. Для меня, как я писал, она повод к воспоминаниям.

Письма, вероятно, в Флоренции — пиши Саше или в Геную — posta firma****. Туда и «Голос». Вероятно, в понедельник вечером поедем.

Жизнь в Париже решительно свыше состояния, но делать нечего — сколько я ни думаю. Это единственное место, в котором можно дать Schwung ***** — и Тате и Ольге. Сама Мейз⟨енбуг⟩ увлечется и отвлечется.

Пока всё.

Телеграмма была послана тебе вчера в 11 часов утра, и в тот же день письмо[1].

Лиза совершенно здорова, с минованием опасности стала опять шалить и начинает объясняться с горничной по-итал⟨ьянски⟩. Горничная очень хороша, мы ее взяли у Саши.

Тургенев писал к Саше, и я ему писал[2].

[1] Вероятно, Герцен имеет в виду предыдущее письмо, помеченное тоже 20 ноября. Телеграмма, о которой идет речь, неизвестна.
[2] Письмо И. С. Тургенева к А. А. Герцену неизвестно. Сам же Герцен писал к Тургеневу 18 ноября 1869 г. (XXI, 526).

---

* систематически (нем.).
** Впрочем (франц.).
*** сиделки (франц.).
**** до востребования (итал.).
***** размах (нем.).

44

25 нояб<ря 1869 г.>. Genova. Albergo Feder

Получил твое письмо. Дело идет хорошо, но есть и решюты*. Проклятая езда с ветурином**(уж ты и это не прими за каверзу, car'ейший***) до того утомила Тату, что возвратились некоторые признаки. Ей было немного тошно, она тотчас сказала, что отравлена и что Пен<изи> еще прежде дал яду Шифу. Я ужаснулся, но дело сошло с рук. Тем не менее еще многое не в порядке. Серьезный разговор, чтение ее утомляют. Она очень раздражительна — сердится за то, что Nat<alie> спит в ее комнате и спрашивает: «Зачем, чего боятся?» Хлопот и уходу будет довольно. Я заметил, что ей вовсе не нужно покоя и одиночества, а скорее внешние развлеченья и занятья. Так обед за table d'hôt'ом,— причем надобно одеваться,— идет до того отлично, что она тебе посылает портреты всех сидящих против нас — и необыкновенно сходные[1].

Насчет Ниццы, я полагаю, ты прав[2], да и Тата ее боится — там есть знакомые, а она думает, что все известно. Можно остановиться в Монако или в Кане. Худшее — это дорога отсюда. В сущности в Италию зимой проезд такой же, как в Воронеж или Вятку. Третий день дождь и вьюга,— море непокойно, а ехать в дилижансе ужасно (22 часа). Вот я и сижу в H<ôte>l Feder и думаю, что делать.

Не могу делить твоей мысли насчет Мейзенбуг. Во-первых, она вовсе не имеет Sitz-Fleisch'a ****, как ты. Она осенью ездила в Мюнхен на оперу Вагнера. Старость ее не бог знать какая — ей 53<-й> год, а я в 57 не пристал еще к скале, как улитка. Она много виновата в беде и, стало, expiation***** падает и на нее. Из Ольги она сделала полупостороннюю и хотела бы из эгоизма, half and half ****** с любовью, ее удержать[3].

Я Ольге не приказываю и не наказываю ее, если она не поедет, но, признаюсь, после бывшего мне хочется и ее спасти. После Мейз<енбуг> из Флоренции калачом не сманишь. О идеализм!

Не сердись на крутые возражения в прошлых письмах. Грановский, по книге С<танкеви>ча, обвинял тебя, спокойнейшего и тихого по виду, «в заносчивой самонадеянности»; ведь, пожалуй, тут есть и правда[4]. Ну что папского во мне,— меня просто человечески бесит,— возражение с высоты, не без персифляжа*******, но без фактов. Источник я понял очень хорошо, но не могу же я не видеть истины. Мешай все человеческие поступки в безответственной пляске рефлексов мозга,— и тогда не ищи колотить мерзавца П<енизи> или разбирай дело, как бы оно ни было печально. Тата шалила и играла с десятью почитателями, начиная с Фрикена[5] и Тхорж<евского> до разных других. Пока люди встречались честные — дело сходило с рук, а встретился подлец да еще комедиант, ну оно и не сошло,— она сначала дошутилась до бед и, испуганная, не знала, что делать, и Саша потерял голову.— А что она сделала из десяти писем, звавших ее в Париж, указывавших на неминуемую опасность? Что сделала из предостережений Мейзенб<уг>, которая виновата в том, что не писала мне и не сказала Саше. Ее мучит (так, как мучило покойную Nat<alie>), что она была обманута, что человек этот подлец. А ведь чуть ли не он отдалил Мещерского, которого, я уверен, она любит. А тут ко всему угрозы мести... Великодушие и сожаление приняли бы иную форму и не дали бы П<енизи>

---

* возвраты болезни (франц. «rechutes»).

** извозчиком (итал. «veturino»).

*** дражайший (образовано от итал. «caro» с присоединением русского окончания превосходной степени).

**** усидчивости (нем.).

***** искупление (франц.).

****** пополам (англ.).

******* вышучивания (франц. «persiflage»).

прав на нее. Теперь она вспоминает все подробности и говорит, даже говорит о времени своего полного безумия. Многое ей больно — она сильно пострадала за неосторожность, но лицеприятно стереть последнего не могу. И мне не легче от этого, но что ж делать!

Прощай.

[1] Приложенные к письму рисунки Н. А. Герцен не сохранились.

[2] В письме от 23 ноября 1869 г. Огарев писал: «Еще раз повторяю, что лучше быть в Париже, чем долго оставаться в Ницце. Ницца не может не произвести худого впечатления на Тату» («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 570).

[3] М. Мейзенбуг последовательно и настойчиво отдаляла Ольгу Герцен от семьи, воспитывая ее, несмотря на постоянные протесты Герцена, как иностранку, чуждую России. Герцен воспринимал это чрезвычайно болезненно.

[4] Герцен, повидимому, имеет в виду расхождение, происшедшее между Грановским и Огаревым в 1846—1850 гг., когда Грановский в своих письмах резко отзывался о личной жизни Огарева и осуждал его брак с Н. А. Тучковой. А. В. Станкевич в своей книге цитирует некоторые из этих писем. См. примеч. 1 к письму № 40.

[5] Алексей Федорович *Фрикен* — искусствовед, живший в шестидесятых годах в Италии; был близок со многими русскими эмигрантами и неоднократно встречался с Герценом.

45

29 ноября ⟨1869 г.⟩. Генуя. H⟨ôte⟩l Feder

К прекращению всех сношений со стороны обрывов и лавин прибавились, *без указаний с моей стороны*, решение не писать в Геную. Caro mio, когда же ты поверишь, что адресы только должно менять, когда я напишу. Теперь поправлять поздно.

Выздоровление Таты продолжается. Она очень несчастна тем, что все помнит. Мне сдается, что Шиф совершенно прав, говоря, что с начала осени у ней голова была не в порядке.

Мейзенбуг и Ольга прибыли благовожделенно. У Мейз⟨енбуг⟩ не с N⟨atalie⟩ guignon'ы*, а со мной. У нее страшное самолюбие, и она хочет себя обмыть в глупой роли, которую играла. Видя мое сомнение, она сердится. Ольгу надобно было спасти, она держала ее, как в больнице, она прививала к ней старость и ничего не сдела⟨ла⟩ для ее истинного развития — она худа и слаба. Мое дело поправлять, но, конечно, не тем, чтоб по твоему совету жить в Париже на два дома, что дорого, вредно и, действительно, неприлично.

Вчера на Аквасоле встретил Поджио[1] — вот тебе и неподвижность старости. Он переезжал теперь Mont Cenis и говорит, что это ужас что было, нанял домик в Нерве (возле Генуи — превосходное место). Я его встретил с Татой и Ольгой.

Бедный дурак Левье, который до того огорчился, что я не хотел его видеть, что бросил практику, стал теперь во главе изведения Пен⟨изи⟩ из Флоренции, и, действительно, не кулачная, а иная месть совершается над негодяем. Вся Флоренция опрокинулась на него. Артистическое общество, к которому он принадлежит, потребовало от него оправданья или выхода. Пен⟨изи⟩ пустил слух, что Саша подкупил Левье, и Левье является обвинителем перед кругом.

Не могу решить, как ехать. Дилижанс ужасен, море кажется тише. Во всяком случае, пиши: France. Nice (Alp⟨es⟩ Marit⟨imes⟩), poste rest⟨ante⟩. Знаешь ли ты, что поездка отсюда до Парижа с 6 челов. и горничной — одними местами стоит до 1000 фр.?

Засим кланяюсь.

Получил превосход⟨ное⟩ письмо от Тургенева[2].

Отошли Чернец⟨кому⟩ записку. Я ее написал, повинуясь вашему совету.

---

* неудачи (франц.).

ПОХОРОНЫ, 12 ЯНВАРЯ 1870 г., ФРАНЦУЗСКОГО ЖУРНАЛИСТА ВИКТОРА НУАРА, УБИТОГО ПРИНЦЕМ ПЬЕРОМ БОНАПАРТОМ

Похороны сопровождались массовой антиправительственной демонстрацией, рассеянной войсками.
Похоронная процессия в Нейльи (близ Парижа) у дома, в котором жил убитый (верхний рисунок)
У здания Законодательного корпуса в Париже (нижний рисунок)

«The Illustrated London News» от 22 января 1870 г.

Герцен был очевидцем демонстрации. Незадолго до смерти, в последнем письме к Огареву от 14 января 1870 г., он писал: «Что будет—не знаю... Но что история совершает свой *акт* здесь—это ясно до очевидности... Я сильно убеждаю тебя прочесть все подробности 12 января...»

Приписка карандашом:

Получил твою записку — неужели ты не знал о прерыве дороги в Mont Cenis?

[1] Александр Викторович *Поджио* (1799—1873) — декабрист, возвратившийся из Сибири в 1859 г.; в 1864 г. он уехал за границу. О его первой встрече с Герценом в Женеве см. в письме Герцена от 1 января 1865 г. (XVIII, 4). Публикуемым письмом устанавливается, что Герцен встретился с Поджио еще раз — в ноябре 1869 г., в Генуе.

[2] Герцен имеет в виду письмо И. С. Тургенева от 25 ноября 1869 г. с выражением сочувствия Герцену по поводу болезни Таты («Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену». Женева, 1892). Ответ Герцена — от 3 декабря 1869 г. (XXI, 532).

46

2 декабря ⟨1869 г.⟩. Ницца. H⟨ôte⟩l d'Europe et d'Amérique

Тата отдохнула — сильная усталь ей вредна, но уставать она должна, и вообще ее надобно занимать, иначе она впадает в мрачное расположение, идущее иногда до сбивчивых понятий и слов. Я собираюсь писать подробную записку для Боткина. Дело *покончeнным* считать нельзя — в будущее я и не смотрю. Твою записку от 29 я на почте взял. Чему же ты дивишься, что тон писем моих печален?[1] Но каким же ему быть? Самое исцеление Таты меня больше облегчает, чем радует,— впереди завеса. Всё черно, и я не могу ни обманывать себя, ни понять, после тысячи споров до слез,— в чем ты со мной несогласен... Мы сложились разрушителями, наше дело было полоть и ломать, для этого отрицать и иронизировать,— ну и теперь, после пятнадцати, двадцати ударов, мы видим, что мы ничего *не создали*, ничего не воспитали. Последствие — или, по просторечью,— наказание — в окружающих, в отношениях к семье, пуще всего к детям[2]. Разница между нами в разных призмах — то, что ты любишь, то у тебя раскрашено в розовый цвет, а когда он мутен, — ты,— по выражению Тхорж⟨евского⟩, за которое ты сердился, не поняв его — «ты занимаешься музыкой и математикой». Я смотрю ненужно верно и вижу страшно верно. Вопреки опытам, я имел в Тату последнюю *веру*, основанную на симпатии, на сходстве ее с покойницей (психически); веру имел, а вестй не умел по внутреннему безобразию прошлых годов. Ну и эта вера обломилась. Я ее люблю больше, может, прежнего, но веры нет. Мне иной раз кажется, что она, невольно, дала уже один удар — à la 1852 и что он не последний. И тут у меня недостает «музыки и математики». Общие интересы спасли бы, но при деятельности, а что нам надобно ⟨?⟩ делать, дела не выдумаешь серьезно. По крайней мере я не могу. Ну что сделал ты и Бак⟨унин⟩ всеми печатными чудесами, которые не могли удаться? И что вышло из всего extra-исторического шатанья языков?[3]

Далее о частном. Ни Мейз⟨енбуг⟩ не позволит мне иметь влияния (т. е. не некоторого, а общего и полного) на Ольгу, ни N⟨atalie⟩ на Лизу. Stumpfness ⟨?⟩ * Мейз⟨енбуг⟩, ее нетерпимость с мягкими словами похожа на сумасшествие. Из Лизы можно бы знаешь что̀ сделать, а она идет в старой колее. И так в детях главная казнь, и казнь, равно падающая на них, как на меня. У меня внутри мороз, когда я думаю об этом. Да где же сила? Поздно действовать силой и авторитетом, после того как мы их подпилили. На слово «*я так хочу*» Мейзенб⟨уг⟩ ответит увозом Ольги — в Мюнхен, не знаю куда, и Ольга *поедет*. Держать ее по праву—я не могу, я не верю этому праву. Nat⟨alie⟩, несмотря на то, что она во многом стала гуманнее, на мое слово «*я так хочу*» скажет: «А я хочу в Старое Акшено». И вот я остаюсь раздраженным свидетелем, который видит перманентную трой-

* тупость (нем.).—*Слово читается предположительно.*

ную ошибку — тройную болезнь и никакого лекарства, а, напротив, искажение всякого леченья.

С Татой, может, я и слажу прежде всего, но и то не надеюсь. Увидим, что сделает Париж, я уже не хочу останавливать и на деньгах, буду тратить *больше дохода* — попробую год... другой.

Я вчера писал Тхоржевскому о высылке немедленно 2000 фр. — сюда, на адрес Hôtel d'Europe et d'Amérique, как только их получу — поеду. Если 4-го, то вечером 5 или 6 утром в Марселе, ночую, на другой день — в Лион. A propos, скажи Тхоржевскому, что если он хочет приехать на сутки в Лион, я могу ему телеграфировать, дня два там мы останемся. Тебе никак не советую делать подобных опытов,— пока нет крайности. Да и Тхор⟨жевскому⟩ объясни, что это не muss, а will *. Туда он может привезти остальные *две тысячи* моего великого займа.

Прощай.

[1] Эта записка Огарева неизвестна.

[2] В XXI томе Собр. соч., под ред. М. К. Лемке, стр. 531—532, напечатана запись «Из дневника» Герцена, почти текстуально повторяющая ту часть публикуемого письма, в которой идет речь о болезни Таты и об отношении Герцена ко всему случившемуся. Предположить, что эта запись — черновик письма к Огареву, — нельзя; элемент обращения, присущий письму, в ней совершенно отсутствует.

[3] *Печатные чудеса* — серия прокламаций, листовок, брошюр и т. п., выпущенных Бакуниным и Нечаевым, при участии Огарева, во время организованной ими т. н. агитационной кампании 1869 г. *Extra-историческое шатание языков* — международные конгрессы конца 1860-х гг.—I Интернационала и буржуазно-демократической «Лиги мира и свободы».

47

⟨Ницца.⟩ 6 декабря, т. е. 24 ноября ⟨1869 г.⟩, т. е.

день вашего рожденья — вот вам и 56[1]. Желаю только нерушимого пищеварения, с ним сварится все, как у меня,— с сахаром и без сахара.

Небольшое нездоровье Таты и из рук вон дождливая погода нас задержали в Ницце; однако послезавтра, 8⟨-го⟩, едем в Марсель, там переночуем и в Лион. Это дорога простая и легкая. Что Тхор⟨жевский⟩ и ты пишете о беспокойстве, о том, что не было писем? Я писал 29 нояб⟨ря⟩, 1 дек⟨абря⟩, 2 дек⟨абря⟩[2]— или это всё Mont Cenis? — зачем же не читаете газет?

A propos к газетам — я перечитал ворох «Голоса» и вспомнил, что новый год близко. Полагаю, что «Голос» и ревю выгоднее выписывать в Париж (дешевле, как можете видеть на обертке). «От⟨ечественные⟩ зап⟨иски⟩» и «Вест⟨ник⟩Евр⟨опы⟩» необходимы, но нужны ли «Москов⟨ские⟩ ведом⟨ости⟩»? Что касается до «Колок⟨ола⟩»—покоряюсь вашим велениям; думаю, что до 1 марта ничего не сделаем и ставлю сильный скептический знак — можно ли что сделать потóм[3].

Ну, часть «кампании» я сделал и вынес ломанье кости, в полный успех верить рано,— раздражение нерв Т⟨аты⟩ очень сильно. Не знаю, что будет по первому толчку посильнее.

Настоящей гармонии нет; по мере того как опасность понижалась... все стали смотреть врозь. Но все же я считаю, что я должен был взять Ольгу. Вред ей уже нанесен сильный.

С ужасом еду начинать парижскую страницу. Стоить эта попытка будет ужасно дорого — а веры нет.

Диабетизм снова напоминает чирьями. Я нашел здесь аптекаря (49 лет) совершенно в той же болезни: он мне дал кой-какие полезные советы.

Пиши: Lyon — poste rest⟨ante⟩.

Прощай.

---

* не требование, а пожелание (нем.).

О Туце писал Тхор⟨жевскому⟩[4], отдавай-ка его совсем, если хорошо. Когда будем вдвоем, можно начать речь и о переезде. Но отчего не в Париж? — и какая же польза переезжать в другой город?

[1] Н. П. Огарев родился 24 ноября (ст. ст.) 1813 г.
[2] Письма Герцена от 29 ноября и 2 декабря 1869 г. см. в наст. публикации. Письмо от 1 декабря неизвестно.
[3] Н. П. Огарев, повидимому, продолжал настаивать на возобновлении «Колокола» (см. XXI, 313, 402).
[4] Это письмо к Тхоржевскому неизвестно.

48

7 декаб⟨ря 1869 г.⟩ Ницца

Что тебе писал Саша — не знаю, но догадываюсь. Тата поступила дурно, неоткровенно, хитрила и нанесла себе два удара, от которых вполне ли спасется — не знаю. Один — болезнь, другой — удаление Мещ⟨ерского⟩. Она несчастна, и мне ее бесконечно жаль. Конечно, нет в мире места, которое больше может доставить интересов, как Париж, но для этого надобно собственное желание. Увидим на месте.

Ты негодуешь часто на меня за возражения, и ты прав, но зачем же ты не обинуясь винишь меня во всяком вздоре? Ex⟨empli⟩ gr⟨atia⟩* ты пишешь: «Мне не верится, чтоб *вы* достигли до наказания судом». Да когда же я писал это? Я совершенно был и есть против этого. Я, рассмотрев дело, сказал, по глубокому убеждению, что его надобно оставить. Судом можно только дойти до скандала. Я вовсе не доволен действиями Саши и Левье, который, чувствуя себя виноватым и одураченным, шумит.

За что гнев на Париж — я не знаю[1], особенно при твоем селюлярном ** порядке жизни. Но об этом толковать еще рано.

Ты, как Елена Сат⟨ина⟩, без детей не хочешь переезжать, а я убежден, что и Туца следует отдать, и малого в 18 лет не держать, как дитя, в доме. Ты смешиваешь акт постановления на ноги — с изгнанием. И Сат⟨и⟩на — тоже. Она поехала теперь со старшим сыном одна в Москву. Всё шалости, и некогда мы над ними смеялись. Втянутый в теперичный омут — я, если б мог, устроил бы всех и ушел бы на край света. Многого не сделаю, я это чувствую, но от настоящего крушения спасу, и спасу я один. Тут выбора нет.

Сегодня была ночью гроза. Погода тяжкая, удушливая при свежести, тучи нависли... За месяц покоя я отдал бы год жизни.

Благо ты видишь Жуковского, спроси его, скоро ли напечатается моя статья о «СПб. ведомостях» и не может ли он доставить тебе ее набор, поправленный мною?[2] Эх, как Вевейский префект пришиб их «Народное дело», полгода не могут оправиться[3].

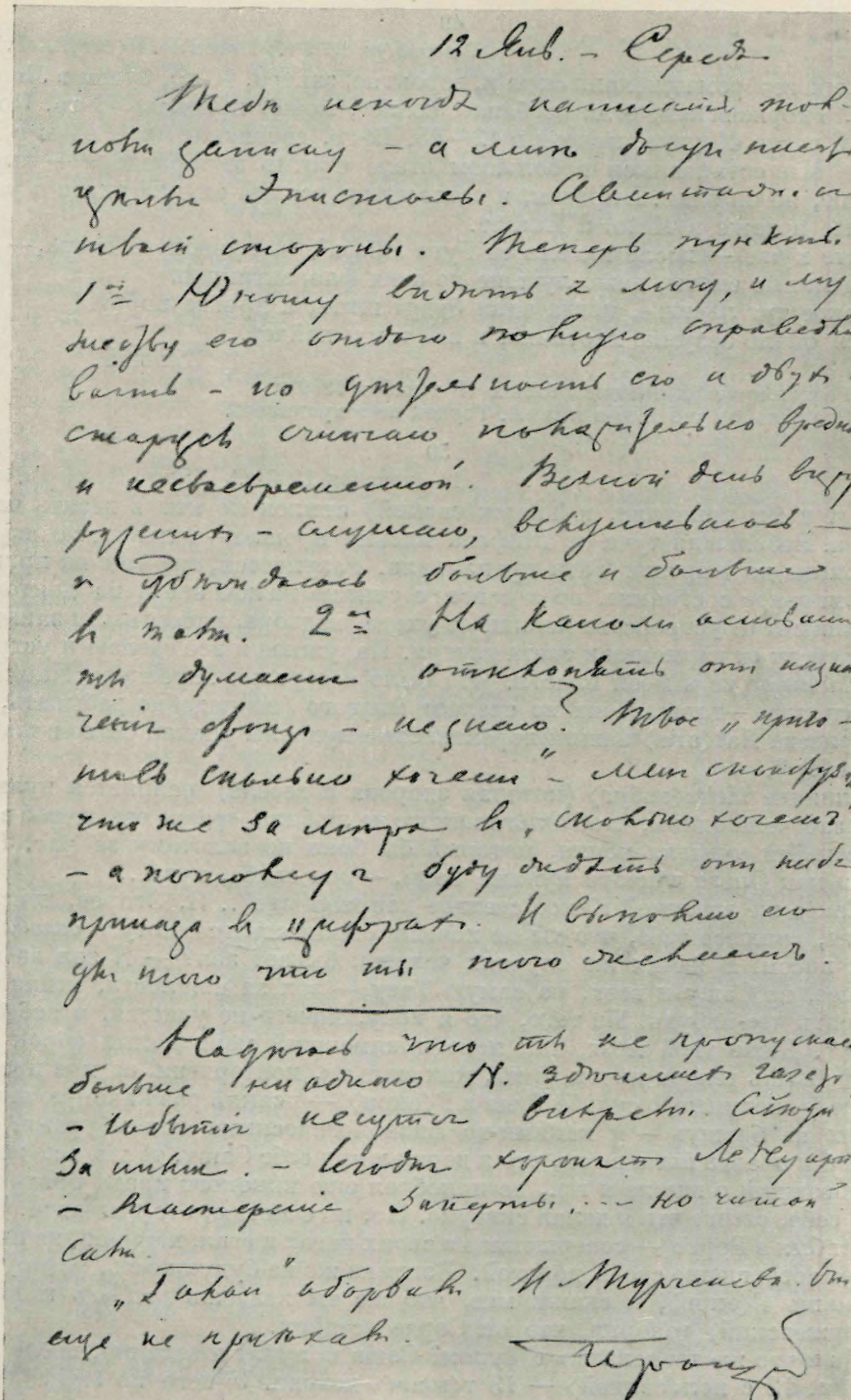
Мы, вероятно, поедем 9-го.

!! Воображаете! — в том же отеле с нами живет Шедо-Ферроти[4].

[1] Письма Огарева, на которые ссылается Герцен, не сохранились, поэтому неизвестно, какие именно возражения выдвигал Огарев против переезда в Париж.
[2] Статья Герцена о «Санкт-Петербургских ведомостях» не была помещена в «Народном деле»; текст ее нам неизвестен. В письме к Огареву от 4 января 1870 г. Герцен спрашивал: «...когда же он ⟨Н. И. Жуковский.— *Ю. Ф.*⟩ даст ответ о моей набранной статье?» (XXI, 547).
[3] *Вевейский префект* — ироническое наименование Бакунина, проживавшего в это время в Веве. Герцен имеет в виду выход Бакунина из состава редакции и сотрудников «Народного дела».
[4] *Шедо-Ферроти* — псевдоним барона Ф. И. Фиркса (см. о нем выше в наст. томе).

---

* например (лат.).
** келейном (франц. «cellulaire»).



12 Янв. — Середа.

Тебе некогда написать тол-
ковую записку — а мне досуг писать
длинные Эпистолы. Авантажи с
твоей стороны. Теперь пункты.
1-е Юношу видеть я могу, и му-
жеству его отдаю полную справедли-
вость — но детскость его и двух
старцев считаю положительно вредной
и несвоевременной. Всякой день вслух
решить — слушаю, вслушиваюсь —
и убеждаюсь больше и больше
в этом. 2-е На каком основании
ты думаешь отклонить от назна-
чения фонд — не знаю. Твое „прино-
шу сколько хочешь" — меня сконфузи[ло],
что же за мера в „сколько хочешь"
— а потому я буду ждать от тебя
приказа в цифрах. И выполню его
уж того что ты того желаешь.

Надеюсь, что ты не пропускаешь
больше ни одного N. здешних газет
— событий не густо вообще. Сюда
за ними. — Сегодня хоронят Ле Нуара
— мастерские заперты, — но чистой
сам.

„Голос" оборвал. И Тургенев. Он
еще не приехал.

[illegible]

АВТОГРАФ ПИСЬМА ГЕРЦЕНА К ОГАРЕВУ ОТ 12 ЯНВАРЯ 1870 г.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

49

9 декаб<ря 1869 г.> Marseille. H<ôte>l Noivilles

Вчера вечером приехали сюда и, вероятно, завтра, 10-го, будем в Лионе, стало, Тхоржевский, если особенно желает, может приехать 11-го. Поезд 1-й в 6 часов 40 утра, приезд в 12—45. 12-го, вероятно, мы поедем в Париж[1]. Мы остановимся в большом отеле против амбаркадера — имени не знаю, но он один. Впрочем, я оставлю на всякий случай адрес в poste restante и даже в Hôtel d'Europe.

Тате хуже — после письма от Гуго Шифа[2], полученного вчера,— что это за милые скоты, даже лучшие из этих флорентийцев.

Какое тут леченье, когда одни будут шить, а другие пороть?

Всё около безумно хаотично, и всё так и пойдет.

Прощай.

[1] Герцен приехал в Париж только 19 декабря 1869 г.

[2] Это письмо Гуго Шифа к Н А. Герцен не сохранилось.

50

11 <декабря 1869 г.> Лион, Hôtel d'Europe

Вот и мы приехали, и Тхорж<евский> явился ко мне в десять часов вечера. Небольшая туча от Шифова письма прошла—только всю дорогу от Ниццы до Марселя Тата проплакала. Разумеется, она еще не пришла в нормальное состояние, но я вовсе не считаю на леченье и на докторов. Все зависит от устройства жизни, от ухода, надзора, рассеянья и занятий, все зависит от гармонии и света внутри. Наружное я все сделаю и устрою, но *остальное* не в моей власти. Что было сообразно характеру Nat<alie> она сделала—дальше она не сделает многого (не надобно забывать, что *без* приезда Nat<alie> наши флорентийские мудрецы упекли бы ее в maison de santé) *.

Влияние Мейз<енбуг> (которая здорова и весела) равняется нулю — она озабочена одним, чтоб Ольга никого не любила, «разве ее», и чтоб в Париже найти учителя пения, который бы брал по золотому за час. В то время как Ольге доктора нужнее Таты,— она слаба, худа...

Какое же занятие? Какое светлое направление?.. Я, Огарев, действительно, дивлюсь тебе, что ты не хочешь оправдать и темноту и *озлобление* моих писем. В каких же случаях человек бывает зол? — Я зол за прошедшее, на Сашу и всех, на самую Тату,— зол за пошлости, мешающие устроить что-нибудь. Из того, что я хочу, ничего не удается, и всё tronqué **. Даже твой мозг, так ясно понимавший меня целых сорок лет, не пробьешь теперь ничем, и ты, как маньяк, повторяешь на мое предложение — подумать о судьбе Туца и Г<енри> — всякий раз какой-то дичью: «Я их не брошу» — и какими-то физиологическими каламбурами <...> Если б и правда была в том, что я держал при себе Сашу, то ты, всю жизнь толковавший о школе и пр., не приобрел еще никакого права противоречить себе, оттого что я делал скверно. Но, по счастию, это неправда. Саша 17 лет был в Берне — совершенно на своих ногах и стал, наконец, на них — и идет совершенно своей дорогой. Взгляни же на будущность, которую ты готовишь Г<енри>, и скажи мне, что же ты делаешь над его головой? Тх<оржевский> говорил, что он Сорде оставил.

Да и что же ты делаешь с Тупом? Саша получит maximum, после моей смерти, 12 с пол<овиной> — 13 т<ысяч> дохода. У него по train *** каким идет дело, будут 8... 10... детей. Им одна дорога труда. Скрыть от них надобно наше тунеядство, а не *вживать их* в него.

Сатинское разорение <не> грозит тебе — пока я жив,— да и после меня, я говорил уже об этом,— ты нужды не будешь иметь. Но для этого

* лечебницу для умалишенных (франц.).

** искалечено (франц.).

*** ходу (франц.).

необходимо же ограничение,—нельзя же делаться remplaçant* отцов, не зная, куда этот патернитет ** приведет, но можно спасти влиянием молодого человека *неработающего* и дать правильный ход в работники ребенку, за которого собственный отец платить готов.

На это ты мне ответишь: «А я их за дверь не выброшу»,— я готов думать, что тебе эти ответы диктуют[1].

Вот отчего до приведения всех этих дел в смысл нечего и думать о переезде[2]. С чего ты взял, что я боюсь —теперь-то — жить в одном городе,— от внешних причин? Во-первых, я ненавижу Женеву, и там с Т⟨атой⟩ жить нельзя, и Ольгу я не повезу на эту скуку. А во-вторых, жить слишком разрозненно в одном городе — больно, и элементов дико неспетых диссонансов, не подходящих стремлений столько, что здоровые сойдут с ума, а не то что больные вылечатся. Одна громадность Парижа может смягчить все это. Но Париж дорог (переезд я устрою и квартиру, если до того дойдет), но по совести, не могу ничего сделать, как для тебя и М⟨ери⟩,— иначе выйдет бестолочь и лучше оставаться в Женеве.

Тата сегодня ужасно нервна и не может еще решиться выйти к Тхорж⟨евскому⟩...

Вероятно, до вторника не уедем.

Вот, старче, до чего мы упили или впили нашу жизнь.

Тхорж⟨евский⟩ будет писать.

Я телегр⟨афировал⟩ Тхорж⟨евскому⟩ вчера[3].

[1] Герцен неоднократно упрекал Огарева в неправильном воспитании Генри и Туца. 13 декабря 1869 г. он писал, что хочет их «спасти от страшнейшей беды — полубарского воспитания, идущего навстречу нищете...» (XXI, 534).

[2] Речь идет о задуманном переезде семьи Герцена в Париж.

[3] Эта телеграмма Герцена неизвестна.

51

⟨Париж.⟩ 27 декабря ⟨1869 г.⟩ 8 Rue Rovigo

Писать нечего, все идет тихо, Татой доволен, всеми остальными недоволен. Теперь уже жалею, что выписал Ольгу и Мал⟨ь⟩виду. Ну, милая идеалистка, она отомстила мне за выход из дома в 1856 году[1]. Ольга (ей стукнуло 18*** лет) не имеет ничего общего с нами, в ней сложили немецко-artistisch****, аристократический взгляд, без каких бы то ни было égards***** и пощад. Ex⟨empli⟩gr⟨atia⟩ ******—она с Мал⟨ь⟩в⟨идой⟩ собирается брать уроки у Вартеля[2], который учил Левиц⟨кую⟩[3], и это ведь будет стоить 4000 фр., а контракта с ним они и не думают делать. (Левиц⟨кая⟩ ему платит 20 т⟨ысяч⟩—за полную, доказанную и подтвержденную, способность вступить в Бол⟨ьшую⟩ оперу)*******. На малейшее возражение с моей стороны — мне показывают зубы. N⟨atalie⟩, разумеется, при всем этом поступает бестактно и валит всё на меня. Одно держит в узде — боятся раздражать Тату. Тата безмерно выше всех этих проделок, самолюбий, ревностей, лишь бы ее спасти! Но год будет тяжелый; я предложу вскоре две квартиры,— а и это не удастся — возвращение во Флоренцию. Тихо и кротко опуская пухлые глаза, Мейз⟨енбуг⟩ мягко ненавидит все наши самые дорогие воззрения и спасает от них Ольгу в старую колею, а сама без ума была от «Vom andern Ufer» ********.

---

* заместителем (франц.).

** отцовство (франц. «paternité»).

*** *Вероятно описка, вместо:* 19.

**** артистический (нем.).

***** уступок (франц.).

****** например (лат.).

******* A propos, Тата переврала: Левиц⟨кую⟩ ангажир⟨уют⟩ на 3 месяца в Cov⟨ent⟩ Garden за 20 000 фр.— *Примеч. Герцена.*

******** «С того берега» (нем.).

Душевно рад, что у тебя завелись опять фортепьяны, я с ужасом услышал, любезный Вишну, что у тебя их не было.

Видел русских, т. е. Выр⟨убова⟩, Боби[4], Рагоз⟨ина⟩[5]. Поеду к Ханыкову[6]. О Чернец⟨кого⟩ деле никто не знает. От Астр⟨аковой⟩[7] письмо — бедствует. Милютину[8], он здесь, настолько лучше, что он свободно говорит, и говорит обо всем. Засим прощай.

Вероятно, завтра покончу с хозяином Rue Rivoli, 172. Пиши.

Герцен

В праздники в Женеве стоит посылать на почту за письмами.

[1] В 1856 г. М. Мейзенбуг, не поладив с Н. А. Тучковой-Огаревой, оставила дом Герцена.

[2] Пьер-Франсуа *Вартель* — певец, профессор Парижской консерватории.

[3] Полина Сергеевна *Левицкая* — родственница Герцена, певица.

[4] *Боби* — П. Д. Боборыкин. О встречах с Герценом см. в его воспоминаниях «За полвека» (М., 1927) и статью в «Русской мысли», 1907, № 11.

[5] Виктор Иванович *Рагозин* (1833—1901) — участник революционного движения шестидесятых годов.

[6] Николай Владимирович *Ханыков* (1822—1878) — известный ориенталист. В 1860—1869 гг. жил в Париже, вращался в эмигрантских кругах.

[7] Письмо Т. А. Астраковой неизвестно.

[8] Николай Алексеевич *Милютин*.

52

⟨Париж.⟩ 12 янв⟨аря 1870 г.⟩ Середа

Тебе некогда написать толком записку, а мне досуг писать целые эпистолы. Авантаж с твоей стороны. Теперь пункты:

1-ое. Юношу[1] видеть я могу и мужеству его отдаю полную справедливость, но деятельность его и двух старцев считаю положительно вредной и несвоевременной. Всякий день вижу русских — слушаю, вслушиваюсь — и убеждаюсь больше и больше в том.

2-ое. На каком основании ты думаешь отклонять от назначения фонд — не знаю? Твое «приготовь сколько хочешь» меня сконфузило; что же за мера в «сколько хочешь», а потому я буду ждать от тебя приказа в цифрах. И выполню его для того, что ты того желаешь[2].

Надеюсь, что ты не пропускаешь больше ни одного № здешних газет, — события несутся вихрем. Следи за ними. Сегодня хоронят Ле Нуара — мастерские заперты[3]... но читай сам.

«Голос» оборвал И. Тургенева[4]. Он еще не приехал.

Прощай.

На обороте: Николаю Платоновичу.

[1] *Юноша* — Сергей Геннадиевич Нечаев (1847—1882). Встретившись впервые с Нечаевым в мае 1869 г., Герцен отнесся к нему очень настороженно и всячески предостерегал Огарева, а также Бакунина — «двух старцев» — от союза с ним. В конце 1869 г. произошел разгром нечаевской организации в России, и Нечаев снова появился за границей. Отношение Герцена к нему было резко отрицательным.

[2] Речь идет, повидимому, о каком-то использовании так называемого «бахметевского фонда». Герцен в 1869 г. передал в распоряжение Огарева половину «бахметевского фонда».

[3] Герцен переехал в Париж в момент нарастания революционного подъема. «Тогдашний Париж, — вспоминал П. Д. Боборыкин, — уже сбрасывал с себя иго Бонапартова режима, оппозиция в палате поднимала голову, происходили и уличные демонстрации ⟨...⟩ Все это волновало Герцена, точно молодого политического бойца. Он ходил всюду, где проявлялось брожение» (XXI, 542). «Здесь хаос, и мы бродим на вулкане», — писал Герцен Огареву (XXI, 505).

[4] В № 354 «Голоса» от 23 декабря 1869 г. (4 января 1870 г.) помещена большая статья, в которой анонимный автор обвинял И. С. Тургенева в отрыве от России и в потере связи с русским обществом. Особенно резко нападал он на воспоминания И. С. Тургенева о Белинском, где якобы давалось «лживое» освещение роли издателя «Отечественных записок». Эта статья была инспирирована А. А. Краевским.

НЕУЧТЕННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПИСЕМ ГЕРЦЕНА

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Составили Л. и Р. Мандельштам

Большинство сохранившихся писем Герцена вошло в Полное собрание его сочинений, вышедшее под редакцией М. К. Лемке (тома I—XXII, 1915—1925 гг.).

В 1927 г. Н. М. Мендельсон опубликовал ряд писем из собрания Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, не попавших в издание Лемке («А. И. Герцен. Новые материалы». К печати приготовил Н. М. Мендельсон.— «Труды Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина»).

Многие письма Герцена опубликованы в «Лит. наследстве», отдельные письма — в других изданиях.

Критический обзор публикаций писем Герцена дан в статье Н. М. Мендельсона «Судьба литературного наследства А. И. Герцена» («Лит. наследство», т. 7-8, 1933). В своем обзоре Н. М. Мендельсон перечисляет письма, не вошедшие в Полное собрание сочинений, а также указывает публикации писем, появившиеся уже после выхода в свет собрания сочинений (до 1933 г. включительно).

В 1941 г. Б. П. Козьмин в своем обзоре «Новые публикации по Герцену в 1934—1940 гг.» («Лит. наследство», т. 41-42) привел перечень писем, опубликованных после выхода в свет обзора Мендельсона, а также указал публикацию, пропущенную Мендельсоном (в «Мурановском сборнике», 1928).

В нашей справке перечислены те письма Герцена, которые опубликованы с 1941 по 1952 г. включительно. Кроме того, в ней указано семь писем Герцена (в том числе одна приписка), упущенные в обзоре Н. М. Мендельсона *.

В 1859 г. Герцен опубликовал в кн. V «Полярной звезды» (стр. 229—230) свое письмо к Т. Карлейлю от 14 апреля 1855 г. Письмо это было пропущено Лемке. Оно перепечатано в настоящем томе «Лит. наследства».

В 1889 г. в «Русской старине» (№ 1, стр. 180) напечатано письмо к А. Ф. Вельтману от 5 марта 1853 г. Во втором издании «Описания рукописей А. И. Герцена» (Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина, 1950) оно числится среди неопубликованных.

В 1903 г., как указал Б. П. Козьмин, было напечатано письмо Герцена от 11 ноября 1846 г. к Б. И. Ордынскому. Письмо это было включено Е. А. Бобровым в биографию Ордынского («Варшавские университетские известия», 1903, № 8, стр. 14—15 и перепечатано в «Лит. наследстве», т. 39-40, 1941).

В 1916 г., в сб. «Русские пропилеи», т. II, М. О. Гершензон привел коротенькую записку Герцена к Огареву от 3 мая 1839 г. (стр. 144).

И, наконец, в 1922 г., в «Сборнике Пушкинского дома на 1923 год» (стр. 282) опубликована записка Герцена от 1859 г., адресованная юристу Дмитрию Васильевичу Стасову. Автор публикации, В. Д. Комарова (дочь Д. В. Стасова), упоминает (стр. 276) о какой-то корреспонденции М. Н. Каткова в «Колокол».

Кроме того, в обзоре Н. М. Мендельсона остались неуказанными: 1) опубликованное в книге «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых» (1930) небольшое письмо Герцена к Н. А. Тучковой-Огаревой от 12 июня 1856 г. (напечатано в тексте воспоминаний

---

* В обзоре допущена также небольшая неточность: письмо Герцена к В. П. Гаевскому («Каторга и ссылка», № 1/50) опубликовано не в 1928, а в 1929 г. Укажем также, в дополнение к замечаниям Н. М. Мендельсона, что М. К. Лемке ошибочно сообщает, будто приписка Герцена к письму В. И. Кельсиеву от 17 октября 1865 г. публикуется впервые (XXII, 139). Эта приписка была опубликована (как часть письма Огарева, без указания на авторство Герцена) под датой 17 октября (1866 или 1867 г.) в «Русской старине» за 1889 г. (№ 1, стр. 187).

Н. А. Тучковой-Огаревой, стр. 263); 2) приписка Герцена к письму Огарева Лизе Герцен от 15 января 1866 г. (стр. 37).

В 1937 г. в «Правде» (№ 92) была помещена предварительная (не совсем точная) публикация отрывков из писем Герцена к Евгению и Диомиду Васильевичам Пассекам (от 1833 г.).

Значительное количество писем Герцена опубликовано в двух томах «Лит. наследства» 1941 г., посвященных Герцену.

В первом герценовском томе (№ 39-40) помещены следующие публикации писем Герцена:

Семь писем к Евгению и Диомиду Пассекам с 15 января по начало июля 1833 г. В двух письмах приписки к М. Носкову.— Публикация М. Финкеля и А. Белецкого.

Три записки к Т. Н. и Е. Б. Грановским (от 29 мая 1843 г. и от 1843—1844 гг.) и дарственная надпись (от 6 августа 1848 г.) на обороте изображения Капитолия, посланного Е. Б. Грановской.— Публикация О. Поповой.— В приложении к этой публикации напечатана приписка Герцена к письму Н. М. Щепкина (от 20 июня 1857 г.), адресованному А. В. Щепкиной.

Тридцать пять писем к Г. И. Ключареву, поверенному Герцена по денежным делам (с марта 1847 г. по февраль 1850 г.).— Публикация М. Клевенского.

Три записки к М. И. Жихареву (от 5 и 7 мая 1860 г., а также от 8 марта 1863 г.).— Публикация О. Шереметевой.

Письмо к Б. И. Ордынскому (см. предыд. стр.); письмо к И. С. Аксакову (от ноября 1861 г.); письмо в редакцию газеты «Le Nord» (от декабря 1861 г.); письмо к неизвестному (1869 г.?); письмо к Д. Маццини (май 1866 г.— отрывок). — Публикация Б. Козьмина.

Письмо к английскому журналисту М.-Р. Леверсону (от 3 марта 1858 г.).— Публикация В. Головчинер*.

Во втором герценовском томе «Лит. наследства» (№ 41-42) опубликовано 6 писем:

Четыре письма к М. А. Бакунину, в том числе две приписки к письмам Огарева и А. А. Герцена (от 21 апреля, 8 мая, 8 июля и от 1 сентября 1863 г.) **; письмо к А. А. Герцену и Феликсу, участнику «Экспедиции Лапинского» (приписка к письму Огарева от 11 июня 1863 г.); письмо к Н. А. Огаревой и Лизе Герцен (от 19 августа 1869 г.).— Публикация З. Кеменевой.— В тексте включенного в эту же публикацию письма М. Ф. Корш к Ю. Б. Мюльгаузен (сестре Е. Б. Грановской) — несколько приветственных слов, вписанных Герценом (январь или февраль 1848 г.).

В 1945 г. в «Лит. газете» (№ 5) опубликованы два письма Герцена: письмо к В. С. Печерину (от 21 мая 1862 г.) и письмо к Густаву Фогту (от 19 марта 1863 г.; написано совместно с Огаревым).

В 1950 г. в «Звеньях» (кн. 8) опубликовано двенадцать писем Герцена: письмо к К. И. Арсеньеву (от 5 февраля 1842 г.), письмо к министру юстиции Бельгии (от 5 октября 1859 г.), письмо и записка к Д. Б. Каншину (от 7 июня 1858 г. и от 14 июня 1859 г.?), письмо к Н. А. и Н. П. Огаревым (от 7 марта 1853 г.?), три письма к Кристину Островскому (от 14 и 21 октября и 17 ноября 1857 г.) ***, записка к неустановленному лицу (от 5 мая 1859 г.), письмо министру внутренних дел гр. А. Г. Строганову (от 14 июля 1841 г.), два письма к директору канцелярии министерства внутренних дел К. К. фон-Полю (от конца декабря 1841 г. и от 27 января 1842 г.). Последние три письма помещены среди официальной переписки по делам Герцена.— Публикация Л. Барсуковой.

Во втором из томов «Лит. наследства», посвященных Белинскому (№ 56, 1950), помещены три неизданные письма Герцена:

Отрывок из письма к Огареву (от 15 ноября 1839 г.).— Публикация Я. Черняка.

Письмо В. Г. Белинскому (от мая 1842 г.)— приписка к письму Т. Н. Грановского.— Публикация Леонида Каплана.

Письмо к Н. М. Щепкину (от 10—12 марта 1846 г.).— Публикация Натальи Эфрос.

В нашей справке учтены только те письма Герцена, которые напечатаны в пределах СССР.

---

* Напечатанное П. Дьяконовым в «Лит. наследстве», т. 39-40, 1941, письмо к Е. В. Салиас де Турнемир (от 23 июня 1863 г.) принадлежит не Герцену, а Огареву. См. об этом в обзоре Я. З. Черняка «Фонд Н. П. Огарева», напечатанном в «Записках Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. 12. М., 1951, стр. 69.

** Письмо Герцена от 1 сентября было напечатано с черновика М. П. Драгомановым (в книге: «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву». Женева, 1896) и перепечатано (без сличения с чистовой рукописью) М. К. Лемке (XVI, 490—493).

*** Второе из этих писем опубликовано в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК» (1937, № 83) и учтено в обзоре Б. П. Козьмина.

Н. П. ОГАРЕВ

Портрет маслом неизвестного художника, 1830-е гг.

Исторический музей, Москва

ОГАРЕВ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ. ПУБЛИЦИСТИКА. АГИТАЦИОННЫЕ И ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О РЕВОЛЮЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ (1859—1861 гг.)

Статья и публикация М. Нечкиной

ВОПРОС О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНАХ ОТКРЫТОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ В КОНЦЕ ПЯТИДЕСЯТЫХ — НАЧАЛЕ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

1

В «пражской коллекции» Герцена и Огарева, входящей в состав фондов Русского заграничного исторического архива ЦГАОР, хранятся ценнейшие документы по истории русского революционного движения конца пятидесятых — начала шестидесятых годов. Они относятся к наименее изученной в исторической литературе теме первостепенной важности — к вопросам о создании русской революционной организации, о подготовке открытого выступления, о конспиративной деятельности русских «революционеров 1861-го года» (Ленин) [1].

Советские историки кладут в основу изучения революционного движения в России известную периодизацию, данную Лениным [2]. Период дворянской революционности сменяется, как указал Ленин, разночинским периодом, за ним следует пролетарский период русской революционной борьбы. Периодизация эта установлена Лениным в соответствии с тремя классами, сменявшими друг друга в истории русской революции и налагавшими свою печать на движение. Пролетарский период революционного движения ознаменован тремя революциями, из которых последняя — Великая Октябрьская социалистическая революция — положила начало новой эре в истории человечества, уничтожила эксплуатацию человека человеком и открыла человечеству путь в будущее. Советский народ построил социализм и уверенно идет к коммунизму.

Вопросы конспиративной деятельности русских революционеров, создания революционных организаций, их внутренней истории, подготовки открытого выступления — освещены в литературе о трех периодах русского революционного движения крайне неравномерно. Едва ли мы ошибемся, если скажем, что эти проблемы наименее разработаны для второго — разночинского — этапа русской революционной борьбы.

Изучая славный путь русского революционного движения, который Ленин начинает восстанием декабристов, историк, исследующий первый этап движения, вполне может по многочисленным архивным документам декабристов (главным образом на основании их следственного дела) восстановить историю первой русской революционной организации, начиная с самых ранних ее этапов. Можно проследить, как формировалось тайное общество, как созревала в нем идея открытого революционного выступления, как было подготовлено первое в истории русского революционного движения открытое восстание с оружием в руках во имя ликвидации крепостного права и уничтожения самодержавия. Но именно эти вопросы являются наиболее темными для второго — разночинского — этапа русской революционной борьбы. Революционная ситуация 1859—1861 гг. так и не перешла в революцию, открытого революционного выступления не произошло. Между выступлением первых русских революционеров

в декабре 1825 г. и декабрьским вооруженным восстанием 1905 года,— нет крупных открытых выступлений, подготовленных и руководимых революционной организацией. Однако мысль о необходимости создать революционную организацию и готовить открытое выступление получила свое дальнейшее развитие сейчас же после восстания декабристов. Она налицо даже в слабых студенческих кружках конца двадцатых — начала тридцатых годов: в кружках братьев Критских, Сунгурова, в студенческой организации, сложившейся вокруг молодых Герцена и Огарева. Мысль о создании тайного общества и о подготовке открытого выступления зреет и среди петрашевцев. Их общество было разгромлено царским правительством в 1849 г., как раз в момент созревания этих вопросов. 1862 год считается в литературе годом создания значительной революционной организации — первой «Земли и Воли». Но то десятилетие, которое отделяет общество петрашевцев от «Земли и Воли» шестидесятых годов, в сущности является «белым пятном» в истории интересующих нас вопросов,— они чаще всего молчаливо снимаются в исторических работах. Изучение революционного движения этих лет обычно ограничивается характеристикой революционных идей, и деятельность революционеров как-то замыкается в рамки кабинетно-авторской или редакционной работы (Чернышевского и Добролюбова в «Современнике», Герцена и Огарева — преимущественно в «Колоколе»). Даже для периода революционной ситуации 1859—1861 гг. обычно не ставятся вопросы о конспиративной деятельности русских революционеров, о замыслах создания революционной организации и планах открытого выступления. Эти вопросы в неясной форме возникают лишь для последующих лет, но и тут остаются неосвещенными: специальной исследовательской работы о «Земле и Воле» шестидесятых годов пока еще не опубликовано. Таким образом важный компонент в создании революционной ситуации оказывается недостаточно изученным, и существенные вопросы, поставленные выше, нередко обходятся молчанием даже в специальной монографической литературе о Герцене и Чернышевском, вышедшей за последние годы [3]. Неизученность вопроса благоприятствует либеральной концепции, утверждающей, что Герцен и Огарев в годы революционной ситуации стояли по ту сторону революционной баррикады, в общем подпевали русскому правительству, занявшемуся реформой (хотя и критиковали его в отдельных случаях), а на революционные позиции перешли якобы лишь после реформы, когда убедились в ее неудаче, узнали о Бездинском расстреле, о высоко поднявшейся волне крестьянского протеста против царской «воли».

Изучение узловых вопросов революционного движения первой половины XIX в. базируется преимущественно на следственно-судебных материалах: декабристы, кружок Критских, кружок Сунгурова, общество Петрашевского изучаются в немалой доле на основании следственных показаний и судебных приговоров. Но следственные материалы шестидесятых годов крайне скупы и на многие вопросы отвечают молчанием: «революционеры 1861-го года» оказались прекрасными конспираторами. Чернышевский, брошенный в Петропавловскую крепость, так и не признался в авторстве прокламации «Барским крестьянам», а В. Обручев, несмотря на все меры давления в стенах тюрьмы, не выдал имени лица, от которого получил прокламации «Великорусс» — мы так и не знаем этого имени. На многие вопросы такого же характера мы не можем еще дать ответа. Чернышевский считал, что имя его жены «принадлежит истории» — почему? Ответ можно предположить один — вероятно, потому, что Ольга Сократовна Чернышевская принимала участие в конспиративной работе. Но какое именно? Вероятно, значительное, если Чернышевский считал, что ее имя будет в числе тех имен, которые будут милы людям, несмотря на прошедшие «сотни лет» («наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена всё еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами» [4]). Немало прямых указаний «революционеров 1861-го года» на их конспиративную работу доселе остается для нас неясным, неисследованным. Едва ли кто-либо усомнится, что Добролюбов говорит о конспиративной работе в следующих стихотворных строках, относящихся ко времени революционной ситуации:

Я — ваш, друзья,— хочу быть вашим
На труд и битву я готов,—
Лишь бы начать в союзе нашем
Живое дело вместо слов[5].

Но о каком союзе идет речь и что именно имеет в виду Добролюбов — попытки ответить на этот вопрос нет в исследовательской литературе.

Революционное поколение пятидесятых и шестидесятых годов оставило мало мемуарных свидетельств о конспиративной работе, было крайне скупо на конкретные факты и имена. Даже самые подробные и блестящие по художественным достоинствам воспоминания Герцена — «Былое и думы» покрывают молчанием многие важнейшие конспиративные события своего времени (например, приезд Чернышевского в Лондон в 1859 г.). Тем бо́льшую ценность приобретают для исследователя новые архивные материалы, входящие в «пражскую коллекцию».

Настоящая публикация содержит полный текст пяти неопубликованных документов из этой коллекции, по-новому освещающих вопрос о конспиративной деятельности русских революционеров в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов. Тексты этих документов *впервые публикуются полностью*. Ранее они были лишь частично цитированы в моей работе «Н. П. Огарев в годы революционной ситуации», опубликованной в 1947 г. в «Известиях Академии Наук СССР»[6]. Отдельные выдержки из этих же документов приводились также в нескольких неопубликованных диссертационных работах и в текстах соответствующих авторефератов[7].

Цель настоящей статьи — охарактеризовать содержание документов, выдвинуть основания для их датировки и поставить главные исследовательские вопросы, вытекающие из содержания вновь публикуемых материалов. Полное исследование этих вопросов может быть развернуто лишь в работе монографического характера[8].

О чем же говорят публикуемые документы и какие вопросы ставят они перед исследователями русского революционного движения?

Для того чтобы правильно подойти к раскрытию содержания новых документов, необходимо вспомнить о некоторых существенных особенностях мировоззрения и деятельности Герцена и Огарева в их молодые годы.

2

Общий замысел Герцена и Огарева создать в России тайную организацию для революционной борьбы, имеющей целью утверждение нового общественного строя, возникает у них еще в студенческом кружке самого начала тридцатых годов, если не раньше. Это засвидетельствовано самим Герценом: «Мы вошли в аудиторию с твердой целью в ней *основать зерно общества по образу и подобию декабристов* и потому искали прозелитов и последователей» (XIII, 574; подчеркнуто мною.—*М. Н.*). Далее, раскрывая тематику горячей юношеской агитации, Герцен пишет: «...мы проповедовали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе...» (XIII, 575).

Какой именно характер носила эта проповедь? «Пуще всего», по тому же свидетельству, члены кружка «проповедовали ненависть ко всякому насилию, ко всякому правительственному произволу» — здесь уясняется их общая позиция по отношению к самодержавию. Если вспомнить клятву юных Герцена и Огарева на Воробьевых горах после казни декабристов — «посвятить всю жизнь на избранную нами борьбу» и еще более раннюю клятву одного Герцена в Кремле (в июле 1826 г.) во время благодарственного молебна царя за «успешную» казнь декабристов—клятву мальчика 14 лет, обрекавшего себя «на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками» (VIII, 225), становится совершенно ясен генезис идеи о тайном обществе. Эта идея была и развитием уже создавшейся в годы декабристов русской революционной традиции и естественной формой замысла организации сил на новом этапе борьбы.

Отсюда ясен и смысл герценовских слов: «...из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и <...> мы будем в ней» (XII, 108). «Фаланга», идущая вслед за декабристами, конечно, не мыслится как случайная,

разрозненная толпа, а, очевидно, представляется Герцену как организация. И члены содружества Герцена и Огарева рассматривали свой кружок как предшественника такой организации.

Публикуемая в настоящем томе «Лит. наследства» «Моя исповедь» Огарева доносит до нас даже еще более раннюю форму того же решения: оказывается еще до вступления в университет друзья решили составить «литературный круг, нечто вроде своей академии», но отец Огарева догадался о тайной цели «академии» и решительно запретил подобные сборища в своем доме, усмотрев в них путь «к политическим обществам». Намерение это возникло вскоре после клятвы на Воробьевых горах[9].

Поступив в университет и организовав кружок, Огарев и Герцен сделали свой замысел еще тогда достоянием товарищей,— об этом говорит не только приведенное выше прямое свидетельство Герцена, но также «Исповедь лишнего человека» Огарева. Последняя также доносит этот замысел с полной ясностью:

Я помню комнатку аршинов в пять,
Кровать, да стул, да стол с свечою сальной...
И тут втроем мы — дети декабристов
И мира нового ученики,
Ученики Фурье и Сен-Симона,—
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
Народу и его освобожденью,
Основою положим социализм,
И чтоб достичь священной нашей цели,
Мы общество должны составить втайне
И втайне шаг за шаг распространять[10].

Идея создания тайного общества была вполне закономерной, и следует удивляться не тому, что Огарев и Герцен и позже, в пятидесятых годах, разрабатывали план создания тайной организации, а тому, что наша исследовательская литература столь мало обращала внимания на историю этой плодотворной идеи русского революционного движения на отрезке времени между восстанием декабристов 1825 г. и крестьянской реформой 1861 г. Эта идея вообще никогда не уходила из русского революционного движения. Нет сомнений, замечание Герцена о том, что он в годы университетского кружка «с <...> безумной неосторожностью делал пропаганду» (XII, 108), относится и к этому замыслу — организации тайного общества. Идея эта не покидала русское революционное движение и в последующие годы — деятели движения в период между 1830 и 1861 гг. вовсе не полагали, что только устная агитация и пропаганда печатным словом являются единственно приемлемыми формами практической деятельности людей, отдающих себя идее общественного преобразования. «Дело Петрашевского напомнило о *необходимости тайных обществ* там, где явные общества недозволены»[11],— писал в предисловии к сборнику «Потаенная русская литература» тот же Огарев, которого Герцен и в 1859 г. по-старому называл в своем письме «другом Воробьевских гор» (X, 80). Герцен, вспоминая в 1855 г. свою отроческую клятву в московском Кремле, утверждал, что он продолжает стоять «под тем же знаменем, которого не покидал ни разу...» (VIII, 225). Следовательно, постоянство принятого революционного принципа, его неизменность в основном были существенной чертой революционного мировоззрения Огарева и Герцена по их собственному мнению.

Поэтому неудивительно, что после приезда Огарева за границу в 1856 г. идея создания тайной организации возникла вновь в новой обстановке.

3

Огарев привез с собой из России атмосферу общественного оживления, начавшегося после Крымской войны и вызванного общим кризисом крепостного строя. Подъем общественного движения в России явственно сказывался и на отношении русских читателей к изданиям Вольной русской типографии: прежнее затишье

сменилось гулом дружеских голосов, и сотни рук тянулись «из-за кордона» к изданиям Герцена и Огарева. «В мае месяце 1856 года вышла вторая книжка „Полярной звезды"; она разошлась, увлекая за собой все остальное»,— вспоминали Герцен и Огарев об этом переломе в своем предисловии к сборнику «Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне» (1863). «Вся масса книг тронулась. В начале 1857 года не было больше в типографии ничего печатного <...>» (XVI, 134).

Самая встреча друзей в этом же, 1856 г. оказалась стимулом для созревания нового замысла. Опубликованная Б. П. Козьминым в 1941 году в т. 39-40 «Лит. наследства» «Записка о тайном обществе» Огарева и возникает именно в этой атмосфере. Она относится, как теперь устанавливается, к началу 1857 г., прежнюю ее датировку, предложенную Б. П. Козьминым, необходимо заменить более точной [12].

Публикуя «Записку о тайном обществе», Б. П. Козьмин находил, что она «чрезвычайно характерна для политических настроений Огарева накануне отмены крепостного права» и в силу этого считал, что «записку можно датировать 1860 годом». Комментатор опирался при этом на имевшуюся в рукописи формулировку, говорившую о необходимости освобождения крестьян от крепостного права, иначе говоря, базировался на том несомненном факте, что рукопись написана *до* 1861 г. Однако более пристальное изучение вопроса показало, что имеются серьезные основания для уточнения приведенной выше датировки.

Как указано Б. П. Козьминым, «Записка о тайном обществе» «воспроизводится по записной книжке Огарева № 22, хранящейся в Рукописном отделении Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина». Обращение к подлиннику дало довольно неожиданные результаты. Оказывается, часть своих аргументов по датировке Б. П. Козьмин почерпнул совсем из другой рукописи, которая находилась на отдельном листке и была ошибочно подшита (Е. А. Некрасовой) в тетрадь № 22, к тексту интересующей нас записки. Б. П. Козьмин принял этот вложенный листок за действительный конец «Записки о тайном обществе» и подкрепил содержанием этого отдельного листка свою неточную датировку всего документа в целом [13].

Между тем самое положение «Записки о тайном обществе» в тетради № 22 позволяет датировать ее более точно. Записная книжка Огарева за № 22 представляет собою переплетенную, цельную тетрадь одинаковой бумаги (с водяным знаком 1854 г.); тетрадь эта последовательно заполнялась новыми записями. Открывает ее «Записка о тайном обществе». За нею следует текст «Что сделано для освобождения крепостных людей», являющийся заметкой о действиях Главного секретного комитета, организованного Александром II в январе 1857 г. Заметка была напечатана в 1-м листе «Колокола» от 1 июля 1857 г. Вслед за этой заметкой идет письмо к А. В. Головнину, датируемое мартом—апрелем 1857 г. [14] За ним следуют еще две записи и далее часть статьи об «Отчете г. министра внутренних дел за 1855 год», также опубликованной в 1-м листе «Колокола» от 1 июля 1857 г. Таким образом «Записка о тайном обществе», несомненно, относится к 1857 г. и написана ранее статей, опубликованных в 1-м листе «Колокола» и ранее весеннего письма к А. В. Головнину. Отсюда ясно, что мы должны отнести «Записку о тайном обществе» к началу 1857 г.

Заметим, что в этой же тетради № 22, после записи «Отчет г. министра внутренних дел за 1855 год», находится статья «Что бы сделал Петр Великий?», написанная, следовательно, *позже* интересующей нас «Записки о тайном обществе». С. Переселенков, опубликовавший в «Лит. наследстве» статью «Что бы сделал Петр Великий?», правильно отнес ее к самому началу царствования Александра II, «к 1856 г. или к первой половине 1857 г.», так как она «находится в тетради, где помещены другие работы Огарева, заведомо относящиеся к этому времени» [15]. Уже одно это могло бы обратить внимание публикатора «Записки о тайном обществе» на неправильность предположенной им датировки: ведь публиковавшийся им документ был расположен в тетради *ранее* статьи «Что бы сделал Петр Великий?». Из всего сказанного ясно, что датировка интересующего нас документа 1860 годом ошибочна: «Записка о тайном обществе» должна датироваться началом 1857 года.

Основной смысл «Записки о тайном обществе» — горячий и убежденный призыв приступить к практической организации русского тайного общества. Для чего же?

Какую основную цель должна поставить перед собой тайная организация? В «Записке» цель эта определена как новое общественное устройство, отвечающее идеалу «полезного в общественном смысле» или такому строю, который обеспечивает «свободу личности» и ее «равное распределение в общественном устройстве», т. е. примиряет эту свободу с необходимостью существования человеческого коллектива. Таким образом речь идет о строе, примиряющем свободу личности с коллективом. Нетрудно узнать в этой формулировке давно знакомые исходные предпосылки построений утопического социализма. «...Что значит полезное в общественном смысле?» — спрашивает Огарев в «Записке» — и продолжает: «Я смело отвечу: все, что клонится к свободе личности и к равному распределению ее в общественном устройстве, словом, все, что может хотя приблизительно примирить несгнетаемую независимость лица и его действий с необходимостью рода людского, лежащею in natura rerum *, жить стадом. Я думаю, это самое общее выражение смысла *полезного*». Вот во имя этого «полезного в общественном смысле» и предполагает Огарев прежде всего борьбу за завоевание главной, по его мнению, предпосылки, обеспечивающей достижение цели — за «ясность мысли» в головах независимых людей и за соответствие поступка с мыслью. Тогда будет обеспечено, по его мнению, решающее средство достигнуть «полезного в общественном смысле». В самом начале «Записки» мы читаем: «Что же делает личность внутренне свободною? Ясность мысли и адэкватность поступка с мыслью. Что делает личность независимою? Немешание окружающей среды ясно мыслить и действовать. Итак, полезное в общественном смысле — это знание, т. е. наука, и отстранение препятствий, мешающих человеку ясно мыслить и действовать». Таким образом, во-первых, необходимо распространение истинной науки, знания, которое внесло бы ясность в головы людей и обеспечило бы правильность их действий. Иначе говоря, нужна прежде всего агитация и научная пропаганда, завоевывающая сторонников нового, расширяющая кадры борцов против обветшалого старого.

Если будет разрешена эта первая и важная задача, а именно — внесение ясности в головы людей, усвоение ими истинного понимания действительности и устранение препятствий, мешающих им ясно понимать действительность, тогда, думает Огарев, возможно будет достичь и необходимого общественного преобразования. Это преобразование Огарев называет в «Записке» «гражданскими реформами», поясняя далее: «гражданские реформы, т. е. приобретение права гражданства», а еще ниже уточняет, что речь идет о «приобретении гражданских прав, *сообразных с нашими понятиями*». Еще дальше слова «гражданские реформы» пояснены как «*практические* гражданские реформы» (подчеркнуто мною.— *М. Н.*).

Итак, речь идет о глубоком преобразовании общества, характер которого и Герцен и Огарев давно и многократно определяли, вырабатывая свое мировоззрение; это был идеал нового — социалистического — общественного устройства, в котором не было бы эксплуатации человека человеком. Речь идет, разумеется, об идеале утопического социализма, в котором нет «ни грана» социализма научного,— утопический социализм на деле был лишь оболочкой буржуазного революционно-демократического мировоззрения. Правильных путей к социализму утопические социалисты — Герцен и Огарев,— конечно, еще не знали и, остановившись «перед историческим материализмом», и не могли знать. Но, вдумываясь в очередные исторические задачи, разрешение которых двигало бы их к цели, они правильно наметили борьбу за разрушение крепостного права и самодержавия, старого царского чиновно-бюрократического строя, который они ненавидели всей душой. Бороться за эти большие исторические цели они решили не в одиночку, и не вдвоем, а путем создания тайного политического общества, которое «полезно, возможно и необходимо».

На первых же страницах своей «Записки» Огарев обсуждает вопрос: «Должно ли быть это общество исключительно русское или повсеместное? Последнее увлекательно широкостью своей задачи...». Из этой постановки вопроса еще раз с несомненностью явствует, что речь идет о большом, принципиального характера общественном перевороте, о широком общем идеале утопического социализма. Социализм мыслился

* в природе вещей (лат.).

утопистами как новое общественное состояние, равно желательное для всех стран, его еще не достигла ни одна страна, он — цель человечества. Отсюда — постановка вопроса о возможности и желательности «повсеместного» тайного общества, т. е. общества во всех странах, которое боролось бы за новый строй повсеместно, стремилось бы реализовать указанный выше социалистический общественный идеал. Однако вопрос этот поднимался Огаревым и Герценом после 1848 г., когда ими уже были поставлены под сомнение революционные возможности Западной Европы. Буржуазия Франции в 1848 г. предала и раздавила борьбу пролетариата. «...Искреннего центра общества с европейцами не составишь в настоящее время»,— пишет Огарев в «Записке». Поэтому он и не ставит в данный момент этой задачи перед тайным обществом. Но создание общеевропейской или даже «повсеместной» организации тайного общества отклонено автором не с теоретических позиций (теоретически такая задача, по его мнению, была бы правильна), а с позиций чисто практической политики: «...исключительно русское общество для нас возможнее, и потому начинать надо с него».

Русское же тайное общество, создаваемое во имя выполнения поставленного общественного идеала, должно быть организовано, по Огареву, следующим образом.

Прежде всего создается руководящий центр тайного общества. Центр этот не имеет «нужды во многолюдстве»; он должен быть немногочисленным, но глубоко спаянным полнейшим и нерушимым единством убеждений и принимаемых решений: «центр должен быть искренен, как бы одно лицо». Понимание центром положения вещей должно быть «энциклопедическим»: «Записка» полагает, что члены руководящего центра «должны выражать три отрасли знания: естествознание (от математики до медицины и техники), экономическую науку и юриспруденцию».

Печатный орган — необходимое орудие центра: «Центр должен иметь свой орган в печати, где бы его понятия высказывались как можно более цельно». «Записка» содержит самую широкую просветительную программу пропаганды положительных знаний; в этом отношении она — замечательный документ русского революционного просветительства. «Записка» характеризует обширную систему мероприятий, над которыми должно работать тайное общество. Перечислим их кратко, поскольку «Записка» опубликована и уже десять лет находится в руках исследователей.

«Записка» предлагает одиннадцать крупных пунктов программы, помеченных латинскими буквами от A до L (с пропуском буквы J) и добавляет к ним еще семь «частных вопросов» (продолжая их нумерацию теми же латинскими буквами от M до S).

Приводим это тематическое членение основной практической задачи в программе Огарева:

A) Финансовый оборот для выкупа крепостных людей с землею.

B) Государственные крестьяне.

C) Чиновничество.

D) Промышленность.

E) Народное образование.

F) Духовенство.

G) Среднее сословие.

H) Значение капиталов в России, их количество, ценность, оборот. Отношение к массам потребителей и производителей. Будущность капитала и труда в России при освобождении крепостных людей, преобразовании чиновничества и системы налогов. Отношение земельной собственности к капиталу. Отношение денежного капитала к иным движимым и недвижимым имуществам.

I) Юридическое состояние государства и изменение его.

K) Племенное, физиологическое и патологическое состояние народонаселения.

L) Геолого-метеорологическое состояние государства и его отношение к растительности.

Большинство из перечисленных пунктов, в точном соответствии с основным замыслом тайного общества, содержит, с одной стороны, меры, просвещающие мысль и устанавливающие истинно-научные понятия; с другой стороны — меры, говорящие о переходе мысли к действию, поступку — практические мероприятия. Так, в пункте «B», после изучения вопроса о налогах, предлагается практическое применение:

«возможная новая метода податей и взимания оных». В пункте о чиновничестве, после программы изучения его существа, идет вопрос: «как изменить чиновничество». Тут можно вспомнить, что в «Колоколе» за 1858 г. была помещена статья «Преобразование чиновничества». В вопросе о духовенстве, после изучения вопроса о семинариях, предложена мера: «присоединение оных к общей системе университетского преподавания». Некоторые пункты программы остаются нераскрытыми и не содержат перечисления практических мер,— это говорит о ранней стадии разработки программы. Очевидно, на этом этапе идея тайного общества вступала в новую фазу своего существования и сталкивалась с более сложной действительностью. Нужно было охватить изучением и практическими мероприятиями сложный и широкий круг явлений. Среди «частных вопросов» записка выделила рекрутство, удельные и посессионные имения, организацию армии и ряд других, причем Огарев заметил: «Конечно, это далеко не все, но вот вопросы, которые центральное общество должно: 1) Уяснить себе. 2) Сделать популярным для большинства посредством печати...».

Таким образом, задуманное Герценом и Огаревым одновременно с замыслом издания «Колокола» русское тайное общество не было для них совершенно новой и впервые разрабатываемой идеей — оно было закономерным развитием давнего замысла. Замысел создания тайного общества не был новым в жизни Огарева и Герцена — это было их давним принципиальным решением.

Общество, задуманное Огаревым в 1857 г., должно было прежде всего подготовить почву для последующего переворота — коренного изменения всего общественного строя жизни. Конечно, никак нельзя, как это делает Б. П. Козьмин, назвать это общество «просветительной ассоциацией» и усмотреть его слабость, скажем, в самом факте пропаганды естественно-научных знаний. Конечная цель общества — глубокий общественный переворот, тактика общества — *подготовка* к перевороту, в том числе — пропаганда основ научного мировоззрения.

Подчеркнем, что именно публикатор и первый комментатор «Записки о тайном обществе» Б. П. Козьмин совершенно правильно отметил, что «основная цель этого общества — подготовка переворота» и что пропаганда предпринимается «в целях организации общественного мнения и подготовки его к коренному изменению основ социально-политического быта страны»[16]. С этими выводами исследователя можно вполне согласиться. Задуманное общество не предполагает открыто выступать в самом ближайшем будущем, не планирует открытого восстания, оно намерено действовать тайно и постепенно готовить переворот, срока для которого «Записка» не назначает. Нельзя, однако, согласиться с мнением Б. П. Козьмина, что переворот якобы отодвигается Огаревым «в неопределенную даль». Огарев еще не может определить срока переворота. Было бы неоправданно требовать от него уже в проекте основания тайной организации определения времени открытого выступления. Огарев еще не имел никакой возможности высказаться о сроке выступления — он лишь приступал к созданию тайной организации.

Заметим вместе с тем, что позиция Огарева этих лет глубоко и принципиально отграничивает его принципы от анархических бакунистских установок. Последние, как известно, состояли в положении, что народ, собственно говоря, «всегда» готов к восстанию — стоит только «кликнуть клич», и восстание вспыхнет. Совершенно иначе подходит к вопросу Огарев: он полагает, что переворот надо длительно готовить и упорно собирать для него силы, усердно работать над просветлением умов, над пониманием реального положения и истинных целей общественного переустройства[17].

Если выделить из данного, исходного для нас, документа — «Записки о тайном обществе» 1857 г. — ядро основных посылок и организационных вопросов, то окажется, что ведущие положения об организации тайного общества остались характерными и для всей последующей деятельности Огарева. Даже в конце деятельности, в статье «Сплотимтесь дружно», опубликованной в 1870 г. в последнем номере «нечаевского» «Колокола», Огарев воспроизводит слово в слово отдельные части текста «Записки о тайном обществе», говорящие об основной цели движения — о достижении «полезного в общественном смысле», об отнесении к этому «полезному» всего, «что

клонится к свободе личности и к ее равному распределению в общественном устройстве», о том, что надо «хотя приблизительно — примирить несгнетаемую независимость лица и его действий с необходимостью рода людского <...> жить стадом», и т. д. Тут же воспроизведен тезис о том, что руководящий центр тайного общества «не имеет нужды во многолюдстве», но что он должен быть сплоченным, представлять собой «как бы одно лицо», «его понимание вещей должно быть энциклопедическое», и т. д.[18]

Таким образом, в 1857 г. Огарев и Герцен пришли к решению, что в России создание тайного общества «полезно, возможно и необходимо».

В том же 1857 г. вышел первый номер «Колокола». Имея в виду, что замысел основания тайного общества включал в себя решение создать печатный «центральный орган», который вел бы пропаганду печатным словом (и в первую очередь против крепостного права), нельзя не поставить в связь эти факты. Из этого сопоставления следует вывод, чрезвычайно важный для исследования деятельности Огарева и Герцена: «Колокол», первый номер которого вышел в свет в июле 1857 г.,— был осуществлен *вслед* за замыслом основать тайное общество, а не *до* этого замысла. Сам Герцен отмечает в предисловии к сборнику «Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне» (см. XVI, 134) и в публикуемом в настоящем томе автобиографическом письме, что «Колокол» стал выходить по инициативе Огарева, и это обстоятельство еще теснее связывает знаменитую революционную газету с одновременным замыслом тайной организации, подробный план которой разработал именно Огарев. Поскольку пропаганда печатным словом и издание «центрального органа», прямо упомянутого в «Записке о тайном обществе», входили в программу его деятельности, мы должны понимать «Колокол» теперь несколько иначе, чем раньше: он — элемент более обширного замысла, его составная часть. В «Колоколе» до реформы 1861 г., разумеется, нет открытого призыва к созданию тайной организации, но самый замысел создания организации предшествует изданию «Колокола», а затем *сосуществует* с ним. «Колокол» входит в него составной частью, в этом нет никаких сомнений. Поэтому и «Колокол» невозможно изучать, не представляя себе соединения его общественной функции с одновременно разработанным планом создания тайной организации. Тайное общество, которое, согласно записке Огарева, «полезно, возможно и необходимо»[19], должно иметь и «центральное издание». «Без сомнения для нас теперь главная задача — общественная реформа — это уничтожение крепостного сословия*. Следственно, центр предлагает задачу и группирует около нее членов общества. Задача уничтожения крепостного сословия ** имеет свои соприкосновенные задачи, следственно, центр обязан вызвать членов общества на специальную разработку их и дать цельности этого труда место *в центральном издании...*»***,— пишет Огарев в «Записке о тайном обществе». Как тут не вспомнить слов Ленина: «„Колокол" (1857—1867) встал горой за освобождение крестьян»?[20] «Колокол» был, таким образом, элементом обширного политического замысла, «центральным изданием» задуманного тайного общества. Он «звал живых» на борьбу.

Уже отсюда совершенно ясно, что объявленная в первом же номере «Колокола» его программа не была и не могла быть исчерпывающей программой Герцена и Огарева. Задачи «Колокола» — уничтожение крепостного состояния, уничтожение телесных наказаний и освобождение слова от цензуры — были, конечно, в высокой степени важными и актуальными задачами, однако эти задачи не представляли собой *всей* обдуманной Огаревым и Герценом программы. Не случайно сам Герцен называет лозунг «Колокола» «смиренным, скромным, ограниченным» (IX, 300). «Записка о тайном обществе», возникшая одновременно с замыслом «Колокола», развертывала широкую программу деятельности тайной организации, куда политические лозунги «Колокола», заявленные в его первом листе, входили лишь как часть. Правда, реальная

---

* Слово «общественная» вписано Герценом, последние 4 слова зачеркнуты карандашом.

** Перед «Задача» Герценом вписано «Главная»; последние 3 слова зачеркнуты карандашом.

*** Последние 9 слов зачеркнуты карандашом.

программа «Колокола», восстанавливаемая не из декларации, опубликованной в его первом листе (повторенной неоднократно и впоследствии), а из всей совокупности его статей, разоблачений, предложений и призывов, много шире предложений первого номера. Но сейчас вопрос даже не в этом, а в том, что в начале 1857 г., т. е. того года когда начал выходить «Колокол», Огарев и Герцен разработали обширную программу создания в России тайной организации, имевшей конечной целью общественный переворот. Они хотели глубоко изменить социальный и политический строй России деятельностью общественных сил. В обширную программу работы они ввели и «центральное издание», сосредоточенное на главной задаче всей организации — борьбе за уничтожение крепостных отношений. «Колокол» и должен был явиться этим «центральным изданием». Так уясняются обстоятельства, в которых возник «Колокол». Связь его возникновения с замыслом тайной организации на мой взгляд несомненна.

Другим вопросом, возникающим в связи с изучением «Записки о тайном обществе», является вопрос о ее практическом назначении. Для чего она писалась? Для уяснения себе самому своих мыслей на этот предмет и для сообщения их Герцену было бы достаточно подробного дружеского разговора. Печатать такой документ, разумеется, было невозможно. Следовательно, документ создавался для каких-то конспиративных читателей, для каких-то лиц, привлекаемых в создаваемую организацию? «Записка», очевидно, имела цель практического характера. Может быть, она была составлена для последующего обсуждения в кругу создаваемого центра тайного общества? Был ли этот центр создан в 1857 г.— мы не знаем. Возможно, что дальнейшее изучение прольет свет на этот вопрос.

В этой связи необходимо уяснить себе, что же делалось в это время в России в революционном подполье? Год окончания Крымской войны и следующие за ним годы в этом отношении крайне мало исследованы. Однако все же можно упомянуть об отдельных революционных кружках. Прокламация — пародия на царский манифест о Парижском мире, расклеенная по улицам Харькова в апреле 1856 г., была составлена подпольной студенческой организацией, часть членов которой позже вступила в состав «Земли и Воли» шестидесятых годов [21]. В 1854—1857 гг. работает сложившийся вокруг Добролюбова революционный кружок Главного педагогического института. Позже Добролюбов вовлекает членов этого кружка в новую революционную организацию. Факты существования революционных кружков не исчерпываются этими двумя примерами. Добавим к этому вызревающую в передовых демократических кругах мысль о необходимости действия, собирания сил, борьбы против угнетения. Об этом говорят хотя бы известные строки Некрасова в стихотворении «Поэт и гражданин», относящемся к тому же 1856 г. Стихи Некрасова зовут к действию и резко осуждают уклоняющихся от участия в борьбе, в особенности тех «мудрецов», чье «назначенье— разговоры»:

Свою особу оградя,
Они бездействуют, твердя:
«Неисправимо наше племя.
Мы даром гибнуть не хотим,
Мы ждем: авось поможет время,
И горды тем, что не вредим!»

Подчеркнутые мною слова свидетельствуют, что уже прямо поставлен вопрос о личной гибели человека за дело преобразования родины. Такой вопрос может стать только в процессе осознания необходимости решительной борьбы за дело этого преобразования, борьбы беззаветной, на которую надо идти, решаясь на любые жертвы. Некрасов клеймит трусливые рассуждения либералов как «себялюбивые мечты». Некрасов обращается в том же 1856 г., когда Огарев и Герцен работали над замыслом создания тайного общества, с призывом к подлинной революционной борьбе:

Но... брат мой! кто бы ни был ты,
Не верь сей логике презренной!
Страшись их участь разделить,

Богатых словом, делом бедных,
И не иди во стан безвредных,
Когда полезным можешь быть!
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно.
Умрешь не даром... Дело прочно,
Когда под ним струится кровь...

Подчеркнутые мною слова служили и позже не только общим призывом к борьбе, но и призывом ко вступлению в революционную организацию. Именно так их понимала молодежь тех лет. В этом смысле употреблял их и Добролюбов.

Таким образом, в те годы, в обстановке которых возникает в Лондоне огаревская «Записка о тайном обществе», в России налицо революционное брожение и открытые призывы к революционной борьбе. Существование отдельных разрозненных революционных организаций в России этих лет — несомненно. Значит, «Записка о тайном обществе» Огарева не была беспочвенной. Она возникла в атмосфере растущего после Крымской войны революционного брожения. Поэтому вполне можно сказать, что она выросла именно на русской почве, хотя и была написана за границей.

4

Замысел создания тайной организации получает дальнейшее развитие в публикуемой ниже рукописи, условно называемой нами «*Идеалы*», по заглавию ее первого отдела, относящейся к 1859 г. (написана между маем и июнем 1859 г.)[22]. К этому же году относится поездка Чернышевского в Лондон. (Чернышевский, как известно, приехал в Лондон 26 июня 1859 г. и выехал обратно в Россию 30 июня того же года.) Весьма правдоподобно предположение, что основные идеи данной рукописи были темой обсуждения между Герценом, Чернышевским и Огаревым.

Отсюда не следует, что решения по этим вопросам у Огарева и Чернышевского были совершенно одинаковы. Чернышевский, который, по глубокому замечанию Ленина, сделал «громадный шаг вперед против Герцена»[23], едва ли мог полностью согласиться с предлагаемым Огаревым планом. Логично предположение, что замыслы Чернышевского были много радикальнее. Некрасовская мысль, что «дело прочно, когда под ним струится кровь», была и мыслью Чернышевского. Еще в юности он ждал крестьянского восстания и хотел участвовать в нем. В 1853 г. он говорил невесте: «У нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем... Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня»[24]. Еще тогда он выражал уверенность, что эти события наступят «лет через десять, но я думаю — скорее».

Рукопись «Идеалы» имеет своеобразный философский характер. Она раскрывает цели русской конспиративной организации в понимании Огарева и излагает основные идеи будущей русской конституции. Цель общества — «положить начало социальному миру на основании общинного землевладения. Следственно, главный принцип — самоуправление общины». Этим положением открывается рукопись «Идеалы». Что такое правительство вообще? Правительство, по мнению Огарева (раздел «Настоящее положение»), должно являться прежде всего «регулятором движения общественного богатства». Что такое русское самодержавие по мнению Огарева? Оно «правительство центрально-военно-бюрократическое» (или, как пишет он в начале рукописи, «немецко-бюрократическое»). «Оно — жандарм, а не регулятор движения общественного богатства. При таком порядке вещей самоуправление общинно-волостное невозможно». Какая же форма центральной власти должна заменить царское

правительство? В рукописи «Идеалы» и намека нет на конституционную монархию. Огарев дает здесь предельно краткую и выразительную формулировку: «Форма центральной власти: комитет». Он употребляет далее в тексте термин «президент», и хотя в рукописи не встречается слово «республика», мы, несомненно, имеем право назвать предполагаемую Огаревым форму центральной власти с «комитетом» во главе — республиканской.

Русская республика, согласно «Идеалам», должна представлять собою «конфедерацию». В этой республике «единство» составляют общины. Общины образуют «волость». Все междуволостные раздоры должны разрешаться только «волостным третейским судом», и центральная власть не должна в них вмешиваться. «Волости», на которые делится страна, группируются в особые обширные «союзы»; каждый союз и является отдельным членом будущей российской федеративной республики — отдельной «конфедерации».

В основу федеративного деления будущей республики Огарев, по собственному признанию, положил два принципа: 1) принцип национальный и 2) «принцип промыслов». Подыскивая русское слово для понятия «национальный», он позже зачеркнул начало слова «национ...» и заменил его словами: «принцип породы», явно разумея под «породой» национальную (по рождению) принадлежность. Таких членов русской федеративной республики, иначе союзов или ее федеративных единиц, у Огарева в рукописи «Идеалы» — девять; вот их перечень:

«1. Среднерусский.
2. Прибалтийский.
3. Польско-литовский.
4. Беломорский.
5. Волжский.
6. Украинский [25].
7. Новороссийский или Черноморский.
8. Урало-сибирский и
9. Амурский».

Этот перечень — результат давних раздумий Огарева. Он давно интересовался вопросом районирования России и критически относился к предлагаемым ранее системам. Можно указать на его раннюю (1847) работу «Опыт статистического распределения Российской империи»[26]. Он продолжил эту работу в «Идеалах». Работал Огарев над той же проблемой и в следующем, 1860 году, в статье «На новый год 1861». Он подробно останавливается в этой статье на рациональном членении будущей федерации: «Соединение в области становится необходимой задачею, без разрешения которой управление, ускользая от выборности и ответственности, всегда будет уродливым...»,— пишет Огарев в статье «На новый год 1861». (Статья эта перепечатывалась отдельно и распространялась как прокламация.) В этой статье термин «конфедерация» заменен уже термином «федерация» и развернута агитация за основные положения, намеченные в «Идеалах», но за исключением их конспиративной части, касающейся работы тайного общества. На этом примере отчетливо видно, в какой мере «Колокол» отражал конспиративную работу лондонского центра и что именно оставлял необнародованным, покрытым завесой конспирации. Сомневающимся в том, что «Колокол» обнародовал не всю программу Герцена — Огарева, а исключил из нее конспиративную часть, можно посоветовать последовательно прочесть рукопись «Идеалы» и статью «На новый год 1861». Несмотря на то, что статья как документ более поздний дает ряд вопросов в более зрелой разработке, она, несомненно, сообщает не все, задуманное Огаревым: конспиративная часть остается неопубликованной.

«Устроив областные самоуправления,— пишет Огарев в статье «На новый год 1861»,—все увидят необходимость подать друг другу руку на общие интересы и соединиться в федерацию, в общий союз славяно-русских областей, в котором области управлялись бы каждая сама собою на основаниях выборного самоуправления, наделения землею всех и каждого, с своим областным банком, а для общих дел союза каждая область присылала бы своих выборных для соглашений в устройстве путей сообщения, общих расходах и, наконец, для составления общего банка союза, управляемого вы-

борными от всех областных банков». О тайном обществе, разумеется, тут ни слова. Таким образом, сопоставление конспиративного документа с текстом обнародованной в «Колоколе» статьи подтверждает мнение о том, что конспиративная часть оставалась не сообщенной. Все, что писали Герцен и Огарев в «Колоколе», было правдой, было их глубоким убеждением, но они писали в «Колоколе» *не всё*. О многом они *молчали*. Герцен верно и точно говорил об этом: «Молчать мы можем, но говорить из других побуждений, чем из страсти истины и победы во имя ее,— мы не можем» (см. в наст. томе приписку Герцена в письме Огарева к Е. В. Салиас, от 24 декабря 1863 г.).

В статье «На новый год 1861» Огаревым предложено, как отмечено выше, более расчлененное и разработанное районирование областей, нежели в «Идеалах». Оно дано уже не в виде простого перечня, а в мотивированном изложении. Приведем полностью этот текст, свидетельствующий об органической связи предложений конца 1860 г. (время, когда писалась статья «На новый год 1861») с перечнем «Идеалов». «Русская империя, естественно, распадается на области, частью по географическим и промышленным условиям, частью по племенам»,— пишет Огарев в статье «На новый год 1861».— Географическое положение и промышленный интерес, одинакое земледелие вследствие климатических условий и одинакий сбыт невольно потянут северное народонаселение образовать Беломорскую область; точно так же естественные условия необходимо образуют Прибалтийскую область (причем, однако, немцы должны будут подчиниться общим требованиям и уступить крестьянам земли за выкуп). Белоруссия, по племенному условию, сплотится в свою область, точно так же как Литва в свою. Средняя или кровная Великороссия, по всем условиям племени и одинаких промышленных, преимущественно фабричных интересов, составляет, естественно, свою область. Уральское народонаселение сосредоточится около Камы и Уральского Заволжья; прикаспийское народонаселение с своим степным хозяйством и своим транзитным положением, между Закаспийской и Закавказской Азией и остальной Россией, соединяется в область одинаковостью интересов. Донское казачество, Малороссия и Новороссия, вместе или раздельно, составляют одну или три черноморские области. Сибирь громоздится в свои области по направлению к Тихому океану». Вопрос о Польше Огарев выделяет особо, оговаривая ее политическую самостоятельность [27].

Как уже сказано, центральная власть в «Идеалах» не имеет права вмешиваться в некоторые внутренние дела волостей. Однако есть ряд отраслей управления, которые Огарев выделяет как вопросы «междуволостной связи». Эти вопросы следующие:

«1. Пути сообщения:

a) постройка и содержание железных и других сухопутных дорог, речных и морских судоходств;

b) почты и телеграфы'

c) груз, сплав и движение товаров.

2. Выпуск денег и кредитные учреждения.

3. Междуволостные комиссионерные торговые конторы.

4. Иностранные комиссионерные торговые конторы.

5. Общий бюджет конфедерации и налог».

Центральная власть организуется следующим образом: «Волость выбирает по одному кандидату, которые, собравшись, выбирают между собой министров для каждого вышесказанного вопроса[28], а эти министры выбирают из своей среды своего президента. Затем кандидаты разъезжаются и оставляют комитет министров с президентом действовать».

Иначе говоря, Огарев придерживается системы прямых выборов от волостей. Правительство выбирается на определенный срок и ответственно перед избирателями. «Без сомнения, такое центральное правительство должно быть срочное, во всех действиях гласное и ответственное, так что по истечении срока власти члены правительства за неправильное действие могут быть судимы уголовно, назначенными от волостей присяжными, если хотя одна волость того потребует».

Лишь два вопроса затруднили Огарева — министерство народного образования (или «пропаганды научной») и «вопрос войска против чужеземных врагов, вопрос

грустный, но, может быть, еще необходимый». Огарев недоумевает, куда их отнести — «к центральной власти или к общинно-волостному самоуправлению? Не знаю».

При определении способов деятельности общества Огарев в данном документе ничего не говорит о вооруженном восстании и не занят его подготовкой. Он занят по конспиративной линии лишь вопросами пропаганды и внутренней организации тайного общества. Центр общества должен находиться в России в постоянной связи с главным, т. е. с печатным органом в Лондоне — это было установкой как Огарева, так и Герцена. Создать основную революционную организацию в Лондоне и руководить из-за границы революционным движением они считали, в этот момент, нежелательным и невозможным. Но лондонские деятели должны, по их мнению, находиться в тесной связи с руководящим центром тайного общества внутри России.

Центр должен состоять из совершенно сознательно действующих и распоряжающихся «апостолов». Очевидно, термин «апостолы» выбран как слово, без объяснений, понятное для народа. Следующий пункт указывает, что около «апостолов» группируются «ученики, полупосвященные», и «чем далее от центра к периферии, тем более члены должны переходить в бессознательных агентов, употребляемых для отдельных целей».

Далее указывается на необходимость создания денежного фонда, наличия корреспондентов и особой почты; «апостолы» могут составлять свой «географический центр», агенты общества должны быть трех родов: «a) служащие, b) пишущие, c) народные». Огарев живо заинтересован связями с крестьянством: «В заключение скажу только, что общество как мыслящий миноритет обязано создать себе живые отношения с немым множеством, т. е. с крестьянами». Тот же термин — «немое множество» — трижды упомянут Огаревым в предисловии к сборнику «Русская потаенная литература XIX столетия» (1861), над которым Огарев работал в 1860 г. Тут мы видим глубокое раскрытие смысла, который вкладывают в этот термин Герцен и Огарев.

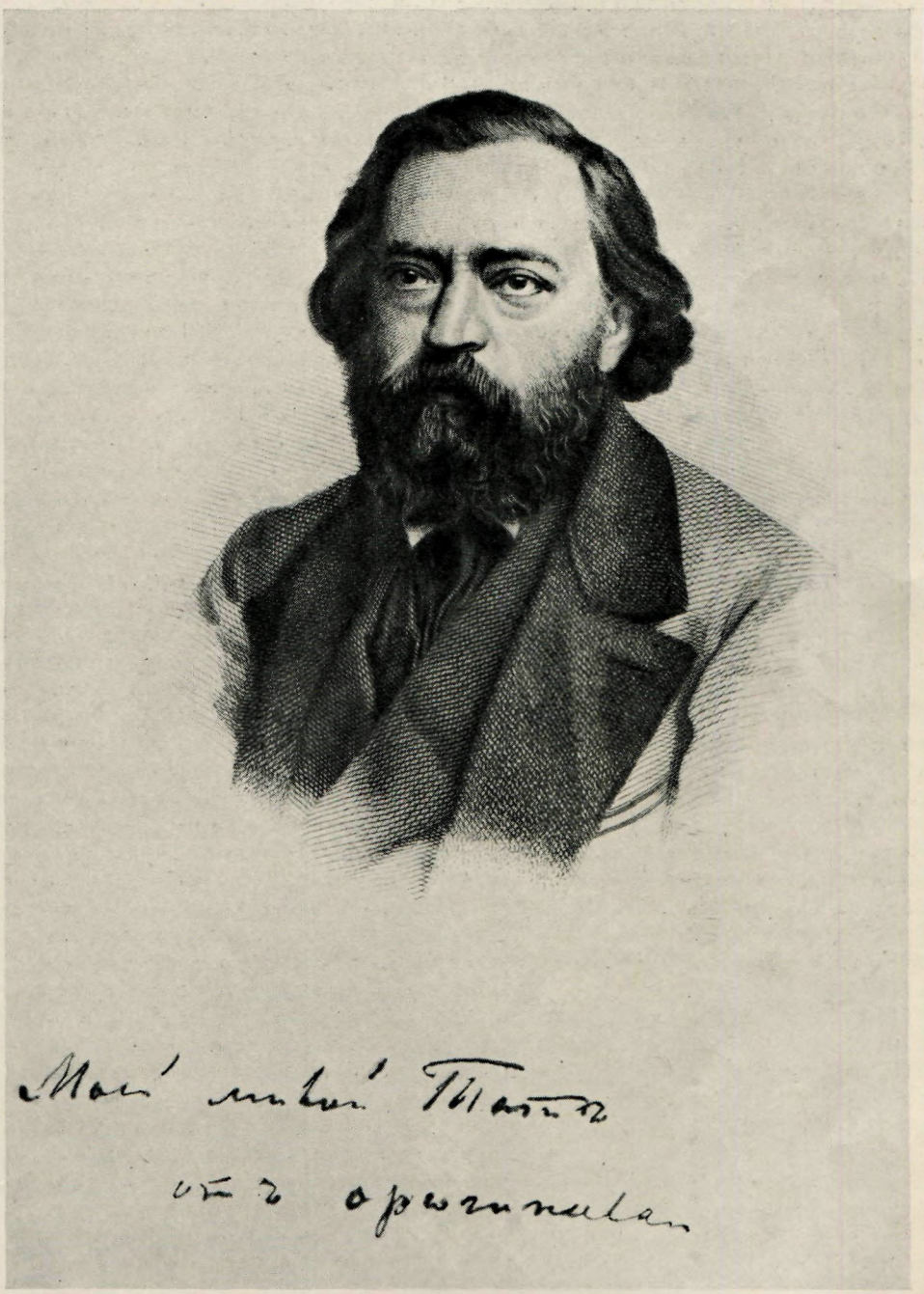
«В это время притаения общественного вопроса, немоты высшего сословия, ухода его лучших людей в научные теории и отвлеченные стремления <...> в это время другое немое множество — народ таил общественный вопрос...»,— пишет Огарев [29]. Говоря о Кольцове, Огарев замечает: «Кольцов совершенно народ <...> Он заявил дремлющую силу немого множества перед образованным меньшинством...» [30].

Осталось ли название «апостолы» просто термином, написанным на бумаге, или действительно нашло себе применение в практике революционного движения? Следственные данные о «Казанском заговоре» 1863 года показывают, что некоторые члены — участники этого заговора — называли себя «апостолами» [31]. «Казанский заговор» имеет несомненное отношение к «Земле и Воле» 60-х годов, в руководящий орган которой — Совет общества — входил Огарев,— на этом последнем обстоятельстве мы еще остановимся ниже. Можно выдвинуть два предположения: первое — совпадение названия «апостолы» тут и там совершенно случайно; второе — совпадение названия «апостолы» там и тут не может быть случайным, оно говорит о единстве организации и о нитях, идущих от периферийного выступления к руководящему центру. Мы придерживаемся второго предположения.

«Идеалы» предлагают также меры конспирации, обеспечивающие сохранение организации даже в случае ее частичного провала: «Разные апостольские центры должны быть устроены так, что если б один подпал под гонение правительства, это не могло бы вовлечь в опасность другие апостольские центры, ни главный центр».

5

Вторая публикуемая ниже рукопись Огарева — *«Цель русского движения...»* — содержит новый элемент, отсутствующий как в «Записке о тайном обществе», так и в «Идеалах»,— она уже прямо ставит вопрос об открытом выступлении. Еще в «Записке о тайном обществе» Огарев предвидел момент, когда конспиративно подготовленные действия станут явью [32]. В новой рукописи, также относящейся к дореформенному времени,— по всей вероятности к 1860 г.,— развит совершенно конкретный план предстоящих действий тайной организации. Хронологически этот новый документ падает на время *после* свидания с Чернышевским. Не является ли развернутый в ру-



ОГАРЕВ

Гравюра конца 1850-х гг. с дарственной надписью Огарева старшей дочери Герцена: «Моей милой Тате от оригинала»

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Проект требует далее уничтожения сословий, введения равноправия граждан и учреждения вместо казенного чиновничества «бессословно выбранных и перед обществом ответственных людей» как для сельского, городского и уездного управления, так и для суда. Проект вновь выдвигает идею федеративного объединения России, уже ранее раскрытую предшествовавшим документом: области России управляются «своими выбранными областными думами» и соединяются в один общий Союз — федерацию, во главе которой стоит выбранная Земская дума.

Как же достичь нового общественного устройства России, изложенного в проекте? Теперь уже не просто путем собирания сил, просветления мысли, устранения препятствий, мешающих народу понять цели истинного общественного устройства, и т. д. Огарев предлагает в этом проекте весьма детальный план подготовки восстания. Сначала оказывается мощное и всестороннее давление на власть путем подачи адресов царю, но, поскольку царь не откликнется на это, восстание неизбежно. Поэтому проект «всеобщего нового устройства России» и рассматривает конкретные пути восстания. Огарев, а вместе с ним, вероятно, и его друг Герцен мыслят это восстание в своеобразных формах, с несомненными декабристскими реминисценциями и с поправками к декабристскому опыту. Указав на то, что изложенного общественного переустройства «без общего Земского собора учредить и постановить нельзя», Огарев пишет:

«Если (или так как) государь не хочет созвать Земского собора, то неурядица неизбежно доведет до восстания. Так как восстание неизбежно, то надо его устроить и направить в разумном порядке, отнюдь не кровопролитно и не разорительно.

Такое восстание, идущее строем, можно только образовать в войсках».

Однако, как видно из дальнейшего текста, это восстание отнюдь не будет носить характера «военной революции». Во-первых, в войсках всюду образуются тайные офицерские общества «для разъяснения солдатам цели и необходимости восстания». Декабристы, «страшно далекие от народа», не шли на это. Они остановились вплотную у этой границы. Как правило (были исключения), они не сообщали солдатам цели восстания, предполагали объявить им ее лишь после издания Сенатом Манифеста к русскому народу и объявления ликвидации крепостного права. Декабристы рассчитывали прежде всего на общий «дух недовольства» в армии и привязанность солдат к командирам-революционерам. Иное видим мы в предложении публикуемого проекта: речь идет о прямом вовлечении войсковой массы в революционное действие, о полном объяснении солдатам целей переворота. Но этого мало, имеются еще более радикальные предложения. Тайное общество должно непосредственно руководить военными действиями восстания: восставшее войско идет на Москву и Петербург, «*всюду подымая народ* на содействие и умножаясь прибылыми охотниками-ратниками» (курсив мой.— *М. Н.*). Иначе говоря, проект предполагает, что восставшие войска будут лишь зачинателями революционной борьбы и ведущим, организующим ее элементом, основной же массой будет вооруженный народ, который в военном строю примкнет к восставшим войскам. «Общий Земский собор», который должен быть созван в результате восстания, имеет функцию учредительного собрания и решает вопрос о будущем политическом устройстве России.

Сопоставляя этот проект с предыдущим, приходится, очевидно, признать его более поздним по времени, нежели «Идеалы», но вместе с тем все же, несомненно, относящимся ко времени *до* 19 февраля 1861 г.

Если предшествующий проект, совпадая или почти совпадая с приездом Чернышевского в Лондон, был сообщен ему, то в таком случае проект «всеобщего нового устройства России» надо признать написанным позже переговоров с Чернышевским, надо считать его каким-то результатом этих переговоров. Огарев в этом проекте, несомненно, шагнул вперед *к* Чернышевскому, хотя и не достиг его идейного уровня.

Сопоставление дальнейшего развития русского революционного движения с проектом «всеобщего нового устройства России» не может не привести к несомненным выводам, что ряд существенных элементов его не остался только замыслом, а был реализован. Проект предполагает обращение к правительству различных сословий и сословных групп общества; отсюда — обращение революционеров к этим сословиям и группам. Такой план предполагает систему прокламаций, адресованных к разным

слоям общества. Именно этот план и был поставлен на очередь революционной конспирацией в течение 1860—1862 гг. Открыла эту серию прокламация Чернышевского «Барским крестьянам». Герцен и Огарев — несомненные участники этой серии.

Огареву принадлежит последовательный ряд прокламаций, обращенных к разным слоям населения: «Что нужно народу?» (июль 1861 г.), «Что надо делать войску?» (ноябрь 1861 г.), «Ход судеб» (февраль 1862 г.). К этому можно добавить обращение к студентам «Университеты закрывают!» (январь 1862 г.) и более ранний разоблачительный текст «Что нужно помещикам?» (декабрь 1861 г.), а также проект адреса царю от государственных крестьян [37].

В пользу того, что в России прокламации вышли из одного центра, можно привести ряд доводов. Прокламация «К народу», т. е. прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», была написана Чернышевским и переписана для набора в тайной типографии Михайловым. Обо всем этом знает Шелгунов, пишущий одновременно прокламацию «К солдатам». «В ту же зиму, т. е. в 1861 году, я написал прокламацию „К солдатам", а Чернышевский прокламацию „К народу" и вручил их для печатания Костомарову»,— пишет Шелгунов [38]. Тогда же Михайлов и Шелгунов пишут прокламацию «К молодому поколению», которую Михайлов на допросе, спасая друга, всецело приписывает своему авторству. Печатают эту прокламацию в Лондоне у Герцена. Шелгунов свидетельствует: «В ту же зиму я написал прокламацию „К молодому поколению", но *мы* решили печатать ее в Лондоне в „русской печатне"» [39]. Таким образом, мы получаем список лиц, взаимная осведомленность которых о написании прокламаций несомненна: Чернышевский, Михайлов, Шелгунов, Герцен; имеются все основания добавить сюда имена Добролюбова и Огарева: Добролюбов, очевидно, знал то, что знал Чернышевский, а Огарев был осведомлен о действиях Герцена и о распоряжениях по «русской печатне». Добавим к этому, что лондонская прокламация Огарева «Что нужно народу?» хранилась в Петербурге на квартире Чернышевского и оттуда распространялась; активное участие в распространении принимала жена Чернышевского — Ольга Сократовна, как это было установлено полицейской слежкой. Если добавить сюда общеизвестные доводы в пользу причастности Чернышевского к созданию «Великорусса» и вспомнить роль Владимира Обручева в распространении последнего,— общая картина дополнительно уясняется. Наличие центра подкрепляется даже совпадающими словами в названии прокламаций: Чернышевский называет свою прокламацию «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», а Шелгунов свою (вторую) прокламацию — «Русским солдатам от их доброжелателей поклон»,— довольно трудно в данных условиях предположить «случайное» совпадение.

Наличие революционного центра, руководящего изданием указанных прокламаций, было строго законспирировано. Конспиративность вопроса ясно видна из сопоставлений первоначального наброска воспоминаний Шелгунова, начатого еще в ссылке, в семидесятые годы, с последующей редакцией его записок «Из прошлого и настоящего», опубликованных в «Русской мысли» (1885—1886) в тяжелое время реакции. Первый набросок воспоминаний, хотя и сжат внутренней цензурой самого автора, но все же более свободен и откровенен, чем последующий вариант. Вторая же редакция снимает многие конспиративные темы первой, выбрасывает их вовсе или заменяет противоположными утверждениями. Текст первоначальной, более откровенной редакции воспоминаний Шелгунова был впервые опубликован лишь при советской власти в 1918 г. в «Голосе минувшего». Текст второго, более стесненного цензурой варианта появился, как видим, еще в царское время, при Александре III. Выше мы пользовались, разумеется, цитатами первой, более откровенной редакции. Шелгунов пишет в первом варианте: «...прокламации, точно по уговору, явились все в одно время. Все они принадлежали очень небольшому кружку людей, действовавших отдельно в глубокой тайне» [40].

Во втором варианте это место читается так: «У прокламаций не было ни общего центра, ни общего руководства, это были скорее партизанские действия неизвестных отдельных кружков, не имевших никакой связи». Вопросу, как видим, дана во второй редакции существенно иная трактовка [41].

Кампания за подачу адресов царю с целью разочаровать в царизме активные общественные слои, лозунг созыва учредительного собрания — Земского собора — легли в основу тактики «Великорусса». Документ Огарева «Цель русского движения» во многом перекликается с «Великоруссом»: Огарев требует созыва Земского собора с функциями учредительного собрания, он требует освобождения крестьян без выкупа, требует передачи им хотя бы той земли, которой они пользовались при крепостном праве (у Огарева: «как есть межа»; у «Великорусса»: «по крайней мере все те земли и угодья, которыми пользовались они при крепостном праве»). Причастность Чернышевского к деятельности «Великорусса», как указывалось, представляется нам чрезвычайно вероятной [42]. Прокламационная литература шестидесятых годов исходит, таким образом, в основном от объединенной, сплотившейся, несмотря на отдельные разногласия, руководящей группы революционеров, предварительно договорившихся между собою. Это обстоятельство дает основание предполагать, что в проект Огарева о «всеобщем новом устройстве России» вошли какие-то элементы в результате сговора с Чернышевским. Революционные силы стремились к объединению.

В работе «Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации» я упоминала о важном — совершенно явном и прямом — свидетельстве о существовании тайной организации в России накануне отмены крепостного права. Это свидетельство содержится в прокламации «Барским крестьянам». Прокламация призывает крестьян готовиться к вооруженному восстанию, запасаться оружием, учиться «в военном деле порядок держать», ни в коем случае не выступать разрозненно, отдельными деревнями: «Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить». Восставать необходимо по единому сигналу, и сигнал этот даст революционный центр,— он пришлет «назначение»: «А когда промеж вами единодушие будет, в ту пору и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать. Мы уж увидим когда пора будет, и объявление сделаем». Эти слова — несомненное свидетельство существования революционного центра. Обращение к народу с призывом восставать по сигналу революционного центра, исходящее от Чернышевского, есть бесспорное доказательство существования центра. Утверждение обратного было бы обвинением Чернышевского в авантюризме и сознательном обмане народа. Но прокламация «Барским крестьянам» говорит не только о существовании революционного центра, но и о наличии у него представителей на местах, о связи его с местами: «Ведь у нас по всем местам свои люди есть, отовсюду нам вести приходят, как народ, да что народ. Вот мы и знаем, что покудова еще нет приготовленности. А когда приготовленность будет, нам тоже видно будет». Революционная организация в этой прокламации считала нужным сказать и о своем национальном характере: «А мы все люди русские и промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем...». Ни в одной прокламации шестидесятых годов не сказано так много о революционной организации, как в прокламации «Барским крестьянам».

Мы уже упоминали о том, что в документе Огарева «Цель русского движения» восставшему войску отдается инициатива восстания, а восставшее крестьянство («прибылые охотники-ратники»), вооружившись, должно присоединиться к войску и идти за ним в военном строю. Таким образом, вносится существенная «поправка» к декабристским планам — «поправка» решающего значения: народ делается активным участником восстания. Общеизвестные слова Герцена о том, что декабристам на Сенатской площади и в центре второй армии «нехватало народа», оказывается, были не только выводом историка, размышляющего над причиной неудачи декабристов, но и практическим предложением дворянского революционера двигавшегося далее и завоевывавшего позиции революционного демократизма. В другом документе, разбираемом ниже, Огарев назовет это восстание «военно-крестьянским» и «повсюдным». Идея о сознательной *организации* восстания (восстание надо «*устроить*»)— одна из великих идей русского революционного движения — она выражена в данном документе с большой яркостью и в своеобразной форме: Огарев мечтает о «восстании, идущем строем».

Нельзя не заметить, что тезис о «военно-крестьянском» «повсюдном» вооруженном восстании некоторым образом перекликается с более радикальной по установкам

прокламацией Чернышевского «Барским крестьянам», также датируемой временем до крестьянской реформы[43]. Во-первых, прокламация Чернышевского выражает отчетливое намерение опереться на революционное офицерство: «А еще вот кому от нас поклонитесь: офицерам добрым, потому что есть и такие офицеры, и не мало таких офицеров(...)таких офицеров пусть солдаты слушаются, как волю добыть». Во-вторых,— и это особенно важно,— прокламация Чернышевского дает крестьянам прямой совет обучаться военному строю, слушаться команды,— это умение понадобится им в момент восстания. Чернышевский пишет: «А еще вот о чем, братцы, солдат просите, чтобы они вас учили, как в военном деле порядок держать. Муштровки большой вам не надо, чтобы там в ногу идти по-солдатски да носок вытягивать — без этого обойтись можно, а тому надо учиться вам, чтобы плечом к плечу плотнее держаться, да команды слушаться, да пустого страха не бояться... А кроме того, ружьями запасайтесь, кто может, да всяким оружием»[44].

Все изложенные выше соображения еще раз заставляют вернуться к поездке Чернышевского в Лондон.

Нередко полагают, что единственной причиной поездки была необходимость объясниться с Герценом по поводу его статьи «Very dangerous!!!», где Герцен нападал на анонимную статью «Свистка», принадлежавшую Добролюбову. Нужно-де было заставить Герцена извиниться перед Добролюбовым — и только. И раньше этот повод казался некоторым исследователям сомнительным[45].

Герцен в «Былом и думах» покрывает завесой конспирации приезд к нему Чернышевского и не говорит о нем там *ни единого слова*. Поскольку разбираемый документ Огарева свидетельствует о том, что перед реформой сам Огарев и, вероятно, его друг Герцен были заняты вопросом о вооруженном военно-народном «повсюдном восстании», трудно поверить, что во время лондонского свидания с Чернышевским шла речь только об обиде, нанесенной Добролюбову. Вероятно, говорилось и о другом; вероятно, вырабатывались какие-то общие планы действия в предстоящих революционных событиях, в неизбежности которых были убеждены все трое. Совпадающие стороны прокламации Чернышевского и проекта Огарева — не говорят ли в пользу того же?

Коснемся теперь программных моментов проекта Огарева. Характернейший текст: «Если (или так как) государь не хочет созвать Земского собора» — с ясностью говорит о либеральных колебаниях Огарева, однако демократ явно берет верх, ибо «так как» много радикальнее, чем «если» (заметим, что именно такого же характера общая установка «Великорусса»). Из этого же документа ясно, что Земскому собору присвоена функция учредительного собрания и что последнее может пойти двумя путями: или превратить Россию в конституционную монархию при «Земской думе», которая «заведует» «ото всех областей» всей революционной федерацией, или обойтись без монарха. Второй, мыслимый Огаревым путь,— создание исполнительной власти уже не в лице монарха, а в лице «правительственного совета из людей, перед Земским собором ответственных». Напомним, что сходные черты решения имели в то время и документы более радикальных групп. Та же прокламация Чернышевского «Барским крестьянам» предлагала два исхода: или конституционную монархию или республику. Прокламация Чернышевского рекомендовала республику как форму предпочтительную, но не снимала в силу этого конституционной монархии как возможного решения. В прокламации «Барским крестьянам» Чернышевского говорится: «А французы и англичане царей у себя пока держут. И надобно так сказать: когда народный староста не по наследству бывает, а на срок выбирается и царем не зовется, просто зовется народным старостою, а по-ихнему, по-иностранному, президентом, тогда народу лучше бывает жить, народ богаче бывает. А то и при царе тоже можно хорошо жить, как англичане и французы живут, только значит с тем, чтобы царь во всем народу послушание оказывал и без народа ничего сделать не смел...»[46].

Конец проекта Огарева посвящен организационным вопросам будущего революционного движения. Огарев пишет:

«Чтобы, пока идет образование восстания войск, офицерские общества разных местностей могли иметь между собою узел, сношения и заявлять свое дело гласно печатным словом,— надо каждому из них войти в постоянные сношения с нами, людьми

поставленными в Лондоне вне преследований казенной полиции. Для успеха образования восстания нужно во всех войсковых центрах учредить денежные сборы из посильных приношений каждого на общее дело, поручая кассы избранным офицерам».

На этом рукопись обрывается. Эти строки говорят о замысле централизовать революционное движение, придать ему более отчетливые организационные формы. Документ имеет практический характер.

6

Но не противоречит ли факту существования тайной организации в России накануне отмены крепостного права общеизвестная запись из дневника Добролюбова 1859 года, написанная сейчас же после того, как он узнал от Некрасова о появлении статьи Герцена в «Колоколе»—«Very dangerous!!!»? В виду важности вопроса, приведем эту запись полностью. Вот она:

5 июня <1859 г.>

Сегодня в три часа утра Н<екрасов>, воротясь из клуба, сообщил мне, что И<скандe>р в «Кол<околе>» напечатал статью против «Сов<ременни>ка» за то, что в нем предается поруганию священное имя гласности. В статье есть будто бы намек на то, что «Совр<еменник>» подкуплен триумвирным бюро. Если это правда, то Герцен человек вовсе не серьезный; так легкомысленно судить о людях в печати — ужасно дико. Но чем более думаю я об этом известии, тем более убеждаюсь, что Н<екрасо>ву только так показалось и что в сущности намека этого нет.

Нужно поскорее достать «К<олоко>л» и прочесть статью, а затем решиться, что делать. Во всяком случае, надо писать к Г<ерцену> письмо с объяснением дела. Меня сегодня целый день преследовала мысль об этом, и мне всё было как-то неловко: как будто у меня в кармане нашлись чужие деньги, бог знает как туда попавшие... Однако хороши наши передовые люди! Успели уж пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся. Теперь уж у них на уме мирный прогресс при инициативе сверху, под покровом законности! Я лично не очень убит неблаговолением Г<ерцена>, с которым могу померяться, если на то пойдет, но Н<екрасов> обеспокоен, говоря, что это обстоятельство свяжет нам руки, так как значение Г<ерцена> для лучшей части нашего общества очень сильно. В особенности намек на бюро оскорбляет его, т<ак> ч<то> он чуть не решается уехать в Лондон для объяснений, говоря, что этакое дело может кончиться и дуэлью. Ничего этого я не понимаю и не одобряю, но необходимость объяснения сам чувствую и для этого готов был бы сам ехать. Действительно, если намек есть, то необходимо, чтобы Г<ерцен> печатно же от него отказался и взял назад свои слова. Но мне все кажется, что вся эта история — чистейший вздор, какое-нибудь недоразумение.

Сказал сегодня И<вану> М<аксимови>чу <Сорокину> об этой истории; смеется и отзывается неуважительно о всем «К<олоко>ле», попрекая им Г<ерце>на. Уверяет, что молодые люди понимают тенденции «С<овременни>ка» и им сочувствуют. Я сам так же думаю, да только много ли проку-то от этого?

От С. Н. Ф<едорова> получил письмо с водянистыми выражениями сочувствий да от Борд<югова> довольно горячее письмо, вот и всё пока. А здесь настоящее сочувствие только и нашел я в Ч<ернышевском>, О<бручеве> да С<орокине?>. Есть, правда, еще Н<овицкий?>, Ст<аневич?>, Д<обровольский?>,— да кто их знает, что они за люди. Во всяком случае, мало нас: если и семеро, то составляет одну миллионную часть русского народонаселения. Но я убежден, что нас скоро прибудет...»[47].

Предположим, что эта запись полностью соответствует действительности. Что из этого следует? Прежде всего, она со всей очевидностью доказывает существование не только замысла организации, но и начала его реализации. Читатель может констатировать *начальный* момент ее создания. Она еще крайне малочисленна. Не все ее члены равноценны: одни вызывают полное доверие, другие — нет: «кто их знает, что они за люди»,— очевидно, неясно, останутся ли верными «живому делу» революции, или заменят его «словопреньем», или изменят ему?[48] Однако запись опти-

мистична: нас еще мало, но «нас скоро прибудет». Дано даже численное соотношение наличия революционного круга ко *всему* населению страны,— этим самым засвидетельствован, кстати сказать, замысел многочисленной организации, отражающей интересы народа: если бы речь шла о маленьком конспиративном кружке, нечего было бы сопоставлять его численность с численностью всего народа.

Сопоставление этой дневниковой записи с более ранними по времени письмами Добролюбова к своим друзьям Бордюгову и Шемановскому не оставляет никаких сомнений, что под словом «сочувствие» в записи дневника разумеется вовсе не сочувствие Добролюбову по поводу «Very dangerous!!!», а совсем другое. Речь явно идет о приглашении Добролюбовым своих друзей к участию в тайной организации. В *мае* 1859 г., *до* разбираемой дневниковой записи, Добролюбов пишет Бордюгову: «Пойдем же дружно и смело: ты можешь меня *под*держивать и *у*держивать, напоминая мне о моих планах и стремлениях. А, в свою очередь, и я могу быть тебе полезным... Попробуй же, Ваня, сознательно окунуться в тот кипящий водоворот, который мы называем жизнью мысли и убеждений, сочувствием к общественным интересам, и т. д. Можно бы назвать и короче, но ты и без того понимаешь, о чем я говорю». Не на это ли письмо ответил Бордюгов, причем его ответ удовлетворил Добролюбова (в дневнике: «от Борд⟨югова⟩ довольно горячее письмо, вот и все пока»). В письме к Шемановскому (в тот же день, что и Бордюгову) Добролюбов пишет: «Поверь, что в жизни есть еще интересы, которые могут и должны зажечь все наше существо и своим огнем осветить и согреть наше темное и холодное житьишко... До сих пор нет для развитого и честного человека благодарной деятельности на Руси; вот отчего и вянем и киснем и пропадаем все мы. Но мы должны *создать* эту деятельность; к созданию ее должны быть направлены все силы, сколько их ни есть в натуре нашей. И я твердо верю, что будь сотня таких людей хоть как мы с тобой и с Ваней ⟨Бордюговым⟩, да решись эти люди и согласись между собой окончательно,— деятельность эта создастся, несмотря на все подлости обскурантов... Мы еще чисты, свежи и молоды, сил в нас много; впереди еще две трети жизни... Мы можем овладеть настоящим и удержать за собою будущее. Нечего унывать и спать»[49].

В другом письме к Шемановскому (от августа того же 1859 г.)[50] Добролюбов зовет его к революционной деятельности и замечает: «...мы умрем, но и умрем все-таки недаром». Далее он цитирует из стихотворения Некрасова «Поэт и гражданин» (1856) строки: «Не может сын глядеть спокойно на горе матери родной», обрывая цитату формулой «и т. д.». Но адресат, конечно, знал и последующие строки, уже цитированные нами выше («Иди в огонь за честь отчизны...»).

Опираясь на приведенные только что материалы (письма к Бордюгову и Шемановскому, стихи Некрасова), В. С. Кружков в своей монографии «Мировоззрение Н. А. Добролюбова» пришел к убедительному и правильному выводу: «В этих письмах Добролюбова не только чувствуется явное его стремление перейти от литературной деятельности к непосредственному активному участию в практической общественной жизни страны, но есть и некоторые намеки на попытки создания, видимо, какой-то конспиративной революционной организации»[51].

Сопоставляя этот материал с дневниковой записью, мы ясно понимаем, что надо разуметь под словом «сочувствие», употребленным в дневнике. Это просто конспиративная запись согласия на участие в тайной организации.

Таким образом, данная запись в дневнике Добролюбова — не только не является аргументом *против* предположения о наличии замысла организации и о ее возникновении, то есть о существовании тайной организации, а самым прямым образом свидетельствует именно об обратном. Она констатирует лишь начальный, зародышевый этап организации, малочисленность ее наметившегося состава и его неравноценность по отношению к грядущим революционным действиям. Из довода «против» эта запись оказывается несомненным доводом не только за существование замысла создать организацию, но и за самый факт начала ее возникновения.

Однако, внимательно разбирая содержание записи в дневнике Добролюбова, историк должен насторожиться. В ней наличествуют некоторые особенности, которые заставляют поставить вопрос: можно ли разбираемую запись в дневнике Добролюбова

толковать так просто и прямолинейно, как это обычно делается? Не является ли этот документ более сложным, чем это может показаться в первый момент? Этот вывод напрашивается в силу следующих соображений.

В записи дневника имеется несколько неясных мест и даже противоречий. Во-первых, обратим внимание на следующую особенность дневниковой записи: в перечне лиц, приведенном у Добролюбова, явно отсутствуют люди, хорошо ему известные и, несомненно, участвовавшие в конспиративной работе именно того времени. Это фамилии, которые он никак не мог бы обойти или положительным упоминанием, или хотя бы аргументированным отводом. Не говоря уже о самом Некрасове, с которого начинается текст записи, в перечне отсутствует, например, Михайлов, переписавший своей рукой прокламацию «Барским крестьянам», т. е. бесспорно бывший в курсе ее содержания, а стало быть, и конспиративных революционных замыслов. Где Серно-Соловьевичи? Где Шелгунов? Их также нет. Если «С» расшифровывается как И. М. Сорокин, только что перед этим сочувственно упомянутый, то где же С. И. Сераковский? Если «С» — это Сераковский, то где И. М. Сорокин, только что самым высоким образом оцененный в данной же записи? Если «О» есть, вероятнее всего, Николай Обручев, то где Владимир Обручев, распространитель «Великорусса», так и не выдавший ни одного имени на следствии? Но и это не всё. Добролюбов кончает фразу словами: «Во всяком случае, мало нас: если и семеро, то составляет одну миллионную часть русского народонаселения». Непонятные слова! Добролюбов отлично знал, сколько в России населения. Еще в «Думе при гробе Оленина» он писал о Николае I:

Но шесть десятков миллионов
Он держит в узах, как рабов,
Не слыша их тяжелых стонов,
Не ослабляя их оков [52].

Следовательно, «одна миллионная часть русского народонаселения» равнялась для Добролюбова какому-то количеству, близкому к 60, а не к 7 человекам.

Есть еще одна непонятная особенность. Добролюбов пишет: «нас... семеро», между тем подсчет перечисленных им же самим фамилий дает иное количество. Добролюбов перечислил (даю принятую расшифровку): 1) Ф⟨едорова⟩, 2) Борд⟨югова⟩, 3) Ч⟨ернышевского⟩, 4) О⟨бручева⟩, 5) С⟨орокина⟩, 6) Н⟨овицкого⟩, 7) Ст⟨аневича⟩, 8) Д⟨обровольского⟩, — добавим 9) самого Добролюбова — ведь считает же он себя в этом числе, применяя выражение «мало *нас*». Выходит, таким образом, не семь, а девять человек. Едва ли Добролюбов допустил случайную небрежность при подсчете столь дорогих для него единомышленников. Мне представляется более правдоподобным, что он допустил нарочитое противоречие, на предположительных причинах которых надо остановиться.

Зададим вопрос: в силу каких причин Чернышевский — выдержанный и опытный конспиратор — сохранил именно этот листок, вырванный из добролюбовского дневника, уничтожив другую часть текста? Ведь по прямому смыслу записи она — крайне опасный разоблачающий документ: в ней прямо упоминается о революции («...призыв к революции...»), в ней через весьма прозрачное сокращение дана фамилия самого Чернышевского как участника слагающейся конспиративной организации, в ней через первые буквы дан перечень других фамилий. Чернышевский, уничтожив часть дневника Добролюбова и, несомненно, ожидая собственного ареста, имел полную возможность уничтожить и этот как будто опасный для обыска листок. Почему же он не сделал этого? Очевидно, потому, что этот документ был для чего-то нужен Чернышевскому именно в случае ареста. Листок этот и хранится в следственном деле самого Чернышевского. Листок попал в руки следствия несомненно потому, что Чернышевский не воспрепятствовал этому. Сделав целью своей жизни служение революции, Чернышевский еще в 1853 г. ежеминутно ждал жандармов, «как благочестивый схимник ждет трубы страшного суда»,— он пишет об этом в своем зашифрованном дневнике, передавая известный разговор с невестой (1853). Там же он утверждает, что у него «ничего не найдут» при обыске, и у нас нет оснований сомневаться в том, что

Чернышевский самым основательным образом «подготовился» к обыску, слухи о котором, как об этом свидетельствует и его следственное дело, дошли до него заблаговременно. Он, очевидно, совершенно сознательно сохранил сильнейший документ разногласий с заграничным центром — письмо Огарева к Н. Обручеву от 15 августа 1861 г., фигурирующее в деле. Документ был подготовлен к обыску — названия фамилий и мест были тщательно выскоблены, и на следствии Чернышевский смело утверждал, что именно в таком виде он получил письмо по почте. На этот документ Чернышевский по собственной инициативе, не дожидаясь вопроса следствия, ссылается в тюремном письме к Александру II, как на полное доказательство своей невиновности в сношениях с «лондонскими пропагандистами», с которыми он будто бы глубоко расходился и которые-де хотели даже «побить» его [53]. Иначе говоря, Чернышевский видел в этом документе опору для самозащиты в случае ареста и допросов. Не имела ли той же функции и страничка из добролюбовского дневника? Сохраненная страница также свидетельствовала перед царем о разногласиях между «Современником» и «лондонскими пропагандистами»,— она сообщала первое впечатление от «Very dangerous!!!». Отсутствие инициалов имен виднейших участников революционного движения в дневниковой записи Добролюбова уводило бы внимание следствия к гаданию о никому неизвестных лицах второстепенного порядка, а путаница в их подсчете дополнительно сбивала бы следствие и обеспечивала бы выгодную позицию Чернышевскому для любых толкований записи. Заметим, кстати, что самая буква «Ч», расшифровываемая всеми как Ч⟨ернышевский⟩, дает возможность прочесть ее и как латинскую букву «Z»,— в этом виде ее и воспроизвел Н. А. Алексеев в саратовском издании «Процесс Н. Г. Чернышевского», сопроводив, впрочем, текст обычным комментарием, что понимать эту букву следует как начальную букву фамилии Чернышевского[54].

Страничка дневника Добролюбова была действительно забрана при обыске и фигурирует в следственном материале. Следствие фактически оставило ее без внимания, что относится к числу тех же его своеобразий, как пропуск вопроса о поездке Чернышевского в Лондон в 1859 г. (о котором следствие знало хотя бы из имевшейся в его распоряжении «Записки из частных сведений»).

Все приведенные выше соображения заставляют нас очень осторожно относиться к страничке дневника Добролюбова, взятой у Чернышевского при обыске. Очевидно, записанные в ней данные имеют конспиративное значение. Поэтому лучше воздержаться от прямолинейного утверждения, что существовавшая в 1859 г. в России организация насчитывала семь человек. Страничка из дневника Добролюбова, как нам представляется, не позволяет сделать такого вывода.

Прокламация Чернышевского «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» свидетельствует о предполагавшемся открытом выступлении. Агитация за него, как известно из содержания прокламации, связана была с объявлением царской воли. Составлена прокламация была накануне реформы — еще до опубликования «Положений» 19 февраля [55]. То вооруженное восстание, готовиться к которому призывает прокламация, должно было произойти как одновременное и повсеместное восстание — «повсюдное» восстание, если применить термин Огарева. По смыслу воззвания Чернышевского восстание это должно было быть организованным, единовременным взрывом народного гнева *в ответ* на реформу 19 февраля 1861 г. Такого взрыва, как известно, не произошло, и замысел революционеров не получил воплощения, не был реализован. Надежды на всенародное выступление в ответ на объявление царской «воли» народу — рухнули. Крестьянское движение, кульминационным моментом которого были восстания в Бездне и Кандеевке,— сломилось, разрознилось, не слилось в единый натиск могущественной силы. Недаром Некрасов привез из поездки в деревню сведения, что в ближайшее время «ничего не будет». Однако надежды на последующий, более мощный подъем казались вполне реальными (возникал, как известно, расчет на 1863 год). Но именно во время новой подготовки и ожидания последующего подъема массового движения на революционный лагерь сыплются самые тяжелые удары — смерть и аресты вырывают из движения самых выдающихся деятелей. Всего на протяжении полутора лет — период с начала 1861 по лето 1862 г.— умер Н. А. Добролюбов, умер

Тарас Шевченко. В сентябре 1861 г. арестовали Михайлова, в октябре того же года — Владимира Обручева, в июле 1862 г.— в один и тот же день — Чернышевского и Н. Серно-Соловьевича, в сентябре 1862 г.— Н. Шелгунова, отправившегося в Сибирь для устройства побега Михайлова. Список этот еще можно удлинить, но и перечисленных имен достаточно для того, чтобы представить себе, какой огромный урон потерпело революционное движение.

Революционная ситуация 1859—1861 гг. кончилась, не перейдя в революцию. Все приходилось начинать сначала. Движение переходило в существенно новый — *второй* — этап. На переломе к нему и находится третий из публикуемых нами документов.

7

Этот документ особенно обширен и представляет исключительный интерес. Он превосходит по объему все прочие документы и подробно останавливается на чрезвычайно важных вопросах работы революционной организации. Документ этот, как мы показываем ниже, возник между мартом и каким-то осенним месяцем 1862 г. Позже или раньше ареста Чернышевского, происшедшего, как известно, 7 июля 1862 г.? Вернее предположить, что позже. У Огарева есть ощущение какого-то перелома в ходе событий. Ранее, на первом этапе, он отстаивал идею единого централизованного общества, теперь он приходит к выводу, что такое общество невозможно. Третий документ отражает новый этап, в который вступило русское революционное движение в изучаемое время.

Тематика разбираемого документа чрезвычайно богата. В основном он анализирует вопросы организации русского революционного движения, подготовки всеобщего выступления с адресами царю о созыве Земского собора и останавливается на последующем вооруженном восстании, если царь откажет народу.

Учитывая всю совокупность возникающих задач, Огарев рассматривает особенности движения на всей территории России, выделяя три формы движения: 1) чисто народное, 2) военное и 3) движение образованного меньшинства. В свете этих трех критериев вся Россия, так сказать, *районируется*: выделяются те районы, где совпадают все три формы движения, далее идут районы, где наличествуют лишь какие-либо *две* из названных форм, и, наконец, районы, где имеется только *одно* движение — народное. Дается краткая характеристика отдельных городов с точки зрения их значения для революционного движения (охарактеризованы Петербург, Москва, Казань, Харьков, Одесса, Киев, Дерпт). На основе только что рассмотренной общей картины ведется подсчет сил русского революционного движения, в частности — военных сил будущего переворота. Существенно изменен принцип по сравнению с первым периодом *до* 1861 года: тогда революционная организация мыслилась как строго централизованная и, так сказать, насаждавшая сверху революционные ячейки. Но выступление, предполагавшееся в момент объявления реформы 1861 года, не состоялось. Народ не двинулся общей лавиной на революционную борьбу за землю и волю. Теперь — после неудачи первого плана 1861 года — Огарев приходит к другому выводу: «Единое централизованное общество невозможно; возможно только общество федеративное. Это доказывается фактом: в разных местностях образовались кружки; это совершенно противоположно карбонаризму, который рос из центра и от этого составлял единое, централизованное общество». Огарев осведомлен о подготовке польского восстания, но полон сомнений в успешности его исхода: «Я не думаю, чтоб полякам можно было говорить о плане. Я мало верю в варшавское восстание, тем меньше, что вмешательство Мерославского везде было порукою за неуспех». Чувствуется резкое разочарование Огарева в кружках «образованного меньшинства», чего не чувствовалось на первом этапе борьбы (1859—1861). Чего стоит, например, такая фраза Огарева: «Всмотревшись в Россию, можно *предположить*, где какие (т. е. фрачные, а не народные) кружки, вероятно, образовались...». До какого раздражения надо было дойти, чтобы придумать определение кружков «образованного меньшинства» как кружков «фрачных»! Язык трезвого скептицизма, язык *практика* революционного движения чувствуется и тогда, когда Огарев анализирует положение в Петербурге

и в Москве: «Наверно в Петербурге есть не один кружок, а несколько, и состав их офицеро-студентский, военно-литературный». Сближений с народом, за исключением «офицеров с солдатами», «мало, и они очень мнимы, потому что у литературных людей есть свои коньки: поговорили с извозчиком — значит есть сближение с народом; между тем как его, в сущности, нет, потому что нет резких общих обеим сторонам *местных* интересов землевладения и общественного устройства». Это место Герцен отметил крестиком. Москва как один из центров движения оценена, в общем, положительно, однако в ней основной, «землевладельческий»[56] интерес поглощен «интересами большого города и не стоит на первом плане». В Москве преобладает кабинетная жизнь, «создаются теории или фантазируются движения, нейдущие дальше из-за стен студии». Высоко оценена Казань: «Чрезвычайно важный пункт, где университет резко противуположен дворянству». Отрицательно оценен Дерпт. Далее следует общий подсчет военных сил в стране с выделением *тех военных сил*, на которые может опереться движение. Военные силы перечисляются по рубрикам: 1) гвардия и гренадеры, 2) армия, 3) внутренняя стража; общая численность войска — 590 тыс. чел., а в военное время — до 1 180 000 чел. Отдельно исчислен Генеральный штаб и Военная академия — 460 офицеров. Чрезвычайно важен сопровождающий перечисление текст: 1, 2, 3 и 5-й корпуса окружены фигурной скобкой и отмечены как «лучшие корпуса по настроению», а 4 и 6-й как «худшие по настроению». Иначе говоря, Огарев, несомненно, располагал какой-то идущей из России более или менее подробной информацией о настроении войск.

Информацию подобного характера Огарев и Герцен, очевидно, получали и раньше. Ее наличие можно усмотреть в статье «На новый год 1861», которая писалась в конце 1860 г.: «Говорят, что 4-му и еще какому-то корпусу был дан приказ идти к австрийской границе и ждать дальнейшего распоряжения о переходе через границу. Генералы рапортовали, что в случае помощи Австрии они не надеются ни на дух солдат, ни на дух офицеров и подадут в отставку. Не знаем, правда ли это, но то, что об этом говорят — уже имеет огромное значение. Стало, часть офицеров и солдат внутренне не хотели помогать Австрии душить славян и венгров; иначе этот слух не распространился бы»[57]. Следовательно, Огарев и Герцен получали информацию о положении в армии уже в 1860 г.

В этой же статье «На новый год 1861» Огарев говорит об «образованных офицерах», вызывающих его доверие. Герцен так же, как и Огарев, уверен в войске как революционной силе: «Наше войско, я думаю, скорее ближе к народу, чем другие» (X, 121). Агитация Огарева и Герцена сознательно обращена к войску. Огарев в статье «На новый год 1861» обращается с призывом к «образованным русским офицерам» (ср. текст об «офицерах добрых» в прокламации «Барским крестьянам») примкнуть к общему движению и сделать так, «чтобы правительственная бездарность не могла опираться на штыки и рассчитывать на пушки».

«Если один полк откажется стрелять по народу, то все откажутся, потому что солдат по приказу, может, еще и пошел бы на мужика, но против солдата — в наше время — он уже ни за что не пойдет...»[58].

Отсюда и призыв «Колокола» к молодежи идти служить в войска. В «Письмах к соотечественнику» Огарев предлагал: «Уж если нужда служить, лучше служить в военной службе; по крайней мере в войско прибавится масса образованных офицеров, которые не допустят солдат ни стрелять по народу, ни мешать Польше устраиваться, как знает...»[59].

Высказываясь об организационных сторонах тайного общества, Огарев в публикуемом документе полагает, что оно, в соответствии с выводами его анализа, должно разбиться на 16 округов, имеющих следующие центры: 1) Петербург, 2) Тверь, 3) Москва, 4) Нижний, 5) Курск, 6) Смоленск, 7) Харьков, 8) Одесса, 9) Киев, 10) Варшава, 11) Литва, 12) Кавказ, 13) Оренбург, 14) Казань, 15) Архангельск, 16) Рига. Каждый округ возглавлен лишь *одним* ответственным лицом. «Всего 16 человек, которые должны быть друг с другом в постоянных сношениях и в постоянных сношениях с тремя пунктами за границей: Берлин, Гейдельберг и Лондон. Берлин необходим как пункт, близкий к границе и удобно сносящийся и с Гейдельбергом и с Лондоном».

Далее формулируется точная установка: «если правительство в Земском соборе откажет, то на тех же основаниях произвести восстание со всех периферий разом». В этом месте Герцен делает отметку: «Но правительство может, не отказывая и не принимая, взять mezzo termine *, уступить долею, что, вероятно, и будет».

Документ кончается требованием: «Центральные члены обязуются *под пыткой* не называть друг друга»[60].

Итак, из всего содержания ясно, что неудача первой попытки, ориентированной на 1861 год, не сломила революционеров. Предпринята новая попытка организации тайного общества, разработаны его формы, поставлены цели. Цель организации восстания отнюдь не снята — она существует. Огарев не боится восстания — он его готовит. Восстание на этот раз ориентировано на весну 1863 г., когда истекал срок введения в действие «Положений» 19 февраля 1861 г. В последующем документе «Три вопроса», который относится к весне 1863 г., Огарев пишет: «*Опять* нам приходится приняться за работу подготовки следующего русского военно-крестьянского восстания...» (курсив мой.— *М. Н.*). Эта формула «опять» хорошо отражает повторность усилий, говорит о втором этапе пройденного пути.

Изучаемый документ надо отнести к формирующейся «Земле и Воле».

Об этом говорит и последний лист документа, оборот которого заполнен рукою Герцена: «Какими средст〈вами〉 З〈емля〉 и В〈оля〉 должна действовать». Здесь — впервые в публикуемых нами текстах встречается название общества «Земля и Воля». Отсюда (а также из всей совокупности уже приведенных выше документальных данных) рождается предположение: не является ли «Земля и Воля» организацией, оформляющейся на *втором* этапе движения? Переломный момент между первым и вторым этапами очевидно относится к концу 1861 — началу 1862 г. Поскольку датировка разобранной рукописи временем ранее 1863 г. не вызывает сомнений, упоминание Герцена о «последней польской революции» на обороте последнего листка может быть понято лишь как упоминание об учете уроков первого польского восстания 1830—1831 гг. Можно выдвинуть и менее правдоподобное предположение о том, что Герцен заполнил этот оборот много позже, нежели Огарев — предшествующие страницы,— года через два. В этом случае упоминание о «последней польской революции» должно было бы быть отнесено к 1863 году. Однако подобное предположение надо признать менее вероятным. Правдоподобнее датировать эту запись Герцена как в о б щ е м одновременную всему документу в целом. Это — запись человека, обсуждающего *те же* вопросы, что и основной документ, обсуждающего их в те дни, когда документ был завершен и показан ему.

8

Два последних документа находятся в записной книжке Огарева. Первый из них — список офицеров, членов революционной организации. Он вписан в записную книжку Огарева чьей-то товарищеской рукою, вероятно рукою А. А. Потебни. Человек, который по просьбе Огарева четко вписал в его записную книжку конспиративнейшую запись — названия полков и фамилии военных членов тайной организации, конечно, сам был руководящим членом организации. Чтобы создать столь разветвленную организацию в войсках, необходимо немалое время. Работа по созданию такой организации началась, очевидно, задолго до того времени, которым датируется разбираемый документ. По упоминаемым в списке польским местностям (Модлин, Ивангород и пр.) можно заключить, что данная офицерская организация, возможно, и является тем офицерским революционным Комитетом, который работал в русской армии во время польского восстания 1863 года.

Список содержит 64 офицерских фамилии, расположенные в порядке следования дивизий и полков. Полки относятся к 4, 5, 6, 7 и 2-й пехотным дивизиям; далее фамилии распределены по более мелким частям (стрелковым батальонам, одной артиллерийской бригаде, одному саперному батальону), а затем без обозначения частей, под рубрикой: «переведены в Россию». Около наименования полка стоят, как правило,

* полумеры (итал.).

две фамилии. Трудно представить себе, чтобы в 17 упомянутых полках наблюдалась такая странная закономерность, что в каждом из них было бы, как правило, только *два* члена революционной организации. Очевидно, тут упомянуты не просто рядовые члены, а члены-руководители, ответственные лица, которых было, как правило, по два на полк. Это особо подтверждается наличием при некоторых фамилиях следующих ремарок: «От них же подробности военной организации всей 4-й дивизии», или «Чрез них велась пропаганда 2-й дивизии», или, наконец: «от него все саперы 2-го корпуса». Очевидно, в данном случае указаны руководители еще более высокого порядка, отвечающие не только за полковую, но и за дивизионную тайную организацию.

В списке обращает на себя внимание фамилия поручика Крупского [61]. Естественен вопрос — не родственник ли это Надежды Константиновны Крупской? Ряд совпадающих данных делает чрезвычайно вероятным предположение, что это — ее отец, Константин Игнатьевич Крупский. Архивные данные фонда Крупской в ИМЭЛ подтверждают это предположение: отец Надежды Константиновны окончил кадетский корпус, затем военное училище, был офицером, служил в армии; по определению дочери, он был «шестидесятником», не только связанным с революционными кругами первой «Земли и Воли», но являлся и членом офицерской революционной организации. Его воинская часть стояла в Польше во время польского восстания 1863 года (это также совпадает со списком Огарева, так как около имени Крупского и его товарищей стоит ремарка «в крепости Ивангород»). Отец Надежды Константиновны умер в 1883 г., когда ей было 14 лет.

В архиве Н. К. Крупской сохранились ценные материалы об ее отце. К их числу относятся, например, неопубликованные стенограммы ее выступлений, содержащие воспоминания о нем [62].

Так, в 1936 г. Надежда Константиновна выступала с докладом на тему «Дружба народов» в Московском библиотечном институте и остановилась, развивая свою тему, на русском революционном движении. В этой связи она рассказала следующее о Константине Игнатьевиче Крупском: «Мой отец был шестидесятник-революционер. Он учился в Михайловском артиллерийском училище, где среди тогдашней военной молодежи велась революционная агитация тогдашней „Земли и Воли"; читали они там Герцена, какие-то листки. Когда началось польское восстание 1863 года, их мобилизнули на подавление восстания. Отец примкнул к тогдашней революционной организации офицерства, помогал побегам поляков, отводил свою роту в сторону, за что его чуть не пристрелил унтер».

Сопоставляя свидетельство Надежды Константиновны с офицерским списком в записной книжке Огарева, мы находим разительное совпадение данных: поручик Крупский значится в списке как один из участников тайной организации и, очевидно, как один из ее руководителей в своем полку. Можно внести лишь то уточнение в сведения Надежды Константиновны, что отец ее, очевидно, состоял членом тайной организации еще до польского восстания 1863 года, поскольку данный список датируется временем или самого конца 1862 года или самого начала 1863 года.

Необходимо также обратить внимание, что фамилия и чин упомянутого в списке поручика Мрочек совпадают с фамилией и с чином участника и организатора Казанского заговора 1863 года [63]. Можно предположить, что данный список восходит к А. А. Потебне и является списком Комитета русских офицеров в Польше, а Потебня приезжал в Лондон в ноябре 1862 г. и в феврале 1863 г. он и мог, по просьбе Огарева, вписать состав Комитета русских офицеров в его записную книжку.

Таким образом ясно, что запланированные еще в 1859 г. революционные организации в офицерской среде не остались на бумаге; перед нами — реальная организация революционного офицерства с реальными людьми, очевидно, преимущественно действующими в русской армии, двинутой на подавление польского восстания 1863 года.

Далее следует конспиративная запись исключительного значения. В ней даются: пароль, условные обозначения мест и руководящих организаций, а также конспиративный адрес. Паролем служило слово «Иерусалим». Конспиративным обозначением

центра польского революционного движения—Варшавы— служило наименование «берлин». Польский Центральный народный комитет условно назывался «берлинским банкиром», военный комитет — «берлинской почтой». Другой крупнейший центр польского движения — Краков — носил условное название — «гамбург». Эта же запись является документальным подтверждением наличия русского революционного центра не в Лондоне, а именно в России — в Петербурге, носившем условное название «любек». Русский Революционный центральный комитет имел конспиративное название — «любекский банкир». Если распространить на данную запись примерно ту же датировку, которая определяет время возникновения офицерского списка, т. е. конец 1862 — начало 1863 года,— то необходимо признать, что русский Революционный центральный комитет сохранился в Петербурге и после ареста Н. Г. Чернышевского (7 июля 1862 г.). Если так, то нельзя не отметить, что непоколебимая стойкость русских «революционеров 1861 года», схваченных царским правительством и заточенных в тюрьму, сохранила Революционный центральный комитет от разгрома,— русское революционное движение, очевидно, обязано этим стойкости Н. Г. Чернышевского, М. И. Михайлова, Вл. А. Обручева, Н. В. Шелгунова...

Разумеется, историкам русского революционного движения не раз придется вернуться к комментарию публикуемых документов, который будет обогащаться и уточняться по мере дальнейшего исследования и архивных изысканий. Многочисленные имена, приведенные в офицерском списке, дают для этого самые широкие возможности (автор настоящего комментария работает над монографическим исследованием, посвященным всей совокупности затронутых здесь вопросов, и, в частности, детальному изучению офицерского списка). Что же касается упомянутой в конспиративном адресе «генеральши Гейнс», то необходимо заметить, что семья Гейнс была близка ко двору, одна из Гейнс числилась придворной фрейлиной, следовательно, адрес этот находился вне подозрений царской полиции и в конспиративном отношении являлся вполне надежным.

9

Последний из публикуемых документов — записка Огарева, начинающаяся словами: «Три вопроса...». Она находится в той же записной книжке и расположена вслед за списком офицеров. Записка представляет собою директиву некоему лицу, очевидно члену революционной организации, отправляющемуся в Швецию с рядом революционных поручений. Организация названа в самом документе прозрачным сокращением «З и В»,— не представляет труда раскрыть ее название: это первая «Земля и Воля». Посылаемое лицо носит в документе название «Junior» *,— так называли сына Герцена Александра. Посланцу поручались переговоры с революционными организациями Швеции и особенно Финляндии. Три вопроса были: «1) Учреждение склада и постоянных сношений. 2) Присоединение финского общества к русскому. 3) Литовское дело».

Герцен был полностью в курсе содержания «Трех вопросов», и его замечания по тексту не относились к существу содержания, с которым он, очевидно, был согласен, формулируя свои возражения лишь относительно его формы и некоторых тактических вопросов. Очевидно, именно об этом документе пишет он в письме к Огареву от 29 апреля 1863 г.: «Насчет финского письма скажу, во 1-х, что оно длинно,— я отметил два алиаса**; во 2-х следовало бы прежде знать, какого мнения V. Czartorysky. Я бы долею содержание написал для Саши[64], а квинт-эсс<енцию> Квинтену. Ехать Саша, пожалуй, может ex. gr. *** в понедельник или во вторник» (XVI, 233—234).

В тексте публикуемых «Трех вопросов» Огарев дает в чрезвычайно конкретной и авторитетной форме директивы о «присоединении финского общества к русскому», об общей программе совместных действий, об отношении к уже начавшемуся польскому восстанию, о взглядах финского общества на «русское дело», о желательности перехода начавшегося восстания в «повсюдное крестьянское восстание». Весь текст говорит о большой работе его политической мысли. Огарев предполагает, что финское тайное

* «Младший» (лат.).
** повторения (лат.).
*** например (лат.).

общество еще недостаточно окрепло, нуждается в дальнейшем росте и усилении. В общем то же думает он и о «русском обществе», в дальнейшем прозрачно именуемом сокращением «З⟨емля⟩ и В⟨оля⟩», находя последнюю еще в утробном периоде: «Я не думаю, чтобы финское тайное общество уже теперь было организовано сильно; я думаю что оно, как и русское общество, состоит на правах зародыша, способного к необычайно быстрому росту».

Отчетливо высказывается Огарев и в пользу самостоятельного политического существования революционной Финляндии — союзной с Россией страны.

«Из письма Б⟨акунина⟩ очевидно,— пишет Огарев,— что финны хотят отделиться и присоединиться к Швеции, или остаться самостоятельными, или даже остаться в федерации с вольной Россией, но на правах самобытного управления. С нашей стороны всего благоразумнее желать им отдельного существования, не в федерации, а в союзе с Россией и Швецией. С падением Петербурга Швеция не может быть врагом, и мы, естественно, можем стремиться только к союзу с Скандинавией вообще». Под «падением Петербурга» разумеется, несомненно, падение самодержавия. Возвращаясь к этому вопросу в дальнейшем тексте, Огарев пишет: «Для нас самостоятельность Финляндии становится такой же дорогою внутренней мыслью и целью, как для финнов коренное преобразование России из петербургской в народную и федеративную». Ясно, что лондонский революционный центр располагает значительными связями с передовым Петербургом и может привести в движение нужные рычаги даже после ареста Чернышевского, если Огарев может написать: «...общество З⟨емля⟩ и В⟨оля⟩ может быть полезно поднятием финского вопроса постоянными разговорами и даже намеками в петербургской журналистике, так что русское общественное мнение довольно быстро приготовится в пользу самостоятельности Финляндии...».

Замечателен глубокий взгляд Огарева на польские события: «Я думаю, что польская революция действительно удастся только тогда, если восстание польское перейдет соседними губерниями в русское крестьянское восстание. Для этого необходимо, чтобы и самое польское восстание из характера только национальности перешло в характер восстания крестьянского и, таким образом, послужило бы ферментом для целой России и Малороссии». Огарев далее выражает сомнение в том, что польское восстание найдет в себе силы пойти по этому пути. В случае неудачи предпринимаемого нового демократического натиска Огарев готов приняться за работу вновь: союз с финским тайным обществом необходим и в случае неудачи польского движения. «Гораздо лучше приняться сразу за союз на серьезную подготовку общего восстания через два, три, четыре года, т. е. тогда, когда все шансы будут в нашу пользу и силы достаточно подготовлены»,— пишет он.

Ясно, что подобные директивы мог давать только *руководящий член* «Земли и Воли». Из этого документа, думается, неопровержимо следует, что Огарев и Герцен не только были членами русского тайного общества «Земля и Воля», но входили в его руководящее ядро, в руководящий центр и имели широкие полномочия от тайной организации. Несомненным членом организации был и сын Герцена Александр.

10

Публикуемые документы заслуживают самого пристального внимания. Они, несомненно, входят в состав важнейших документов революционной ситуации и еще долго будут изучаться советскими историками. Подведем некоторые итоги.

Итак,— замысел создания тайной организации, который вообще с юных лет не покидал Герцена и Огарева, возобновился у них в атмосфере общественного оживления, в годы, следовавшие за Крымской войной и смертью Николая I. «Записка о тайном обществе» Огарева, относящаяся к 1857 г., и является развернутым письменным изложением цели и структуры тайного общества. Она развертывает обширный замысел широкой пропаганды и вербовки членов в тайную организацию, руководимую немногочисленным центром. Цель общества — подготовка будущего, еще не очень близкого, переворота. Одновременно и, очевидно, в непосредственной связи с замыслом в целом, Огарев предлагает издавать центральное пропагандистское издание революционного

центра. Это, несомненно, и есть «Колокол». Замысел развивается и конкретизируется в 1859 г., памятником чего является новый документ — «Идеалы», разрабатывающий практическую республиканскую программу борьбы с самодержавием и крепостным правом.

В этот период работа над программой революционной организации, проводимая Огаревым, включает в себя разработку основных принципов будущего русского политического устройства. Допускаются в дальнейшем два конституционных варианта — конституционная монархия или республика. «Идеалом» является последняя. Будущее государственное устройство понимается как федеративный союз с большой внутренней самостоятельностью федеративных политических единиц, но с наличием центрального правительства, ответственного перед избирателями. В будущей русской федерации отменено крепостное право, крестьяне наделены землей в размере реальной крестьянской запашки, «как есть межа», за землю прежним владельцам уплачивается денежное вознаграждение («пособие») за счет государства; ликвидированы сословия, введено всеобщее равенство перед законом, отменено царское чиновничество и организовано управление из выборных людей. Предложенная программа преобразований носит несомненный буржуазно-демократический характер.

Очевидно попытки реализации замысла относятся ко времени, непосредственно следующему за его возникновением; они вступают в особо важный этап в 1859 г., когда в Лондон для свидания с Герценом и Огаревым приезжает Чернышевский. При всех отличиях в политической позиции Чернышевского и его соратников и деятелей лондонского центра, и те и другие, несомненно, стояли по одну сторону баррикады. Традиционный взгляд, согласно которому Чернышевский ездил в Лондон лишь по частному вопросу столкновения «Колокола» со «Свистком», необходимо оставить как узкий и не соответствующий фактам. Вся вскрываемая теперь обстановка, вся совокупность фактов говорит за то, что причиной свидания была, прежде всего, необходимость выработать общую программу действий и договориться о практике революционной работы. Этой основной цели подчинялись и разговоры о «Свистке». Свидание это, состоявшееся в первый год революционной ситуации, приобретает чрезвычайную важность.

После этого свидания возникает документ, свидетельствующий о резкой радикализации всего плана революционной работы,— проект «всеобщего нового устройства России» (документ «Цель русского движения...»), относящийся ко времени *до* крестьянской реформы и с наибольшей вероятностью датируемый 1860 годом. Выдвигается тактический план предварительной подачи царю адресов о созыве Земского собора, который и должен принять решение о «всеобщем новом устройстве России». «Если (или так как)» царь не захочет созвать Земский собор,— неизбежно «повсюдное» восстание, которое надо «устроить» и «направить в разумном порядке». Очевидно, лондонский центр и центр в России, возглавляемый Чернышевским, договариваются об особой форме народного вооруженного восстания, во главе которого идут восставшие войска, а за ними — в военном строю — вооруженное крестьянство. План, развиваемый Огаревым в документе «Цель русского движения», в этом отношении, несомненно, во многом перекликается как с прокламацией Чернышевского «Барским крестьянам», так и с последующим планом «Великорусса». Поскольку эта общность никак не может быть признана случайной, надо признать налицо не только самый замысел, но и несомненную попытку его реализации. Об этом свидетельствует решение русских революционеров опубликовать воззвание «Барским крестьянам» непосредственно накануне реформы, решение издать и другие революционные воззвания, обращенные ко всем слоям населения, создать проекты «адресов» правительству, исходящие из революционных кругов. Свидетельство прокламации «Барским крестьянам» о *существовании* в России тайной организации накануне и во время отмены крепостного права вносит значительную ясность в общую картину.

Первое вооруженное восстание, задуманное революционной организацией, намечалось, повидимому, на 1861 г. и приурочивалось к самому моменту объявления царской «воли». Однако эти планы не смогли осуществиться. Во втором периоде движения, связанного с организацией тайного общества «Земля и Воля» шестидесятых

годов, выступление намечалось на весну 1863 г. Новые материалы заставят, очевидно, несколько переосмыслить и события Казанского заговора 1863 года, являющегося, повидимому, лишь частью большого замысла, вероятно запланированного руководящим центром.

В свете всех приведенных данных серия прокламаций начала шестидесятых годов также осмысливается в основном как попытка централизованной и руководимой из одного центра агитации.

Первая попытка открытого выступления, приуроченная к объявлению народу царской «воли» в марте 1861 г., потерпела неудачу. Революционное движение в стране вместе с тем понесло тяжелые потери — смерть Добролюбова и Шевченко, арест Михайлова и ряда других деятелей, наконец, арест Чернышевского летом 1862 г. В создавшейся тяжелой обстановке все же предпринимается подготовка новой попытки открытого выступления, намечаемого на весну 1863 г. На этом этапе и действует тайная русская революционная организация «Земля и Воля» шестидесятых годов. Организация эта, в частности, связана не только с польскими революционными кругами, но и с финским революционным движением.

Огарев и Герцен, несомненно, входили в руководящее ядро «Земли и Воли» шестидесятых годов.

Новые материалы подтверждают, что мемуары Герцена «Былое и думы» носят на себе печать конспирации и не отражают всей полноты событий, протекших в Лондоне между 1859—1863 гг.

Новые материалы подтверждают ленинскую концепцию революционной ситуации в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов XIX в. и являются драгоценным источником для исследования этого периода в свете ленинской концепции. В прежнем комплексе конкретных фактов, раскрывавших понятие революционной ситуации, в сущности, начисто отсутствовала тематика организованного революционного движения, отсутствовала проблематика замыслов революционного характера и попытки осуществить их. В этом разрезе революционное движение выглядело беднее и ниже по уровню, нежели движение декабристов, прошедшее путь десятилетнего развития революционной организации со сложной идейной жизнью и богатой внутренней историей. С этим антиисторическим подходом к русскому революционному движению «разночинского» периода необходимо покончить.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Термин «революционеры 1861 года» дважды употреблен В. И. Лениным в работе «„Крестьянская реформа" и пролетарски-крестьянская революция» — см. В. И. Ленин. Соч., т. 17, стр. 94 и 100.

[2] См. В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 14—15; т. 20, стр. 223—225.

[3] В монографиях Я. Е. Эльсберга и З. П. Базилевой, посвященных Герцену, совсем не упоминается о конспиративной революционной работе и замыслах революционной организации в годы революционной ситуации.

[4] Н. Г. Чернышевский. Полное собр. соч., т. XIV. М., 1949, стр. 456.

[5] Н. А. Добролюбов. Полное собр. соч., т. VI. М., 1939, стр. 266 (ср. 267). 759 (подчеркнуто мною.— *М. Н.*).

[6] «Известия АН СССР, серия истории и философии», 1947, № 2, стр. 105—122.

[7] См. авторефераты: Н. Н. Новикова. «Великорусс» и его место в революционно-демократическом движении конца 1850-х — начала 1860-х годов; И. М. Беляевская. А. И. Герцен и польское движение 1860-х годов, и др.

[8] Над монографией «Русское революционное движение в годы революционной ситуации (1859—61)» автор работает в настоящее время. Опубликованные мною ранее работы — «Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации» («Исторические записки», 1941, № 10) и «Н. П. Огарев в годы революционной ситуации» («Известия АН СССР», 1947) — являются подготовительными для указанной монографии.

[9] См. ниже в наст. томе.

[10] Н. П. Огарев. Исповедь лишнего человека. В изд.: «Стихотворения и поэмы», т. II. Л., 1938, стр. 274—275 (подчеркнуто мною.— *М. Н.*).

[11] Н. П. Огарев. Предисловие к сборнику «Русская потаенная литература XIX века» (1861). Цит. по книге: Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения. Под общ. редакцией М. Т. Иовчука и Н. Г. Тараканова. Подбор, подготовка текста к печати и примечания Я. З. Черняка. Т. I.

М., 1952, стр. 465 (дальше цитируем это издание сокращенно: Н. П. Огарев. Избр. произв.).

[12] «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 323—328.

[13] Пользуюсь «Описанием рукописей Н. П. Огарева», составленным А. В. Аскарянц, под ред. Я. З. Черняка. М., 1952, стр. 109. Тетрадь Огарева под шифром Г.— О. VI. 19.

[14] Пользуюсь датировкой «Описания рукописей Н. П. Огарева» (см. пред. примеч.).

[15] «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 321.

[16] Там же, стр. 328.

[17] Там же, стр. 328.— Нельзя, вместе с тем, не отметить глубокой противоречивости в комментарии Б. П. Козьмина, даваемом разбираемому здесь документу. Комментатор считает целью проектируемого общества «подготовку переворота», подготовку «к коренному изменению основ социально-политического быта страны». Вместе с тем общество, ставящее себе столь высокую конечную цель, квалифицируется Б. П. Козьминым как «не боевая революционная организация, подготавливающая восстание, а просветительная ассоциация, занятая распространением знаний...». Одно противоречит другому, понятие «переворота» во втором определении забыто. Не всегда, не в любой момент тайное общество может и должно заниматься непосредственной, боевой подготовкой ближайшего революционного восстания. Не всегда восставать можно «завтра». Нельзя признавать конечной целью общества подготовку переворота и одновременно *не* считать общество революционным.

[18] В настоящую публикацию я не включаю документ, «пражской коллекции», который в работе «Н. П. Огарев в годы революционной ситуации» (цит. изд., стр. 114) упомянут третьим по счету и предположительно определен как конец «Записки о тайном обществе», начало которой опубликовал в «Лит. наследстве» (т. 39-40) Б. П. Козьмин. Основываясь на датировке «Записки о тайном обществе», данной Б. П. Козьминым, я относила примерно к той же дате и найденную рукопись. Она представляла собою конец какого-то текста, ее страницы были занумерованы как 5-я и 6-я, иначе говоря, в рукописи недоставало четырех страниц. Значительная доля ее текста совершенно точно или с некоторыми изменениями воспроизводила текст «Записки о тайном обществе», добавляя к нему концовку с призывом «Vivos voco!» — лозунгом «Колокола». Предпринятое сличение вновь найденной рукописи со статьей Огарева «Сплотимтесь дружно», опубликованной в последнем — шестом — номере «нечаевского» «Колокола» (1870), также показало многочисленные текстуальные совпадения. Поэтому из осторожности я не ввожу ее сейчас в публикуемый комплекс, поскольку ее датировка не может быть бесспорно обоснована. Вместе с тем нельзя не обратить внимания на чрезвычайную стойкость положений «Записки о тайном обществе» в революционном сознании Огарева,— он пользовался ее текстом и в 1870 г., включая его почти без переработки в свою новую статью.

Текст статьи Огарева «Сплотимтесь дружно» вошел в книгу: Н. П. Огарев. Избр. произв., т. I, стр. 800—803. Документ из «пражской коллекции» печатается ниже в наст. томе, стр. 574. Пользуюсь случаем поблагодарить Я. З. Черняка за указание на близость изучаемого документа со статьей «Сплотимтесь дружно».

[19] Эта и последующие цитаты — см. «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 323, 325 (курсив в цитатах из «Записки о тайном обществе» мой.—*М. Н.*).

[20] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 12.

[21] Опубликовано в «Красном архиве», № 32, 1929, стр. 233—234.

[22] Датировка рукописи «Идеалы» подробно мотивируется ниже (см. вводную заметку к публикации документа). Ее основанием служит упоминание об идущей и еще не закончившейся войне — этой войной может быть, на мой взгляд, лишь так называемая Итальянская война 1859 года.

[23] В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 224.

[24] Н. Г. Чернышевский. Дневник.—«Лит. наследие», т. I. М.—Л., 1928, стр. 557.

[25] Сначала Огарев хотел написать «Малороссийский», но, написав лишь часть слова «Малоро», зачеркнул ее и написал «Украинский». Далее в той же строке он написал «или Черноморский», но затем зачеркнул эти два слова.

[26] «Звенья», 1932, т. II, стр. 349—358.

[27] Н. П. Огарев. На новый год 1861— «Колокол», л. 89 от 1 января 1861 г. Цитирую по изданию: Н. П. Огарев. Избр. произв., т. I, стр. 374—395.

[28] Ранее было: «отрасли управления». Позже зачеркнуто.

[29] Н. П. Огарев. Предисловие к сборнику «Русская потаенная литература XIX века». Лондон, 1861.—Цит. по книге: Н. П. Огарев. Избр. произв., т. I, стр. 453.

[30] Там же, стр. 455.

[31] Б. Козьмин. Казанский заговор 1863 года. М., 1929, стр. 58, 64—65 и др.

[32] Н. П. Огарев. Записка о тайном обществе.— «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 323.

[33] Этот вопрос освещен в статье: Б. С. Гинзбург. Отношение А. И. Герцена и Н. П. Огарева к крестьянской реформе в период ее подготовки (1857—1860 гг.).— «Исторические записки», № 36, 1951, стр. 187—218.

[34] Н. П. Огарев. Избр. произв., т. I, стр. 305, 527, 324.
[35] Там же, стр. 341.
[36] Н. П. Огарев. Разбор нового крепостного права.— Там же, стр. 489—490.
[37] Н. П. Огарев. Проект адреса царю от государственных крестьян.— «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 331—336.
[38] Н. В. Шелгунов. Воспоминания. Редакция, вступительная статья и примечания А. А. Шилова. М.—Пг., 1923, стр. 33.
[39] Там же; курсив мой.—*М. Н.*
[40] Там же, стр. 32.
[41] Сопоставление первого варианта записок Н. В. Шелгунова со вторым дает в этом отношении разительные результаты. Так, в первом варианте рассказ о создании «артельного журнала» (для этого был приобретен «Век» Вейнберга) содержит описание бурного заседания. Описание включает в себя в первом варианте следующие строки: «Когда Елисеев спросил, для чего нам нужен свой орган, Серно-Соловьевич ответил, что он нужен нам „на случай восстания"». Во втором варианте этот эпизод передан так: «Когда Елисеев спросил, для чего нам свой орган,—Серно-Соловьевич ответил: „Для того, чтобы во всякую минуту, когда в нем будет нужда, он был готов"». Комментарии, думается, излишни (ср. Н. В. Шелгунов. Цит. соч., стр. 34 и 146).
[42] Диссертация Н. Н. Новиковой «„Великорусс" и его место в революционно-демократическом движении в годы революционной ситуации», защищенная в июне 1951 г., специально исследует данный вопрос и приходит к тем же выводам.
[43] М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации. «Исторические записки», 1941, № 10, стр. 19—28.
[44] Н. Г. Чернышевский. Избр. соч., т. I. Подготовили к печати М. В. Нечкина, Н. М. Чернышевская, А. Штраух. М., 1928, стр. 150—151.— Текст прокламации Н. Г. Чернышевского проверен мною по рукописи М. И. Михайлова, находящейся в деле П. Г. Зайчневского, поскольку прокламация «Барским крестьянам» дошла до нас лишь в копии М. И. Михайлова. Текст второй приводимой мною цитаты в рукописи позже был зачеркнут (повидимому, не рукою Михайлова: иной цвет чернил, иной — грубый — характер толстой черты, прочерченной сильно нажатым пером; зачеркивание явно иное по характеру, чем весь текст рукописи).
[45] Я высказала свои сомнения по этому вопросу в статье «Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации» (см. «Исторические записки», т. X, 1941, стр. 36—37).
[46] Н. Г. Чернышевский. Избр. соч., цит. изд., 1928, т. 1, стр. 14.
[47] Н. А. Добролюбов. Полное собр. соч., т. VI. М., 1939, стр. 487, 488.
[48] Добролюбов использует здесь выражения из своего известного стихотворения:

Я ваш, друзья — хочу быть вашим,
К труду и битве я готов,
Лишь бы начать в союзе нашем
Живое дело вместо слов.

Эти стихи — также несомненное свидетельство о возникновении революционного объединения. Добролюбов умер 17 ноября 1861 г., т. е. до основания «Земли и Воли», если считать датой ее основания общепринятую, а именно 1862 год.

Более того, стихотворение Добролюбова «Еще работы в жизни много», цитата из которого была приведена выше, свидетельствует не только о возникновении, т. е. о *наличии* организации, но и о том, что ее внутренняя история вступает в какой-то новый этап. Выразив желание «начать в союзе нашем живое дело вместо слов», Добролюбов продолжает:

Но если нет,— мое презренье
Меня далеко оттолкнет
От тех кружков, где словопренье
Опять права свои возьмет.

Отсюда ясно, что предшествующий период, предшествующие попытки организации *не* удовлетворяли Добролюбова: тогда были кружки, занимавшиеся «словопреньем» и не находившие в себе сил серьезно взяться за «живое дело вместо слов»; теперь что-то изменилось, преобразуется, организуется на каких-то новых началах, которые позволяют Добролюбову сказать революционным друзьям: «я — ваш» и надеяться, что теперь все пойдет по-иному, начнется «живое дело». Добролюбов ставит вопрос решительно и резко, как и подобает революционеру: даже лучше ничего не организовывать, нежели *опять* заниматься «словопреньем»:

И сгибну ль я в тоске безумной
Иль в мире с пошлостью людской,—
Всё лучше, чем заняться шумной
Надменно-праздной болтовней.

В то же время Добролюбов сейчас, на *новом* этапе развития, верит и в приход революции, и в несомненный приток новых людей в революционный круг, и в высокий революционный подвиг, который выпадет на долю этих новых людей:

Но знаю я,— дорога наша
Уж пилигримов новых ждет,
И не минет святая чаша
Всех, кто ее не оттолкнет.

Заметим, что слова: «дорога наша уж пилигримов новых ждет» были — очевидно не случайно — исключены Некрасовым из цензурных соображений и заменены точками при первой публикации стихотворения.

[49] «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 годах», т. I. М., 1890, стр. 510—512.

[50] Там же, стр. 525.

[51] В. С. Кружков. Мировоззрение Н. А. Добролюбова. М., Госполитиздат, 1952, стр. 244—245.

[52] Н. А. Добролюбов. Полное собр. соч., т. VI. М., 1939, стр. 219.

[53] «Процесс Н. Г. Чернышевского. Архивные документы». Редакция и примечания Н. А. Алексеева. Саратов, 1939, стр. 51—54, 76—77.

[54] Там же, стр. 60—61.

[55] Я подробно останавливаюсь на датировке прокламации «Барским крестьянам» в своей работе «Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации» («Исторические записки», № 10, 1941, стр. 19—27).

[56] Т. е. интерес *владения землей*. Иначе говоря, это та же совокупность мыслей, которая породила лозунг: *земля* и *воля*.

[57] Н. П. Огарев. На новый год 1861— «Колокол», л. 89, от 1 января 1861 г.

[58] Там же.

[59] Н. П. Огарев. Письма к соотечественнику. — «Колокол», л. 77 — 78, от 1 августа 1860 г. Ср. Н. П. Огарев. Избр. произв., т. I, стр. 377.

[60] Слова «под пыткой» Герцен подчеркнул и поставил над ними знак вопроса.

[61] Упомянутого в записной книжке Огарева поручика Крупского не следует смешивать со Станиславом Крупским. В 1862 г. Станислав Крупский сидел вместе с М. И. Михайловым в Тобольском остроге; в 1863 г. он бежал с места поселения, был пойман в Пермской губ. и отправлен в Казань, где и допрашивала его следственная комиссия. Таким образом доказывается его alibi в Польше в 1862—1863 гг. (ср. М. И. Михайлов. Записки. Пг., 1922, стр. 102—103).

[62] Мною использовано в фонде Н. К. Крупской ее неопубликованное письмо к В. В. Адоратскому от 15 апреля 1934 г. с сообщением сведений о своем отце, стенограмма доклада Н. К. Крупской в Московском библиотечном институте, прочитанного 31 января 1936 г., и машинописный текст статьи Н. К. Крупской «Дружба народов» (ИМЭЛ, ф. Н. К. Крупской, оп. 1, ед. хр. 4, 7, 8). В этом же фонде хранится семейный альбом Н. К. Крупской, где под фотографией молодого офицера в форменной шинели рукою Надежды Константиновны написано: «Мой отец в молодости».

[63] Арестованный по делу о Казанском заговоре поручик Александр Мрочек 4-го резервного батальона Томского пехотного полка (род. 1832) в апреле 1863 г. находился в Казани, где и повешен 6 июня 1864 г. Таким образом, указание на форт Перовский может являться ошибкой записи, но может относиться и к другому лицу. Нельзя, однако, забывать и того, что в близких к Герцену — Огареву кругах применялся уже упомянутый нами шифр для обозначения городов, причем название одних городов, заменялось другими. В качестве еще одного примера можно привести шифр Бакунина в письме к Налбандяну (опубликовано М. Лемке) от 6 мая 1862 г. из Лондона: «Петербург—Або. Кронштадт—Керчь. Иркутск — Калуга. Томск— Одесса. Омск — Полтава. Москва — Мценск. Тверь — Орел и т. п.».

Ниже публикуются (после списка офицеров) новые шифры конспиративного центра (Варшава — берлин, и т. д.).

Многие фамилии, упомянутые в публикуемом списке, известны в истории русского революционного движения тех лет. Однако не всегда можно установить, что речь идет в списке именно об этих лицах. В отдельных случаях можно ставить вопрос о родственных связях. Так, упомянем об арестованном за участие в студенческих волнениях (1861) Григории Дашкевиче, о студенте СПб. университета Ксаверии Вокульском (арестован за участие в студенческом движении) и студенте Медицинской академии Вячеславе Яковлевиче Мосальском, арестованном в августе 1862 г. и высланном в Вятку, о подпоручике Антонии Рыке (18-й стрелковый батальон), арестованном в марте 1863 г. за изготовление боевых патронов и оружия, и т. д. Заметим, что фамилия Чортов употреблялась позже как конспиративная кличка (так называли, например, нечаевца Прыжова).

[64] Речь идет о сыне Герцена Александре Александровиче, отправлявшемся в Швецию.

ПЯТЬ РЕВОЛЮЦИОННО-КОНСПИРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИЗ БУМАГ ОГАРЕВА

1

Первый публикуемый документ представляет собою рукопись Огарева. Она написана чернилами на белой нелинованной почтовой бумаге небольшого формата (17,7 × 11,3). Согнутые четырехстраничные листки не вложены один в другой, а приложены один к другому и перенумерованы чернилами полистно рукою Огарева. Фиксирующая нумерацию цифра стоит на правом развороте, в верхнем правом углу, а соответствующая левая оборотная страница остается не нумерованной — таким образом, нумерация дана полистная, а не постраничная. Всего таких согнутых отдельных почтовых листков три, в соответствии с этим последний лист занумерован как 6-й, а страничек в рукописи всего 12. Почтовая бумага не имеет водяных знаков, помогающих датировке — она лишь покрыта водяной сеткой эгутера из тонких и близких параллельных линий, пересеченных редкими параллельными же чертами, перпендикулярными к первым. Все три первых листка были согнуты вчетверо, причем название рукописи и первая ее страница пришлись внутрь сгиба. Последний лист рукописи, оказавшийся внешним при сложении вчетверо, сильно потерт, причем это особенно заметно на продольной полосе сгиба, который носит очевидные следы частого вкладывания и вынимания.

Рукопись носит название, написанное рукою Огарева «Идеалы», относящееся, однако, не ко всей рукописи в целом, а лишь к первому ее отделу, наиболее значительному по объему. Прочие более мелкие отделы имеют свои подзаголовки: ⟨2⟩ «Настоящее положение», ⟨3⟩ «Цель общества», ⟨4⟩ «Метода общества», ⟨5⟩ «Организация общества», ⟨6⟩ «Первоначальные труды общества». Далее следует ряд заключительных замечаний. Условно будем называть эту рукопись «Идеалы», используя краткость заглавия в рабочих целях.

Рукопись «Идеалы» имеет общий характер белового текста, однако то тут, то там содержит поправки, зачеркивания, вставки, сделанные Огаревым в процессе написания,— что, несомненно, свидетельствует о непрекратившейся в момент занесения на бумагу авторской работе над текстом.

На рукописи дважды проставлена дата «1859», написанная коричневым карандашом в начале текста и вторично — ближе к ее концу. Эти пометы не принадлежат руке Огарева, а очевидно проставлены позднейшим владельцем архива, разбиравшимся в бумагах. Не будем доверять этой дате, датируем документ, не принимая ее во внимание.

Документ «Идеалы» содержит в самом своем тексте, по меньшей мере, две существеннейших приметы, помогающие датировке. Во-первых, в отделе «Цель общества» он содержит перечисление необходимых преобразований, первым пунктом которых является требование освобождения крепостных крестьян; необходимо «общинное освобождение крепостных и казенных крестьян как общинных землевладельцев». Это дает основание утверждать, что документ «Идеалы» написан Огаревым *до* крестьянской реформы 1861 г. Во-вторых, в отдельных заключительных замечаниях сказано: «Общеславянская конфедерация теперь немыслима; она может уясниться только настоящей войной». Отсюда следует, что документ «Идеалы» писался Огаревым во время какой-то войны. Война эта имела несомненно отношение к дальнейшей судьбе славянских народов. Война еще шла, и исход ее в момент написания документа был для Огарева еще неясен.

Что же это за война? Какая война происходила *до* 1861 г. и имела указанные выше признаки? Прежде всего возникает предположение о Крымской войне 1853—56 гг. Но во время этой войны Огарева еще не было за границей, он приехал в Лондон лишь в апреле 1856 г. В этом случае пришлось бы предположить составление данного текста еще в России, что датировало бы «Идеалы» более ранними датами, нежели рассмотренная выше «Записка о тайном обществе», которую мы датируем началом 1857 г. (см. вступительную статью к настоящей публикации). Правдоподобнее

предположение, что в документе «Идеалы» речь идет о другой войне, более близкой к дате 1861 год. Такой войной может быть лишь так называемая Итальянская война 1859 г.— война Австрии против союза Сардинии с Францией, кончившаяся для Австрии разгромом при Сольферино. Эта война в случае неудачи Австрии и ставила вопрос о судьбе славянских народов, насильственно стянутых обручем Австрийской империи. И Чернышевский, и Герцен именно с данной точки зрения уделяли внимание этой войне. Герценом, например, была задумана особая сюита статей под названием «Война», посвященная всему комплексу этих вопросов. Особенно характерна первая статья задуманной сюиты, концентрированная на славянской проблеме (X, 1—10). Поэтому можно думать, что рукопись Огарева «Идеалы» писалась во время Итальянской войны 1859 г. Так как в момент написания рукописи положение дел для Огарева еще не «уяснилось», можно с большой долей вероятности предположить, что рукопись писалась до поражения Австрии при Сольферино, когда уже никаких сомнений в самом исходе войны быть не могло. Иначе говоря, вероятно предположение, что она писалась до 24 июня 1859 г. и, во всяком случае, до 11 июля 1859 г., когда был подписан закончивший войну Виллафранкский договор. Поскольку Итальянская война началась 29 апреля 1859 г. (в этот день австрийские войска перешли через реку Тичино и начались военные действия), границы искомой даты дополнительно суживаются. Очевидно, рукопись Огарева «Идеалы» написана м е ж д у м а е м и и ю н е м 1859 г. Таким образом, дата «1859», проставленная на документе карандашом чьей-то рукой,— в е р н а, но может быть дополнительно уточнена.

Из всего сказанного следует, что документ «Идеалы» был написан или непосредственно перед приездом Чернышевского в Лондон, или во время пребывания его в Лондоне, или сейчас же после отъезда Чернышевского; Чернышевский, как известно, приехал в Лондон 26 июня 1859 г., а уехал из Лондона 30 июня 1859 г. (Н. М. Ч е р н ы ш е в с к а я. Летопись жизни Н. Г. Чернышевского. М , 1933, стр. 96).

Предлагаемое «Колоколом», в статье Огарева «На новый год 1861» (л. 89 от 1 января 1861 г.), деление, несомненно, более позднее, нежели в рукописи. В тексте «Колокола» оно более детально отработано. Так Урало-сибирский и Амурский союзы, указанные в рукописи, даны в «Колоколе» более дифференцировано: Уральская область, Сибирь, Прикаспийская область; в рукописи же вообще упущена область, которая охватывала бы прикаспийскую территорию — очевидно этот пропуск был замечен и восполнен в позднейшем тексте.

⟨ЦЕЛЬ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА⟩

Идеалы *

Цель общества — положить начало социальному миру на основании общинного землевладения.

Следственно, главный принцип: самоуправление общины.

Самоуправление общины исключает вмешательство правительственной администрации, казенного судопроизводства и даже законодательства в дела общины.

Высший размер административного единства для нескольких общин не выходит из пределов *волости.*

Связь между волостями конфедеративная.

Следственно, другой принцип общества — замен центральной власти, немецко-бюрократической — центром конфедерации **.

Если общинно-волостное самоуправление поглощает в себе законодательно-судебную и от нее зависящую исполнительную власть,— ка-

---

* *В начале статьи написано неизвестной рукой цветным карандашом:* 1859 *и* Огарев.

** *На полях абзац отмечен крестом (карандашом).*

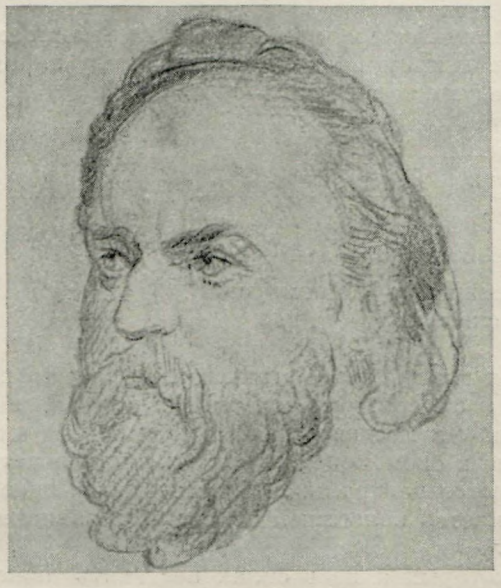
кая же власть может быть дана центрально-конфедеративному правительству?

Без сомнения, к его сфере деятельности могут относиться только вопросы междуволостной связи и отнюдь не междуволостных раздоров, которые могут решаться только междуволостным третейским судом, а не центральным правительством.

* Вопросы междуволостной связи следующие:

1. Пути сообщения:

a) постройка и содержание железных и других сухопутных дорог, речных и морских судоходств;



ГЕРЦЕН
Рисунок А. Е. Бейдеймана, 1860-е гг.
Русский музей, Ленинград

b) почты и телеграфы;
c) груз, сплав и движение товаров.
2. Выпуск денег и кредитные учреждения.
3. Междуволостные комиссионерные торговые конторы.
4. Иностранные комиссионерные торговые конторы.
5. Общий бюджет конфедерации и налог.

Бюджет, как и все действия центральной власти, должен быть предложен заранее** гласно и решен центральной властью, по соображении со всеми волостными возражениями.

Налог двоякий: 1) постоянный — на содержание*** власти: 2) переменный — на общеконфедеративные предприятия.

Форма центральной власти: комитет. Волость выбирает по одному кандидату, которые, собравшись, выбирают между собой министров для каждого**** вышесказанного***** вопроса, а эти министры выбирают из

---

* *Перед словом* Вопросы *стоит крест (карандашом).*
** *Далее зачеркнуто:* публично
*** *На полях крест карандашом.*
**** *Далее зачеркнуто:* каждой отрасли
***** *Далее зачеркнуто:* управления

своей среды своего президента. Затем кандидаты разъезжаются и оставляют комитет министров с президентом действовать.

Без сомнения, такое центральное правительство должно быть срочное, во всех действиях гласное и ответственное, так, что по истечении срока власти члены правительства за неправильное действие могут быть судимы уголовно назначенными от волостей присяжными, если хотя одна волость того потребует.

Центральная власть имеет своих агентов по союзам.

Конфедерация такого обширного народонаселения, естественно, по вопросам, относящимся до центральной власти, группируется географически в известные союзы, в которых центральная власть имеет своих агентов-представителей.

Предположительно Россия, при настоящих границах, могла бы группироваться * по двум принципам: по ** принципу породы и по принципу промыслов,— в следующие союзы:

1. Среднерусский.
2. Прибалтийский.
3. Польско-литовский.
4. Беломорский.
5. Волжский.
6. Украинский ***.
7. Новороссийский или Черноморский.
8. Урало-сибирский и
9. Амурский.

Ни центральная власть, ни ее агентства по союзам не могут выходить из пределов своих вопросов; исполнительная полиция и судопроизводство во всех делах остаются местными, волостными. При вмешательстве центральной власти не в свои вопросы волость отказывает ей в содействии.

Налог определяется центральной властью вследствие бюджета, но распределяется и взимается волостным порядком независимо от центральной власти.

Два вопроса, которых я не в силах поставить даже как идеалы: вопрос народного образования, т. е. пропаганды научной, и вопрос войска против чужеземных врагов, вопрос грустный, но, может быть, еще необходимый — куда их отнести: к центральной власти, или к общинно-волостному самоуправлению? Не знаю.

От идеалов перейдем к настоящему положению.

Настоящее положение

Правительство — центрально-военно-бюрократическое; следственно, оно захватывает административно-полицейскую, судебную и законодательную власти с большей рьяностью, чем все те вопросы, которые мы отнесли к центральной конфедеративной власти ****. Последние она представляет на разграбление частным лицам.

Оно — жандарм, а не регулятор движения общественного богатства.

При таком порядке вещей самоуправление общинно-волостное невозможно; оно только начинает прорываться вследствие своей внутренней необходимости, своего исторического тяготения и неминуемо войдет в оппозицию.

Поставивши таким образом идеалы в противоположность настоящему положению,— цель общества уясняется.

---

* *Далее зачеркнуто:* в следующие союзы

** *Далее зачеркнуто:* национ...

*** *Перед словом* Украинский *зачеркнуто:* Малоро... *После слова* Украинский *зачеркнуто:* или Черноморский.

**** *Далее зачеркнуто:* Эти вопросы

КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ В 1861 ГОДУ
Картина маслом С. В. Герасимова, 1951 г.
Исторический музей, Москва

Цель общества

Своим влиянием постепенно расширять самоуправление общинно-волостное, сводить правительство с административно-судебной колеи на вопросы, нами к центральной власти отнесенные, и в общественном мнении распространять идею конфедерации.

Для этого пути сводятся на следующие вопросы:

1. Общинное освобождение крепостных и казенных крестьян как общинных землевладельцев.
2. Гласность судопроизводства и книгопечатания *.
3. Реформа бюрократии в самоуправление, т. е. ее элементарный вопрос: реформа чиновничества.
4. Заменение губернских ** властей агентствами в предположенных нами союзах ***.

Методы **** общества

Без сомнения:

1. Личное влияние членов на общественное мнение всеми способами — и изустным и печатным.
2. Деятельно-служебное — замещением мест своими членами и влиянием на правительственные распоряжения.
3. Литературное.

Организация общества

1. Центр в России в постоянной связи с главным органом в Лондоне.
2. Центр должен состоять из совершенно сознательно действующих и распоряжающихся апостолов.
3. Около апостолов группируются ученики, полупосвященные.
4. Чем далее от центра к периферии, тем более члены должны переходить в бессознательных агентов *****, употребляемых для отдельных целей.
5. Общество составляет из пожертвований и трудов денежный фонд для своих действий.
6. Между центром в России и центром в Лондоне должны быть путешествующие корреспонденты и свои почты.
7. Апостолы могут каждый составлять свой географический центр.
8. Агенты общества должны быть:
   a) служащие
   b) пишущие и
   c) народные.
9. Между апостолами должны быть свои путешествующие корреспонденты и свои почты.

Первоначальные труды общества

1. Литературное уяснение вопроса самоуправления общины и отношений мира к лицу, иначе: отношения социологии к личной свободе.
2. Критика настоящего судопроизводства и разработка гласного судопроизводства.
3. Критика современной администрации, общей и губернской.
4. Критика свода законов.
5. Критика финансовой системы.

---

* *Далее зачеркнуто:* 3. Свобода составлять общества.

** *Далее зачеркнуто:* агент⟨ов⟩

*** *На полях против пункта № 4 стоит вертикальная черта карандашом.*

**** *Слово* Методы *стоит над зачеркнутым* Средства

***** *Вначале было:* бессознательные агентства

6. Критика современной * системы налогов и способа их взимания.
7. Критика сословий в России.
8. Критика торговых прав в России.
9. ** Чтение всех губернских ведомостей с целью преследовать судебные решения, правительственные распоряжения и распоряжения местных полицейских властей. Для этого общество, заподозрив что-либо из губернских ведомостей, преследует дело посредством местных связей и странствующих агентов и печатает в Лондоне.
10. Распространение здравых понятий, научных, теоретических, и популяризация их во всех прикладных вещах. Для этого издание книг

КАРИКАТУРА ПЕРИОДА ПОДГОТОВКИ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ
Так изображали помещики-крепостники последствия предстоящей реформы
Рисунок А. Корсакова, 1858 г.
Исторический музей, Москва

равно в Лондоне и в России, и странствующие агенты-преподаватели (так как публичные лекции входят в моду, их можно распространить даже по селам).
11. Систематическая передача в Лондон для напечатания всех действий правительственных по всем отделам, сведения о которых общество должно собирать посредством сознательных и бессознательных агентов, для чего оно должно иметь свои дипломатические связи. Сюда же относится и критика этих правительственных действий.
12. Сношения с Лондоном должны быть в руках общества по обоим направлениям: по европейскому и по Амуро-Американскому. Последний путь необходим, чтобы Сибирь имела постоянную рубрику в Лондонском органе.

В заключение скажу только, что общество, как мыслящий миноритет, обязано создать себе живые отношения с немым множеством, т. е.

---

* *Далее зачеркнуто:* теории
** *Далее зачеркнуто:* Центр

с крестьянами, потому что две главные цели всегда должны быть присущи каждому члену: самостоятельность села и конфедерация.

Общеславянская конфедерация теперь немыслима; она может уясниться только настоящей войной.

Еще одно: всегда, когда общество может, не подвергаясь опасности, то ли с дозволения правительства, учредить что-либо публично, оно должно пользоваться случаем, так, чтобы таинственность действий была только крайнею необходимостью самосохранения, а где можно — действовать откровенно, но предпочитать пути откровенности и хвататься за них всегда, когда выпадает случай. Мистицизм конспиративный должен быть изгнан и сведен на предусмотрительную осторожность.

Разные апостольские центры должны быть устроены так, что если б один подпал под гонение правительства, это не могло бы вовлечь в опасность ни другие апостольские центры, ни главный центр.

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 27, *лл.* 1—6 об.

2

Второй документ, начинающийся словами «Цель русского движения...», также представляет собою автограф Огарева. Рукопись написана чернилами на четырехстраничном согнутом листе хорошей белой бумаги довольно большого формата (20×25,3), причем текст расположен лишь с одной стороны листа,— оборот страниц оставлен чистым; таким образом в рукописи всего две заполненные текстом страницы. Вверху страницы написано синим карандашом заглавие: «Проект Огарева», но эта надпись сделана не рукою Огарева, а позднейшим владельцем архива, разбиравшим документы. Полагаю, что ему же принадлежат две отметки коричневым карандашом — отчеркивания снизу вверх в двух местах этого же текста. Рукопись, в общем, производит впечатление беловика, однако кое-где содержит авторскую правку Огарева — вставки над строкой, зачеркивания, поправки слов. Они свидетельствуют о том, что в процессе написания текста авторская работа не прекращалась. Трудно сказать, являются ли последние строки концом рукописи — как ее содержание, так и внешний вид ее конца не дают для этого оснований: по крайней мере, нижнее поле последней страницы является нормальным полем переходного текста, а не каким-либо бо́льшим по площади.

Рукопись не датирована самим Огаревым, и бумага, на которой она написана, не содержит водяных знаков смыслового значения, которые помогли бы датировке (бумага покрыта лишь водяной сеткой эгутера того же типа, как и в предыдущем случае). Однако содержание рукописи дает очень важную примету для датировки — первым пунктом проектируемого переустройства России является требование уничтожения крепостного права — иначе говоря, рукопись явно относится ко времени *до* освобождения крестьян, то есть написана ранее 1861 г. Текст начинается с утверждения, что «всеобщее новое устройство России» будет состоять прежде всего в «немедленном уничтожении всякого крепостного права, помещичьего и казенного, на людей и землю». Такими словами Огарев не стал бы излагать свои требования после реформы 1861 г.

К какому же именно году *до* 1861-го относится рукопись? Сопоставляя ее с другими документами, речь о которых будет идти ниже, и с опубликованными в тт. 39-40 и 41-42 «Лит. наследства» (1941) огаревскими документами, сближающимися в некоторых отношениях с разбираемым архивным материалом, можно придти к предположению о 1860 г., как о наиболее правдоподобной дате возникновения рукописи: отодвигать ее далее назад нет оснований. Рукопись, очевидно, написана *позже* предшествующей — за это говорит бо́льшая детализация предложений и более зрелый их характер, нежели в предшествовавшем документе, на что указано во введении.

Рукопись не имеет авторского заглавия. Примем условно первые ее слова в качестве рабочего заглавия.

⟨ЦЕЛЬ РУССКОГО ДВИЖЕНИЯ⟩

* Цель русского движения: созвать Земский собор из посланцев ото всех уездов, выбранных всем народом, без различия сословий, для всеобщего нового устройства России, которое состоит:

1) В немедленном уничтожении всякого крепостного права, помещичьего и казенного, на людей и землю.

2) В отдаче общинам (громадам, миру) земли, им принадлежащей — как есть межа, положив помещикам денежное вознаграждение из общих государственных доходов, без всякого особого взимания с крестьян чего-либо, сверх обычной подати, платимой всеми на пользу общую.

3) В уничтожении, затем, всякой сословной розни и введении равноправности.

4) В учреждении, заместо казенного чиновничества, бессословно выбранных и перед обществом ответственных людей для суда и управления сельского, городского и уездного.

5) В соединении уездов в области, самостоятельно управляемые своими выборными областными думами.

6) В соединении областей в один общий Союз (Федерацию), заведываемый ото всех областей выборною Земскою думой.

Всего этого без общего Земского собора учредить и постановить нельзя.

Если (или так как) государь не хочет созвать Земского собора, то неурядица неизбежно доведет до восстания.

Так как восстание неизбежно, то надо его устроить и направить в разумном порядке, отнюдь не кровопролитно и не разорительно **.

Такое восстание, идущее строем, можно только образовать в войсках.

Для этого надо*** составить офицерские общества для разъяснения солдатам цели и необходимости восстания.

Образование таких обществ должно быть преимущественно и усиленно вырабатываемо в войсках, стоящих на окраинах государства: на Кавказе с Доном и Черноморьем, на Урале с Приволжьем, в Польше с западными губерниями.

Образовавшись, общества должны принять начальство над войсками и вести их таким образом со всех концов на Москву и Петербург, всюду подымая народ на содействие и умножаясь прибылыми охотниками-ратниками, оставляя по дороге селы и города учреждать сами⟨м⟩ свой внутренний порядок, с упразднением казенного чиновничества и клича клич на общий Земский собор, который, если б император не захотел его, собрался бы помимо его воли и выбрал бы царя нового — если нужно — или составил бы при себе правительственный совет из людей, перед Земским собором ответственных.

Сопротивление такому движению может быть только ничтожное.

Чтобы, пока идет образование восстания войск, офицерские общества разных местностей могли иметь между собою узел, сношения и заявлять свое дело гласно печатным словом, — надо каждому из них войти в постоянные сношения с нами, людьми, поставленными в Лондоне вне преследований казенной полиции ****.

Для успеха образования восстания нужно во всех войсковых центрах учредить денежные сборы из посильных приношений каждого на общее дело, поручая кассы избранным офицерам.

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 28, лл. 1—2.

---

* *Над текстом написано синим карандашом:* «Проект Огарева».

** *Фрава отчеркнута на полях коричневым карандашом.*

*** *Далее зачеркнуто:* в войсках

**** *Две последние строки отчеркнуты на полях коричневым карандашом.*

3

Третий документ публикуемой серии наиболее обширен и исключительно ценен по содержанию. Он является автографом Огарева с карандашными автографическими пометками Герцена. Рукопись написана чернилами и занимает 10 четырехстраничных (сдвоенных) больших листов почтовой бумаги, из которых последний заполнен лишь отчасти (содержит всего 6 строк рукописи). Это последнее обстоятельство дает известные основания предположить, что рукопись дошла до нас в цельном виде, в каком вышла из рук автора, и конец ее не утрачен. Текст расположен лишь на одной стороне листа — обороты оставлены незаполненными. Таким образом, рукопись занимает $18^1/_4$ больших рукописных страниц. Страницы Огаревым не пронумерованы и связаны лишь переходящим текстом и общностью листов.

Рукопись не датирована. Однако она включила в текст важные приметы времени, позволяющие ее довольно точно датировать. В тексте говорится о «сосланном в Нижний Павлове». Очевидно речь идет о профессоре Платоне Васильевиче *Павлове*, сосланном за речь в честь тысячелетия России, произнесенную 2 марта 1862 г. П. В. Павлов был арестован 6 марта и административно выслан в Поволжье, но не в Нижний, а в Ветлугу Костромской губернии. Сам он был уроженцем Нижнего, и, возможно, что это обстоятельство способствовало возникновению той неточной версии о месте ссылки, которая дошла до Лондона. Отсюда все же ясно, что документ возник после ссылки проф. Павлова, т. е. после 6 марта 1862 г. и не ранее середины марта, так как весть об аресте должна была какое-то время идти до Лондона (первый отклик «Колокола» на это событие появился в л. 126 от 22 марта, ср. XV, 99). Надо думать, что до Герцена и Огарева дошли, вероятно, лишь первые вести о ссылке Павлова, потому что последующие, многократно повторяясь, могли бы внести коррективы в неточное представление о месте его ссылки. Таким образом, мы получаем определение срока, после которого возник данный документ.

Второй приметой времени является следующее обстоятельство: в документе изложена необходимость агитировать за всеобщую подачу адресов о созыве Земского собора — это первая цель движения; если же правительство откажет — должно «произвести восстание». Разъяснение этой первоначальной цели, или, как говорит Огарев, цели «ad hoc» сопровождено следующим указанием: «Общий адрес и адрес меньшинства должны быть распространены в народе и поданы *до* февраля 1863 года» (выделено мною.—*М. Н.*). Очевидно, столь сложная работа подготовки выступления, сопровождавшаяся распространением в народе готовых адресов и далее организацией самой подачи адресов,— должна была отнять немало времени. Поэтому данный документ никак не может относиться к 1863 г.: он возник *до* 1863 г.: задуманный план требовал значительного времени для выполнения. Мы получаем, таким образом, определение момента, *позже* которого документ не мог возникнуть, и приходим к выводу, что этот документ, вероятнее всего, возник между мартом и каким-то осенним месяцем 1862 г.

⟨ЗАГРАНИЧНЫЕ ОБЩЕСТВА⟩

Заграничные общества могут только давать общее направление печатной пропаганды и служить складочными связями для обществ, реально действующих в России.

Единое централизованное общество невозможно; возможно только общество федеративное. Это доказывается фактом: в разных местностях образовались кружки; это совершенно противоположно карбонаризму, который рос из центра и от этого составлял единое, централизованное общество. У нас даже 14 Декабря разделилось на Север и Юг — не потому что они не вовсе сходились в тенденциях, — они на чем-нибудь да помирились бы, — но просто по географической пространности, на которой уже образовавшиеся отдельные кружки могут сойтись, но где рост из одного центра несбыточен.

Я очень напираю на это потому, что оно дает чрезвычайную важность местностям и определяет план кампании.

Всмотревшись в Россию, можно *предположить*, где какие (т. е. фрачные, а не народные) кружки, вероятно, образовались и, следственно, на те пункты направить поиски и стараться примкнуть и основать отдельные местные центры и их связь между собою.

Начнем с севера.

Наверно в Петербурге есть не один кружок, а несколько, и* состав их офицеро-студентский, военно-литературный. Столкновений, т. е. сближений с народом (кроме офицеров с солдатами), мало, и они очень мнимы, потому что у литературных людей есть свои коньки: поговорили с извозчиком — значит есть сближение с народом; между тем как его, в сущности, нет, потому что нет резких общих обеим сторонам *местных* интересов землевладения и общественного устройства **.

Далее *** нельзя не предположить центров во всех университетских городах, центров, очень рьяных и очень неопытных. Вот они:

Москва. Сближения с народом могло бы быть больше, чем в Петербурге, но местный интерес землевладения и общественного устройства много поглощен интересами большого города и не стоит на первом плане. Потом кружки уже не военные, а учено-литературные, и Москва представляет им большое удобство кабинетной жизни, где создаются теории или фантазируются движения, нейдущие дальше из-за стен студии; от этого в Москве самое сближение розных кружков туго, и они или слишком осторожны или фантазируют.

Казань. Чрезвычайно важный пункт, где университет резко противуположен дворянству, где местный интерес землевладения и общественного устройства сильно бродит в округе от Вятки до Урала, где встречается молодежь из юго-восточных приволжских губерний. Этот центр примыкает к крепкому расколу и к духовной Академии. В этом центре есть войско, но его настроение мне совершенно неизвестно. С университетом оно, кажется, не сближено.

Харьков. Университетский центр русской Малороссии и Войска Донского. Насколько в Малороссии пан может сойтись с мужиком, что**** даже потруднее, чем в Великороссии, и насколько молодежь из казаков может иметь влияние на донское казачество — это вопрос, который требует основательных сведений.

Одесса. Центр чрезвычайно важный как университетский центр Новороссии и доли Украины и как корреспонденция.

Киев. Один из наиболее объемистых университетских центров, где встречаются русские, малороссы, литовцы и поляки. Центр, необходимый для соединения и трудный по разрозненности национальностей. Важный центр по духовной Академии.

Дерпт — теперь малозначащий центр; для русских и поляков враждебный университет. Его лучше обойти *****.

Ярославский лицей мне мало известен, и как на университетский центр не знаю, насколько на него рассчитывать.

Итак, для деятельности литературно-народной, т. е. для сближения молодежи с народом, самые важные пункты остаются, располагая по степени важности: Петербург, Киев, Москва, Казань, Одесса и Харьков.

Кроме того, Петербург, Москва, Киев и Казань имеют важное значение по духовным академиям, имеющим несомненное влияние на семинарии

---

* *Далее зачеркнуто:* направление его необходимо

** *Это место отмечено Герценом знаком* ×.

*** *Далее зачеркнуто:* идут университетские

**** *Далее зачеркнуто:* может

***** *Далее зачеркнуто:* Итак из универси...

и, следственно, охватывающие все духовенство, в настоящее время самое талантливое сословие.

Далее важное значение имеют военные центры. Приблизительное число войска следующее:

Гвардии и гренадер — 60 000 (гвардия — в Петерб‹урге›; гренадеры — в Москве)
Армии — 180 000
Внутренней стражи — 50 000
На Кавказе — от 200‹000› до 300 000

Всего регулярного войска 590 000, а в военное время при пополнении кадр — от 800 000 до 1 180 000 чел.

Генеральный штаб и Военная академия — 460 офицеров.

1-й корпус — в Вильно
2 — в Варшаве
3 — в Житомире
5 — в Одессе
} Лучшие корпуса по настроению

4 — в Воронеже
6 — в Симбирске
} Худшие по настроению

В Сибири и по Уралу 15 батальонов линейного войска; следственно артил‹лерийских› орудий 25 (в мирное время), 50 (в военное).

В Оренбурге (4 полка) 12 батал‹ьонов› (от 20 до 40 орудий).

В Финляндии — 12.

Генералов — 357, офицеров — 30 000 челов. Около половины надо считать на Кавказе. Следственно, на 6 корпусов придется * слишком 15 000 офицеров; следственно, на лучшие 4 корпуса 10 000** (считая штаб и обер) да и настроение офицеров и войска на Кавказе не может быть дурно.

Следственно, военные центры регулярного войска составляют, по важности:

Петербург
Варшава
Житомир
Кавказ
Одесса.

В Восточной России мудрено определить центр; два корпуса рассеяны; сегодня — в Нижнем, завтра — неизвестно где.

Оренбург составляет маленький центр для регулярного войска.

Финляндия вовсе не нужна.

На внутреннюю стражу вовсе нельзя рассчитывать; но пометить надо города с крепостями как ее центры, всегда снабженные орудиями и пороховым магазином. Их надо пересчитать; многие губернские города с крепостями (кремлем) и, сверх того, отдельные крепости (Бобруйск и т. п.) пограничные и непограничные.

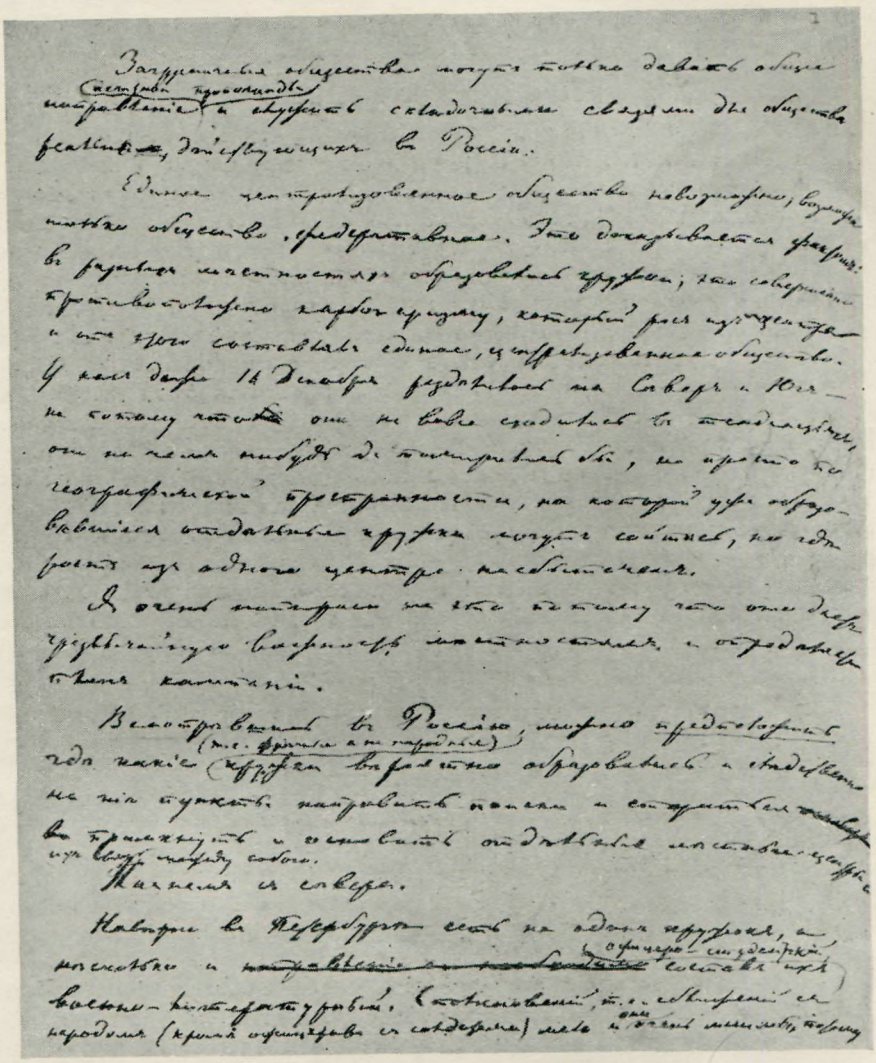
Флот везде хорошо настроен.

Иррегулярное войско имеет центры противуположно регулярному. Там, где оно примкнуто к регулярному, оно или составляет полицейскую силу и входит в кадры и интересы внутренней стражи или вовсе не со-

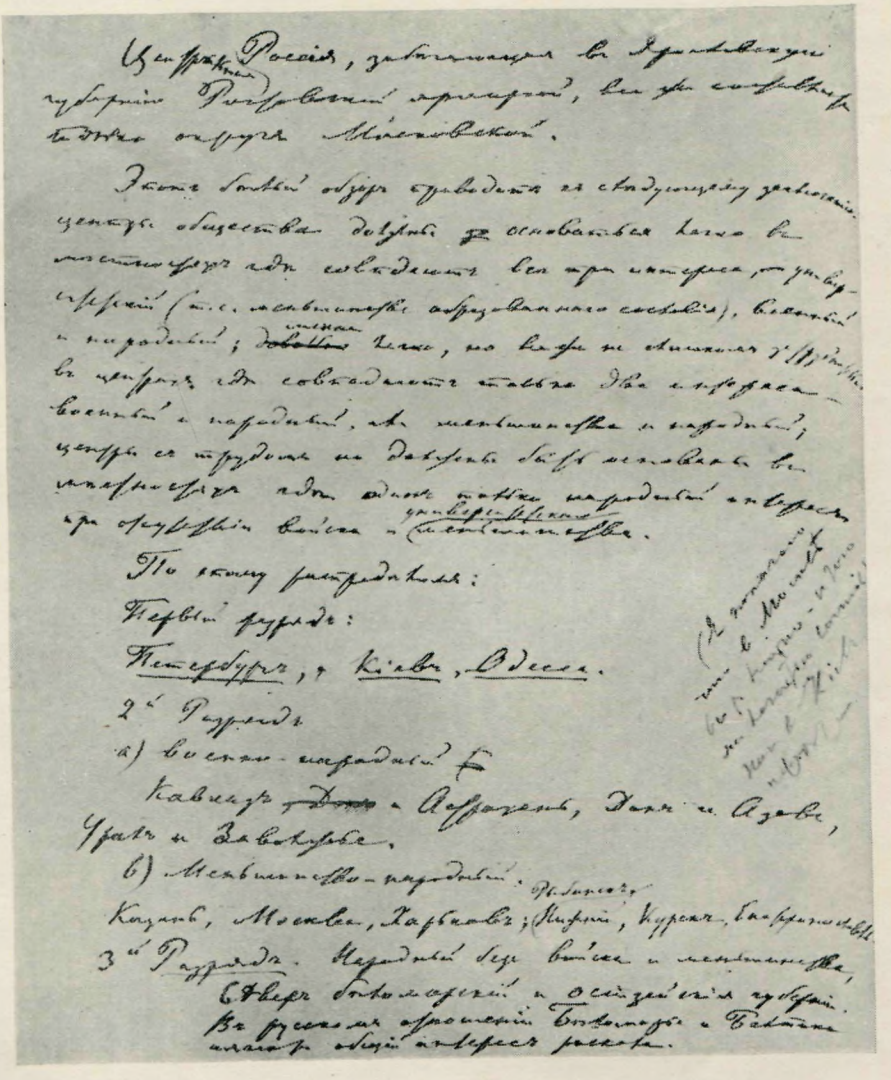
---

* *Далее зачеркнуто:* около

** *Стоит над зачеркнутой цифрой:* 19 000



«ЗАГРАНИЧНЫЕ ОБЩЕСТВА...»
Революционно-конспиративный документ, написанный Огаревым
Автограф, 1862 г.
Лист 1
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва



«ЗАГРАНИЧНЫЕ ОБЩЕСТВА...»
Революционно-конспиративный документ, написанный Огаревым
Автограф, 1862 г. Пометы рукой Герцена
Лист 15
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

ставляет силы (кроме Кавказа, который сам по себе совпадающий центр регулярного и иррегулярного войска). Несовпадающие же центры — Оренбург с Уралом и Дон, Астрахань, Азов, Черноморье и Новороссия или крайний восток, юго-восток и юг России. Иррегулярного войска всего 308 400 человек. Половина на Кавказе; из остальной половины $^1/_3$ — на внутренней страже, $^2/_3$ — дома и составляют центры; следственно, приблизительно: на Кавказе 150 000. Из остальных 150 000, отсчитав 50 000 на внутреннюю стражу, остается около 50 000 на юге и юго-востоке *, около 50 000 ** на востоке (считая не поселян, а только входящих в кадры войска) и, вероятно, до 300 орудий (по 150 в каждом центре, может и меньше). Цифры собрать мудрено, и они требуют поверки. Иррегулярное войско большею частью совпадает с расколом. Центры иррегулярных войск, естественно, противуположны регулярному, ибо правительство, рассчитывая на иррегулярное войско, посылает наименьшее число регулярного туда, где наибольшее число иррегулярного. Важное значение для нас оно имеет там, где оно дома, где оно самостоятельная сила и центр; а там, где оно примкнуто к внутренней страже ***, оно дает шансы противу нас, ибо каждый казак становится грабящим чиновником. Различия между нижними чинами и офицерами по образованию нет; по местным интересам есть оппозиция та же, что у народа с чиновниками; стало, всего менее рассчитывать можно на офицеров, опять совершенно противуположно регулярному войску.

Далее — классификация городов, помимо центров университетских и военных, не существует для образованного меньшинства, и приходится классифицировать только помещичество. Меньшинство его всегда будет зависеть от университетских центров; большинство распределится на оброчников и барщенников, а последние — на крупных и мелкопоместных. Так как эта классификация повсюдная, то центров, помимо университетских, для меньшинства мы не найдем ****, кроме центров, ярко обозначенных народностей; следственно, сверх университетских центров могут встретиться центры в западных***** губерниях.

Далее идет классификация собственно народа. Тут в глаза бросаются три основания классификации:

Народность (Польша, Литва, Малороссия).

Раскол (я вскоре разработаю классификацию раскола) и торговые подвижные центры — ярмарки, и неподвижные центры — приречных больших городов и сел.

Кроме того, два большие отдела губерний помещичьих и губерний, где помещиков мало или вовсе нет. Так, Север по прямой черте от Олонецкой губернии до Екатеринбурга, и Восток — от Екатеринбурга до Астрахани составляет беспомещичью, народную, раскольничью полосу.

****** Какое бы ни было основание классификации, но народ всюду группируется по ярмаркам, подразделенным на бесконечное число базаров, которые для него составляют место стачки, митингов, вечей.

---

* *Далее зачеркнуто: а.* Урале *б.* Востоке

** 50 000 исправлено из 40 000

*** *Слова:* внутренней страже — *написаны над зачеркнутыми словами:* регулярному (кроме Кавказа)

**** *Далее зачеркнуто:* каких бы ни было иных

***** *Далее зачеркнуто:* и малороссийских

****** *До слова* Какое *в тексте идет несколько зачеркнутых, исправленных и вновь зачеркнутых фраз (в прямых скобках дается второй слой):* Стало, центры [отделы] по народностям требуют трех резиденций [в Литве] составляют необходимость [указывают на естественность] центров меньшинства [отделов народных] в Польше, Литве, Малороссии и на естественность тех отделов народных. [Далее центры] Далее отделы народа распадаются по расколам [по цен].

Проследим группировку по ярмаркам и приречным торговым городам. (Я не говорю о повсюдных годовых местных ярмарках в каждом городе, а только о больших, сбирающих народ со всех краев.)

На севере существует только одна замечательная ярмарка — Весьегонская. Стало, на севере рассчитывать на большие временные центры нельзя, а только на постоянные центры.

Кроме обычных портовых городов, как Архангельск, Петербург и Рига, один из главных притоков народа — Рыбинск. Рыбинск отделяет к северу Русь беспомещичью и начинает Русь помещичью Ярославо-Костромского округа и * сбирает временно всю приволжскую Русь.

Ярмарочный центр крайнего востока — Ирбит, южнее — Менселинск, следственно — Пермская и Оренбургская губернии. Главные ярмарочные центры низовых городов — Нижний-Новгород и Симбирск. Главные постоянные центры на соединении Волги и Дона, т. е. на границе Саратовской губернии и земл⟨и⟩ войска Донского.

Далее ярмарки в земле войска Донского.

К западу пойдут малороссийские ярмарки — Коренная в Курске, Харьковская (3 раза в год), Роменская (в Полтавской губернии 3 раза в год), Кролевецкая (Чернигов⟨ской⟩ губернии), Ростовская и Екатеринославская, Таганрогская.

Литва и Белоруссия, т. е. западные губернии, имеют только одну Сельвимскую ярмарку.

Киев, конечно, самый большой народный, торговый и всяческий центр для Западной Украины, и Украина составляет только округ Киевский.

Центральная Россия, забегающая в Ярославскую губернию Ростовской ярмаркой, все же составляет только округ Московский.

Этот беглый обзор приводит к следующему заключению: центры общества должны основаться легко в местностях, где совпадают все три интереса — университетский (т. е. меньшинство образованного сословия), военный и народный; менее легко, но все же не слишком затруднительно — в центрах, где совпадают только два интереса — военный и народный или меньшинства и народный; центры с трудом, но должны быть основаны в местностях, где один только народный интерес при отсутствии войска и университетского меньшинства.

По этому распределим:

Первый разряд:

Петербург, Киев, Одесса **.

Второй разряд:

а) военно-народный: Кавказ и Астрахань, Дон и Азов, Урал и Заволжье.

b) Меньшинство-народный: Казань, Москва, Харьков, Рыбинск, Нижний, Курск, Екатеринославль.

Третий разряд:

Народный без войска и меньшинства: север беломорский и остзейские губернии. В русском отношении Беломорье и Балтика имеют общий интерес раскола.

В первом разряде нам остается только встретиться с людьми и оставить в каждом одного с нами соединенного.

Во втором разряде мы должны пользоваться встречею, где она возможна, а там, где она маловероятна, иметь нарочного агента.

Начинаю с союза меньшинства с народом.

На линии от Петербурга до Москвы мы встретим готовых людей в Твери и потому должны воспользоваться, чтоб из них основать Тверско-

---

* *Далее зачеркнуто:* соединяет

** *На полях написано карандашом рукой Герцена:* (Я полагаю, что в Москве все ж можно с тою же легкостью составить ц⟨ентр⟩, как в Киеве и Одессе).

ДЕРЕВНЯ

Картина маслом Ф. А. Васильева, 1869 г.

Русский музей, Ленинград

Ярославско-Костромской округ, который бы работал пропагандой для сближения меньшинства с народом, где для него удобный центр—Рыбинск. Тут местные интересы землевладения и выборного начала дают сильную основу для пропаганды по трем адресам. Тут надо рационально примкнуть (положим, к Европеусу) и на него возложить дело составления союза для целого округа и устроить с ним корреспонденцию. Вероятно, к этому округу присоединится Новгород и Псков *.

Второй округ пропаганды по всем трем адресам — Московский. Я чую, что тут можно встретить человека, но я его не знаю. Все те, которых я знаю, представляют много преданности, но мало таланта. А это округ, охватывающий Москву, Владимир, Рязань, Тулу, Орел, Калугу.

Третий округ — Нижний и низовые губернии. Тут готового ничего не встретишь, и надо иметь нарочного, который уже сам выберет резиденцию. Можно подумать о сосланном в Нижний Павлове. К округу относятся: Нижний, Самара, Симбирск, Пенза, Саратов по т⟨у⟩ его сторону Волги и Тамбов.

Четвертый округ, переходный по смеси малороссийского и русского интереса,— это округ Курско-Воронежский. И тут придется иметь нарочного.

Пятый округ тоже переходного интереса — это Смоленск. Тут придется иметь нарочного. Конечно, всегда лучше найти местного человека, и тогда его оставить для составления центра, а нарочный может быть употреблен в другом месте **.

Шестой *** округ — Харьков, где, вероятно, легко встретить человека и готовые кружки. Едва ли Екатеринославль требует от Харькова отдельного центрального агента.

Эти шесть округов не могут действовать иначе как пропагандой по трем адресам и сюбировать**** восстание, идущее от периферии, примыкая к нему в свое время. Они на восстание самостоятельно не способны. Поэтому они для центральных людей требуют талантливых пропагандистов штатских.

Чем ближе к перифериям, тем больше пропаганда соединяется с военными и военно-народными центрами.

Начнем с запада:

Варшава *****, *Киев*, *Одесса*.

Во всех трех пунктах легко сыщется агент, корреспондирующий с нами, к этим трем пунктам примкнет Литовский и Белорусский округ, где также легко иметь агента. Очевидно, что тут мы везде должны иметь в Варшаве и Литве по одному русскому военному корреспонденту, в Киеве сверх военного еще агента национально-малороссийского; в Одессе агента из 5⟨-го⟩ корпуса и агента гражданского.

Кавказ требует агента военного. Астрахань, Дон и Азов *зависят от Кавказа*, как я покажу ниже, хотя Дон и должен находиться под влиянием харьковской пропаганды, Астрахань — под совокупным влиянием Заволжья и Понизовья ******, а Азов — под влиянием Одессы.

Заволжье делится, естественно, на два округа — на Урало-Оренбургский и Урало-Казанский; в первый входит уральское казачество, во второй — Пермь и горные заводы. В первом надо создать одного агента — в Оренбурге; во втором — двух: одного — в Екатеринбурге, другого —

---

* *Далее зачеркнуто:* или иметь отдельно корреспондента

** *Далее зачеркнуто:* В Литве. Шестой округ — Литва.

*** *Написано по слову* Седьмой

**** *Буквально:* переносить, испытывать на себе воздействие (франц. subir).

***** *Далее зачеркнуто:* Житомир

****** *Далее зачеркнуто:* Саратовск

в Казани. Оренбургский и екатеринбургский агенты должны быть преимущественно военные, чтобы в случае нужды уметь распорядиться военными действиями.

Если восстание совершится только в Варшаве и Киеве, оно пойдет в междоусобие — польскую войну; для того, чтоб оно было народным освобождением, оно должно идти от всей периферии, т. е. чтоб одновременно с Варшавой и Киевом — тронулся Кавказ во внутрь России, захватывая с собой Астрахань, Дон и Черноморье, и тронулся бы Оренбургский Урал — на Нижний и Пермский Урал — на Казань. Между этими тремя крылами, увлекающими народные массы, 4-й и 6-й корпуса, расположенные в понизовье, или не станут драться или окажут пустое сопротивление. А четвертое крыло пойдет с запада.

При таком восстании едва ли возможно большое кровопролитие. Это скорее мирно-завоевательный поход.

Север не может самостоятельно восстать; он может помогать или сюбировать. Он требует двух агентов: в Петрозаводске (Рыбников) и Архангельске. О значении их и о значении Риги, где тоже нужен агент, скажу после.

Теперь перечтем же округи, т. е. число нужных для нас агентов: *Петербург*, *Тверь*, *Москва*, Нижний, Курск, Смоленск, Харьков, *Одесса*, *Киев*, *Варшава*, *Литва*, *Кавказ*, Оренбург, *Казань*, Архангельск, Рига. Всего 16 человек, которые должны быть друг с другом в постоянных сношениях и в постоянных сношениях с тремя пунктами за границей: Берлин, Гейдельберг и Лондон. Берлин необходим как пункт, близкий к границе и удобно сносящийся и с Гейдельбергом и с Лондоном.

16 человек в России обязаны каждый в своем * округе организовать общество, т. е. целую сеть агентов. Известия между центральными агентами должны передаваться *словесно*, посылкою ** членов общества, так, чтоб организовались свои почты из конца в конец России и за границу. Письменность, по возможности, исключена. Мы имеем сношение с 16 человеками в Империи, на которых лежит устройство деталей. Округи сносятся только в лице центральных агентов, не замешивая бесконечного числа имен и лиц.

Вот, мне кажется, самый естественный строй общества.

Теперь цель: цель — привести правительство к созванию Земского собора, на основаниях трех адресов (общего — формального, адреса от меньшинства и адресов от народа), то есть на основаниях, что земли — земское достояние, что управление выборное и что области распределятся по собственному желанию на самостоятельные отделы федерации. Далее цель — если правительство в Земском соборе откажет, то на тех же основаниях произвести восстание со всех периферий разом ***.

Общее средство — пропаганда всех трех адресов и значения отказа правительства созвать Земский собор: царь, отказывающий в Земском соборе, не есть земский царь.

Пропаганда, без сомнения, имеет больший объем, чем только подача адресов. Есть пропаганда общечеловеческого образования, которая должна быть всегда и всегда помогает и в каждом данном случае; но я, собственно, говорю о пропаганде ad hoc****. Общая пропаганда, действующая посредством школ, низших и высших, должна идти своим путем и

---

* *Далее зачеркнуто:* центре

** *Далее зачеркнуто:* Сношения

*** *Против последних двух фраз написано карандашом рукой Герцена:* Но правительство может, не отказывая и не принимая, взять mezzo termine ⟨полумеры⟩, уступить долею, что, вероятно, и будет.

**** для данного случая (лат.).

в настоящее время служить неутомимо для пропаганды ad hoc, т. е. для пропаганды адресов.

Но в перифериях к пропаганде первых трех пунктов должна присоединяться военная организация. Центральные военные люди, кроме проповеди и сближения с солдатами или казаками и крестьянами, должны иметь в виду * все предметы занятий начальников штаба, чтобы восстание могло идти стройно. Военные действия в средних и северных губерниях могут свестись только на выж⟨и⟩данье приближения сил от периферий для присоединения к ним; а для того, чтоб ничто этому не мешало, они должны быть во-время извещены от периферий о необходимой минуте для обезоружения народом внутренней стражи (если она не содействует). Больше им делать нечего в военном отношении. Самая важная доля действий лежит на центральных людях периферий. Стало, выборы на эти места талантливых военных людей — дело страшной важности. К Петербургскому, Одесскому, Кавказскому и Архангельскому округу должен принадлежать флот.

Дисциплина в военных центрах состроится, естественно; но и в средней *полосе пропаганды меньшинства необходимо разделить местное общество* на действительных членов, которые дают слово на безусловное повиновение центральному агенту, и на пособляющих, которые не ** должны ничего знать о действиях общества, а могут содействовать бессознательно, направляемые членом общества, на какое-нибудь отдельное дело. Центральный агент округа должен хлопотать о фонде; если удастся с раскольников начать сбор по 10 коп. с души, кроме пожертвований, то дело будет обеспечено.

Петербургский центр должен охватывать военную академию и, может, даст тала⟨н⟩тливых людей для других местностей. Если можно достичь, чтоб гвардия, выступавшая против периферии, не дралась ⟨и⟩ присоединилась — это desideratum ***.

Я не думаю, чтоб полякам можно было говорить о плане. Я мало верю в варшавское восстание, тем меньше, что вмешательство Мерославского везде было порукою за неуспех. Оно ограничится двумя сотнями жертв, и надо будет много хлопотать, чтоб впечатление жертвоприношения на русский народ было хорошее. Но, тем не менее, надо скорее организовать Кавказ и Урал, так, чтобы они помогли, если западное движение удастся, дать ему значение народного восстания, а не междоусобия. Если же не удастся, то Кавказ и Урал должны продолжать организацию так, чтоб через известное время новое западное движение вышло им в помощь.

Общий адрес и адрес меньшинства должны быть распространены в народе и поданы до февраля 1863 года, хотя бы было не больше 10 000 подписей. Распространение их зависит от заграничных и местных типографий и литографий. Число подписей и имена должны быть сообщаемы за границу, чтобы в Лондоне иметь к февралю итог и публиковать одновременно с подачею. Об адресах народных должно быть сообщено число сел подающих и их названия. Они вольно и невольно произведут стачки, и адресы от народа о Земском соборе должны идти из всех местностей, как бы различно они ни были написаны. Раскольники, у которых царствует действительная дисциплина, первые подадут пример — у них адресы пойдут, если их святые прикажут подавать их. Тут надо действовать на раскольничьи центры.

Кроме проповеди, пропаганда должна действовать общностью местных интересов в их столкновениях с властями и равно пользоваться хорошим

---

* *Далее зачеркнуто:* все потребности и круг действий
** *Далее зачеркнуто:* обязаны
*** желаемое (лат.).

распоряжением начальства, как шагом к дальнейшему запросу и дурным распоряжением, как требующим отмены на Земском соборе.

4-й пункт пропаганды — распространение потребности самостоятельного областного устройства.

Программу деталей пропаганды невозможно создать; регламентация нигде не удается. От этого я и требую, чтоб все 16 центральных человек были люди талантливые и умели бы определенно распоряжаться второстепенными деятелями. Неужто мы не найдем 16-ти, которые бы умели организовать округ?

Пропаганда по трем пунктам, необходимая всюду, составляет единственное средство для центральной и северной России. В северной она ограничивается одним народным адресом. Рига, как раскольничий притон, также может действовать только на народ и в оппозицию немецкому помещичеству.

Устройство школ, — где, как, какое возможно, должно быть руководимо центральными людьми округов, постоянно возбуждая в школах вопросы землевладения, самоуправления и Земского собора. Школы для детей и распространения грамотности в руках пропагандиста должны обращаться в проповедь, исключительно направленную на три первые пункта (называю их так в противоположность знаменитым первым двум пунктам уложения о наказаниях). Специальные лекции техники и сельского хозяйства, легко допускаемые, могут всегда служить основой для проповеди о первых трех пунктах *. Проповедь нужна для высших сословий и молодежи не меньше, чем для народа. Для народа надо организовать проповедников из крестьян. Центральный человек легче найдет нескольких из крестьян, которые убедятся и пойдут проповедовать, чем если б меньшинство стало проповедовать массе, которая ему не поверит.

Пропаганда должна образовать три разряда проповедников: 1) крестьян из раскольников, которых следует убедить, как тесно связан вопрос о свободе вероисповедания с вопросом о первых трех пунктах; 2) семинаристов, которые легче сблизятся с крестьянами, чем дворяне, и там, где дворянин не успеет, они образуют разряд; 3) крестьян из православных, проповедующих первые три пункта. Эти проповедники должны быть направляемы, по естественной классификации округа, по базарам.

Если царь примет Земский собор, то восстание приостанавливается, но организация, в особенности военная и вся организация общества, продолжаются, чтобы быть всегда наготове.

Центральные члены обязуются *под пыткой*** не называть друг друга.

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 27, лл. 7—25а. На обороте л. 25а полустертая карандашная запись рукой Герцена:

Унив⟨ерситеты⟩, семинар⟨ии⟩ и военн⟨ые⟩ учил⟨ища⟩ в организ⟨ации⟩.

Общество только в capacity*** и может быть.

Единство все же необходимо — и по существующему будет там, где вольны⟨е⟩ орган⟨изации⟩.

Какими средст⟨вами⟩ З⟨емля⟩ и В⟨оля⟩ должна действовать. Что проповедовать? Чему научила послед⟨няя⟩ Польская революци⟨я⟩.

Склады и сбыт книг.

Тут советы готовому обществу ****.

---

* *Напротив последних двух фраз написано карандашом рукой Герцена:* Зачем?

** *Слова* под пыткой *подчеркнуты карандашом и над ними поставлен карандашом же знак вопроса (очевидно Герценом).*

*** в объеме, в размере (англ.).

**** *Начало записи читается предположительно. Возможно, что Унив., семинар. и воен. учил. является вставкой, а слова* в организ⟨ации⟩ *начинают следующую фразу. В этом случае получается чтение:* Общество только в capacity унив⟨ерс

4

Четвертым документом того же комплекса является список офицеров — членов революционной организации «Земля и Воля», точнее повидимому, список Комитета русских офицеров в Польше — филиальной организации «Земли и Воли», работавшей в русской армии во время польского восстания 1863 года.

Список находится в записной книжке Огарева (формат 18,3 × 12,5), переплетенной в черную кожу, натянутую по твердой основе; книжка запирается медным прочным плоским замком, крепления которого вделаны в крышку переплета, причем скважина замка находится посредине смежной плоскости, смыкающей обе крышки. Замок этот заперт и доселе — надо думать, что ключ в нем последний раз повернут рукою Огарева.

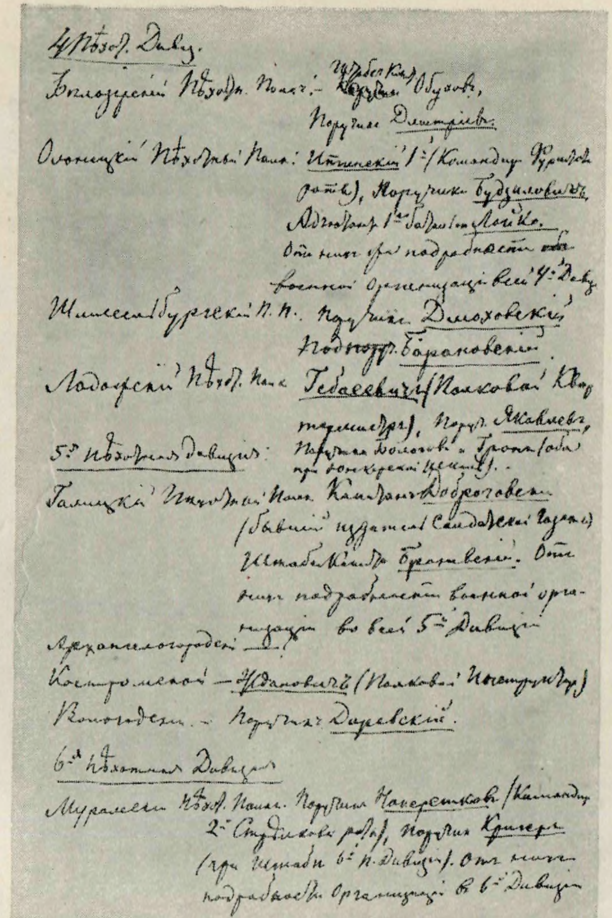
Позднейший владелец не смог открыть замок, и, чтобы проникнуть внутрь книжки, ему пришлось прорезать каким-то острым орудием самую кожу и твердую основу переплета, и тогда запертый замок отпал вбок на нижнем шарнире, с вырезанным кусочком переплета,— и книжка раскрылась. В книжке содержится вторая часть «Моей исповеди» Огарева, ряд его стихотворений (эти материалы также публикуются в настоящем томе) и далее в середине книжки одна из страниц обложена узкой согнутой полоской бумаги, очевидно для того, чтобы сразу найти ее наощупь и раскрыть, не перелистывая книги. За нею следуют листы книжки с конспиративными текстами,— тут и находится публикуемый документ. На листе 69 находится список районов — очевидно, проект районирования революционных организаций, — на листах 69 об., 70 и 70 об. — инструкция о порядке транспортировки прокламаций и других изданий «Земли и Воли» в Россию. Оба текста датируются февралем 1863 г. (см. их публикацию ниже в настоящем томе «Лит. наследства»). Далее, на листах 72—73 об. следует список офицеров. Таким образом, по своему местоположению в записной книжке список должен быть отнесен ко времени не ранее февраля 1863 г. Эта дата подтверждается и уточняется рассмотрением содержания списка.

В конце списка перед рядом фамилий (Кутузов, Новицкий, Огородников, Данилович, Зейн 1-й) стоит заголовок: «Исключены из службы за панихиду», причем три последние фамилии окружены фигурной скобкой и сопровождены общей ремаркой: «Теперь в Модлине, долж⟨ны⟩ быть скоро выпущены». Эти приметы ведут к несомненному выводу, что речь идет о панихиде по расстрелянным Аргольде, Сливицком и других членах той же пропагандистской группы, которая вела широкую агитацию и распространяла герценовские издания. После расстрела подсудимых, товарищи их, оставшиеся на свободе,— Павел Иванович Огородников, Зейн 1-й и Горский-Данилович отслужили по расстрелянным демонстративную панихиду—24 июня 1862 г. — и были заключены в тюрьму в крепости Модлине на срок от 1 года до 9 месяцев. Наиболее короткий срок заключения (9 мес.) истекал в апреле 1863 г. Можно предположить, что составитель списка судил о близости конца срока по приговору, объявленному 14 июля 1862 г. в приказе.

Поскольку срок заключения упомянутых лиц по точному смыслу ремарки еще не истек, но они «должны быть скоро выпущены», можно заключить, что список относится к какому-то времени не ранее февраля 1863 г., когда были сделаны предшествующие записи в книжке Огарева, и не позже апреля 1863 г., когда истекали первые сроки заключения за панихиду.

Список написан не рукою Огарева, а очевидно кем-то из осведомленных членов военной революционной организации, посетивших Лондон и занесших по просьбе Огарева конспиративнейший список в его записную книжку. Вероятнее всего список написан рукою А. А. Потебни. Он приезжал к Герцену и Огареву (вторично) весной 1863 г. и пробыл в Лондоне с середины февраля по 22 февраля, когда уехал в Варшаву.

итетов⟩, семинар⟨ий⟩ и военн⟨ых⟩ учил⟨ищ⟩ и может быть. В орган⟨изаци⟩и единство все же необходимо — и по существу⟨?⟩ будет там, где вольны⟨е⟩ орган⟨изации⟩ ⟨...⟩.



4я Пѣхот. Дивиз.

Бѣлозерскій Пѣхотн. Полкъ: — Щербаковъ, Капитанъ Обуховъ, Поручикъ Дмитріевъ.

Олонецкій Пѣхотный Полкъ: Игнатовскій 1й (Командир Стрѣлковой роты), Поручикъ Будзиловичъ, Адъютантъ 1го батальона Лойко. Отъ нихъ узнаете подробности о военной организаціи всей 4й Дивиз.

Шлиссельбургскій П. П. Поручикъ Длоховскій, Подпоруч. Барановскій.

Ладожскій Пѣхот. Полкъ Гедаевичъ (Полковой Квартирмейстеръ), Поруч. Яковлевъ, Поручики Волковъ и Громан (оба при ...).

5я Пѣхотная дивизія:

Галицкій Пѣхотный Полкъ. Капитанъ Добрововскій (бывшій издатель Солдатской Газеты), Штабс-Капитанъ Брылевскій. Отъ нихъ подробности военной организаціи во всей 5й Дивизіи.

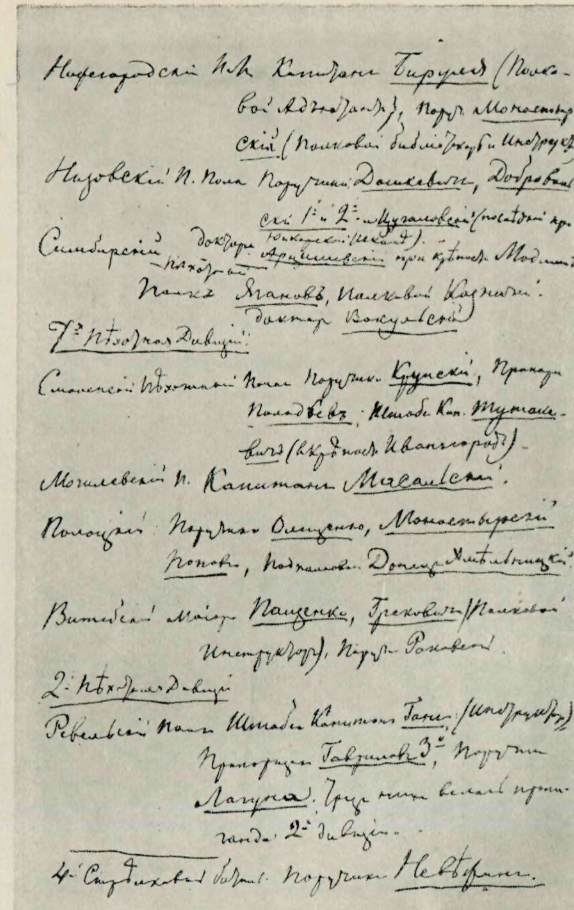
Архангелогородскій — Д.

Костромской — Ждановичъ (Полковой Инструкторъ)

Вологодскій — Поручикъ Дзеревскій.

6я Пѣхотная Дивизія

Муромскій Пѣх. Полкъ. Поручикъ Насеретковъ (Командиръ 2й Стрѣлковой роты), Поручикъ Крюгеръ (при штабѣ 6й П. Дивизіи). Отъ него подробности Организаціи въ 6й Дивизіи



Нижегородскій П. П. Капитанъ Бируковъ (Полковой Адъютантъ), Поруч. Монастырскій (Полковой библіотекарь и Инструкт.)

Низовскій П. Полкъ Поручики Дашкевичъ, Добровольскій 1й и 2й, Муравьевскій (...) (кадетъ).

Симбирскій — доктор Архангельскій при ... Модлинъ

Полкъ Яхановъ, Полковой Казначей. Доктор Вокульскій

7я Пѣхотная Дивизія:

Смоленскій Пѣхотный Полкъ Поручикъ Курнескій; Прапорщ. Попадѣевъ; Штабс-Кап. Тумашевичъ (въ крѣпости Ивангородъ).

Могилевскій П. Капитанъ Масальскій.

Полоцкій: Поручики Олешенко, Монастырскій, Поповъ, Подпоручикъ Домнинъ-Житкевичъ.

Витебскій: Майоръ Пащенко, Гречковичъ (Полковой Инструкторъ), Поруч. Рожковъ.

2я Пѣхотная Дивизія

Ревельскій Полкъ Штабс-Капитанъ Гане (Инструкторъ), Прапорщикъ Гавриловъ 3й, Поручикъ Лагуна. Чрезъ нихъ велась пропаганда 2й дивизіи.

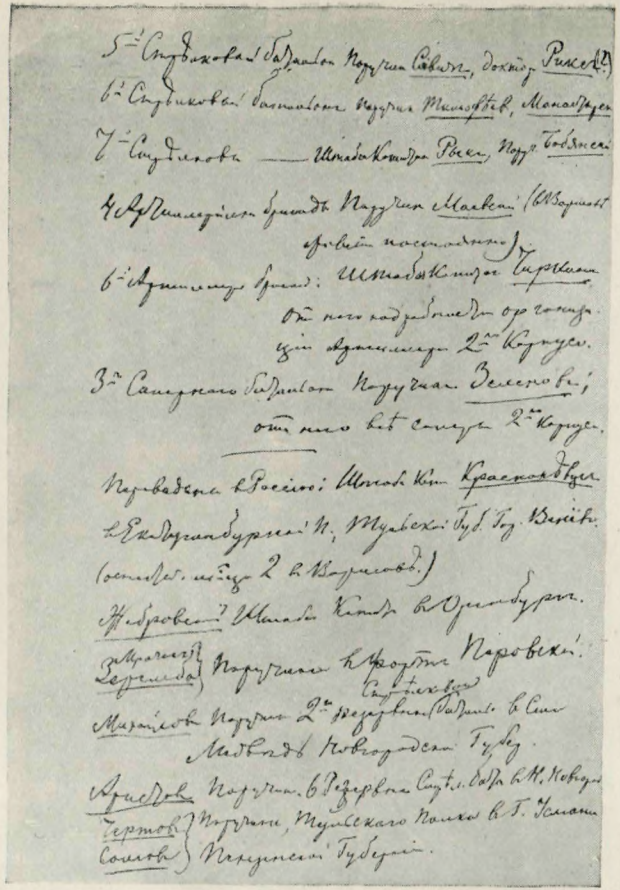
4й Стрѣлковый батал. Поручикъ Невѣринъ.

СПИСОК ОФИЦЕРОВ — ЧЛЕНОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 1860-х гг.

Автограф неустановленного лица (А. А. Потебни?) в записной книжке Огарева

Листы 1 и 2

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва



5-е Студенцов Забалуев Поручик Савоев, доктор Рижский,
6-е Студенцов Балашовы Поручик Мещерский, Монастырев
7-е Студенцов — Штаб-Капитан Рыбин, Поруч Соболевский
2-й Гренадерский бригады Поручик Маевский (в Воронеж
срочный посланный)
6-й Артиллерии бриг: Штабс-Капитан Сергеевский
Отпущен набрать деньги от господ
чиновников 2-го Корпуса.
3-е Саперных Забалуев Поручик Зеленов,
отпущен в Петербург 2-го Корпуса.

Переведены в России: Штаб-Кап Красновский
в Екатеринбургский п. Тульский Губ. Тул. Белёв.
(остался на 2 в Воронеж)
Жебровский Штабс-Капит в Оренбургск.
Красноярский Поручик в Иркутск Перовский.
Сергиевский
Мирошников Поручик 2-го Резервного Сапер. в Сиб
Мелиндов Новгородск Губерн.
Арсеньев Поручик. 6 Резервн Сапер. бат. в Н. Новгор.
Чертов Поручик, Тульского полка в Т. Успенск
Соколов Пензенской Губернии.

Капитанъ Поручик в Гр Саратовск
Исключенъ изъ службы за пьянство.
Штаб Капит. Кутузов } 6-е Студенцов, посланъ
Новицкий } в Москву.
Поручикъ Огородниковъ } посланъ в Владимир, далъ
Данилевский } 500 р сер. выпущенъ.
Вейнъ 1-й }

Іерусалимъ, порт
Варшава — Берлинъ — Берлинскій банкиръ
Краковъ — Гамбургъ — Сербинская почта — Центр. Кредитн К. Венск. Кред.
Петербургъ — Любекъ — Любекскій банкиръ Р.Ц.К.
Торнео — Брюссель

Васильевскій Островъ, 9-й линіи, домъ Кенеи,
Квартира Генеральши Генеке; спросить
Поручика Владимира Генеке
или
Подпоручика Студіи Егора Семеновича
Загряжскаго

СПИСОК ОФИЦЕРОВ – ЧЛЕНОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 1860-х гг.
Автограф неустановленного лица (А. А. Потебни?) в записной книжке Огарева
Листы 3 и 4
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

‹СПИСОК ОФИЦЕРОВ — ЧЛЕНОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ›

4-я Пехот‹ная› дивиз‹ия›:

Белозерский пехотн‹ый› полк:	[Поручик] Штабс-капит‹ан› *Обухов*, поручик *Дмитриев*.
Олонецкий пехотный полк:	*Итинский* 1-й (командир Фурштатск‹ой› роты), поручик *Будзилович*, адъютант 1-го батальона *Лойко*. От них же подробности [об] военной организации всей 4-й дивиз‹ии›.
Шлиссельбургский п‹ехотный› п‹олк›:	Поручик‹и› *Дмоховский*,
	[Подпоруч‹ик›] *Барановский*.
Ладожский пехот‹ный› полк:	*Гебасевич* (полковой квартермистр), поруч‹ик› *Яковлев*,
	поручики *Бологов* и *Грон* (оба при юнкерской школе).

5-я Пехотная дивизия:

Галицкий пехотный полк:	Капитан *Доброговский* (бывший издатель Солдатской газеты).
	Штабс-капит‹ан› *Броневский*. От них подробности военной организации во всей 5-й дивизии.
Архангелогородский ‹полк›:	— ?*
Костромской ‹полк›:	*Жданович* (полковой инструктор),
Вологодский ‹полк›:	поручик *Даревский*.

6-я Пехотная дивизия:

Муромский пехот‹ный› полк:	Поручик *Наперетков*** (командир 2-й стрелковой роты), поручик *Кригер* (при штабе 6-й п‹ехотной› дивизии). От них подробности организации в 6-й дивизии.
Нижегородский п‹ехотный› п‹олк›:	Капитан *Бируля* (полковой адъютант), поруч‹ик› *Монастырский* (полковой библиотекарь и инструкт‹ор›).
Низовский п‹ехотный› полк:	Поручики: *Дашкевич*, *Добровольский 1-й* и *2-й* и *Цугаловский* (последний при юнкерской школе).
Симбирский пехотный полк:	Доктор *Арцишевский* при крепости Модлине, *Яганов*, полковой казначей, доктор *Вакульский*.

* *Знак вопроса в подлиннике.*
** *Может быть прочтено и как* Наперстков.

7-я Пехотная дивизия:

Смоленский пехотный полк: Поручик *Крупский*, прапорщ⟨ик⟩ *Полодьев*, штабс-кап⟨итан⟩ *Тутакевич* (в крепости Ивангород).

Могилевский п⟨олк⟩: Капитан *Масальский*.

Полоцкий ⟨полк⟩: Поручики: *Олещенко*, *Монастырский*, *Попов*, подполковник *Донец-Хмельницкий*.

Витебский ⟨полк⟩: Майор *Пащенко*, *Грекович* (полковой инструктор), поруч⟨ик⟩ *Раковский*.

2-я Пехотная дивизия:

Ревельский полк: Штабс-капитан *Ган* (инструктор), прапорщик *Гаврилов 3-й*, поручик *Лагуна*. Чрез них велась пропаганда 2-й дивизии.

4-й стрелковый баталь⟨он⟩: Поручик *Невежин*.

5-й стрелковый батальон: Поручик *Савич*, доктор *Рикс* (?)*.

6-й стрелковый батальон: Поручик⟨и⟩ *Тимофеев*, *Монастырск⟨ий⟩*.

7-й стрелковый — » — : Штабс-капитан *Рык*, поруч⟨ик⟩ *Бобянский*.

4⟨-й⟩ артиллерийской бригады: Поручик *Маевский* (в Варшаве живет постоянно).

6 артиллер⟨ийской⟩ бригад⟨ы⟩: Штабс-капитан *Чиркин*. От него подробности организации артиллерии 2-го корпуса.

3-го саперного батальона: Поручик *Зеленов*. От него все саперы 2-го корпуса.

Переведены в Россию:

Штабс-кап⟨итан⟩ *Краснопевцев*, в Екатеринбургский п⟨олк⟩, Тульской губ., гор. Венёв (остается м-ца 2 в Варшаве).

Жебровский. Штабс-капит⟨ан⟩, в Оренбург.

Мрочек, *Зеремба* } Поручики, в форт Перовский.

Михайлов. Поручик 2-го резервного стрелкового батальо⟨на⟩, в село Медведь Новгородской губер⟨нии⟩.

Аристов. Поручик 6 резерв⟨ного⟩ стрел⟨кового⟩ бата⟨льона⟩, в Н.-Новгород.

Чертов, *Сомов* } поручики Тульского полка, в г. Усмани Пензенской губернии.

Халютин — поручик, в гор. Саратов.

---

* *Знак вопроса (в скобках) — в подлиннике.*

Исключены из службы за панихиду:

Штабс-капит⟨ан⟩ *Кутузов* } 6-го стрелкового ⟨полка⟩, теперь в
— » — *Новицкий* } Москве.

Поручик *Огородников* }
— » — *Данилович* } теперь в Модлине, долж⟨ны⟩ быть скоро вы-
— » — *Зейп 1-й* } пущены.

К. И. КРУПСКИЙ
Фотография, 1860-е гг.
Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК КПСС, Москва

Иерусалим, пароль.

Варшава — берлин.— Берлинский банкир ⟨—⟩ Цент⟨ральный⟩ Народн⟨ый⟩ К⟨омитет⟩. берлинская почта — Воен⟨ный⟩ Ком⟨итет⟩.

Краков — гамбург.

Петербург — любек.— Любекский банкир — Р⟨еволюционный⟩ Ц⟨ентральный⟩ К⟨омитет⟩.

Торн — брюссель.

Васильевский Остров, 9-я линия, дом Кене*, квартира генеральши Гейнс, спросить поручика Владимира *Гейнса*

или

подпоручика гвардии Егора Семеновича *Загряжского*.

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43б. Записная книжка, лл. 72—73 об.

5

Обширная записка Огарева посвящена вопросам сношений русской революционной организации «Земля и Воля» с революционной организацией Финляндии. «Тремя вопросами», согласно перечню Огарева, он считает: «1) Учреждение склада и постоянных сношений. 2) Присоединение финского общества к русскому. 3) Литовское дело». Все три вопроса и подвергаются подробному разбору в записке Огарева. Записка имеет значение директивы, даваемой посылаемому в Швецию представителю «Земли и Воли», сыну Герцена, Александру Александровичу, именуемому в записке «Junior», то есть «младший».

Документ находится в той же записной книжке Огарева, что и предыдущая рукопись. Написан он рукою Огарева.

Документ может быть точно датирован. Он пишется во время передвижения какого-то корабля, идущего на помощь начавшемуся польскому восстанию 1863 г. Судьба корабля волнует Огарева. Корабль этот еще не доехал до Литвы («если корабль доедет до Литвы...»). В пути произошла нежелательная задержка корабля («Я считаю большим несчастием задержку корабля, ибо Д⟨емонтович⟩ и Б⟨акунин⟩, более чем кто другой, могли повернуть вопрос национальный на вопрос крестьянский»). Сомнений быть не может — речь идет об известной «экспедиции Лапинского», отплывшей весною 1863 г. из Англии на корабле «Ward Jackson» на помощь восставшей Польше с оружием и добровольцами, желавшими принять участие в восстании. Задержек корабля в пути было две: 26 и 28 марта 1863 г.; 26 марта его задержала буря, а 28 его задержала в Копенгагене замена капитана и всей английской команды, узнавших о революционной цели экспедиции и покинувших корабль (команду заменили датской). О первой или второй задержке говорит Огарев — или об обеих вместе — это в данном случае не имеет существенного значения: ясно, что рукопись «Три вопроса» написана или в самые последние дни марта, или в начале апреля 1863 г.; последняя датировка предпочтительнее, так как ближе к дате письма Герцена к Огареву от 29 апреля, где упоминается этот документ.

⟨ТРИ ВОПРОСА...⟩

Три вопроса:

1) Учреждение склада и постоянных сношений.

2) Присоединение финского общества к русскому.

3) Литовское дело.

По первому вопросу.

Договор с книгопродавцами; склад в Або или где финны сочтут нужным (1)**. Учреждение типографии в Стокгольме и покровительство Шв⟨едского⟩ правительства (2)***. Учреждение своих почт, т. е. людей, через

---

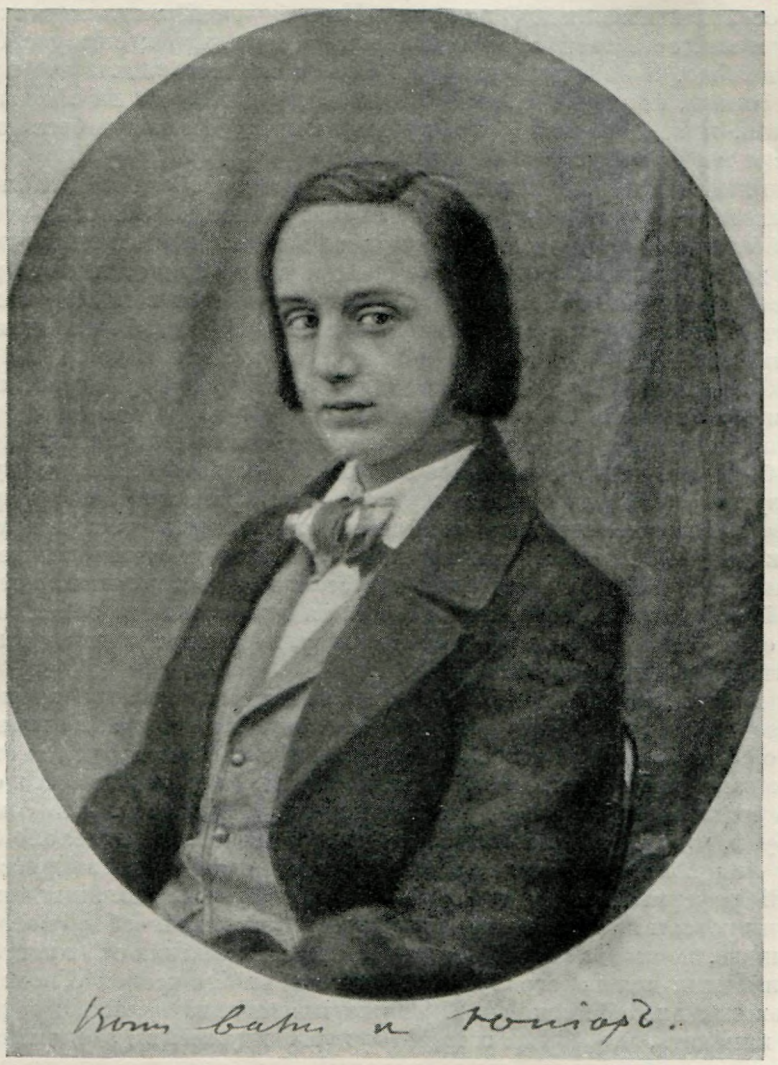
* *Не совсем разборчиво; может быть прочтено и как* Коне.

** (1) Уступка в наших изданиях 50% без провоза или 40 с провозом, считая 10% за провоз. Наше посредство для переговоров с Трюбнером об уступках с его изданий. Обеспечение нам посылок пропагандных листов и тетрадок книгопродавческим путем до Стокгольма, для передачи финнам, которые уже доставят их по назначению.—*Примеч. Огарева.*

*** (2) Типографию устроим мы в продолжение двух, трех месяцев; она может печатать русские издания по договорам с стокгольмскими книгопродавцами свободно от нас и по нашему поручению. Она устранит посылку пропагандных листов и тетрадок

которых можно пересылать и получать сведения из Петербурга. Учреждение телеграфических депешей через Стокгольм (3)*.

Так как для сбыта изданий, для почты-телеграфов нужны люди в Петербурге, то финну, отправляющемуся туда, дано будет письмо, и он должен условиться с обществом (4)**.



А. А. ГЕРЦЕН (СЫН)

Фотография с надписью Герцена: «Вот вам и Юниор». 1850-е гг.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

из Англии, потому что [может] обязана печатать [по оригиналам] рукописи, присылаемые из Лондона и из русского общества, и вместе с тем заменит тайные станки для России. Тогда останется только финнам пересылать в Россию. Необходимость покровительства шведского правительства очевидна.—*Примеч. Огарева.*

* (3) Для телеграфических сообщений нужно сочинить условный язык и иметь в руках стокгольмского банкира и, если можно, его корреспондента в Финляндии и Петербурге.— *Примеч. Огарева.*

** (4) Письмо наше к обществу непременно должно быть передано аккуратно.— *Примеч. Огарева.*

Прежде чем говорить о деталях условий, скажу несколько слов о возможных отношениях Финляндии к русскому делу. Из письма Б⟨акунина⟩ очевидно, что финны хотят отделиться и присоединиться к Швеции, или остаться самобытными, или даже остаться в федерации с вольной Россией, но на правах самобытного управления. С нашей стороны всего благоразумнее желать им отдельного существования, не в федерации, а в союзе с Россией и Швецией. С падением Петербурга Швеция не может быть врагом, и мы, естественно, можем стремиться только к союзу с Скандинавией вообще. Но это дело дальнее. Теперь же надо знать, что предпринимают финны, какие у них силы, какое настроение, что им обещает Швеция и чем, кроме сношений для пропа⟨га⟩нды, они могут быть полезны для нас и мы для них.

Мы для них можем быть полезны заявлением их требований в«Колоколе», ознакомлением России с их требованиями; общество З⟨емля⟩ и В⟨оля⟩ может быть полезно поднятием финского вопроса постоянными разговорами и даже намеками в петербургской журналистике, так что русское общественное мнение довольно быстро приготовится в пользу самостоятельности Финляндии и, при первом движении в России, Финляндия может объявить себя самостоятельною, безо всякой помехи и даже без всякой войны. Сверх того, общество может быть им полезно в сношениях с финляндцами, живущими внутри империи.

Финны могут быть для нас полезны: устройством постоянных сношений с Петерб⟨ург⟩ом через Швецию и союзом общества финского с русским, что послужит к усилению того и другого. Через финское общество русское общество может рассчитывать на финнов, служащих в русской армии (5)* или гражданской службе, как на своих агентов, поручать им печатную пропаганду и прибавку числа членов русского общества, клонящегося всё к единой цели военно-народного восстания для созвания земщины. Русские, с своей стороны, станут отыскивать финнов внутри империи и присоединять их к финскому обществу.

Для всего этого необходимо, чтобы финны сами организовали у себя серьезное общество, что для них гораздо легче, чем для нас организация нашего общества. У них географический радиус мал и подручен, и ставится вопрос о самобытной национальности, который один уже способен собрать гораздо больше людей и сил, чем всякий другой вопрос. Без сомнения, мы требуем, чтобы финское общество было организовано и делало бы пропаганду не враждебно России, а в помощь всем стремлениям русской социальной реформы. Таким образом, финны и русские должны намекать, что финны готовы прислать на первый русский земский собор своего уполномоченного, не как члена федерации, а как посланника от самостоятельной Финляндии для переговоров с дружественной Россией о всех вопросах, смежных для обоих народов. Также пропаганда финская и русская должна намекать, что финны готовы служить дружеским звеном, связующим руссо-скандинавский союз, который бы основывался на уничтожении всяких тарифов между Россией, Финляндией и Скандинавией, на пользовании скандинавов в России и русских в Скандинавии всеми гражданскими правами туземца и на обоюдной военной защите против внешних нападений.

Возбуждение финского вопроса печатно и изустно — уже тем равно полезно для русских и для финнов, что заставит русское правительство вздрогнуть и зашататься еще и с новой стороны, на которую оно не обращало достаточно внимания. Вслед за этим правительство, вероятно, усилит полицейские меры в Финляндии,— потому финское общество должно сильно потрудиться организовать деятельную контр-полицию.

---

* (5) На Кавказе обыкновенно бывало много финских офицеров.—*Примеч. Огарева.*

Для постановки же финского вопроса в русской литературе и русском мнении, финны должны сообщить и нам и обществу подробно: положение своего края — экономическое и гражданское; степень вмешательства и гнета петербургского правительства; экономические, гражданские и политические требования Финляндии (6)* и собственно силы общества. Я не думаю, чтобы финское тайное общество уже теперь было организовано сильно; я думаю, что оно, как и русское общество, состоит на правах зародыша, способного к необычайно быстрому росту. Требуется большая искренность в отношениях, чтобы можно было серьезно помогать друг другу.

Теперь перехожу к литовскому вопросу, о котором с финнами надо говорить совершенно a parte. Я думаю, что польская революция действительно удастся только тогда, если восстание польское перейдет соседними губерниями в русское крестьянское восстание. Для этого необходимо, чтобы и самое польское восстание из характера только национальности перешло в характер восстания крестьянского и, таким образом, послужило бы ферментом для целой России и Малороссии. До сих пор я ставлю вопросительный знак — и только. Сведения из Украины показывают, что в крестьянстве настроение совершенно антипольское, то же в Белоруссии. Остается для фермента одна Литва; если в ней движение будет антипанское, то и в Белоруссии, и в Украине легко может быть то же и передаться далее, заменяя характер национальности — крестьянским. Если в Литве движение пойдет не из поземельного крестьянского вопроса, а только религиозное, причем станут жечь русские церкви, то все православное население пойдет против Польши и усилит правительство настолько, что восстание Польши будет подавлено — как католическое и панское. Что же делать в этом недоумении финнам? Есть ли у них силы на восстание прежде, чем исход польско-литовского восстания сколько-нибудь уяснится? Я не думаю. Стало, им остается делать то же, что и нам,— ждать.

Я считаю большим несчастием задержку корабля, ибо Д⟨емонтович⟩ и Б⟨акунин⟩, более чем кто другой, могли повернуть вопрос национальный на вопрос крестьянский. Теперь и отправка корабля, и способ литовского восстания (принимающий исключительно католический колорит) более чем сомнительны. Обманывать себя не надо. Всего вероятнее, что польский вопрос не дойдет ни до того, чтоб быть ферментом для повсюдного крестьянского восстания, ни до того, чтоб вызвать религиозно-национальные ненависти до жестокого подавления восстания в Польше и Литве. От общего истощения сил он разрешится в какой-нибудь компромисс, который вполовину восстановит Польшу дипломатическими путями — и чрезвычайно обессилит петербургское правительство в общем мнении, равно европейском и русском. Опять нам приходится приняться за работу подготовки следующего русского военно-крестьянского восстания, и тут мы с финнами, естественно, должны идти рука об руку — и никакие особые цели и чужие вмешательства не могут нас разделить. Для нас самостоятельность Финляндии становится такой же дорогою, внутренней мыслью и целью, как для финнов коренное преобразование России из Петербургской в народную и федеративную.

---

* (6) Наши сведения о Финляндии слишком недостаточны, поэтому необходимо указание источников, где можно бы прочесть:

О сословиях в Финляндии (статистические и юридические сведения).

О промышленности и отношении народонаселения к поземельной собственности.

Об управлении и суде обычном и об изменениях, которые внесло русское владычество.

О настроении умов по сословиям и о средствах объединения умов к одной цели.

Все это надо знать, для того чтоб быть полезным органом для финнов.— *Примеч. Огарева.*

Если же финны будут теперь организовать польско-шведский военный союз против России, то мы, сами не готовые к внутреннему восстанию и ввиду разгара только национальных ненавистей — вынуждены будем сюбировать события, но принимать участие в иностранном союзе против России не можем, не потеряв всякого влияния на русских, а может быть и собственного уважения к себе самим. Финны должны объяснить искренно, что они хотят в этом случае; мешать мы им никогда не будем, но характер нашего союза выйдет иной.

Если, паче чаяния, Литва послужит ферментом крестьянского восстания, тогда мы, естественно, соединяемся попрежнему, только решительное действие окажется ближе, чем рационально можно было предполагать. Если корабль доедет до Литвы, если можно набрать русскую дружину (7)* и прямо поставить вопрос крестьянского земства, то иных средств для этого нет, как чтоб доля русской молодежи ринулась в это дело à tête perdue**. Я сомневаюсь в возможности этого. Во всяком случае, начинать об этом переговоры с русским обществом можно только тогда, когда корабль пристанет к берегу, ибо иначе это было бы только бесплодно вооружать мнение русской молодежи против начинаний из мира фантастического. Пусть и Junior и финны всмотрятся ближе в дело, и если все шансы против, то гораздо лучше приняться сразу за союз на серьезную подготовку общего восстания через два, три, четыре года, т. е. тогда, когда все шансы будут в нашу пользу и силы достаточно подготовлены. В этом случае Швеции остается тайное покровительство всего, что мы с финнами будем устраивать; таким образом мы придем, наконец, к самостоятельности Финляндии, к федеральной России, федеральной Польше и к польско-руссо-финно-скандинавскому союзу, т. е. союзу полмира, выгодному для развития свободной гражданственности, народного поземельного права, промышленности, торговли и для безбоязненного оплота каждого из союзников против притязаний, военных и торговых, западной Европы.

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43б. Записная книжка, лл. 74 об.—83.

---

* (7) Дружину отнюдь не надо называть *легионом*, как название, которое возбудит недоверие в ковенских старообрядцах, которые будут первым русским крестьянским населением, способным примкнуть к восстанию и служить узлом с остальными, лишь бы Литва не проповедовала *господства* католицизма, а только свободу веры.— *Примеч. Огарева.*

** очертя голову (франц.).

НЕИЗДАННЫЕ И НЕСОБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОГАРЕВА

ИЗ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ. АГИТАЦИОННЫЕ И САТИРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ЛИРИКА

Вступительная статья, публикация и комментарии Я. Чернякa

Литературное наследие Огарева до настоящего времени мало изучено.

Между тем настоятельная необходимость этого изучения бесспорна. Статьи, стихотворения и письма Огарева оказали большое влияние на русскую революционную молодежь, на развитие русской общественной мысли. Наряду с наследием великих представителей революционной демократии, Белинского и Герцена, Чернышевского и Добролюбова, литературное наследие Огарева содержит разнообразный и важный материал, раскрывающий многосложный процесс развития демократической мысли, материалистической философии и революционного движения в России середины прошлого века.

С 1856 г. Огарев систематически выступал в бесцензурной демократической печати с многочисленными и разнообразными статьями, посвященными самым важным и острым вопросам русской политической действительности, теории и практике русского революционно-демократического движения. Публицистика Огарева — крупный вклад в литературу шестидесятых годов.

В свете исследований, осуществленных советской наукой (мы имеем в виду, прежде всего, работы и публикации историков Б. П. Козьмина, Е. Н. Кушевой, М. В. Нечкиной), Огарев предстает как выдающийся деятель русского революционно-освободительного движения, самоотверженно боровшийся за полное освобождение родной страны и народа от самодержавно-крепостнического гнета.

Огарев — талантливый революционный поэт. Его творчество входит необходимым звеном в историю русской поэзии. Огарев — самостоятельный крупный мыслитель, бок о бок с Белинским и Герценом отстаивавший основы материалистического мировоззрения. Огарев — незаурядный публицист, много сделавший для пропаганды революционной теории и для освещения с революционных позиций основных явлений русской действительности пятидесятых-шестидесятых годов. Огарев, наконец,—выдающийся революционер-практик, в частности, один из руководителей самого значительного революционного объединения шестидесятых годов — общества «Земля и Воля».

Изучение Огарева затруднялось и затрудняется одним существенным обстоятельством: до настоящего времени его литературное наследие полностью еще не собрано. Сказанное относится, в первую очередь, к публицистике Огарева; стихотворения его находятся в несравненно лучшем положении: они были несколько раз опубликованы в отдельных изданиях. Публицистика же Огарева (всего около ста десяти статей, брошюр, воззваний и листовок, не считая мелких заметок), представляющая необходимый материал для исследования многих важнейших вопросов общественно-политической жизни того времени, в значительнейшей своей части и по сей день остается рассеянной по страницам малодоступных изданий русской революционной заграничной печати. Часть статей и заметок напечатана за подписью автора, часть — анонимно.

Работа по собиранию публицистики Огарева прошла следующие главные этапы.

В комментариях к собранию сочинений Герцена, под редакцией Лемке, были воспроизведены полностью статьи-воззвания Огарева — «Что нужно народу?» и «Что надо делать войску?» (XI, 138—146 и 314—320) и две прокламации «Всему народу русскому, крестьянскому от людей, ему преданных, поклон и грамота» и «Братья-солдаты! Одумайтесь пока время» (XVI, 256—259 и 38—40). В том же издании Лемке воспроизвел по рукописям весьма важные для истории «Земли и Воли» документы, принадлежащие перу Огарева,— проект организации руководящих органов общества (XVI, 93—95) и проекты крестьянских адресов (XV, 481—485 и 493—500). В связи с опубликованием указанных статей и документов возник вопрос об изучении практической революционной работы Огарева — его участия в организации общества «Земля и Воля» и его роли в руководстве этим обществом.

В 1932 г. Н. М. Мендельсон установил принадлежность Огареву двух анонимных статей, опубликованных еще в 1847 г. в «Московских ведомостях», и перепечатал их текст в «Звеньях» (II, 346—362). Эта публикация указала путь к поискам других статей Огарева, написанных еще в доэмиграционный период его деятельности.

В 1936 г. пишущим эти строки совместно с С. А. Переселенковым были напечатаны в «Звеньях» (VI, 338—412) по рукописям заметки Огарева и отрывки из статей, относящиеся к последним годам его жизни и характеризующие его отношения с П. Л. Лавровым.

В 1937 г. в приложении к I тому стихотворений и поэм Огарева, изданному «Библиотекой поэта» («большая серия»), были помещены четыре его литературно-критические статьи: «Памяти художника», «Предисловие <к сборнику „Русская потаённая литература XIX столетия“>», «Предисловие <к „Думам“ К. Рылеева>» и отрывок «С утра до ночи».

Наконец, в 1941 г. «Литературное наследство» (тт. 39-40 и 41-42) осуществило первый опыт систематической публикации рукописей Огарева — его статей и заметок преимущественно из фонда архива Герцена — Огарева, хранящегося в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина.

Одновременно на страницах «Литературного наследства» из наиболее редких изданий заграничных русских типографий были перепечатаны некоторые тексты Огарева.

Тем самым было положено начало собиранию публицистического наследия Огарева.

Все перечисленные публикации составляют в совокупности едва ли более $^1/_8$ доли литературно-политического наследия Огарева. Однако как только даже незначительная по объему часть этого наследия была обнародована — сделалось ясно, что трактовка публицистики Огарева как явления второстепенного и малоценного, господствовавшая в дореволюционной либерально-буржуазной литературе, совершенно несостоятельна.

Первоисточником отрицательных оценок публицистики Огарева явились высказывания Кавелина, видевшего в Огареве представителя враждебных ему революционных и социалистических идей и тенденций. Кавелин приложил немало безуспешных усилий к тому, чтобы оторвать Герцена от Огарева. Противопоставлял Герцену Огарева также Тургенев. Но, как известно, Герцен решительно отверг пристрастную критику Тургенева и Кавелина. Либералам не удалось разбить, уничтожить ненавистный им союз Огарева с Герценом. Однако в последующий период отрицательная оценка публицистики Огарева, исходившая от Тургенева, была усвоена Анненковым, а еще позже — Лемке. Характеризуя публицистическую деятельность Огарева, Лемке неоднократно повторял высказывания Тургенева (см., напр., XV, 550—555).

При комментировании статей и писем Герцена Лемке не учитывал те бесчисленные и многосложные связи, которые фактически существовали между выступлениями обоих редакторов «Колокола» на всем протяжении его существования. Нечего и говорить, что этим был нанесен серьезный ущерб, прежде всего, изучению Герцена. Игнорируя постоянную «перекличку» Герцена с Огаревым, нельзя представить себе деятельность Герцена в «Колоколе» во всей полноте. И действительно, ни единство Герцена с Огаревым, ни их разногласия не получили правильного отражения и освещения

в комментариях Лемке. Относительно же собственно наследия Огарева издание Лемке в целом закрепило и распространило среди читателей и исследователей неверный взгляд. Дать отпор этой и подобным тенденциям и была призвана упомянутая выше публикация рукописей Огарева в 1941 г. в «Литературном наследстве». Здесь, хотя и не без ошибок (в некоторые публикации проникли неверные даты и справки, в нескольких случаях был неисправно воспроизведен текст и допущены другие недосмотры), в научную литературу были введены политические тексты Огарева, имеющие первостепенный интерес для изучения и его творчества, и всего периода шестидесятых годов. Достаточно напомнить о таких широко известных ныне документах, как «Записка о тайном обществе» (публикация Б. П. Козьмина), или незаконченная, но замечательная во многих отношениях статья «Что бы сделал Петр Великий?» (публикация С. А. Переселенкова), или, наконец, воззвания, листовки, агитационные стихотворения Огарева, относящиеся к первой «Земле и Воле» и к «нечаевской» агитационной кампании (публикация Е. Н. Кушевой), чтобы была обнаружена полная несостоятельность традиционной буржуазно-либеральной точки зрения на Огарева-публициста.

В течение последних лет дело собирания и изучения публицистического наследия Огарева серьезно продвинулось вперед. Опубликованы две археографические работы: «Опись фонда Огарева Центрального государственного литературного архива» (М., 1950) и «Описание рукописей Н. П. Огарева в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина» (М., 1952). Вышел из печати первый том двухтомного издания: «Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения», т. I. М., Госполитиздат, 1952.

В 1941 г. редакция «Литературного наследства» располагала в качестве источников текста только частью рукописей Огарева, сохранившихся в архивных собраниях СССР. Другая часть, весьма значительная, находилась за границей и была в ту пору недоступна для изучения. Ныне «пражская коллекция» Герцена—Огарева, в состав которой входят многие оставшиеся неизвестными рукописи и письма Огарева, находится в СССР и позволяет дополнить фонд публицистики и поэзии Огарева, содействуя, тем самым, изучению его наследия в целом.

Целью настоящей публикации и является обнародование наиболее важных автографических рукописей Огарева как прозаических, так и поэтических, находящихся в «пражской коллекции». По мере необходимости мы пополняли публикацию рукописными и печатными текстами, заимствованными из других собраний и архивов.

Наша публикация состоит из трех разделов. Первый раздел — *«Из публицистического наследия»* — объединяет четыре крупных текста Огарева и пятнадцать небольших заметок и набросков, извлеченных из его записных книжек. Хронологические рамки первого раздела — 1847—1870 гг. Материалы раздела характеризуют с разных сторон политические и философские воззрения Огарева и его революционную деятельность.

Большой интерес не только для исследователей, но и для широкого круга читателей представляют материалы второго раздела — *агитационно-сатирические произведения*. Здесь публикуются агитационные песни, сатирические памфлеты, листовки и эпиграммы Огарева. Деятельность Огарева — агитатора и пропагандиста, связанная непосредственно с его практической революционной работой, до сих пор недостаточно исследована. Принадлежность Огареву значительного числа песен и стихотворений революционного подполья в очень многих случаях предполагалась, но не была установлена. Впервые вопрос о принадлежности Огареву нескольких анонимных революционных песен и листовок шестидесятых годов был поставлен и исследован в двух публикациях Е. Н. Кушевой, напечатанных в т. 41-42 «Литературного наследства» («К истории взаимоотношений А. И. Герцена и Н. П. Огарева с „Землей и Волей" 60-х годов» и «Революционные прокламации женевской типографии 1869—1870 гг.»).

Во втором разделе настоящей публикации мы продолжаем названные работы. Огарев-поэт настойчиво искал новых методов и форм агитационного воздействия поэтическим словом—путей к различным слоям демократической среды и, прежде всего,

к крестьянству. Опираясь на революционные мотивы в поэзии Рылеева, Пушкина Лермонтова, он прямо поставил на службу интересам революционной агитации свой дар поэта. Огарев стремился вложить в работу над агитационными произведениями все свое поэтическое умение. Правда, применявшиеся Огаревым методы поэтической агитации не всегда приводили к положительным результатам. Огарев становился нередко на позицию стилизатора и даже имитатора «простонародной» речи той социальной группы, к которой были адресованы его агитационные стихотворения или стихотворные листовки. Таковы, например, публикуемые нами «Мысли Россиянина при чтении указа», «Мужичкам». Однако наряду с произведениями, не вполне удавшимися, наша подборка включает и другие, которые должны быть, по всей справедливости, признаны выдающимися явлениями русской агитационной поэзии. Таковы стихотворение «Современное», эпитафия палачу Муравьеву-вешателю «Надгробное», многие песни, почти все эпиграммы и некоторые листовки — «Встреча», «Напутствие (научите немудрых!)».

Третий раздел публикации — *лирика* (самый обширный по количеству автографов) объединяет сорок три лирических стихотворения. Двадцать два стихотворения взяты из цикла, или своеобразного лирического дневника поэта за 1842—1844 гг. «Buch der Liebe» (рукопись хранится в Пушкинском доме). Мы не сочли необходимым воспроизвести в настоящей публикации все сорок стихотворений, входящих в книгу «Buch der Liebe». Восемь стихотворений из этого цикла в разное время были опубликованы и входят в издание стихотворений Огарева. Около десяти стихотворений, частью неотшлифованных, частью повторяющих поэтические мотивы, полно отраженные в публикуемых стихотворениях, опущены нами.

Остальные стихотворения печатаются по автографам, сохранившимся в «пражской коллекции» в трех записных книжках и на отдельных листках. Почти все эти стихотворения относятся к шестидесятым годам. Исключение составляют три, датируемые сороковыми годами: «Хочу еще письмо писать...», «Дай расскажу тебе, мой друг...» и «Тучи серые бродят в поднебесьи...» В нашу подборку включены не все неизданные стихотворные тексты Огарева, обнаруженные нами в «пражской коллекции» и в других архивных фондах. Отобраны, как правило, законченные произведения и притом лишь те, которые представляют идейно-художественную ценность или биографический интерес. Незавершенные произведения и черновые наброски не включены в публикацию. Только в нескольких случаях мы позволили себе нарушить это правило. Так, например, мы сочли необходимым напечатать незаконченное стихотворение «В степи», поистине удивительное по тонкости и глубине отразившегося в нем ощущения русской природы, ее шири, необъятности, грусти.

Мы сочли также необходимым поместить стихотворение «Осужденному», работа над которым тоже не была закончена автором. Когда Д. В. Каракозов был осужден на смертную казнь, Огарев откликнулся на приговор гневными стихами. Это слишком серьезный факт нашей революционной истории, чтобы поступиться стихотворением только потому, что переработка одной из его строф, начатая Огаревым по совету Герцена, не была доведена до конца.

По автографам, имеющим черновой, незавершенный характер, печатаем мы также стихотворения «Отрывки», «Настоящее и думы (письма к Герцену)», «Предисловие».

Всего из 29 неопубликованных стихотворений и набросков, автографы которых находятся в «пражской коллекции», мы печатаем 21.

М. И. Калинин определил сущность лирики Огарева как «тревогу за смысл существующего» (М. И. Калинин. Славный путь комсомола. М., 1948, стр. 8—9).

Газета большевистской партии «За правду» в статье, посвященной столетию со дня рождения Огарева, охарактеризовала лирику поэта следующим образом: «Огарев ценен как поэт, у которого наряду с грустной лирикой столько бодрых призывов и веры в несомненно грядущую, яркую и свободную, счастливую жизнь всех людей» («За правду», 1913, 28 ноября, № 46).

Обе эти характеристики приложимы и к вновь публикуемым лирическим произведениям Огарева.

ИЗ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

I. НЕЗАКОНЧЕННЫЙ КРИТИКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 1847 г. II. К ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА РУССКИХ ОФИЦЕРОВ В ПОЛЬШЕ. III. В ЗАЩИТУ ПИСАРЕВА. IV. К ИСТОРИИ «НЕЧАЕВСКОГО» «КОЛОКОЛА». V. ЗАМЕТКИ И НАБРОСКИ ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

I. НЕЗАКОНЧЕННЫЙ КРИТИКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 1847 г.

Публикуемый текст — первая статья из задуманного Огаревым критико-публицистического цикла: «Письма деревенского жителя». 20 октября 1847 г. Огарев писал Герцену: «Еще готовлю в „Современник" письма в другом роде, посвященные тебе» (см. ниже в наст. томе). Предназначенные для журнала, начавшего с 1847 г. выходить под редакцией Некрасова, Белинского и Панаева, статьи эти в нем напечатаны не были. Едва ли даже какие-либо «Письма» из этого цикла посылались Огаревым в редакцию. Во всяком случае, И. И. Панаев, который в 1847—1848 гг. от имени редакции вел переписку с Огаревым, писал ему 6 февраля <1848 г.>: «Ей-богу, стыдно тебе, что забыл „Современник"» («Новые пропилеи», т. I. М., 1923, стр. 19). Очевидно, Огарев ничего, по крайней мере с осени 1847 г., в «Современник» не посылал.

Остается также неизвестным, насколько далеко продвинулось осуществление задуманного цикла — была ли окончена публикуемая нами статья и написаны последующие.

В 20-х числах марта 1850 г., уже после ареста Огарева (он был арестован 24 февраля в Симбирске), пензенские жандармы произвели обыск в огаревской усадьбе Старое Акшено. Изъятые, в результате обыска, бумаги и книги, среди которых находилась и публикуемая нами рукопись, были препровождены пензенским губернатором Панчулидзевым (при описи от 13 июня 1850 г.) министру внутренних дел Перовскому, а Перовским в конце того же месяца переданы в III Отделение. Вместе с бумагами других арестованных рукопись «Письма деревенского жителя» была в особом пакете подшита к делу, где мы ее и обнаружили (ЦГИАМ, ф. III Отдел., 1-я эксп. 1849 г., № 67, ч. 1, л. 165б).

* * *

Публикуемая статья в историко-литературном отношении весьма интересна. Огарев начинал свой новый труд с мыслью о Герцене. «Письма деревенского жителя» должны были печататься *с посвящением Искандеру*. Это не было только знаком дружеской памяти. В том же письме, в котором Огарев сообщил Герцену о посвящении, он писал: «Вот уже год, как мы врозь, а развитие-то совершается наверное одинаковое» (см. ниже в наст. томе). Действительно, несмотря на всю разницу в социально-политической обстановке, несмотря на даль, разделявшую друзей (Герцен был в это время во Франции, Огарев — в России, в деревне), развитие их, после того как они расстались осенью 1846 г., совершалось, хотя и не одинаково, но в одном и том же направлении. Направление это окончательно определилось летом 1846 г., в период известных «злых споров» в Соколове, на даче у Герцена; участие в этих спорах принимали, с одной стороны, Герцен и незадолго перед тем приехавший из-за границы Огарев, с другой — Грановский, Корш, Кетчер и другие. В этом столкновении, как известно, происходило отмежевание Герцена и Огарева от все более отчетливо самоопределявшегося буржуазно-либерального крыла антикрепостнического лагеря. Столкновение было доведено Герценом и Огаревым до «теоретического разрыва» даже с их ближайшим другом — Грановским. Герцен и Огарев защищали идеи материализма и атеизма, пропагандировали революционные пути и методы борьбы с крепостничеством и самодержавием. Белинский поддерживал и внутри и вне «кружка» эту борьбу Герцена и Огарева, нанося сильнейшие удары реакционно-романтической идеологии и воззрениям либералов.

Сказанное, разумеется, не означает, что между Белинским и Огаревым и даже между Герценом и Огаревым не было в этот период никаких разногласий. Напротив Белинский как раз в 1847 г. резко нападал на некоторые стороны творчества и деятельности Огарева.

Однако Огарев навсегда сохранил память именно о своем единстве с Белинским этой поры, а не о разногласии с ним. В 1870 г. он с любовью упомянул имя Белинского в первый же раз, когда заговорил в печати о смерти Герцена. «Здесь я не могу не напомнить читателю,—писал Огарев,—этого из друзей наших ‹т. е. Белинского.—*Я. Ч.*›, которого могучее влияние теперь получает настоящую оценку среди нового молодого поколения. Лучший очерк этой личности в „Былом и думах" Герцена. Я не знаю более верно схваченного характера и страниц, более проникнутых горячим чувством дружбы и преданности делу освобождения» («Памяти Герцена».—«Колокол», № 3, от 16 апреля 1870 г.).

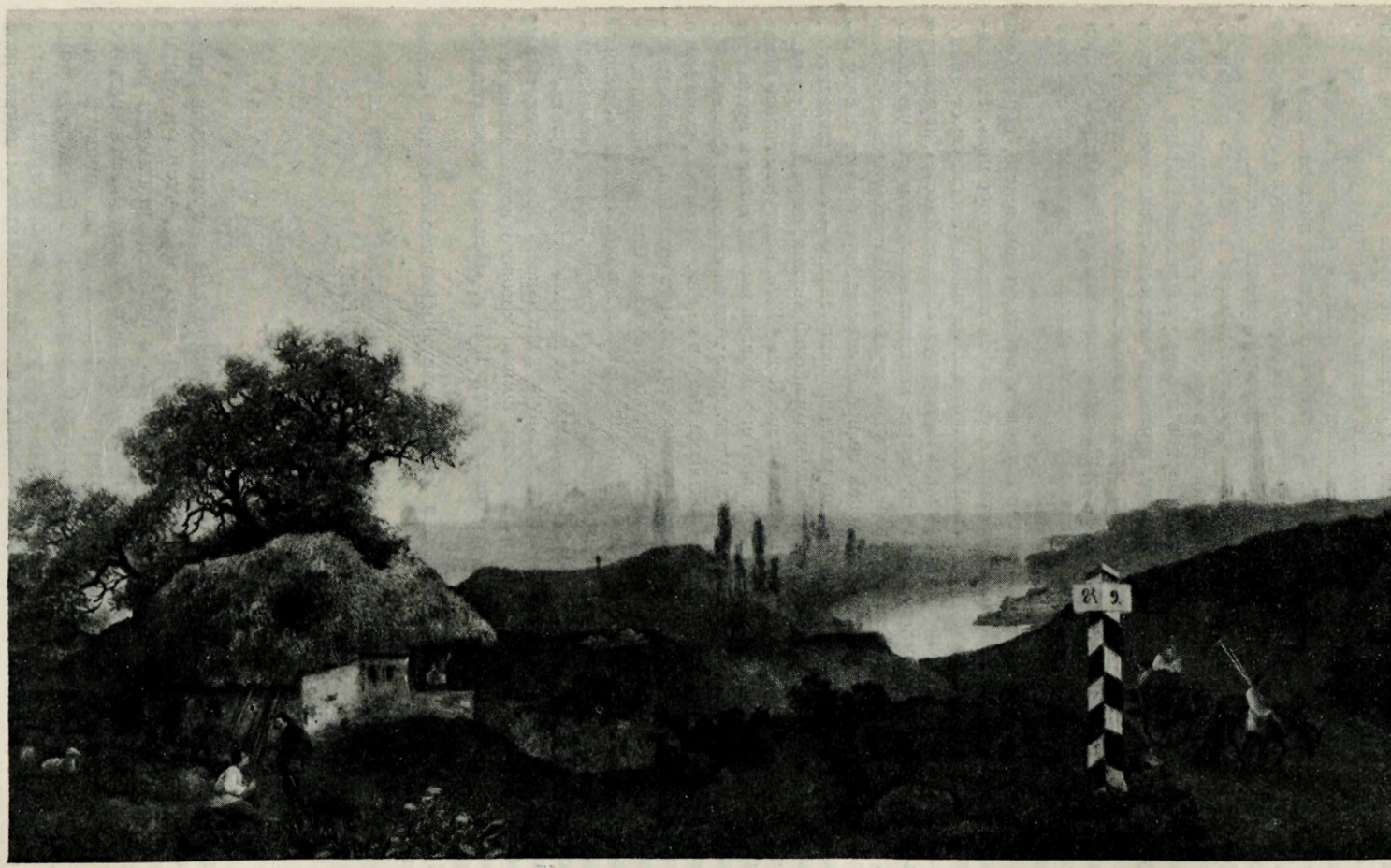
Согласием с Белинским по всем важнейшим вопросам литературно-общественной жизни проникнуто и печатаемое нами «Письмо». Говоря о признании категорией изящного, т. е. прекрасного, «всякой деятельности человеческой», не исключая «мира промышленного», Огарев перекликается с высказываниями Белинского, создававшего и отстаивавшего в это время основы материалистической теории искусства.

Развивая идеи Белинского, Огарев начинает свое «Письмо» критикой и пародийно-сатирической характеристикой различных видов идеалистического бегства от действительности в литературе сентиментализма и романтизма. Здесь упомянуты и Услад — юноша-певец из «Марьиной рощи» Жуковского, и «Бедная Лиза» Карамзина, и Урания — героиня одноименной немецкой слащаво-сентиментальной поэмы Людвига Тидге. Огарев продолжает эту критику и в последующей части «Письма», резко отделяя «могучую» социальную «скорбь, которою проникнут сам Байрон», от так называемого байронизма «мелкой литературы» — «солганных страданий модных рифмоплетов и салонных витязей». Не щадит он и Шиллера.

Мысли Огарева о Вольтере, энциклопедистах, Байроне, Гёте совпадают с известными высказываниями Белинского, содержащимися в его письмах к Боткину за 1841 г. «Отрицание — мой бог! — восклицает Белинский.— В истории мои герои — разрушители старого — Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон („Каин") и т. п. Рассудок для меня теперь выше разумности (разумеется, непосредственной), и потому мне отраднее кощунства Вольтера, чем признание авторитета религии...» («Письма», т. II, стр. 267). Достаточно сопоставить приведенные строки с характеристикой драматической поэмы Байрона «Каин», сделанной Огаревым, чтобы стала очевидной глубокая общность взглядов Белинского и Огарева. «Каин — до пафоса возведенная борьба энциклопедистов во имя здравого смысла»,— говорит Огарев, повторяя мысли Белинского (в данном выражении едва ли ему известные). Белинский и в печати высказывал в подцензурной форме эти же суждения. Он писал (в статье «Сочинения Державина», 1843 г.): «...Байрон так же есть намек на будущее Англии, как Шиллер — намек на будущее Германии: оба эти поэта были резкими противоречиями национальному духу своих стран, и, в то же время, каждый из них мог явиться только в своей стране» (Полное собр. соч. Под ред. С. А. Венгерова, т. VIII. стр. 136—137). Та же мысль лежит в основе характеристик Байрона и Шиллера, даваемых Огаревым.

Можно привести еще ряд подобных параллелей, особенно в отношении Гёте, Шиллера и Байрона. Здесь не место приводить их все; отметим лишь, что Огарев, как видно из публикуемого «Письма», глубоко солидарен с Белинским в характеристике той «двойственности», которая свойственна была обоим великим немецким поэтам. Как и Белинский, он резко отзывался о филистерских чертах, присущих Гёте, и подвергал критике слабую сторону Шиллера — «романтика в смысле средних веков», по выражению Белинского.

«Письмо» Огарева направлено против реакционного романтизма, против тех течений общественной мысли и литературы, с которыми сражались и Белинский и Герцен. По определению Огарева, этот романтизм «поклонялся старым формам феодализма



ВИД НА КРЕМЛЬ ИЗ-ЗА МОСКВЫ-РЕКИ
Картина маслом М. Бочарова, 1840-е гг.
Исторический музей, Москва

и западной церкви, любил избранную женщину до гробовой доски, плакал и молился». Одной из задач борьбы за действительность, за реализм, которую с гениальной силой вел в сороковых годах Белинский, являлась, в частности, и задача разоблачить несостоятельность притязаний со стороны идеологов реакционного романтизма на великие имена мировой литературы, отвоевать наследство великих писателей для борьбы за передовые общественные идеалы. В русле этой борьбы находится и публикуемое «Письмо» — замечательный документ русской демократической мысли.

Не «романтиков», бегущих от суровой действительности в область преданий, мечты и сновидений, способных лишь «плакать» и «молиться» перед зрелищем социальной несправедливости, а «энергических» борцов против уродливостей жизни, носителей чувства скорби, тревоги и отрицания, критиков частнособственнического строя видит Огарев в лучших представителях западноевропейской мысли и литературы. В Вольтере и Руссо, в Байроне, Жорж-Санд и в самом «олимпийце» Гёте Огарев увидел естественных союзников передовой революционной мысли и напомнил об этом Герцену.

«Не один же я страдаю,— пишет Огарев в публикуемом тексте, обращаясь к Герцену.— Тою же безвыходностью отзываются и твои письма, друг мой». Раскрывая «книгу за книгой» своей деревенской библиотеки, он находит каждую страницу «преисполненной великой скорби». Отзываясь на горькую «безвыходность», звучавшую в письмах Герцена (не дошедших до нас), Огарев высказал сильную и смелую мысль о том, что скорбные голоса великих представителей европейской культуры предрекают гибель строю, основанному на социальной несправедливости, предрекают победу передовой мысли. В «скорби» духовных отцов революционной мысли — энциклопедистов, в борьбе Байрона с косностью и консерватизмом торийской Англии, в критике буржуазной семьи, которой проникнуты «Wahlverwandtschaften» * Гёте, в могучем голосе Шиллера Огарев угадывает прогрессивное начало европейской жизни, залог и предвестие спасения Европы от власти буржуазии и зовет великие тени на помощь... Сделать свои призывы в подцензурной статье более внятными Огарев не мог. Но в том, что именно они составляют лейтмотив неоконченной статьи Огарева, нет сомнения. Это подтверждается не только самим публикуемым текстом, но и письмом Огарева к Коршу, написанным незадолго до начала работы над задуманным циклом статей. «Зрелость взгляда отрицания ради — неполная зрелость,— пишет Огарев,— ибо невольно перебрасывает человека в романтическое отвращение от деятельности. Внутри нас должен совершиться еще переход в положительную деятельность при всех скорбных задатках отрицания. Это необходимый переход, помимо которого не добьешься светлой гармонической жизни...» (письмо от 28 июня 1847 г. «Помощь голодающим». М., 1892, стр. 522).

Приведенные строки содержат в себе основную идею неоконченной статьи Огарева.

ПИСЬМА ДЕРЕВЕНСКОГО ЖИТЕЛЯ

(посвящено Искандеру)

Письмо 1-е

Мая... Я рад, что уехал из города. Мне надоедали и тревожное движение на улицах, и внутренняя тревога мысли. Не думай, чтобы я сентиментально желал уединения, как то делалось в блаженной памяти риторические времена Усладов, бедных Лиз и Тидгевой «Урании». Мне самому было бы смешно видеть себя уединенно расположенного на берегу журчащего ручья, плетущего венок из незабудок, воспоминая блаженны дни, тоскуя о тщете мирской и стремясь туда, туда — и в голубое пространство небес, где при естественном устройстве легких дышать нельзя, и в дальний

---

* «Избирательное сродство» (нем.).

туман, в котором было бы просто сыро, и который только потому и хорош, что далек и по отдаленности производит эффект в пейзаже. Нет! друг мой, эти времена давно утратились. Фразистая грусть о чем-то, натянутая слезливость, искание высоких чувств (как будто их можно искать, когда их нет?) — вся эта болезненная неясность головы осталась в памяти как пошлая сказка, которая нравилась в детстве и воспоминанье о которой неразрывно связано с мыслью: вот это, как же глуп бывает ребенок.

Итак, когда я говорю, что рад был уехать из города, не воображай меня юношей, которому чудо должно указать дорогу в край чудес. Вдобавок чудо, которое меня уносило по дороге, был обыкновенный тарантас,

СТАРОЕ АКШЕНО, «АЛЛЕЯ ОГАРЕВА»
Фотография С. И. Грошева, 1949 г.

и край чудес, к которому я стремился, — весьма обыкновенное поместье; оно издревле не отличалось ни особенно хорошим местоположеньем, ни особенно хорошим климатом. Но в нем можно было жить спокойно — и вот чего я хотел. «Но разве тебя что беспокоило?» — спросишь ты с полным правом на такой вопрос. — Да! беспокоило. Это слово пóшло и не выражает того, что я хочу сказать. Я находился не в состоянии беспокойства, но в состоянии действительной тревоги и скорби. Я не думал вырваться из него отъездом, но, оставаясь наедине сам с собой, я хотел привести в сознанье и порядок все движенья моей собственной мысли, все впечатленья фактов, большею частью неутешительных, тем более, что они непреложны и неодолимы; я хотел уяснить себе многие задачи, которые навязывали мне чувство безвыходности. И вот я простился с тобой. Полосатый* шлагбаум лег между мной и городом, и мой тарантас пошел выплясывать по грязной дороге, усердно награждая меня самыми разнообразными толчками. Наконец, после нескольких дней и ночей он решительно остановился

* *Над зачеркнутым*: Трехцветный

в последний раз, и я был дома, и тело мое могло отдохнуть от сухопутной болезни, в которую вгоняет езда по нашим дорогам и которая нисколько не изящнее морской болезни; если нет тошноты, то она щедро вознаграждается измятьем боков, беспрестанным подталкиваньем так, что дух дрожит, и отвратительным запахом пыли, грязи, навоза и прочее, и прочее.

И вот я уже несколько дней живу в деревне. Жизнь моя — как и вообще жизнь людей в тех летах, когда вещи начинают являться в свойственных им размерах,— не отличается ни особенным блаженством, ни особенным несчастьем. Но отчего же не только в настоящую минуту, но уже давно через всю жизнь проводится давящее чувство скорби и безвыходности? Уж не продолженье ли это той неопределенной изнеженной грусти и жажды какого-то исключительного блаженства «в сфере душ», чем мы все, вероятно, упивались во время óно весьма бесплодно? Тело мое здорово; несчастными страстями я не измучен. Голова моя не утомлена и может понимать и работать ясно. Чувства наслаждения окружающим я не утратил; напротив того, я как-то с каждым днем более понимаю всё изящное не только в природе и в искусстве, но во всякой деятельности человеческой; я понимаю изящное даже в мире промышленном, так давно признанном за неизящное идеалистами и мыслителями, для которых материальная бесполезность составляет принадлежность изящного. Я с каждым днем более понимаю возможность наслаждаться жизнию. Но только возможность. Действительно я страдаю. Чем же? Где же эта рана, к которой я приступаю как Фома неверный, которую мне надо ощупать перстом, чтоб удостовериться, что она не призрак? Может быть, она призрак? Может быть, я нервически расстроен и мне кажется, что я страдаю? Однако не один же я страдаю. Тою же безвыходностью отзываются и твои письма, друг мой. Я гляжу на мою библиотеку: раскрываю книгу за книгой, и каждая страница преисполнена великой скорби. Возьму ли людей XVIII века, на каждом лежит печать страдания. Желчная сказка Вольтера представляет мне скорбь в форме насмешки и негодования. Если я вспоминаю где виденный мною портрет Вольтера, я не могу иначе оживить его, этого человека, в моем воображении, как с морщинистым лицом, с саркастической улыбкой, и мне ясны следы страсти и страдания. Вот и вечный мученик Руссо; вот и энциклопедисты, которых я не могу себе представить иначе, среди их твердо и ровно выдержанной борьбы с предрассудками и неправосудием, как мучениками во имя здравого смысла. Положим, что им не удалось сложить голову на плаху, но легко ли было им жить между ханжеством, с одной стороны, и развратом — с другой, жить в атмосфере, которая представляла смесь этих двух элементов, им, ясным служителям рассудка?

Зачем Гёте перевел «Племянника Рамо»? Гёте — самая полная и спокойная натура, которая когда-либо жила на свете? Гёте, который устранялся от общественных движений, от участия к несчастиям социальных положений, от всего, что носило след противоречий в человеческом обществе? Перевел ли он «Племянника Рамо» как художник, увлеченный истинно художественным произведением Дидерота, или отсутствие страдания в Гёте есть вымысел критиков Менцеля и consorte? * Я думаю, друг мой, что это вымысел рецензентов. Вспомни, что самый Шиллер, которого per contrario ** выставляют человеком, принимавшим жаркое участие в делах человеческих, самый Шиллер — как и Гёте — не находил «повода к радостным песнопениям» в весьма важных исторических происшествиях. Это только от того, что, несмотря на всю гениальную энергичность, они оба были немцы того времени, когда писатель считал за великую честь,

---

* сотоварищей (лат.).
** в противоположность (лат.).

почти за событие, играть в бостон с каким-нибудь графом Гох Пфифальпа Гауз Рицкрейцбург Зондербрюген. Но загляни в Фауста, и ты найдешь всеобщее человеческое страдание сильной личности. «Сродство по выбору» («Wahlverwandtschaften») доказывает, что вопрос семейный представлялся Гёте с * его действительно скорбной стороны. Что ни говори оболимпическом спокойствии Гёте, оно не представляет холодности к миру человеческому; это есть ширь понимания и только, следственно, далеко не эгоистическое чувство **. Но давай дальше рассматривать мою библиотеку.

Что это за мрачную поэму страдания представляет Байрон? Нет, мимо этой гениальной скорби нельзя пройти с усмешкою. Если нам кажется жалок и смешон так называемый байронизм, который когда-то был в моде в обществе, то нам нельзя ставить на одну доску солганные страдания модных рифмоплетов и салонных витязей с могучей скорбью, которою проникнут сам Байрон***. Близорукие критики видели в нем сухость, основанную на высокомерии. А между тем, как этот человек далек от сухостей! В его измученном сердце неисчерпаемое богатство нежности. В одних стансах к его сестре более любви, чем в иных томах романтической школы, к которой напрасно многие его относят. Романтизм поклонялся старым формам феодализма и западной церкви, любил избранную женщину до гробовой доски, плакал и молился. Байрон нисколько не романтичен, он только субъективен, то есть выше всего для него поставлена его личность; но с тем вместе эта личность у него возведена до всеобщности; то есть личность, его собственная личность потому для него так важна, что для него важна вообще личность человеческая и ее права на жизнь и счастие, права, которые он везде находит стесненными и оскорбленными. От этого его гордость, это чувство, которое не позволяет дотрагиваться до своей личности и везде хочет провести свою волю, не терпя противоречия, его гордость переходит в любовь к роду, к человеку, и эта любовь является в форме ненависти к тому, что́ люди делают, и кажется мизантропией. Англичанин и тори — он язвит желчной насмешкой Англию и торизм; формализм душит его в семейных отношениях, и чувство независимости заставляет его разорвать брачные узы, а между тем в этом человеке все элементы для счастия с женщиной, а между тем все воспоминания его о дочери дышат трогательной любовью; он выставляет в мрачной фантазии, как гибнет род человеческий, и последнее вспыхнувшее пламя на пожарище всеобщего разрушения освещает двух заклятых врагов — и едет умирать за дело Греции. Чем же он страдает, этот человек? С чем и во имя чего́ он борется? Неужели все это только ради самого себя? Нет! Его счастие разрушено, молодость, свежесть чувства в нем погибли; но дело в том, что он везде видит счастие человека разрушенным, в каждом человеке молодость и свежесть чувства погибшими. Такой факт выдумать трудно, да если б он

---

* *Далее зачеркнуто:* самой

** *Далее зачеркнуто*: Но я боюсь слишком много наговорить о Гёте, и не успею показать тебе [другой части] до конца моей библиотеки

*** *Далее зачеркнуто карандашом:* Что бы взять в пример? Да возьмем хоть «Каина». «Каин»—до пафоса возведенная борьба энциклопедистов во имя здравого смысла. Я очень рад, что выбрал для примера «Каина». Кроме того, что вопрос, в нем поставленный, [и страдание в нем выраженное] ясно доказывает, что байронизм мелкой литературы никогда не заключал в себе содержания страдания самого Байрона; кроме этого «Каин» состоит в связи с некоторыми последующими произведениями, о которых я намерен тебе говорить. В «Каине» является защита демона, защита начала критики и рассудка. Эту защиту [менее поэтически] повторила Жорж Санд в «Консуэло». Я не сравниваю лирическую драму Байрона с романом Санда ни в художественном отношении, ни в силе, с которою тут и там проведена одна и та же задача, но дело в том, что задача одна и та же. Вот что меня поражает. Эта задача, как бы она ни была поставлена, как бы она ни была темно проведена, все же есть задача борьбы разума с ⟨*пробел в рукописи*⟩.

и был только выдуман Байроном, то, верно, бы никто так нарасхват не читал Байрона и голос его не отозвался бы ни в ком. А между тем впечатление, им произведенное, было неимоверно. С чем он боролся? Не с своими же личными врагами. Он боролся с предрассудками и неразумием во имя разума, как все реформаторы, но только в другой форме. Поэтическое слово точно так же казнит и клеймит позором неразумие, как и книга философа, как и решение законодателя; иначе ни книга, ни изменения в общественных постановлениях не нашли бы отголоска в людях. Если поэт и не созидает новых условий жизни, тем не менее слово его сильно колеблет неправду.

⟨Старое Акшено. Октябрь — ноябрь 1847 г.⟩

Автограф. ЦГИАМ, ф. III Отдел., 1 эксп. 1849 г., № 67, ч. 1, лл. 165 б и сл.

II. К ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО «КОМИТЕТА РУССКИХ ОФИЦЕРОВ» В ПОЛЬШЕ

Ниже печатаются два небольших, тесно связанных между собой текста, образующих единый документ. Первый — обращение Огарева к революционной организации образовавшейся среди русских войск, расположенных в «Царстве Польском», и примыкавшей к «Земле и Воле» — «Комитету русских офицеров»; второй — аналогичное письмо Бакунина. Оба документа характеризуют отношения с этой организацией редакции «Колокола», с одной стороны, и Бакунина — с другой. Написаны оба текста на одном листе и притом почти одновременно (разница может быть в днях).

Обращение Огарева и Бакунина было лично вручено Огаревым руководителю «Комитета русских офицеров», А. А. Потебне, в Лондоне, в ноябре 1862 г., незадолго до варшавского восстания (начавшегося в ночь с 22-го на 23 января 1863 г.). В конце марта или в начале апреля 1863 г. Потебня пал в бою, сражаясь на стороне польских повстанцев против царских усмирителей.

В статье «Frisant la question polonaise»*, напечатанной в 1868 г. в № 7 «Kolokol», Герцен писал, используя в переводе на французский язык свои записи конца 1865 г. о польских событиях 1862—1863 гг.:

«Один из членов польского правительства с трогательным вниманием известил нас о смерти Потебни. Несколько времени спустя мне вручили маленький принадлежавший ему бумажник. Дрожащею рукою раскрыл я эту реликвию и нашел там письмо Огарева русским офицерам, писанное, когда я на несколько дней отлучился в Торквэй.

Письмо это начинается следующими строками:

„Друзья!

С глубокой любовью и с глубокой грустью прощаемся мы с вашим другом..."». Далее Герцен приводит первую половину письма Огарева, заключая отрывок словами: «Мне нечего прибавить к этим строкам» (XX, 247—248).

Публикуемый нами документ представляет собой *полный русский текст* письма Огарева. Частично письмо было опубликовано Герценом на французском языке в статье «Frisant la question polonaise». Печатаемый русский текст тоже не является совершенной новостью: однажды он уже был напечатан, так же как и обращение Бакунина, в сборнике «Посмертных статей» Герцена, изданном в Женеве в 1870 г., но впоследствии выпал из поля зрения исследователей. Подлинник же публикуемого документа, ранее остававшийся неопознанным, был лишь недавно обнаружен пишущим настоящие строки, совместно с А. В. Аскарянц, в архиве Герцена — Огарева, хранящемся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. (Предварительное сообщение с воспроизведением найденного документа см. в «Записках Отдела рукописей», ЛБ, М., 1952, вып. 13). При сличении текстов документа — вновь найденного рукописного с первопечатным, помещенным в сборнике 1870 г.,— обнаруживается их идентичность. Поскольку сборник «Посмертных статей» открывается предисловием Огарева, мы

* «К польскому вопросу» (франц.).

предполагаем, что именно Огаревым документ и был включен в сборник. Он напечатан непосредственно вслед за главою из «Былого и дум» — «Бакунин и польское дело».

Почти через три десятилетия после опубликования обращения Огарева и Бакунина к русским офицерам в Польше вопрос об этих текстах был затронут М. П. Драгомановым в издании «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву» (Женева, 1896). На стр. 193 названного издания Драгоманов перепечатал из сборника «Посмертных статей» Герцена обращение Бакунина, начинающееся словами: «Друзья и братья! Строки, написанные другом нашим, Николаем Платоновичем Огаревым, проникнуты искреннею, бесконечною преданностью великому делу нашего народного да и общеславянского освобождения». Драгоманов не понял содержания документа и ошибочно принял его за «письмо к обществу „Земля и Воля“» (см. стр. 192 ук. изд.). Драгоманов ни словом не обмолвился о том, что «строки Огарева», о которых говорил Бакунин, напечатаны полностью там же, в сборнике «Посмертных статей» Герцена, на соседних страницах. Не поняв документа, он не уловил и связи между обоими обращениями.

Перепечатывая названную выше французскую статью Герцена «Frisant la question polonaise» в собрании его сочинений, Лемке не счел нужным сообщить о письме Огарева, цитированном Герценом, и даже не поставил вопроса о том — не сохранился ли подлинник письма. Лемке ограничился тем, что перевел приведенный Герценом во французском переводе отрывок из обращения Огарева обратно на русский язык.

Досадный недосмотр допущен был и составителями известного библиографического указателя «Русская подпольная и зарубежная печать» (см. вып. 1, 1831—1879. М., 1935, стр. 42). При описании обоих изданий «Посмертных статей» Герцена 1870 и 1874 гг. авторами указателя не было отмечено, что в обоих этих изданиях помещены обращения Огарева и Бакунина, хотя эти обращения и напечатаны здесь отдельно, петитом, на страницах 204—206 (по изд. 1870 г.) и подлежали особому описанию.

В результате указанных ошибок и недосмотров замечательный документ, неразрывно связанный с историей героического подвига Потебни и представляющий большую важность для изучения истории русского революционного движения, оказался на долгие годы недоступным для русских и, насколько нам известно, польских читателей.

* * *

Публикуемые тексты Огарева и Бакунина написаны чернилами на четырех страницах бумаги размером 22,5 × 18,4. Листы вырваны, повидимому, из тетради Огарева, так как бумага такая же, как в его лондонских тетрадях. Обращение Огарева занимает первые три страницы (третья страница неполная). Вслед за подписью «Н. Огарев», непосредственно под ней, начинается собственноручный текст обращения Бакунина, занимающий последнюю треть страницы третьей и две трети страницы четвертой. Весь текст обращения Огарева написан не его рукой, автографична только подпись.

Документ носит на себе отчетливые следы длительного пребывания в бумажнике небольшого формата. Лист, троекратно сложенный пополам, приобрел вид узкой полоски, загрязнившейся и потемневшей. Следы сгибов с наружной стороны сильно потерты. Видно, что Потебня не раз вынимал документ из бумажника, давая своим соратникам или друзьям прочесть или переписать его.

Ни текст Огарева, ни текст Бакунина не датированы. Но мы располагаем данными для установления даты. Время написания обоих обращений определяется довольно точно — середина ноября 1862 г.

Как указано выше, текст Огарева написан, за исключением подписи, не его рукой. Чьей же? Установить этого не удалось. Скорее всего следовало бы предположить, что перебелил текст Огарева сам Потебня. Автографа Потебни нам найти не удалось. Однако существует и печатается также в настоящем томе (см. выше, стр. 513—514) другой документ—«Список офицеров — членов революционной организации», принадлежность которого руке Потебни очень вероятна. Сличение почерков обоих документов показывает, что они принадлежат разным лицам.

Вспоминая о ноябрьском приезде Потебни в Лондон, Герцен писал: «...Потебня, душа общества офицеров, еще раз приехал в Лондон, чтобы спросить наше мнение и, каково бы оно ни было, пойти неизменно по своей дороге» (XX, 247). Герцен свидетельствует, что Потебня, уже твердо решивший повести руководимых им людей в бой, приехал в Лондон в надежде получить политическую поддержку редакции «Колокола».

Предложенный Огаревым текст начинался словами, указывавшими на коллективный характер обращения: «С глубокой печалью проводили *мы* к вам...», «*Мы* понимаем, что вам нельзя не примкнуть к польскому восстанию...», «Шансов на успех *мы* никаких не видим...» и т. д. Под словом «мы» Огарев разумел Герцена и себя, но не Бакунина, с которым у редакции «Колокола» были серьезные разногласия и принципиальные и тактические, особенно острые как раз по отношению к польскому освободительному движению. Но Герцена в Лондоне в эти дни не было. По его собственному свидетельству, он «отлучился на несколько дней в Торквэй».

Потебня же, в связи с надвигавшимися событиями, должен был немедленно возвратиться в Польшу и не мог, очевидно, дождаться Герцена. Так объясняется отсутствие подписи Герцена под воззванием к офицерам, написанным Огаревым от имени обоих издателей «Колокола».

Вопрос о том, при каких обстоятельствах возникло — на том же листе бумаги — еще одно обращение, от имени Бакунина, остается неясным. Вряд ли инициатива этого второго обращения могла тоже принадлежать Огареву. Ведь совсем незадолго до приезда Потебни в Лондон, а именно 31 октября 1862 г., Огарев писал Бакунину: «Я утрачиваю в тебя мою человеческую веру, не сердись на меня за откровенность, как сердятся обыденные французы; а просто задумайся искренне и спроси себя по совести, прав я или нет ‹...› Ты затем и хочешь вредной попытки ‹восстания в Польше.— *Я. Ч.*›, потому что она *тебе* дает занятие, хотя бы и вредила *делу* ‹...› Если ты ищешь себе занятия, хотя бы по дороге погибла надолго русская свобода и рост внутренней организации народа,— я враг тебе» («Письма Бакунина к Герцену и Огареву», стр. 88—89).

При наличии подобных разногласий нет достаточных оснований предполагать, что именно Огарев обратился к Бакунину с предложением написать второе воззвание. Скорее всего, воззвание было написано по инициативе самого Бакунина, но осуществлено все же под контролем Огарева. Во всяком случае, мы не находим в тексте бакунинского воззвания установок, которые были неприемлемы для Огарева и Герцена. Наоборот, Бакунин на этот раз высказывает, хотя и не очень последовательно, те же мысли, что и Огарев, и таким образом поддерживает его обращение. Вслед за Огаревым, Бакунин призывает отложить восстание, если это возможно, «до более дальнего срока». Однако, признавая обоснованность суровых и горьких прогнозов Огарева, Бакунин тут же ослабляет степень своей солидарности с ним, пытаясь сохранить хотя бы иллюзорные надежды на успех восстания. «А бог знает! — заканчивает он свое обращение.— Может быть, геройский подвиг ваш, в противность всем расчетам холодного рассудка, неожиданно увенчается и успехом?..»

* * *

Содержание обращений Огарева и Бакунина было продиктовано трагической обстановкой, сложившейся в это время в Польше. Ввиду сложности вопроса мы не станем входить здесь в рассмотрение всех обстоятельств дела, ограничившись лишь тем, что напомним основные вехи развернувшихся во второй половине октября событий.

В середине октября Варшавский Центральный комитет принял окончательное решение о восстании, приурочив его к январю 1863 г.— ко времени рекрутского набора в Польше, предпринятого властями, чтобы лишить революционно настроенную молодежь возможности участвовать в национально-освободительном движении. Набор должен был производиться не по жребию, а по специальным спискам, откровенно названным одним из организаторов набора, маркизом Велепольским, «проскрипционными» (ср. статью Герцена «Подтасованный набор» — XV, 555—556). Лондонский представитель Комитета Иосиф Цверцякевич известил Герцена о принятом решении.

22 октября Герцен обратился к Цверцякевичу и через него — к Центральному комитету с обширным письмом, написанным по-французски и известным в копии, сохранившейся в делах III Отделения (XV, 532—534). Герцен убеждал руководителей готовящегося восстания (вернее, ту часть их, которая занимала демократические, а не шляхетски-шовинистические позиции) отсрочить его; он считал восстание преждевременным и потому гибельным равно для русского революционного движения и для польской независимости. К письму Герцена приложил свое письмо и Огарев (оно в печати неизвестно). Герцен, ссылаясь на это письмо Огарева, писал Цверцякевичу: «Прежде чем Огарев написал вам письмо, мы с ним долго беседовали. Итак, я излагаю вам его же мнения по этому вопросу» (XV, 535).

Герцен глубоко осознавал всю тщетность своих усилий: добиться согласованных и единых действий обе стороны в тогдашних условиях не могли.

«... Я вам скажу еще в последний раз с горькой смелостью,— писал Герцен, рекомендуя не сопротивляться набору рекрутов,— то, что мне кажется очевидным: произведите набор рекрутов, но не осуществляйте никакого выступления, для которого нет ни малейшей надежды на успех <...> Поступая сейчас иным образом <...>, вы остановите русское движенье еще на полвека. Что касается Польши — она погибнет в этом случае безвозвратно» (ср. XV, 534, пер. с франц.).

Вновь и вновь подчеркивая, что организация русских революционных сил еще «далеко не закончена» («notre organisation est loin d'être prête»), Герцен от своего имени и от имени Огарева заявлял: «В соответствии с этим мы ограничиваем нашу деятельность сношениями с русским Комитетом в Варшаве. Мы ему скажем: «Поднимите восстание одновременно с польскими повстанцами в Варшаве». Но восстанут ли они? Это — еще вопрос» (там же).

Одной из самых трудных задач, стоявших перед Герценом и Огаревым, была задача правильно рассчитать силы восстания. Набор был предварительно объявлен в количестве 5 человек с 1000. Общее число рекрутов исчислялось в 25 000. По мнению Центрального Польского комитета, эта цифра и определяла ориентировочно число активных участников восстания, поскольку предполагалось, что в массе своей все рекруты, предупрежденные о дне набора, скроются и образуют «повстанческую армию».

Герцен и Огарев не могли положиться на основательность этих расчетов. «Уверены ли вы еще,— спрашивает Герцен Цверцякевича,— в цифре 25 000? Как она получается, считая только по 5 человек с 1000?» (XV, 535). Ответ Цверцякевича неизвестен. Но независимо от того, что было сообщено Цверцякевичем, Герцен и Огарев вскоре получили интересовавшие их сведения из другого источника: из опубликованного в октябре указа о наборе. Эти сведения заронили в них искру надежды на то, что восстание будет отложено. В письме Огарева к Бакунину, написанном 31 октября 1862 г. (оно цитировалось нами выше в доказательство существования крупных разногласий между Огаревым и Бакуниным в польском вопросе), мы находим указания на их совместное (вероятно, с участием Герцена) обсуждение полученных сведений. Продолжая спор, Огарев напоминал Бакунину: «Когда пришел указ о том, что 5 : 1000 не значит 25 000 рекрут с городов, я вспрыгнул от радости, видя в этом пресечение попытки гибельной для блага России, для наших убеждений, для народной свободы, для всего, что нам свято и дорого. Ты же переменился в лице от дезориентации, в которую это обстоятельство тебя поставило». Далее следовало уже приведенное нами обвинение «Ты затем и хочешь вредной попытки, потому что она *тебе* дает занятие, хотя бы и вредила *делу*» («Письма М. А. Бакунина к Герцену и Огареву». Женева, 1896, стр. 88).

Следовательно, в конце октября у Огарева еще была надежда, что восстание «будет отложено». «Тайная надежда» на это звучит и в печатаемом ниже обращении. Но надежда не могла быть ни прочной, ни длительной. Ближайшие же события вновь показали неизбежность восстания, хотя и обреченного на неудачу. В середине ноября, еще рассчитывая на отсрочку, но убедившись в том, что вопрос о действиях землевольцев-офицеров в Польше поставлен совершенно практически, Огарев и написал свое замечательное письмо, проникнутое мыслью о чести русского революционного

имени, памятью о героическом примере декабристов и глубокой верой в конечную победу революции. Приняв решение за Герцена и за себя, он, не колеблясь, принял также моральную и политическую ответственность, деля ее с Потебней.

Вернувшись около 20 ноября из Лондона в Польшу, Потебня сразу же объехал многих членов Комитета русских офицеров в Польше и ознакомил их с воззваниями Огарева и Бакунина. В письме из Варшавы от 5/17 декабря 1862 г. Потебня сообщал Герцену: «Я только что возвратился... Я не могу вам писать теперь подробно о результате этой поездки, но вообще он оказался лучшим, нежели мы могли предполагать. События приближаются, работы слишком много у каждого, у меня в особенности; а между тем мое положение со дня на день становится труднее, за мной просто охотятся, и я не знаю, долго ли можно будет скрываться от них». Этот отрывок из письма Потебни привел после его гибели Огарев в статье «Надгробное слово», напечатанной в «Колоколе»,л.162,от 1 мая 1863 г.В статье приведена и последняя записочка Потебни, отправленная уже из лагеря Лангевича,— сражаясь в этом отряде, Потебня был убит. Исправляя неточность, вкравшуюся в статью, Огарев 15 мая, в следующем листе «Колокола», напечатал поправку, основываясь на материале польской «Народной газеты» (очевидно, «Gazeta narodowa»).

«Народная газета,— сообщается в этой поправке,— говорит, что А. Потебня, глава Комитета русских офицеров в Польше, погиб не при Песочной Скале (как сказано в «Колоколе»), а в известном ночном нападении на кладбище при Скале. Он находился при Лангевиче с важными поручениями. Во время сражения, несмотря на все просьбы и убеждения, он схватил косу, во главе колонны пошел в атаку и погиб, сраженный пулей в грудь. Смерть его,— прибавляет «Народная газета»,— великая потеря. Человек чистейший и благороднейший, всей душой любивший свободу». Смерть помешала Потебне развернуть деятельность, к которой он призывал в своем воззвании «Офицерам русского войска от Комитета русских офицеров в Польше», напечатанном в л. 151 «Колокола» от 1 декабря 1862 г.

Огарев в своем «Надгробном слове» указывал, что подробный рассказ о деятельности Потебни в Польше был бы еще несвоевременным в печати, но заявлял тут же, что рассказ этот не пропадет для потомства, не пропадет для потомства и рассказ о «несчастном случае, разрушившем его отряд». «Много причин заставляют молчать,— пишет Огарев,— вы это поймете, друзья юноши. Придет время — мы скажем, в летописях пропуска не останется». Однако в известном нам литературном наследии Герцена и Огарева подробного рассказа о Потебне нет. Не является им и цитированная страница из статьи Герцена, а также те отрывочные данные о Потебне, которые содержатся в главах «Былого и дум», посвященных польскому восстанию. Где же обещанный рассказ?

На этот вопрос пока мы ответа не имеем. Не существует также сколько-нибудь полной биографии Потебни. Единственное исследование, посвященное А. А. Потебне (С. Шкроб. «Жертва польского освобождения»), печаталось отдельными главами в журнале «Каторга и ссылка» — 1931, № 4; 1933, № 2 и 1934, № 2, но осталось неоконченным. Как раз наиболее важный период деятельности Потебни, с октября 1862 до марта 1863 г., в названной работе не освещен.

При каких обстоятельствах Герценом был получен бумажник Потебни — «petit portefeuille», как пишет Герцен,— с воззванием Огарева и Бакунина,— мы узнаем из письма Дж. Маццини к Н. А. Огаревой от 15 сентября 1865 г. Маццини писал своей корреспондентке: «...помните ли вы русскую фамилию Потебня? Ваши друзья знали и любили его, восхищались им; я тоже видел его, он вполне заслуживал этого. Он кончил свою жизнь, посвященную на пользу его родины—России, как известно, на поле битвы. Он пал во второй экспедиции рядом с Лангевичем <!> У Лангевича находятся его портфель, часы и несколько других вещей. Ради изложенной выше цели <в письме шла речь о сборе средств для посылки в Америку двух представителей интернациональной организации Маццини.— *Я. Ч.*> он готов,— и верьте мне, с сожалением, потому что он любил Потебню,— передать их русским с письменным удостоверением. Он полагает, что сам Потебня признал бы правильным, чтобы оставшиеся после него вещи были употреблены на общее дело, за которое он умер. Не пожелают ли Герцен,

Долгоруков и члены Славянского клуба в Женеве приобрести эти реликвии? Не могут ли они положить ими начало своего рода русской ризнице?» («Архив Н. П. и Н. А. Огаревых». М., 1930, стр. 31; цитируем перевод с французского; перевод, несомненно, неточный; так, например, фраза: «Он пал во второй экспедиции рядом с Лангевичем» — явная ошибка перевода, так как Лангевич не был убит в бою).

Почему Маццини не обратился непосредственно к Герцену? Отношение Герцена к деятельности мацциниетов было в это время более чем настороженным.

Мы не знаем подробностей посредничества Н. А. Тучковой-Огаревой между Маццини и Герценом. Повидимому, оно было успешным. По крайней мере, одна, самая ценная из реликвий — бумажник Потебни — в декабре 1865 г. поступил к Герцену. В эту пору он писал воспоминания о польских событиях 1863 г. и главу «Былого и дум» — «Бакунин и Польское дело». Документ, сохранившийся в бумажнике Потебни, оказался у него перед глазами.

‹ОБРАЩЕНИЯ ОГАРЕВА И БАКУНИНА К РЕВОЛЮЦИОННОМУ «КОМИТЕТУ РУССКИХ ОФИЦЕРОВ» В ПОЛЬШЕ›

Друзья!

С глубокой любовью и глубокой печалью проводили мы к вам вашего товарища; только тайная надежда, что *это* восстание будет отложено, сколько-нибудь успокаивает и за вашу участь и за судьбу *всего дела*.

Мы понимаем, что вам нельзя не примкнуть к польскому восстанию, какое бы оно ни было; вы искупите собой грех русского императорства; да сверх того оставить Польшу на побиение без всякого протеста со стороны русского войска также имело бы свою вредную сторону безмолвно-покорного безнравственного участия Руси в петербургском палачестве.

Тем не менее ваше положение трагично и безвыходно. Шанса на успех мы никакого не видим. Даже если б Варшава на один месяц была свободна, то оказалось бы только, что вы заплатили долг своим участием в движении *национальной независимости*, но что воздвигнуть русского социального знамени *Земли и Воли* — Польше не дано, а вы слишком малочисленны.

При теперешнем преждевременном восстании Польша, очевидно, погибнет, а русское дело надолго потонет в чувстве народной ненависти, идущей в связь с преданностью царю, и воскреснет только после, долго после, когда ваш подвиг перейдет в такое же преданье, как 14 декабря, и взволнует умы поколения, теперь еще не зачатого.

Вывод отсюда ясен: отклоните восстание до лучшего *времени соединения сил*, отклоните его всем вашим влиянием на польский комитет и влиянием на само правительство, которое со страха еще может отложить несчастный набор, отклоните всеми средствами, от вас зависящими.

Если ваши усилия останутся бесплодными, тут больше делать нечего, как покориться судьбе и принять неизбежное мученичество, хотя бы его последствием был застой России на десятки лет. По крайней мере сберегите, по возможности, людей и силы, чтобы из несчастного проигранного боя оставались бы элементы для будущей отдаленной победы.

Если же вы успеете, и восстание будет отложено, тогда вы должны начертить себе твердую линию поведения и не уклоняться от нее.

Тогда вам надо иметь одно в виду — делать общее русское дело, а не исключительно польское. Составить целую неразрывную цепь тайного союза во всех войсках, во имя Земли и Воли и Земского собора, как сказано в вашем письме к русским офицерам. Для этого надо, чтоб русский офицерский комитет стал самобытно; поэтому центр его должен быть вне Польши. Вы должны вне себя организовать центр, которому сами подчинитесь; тогда вы будете командовать положением и поведете стройно организацию, которая придет к восстанию не во имя исключительно польской

национальности, а во имя Земли и Воли, и которая придет к восстанию не вследствие минутных потребностей, а тогда, когда все силы рассчитаны и успех несомнителен.

Для нас этот план так ясен, что вы не можете не сознавать того, что́ надо делать.

Добейтесь его, каких бы трудов оно ни стоило.

Н. Огарев

Друзья и братья! Строки, написанные другом нашим, Николаем Платоновичем Огаревым, проникнуты искреннею и бесконечною преданностью к великому делу нашего народного да и общеславянского освобождения. Нельзя не согласиться с ним, что общему мерному ходу славянского, и в особенности русского, поступательного движения преждевременное и частное восстание Польши грозит перерывом. Признаться надо, что при настоящем настроении России и целой Европы надежд на успех такого восстания слишком мало — и что поражение партии движения в Польше будет иметь непременным последствием временное торжество царского деспотизма в России. Но, с другой стороны, положение поляков до того невыносимо, что вряд ли у них станет надолго терпения. Само правительство гнусными мерами систематического и жестокого притеснения вызывает их, кажется, на восстание, отложить которое было бы по этому самому столько же нужно для Польши, как и необходимо для России. Отложение его до более дальнего срока было бы, без всякого сомнения, и для них и для нас спасительно. К этому вы должны устремить все усилия свои, не оскорбляя, однако, ни их священного права, ни их национального достоинства. Уговаривайте их, сколько можете и доколь обстоятельства позволяют, но, вместе с тем, не теряйте времени, пропагандируйте и организуйтесь, дабы быть готовыми к решительной минуте, — и, когда, выведенные из последней меры и возможности терпения, наши несчастные польские братья встанут, встаньте и вы не против них, а за них, — встаньте во имя русской чести, во имя славянского долга, во имя русского народного дела с кликом: «Земля и Воля». И, если вам суждено погибнуть, сама погибель ваша послужит общему делу... А бог знает! Может быть, геройский подвиг ваш, в противность всем расчетам холодного рассудка, неожиданно увенчается и успехом?..

Что ж до меня касается, что бы вас ни ожидало, успех или гибель, я надеюсь, что мне будет дано разделить вашу участь. Прощайте и, может быть, до скорого свидания.

М. Бакунин

⟨Лондон. Ноябрь 1862 г.⟩

Подлинник. ЛБ, ф. Г.— О. I. 15. — Текст обращения Огарева написан посторонней рукой, автографична только подпись. Текст обращения Бакунина — автограф.

III. В ЗАЩИТУ ПИСАРЕВА

Две статьи, публикуемые ниже, воспроизводятся по рукописям, находящимся в «пражской коллекции». Статья «Старовоздвиженская философия» сохранилась в виде разрозненных листов, отрывков и черновых набросков, на основании которых, однако, удалось восстановить почти полный текст статьи. Вторая статья — «Благо есть место» — беловая рукопись.

Обе статьи посвящены полемике с реакционным критиком Николаем Соловьевым (1831—1874), подвизавшимся в журналах в качестве присяжного противника Чернышевского и Писарева, сперва на страницах «Отечественных записок» Краевского, а с 1867 г.— в только что основанном «Всемирном труде» Хана. Огарев полемизирует

А. А. ПОТЕБНЯ

С фотоотпечатка

Собрание С. И. Шкроба, Москва

«...Польская гроза приближалась больше и больше. Осенью 1862 явился на несколько дней в Лондон Потебня. Грустный, чистый, беззаветно отдавшийся урагану, он приезжал поговорить с нами от себя и от товарищей и, все-таки, итти своей дорогой» («Былое и думы», ч. VI, гл. XIII)

со статьей Н. Соловьева «Принципы жизни», напечатанной в первой же книжке «Всемирного труда», вышедшей в январе 1867 г.

Таким образом, год написания статей ясен — 1867. Полемика с Соловьевым предназначалась для «Колокола» (это был последний год его издания на русском языке), но первая статья, оставшись неоконченной, напечатана не была. Заметка же «Благо есть место» опубликована в «Прибавочном листе к первому десятилетию „Колокола"» (стр. 14—15), выпущенном Огаревым 1 августа, через месяц после формальной приостановки издания. Заметка напечатана без подписи, в «Смеси»; в библиографических справочниках на принадлежность ее Огареву до сих пор не указывалось; в литературе заметку никто не использовал.

Установить точную дату написания каждой из статей вполне возможно; в письмах Огарева к Герцену за 1867 г. содержатся все необходимые данные.

В одном из писем Огарева находим следующее: «Читал и читал сегодня статью Соловьева, и чем больше читал, тем больше думаю, что это одно из самых вредных литературных произведений, которое бьет в руку правительству и реакции, ничуть не уясняя какого бы то ни было научного пути, а притязание на это имеет сильное. Старовоздвиженская философия! Она хочет отделить способность понимания (разум) от способности чувствования, т. е. разного рода страстей, которые она возводит в теорию нравственности, *сердца* и принципов — как будто может быть принцип вне понимания», («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 413—414).

При публикации цитируемое письмо ошибочно датировано Ю. А. Красовским: «осень 1865 г.» (с оговоркой «условно») и, соответственно, в примечаниях указана не та статья Соловьева, о которой в действительности идет речь в письме. Из сопоставления контекста письма Огарева с письмом Герцена к Н. А. Тучковой-Огаревой из Женевы от 25—26 апреля 1867 г. (XIX, 271 и 274—275) дата цитируемого письма устанавливается точно: 25 апреля 1867 г.; соответственно и определяется название статьи Соловьева — «Принципы жизни» — и terminus ante quem замысла публикуемой статьи Огарева «Старовоздвиженская философия». Точная дата написания заметки «Благо есть место» устанавливается по письмам Огарева от 24—25 июля (см. «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 447—448). Огарев начал работу над заметкой 24-го, а закончил на другой день, 25 июля 1867 г.

Приехав 15 апреля 1867 г. в Женеву, Герцен познакомился здесь с журналом «Всемирный труд» и писал о нем 26 апреля Н. А. Тучковой-Огаревой: «Я постараюсь прислать новый журнал „Всемирный труд". Прошу прочесть от доски до доски; там есть и посредственные вещи, но все вместе бросает огромный свет на современный хаос в петербургских головах. Катков бледнеет с каждым днем, и Скарятин растет» (XIX, 275).

Как и Огарев, Герцен увидел в новом журнале одно из проявлений реакции, свирепствовавшей в России в середине шестидесятых годов. Без сомнения, Герцен одобрял желание Огарева выступить против журнала, намеревавшегося объединить в своих рядах литературные силы антидемократического лагеря. Период «белого террора», последовавший за выстрелом Каракозова, закрытие «Современника» и «Русского слова», аресты и преследование молодежи, ренегатство либералов, растленные политические нравы реакционной печати, которые Герцен выразительно назвал «бешенством доносов»,— все это в совокупности определяло ту почву, на которой возник новый печатный орган, начавший свою деятельность с опубликования статей, «бьющих в руку правительству и реакции». Огарев не преувеличивал степени вредности «Всемирного труда». Журнал подобрал осколки разбитых революционно-демократической критикой реакционных течений и групп. К сотрудничеству в издании были привлечены, в частности, старые антагонисты Чернышевского, сторонники теории «чистого искусства» — Е. Эдельсон и Н. Соловьев, идеолог самодержавия и православия М. Погодин, «антинигилистический» романист Вс. Крестовский и другие. Сотрудничество А. Н. Островского, поместившего в первом номере «Всемирного труда» драматическую хронику «Тушино», было случайным. Тем не менее несомненно, что резкое замечание Огарева относительно «Тушина» было отчасти вызвано досадой на то, что автор «Грозы» выступил в печати в такой не подходящей для него компании.

Статья Соловьева, с которой полемизировал Огарев, изобиловала выпадами против Писарева, только что выпущенного (в ноябре 1866 г.) из Петропавловской крепости и после закрытия «Русского слова» лишившегося своей главной журнальной трибуны.

Нападение Соловьева на Писарева привлекло особенное внимание Огарева. Сочувствием к материалистической проповеди Писарева, к пропаганде естественно-научных знаний, к мечте Писарева о том времени, когда «политика» превратится в столь же точную науку, как «астрономия... или... химия», проникнуто содержание обеих статей Огарева. Следует, однако, помнить, что «Колокол» по понятным причинам воздерживался от прямого и открытого одобрения печатных органов или писателей, находившихся в России, и тем более — от выражения солидарности с ними: похвала «Колокола» влекла за собой полицейские или цензурные преследования. Поэтому Огарев, упоминая Писарева в заметке «Благо есть место», ограничивается скупым замечанием, что не находит «ни малейшей бессмыслицы» в тех выписках из статей Писарева, которые приводит Н. Соловьев.

Ниже, в примечаниях к соответствующим местам текста статьи, мы приводим эти «выписки», сделанные Соловьевым в полемических целях. Здесь же отметим, что Огарев солидаризировался с одной из любимых идей Писарева — о грядущем превращении политики и социологии в точные науки. Правда, вместе с Писаревым, Огарев не понимает еще всей принципиальной глубины различия между «позитивизмом», выдвигавшим подобные идеи, и материализмом. Огарев еще не противопоставляет материализма позитивизму, хотя уже пишет в своих работах о «метафизичности», т. е. идеализме, Конта в понимании исторического процесса (см. «Частные письма об общем вопросе». Письмо второе.—«Колокол», л. 216 от 15 марта 1866 г.). А во второй из публикуемых нами статей — «Благо есть место...»— Огарев указывает еще на один порок позитивизма — на «отрицание возможности для человеческих способностей постановить какое бы то ни было начало мира», т. е. на агностицизм. Порок этот не кажется Огареву столь значительным потому, что противопоставить позитивизму тот не вполне развитый, не свободный от метафизичности материализм, на почве которого стоял сам Огарев, было невозможно,— оба течения действительно «родственны» (и реакционная критика этим широко пользовалась в целях дискредитации материалистической философии). Не владея методом диалектического материализма, нельзя было опровергнуть ни агностицизма, ни позитивизма. Но прогрессивность теоретического направления мысли Огарева не вызывает сомнений. Он видит *развитие* материализма и сопоставляет материализм XVIII века с новейшим развитием материалистического учения. Соответствие материализму XVIII века он усматривает в идеологии французской буржуазной революции, выдвинувшей лозунг «свободы, равенства и братства»; соответствие новейшему материализму — в идеалах социализма.

О том, что Огарев намеревался отстаивать не какие-либо единичные мысли Писарева, а весь комплекс его основных идей, свидетельствует текст статьи «Старовоздвиженская философия». В этой статье, являющейся своего рода дружественной перекличкой с Писаревым, Огарев касается многих вопросов. Поле намечаемой полемики очень широко. Огарев защищает опытную науку, ее естественно-научный материализм, иронизирует над туманами абстрактной идеалистической мысли, берет под защиту «утилитаристов», защищает эстетику общественно-полезного искусства, борьбу прогрессивной науки против реакционной и т. п.

Самое заглавие статьи «Старовоздвиженская философия» дано Огаревым в связи с широко задуманной им критикой идеализма сороковых годов. Идеализм присущ был, в частности, всей группе «молодой редакции» «Москвитянина». Эта группа воспринималась Огаревым как «наследница» консерватизма и казенного патриотизма Погодина и Шевырева. Она пропагандировала теорию «чистого искусства», реакционно понимаемую «народность». Огарев хорошо знал Аполлона Григорьева, знал о том, что его идейным оруженосцем был Эдельсон. Встретив имена некоторых из них во «Всемирном труде», Огарев, естественно, связал с ними и незнакомого ему Н. Соловьева. Многие из названных литераторов сотрудничали в «Московском городском листке» — цитадели аксаковско-погодинских последышей. Поскольку редакция

«Листка» помещалась в *Старовоздвиженском переулке*, Огарев и окрестил их взгляды «старовоздвиженской философией».

Черновые рукописи, относящиеся к работе Огарева над статьей «Старовоздвиженская философия», хранятся, как мы говорили, в разрозненном виде. Листки рукописей рассеяны по разным делам, и потому собрать текст статьи было трудно. Однако, за исключением окончания статьи и небольшого отрывка в середине текста (несколько строк, 1—2 абзаца), нами воссоздан связно читаемый текст черновика.

По ходу работы Огарев бегло намечал цитаты из статьи Соловьева, подлежащие разбору, но сами цитаты не включены в текст черновика. Они лишь помечены начальными словами. В отдельных случаях Огарев ограничивался строкою точек, взятых в кавычки: это означало, что он намерен был вставить соответствующую цитату позже. Все эти пропуски восстановлены по журнальному тексту статьи Соловьева («Всемирный труд», 1867, № 1, стр. 137—177).

Значительную часть цитат удалось определить точно, в этих случаях они вставлены в текст в ломаных скобках. Другая часть, не столь точно определимая, приводится в примечаниях.

1

СТАРОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

На дворе совершенный туман —серое облако проходит, все предметы перед глазами спутываются в безобразную неопределенность — нельзя различить горы от долины. Этот туман тем неприязненнее действует на человека, что является в весеннюю пору возникновения юной жизни и невольно обдает впечатлением уродливой осени и замирания всего живого. А передо мной лежит январская книжка «Всемирного труда» и в ней статья г-на Николая Соловьева, под заглавием «Принципы жизни». Эта статья выдвигает философию старого идеализма, но по манере изложения в еще более туманном виде, еще большей спутанности понимания в облаках абстрактной мысли. Туман этой старовоздвиженской философии г-на Соловьева действует, по крайней мере, так же неприязненно, как и простой туман, и я не могу воздержаться, чтоб не сказать о нем несколько слов.

Г-н Соловьев находит в современном обществе упадок вкуса. Я об этом спорить не стану. Но спорить я стану о причинах этого упадка вкуса. Г-н Соловьев находит их в отсутствии принципов, в особенности принципов нравственности и в стремлениях к научному позитивизму. Из его наблюдений можно было бы заключить, что вкус и ⟨...⟩ *

Но в наших жалобах на туман окажется большая разница: я стану жаловаться прямо на туман г-на Соловьева, а когда г-н Соловьев жалуется, то он не говорит прямо о ком и о чем он говорит, а говорит такими общими местами, что надо догадываться, о ком и о чем он хочет говорить, и эта догадка едва ли может удасться.

«Сколько проиграла наша журналистика, — говорит г-н Соловьев, — в гоньбе ⟨за политическими целями, тогда как у нее под носом были цели, хоть и не столь видные, но зато глубже лежащие в обществе. Самый существенный вред, происшедший из этого стремления начинать всё с судьбы народов и никогда с семьи, детей и основных связей человеческих, это упадок вкуса к жизни, притупление чувства к изящному и отсутствие всякого критического движения. Через это множество авторов, которые бы в другое время или в другой стране проложили целые полосы в общественном развитии, остались почти непрочитанными: между ними и публикой не нашлось посредников, которые бы их оценили. Другие же, напротив, за свое верное служение тенденциям, были возвеличены без меры. А третьи,

---

* *Далее отсутствует небольшой отрывок текста.*

наконец, благодаря тому же упадку критики, врывались в литературу какими-то кирасирами и совершали самые невероятные подвиги. Будь над всеми этими публицистами и романистами критический, а не только полицейский, надзор они бы не стали так неистовствовать; а то ведь только „Искра" и хихикала над ними, да и это-то хихиканье более служило им в виде поощрения» (стр. 140).>

Хотя бы автор сколько-нибудь объяснил — кто и что начинает с судьбы народов, а не с семьи, детей и основных связей человеческих, тогда, по крайней мере, можно было бы догадаться, о чем, собственно, автор хочет говорить, что́ он разумеет под основными связями, что́ под упадком вкуса к жизни (а это очень сомнительно, чтоб вкус к жизни так-таки и упал и, стало, заменился вкусом к смерти?). Если б автор объяснил, кто и что начинает с судьбы народов, можно было бы понять — кто не прочитан, кто без меры преувеличен, кто ворвался в литературу, как кирасир; но в том виде, в каком излагает свои наблюдения г-н Соловьев — большинство читателей совершенно лишено возможности понять, о ком и о чем он говорит с такой, по крайней мере, кавалергардской самоуверенностью.

Далее (и тут я должен отдать справедливость автору: тут он, по крайней мере, просто говорит не об упадке вкуса к жизни, а об упадке вкуса в искусстве), далее г-н Соловьев приписывает упадок вкуса борьбе гегелизма с нигилизмом, из которых первый, будто бы, заключал в себе «туман, стремление говорить языком, понятным только для себя и своих приятелей, и всячески избегать твердых пунктов мышления» [1] (направление, которое должно быть чрезвычайно симпатично г-ну Соловьеву), а второй будто бы «вертел перед гегелистами игрушками, взятыми из естествоведения — и те струсили». «Поэтому-то, — говорит г-н Соловьев, — когда ему приходилось говорить с нигилистами, он старался их бить на лягушке» [2].

Полно, так ли?

Я не спорю, что найдутся плохие писатели между гегелистами, так же как найдутся и нигилисты, которые запутались в собственных соображениях из-за * научной скороспелости. Но не со всеми же так называемыми нигилистами это случилось. Найдутся между ними и люди совершенно ясного понимания, которых г-н Соловьев, вероятно, не побил, а разве только раздавил несчастную лягушку, на которой стоял во время борьбы. К этому приводит даже его собственное заключение: <«И что бы ни говорили в пользу деятелей, сохранивших у нас и вкус, и знание, и уважение к науке, мы все-таки должны сознаться, что, когда дело дошло до борьбы, то они чуть было не были забиты, чтобы не сказать заплеваны: некоторые принялись уже говорить и нашим, и вашим; так что ответственность за временное торжество в нашей литературе отрицателей искусства лежит отчасти на них» (стр. 141).>

С кем же тут согласен г-н Соловьев, с гегелистами или с нигилистами? Для меня ясно, что он тут согласен с нигилистами. А уж как он впоследствии дошел до того, чтобы искусству (которого главное содержание все же красота) поставить в основание абстрактные принципы — этого я не знаю, это я после покажу, но объяснить не берусь, — как и всякие сами себе противоречащие выводы.

Но прежде чем мы доберемся до этого вывода г-на Соловьева, я должен указать на его другие посредствующие соображения.

Из того, что красота доказывается не логически, а физиологически, и что где красота — там конец абстракту, г-н Соловьев заключает: <«...как честь распространения у нас безвкусия и безобразия принадлежит прогрессистам, так напущением тумана, облекающего теперь все важнейшие вопросы жизни, мы обязаны, преимущественно, консерваторам.

---

* *Далее зачеркнуто:* действительного незнания науки.

Те и другие у нас не образовали в настоящем смысле партии. Вся разница между ними была основана на разности возрастов, заведений, где они воспитывались, а также и на непонимании значения прогресса и консерватизма. Многие, например, у нас под первым разумели род какого-то занятия или ремесла, а под последним простое〉 толчение в ступе воды; 〈и, соображаясь с этими воззрениями, записывались либо в прогрессисты, либо в консерваторы и, становясь друг против друга〉, сражались, как петухи» 〈стр. 141—142〉.

Кто же это в прогрессе видел ремесло, а в консерватизме толчение в ступе воды? Я не защитник консерваторов, но все же считаю, что едва ли между ними найдутся люди, которые в своих мнениях видят толчение в ступе воды, а не просто поддержание старых условий общественных отношений, для них практически выгодных. Что это своекорыстное дело вредно и безнравственно, об этом я не спорю; от этого-то и не могу приравнять его толчению воды в ступе, а вижу в нем влияние, противное народному развитию.

«Между тем,— продолжает г-н Соловьев, 〈— одно простое объяснение этих слов уничтожает даже возможность борьбы на таком основании. Прогресс и консерватизм есть два элемента, совершенно равноценные; они свойственны не только человеческой жизни, но и всей вообще природе» (стр. 142).〉 *

Итак прогрессу и консерватизму нечего и сражаться, потому что «во всяком живом органическом существе мы видим два противоположные начала — вечное постоянство и вечную изменяемость. Произойдет ли пертурбация в законах (т. е. в вечном постоянстве) или задержка в мене материи (т. е. в вечной изменяемости), органическое существо непременно впадет в патологическое состояние» [4].

Да, действительно, игрушка из естествоведения, которою вертит г-н Соловьев перед глазами читателей, построена даже не то чтоб на лягушке, а совершенно на замене определенности понятий пустотою слов.

Во всяком живом органическом существе мы найдем, положим, два начала, но не противоположные, а совпадающие, лучше сказать до такой степени нераздельные, что едва ли не придется просто заключить о их единстве: это начало типа, породы и потом явления индивидуальной жизни, где собственно патологические явления никогда не окажутся ни пертурбацией общих законов типического организма (больной человек останется больным человеком, а больная лягушка — больной лягушкой) и никогда не окажутся задержкой мены материи, а только развитием этой мены материи под известными условиями (мы даже найдем патологические явления, где мена материи совершается гораздо быстрее, чем в здоровом положении организма, напр., во всех эпидемиях, во всех болезнях разложения). Пертурбации болезни мы можем принимать за пертурбации относительно здоровья и отсутствия страданья, но никогда не можем принять за пертурбации общих законов природы и жизни, в пределах которых болезненные явления совершаются точно так же, как и самая смерть.

Из всех физиологических и патологических явлений жизни, из продолжения и видоизменения типов, под многоразличными условиями столкновений, колебаний, помесей и т. д.— мы можем заключить о постоянном

* После начатой, но незаконченной выписки цитаты из Соловьева следует зачеркнутый Огаревым абзац:

[Мимоходом здесь замечу, что из прогрессивных экспериментов над Святогором-богатырем мне помнятся воскресные школы, о которых я никакого обвинительного акта не могу вывести; а из непрогрессивных экспериментов мне всего памятнее бездинское дело, а победа над падениями, столкновениями лбов и отчаянными salto-mortale, если все это найдется — всего больше на стороне Министерства внутренних дел и III Отделения, о вечных принципах нравственности которых едва ли возрадуется какой-нибудь здравомыслящий человек][3].

присутствии жизни, потому что природа не может исчезнуть; можем заключить, что все названия на человеческом языке, как то: мир, природа, жизнь, движение — равнозначительны и часто употребляются нами одно вместо другого; можем заключить, что из наблюдений над природой, жизнью, движением мы понимаем, отмечаем способы, процесс, по которому совершается эта жизнь, это движение, приводим наше понимание в надлежащие формулы, надлежащие выражения; эти-то выражения процесса движения и жизни мы и называем общими законами природы, общими мировыми законами; но все же не имеем ни права, ни нужды заключать о существовании каких-то особых, отдельных, предпоставленных принципов жизни, в жизни проявляющихся, как думал покойный идеализм и думает воздвигающий его г-н Соловьев.

И как легко воображению создать эти принципы! Тут не над чем поработать, все так и выйдет, как из-под жезла чародея. Принцип жизни, принцип земли, принцип моря, принцип растительности, принцип животности, принцип человечества, принцип нравственности — и все явления так и вытекают из своих принципов, так и создаются по своему абстрактному началу. Только, к сожалению, это объяснение ничего не объясняет и для действительности не нужно.

В обществе, говорит г-н Соловьев, «также есть своего рода законы, называемые принципами жизни, и вечное беспрерывное движение, выражающееся меною возрастов, мнений, лиц, поколений и т. д.» [5]

Об этом движении, об этой мене возрастов, поколений, мнений, об том, что обыкновенно называют историей рода человеческого или хотя бы отдельного народа — я и не спорю, оно существует в действительности. В развитии этого движения мы именно и ищем законы исторической жизни, т. е. определения процесса этого развития, этого движения, идущего своим, роду человеческому свойственным, ходом, где одинакие причины ведут к одинаким последствиям, подобные обстоятельства к подобным результатам и новые прорастающие мнения и обстоятельства приводят к новым общественным отношениям.

Но где же помимо этого движения своего рода предпоставленные законы, будто бы называемые принципами жизни? Если г-ну Соловьеву угодно законы человеческого движения, исторического развития называть... [6]

⟨Женева, после 25 апреля 1867 г.⟩

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 38, лл. 35—36; ед. хр. 44, лл. 105—108, ед. хр. 29, лл. 41—49.

[1] См. «Всемирный труд», 1867, стр. 141.

[2] Там же.

[3] Зачеркнутый Огаревым абзац намечал полемику со следующими утверждениями Соловьева: «Без сбережения их ⟨основ.— *Я. Ч.*⟩ никакое поступательное движение невозможно, и весь наш прогресс окажется мыльным пузырем. Это именно и случилось у нас, когда все стали говорить только о скорейшей мене лиц, о быстрейшем переходе из одного возраста в другой и от старых мнений к мнениям новым и новейшим. Люди, действительно, сначала стали через это скорее жить, и все пришло в быстрое движенье. Юноши пустились взапуски и без оглядки, девицы, подобравши свои юбочки и думая, что они играют в горелки, бросились за ними вдогонку; старики, разумеется, отстали, а о детях и совсем забыли; народ же, этот непробудившийся и уже почуявший свои силы Святогор-богатырь, чуть было не подвергся разным экспериментам. Движенье, впрочем, вскоре потеряло свою стройность, перешло в беспорядочный бег, произошли падения, столкновения лбами и наконец заключились самым отчаянным salto-mortale».

[4] Цитируемый текст см. в журнале «Всемирный труд», 1867, № 1, стр. 142. Обе фразы в круглых скобках вставлены Огаревым.

[5] См. журнальный текст, стр. 142.

[6] Текст обрывается на середине фразы. Можно, следовательно, предполагать, что имелось продолжение. Однако разыскать его не удалось.

2

БЛАГО ЕСТЬ МЕСТО

Благо есть место — мы хотим заглянуть в некоторые недавние, но не безвредные явления в русской литературе. Напр⟨имер⟩, вот январская книжка «Всемирного труда». Между прочим в ней статья о «Принципах жизни» Николая Соловьева. Автору хотелось поговорить обо всем, а между тем читаешь, читаешь и не скоро доберешься, что такое и о чем именно говорит автор, пока, наконец, не наткнешься на то, что все его усилия направлены против материализма, позитивизма, утилитаризма и ради вызвания на свет из старых кладовых ничем не объяснимого идеализма. Начинается статья будто бы рассуждением об упадке вкуса — и тут решительно нельзя доискаться, о чем именно идет речь. А ведь как бы легко было автору доказать упадок вкуса в русской литературе, — стоило только привести в пример в той же январской книжке «Всемирного труда» напечатанную драматическую хронику в стихах Островского[1] — и больше упадка вкуса искать было бы нечего.

Но мы перейдем от рассуждения г-на Соловьева о чем-то к его настоящей цели, которая заключается в восстановлении теории принципов жизни, но выражается таким образом:

«Принципы *есть* более или менее формулированные законы нравственного мира. Их можно скорее уподобить *заповеди*, ясно и определенно выраженному *афоризму*; но с теорией их смешивать нельзя» [2].

Конечно, их нельзя смешивать с той теорией, которая ставит себе задачей — из наблюдаемых фактов вывести свойства, законы целого ряда мировых явлений или явлений отдельного рода. Такая теория — собственно наука, которая *приводит результаты* наблюдений к человеческому сознанию и объясняет их связь и целость. Но это не доказывает, чтобы предположение где-то самих по себе существующих принципов нравственного мира — не составляло не научной, а самой заоблачной теории. Разве на одно мы можем согласиться, что это предположение скорее можно назвать фантазией, чем теорией — может быть!

«Отвергать идеализм», — говорит автор принципов, — «это то же, что проповедовать сенсуализм: сенсуализм есть не что иное, как материализм, *оставшийся наедине сам с собою*» [3].

Что такое значит *материализм наедине сам с собою*? Этого, конечно, не поймет ни один человек с здравым смыслом. Но что поймет каждый добросовестный человек — это то, что автор принципов никогда не изучал материалистов ни прошлого, ни нынешнего столетия; иначе он увидал бы, что материалисты были совершенно далеки от того сенсуализма, который совпадает с развратом и на который именно старается намекнуть автор принципов.

Если позитивизм в чем разнится от материализма, — это в отрицании возможности для человеческих способностей постановить какое бы то ни было начало мира, и потому позитивизм не ищет его даже в *веществе* (matière, откуда и название материализма). Но развитие того и другого учения естественно совпадает, потому что ищут основы самой истории рода человеческого в физиологических законах человеческого организма и, пожалуй, в самих механических законах природы. Не должен же г. Соловьев забывать, что материализм прошлого столетия, если и отверг предсуществующие принципы, то дошел до того нравственного результата общественности, который поставил своим знаменем: свободу, равенство и братство. Из этого переход к *социализму* является естественным историческим последствием.

Автор принципов воюет не только против материализма, но и против позитивизма и против социализма, не понимая ни того, ни другого, ни

третьего. Иначе он никогда не нашел бы в них отрицания гармонии, музыки или вообще искусства. Если они не выводили существования искусства из *принципов*, то они всегда признавали его существование, как один из результатов отношения законов природы и человеческой деятельности. Утилитаризм, может быть, не говорил об искусстве, потому что преследовал другую задачу, но и он никогда не отвергал его.

Иногда кажется, что г. Соловьев пишет исключительно против «Русского слова», но приводит выписки из статей г. Писарева [4], в которых нет ни малейшей бессмыслицы, хотя г. Соловьев и хочет выказать их с этой стороны.

К сожалению, мы не имеем прежних статей автора принципов, иначе — и если ему угодно — мы были бы готовы вступить в подробную полемику [5], потому что мы находим его направление, как чрезвычайно ретроградное, *нравственно опасным для русского развития* [6].

ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 38.

[1] Драматическая хроника в стихах — «Тушино» А. Н. Островского напечатана на стр. 1—92 журнала. Отзывы Огарева о творчестве Островского были большею частью одобрительными и сочувственными. См., например, отзыв в письме к брату драматурга, М. Н. Островскому, от 13 июля 1853 г.—сборник «Звенья», т. VI, 1936, стр. 369.

[2] «Всемирный труд», 1867, № 1, стр. 146.

[3] Там же, стр. 147.— Воспроизведенную Огаревым цитату Соловьев в тексте статьи сопровождает указанием, что слова эти взяты из его же статьи «Разлад», напечатанной в журнале «Эпоха», 1865, кн. 2 (февраль).

[4] «Выписки из статьи г. Писарева», о которых говорит Огарев, находятся на стр. 149—150 журнального текста статьи Соловьева и представляют собой отчасти изложение, отчасти цитирование начала статьи Писарева «Исторические идеи Огюста Конта». Крайне недобросовестно и неряшливо, намеренно искажая и опошляя высказывания Писарева, Соловьев приводит более или менее текстуально (т. е. с небольшими искажениями) только две цитаты из указанной статьи (впрочем, так ее и не назвав):

а) «Конт полагал, что политические нелепости и неблаговидности его времени будут продолжаться до тех пор, пока политика не превратится в науку,— в такую же точную и положительную науку, в какую превратилась, например, астрономия со времен Коперника, Кеплера и Ньютона или химия со времен Пристли и Лавоазье» (Д. И. Писарев. Собр. соч. в шести томах, т. V, изд. 3. СПб., 1901, стр. 305).

б) «Если бы философствующим историкам было какое-нибудь дело до космических законов, до человеческого организма и до рациональных методов научного исследования, то они понимали бы очень хорошо, что им невозможно обойтись ни без физиологии, ни без химии, ни даже без дифференциального исчисления» (там же стр. 306).

«О незабвенный Писарев! Да ведь этим последним открытием ⟨...⟩ не воспользовались еще и в физиологии...»,— иронически заключает Соловьев («Всемирный труд», 1867, № 1, стр. 150). На эти усилия Соловьева доказать нелепость «мечтаний» Писарева и отвечает Огарев.

[5] Предложение Огарева «вступить в подробную полемику» с Соловьевым вызвало любопытную реакцию со стороны одного из читателей «Колокола». Лицо, подписавшееся А. Новосветин, адресовало в августе 1867 г. в редакцию «Колокола» подробное письмо, доказывавшее, что статьи Н. Соловьева никто не читает, что бороться с ним не стоит и т. д. (см. ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 128). Письмо публикуется в следующем томе «Лит. наследства».

[6] В «Колоколе», в отделе «Смесь», заметка была напечатана со следующим окончанием: «Кстати, из новых французских изданий мы рекомендуем нашим читателям „Revue", выходящую раз в неделю (1 лист по 10 сантимов), под заглавием „La pensée nouvelle"». Журнал, о котором говорит Огарев, начал выходить в Париже 19 мая 1867 г., сменив закрытый еженедельник «La libre pensée». Огарев живо заинтересовался органом, который вел настойчивую научно-философскую антиклерикальную пропаганду и потому подвергался преследованиям со стороны французских властей. Его отзывы об этом издании см. в письмах к Герцену от 23 и 24 июля, от 5 и 7 августа 1867 г. («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 447, 448, 455, 457). Герцен отвечал в письме от 3 сентября 1867 г.: «„Новую мысль" я читал; мило, умно, свежо, но всё же studentmässig ⟨по-студенчески⟩...» (XX, 3).

Наиболее часто на страницах «Новой мысли» выступали Андре Лефевр, Поль Лакомб и Шарль Летурно. Кроме упомянутых, также и Луи Асселин, Огюст Кудеро, Ив Гийо и Абель Деру. Отметим, что в январе 1869 г. (№ 38) в журнале была напечатана (в переводе Ш. Летурно, с итальянского) статья А. А. Герцена «Ce qui cause

l'illusion du libre arbitre» («Что порождает иллюзию свободы воли»), представляющая собой, как указывается в редакционном примечании, экстракт «из замечательного труда доктора Александра Герцена — физиологического исследования воли, осуществленного при содействии физиологической лаборатории во Флоренции и изданного в Милане».

IV. К ИСТОРИИ «НЕЧАЕВСКОГО» «КОЛОКОЛА»

При изучении так называемой *нечаевской эпопеи* — весьма сложного эпизода в истории русского революционного движения конца шестидесятых годов — исследователь встречается со многими трудностями. Система искусственных «тайн» и преувеличенной конспирации, заведенная Нечаевым; посеянные им (совместно с Бакуниным) среди пресловутых «агентов русского дела» семена лжи и мистификации в такой степени запутали историю «революционной попытки» 1869—1870 гг., что и в настоящее время ее еще не удалось распутать. В частности, до недавнего времени в литературе не существовало сколько-нибудь полных и обоснованных ответов на следующие вопросы: во-первых, кто был автором тридцати с лишком анонимных листовок, воззваний, прокламаций, брошюр, выпущенных женевской типографией между апрелем 1869 и апрелем 1870 г. и разосланных по России так называемой «нечаевской организацией». во-вторых, кто был фактическим редактором так называемого «нечаевского» «Колокола», возобновленного через два с половиной месяца после смерти Герцена и выпускавшегося всего пять недель — со 2 апреля по 9 мая 1870 г.

Первый вопрос был изучен в работах и публикациях Е. Н. Кушевой и Б. П. Козьмина, напечатанных в 1941 г. в «Лит. наследстве» (тт. 39-40 и 41-42). Ныне изучение этого вопроса существенно дополняется материалами, помещаемыми нами в разделе «Агитационно-сатирические произведения». Общий ответ на первый вопрос гласит: около двух третей всех пропагандистских и агитационных изданий 1869—1870 гг. написано или составлено Огаревым.

Второй вопрос был рассмотрен Б. П. Козьминым в работе «Герцен, Огарев и „молодая эмиграция"», напечатанной также в 1941 г. в «Лит. наследстве», т. 41-42. Перечислив появившиеся в «Колоколе» в 1870 г. три статьи Огарева, подписанные его именем, и приведя текст краткого обращения Огарева к «новой редакции», опубликованного в № 1 «Колокола», Б. П. Козьмин пишет: «Было ли им ⟨Огаревым⟩ напечатано еще что-нибудь без подписи, неизвестно. Несомненно, однако, что роль Огарева не ограничивалась простым сотрудничеством. Он принимал участие и в редактировании „Колокола"» (там же, стр. 36).

Для ответа на вопрос об участии Огарева в редактировании «Колокола» необходимо подвергнуть рассмотрению все анонимные статьи, напечатанные в этом издании, поскольку не установлена принадлежность их другим авторам.

Прежде всего, надо рассмотреть шесть передовых редакционных статей. В настоящей работе мы не можем ставить перед собой этой задачи в полном объеме. Остановимся только на анализе той статьи, текст которой мы публикуем.

Статья под названием «Империя» (она представляет собой, в сущности, только начало статьи — текст заканчивался указанием «продолжение будет») напечатана в качестве «передовой» в последнем, шестом, номере возобновленного «Колокола», вышедшем из печати 9 мая 1870 г. В «пражской коллекции» нами обнаружена огаревская автографическая рукопись этой статьи, содержащая текст, вполне идентичный с печатным. Тем самым документально устанавливается принадлежность Огареву одной из шести передовых статей, определявших направление «нечаевского» «Колокола».

* * *

В статье «Империя», сохранившаяся часть которой воспроизводится нами по печатному тексту, сверенному с автографом «пражской коллекции», Огарев развивает положения, провозглашенные в первых номерах возобновленного «Колокола». В «передовой» № 2 читаем:

«Силы должны быть сконцентрированы и направлены на одну точку.

Эта точка — империя.

Борьба с абсолютизмом и победа над ним — это первый шаг ⟨на⟩ пути всех желающих выйти из-под гнета существующего порядка» (№ 2 от 9 апреля 1870 г., стр. 2).

В «передовой» № 3 — «От редакции» — это положение развито и конкретизировано. В статье доказывается необходимость объединения всех сил, противостоящих самодержавию. «...в истории,— пишет автор,— мы видим множество примеров, указывающих, как долго может держаться самое бестактное, самое бессмысленное правительство, если общество при этом разъединено и волнующиеся умы долго не приходят к сознанию необходимости единодушного совместного действования» (№ 3, от 16 апреля 1870 г., стр. 1). Из этого наблюдения сделан следующий вывод: «Как невозможна удача какого-либо частного местного восстания, когда оно не находит себе отклика в других местах, так же неосуществима деятельность одного сословия или одного исключительного направления, во имя свободы, в стране, задавленной деспотизмом» (там же, стр. 2).

Даже «передовая» № 4, вызывающая своими противоречиями недоумение исследователей (см., например, в статье Б. П. Козьмина в «Лит. наследстве», т. 41-42, стр. 37—38), заключала в себе тот же тезис. Доказывая, что деятельность такого «ревностного государственного патриота», как Д. А. Милютин, «который возвысил, можно сказать, политическое могущество империи», не была и не могла быть должным образом оценена императорской властью, автор «передовой» пишет: «...надо теперь иметь слишком ограниченные умственные способности, чтоб ждать от *этого* правительства, от *этого* государства и от *этой* династии не только конституции, но даже самых умеренных либеральных реформ. Настоящий порядок способен не к улучшениям, а только к ухудшениям. Кто хочет общественного благосостояния, просвещения, свободы, тот должен его не поправлять, а ломать, чтоб поставить совершенно новый» (№ 4, от 25 апреля 1870 г., стр. 3).

В «передовой» № 5 — «Опоры абсолютизма» — утверждалось, что, «представляя полнейшее выражение противообщественных и противонациональных желаний», абсолютизм в России опирается только на полицию и войско, т. е. на насилие. Силе необходимо противопоставить силу, а создать ее можно только объединившись.

Наконец, в качестве «передовой» № 6 была напечатана публикуемая нами статья «Империя», в которой Огарев обобщает все приведенные выше высказывания. В этой статье он попытался охарактеризовать императорский режим как насилие над национальностями, входящими в состав империи; по его определению, империя есть «соединение несоединяемых под одну власть» Подвергая критике самодержавный гнет в Австрии и Турции, Огарев сопоставляет с ними российское самодержавие. Огарев придает при этом намеренно упрощенную форму своему рассуждению о «королевствах», «царствах», «империях» — потому, главным образом, что перед ним стояла вполне практическая, а не теоретическая задача — пропагандировать необходимость немедленного низвержения императорской власти в России.

Но, конечно, не случайно возникает в его статье упоминание «вообще государства» — как источника национального гнета: здесь сказалось влияние на Огарева, в этот период, Бакунина.

О «Российской империи» Огарев в публикуемой части статьи успел сказать немногое. Но ради этого немногого и следует обратить внимание читателей на эту статью. Полное крушение попыток «императорского освобождения», о котором он говорит, и доказательство той истины, что «императорству никакое действительное освобождение не по вкусу и невозможно», что «освободиться народы могут только сами своим пониманием и движением», выражали важный момент в развитии политических взглядов и деятельности Огарева. Деятельность его ознаменовалась вскоре, летом 1870 г., разрывом с Нечаевым. Кроме того, мы знаем, что Огарев в тот же период подвергал критике свои собственные и Герцена либеральные ошибки. В статье «Памяти Герцена» Огарев, касаясь своей и Герцена деятельности в лондонский период эмиграции, писал:

«Характерной чертой нашего „Колокола" были некоторые надежды на правительство. Вообще, развитие человека идет тугим путем опыта и только через него приходит к пониманию действительной правды. Нынешнее царствование и доказало нам путем опыта, что царская власть не может дать действительного освобождения, что это осво-

бождение всегда оказывается ложью и что самый испуг перед своими затеянными реформами неминуемо ведет правительство к самым постыдным реакциям» («Колокол» № 3, от 16 апреля 1870 г., стр. 6).

Таков был конечный вывод Огарева: не путем реформы, а путем революции можно привести «империю» к полному преобразованию. Потому-то рядом со статьей «Империя» и напечатал он свое последнее выступление в русской печати: «Сплотимтесь дружно!» — статью, призывавшую к образованию тайного революционного общества.

ИМПЕРИЯ

По-французски произносится: Empire.

«Что такое империя?» — спросил меня один знакомый.— «Это соединение несоединяемых под одну власть»,— отвечал я.

Вот это-то я и хочу доказать.

Вообще все империи, начиная с самой древности, образовались посредством завоевания различных племен под властью одного племени; а племя это повиновалось одному повелителю (императору). Может ли человек, который смотрит на свои приказы, как на нечто, не терпящее возражения,— может ли такой человек народами, чьего языка он даже не понимает, распоряжаться иначе, как не во вред этим народам? Дело едва ли возможное. Даже едва ли возможно, чтобы подобный повелитель распоряжался своим племенем не во вред этому племени и не во благо себе лично!

Королевства (по-русски царства) составились на таком же подобии, как и империи, т. е. на завоевании различных племен под власть одного племени, которым распоряжался один человек (король) — и отношение выходит одинаково. Так, в древности Македония называлась королевством, а Рим — империей; а разницы в основаниях никакой нет: завоевание да завоевание, захват да захват, покорение да покорение — и только. Разница в языке имперском, царском или королевском состоит только в разнице языка латинского и других языков. А это еще не важность! Император — слово латинское, остальные слова — национальные, а удобность одна и та же, только что империя обыкновенно бывает пошире. А что ж в этом лучшего? — Ничего нет. Вот и всё. Стало, королевство, царство, империя, вообще государство — всё равно предательство низшего высшему, и больше ничего.

Теперь мы и усмотрим в существующих властях, что они составляют предательство простого народа — дворянам, помещикам, капиталистам, вообще всем людям, закабаленным власти; а дальше власть хотя бы и хотела двигаться — не может. На этом, на предательстве, она и останавливается. Иначе или пришлось бы разрушить самое себя, или поморить народ.

Какие бы мы ни взяли империи для примера (так как мы с самого начала хотели исключительно говорить об империи), везде мы найдем одно и то же и невозможность вести прогресс дальше.

Начнем хотя с Китайской империи, справляющей свое назначение всего разумнее — за стеною; обогнем хотя весь земной шар (я французской империи зацеплять не хочу, она слишком близка к Швейцарии), а потом зацепим Австрию и переберемся к России; всё найдем одно и то же: завоевание, предательство народа закабаленным служилым его величества и невозможность успеха при таком правительстве.

Австрия соединила под свою власть венгерские и славянские племена. Что же из этого вышло? Совершенное порабощение племен и предательство простого народа местному дворянству. Выйти из этой организации рабства австрийскому императорству невозможно, не разрушив самого себя или не покорив народов. Так оно по силе вещей и остается не менее неподвижно, чем Китай за стеной, и успех делается невозможностью.

То же мы найдем и в Турецкой империи, с немаловажной прибавкой восточных нравов, не смягченных ни наукой, ни даже христианством. Впрочем, разница не так огромна: если на Востоке женщина остается затворенной рабыней, то у нас она остается базарным товаром.

Но теперь мы поспешим переплыть Дунай и перейти к Российской империи.

Самыми разнокалиберными племенами усеяно громадное пространство земли от Балтийского моря до Восточного океана и от Черного моря до Ледовитого *. Племена исповедуют самые разнокалиберные религии и говорят особыми языками. Правительство допускает это по силе вещей, но мешать каждому особому племени и вмешиваться по-своему в его дела — любит. Поэтому империя собственно и составляет давление правительства на народы, искусственное соединение долею враждебных племен под одну лапу. Для этого оно должно было ввести организацию сословную, где чиновничество, переливающееся в барство, могло бы заправлять народами по правительственным указаниям; это тотчас и произвело организацию рабства. После николаевского усиленного закрепощения нынешнему правительству захотелось попробовать явиться перед целым миром освободителем народа. Имя это Александр II на себя принял, но народа действительно освободить не мог по очень простой причине, потому что императорству никакое действительное освобождение не по вкусу и невозможно, как невозможна жажда саморазрушения. Освободиться народы могут только сами, своим пониманием и движением. Благодеяние имеет цель только самохвальную, а не народную. Так оно на этот раз и вышло: много говорили о свободе народа, о свободе цензуры, о новом судопроизводстве; а окончательно выходит — закабаление народа податями тому же чиновничеству, подобная же не-свобода двигаться с места, постепенное приращение нового цензурного давления, постепенное ухождение нового судопроизводства в старое взяточничество. Что же мы из этого нагреем? — По-нашему, мы нагреем только народное восстание, которое одно способно освободить народ.

⟨Женева. Конец апреля — начало мая 1870 г.⟩

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 38, лл. 27—31 и печатный текст «Колокола», № 6, 9 мая 1870 г., стр. 1—2.

V. ЗАМЕТКИ И НАБРОСКИ ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

1. Диктаториат. 2. ⟨Инструкция о порядке отсылки прокламаций...⟩. 3. ⟨Проект районирования революционных организаций⟩. 4. ⟨Программа письма к Комитету «Земли и Воли» (или список вопросов для устного обсуждения)⟩. 5. ⟨Заметка против Каткова и Леонтьева с поправкой Герцена⟩. 6. ⟨Из черновых рукописей к статье «Частные письма об общем вопросе»⟩. 7. ⟨О статье «Продажа имений в Западном крае»⟩. 8. ⟨Об «Организации» Н. А. Ишутина и его кружке⟩. 9. ⟨Примечание, не включенное в печатный текст «Частных писем об общем вопросе»⟩. 10. ⟨Из черновых рукописей к «Частным письмам об общем вопросе»⟩. 11. ⟨О пропагандистских земледельческих коммунах⟩. 12. ⟨Примечание к статье «Памяти Герцена»⟩. 13. ⟨Отрывок из статьи «Сплотимтесь дружно», в неизвестной редакции⟩. 14. ⟨Две программы несостоявшегося журнала 1870 г.⟩. 15. ⟨Письмо в редакцию «Suisse radicale»⟩

1

ДИКТАТОРИАТ

Наполеон I явился во Франции единогосударственной (unité de l'état). Если войско и примет участие в русской революции (чего обычно боятся свободолюбы), то областные интересы помешают явлению диктатора-императора. Дело идет на самобытность областей. Замечательно, что при условии областной самобытности императорство не вырастало. Ни

* Около 394 926 кв. миль и с лишком 75 000 000 жителей.— *Примеч. Огарева.*

Вашингтон, ни даже Кромвель (которому больше того хотелось бы) не ударился в абсолютную власть, в самодержавие. Кромвелю один шотландский пуританизм помешал бы; довольно было и этой помехи, чтобы не впереть в самодержавие. Местные тирании также невозможны в России по противуположной причине: по интересу федерации, которой необходимость будет чувствительна для всех масс. Италия была жертвой местных тираний, но именно оттого, что, несмотря на единство породы (национальность), областные интересы оставались городскими, сами по себе, и интерес федерации не возбуждался никогда. Даже Mazzini прыгнул à la française к идее unité государства, а не на федерацию.

⟨Ноябрь 1862 г.⟩

ЛБ. Г.— О. VI. 27. Зап. книжка, № 9, лл. 117—118.

Записная книжка, из которой извлечена публикуемая заметка, озаглавлена Огаревым «Дневник и черновые стихи 1862». Значительное большинство помещенных в этой книжке записей датировано, и все они, как прозаические, так и стихотворные, посвящены политическим темам. Книжка начинается 31 мая «Теоретическими заметками» и заканчивается в ноябре 1862 г. заметками о проекте судебной реформы. Заметка «Диктаториат» помещается недалеко от конца: оглавление — л. 126, «Диктаториат» — лл. 117—118. Публикуемой заметке предшествуют: поэма «Странник» (лл. 98—111), датированная 17 сентября; эпиграмма на Каткова и Чичерина: «Что за год бесчеловечий» (л. 112; дата — ноябрь 1862 г.— устанавливается сопоставлением со временем выхода в свет книги Чичерина «Несколько современных вопросов»—CXV, 565—566) и, наконец, заметка «Религия и наука» (лл. 113—116), не поддающаяся точной датировке. Таким образом, заметку «Диктаториат», помещенную после всех перечисленных записей, следует датировать ноябрем 1862 г.

В заметке «Диктаториат» отразился, как можно предполагать, один из моментов в развитии деятельности общества «Земля и Воля». Именно в это время среди руководителей общества в Петербурге, в Варшаве, в эмиграции ставились и обсуждались многие вопросы, связанные с ожидавшимся восстанием в России и в Польше. Запись Огарева свидетельствует, возможно, о том, что обсуждению подвергался и вопрос о военно-революционной диктатуре.

2

⟨ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОТСЫЛКИ ПРОКЛАМАЦИЙ И ДРУГИХ ИЗДАНИЙ «ЗЕМЛИ И ВОЛИ» В ПОЛЬШУ И РОССИЮ⟩

Рукой А. А. Слепцова ⟨?⟩:

При извещении из Польши о возможности пересылки отправить:

1) Солд⟨атских⟩ песен	250 экз.
2) Солд⟨атских⟩ проклам⟨аций⟩	1500 экз.
3) Офиц⟨ерских⟩ прок⟨ламаций⟩	1000 экз.
4) Крест⟨ьянских⟩ прок⟨ламаций⟩	2000 экз.
5) Квитанц⟨ий⟩	5000 ном⟨еров⟩
6) Полномочий	$^1/_3$ всего кол⟨ичества⟩
7) Печати	

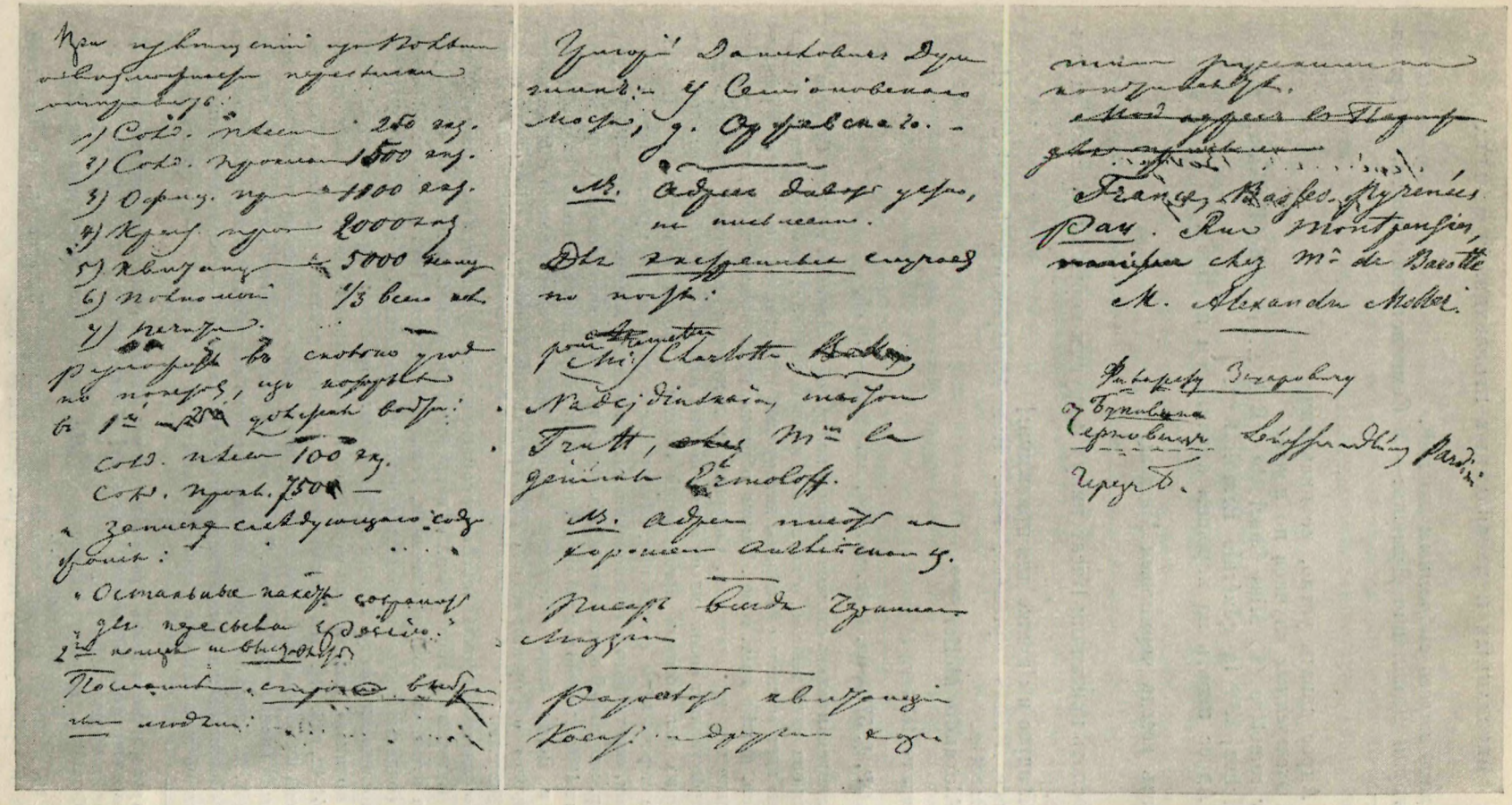
Разложить в сколько угодно пакетов, из которых в 1-ый [и 2-ой] должны войти:

Солд⟨атских⟩ песен	100 экз.
Солд⟨атских⟩ прокл⟨амаций⟩	750 экз.

и записка следующего содержания:

«Остальные пакеты сохранить для пересылки в Россию».

2-го номера *не выставлять*



ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОТСЫЛКИ АГИТАЦИОННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «ЗЕМЛИ И ВОЛИ» В ПОЛЬШУ И РОССИЮ, 1863 г.

автограф А. А. Слепцова (?) в записной книжке Огарева

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Послать *строго выбранным* людям*.

Григорий Данилович Думшин:— У Семионовского моста, д. Оржевского.—

NB. Адрес давать устно, не письменно.

Для *экстренных* случаев по почте:

Pour remettre ⟨à⟩ Miss Charlotte [Bak⟨...⟩] Nadejdinskaïa, maison Trutt, [chez] Mme la générale Ermoloff **.

NB. Адрес писать на хорошем английском яз⟨ыке⟩.

Писать всегда чернилами Mazzini.

Разослать квитанции Касат⟨кину⟩ и другим хорошим русским на континенте.

[Мой адрес в Париже для присылки:]

France, Basses Pyrénées, *Pau*. Rue Montpensier, [monsieur] chez Mr de Barotte.

M. Alexandre Moller ***

⟨Февраль 1863 г.⟩

ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43б, лл. 69 об.,—70 об.

Публикуемая запись сделана посторонней рукой в записной книжке Огарева****; находится она среди текстов, относящихся к февралю 1863 г. За публикуемой записью в книжке идет «списск офицеров», датируемый приблизительно серединой февраля 1863 г. (см. выше в наст. томе). Таким образом, публикуемый текст датируется приблизительно тем же временем. Содержание документа позволяет уточнить дату. Запись представляет собой список агитационных изданий и других материалов, предназначенных для военных организаций «Земли и Воли» в России и в Польше. В списке перечислены солдатские, офицерские и крестьянские прокламации, солдатские песни, «квитанции» и «полномочия»,отпечатанные в Лондоне в 1862—1863 гг.Так, например, маленький сборничек «Солдатские песни», составленный Огаревым, был выпущен в 1862 г.; точно так же «квитанции» для сбора денег в «Общий фонд» общества «Земля и Воля» были выпущены весной 1862 г., одновременно с объявлением в «Колоколе» об организации сбора средств «на общее дело» («Колокол», л. 133, 15 мая 1862 г.).

Под «солдатской прокламацией», без сомнения, подразумевается воззвание «Братья-солдаты! Одумайтесь пока время...», написанное Огаревым. Получив от Огарева из Ричмонда рукопись этой прокламации, Герцен 15 февраля 1863 г. писал: «В твоем адресе к солдатам следует прибавить вариант для находящихся в Польше» (XVI, 68). Огарев последовал совету Герцена. Существует воззвание: «Братья-солдаты! Ведут вас бить поляков» являющееся вариантом основной прокламации (см. «Лит. наследство», т. 41-42, стр. 91). Необходимо отметить, что все действия редакции «Колокола», т.е. Герцена и Огарева, по отношению к «Земле и Воле» и начавшемуся польскому восстанию были вполне единодушны. Еще в начале февраля, почти тотчас после приезда в Лондон А. А. Слепцова, представителя Русского центрального народного комитета общества «Земля и Воля», Огарев задумал обе прокламации — солдатам и офицерам — и сообщил об этом замысле Герцену. «Писать ли к солдатам? — мудреный вопрос.

---

* *Строка может быть прочитана иначе:* Послать строго выбранными людьми

** Передать мисс Шарлотте [Бак ⟨...⟩] Надеждинская, дом Трутта [у] генеральше Ермоловой (франц.).

*** Франция, Нижние Пиренеи, ⟨г.⟩ *По*, улица Монпансье у г-на де Баротт, г-ну Александру Моллеру (франц.).

**** На л. 70 об. Огарев записал адрес Филарета Захаровича, не имеющий отношения к публикуемому тексту (см. фото на стр. 555).

Коли такой стих найдет, можно,— отвечал Огареву Герцен 4 февраля 1863 г.— Род этот опасен и должен быть страшно силен и поэтичен, чтоб пройти» (XVI, 36).

Одновременно с солдатской готовилась прокламация «Офицерам всех войск от общества „Земля и Воля“» (XVI, 38—41); в ее составлении принимал непосредственное участие А. А. Слепцов.

Таким образом, мы устанавливаем, что публикуемая запись неизвестного, в которой упоминаются и солдатская и офицерская прокламации, была сделана *после* 15 февраля 1863 г.— этим числом помечено цитированное выше письмо Герцена. Около 15 февраля приехал в Лондон А. А. Потебня — один из энергичнейших деятелей военной организации, примыкавшей к «Земле и Воле». Это был его последний приезд перед выступлением на стороне польских повстанцев русских офицеров-революционеров. Потебня оставался в Лондоне не более недели — 22 февраля, на следующий день после отъезда Бакунина в Стокгольм, он уехал обратно в Польшу.

Потебня, без сомнения, принимал участие и в подготовке издания прокламаций, и в выработке техники нелегальной отправки их в Польшу и, через Польшу, в Россию. Руководил транспортировкой прокламаций из Лондона в Россию в это время Слепцов. Печатаемая нами запись начинается словами: «При извещении из Польши о возможности пересылки отправить...». На основании этих слов мы вправе предположить следующее: Огареву было предложено дождаться от возвращающегося в Польшу Потебни извещения о том, что отправка материалов нужна и возможна; следовательно, запись сделана до отъезда Потебни из Лондона, т. е. после 15 и до 22 февраля 1863 г. Рассматривая запись, содержащую инструкцию о конспиративных предосторожностях, необходимых при пересылке прокламаций, адреса для связи в Петербурге и Париже (куда Слепцов уехал в марте 1863 г.) и пр., мы приходим к заключению, что она принадлежит А. А. Слепцову. Мы не имели возможности произвести сличение почерка с автографами А. А. Слепцова, так как не располагаем ими, но в пользу того, что запись сделана именно Слепцовым или при его участии, говорят следующие соображения:

1. Запись содержит несколько указаний, даваемых от имени Центрального комитета «Земли и Воли» в целом, а не от «Общества русских офицеров в Польше». Посылкой полномочий, квитанций и печатей мог распоряжаться только Слепцов. Только от Слепцова могло исходить указание о посылке квитанций эмигранту-землевольцу В. И. Касаткину и «другим хорошим русским на континенте». Наличие в записи *петербургских* адресов тоже свидетельствует о том, что запись принадлежит Слепцову. Едва ли Потебня располагал петербургскими адресами.

2. «Полномочия», выдаваемые Центральным комитетом «Земли и Воли» разным лицам, привлекаемым к деятельности общества, находились тоже в ведении Слепцова. Образец подобных полномочий сохранился в виде копии в записной книге заграничного агента III Отделения Балашевича-Потоцкого и воспроизведен М. К. Лемке (XVI, 95—97). Здесь в п. 7 читаем: «Все необходимое как для устройства, так и дальнейшей деятельности организации, как то: определенные доверенности, *полномочия, квитанции для сбора взносов и пр.*, наши заграничные агенты получают от А. Ив. Герцена, главного представителя общества „Земля и Воля“ за границей» (там же; курсив мой.— *Я. Ч.*).

3. Наконец, кончается запись зачеркнутой фразой: «Мой адрес в Париже...». Потебня отправился из Лондона в Польшу. 3 марта 1863 г. он в последний раз писал Герцену из лагеря Лангевича (см. в «Колоколе», л. 162, от 1 мая 1863 г. статью Огарева «Надгробное слово»). Слепцов же направился в Париж, куда «вывез каждой прокламации по несколько сот экз(емпляров), направив их на юг...» (комментарий Лемке, XVI, 37—38) — т. е. в Константинополь, к В. И. Кельсиеву, через которого они и распространялись на юге России.

4. Не противоречит всему сказанному и заключающее запись имя: Александр Моллер. Это, несомненно, условное имя для корреспонденции. В действительности оно принадлежало реакционному публицисту, полковнику русской службы в отставке Александру де Моллеру, жившему в Париже и выступавшему в официозной газете «Le Nord» со статьями, направленными против польского движения (XVII, 108—109;

XVIII, 206—210). Благонадежность этого имени с точки зрения французской полиции позволила использовать его для переписки с Парижем.

Публикуемая запись, еще раз подтверждая близость Герцена и Огарева к «Земле и Воле», дает в то же время представление об их участии в практике и «технике» подпольной организации.

3

‹ПРОЕКТ РАЙОНИРОВАНИЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ›

1. [Уральская] Среднерусская
2. Северная область
3. [Волжско-Уральская] [Приволжье и Урал] Восточная обл‹асть›
4. [Донс‹кая обл.›] Юж‹ная обл.› и Кавказ *
5. [Ук] Малороссия **
6. Западный край
7. Сибирь
8. Земля и Воля
   [Село‹?›]

‹Февраль, 1863 г.›

ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43б. Зап. книжка, л. 69.

Публикуемый перечень «областей» и краев России заимствован из записной книжки Огарева. Перечень начерно и бегло записан Огаревым на лицевой стороне 69-го листа. Текст, находящийся на обороте, дает нам возможность датировать публикуемую запись.

На обороте помещена инструкция о порядке пересылки солдатских, офицерских и крестьянских прокламаций из Лондона в Россию и в Польшу. Инструкция внесена в записную книжку Огарева неизвестным, вероятно А. А. Слепновым, приезжавшим в Лондон в начале февраля 1863 г. Инструкция датируется февралем 1863 г. (см. стр. 556). Таким образом, к этому же времени, т. е. к февралю 1863 г., мы должны отнести и публикуемый текст.

Состоит он из перечисления отдельных районов России, а заканчивается упоминанием общества «Земля и Воля». Очевидно, смысл этого перечня таков: Огарев обдумывал деятельность революционных групп и кружков в разных районах страны и в последнем пункте отметил их предполагаемую или существующую связь с обществом «Земля и Воля».

Публикуемый перечень необходимо сопоставить со статьей неизвестного автора (Н. И. Утина?) «Пропаганда и организация», появившейся в заграничном журнале «Народное дело» в октябре 1868 г.:

«Среди разгара правительственной и общественной реакции,— сообщает автор,— ‹...› организовалось тайное общество, известное публике под именем „Земля и Воля“. Оно вовсе не было основою тайных обществ; они уже существовали во многих местностях, и каждое из них, отдельно взятое, могло бы представить весьма интересную и поучительную историю». И далее: «Конспирационное же значение общества „Земля и Воля“ заключалось в поставленной им задаче слить все отдельные революционные общества и кружки в одно целое, связное для дружного общего действия всюду в одинаковом единодушном смысле» («Народное дело», Женева, 1868, № 2—3, октябрь, стр. 33).

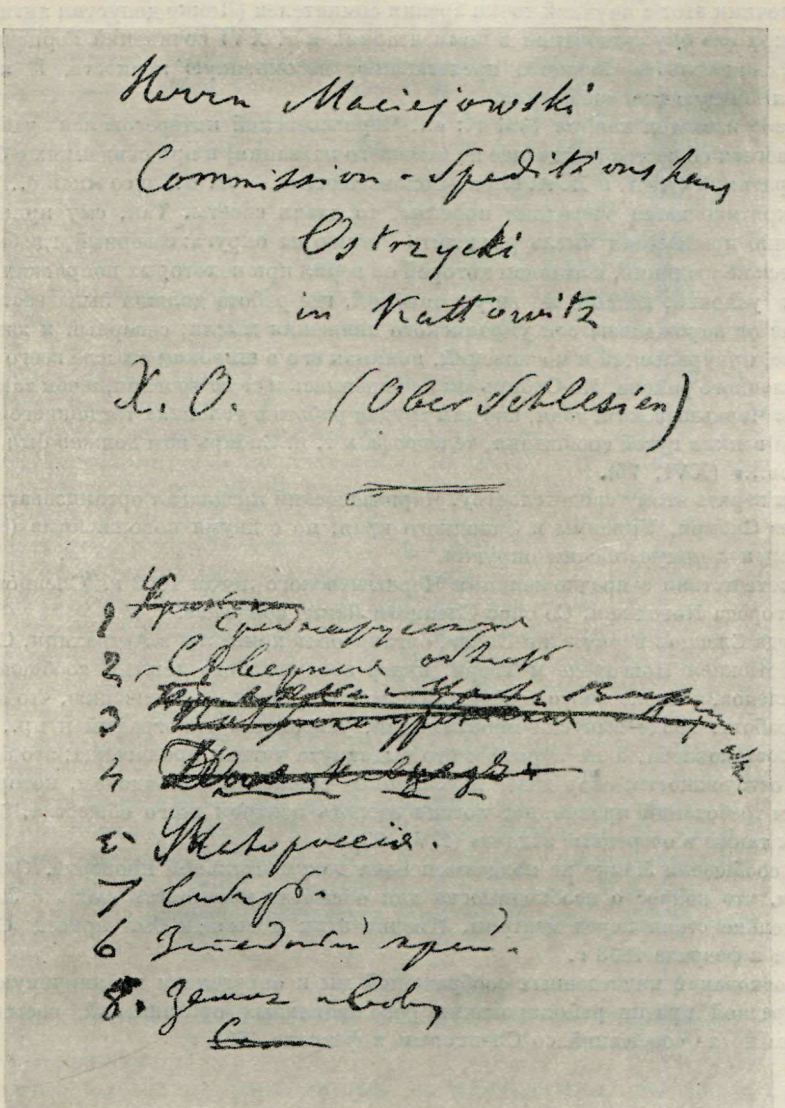
Повидимому, публикуемая запись появилась в результате обсуждения Огаревым, Герценом и другими лицами вопроса о «слиянии» отдельных революционных обществ и кружков «в одно целое» — «Землю и Волю». Вопрос этот с особенной остротой стоял именно в феврале 1863 г.: как раз в это время в России истек срок подписания крестьянами уставных грамот, и в полной силе было «Положение», обдирающее крестьян как

* *Строка не поддается бесспорному чтению. Повидимому, первоначально Огарев написал:* Донс‹кая обл.› и Кавказ. *Затем слово* Донс‹кая› *было переделано в* Южная. *После этого вся строка была вачеркнута и затем восстановлена.*

** В подлиннике за пунктом 5-м следует пункт 7-й (Сибирь) и уже затем пункт 6-й (Западный край).

липку (см. В. И. Ленин. Соч., т. 5, стр. 27). Многие революционные деятели этого периода ожидали всеобщего крестьянского восстания, а «Земля и Воля» активно к нему готовилась.

В связи с разразившимся в Польше восстанием и с ожидавшимися событиями в России — в феврале 1863 г в Лондон и приехал один из руководителей «Земли и



ПРОЕКТ РАЙОНИРОВАНИЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 1863 г.
Записная книжка Огарева. Автограф (нижняя запись — под чертой)
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Воли»—Слепцов. Вряд ли можно сомневаться, что из переговоров со Слепцовым Герцен и Огарев почерпнули много новых сведений о деятельности и планах общества. (Письмо Огарева к Слепцову от 8 мая 1863 г., в котором обсуждались теоретические и практические вопросы, стоявшие перед революционным обществом, см. XVI, 90—92.)

Допустимо поэтому предположение, что печатаемый перечень отражает в какой-то мере информацию, полученную Огаревым от Слепцова о связях «Земли и Воли»

с революционными деятелями, находящимися в перечисленных областях,— связях, частью уже установленных, частью только намечаемых.

Вопрос о том, в каких районах должна быть сосредоточена деятельность «Земли и Воли», возник еще в 1861 г., как свидетельствуют воспоминания Слепцова, записанные Лемке, или изложенные, по словам Лемке, самим Слепцовым в известной «тетради». Хотя источник этот с научной точки зрения сомнителен (Лемке допустил антинаучные приемы при его опубликовании в комментариях к т. XVI сочинений Герцена), некоторые из свидетельств Слепцова представляют несомненную ценность. К их числу относятся следующие сообщения.

Первое касается ноября 1861 г.: «... Чернышевский интересовался работой нарождавшегося общества (тогда еще не имевшего названия) и при свиданиях с бывшими у него братьями ⟨А. А. и Н. А. Серно-Соловьевичами.— *Я. Ч.*⟩ и со мной ⟨...⟩ то подвергал критике наши очередные проекты, то давал советы. Так, ему принадлежит совершенно правильная мысль разделить Россию на округа: северный, где была своя историческая традиция, в атавизм которой он верил при некоторых поправках времени и наших условий; южный, но не украинский, где работа должна была вестись ⟨...⟩ в стороне от нарождавшегося украинского движения мысли; северный и южный поволжские, приуральский и московский, понимая его в широком смысле всего торгово-промышленного района. На Сибирь мы не надеялись и ее не трогали, в чем также были одобрены Чернышевским, зная, как там трудна работа в условиях тогдашнего времени, почти без всяких путей сообщения, телеграфа и т. п. Сибирь нам должен был осветить Шелгунов...» (XVI, 75).

Если верить этому свидетельству, Чернышевский предлагал организовать 6 округов — без Сибири, Украины и Западного края, но с двумя поволжскими (северным и южным) и с приуральским округом.

В соответствии с предложениями Чернышевского летом 1862 г. Слепцов отправился в города Поволжья. Со слов Слепцова Лемке сообщает:

«Когда Слепцов вернулся с Волги, организовав комитеты в Астрахани, Саратове, Казани, Нижнем Новгороде и Твери, центр заслушал его доклад, сообщения двух других членов, а также много сообщений с мест и пришел к заключению, что временно всякая работа, вроде выпуска прокламаций, устройства типографий и пр., должна быть приостановлена, а на первое место выдвинута устная пропаганда; это было сделано из осторожности; сбор денег и усиленные сношения с Лондоном, который, под влиянием требований провинции, хотели сделать центром всего общества, были поставлены также в очередные задачи» (XVI, 83).

Эти сообщения Лемке не поддаются пока документальной проверке. Однако мы полагаем, что вопрос о необходимости для общества установить связь с Лондоном действительно стоял перед центром. Именно этим и вызван был приезд Слепцова в Лондон в феврале 1863 г.

На основании приведенных соображений мы и определяем публикуемую запись как очередной проект районирования революционных организаций, составленный Огаревым после совещаний со Слепцовым в феврале 1863 г.

4

⟨ПРОГРАММА ПИСЬМА К⟨КОМИТЕТУ «ЗЕМЛИ И ВОЛИ» ИЛИ СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОБСУЖДЕНИЯ⟩

1) Ссыльные и сношения с К⟨омитетом?⟩ об них.
2) Станции.
3) Коммерческие сношения с Петерб⟨ургом⟩, и теперь с пароходством, а потом с таможней или ⟨капитанами?⟩.
4) Старообрядчество и пропаганда по Уралу. Аресты Гер⟨онтия⟩ и М. В. Нос⟨ова⟩. Другие секты.
5) Сношения с Кавказ⟨ом⟩ и старообр⟨ядцами⟩ юго-запада.

6) Доктрина: аграрно-социальная пропаганда, пропаганда выборного начала, пропаганда конфедерации, пропаганда выборности царя и учр⟨еждений⟩ на республ⟨иканско⟩-социальном основании.

⟨Начало 1864 г.⟩

ЛБ, ф. Г.—О. VI. 32. Зап. книжка, № 12, л. 46 об.

Трудно читаемая запись Огарева сделана карандашом в памятной книжке, содержащей заметки 1864 и 1867 гг. Вопрос об организации в нескольких городах Европы «станций», т. е. агентств, предназначенных для связи с Россией, был поднят Огаревым в сентябре 1863 г. Поездка Герцена во Францию, Швейцарию и Италию (15 сентября — 6 декабря 1863 г.) была отчасти вызвана необходимостью создания этих агентств (см. «Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. XII, 1951, стр. 151—155 и 164). Попытки их организации продолжались и в начале 1864 г. К этому времени мы и относим публикуемую запись.

Слова «сношения с К» в первом пункте записи предположительно расшифровываются как «сношения с Комитетом». Политическим ссыльным оказывалась помощь из средств, специально собираемых для «Земли и Воли» редакцией «Колокола». Передача средств осуществлялась через Комитет общества «Земля и Воля».

Трудно читаемое слово в третьем пункте мы расшифровываем: «капитанами», по аналогии со следующим местом из другой записи Огарева, сделанной в сентябре 1863 г.: «Этот путь должен навести на то, чтобы были друзья — капитаны пароходов, которые бы доставляли письма...» (см. «Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. XII, 1951, стр. 162—163).

Упоминаемые в пункте четвертом сокращения: Гер и М. В. Нос — фамилии крупных деятелей старообрядчества, Геронтия Ливанова и М. В. Носова. Первый, старообрядческий иерарх, был арестован и содержался в Шлиссельбурге. 4 июля 1864 г. Огарев писал О. С. Гончару: «Не только Геронтия не освобождают, а еще захватили крестьянина Носова (в Пермской губ., в Нижнетагильске). При нем нашли архиерейскую ризницу и держат в тюрьме» (XVII, 280). Заключительный, шестой, пункт записи важен для определения политического содержания пропаганды, которую вел Огарев в «Общем вече» в 1862—1864 гг. Не видя возможности в статьях и воззваниях, адресованных крестьянам-старообрядцам, открыто проводить республиканские начала, Огарев проводил их при помощи обходного маневра — выдвинув лозунг «выборности царя» и создания учреждений на «республиканско-социальном основании».

Публикуемая запись говорит о том, что в результате наступившей реакции сношения редакции «Колокола» с Россией были в эту пору чрезвычайно затруднены. Поэтому Герцену и Огареву приходилось изыскивать новые средства связи с родиной.

5

⟨ЗАМЕТКА ПРОТИВ КАТКОВА И ЛЕОНТЬЕВА С ПОПРАВКОЙ ГЕРЦЕНА⟩

Рукою Огарева:

Сколько бы мы ни расходились по убеждениям, мы всегда уважаем искреннюю веру; но когда церковь вместо того, чтобы держаться убеждением и проповедью, хочет держаться доносом и полицией, мы презираем — если не церковь, то духовенство, которое становится таким отвратительным ее представителем. «Киевский телеграф» вместо религиозной проповеди сделал полицейский донос на мальчиков. Без сомнения, ни один честный человек не мог этому сочувствовать; сочувствовали только «Московские ведомости».

Поэтому мы больше ничего не находим сказать их издателям: г-да Катков и Леонтьев — вы шпионы и мерзавцы, которым каждый честный человек имеет право наплевать или ударить в рожу, соразмеряя силу удара с степенью вашей подлости и зла, которое вы приносите русскому народу.

Н. О г ⟨а р е в⟩

〈Напротив этого абзаца на соседней странице рукою Герцена написан следующий текст:〉

Поэтому-то в своем бешенстве доносов эти падшие люди откопали и этот факт в провинциальном журнале и явили его на свет.

Мы истинно не знаем меры презрения — не к журналистам-шпионам, но к падшей, гадкой, гнусной среде, которая их читает, которая допускает бесстыдство полицейской литературы and so on... *

〈Конец марта — апрель 1864 г.?〉

ЛБ, ф. Г.— О. VI. 32. Зап. книжка, № 12, лл. 54—55.

Заметка Огарева и поправка к ней Герцена находятся в записной книжке, заполнявшейся Огаревым в два различных периода. Одна половина содержит записи 1864 г.; в 1867 г. Огарев перевернул книжку и начал заполнять ее с другой стороны. Публикуемый текст находится на стыке обеих частей, поэтому датировать запись по ее местоположению в книжке невозможно. Трудно также сказать, какую именно заметку или статью «Киевского телеграфа» — реакционной шовинистической газеты — имеет в виду Огарев, говоря о «полицейском доносе на мальчиков» вместо «религиозной проповеди». Более или менее соответствующие этому определению материалы мы нашли в №№ 28, 30 и 31 этой газеты от 13, 18 и 20 марта 1864 г. Здесь помещены: заметка «Университетская церковь и ученики Киевской 2-й гимназии», «Ответ на заметку об учениках 2-й гимназии» и «Несколько слов по поводу университетской церкви». Первые две сообщали о «непристойном» поведении учащихся в церкви. В последней заметке директор гимназии защищает учеников, нарушивших «благочиние» в университетской церкви, от обвинений в безверии. Автор, между прочим, защищая учащихся, говорит, что «общий упадок веры, угрожающий гибелью правительству», тут вовсе не при чем. Заметка, помещенная на эту тему в «Московских ведомостях», нами не обнаружена. Весьма возможно, что публикуемая заметка относится к более позднему времени — к периоду особенно ожесточенной травли молодежи реакционной печатью, т. е. к 1866—1867 гг. Поэтому датируется нами заметка условно.

Публикуемая заметка была в искаженном и неполном виде напечатана Лемке (XXII, 142). Напечатана она была без начала, и текст Огарева от слов «Поэтому мы больше ничего не находим...» до «...и зла, которое вы приносите русскому народу», Лемке воспроизвел в качестве принадлежащего Герцену, опустив также и подпись Огарева.

Мы полагаем, что предложенный Герценом текст предназначался в качестве замены абзаца заметки, содержавшего призыв «наплевать или ударить в рожу» шпионов и мерзавцев — Каткова и Леонтьева. Текст Герцена находится на обороте л. 54, прямо против соответствующего абзаца заметки Огарева, занимающего лицевую сторону л. 55.

Ни в «Колоколе», ни в «Общем вече» заметка напечатана не была.

6

〈ИЗ ЧЕРНОВЫХ РУКОПИСЕЙ К СТАТЬЕ «ЧАСТНЫЕ ПИСЬМА ОБ ОБЩЕМ ВОПРОСЕ»〉

ПИСЬМО МЕЖДУ ЧЕТВЕРТЫМ И ПЯТЫМ

Вместо того чтобы прямо перейти к учению школы Сен-Симона, я чувствую себя вынужденным придти к новому отступлению, которое, конечно, не уклоняется от общей нити, от общей задачи моих писем, но вызвано слишком натянутыми обстоятельствами. Может, это письмо укажет,

---

* и так далее... (англ.).

раньше, чем я думал, на некоторые позднейшие выводы; но вы на меня за это не сетуйте — оно стало неизбежно.

С некоторого времени мы постоянно слышим возгласы, иногда даже не слишком любезные — вроде того как: «да чёрт вас возьми — что вы всё предлагаете нам теории, а еще нигде не определили вашего вероисповедания и нигде не сказали, что̀ же нам теперь делать. Давайте не теории, а формулы, не * утопии, а ** инструкции».

Другие или прибавляют к подобным обвинениям новые или ставят эти новые совершенно отдельно. Они говорят: «Мы на столько-то годов вас моложе, следственно, больше и знаем, чем вы знаете, мы учились новой науке, а вы еще учились старой науке. Вы даже не умели разрешать вопрос о женщине и вопрос молодого поколения. От этого вы и не можете нам назвать предстоящего дела и должны нам предоставить его развитие».

Сами видите, друг мой, что под наплывом таких обвинений и требований нельзя не придти к разработке вводной темы, которая должна восстановить и выяснить все наши главные вопросы и, если и составит отступление от распорядка моих писем, то всё же не уклонится от их общей задачи. Да еще надо из ее выводов хладнокровно рассмотреть, правы ли наши оппоненты и запросчики и насколько они правы? Только развитие общей задачи может указать — в чем истинное понимание и что̀ делать.

⟨Август 1866 г.⟩

ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 44, лл. 33 об.— 35 об.; черновые варианты приведены частично.

Комментируемый текст возник в связи с работой Огарева над циклом статей под названием «Частные письма об общем вопросе». «Письма» Огарева, посвященные критике утопического социализма, начиная от учений Бабефа и Сен-Симона и кончая взглядами Оуэна и Прудона, печатались в «Колоколе» с большими интервалами. «Письмо первое» было напечатано в л. 211 (от 1 января 1866 г.), «Письмо второе» — в л. 216 (от 15 марта 1866 г.), «Письмо третье»—в л. 220 (от 15 мая 1866 г.), «Письмо четвертое»—в лл. 223 и 225 (от 1 июля и 1 августа 1866 г.). Затем, прервав на полгода печатание цикла, Огарев опубликовал в лл. 237, 239 и 240 (от 15 марта, 15 апреля и 1 мая 1867 г.) еще одно «письмо», озаглавив его «Письмо между четвертым и пятым». По замыслу Огарева, это промежуточное письмо должно было служить переходом от критики западноевропейского утопического социализма к развернутому изложению теории «русского социализма». Но этот замысел не был осуществлен. С прекращением 1 июля 1867 г. «Колокола» (на русском языке) оборвался и огаревский цикл статей о социализме.

Публикуемый черновой отрывок, начинающийся словами «Вместо того чтобы прямо перейти к учению школы Сен-Симона...», предназначался, несомненно, для «Письма», следующего за разбором учения самого Сен-Симона, т. е. за «Письмом четвертым». Огарев заключил разбор словами: «В следующий раз я надеюсь приступить к школе сенсимонистов и заключить мнимо-религиозную эпоху социального учения во Франции» («Колокол» л. 225, от 1 августа 1866 г.). Огарев, однако, намерения этого не выполнил и вообще разбора *школы* Сен-Симона (т. е. взглядов Анфантена и др.) не написал. Вместо этого разбора он сперва решил рассмотреть разногласия и споры с «молодой эмиграцией», о чем и свидетельствует публикуемый отрывок. Написан он очевидно вскоре после 1 августа 1866 г. По своему содержанию это не вошедшее в окончательный текст вступление к «Письму между четвертым в пятым» представляет собою существенный интерес. Во вступлении Огарев характеризует позицию оппонентов «Колокола» из среды «молодой эмиграции»; таким образом, перед нами еще один документ, дающий возможность судить о том, какие

---

* *Далее зачеркнуто:* рассуждения
** *Далее зачеркнуто:* рецепты

именно требования предъявляли редакции «Колокола» «молодые эмигранты». Выясняется, что в то время как одни из них упрекали Герцена и Огарева в излишнем теоретизировании и отрыве от нужд практической революционной деятельности, другие, напротив, указывали на недостаточность и отсталость пропагандируемой «Колоколом» теории. Создателями передовой теории «молодая эмиграция» считала Чернышевского и его ближайших единомышленников.

Как это явствует из публикуемого текста, Огарев готов был прислушаться к голосу критики, готов был вступить в дружеский спор и «хладнокровно рассмотреть, правы ли наши оппоненты и запросчики и насколько они правы».

Однако Огарев пришел, повидимому, к выводу, что всякая, даже самая дружеская, полемика с «молодой эмиграцией», в обстановке ожесточенных нападок на молодежь со стороны всей реакционной печати России после события 4 апреля 1866 г. была бы несвоевременна и вредна. Вот почему он, как мы полагаем, и отказался от своего намерения.

7

⟨О СТАТЬЕ «ПРОДАЖА ИМЕНИЙ В ЗАПАДНОМ КРАЕ»⟩

Мне очень жаль, что в моей статье, возбудившей столько спора, я не пометил, что переселение русских крестьян в Литву так же мало способно руссифицировать Литву, как поселение мордвы в России способно омордвинить русских крестьян. Тут все дело заключается в количестве переселенцев относительно туземного населения и их более или менее миролюбивых наклонностях. Что количество русских переселенцев в нашем предположении, уже по ограниченности продажных земель и по возможности местному крестьянству скупить долю их, не может их отношение к литовскому или белорусскому народу поставить выше отношения мордвы к русским крестьянам, — например, Пензенской губернии, — это несомненно. Что русские переселенцы, помимо вмешательства правительства, миролюбивы — тоже несомненно. Стало, это переселение не помешает Литве или Белоруссии сохранить областную самостоятельность совершенно литовскою и белорусскою.

Может, это объяснение покажется также обидно; но что же мне делать — я этим высказываю, что я не хочу руссифицировать Литвы и Белоруссии; но внутренно я не могу принять феодальной (шляхетной) полонизации Литвы и Белоруссии. Мне кажется, что подобное замечание можно и надо куда-нибудь вставить, тем больше, что в статье сказано, что мы не признаем ни руссификаций, ни полонизаций.

⟨Ноябрь 1866 г.⟩

ЩГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 44, л. 36—36 об.

Публикуемая заметка Огарева, обнаруженная в его записной книжке 1866—1867 гг., относится к острому столкновению редакции «Колокола» с демократическими элементами польской и русской эмиграции, происшедшему в 1866 г. Конфликт возник в связи с появлением в л. 229 «Колокола» (от 1 ноября 1866 г.) статьи Огарева «Продажа имений в Западном крае». История этой нашумевшей статьи и вызванного ею конфликта вкратце такова.

Среди других репрессий, обрушенных правительством Александра II на западные губернии, т. е. на Белоруссию, Литву и Польшу, после восстания 1863 г., широко применялся также секвестр имений у тех польских землевладельцев, которые в той или другой степени оказались причастны к восстанию. 10 декабря 1865 г. правительством был издан указ, предписывавший собственникам этих секвестрованных имений продать их в течение двух лет русским помещикам или же променять на имения в России. Указ содержал аналогичное предписание и относительно имений, принадлежавших административно сосланным (тоже связанным с восстанием 1863 г.). Таким

No. 161. **THE BELL.** APRIL 15, 1863.

REGISTERED AT THE GENERAL POST-OFFICE FOR TRANSMISSION BEYOND THE UNITED KINGDOM.

КОЛОКОЛЪ

VIVOS VOCO!

Выходитъ два раза въ мѣсяцъ въ Лондонѣ. Получается въ Вольной Русской Типографіи — 136 & 138, Caledonian Road, N. Цѣна 9 п., съ четырнадцатымъ номеромъ—ОБЩЕЕ ВѢЧЕ.

ЛИСТЪ 161.

15 Апрѣля 1863.

(WITH SUPPLEMENT VETCHÉ No. 14).

У Трюбнера & Co. въ книжной лавкѣ, 60, Paternoster Row, и у Tchorzewski, 1, Macclesfield Street, (Gerrard Street), Soho, London. Price nine-pence, with Supplement: VETCHE No. 14.

ОГЛАВЛЕНІЕ.—А. А. Потебня—Русскіе офицеры—1831—1863 (II)—Паштарнаки и Тихмеевы—Книгосжигатель Савва. Смѣсь: Передняя тѣшится и полиція тоже—Пять лѣтъ каторги—Зарница совѣсти—Словесныя розги—Игры случайности—Пановскій—Sta Borussia—М. Хотинскій—Къ лѣтописямъ русскаго шпіонства—Митингъ въ Hyde Park'ѣ—"Daily News"—Ward Jackson, и пр.

А. А. ПОТЕБНЯ.

Одинъ изъ членовъ польскаго правительства сообщилъ намъ изъ Кракова вѣсть, исполнившую насъ безконечной горестью. Нашъ близкій другъ Андрей Аѳанасьевичъ Потебня, одинъ изъ главныхъ учредителей русскаго офицерскаго комитета въ Польшѣ, участникъ на первомъ планѣ въ адрессѣ офицеровъ Константину Николаевичу—убитъ въ сраженіи у Песковой скалы.

Не знала русская пуля, сразившая Потебню, какую жизнь она остановила на первыхъ шагахъ ея.*

Чище, самоотверженнѣе, преданнѣе жертвы очищенія Россія не могла принести на пылающимъ алтарѣ Польскаго Освобожденія.

РУССКІЕ ОФИЦЕРЫ ВЪ РЯДАХЪ ИНСУРГЕНТОВЪ.

Подложный адрессъ офицеровъ в. к. Константину, оказывается *настоящимъ*. Корреспондентъ "Теймса" (3 Апрѣля) говоря о двухъ русскихъ братьяхъ *Рыковыхъ*, стоящихъ въ главѣ Литовскаго движенія съ *Ропинскимъ* и графомъ *Тышкевичемъ*, прибавляетъ: "Въ рядахъ инсургентовъ много русскихъ офицеровъ. Это подтверждаетъ, что чувства выраженныя въ извѣстномъ адрессѣ в. к. не были вымышленныя. Никто не говорилъ, что число подписей было огромно; можетъ адрессъ подписала какая нибудь сотня офицеровъ. Я и теперь не думаю, чтобъ въ числѣ инсургентовъ было сто русскихъ офицеровъ, но во всякомъ случаѣ ихъ много".

Мы къ этому прибавимъ, что на дняхъ намъ сказывалъ полякъ, пріѣхавшій съ театра войны, что онъ *самъ видѣлъ*, русскихъ офицеровъ въ стану возставшихъ.

Есть печальныя эпохи, въ которыя любовь къ отечеству, заставляетъ однихъ разорвать съ нимъ племенную солидарность, другихъ, которымъ невозможно по своему положенію остаться въ сторонѣ, идти въ ряды не своихъ—а *правыхъ* и сдѣлать на большемъ размѣрѣ то, что дѣлаютъ ежедневно наши офицеры, недозволяющіе солдатамъ грабить и жечь.** Свободный человѣкъ не можетъ признать такой зависимости отъ своего края, которая-бы заставляла его участвовать въ дѣлѣ противномъ его совѣсти.

Если еще есть между русскими солдатами въ Польшѣ люди чистые, воины честные, исполняющіе свой долгъ слѣпо вѣря въ присягу, но исполняющіе его *безъ восторга*, о которомъ говоритъ "Инвалидъ", пусть они подумаютъ—не правы-ли тѣ офицеры, которые бросили ряды палачей? Пусть они подумаютъ сами и остерегутся отъ подкупныхъ *подстрекателей*, которые очень хорошо знаютъ, что дѣло русскаго правительства самое черное, но которые еще лучше знаютъ, что проба его серебра самая высокая.

Остерегитесь отъ сердобольныхъ друзей, умиляющихся надъ долготерпѣніемъ "христолюбиваго воинства два года оскорбляемаго поляками". Спросите ихъ, отчего они не умилялись, когда васъ обкрадывали въ нищѣ, гоняли сквозь строй, морили въ лазаретахъ безъ лекарствъ!—Поляки, вдоте, осмѣливались пѣть гимны, не смотря на хрулевскія пули; поляки осмѣливались носить конфедератки, не смотря на то, что это господамъ въ Петербургѣ не угодно... А вы должны были все это терпѣть!—Не вѣрьте ихъ жалости, не вѣрьте, когда они говорятъ: "Вы подвергаетесь всѣмъ лишеніямъ партизанской войны, но утѣшьтесь, вы стоите за общенародное, русское дѣло".

Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Проклятое дѣло вытравливанія цѣлаго народа изъ народныхъ семей не есть наше общенародное, русское дѣло.

Мало мѣста у насъ что-ли? Мало у насъ *стона*? Пусть выходитъ помѣриться кто угодно, пусть попробуетъ нашу силу. Или мы клиномъ сошлись, что безъ Польши жить не можемъ?

И отъ чего-же намъ съ Польшей, съ Украйной, съ Финляндіей не жить какъ вольный съ вольными, какъ равный съ равными? Отчего-же всё мы должны забирать себѣ въ крѣпостное рабство? Чѣмъ мы лучше ихъ? Развѣ нѣмцами, состоящими у насъ въ должности правительствующихъ татаръ въ Петербургѣ?

* Въ слѣдующ. листѣ мы поговоримъ объ немъ.

** Кстати къ грабежамъ и разбою, интересно посмотрѣть какими инвалидными средствами правительство опровергнетъ отвратительную исторію съ англійскимъ купцомъ Финкенштейномъ, подробности ея въ "Теймсѣ" и другихъ журналахъ.

СООБЩЕНИЕ О ГИБЕЛИ А. А. ПОТЕБНИ, ПОМЕЩЕННОЕ ГЕРЦЕНОМ В «КОЛОКОЛЕ», № 161 от 15 апреля 1863 г.

образом, значительная часть польских дворян-землевладельцев лишалась земельной собственности в пользу русских помещиков и чиновников или их немецких собратьев, среди которых правительство надеялось тоже найти покупщиков.

Появление указа было отмечено редакцией «Колокола» специальной заметкой в л. 213 (от 1 февраля 1866 г.). Анонимный автор, критикуя указ, приравнивал его к «ограблению без суда сосланных». Выступая против нового акта насильственного «всеми неправдами» обрусения Польши, он спрашивал: «*Разве нельзя было продать те же земли крестьянам и крестьянским громадам*? Дело могло бы обойтиться легче и менее разорительно для продавцов при пособии крестьянству со стороны казенных кредитных учреждений. Или это средство не по вкусу демократической империи?»

Считая цитированную заметку принадлежащей перу Герцена, Лемке включил ее в соответствующий том собрания сочинений (XVIII, 327). При этом он весьма глухо сослался на какую-то записку Л. Чернецкого (заведующего женевской типографией), которой якобы «устанавливается принадлежность» заметки Герцену (XVIII, 445). Не входя здесь в рассмотрение правильности или неправильности этой атрибуции, отметим, что Лемке совершенно прав, утверждая, что в заметке «была отчасти сформулирована мысль», развитая впоследствии в злополучной статье Огарева (XIX, 77, примеч.).

Действительно, Огарев, отправляясь от предложения автора заметки продать в кредит секвестрованные польские земли «крестьянам и крестьянским громадам», разработал далеко идущий «проект» переселения около 100 000 крестьян из русских малоземельных общин в секвестрованные имения западных губерний. С этим «проектом» Огарев решил выступить открыто на страницах «Колокола».

В черновых заметках Огарева, относящихся к статье «Продажа имений в Западном крае», мы находим важное указание, разъясняющее мотивы, которыми он руководствовался. Огарев усмотрел в создавшейся в западных губерниях ситуации возможность «экспериментально» проверить практическую жизнеспособность одной из своих излюбленных идей — о роли «народного кредита» в деле распространения общественной собственности на землю. Отвлекаясь от политических условий, Огарев полагал, что поскольку на секвестрованные в западных губерниях земли необходимого количества покупщиков среди помещиков, чиновников и купцов не находилось, поскольку, таким образом, «сама жизнь» толкала правительство на путь продажи земли крестьянам, постольку аграрная политика самодержавия в западных губерниях объективно содействовала распространению общественной собственности на землю. Особенно существенным Огарев считал то обстоятельство, что государственное содействие крестьянам в покупке большого количества земли неизбежно поднимало и ставило в порядок дня вопрос о «народном кредите» — вопрос, которому, как сказано, он придавал весьма важное значение.

«И вот внезапно начало народных банков или народного кредита! — восклицает Огарев в упомянутых черновых заметках к статье.— Мысль эту, конечно, следует развить побольше. Печатать в „Колоколе" едва ли возможно, потому что она тогда неминуемо лопнет и не понравится ни врагам, ни дуракам. Но предложить ее окольными путями правительству — мне кажется стóит труда и заботы (положим хотя бы через Н. Милютина?)» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 44, лл. 39 об.—42 об.).

Под «врагами» и «дураками» Огарев разумеет здесь, без сомнения, людей правительственного лагеря, которые по враждебности или глупости отвергнут это предложение только потому, что оно напечатано в «Колоколе».

Свои соображения Огарев сообщил Герцену. Получив текст статьи Огарева, Герцен отвечал ему: «Статью эту печатать следует непременно, только вычисти ее пополитичнее» (XIX, 74). Герцен, следовательно, отказался от двусмысленного «окольного пути» — натолкнуть «через Н. Милютина» правительство на мероприятия, которые представлялись редакции «Колокола» прогрессивными, и предпочел открытое выступление в печати. Он потребовал, однако, от Огарева «пополитичнее» вычистить текст и дал при этом специальное указание: «С 8-ой страницы следует лавировать, там особое ЛВ» (XIX, 74). Отсутствие рукописи Огарева с герценовским «нотабене» не позволяет раскрыть конкретный смысл указаний Герцена. Повидимому, Герцен призывал Огарева

тщательнее сформулировать те положения в статье, которые, как это предвидел Герцен, могли создать впечатление руссификаторских тенденций. Недаром пять дней спустя (25 октября 1866 г.) Герцен писал Огареву: «„Голос" рекомендует продажу западных земель раскольникам с гарантией веротерпимости и предлагает звать русских из Турции и Пруссии. Вот, как поляки узна́ют,— будет тебе трезвон» (XIX, 77).

Итак, Герцен и Огарев не желали, конечно, столкновения с польской эмиграцией, но, предугадывая его, все-таки не отказались от выступления, убежденные в своей правоте. Оба они шли навстречу конфликту, главным образом, потому, что считали разрушение шляхетского землевладения единственным возможным путем к освобождению польского народа, главнейшим условием успеха борьбы поляков за независимость. С другой стороны они переоценивали устойчивость и прочность «общинного землевладения», ошибочно принимая сельскую общину за зародыш социализма.

Но как ни готовы были Герцен и Огарев к столкновению, действительность превзошла их опасения.

Первым подверг их позиции беспощадной и, в основном, справедливой последовательной революционно-демократической критике А. А. Серно-Соловьевич, сперва пытаясь в устных объяснениях с редакцией «Колокола» устранить одиозные места из статьи Огарева, а после отказа редакции — в листовке «Польский вопрос. Протест русского против „Колокола"», вышедшей в декабре 1866 г. на французском языке в Женеве. Затем начался «польский шквал», по выражению Герцена,—шквал, бушевавший в течение всего ноября 1866 г. Тогда-то и возникла необходимость в объяснении. Позиция Герцена ясно изложена в опубликованной в настоящем томе (см. стр. 133—136) листовке «Нашим польским братьям» (написана Герценом, подписана им и Огаревым). Герцен признавал ошибочность выступления Огарева, но усматривал эту ошибочность, собственно, в *несвоевременности* выдвинутого им предложения: «Может, оно выражено не во-время, в таком случае мы первые от души скорбим, что прибавили еще горькую минуту к великому сетованию вашему. В этом вы судьи, и мы умолкаем»,— писал Герцен. В то же время он взял под защиту *существо* предложения Огарева. Оно «совершенно логически истекает из всего воззрения нашего»,— говорил Герцен здесь же.

Публикуемый отрывок выясняет реакцию самого Огарева. Огарев продолжает доказывать, что переселение русских крестьян на земли польских помещиков в Литве и Белоруссии не содержит в себе угрозы руссификации, но, вместе с тем, явится препятствием для «феодальной полонизации» литовского и белорусского населения.

Увлекаемые своей утопической теорией «русского социализма» Герцен и Огарев не раз отходили от реальных задач политической борьбы демократии с самодержавным строем и вступали тем самым в противоречие с этими задачами. В применении к изучаемому эпизоду полнее и резче всех других современников указывал на эти противоречия и ошибки Герцена и Огарева — А. А. Серно-Соловьевич.

В своем «Протесте» * он писал: «В 229 № „Колокола" (1-го ноября) помещена статья г. Огарева „О продаже имений в Западном крае". Корректируя эту статью, я просил г. Огарева выбросить из нее всё то, что относится до переселения в Польшу русских крестьян, говоря, что это и ложно по мысли и довольно грубо оскорбит тех, которым „Колокол" постоянно говорит „наши братья-поляки". Господа редакторы не согласились на эту поправку, защищая свой проект своими социальными теориями и тем, что в статье они будто бы остаются верными своей прежней деятельности и вывешенному ими знамени». Перечислив несколько положений и формулировок из статьи Огарева, вызывавших его протест, Серно-Соловьевич заключал: «Я *протестую*, наконец, чтобы

---

* Цитируем «Протест» А. А. Серно-Соловьевича по русскому подлиннику-автографу, посланному автором в редакцию «Колокола», не напечатанному Герценом и сохранившемуся в «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 126). До настоящего времени этот важный документ был известен только в обратном переводе с французского языка на русский, опубликованном в 1941 г. в т. 41-42 «Лит. наследства» (стр. 111—115). Полностью документ будет напечатан в т. 63 «Лит. наследства».

доказать, что я понимаю совсем иначе, чем гг. издатели „Колокола", и осуществление социальной теории и какие бы то ни было обновления общественных форм <...> Истинные социалисты совсем не хотят, чтобы народы, как дикие звери, поели друг друга; в том-то и великая задача социализма — найти такую формулу, которая, перестроив экономический быт народов, дала бы возможность не только каждому из них, но и каждой местности жить своей полной, независимой жизнью».

Не признать справедливости этой критики Огарев не мог. Поэтому-то в публикуемом отрывке он пытается лишь оправдаться и разъяснить свою позицию, не вступая в споры по существу вопроса.

8

<ОБ «ОРГАНИЗАЦИИ» Н. А. ИШУТИНА И ЕГО КРУЖКЕ>

Если народ принял в <для?> «организации» название наделисты, то, очевидно, надо иметь популярное название. Если не удалась «Земля и Воля», надо продолжать дело иначе, под названием «наделисты», отбросив глупое название нигилистов (ничего не означающее, кроме тург<енев>ского узкоумия).

<Конец 1866 г.>

ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 44, л. 20—20 об.

Публикуемая заметка извлечена из записной книжки Огарева 1866—1867 гг. Мысль, записанная Огаревым, возникла у него, повидимому, при редактировании статьи Н. А. Вормса «Белый террор». Именно в этой статье, в главе пятой, Огарев встретил рассказ о том, как своеобразно преломляется слово «нигилисты» в народной среде. «Есть, братец ты мой, рассказывал мне рабочий,— пишет Вормс,— сехта такая и называется она наделистами, значит, всех наделить землей хочет» («Колокол», лл. 233—234, от 1 февраля 1867 г., стр. 1909). Далее Вормс рассказывает содержание легенды о «сехте» наделистов, о ее составе, о порядках, в ней принятых, о том, как полиция старается захватить собрания наделистов «в Глухом переулке», но что этого сделать не удается,—нет охотников выдать людей, стоящих за бедняков и батраков.

В своей статье, посвященной процессу Ишутина — Каракозова, Вормс связывал возникновение этой легенды с деятельностью ишутинского кружка и основанной Ишутиным «Организации». Ее-то и имеет в виду Огарев, говоря о том, что «Организации» следовало бы прямо принять название «наделисты».

О Тургеневе, как об «авторе» слов «нигилизм» и «нигилисты», Огарев упоминал неоднократно (см., напр., «Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. XII, 1951, стр. 166—167).

9

<ПРИМЕЧАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЕ В ПЕЧАТНЫЙ ТЕКСТ «ЧАСТНЫХ ПИСЕМ ОБ ОБЩЕМ ВОПРОСЕ»>

Примечание к стр. 14:

Вы, может быть, тут меня спросите, что же я думаю о вооруженной революции в России? Я думаю, что пока народ для достижения ликвидации частных поземельных собственностей в собственность общественную употребляет знамя императорской власти (а эта ликвидация для народа идет прежде ликвидации казенной поземельной собственности), до тех пор не может быть достаточных средств и элементов для вооруженной революции; могут являться только случайные, отдельные попытки, которые не в силах ни ясно постановить свою задачу, ни достигнуть до победы. Сколько бы это ни было прискорбно для наших революционных симпатий, но действительность ярко является в этом виде, и спорить против факта нельзя.

Первая половина марта 1867 г.>

КАБИНЕТ ОГАРЕВА

Фотография, 1870-е гг.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 44, л. 23 об.

Публикуемый текст представляет собою проект «примечания», предназначавшегося для л. 237 «Колокола» от 15 марта 1867 г. Здесь Огарев начал, после полугодичного перерыва, печатать продолжение своих «Частных писем об общем вопросе», т. е. писем о социализме. Темой нового «Письма», озаглавленного «Письмо между четвертым и пятым», была теория так называемого «русского социализма», развиваемая Герценом и Огаревым. Основа рассуждения Огарева в этом письме — мысль о происходящем в России процессе «ликвидации», как он выражается, «помещичьей и казенной поземельной собственности на землю» «в собственность общественную», т. е. о предполагаемом переходе земель в руки крестьянских общин. Огарев констатировал, что последовательность совершающегося в России процесса такова: сперва «ликвидируются в общественную собственность» помещичьи земли, а затем земли казенные, государственные. Однако сделанного он полагал далеко не достаточным: «освобождение крестьян не может считаться совершенным» и дальнейшая, как выражается Огарев, перестройка «необходимо поставит себе целью окончательную ликвидацию частной поземельной собственности в собственность общественную».

Вот что писал он в рассматриваемом письме: «... народ, в сущности, не может примириться ни с помещичьей, ни с казенной (императорской) собственностью и властью. Но он совершенно рационально начинает бороться с первой, ибо она первая на пути, подлежащая сдвижению. Он даже инстинктивно берет себе императорскую власть в помощь в своих начинаньях перестройки равно путем революционным и путем экономическим. Последний путь является только теперь; но народные стремления к перестройке — дело не новое и всегда начинались с попыток сдвинуть частную поземельную собственность. Вспомните, что сама пугачевщина действовала под знаменем царской власти (законной или не законной — все равно), и вам не покажется удивительным, что при экономическом пути ликвидации народ движется тем же способом, т. е. употребляет в пользу ликвидации частной поземельной собственности в собственность общественную знамя императорской власти» («Колокол», л. 237, от 15 марта 1867 г., стр. 1938).

К этим именно строкам должно было относиться публикуемое примечание. Оно должно было ответить на естественно возникающий вопрос: не помешает ли этот совершающийся «экономическим путем» переход части земель в руки крестьянских общин (как представлялось Огареву—на деле помещичьи земли начинали в это время переходить в руки городской и сельской буржуазии) развитию революционного движения в крестьянстве, возможности в близком будущем широкого «повсюдного», как выражался Огарев, восстания крестьян?

Огарев сперва дал отрицательную оценку возможности, в обстановке второй половины шестидесятых годов, участия крестьян в «вооруженной революции». Но, рассматривая вопрос дальше и глубже, он изменил свое суждение. В тексте статьи он говорит, что, хотя помещичья земельная собственность под напором крестьян затрещала, поддалась «сдвиженью», все же на очереди, сверх вопроса о помещичьей земле, встал, в борьбе миллионов т. н. государственных крестьян, вопрос о казенных землях, особенно обострившийся в 1866—1867 гг. в связи с указами правительства (от 24 ноября 1866 г. и др.).

Огарев пришел к заключению, что, несмотря на то, что крестьяне еще не потеряли окончательно надежды получить помещичьи земли из рук правительства и временно берут «себе в помощь» «императорскую власть», все же неизбежно развитие и обострение борьбы массы помещичьих и государственных крестьян и против землевладельцев и против чиновников и против императорской власти.

«Это отнюдь не доказывает,— продолжает Огарев, отказавшись от помещения примечания,— возможности народного примирения с казенной поземельной собственностью и отношением ⟨так!— *Я. Ч.*⟩ к чиновничьей, вообще к казенной (императорской), власти» (там же).

Огарев вновь и вновь подчеркивает, что примирение крестьянства с царским правительством невозможно, и заключает, что «малоземельные и безземельные»

крестьяне имеют право «на заселение огромной доли частной и казенной поземельной собственности» (там же).

Придя к заключению, что вопрос об этих правах миллионов крестьян «отныне первый вопрос, являющийся на пути русского развития», Огарев отказался от пессимистической оценки перспективы участия крестьян в «вооруженной революции».

10

‹ИЗ ЧЕРНОВЫХ РУКОПИСЕЙ К «ЧАСТНЫМ ПИСЬМАМ ОБ ОБЩЕМ ВОПРОСЕ»›

Materials

Общине принадлежит вещь производительная; такою вещью или долей оной лицо может пользоваться с согласия общины. Так‹овы› земля, фабрика, общественное здание, материалы фабричные, произведения. Всем оным лицо пользуется или распоряжается в известных, узаконенных пределах.

Вещь, назначенная для потребления и уничтожающаяся с оным, принадлежит лицу, и ее пользование не может иметь иных пределов, кроме естественных возможностей, т. е. не нуждается в согласии или несогласии общины, не требует предела во внешнем законе.

Но это вопрос едва ли не слишком общий, а не вопрос, стоящий на ряду сейчас. Надо различать вопросы, стоящие на ряду и требующие немедленного приложения, от вопросов высшей степени, которых приложение явится после. Но также не надо забывать, что и эти вопросы высшей степени провозглашать необходимо и помогать их родам необходимо. Первые вопросы нуждаются в немедленной организации дела; последние — в устранении преград и стеснений.

Таким образом, организация общины, организация области, организация иного правительства — вопросы немедленно приложимые; вопрос женской свободы еще так мало уяснен, что для его разрождения требуется не организация женской свободы, а устранение всех преград для высшего образования и деятельности научной или гражданской или промышленной.

‹Первая половина апреля 1867 г.›

ЛБ, ф. Г.— О. VI. 37. Зап. книжка (листки), № 38. 1, лл. 1—2.

Текст публикуемого отрывка написан на двух из девяти сохранившихся листков записной книжки Огарева за 1867 г. Точная дата устанавливается при сопоставлении отрывка со статьей Огарева, опубликованной в «Колоколе», л. 239, от 15 апреля 1867 г.— «Частные письма об общем вопросе. Письмо между четвертым и пятым» (продолжение).

В «Письме» этом Огарев пишет:

«Есть вопросы, стоящие на ряду *теперь*, их разрешение можно искать в современно-существующих данных. Есть вопросы, пожалуй имеющие высшую степень общественного значения, но разрешение которых в современных данных не отыщется, и постановка которых еще не может дойти до надлежащей ясности. Тем не менее, нельзя их не провозглашать, нельзя не помогать их разрождению, нельзя не расчищать их пути от препятствий.

Например, вопрос свободы женщины...» ‹далее следует развернутая программа борьбы за достижение крестьянками и женщинами других сословий гражданской равноправности и научного образования; борьба за то, чтобы добиться «организации женского труда и посредством его — женской независимости»› («Колокол», л. 239, от 15 апреля 1867 г.).

Сопоставление публикуемого текста с приведенной частью «Письма» Огарева позволяет датировать отрывок первой половиной апреля 1867 г.

11

⟨О ПРОПАГАНДИСТСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ КОММУНАХ⟩

Мы, *n* человек, согласились приобрести землю в наше общее владение и обрабатывать ее собственными средствами на следующих условиях:

1) Мы приобретаем землю от продавца N в долгосрочный кредит, оставляя ее в залоге у продавца и уплачивая проценты и погашение капитала на основании равных паев.

2) Мы вносим каждый свой пай или приобретаем в долгосрочный кредит свободный капитал, уплачивая его на основании равных паев, для приобретения всякого рода земледельческих орудий, лошадей и пр., *также для найма рабочих.*

3) Смотря по местности, мы устраиваемся несколькими семьями в отдельных домах или каждой семьей отдельно.

4) Для детей мы устраиваем школу, которой главная цель — техническая, для развития земледелия, избрав между собой учителей и учительниц. Если окрестные жители захотят присылать (за известную плату) своих детей в нашу школу, мы не отказываемся.

5) По мере надобности мы устраиваем на общий счет библиотеку и выставку различных инструментов, которые должны быть каждому из нас доступны.

6) Если местность дозволит устроить какое-нибудь фабричное заведение, мы его устроим на тех же основаниях.

7) Выручку, которая останется сверх уплаты процентов и погашений, мы разделим между собою посемейно, смотря по числу нуждающихся, и отложим возможный процент для общего запасного капитала и домашнего кредита.

Примечания:

1) Покупка земли должна делаться исключительно в русских губерниях, приречных и довольно плодородных.

2) Покупка может быть близ деревни или сельца, но не села (для избежания поповского вмешательства).

3) Если продавец сам будет членом товарищества — это не помешает, лишь бы он был совершенно известен.

⟨Начало 1868 г.⟩

ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 38, лл. 37—39.

Публикуемый текст, написанный на трех листках, вырванных из записной книжки, является, повидимому, результатом попытки выработать юридическую форму договора для легальной организации земледельческих коммун.

Вопросом о создании коммун пропагандистов в земледельческих районах России Огарев был занят в начале 1868 г. (см. публикуемое в т. 62 «Лит. наследства» письмо А. Криля к Огареву от 28 января 1868 г., хранящееся в «пражской коллекции»). На этом основании мы относим печатаемый документ к началу 1868 г.

Организация для крестьян земледельческих коммун с фермами-школами еще с молодых лет была мечтой Огарева: в 1847 г. он пытался создать подобную коммуну в Старом Акшене (см. М. О. Гершензон. История молодой России. М., 1908, стр. 298 и сл.). Аналогичные проекты развивал Огарев и в период наивысшего подъема крестьянского движения в 1861—1863 гг.

Мы предполагаем, что хранящиеся в «пражской коллекции» два варианта (черновой и беловой) статьи-проекта Огарева «Народные земледельческие училища» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 38 — документ не издан) написаны им для того, чтобы пояснить и развить пункт 4-й публикуемой рукописи.

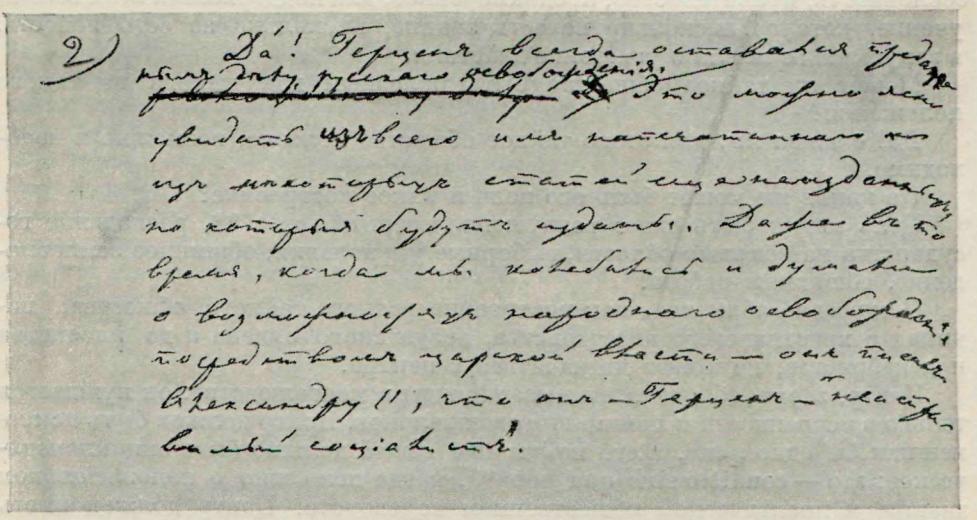
12

‹ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ «ПАМЯТИ ГЕРЦЕНА»›

2) Да! Герцен всегда оставался преданным делу русского освобождения*. Это можно ясно увидать из всего им напечатанного и из некоторых статей, еще не изданных, но которые будут изданы. Даже в то время, когда мы колебались и думали о возможностях народного освобождения посредством царской власти, он писал Александру II, что он — Герцен — «неисправимый социалист».

‹Первая половина апреля 1870 г.›

ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 45.



АВТОГРАФ НОВОНАЙДЕННОГО ОТРЫВКА ИЗ СТАТЬИ ОГАРЕВА «ПАМЯТИ ГЕРЦЕНА», 1870 г.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Публикуемый отрывок написан на клочке, отрезанном от какой-то рукописи Огарева. Цифра со скобкой поставлена карандашом, дальнейший текст написан чернилами. Можно предположить, что строки эти сперва являлись частью основного текста, а потом были отрезаны с тем, чтобы служить примечанием к нему. На это указывает номер сноски, внесенный карандашом, в текст, написанный чернилами. Год, когда отрывок был написан, устанавливается самим содержанием его: он написан после смерти Герцена, т. е. в 1870 г. Упоминаемые статьи, которые не изданы, «но будут изданы» — сборник «Посмертные статьи А. И. Герцена», вышедший в Женеве в 1870 г. Более точная дата устанавливается по связи текста со статьей Огарева «Памяти Герцена», напечатанной в «Колоколе», № 3, от 16 апреля 1870 г., где Огарев писал о своих и Герцена либеральных ошибках, совершенных в начале издания «Колокола».

Статья «Памяти Герцена» заканчивалась словами: «Здесь я только призываю всех людей русских, жаждущих освобождения, помянуть его имя с заслуженной любовью и благодарностью». Далее, как мы полагаем, должны были следовать публикуемые строки. Редактируя текст, Огарев сперва решил отнести их в примечание, а затем, по каким-то причинам (быть может, в связи с возражениями сотоварищей по редакции нового «Колокола»), вовсе отказался от их опубликования.

* *Последние три слова надписаны над зачеркнутыми словами:* революционному делу.

13

‹ОТРЫВОК ИЗ СТАТЬИ «СПЛОТИМТЕСЬ ДРУЖНО», В НЕИЗВЕСТНОЙ РЕДАКЦИИ›

Я думаю, это самое общее выражение смысла *полезного*.

Теперь спрашивается: что же делает личность внутренне свободною? Ясность мысли и ее согласность с поступком *. Что делает личность независимою? Это немешание окружающей средою каждому ясно мыслить и действовать.— Стало, полезное в общественном смысле — это знание и устранение препятствий, мешающих человеку ясно мыслить и действовать.

Что же мешает человеку ясно мыслить и действовать? — Подчинение, сословность, правительство; преднамеренное, для поддержания этих вещей, учение, которое нисколько не есть знание, нисколько не есть ясность, а запутыванье мысли и угнетение действия.

Может ли тайное общество быть полезным для выхода из такого положения?

Да! скажем мы, для этого тайное общество полезно, возможно и необходимо.

Но какая же может быть его цель и какое построение?

Цель может быть одна: разрушение правительства **, распадение государства на союзные области, выборные управления, общинное землевладение, общинная работа.

Построение общества, как построение всякого тайного общества, начиная с христианского апостольства, иезуитского ордена и до масонства и декабристов, не может не начаться с центра.

Центр, зерно общества, не имеет нужды в многолюдстве; он нуждается только в искренности и понимании своих членов. Центр должен быть искренен как бы одно лицо, а его понимание вещей должно быть энциклопедическое; это — conditio sine qua non***, когда дело идет о положительном знании и практическом общественном перевороте. Центр должен иметь свое выражение в печати, где бы его понятия высказывались как можно более цельно. Центральное издание должно высказывать направление, теорию, предположение применений, исполнение которых падет на периферию общества. Чем далее в периферию, тем более потребуется специальностей, как бы они мелки ни были, так чтоб всякий человек мог найти свое дело и общество имело бы наконец**** деятелей, действующих в смысле общества, не имея нужды знать о его существовании.

Конечно, общество не может ограничиться одним книгопечатаньем, а должно иметь всяких практических деятелей в народе, в солдатстве, в офицерстве, в чиновничестве и пр.

Кажется, я достаточно высказал цель и построение. Теперь только могу закончить воззванием, что мы зовем живых, vivos voco!

‹Вторая половина апреля 1870 г.›

ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 27, лл. 26—27.—Автограф на листе писчей бумаги in folio. В правом углу каждого полулиста — нумерация, сделанная рукой Огарева: 5 и 6. Перед нами, следовательно, не целая рукопись, а лишь отрывок из нее (окончание): первые четыре страницы до нас не дошли. Первая строка публикуемого текста («Я ду-

---

* *Слова:* согласность с поступком — *надписаны над зачеркнутым:* применимость к поступку.

** *Слово* правительства *надписано карандашом над зачеркнутым:* сословности

*** непременное условие (лат.).

**** *После слова* наконец *зачеркнуто:* агентов

маю, это самое общее выражение смысла *полезного...*») в одной из предшествующих редакций заканчивала следующий абзац: «Может ли в наше время тайное общество быть полезно, и, если может, какая должна быть его цель и организация? Это приводит к еще более общему вопросу: что значит полезное в общественном смысле? Я смело отвечу: все, что клонится к свободе личности и к равному распределению ее в общественном устройстве, словом все, что может хотя приблизительно примирить несгнетаемую независимость лица и его действий с необходимостью рода людского, лежащею in natura rerum, жить стадом. Я думаю, это самое общее выраженье смысла *полезного*» («Лит. наследство», т. 39-40, стр. 323). Бумага, на которой написан печатаемый текст, чернила и почерк, какими он написан, совпадают с бумагой, почерком и чернилами рукописи Огарева «Империя» — статьи, напечатанной в последнем, шестом, номере «нечаевского» «Колокола» за 1870 г., вышедшем 9 мая. Отсюда наша датировка автографа второй половиной апреля 1870 г.

Публикуемый отрывок представляет собой существенный интерес. Многие его строки дословно совпадают как с текстом статьи Огарева «Сплотимтесь дружно!», напечатанной в том же, шестом, номере «нечаевского» «Колокола» за 1870 г., так и с текстом «Записки о тайном обществе», опубликованной в 1941 г. Б. П. Козьминым в т. 39-40 «Лит. наследства» с ошибочной датой 1860 г. (следует: март — апрель 1857 г.— см. «Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. XII, М., 1951, стр. 67—68). Таким образом, за 13 лет до 1870 г. Огарев уже сформулировал свои основные идеи о «цели и построении» тайного общества. Обнаруженная третья редакция тех же формулировок, *созданная в 1870 г. на материале текста 1857 г.*, доказывает, что проблема создания тайного революционного общества была для Огарева одной из главных проблем на протяжении 13—14 лет его заграничной деятельности.

14

⟨ДВЕ ПРОГРАММЫ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ЖУРНАЛА 1870 г.⟩

ОБЩИНА ИЛИ РУССКАЯ ОБЩИНА

⟨*а*⟩

Община вышла бы напоминанием Гмины, а Русская община слишком национально.

Содержание.

Отдел 1-й

Разъяснение разных форм общины — в особенности формы русской общины. Тут не нужно забыть разъяснение отношения русской общины к Малороссии и пр., т. е. к населению необщинному в России, и поставить вопрос: может ли это необщинное население перейти в общинное путем русской революции.

Затем следует отношение русской общины к интернациональному делу.

⟨*вырван листок*⟩

обозначение возможностей русской революции и способов ее организации.

Отдел 2-й

Разбор происшествий в России.

Отдел 3-й

Русские корреспонденции и обличительная часть.

⟨Июль 1870 г.⟩

ЛБ, ф. Г.— О. VII. 3. Зап. книжка № 37, лл. 19—21 об.

[РУССКИЙ] ВОСТОК

⟨*б*⟩

Мы принимаем это заглавие для нового листа, потому что Русский Восток * уже с ** прошлых столетий неоднократно заявил свое стремление к делу народного освобождения.

Первый отдел листа должен содержать статьи, где Русский Восток подает руку всем освобождающимся народам, начиная с всего славянского Запада, будь то Польша и каждая ее область, будь то славянские народы, — каждого племени. Разумеется, статьи будут совершенно в социальном направлении и также с указанием на революционное движение Русского Востока.

Второй отдел должен отнестись к обозрению происшествий во всех иностранных землях и в особенности к разбору их отношений к русско-славянскому миру.

Третий отдел должен содержать известия из самой России — по газетам и корреспонденциям.

Стихи могут быть помещены, когда случится.

Размер журнала — лист формата старого «Колокола».

Выходить он будет сначала раз в месяц, а там — посмотрим.

О г а р е в

Члену Обществ⟨а⟩ взаимн⟨ого⟩ труда и помощи Р. Ц.

⟨Август 1870 г.⟩.

ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 38, л. 51.

Публикуемые тексты относятся к лету 1870 г. В это время Огарев после разрыва с Нечаевым задумал издавать новый журнал взамен «нечаевского» «Колокола», прекратившегося 9 мая 1870 г.

Текст под названием «Община» или «Русская община» — это первый проект программы журнала.

Названия не удовлетворяли Огарева: первое потому, что совпадало с названием польской газеты «Gmina» (издававшейся польским «Социально-демократическим товариществом» в Цюрихе в начале семидесятых годов); второе потому, что не отражало в полной мере программы предполагаемого органа.

В ходе обсуждения проекта вместе с Бакуниным и другими лицами возникло новое название — «Социалист», но и оно принято не было. Тогда были предложены названия «Русский Восток», а затем «Восток».

Нами публикуются тексты: 1) программа «Общины или Русской общины» (из рукописи утрачен листок — повидимому, об интернациональных, преимущественно славянских, проблемах, которыми должен был заниматься журнал) и 2) программа журнала «Восток». Помимо этих текстов, сохранился первоначальный *черновой* текст программы «Русский Восток», находящийся в записной книжке Огарева (ЛБ. Г.—О. VII. 3, лл. 19—21 об.), чем и доказывается принадлежность программ именно Огареву.

Вопрос о том, кто явился автором программы, возникает потому, что на этот счет имеются донесения агента III Отделения, провокатора К. А. Романа, находившегося в 1870 г. в Женеве под именем «издателя Н. В. Постникова» и утверждавшего, будто автором программы был не Огарев, а Бакунин (см. книгу: Р. К а н т о р. В погоне за Нечаевым, Пг., 1922, стр. 53—61; переиздано в 1925 г.).

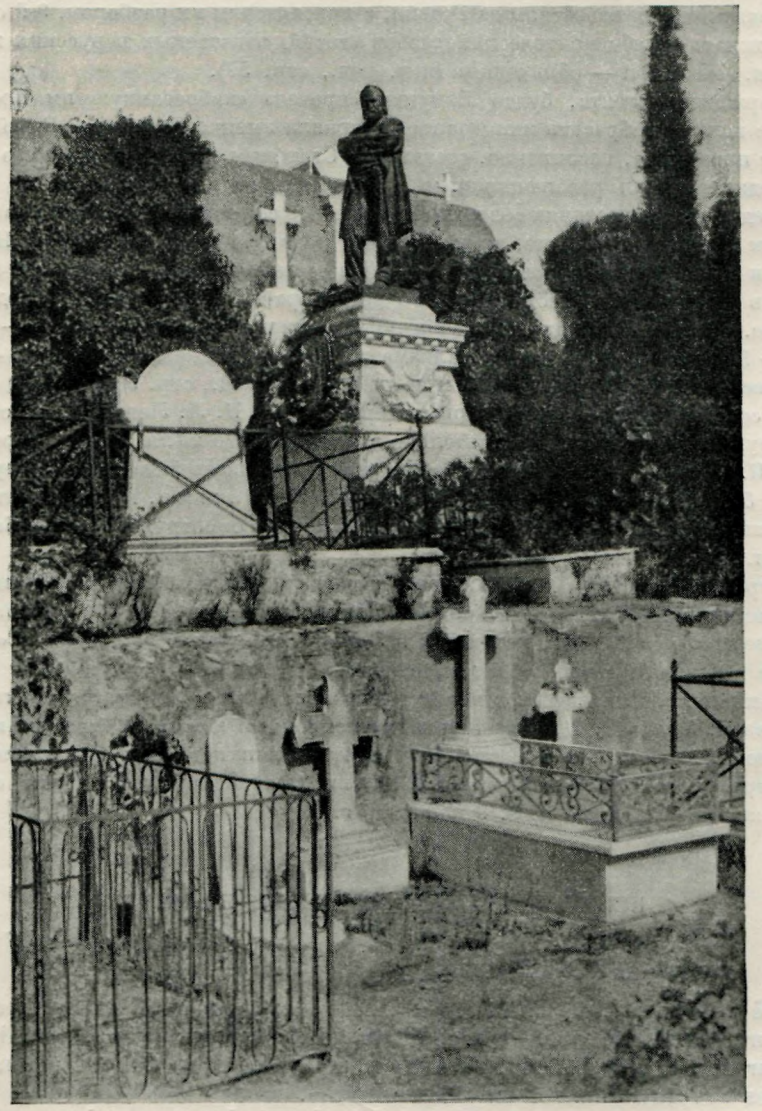
4 июля 1870 г. Роман сообщал в очередном донесении, что Бакунин, приехав из Локарно в Женеву, тотчас пришел к нему и с полным доверием предложил отправиться в Россию «для заготовления материалов для будущей пропаганды, так как издание „Колокола" теперь, за неимением материалов и средств, прекращается». В донесениях от 10 июля и следующих ход этих переговоров освещен подробно.

---

* *Далее зачеркнуто:* заявил себя

** *Далее зачеркнуто:* времен пугачевщины

Почему Роман так упорно именует автором программы Бакунина? Дело в том, что во всех предыдущих донесениях он твердил, будто Огарев из-за болезни, ослабления памяти и дряхлости более «не опасен». Таким образом, программа Огарева не могла бы заинтересовать III Отделение. Поэтому-то инициатором, руководителем



МОГИЛА ГЕРЦЕНА В НИЦЦЕ
Фотография 1919 г.
Исторический музей, Москва

будущего журнала Роман изображает Бакунина. Между тем, на деле Бакунин не очень интересовался будущим журналом.

Вместе с тем факты, сообщаемые Романом, повидимому, верны. «Сегодня утром заходили ко мне Огарев и Бакунин,— сообщает агент 10 июля,— и заявили, что прекращение „Колокола" ими окончательно решено, но взамен его они будут издавать, под обоюдною своею редакцией, новый журнал под заглавием „Община" или „Русская община",— словом, под одним из этих названий. Бакунин прочел мне набросанную

им программу этой новой пропаганды. Направление ей дается социально-демократическое, но, тем не менее, с прибавкой революции, без мысли о которой Бакунин жить не может. В проектированной пропаганде он поставил задачею выяснить, как путем революции народ может стать в общинное положение. Государственных форм он не допускает, конечно, ровно никаких. Это будет 1-й отдел. 2-й отдел будет посвящен корреспонденциям и известиям из России, с критическим их разбором. 3-й отдел должен заключать в себе критический разбор статей, печатаемых в русских журналах и газетах. 4-й отдел — обличения» (цит. изд., стр. 57).

Утверждение агента, будто Бакунин «прочел» «набросанную им программу», сделано с целью изобразить инициатором журнала именно Бакунина. В действительности же программа, несомненно, составлена Огаревым и соответствует его взглядам на очередные задачи революционного движения в этот период.

В следующих донесениях содержится рассказ о совещании относительно журнала, в котором принимали участие, кроме Огарева и Бакунина, В. М. Озеров, Н. И. Жуковский и «неизвестный молодой человек». На этом совещании обсуждался вопрос об участии в журнале, в качестве третьего редактора, П. Л. Лаврова, находившегося в Париже. «Огарев будет писать статьи по развитию общинного вопроса,— сообщает Роман,— Бакунин — по части социализма и рабочего движения, а Лавров — статьи, касающиеся земства, военного дела и атеизма» (цит. изд., стр. 58).

Эти сообщения вполне достоверны. Переговоры с П. Л. Лавровым о сотрудничестве в задуманном журнале действительно велись в конце июля 1870 г. через посредство М. П. Сажина. Раздел журнала, который предложено было вести Лаврову, должен был быть посвящен проповеди атеизма (М. П. С а ж и н. Воспоминания.— «Голос минувшего», 1915. кн. 10, стр. 124). Однако Лавров от сотрудничества с Бакуниным отказался.

Программа журнала «Восток» является развитием и уточнением программы журнала «Община». Мы полагаем, что она была написана в августе 1870 г., когда Огареву стало известно, что Нечаев, уехавший в Лондон, выпускает там журнал «Община». Название «Община», таким образом, отпало.

Обращение, содержащееся в конце программы, расшифровывается нами следующим образом: буквы Р. Ц. означают «Революционный центр». «Общество взаимного труда и помощи» — тайное общество, идею организации которого вокруг революционного центра, будто бы существующего в России, Огарев развивал в статье «Сплотимтесь дружно!» («Колокол», л. 6, 9 мая 1870 г.).

15

⟨ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «SUISSE RADICALE»⟩

Genève, 27 juin 1870

Monsieur le Rédacteur.

Le № 154 du journal russe «le Golos», rédigé par mon ancien patron en littérature, M. Krajevsky, contient un feuilleton qui voudrait faire main basse sur toute l'émigration russe et qui fait une dénonciation sur les tendances révolutionnaires en Russie-même.

Gloire à M. Krajevsky! Je m'attendais depuis longtemps à ce qu'il allait tomber dans cette honorable voie. Mais en même temps je dois prévenir mes compatriotes qui circulent en Europe, que le susdit feuilleton, écrit à Genève, est signé A...v. Je sais de bonne source (et en cas de besoin, je pourrai citer les vrais noms et les pseudonymes), que ce monsieur voyage avec une dame, comme agent de la 3-me section de la chancellerie impériale russe (police secrète).

Je dois donc prier mes compatriotes d'être bien prudents. Pour le moment, ce monsieur se trouve à Paris.

Agréez, etc. Nicolas O g a r e f f

ЦГИАМ, ф. III Отдел., II секр. архив, 1869—1870 гг., № 85, л. 133.

Перевод:

Женева, 27 июня 1870

Господин редактор.

№ 154 русской газеты «Голос», редактируемой моим старым покровителем в литературе г. Краевским, содержит фельетон, который ставит себе целью — разгром всей русской эмиграции и который является доносом на революционные течения в самой России.

Слава г. Краевскому! Я уже давно ожидал, что он попадет на эту почтенную дорогу. Но в то же время я должен предупредить своих соотечественников, которые разъезжают по Европе, что вышеупомянутый фельетон, написанный в Женеве, подписан А...в. Я знаю из верного источника (и в случае надобности, я смогу назвать подлинные имена и псевдонимы), что этот господин путешествует в сопровождении одной дамы, в качестве агента III Отделения Русской императорской канцелярии (тайной полиции).

Я должен поэтому просить моих соотечественников быть очень осторожными. В настоящее время этот господин находится в Париже.

Примите и пр.

Николай Огарев

Происхождение публикуемого документа следующее. В № 154 петербургской газеты «Голос» от 6/18 июня 1870 г. появился фельетон «Шутовство русской эмиграции. (Письмо в редакцию)». Подписан был фельетон: «К. А-в»; помечен «Женева, 20 мая 1870 г.».

Автор фельетона издевался над листовками и воззваниями, выпущенными в Женеве в 1869—1870 гг. так называемой нечаевской организацией, и приводил из них выдержки.

Ознакомившись с фельетоном, Огарев послал в «Suisse radicale» публикуемое письмо.

Источник сделанных им разоблачений остается нам неизвестным. Не раскрывая фамилии или псевдонима автора фельетона, Огарев указал на его действительную роль — роль агента III Отделения и предупредил соотечественников, что необходимо соблюдать осторожность.

Поместить свое письмо в русской заграничной печати Огарев не мог: издание «Колокола» прекратилось 9 мая 1870 г.

В записной книжке Огарева за 1870 г. (ЛБ. VII. 3, лл. 4—8) находится черновик публикуемого текста, содержащий дополнительные сведения об авторе фельетона: «... feuilleton écrit à Genève, est signé A...v [(c. à d. Aliabiève)]. Cet homme connu aussi parfois sous le nom de Nem<zo>ff voyage avec une dame (Mamontoff) comme agent» *.

Фамилии — Немцов и Мамонтова, упоминаемые Огаревым в записной книжке и не вошедшие в печатный текст его письма, встречаются еще в одном документе, который имеет прямое отношение к интересующему нас эпизоду. Это — донесение агента III Отделения К. А. Романа («издатель Н. В. Постников») из Женевы в Петербург от 26 мая 1870 г. «В Женеву,— доносил агент,— дней 10 тому назад приехали некто Немцов, Алябьев и девица Мамонтова и отправили тотчас телеграмму в Монтре, откуда и явилась сюда же некто г-жа Висковатова <...> Немцов, Алябьев и Мамонтова 23 мая выехали в Париж, откуда намерены были ехать в Россию» (ЦГИАМ, ф. III Отдел., II секр. архив, 1869—1870 г., № 85, л. 133).

Постников (Роман), агент, хорошо осведомленный (см. Р. Кантор. В погоне за Нечаевым. Пг., 1922, стр. 23, примеч., 39 и сл.), пишет об Алябьеве и Немцове как

---

* фельетон, написанный в Женеве и подписанный А...в [(т. е. Алябьев)]. Этот человек, известный также под именем Нем<цо>ва, путешествует в качестве агента, в сопровождении одной дамы (Мамонтовой) (франц.).

о разных лицах. Огарев же в своем черновике указывает на фамилию Немцова как на псевдоним Алябьева.

Мы не беремся окончательно разрешить это противоречие; быть может, запятая, разделяющая фамилии Немцова и Алябьева в донесении Романа, поставлена не случайно и речь идет о двух лицах, но мы склонны полагать, что Алябьев и Немцов это одно и то же лицо.

После опубликования письма Огарева Постников переслал соответствующую вырезку в III Отделение. 6 июля 1870 г. он писал в донесении: «Вырезку из „Suisse radicale" насчет Алябьева, о чем я говорил в предыдущем письме ⟨оно в деле отсутствует.— *Я. Ч.*⟩, представляю» (цит. дело, л. 255).

Был ли Алябьев в действительности агентом III Отделения, мы не знаем. Судя по переписке Романа с К. Ф. Филиппеусом, начальником секретной агентуры, Филиппеус имел полную возможность печатать в «Голосе» разные сообщения. Как указывает Р. Кантор, Роман «несколько раз просто-напросто пишет: „Не напечатаете ли заметку в этом духе в „Голосе" Краевского?" „Не напечатаете ли опровержение в „Голосе"?" и т. п. в том же приблизительно смысле» (цит. изд., стр. 23). Далее исследователь ставит вопрос: «Не инспирировал ли ⟨...⟩ Филиппеус редакцию „Голоса" через кого-нибудь из своих агентов?» (там же).

Мы полагаем, что на основании публикуемого письма Огарева и разысканных нами дополнительных материалов на этот вопрос следует ответить утвердительно. Помещение в «Голосе» статьи К. А-ва «Шутовство русской эмиграции» было, по всем данным, инспирировано III Отделением. Дело в том, что еще 9 августа 1869 г. III Отделение представило Александру II доклад о ходе борьбы с распространением заграничных воззваний и листовок с апреля по июль 1869 г. и признало безуспешность этой борьбы методами перлюстрации. Александр II написал на этом докладе: «Весьма грустно. Необходимо условиться с Мин. Внутр. Д⟨ел⟩ о принятии возможных мер об остановке на почте этих возмутительных воззваний. Ливадия, 16 авг. Петербург 22 авг.» (ЦГИАМ, ф. III Отдел., 3-й эксп., 1869 г., № 110, ч. 2-я, лл. 262 и сл.).

Одновременно, 7 сентября 1869 г., видным чиновником — почт-директором Шором была подготовлена особая докладная записка. Шор предлагал уничтожать влияние революционной агитации другим способом: публиковать эти листовки или часть их в легальной печати, разумеется, в специально препарированном виде, и тем ослабить их подпольное воздействие (записка находится в том же деле, ч. 2-я, лл. 272 и 276 об.).

Мы не располагаем сведениями о том, какая судьба постигла записку Шора, хотя с его предложением солидаризировалось и III Отделение. Н. В. Мезенцев написал на копии доклада Шора: «С моей стороны я полагаю, что мера эта принесла бы пользу несомненную» (цит. дело, л. 276 об.).

Судя по приведенной выше резолюции Александра II, план на первых порах был отвергнут. Но весной 1870 г. III Отделение возвратилось к тому же плану. Статья Алябьева и своим заглавием и своим содержанием вполне соответствовала видам и намерениям III Отделения. Появиться на страницах «Голоса» она могла только с ведома и согласия редактора газеты Краевского, с одной стороны, и соответствующих учреждений — с другой. Таким образом, Огарев был совершенно прав, квалифицируя эту статью как совместную попытку газеты «Голос» и III Отделения «разгромить русскую эмиграцию» и «сделать донос на революционные течения в самой России».

Отметим также, что в дальнейшем ни подпись «К. А-в», ни подпись «К. Алябьев» более в «Голосе» не появлялись. О деятельности этого лица (или псевдонима) нам не удалось собрать никаких дополнительных данных, которые разъясняли бы его роль. Однако приведенные выше материалы не оставляют сомнения в том, что в данном эпизоде это лицо действовало в качестве правительственного агента.

АГИТАЦИОННЫЕ И САТИРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПАМФЛЕТЫ И ПЕСНИ: 1. СОВРЕМЕННОЕ; 2. МЫСЛИ РОССИЯНИНА ПРИ ЧТЕНИИ УКАЗА...; 3. «ЖИЛ НА СВЕТЕ РУССКИЙ ЦАРЬ...»; 4. «ЦАРЬ — ОТЕЧЕСТВА ОТЕЦ!»; 5. НАДГРОБНОЕ; 6. ЦАРСКИЕ УКАЗЫ (ПОДРАЖАНИЕ ЛЕРМОНТОВУ). ЛИСТОВКИ: 7. МУЖИЧКАМ; 8. ВСТРЕЧА (ПОСВЯЩЕНО ДУХОВЕНСТВУ); 9. НАПУТСТВИЕ (НАУЧИТЕ НЕМУДРЫХ!); 10. К ДУХОВЕНСТВУ. ЭПИГРАММЫ: 11. «Я НЕ ЛЮБЛЮ ПОПОВ НИ НАШИХ, НИ ЧУЖИХ...»; 12. «ПАЛАЧ СВОБОДЫ ПО ПРИЗВАНЬЮ...»; 13. «БРАННОЙ ЛИРЫ, БРАННОЙ СЛАВЫ...»; 14. «ОТЦЫ ОТЕЧЕСТВА В МУНДИРАХ КРАСНЫХ!»; 15. Т<УРГЕНЕВУ>

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПАМФЛЕТЫ И ПЕСНИ

1

СОВРЕМЕННОЕ

Вот Семен Авдеич
Крикнул, зло немножко:
«Филька!.. ерофеич!..
Всё сосет под ложкой.
Ты, дурак, скажи-ка —
Врал там кто с тобою —
Даст-де царь великой
Волю да с землею?
Что ж? поверил сдуру?
А? холопья морда!
Ты свою фигуру
Держишь больно гордо.
Эдак мне умыться
От тебя, крамольный,
Скоро не добиться;
Скажешь — я-де вольный!
Ну! вы что от воли
Ждете за послугу?
Изленииться, что ли,
Да и спиться с кругу?
Чай, мой дед недаром
Вас купил с землями
И причислен к барам:
Нажил всё трудами;
Долго службу правил,
Исполнял веленья
И себе составил
Важное именье.
Ну! с твоей ли рожей
Станешь ты вдруг волен?
Спи себе в прихожей
Да и будь доволен».
«Эх, Семен Авдеич!
Успокойтесь, барин,
Пейте ерофеич,
Век у нас бездарен.
Те, к царю кто ближе,
Наши лиходеи,
Думают как вы же,
Тупы и злодеи.
Неизвестно, что ли —
Там всё разговоры:

Не дадут нам воли
Панины да воры;
Так восторжествуют,
Так подпустят шпильку,
Что кругом надуют
И царя и Фильку».

<1858 г.>

2

МЫСЛИ РОССИЯНИНА

ПРИ ЧТЕНИИ УКАЗА О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КРЕСТЬЯН К ПОМЕЩИКАМ В ЗАПАДНЫХ ЧЕТЫРЕХ ГУБЕРНИЯХ И ЧЕТЫРЕХ УЕЗДАХ

1

Эх ты, царь наш батюшка,
Александр второй!
Знать, и вправду бубны-то
Славны за горой,
Знать, покуда в Питере
Тешили слова,
Думал ты, пируючи:
«Всё, мол, трын-трава!
И в освободители
Попаду, мол, я
И с моими барами —
Будем мы друзья.
Мужику помажу я
Медом по усам,
А другой-де воли я
Всё ж ему не дам.
В некой постепенности
Отыщу матéрью
Удоблетворить зараз
Всю мою империю...»

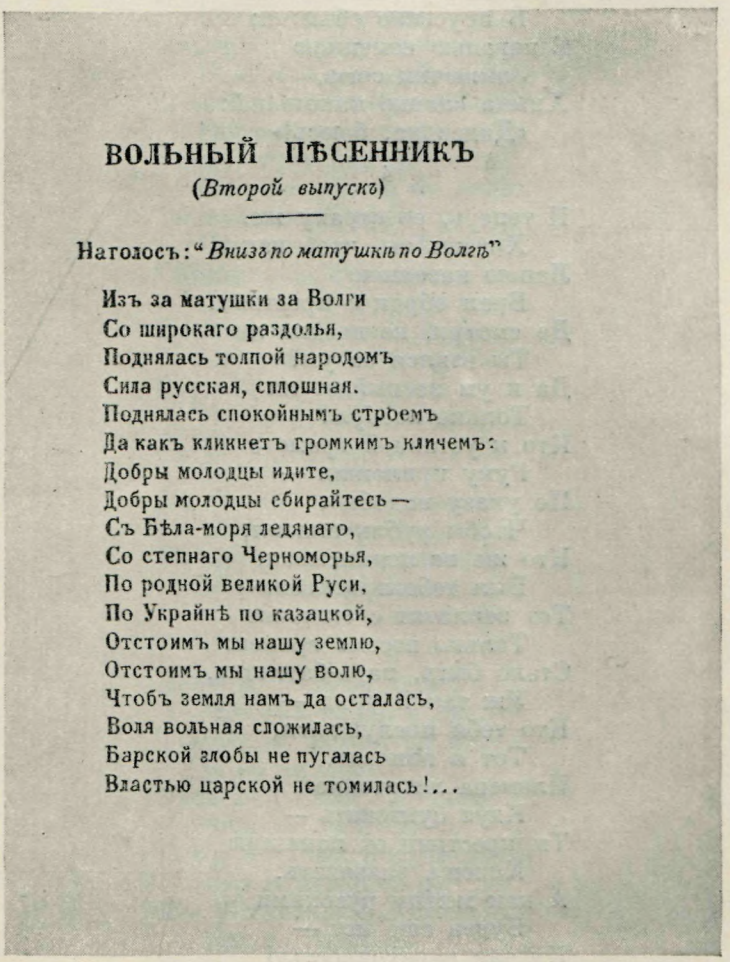
2

Эх ты, царь наш батюшка,
Я простой мужик —
И к словам заморскиим
Вовсе не привык.
Мне бы как попроще-то:
Посулил — подай,
Хочешь *да* — скажи, а *нет* —
Рта не разевай.
В промежутке пустошном
Между *да* и *нетом*
Смыслу не найти тебе
С всем твоим Советом.
Был бы ты, царь-батюшка,
Сам себе не враг,—
Верно не втесался бы
В постепенный мрак,
А с начала с самого
Нам бы землю дал,

Без оброков-выкупов
Всех бы развязал.

3

Ты пойми, царь-батюшка,
Испужавшись ляха,



ВОЛЬНЫЙ ПѢСЕННИКЪ
(*Второй выпускъ*)

Наголосъ: "*Внизъ по матушкѣ по Волгѣ*"

Изъ за матушки за Волги
Со широкаго раздолья,
Поднялась толпой народомъ
Сила русская, сплошная.
Поднялась спокойнымъ стрѣмъ
Да какъ кликнетъ громкимъ кличемъ:
Добры молодцы идите,
Добры молодцы сбирайтесь —
Съ Бѣла-моря ледянаго,
Со степнаго Черноморья,
По родной великой Руси,
По Украйнѣ по казацкой,
Отстоимъ мы нашу землю,
Отстоимъ мы нашу волю,
Чтобъ земля намъ да осталась,
Воля вольная сложилась,
Барской злобы не пугалась
Властью царской не томилась!...

СТИХОТВОРЕНИЕ ОГАРЕВА «ИЗ-ЗА МАТУШКИ ЗА ВОЛГИ», («ВОЛЬНЫЙ ПЕСЕННИК», ВЫПУСК ВТОРОЙ, 1869 г.)

Лист 1

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Ты ведь за развязку-то
Вдруг взялся со страха.
Страх — советник плохонькой,
Не волён в мыслях,
И, глаза зажмуривши,
Бродит всё впотьмах.
Страх в российском воинстве
Уничтожил строй
И пустил солдатушек
На простой разбой.

Так что победятся-то
Ляхи не войсками,
А сдадутся — будут в том
Виноваты сами.
С страху ты, царь-батюшка,
Русским на проклятье
Бросился украдкою
В прусские объятья;
С поганью немецкою
Заключил союз,
Хныча словно махонькой:
«Дяденька, боюсь!»

4

И теперь, со страху же,
Хочешь ты, чтоб пан
Лапою казенною
Брал оброк с крестьян.
Да смотри, не поздно ли
Ты взялся за ум?
Да и ум не выйдет ли
Только *наобум*?
Кто к уставной грамоте
Руку приложил —
По указу надобно,
Чтобы рубль платил;
Кто же не подписывал,
Был тебе противен,—
Тот заплатит с скидкою
Только восемь гривен:
Стало быть, царь-батюшка,
Уж такой уряд —
Кто тебя послушался,
Тот и виноват.
Племена литовские
Идут бунтовать —
Ты крестьян от панщины
Хочешь развязать.
А как между русскими
Бунта еще нет —
Ну так переходностью
Сжать их на сто лет,
Чтобы царской милости
Век был русский барин —
За неразвязание —
Очень благодарен.

5

Ну, — с Литвой как рядышком,
Если наш народ
В неповиновении
Выгоду поймет?
Если Псков да Новгород
Да смоленский люд,
А потом московские
К ним же подойдут,

Да по всей империи
Русский весь народ —
На неправосудие
Вдруг возопиет:
«Нутка, царь, развязывай!»
Нет уж, тут с рубля
Двадцатью копейками
Отлынять нельзя.
Видишь ли, царь-батюшка,
В страхе нет добра,
С ним, — чего мудреного, —
Побежишь с двора.
Знамо, тучу божию
Не сшвырнешь на вилах —
Ты сознайся попросту,
Что владать не в силах.
Обратись-ка к земщине,
Созови собор,
Да народных выборных
Слушай приговор;
Слушай во смирении,
Головой склонись,
Разуму народному
Сам-то поучись.
Да спеши, царь-батюшка,
Чтоб не запоздать,
Не пришлось бы земщину
Без тебя сзывать.

6

Если я, царь-батюшка,
Что сказал не в лад, —
Ты уж не взыщи на мне,
Я не виноват.
Твой покойный тятенька
Человек был строг,
Всех, кто был пограмотней,
Гнул в бараний рог.
Мы учились без толку
Как-то на-авось...
Впрочем, свет царь-батюшка,
Ты меня не бось,
Человек я маленький,
Смирный, не буян,
Чином не запятнанный
И не из дворян.
Я не вор, не взяточник,
Не шпион какой,
Купленный и проданный,
А мужик простой —
Пока верноподданный.

Фирс * Холмогоров

<1863 г.>

* Я, люди добрые, именинник бываю 14 декабря; милости просим закусить.— *Примеч. сочинителя.*

3

На голос: «Ездил русский белый царь
Православный государь,
Из своей страны далеко
Лавры пожинать».

Жил на свете русский царь,
Разнемецкий государь,
Он крестьянскому народу
Волю обещал! *(дважды)*

Чтобы каждый селянин,
Как теперя дворянин,
От работы подневольной
Век не горевал!

Чтоб его ни бить, ни сечь,
Обдирая шкуру с плеч,
Ни помещик, ни чиновник
Более не мог.

Чтобы он землей владел,
И пошли б ему в надел
Те поля, за что платил он
Барину оброк.

Обещал-то царь легко.
Но уехать далеко
На посуле, как на стуле,
Видно захотел.

Думал: «глуп мужик, всё съест!»
И составил Манифест,
Что ни в толк взять, ни понять
Никто не сумел.

Ну, чиновники читать,
Да крестьянам толковать,
Что та новая неволя —
Волюшка и есть.

Воля-вольная нищать,
Да под розгами пищать,
Да начальству грош последний
Со слезами несть.

Призадумался народ,
Чует — кто-нибудь да врет:
Иль начальство надувает,
Или самый царь.

Что за воля без земли,
Чтобы барщину несли
И оброк крестьяне так же,
Как водилось встарь?

Это что-нибудь не так —
И попалися впросак
Те крестьяне, что судили
О делах своих.

МУЖИЧКАМЪ.

***

Люди мои милые, люди мои бѣдные,
Когда-жъ это вы начнёте голоса-то побѣдные?

Поразберите сами—что̀ вы теперь справляете—
Плотите, плотите, голодаете, голодаете...

Развѣ это въ самомъ дѣлѣ жизнь для человѣка?
И чѣмъ-же это лучше какого крѣпостнаго вѣка?

Старшинъ выбираете будто вы, а выбираетъ начальство,
Отъ этого и идётъ только грабёжъ да нахальство.

А вся бѣда, что вы еще вѣрите въ дѣло царское,
А оно тоже дѣло чиновничье и дѣло барское.

Когда-жъ это вы перестанете во вздоры-то вѣрить,
Да станете всѣ дѣла на свой аршинъ мѣрить?

Пора, братцы, пора! Время то уходитъ,
Не станете за себя сами—такъ они васъ уходятъ.

Надо самимъ силу въ руки взять для лучшей-то доли,
Чтобы добиться въ самомъ дѣлѣ и земли и воли,

А тамъ ужъ межъ себя подѣлитесь и разверстаете,
Не то что по указу царскому, а какъ сами знаете.

***

«МУЖИЧКАМ» — ЛИСТОВКА, НАПИСАННАЯ ОГАРЕВЫМ
1869 г.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

По селам, без дальних слов,
Как прямых бунтовщиков,
Стала сечь их и тиранить
Стая становых.

Ну, сзывать на них полки,
Да водить солдат в штыки,
Чтоб по старому порядку
Всё водилось вновь.

Напроказил царь-отец!
На Руси с конца в конец
Из-за царского обмана
Пролилася кровь.

Надо, значит, для крестьян,
Чтоб народ за волю сам
Дружно — миром, волостями
В одно время встал!

Надо, значит, чтоб солдат
Помогал ему как брат
И, не слушая приказа,
В него не стрелял.

<1863 г.>

4

Царь — отечества отец!
Гроши сгибли на дворец,
На железные дороги
И на Невский мост.
Прошлогодние итоги
Нам поджали хвост.

Всем известно, что расход
Прибывает каждый год,
И недаром за ушами
Чешет бедный наш народ.
Все финансы по рукам
Так и льются здесь и там;
А уж главный над путями
Без пути берет.

Мы министры — господа,
Неизвестна нам нужда!
Всё по-русски — сущий вздор!
Чтоб добраться цели,
Жмем народ до тех мы пор,
Сок пока есть в теле.
Им же лучше — пусть сидят
В нищете и мраке,
Ведь от жиру, говорят,
Бесятся собаки.

Все приказы отданы —
Не жалей мирской казны,
Войску нашему маршрут:
Пусть их лямку трут,
На венгерца прут,
За австрийца мрут,
Вместо их рекрут
Втрое наберут.

<После 1863 г.>

5

НАДГРОБНОЕ

Что тебя прихлопнуло,
Старый генерал?
Совесть ли проснулася,
Царь ли обругал?

Видишь, как бы ни было,
Будь хотя подлец,
А кондрашка всё-таки
Хватит наконец.

И хватил насмешливо,
Не уважив чин,
Накануне именно
Царских именин.

И равно ни холодно
И не горячо,
Есть Андрей с брильянтами
Иль через плечо.

Вот мораль из этого,
Будь ты хоть палач,
А издохнешь всё-таки,
Злобствуй или плачь.

<1866 г.>

6

ЦАРСКИЕ УКАЗЫ

(ПОДРАЖАНИЕ ЛЕРМОНТОВУ)

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но их без волненья
Сносить невозможно.

Как полны их звуки
Безумством стяжаний,
В них все наши муки,
Обман обещаний.

Дождется отпора
От схода мирского —
Из гнета и вздора
Сотканное слово.

В селе или в поле,
Мы — где б ни случилось —
Проклясть поневоле
Его мы решились.

Не кончивши жнитвы,
Для воли все разом
Мы бросились в битвы
На гибель указам.

<1869 г.>

ЛИСТОВКИ

7

МУЖИЧКАМ

Люди мои милые, люди мои бедные,
Когда ж это вы начнете голоса-то победные?

Поразберите сами — что̀ вы теперь справляете —
Плотите, плотите, голодаете, голодаете...

Разве это в самом деле жизнь для человека?
И чем же это лучше какого крепостного века?

Старшин выбираете будто вы, а выбирает начальство,
От этого и идет только грабеж и нахальство.

А вся беда, что вы еще верите в дело царское,
А оно тоже дело чиновничье и дело барское.

Когда ж это вы перестанете во вздоры-то верить
Да станете все дела на свой аршин мерить?

Пора, братцы, пора! Время-то уходит.
Не станете за себя сами — так они вас уходят.

Надо самим силу в руки взять для лучшей-то доли,
Чтобы добиться в самом деле и земли и воли.

А там уж меж себя поделитесь и разверстаете,
Не то что по указу царскому, а как сами знаете.

<1869 г.>

8

ВСТРЕЧА

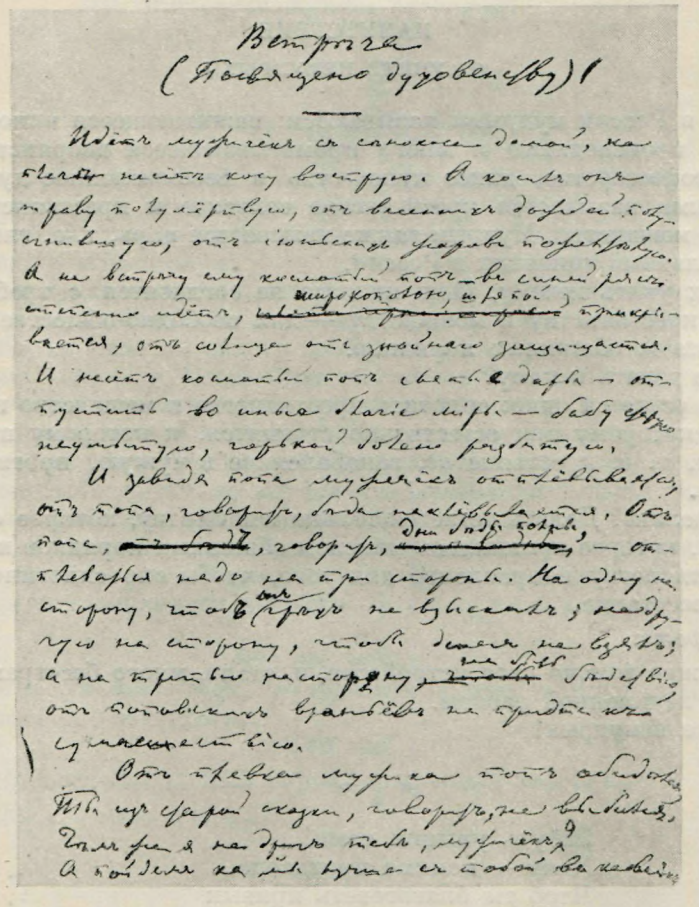
(ПОСВЯЩЕНО ДУХОВЕНСТВУ)

Идет мужичок с сенокоса домой, на плече несет косу вострую. А косил он траву полумертвую, от весенних дождей полусгнившую, от июньских жаров пожелтелую. А навстречу ему косматый поп—в синей рясе степенно идет, широкополою шляпой прикрывается, от солнца от знойного защищается. И несет косматый поп святые дары—отпустить во иные благие миры бабу старую, неумытую, горькой долей разбитую.

И, завидя попа, мужичок отплевывается, от попа, говорит, беда наклевывается. От попа, говорит, дни беды полны — отплеваться надо на три стороны. На одну на сторону, чтоб он грех не взыскал; на другую на сторону, чтобы денег не взял; а на третью на сторону не быть бедствию, от поповских враньев не придти к сумасшествию.

От плевка мужика поп обиделся.
Ты из старой сказки, говорит, не выбился,
Чем же я не друг тебе, мужичок?
А пойдем-ка мы лучше с тобой в кабачок,
Зеленáго вина выпьем чару дружную,
Потолкуем речь, обоим нужную.

А старуха святых даров без хлопот подождет,
И приду ли я поздно, всё равно помрет.
И пошел с попом мужичок в кабачок,
Чару выпили зеленáго вина,
И поп говорит: моя жизнь не красна
И не лучше мужицкой, ты мне просто поверь,
Мы живем, как холоп, как замученный зверь.



«ВСТРЕЧА» — ЛИСТОВКА, НАПИСАННАЯ ОГАРЕВЫМ, 1869 г.
Автограф, лист 1
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

А теперь нам еще хуже приходится,
Наше племя больше на шатанье расходится.

А мужик говорит: Дурень ты, поп,
Присылай к нам детей и в жар и в зноб,
Мы им работу дадим на месте,
Землю пахать станем вместе,
Мы только примем их, как родных,
Мы только вскормим их, как своих.

А не то надоело косить траву блеклую,
Я возьму косу, косу вострую,
Да смету вас всех, моих начальников,
Моих предателей, моих нахальников,
И поверь, тогда без вашей подготовщины,
Проживем и проверуем безо всякой поповщины.

<1869 г.>

9

НАПУТСТВИЕ

(НАУЧИТЕ НЕМУДРЫХ!)

У нас в России мудрыми называются: наживающееся чиновничество, немножко производящее и много проматывающееся дворянство, заслуженное профессорство, дикое купечество и бессмысленное духовенство; а немудрыми называется крестьянство сельское и крестьянство городское, т. е. мещанство. Мудрым также называется царь, т. е. главный дворянин и главный чиновник в России.

Мудрых учить нечему. Они никогда не согласятся с требованиями, нужными крестьянству и мещанству — для свободно-общественных или, лучше сказать, общинных порядков.

Что же делать и кому?

Делать остается одно: сплотить крестьянство и мещанство в одно восстание, к которому они естественно стремятся, к которому примкнет и солдатство, т. е. крестьянство, закабаленное в чужую, противную собственность.

Кому делать? Делать остается только юношеству, которое отказалось от мудрых, которое прониклось смыслом общинных порядков и решилось дать крестьянству направление для того, чтобы оно сплотилось в одно всеобщее восстание.

На обороте:

Тут нужно только свое устройство, и, стало, много бесстрашной, безусталой и неуклонной работы.

Научите немудрых!

<1869 г.>

* * *

Забудь уныния язык!
Хочу — помимо произвола,
Чтоб ты благоговеть привык
Перед святынею глагола.

Мне надо, чтобы с уст твоих,
Непраздноословных и нелживых,
Звучал поток речей живых,
Как разум ясных и правдивых.

Отбрось рабов обычных школ —
И книжника и фарисея:
Пред ними истины глагол
Проходит, власти не имея.

Учи того, кто не успел
С ума сойти в их жизни ложной,
Кто ищет, искренен и смел,
Рассудка простоты несложной.

Глагол — орудие свободы,
Живая жизнь, которой днесь
И вечно движутся народы...
Проникнись этой мыслью весь!

Готов ли? Ну! Теперь смотри —
Ступай по городам и селам
И о грядущем говори
Животрепещущим глаголом.

<1858 г.>

10

К ДУХОВЕНСТВУ

Ах, вы, мои милые попы! Что это у вас за оказия? Сельские приходы поуничтожили, всё, мол, нужен центр, центр, центр — чиновничье средоточие. Поэтому заводятся большие приходы, куда крестьяне за 50 верст должны ездить помолиться.

Что ж вы думаете, что правительство хочет уничтожать веру... в неизвестное? ну! это еще было бы не так дурно; но не в том дело. Правительство хочет, чтобы не было ни одного свободного, самостоятельного попа, дьякона, дьячка, пономаря. Стало быть, как можно больше мелких попов, дьяконов, дьячков, пономарей — в сторону, в заштат; а останутся только попы-чиновники, вот что и нужно правительству. А для этого оно сообразило, что, кроме уничтожения мелких приходов и маленьких лиц духовного звания, еще будет лучше не впускать в семинарии больше половины детей, которые шли в них, так чтобы из 500 шло не больше 2-х сот. А остальные пойдут, куда хотят — в кузнецы или в солдаты. Я не скажу вам, чтобы семинария была хорошая вещь, в ней обычно преподавание шло глупо; но она давала стольким-то юношам средство питаться, а теперь этого не будет.

Что же делать?

Да идти в мужики — туда, где мужики захотят встать и разрушить это недобросовестное государство.

Так ли?

Подписываюсь Преданный народу искренний человек.

<Сентябрь 1869 г.— март 1870 г.>

ЭПИГРАММЫ

11

Я не люблю попов ни наших, ни чужих —
Не в них нуждаются народы.
Попы ли церкви, иль попы свободы —
Все подлецы! Всех к чёрту! Что нам в них?
На место этих иноков бесплодных
Давайте просто нам — людей свободных.

<1858 г.?>

12

Палач свободы по призванью,
Палач науки по уму,
Прилгавший к ясному преданью

Теоретическую тьму:
Как ты ни гордо лицемерен,
А всё же знай, Видок Тетерин,
Что ты, в глазах честны́х людей,
Доносописец и злодей,
Холоп и шут самодержавья,
Достойный тяжкого бесславья
Иль смерти немца Коцебу...
Итак — свершай свою судьбу.

<1862 г.>

13

«И бранную повесил лиру
Меж верной сабли и седла...»

Бранной лиры, бранной славы
Ненавижу я права,
Ими жив орел двуглавый,
Чёрт возьми их пир кровавый!
Лучше бранные слова.

<1863 г.?>

14

Отцы отечества в мундирах красных!
Как это нет у вас понятий ясных,
И не вперед вас из апелляционных
Подвинуло название кассацьонных?
Недаром в вас народ, назло призра́кам,
Обычное находит сходство с раком.

<Апрель 1867 г.>

15

Т<УРГЕНЕ>ВУ

Я прочел ваш вялый «Дым»
И скажу вам не в обиду —
Я скучал за чтеньем сим
И пропел вам панихиду.

<1867 г.>

ПРИМЕЧАНИЯ

1. СОВРЕМЕННОЕ

Принадлежность данного стихотворения Огареву устанавливается на основании автографа, хранящегося в ЛБ (Г.— О. VII. 36). Автограф беловой с поправками карандашом и чернилами.

Печатается по тексту «Колокола» (л. 21, от 15 августа 1858 г., стр. 173—174), где стихотворение, опубликованное анонимно, следует непосредственно за статьями Огарева, посвященными разбору проектов Главного секретного комитета по крестьянскому вопросу. Эти статьи — «Нет больше освобождения крестьян!» и «Нет больше спасенья от чиновничества!» — напечатаны тоже анонимно; принадлежность их Огареву устанавливается сопоставлением с заметкой — «Ответ», напечатанной за подписью Огарева в «Смеси», л. 28.

Назначение «Современного» очевидно: оно призвано было служить прямой сатирической параллелью тем положениям, которые развивались в названных статьях, направленных против крепостнических проектов «освобождения». За несколько месяцев до того как было написано «Современное», Огарев в «Колоколе» (л. 14 от 1 мая

1858 г., стр. 99—100), в стихотворении «С того берега», упоминая о «Кесаре», т. е. об Александре II, писал:

Погляжу я на дальний на восток:
Там мое племя живет, племя доброе.
Кесарь хочет ему сам свободу дать,
Хочет сам да и побаивается.

. . . . . .

Ну! Да как же Кесарю нам свободу дать?
У него всё ж орел на знамени

. . . . . .

А орел — птица кровожадная! —
Верить хочется и не верится,
С думы сердце в груди надрывается.

Недоверие к возможности «освобождения сверху» отчетливо звучит во многих выступлениях Герцена и Огарева даже в тот период, когда на страницах «Колокола» появлялись слащавые письма к Александру II Вешателю, о которых упоминает в своей характеристике Герцена В. И. Ленин (т. 18, стр. 12).

В публикуемом стихотворении Огарев создает образ барина, злорадно издевающегося над мечтами дворового человека о воле. Сатирический образ, созданный Огаревым, служит разоблачению политической позиции и классового своекорыстия крепостников-помещиков. Однако и в этих стихах Огарев еще отделяет царя от крепостников и реакционных бюрократов («Панины да воры»), вкладывая в уста дворового опасение, что они «кругом надуют» не только «Фильку», т. е. народ, но и самого царя.

2. МЫСЛИ РОССИЯНИНА

Печатается по тексту «Общего веча», № 14 (15 апреля 1863 г., стр. 69—70). Впервые вопрос о принадлежности этого стихотворения-памфлета Огареву был поднят М. М. Клевенским. Покойный исследователь писал: «Кто такой „Фирс Холмогоров", стихотворение которого помещено в 14 номере „Общего веча"? Огарев ли, что очень вероятно, или кто-нибудь другой?» («Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 580). Предположение, высказанное М. Клевенским, мы можем подтвердить нижеследующими данными.

Изучая тексты, вошедшие во второй выпуск «Вольного песенника» (по несброшюрованному оттиску в «пражской коллекции» — ЦГАОР ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 63), мы обнаружили здесь другую сокращенную редакцию первых двух главок публикуемого стихотворения приспособленную к нуждам агитационной кампании 1869—1870 гг. Тексты «Вольного песенника» были подобраны, а частью и написаны Огаревым. Ему, несомненно, принадлежат напечатанные в песеннике стихотворения «Из-за матушки за Волги», «Надгробное» и, вероятно, стихотворения «Царские указы», «Жил на свете русский царь» и «Царь—отечества отец!», включенные (кроме первого) в настоящую публикацию. Как мы указываем ниже (см. стр. 599 в примечаниях к листовке «Напутствие (Научите немудрых!)», в агитационной практике Огарева были нередки случаи переделки собственных старых стихов и приспособление их к нуждам агитации в новой политической обстановке.

Одним из таких случаев и является переработка стихотворения-памфлета 1863 г. Памфлет при переделке подвергся коренным изменениям и по содержанию и стилистически. Главки 3—6 памфлета были удалены, потому что устарели. Они содержат (кроме 6-й главки) сатирическую характеристику политики царского правительства в Литве и Белоруссии по отношению к крестьянам. Как известно, желая предотвратить участие литовских и белорусских крестьян в польском восстании 1863 г., царское правительство в западных губерниях пошло на отмену «временнообязанных» отношений крестьян к помещикам. Автор памфлета умело использовал в качестве объекта сатиры трусливую и двоедушную политику царя. В агитационной кампании 1869 г. эти мотивы были уже неуместны: «временнообязанные» отношения крестьян к помещикам продолжали существовать во всей России и к борьбе с ними и призывал Огарев почти во всех своих агитационных выступлениях 1869 г. Этой борьбе и посвящена была песня «Мысли россиянина...».

Работая в 1869 г. над песней, автор использовал первые две главки печатаемого нами памфлета 1863 г., подвергнув их некоторым стилистическим изменениям. Короткие строки памфлета (5- и 7-сложные) были соединены и превращены в 12-сложные.

Например, стихи:

Мужику помажу я
Медом по усам,
А другой-де воли я
Всё ж ему не дам —

в новой редакции приняли следующий вид:

И народ помажем мы медом по усам
(А другой-де воли я мужику не дам).

Доведены до большей отчетливости неясные прежде строки. Например, вместо строк:

Знать, покуда в Питере
Тешили слова,
Думал ты, пируючи:
«Всё, мол, трын-трава»! —

в «Песеннике» читаем:

Знать, покуда в дело-то шли одни слова,
В Питере вы думали: «Всё, мол, трын-трава».

Вместо стихов:

Верно не втесался бы
В постепенный мрак —

находим:

Не вдался тогда бы ты в постепенный мрак.

Несомненно, осуществить подобную переработку памфлета могло только лицо, хорошо знавшее состав старых номеров «Общего веча» — журнала, единоличным редактором которого был Огарев. Издание «Общего веча» прекратилось летом 1864 г. Кто же, кроме Огарева, среди участников агитационной кампании 1869 г. мог помнить, что за шесть лет перед тем в «Общем вече» были напечатаны стихи, которые следовало использовать для создания агитационной песни? И кто же в этом кругу, кроме него, умел перерабатывать стихи?

Мы, таким образом, приходим к заключению, что авторство помещенных в «Общем вече» «Мыслей россиянина...» и переработка памфлета для «Вольного песенника» принадлежат Огареву и что, следовательно, псевдоним «Фирс Холмогоров» является псевдонимом Огарева.

В тексте к «авторской» подписи стихотворения — Фирс Холмогоров — сделано следующее «примечание сочинителя»: «Я, люди добрые, именинник бываю 14 декабря; милости просим закусить». Справка, при всей своей шутливости, вполне точная: в святцах под 14 декабря среди других имен первым назван Фирс. Огарев постоянно связывал традиции 14 декабря 1825 г. с современным ему революционным движением. Примечание призвано было служить своего рода политическим самопредставлением и автохарактеристикой «Фирса Холмогорова»-Огарева как человека свято чтущего («именинник» чтит день своих именин) день первого в России открытого выступления против самодержавия с оружием в руках.

Возможно, что и выбор фамилии для псевдонима — «Холмогоров» — следует тоже поставить в связь с постоянным интересом Огарева ко всему, что было связано с деятельностью декабристов.

Разбирая в 1857 г. книгу Корфа о 14 декабря и донесение Следственной комиссии, составленное Блудовым, Огарев в специальном примечании взял под защиту от насмешек Блудова проект Пестеля (в «Русской правде»), предлагавшего образовать особую «Холмогорскую область». «Автора донесения поразило название: Холмогорская область,— писал Огарев,— но если бы он сам знал Россию, то он <...> понял бы название: Холмогорская область, и понял бы, что географические понятия Пестеля шли далее, чем хозяйственная наслышка о холмогорских коровах в Архангельской губернии» («Разбор книги Корфа»—«Избранные социально-политические и философские произведения Огарева». М., 1952, стр. 229).

Таким образом, и анализ самого псевдонима — «Фирс Холмогоров» — подтверждает наше предположение, что псевдоним этот принадлежит Огареву.

3. «ЖИЛ НА СВЕТЕ РУССКИЙ ЦАРЬ...»

Печатается по тексту второго выпуска «Вольного песенника» (Женева, 1869, стр. 10—13, цит. экз.). Впервые песня была напечатана в 1863 г. в сборнике «Свободные русские песни», выпущенном Бернской типографией. Повидимому, составителем этого сборника, а также и автором нескольких песен был Огарев (см. «Лит. наследство», т. 41-42, 1941 стр. 58). Написана, несомненно, Огаревым и песня «Жил на свете русский царь...». По содержанию она *полностью* совпадает с агитационными и публицистическими выступлениями Огарева в 1861—1863 гг.— со статьями «Разбор нового крепостного права» и «Что нужно народу?» и воззваниями 1862—1863 гг. По форме и языку песня «Жил на свете русский царь...» тоже сильно напоминает приемы и словоупотребление Огарева. Напр. оборот, дважды встречающийся в данном произведении:

Ну, чиновники читать

или:

Ну, сзывать на них полки —

весьма часто встречается в огаревской публицистике. Приведем несколько примеров: «Ну, так просто заплати за твои часы, которые у тебя в кармане» («Письмо к малороссийскому помещику», 1859); «Ну! а как правительство способно только грабить...» («Конституция и земский собор», 1863); «Ну, тогда спокойно и достойно будет расти свобода и могущество единого, бессословного русского народа» («Ход судеб», 1862); «Ну, а если народ нас не понимал...» («Ответ на ответ „Великоруссу"», 1861) и др.

Что касается совпадения темы данной песни с темами других агитационных произведений Огарева, то оно настолько полно, что нет необходимости проводить отдельные параллели. Главный же замысел песни — разоблачить царский манифест: царь посулил крестьянам волю и землю, а дал расстрелы,— может быть сопоставлен со следующим местом из статьи «Разбор нового крепостного права»: «Вам захотелось поиграть в освобождение и вы не пожалели мужицкой крови, Александр Николаевич? Ну! смотрите — как бы вам ею не захлебнуться».

Автор песни издевается также над высокопарными канцелярскими оборотами «Положения», делающими его непонятным народу. Тот же мотив наличествует и в статье: «Первый вопрос, который невольно задаешь себе, прочитавши устав: ‹«Положение» — *Я. Ч.*› для кого он написан? Всего меньше для крестьян. Книгу в 43 листа двойного in folio ни один грамотей из крестьян не одолеет и ни один безграмотный не прослушает...» и т. д. (см. «Разбор нового крепостного права». Лондон, 1861, стр. 5).

4. «ЦАРЬ — ОТЕЧЕСТВА ОТЕЦ!»

Печатается по тексту «Вольного песенника» (Женева, 1869, стр. 30, цит. экз.), где стихотворение помещено без подписи. Его принадлежность Огареву устанавливается нами на основании косвенных данных и анализа содержания; документальные доказательства пока отсутствуют. Данными для точной датировки мы не располагаем. Стихотворение представляет собой переработку текста 1849 г., осуществленную, повидимому, после 1863 г., т. е. после выхода в свет сборника «Свободные русские песни», в состав которого оно не попало.

В песне высмеивается состояние финансов царской России и разоблачается финансовая политика царизма. Самодержавное правительство, разоряющее страну, чиновничество, грабящее казну и народ,— это темы многих статей Огарева в «Полярной звезде» и «Колоколе».

Постоянный интерес Огарева к вопросам финансового положения России, статьи, разоблачающие мнимое «благополучие» царских финансов, позволяют предполагать, что ему принадлежит и агитационно-сатирическая песня, посвященная этой теме.

Если наше предположение правильно и «песня» «Царь—отечества отец!» принадлежит Огареву, то тем самым определяется *метод*, применявшийся Огаревым при составлении «Песенников». Дело в том, что и эта «песня» представляет, подобно памфлету «Мысли россиянина...» (см. выше), обработку ранее напечатанного произведения. В 1861 г. в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия» Огарев поместил в разделе «Стихотворения разных авторов» сатирическую сцену в стихах «Разговор в 1849 году». Действующие лица этого «Разговора» — Николай I, требующий денег на Венгерский поход, министр финансов Вронченко, обер-прокурор Синода Протасов и министр двора Волконский. Песня «Царь —отечества отец!» составлена из реплик Вронченко и Волконского (см. указ. издание, Лондон, 1861, стр. 370—374 или «Лютня II», Лейпциг, 1874, стр. 283—286), реплик, к которым Огарев дописал необходимые, связывающие текст строки.

Так, в третьей строфе дописаны первые строки:

Мы министры — господа,
Неизвестна нам нужда!—

заменяющие восемь строк реплики Волконского.

В четвертой строфе начальные строки:

Все приказы отданы—
Не жалей мирской казны,—

заменяют строки реплики Николая I:

Маршрут составлен мной, приказы отданы;
Развязывай кошель и не жалей казны.

Работая над подготовкой песенника, Огарев, следовательно, переработал старый текст, удалив все упоминания о Николае I и его министрах — с целью приспособить песню к новой обстановке и сохранить ее острие, направленное против царской

финансовой политики. Разумеется, нельзя с полной уверенностью утверждать, что не только переработка, но и сама сатира принадлежит Огареву. Это подлежит дальнейшему исследованию.

5. НАДГРОБНОЕ

Печатается по тексту второго выпуска «Вольного песенника» (Женева, 1869, стр. 20—22, цит. экз.), где это стихотворение было опубликовано анонимно. Авторство Огарева устанавливается на основании автографа, находящегося в его записной книжке 1866—1867 гг. (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 44, лл. 59—60); здесь же на листе 19 — черновик двух строф.

Сатирическая эпитафия придворному генералу-палачу написана в сентябре 1866 г. С полной уверенностью можно утверждать, что относится она к М. Н. Муравьеву, который скоропостижно умер в ночь с 28 на 29 августа этого года.

В статье «Виселица и Муравьев», напечатанной 1 октября 1866 г. в л. 228 «Колокола», Герцен писал: «За четыре дня до казни Каракозова, в деревенской глуши, темной ночью 〈...〉 задохнулся отвалившийся от груди России вампир 〈...〉 Зачем бежал задыхающийся старик от царских именин, от какого барского слова? Зачем Зимний дворец не остановил его, а бросил на окоченелый труп брильянтовые знаки Андрея? Ни государь, ни общество не смоют пятна, которое им завещал умерший палач...» (XIX, 61).

Огарев, так же как и Герцен, говорит о смерти Муравьева «накануне... царских именин» и об «Андрее с брильянтами», т. е. об ордене Андрея Первозванного, пожалованном Муравьеву в тот день, когда он был уже мертв, и пр.

6. ЦАРСКИЕ УКАЗЫ (ПОДРАЖАНИЕ ЛЕРМОНТОВУ)

Печатается по тексту второго выпуска «Вольного песенника» (Женева, 1869, стр. 22—23, цит. экз.), где стихотворение опубликовано анонимно. Хотя документальным доказательством авторства Огарева мы не располагаем, но многое свидетельствует о том, что автором был именно он. В прозаическом воззвании «К сельскому духовенству», принадлежащем Огареву (как это убедительно показано Е. Н. Кушевой), автор говорит о борьбе с указом царя от 16 апреля 1869 г. («Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 144—145; атрибуция Е. Н. Кушевой подтверждается сохранившейся в «пражской коллекции» автографической рукописью Огарева «К духовенству», представляющей собой сокращенный вариант того же воззвания). В зачеркнутых строфах стихотворения «Часто в жизни всё не вяжется», относящегося к началу шестидесятых годов, Огарев писал:

Не сгубят *указы царские*
Руси силы молодецкие
Ни помещики татарские,
Ни чиновники немецкие.

(«Избранные стихотворения и поэмы». М., 1938, стр. 48—49).

Губительные «царские указы» как воплощение лжи самодержавного строя — эта формула характерна и для поэзии и для публицистики Огарева; характерно также, что стихотворение написано в форме подражания Лермонтову. Огарев неоднократно использовал лермонтовские стихотворения в качестве основы для собственных агитационно-сатирических произведений. Широко известна, например, стихотворная листовка Огарева «Спи, потомок благородья», построенная на использовании «Казачьей колыбельной» Лермонтова.

7. МУЖИЧКАМ

Печатается по оттиску анонимной листовки, сохранившейся в «пражской коллекции» (ЦГАОР ф. 5770, он. 1, ед. хр. 63, л. 54). Кроме этого экземпляра, в 1950 г. был обнаружен еще один (ЦГИАМ, Отдел печатных источников).

Листовка была выпущена в 1869 г. для нужд агитационной кампании Нечаева. Автором ее, несомненно, является Огарев. По стилю, по словарю, по содержанию листовка примыкает к другим агитационным произведениям Огарева 1869—1870 гг. Так, мы находим в листовке постоянные мотивы публицистики и агитации Огарева: установившиеся после 19 февраля 1861 г. порядки не лучше «упраздненного» крепостного права; самоуправление крестьян — мнимое, оно в руках чиновников и бар; необходимо самому народу подняться за «землю и волю» и действовать не по «указу царскому», и т. д. Ср. стихотворение «Царские указы» и комментарий к нему.

Впервые листовки «Мужичкам» были зарегистрированы в III Отделении 14 августа 1869 г. (Арх. III Отдел., ф. 109, 3-я эксп. 1869 г., № 110, ч. 2-я, л. 167). Поскольку перлюстрация и регистрация листовки происходили обычно спустя семь — десять дней после ее напечатания, следует считать, что работал Огарев над листовкой в конце июля — начале августа 1869 г.

8. ВСТРЕЧА. (ПОСВЯЩЕНО ДУХОВЕНСТВУ)

Печатается по рукописи Огарева, сверенной с корректурным оттиском, который был исправлен автором. И автограф и корректура хранятся в «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 31). Листовка «Встреча» была выпущена в Женеве для нужд агитационной кампании 1869—1870 гг.; 8 октября 1869 г. зарегистрирована в III Отделении при перлюстрации пакетов с воззваниями, рассылавшимися по России (Арх. III Отдел., ф. 109, 3-й эксп., 1869 г.. № 110, ч. 3-я, л. 80). Следовательно, работал Огарев над листовкой в двадцатых числах сентября 1869 г.

9. НАПУТСТВИЕ. (НАУЧИТЕ НЕМУДРЫХ!)

Текст листовки воспроизводится по экземпляру «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 63). Листовка под этим заглавием была выпущена в Женеве в 1869 г., и Нечаев рассылал ее по всей России. До сих пор текст ее известен не был; под кратким заглавием «Напутствие» она была только описана (не de visu) в библиографическом указателе «Русская подпольная и зарубежная печать» (вып. 1, М., 1935, стр. 173), но без указания авторства Огарева.

Благодаря обнаруженному в «пражской коллекции» оттиску мы имеем возможность сообщить следующее. Текст листовки, частью прозаический, частью стихотворный, расположен с двух сторон листка обычного (16°) книжного формата. Прозаический текст занимает лицевую сторону и верх оборота. Далее, отделенный звездочками, следует текст стихотворения, написанного Огаревым еще в 1858 г., причем напечатано оно в листовке 1869 г. полностью, но без заглавия («Напутствие») и эпиграфа («Научите немудрых!»), соединенных вместе и вынесенных в общее заглавие, без ссылки на евангелие. Четвертая строфа воспроизведена в листовке с вариантом. В редакции 1858 г. вместо слова «ложной» было — «дикой», вместо слова «несложной» — «великой».

По архивным материалам история появления листовки «Напутствие» представляется в следующем виде. В августе — сентябре 1869 г., когда для агитационной кампании Нечаева (начавшейся в апреле) потребовались новые воззвания, обращенные к студентам, крестьянам, солдатам, низшему духовенству, Огарев, наряду со многими вновь написанными листовками, вспомнил о прежних своих аналогичных опытах и, между прочим, решил использовать для новой цели старое стихотворение «Напутствие». Он написал прозаический текст, в котором сформулировал главную задачу: «...сплотить крестьянство и мещанство в одно восстание, к которому они естественно стремятся, к которому примкнет и солдатство, т. е. крестьянство, закабаленное в чужую, противную собственность». Задачу эту должно разрешить юношество — молодежь. Примечательно, что обо всех трех силах, т. е. о крестьянстве, мещанстве и солдатстве, говорится в третьем лице, безлично, как бы объективно и лишь в конце воззвания Огарев прямо адресуется к молодежи: «Тут нужно только свое устройство (т. е. своя организация.— *Я. Ч.*),— пишет он,—и, стало, много бесстрашной, безусталой и неуклонной работы. Научите немудрых!».

Листовка, следовательно, по замыслу своему не была обращена прямо ни к одной из социальных групп в отдельности, а ко всем им вместе,— через юношество, т. е. в полном соответствии с известным планом Нечаева. Именно на юношество — на студенчество — по плану Нечаева возлагалась задача «дать крестьянству направление для того, чтобы оно сплотилось в одно всеобщее восстание», как пишет Огарев в этой же листовке. Центральной фигурой, к которой обращено воззвание, является, таким образом, молодой пропагандист. Огарев естественно вспомнил свое старое, написанное за одиннадцать лет до того стихотворение «Напутствие», тоже обращенное к пропагандисту.

Тема листовки «Научите немудрых!» занимала Огарева еще задолго до знакомства с Нечаевым. В 1866 г., т. е. за три года до описываемого времени, Огарев занес в записную книжку следующее: «В христианской морали много хорошего. Напр., научите немудрых. Это, впрочем, не значит учить подлецов, которых никогда и ничему не научишь. А научите немудрых и за это жизнь положите» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 44, л. 43 об., карандашная запись).

Экземпляры листовки, отпечатанные во второй половине сентября 1869 г., были в двадцатых числах отправлены в Россию, вложенные в конверты вместе с известным стихотворением-листовкой Огарева «Студент», посвященным «молодому другу Нечаеву». Впервые обе листовки были перехвачены при перлюстрации в начале октября 1869 г. и тогда же зарегистрированы в III Отделении (Арх. III Отдел., ф. 109, 3-й эксп., 1869 г., № 110, ч. 3-я, л. 76). Следовательно, работал Огарев над листовкой в сентябре 1869 г.

Использование Огаревым одного из своих ранних стихотворений в качестве материала для листовки характерно для его агитационных приемов вообще. Стихотворения Пушкина, Лермонтова, Рылеева и других поэтов иногда перерабатывались, а иногда и пародировались им в соответствии с нуждами агитационной работы, наряду с собственными прежними стихами. Комментируя стихотворение «Напутствие», мы в свое время отмечали, что Огарев использовал мотив пушкинского «Пророка», а в последней

строфе прямо перефразировал заключительные строки Пушкина. Мы полагали, что стихотворение было написано в качестве прямого напутствия одному из посетителей лондонских изгнанников, возвращавшемуся в Россию для пропагандистской работы (Н. П. О г а р е в. Избранные стихотворения и поэмы. М., 1938, стр. 335).

Сведения о революционном движении конца пятидесятых годов, имеющиеся в литературе, далеко не достаточны, поэтому мы не можем подтвердить высказанное предположение документально; но то обстоятельство, что впоследствии Огарев использовал свое стихотворение как практическое напутствие пропагандисту-нечаевцу делает наше предположение вполне законным.

10. К ДУХОВЕНСТВУ

Прокламация воспроизводится по автографу Огарева, хранящемуся в «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 31). Повидимому, отпечатана и разослана она не была. Исследователям до настоящего времени ничего не было известно о ее существовании. По основному содержанию текст прокламации примыкает к двум другим воззваниям Огарева 1869—1870 гг.: к листовке «Сельскому духовенству», перепечатанной в 1941 г. Е. Н. Кушевой в «Лит. наследстве» (т. 41-42, 1941, стр. 142—145), и к листовке «Встреча», опубликованной нами выше.

Время работы Огарева над текстом с точностью определить трудно. Но близость темы данной прокламации к теме листовки «Встреча», написанной в сентябре 1869 г., заставляет предположить, что Огарев написал публикуемый текст в сентябре — октябре 1869 г. Однако другое обращение к низшему духовенству (прокламация «Сельскому духовенству») было выпущено в начале 1870 г. (после 11 января и до 3 апреля). Таким образом, публикуемый текст может относиться и к 1870 г.: мотивы агитации обоих обращений тождественны. В прокламации «Сельскому духовенству» читаем: «Царь ‹...› велел уничтожить мелкие приходы ‹...› ‹ребенка› за 50 верст тащить ‹...› воспитанников ‹семинарий› убавить вдвое» («Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 143). В публикуемом тексте то же: «Сельские приходы поуничтожили... за 50 верст должны ездить... не впускать в семинарии больше половины детей...».

Поэтому мы датируем публикуемый текст сентябрем 1869 г.— мартом 1870 г.

11. «Я НЕ ЛЮБЛЮ ПОПОВ НИ НАШИХ, НИ ЧУЖИХ...»

Печатается по автографу, хранящемуся в ЛБ (Г.— О. VII. 107). Написана эпиграмма на той бумаге, которой Огарев нередко пользовался в Лондоне (в частности в 1858 г.). Основываясь на этом, мы и датируем рукопись предположительно 1858 г.

По содержанию текст не дает никаких данных для датировки. Направленный против либералов — «попов свободы» — он стоит в одном ряду с другими выступлениями Огарева, в которых подвергается критике либерализм; см., например: стихотворение «Ответ кн. Вяземскому» (1863), статьи «Памяти художника» (1859), «Письмо к издателю» (1857), «Надгробное слово» (1863), из которого В. И. Ленин процитировал едкую характеристику либерала Кавелина (В. И. Л е н и н. Соч., т. 18, стр. 13), и мн. др.

Если предполагаемая дата верна, то очень возможно, что конкретным поводом для эпиграммы послужило резкое столкновение Огарева с Б. Н. Чичериным в ноябре 1858 г. След этого столкновения сохранился в воспоминаниях Чичерина («Поездки за границу». М., 1932, стр. 51).

12. «ПАЛАЧ СВОБОДЫ ПО ПРИЗВАНЬЮ...»

Эпиграмма записана набело в записной книжке Огарева из «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43а, л. 19) вслед за стихотворением «М. Л. Михайлову», относящимся к началу 1862 г.

Видок Тетерин — без сомнения, Б. Н. Чичерин, выпустивший в 1862 г., в издании К. Т. Солдатенкова, сборник статей «Несколько современных вопросов», в который было включено письмо его против Герцена — «Обвинительный акт», напечатанное в л. 29 «Колокола» от 1 декабря 1858 г. Участие Чичерина в травле Герцена в 1862 г. было организовано и поддержано прежними либеральными «друзьями» Герцена. 12 декабря 1862 г. Герцен писал Тургеневу: «Кетчер, Е. Корш и Бабст уговорили кретина Солдатенкова издать сборник чичер‹инских› статей, поставив во главе письмо его ко мне...» (XV, 565—566). Огарев дал следующую краткую характеристику этому выступлению Чичерина:

Что за год бесчеловечий!
Жатва сгибла в смраде слов,
И взошли от корня Гречей
Всё Чичерин да Катков.

Таким образом, публикуемая эпиграмма является не единственным ответом Огарева Чичерину.

Весною того же 1862 г. Огарев резко отрицательно отозвался в своей французской брошюре «Essai sur la situation russe» о книге Чичерина «Областные учреждения России в XVII веке». Чичерин утверждал, что земельные общины в России насаждались государственной властью. Это утверждение имеет в виду Огарев в следующих строках публикуемого текста: «Прилгавший к ясному преданью || Теоретическую тьму».

В бумагах Огарева, находящихся в ЛБ (Г.— О. VI. 32, зап. книжка, № 12, л. 5), сохранился черновой набросок последних четырех строк.

13. «БРАННОЙ ЛИРЫ, БРАННОЙ СЛАВЫ...»

Печатается по беловому автографу, обнаруженному в той записной книжке Огарева из «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43а, л. 27), которая содержит произведения 1861—1863 гг. Автограф эпиграммы находится среди стихотворений 1861—1862 гг.; однако в данном случае местоположение не может служить достаточным основанием для датировки, так как в этой записной книжке многие листы остались незаполненными и Огарев мог записать эпиграмму позднее на любом.

Говоря о «кровавом пире» «двуглавого орла», Огарев имеет в виду и общую политику царизма и, в частности, вероятно, расправу царского правительства с польским восстанием 1863 года и ту разнузданную пропаганду войны, которая велась реакционной печатью. Повидимому, эпиграмма написана в июне 1863 г., когда последовали известные «решительные» ответы министра иностранных дел кн. А. М. Горчакова на угрожающие ноты Англии, Франции и Австрии по поводу событий в Польше.

Эпиграф взят из лицейского стихотворения Пушкина «В. Л. Пушкину» (1817).

14. «ОТЦЫ ОТЕЧЕСТВА В МУНДИРАХ КРАСНЫХ!»

Печатается по тексту «Колокола» (л. 239, от 15 апреля 1867 г., «Смесь»), где эпиграмма подписана псевдонимом «Ветхий сатирик» и помещена в конце заметки «Вот юридический казус, совершенно оригинальный...». В «пражской коллекции» находится огаревский черновой автограф эпиграммы (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 44, л. 46). Нет никакого сомнения, что и вся заметка написана Огаревым. Приводим ее текст:

«Вот юридический казус, совершенно оригинальный.

Сотрудник „Русских ведомостей", мещанин Николай Пастухов, принес мировому судье жалобу на оскорбление, нанесенное ему квартальным надзирателем Ильинским, когда он, в качестве сотрудника, пришел к Ильинскому узнать касательно слухов о каких-то пещерах близ Дорогомиловского моста. Мировой судья приговорил Ильинского к аресту на одну неделю. Товарищ прокурора подал на этот приговор протест, который был найден мировым съездом не заслуживающим уважения; приговор же мирового судьи был утвержден. На это решение съезда товарищ прокурора подал опять протест, а Ильинский кассационную жалобу, в которых они доказывали неподсудность мировым учреждениям настоящего дела, подлежащего рассмотрению полицейского начальства, в порядке, установленном для дел о преступлениях по должности. Правительствующий сенат находит, что в жалобе, поданной мировому судье, Пастухов заявил, что надзиратель 6 квартала Хамовнической части нанес ему оскорбление за то, что он, в качестве сотрудника „Р. В.", пришел узнать от него положительные сведения об открытых в его квартале пещерах. Ясно, что Пастухов обратился к Ильинскому как к лицу официальному и что сам он признавал оскорбление от Ильинского как идущее от лица официального. А так как преступления по службе не подлежат разбирательству мирового судьи, то сенат определил: „приговор мирового съезда I округа г. Москвы отменить, а дело передать на рассмотрение начальства квартального надзирателя, в порядке указанном 1085 ст. Уст<ава> уг<оловного> суд<опроизводства>". Теперь берегитесь, господа москвичи или вообще россияне. Если квартальный надзиратель ни с того, ни с сего ударит кого в зубы, то виноват будет не ударивший, а ударенный, потому что квартальный надзиратель — не то что обыкновенные люди — ест, пьет и всякое другое дело делает исключительно по службе».

Далее следует эпиграмма: «Отцы отечества в мундирах красных!»

Николай Пастухов, упоминаемый в заметке Огарева, был впоследствии издателем реакционного «Московского листка» (с 1881 г.).

15. Т<УРГЕНЕ>ВУ

Печатается по беловому автографу, находящемуся в записной книжке Огарева 1866—1867 гг. (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 44, л. 39). Датируется маем 1867 г. после прочтения Огаревым романа «Дым», напечатанного в мартовской книжке «Русского вестника». Судя по характеру эпиграммы, Огарев не усмотрел себя в образе Губарева, рассматривавшемся исследователями как карикатура на Огарева.

Отзывы Герцена о «Дыме» вполне совпадали с оценкой Огарева (XIX, 293, 314—315 и 321). Таким образом, несомненно, что в своем мнении о «Дыме» Герцен и Огарев были единодушны. Они оба игнорировали «гейдельбергские арабески», как назвал сам Тургенев в письме к Герцену ту главу романа, где изображены вечера у Губарева (XIX, 321—322).

ЛИРИКА

1. <К М. Л. ОГАРЕВОЙ>; 2. «ДАЙ РАССКАЖУ ТЕБЕ, МОЙ ДРУГ...»; 3. ИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ЦИКЛА «BUCH DER LIEBE» (I—XXII); 4. «ТУЧИ СЕРЫЕ БРОДЯТ В ПОДНЕБЕСЬИ...»; 5. «С КАКОЙ ТРЕВОГОЙ ОЖИДАНЬЯ...»; 6. «ОНА СО МНОЮ ТАК ДОБРА...»; 7. РУДОЛЬФОВ ТРАПП (Л. Н. ТОЛСТОМУ); 8 ОТРЫВКИ; 9. В СТЕПИ; 10. «O LACRYMARUM FONS!..»; 11. РАЗВРАТНЫЕ МЫСЛИ; 12 «МОЙ РУССКИЙ СТИХ, ЖИВОЕ СЛОВО...»; 13. КАРТИНЫ ИЗ СТРАНСТВИЯ ПО АНГЛИИ (ПОДРАЖАНИЕ ГЕЙНЕ); 14 НАСТОЯЩЕЕ И ДУМЫ (ПИСЬМА К ГЕРЦЕНУ); 15. ИЗ ГЕЙНЕ (ПЕРЕВОД); 16 «БЕРЕЗА В МОЕМ СТАРОДАВНЕМ САДУ...»; 17. ОСУЖДЕННОМУ; 18. «НАДЕЖДЫ ПАДАЮТ И РУШАТСЯ МЕЧТЫ...»; 19. ПРЕДИСЛОВИЕ; 20. <ЮМОР, Ч. III>; 21. «СЕГОДНЯ НАСТРОЕН МОЙ МОЗГ МУЗЫКАЛЬНО...»; 22. МОЯ БИОГРАФИЯ

1

<К М. Л. ОГАРЕВОЙ>

18 декабря, вечером

Хочу еще письмо писать
От делать нечего и скуки
И время длинное разлуки
Стихом причудливым занять.
Я здесь один и словно в пытке:
Тоска, и на сердце темно;
Сижу на месте, а давно
Мне быть хотелося в кибитке.
Как все живут, и я живу:
Всё недоволен всем на свете;
Зимой скучаю я об лете,
А летом зиму я зову;
В Москве разладил я с Москвою,
В деревне грустно по Москве,—
Кататься буду по Неве —
И стану рваться в степь душою.
Что делать? — так устроен свет!
У всех неясное стремленье,
Все ищут с жизнью примиренья,
И я ищу — да, видно, нет.
Порою люди надоели,
Там недоволен сам собой;
Тоскуешь часто день денской
И ночь не спится на постеле.
Грустить, желать! — к чему желанья?
Что надо, то устроит бог,
Желал же Фауст — да не мог
Объехать с солнцем мирозданья!.. <...>

<Старое Акшено. 18 декабря 1840 г.>.

2

Дай расскажу тебе, мой друг,
Всю жизнь мою. «Зачем? — ты скажешь,—
Ты нового мне не расскажешь,
Я знаю всё. К тому же вдруг
Сказать всю жизнь — как это много!»
Да так хочу — что ж делать с тем?
Потребность не уймешь ничем,—

Итак, послушай, ради бога,
Я не могу не говорить,
Здесь много так воспоминаний,
Здесь осужден былых преданий
Я в память много приводить.
Здесь был ребенком я. Тогда
Я молчалив, как ныне, был,

М. Л. ОГАРЕВА
Портрет маслом П. Н. Орлова, 1844 г.
Третьяковская галерея, Москва

Бродить я по саду любил;
Сидеть на берегу пруда,
Когда на запад день склонялся,
По лону вод, как жар горел,
А я всё на воду смотрел,
Где тихо поплавок качался,—
Смотрел и ждал, когда придет,
Крючок обманчивый лаская,
Играть им рыбка золотая,
И быстро с ним ко дну мелькнет.
<Старое Акшено. 18 декабря 1840 г.>

3

BUCH DER LIEBE*

«Du Tor, du Tor! du prahlender Tor!
Du kummergequälter!»

Heine**

ОТРЫВКИ ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

I

Заснула Пиза в тишине ночной,
Но Арно в берег плещет, не смолкая;
Сквозь туч, едва озарена луной,
Стоит уныло башня городская,
Протяжным звоном каждый час считая...
Вдали гуляка позднею стопой,
Стуча о плиты в ходе торопливом,
Тревожит воздух оперным мотивом.

Как пусто, страшно в полуночный час...
О! если б знали вы — в минуты эти
Как я страдаю, думая о вас!
Как чувствую, что я один на свете!
Что отказала мне любовь в привете!
Что в жизни тщетной ни единый раз
Ошибкой не сойдет ко мне отрада,
И мне отречься от блаженства надо!

А если бы меня любили вы —
Что мне тогда условий светских цепи,
Людей насмешки, глупый суд молвы,
Гнилой закон, что с каждым днем нелепей!
С собой бы вас в мои увлек бы степи,
Которым, кроме неба синевы,
Иных границ еще не положили,
И беспредельно мы бы там любили.

〈Пиза. Осень 1842 г.〉

II

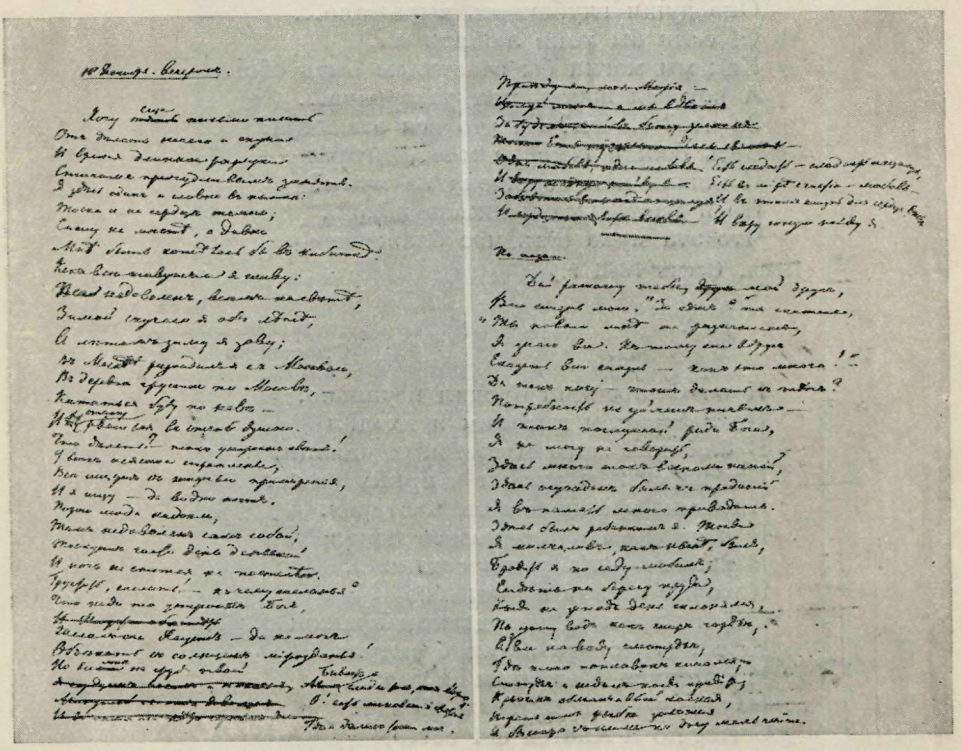
Вы выросли, любя отца и мать,
Сестер и братьев, тихо и спокойно,
Без тяжких дум, без горя, без страстей;
Взошли вы в круг, где всё условно, плоско,
Живому чувству проблеснуть нельзя.
Вам молодежь, за вами увиваясь,
Открыла тайну вашей красоты,
И зеркало вам рассказало то же —
И вы довольны были. Иногда
Казалось вам, что будто тот иль этот
Вам нравится. Но их любви язык —
Бездушный или детский лепет —
Не мог вам ни на миг дойти до сердца.
Так ваша жизнь всё шла обыкновенно,
Привычной колеей, которая

---

* Из 40 стихотворений цикла «Buch der Liebe»(«Книга любви»)мы печатаем 22.—*Ред.*

** «О, глупец ты, глупец, хвастливый глупец! Горем замученный».— Гейне. Песнь океанид. Из второго цикла книги стихов «Северное море». — *Пер. М. Михайлова.*

Убита так, что ехать вечно гладко,
А я был вечный мученик всю жизнь.
Внутри себя безмолвно и угрюмо
Я думу каждую и каждую мечту
Тревожил день и ночь. В моем семействе
Мне было скучно. Дом мне был тюрьмой,
Где двери на замке держал обычай,
Приличие стояло на часах,
И был закон надсмотрщик престарелый.
И жил всегда я только сам в себе,



АВТОГРАФЫ СТИХОТВОРЕНИЙ ОГАРЕВА, ОБРАЩЕННЫХ К М. Л. ОГАРЕВОЙ, 1840 г.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Как узники живут обыкновенно.
И вот во мне мучительно тогда
Возникла жажда знанья и блаженства,
И вместе с ней, как неразлучный друг,
Возникло бесконечное страданье.
Дало мне знанье силу отрицать,
Тревожную, мучительную силу;
Искание блаженства мне дало
Уверенность, что я его не знаю.
А между тем, я в самом деле тих
И ясен, будто создан для блаженства;
Могу в себе носить святую жизнь,
Могу любить глубокою любовью.
Когда впервые я увидел вас,
Остановился я, и сердце билось,

И впал в раздумье я безмолвное:
Я чувствовал, что вы мое блаженство!
Ведь вы самих себя не знаете,
Вы с жизнью света свыклись поневоле;
Вам кажется, что роль красавицы
Играть вам надобно самолюбивой.
А между тем, я видел вас тогда,
Когда прямое чувство пробуждалось
У вас в душе, иль рифма звонкая
Касалась вам до трепетного слуха;
И видел ваше я лицо, когда
Оно души глубокость выражало...
О! если бы меня любили вы,
Как мы могли бы счастливы быть оба!..
А вот вся жизнь моя разорвана...
За что? Зачем? За что вся эта кара?
Весь божий гнев на мне отяготел
И жизнь моя осуждена на муку?
Но я настолько понимаю жизнь,
Что эта мука есть мое блаженство.

<Пиза. Осень 1842 г.>

III

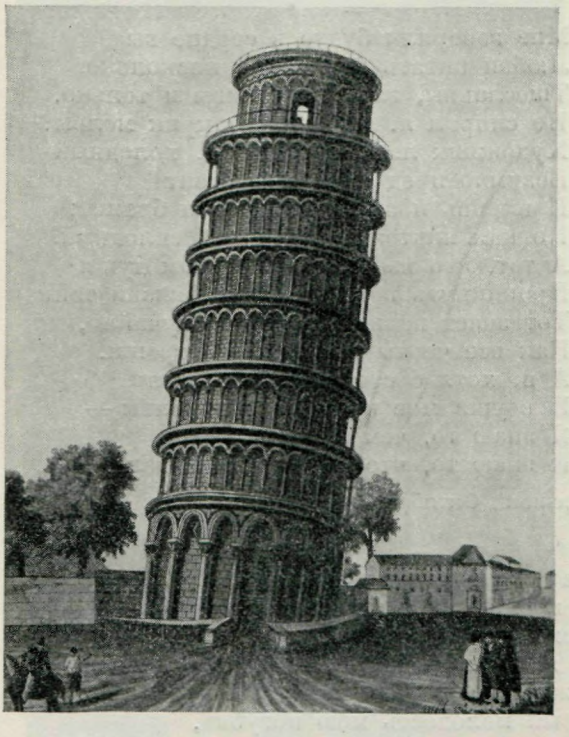
Флоренция

Я по Флоренции бродил печально,
По лестницам высоким я входил
В большие залы мраморных палаццов,
Где по стенам висели в ярких рамах
Картины вдохновенных мастеров.
И я смотрел и втайне всё искал
Я вашего лица среди созданий,
Которые живут на полотне
Своей глубокой неподвижной жизнью.
Искал его средь ангелов святых,
Молящихся Мадоннам Рафаэля;
Искал его я в нежных образах
Correggio и Andrea del Sarto,
Искал в спокойных ликах Перуджини
И грустно вышел из старинных зал,
Не встретя вас среди толпы созданий.
И вот пошел бродить из храма в храм,
Искал везде с тоскою беспокойной,
Предчувствуя, что должен вас найти.

Взошел я в церковь dell'Annunziata *.
Налево вижу памятник надгробный:
Две женщины из мрамора сидят,
И их святой, молясь, благословляет.
Я побледнел и вспыхнул. Да! Одна
Из них на вас похожа. Та же тихость
Во всей ее прекрасной форме. Та же
Безоблачность в ее лице спокойном
И та же нежность взора. Даже так
Она склонила голову, как вы.

* Благовещения (итал.).

Ее художник неизвестный создал!
Быть может в мире я, как он, пройду —
Художник неизвестный — и как он,
В душе я проношу чудесный образ,
И с ним умру и встану в жизни новой.
На женщину из мрамора глядел
Я долго в умилении безмолвном.
С тех пор я в церковь dell'Annunziata



ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ
Раскрашенная литография, 1830-е гг.
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

Хожу, как на молитву, каждый день,
И там сажусь пред ликом мраморным,
И молча созерцаю в обожаньи.

〈Флоренция. Октябрь 1842 г.〉

IV

Любовь моя мне стала тайным светом
Души. Уж не враждую я ни с кем,
Людей встречаю с ласковым приветом,
Хотя мне их не надобно совсем;
На всё смотрю я, всё благословляя...
Две жизни разных я ношу в себе,
Моей любовью обе просветляя:
В одной я пошлину плачу̀ судьбе
И людям жертвую самим собою

С участием... хоть тяжело оно;
Но, как ребенок, стал я добр душою
С тех пор, как в ней любовью всё полно...
За то в другой я жизни полон вами,
За то в другой я вам принадлежу
И счастлив, что духовными очами
На вас безмолвно, долго я гляжу.

<Флоренция. Октябрь 1842 г.>

V

Мне говорили будто в сердце вы
Любви питать не можете нисколько,
Тщеславны, злы, кокетливы и только.
Не спорил я. Что значит крик молвы?
Художник легкомысленный, холодный
Безумно пред картиною стоит
И вкривь и вкось порочит и бранит;
Но как ничтожен суд его бесплодный!
А тот, кто взором внутренним души
Проникнуть в ней умел до жизни тайной
Тот знает верно, знает не случайно,
Как все черты в созданьи хороши.
А я, хотя б сто голосов шумели
И в уши мне кричали суд молвы —
Я знаю то, чем кажетеся вы,
И знаю то, что вы на самом деле.

<Флоренция. Октябрь 1842 г.>

VI

Я одарен способностью ужасной:
В то время как я жизнью поглощен,
В движеньи страстном ею увлечен,
Могу я видеть вещи холодно и ясно.
Я вижу, что любовь моя есть бред,
Который молодость мою погубит,
Что носит смерть в себе, кто тщетно любит,
Что в самом деле для меня блаженства нет.
Я вижу ход судьбы бесстрастной, ровной,
Причины, следствия — всё вижу я,
Как будто человек другой в меня
Взошел и судит безучастно, хладнокровно.
Он строг всегда и незнаком с ошибкой;
Страдаю ль я, иль счастлив, иль люблю,—
Он в гордом знании на жизнь мою
Взирает с равнодушно-горькою улыбкой.
Когда блаженствую — он без участья,
С насмешкой говорит, что это бред;
Когда я чувствую, что счастья нет,
Он злобно мне твердит, что есть на свете счастье.

<Флоренция. Октябрь 1842 г.>

VII

Вы дружбу мне хранить глубоко
Клялися, ввек не изменя.
О! если так — в стране далекой
Молю вас, вспомните меня!

В часы унынья и страданья,
Печально голову склоня,
Как друга, полного вниманья,
Молю вас, вспомните меня!

Евд. В. СУХОВО-КОБЫЛИНА
Миниатюра конца 1830-х гг.
Литературный музей, Москва

В часы молитв и умиленья —
Вы, как заступница моя,
Как ангел, полный сожаленья,
Молю вас, вспомните меня.

〈Флоренция. Октябрь — ноябрь 1842 г.〉

VIII

Два дня я не видал моей статуи.
Флоренция уныла в эти два́ дня
Была. Над ней висели тучи. Арно,
Как желчный человек, всё время злился,
И дождь всё лил, и было холодно́.
Но вот опять настало воскресенье,

И солнце проглянуло. Стало сухо
На улицах. Привычною дорогой
Пошел я в церковь dell'Annunziata.
Опять орга́н играл. Моя статуя
Казалася на вас еще похожей,
Глядела на меня точь в точь как вы.
О! этих у меня минут блаженных,
Минут безмолвного воспоминанья,
Никто отнять не может. Я украл их
У жизни, и с тех пор сносить мне легче
Мучения, которые она
Мне щедро расточает.— Но, должно быть,
Ужасно странно старику-монаху
Меня всегда на том же месте видеть!
Он, верно, взор мой выследил уже
И рассердился, что хожу я в церковь
Не для молитвы, или — может быть,
Жалея, помолился за меня;
А может быть, он улыбнулся только,
Как человек, давно привыкший к жизни...
О! если б знали вы, как я могу
Любить и нежно и глубоко — сами
Вы рады были бы любить меня.
Но я не смею высказать любви!
Я несколько могу украсть у жизни
Минут безмолвного воспоминанья
И только...

⟨Флоренция. Ноябрь 1842 г.⟩

IX

Сегодня колоколен звон печальный
Воспоминанье разбудил во мне
О близких сердцу, об отчизне дальней,
Ее великопостной тишине;
О людях мрачных, будто жить им му́ка,
Об улицах, где тает желтый снег,
И всюду пустота, унынье, скука,
Туман и сырость — томен человек.
Я вспомнил, как мы с вами у камина
Сидели вечером... уже давно!
Но памяти не свеяла чужбина.
Что́ было в сердце — и теперь оно.
Еще я ночь храню в воспоминаньи
Христова воскресенья. В церкви вы
Тогда стояли в белом одеяньи,
С свечой в руке, средь набожной толпы;
Ваш ясный взор исполнен был покоя...
Вы как-то улыбнулися мне раз;
А я тогда, поодаль грустно стоя,—
Я вас любил и мог глядеть на вас.

*

И год прошел, прошло и больше года...
Я вновь был с вами летнею порой;
Кругом цвела зеленая природа,
И вы дружней казалися со мной.

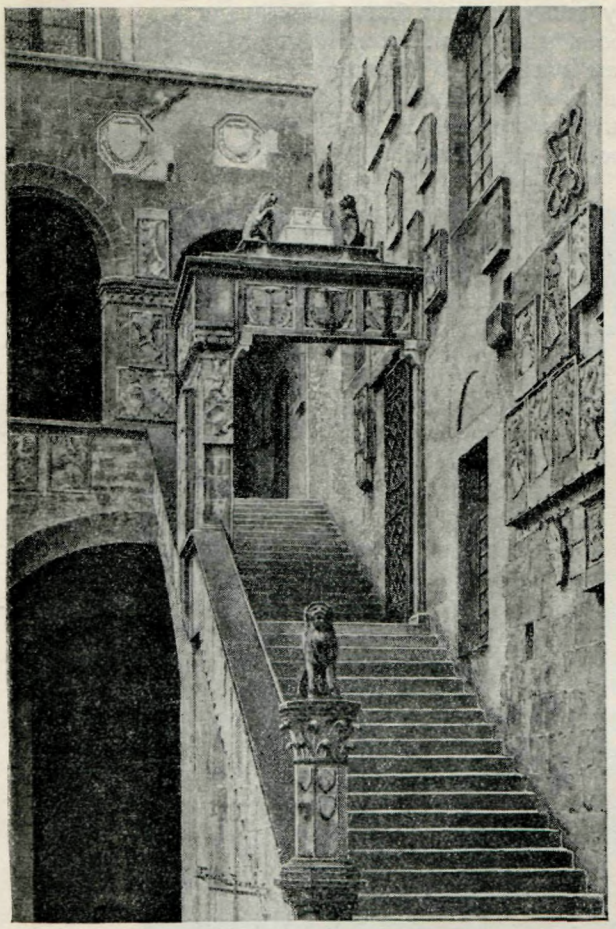
Да, дружбу вашу, может быть, в награду
Вы за любовь мне дали. Может быть,
Недаром вам старинную балладу
О рыцаре вдруг вздумалось твердить.
Тот рыцарь был в далекой Палестине,
Искал забвения сердечных ран;

ФЛОРЕНЦИЯ. ВИД ИЗ ЛОДЖИИ НА ПЛОЩАДЬ СЕНЬОРИИ
Акварель В. Морица, 1829 г.
Исторический музей, Москва

Но сердце, верное своей святыне,
Von seinem Grame nicht genesen kann *.
И он оставил бой и Палестину
И, возвратяся, ждал, когда она
Окно растворит, взглянет на долину,
Как светлый ангел тишины полна!
Как рыцарь тот, и я теперь, блуждая,
Ищу забвения сердечных ран,
Но сердце, всё тоскуя и желая,
Von seinem Grame nicht genesen kann.

〈Флоренция. Декабрь 1842 г.〉

* «Не может излечиться от своей тоски» (нем.). Сокращенная цитата двух стихов Шиллера: «Doch das Herz von seinem Grame nicht genesen kann» («Ritter Toggenburg»). В переводе Жуковского: «Но душа в нем всё тоскою прежнею болит».



ФЛОРЕНЦИЯ. ЛЕСТНИЦА В ПАЛАЦЦО БОРДЖЕЛЛО

Акварель Эрнесто Бенза

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

X

Я новому искусству предался,
Исполненный надежды и отваги;
С благоговением чертить взялся
Карандашом я лица на бумаге.
Не знаю я, успею или нет.
Быть может, нет способности нимало;
А может, есть она! Но ваш портрет
Мне сделать надобно во что б ни стало.
А если мастером мне быть дано
И бросить кистью, свыше вдохновлённой,
Живые образы на полотно —
Вы будете моей святой Мадонной.

*

Труд не пропал, учился я не тщетно.
Ходил я в церковь dell'Annunziata
С моим maestro. Там в благоговеньи
Я очерк написал моей статуи.
И он похож. Теперь я стану ночи
Просиживать перед моим рисунком

Или чертить с него другие лица,
Всё больше приближаясь к сходству с вами,
И наконец я воссоздам ваш образ.
Его поставлю я перед собою,
И поселится в комнате моей
Он как святыня. В ней тогда, как в храме,
Всё тайною небесною задышит,
А я садиться стану перед ликом,
Безмолвно созерцая в обожанье.

⟨Флоренция. Декабрь 1842 г.⟩

XI

Livorno спит, озарено луною,
А я стою печально у окна;
Верхушки мачт мелькают за стеною,
Маяк горит. Там море! Там волна
Кочует вслед за дружнею волною...
Туда пущусь я завтра, и луна
Осветит бледно зыблемое лоно
С конца в конец далекий небосклона.
Но страх и скорбь в ночи меня тревожат.
Что, если вы не любите меня?
Что, если вы действительно, быть может,
Смеетесь надо мной, тогда как я
Любовью мучусь?..
И между тем как мчится жизнь моя

ФЛОРЕНЦИЯ. ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ
Гравюра, 1830-е гг.
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

Мучительно в волнении бесплодном —
Гордитесь вы в тщеславии холодном.

*

А я, как Пигмальон, стою пред вами
И тщетно вас хочу одушевить...
Но нет! и тут я тешуся мечтами!
Но вы горды, я горд. Что́ может быть
Для вас с своими муками и снами
Моя ненужная любовь? Хранить
Ее я стану про себя, и только,
А вы и не заметите нисколько.

⟨Ливорно. Конец декабря 1842 г.⟩

XII

Рим.

Я ночью подъезжал к святому граду,
О вас воспоминанием томим:
Так вот где жизнь давала вам отраду,
Вот он, любимый вами, старый Рим!
Я видел в полукруге колоннаду
И храм и купол, скругленный над ним,
При свете лунном, в синей мгле тумана,—
И слышал плеск я звучного фонтана.

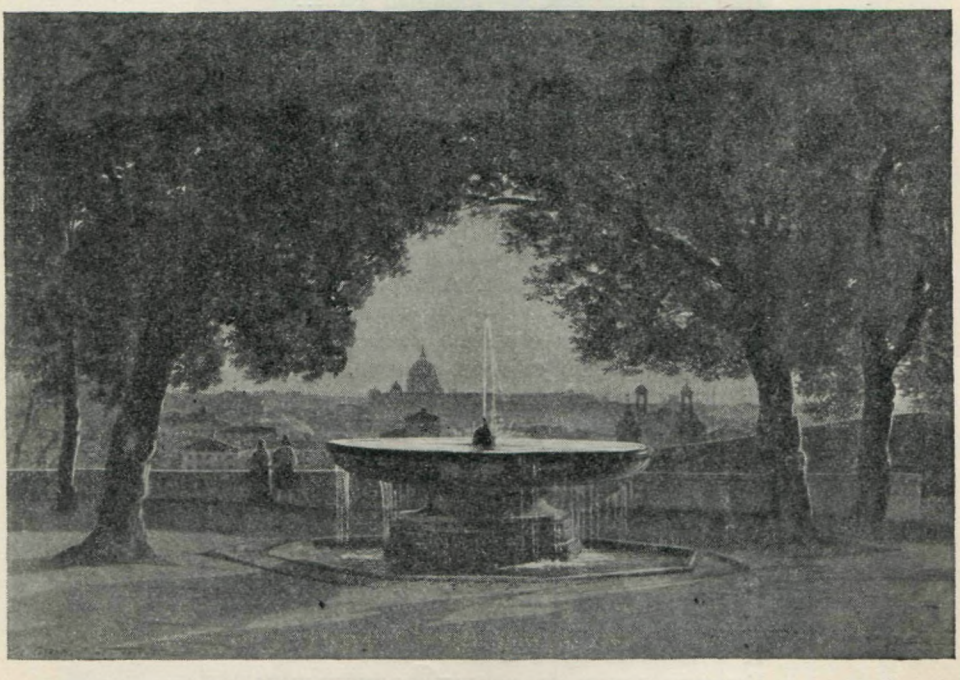
Какими-то несбыточными снами
Душа исполнилась; казалось мне,
Что здесь могу бродить я вместе с вами
В тиши колонн, безмолвных при луне;
Фонтан журчит и искрится пред нами,
Темнеет купол в синей вышине;
А я гляжу при блеске лунной ночи
Вам в светлые, задумчивые очи.

Мне странным веет Рим воспоминаньем
О днях безвестных мне; душа моя
Так с вашим сблизилась существованьем,
Что вашу жизнь переживаю я.
В особый мир, как бы очарованьем,
От лиц окружных я унес себя;
Ничьими не проникнутый очами,
В прошедшем вашем всё я вместе с вами.

Мы молимся Мадоннам Ватикана,
Мы в Колизей идем, когда луна
Над ним восходит. Дома утром рано
Иль вечером стоим мы у окна;
Глядим на Тибр; за ним лежит поляна
И горы синие; его волна
У берега колышет челн забытой;
Пол-Рима в отблеске зари открыто.

Уста немы. В дали теряясь взором,
Мы чувствуем, что происходит в нас,
И говорим безмолвным разговором...
В моей душе то, что в душе у вас,

ПЛОЩАДЬ СВ. ПЕТРА В РИМЕ
Картина маслом Г. Г. Чернецова, 1850 г.
Русский музей, Ленинград



ПАНОРАМА РИМА С МОНТЕ-ПИНЧО
Акварель и гуашь С. Корроди, 1852 г.
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

Родится разом; мысль в движеньи скором
Летит за вашей мыслью каждый раз,
И я люблю, блаженствую и плачу,
И жизнь в несбыточном мечтаньи трачу.

<Рим. Январь 1843 г.>

XIII

Вчера она пела, Клара Новелло,
И песнь ее звонко неслась.
За песней куда-то сердце летело,
И вздох прорывался не раз.
Влюбленные звуки, страстные звуки
Так живо встревожили вновь
Желания сердца, полные муки,
Стремленье, тоску и любовь.
Она улыбалась мило и нежно.
Как поступь мила у нее!
Откинутый локон вьется небрежно
Вкруг беленькой шейки ее.
Смотрел я и слушал, грудь изомлела,
С ресницы слеза пролилась...
Мучительно, сладко Клара Новелло
Вчера мне напомнила вас.

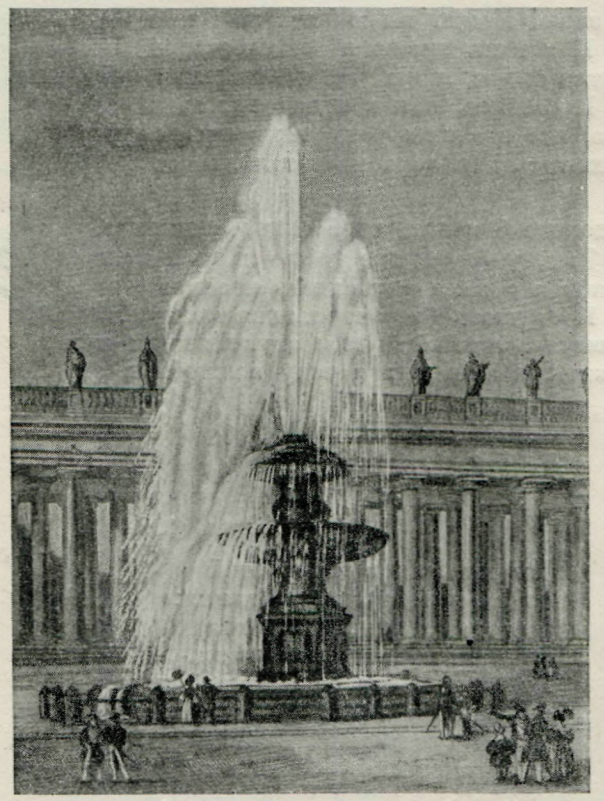
<Рим. Январь — февраль 1843 г.>

XIV

Не знаю почему, певица эта
Мне вас напоминает каждый раз...
Да! общее есть что-то между вами,
Хотя она не столько хороша.
Не знаю, взгляд ли то, иль русый локон
С виска слегка откинутый назад?
Иль профиль весь, иль тихая походка?
Но на нее могу глядеть я долго
И видеть не ее, а видеть вас.
Ее черты в моем воображенье
Так изменяются, что я могу
Себе представить вас. А звонкий голос
Поет мне песнь любви, и я так счастлив,
Когда смотрю и слушаю безмолвно,
И забываю, что сижу в театре,
И вкруг меня толпа людей мне чуждых...
А после, возвратясь домой,—один
Сижу я долго; тяжело на сердце
Становится. Я начинаю вновь
Так понимать глубоко, что всё это
Мечта напрасная, и я для вас
Почти чужой. Чужим остаться должно!
Все эти дни я как-то болен был,
Мне как-то было на душе тревожно,
И сны меня пугали по ночам;
Вы мне являлись горды, равнодушны,
Почти насмешливы. А между тем —
Не правда ль?.. никогда вы надо мною
Не насмехались? Вы со мною были

Добры — не правда ль? То был сон пустой,
Навеянный моей враждебной жизнью,
И при свиданьи дружелюбно вы
Попрежнему протянете мне руку...
Но ночь бежит, а на душе всё грустно!..

⟨Рим. Январь — февраль 1843 г.⟩



ФОНТАН И КОЛОННАДА СВ. ПЕТРА В РИМЕ
Гравюра, 1837 г.
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

XV

Вчера был теплый день, и веяло весной,
И солнце ярко грело и светило,
Бродил вкруг Рима я ленивою стопой.
Воспоминанье живо мне чертило
Весну такую же в моей родной стране,
И как-то хорошо и грустно было мне.

Таким же воздухом дышал я над рекой,
Где вместе мы на берегу сидели,
Березы белые, склоняся над водой,
Купали лист зеленый и шумели.
Тепло и радостно встречало утро нас,
И резво птички пели... я глядел на вас

Я в упоении, дыханье притая,
Глядел на вас, и сердце сильно билось...
И первый ландыш вам в то утро сорвал я —
И что с тех пор с моим цветком случилось?
Увядший ли давно, заброшен вами он?
Иль тихо в книгу он на память положон?

Не знаю! Может вы забыли этот миг,
И я один храню в воспоминаньи
И утро тихое, и ваш спокойный лик,
И светлое, как в праздник, одеянье,
И то, что с ваших уст, как веянье весны,
Сдыхались Шиллера мечтательные сны.

О! дорого б я дал, чтоб снова в тишине,
Там, у берез, где робко льются волны,
Весной я с вами мог сидеть наедине
И слушать бы, очарованья полный,
И листьев легкий шум и звуки ваших слов,
И жить, и замирать в чаду волшебных снов!..

<Рим. Март 1843 г.>

XVI

Albano. Апрель <1843 г.>

Уже давно я в книге этой
Стихов в раздумье не писал;
Молчала рифма; дух поэта
В заботе праздной изнывал.
Я тратил жизнь в порочной лени
При буйном звуке пьяных чаш,
И реже средь моих видений
Являлся светлый образ ваш.
Но здесь, в тиши уединенной,
При сладком веяньи весны,
Как звуки песни отдаленной,
Несутся вновь былые сны;
И я затерян в смутной дали
Воспоминания и грез,
Блаженства полный и печали,
Надежд обманчивых и слез.
Заря ль мои растворит очи,
Иль в море дальнем гаснет день,
Иль южной ночи, теплой ночи
В полях ложится блеск и тень —
Передо мной, как сновиденье,
Ваш светлый взор, спокойный лик,
И тихой поступи движенье...
И страстно шепчет мой язык...
Все звуки вашего названья,
И эти звуки сладки мне,
Как песни юга, как лобзанье,
Как вод плесканье при луне...

<Альбано. Апрель 1843 г.>

РИМ. ВИД НА ТИБР И ЗАМОК СВ. АНГЕЛА

Фотография, принадлежавшая Н. А. Герцен (дочери)

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

XVII

Неаполь. Май <1843 г.>

Опять уже прошло так много дней
С тех пор как не писал я в этой книге!
Опять молчит печально стих ленивый!
Поэта ль дар уже во мне исчез,
Или любовь моя охолодела?
О нет! Любовь моя осталась та ж...
Попрежнему она тревожит душу
То светлых грез отрадной чередой,
То скорбным чувством настоящей жизни,
И я живу, переходя от снов
К сознанью, от сознанья к сновиденьям.
Вчера один без цели я блуждал
В аллеях трепетных villa reale,—
Сквозь быстрых облак падал луч луны
На берег дальний Байи и на море;
Кругом меня шумел оливы лист,
И звучные у ног плескались волны...
Я вспомнил — год тому назад иль боле —
Я жил в Неаполе — и мне тогда
Под шум валов приснился сон блаженный:
Я видел, будто я в villa reale,—
Блуждаю по аллеям одиноко,
И вот внезапно вы навстречу мне,
И тихо протянули вы мне руку —
И мне сказали, чтобы верил я,
Что вашим буду я во что б ни стало...
Я вспомнил — и в душе опять на миг
Тревожная надежда промелькнула...
К чему она?.. Прекрасную мечту
Развеет холодно докучный опыт,
И, вероятно, мне придется в жизни
Увидеть, как состаримся мы оба,
И стану я с насмешкой разбирать
Морщины желтые на том лице,
Пред чьей красой благоговел я долго...
А вы— вы точно так же равнодушно
На старика седого взглянете,
Как прежде вы на юношу смотрели,
Иль, может, с той же дружбой благосклонной,
Которая не растревожит сердца.
Быть может, вам тогда признаюсь я,
Как я любил вас втайне — долго, трудно;
Вы посмеетесь надо мной — и сам
Я улыбнуся холодно и горько...
А если вдруг тогда в обоих нас
Проснется мысль, что оба мы напрасно
Растратили и жизнь и сердца жар,
Меж тем как, может быть, одно бы слово
Могло заставить нас жить полной жизнью?
Ну! если вдруг с испугом мы назад
Оглянемся на то, что безвозвратно,
И об ошибке целой жизни мы
С раскаяньем бесплодным пожалеем?..

Как мне все эти думы тяжелы,
А отогнать их не имею силы!..
Но нет! Старик вам никогда не скажет,
Как юноша умел любить вас сильно,
С насмешкою холодною и горькой
Он не вспомянет о прошедшем чувстве,
Но при закате мирном тусклых дней
Он сохранит о нем воспоминанье
Глубоко и безмолвно как святыню...

⟨Неаполь. Май 1843 г.⟩

XVIII

Saline Theodorshalle.

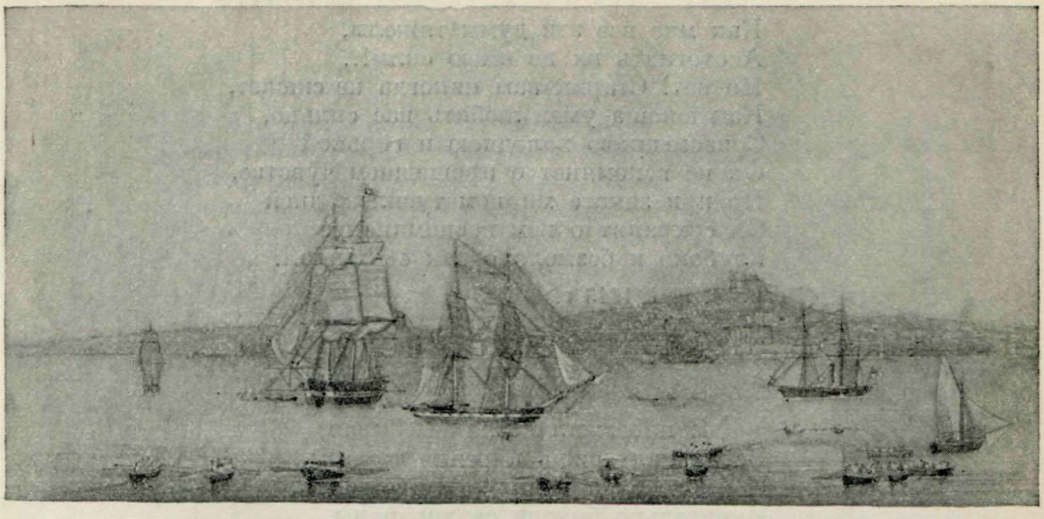
Я проезжал печальные края,
Всё капал дождь и реяли туманы,
И много смут в дни эти прожил я,
Мучительно болели сердца раны.
Когда бы знали вы, вам было б жаль,
Что в жизни мне так многое постыло,
Что старая досадна мне печаль,
И то смешно, что прежде было мило!
Но в эти дни унынья и скорбей
Душе еще один приют имелся,
Как страннику в морозы зимних дней
Огонь, где б он оттаял и пригрелся.
Приют души, мой светлый огонек —
Любовь моя! И с нею те мгновенья,
Когда о вас я втайне думать мог
И наяву теряться в сновиденьи.
О! сколько сердце знало чудных грез,
Надежд, где всё ласкает иль тревожит,
Стремлений жарких, задушевных слез,—
Того язык пересказать не может.
И пусть мои обманчивы мечты,
И пусть пройду я одиноко в мире,
И сладкий звук душевной полноты
Замолкнет робко, пробежав по лире.
Довольно! Я любил вас в тишине...
И, может быть, когда меня не станет,
На эти строки, отзываясь мне,
Слеза любви с ресницы вашей канет!..

⟨Июль или август 1843 г.⟩

XIX

Schwalbach
29 августа ⟨1843 г.⟩

Я возле вас сидел во сне:
Моей любви прочли вы муку
В дрожащем голосе — и мне
Вы крепко, крепко сжали руку
И говорили мне: люблю!
Так близко вы ко мне дышали
И шею обняли мою,
Меня в уста вы целовали.



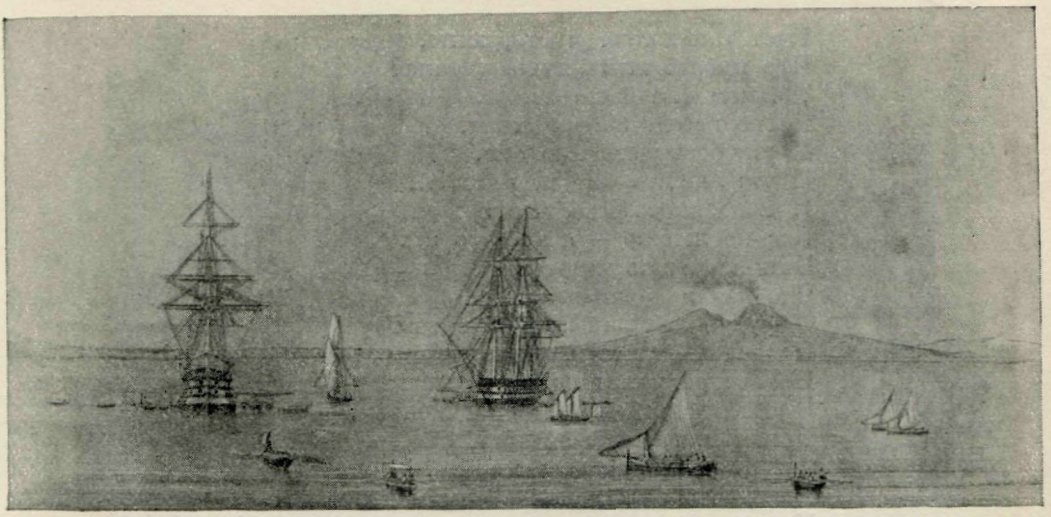
НЕАПОЛИТАНСКИЙ ЗАЛИВ С ВИДОМ НА НЕАПОЛЬ И ВЕЗУВИЙ
Акварель неизвестного художника, 1830-е гг. (левая сторона)
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

И вот, когда проснулся я —
Так сердце было полно вами.
Всё, что от вас есть у меня,
Я облил жаркими слезами.
Безумно я весь день бродил
И на устах, душой ликуя,
Еще я мнимое носил
Напечатленье поцелуя.

XX

Ганау. Октябрь ⟨1843 г.⟩

Я изнывал в глуши печальной
И мне казалось, что давно
Забыт уж вами странник дальний,
И сердцу было холодно́.
Но ваше милое посланье
Мне отогрело сердце вновь;
Опять живее упованье,
Опять доверчивей любовь!
Так вы меня не позабыли?
Так вы меня в родной стране
Хотя немного, да любили
И вспоминали обо мне?
Я скоро вновь сожму вам руку,
Я скоро вновь увижу вас.
Слезу очей и сердца муку
Поймете ль вы на этот раз?
Иль благосклонны — без участья —
Ни рукожатья, ни слезы,
Ни сердца мук, ни сердца счастья
Понять не захотите вы?
Я верю!.. мне не верить больно!
Не верю!.. верить мне смешно!



НЕАПОЛИТАНСКИЙ ЗАЛИВ С ВИДОМ НА НЕАПОЛЬ И ВЕЗУВИЙ
Акварель неизвестного художника, 1830-е гг. (правая сторона)
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

Я не состарился довольно
И уж не молод ⟨я⟩ давно.
Еще ли жизнь меня обманет?
Еще ли светлый сон пройдет?
И жизнь еще страшней мне станет,
И холод пуще обоймет?..
Но ваше милое посланье
Мне отогрело сердце вновь;
Опять живее упованье,
Опять доверчивей любовь!..

XXI

Берлин. Июнь ⟨1844 г.⟩

Я вам сказать хотел бы много.
Всё то, что на сердце лежит,
Что тайной, внутренней тревогой
Все эти дни меня томит.
Пусть никогда не донесется
До вас пустынный голос мой,
Пусть только мне в мечте одной
Вниманье ваше отзовется,—
Довольно! Я воображу,
Что вы со мной, что в вас пробудит
Участье то, что я скажу,
И мне, быть может, легче будет.
В себя печально заглянуть
Пришлося мне в уединенье,
И тяжело вздохнула грудь!
В душе нашел я опустенье,
Нашел, что смертный холод жмет
Мне сердце — и оно остыло...
Ужели время всё сгубило
Уже тем самым, что идет,

Идет так долго, пусто, вяло,
Что просто жить душа устала?
То, чем она была полна,
Ее не греет, не тревожит,
И уж бесчувственна она,
И уж любить она не может...
И показалось мне, что я
Вас не люблю — а то, что было,
Напрасно душу шевелило,
Что вся любовь была моя
Одним болезненным движеньем
Последней юности, огня
Последней вспышкою,— и я
Проститься должен с сновиденьем,
Душой погасшею истлеть,
Состарясь сердцем, замереть.
И что ж я делал в самом деле?
Умел ли вам сказать доселе,
Как я страдаю, как люблю,
Как вам бы отдал жизнь мою?
Пред вами пал ли на колени?
Рыдал ли я у ваших ног?
Или себя я превозмог?
Блаженство внутренних мучений,
Как тайну неба затая,
Там где-то свято и глубоко
Умел ли с этой тайной я
Гореть и гаснуть одиноко?
Нет, нет! Любовь моя есть ряд
Полунадежд, полупризнаний,
Полунесказанных страданий
Полусказавшихся отрад.
О! Так ли любят? Боже, боже!
И что ж осталось от всего?
Тетрадь стихов, где вечно то же
Сказалось — больше ничего?
И те, когда я их читаю,
Так жалки кажутся, смешны,
Натянуты и холодны,
Что я себя в них презираю.
И что ж я сделал для любви?
Брался за кисть — и бросил снова...
Тоска сухая вновь готова
Снедать бесплодно дни мои.
Скажите мне! Ужель душою
Я опустел и вас забыл?
Иль никогда вас не любил
И только жил я сам с собою,
Чтоб жизнь пустую как-нибудь
Занять и время обмануть?
Так я пишу в ночи безгласной
И так томлюсь... и много дум
Испуганный тревожат ум,
И сердцу больно, сердцу страшно.
Зачем я жил? Зачем живу?
Я жил, желал, страдал, стремился,

Терялся в грезах наяву...
И что ж нашел? чего добился?
Где вера? истина? любовь?
И нет любви, ничтожно знанье,
И веры нет — и скучно вновь
Всё те же повторять страданья;
И скучно жить, и страшно жить,
Жить и не верить, не любить!
Давно хотелось мне стихами
Путь человека описать,
Который с первыми лучами
Оставил дом. Ему дышать
В прохладе утренней раздольно.
Проснулась птичка с песней вольной;
Она летит, она поет,
И жить и петь ей наслажденье,
И вдаль следить ее полет,
Ее заслушиваться пенья
Так хорошо, что можно в том
Душою вовсе погрузиться
И будто в чудном сне забыться.
И вот развеялись кругом
Тумана утреннего тени,
И зелен лес, и робко в нем
Заводит шопот лист с листом,
И пахнут свежие сирени.
Поток серебряной струей
Звенит о камень, злак поляны
Сверкает трепетной росой,
И юн и ясен день румяный.
И жизнь свежа, и жизнь ясна,
И сердце бьется жизнью новой,
Душа тепла, душа полна,
Молитва с уст звучать готова.
Но дале в путь! Уж смолк поток,
Дол шире, солнце пышет ярко;
Поник головкою цветок,
Дышать безмолвной птичке жарко.
И путник, будто утомлен,
Ступает медленно и вяло
И в даль печально смотрит он,
Душа сгрустнулась и устала.
Как дальний сон, как смолкший звук,
Воспоминание тревожит
Картиной утра; но уж дух
Знать прежней радости не может.
И дале в путь! и степь кругом,
И взор конца не различает,
И знойно день палит лучом,
Трава желтеет и сгорает,
Уж пеплом стал степной ковыль,
Уже земля калится в пыль,
И с диким свистом ветер жгучий,
Беснуясь, носит прах летучий.
И путник дале хочет в путь,
Но все усилья тщетны стали;

Уста засохли, щеки впали,
Трепещет, задыхаясь, грудь,
И в нем, как в выжженной равнине,
Сгорела жизнь; проклятья стон
Извлечь чуть внятно может он
И мертвый падает в пустыне.
Про этот путь уж я давно
Хотел писать; но ныне муки
Не просят рифмы; мимо звуки
Проносятся; затворено
Уже для них тупое ухо;
Я стар; ушли мечты мои,—
И жизнь стихов и жар любви,
И только сердце ноет глухо.
Так я удушливой тоской
Томился трудно в час ночной,—
И вот светать уж начинало...
Иной рассвет в родной стране
Тогда пришел на память мне,
И сердце вдруг затрепетало,
И слезы брызнули из глаз...
О! много, много значат слезы
В часы, когда волнуют нас
Души убийственные грозы!
Я плакать так давно не мог,
И сладки мне те слезы были;
Они мне душу освежили,
Как летний дождь больной цветок.
О нет! скажите — ведь не может
Душа забыть любви своей?
Минутно жизнь ее тревожит,
Но тяжкий гнет сухих скорбей
Еще в ней жизни не задушит,
Ее святыни не нарушит,
И в тайной глубине своей
Источник слез она откроет
И след унынья ими смоет,
Воскреснет чище и светлей,
Полна любви, полна желаний,
Полна молитв, и теплсты,
И грусти, и святых страданий,
Рожденных ей от полноты.
Возьмите эти слезы ныне!
Их память вызвала о вас;
Она в душе отозвалась
Как жизни дух в немой пустыне...
И снова веет мне весной,
И снова небо безмятежно,
И снова в сад зеленый мой
Слетела птичка с песней нежной.
Возьмите вы в слезах моих
Моей любви и свет и муку...
Когда б я выплакать мог их
На вашу беленькую руку,
Быть может, вы могли б понять —
Как хорошо любя страдать,

Слезами сладко упиваться,
Как сладко сердцу верить в сон,
Что для души так вечен он,
Как вечно чувство... О! не ложно
То чувство чистое любви,
Оно не легкий пыл в крови,
И потушить его не можно.
Возьмите! Ваши слезы эти!
И заплатите мне слезой,
Слезой участья... Боже мой!
Ведь только надо мне ⟨на⟩ свете
Чтоб в жизни миг отрады знать!
От вас иного чувства ждать
И грезить смею я едва ли...
И дай бог вам всю жизнь не знать
Душевной бури иль печали...
Но дайте мне слезу одну
Обыкновенного участья:
Я в смертный час вас вспомяну
За этот миг живого счастья!..
Недавно видел я во сне,
Что вы цветов прислали мне,
Их память живо сохранила...
Скажите! Что бы это было?
Что этот сон?.. Так просто сон?
Иль что-нибудь да значит он?
Но вы далеко! Голос мой
Один звучит и замирает,
Мечта уходит за мечтой
И грусть восторги заменяет...
О! замолчу! смирю печаль,
Покоя сердца не нарушу;
Боюсь взглянуть на жизни даль,
Боюсь взглянуть себе я в душу!

⟨Берлин. Июнь 1844 г.⟩

XXII

Учусь! Учусь! и жажда знанья мучит!
Я истины хочу и не боюсь
Сомнений долгих, трудных отрицаний;
Все призраки разрушить я готов,
Хотя б они и близки были сердцу.
Я часто ныне чувствую в себе,
Что становлюсь я духом чище, крепче;
Ясней смотрю на вещи, и мой взгляд
Широко мир безгранный обнимает,
И всё родней становится душа
С таинственной глубокой жизнью духа.
Тружусь я днем, над книгой ночь сижу
И в черных буквах на бумаге белой
Ищу я мысль и ясный верный образ,
И жизнь моя идет полна, ровна...
Но иногда внезапно дрогнет сердце,
В груди внезапный трепет пробежит,
Не вижу букв, не понимаю мысли;

Иное чувство душу повернет,
И в памяти иной проснется образ.
И снова вы, всё вы передо мною!
Не отвожу от призрака я взора
И чувствую глубоко, что люблю
И что люблю я бесконечно трудно!
Но и расстаться с чувством не могу,
И на душе так чудно — грустно, грустно...

<Берлин. Июнь 1844 г.>

4

Тучи серые бродят в поднéбесьи,
Дождь стучит в мостовую широкую,
В сердце что-то темно неприязненно,
Едет друг на чужбину далекую.

И придет весна, весна теплая,
Небо взглянет к нам голубоокое,
Лес зашепчет вновь свежими листьями,
Будет зелено поле широкое.

А ему будет больно и тягостно,
Потоскует душа одинокая,
Что весна-то пришла не в родных горах,
Что без друга чужбина далекая.

Тучи серые бродят в поднéбесьи,
Дождь стучит в мостовую широкую,
В сердце что-то темно неприязненно,
Едет друг на чужбину далекую.

<1846 г.>

5

С какой тревогой ожиданья,
Биеньем сердца, час за час,
Я жаждал, не смыкая глаз,
Минуты раннего свиданья.

Чу! брезжит. Свежею струей
В дремотном воздухе пахнуло,
Лист шепчет; в чаще кустовой,
Чирикнув, пташка пропорхнула,
И галок кочевой народ
Пустился в утренний полет.

<1860—1861 гг.?>

6

...Она со мною так добра
И простодушна, как сестра.
Пусть это дружба!.. Пусть ответа
Я не найду любви моей,
Но в звуке дружнего привета,
Во взгляде дружеском у ней —
Я вижу больше ласки нежной,

Чем взгляд и речи у другой
Сказать способны в миг иной,
Любви и страсти миг мятежной.

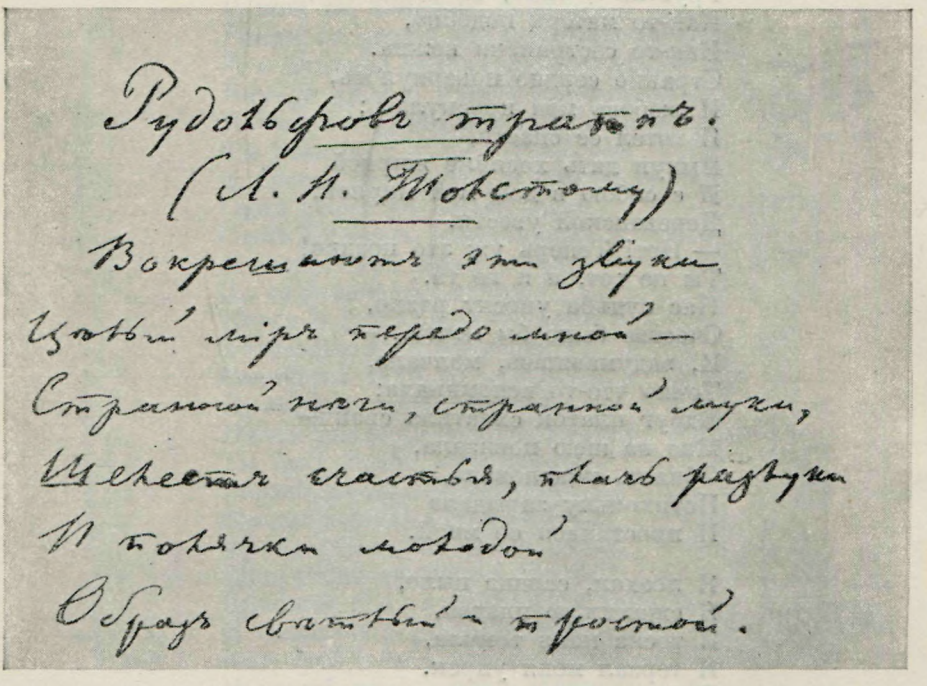
<1860 г.?>

7

РУДОЛЬФОВ ТРАПП

(Л. Н. ТОЛСТОМУ)

Воскрешают эти звуки
Целый мир передо мной —



АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ОГАРЕВА «РУДОЛЬФОВ ТРАПП», ПОСВЯЩЕННОГО Л. Н. ТОЛСТОМУ, 1861 г.
Начальная строфа
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Странной неги, странной муки,
Шелест счастья, плач разлуки
И полячки молодой
Образ светлый и простой.
Что таить!.. Тогда в <...>
С пьяным старцем до утра
Проводил я вечера.
Он играл; мы с ней сидели
В уголку, вдвоем, одни...
Звуки мчались — быстры, сладки —
И, как звуки, без оглядки
Мчались ночи, мчались дни.
Да! Она меня любила

(Дело прошлое — не лгу —
Память сердца берегу);
Но тогда меня кружила
Необузданная сила:
Вскоре бросил я ее
И под Вакховым покровом
Подкатил к блудницам новым
Своеволие мое...

После, случай свел нас вместе,
Невзначай в подобном месте.
Приняла меня она
Грустно — тихо, но беззлобно,
Как-то матери подобно,
Как-то сестрински нежна.
Странно сердце повернулось,
И любовь моя проснулась;
Я хотел ее спасти,
Выкуп дать хозяйке жирной
И с собою в дом мой мирной,
Деревенской увести.
— Нет! Теперь уж это поздно!
Ты не тот, и я не та,
Нас судьба уносит розно,
Счастье было бы мечта...—
И, задумавшись, молчала,
Точно что-то вспоминала;
Вдруг платок схватила свой —
Мне на шею повязала,
Обняла, поцеловала,
Потихоньку зарыдала
И простилася со мной.

Я поехал, сердце ныло,
Я сжимал ее платок,
И тоска меня томила,
И терзал меня упрек.
Дайте звуков — христа-ради,
Дайте прошлые мечты,
Дайте вспомнить бедной ‹...›
Простодушные черты!..

‹1861 г.›

8

ОТРЫВКИ

День за день — робко — шаг за шаг,
Как тени скользкие во мрак,
Иль как неверные преданья,
Теряются воспоминанья,
Бледнеют прошлого черты...
Всю жизнь всё кажется, что ты —
Напрасный мученик движенья,
Скиталец в даль без возвращенья,
Выходишь из дому, где жил,
И кто-то там тебя любил,

Ты тоже сам любил кого-то,
И ты ль кого, — тебя ли кто-то
С бездушьем детским оскорбил.
Тая любовь, скрывая муку,
Пожал ты грустно чью-то руку
И вышел медленной стопой...
Дверь затворилась за тобой.
Ты проходил по длинной зале,
Лежал в печальной полумгле
Мертвец знакомый на столе,
И ты шаги направил дале,
В последний раз с немой тоской
Ему кивнувши головой.
И шел ты длинным коридором,
Глядя на выход робким взором,
И с длинной лестницы спустясь,
Внутри дрожа, рукой тревожной
Последней двери ключ надежной
Ты повернул в последний раз,
И дверь, отхлынув, заперлась.
Один стоял ты середь ночи,
Светил фонарь надстолбный в очи,
И долго тень твоей спины
Не отрывалась от стены.
Когда ж последние ступени
Того заветного крыльца
Сошел ты тихо до конца,—
Дрожали слабые колени.
Вдоль улицы в безлюдный час
Ты шел уныло, бесприютно,
Глядел назад ежеминутно,
Глядел назад, и каждый раз
Фонарь бледнел, потом погас,
Еще виднелся ночью томной
Высокий дом, как призрак темной,
И он исчез в далекой мгле,
Как гроб в наваленной земле.
И новый день с иной страною...
Другие люди, новый дом,—
Опять любовь и горе в нем,
И снова в путь, и за собою
Ты видишь, как, едва горя,
Бледнеет пламя фонаря.
И что ж осталось от скитанья,
Где, повторяясь шаг за шаг,
Уходят вспять воспоминанья,
Как тени скользкие во мрак?
Глухая боль сердечной раны,
Да жизни сказочные планы...

〈1861?〉

9

В СТЕПИ

По степи зеленой
Полдень зноем пышет,
Воздух заморенный
Травки не колышет.

Поумаяв ноги,
Конь идет лениво,
До пыльной дороги
Наклоняясь гривой.

Смотрит: небо сйне,
В мглист *
Нет конца равнине.
<. . . . . .>

С скуки одинокой
Песню напевает,
По степи далеко
Голос пропадает.

<1861—1862 гг.>

10

O LACRYMARUM FONS!.. **

Когда пред тупостью людской
Рассудка власть, бессильная, немеет,
Язык, вотще глаголивший, коснеет,
И тайный гнев, как вор ночной,
Подкравшись чуждою стопой,
Душой незлобивой владеет,—
Как тяжело! как слезы бы нужны!..
А тут-то их и нет! Для них в борьбе
Нет влагою обильной глубины,
Подземного ключа хранительницы мирной;
Иной исток им надобен в тиши —
Печаль любви, печаль воспоминаний,
Да пение надгробных воздыханий,
Да умиление души.
И как подумаешь, что в сердце много, много
И умиления и звуков дорогих,
Торжественных, вздыхающих, живых;
Как жизнь становится гнусна с ее тревогой,
С скрипением раздоров мелочных,
Где гибнут сладостные звуки
В сухом жару неплодоносной муки!

<1861—1862 гг.?>

11

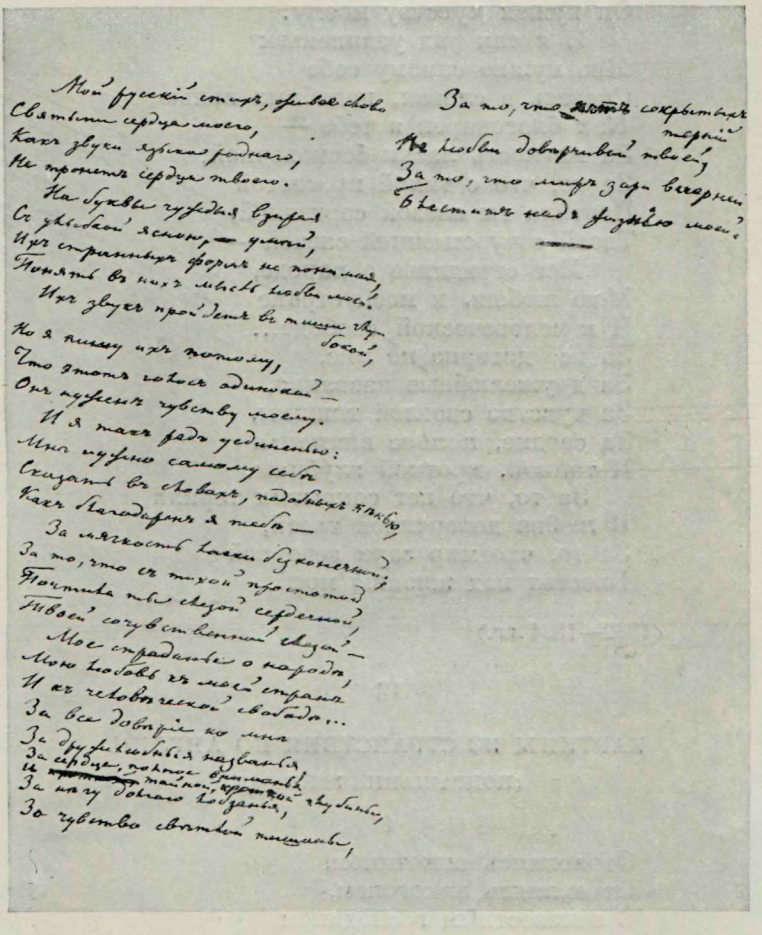
РАЗВРАТНЫЕ МЫСЛИ

Когда идет по стогнам града,
Полустыдясь, полушутя,
Красавица — почти дитя —
С святой безоблачностью взгляда,—
На свежесть уст, на блеск лица,
На образ девственный и стройный —
Гляжу с любовию отца,
Благоговейно и спокойно.

---

* Строка не дописана. — *Ред.*
** «О источник слез!..» (лат.).

Когда ж случится увидать
Черты поблеклые вдовицы,
Полупоникшие ресницы
И взор, где крадется, как тать,
Сквозь усталь жизни, жар томлений,
Неутомимых вожделений,



АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ОГАРЕВА «МОЙ РУССКИЙ СТИХ, ЖИВОЕ СЛОВО...». ОБРАЩЕНО К МЭРИ СЕТЕРЛЕНД, 1862—1864 гг.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Мутятся помыслы мои,
Глава горит, и сердце бьется,
И страсть несытая в крови,
Огнем и холодом мятется.

<1861—1862 гг.?>

12

Мой русский стих, живое слово
Святыни сердца моего,
Как звуки языка родного,
Не тронет сердца твоего.

На буквы чуждые взирая
С улыбкой ясною, — умей,
Их странных форм не понимая,
Понять в них мысль любви моей.
Их звук пройдет в тиши глубокой,
Но я пишу их потому,
Что этот голос одинокой —
Он нужен чувству моему.
И я так рад уединенью:
Мне нужно самому себе
Сказать в словах, подобных пенью,
Как благодарен я тебе —
За мягкость ласки бесконечной;
За то, что с тихой простотой
Почтила ты слезой сердечной,
Твоей сочувственной слезой —
Мое страданье о народе,
Мою любовь к моей стране
И к человеческой свободе...
За всё доверие ко мне,
За дружелюбные названья,
За чувство светлой тишины,
За сердце, полное вниманья
И тайной, кроткой глубины.
За то, что нет сокрытых терний
В любви доверчивой твоей,
За то, что мир зари вечерней
Блестит над жизнию моей.

<1862—1864 гг.>

13

КАРТИНЫ ИЗ СТРАНСТВИЯ ПО АНГЛИИ

(ПОДРАЖАНИЕ ГЕЙНЕ)

1

Отравляясь никотином,
Отравляясь алкоголем,
С неизвестным господином
Ехал я ричмондским полем.

На вершине омнибуса
Мы молчали — не по ссоре,
А затем, что оба — вкуса
Не нашли мы в разговоре.

Мы молчали всю дорогу,
Всё, что в мыслях — было скрыто,
И лошадки понемногу
Доплелись до Гаммерсмита.

Тут мы слезли. Он лукаво
Улыбнулся, но без гнева, —
И пошел себе направо,
Я пошел себе налево.

<1863 г.>

МЭРИ СЕТЕРЛЕНД У МОГИЛЫ ОГАРЕВА

Фотография, конец 1870-х гг.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

14

НАСТОЯЩЕЕ И ДУМЫ
(ПИСЬМА К ГЕРЦЕНУ)

Предисловие

Отвыкли мы от философских тем,
В поэзии бракуют их совсем —
И Анненков, и Гегель, и другие
Философы помельче, небольшие.
В поэзии им образы нужны —
А вот поставь, хоть ради новизны,
Леонтьева с Катковым на картину,
Всё ж образ их пойдет за образину.

Пишу к тебе — зачем, не знаю сам,
Не знаю, что́ в стихах я передам —
Раздумие и мысли, взгляд и нечто,
Иль образы... Ну!.. Да о чем бишь речь-то?
О критиках... Бог с ними, милый мой!
Пишу к тебе, чтоб тайную тревогу
Исканьем рифм рассеять понемногу
И как-нибудь над рифмою тугой
Слегка вздремнуть, поникнув головой.

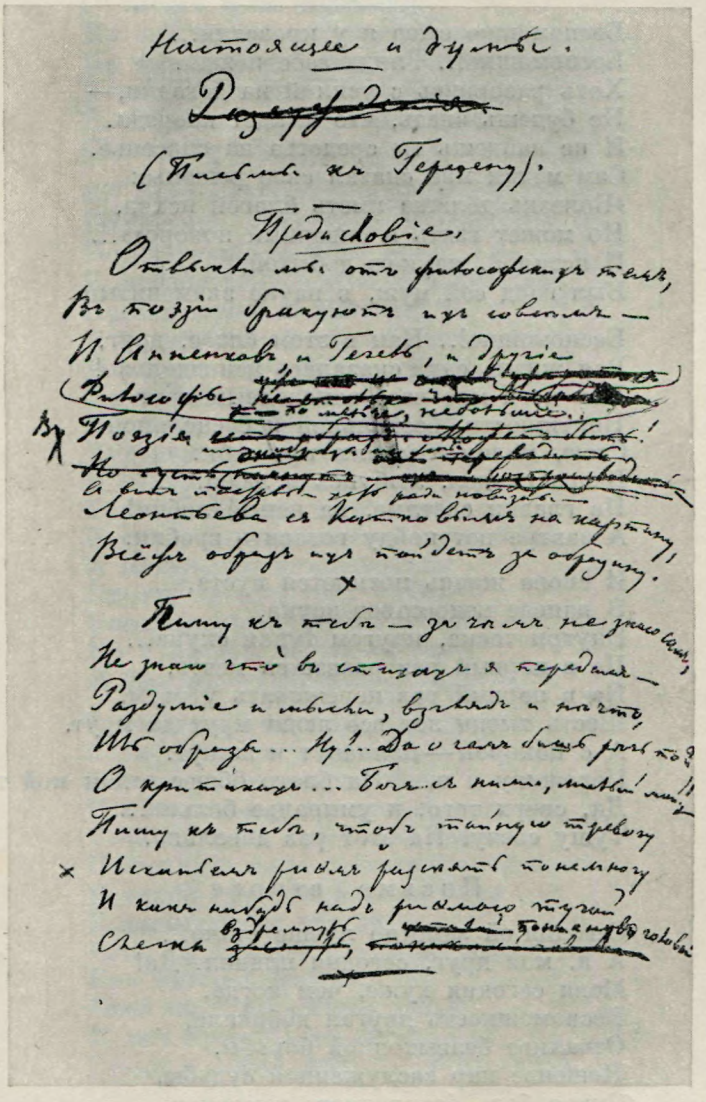
Письмо первое

Ночь. Город спит, насилу удосужась...
Всё тихо, так — что даже без причин
Таинственный охватывал бы ужас...
Но в сердце нет мистических пружин,
Мой ужас прост: мое дитя больное
В соседней комнате. Малейший звук
Я слушаю сквозь веянье ночное
И жду беды и чувствую испуг.
Жизнь или смерть?.. Поди, решай загадку —
Куда природа выпрет лихорадку.

Природа — мать!.. пожалуй, что и мать,
Но с сердцем мачехи... засмейся сразу
И у меня наткнувшися на фразу!..
Но я хотел совсем не то сказать:
Природа (иль по-древнему — натура) —
Ни мать, ни мачеха, а просто дура.
Родит себе и рушит наповал,
И всё равно ей — смерть или родины,
А человек в ней цели отыскал
И умные последствия причины.
Увы, в ней всё ни глупо, ни умно,
А просто так у ней заведено.

Сижу и слушаю... вот два пробило...
Чу! кашляет... Иду я в тишине
На цыпочках, чтобы неслышно было...
Дитя мое! Всё тело, как в огне,
И мечется, и тяжело дыханье...
Еще вчера она приснилась мне —

Обнять меня хотела на прощанье,
А губы у нее — смотрю — черны
И кровию запекшейся полны...
Меня так разом обдал пот холодный
И сон с тех пор пугает безотходно.



АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ОГАРЕВА «НАСТОЯЩЕЕ И ДУМЫ (ПИСЬМА К ГЕРЦЕНУ)», 1863 г.

Лист 1

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Воды тебе? Испей, дитя мое!
Приляг опять, дай я тебя прикрою.
А завтра будь здоровою такою,
Я расскажу про прежнее житье...
Она глядит, но, видно, не узнала,
Заплакала в бреду и закричала,

И снова спит и дышит тяжело.
А голос был так раздирающ, тонок,
Что жалостью всю душу мне свело.
Как будто всем хотел сказать ребенок:
«Простите мне! Не виновата я!
За что же вы так душите меня!».

Беспомощно стою я у кроватки...
Беспомощно!.. Гляди себе и жди,
Хоть разорвись с усилий на догадки,—
Не будешь знать, что выйдет впереди,
И не найдешь ты средства на спасенье.
Сам медик мне сказал свое решенье:
«Болезнь должна иметь благой исход,
Но может взять и скверный поворот»...
И истиной, наукою добытой,
Был горд сей муж, в науке знаменитый.

Беспомощно!.. Как в этом слове, друг,
Вся жизнь сама сказалась неподдельно!
Как ясен мне весь заповедный круг
Ненужности, бессильной и бесцельной.
Стою, молчу и мыслю про себя:
Вчера глядел, любуясь и любя,
На глазки светлые, на ясный лобик!
А завтра вот пойду готовить гробик.

И снова жизнь потянется пуста,
В напеве недостанет звука,
Внутри тоска, кругом тупая скука...
Не в первый раз развеется мечта,
Не в первый раз переживать утраты,
Шесть тысяч лет всё люди мрут да мрут,
А с похорон — поплачут и живут.
Переживу и я... На благо общее отдам мой труд,
Да, сверх того, и умиранье больно...
Тушу свечу! На этот раз довольно.

Письмо второе

Сегодня ей заметно лучше стало...
А я, мой друг, сегодня плакал. Да!
Меня сегодня хуже, чем когда,
Беспомощность другая добивала,
Отчаянье безвыходной борьбы,
Ношенье кар заслуженной судьбы,
Сухая боль бесплодного томленья
Без ласки внутренней, без умиленья.

Когда взошел я к дочери больной,
Вдруг вижу — мать в порыве раздраженья
На нянюшку. Неловкою рукой
Давала пить ребенку и водой
Позалила (случайно, без сомненья)...
Забыто всё — и как беде помочь,
И что нельзя пугать больную дочь,
Забыта скорбь и, может, близость гроба,
Над всем всплыла одна сухая злоба.

Я был объят каким-то духом тьмы,
Мне дикий вид и речи были гадки,
Я вышел вон безумно, без оглядки,
Как будто б я спасался от чумы.
Бежал, бежал, забыл мою больную,
Мой тайный страх, мою печаль иную...
О! отчего я не имею сил,
Ни сил на власть, ни сил на убежденье,
На вкрадчивость сердечного моленья.
Я много бед еще бы отвратил,
Я, страстно эту женщину спасая,
Сказал бы ей, из глубины взывая:

«О! ради наших прошлых дней
Погибшего, погубленного счастья,
Не разрушай в душе моей
К прошедшему последнего участья!
Прости меня! Я виноват,
Я погубил твой возраст юный,
Я пóрвал все святые струны,
Па ум навеял праздный чад.
Я развил волей иль неволей
Дух неразумных своеволий,
Я допустил в душе твоей
Тревогу мелких нетерпений,
И сухость мстительных волнений,
И необузданность страстей!
Прости меня! Перед тобою
Клонюсь преступной головою,
Но я любил, но я был слаб,
Я был не старший брат, а раб.

О! ради наших прошлых дней
Погибшего, погубленного счастья,
Не разрушай в душе моей
К прошедшему последнего участья!
Твой слух на голос мой склони,
Пойми всю ширь сердечного прощенья
И тихой грустию благоволенья
Порывы злобы замени.
Чтоб ты пришла к уразуменью,
Как много я наделал зла
Моей потворственною ленью
И мне простить ее могла,—
Сойди в себя! отвергни оправданья,
Очисти жизнь слезою покаянья...
Вчера — ты помнишь ли — вчера...
Еще ты ночью говорила,
Что, знать, за то, что ты забыла
Понятье правды и добра,
Тебе дочернее страданье
Дано судьбою в наказанье?
Ужель опять — ни страх перед судьбой,
Ни мягкая надежда исцеленья
Не взяли верх над мелкой и сухой
Презренною тревогой озлобленья?
Подумай, оглянись назад —

Безумный вихрь, ревнивый чад...
Сердечной лаской не пригреты —
Две девочки забудут кров родной,
Нарушены пред урной гробовой
Тобою данные обеты.
Ужель и в жизнь своих детей
Навеешь ты всё то же роковое
Дыханье злобы и страстей,
Туманный вихрь, съедающий живое,
Ума лишающий людей?
Пойми, что злоба на все лицы,
Что праздно бешеная кровь,
Тревога дикая волчицы —
Еще не женская любовь.
О! слух на голос мой склони,
Пойми всю ширь любви и умиленья
И тихой грустию благоволенья
Порывы злобы замени.
О! сделай, сделай, ради бога,
Чтоб я, когда иду к больной,
Я не стоял бы у порога,
Терзаем думою одной,
Что вот войду — и вновь тревога,
И вкруг пойдет рассудок мой,
И я, встречая сердца малость,
Забуду и любовь и жалость.
О! дай же плакать мне над ней,
Над бедной Лизою моей,
Любить ее и целовать ей руки
Без задних дум проклятия и муки...
У ног твоих, еще любя,
Рыдаю и молю тебя —
Сойди в себя. Отвергни оправданья,
Очисти жизнь слезою покаянья.
О! ради наших прошлых дней
Погибшего, погубленного счастья,
Не разрушай в душе моей
К прошедшему последнего участья...».

Но тщетно всё... Я знаю, голос мой —
Пустынный бред моей души больной,
И я слова мои напрасно трачу —
Склоняю голову и плачу.

Письмо третье

Она останется жива!
Уже сегодня говорила
Она веселые слова
И сказки сказывать просила.
Уже сквозь усталь и недуг
Смеются умненькие глазки...
Какие ж я тебе, мой друг,
Сказать могу сегодня сказки?
Я помню только лишь одну —
Как рыцарь с синей бородою
Хотел привычною рукою

Убить девятую жену.
Прослушала четыре раза,
Но просит всё конца рассказа,
Всё говорит, не кончен он:
Скажи про прежних восемь жен.

Она останется жива!
Дай этой мыслью насладиться!
Хотя на миг один иль два
Дай в чувстве радости забыться,
Кула-нибудь, хоть за забор,
Отбросив жизни грязь и сор.
Так доживу ж я, вероятно,
Чтобы взглянуть хоть на расцвет
Весенних отроческих лет,
И будет ей не непонятно
Благословенье и завет
И ласка слов моих прощальных,
Спокойных, тихих и печальных.
Да! я увижу возраст тот,
Откуда времени полет
Мои черты сквозь сумрак бледный
С сердечной памяти бесследно
Крылом холодным не сотрет.

<Лондон. Январь 1863 г.>

15

ИЗ ГЕЙНЕ

<Перевод>

В старинных сказках — замки золотые,
Где звуки арф, да пляски стройных дев,
Да пышный блеск нарядов и прислуги,
Да запах роз, и мирта, и ясмина —
И вдруг — одно такое слово — и
Всё рушится в одно мгновенье ока —
И снова тлен и темный прах развалин,
Да крики сов полночных, да болото.
Вот так и я — одним зловещим словом
Все чары снял с сияющей природы;
Лежит она безжизненна, ледяна,
Как царский труп, положенный в гробу:
Ему скулы румянами натерли
И в руку всунули державный скипетр,
А губы-то поблеклы и желты
(Забыли, знать, их тоже подрумянить)
И мыши шмыгают над царским носом
И нагло смотрят на державный скипетр.

<1863 г.>

16

Береза в моем стародавнем саду
Зеленые ветви склоняла к пруду.
Свежо с переливчатой зыби пруда
На старые корни плескала вода.

Д. В. КАРАКОЗОВ ПЕРЕД КАЗНЬЮ

Рисунок карандашом И. Е. Репина с пометой художника: «Каракозов. (По впечатлению). 1866»

Местонахождение оригинала неизвестно

Под веянье листьев, под говор волны,
Когда-то мне грезились детские сны.
С тех пор протянулося множество лет
В волнении праздном и счастья и бед,
И сад мой заглох, и береза давно
Сломилась, свалилась на мокрое дно.
И сам я дряхлею в чужой стороне,
На отдых холодный пора, знать, и мне,
А всё не забыл я про детские сны
Под веянье листьев, под говор волны.

<1863 г.>

17

ОСУЖДЕННОМУ

Ну! выстрелил ты дерзновенно в царя,
Который ошибкою добрым зовется?..
Поступок нелеп — не в упрек говоря —
Но в нем побуждений дурных не найдется.

Незрелая мысль, да горячая кровь...
А сердцем всё ж надо быть чисту и смелу,
Да надо к народу прямую любовь,
Да сильную преданность общему делу.

[Бестрепетный юноша думал спасти
Народ, отпущенный так скудно на волю,
Что должен за свой же участок нести
В уплату свою же последнюю долю.]

Ну! выстрелил ты во благого царя,
Который ввел смертные казни в обычай...
Не спустит он, пошлою местью горя,
Что раз был испуган вне должных приличий.

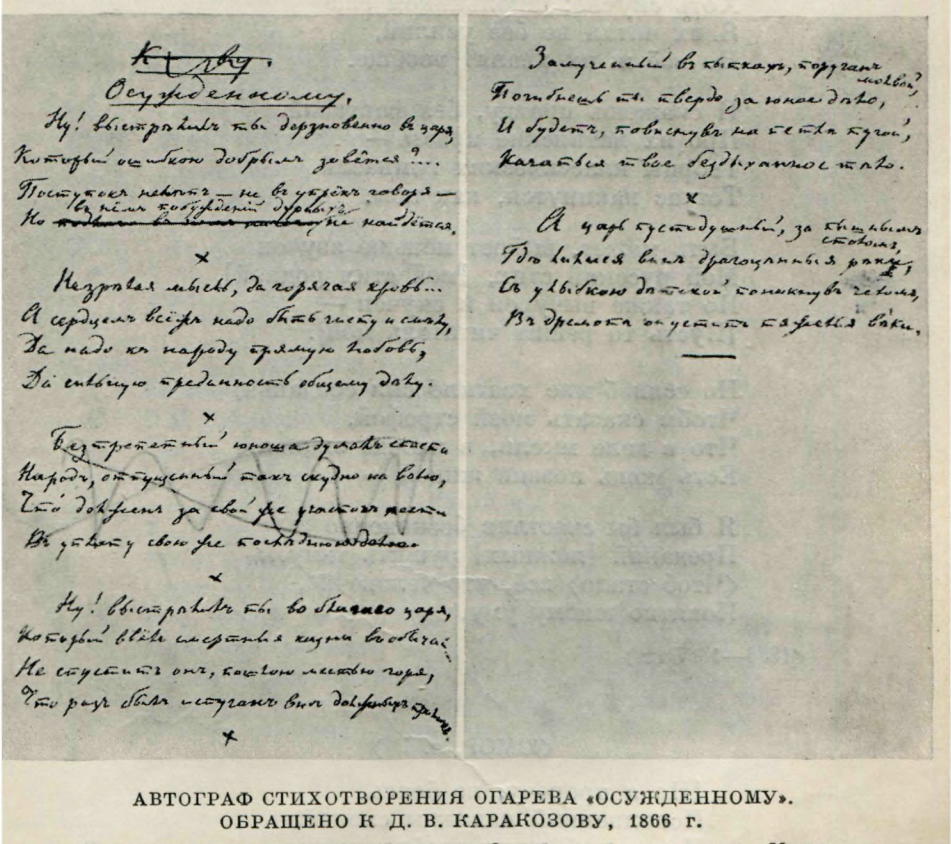
Замученный в пытках, поруган молвой,
Погибнешь ты твердо за юное дело,
И будет, повиснув на петле тугой,
Качаться твое бездыханное тело.

А царь пустодушный, за пышным столом,
Где лилися вин драгоценные реки,
С улыбкою детской поникнув челом,
В дремоте опустит тяжелые веки.

<1866 г.>

18

Надежды падают и рушатся мечты,
Как волны скользкие колеблемого моря.
Дитя любимое, зачем родилось ты —
Для сильной жизни ли, иль для тупого горя?
Пристрастья матери задушат ли в тебе
Движенье сил живых любви и пониманья,
Иль все ж ты вынырнешь в настойчивой борьбе
Из-под ревнивого и злобного влиянья?
И сохранишь весь век (как жить ни тяжело,
И как бы жизнь твоя ни длилась бесконечно)
Спокойный светлый взор и ясное чело —
Как выражение всего, что человечно?



АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ОГАРЕВА «ОСУЖДЕННОМУ». ОБРАЩЕНО К Д. В. КАРАКОЗОВУ, 1866 г.
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Не знаю, право, я — и жизнь моя жалка,
Как будто облака свинцовые нависли,
И всё безвыходно, и скорбная тоска
Теснит дыхание, смущает свежесть мысли.

<1867 г.>

19

ПРЕДИСЛОВИЕ

Обычной жизни сор мятежный
Похоронив в прожитом дне,
Свершаю мысли труд прилежный
В уединенной тишине.

Но мерных строк язык [привольный]
И рифм созвучная чреда
Опять теснятся в слух [невольно],
Как прежде, в юные года.

Объят их сладостною мукой,
Склоняя на руки чело —
Хочу стихи связать с наукой
Немецким критикам назло.

Писал Георгики Вергилий —
Хоть скучно; школьником еще
Я их читал не без усилий,
Но всё ж их хвалят вообще.

И скажешь правду, без фантазий,
Про их латинские красы,—
Творцы классических гимназий
Тотчас накинутся, как псы.

Быть может, выйдет меньше звучен
Мой русский стих, [мой стих родной],
Но также вычурен и скучен —
[Пусть то решит читатель мой].

Но если б мне хватило сил созданья,
Чтобы сказать моей строфой,
Что в деле мысли, в жажде знанья
Есть мощь поэзии живой,—

Я был бы счастлив бесконечно
Преданий [ложных] рушить тьму...
<Чтоб стало> всё, что человечно,
Понятно юному уму.

<1866—1867 гг.>

20

<ЮМОР, ч. III>

[Но я пророчу, не боясь,
Исполненный надежды смелой,
Что новый кряж взойдет у нас —

С стремленьем чистым, мыслью зрелой,
И пусть посердит вас и вас,
Но жизни будущего целой
Блеснет в нем яркая звезда —
За тем и гнев ваш не беда...] *

7

Нельзя сказать чего ясней
О людях нового деянья;
Блажен, кто мог рукой своей
Оставить им кирпич для зданья;
Но все ж, в герои повестей —
Из лиц знакомых иль преданья
Берут поэты всех времен:
Гомер — и Майков Аполлон.

Смотреть покойников ходил
Когда-то с Дантом сам Вергилий;
Для отысканья жизни сил
На пляску ведьм, не без усилий,
Сам Гете Фауста водил,
И чорт поэта нё‹с› без крылий:
Но человек грядущих лет
Стихами не бывал воспет.

Вопрос мудрен: кто ж мой герой?
Людей грядущих поколенья,
Столь силы полные живой,
Мне незнакомы. Скукой тленья
Объят мир древности немой,
И не дарует наслажденья
Знакомый, но несвежий свет,—
Так, стало быть, героя нет?

‹1867 г.›

21

Сегодня настроен мой мозг музыкально,
Всё слышатся звуки, да звуки, да звуки;
Не то бы на стуле вздремнулось печально
От горьких вспоминок и скуки.
Какая тут музыка, милый ты мой,
То в пильне машина заводит свой строй,
Да в школе мальчишки, во славу творца,
Одну ту же ноту поют без конца,
И с улицы, в помощь им, голос подвел
Усталый, забитый осел.
Не любо мальчишкам, не любо ослам,
Не любо работнику с пильной машиной,
Откуда ты музыку выдумал там?
Напев целой жизни расстроен кручиной.

‹1870—1871 гг.›

* Воспроизводим для связи с последующим заключительную строфу III части «Юмора», опубликованной в «Полярной звезде» на 1869 г., стр. 171.

22

МОЯ БИОГРАФИЯ

(Первое отделение)

Напиваясь брагой кротной,
Напиваяся вином,
Напиваясь просто водкой,
Шел я жизненным путем.
И сломал себе я ногу,
И, хромающий поэт,
Все же дожил понемногу
До шестидесяти лет.

1

Эпиграф странен, жизнь еще страннее,
С улыбкою гляжу я ⟨на⟩ добро
Бессильное — и зло, хоть посильнее,
Но пошлое и в сущности старо,
Толкая криво от начала века
Пустую жизнь пустого человека.

2

Добро есть в азбуке, а зло повсюду,
Мы видим жизнь больших и малых стран
В руках царей, ласкающих Иуду,
Или республик, строющих обман,
И видим мы, как годы, годы, годы —
Народам нет действительной свободы.

3

Пора бы взяться за другое дело
И выступить на новую борьбу,
Где можно бы и высказать нам смело
Безверие и в бога и в судьбу,
И, с ведома добыв освобожденье,
Провозгласить племен соединенье.

4

Вот основания. Теперь же снова
Начну рассказ я о себе самом;
Я думаю, что мысль моя готова
И что могу я совладать с стихом,
Хотя бы всё, что в прошлой жизни было,
Явилося смешно или уныло.

5

Родился я — как водится обычно —
От матери и тож отца.
Отец мой русский барин был отличной,
Мать умерла — не помню и лица,
Но мысль о ней была мой бред любимый,
Отец же сгиб, параличом хватимый.

6

Да, впрочем, вообще наш барин русский,
Добившися до лент иль до крестов,
Так скукою замучен жизни узкой,

Что сгибнуть рано чем-нибудь готов
Или, как братец мой в движеньи вялом,
Становится жандармским генералом *.

7

Я в детстве рос на бабьем попеченье
С любовию и к церкве и к попам;
Потом я был в заботливом раченье,
Сдан на руки бездарнейшим глупцам,
Но вскоре сам я стал читать Вольтера
И верить бесконечно в Робеспьера.

8

Тут, видно, просто я переменился,
И в жизни цель мелькнула, стало быть,
Совсем иная... Я еще молился
По приказанию, но позабыть
Уже не мог безверья в доблесть барства,
В святыню церкви или государства.

9

А тут пришел в торжественном движеньи —
В России бунт известный Декабря,
И нас детей в задумчивом волненьи
Воздвигнул страстно противу царя;
Тем более, что Николай чудесил
И пятерых, испуганный, повесил.

10

Я не сказал, не то, чтоб по забвенью,
Как я любил и как любим бывал,
Всё к третьему поступит отделенью;
Теперь же я об этом не сказал —
Всё кажется: мне сердце что̀ задело —
До этого кому какое дело? **

<1872—1873 гг.>

ПРИМЕЧАНИЯ

1. <К М. Л. ОГАРЕВОЙ>

Печатается по автографу (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 42, лл. 21—22). Текст — на почтовом листке белой бумаги.

На обороте л. 22 неизвестной рукой сделана надпись: «1840. Décembre, в бытность в Акшене».

Стихотворение, вероятно, связано с большим письмом Огарева к Марии Львовне из Пензы и Акшена в Петербург, помеченным 14, 15 и 18 декабря (ИРЛИ; письмо не опубликовано).

Первая строка стих.: «Хочу еще письмо писать» указывает, что, повидимому, в тот же самый день, 18-го, когда Огарев заканчивал свое письмо, он продолжил его стихами.

Автограф стихотворения беловой, лишь после строки «Объехать с солнцем мирозданья!» (в нашей публикации заключительная строка) следуют черновые наброски двух неотделанных строф, которые нами не воспроизводятся.

---

* Гр<игорий> Дм. Колокольцов. — *Примеч. Огарева.*

** *Далее приписано:* Поправить придется многое, но сегодня посылаю как есть, мои милые. Ваш Ага.

2. «ДАЙ РАССКАЖУ ТЕБЕ, МОЙ ДРУГ...»

Печатается по автографу; текст находится на том же почтовом листке, что и № 1. Тексту предшествует пометка «попозже»; поскольку № 1 помечен Огаревым «18 декабря вечером» — данное стихотворение написано, очевидно, ночью того же 18 декабря.

3. «BUCH DER LIEBE»

«Я пишу четыре цикла лирических стихотворений,— сообщал Огарев 21 января (2 февраля) 1843 г. из Рима московским друзьям.— 1) Buch der Liebe, 2) Buch der Kunst, 3) Buch der Weisheit, 4) Buch des Lebens, 5⟨-м⟩ будет Buch der Bilder. Барон ⟨Кетчер.—*Я. Ч.*⟩ хохочет над обилием заглавий, а я покраснел от стыдливости. Други! Не смейтесь, пожалуйста, по крайней мере не смейтесь, пока я сам люблю свой труд» («Русская мысль», 1889, № 11, стр. 4).

Огарев имел основания опасаться насмешек друзей. Обычно они встречали с недоверием его сообщения о разнообразных творческих планах, сомневаясь в исполнимости столь обширных замыслов. В письмах Огарева 1841—1845 гг., адресованных Герцену, Грановскому, Белинскому, Кетчеру и Боткину, всем вместе и каждому в отдельности, мы находим многочисленные упоминания о начатых им и оставленных по разным причинам трудах. Так, известно, например, что Огарев прервал и не возобновлял впоследствии работу над повестью «Гулевой», две больших главы из которой он прочитал в июне 1843 г. в Bagni di Lucca Н. Г. Фролову (письмо от 16—17 июня 1843 г.— «Русская мысль», 1890, № 3, стр. 8). Тогда же им была начата и тоже не закончена поэма, писанная «дантовскими трехстрочиями» (там же). Начало сороковых годов было в творчестве Огарева периодом обостренных исканий, и, отчасти поэтому, многие его замыслы оказывались незаконченными.

Ни одна из перечисленных выше четырех книг (да еще с пятой в проекте) до настоящего времени известна не была. Естественно поэтому, что историки литературы, вслед за друзьями поэта, воспринимали сообщение Огарева с недоверием, полагая, что этот замысел, как и многое другое, относится к категории «неосуществленного».

Но в данном случае сомнение оказалось напрасным. Одна из названных «книг» — «Buch der Liebe» («Книга любви») — была, как оказывается, создана. Законченную рукопись этой «книги», состоящей из сорока лирических стихотворений, в 1939 г. приобрел архив Института мировой литературы им. А. М. Горького и позже передал в Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) в Ленинграде.

Цикл стихотворений «Buch der Liebe» написан Огаревым в записной книжке, подаренной ему в июне 1842 г. в Новгороде Герценом. На первом «титульном листе» рукою Герцена написано:

«Тысяча восемьсот сорок второй год
1 января Новгород»

Из этой книжки кем-то (возможно, самим Герценом) или Огаревым) вырезано 8—9 листков.

Второй «титульный лист», содержащий заглавие цикла стихов и эпиграф, сделан уже рукой Огарева. Получив подарок, Огарев переписал в книжку два ранее написанных стихотворения и продолжал вносить новые — вплоть до июня 1844 г.

Весь цикл стихотворений и стихотворных посланий, составляющих «Книгу любви», обращен к Евдокии Васильевне *Сухово-Кобылиной* (1819—1896), младшей сестре выдающегося русского драматурга А. В. Сухово-Кобылина. С этой старой дворянской семьей Огарев познакомился в начале тридцатых годов. Среди студенческих бумаг Огарева, захваченных жандармами при его аресте в 1834 г., нами обнаружено письмо юного А. В. Сухово-Кобылина (род. 1817) к Огареву. На допросе Огарев отвечал, что принадлежит оно «мальчику лет пятнадцати». Письмо это свидетельствует о дружбе между юношами. Знакомство Огарева с сестрами будущего драматурга тоже произошло в юности. В стихотворении, посвященном старшей сестре Елизавете (1815—1892, в замужестве Салиас де Турнемир, известна в литературе под псевдонимом Евгении Тур), Огарев говорит о поре их знакомства: «Вы были девочкой, а я уж юношей...» (Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы, т. I. Л., 1937, стр. 67). Следовательно, встретились они впервые в конце двадцатых или в начале тридцатых годов. Весьма вероятно, что и с младшей из Сухово-Кобылиных (Душенькой, Евдокией, в замужестве Петрово-Соловово) Огарев познакомился в те же годы. По крайней мере, в неизданном путевом дневнике Евд. В. Сухово-Кобылиной за 1836 г. имеется упоминание об Огареве как о хорошо знакомом лице (см. ЛБ. Дневники Евд. В. Сухово-Кобылиной, 1836, л. 78, запись от 24 сентября (6 октября), сделанная в Гейдельберге).

После 1834 г. Огарев не встречался с Сухово-Кобылиными вплоть до окончания ссылки. Он стал бывать у них вновь, когда с осени 1839 г. поселился в Москве. В феврале 1840 г. Огарев в письме к Герцену, упоминая о своем посещении Марии Ивановны Сухово-Кобылиной, обронил: «Марьи Ив—ы 2-ая дочь Душенька очень мила» («Русская мысль», 1889, № 1, стр. 8).

Зимой 1841 г., перед отъездом за границу, Огарев посвятил Душеньке первое стихотворение «Как всё чудесно стройно в вас...». Вернувшись в начале 1842 г. на несколько месяцев в Россию из заграничного путешествия, Огарев во время пребывания в Москве виделся с Душенькой и, в частности, навестил ее в Воскресенском — подмосковной усадьбе Сухово-Кобылиных. В этот период он написал второе, посвященное ей, стихотворение: «По тряской мостовой я ехал молча».

20 июня 1842 г., вскоре после новгородского свидания с Герценом, Огарев вторично уехал за границу. И в записной книжке, подаренной ему в Новгороде, в которой, как сказано, уже были записаны два стихотворения к Душеньке, стали появляться новые и новые стихи, обращенные к ней и помеченные разными городами Италии и Германии. Так, в течение двух лет (июнь 1842 — июнь 1844) складывался цикл «Книги любви». Только два стихотворения из этой книги — упомянутые выше «Как всё чудесно стройно в вас» (1841) и «По тряской мостовой я ехал молча» (1842) были опубликованы Огаревым (первое — в «Отечественных записках», 1841, т. XVI, июль, стр. 233; второе — там же, 1843, т. XXXI, декабрь, стр. 192). Остальные стихи о своей утаенной любви Огарев не только не опубликовал, но и не показал друзьям и даже той, к которой они были обращены. Лишь после его смерти семь более или менее случайно выбранных стихотворений были напечатаны Т. П. Пассек в «Полярной звезде» гр. Салиаса на 1881 г., в кн. 5 (ср. Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы, т. I. Серия «Библиотека поэта», 1937, стр. 135—141).

Что же представляет собою цикл «Buch der Liebe»? Это — лирический дневник (впоследствии сам Огарев сделал к нему подзаголовок: «Отрывки из автобиографии»), в котором с большой откровенностью запечатлена история возникновения и развития «несбыточной», «мечтательной» любви. Все оттенки этого чувства, все перемены, которым оно подвергалось, прослежены Огаревым от даты к дате и нашли свое выражение в его искренних автобиографических признаниях. Сосредоточенность, атмосфера нравственной чистоты, сила чувства, продиктовавшего эти страницы, придают им характер, присущий лучшим произведениям огаревской лирики.

Вот почему стихотворения этого цикла значительны не только в качестве важного автобиографического документа. Их значение шире. Некоторые из них рассказывают об идейном пути молодого Огарева.

Дало мне знанье силу отрицать,
Тревожную, мучительную силу, —

говорит Огарев во втором из печатаемых нами стихов. Речь идет здесь об отрицании той социальной среды, к которой, по происхождению, принадлежал он сам и с которой он резко столкнулся еще в ранней юности.

... Дом мне был тюрьмой,
Где двери на замке держал обычай,
Приличие стояло на часах,
И был закон надсмотрщик престарелый, —

вспоминает Огарев о годах своей юности, проведенных в том кругу, к которому принадлежали и он и его воображаемая корреспондентка.

Среди стихотворений «Книги любви» мы находим несколько, посвященных основному мотиву философской лирики Огарева. Так, стихотворение «Я одарен способностью ужасной» намечает тему будущих «Монологов» Огарева, а заключительное стихотворение всего цикла «Учусь! Учусь! и жажда знанья мучит!» подытоживает не только историю «мечтательной любви», но и развитие мысли Огарева в прошедшие два года:

Я истины хочу и не боюсь
Сомнений долгих, трудных отрицаний;
Все призраки разрушить я готов,
Хотя б они и близки были сердцу.
Я часто ныне чувствую в себе,
Что становлюсь я духом чище, крепче:
Ясней смотрю на вещи, и мой взгляд
Широко мир безгранный обнимает...

В поэзии Огарева приведенный отрывок имеет продолжение. В известном стихотворении «Совершеннолетие» (1846) Огарев говорит:

С ошибкой детскою разделаться я рад
И веселей встречаю горечь истин,
Чем малодушие мечтательных отрад;
Я в деле счастья горд и бескорыстен!
Но мир, который мне как гнусность ненавистен,
Мир угнетателей, обмана и рабов —

Его, пока я жив, подкапывать готов
С горячим чувством мести или права,
Не думая о том — что — гибель ждет иль слава.

(Н. П. Огарев. Избранные стихотворения и поэмы. М., 1938, стр. 13, 322).

В стихах цикла отражены также впечатления от путешествия и жизни Огарева в Италии и Германии. Впечатления эти были глубоки и содержательны и относились преимущественно к художественной и культурной жизни. Изучению социальной и политической действительности Европы Огарев отдал свои силы несколько позднее — в 1844—1846 гг., когда цикл «Buch der Liebe» был уже окончен. Только большое послание из Берлина, написанное в 1844 г., и упомянутое выше стихотворение «Учусь! Учусь!..» являются как бы введением к новому периоду идейного развития Огарева.

Художественные интересы, занимавшие весьма серьезное место в жизни Огарева в 1841—1843 гг., нашли в «Книге любви» разнообразные выражения. Огаревым созданы мастерские зарисовки галерей и церквей Флоренции, пейзажей Рима и его окрестностей, пути в Ливорно, поездки в Альбано.

Впечатления от итальянской природы и итальянского искусства перемежаются с воспоминаниями о России. Русская природа, русский быт, образ «отчизны дальней» не раз встают в сознании поэта.

И дале в путь! и степь кругом,
И взор конца не различает,
И знойно день палит лучом,
Трава желтеет и сгорает,—

говорит он, вспоминая русские степи (XXI).

Образ «Душеньки» нередко появляется в стихах вместе с образом русского пейзажа:

Воспоминанье живо мне чертило
Весну такую же в моей родной стране,
И как-то хорошо и грустно было мне.

Таким же воздухом дышал я над рекой,
Где вместе мы на берегу сидели,
Березы белые, склонясь над водой,
Купали лист зеленый и шумели (XV).

Как указывалось выше, Огарев не пожелал публиковать «Buch der Liebe». Но в 1860 г. он сделал попытку вернуться к этому раннему циклу. Книга, по его выражению, понадобилась ему «для автобиографии и для многих стихотворных планов» «и потому, что не хочется умереть, не перечитавши ее» («Звенья», т. 3—4, стр. 416 и 421).

* * *

После того как Т. П. Пассек в 1881 г. опубликовала семь стихотворений из цикла «Buch der Liebe», со включением стихов «Я поздно лег, усталый и больной...» (в настоящее время в записной книжке отсутствующих), под общим заглавием «Из альбома Е.» — два поколения редакторов тщетно разыскивали этот альбом. Между тем, «Альбом Е.» и есть публикуемая записная книжка. Расшифровывая букву «Е.», редакторы позднейших изданий ошибочно предположили, будто под этим инициалом подразумевается Елизавета Васильевна Салиас де Турнемир, что сильно затрудняло поиски. Дочь Евдокии Васильевны, М. М. Петрово-Соловово, передавая «альбом», т. е. «Buch der Liebe», в Отдел рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького (в 1939 г.), сообщила, что «альбом» хранился до смерти Огарева (1877) у Елизаветы Васильевны, после же был отдан ею сестре и до передачи в Институт оставался в семье Петрово-Соловово.

Таким образом, «Душенька», к которой были втайне обращены стихи Огарева, прочитала большинство из них лишь в старости.

В записной книжке Огарева нет никаких других записей, кроме текста (преимущественно белового) стихотворений, обращенных к Евд. В. Сухово-Кобылиной. В тексте отдельные строки и слова подверглись исправлениям, кое-что зачеркнуто или надписано по ходу письма. В настоящей публикации черновые варианты не воспроизводятся.

Нет сомнения, что Огарев писал эти стихи сперва, как обычно, карандашом, на отдельных листках, и черновики впоследствии уничтожил. Во всех известных нам рукописных собраниях Огарева нет никаких следов черновых вариантов «Buch der Liebe». Исправления текста в записной книжке носят характер шлифовки стиха, которая совершалась, когда автор перебелял уже вчерне записанный текст. Воспроизводить эти поправки значило бы загромождать текст и затруднять чтение.

Текст Огарева занимает лл. 1—21 записной книжки. Остальная часть ее (лл. 22—52) не заполнена. Все стихотворения написаны чернилами, с обеих сторон листа,

мелким убористым почерком. Стихотворения переписаны тесно одно к другому и разделены черточками. Размер книжки 20 × 13 см (по переплету). Переплет темный, из оклеенного картона; корешок и уголки темнозеленого цвета, кожаные, потертые, так же, как и вся поверхность крышек.

Нумерация в тексте Огарева отсутствует. Она произведена нами.

Даты и пометки Огарева в публикуемом тексте воспроизводятся. Даты, принадлежащие публикатору, печатаются под текстом в угловых скобках и обосновываются в примечаниях.

* * *

I. «Заснула Пиза в тишине ночной...»

Стихотворение написано осенью 1842 г. Выехав из России 20 июня 1842 г., Огарев через Травемюнде, Любек, Гамбург приехал в Магдебург. Оттуда, побывав в Лейпциге, где он случайно встретился с В. Ф. Одоевским, Огарев отправился вместе с ним в Дрезден. Из Дрездена поехал в Карлсбад, чтобы провести там курс лечения. В Карлсбаде Огарев лечился в июле и, повидимому, в начале августа. Затем он отправился в Эмс и другие прирейнские города. «В сентябре я буду в Ницце, потом в Неаполе и, наконец, в Риме»,— писал Огарев Евд. В. Сухово-Кобылиной в письме от 10/22 июля 1842 г. из Карлсбада (см. ниже в наст. томе). Этот план путешествия был выполнен довольно точно. В Пизе, на пути во Флоренцию, Огарев был в октябре 1842 г. (М. Г е р ш е н з о н. Образы прошлого. М., 1912, стр. 502 и 505).

II. «Вы выросли, любя отца и мать...»

Написано, очевидно, как и первое стихотворение, в Пизе, в тот же период. Пометка «Флоренция» сделана Огаревым в первый раз на стихотворении «Я по Флоренции бродил печально...» (III). Следовательно,— поскольку рассматриваемое стихотворение предшествует ему,— оно написано еще в Пизе, до переезда во Флоренцию, т. е. в октябре 1842 г. Стихотворение интересно содержащейся в нем автохарактеристикой (см. текст от строки «А я был вечный мученик...» и далее). Ср. также в настоящей публикации стихотворения «Я одарен способностью ужасной...» (VI) и «Учусь! Учусь! и жажда знанья мучит...» (XXII).

III—IX. «Я по Флоренции бродил печально...»; «Любовь моя мне стала тайным светом...»; «Мне говорили будто в сердце вы...»; «Я одарен способностью ужасной...»; «Вы дружбу мне хранить глубоко...»; «Два дня я не видал моей статуи...»; «Сегодня колоколен звон печальный...».

Стихотворения III—IX написаны во Флоренции в октябре — декабре 1842 г. В «Buch der Liebe» имеется еще четыре стихотворения, относящихся к флорентийскому циклу; из них два — «В тиши ночной аккорд печальный...» и «Вчера я в церковь dell'Annunziata...» опубликованы (Н. П. О г а р е в. Стихотворения и поэмы, т. I, стр. 140—141); два других остаются в рукописи.

Огарев в этот период часто посещал всемирно прославленные музеи Флоренции, галерею Уффици, галерею Питти и другие богатейшие собрания итальянской живописи XIV—XVIII вв. В нескольких из публикуемых стихотворений Огарев говорит также о своих посещениях церкви Благовещения (dell'Annunziata). Церковь эта, основанная в 1250 г., перестраивалась затем в течение нескольких столетий, вплоть до XVII в. Притвор церкви расписан фресками Андреа дель Сарто и его учеников. Из нескольких скульптурных надгробий, находящихся в церкви dell'Annunziata, мы затрудняемся указать то, которое соответствовало бы описанию Огарева.

X. «Я новому искусству предался...»

Во Флоренции Огарев начал брать уроки рисования и живописи, но вскоре увлечение его остыло, и он оставил эти занятия.

XI. «Livorno спит, озарено луною...»

Стихотворение написано в декабре 1842 г. Из Флоренции Огарев отправился в Ливорно и оттуда морем в Рим. Как явствует из текста, стихотворение написано в порту, незадолго до отъезда.

XII—XV. «Я ночью подъезжал к святому граду...»; «Вчера она пела, Клара Новелло...»; «Не знаю почему, певица эта...»; «Вчера был теплый день, и веяло весной...».

Из семи стихотворений «Buch der Liebe», созданных в Риме в период с декабря 1842 г. по апрель 1843 г., мы воспроизводим четыре.

Оперная певица (сопрано) Клара Анастасия *Новелло* (1818—1908) выступала с большим успехом не только в Италии, но также в Англии и Германии. В письме к друзьям (Боткину, Грановскому, Кетчеру и Герцену) из Рима от 6/18 апреля 1843 г. Огарев упоминает о том, что слушал Клару Новелло в «Пуританах» Беллини («Русская мысль», 1889, № 12, 18).

XVI—XVII. «Уже давно я в книге этой...»; «Опять уже прошло так много дней...»

Оба стихотворения написаны в конце пребывания в Италии. Первое помечено Огаревым «Albano. Апрель». Albano — местечко вблизи Рима, где Огарев прожил часть апреля 1843 г. Отсюда Огарев направился в Неаполь, где им и написано второе

стихотворение. Из Неаполя он поехал в Bagni di Lucca, чтобы навестить Н.Г.Фролова, близкого друга Грановского. После свидания с ним Огарев в конце июня 1843 г. уехал в Германию, на Рейн.

Упоминаемая во втором стихотворении villa reale (другое название—villa nazionale) — общественный парк Неаполя. Парк тянется на север и восток от дворца неаполитанских королей (Palazzo reale di Capodimonte). Заложенный в 1780 г., он был расширен в 1807 и особенно в 1834 г.

XVIII—XX. «Я проезжал печальные края...»; «Я возле вас сидел во сне...»; «Я изнывал в глуши печальной...».

Стихотворения, начиная с помеченного «Saline Theodorshalle» (XVIII) и кончая помеченным «Ганау. Октябрь» (XX), написаны Огаревым в летние и осенние месяцы 1843 г., в прирейнских городах и курортах Германии. После этого нового путешествия Огарев отправился в Париж, где провел зиму 1843/44 г. Весной 1844 г. он вернулся в Италию, но пробыл здесь недолго, переехав в июне того же года в Берлин.

Об этом путешествии он подробно говорит в письме к Евд. В. Сухово-Кобылиной от 1 июня (20 мая ст. ст.) 1844 г., публикуемом в наст. томе.

XXI. «Я вам сказать хотел бы много...».

Длинное стихотворное послание, датируемое июнем 1844 г., является последним отзвуком любви Огарева к Евд. В. Сухово-Кобылиной в публикуемом нами цикле.

Послание представляет интерес и в том отношении, что в нем можно видеть поэтический отклик Огарева на одно из замечательнейших произведений Лермонтова; мы имеем в виду стихотворение «Я к вам пишу...», известное под названием «Валерик» и появившееся в альманахе «Утренняя заря» в 1843 г. Основная тема послания Огарева:

В себя печально заглянуть
Пришлося мне в уединенье
И тяжело вздохнула грудь! —

родственна первой лирической теме стихотворения Лермонтова:

Страницы прошлого читая,
Их по порядку разбирая
Теперь остынувшим умом,
Разуверяюсь я во всем.

По своим разговорным интонациям, как бы одновременно обращенным и к корреспондентке и к себе самому:

Довольно! Я воображу,
Что вы со мной, что в вас пробудит
Участье то, что я скажу,
И мне, быть может, легче будет —

послание Огарева тоже близко лермонтовскому:

Я к вам пишу: случайно! право,
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам?— ничего!

Как Лермонтов переходит от своего лирического монолога к рассказу о битве у «Речки смерти» — «Валерике», так и Огарев переходит от лирических признаний к аллегорическому рассказу о пути человека. Правда, сходство лишь в композиции, но и оно примечательно, подтверждая те живые связи, какие в этот период существовали между поэзией Огарева и поэзией Лермонтова.

XXII. «Учусь! Учусь! и жажда знанья мучит!..»

Стихотворение написано, повидимому, вскоре после предыдущего. О его значении в идейном развитии Огарева сказано выше, во вступительных замечаниях ко всему циклу «Buch der Liebe».

4. «ТУЧИ СЕРЫЕ БРОДЯТ В ПОДНЕБЕСЬИ...»

Печатается по автографу; отдельный лист плотной сероватой бумаги (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 40, л. 1а). Датируется концом 1846 г., так как *друг*, упоминаемый в стихотворении,— это Герцен, уехавший за границу в январе 1847 года.

Родные горы — Воробьевы горы в Москве, куда обычно весной и осенью Герцен и Огарев отправлялись вместе в память знаменитой клятвы, принесенной ими в юности.

Впоследствии, в 1869 г., Огарев использовал некоторые образы из этих стихов в стихотворении «Серые облаки по́ небу тянутся...» (Н. П. О г а р е в. Стихотворения и поэмы, т. I, стр. 268).

5. «С КАКОЙ ТРЕВОГОЙ ОЖИДАНЬЯ...»

Печатаем набросок по черновому автографу, находящемуся в записной книжке Огарева (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43а, л. 5). Дата стихотворения — 1860 или 1861 г.— устанавливается приблизительно (по положению автографа среди других записей).

Зачеркнутые варианты текста не воспроизводятся.

6. «...ОНА СО МНОЮ ТАК ДОБРА...»

Отрывок записан набело в записную книжку (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43а, л. 6) среди стихотворений 1860—1861 гг. Относится, вероятно, к Мэри Сетерленд, (см. стихотворение «Мой русский стих, живое слово...» <12> и примечание к нему).

7. РУДОЛЬФОВ ТРАПП (Л. Н. ТОЛСТОМУ)

Печатается по автографу, находящемуся в записной книжке (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43а, л. 30). Запись стихотворения сделана набело, почти без помарок. Исправления были внесены в два стиха: строка 38-я — «Нас судьба уносит розно» — переделана из строки: «Жизнь должна вести нас розно»; слова «Я сжимал» (в строке 46 й) надписаны над зачеркнутым: «Прижимал».

Стихотворение датируется 1861 годом. В феврале — марте этого года Л. Н. Толстой, которому посвящено стихотворение, находился в Лондоне, где познакомился с Герценом и Огаревым. С Огаревым Толстого объединяла, помимо общих литературно-политических интересов, любовь к музыке. Так, в первом же письме к Герцену, написанном 20 марта 1861 г., после переезда из Лондона в Брюссель, Толстой писал: «Николай Платонычу жму руку и имею честь донести *по его части*, что вчера, слушая „Фауста" Гуно, испытал весьма сильное и глубокое впечатление, хотя не мог разобрать, произведено ли оно было музыкой или этой величайшей в мире драмой, которая осталась так велика даже в переделке французского либретто. Но музыка в самом деле не дурна» («Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 495; курсив мой.— *Я. Ч.*).

Вспоминая впоследствии свое знакомство с Огаревым, Толстой, между прочим, рассказывал: «Я об Огареве узнал странным образом. Жил тогда <в 1849 г.> в Москве музыкант Иоганнис, талантливый человек, отлично играл, но и кутила порядочный. Еще был у него товарищ Рудольф. (Ш<естов> прервал: «это тот, с которого вы написали Альберта?» — «Нет, т. е. это так вообще»), тоже талантливый; вместе прожигали жизнь. <Далее следует вспоминаемый Толстым рассказ Иоганниса об Огареве>. Я потом этого Рудольфа привел сюда, он меня учил играть на рояли» (из письма М. О. Гершензона, писанного 20 июля 1904 г., на другой день после того, как он посетил Толстого.— «Новые пропилеи», т. I. М., 1923, стр. 97).

В других воспоминаниях о Л. Н. Толстом вновь упоминается имя музыканта Рудольфа. Рассказывая о музыкальности, присущей семейству Толстых, автор воспоминаний, М. Н. Орлов, пишет:

«Как-то раз он <К. А. Ислявин> соблазнился открытым инструментом и сыграл кавалерийскую рысь, мне совершенно незнакомую. Тонкая по отделке, эта рысь прельстила меня своими уместно введенными секвенциями, и я спросил, чья она? За Ислявина ответил слушавший Л<ев> Н<иколаевич>, что она — неизданная пьеса Рудольфа. Оказалось, что этот Рудольф — он же Альберт. Ее знал наизусть и Сергей <С. Н. Толстой, брат Л. Н.>. Он мне ее записал, и играю я ее и поныне» (там же, стр. 91).

Музыканты Иоганнис и Рудольф, о которых вспоминает Толстой, были хорошо известны Огареву, в особенности первый из них. С Иоганнисом Огарев познакомился в Пензе, во время пребывания в ссылке. Он встретился с ним в доме губернатора А. А. Панчулидзева, который пригласил Иоганниса в свой оркестр. Впоследствии, в 1839 г., переехав в Москву, Огарев сблизился и подружился с Иоганнисом, и тот стал постоянным участником огаревских музыкальных вечеров на Арбате. Иоганнис сделался дирижером Московского театра. В переписке Огарева 1839—1841 гг. имя его встречается неоднократно. Что касается Рудольфа, то впервые имя его как знакомого Огарева было названо Толстым в 1904 г., в приведенном выше разговоре с М. Гершензоном. Других материалов об этом знакомстве мы до сих пор не имели. Комментируемое стихотворение свидетельствует о том, что у Огарева с Толстым были общие воспоминания о Рудольфе. Музыкальный фон стихотворения, его ритм и строй безусловно навеяны каким-то определенным музыкальным произведением, а имя музыканта, стоящее в заглавии, заставляет искать это произведение среди композиций Рудольфа. Но сведения о них крайне скудны.

Н. Н. Гусев в неопубликованной работе о молодости Л. Н. Толстого называет из произведений Рудольфа только «Hexengalopp» («Галоп ведьм») и две «Кавалерийских рыси», из которых одну Л. Н. Толстой часто играл по памяти*.

---

* Приношу Н. Н. Гусеву благодарность за разрешение воспользоваться здесь этой справкой.

Как вспоминает Н. А. Тучкова-Огарева, Толстой, бывая у Герцена, не раз «пел, аккомпанируя себе на фортепиано, солдатские песни, сочиненные им в Крыму <...>, и другие песни» («Воспоминания». Л., 1929, стр. 297). Естественно предположить, что среди «других песен» мог быть и какой-либо из мотивов Рудольфа,— полюбившаяся ли Толстому «рысь» или какое-нибудь другое его сочинение. Это и могло явиться поводом для разговора о Рудольфе и — в дальнейшем — вызвать посвящение «Рудольфова траппа» Толстому. Это тем более правдоподобно, что и в памяти Толстого, как явствует из приведенных выше цитат, встреча с Огаревым в Лондоне прочно связалась с воспоминаниями о несчастном музыканте и при первом же вопросе об Огареве Толстой сразу назвал Иоганниса и Рудольфа.

Мы не располагаем никакими сведениями о том, сообщил ли Огарев Толстому посвященное ему стихотворение. Письма Огарева к Толстому, писанные в 1861 г., как и письма Герцена к Толстому, относящиеся к этому периоду, остаются до сих пор не известными. Они, очевидно, были оставлены Толстым за границей и до нас не дошли (см. «Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 496).

8. ОТРЫВКИ

Печатается по черновому автографу, находящемуся в записной книжке (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43а, лл. 1—4). Черновик изобилует исправлениями и вариантами, впоследствии отброшенными. Воспроизводим строки окончания:

Глухая боль сердечной раны
[Да вопль, задержанный в груди;
жизни
Да [те же] сказочные планы
[Рисуют счастье впереди.]

Установить точную дату стихотворения затруднительно. Им открывается записная книжка, в которой значительное большинство записей бесспорно относится к 1861—1862 гг.; и по содержанию оно примыкает к автобиографическим произведениям, отражавшим тяжелую полосу в истории отношений Огарева с Натальей Алексеевной. Начиная с октября 1861 г. Огарев то поселялся отдельно, то жил вместе с семьей Герцена. Отзвуки напряженных отношений с Н. А. Тучковой-Огаревой см., например, в письме Герцена к Огареву от 3 октября 1861 г. (XI, 245—246).

Повидимому, стихотворение написано в этот же период, т. е. осенью 1861 г.

9. В СТЕПИ

Печатается с незаконченного наброска, находящегося в записной книжке (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43а, л. 32).

Строка 10-я не дописана; строка 12-я пропущена.

Местоположение наброска в книжке между стихотворением «Рудольфов трапп», датируемым 1861 годом, и стихотворением «Забытье», написанным не позже весны 1862 г., заставляет приблизительно датировать «В степи» теми же годами. Если оно было написано между концом 1861 и началом 1862 г.— интересно сопоставить это стихотворение, приближающееся к песне, с несколькими строками из герценовского письма к Н. Ф. Щербине от 15 апреля 1861 г.: «Как вы хотите издавать народные песни: разумеется текст и музыку? Я думаю, что это — дело возможное <...> Огар<ев> и я, мы совершенно согласны с вашим мнением насчет русской народной песни. Русская песнь вызывает в степи живого человека, тоскует по нем, ждет его» (XI, 75).

10. O LACRYMARUM FONS!..

Печатается по тексту, находящемуся в записной книжке (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43а, лл. 28—29). Приблизительная дата — 1861—1862 гг. Имеющиеся в автографе варианты не приводятся.

В качестве заглавия Огарев взял первые слова из латинского четверостишия Томаса Грея (1716—1771):

O lacrymarum fons, tenero sacros
Ducentium ortus ex animo; quater
Felix! in ima qui scatentem
Pectore te, pia Nimpha, sensit.

(«О источник слез, берущий священное начало из нежной души. Четырежды счастлив, благочестивая нимфа, кто чувствовал тебя, как ты струилась в груди»).

Те же первые слова четверостишия использовал Ф. И. Тютчев в качестве эпиграфа к своему раннему (1823) стихотворению «Слезы» («Люблю, друзья, ласкать очами...»). Все четверостишие целиком послужило эпиграфом к стихотворению Байрона «Слеза» («The Tear»).

11. РАЗВРАТНЫЕ МЫСЛИ

Печатается по автографу, находящемуся в записной книжке (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43а, л. 22). Текст беловой; датируем приблизительно — 1861—1862 гг.

12. «МОЙ РУССКИЙ СТИХ, ЖИВОЕ СЛОВО...»

Печатается по беловому автографу: отдельный лист большого формата, без подписи и даты (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 41, л. 1). Обращено стихотворение к Мэри Сетерленд и написано в первые годы сближения с нею, т. е. в лондонский период жизни Огарева.

В рукописи Огарева седьмое четверостишие записано в неокончательной редакции; об этом свидетельствует наличие незачеркнутой, но лишней строки в строфе и нарушение принятого во всем стихотворении чередования рифм (а б а б). Строфа записана в следующем виде:

За дружелюбные названья, (а)
За сердце, полное вниманья (а)
И тайной, кроткой глубины. (б)
За негу долгого лобзанья, (а)
За чувство светлой тишины (б)

Мы печатаем эту строфу, приведя ее в соответствие со всеми остальными четверостишиями, в отношении количества строк и порядка чередования рифм.

В письмах Огарева к Мэри Сетерленд за 1859—1864 гг., напечатанных в переводе с английского в изд. «Архив Огаревых» (М., 1930, стр. 100—123), находим отзвуки того же дружески-бережного отношения, каким проникнуты комментируемые стихи. Так, в 1862 г. он восклицает в письме к Сетерленд: «Ты не знаешь, моя Мэри, какова любовь мужчины на склоне лет. Он дорожит ею, как — я не знаю как — как последним лучом заката» (цит. изд., стр. 104). Стремясь образовать Мэри, Огарев сурово укоряет себя в том, что сделал недостаточно для ее развития. «Я был счастлив с тобой,— писал он ей около 1862 г.,— и не подумал, что моя жизнь сильнее и покойнее твоей, что я имею целый мир надежд для своей родины, работы для науки и для поэзии, а у тебя нет ничего, кроме меня и твоего ребенка ⟨Генри.— *Я. Ч.*⟩. Мог ли я перенести тебя в мой мир и внушить тебе ту любовь к нему, ⟨...⟩ которая поддерживает ум в постоянной деятельности, наполняет его жизнью ⟨...⟩ Может быть и мог бы. А что я сделал? Ничего» (там же, стр. 102). «Поймешь ли ты, Мэри, как тяжела мне эта мысль?» — восклицает он в том же письме. «Теперь мы должны серьезно стараться учиться, заниматься — и ты и мальчик»,— пишет он в 1862 г. (там же, стр. 105). Мэри, научившись грамоте, пишет ему письма, и он, получив одно из них, радуется от души: «Конечно, в твоих письмах много ошибок, Мэри, но есть в них и другое — есть истинный язык сердца, и это-то меня так радует ⟨...⟩ Завтра я напишу тебе первый урок грамматики и объясню строение *стихов*. Ты увидишь, что урок не будет таким скучным, как ты может быть думаешь; по крайней мере, я постараюсь сделать его интересным для тебя» (там же, стр. 105—106).

Как бы подводя итоги многим годам дружбы с Мэри и своей любви к ней, Огарев писал (в письме без даты, относящемся к 1862—1863 гг.): «Ты никогда не была жестка ко мне, Мэри, и моя уверенность, что я сделаю из тебя хорошую, честную, добрую, любящую и достойную любви женщину, никогда не обманула меня — с первых дней и до сих пор». И тут же: «Жизнь текла, как хороший сон, и давала мне силы превозмочь все невзгоды и работать над делом, которому я посвятил свою жизнь» (там же, стр. 114).

Думается, что приведенные цитаты, иногда текстуально совпадающие со стихотворением «Мой русский стих, живое слово...», позволяют отнести его к тому же периоду, когда писались эти письма, т. е. к 1862—1864 гг.

13. КАРТИНЫ ИЗ СТРАНСТВИЯ ПО АНГЛИИ

Печатается по беловому автографу, находящемуся в записной книжке 1863 г. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43б, л. 90). Страница, на которой написано это стихотворение, последняя из заполненных страниц книжки.

Ироническая, в манере Гейне, картинка создана Огаревым в пору его жизни в Ричмонде. Именно в эти летние месяцы в 1862—1863 гг. Огареву часто приходилось ездить «ричмондским полем», пользуясь омнибусами. Так, в письме к Мэри Сетерленд ⟨1862⟩ он описывает маршрут своих поездок: «Я вчера был у Белого Оленя в четверть восьмого, так что у меня оставалось четверть часа времени до омнибуса. Я пошел дальше, и омнибус догнал меня только за Гаммерсмитским мостом...» («Архив Огаревых», М., 1930, стр. 108).

В автографе после заголовка поставлена цифра «1», означающая, что в той же манере Огарев намеревался создать еще одну или несколько подобных «картин». В поэтическом наследии Огарева мы знаем только одно стихотворение, которое,

вероятно, входило в задуманный цикл. Это — «Мчатся кони вороные» — сатирическая картина мещанских похорон в Англии. (См. «Избранные стихотворения и поэмы», М., 1938, стр. 185 и «Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. XII, М., 1951, стр. 61—63).

14. НАСТОЯЩЕЕ И ДУМЫ

Печатается по черновому тексту, находящемуся в записной книжке 1862—1863 гг. (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43б, лл. 56—58). Первоначальное заглавие «Рассуждения» зачеркнуто и заменено новым: «Настоящее и думы».

Первая строфа «Предисловия» наименее отделана. После строк 5 и 6, исправление которых начато и не закончено, следует зачеркнутая строка:

Но пусть начнут и их воспроизводить.

Все три стихотворных послания написаны в первой половине января 1863 г. во время тяжелой болезни четырехлетней дочери Герцена и Натальи Алексеевны — Лизы, которую Огарев горячо любил. Лиза заболела скарлатиной 1—2 января (XVI, 13). «Ага ⟨Огарев⟩ ходил наблюдать с вечера до трех часов, я — от четырех до утра,— писал Герцен Тате 7 января 1863 г.— Лечил ее Гено-де-Мюсси, но как-то, перепугавшись, послали за Ньютелем...» (там же, стр. 14). Об одном из этих врачей и говорит Огарев в конце первого письма.

20 января Герцен сообщает, что Лиза уже почти здорова (там же, стр. 22), а 30 января пишет об Огареве: «У нас так тревожно теперь, так тревожно ⟨речь идет о событиях в Польше.— *Я. Ч.*⟩, что Ага, без того усталый от болезни Лизы, едет дней на десять за город» (там же, стр. 24).

От строки «О, ради наших прошлых дней» и до конца второго письма текст известен в виде отдельного стихотворенья, впервые напечатанного под заглавием «Н. А. Огаревой. Отрывок» в «Русских пропилеях», т. II. М., 1916, стр. 174—177. Отрывок был извлечен Огаревым из записной книжки и передан Н. А. Огаревой 14 июля 1865 г. вместе с запиской следующего содержания: «Натали, сегодня день твоего рожденья. Я долго бродил удрученный. В памяти моей переходило много вещей—и пришел мне на память отрывок из моих неизвестных стихов во время скарлатины Лизы. Я его пишу тебе, потому что лучше ничего не умею. ⟨Далее следовали стихи, и после них:⟩ Вот мое воспоминание! Теперь одно прошу — возьми себе в сердце две недавние смерти и возведи свою жизнь до богослужения, т. е. до служения тому, что для нас составляет цель, до служения любви и добру» (там же, стр. 146).

15. ИЗ ГЕЙНЕ

Печатается по беловому автографу, находящемуся в записной книжке (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43б, л. 84) среди текстов 1863 г.

Стихотворение представляет собой перевод стихотворного монолога, вставленного Гейне в прозаический текст главы II «Buch Le Grand». Перевод очень близок к подлиннику.

16. «БЕРЕЗА В МОЕМ СТАРОДАВНЕМ САДУ...»

Печатается по беловому автографу. Текст находится в записной книжке (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 43б, л. 84 об.), непосредственно вслед за стихотворениями и записями, относящимися к январю—апрелю 1863 г. По мотивам стихотворение близко к циклу «Воспоминания детства», написанному в конце 1860 или начале 1861 г., однако относить его к этому времени нет оснований, так как рядом (на л. 85) в записной книжке находится и черновик публикуемого стихотворения.

17. ОСУЖДЕННОМУ

Печатается по автографу, находящемуся в записной книжке Огарева 1866—1867 гг. (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 44, лл. 4—5). Заглавие «Осужденному» написано под зачеркнутым: «К—ву». Автограф беловой с пометками карандашом; происхождение пометок объясняется ниже.

Стихотворение обращено к Дмитрию Владимировичу *Каракозову* (1841—1866), приговоренному к смертной казни за покушение на Александра II, совершенное 4 апреля 1866 г. Приговор был вынесен 31 августа, но был известен заранее; требование расправы, кровавой и жестокой, со всеми арестованными участниками «кружка» Н. А. Ишутина было печатно высказано стоявшим во главе следствия М. Н. Муравьевым («Санкт-Петербургские ведомости» от 3 августа 1866 г., № 210 — перепечатка из «Северной почты» от 2 августа 1866 г. Ср. «Русская старина», 1909, № 1, стр. 132—136). Стихотворение Огарева написано около 22—24 августа н. с.; из письма Герцена от 27 августа видно, что Герцен со стихами уже знаком.

Третья строфа зачеркнута карандашом (воспроизводим ее в квадратных скобках). Герцен в упомянутом письме от 27 августа писал следующее: «Насчет твоих стихов „Осужденному“ — Луг⟨инин⟩, Nat⟨alie⟩ (да и я согласен) осуждают третий купл⟨ет⟩.

Притом теория выкупа не нравится в стихах» (XIX, 46). Огарев принял это замечание и зачеркнул третью строфу, намереваясь, вероятно, не изъять, а лишь переделать ее.

Каракозов был повешен 3 сентября 1866 г. в Петербурге на Смоленском поле.

18. «НАДЕЖДЫ ПАДАЮТ И РУШАТСЯ МЕЧТЫ...»

Печатается по черновому карандашному наброску, находящемуся в записной книжке 1866—1867 гг. (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 44, л. 44 об.). В ЦГЛА, в фонде Огарева, хранится другой, беловой, автограф этого же стихотворения, помеченный: «10 ноября 1867 г.».

Обращено к Лизе и вызвано тем, что Наталья Алексеевна хотела увезти Лизу в Россию.

19. ПРЕДИСЛОВИЕ

Автограф находится в записной книжке на отдельном листке (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 44, л. 2). Стихотворение набросано сильно стершимся карандашом. Сбоку рукой Огарева сделана приписка: «Что такое утилитаризм?.. Все, что может способствовать пониманию (из письма неизвестного <?> человека)». Наверху листка еще одна запись. Читается только часть ее: «Философия есть <*1 нрзб.*> поэзия <*2 нрзб.*>».

Особенно серьезным исправлениям подверглась третья строфа, содержащая основную идею стихотворения,— незаконченного и неотделанного,— строфа о связи поэзии с наукой:

[я звук стиха хочу] с наукой
[связать всем] критикам назло,—

написал сперва Огарев и только после переработки сформулировал отрицательное отношение к немецкой эстетике.

Текст последних четырех строф находится в другой части этой же «сборной» записной книжки, составленной из листков разного формата (ед. хр. 44, л. 110). Связь его с предыдущим текстом очевидна и в обосновании не нуждается. Эти четыре строфы тоже не отделаны. Они, однако, разъясняют замысел Огарева и содержат данные для приблизительной датировки стихотворения. В этих строфах упоминаются «творцы классических гимназий». Реформа среднего мужского образования, заключавшаяся в том, что реальные гимназии были уничтожены, а сохранены только классические, была проведена министром народного просвещения Д. Толстым в 1871 г. Однако подготавливалась реформа и обсуждалась в печати в течение нескольких предшествующих лет. Принимая во внимание это обстоятельство и, кроме того, положение обеих рукописей в записной книжке, мы склонны предполагать, что стихотворение было написано в начале подготовки реформы, т. е. в 1866 или 1867 г.

Весьма вероятно, что к этому же стихотворению относится карандашный набросок еще двух четверостиший, находящийся в той же записной книжке (*л. 109 об.*):

Пора, пора детей других
Нам не считать для нас чужими;
Тогда сумеем мы для них
Руками бодрыми, родными
Создать ряды тех школ святых,
Где цель и связь одна меж ними
И где они, как с братом брат,
Поймут, что жизнь есть общий склад.

20. <ЮМОР, Ч. III>

Печатается по автографу, находящемуся в записной книжке 1866—1867 гг. на отдельном листке (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 44, л. 61). Наверху листка цифра «7». Эти три строфы, без сомнения, составляют начало незавершенной седьмой главки из третьей части «Юмора». Первые шесть главок были опубликованы Огаревым в «Полярной звезде» на 1869 г., с многочисленными опечатками, проникшими и в последующие издания, так как рукопись не была известна.

В составе «пражской коллекции» имеется не только первый, карандашный, черновик III части «Юмора», но и первый и второй перебеленные тексты. Черновик и первый беловой текст находятся в записной книжке 1866—1867 гг. (ед. хр. 44, лл. 5—18 и 52—54). Второй беловой текст, с которого производился набор, написан на сложенной из английской бумаги (вод. знак — Joynson, 1855) тетради (ед. хр. 42, лл. 9—19), от последнего листка которой была отрезана четвертушка. На этой-то четвертушке и находились не попавшие в печать публикуемые нами строфы. Рассматривая рукописи, относящиеся к «Юмору», мы установили, что написана вся III часть не в 1868 г., как она обычно датировалась, а в 1867 г. Датировка производилась на основании пометки Огарева в печатном тексте — «через двадцать семь лет» (он считал

от 1841 г.); в черновом же тексте помечено «через 26 лет» (разница объясняется тем, что между временем написания и напечатания протек год).

На наборной рукописи имеются надписи, сделанные рукой Герцена.

На первом листе (л. 9):

«Сим заключается первый выпуск „Поляр‹ной› звезды". Тотчас по отпечатании следует издать».

На обороте последнего (л. 19):

«В объявлении о „Полярной звезде" надобно поставить заглавие всех глав „Былого и дум" и прочих статей».

Обращаясь к черновой рукописи «Юмора», мы находим еще одну строфу шестой главки III части, не вошедшую в печатный текст:

Но, наконец, хочу я сам
Избавить вас от рассуждений —
Они не свойственны стихам,
По смыслу всех ученых мнений,
А потому намерен вам
Я из обоих поколений
Представить просто два лица,
Чтоб расшибить их до конца.

Отказавшись от высказанного замысла, Огарев не включил эту строфу в текст и, написав другую, заключающую шестую главку, строфу (см. текст в квадратных скобках), поставил дальше цифру 7 и продолжал:

Итак, начну!..

На этом черновой текст обрывается. Публикуемые же три строфы и являются началом 7 главки (без слов: «Итак, начну!»), записанным Огаревым во втором беловом тексте.

21. «СЕГОДНЯ НАСТРОЕН МОЙ МОЗГ МУЗЫКАЛЬНО...»

Печатается по автографу. Первые четыре строки написаны чернилами, остальные — карандашом на листе писчей бумаги в синюю линейку (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 42, л. 28). Такой бумагой Огарев пользовался в начале семидесятых годов. На этом основании и устанавливается приблизительная дата стихотворения.

22. МОЯ БИОГРАФИЯ

Печатается по рукописи Огарева, посланной им Н. А. Герцен (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 294, лл. 2—4). Черновые наброски отдельных строф сохранились в записных книжках за 1871—1873 гг., находящихся в ЛБ (Г.— О. VII. 2 и 4. Зап. книжка, № 6, л. 13 и № 10, лл. 15—17). Но и настоящая рукопись, как указывает сам Огарев,— только набросок.

Датируется 1872—1873 гг.; эпиграф Огарева был напечатан Т. П. Пассек в «Воспоминаниях» (т. I, изд. 2. СПб., 1906, стр. 236). «Пока я говорила ‹рекомендуя Огареву писать свои записки›,— рассказывает Пассек о свидании с Огаревым в Женеве в 1873 г.,—Ник сидел подле своего письменного стола, опустя голову на руку, облокотившись ею на стол, а правой рукой молча писал на клочке бумаги; когда я перестала говорить, он подал мне эту бумажку, на ней было написано ‹следует текст эпиграфа›.— Что это, Ник,— и только? — И только, друг мой Таня». С уверенностью можно утверждать, что Т. П. Пассек ошибалась, полагая будто эпиграф был написан при ней: он был только, по памяти, переписан для нее.

Ага — прозвище Огарева в кругу семьи Герцена; обращением «Ага» пользовался иногда и Бакунин.

«МОЯ ИСПОВЕДЬ» ОГАРЕВА

Статья и публикация М. Нечкиной

Намерение Огарева написать воспоминания, свою «исповедь», давно известно исследователям. В 6-й книге «Полярной звезды» (1861), публикуя под названием «Кавказские воды» воспоминания о поездке на Кавказ и о встрече там с сосланным декабристом А. И. Одоевским, Огарев дал публикации подзаголовок: «Отрывок из моей исповеди». Однако за этим отрывком других глав не последовало, и подзаголовок воспринимался читателем как свидетельство о случайно промелькнувшем замысле, оставшемся неосуществленным, или даже просто как поэтическая условность, образный оборот речи. Поэтому отрывок, имеющий высокое идейное и биографическое значение,— «Кавказские воды», в сущности оставался одиноким текстом, и никто не воспринимал его как часть пусть и нереализованного целого [1].

Но в 1941 г. Б. П. Козьмин напечатал в «Литературном наследстве» в числе «отрывков и набросков» Огарева новый текст, свидетельствовавший о том же замысле. Возник этот текст при следующих обстоятельствах. В день именин своего друга, 6 декабря 1856 г., Герцен подарил ему записную книжку с надписью: «Огареву — для того, чтобы до будущих именин исписать всё и притом не прозой» [2]. В ответ на это Огарев в той же записной книжке написал своеобразное письмо, обращенное к Герцену, так и оставшееся на страницах подаренной тетради. Огарев сообщал «другу неизменному» о своем намерении написать «Исповедь», но не стихами, а прозой. Замысел, судя по всему характеру изложения, был новым, недавним. Герцен подарил Огареву тетрадь не для прозы, а для стихов, значит даже он еще ничего не знал об этом замысле. «Как быть! Вопросы, которые *теперь* накипели в уме, просятся наружу, а высказать их в стихах невозможно»,—писал Огарев[3]. Подчеркнутое нами слово «теперь» оттеняет известную новизну замысла,— он возник «теперь», а не «раньше» или «давно». «Это моя исповедь, мои *записки*,— объясняет далее Огарев;— но задача их не та, которую ты так искренне высказал в твоих записках. Я не могу писать исповедь сердца, жизни, поступков. Не могу — у меня на это нехватает храбрости». Нет сомнения, что под словами: «в твоих записках» — надо разуметь «Былое и думы» Герцена, основные главы которых уже были созданы к тому времени. Огарев ставит себе другую цель — «...беру иную задачу, которая меня сильно тревожит. Это — умственное теоретическое развитие, это история личного пути, по которому я искал верований, убеждений, истины и, наконец, я хочу высказать результаты, к которым я пришел, общность, целое убеждений, которых я достигнул долгой работой мысли и жизни, понимания и опыта и которые мне теперь хочется привести в порядок. На эту исповедь у меня болезненная потребность...».

Так определяется и характер замысла Огарева и самый момент его возникновения. Считая это обращение к Герцену в ответ на его подарок — началом работы над «Моей исповедью», мы можем датировать это начало декабрем 1856 г., поскольку тетрадь была подарена Огареву в декабре, а запись сделана, повидимому, вскоре после получения подарка.

Таким образом уясняется и обстановка, в которой возник замысел «Моей исповеди»: Герцен начал писать «Былое и думы» в 1852 г., в Лондоне, в одиночестве («В Лондоне не было ни одного близкого мне человека»,— пишет он в предисловии). В 1856 г. приехал Огарев и познакомился со всем тем, что было написано. Огарев вновь пережил

рассказанное Герценом; многое, не рассказанное другом, воскресло в памяти картины прошлого вставали в образах и слагались в целое, вспоминался весь жизненный путь.

Работа Герцена над текстом «Былого и дум» в известной мере побуждала Огарева осуществлять собственный замысел и, вместе с тем, сравнение своих и герценовских задач помогло ему определить специфику «Исповеди», которая, в понимании Огарева, отличалась от специфики «Былого и дум».

Основная тема, основная идея произведения Огарева определилась как история формирования мировоззрения. «Мне кажется, рассказ о том как развивалась умственная жизнь человека, принимавшего это развивание к сердцу,— не может быть бесполезен» — пишет Огарев в том же документе — в обращении к «другу неизменному»[5].

Таким образом, лишь два отрывка представляли до последнего времени текст «Моей исповеди» Огарева. В настоящее время дело существенно меняется: новые обширные главы «Моей исповеди» оказались в записных книжках Огарева, сохранившихся в «пражской коллекции». Теперь мы являемся обладателями двух обширных глав «Моей исповеди» (сверх уже упомянутой выше — «Кавказские воды»). В этих главах Огарев начинает рассказ с описания детских лет и доводит его до порога Московского университета, иначе говоря, дает завершенное повествование о значительном этапе своей жизни (в *приложении* к публикации печатается небольшой отрывок из какого-то другого автобиографического сочинения Огарева; в отрывке речь идет о поступлении в университет). Таким образом, в наших руках теперь столь обширная и в известном смысле законченная «первая часть» «Исповеди» — до университета,— что вся «Исповедь» получает самостоятельное звучание: это уже не разрозненные фрагменты, а значительная часть большого замысла.

«Моя исповедь» обращена к Герцену. Знакомство с Герценом — водораздел в истории жизни и в то же время рубеж, делящий новую рукопись на две основные части, дающий ей внутреннюю структуру: «*До знакомства с тобою*» — называется первая глава новой рукописи, «*От знакомства с тобою*»—озаглавлена вторая. Огарев хочет, чтобы его рукопись была дополнением к «Былому и думам». Действительно, найденные новые тексты должны быть соотнесены с началом знаменитых герценовских мемуаров: ведь Герцен говорит о своем друге с момента знакомства с ним,— Огарев же в первой главе рассказывает историю своего умственного развития до этого времени. Это — тема, почти не освещенная в «Былом и думах». Далее, в главе, посвященной первому знакомству с Герценом,— многое восполняет первые главы «Былого и дум», вносит новые черты в историю жизни и идейного развития обоих друзей. Конечно, между замыслами мемуаров Огарева и Герцена остается существенная разница: Герцен писал для широкого круга читателей, Огарев лишь для себя и для Герцена. «Я хочу исповеди,— писал Огарев,— это мое совершенно личное дело». Огарев отнюдь не предназначал «Мою исповедь» для печати,— он хранил ее в потаенной записной книжке, и Герцен был ее единственным читателем.

В первой же главе новой рукописи, на первых ее страницах Огарев еще точнее раскрывает свой основной замысел: «Я хочу рассмотреть себя, свою историю, которая все же мне известна больше, чем кому другому, с точки зрения естествоиспытателя». Замысел был, таким образом, подчинен, несомненно, материалистической идее,— Огарев хотел изучить «*логику* природы, необходимости» в истории своей жизни: «Мысль и страсть, здоровье и болезнь— всё должно быть, как на ладони, всё должно указать на логику — не *мою*, а на ту *логику* природы, необходимости, которую древние называют fatum и которая для наблюдающего, для понимающего есть процесс жизни». Конечно, материализм Огарева был далек от подлинного научного материализма. Но его убежденность в необходимости материалистического истолкования наблюдаемых им явлений человеческой жизни и законов ее развития—вне сомнений. Конечно, ему не удалось найти правильных формулировок — обобщающая терминология почерпнута Огаревым из арсенала естественно-научного материализма и сводится в основном к «медицинским» формулам («Моя исповедь должна быть отрывком из физиологической патологии человеческой личности»),— но в то же время отчетливо видны поиски закономерностей развития и явственно выражены сомнения в правильности

вульгарного материализма: «Груба еще физиология, Герцен! Наука не берет в расчет всю текучую цепь нервных потрясений под впечатлениями предания и современной общественности, а между тем жизнь интегрирует их в каждом росте организма. За непониманием этой постепенной интеграции ни физиология, ни история не поставили еще своей формулы, и с одной стороны только рассеянные наблюдения, а с другой — натянутые теории по крупным данным — и обе науки, которые должны составлять одно! целое, хромают вразбивку».

Когда именно возник замысел «Моей исповеди» и началась работа над рукописью — уже определено нами выше,— это, вероятнее всего, самый конец 1856 г. Но можно приблизительно определить и ту дату, ранее которой был закончен имеющийся в нашем распоряжении текст. Обратим прежде всего внимание на то, что рассказ о встрече с Одоевским на Кавказе («Кавказские воды») опубликован в книжке «Полярной звезды» на 1861 г., вышедшей из печати в марте, то есть был написан *до* 1861 г. или *в самом начале* 1861 г. Хронологически этот рассказ относится к событиям, случившимся много позже тех, которые описаны в новых главах «Моей исповеди»: новые главы кончаются кануном поступления Огарева в университет, кавказское же путешествие освещает период ссылки, женитьбы, т. е. период, начавшийся после университета. Конечно, Огарев мог писать дошедшие до нас главы, не руководствуясь хронологической последовательностью, но в самом тексте новых глав «Моей исповеди» (см. ниже) есть примета, заставляющая предположить, что написаны они до 1861 г. и вместе с тем ярко свидетельствующая об отношении Огарева к дворянству как к эксплуататору крестьян. Огарев считает, что в жилах дворянства течет низкая холопская кровь, в отличие от народа, в котором «добровольно-холопской крови нет»: «Холопам нужна нисходящая лестница холопства; от этого <...> большинство дворянства не может добровольно отказаться от рабовладения; и только меньшинство болезненно, мучительно стремится перейти в народ, меньшинство и теперь такое же малое, как оно было во время 14 декабря. О, история!» Этот текст, вероятно, относится ко времени *до* 1861 г.

Подтверждается это предположение следующими особенностями автографов глав «Исповеди» в записных книжках Огарева. Рядом с основной рукописью первой главы «Моей исповеди» и первоначальным зачеркнутым вариантом главы второй, на соседствующих листах той же записной книжки (ед. хр. 43а) находятся автографы двух произведений Огарева — поэмы «Мария Магдалина» и цикла стихотворений «Воспоминания детства». Оба эти произведения были напечатаны в той же «Полярной звезде» на 1861 г., в которой появился названный выше отрывок из исповеди — «Кавказские воды». Автограф поэмы «Мария Магдалина» находится на лл. 40—45, автограф цикла «Воспоминания детства»—на лл. 46—53, автограф же «Моей исповеди» непосредственно вслед за ними, на лл. 54—116, и заключает записную книжку. Это соседство указывает на приблизительную одновременность возникновения всех трех автографов, т. е. на период времени: конец 1860—начало 1861 г. Вторая записная книжка открывается перебеленным текстом второй главы «Моей исповеди», причем Огарев продолжил собственноручную нумерацию страниц «Исповеди», начатую в предыдущей записной книжке. (Первая глава занумерована стр. 1—53, вторая глава начинается с 54-й и следует до 91-й).

Переписывая текст второй главы в новую записную книжку, Огарев продолжал работу над ним, многое изменял, дополнял и писал заново. Эта вторая редакция главы II (публикуемая нами) датируется более поздним временем. На более позднюю дату указывает тот факт, что все другие тексты, находящиеся в этой книжке (ед. хр. 43б), относятся к периоду август 1862 — август 1863 г. и вносились в книжку: последовательно *после* текста 2-й главы «Исповеди». Поскольку текст этой главы непосредственно предшествует поэме «Странник», над которой Огарев работал летом и осенью 1862 г., мы вправе датировать его: *около середины 1862 г.*

Таким образом, мы приходим к выводу, что все известные нам тексты, относящиеся к «Моей исповеди» Огарева, от напечатанных ранее — обращения к Герцену и «Кавказских вод» — до найденных теперь двух новых глав, написаны, повидимому, между самым концом 1856 г. и серединой 1862 г., причем глава I «Моей исповеди» и первая

редакция главы II относятся к зиме 1860—1861 гг., окончательная редакция главы II — к лету 1862 г.

Теперь, в соответствии с замыслом самого Огарева, проследим за пробуждением его сознания. Как возникли в нем тревожные вопросы о том, справедливо ли устроен окружающий его мир человеческих отношений, как выросли в нем сомнения в правах угнетателей, как сложились предпосылки для последующего формирования революционного мировоззрения? Хотя текст новонайденных глав говорит только о первых пятнадцати годах жизни Огарева, то есть только о детстве и отрочестве, можно поистине удивляться тому как много материала для ответа на поставленные вопросы находим мы в его рассказе.

Николай Огарев родился в семье очень богатого помещика — владельца четырех тысяч крепостных душ. Казалось, мы могли бы прочесть в начале «Моей исповеди» рассказ о золотом детстве любимого и балованного дворянского сына, лишь в позднюю пору отрочества начавшего разбираться в окружающей действительности. Но в «Моей исповеди» картина «счастливой и невозвратимой» поры раннего детства отсутствует. Перед нами рассказ о «страдальческом детстве» болезненного, нервного и слабого ребенка, окруженного атмосферой деспотического холодного дома, в котором «царствовала тяжеловесная скука». Огарев не ходил до четырех лет («Ко всему детству у меня примешано воспоминание болезни и слабости», — пишет он). Гулять ребенка почти не водили, его лечили «домашним заключением», и зимою мальчик почти не выходил из комнаты. Мать умерла, когда ребенку было полтора года. Отец «был деспотом в семье; детская веселость смолкала при его появлении». Деспотизм отца Огарев объясняет не свойствами его характера, а всего российского общественного строя. «Может, семейный деспотизм просто в нравах людей его века в России. Может, он у них являлся в той же мере, в какой они в другую сторону, на службе перед начальством, перед лицом, которое было больше их барин, подчинялись подобострастно <...> Подчиняясь удушливой атмосфере сверху, они думали, что надо вносить духоту в дом свой, и в доме царствовала тяжеловесная скука, а жизнь развивалась украдкой».

«Было что-то страдальческое в моем детстве»,— пишет Огарев. В конфликте между холодом родительского дома, где царил деспотизм, и инстинктивным сознанием права на какую-то другую — настоящую — жизнь и вырастает первоначальный протест ребенка-Огарева. Этот протест скрытен, но тем мучительнее и напряженнее копится подавленная обида. «Внешняя покорность, внутренний бунт и утайка мысли, чувства, поступка — вот путь, по которому прошло детство, отрочество, даже юность». Такое положение будило работу мысли: «Замкнутая работа в самом себе как раз согласовалась с скрытностью, выросшей от удушливой домашней атмосферы».

Мир, окружавший ребенка, был узок, но все же в него порой врывались элементы реального большого мира тех лет. Ребенок мог порою наблюдать явления сложной действительности, то там, то тут прорывавшейся в тепличную атмосферу детской. Ребенком Огарев видел и богатый помещичий дом — и «холодную и дымную» крестьянскую избу, где ночевали господа при переезде на лето из Москвы в Акшено. Запомнил он и «Муромский лес, где все женщины боялись разбойников». Огарев видел не только отца, бабушку, ее компаньонок, гувернанток, но и многочисленную дворню, крепостного дядьку Булатова, мамушку Прасковью Алексеевну, дворовую девчонку Аришку на побегушках,— крепостных, подневольных людей. Были у мальчика и крепостные учителя: читать и писать выучил Огарева крепостной дядька: «он сказывал мне сказки, он помогал мне, играя в игрушки, фантазировать из них целые истории». Кроме гувернанток, Огарева учил музыке крепостной капельмейстер Василий Иванович Немвродов — «...человек далеко не бездарный». Тут же приводится интересный факт — мелкий, но не лишенный своеобразия: дядька говорил Огареву о «грехе быть вольтерианцем,— этого я не понимал, но это возбуждало во мне любопытство». Умирая, бабушка поручила мальчику передать суровому отцу ее желание — отпустить дядьку Булатова на волю. Огарев выполнил поручение бабушки, но отец не отпустил Булатова — подросток не мог не задуматься над этим. Таким образом основной антагонизм эпохи — антагонизм между помещиками и крепостными — рано попал в поле внимания мальчика.

Размышляя над тем, как проснулось сознание Огарева, как возникли у подростка первые вопросы, поражаешься двум особенностям. Первая — чрезвычайно раннее идейное развитие; вторая — несомненное влияние идеологии декабристов на политическое пробуждение подростка еще в те годы, когда существовало и действовало тайное общество, иными словами — *до* 14 декабря 1825 г.

Сам Огарев относит «зачатки мышления» и «замкнутую работу в самом себе» к девятилетнему возрасту, то есть примерно ко времени с 1822 г. Действительно, факты, приводимые им, свидетельствуют о «каком-то раздумье, в котором пробивалась мысль». Носительницей идеологии декабристов в семье Огарева и живой связью с ними была тетка декабриста С. Н. Кашкина — единственный друг рано умершей матери Огарева, Елизавета Евгеньевна Кашкина («Лизавета Евгеньевна» по тексту «Моей исповеди»). «Я упоминаю о ней,— пишет Огарев,— потому что она бессознательно имела на меня влияние по своему либерализму и знакомству с людьми 14 декабря». «...Лиз⟨авета⟩ Ев⟨геньевна⟩ все свои мнения и речи почерпала в кругу декабристов, к которым тогда принадлежал ее племянник, Сергей Николаевич Кашкин». Гувернантка Огарева, Анна Егоровна (мальчик был к ней чрезвычайно привязан), находилась под непосредственным идейным воздействием Кашкиной. «Следственно, всё движение декабристов отзывалось в образе мыслей Анны Ег⟨оровны⟩ и через нее отзывалось во мне, невольно, смутно, но отзывалось. Ей я обязан, если не пониманием, то первым чувством человеческого и гражданского благородства. Ей я обязан первым впечатлением поэзии...»

Из родословных данных о Кашкиных мы узнаем, что Елизавета Евгеньевна родилась 17 февраля 1786 г. в г. Тобольске. Ее отец, Евгений Петрович Кашкин, состоял «правящим должность генерал-губернатора Пермского и Тобольского» (таково было его официальное звание). Как вспоминала потом о ней Екатерина Ивановна Раевская (урожд. Бибикова), «Е. Е. Кашкина была замечательно умная, остроумная и веселая личность». Замуж Е. Е. Кашкина не вышла: она осталась верна памяти жениха, убитого на войне 1812 года. Воспоминания Е. И. Менгден тоже тепло рисуют облик Е. Е. Кашкиной и — что особенно интересно — свидетельствуют о «вольнодумстве» ее подруг. Менгден рассказывает, как вместе со своей подругой Лизой Кашкиной пошла в театр и как это совместное посещение театра вызвало гнев строгой матери: «... могли бы потрудиться мать спросить, но вы Вольтера начитались, мать ни во что не ставите, своим умом живете»,— кричала барыня[6]. Вероятно, матери было что-то известно о чтении девушками запрещенных книг.

К моменту восстания декабристов Е. Е. Кашкиной было 39 лет, таким образом свидетельство Огарева о ее возрасте надо признать очень точным.

Кашкина была много старше своего племянника-декабриста, которому в 1825 г. исполнилось 26 лет. Поэтому естественно предположить, что Кашкина пришла к восприятию передовых идей самостоятельным путем, едва ли ее мировоззрение сложилось всецело «под влиянием» племянника. Может быть, она-то как раз и содействовала формированию его вольнодумства? Она уже была вполне взрослым человеком, когда он был юношей, искавшим ответа на волновавшие его вопросы... Особенно важно отметить, что после восстания 1825 года Е. Е. Кашкина переселилась в деревню (дер. Прыски), «разделяя время ссылки туда своего племянника Сергея Николаевича Кашкина», как пишет об этом Н. Н. Кашкин в своих «Родословных разведках».

У семьи Кашкиных были прочные связи с участниками движения декабристов. Сын сенатора Николая Евгеньевича Кашкина — декабрист Сергей Николаевич Кашкин был двоюродным братом декабриста Оболенского. Образование он получил в Московском университете. Родился С. Н. Кашкин в 1799 г.— на рубеже столетия,— и вступил в общество декабристов в 1823 г., принятый Оболенским. Он был осведомлен о цели борьбы за конституцию и за ликвидацию абсолютизма. Видимо борьба против крепостного права особенно привлекала его. Он вступил в общество, «чтобы стараться о распространении просвещения и освобождении дворовых людей от подданства»,— записано в его обвинении. Оставив службу в гвардии (он служил в одном полку с Оболенским — лейб-гвардии Павловском), Кашкин, как и друг его декабрист И. И. Пущин, вступил в «гражданское поприще», став заседателем 1-го департамента Московского надворного суда. И. И. Пущин служил там же. Кроме службы их сближало

и общее дело. Приезжавший в Москву Оболенский содействовал организации Московской управы тайного общества, председателем которой был избран Пущин, а членом являлся Кашкин. Побывал в руках Сергея Кашкина и текст «Конституции» Никиты Муравьева. На следствии он утверждал, будто «не читал» ее, но этому трудно поверить: зачем же, в таком случае, он поспешил ее сжечь после «происшествия» 14 декабря? Если, кроме того, принять во внимание, что Сергею Кашкину было известно о намерении Якубовича совершить покушение на жизнь Александра I и о той сложной реакции, которую вызвало это предложение в тайной организации, можно сделать вывод, что он был довольно полно осведомлен о внутренней жизни Общества и о важнейших его документах[7].

Кашкины были старинными москвичами, осевшими в Москве плотным семейным гнездом, с «миллионом знакомых» и многочисленными прочными московскими связями. Оболенский, их родственник и близкий им идейно человек, постоянно посещал их, приезжая в Москву; через него шла тайная информация о положении дел в Петербурге и о внутренней жизни Северного общества. Учтем принадлежность Оболенского к рылеевскому центру и постоянный радикализм его политической позиции. Будущий начальник революционного штаба в день 14 декабря, участник убийства генерал-губернатора Милорадовича, а в последний час восстания — «диктатор» (он сменил на этом посту не явившегося на площадь диктатора Трубецкого),— Оболенский был среди декабристов одной из крупных и значительных фигур. Знавший «Русскую правду» Пестеля и даже занимавший одно время позицию полного согласия с Пестелем, он, несомненно, был немалой агитационной силой, распространителем идей движения. Кашкины находились в сфере действия его информации, его пропаганды.

Надо подчеркнуть, что вольнолюбивые настроения, несомненно, сохранялись в семье Кашкиных и *после* разгрома восстания, а это бывало не во всех семьях декабристов. Николай Сергеевич Кашкин, основатель кружка социалистов-утопистов, вырос в семье декабриста, был его сыном, впоследствии он познакомился с Петрашевским и стал участником его кружка. Он был арестован по приказанию Николая и посажен в ту же Петропавловскую крепость, где раньше сидел его отец. Декабрист после ареста сына-петрашевца не только от него не отрекся, но переписывался с ним в бытность его в тюрьме. Когда петрашевцев везли на смертную казнь, издевательски инсценированную Николаем I (после объявления смертного приговора осужденным было сообщено о замене смертной казни каторгой и поселением в Сибири), Николая Кашкина провезли мимо окон дома, где жили родители,— отец стоял у окна и смотрел на сына, а на другой день декабрист виделся с сыном-петрашевцем в тюрьме перед отправкой в ссылку[8].

Обратим внимание на то, что в окружении декабристов были женщины, разделявшие их передовую идеологию. Исследователи еще не останавливались на этих замечательных женщинах. Мать Рылеева и невеста Михаила Бестужева не должны быть тут забыты. Лизавета Евгеньевна Кашкина тоже входит в круг женщин, разделявших идейные позиции декабристов. Видимо, в этой связи нельзя обойти вниманием и гувернантку Огарева, Анну Егоровну, жизнь которой, как свидетельствует Огарев, «прошла в круге знакомства Кашкиных. Лизавета Евгеньевна была ее лучшим другом». Через Анну Егоровну приходили к мальчику Огареву какие-то новые суждения об окружающем мире, новые оценки человеческих поступков, новые для ребенка представления о цели человеческой жизни. Как ни плохо преподавала ему греческую и римскую историю гувернантка Noël, но мальчик сумел почерпнуть из древней истории «героическую тенденцию». Восьми лет Огарев написал сочинение — «письмо к мечтаемому другу, которого у меня не было, и уговаривал его жертвовать собою отечеству, подобно Фемистоклу и Аристиду». Отец расхвалил его с некоторым удивлением. «Мне было стыдно,— пишет Огарев,— но, когда я остался один, я чувствовал что-то вроде вдохновения. Мне было восемь лет, и я до сих пор не могу забыть этой минуты странного счастия, первого соединения героической тенденции с авторским самолюбием». Анна Егоровна переписала для 12-летнего мальчика всего «Войнаровского» Рылеева,— следовательно, Огарев получил представление об этом произведении еще до своего знакомства с Герценом и *до* восстания декабристов.

Первая дружба, промелькнувшая в жизни подростка еще до знакомства с Герценом, тоже возникла до восстания декабристов и тоже связана с восприятием их идей. Огарев в Кремлевском саду познакомился с детьми коменданта Москвы Веревкина и страстно привязался сначала к Николаю Веревкину, который, как вспоминает Огарев, был старше его на четыре года[9], а затем к его брату Федору. Николай Веревкин «...уже писал стихи, какие-то подражания думам Рылеева,— говорит Огарев.— И я стал писать стихи».

Таким образом, поэтическое творчество Огарева возникает в атмосфере увлечения рылеевской поэзией, в атмосфере декабристской идеологии и — что особенно любопытно — в годы *до* восстания декабристов. «Рылеев был мне первым светом,— отец по духу мне родной»,— позже писал Огарев. Метафора эта оказывается насыщенной самыми реальными биографическими фактами, воздействием декабристской атмосферы, еще до восстания окружавшей подростка Огарева.

Огарев родился в 1813 г.— на следующий год после начала Отечественной войны. И для него и для Герцена 1812 год, его слава, его опасности, подвиги и героика были атмосферой детства. Николай Веревкин, как мы узнаем из «Моей исповеди», в то время писал думу о партизане Фигнере. Как сообщает Огарев, «двенадцатый год крепко отзывался во мне». Живое впечатление от звучавших кругом воспоминаний и поэтических образов усиливала сама Москва и московский Кремль. Мальчик играл с детьми московского коменданта на кремлевской стене, где «бывало так хорошо ранним летним утром в виду пол-Москвы чувствовать себя каким-то военным человеком».

Был еще один знакомец у подростка Огарева в догерценовский период, хотя и менее близкий, чем Веревкины. Это — Федор Левин, сын соседа и приятеля отца, года на три старше Огарева. Огарев писал о себе, что «к 2-му периоду» отрочества он уже принес «смутные стремления к знанию, поэзии и гражданской свободе». И старший знакомец его, Федор Левин, оказался новым источником тех же мыслей и настроений. Мы узнаем из «Моей исповеди», что Левин каждое воскресенье привозил из пансиона Болдырева, где учился, «тетради тогдашних запрещенных стихов Пушкина, Рылеева и других и переписывал для себя; а я у него переписывал для себя...». Нельзя не обратить внимания на то, что фамилия Левина (может быть, отца или родственника Федора Левина?) встречается в списке лиц, причастных к движению декабристов, но не привлеченных к следствию. Левин был членом Союза Благоденствия. На допросах в следственном Комитете князь С. Трубецкой дал о нем показания,— мы узнаем, что Левин вступил в общество в Москве, «в начале 1818 года», то есть стал членом только что основанного Союза Благоденствия; по вступлении ему была вручена Зеленая книга. Левин владел имением в Тамбовской губернии, и тайное общество поручило ему основать там управу Союза Благоденствия, но выполнил ли он это, Трубецкой не знал и не мог ничего показать об этом следствию. Интересно, что Левин был знаком с декабристом Новиковым,— автором первой декабристской конституции, не дошедшей до нас,— знаком с тем человеком, который принял в общество Пестеля[10].

Русский учитель Волков — еще одно звено, связывавшее юного Огарева с идеологией «вольнодумства». Позже Волков стал учителем Герцена («оба, и Запольский и Волков, перешли от меня к тебе через Зонненберга»,— замечает Огарев)[11].

Первый и основной вывод, какой следует сделать, изучая формирование юношеского мировоззрения Огарева по «Моей исповеди», таков: Огарев вырос и сложился на русской почве. Его идейное развитие поразительно рано и органично связалось с основным идейным движением времени — движением декабристов, связалось и через близких людей старшего поколения (Л. Е. Кашкина, гувернантка Анна Егоровна), и через юных его товарищей (Николай Веревкин, Федор Левин), и через учителей (Волков и другие). Любовь к «гражданской свободе» соединялась с протестом против деспотизма отцовского дома, против гнета и раболепия.

Свободолюбивая идеология, складывавшаяся за рубежом, тоже была взята на вооружение Герценом и Огаревым. Они привлекли ее к решению задач, назревших в окружавшей их русской действительности. На одном из первых мест стояла тут свободолюбивая поэзия Шиллера и социальные концепции Руссо. Огарев узнал и полюбил поэзию Шиллера еще до знакомства с Герценом. «Что нам дал идеальный

Шиллер?» — писал Огарев, впервые излагая замысел «Моей исповеди» в обращении к Герцену,— и отвечал: «Благородство стремлений. Но это благородство стремлений наполнялось сомнением, отрицанием разумности и справедливости современного общества». О значении Шиллера пишет и Герцен в «Былом и думах»[12].

Наконец, прогремели выстрелы на Сенатской площади, вспыхнуло и закончилось восстание 14 декабря 1825 г. Для подростка Огарева оно, несомненно, явилось еще одним этапом идейного развития. Страницы, рассказывающие об этом времени, пожалуй, лучшие в «Моей исповеди». Смерть императора Александра I уже поставила перед сознанием большие вопросы: «...у меня толпились в голове — Александр, ⟨18⟩12 год, деяния российских полководцев, которые я недавно читал, «Певец в стане русских воинов», недавнее наводнение в Петербурге, смерть Александра — все это сливалось в смутном чувстве какого-то хода судеб, в страхе перед какой-то исторической огромностью». И, ощущая эту «историческую огромность», подросток уже тогда ставил перед собою вопрос о собственной роли в «ходе судеб»: «что-то представлялось мне темной загадкой, которую надо разрешить *и пойти по своей избранной дороге*»[13]. И далее — среди этих раздумий — внезапная весть о 14 декабря: «На всех нашел ужас. Декабристов ругали, дерзость казалась неслыханной! Но Анна Егоровна не ругала их; Волков не ругал их. От смерти Александра моя мысль перешла к заговорщикам и постепенно выработалась в их пользу».

Описанный далее случай с посещением старухи Челищевой должен прочно войти в биографию Огарева. Бабушку Огарева, незадолго до ее смерти, посетила старая знакомая Челищева. Дело было, как говорит Огарев, месяцем позже восстания декабристов. Мальчик случайно остался в комнате, и старуха при нем «долго толковала бабушке, что все эти преследуемые молодые люди — не бунтовщики и не изменники, а истинные *приверженцы* отечества». Замечательное определение глубоко запало в душу мальчика,— и вместе с тем он, очевидно, решил хранить услышанное в тайне: когда бабушка потом заболела и в бреду все повторяла: «Да! Они настоящие приверженцы, приверженцы»,— только один мальчик Огарев понимал, «о ком и о чем она говорила». Это событие произошло тоже *до* начала дружбы с Герценом[14].

Таким образом, перед нами — еще одна женская фигура из окружения Огарева, думающая о декабристах иначе, чем старое реакционное дворянство, дающая им верную оценку. «Как это вошло в голову старухи — не знаю,— удивляется Огарев;— у нее из родни едва ли кто был взят». Но историческая справка может пролить дополнительный свет на этот вопрос.

«Старуха Челищева», столь ярко обрисованная на страницах «Моей исповеди», слова которой о декабристах так глубоко запали в память подростка Огарева,— это, очевидно, Мария Николаевна Челищева, урожденная Огарева, вдова генерал-лейтенанта Александра Ивановича Челищева[15]. Родство с Огаревыми легко объясняет и ее близкое знакомство с бабушкой Огарева. Осведомленность «старухи Челищевой» о декабристах также вполне понятна: Александр Александрович Челищев, зарегистрированный в «Алфавите» декабристов как член Союза Благоденствия,— по родословным данным ее родной сын[16]. Декабрист Челищев — участник Отечественной войны 1812 года, сражался под Малоярославцем, а в следующем году участвовал в боях под Бунцлау и в трехдневной битве под Лейпцигом. Как и многие другие члены Союза Благоденствия, Челищев не подвергся аресту. Но он заметен в истории организации декабристов: по свидетельству Е. Оболенского, Челищев принадлежал к активной управе Союза Благоденствия, возникшей в лейб-гвардии Егерском полку; уже после ликвидации Союза он был замешан в известной «норовской истории», протесте офицеров лейб-гвардии Егерского полка против оскорбительного обращения с ними вел. князя Николая Павловича — будущего императора Николая. Челищев был в числе протестантов и, видимо, в связи с «норовской историей», был переведен из гвардии в армию. Вероятно, оценка декабристов как «истинных приверженцев отечества» исходила именно от него,— он сам так думал и убедил в этом свою старую мать. Заметим, что лучший друг Радищева Петр Иванович Челищев, упомянутый в «Путешествии из Петербурга в Москву» (под инициалом Ч.), также принадлежит к этому роду Челищевых.

К описанному разговору, поразившему Огарева, добавим еще разговоры о тех арестованных декабристах, которые были известны в семье. Огарев упоминает «рассказы Анны Егоровны о Якубовиче» и многое другое. «Кроме имени Рылеева, которого стихи я знал наизусть, имена Евгения Оболенского и Кашкина часто повторялись, вследствие близости Елизаветы Евгеньевны с нашим домом и Анной Егоровной». Учитель Аллер рассказывал Огареву, что Владимир Одоевский, двоюродный брат декабриста, «держит наготове шубу и теплую шапку, потому что ждет, что его не сегодня-завтра возьмут».

Нет сомнения, что Огарев, как и Герцен, мог сказать о себе: казнь декабристов «окончательно разбудила ребяческий сон моей души» (XII, 54).

Таким образом, еще до того, как завязалась дружба с Герценом — и как раз непосредственно перед ее началом — подросток Огарев уже задумывался над деятельностью декабристов. Он, действительно, был «готов» для дружбы: развитие друзей шло в одном направлении; накопленные впечатления им необходимо было обсудить. Идейное развитие Герцена и Огарева совершалось на почве русского революционного движения, современного той поре, когда сознание их пробуждалось.

Необходимо отметить и то немаловажное обстоятельство, что Огарев, в силу описанных выше фактов, очевидно, знал о декабристах много больше, чем Герцен. При встрече он мог сообщить Герцену немало нового — о Кашкиных и Оболенском, о Рылееве, передать ему «рассказы Анны Егоровны о Якубовиче», рассказать о старухе Челищевой и об «истинных приверженцах отечества».

Если вспомнить, что речь идет о двенадцатилетнем подростке, можно с удивлением отметить, что развитие его было чрезвычайно ранним и очень богатым: «...таким образом мое нравственное воспитание действительно началось: любовь к стихам под влиянием Николая Веревкина, любовь к запрещенным стихам, т. е. к гражданской свободе, под влиянием Левина, и еще более под влиянием Анны Егоровны и Волкова — и страстное чувство дружбы в детском союзе с Федором Веревкиным. Все задатки были положены, оставалось только сближение с тобою».

Развитие подростка Герцена и подростка Огарева еще до встречи шло в одном направлении. «Путь наш был один»,— справедливо пишет Огарев в «Моей исповеди». «Раз встретясь, наши жизни не могли не идти вместе; пусть же моя исповедь будет для твоего „Былого и дум“ дополнением до двух прямых».

Другой вывод,— несомненное наличие самостоятельного характера в становлении сознания Огарева еще до встречи с Герценом. Не юный Герцен — развитой и самостоятельный — разбудил «спавшего» мальчика Огарева, который еще ни над чем не думал. Нет, сознание подростка Огарева уже *до* этой встречи шло своим путем, и при встрече будущие друзья могли уже поделиться продуманным почти как равные, хотя Герцен был на полтора года старше Огарева и, как свидетельствует Огарев, успел прочитать больше. Герцен уже прочел «Contrat social» Руссо,— Огарев еще не читал его. Кое в чем ему пришлось догонять друга. Но «ненапечатанные стихи Пушкина и Рылеева были и ему известны»,— пишет Герцен об Огареве в «Былом и думах». «Посидевши немного, я предложил читать Шиллера. Меня удивляло сходство наших вкусов; он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились» (XII, 72). Можно ли сомневаться в том, что они говорили уже тогда о восстании 14 декабря и о декабристах, как об «истинных приверженцах отечества»?

«Моя исповедь» Огарева в сопоставлении с «Былым и думами» Герцена позволяет установить новые существенные штрихи первой настоящей дружеской встречи Герцена и Огарева, а также дополнительно осветить обстоятельства их сближения. Дружба завязалась не с самой первой встречи, не с «первого взгляда». «Сближались мы туго,— вспоминает об этом Герцен,— он был молчалив, задумчив; я резв, но боялся его тормошить» (XII, 71). Объяснение этой медленности сближения мы находим в «Моей исповеди»: «Встреча моя с тобой, Герцен, была в самый разгар моей дружбы с Веревкиными. От этого я с тобой сближался гораздо туже и дольше, чем бы естественно следовало». С какой серьезностью двенадцатилетний или тринадцатилетний мальчик относился к дружбе, видно из слов Огарева: «Меня тянуло к тебе; самые разговоры наши больше отвечали на все во мне зарождавшиеся запросы, чем разговоры

с Веревкиными; но сближение с тобою казалось мне какой-то изменою *той дружбе*, и я колебался» [17].

«Моя исповедь» вносит некоторые новые штрихи и в наши представления о знаменитой клятве на Воробьевых горах, позволяет несколько уточнить ее датировку и выяснить ее «предисторию».

Первые встречи Герцена и Огарева, как указывалось, еще не повели к сближению. Настоящая дружба началась с одной февральской встречи 1826 года. В то утро, когда умерла бабушка Огарева, его привели к Герцену: хлопоты по устройству похорон и мрачное настроение в доме заставили взрослых увести ребенка из дому на целый день, тем более, что комната мальчика выходила прямо в зал, где поставили гроб, и ребенка надо было предохранить от тяжелых впечатлений. Огарева и привели к Яковлевым, где он целый день провел с Герценом. Тут начался серьезный разговор — о ненапечатанных стихах Пушкина и Рылеева, о Шиллере, об освобождении «от тирана». Подростки думали и судили обо всем этом одинаково, и Герцен дает в «Былом и думах» формулу, звучащую вполне «по-взрослому»: «у него сердце так же билось, как у меня; он так же отчалил от угрюмого консервативного берега» (XII, 72). Страсть к чтению, как пишет Огарев, после сближения с Герценом «начинает удваиваться». В те часы, когда происходил этот первый откровенный и важный разговор, в Петропавловской крепости шли допросы декабристов. Ежедневно заседавший Следственный комитет еще был далек от конца своей работы: именно в феврале 1826 г. только и вырыли агенты следствия из земли «Русскую правду» Пестеля.

С этой — первой настоящей — февральской встречи начала складываться между подростками подлинная дружба. Уже переговорив обо многом и многое совместно обдумав, юные друзья узнали, летом того же года, в июле, страшную весть, как громом поразившую Москву,— весть о казни декабристов. Казнь произошла в Петербурге 13 июля 1826 г., а 19-го в Москве, в Кремле, был отслужен торжественный молебен «за избавление от крамолы, угрожавшей бедствием всему российскому государству» Молебен служил митрополит Филарет в присутствии императорской семьи (Николая еще не было,— он был в Петербурге и должен был приехать в Москву к коронации). В этот день и дал Герцен свою первую политическую клятву. Он пишет о ней такими словами: «Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Середь Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее — сенат, министры, а кругом, на огромном пространстве, стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились; пушки гремели с высот Кремля<...> Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут перед алтарем, осквернённым кровавой молитвой, я клялся отомстить за казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками» (VIII, 225).

Николай короновался 22 августа 1826 г. Огарев пишет в «Моей исповеди» о «коронации *ненавистного* человека» (подчеркнуто мною.— *М. Н.*). Следовательно, к моменту коронации и он и Герцен уже уяснили себе свое отношение к Николаю.

Клятва на Воробьевых горах произошла *после* всех описанных событий. Отсюда следует, что давшие клятву подростки прошли все же довольно длительный и сложный для их возраста путь умственного развития ранее, чем решили дать клятву. Датировка клятвы 1825 годом, данная М. К. Лемке, совершенно неправильна и лишает ее значительной доли смысла. Действительно, летом 1825 г., еще до восстания декабристов, о какой «избранной нами борьбе» могли говорить два мальчика? Но *после* восстания и казни декабристов, *после* кремлевского молебствия, когда царское правительство «благодарило бога за убийства», после того как уяснился смысл 14 декабря и юное, недавно пробудившееся, сознание стало *на сторону* декабристов,— после этого оказываются вполне понятными слова Герцена: «...мы <...> присягнули, в виду всей Москвы, *пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу*» (XII, 74; выделено мною.— *М. Н.*). Ведь ясно, что сначала надо было «*избрать* борьбу», определить ее характер, а уж потом присягать ей, поклясться отдать борьбе свою жизнь. Вот этот процесс мыслительной работы, который привел к избранию цели, и совершался перед клятвой на Воробьевых горах. Клятва была *подготовлена* протекшим развитием про-

будившегося сознания — и значительным свидетельством об этой протекшей работе является «Моя исповедь» Огарева.

Когда же произошла клятва на Воробьевых горах?

В «Былом и думах», в конце IV главы «Ник и Воробьевы горы», стоит пометка Герцена: «Писано в 1853 году». В самом тексте главы после описания клятвы на Воробьевых горах Герцен замечает: «через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее». Отсюда следует, что клятва на Воробьевых горах относится к 1827 г. К той же датировке приходим мы, опираясь на посвящение Огареву, предпосланное «Былому и думам»: «Когда я думаю о том, как мы двое теперь, под *пятьдесят лет*, стоим за первым станком русского вольного слова, мне кажется, что наше ребячье *Грютли* на Воробьевых горах было не *тридцать три* года тому назад, а много — три!» (XII, 8[18]. Поскольку посвящение Огареву датировано 1860 г.,— клятва на Воробьевых горах должна быть отнесена к 1827 г. Следовательно, в момент клятвы Герцену уже шел шестнадцатый год, а Огареву немногого нехватало до четырнадцати [19].

Эта датировка, однако, противоречит прямому и точному указанию, данному самим Герценом в письме к Н. А. Захарьиной (письмо из Вятки от 25 августа 1836 г.): «И как торжественна была минута, когда мы, юноши, дети, обняли друг друга, узнав, как близки наши души! Это было в 1826 г. на Воробьевых горах. Солнце освещало всю Москву, вся Москва смотрела на нас. О, как радостно билось мое сердце» (I, 318). Выбор между двумя указанными датами труден, но, может быть, все же надо предпочесть 1827 г. как указанный *дважды* и как фигурирующий в тексте, проверенном обоими друзьями (предисловие к «Былому и думам» писалось в 1860 г., когда Огарев уже был в Лондоне).

В «Моей исповеди» не дано подробного описания клятвы на Воробьевых горах,— может быть, Огарев не хотел соперничать с дорогим для него, великолепным описанием, сделанным Герценом в «Былом и думах». Но Огарев дал в «Моей исповеди» проникновенную и глубоко искреннюю оценку событий всего периода жизни, связанного с клятвой: «Хорошо было это время первого развития, Герцен! Может, я слишком долго останавливаюсь на нем, но ведь тебе это не скучно, а мне несказанно весело! Когда я вдумываюсь в него — мне будто становится так же легко дышать, как тогда, дышать во всю молодую свежую грудь — чистым весенним воздухом. А тут подошел день и прогулки на Воробьевых горах, день сознания сильной дружбы, день сознания своей дороги... Сколько надежд, сколько сил — чёрт знает. Это так хорошо было, что плакать хочется...».

Огарев нарисовал шире ту же картину в отрывке из «Стихотворения в прозе», написанного им, вероятно, 25—26 марта 1839 г. под заглавием «Три мгновения. Трилогия моей жизни. (Посвящено любви и дружбе)» [20].

Отрывок состоит из трех частей, цитируем первую из них:

«Солнце уходило на запад и лучами прощальными купалось в светлых водах реки величаво-спокойной. А она, извиваясь подковой, с ропотом тайным проходила у подножья крутого высокого берега. А на другой стороне вдали расстилался город огромный, и главы его храмов сверкали в огненном отблеске вечернего солнца.

На высоком берегу стояли два юноши. Оба, на заре жизни, смотрели на умирающий день и верили его будущему восходу. Оба, пророки будущего, смотрели, как гаснет свет проходящего дня, и верили, что земля не надолго останется во мраке. И сознание грядущего электрической искрой пробежало по душам их, и сердца их забились с одинакою силой. И они бросились в объятия друг другу и сказали: вместе идем, вместе идем!» [21]

Сопоставляя идейное развитие подростков в ту пору, когда они в февральские дни 1826 г. впервые сблизились на почве общих умственных запросов, со временем клятвы на Воробьевых горах в 1827 г.— мы можем, на основании «Моей исповеди», «Былого и дум» и эпистолярного материала отметить, как далеко продвинулись они вперед. Первые впечатления от восстания декабристов были еще связаны с «константиновской легендой». «...Мы чуть ли не в первый день решились действовать в пользу цесаревича *Константина*!» — весело замечает Герцен в «Былом и думах», говоря о февральских встречах 1826 г. (XII, 72). В другом месте он поясняет: «Несмотря на

то, что политические мечты занимали меня день и ночь, понятия мои не отличались особенной проницательностью; они были до того сбивчивы, что я воображал, в самом деле, что петербургское возмущение имело, между прочим, целью посадить на трон цесаревича, ограничив его власть. Отсюда — целый год поклонения этому чудаку. Он был тогда народнее Николая; отчего, не понимаю, но массы, для которых он никакого добра не сделал, и солдаты, для которых он делал один вред, любили его» (XII, 56).

Если Герцен великолепно схватил народное происхождение «константиновской легенды», одного из проявлений наивного монархизма и политической неразвитости народа, то Огарев дал в «Моей исповеди» точное объяснение причины того, почему эта легенда укоренилась на целый год в умах подростков: «Но я не за тем начал говорить о твоей маленькой учебной комнатке. Помнишь ли, как мы раз в ней сидели и толковали по-своему о декабристах? Нам казалось, что Константин был действительно обманут, что он несравненно лучше Николая, что он *человек свободы...*» (выделено мною.— *М. Н.*). Таким образом неправильное представление о политической идеологии претендента на престол, ошибочное представление о нем как о «человеке свободы» — вот та форма, в которой «константиновская легенда» проникла в учебную комнату Герцена и Огарева. Эта легенда настолько овладела умами подростков, что они — в пику «ненавистному Николаю»— даже «присягнули» Константину: «Мы взяли листок бумаги, написали присягу и подписались»,— вспоминает Огарев в «Моей исповеди». Даже перо, которым они подписались, хранилось у них как святыня и позже, уже юношами, они бросили это перо «не без сожаления о прошедшем детстве».

Во время коронационных торжеств 1826 г. оба подростка еще увлеклись мыслью о военной службе — красота гвардейских мундиров, военная музыка, которой полна была Москва (Огарев наизусть пел все мотивы военных маршей), торжественность военных парадов — оказали на них свое воздействие. Но вскоре созревшее сознание отвергло этот путь. Жених сестры Огарева Плаутин во время свадьбы «был одет во всем гусарском наряде, но я уже смотрел на этот наряд с негодованием; мои интересы изменились, я видел в офицерстве поддержку деспотизма — и решил не вступать в военную службу, как ни привлекателен уланский мундир».

Временем, когда миновало это увлечение военщиной, Огарев считает зиму 1826/27 года («Зима прошла для меня в усиленной внутренней работе и развеяла страсть к военщине»). Весь рассказ об увлечении «константиновской легендой» и военщиной дан Огаревым в «Моей исповеди» как повествование об этапах, *предшествовавших* клятве на Воробьевых горах и пройденных *до* нее.

Быстрота, с которой расширялся круг умственных интересов Огарева, кипучая работа сознания, которой были охвачены оба друга, просто поразительны. «Моя исповедь» доводит рассказ до порога университета. Мы расстаемся с Огаревым на ее страницах в то время, когда он едва достигает шестнадцати лет. И перед нами, тем не менее, раскрывается философское развитие подростка-юноши, явно отмеченное материалистическими тенденциями и серьезным философским интересом. Сейчас же после знакомства с Герценом Огарев тайком от отца читает «Contrat social» Руссо — книгу, потихоньку полученную от друга. Он поглощает, повидимому еще до клятвы на Воробьевых горах, Монтескье — «Décadence», очевидно «Considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence» и «Esprit des lois», которые «вероятно не понимал или понимал вкривь и вкось». Но что-то важное, несомненно, оставалось, оседало, откладывалось в фонд приобретенного, накопленного, откристаллизовывалось, служа формированию будущего мировоззрения. Чтение Локка и материалистические тенденции уже в те годы характеризуют, по собственному признанию Огарева, развитие его философского сознания. Споры с новым учителем-натуралистом Беляковым — преподавателем гимназии — тоже явились школой будущего мировоззрения. Любопытно, что юный Огарев отстаивал в этих спорах материалистическую тенденцию, а преподаватель вносил сомнения «супернатурализма». Огарев спорил против «врожденных идей», и споры не прекратились даже после такого увесистого аргумента, как «три тома „Des idées innées" не помню чьего творения». Интерес к философским вопросам был так велик, что даже ночью Огарев «вставал и писал какие-то философские статьи, которые порождали бесконечные споры с Беляковым».

В это же время — в соответствии с материалистической тенденцией пробуждающегося сознания — возникают и серьезные религиозные сомнения, влекущие к атеистическим выводам. Мы читаем в «Моей исповеди» Огарева рассказ об укреплении этих настроений, замечательный, между прочим, тем, что и эта сторона сознания как-то восходит к декабристам, своеобразно связана с ними. На пасхальной заутрене в домовой церкви Обольянинова рядом с Огаревым стоял знакомый ему декабрист Васильчиков (член Северного общества): «Заутреня кончилась, Васильчиков, вздохнувши от устали, с пренебрежением и ненавистью в голосе сказал мне: „Finita la comedia". Я так это близко принял к сердцу, и меня так охватила атеистическая тенденция,— что я вот это помню до сих пор».

К этому же времени относится страстное увлечение математикой («я начал страстно заниматься математикой»,— пишет Огарев).

Во всем этом юношеском кипении мысли, в страстной работе сознания ведущей силой были «политические тенденции». Именно они, по признанию Огарева, «становились на первый план». С этой стороны перед нами пока лишь «дети декабристов». Восприятие идей социализма еще в будущем. Мысль о народе, как решающей силе исторического движения и будущего переворота, пока еще тоже не возникла и не получила разработки. Это видно, в частности, из тираноборческих настроений и из самого характера представлений о политическом мученичестве. Идеалом был сначала Карл Моор, потом маркиз Поза. «На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит,— вспоминает Герцен.— Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда — торжеством. Неужели это — русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?» (XII, 76—77). В полном соответствии с этим образом стоит замечание Огарева в «Моей исповеди» о том, что в эти юные годы он хотел быть уже не военным, а дипломатом: «Мне втайне мерещилась дипломатическая карьера и заговор против Николая, по методе маркиза Бедемàра, которого историю я в то время читал с поглощающей страстью». Реального «заговора маркиза Бедемара», да еще история которого была бы где-то пространно и в захватывающей форме рассказана, найти не удается. Можно высказать лишь предположение,— не идет ли речь о заговоре реального маркиза Сенмàра (Cinq-Mars)? [22] Этот заговор послужил канвою для романа Альфреда де Виньи, тогда — в 1826 году — только что вышедшего. В описываемое время роман был новинкой. Заметим, что в работе о Гофмане Герцен останавливается на французской литературе эпохи Реставрации, представленной Бальзаком, Сю, Сен-Жаненом и *Альфредом де Виньи*, и дает высокую оценку этому направлению, «более глубокому», чем, например, творчество Вальтера Скотта (I, 145).

Молодая, кипучая работа, становление сознания, твердое решение идти по пути революционной борьбы и клятва на Воробьевых горах — все это и было *новым* элементом в движении, *новым* ростком в общественной жизни России после разгрома восстания декабристов. Замысел организовать свой кружок, сплотить молодые силы тех, кто работает над этими же вопросами, родился, оказывается, еще до поступления Герцена и Огарева в Московский университет и до образования университетского кружка. «Мы с тобой говорили о необходимости составить литературный круг, нечто вроде своей академии»,— свидетельствует Огарев в «Моей исповеди». У Герцена в доме привести в исполнение это намерение было невозможно, и Огарев попытался поговорить со своим отцом. «Я ему объявил о проекте нашей академии. Отец рассердился, сказал, что это ведет к политическим обществам, погрозив разлучить меня с тобою». Очевидно, хотя желание друзей было изложено в самой скромной форме, отцу все же сразу борсилось в глаза нечто такое, что заставило его насторожиться, прийти к выводу, что все кончится опасным «политическим обществом», и решительно запретить создание «академии». Этот замысел — тоже новый штрих, добавляемый «Моей исповедью» Огарева к ранней истории формирования политического мировоззрения Огарева и Герцена.

«Моя исповедь» Огарева — новый ценный документ по истории русского революционного движения. Он освещает первые последекабристские годы, еще мало

изученные, и является необходимым добавлением к «Былому и думам». История первого пробуждения сознания и первых этапов в формировании мировоззрения Огарева и Герцена не может изучаться без этого документа.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Н. П. Огарев. Кавказские воды. Отрывок из моей исповеди.— «Полярная звезда», 1861, кн. 6, стр. 338—358. Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения. Под ред. Я. З. Черняка. Госполитиздат. 1952, стр. 396.

[2] «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 357—359.— Дарственная надпись Герцена воспроизведена там же, стр. 359.

[3] Там же, стр. 357.— Выделено мною.— *М. Н.*

[4] Там же.

[5] Там же, стр. 358.

[6] Е. Менгден. Из дневника внучки.— «Русская старина», 1913, № 1, стр. 127.

[7] Н. Н. Кашкин. Родословные разведки, т. II. Под ред. Б. Л. Модзалевского. Пг., 1913, стр. 543—544; ср. 539; Его же. Архив Кашкиных.—«Известия русского генеалогического общества», вып. I. СПб., 1900, стр. 423. А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга, т. I. СПб., 1895, стр. 255—261; Н. Н. Кашкин. По поводу «Воспоминаний о былом» Е. А. Сабанеевой.— «Исторический вестник», 1901, № 1); ЦГИАМ, ф. 48, ед. хр. 64 (ср. «Восстание декабристов», т. VIII, стр. 92—93, 324—325).

[8] «Из записок Н. С. Кашкина».— Сб. «Петрашевцы в воспоминаниях современников», составленный П. Е. Щеголевым. М.—Л., 1926, стр. 194—198.— Свидание декабриста с сыном-петрашевцем произошло в тюрьме 23 декабря 1849 г. (там же, стр. 198). Документы следствия по делу Н. С. Кашкина недавно опубликованы в «Деле петрашевцев», т. III. М.—Л., 1951, стр. 151—172.

[9] Огарев правильно сообщает и литературный псевдоним Николая Веревкина — Рахманный. Н. Веревкин значится в «Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых» С. Венгерова, т. I, вып. 2 (предварительный список — Пг., 1915). Но, по данным словаря Венгерова, Н.Веревкин родился в том же 1813 году, что и Огарев. Следовательно, замечание Огарева о том, что его друг был года на четыре старше его самого, должно быть поставлено под вопрос. По данным того же словаря, Н. Веревкин (Рахманный) умер 5 апреля 1838 г., т. е. всего 25 лет от роду.

[10] В деле С. Трубецкого четыре раза упоминается о Левине. Особенного внимания заслуживает показание от 10 января 1826 г. Трубецкой свидетельствует: «В Тамбовской губернии, но где именно в оной <не знаю>, был Левин, о котором я показывал прежде, но о котором я совсем ничего не слыхал после составления общества в Москве, когда и он в оное поступил в начале 1818 года» («Восстание декабристов», т. I, стр. 50). Ранее С. Трубецкой поместил имя Левина в обширном списке названных им членов тайного общества под рубрикой: «В 1818 году прибавились». Тут на двенадцатом месте стоит запись: «Левин, помещик тамбовский» (там же, стр. 31). О том, что Левину была вручена «Зеленая книга», см. «Восстание декабристов», т. I, стр. 85; о знакомстве Левина с декабристом М. Н. Новиковым, родственником великого просветителя XVIII века, см. там же, стр. 40.

[11] Ср. Герцен. Былое и думы, гл. VI (XII, 101). Тут (без упоминания фамилии) изображен И. Ф. Волков. Запольский как мы узнаем из «Моей исповеди», был учителем русской словесности.

[12] «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 358. Ср. Герцен. Былое и думы, гл. «Ник и Воробьевы горы».

[13] Подчеркнуто мною, как и во всех последующих не оговоренных случаях.

[14] Бабушка Огарева умерла в феврале 1825 г. Огарев в «Моей исповеди» подтверждает, что встретился с Герценом в день смерти своей бабушки, и даже ставит вопрос о том, не могло ли это свидание быть первым. «Я не помню, в первый ли раз мы встретились в день смерти моей бабушки или *немного прежде*» (подчеркнуто мною.— *М. Н.*). Отсюда следует сделать вывод, что предположение, будто мальчики познакомились уже в 1823 или в 1824 г., сомнительно. Бабушка Огарева умерла *после* восстания декабристов. Значит, знаменитая клятва друзей на Воробьевых горах никак не может быть отнесена к 1825 г., как это ошибочно делает М. К. Лемке в своей хронологической канве жизни Герцена. Ясно, что эта клятва могла быть произнесена лишь после сближения друзей, то есть *после первого* откровенного разговора, положившего начало дружбе. Этот разговор и произошел в феврале 1826 г.

[15] Мария Николаевна Огарева (род. 12 июня 1756 — ум. 20 октября 1842) обвенчалась с Александром Ивановичем Челищевым в Тобольске 2 сентября 1778 г. Она была дочерью генерал-майора Николая Гавриловича Огарева. Муж ее, Александр Иванович Челищев, был (с 1797) главным начальником артиллерийского департамента военной коллегии, в чине генерал-лейтенанта (с 1798). М. Н. Чели-

щева овдовела в 1821 г. К моменту, описанному Огаревым в «Моей исповеди» (т. е. к концу 1825 — началу 1826 г.), ей было уже 70 лет. Ее сын, Александр Александрович Челищев, причастный к движению декабристов, род. в 1797 г. После восстания он довольно скоро вышел в отставку (в 1827) в чине майора. В 1833 году женился на дочери Алексея Михайловича Пушкина, Наталии Алексеевне. См. «Восстание декабристов», т. I, стр. 239, 252, 308, 316. Н. А. Челищев. Сборник материалов для истории рода Челищевых. СПб., 1893, стр. 265—270, 285—286; ср. П. Долгоруков. Российская родословная книга, т. IV. СПб., 1857, стр. 131; «История лейб-гвардии егерского полка», стр. 74, 75. О «норовской истории» данные в кн.: Щербатов. Генерал-фельдмаршал кн. Паскевич, его жизнь и деятельность, т. I. СПб., 1888, стр. 74, 101, 362—364. М. В. Нечкина. Грибоедов и декабристы, изд. 2. М.—Л., 1951, стр. 150—151 и 269—270.

[16] «Восстание декабристов», ч. VIII («Алфавит декабристов»), стр. 418 (указатель).

[17] Подчеркнуто Огаревым.

[18] Герцен родился 25 марта 1812 г., Огарев — 24 ноября 1813 г. Обе даты даны по старому стилю.

Нужно отметить, что возраст свой во время клятвы на Воробьевых горах и Герцен и Огарев определяют по-разному и не вполне точно. В том же посвящении к «Былому и думам» Герцен пишет: «Одна мечта двух мальчиков — одного 13 лет, другого 14 — уцелела» (XII, 8). Огарев же пишет так: «Иногда мне кажутся смешны эти 15-летние герои, но в эту минуту я чувствую, что они были прекрасны» (ср. там же, стр. 177). Отсюда следует, что Герцен и Огарев высчитывали свой возраст во время клятвы на Воробьевых горах приблизительно; особенно ясно это из последней цитаты, где разница возрастов Герцена и Огарева вообще не учитывается. Таким образом, датировать клятву на Воробьевых горах, исходя из определения возраста, нельзя. Другое дело — определение количества лет, протекших со времени клятвы, так сказать прямое определение ее юбилея, связанное с точной фиксацией протекшего времени,— основываться на таком определении гораздо надежнее: для того чтобы летом 1860 г. сказать, что клятва на Воробьевых горах была дана *«тридцать три года* тому назад» и подчеркнуть указанную дату курсивом, конечно, надо было твердо знать отправную дату, то есть 1827 г. Для того чтобы в 1853 г. сказать, что клятва была дана «двадцать шесть лет» тому назад (там же, 74), опять-таки надо было совершенно точно знать отправную дату — и опять при расчете мы получаем тот же 1827 г. Отсюда ясно, что при определении даты клятвы на Воробьевых горах надо преимущественно опираться именно на эти данные.

Возраст же Герцена и Огарева в момент принесения клятвы определяется так: поскольку клятва была принесена в конце лета 1827 г. (после 19 июля), Герцену в это время было 15 лет и 4—5 месяцев, а Огареву — 13 лет и 8—9 месяцев.

Вместе с тем обе даты клятвы на Воробьевых горах, распространенные в нашей литературе,— и 1825 г. и 1828 — надо признать неточными. Совершенно ошибочна дата — 1825 г., закрепленная в «Канве биографии А. И. Герцена», составленной Лемке (XXII). Как указывалось выше, предположение, что клятва была произнесена еще до восстания декабристов, лишает ее политического смысла и превращает (как это, кстати, и сказано в «Канве биографии») в клятву дружбы и только («Вместе с Огаревым дал обет идти всю жизнь друг с другом»,— отмечает Лемке,— вот и все.— XXII, 192). Другой датировкой, распространенной в литературе, является 1828 г. Эта дата фигурирует в издании «Былого и дум» 1932 г. (т. I, стр. 65) также без каких бы то ни было мотивировок,— ее также необходимо признать неточной.

[19] Возможно, что неправильная датировка клятвы на Воробьевых горах возникла у Лемке на основе одной фразы, содержащейся в герценовском отрывке «Посвящено сестре Ольге» (I, 110—113; ср. XXII, 192). Об одном из позднейших посещений Воробьевых гор, где Герцен и Огарев побывали в память о своей отроческой клятве, в отрывке сказано: «Немного прошло времени после того — какие-нибудь 8 лет...». Предположительно датируя отрывок «сестре Ольге» 1833 г., Лемке вычел восемь из тридцати трех и, оперируя этой предположительной датой, получил 1825 г., который (уже не предположительно!) вставил в хронологическую «канву» жизни Герцена. Содержания же прочих ссылок, приведенных им же и противоречащих вычисленной дате, Лемке почему-то вообще не учел.

[20] «Русская мысль», 1902, № 11, стр. 146.

[21] В статье Огарева «Памяти Герцена» читаем: «Еще мальчишками (в 1827 или 1828 году?) Герцен и пишущий эти строки „присягнули друг другу — на Воробьевых горах, в виду Москвы — пожертвовать жизнью на избранную нами борьбу".— „Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной..."— говорит Герцен.— Могла бы показаться и очень ребяческой, прибавляю я, если б целая жизнь Герцена не доказала горячего, неутомимого, неуклонного участия и постоянной работы в этой борьбе...» (цит. по книге: «Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения», т. I. М., 1952, стр. 797).

[22] Маркиз Анри Куаффье де Рюзе *Сенмар* или *Сен-Марс* (Cinq-Mars, 1620—1642)— сын маршала Франции маркиза Эффиа; организовал заговор против герцога Ришелье. Заговор был открыт, и его руководитель казнен.

МОЯ ИСПОВЕДЬ

Глава 1

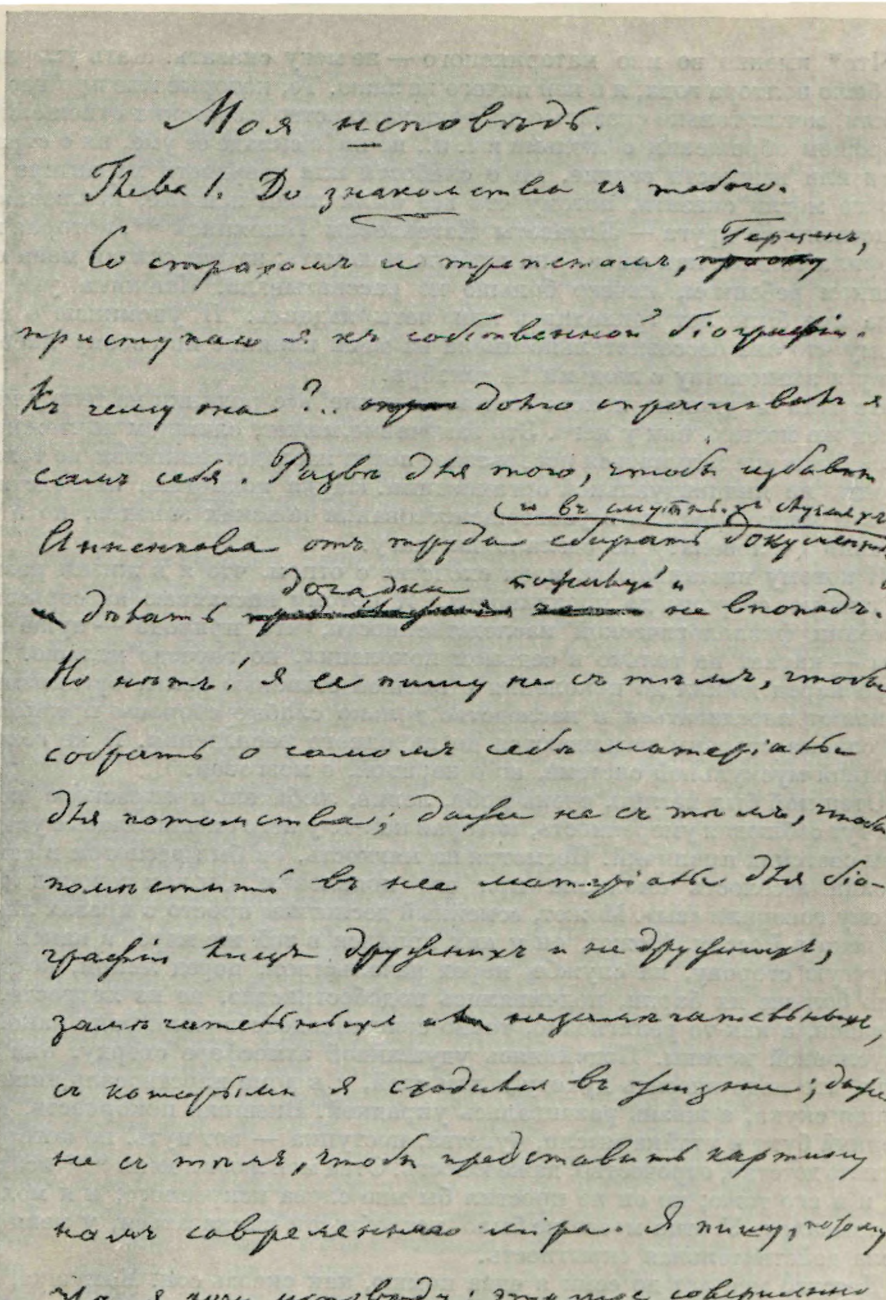
ДО ЗНАКОМСТВА С ТОБОЮ

Со страхом и трепетом, Герцен, приступаю я к собственной биографии. «К чему она?..» — долго спрашивал я сам себя. Разве для того, чтобы избавить Анненкова от труда сбирать документы и в смутных случаях делать * догадки, пожалуй и невпопад? Но нет! Я ее пишу не с тем, чтобы собрать о самом себе материалы для потомства; даже не с тем, чтобы поместить в нее материалы для биографии лиц, дружных и не дружных, замечательных и не замечательных, с которыми я сходился в жизни; даже не с тем, чтобы представить картину нам современного мира. Я пишу, потому что я хочу исповеди; это мое совершенно личное дело. Только не ошибайся — это будет не христианская исповедь, которая есть покаяние. Нам мудрено исповедываться только для покаяния; для этого надо бы чувство покаяния, ответа перед каким-то судиёй ставить выше всего **. Но *** наше покаяние — это понимание. Понимание — наша прелесть и наша кара. Я хочу рассмотреть себя, свою историю, которая все же мне известна больше, чем кому другому, с точки зрения естествоиспытателя. Я хочу посмотреть, каким образом это животное, которое называют Н. Огарев, вышло именно таким, а не иным; в чем состояло его физиолого-патологическое развитие; из каких данных, внутренних и внешних, оно складывалось и еще будет недолгое время складываться. Понимаешь ты, что для этого нужна огромная искренность, совсем не меньше, чем для покаяния? Нигде нельзя приписать результат какой-нибудь иной, не настоящей причине, нигде нельзя испугаться перед словом: *стыдно*! Мысль и страсть, здоровье и болезнь — всё должно быть, как на ладони, всё должно указать на логику — не *мою*, а на ту *логику* природы, необходимости, которую древние называют fatum и которая для наблюдающего, для понимающего есть **** процесс жизни. Моя исповедь должна быть отрывком из ***** физиологической патологии человеческой ****** личности.

Я родился от родителей вероятно крепкого сложения. Если моя мать умерла рано, это, кажется, от какой-то случайной болезни. На портрете у нее ******* лицо свежее, но кроткое до выражения грусти. Говорят, она была бесконечно добра. Мой отец был, без сомнения, крепкого сложения; удар его хватил в избытке сил, и он, пробыв в параличе 13 лет, не поседел. Может, этой наследственной крепости организма я обязан, что вынес свою собственную жизнь до пятого десятка, не одряхлев. Петербургу, или Северу, я обязан тем, что родился золотушный. Думали, что я умру вскоре, тем более, что я был недоносок. Говорят, моя мамушка — Прасковья Алексевна ********, которую называли мамушкой оттого, что это чином выше нянюшки, — спасла меня, вопреки мнению ученого сословия *********; я думаю, меня спасла наследственная крепость организма, одолевшая болезнь.

---

* *Далее зачеркнуто:* предположения, часто
** *Далее зачеркнуто:* на свете.
*** *Далее зачеркнуто:* для нас выше всего не покаяние
**** *Далее зачеркнуто:* знание
***** *Далее зачеркнуто:* патологической физиологии
****** *Далее зачеркнуто:* жизни.
******* *Далее зачеркнуто:* вид
******** Я родился 24 ноября ст. ст. 1813 года.— *Примеч. Огарева.*
********* *Далее зачеркнуто:* Вот я и стал потом жить.


Моя исповѣдь.

Глава 1. До знакомства съ тобою.

Со страхомъ и трепетомъ, Герценъ, приступаю я къ собственной біографіи. Къ чему она?.. долго спрашивалъ я самъ себя. Развѣ для того, чтобъ избавить Анненкова отъ труда собирать документы (и въ смутныхъ Августахъ) и дѣлать догадки порывистыя и невпопадъ? Но нѣтъ! Я ее пишу не съ тѣмъ, чтобы собрать о самомъ себѣ матеріалы для потомства; даже не съ тѣмъ, чтобъ пополнить въ нее матеріалы для біографіи людей дружескихъ и не дружескихъ, замѣчательныхъ и незамѣчательныхъ, съ которыми я сходился въ жизни; даже не съ тѣмъ, чтобъ представить картину намъ современнаго міра. Я пишу, потому что я хочу исповѣди; это мое совершенно личное дѣло. Только не ошибайся — это

АВТОГРАФ «МОЕЙ ИСПОВЕДИ» ОГАРЕВА, 1860—1862 гг.

Глава первая

Лист 1

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Что* именно во мне материнского — не могу сказать. Мать умерла — мне было полтора года; я о ней ничего не знаю. Те, которые мне про нее говорили, могли только сказать о доброжелательстве в светских отношениях, о хорошем обращении с людьми и т. п., но ни о складе ее ума, ни о страстности или нежности сердца, ни о слабости или твердости характера ничего не могли сказать, потому что все были люди пошлые, исключая ее единственного друга — Лизаветы Евгеньевны Кашкиной **, которая мне говорила только, как много она любила мою мать; затем, считая меня еще слишком ребенком, ничего больше не рассказывала. Кашкина умерла, когда мне было лет тринадцать или четырнадцать. Я упоминаю о ней, потому что она бессознательно имела на меня влияние по своему либерализму и знакомству с людьми 14 декабря.

На отца я ужасно похож лицом, и даже все родинки на теле у меня на тех же местах, как у него. Это замечание, может, слишком ничтожно, а могла бы наука задуматься посерьезнее перед наследственностью не только породы, но индивидуальной организации. Наука подметила наследственность и много помогла в усовершенствовании конских заводов, но в понимании ⟨человека?⟩ не сделала ни шагу.

Я потому настаиваю на моем сходстве с отцом, что я в жизни развил его слабые стороны до уродливости. Я потому настаиваю на серьезном изучении физиологической наследственности, что природа — пуще Иеговы — карает не только в седьмом поколении, но гораздо дальше. Как скоро народ дожил до поколения с высшей степенью силы, организмами начинают передаваться в наследство только слабые стороны предков, и эти слабые стороны развиваются до народного распадения. Я не говорю об одной мускульной системе, но о нервной, о мозговой.

Отец мой был неглуп, очень добр, ленив, любитель прекрасного пола, но и тут соблюдая умеренность, которая как-то у него смешивалась с уважением светских приличий. Несмотря на мягкость, он был деспотом в семье; детская веселость смолкала при его появлении. Он нам говорил «ты», мы ему говорили «вы». Может, семейный деспотизм просто в нравах людей его века в России. Может, он у них являлся в той же мере, в какой они в другую сторону, на службе перед начальством, перед лицом, которое было больше их барин, подчинялись подобострастно, не из хитрости, не из видов, а как-то религиозно, точно священнодействовали ради какой-то безусловной истины. Подчиняясь удушливой атмосфере сверху, они думали, что надо вносить духоту в дом свой, и в доме царствовала тяжеловесная скука, а жизнь развивалась украдкой. Внешняя покорность, внутренний бунт и утайка мысли, чувства, поступка — вот путь, по которому прошло детство, отрочество, даже юность. Отец мой любил меня *** искренне, и я его тоже; но он не простил бы мне слова искреннего, и я молчал и скрывался. У отца моего не было потребности высказаться, у меня выросла действительная скрытность.

Детство мое лет до семи я едва помню, как сквозь сон. Мамушка, нянюшка, дядька — всё это одно за другим исчезло, не оставив во мне даже следа любви ****. Только Акшенский дом и сад с трехлетнего возраста я никогда не забывал. Помню, что меня тогда водили на ленточке: я, благодаря золотухе, не мог ходить до четырех лет.

Ко всему детству у меня примешано воспоминание болезни и слабости. Когда мне было лет семь, мы жили в Москве на ***** Малой Никитской, в доме Белкина, толстейшего из всех полицеймейстеров, которого я любил

---

* *Далее зачеркнуто:* я унаследовал

** *Далее зачеркнуто:* которая была ее другом, но мало со мной говорила.

*** *Далее зачеркнуто:* до безумия

**** *Далее зачеркнуто:* Помню

***** *Далее зачеркнуто:* Большой

за то, что у него был мундир и два казака за ним ездили. Но этому пристрастию к военному делу у меня суждено было погибнуть. Иные страсти развивались у семилетнего ребенка. Хилость и нервность организма заставляли меня искать, как бы приютиться под чье-нибудь крыло и чтоб кто-нибудь меня любил и я бы кого любил как-то особенно. Любил я мою бабушку, мать моего отца, которая жила с нами в доме, но я ее боялся; она была высокая, кривая, большая и важная старуха и строгая, не думая быть строгой. Любил я и другую бабушку, Баскакову, мать моей матери; ее я не боялся; она была важна, но не со мной, я был ее любимец; ее ласка была мне глубоко драгоценна. Но это все было не то, чего хотелось. У сестры бабушки Баскаковой — Олениной вместе с ее дочерью воспитывалась барышня—Пашенька. Девочкам было лет за пятнадцать. Пашенька была красавица. Я в нее влюбился. Влюбился платонически, как немецкий студент теологии. Это все знали, все смеялись, я краснел и продолжал, так сказать с общего позволения, быть влюбленным. Но и это не всё. Было другое чувство, это уже без позволения. У нас в доме жила гувернантка, немка — Федосья Христьяновна Ortlieb, высокая, красивая женщина. Она меня очень любила и ласкала, она меня целовала, целовала взасос и рассказывала мне про свою любовь к какому-то графу (которого она сама нарисовала на картинке в виде аркадского пастушка *, несмотря на то, что граф был казак). У меня явилась похоть **, что я тщательно скрывал и от самой Федосьи Христьяновны, и от всего дома, совершенно не понимая, что это такое. Итак семи лет я разом любил двух женщин, платонически и демонически, с той страстностью, которая заставляла меня тосковать и плакать, и хотелось чего-то *** непонятного. Это благополучное начало слишком сильно подействовало на организм, чтобы остаться без развития. Этот дуализм любви шел у меня через всю жизнь, проводя разом крайность очень милого, а может и пошлого романтизма с крайностью **** дико-пошлого цинизма *****; я думаю, что я оба направления довел до художественности.

В это время мы на лето опять уезжали в Акшено. Мы ехали на своих; 18 лошадей и человек 30 прислуги. Бабушка, отец, сестра, компаньонка бабушки, Федосья Христьяновна, я и серый попугай составляли аристократию. Мы ехали дней 20. Я помню Муромский лес, где все женщины боялись разбойников, а мой дядька (Булатов) рассказывал мне сказку про Илью Муромца; помню какую-то холодную и дымную избу, где мы ночевали и где бабушка сердилась; помню бабушкину знакомую купчиху, которой показалось, что наш попугай сказал ей: купчиха дура,— и она так обиделась, что ее насилу успокоили. Больше ничего не помню. Акшено я узнал с восторгом; садик в саду status in stato ******, который назывался *моим* и где я копался в земле, и картину—продавца уток работы******* крепостного живописца; только комнаты мне показались меньше, чем прежде. Это такое физиологическое наблюдение над отношением человеческого роста, объема к окружающему: когда я приехал в Акшено юношей, мне комнаты показались еще меньше. В Акшено Федосья Христьяновна продолжала меня целовать и учила на фортепьяно. Акшено мне еще более врезалось в память. Осенью мы возвратились таким же поездом в Москву; но с этих пор Акшено было для меня местом романтической привязанности, не меньше моей религиозной любви к

---

* *Далее зачеркнуто:* и себя в виде пастушки
** *Далее зачеркнуто:* которую семь лет
*** *Далее зачеркнуто:* для ребенка
**** *Далее зачеркнуто:* довольно
***** *Далее зачеркнуто:* но в обоих направлениях
****** государство в государстве (лат.).
******* *Далее зачеркнуто:* нашего

умершей матери *. Почему у меня и теперь сохранилось то и другое? Не знаю. Матери я никогда не знал, а Акшено все же не так красиво и не настолько я живал в нем, чтобы так любить его. Стало мозг не выпотел, не испарил, не выработал из себя вон детского впечатления. После этого и подумай о теории обновления тела посредством уничтожения старого мяса и выделывания нового — питанием — через известные сроки.

Все детство я провел между женщинами, почти заключенный в комнатах, едва выходя на свежий воздух. Меня лечили этим домашним заключением и, разумеется, расслабили мускулы и развили нервность. Я помню, что я даже любил, когда меня женщины брали на руки, это возбуждало во мне сладострастное чувство. А бабушка была окружена женщинами всех возрастов, начиная от злобствующей компаньонки Надежды Семеновны, очень некрасивой пожилой девы, несчастно влюбленной в моего отца, до маленькой Аришки, служившей на побегушках, — их было, по крайней мере, дюжина, и детское больное воображение невольно** находилось в напряженном состоянии. Ни единого сверстника не было около; редко появлялись два-три знакомых мальчика, но я их больше дичился, чем любил. Петруша Яковлев, которого часто возили ко мне, не привлекал меня; выросши, мы с ним никогда не встречались, не искали друг друга; Александр Кек, которого ты знал, который утонул, также не оставил мне воспоминаний. Еще привозили какого-то мальчика, с которым мы, играя, поссорились за то, кому быть барином и кому лакеем; каждому хотелось быть лакеем. Этого — я и имени не помню. По воскресеньям приезжал к нам из пансиона мой двоюродный брат Александр Колокольцов***, малый лет 15. Его приезда я боялся, он вечно ломал мои игрушки, которыми я очень дорожил. Из мужского пола единственный человек, мне близкий, был мой дядька Иван Михайлович Булатов (брат знаменитого Степана Михалыча). Булатов, сообразуясь с наставлениями моего отца, старался занимать меня чем-нибудь в комнате. Всю зиму я почти не выходил из нее и кашлял; чтоб перейти залу или гостиную, мне надевали теплый сертук и галстух. В моей же комнате большей частью находились и мамушка Прасковья Алексевна в чепчике, вязавшая чулок и ворчавшая без надобности, и нянюшка Марфа Ивановна, повязанная платком, иногда выпившая. Говорят, что меня совсем маленького мыли губкой со спиртом и что я нанюхивался ею допьяна; с тех пор от меня пахнет водкой — это влияние нянюшки. Семи лет и позже я не пропускал случая за большими обедами, которые давал мой отец, отведывать всех подаваемых вин, особенно когда ничье внимание не было на меня обращено.

Но во время оно, естественно, я больше всех любил Булатова. Он меня выучил читать и писать, он сказывал мне сказки, он помогал мне, играя в игрушки, фантазировать из них целые истории. Я пристрастился к чтению, к романтическим сказкам и к собственным фантазиям вероятно вследствие сидячей жизни****. Летом, в очень хорошую погоду, Булатов водил меня играть на пустырь, который мне казался каким-то чудеснейшим лугом, или в сад к попу, или к коновалу; все это не более 200 шагов от дому. Да, виноват, лучший приятель в детстве, летом, был Голестенов, живший против нашего дома; у Голестеновых был сад, довольно большой, и Булатов водил меня туда играть с маленьким, но очень толстым Голестеновым. Куда девался толстый приятель моего детства — не знаю; но

---

* *Далее зачеркнуто:* которой я не знал.

** *Далее зачеркнуто:* было всегда

*** Убит в конце 30-тых годов своими мужиками за жестокое обращение.— *Примеч. Огарева.*

**** *Далее зачеркнуто:* Таким образом все нервное развивалось за счет мускульной жизни.

помню, что, несмотря на частые свидания, мы друг к другу особой привязанности не имели, может и оттого, что он был года 4 старше. Все сверстники детства прошли, как тени, без малейшего влияния на меня. Зимой я даже так свыкся с моей безвыходной комнатой, что мне одному, т. е. с Булатовым, было лучше. Кроме сказок, он настраивал мою фантазию религиозно, и я иногда молился до слез; он говорил мне о грехе быть вольтерианцем — этого я не понимал, но это возбуждало во мне любопытство. Было что-то страдальческое в моем детстве—возбужденность неясного

СТАРОЕ АКШЕНО. ПАРК
Фотография В. Чернобаева, 1861—1862 гг.
Исторический музей, Москва

вопроса, напряженность фантазии во все стороны от религиозности и платонической любви ⟨...⟩ и всё это при постоянной * хворости и слабости тела. Из таких болезненных данных ** невозможно было выйти сильному и деятельному человеку ⟨...⟩ Ничего на первом плане, вся жизнь пройдет в порывах по всем направлениям.

Но вот и Федосью Христьяновну отставили, потому будто, что она была не довольно учена, чтоб воспитывать мою сестру, и Белкинский дом оставили; отец купил дом Бантыш-Каменского у Никитских ворот. Страшно жаль мне было моей красивой немки; немного жаль и Белкинского дома, и пустыря, заменявшего мне лучшие луга в мире, и в детстве моем произошел переворот. В новом доме я как-то стал еще уединеннее, Булатов очутился на втором плане, реже был со мною. Мамушки уже не было в живых, нянюшка только навещала меня изредка, но больше покачиваясь.

---

* *Далее зачеркнуто:* болезненности
** *Далее зачеркнуто:* мудрено

Главную роль в моей жизни заняла новая гувернантка моей сестры, Mlle Noël, но совершенно иначе. Это была женщина, или, лучше, очень зрелая девица, очень некрасивая, со всем школьным образованием французских гувернанток. Я ее уважал и начал учиться; как бы школьно ни было ее образование, но во мне возбудилась любознательность. Кроме того, мне взяли учителя русского языка и арифметики Михайлу Андреевича Сенковского. С этим господином я ничего не делал; не помню, хорошо ли я учился по-русски, но помню, что арифметики я совершенно не понимал, даже тогда, когда он принялся со мной за алгебру. Мое внимание сосредоточилось на преподавании истории Mlle Noël. Она, как водится, учила меня греческой и римской истории — по каким-то плохим учебникам и по картинкам. Как всё это ни было плохо, я из этого страстно понял героическую тенденцию, и когда Mlle Noël велела мне написать какое-нибудь сочинение, я написал письмо к мечтаемому другу, которого у меня не было, и уговаривал его жертвовать собою отечеству, подобно Фемистоклу и Аристиду. Mlle Noël меня расхвалила, отец мой тоже, хотя с каким-то удивлением, как будто спрашивая — откуда это тебе в голову лезет? Мне было стыдно, но, когда я остался один, я чувствовал что-то вроде вдохновения. Мне было восемь лет, и я до сих пор не могу забыть этой минуты странного счастия, первого соединения героической тенденции с авторским самолюбием.

В это время была в Москве итальянская опера, куда меня часто возили. Впечатление ее столь было сильно, что я до сих пор помню, как вчера, лица актеров, декорации, пьесы; самые мотивы помню с тех пор, а не по позднейшим занятиям музыкой. В доме у нас гостила моя двоюродная сестра Голубцова (впоследствии принцесса Гогенлоге), которая пела действительно превосходно; я начал* слушать музыку со вниманием, но ученье под руководством Mlle Noël мне не давалось; я скучал за фортепьяно. Только ухо привыкло к звукам; это было начало той несчастной страсти к музыке, которая мне осталась навек.

Остальное в этот год прошло по обычаю. Идеальную любовь к Пашеньке я перенес на Наденьку Колокольцову (впоследствии Жемчужникову), мою двоюродную сестру, которую ** отдали в пансион и возили к нам по воскресеньям. Эту страсть я уже стал скрывать, боясь насмешек ⟨...⟩

Этот год любви к истории и к Наденьке прошел очень быстро, и с концом его наступил новый переворот в моем детстве. Мне был десятый год, и внутренно я больше принадлежал отрочеству, чем детству. Mlle Noël прогнали, не знаю за что. Сдается мне, что моему отцу показалось, будто она за ним волочится, или он разыграл с ней роль agent-provocateur *** и, увид⟨ев⟩, что крепость не неприступна, счел это за преступление со стороны воспитательницы детей и удалил ее. Впрочем, преступление было не с ее стороны; что мудреного увлечься мечтой — сделаться, быть может, супругою человека с пятью тысячами душ! Как бы то ни было — отъезд Mlle Noël произвел в моей жизни новую обстановку и действительный перелом. Поехала моя бедная Mlle Noël воспитывать красавицу княжну (Абамелек, впоследствии Баратынскую) и, недовоспитав ее, сама вышла замуж за Mr Ducas, так что мой новый учитель французского языка Mr Allart написал мне в школьной тетради для какого-то грамматического примера: Mlle Noël avait de grandes prétentions pourtant elle s'est contentée d'un ducat ****, — чуть ли не отсюда идет моя страсть к каламбурам!

---

* *Далее зачеркнуто:* любить

** *Далее зачеркнуто:* привезли

*** провокатора (франц.).

**** У мадмуазель Ноэль были большие претензии, однако она удовлетворилась одним дукатом (игра слов: фамилия Ducas и слово ducat — дукат — произносятся по-французски одинаково).

Остановлюсь на минуту перед этим, в самом деле новым периодом моей жизни. Какие элементы я вносил в него? Раздраженность фантазии, зачатки мышления, слабость и вялость тела, ненормальную возбужденность нерв, привычку к внутреннему одиночеству и скрытность. Физическая неповоротливость могла быть следствием болезни и комнатной гигиены; физическая лень двигаться была частью следствием того же, а частью наследственная от отца, которого все движение состояло в постоянном медленном хождении по зале. Слабость тела в периоде отрочества прошла под влиянием иной гигиены, но лень и вялость остались органическими недостатками, потому что были наследственны. Вялый * мускульный фонд мог не мешать сильной внутренней работе, но отнимал способность к той деятельности, которая влияет на окружающее; я мог привязываться к существам, более сильным, но не захватывать власти. Замкнутая работа в самом себе как раз согласовалась с скрытностью, выросшей от удушливой домашней атмосферы. Еще шаг — и скрытность должна была перейти в ложь и трусость. Все обусловливало характер слабый; наследственная мягкость отцовского и кротость материнского характера должны были развиться в уродливые размеры.

Первый период моего отрочества начался с появлением в доме Анны Егоровны Horsetter и вскоре потом Зоненберга, которого ты уже так хорошо знаешь и описал, что** здесь его характеристика—дело лишнее. Анна Егоровна ⟨...⟩ Ты ее, я думаю, помнишь. Чрезвычайно худая, но недурная и весьма неглупая и очень добрая англичанка. Когда она явилась у нас в доме, ей еще не было 30 лет. У ней были обожатели и хорошие люди, которые ее уважали за благородство мыслей и характера; почему она тогда не вышла замуж? Не знаю ⟨...⟩ Она обратилась ко мне с материнской лаской, с материнской любовью к ребенку, который возбуждал ее участие кротостью и нежностью нрава и каким-то раздумьем, в котором пробивалась мысль ⟨...⟩

Анна Егоровна имела на меня иное, глубокое и изящно-человеческое влияние. Жизнь ее прошла в круге знакомства Кашкиных. Лизавета Евгеньевна была ее лучшим другом. Я думаю, через эту дружбу Ан⟨на⟩ Ег⟨оровна⟩ была исполнена уважения к моей матери, как к какому-то ангельскому существу, сотканному из любви и кротости. Чуть ли не из ее полуслов о моей матери я почерпнул тот религиоз⟨ный⟩ пиетет ⟨?⟩ к ее памяти, от которого я никогда не мог отделаться да и не хочется: он хорош.

Лизавета Евгеньевна, высокая, плотная женщина, т. е. девица 40 лет, хотел я сказать,— имела на английскую кротость Анны Егоровны всеобладающее влияние, а Лиз⟨авета⟩ Ев⟨геньевна⟩ все свои мнения и речи почерпала в кругу декабристов, к которым тогда принадлежал ее племянник, Сергей Николаевич Кашкин. Следственно, всё движение декабристов отзывалось в образе мыслей Анны Ег⟨оровны⟩ и через нее отзывалось во мне, невольно, смутно, но отзывалось. Ей я обязан, если не пониманием, то первым чувством человеческого и гражданского благородства. Ей я обязан первым впечатлением поэзии; мне было лет 10, когда она учила меня читать по Байрону ⟨...⟩ Да! я с любовью вспоминаю о ней и с глубоким сожалением, что во время юности самое знакомство с нею я забросил с какой-то холодной беспечностью. Эта беспечность, вероятно, ее глубоко оскорбила; а во мне она произошла совсем ненамеренно, просто было некогда от разгульной жизни.

В научном отношении Ани⟨а⟩ Ег⟨оровна⟩, конечно, не могла принести мне пользы. Рожденная в России, она едва могла мне порядочно передать

---

* *Далее зачеркнуто:* органический

** *Далее зачеркнуто:* мне говорить было бы совсем

английский язык, от этого я его и забыл легко. Воспитанная в благородном пансионе у эмигрантки Гибель, она преподавала мне историю по каким-то уродливым тетрадкам. Но, кроме изучения английского языка по глупым сказкам, с одной стороны, и по Байрону — с другой, — она, следуя духу времени, занималась русской литературой. Она переписала для меня, когда мне уже было лет 12, всего «Войнаровского» своей рукой. Затерял я этот экземпляр где-то в деревне. Признаюсь, я теперь дал бы за него дороже, чем за самую редчайшую библиографическую редкость. Сама Ан⟨на⟩ Ег⟨оровна⟩ при всей инстинктивной поэтичности дальше своего школьного образования в науке не шла. Одному она училась, кроме того, что изучала в пансионе, — это латинскому языку. Это занятие она скрывала от посторонней насмешки; но все же оно было каким-то патологическим уклонением мозга. Я не помню, чтобы она читала латинские книги, но прилежно твердила склонения, спряжения и т. д. Мне кажется, что ей нравились звуки латинского языка — не более. Или это было то же отношение к учености, как у Петрушки к грамоте? О Патология!.. Как здоров ни будь мозг, а все же свихнет в ничем не объяснимую сторону. И эта женщина, инстинктивно поэтичная, без цели училась по латыни!

Почти через год после появления Ан⟨ны⟩Ег⟨оровны⟩ явился Карл Иванович. Лицо его, конечно, не расположило меня в его пользу. Всё, что могло быть, — я привык к его лицу. Но как он мне ни был полезен, как он ни старался мне угождать, я его внутренно ненавидел. За что? Да за то, что он меня заставлял писать по-немецки, когда это было не его дело, за то, что он меня заставлял писать букву эм — m, а не m, как меня учила Mlle Ortlieb и немецкие учителя *, ходившие и во время царствования Карла Ивановича, потому что Карл Иванович, в сущности, немецкой грамоты не знал. За то я его не любил, что он не знал грамоты; за то, что у него был рыжий парик; за то, что он был ряб, как тёрка; за то, что он мне повязывал галстух и свистал в лицо, тогда как у него из роту воняло ⟨...⟩ За то я его не любил, что он мне мешал читать хорошие вещи, когда мне хотелось, говоря, что это час приготовлять урок такой-то, — и сколько я ему ни толкуй, что он у меня готов или что я успею его приготовить, он все на своем, до тех пор, пока я ему говорил, что пойду к отцу объясниться; тогда, как истинный подлец, он меня оставлял в покое ⟨...⟩

Кроме его менторства, у меня были учителя, которых я всех ненавидел, — какой-то глупый старик Wetterschrandt, математик Бер и Mr Allart. Mr Allart я ненавидел больше других. Он считал меня глупым, написал мне в альбом: «Longtemps, longtemps il s'avance, mais il arrivera»**, а я его считал дураком. Сестрой моей он был доволен, и она считала его за превосходного учителя; а я, как ни был мал, удивлялся, как отец не видит, что он осёл, как Ан⟨на⟩ Ег⟨оровна⟩ не видит, что он осёл, и только когда мне уже было лет 12, я, несмотря на всю робость, доказал отцу, что Mr Allart не учитель, а дурак. Как скоро это было доказано, я поспешил подставить огромному и толстому Аллару изломанный стул так, что он тотчас же упал на задницу, подбородком на стол, и с четверть часа, сидя на полу, рассуждал, каким образом он мог упасть. Он пожаловался отцу; отец смеялся и отказал ему. А с моей стороны это была подлость. Если б я подставил ему стул прежде, чем доказал отцу, что он дурак, — это было бы хорошо; а это было подло, это была храбрость трусости, т. е. наглость. Но я этим не ограничился: изломанный стул я поставил математику Беру, молодому человеку, который забрался со мной в алгебру и геометрию, совсем не замечая, что я не понимаю даже арифметики. Я не знаю науки легче начальной математики, и надо быть пошлым дураком, чтоб не

---

* *Далее зачеркнуто:* бывшие

** «Медленно, медленно он подвигается, но ⟨цели⟩ достигнет» (франц.).

уметь объяснить ее даже ребенку, или чтоб не видеть, понимает ученик или нет; а он не видел.

Когда стул с сломанной ножкой стал падать, Бер схватился рукой под сиденье и удивлялся, что и он и стул упали, несмотря на то, что он поддерживал сиденье рукой. И ему отказали. Я торжествовал. Но тут же чувствительно вошел в мою душу (употребляю это слово за неимением другого) новый элемент: злоба. Зоненберг, Бер, Allart etc. вызвали и развили во мне злобу. Не смейся, Герцен, не говори, что я вру; нет! я и теперь иногда чувствую * огромную злобу. Если это чувство, о котором я искренно и сознательно говорю, не бросалось в глаза другим, даже тебе, то это потому, что оно являлось не как единый властный деятель, а как противодействие пошлой мягкости моего характера вообще. Не будь способности к этой злобе, вызванной обыкновенно после великого долготерпения, мои тряпичные свойства совсем бы меня уничтожили. Злоба сколько-нибудь уравновешивала их, от этого она вам была не видна, а я ее слишком хорошо и горько знаю. Прежде появления Зоненберга, Аллара и consorte** у меня этого чувства не было. Каким образом возбуждается в организме чувство злобы? О Кабанис! Немного мы узнали после твоей книги! Говорят, желчь; но это такое же прибежище незнания, как 4 стихии древних для объяснения мироздания. Я видел людей с разлитием желчи (ictère***), совершенно беззлобных. Но, говорят, когда печень страдает... Да, я зол, когда у меня надглазный нерв болит без всякого видимого соотношения с печенью. Всякая жгучая боль возбуждает злобу; это протест человека против предполагаемой целесообразной разумности природы или провидения. Объясните мне, как, каким образом, где отзывается неприятное впечатление — так, что кровь бросается в голову от бешенства, если мускулы **** упруги; а если мускулы дряблы, как у меня, то втихомолку оседает накипь ненавистей. Возьмите разные темпераменты, но объясните мне впечатление и ответ на него, звук и отзвук, процесс мне этот объясните — ученые невежды, которые не поставили его перед собой даже как Веттершрандта задачу, как искомый *x*! На отставку Веттершрандта, Аллара и Бера всего больше имел влияния учитель русской словесности — Запольский, которого не помню кто рекомендовал взамен Сенковскому. Этого ты уже знаешь. Высокая фигура с широкодлинным и глупым подбородком и маленькими карими глазами, выражавшими недопонятие чего-то. Почему я его любил сначала — необъяснимо. Он был положительно, филистрезно ограниченный человек. Он мне задавал темы для сочинений на слова вроде следующих: «Застава, пыль, Петровское, услужливый Карл Иванович, чай» и пр. А я его любил. Раз он как-то не мог приехать к нам обедать в день моего рожденья, — я расплакался, и он приехал. А через год после того я его возненавидел за тупоумие.

Мне было лет двенадцать. На место Бера Запольский рекомендовал Волкова. Этого ты также знаешь; оба, и Запольский и Волков, перешли от меня к тебе через Зоненберга. Волков***** преподавал умно начальную математику, несмотря на свою ограниченность. Но я года два при нем учился отвратительно, ненавидя математику в память Сенковского и Бера. Через два года по складу мысли я дошел до страсти к математике, и через 4 года Иван Федорыч благородно отказался от меня, потому что я пошел дальше его. Эта толстая, неуклюжая и даже не****** талантливая личность была очень благородна. Воздадим ему честь от души, Герцен! — Попав на

---

* *Далее зачеркнуто:* яростную
** сотоварищей (франц.).
*** желтуха (франц.).
**** *Далее зачеркнуто:* сильны
***** *Далее зачеркнуто:* знал
****** *Далее зачеркнуто:* умная

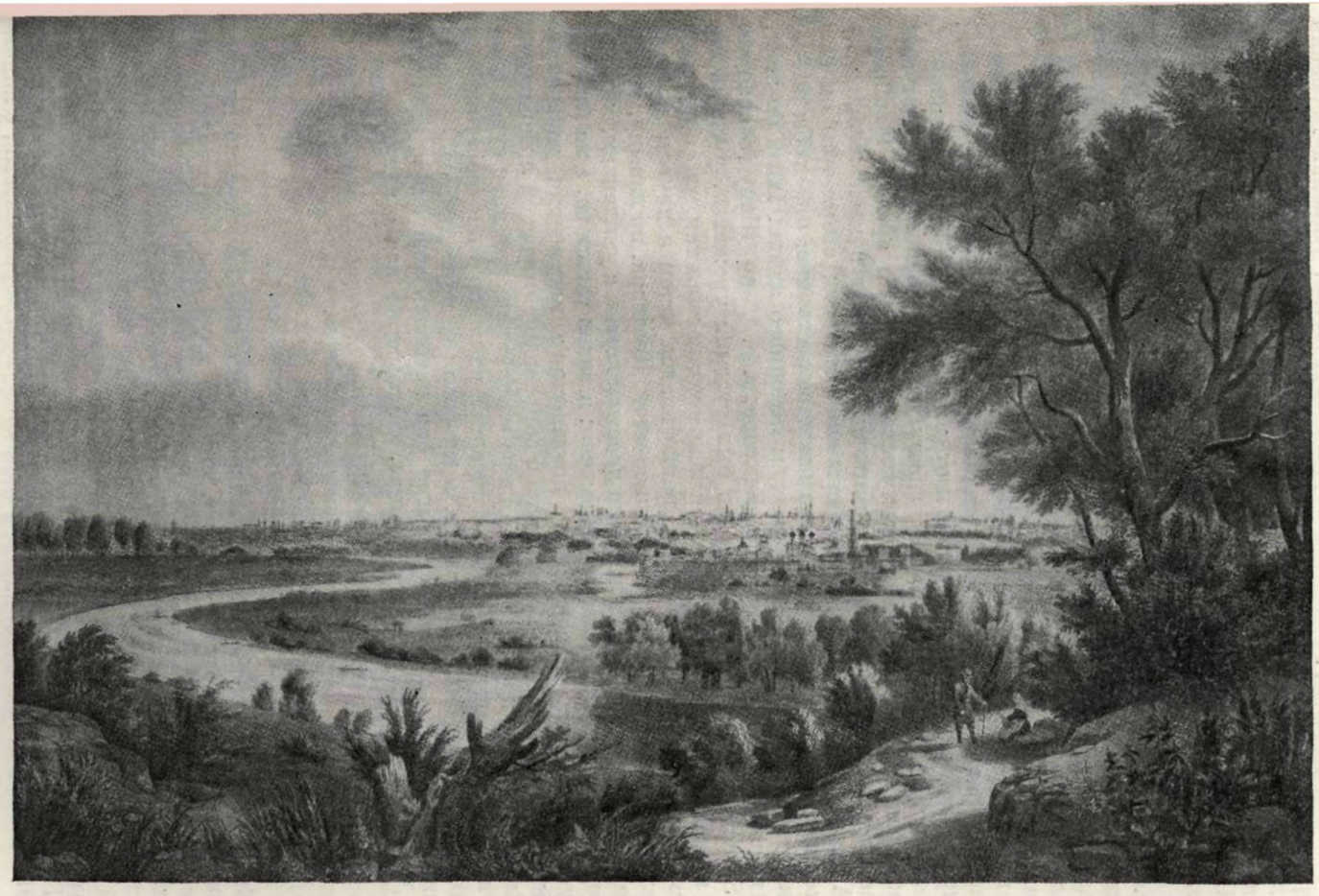
плодотворную почву, уже не без зачатков, он не столько выучил нас математике, сколько развил благородную, либеральную мысль. Помянем старика дружелюбно и с уважением. Теперь его, вероятно, уже нет на свете; но любовью к человеческой свободе мы ему много обязаны *. Да! Помянем его ** как благородного человека.

В то же время, помнится, также Запольский рекомендовал в немецкие учителя — Аллера. Но об этом дураке, которого ты не знал и который бессознательно имел на меня самое огромное и прекрасное влияние, я стану говорить после.

Перейду к другому предмету. Несмотря на ⟨...⟩ продолжавшиеся романтические влюбленности в разных кузин — Наденек, Катенек и пр.,— мне чего-то недоставало. Зоненберг помог этому недостатку, конечно сам не зная, что́ он во мне развивает. Гигиену жизни Зоненберг совершенно изменил; галстуха и ватошного сертука мне не надевал. Зоненберг водил меня гулять по целым часам; особенно когда отец купил Никольское, и я там целый день был на воздухе,— мой организм осилил золотушное начало ⟨...⟩ я окреп ⟨...⟩ В Москве, Зоненберг водил меня в Кремлевский сад. Тут я познакомился с Веревкиными, детьми коменданта, вследствие знакомства наших менторов, т. е. моего Зоненберга и их — Шульца, еще более глупого и совершенно грубого немца. Чего мне недоставало — я нашел — нашел дружбу. Страстно я привязался сперва к старшему — Николаю (впоследствии известному в литературе под именем Рахманного). Он был лет 14, т. е. почти 4 года старше меня. Он уже писал стихи, какие-то подражания думам Рылеева. И я стал писать стихи. Что такое было, не помню. Помню, что когда Запольский, с согласия моего отца, заставлял меня, не знаю почему, писать стихи, я ничего не мог написать, кроме бессмыслицы без ритма, и плакал над ними. А потихоньку писал какие-то элегии, которые тщательно скрывал ото всех; все они были посвящены Николаю Веревкину (в моей мысли, то есть — я и ему об них не говорил). Но Николай Веревкин обращался со мной, как юноша с ребенком — свысока, это меня, наконец, обидело, и я всю страсть дружбы перенес на его брата Федора. Федор был почти такое же кроткое существо, как и я. И он меня полюбил. До сих пор помню, как мы шли по Воробьевым горам через какой-то мостик и поддерживали друг друга, объясняясь в взаимной нежности. Я потому помню, что это была одна из самых горячих и светлых минут в моем детстве. Дружба эта была основана ни на чем, кроме *** потребности дружбы. И знаешь ли, что я скажу при этом?.. Помимо научных, политических и умственных симпатий, дружба — так же, как и любовь к женщине,— явление нервно-физиологическое, состоящее под условием движения ведомых и неведомых в науке элементов. В то же время ездил к нам по воскресеньям из пансиона (Болдырева) Федор Левин, сын соседа и приятеля моего отца; он был года три старше меня, конечно не глупей Веревкиных, а я к нему не привязался, дружбы между нами не было. А и Федор Левин имел на мою жизнь влияние: он каждое воскресенье привозил из пансиона тетради тогдашних запрещенных стихов Пушкина, Рылеева и других и переписывал для себя; а я у него переписывал для себя, и не только я — Зоненберг**** переписывал! Конечно, все это потихоньку от отца. Но таким образом мое нравственное воспитание действительно началось: любовь к стихам под влиянием Николая Веревкина, любовь к запрещенным стихам, т. е. к гражданской свободе, под влиянием Левина *****, и еще более под влиянием Анны Егоровны и Волкова — и страстное чувство дружбы

---

* *Далее зачеркнуто:* Сохраним
** *Далее зачеркнуто:* в нашей памяти
*** *Далее зачеркнуто:* жажды удовлетворить
**** *Далее зачеркнуто:* для меня
***** *Далее зачеркнуто:* последняя любовь, более уясненная



ВИД НА МОСКВУ С ВОРОБЬЕВЫХ ГОР

Раскрашенная литография с рисунка А. Кадоля, 1820-е гг.

Литературный музей, Москва

в детском союзе с Федором Веревкиным. Все задатки были положены, оставалось только сближение с тобою.

И где они все, друзья этого первого отрочества! Николай Веревкин умер рано; где Федор Веревкин — не знаю. Меньшие братья — Михайло и Александр — убиты на дуэли. Федор Левин — едва юноша — убит в турецкую кампанию, запальчиво врубившись в неприятеля. Omnes exeunt*.

Прежде, чем я стану говорить об Аллере, я упомяну об одном обстоятельстве, которое отрицательно подействовало на мою жизнь, оставив до сих пор неразвитыми и неудовлетворенными возникнувшие тогда стремления. После Mlle Noël музыке меня учил, кажется, наш крепостной капельмейстер — Василий Иванович Немвродов, впрочем человек далеко не бездарный. Но я скучал за уроком. Вдруг взяли мне в учители какого-то Эрнста, вскоре я перестал скучать, я стал учиться с любовью, которая переходила в страсть, я стал быстро успевать... Тут отец сказал мне, что так как я не люблю музыки и что полезнее больше учиться арифметике, то надо перестать учиться на фортепьяно. Я стоял, как ошеломленный; от привычной робости перед отцом и от стыда, что ведь сам же я говорил, что не люблю музыки, а вдруг скажу другое — я не протестовал; уроки прекратились, а страсть к музыке выросла, а средств к занятию не осталось. Это одно из самых томительных чувств в моей жизни ⟨...⟩

Аллер был дурак, это не подвержено сомнению; сверх того он был ростовщик, скряга, но, несмотря на нажитое состояние, он, чтобы ничего не терять из виду, оставался учителем немецкого языка. Язык он знал, как все его знали до грамматики Беккера, т. е. ** по Шаду (Schade um die Sprachlehre), тем больше что он был русский уроженец, русский немец в полном смысле слова; зато он и по-русски знал так, что переводил с немецкого на русский стихами, равно владея и тем и другим языком. К делу учителя он привык. Он читал со мной Шиллера, по навыку, конечно, не по сочувствию — указывая на *красоты поэзии* с умилением, которое было ему не к лицу. Но я этого не замечал; я видел Шиллера, а не Аллера. Струна философско-гражданского поэтического настроения зазвучала. Звук ее совпадал с звуком современной запрещенной русской литературы. Я был затронут за живое. Уроки Аллера становились для меня существенной пищей. Из Тидгевой Урании я почерпал наклонность к теоретическим гаданиям; скучна она, эта Урания, я пробовал ее перечитывать — невозможно, как и Юнговы ночи; а тогда она казалась мне чем-то великим, и я, погружаясь в смутное созерцание, задумывался над стихами.

Dennoch tief verhüllt und leise
Schreitet eine finstre Macht daher,
Für das Ohngefähr zu weise,
Für die Weisheit zu sehr ohngefähr***.

Сколько я ни доискивался их философского смысла, сколько ни восхищался с Аллером этими стихами, которых звук мне был приятен, но смысла я не доискался, а подготовлялось одно — потребность философского знания. Но вскоре эта потребность нашла гораздо больше пищи в философских письмах Шиллера. Шиллер для меня был всем — моей философией, моей гражданственностью, моей поэзией. Не немцам следовало бы праздновать ему столетие, а нам. До Гете я тогда не касался; почему Аллер избегал Гете, думал ли, что я мал для понимания его, или сам в нем ничего не понимал? Я думаю, и то и другое. Высокий, худой, черноволосый, с лицом

---

* Все уходят (лат.).

** *Далее зачеркнуто:* рутиною

*** «Все же под глубоким покровом неслышно подступает мрачная сила, для случайности слишком мудрая, для мудрости слишком случайная» (нем.).—Цитата из первой песни поэмы «Урания» Христофора-Августа Тидге (Tiedge, 1752—1841).

здоровым, но сухощавым и жестким, Аллер был бы славной фигурой для Гарпагона в сорок лет. Запольский рассказывал про него, что, когда он был студентом, Аллер из приличия говорил товарищам: «Приходите когда-нибудь ко мне чайку напиться». А когда они приходили, он встречал их, не зазывая к себе, у ворот — с вопросом: «Когда же ко мне-то?»

Каким образом он мне объяснял Шиллера? Каким образом он сделался главной пружиной моего вольнодумства, он, чиновник в душе, в приемах, во всем — даже в темнозеленом цвете фрака, застегнутого на 2 нижние пуговицы? Не знаю, — а ведь могут быть существа, у которых мысль с поэзией и жизнь идут как параллельные линии, никогда не встречаясь, но сосуществуя в одно время. Может, и Аллер принадлежал к таким людям. Он меня развил, но я его внутренно не любил.

Таким образом я подхожу к 2-му периоду моего отрочества. Я приношу в него совсем подготовленную канву слабостей и стремлений, немного окрепшее тело, но все же вялое, робость перед отцом, затаенную злобу, скрытность в хороших и дурных поступках, уже вызывавшую меня на немного усиленную склонность к романтической любви, сильную потребность нежной и горячей дружбы, смутные стремления к знанию, поэзии и гражданской свободе. Несмотря на темные стороны, я был подготовлен к встрече с тобою. Как ни розны наши организации, но путь наш был один; у тебя на этом пути было больше прямолинейной деятельности и мужества ⟨...⟩ Я шел беспечно зигзагами, около прямой линии, но все же в сторону не сворачивал. Все же, раз встретясь, наши жизни не могли не идти вместе; пусть же моя исповедь будет для * твоего «Былого и дум» дополнением до двух прямых **.

Глава 2

ОТ ЗНАКОМСТВА С ТОБОЮ

Может быть, в моем рассказе об отрочестве перепутаются случаи из окольных годов; они перепутаны в моей памяти, и я не ручаюсь за хронологическую*** верность. Знаю только, что в целости этой эпохи я не ошибусь; значение происшествий **** и колорит этого времени не изменится от перестановок, смежных до незначительности.

Перечитывая «Былое и думы», я не помню, в первый ли раз мы встретились в день смерти моей бабушки или немного прежде. Даже этот день, проведенный с тобою, помнится мне ***** очень смутно, вероятно потому, что я был сильно ****** озадачен смертью бабушки, и остальные впечатления выпотели *******. Многое соединилось, чтоб сделать для меня эту смерть поразительной. Поэтому я должен вернуться месяца за три назад. Бабушка умерла горячкой в феврале 1826 года, а я теперь вернусь к ноябрю 1825.

В ноябре умер император Александр. Первый эту весть привез к нам штальмейстер Юшков, муж моей двоюродной сестры (желчный, злобный,

---

* *Далее зачеркнуто:* твоих воспоминаний

** *Далее зачеркнуто:* Я охотно беру в нашей жизни вторую роль, потому что в моем организме есть минус, и я не могу идти по плюсу... Можно ли изменить что-нибудь в самом себе? Едва ли. Верность одним и тем же данным в детстве и в совершеннолетии — доказывает, что физиологическая необходимость проходит через всю жизнь, претворяя все встречное на пути в свою особенность.

*** *Далее зачеркнуто:* порядок

**** *Далее зачеркнуто:* в моей жизни

***** *Далее зачеркнуто:* слишком

****** *Далее зачеркнуто:* поражен

******* *Далее зачеркнуто:* Была первая болезнь и первый труп, который я видел, да и многое скопилось, важное и большое, но

сумасшедший человек и артист, скульптор животных из воску— с талантом, какого я подобного не знаю) *. У моего отца навернулись слезы, он был встревожен. Я понимаю, что Юшков был встревожен; его судьба зависела от Александра; Александр сделал его штальмейстером — Юшков обещал ему довести конские заводы до того, что каждая лошадь будет родиться статями по данной картинке! Но мой отец, живший барином в отставке, принимавший больше участия в важной обстановке светских приличий, чем в государственных и служебных вопросах,— с чего он плакал? Любил ли он Александра? Любил ли он вообще царя из религии к власти? Не знаю. Только его тревога на меня подействовала, я тоже огорчился и плакал.

Запольский велел мне написать стихи на смерть Александра и даже потом хвалил их и показывал моему отцу; но я сам сильно был ими недоволен и искал в себе тему, на которую мог бы написать хорошие стихи. Отец велел сшить мне черный фрак, потому что сын действительного статского советника и кавалера не мог не носить траур по государю. Я был очень рад черному фраку, он возбуждал во мне чувство щегольства, которое редко меня посещало, а все же посещало, и маленький червячок глупого тщеславия разве только теперь стал мне совершенно чуждым.

Бабушка тоже была встревожена; Зоненберг был сильно озабочен. Приезжавшие гости имели вид пасмурный. Многие из нашей дворни плакали. Мне было страшно: у меня толпились в голове — Александр, ‹18›12 год, деяния российских полководцев, которые я недавно читал **, «Певец в стане русских воинов», недавнее наводнение в Петербурге, смерть Александра — все это сливалось в смутном чувстве какого-то хода судеб, в страхе перед какой-то исторической огромностью.

Я слушал разговоры больших с напряженным любопытством ***, что-то представлялось мне темной загадкой, которую надо разрешить и **** пойти по своей избранной дороге. Время первого разрешения загадки ***** и своя дорога ****** пришли вслед за вестью о смерти Александра *******, с вестью о 14-м декабря.

На всех нашел ужас. Декабристов ругали, дерзость казалась неслыханной! Но Анна Егоровна не ругала их; Волков не ругал их. От смерти Александра моя мысль перешла******** к заговорщикам и постепенно вырабатывалась в их пользу. Отец мой, после первого ужаса, видимо избегал говорить об этом предмете, так что от него мало приходилось слышать даже об арестах того времени; зато как же усердно ловилось каждое слово, кем другим сказанное. Кроме имени Рылеева, которого стихи я знал наизусть, имена Евгения Оболенского и Кашкина часто повторялись, вследствие близости Елизаветы Евгеньевны ********* с нашим домом и Анной Егоровной. Да еще Аллер мне сказывал, что Владимир Одоевский, товарищ Кюхельбекера по изданию «Мнемозины», бывший его ученик, держит ********** наготове шубу и теплую шапку, потому что ждет, что его не сегодня-завтра возьмут **********.

Спустя месяц около, навестила бабушку старуха Челищева, которая произносила *чек* вместо человек. Я случайно был в гостиной. Старуха долго

---

* *Далее зачеркнуто:* Отец мой плакал

** *Далее зачеркнуто:* стихи Николая Веревкина и Фигнера

*** *Далее зачеркнуто:* и страхом

**** *Далее зачеркнуто:* пойти по своей, пойти дорогой, соответствующей внутреннему запросу.

***** *Далее зачеркнуто:* было близко

****** *Далее зачеркнуто:* скоро забрезжила вдалеке. Эти

******* *Далее зачеркнуто:* пришла

******** *Далее зачеркнуто:* в пользу

********* *Далее зачеркнуто:* Кашкиной

********** *Далее зачеркнуто:* приготовил

*********** *Далее зачеркнуто:* Через

толковала бабушке, что все эти преследуемые молодые люди — не бунтовщики и не изменники, а истинные *приверженцы* отечества. Как это вошло в голову старухе — не знаю; у нее из родни едва ли кто был взят. Но ее слова произвели сильное впечатление на бабушку.

Вскоре после этого посещения у бабушки сделалась горячка, и она в бреду только и повторяла слова: «приверженцы, приверженцы, настоящие приверженцы». Меня приводили * к больной раз или два в день. Она глядела на меня своим одним глазом и всякий раз говорила: «Да! Они настоящие приверженцы, приверженцы». Я понимал, о ком и о чем она говорила. Этих слов, ее лица и голоса я до сих пор не забыл, а тогда они меня преследовали. Мне все не верилось, что бабушка умрет, я не видал мертвых и не знал, как умирают. Но раз отец вдруг остановил меня середь залы, обнял и сказал: «Твоя бабушка умерла» и горько** заплакал. Я остолбенел; я помню теперь, как будто это было вчера, как мне вдруг стало холодно, потом я начал плакать, плакать, и в ушах у меня отдавалось: «приверженцы, приверженцы, настоящие приверженцы...».

Бабушку положили на стол в большой зале. Из моей комнаты не было иного выхода как через залу, и мне хотелось часто проходить, чтобы взглянуть на бабушку. Ее желто-бледное лицо не пугало меня, мне хотелось на него смотреть и плакать. Вероятно поэтому отец заблагорассудил отправить меня куда-нибудь на целый день, и Зоненберг привез меня к тебе. Но, повторяю, это обстоятельство утратилось у меня из памяти. У нашего подъезда стояла толпа купцов с парчами, они громко бранились, мне показалась ужасно дика и гадка эта первая встреча с конкуренцией или, пожалуй, с родом человеческим. Но когда был вынос, и я в последний раз подошел к бабушке и поцеловал ее в холодный лоб, мне стало невыносимо горько, что-то похожее на отчаяние.

Пригодился же мой черный фрак, сшитый в честь императора Александра! Но его обшили белыми плерезами, и этот наряд на себе и на других наводил на меня пущее уныние. Помню, как я шел за гробом в Донской монастырь, как можжевельник был разбросан по всей рыхло-снежной дороге от Никитских ворот до приходской церкви Вознесенья, а от нее до монастыря; как отпевали у Вознесенья и я смотрел на мою мертвую бабушку, как ей надели на голову какую-то глупую кайму с печатными образами и в руки всунули печатный лист (паспорт на тот свет) и полили ее маслом из чашки, как гроб заколотили гвоздями, и я уже не видел моей бабушки! Помню, как Доможиров в зелено-голубом казакине с саблей безумно суетился, как какой-то безумный любитель похорон, Левашев, дремал на клиросе, как я удивился, что люди, которые несли факелы, были будочники, как гроб стоял в первом отделе монастырской церкви, как монахи пели***, как гроб опустили в землю и стали бросать песок в могилу, как я потом поехал домой **** с сестрой и не помню кем еще — и мне было пусто и тяжело...

Должно быть, впечатление первой смерти, как всего первого, сильнее — после привыкаешь. Таким образом, смерть моей другой бабушки, которая умерла через год, я почти не помню, а любил я ее гораздо больше. То есть я не помню похорон, не помню, как стояло мертвое тело, и только по слуху знаю, что хоронили ее тоже в Донском монастыре, и знаю, что я был на похоронах. Но зато я помню одно***** обстоятельство во время ее болезни. Она велела меня позвать и оставить с ней одною. Она взяла меня за руку

---

* *Далее зачеркнуто:* в комнату
** *Далее зачеркнуто:* зарыдал.
*** *Далее зачеркнуто:* и кадили
**** *Далее зачеркнуто:* с другой бабушкой
***** *Далее зачеркнуто:* происшествие

и долго, тихо смотрела мне в глаза: «Я умру, — сказала она, — не плачь, это уж так надо. Я тебя больше всех любила и тебе совершенно верю (мне было 14 лет!). Скажи отцу мою последнюю волю, я хочу, чтобы он дал отпускную Степану Булатову *. Ты скажи ему это, я от тебя этого требую». Я обещался. Она нагнула меня к себе и тихо поцеловала, но не плакала. Я старался не плакать, я благоговел перед спокойствием умирающей.

После этого я не помню, как и скоро ли она умерла. Помню только, что вскоре я исполнил ее поручение и сказал отцу ее волю. Почему он ее не исполнил, я не понимаю. Какая корысть ему была в этом человеке, который был плут и меня после предал — не понимаю. Я напоминал отцу еще раз после, во время моей ссылки; он не успел. Уже я отпустил Булатова на волю тотчас после смерти отца. Но об этом позже.

Не помню, прежде ли смерти первой бабушки или вскоре после, провозили через Москву тело Александра I; но помню, что я смотрел на процессию с галереи или подмостков, устроенных на дворе Обольяниновского дома для почетных зрителей, между которыми считался и мой отец с семейством. Долго мы ждали траурного поезда, и, наконец, торжественная процессия дефилировала и показалась мне совсем не торжественной, так ее исказили люди, участвовавшие в ней. Все в ней было расположено, как следует, по чинам, кто из господ дворян шел впереди, кто сзади и кто за кем — я помню печатную роспись. Катафалк — парчевой параллелограмм на позолоченных столбах с белыми страусовыми перьями наверху не имел ничего поражающего печальным, траурным великолепием.

Господа дворяне (народ был только зрителем вдоль улицы, я не помню** народной толпы за гробом), господа дворяне, шедшие спереди и сзади и несшие какие-то регалии, были все больше или меньше выпивши, с холоду, как после говорили. Поэтому говор доходил до гама, и я помню, что как я ни был молод, а уже во мне оскорбилось чувство простого человеческого приличия. Помню в процессии безобразную глупую фигуру нашего общего знакомого ростовщика*** Василья Абрамовича Насакина, который тоже был выпивши. Все проходящие здоровались с знакомыми на Обольяниновской галерее, громко, с какой-то кабацкой наглостью. Словом, я из зрелища не вынес ни малейшего уважения ни к царскому погребению, ни к публике, его сопровождавшей. Идея царского величия, идея важности важных людей и вещей в окружающем мире — сильно поколебалась в **** отроческом уме. Стало и тут не было настоящей скорби, не было важной утраты; тут было что-то равнодушное, около чего люди собрались с неуважением, что-то вроде забавы. С чего же недавно все плакали и тревожились? Мне было дико, я оставался в раздумье и недоумении *****.

---

* *Далее зачеркнуто:* который мне хорошо служил

** *Далее зачеркнуто:* провожающей

*** *Далее зачеркнуто:* полковника

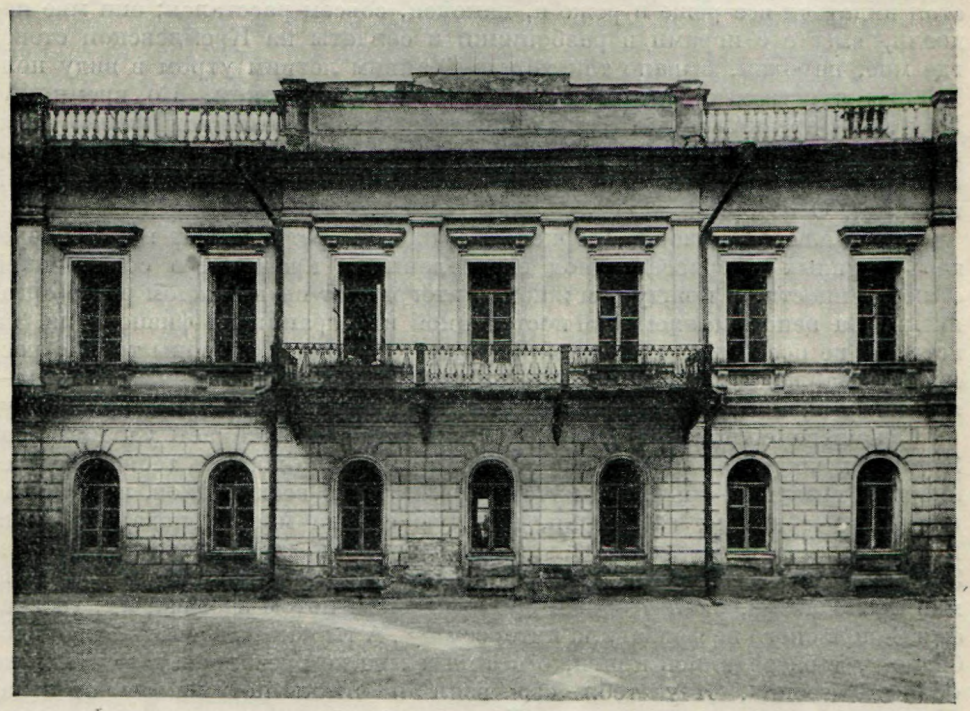
**** *Далее зачеркнуто:* детском

***** Кстати, мимоходом, об Обольянинове. Петр Крисанфович Обольянинов, высокий сутуловатый старик, смотревший на всех грубо, с требованием достодолжного почтения, 20 или 30 лет губернский предводитель московского дворянства, временщик, разбойн<ик> и палач павловского царствования, вечно в коричневом фраке со звездами... я его боялся и чувствовал к нему робкое уважение, которое невольно перенимал у моего отца. С чего мой отец уважал его?

Мой отец был добрый человек, а это был злодей, воображавший себя государственным дельцом. С чего самый независимый из стариков — старый Тучков ездил к нему? Что могло быть между ними общего? Оттого что человек был четыре года одним из гнусных любимцев сумасшедшего императора — московское дворянство считало долгом 30 лет толпиться в его гостиной и передней? Не только подобострастие перед человеком, который был бы *теперь* в силе, а подобострастие перед человеком, потому что он когда-то был в силе — каким же холопством разрасталось благородное российское дворянство! И сколько гнилой крови передалось из поколения в поколение от московского боярства до вершины дворянского блеска при Екатерине и от этой вершины под гору до наших времен. Да! надо было придти двенадцатому году, повыпу-

Но перейдем от мертвых к молодой возникающей жизни.

Встреча моя с тобой, Герцен, была в самый разгар моей дружбы с Веревкиными. От этого я с тобой сближался гораздо туже и дольше, чем бы естественно следовало. Меня тянуло к тебе; самые разговоры наши больше отвечали на все во мне зарождавшиеся запросы, чем разговоры с Веревкиными; но сближение с тобою казалось мне какой-то изменою *той дружбе*, и я колебался. Я совершенно был в положении человека, который разлюбил одну женщину, и жаль ему ее бросать, а он уже полюбил другую, и мучительно, со страхом и угрызениями совести отдается новой



ДОМ В БОЛЬШОМ ВЛАСЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ В МОСКВЕ. ЗДЕСЬ В ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ ЖИЛ ГЕРЦЕН

Об этом доме говорит Огарев в стихотворении «Старый дом», включенном Герценом в «Былое и думы»

Фотография 1912 г.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

страсти. Много я выстрадал внутреннего укора, прежде чем решился назвать тебя другом.

Решение мое пришло очень смешно. Запольский, который был уже и твоим учителем, дал и тебе и мне читать Карамзина. Нам очень понравилось: «Цветок на гроб моего Агатона». Ты мне сказал — не то, чтоб очень развязно: «Вам бы надо завести своего Агатона». Я не понял, и думал, что

стить гниль и поколебать в обычай сложившееся дворянское холопство. Видно и двенадцатого года было мало; от этого нашему высшему сословию так трудно сближаться с народом, который может быть запуганным рабом, но у которого в жилах добровольно-холопской крови нет. Холопам нужна нисходящая лестница холопства; от этого, еще больше чем из выгод, большинство дворянства не может добровольно отказаться от рабовладения; и только меньшинство болезненно, мучительно стремится перейти в народ, меньшинство, и теперь такое же малое, как оно было во время 14 декабря. О история! — *Примеч. Огарева.*

ты * советуешь мне купить сочинения Карамзина, которых у меня в собственности не было. Ты захохотал. «Нет, вы меня не поняли,— сказал ты,— я говорю о друге».

Я сконфузился, покраснел до ушей от своей глупости и не отвечал. Долго после я думал о «моем Агатоне», думал, что тебе хочется, чтоб я так назвал тебя; меня мучила робость и неодолимое влечение дать тебе это имя, которое, пожалуй, и забавно, но тогда вовсе не казалось смешным. Моя нерешительность сделала то, что дружба страстная, деятельная, ищущая ответа на все неясные стремления к мысли и подвигу, установилась между нами прежде, чем мы сказали друг другу *ты*. С Веревкиными я стал видаться все реже и реже и, наконец, совсем расстался; они мне надоели, вместе с играми в разбойники и солдаты на Кремлевской стене, где мне, впрочем, бывало так хорошо ранним летним утром в виду пол-Москвы чувствовать себя каким-то военным человеком. Во время оно Николай Веревкин писал думу о Фигнере, двенадцатый год крепко отзывался во мне, и я с какой-то гордостью ходил по воскресеньям с детьми и стариком Веревкиным на обычный комендантский развод на Кремлевской площади. О история!

Груба еще физиология, Герцен! Наука не берет в расчет всю текучую цепь нервных потрясений под впечатлениями предания и современной общественности, а между тем жизнь интегрирует их в каждом росте организма. За непониманием этой постепенной интеграции ни физиология, ни история не поставили еще своей формулы, и с одной стороны только рассеянные наблюдения, а с другой — натянутые теории по крупным данным — и обе науки, которые должны составлять одно целое, хромают вразбивку.

С нашего сближения моя страсть к чтению начинает удваиваться. Я увидел, что ты читал гораздо больше и мне надо догнать тебя. Мое учение шло школьно, обычным путем. Грамматики всех языков, история по пошлым учебникам; география, которую сперва мне преподавала Анна Егоровна по Кряжеву, сама не зная ни географии, ни ее значения, а потом Запольский по своей книжечке. Я** учился сначала только потому, что *она* мне преподавала, знал уроки в срочный час и потом забывал их; география Запольского не прибавила интересу***. А ты как-то воспитывался свободно, у тебя водились книги, о которых мне не грезилось. Ты читал уже «Contrat social». Я у тебя его взял и читал потихоньку от отца. Новая пища уму представилась. Диапазон жизни повысился, и все соединялось к тому, чтоб настраивать его выше и выше. Шиллер, русская литература декабристов, их гибель, рассказы Анны Егоровны о Якубовиче, коронация уже ненавистного императора — и всю эту эпоху мы с тобой переживали вместе, постоянно подталкивая друг друга в развитии и стремлении к одной и той же, великой ****, для нас еще неясной цели.

У тебя было две комнатки, окнами в противоположные стороны. В одной мы сидели по вечерам *****. Прямо в окно светила звезда, которую мы назвали нашею; я на нее глядел ****** с детской мистической любовью. В другой комнатке был столик, на котором ты писал, приготовлял уроки. Бушо я уже не застал у тебя; Ивана Евдокимовича и рыжевласого попа помню. Но Запольский послужил нам союзным звеном *******. Нам приходилось приготовлять почти те же уроки и читать одни и те же книги.

---

* *Далее зачеркнуто:* говоришь

** *Далее зачеркнуто:* географии

*** *Далее зачеркнуто:* Действительное воспитание вертелось около Шиллера и немецкой литературы, кроме Гете.

**** *Далее зачеркнуто:* хотя и

***** *Далее зачеркнуто:* мы отыскали

****** *Далее зачеркнуто:* и встречал ее

******* *Далее зачеркнуто:* человеком

Помню я, как ты писал стихи, по приказанию Запольского, и взял* мифологическую тему. Помню даже один стих:

И Феста Дия проклиная,

над которым мы оба смеялись. В то же время я написал стихи на прощанье с другом. Стихи были гладки, Запольский торжествовал, а я усиленно принялся писать элегии, которые никому, даже тебе, не показывал, и наклонность к скрытности с тем вместе развивалась.

Но я не за тем начал говорить о твоей маленькой учебной комнатке. Помнишь ли, как мы раз в ней сидели и толковали по-своему о декабристах. Нам казалось, что Константин был действительно обманут, что он несравненно лучше Николая, что он человек свободы, и тебе пришла мысль, что нам надо присягнуть ему и пожертвовать всем для его восстановления. Мы взяли листок бумаги, написали присягу и подписались. Перо, которым мы подписались, хранилось у кого-то из нас, как святыня. Долго хранилось это перо; мне помнится, что через несколько лет, уже юношами, мы его бросили не без сожаления о прошедшем детстве.

Коронация ненавистного человека меня сильно охватила военщиной. Разные родственники в мундирах толпились у бабушки Баскаковой и долею у нас в доме. Меня возили на парады. Артиллерийский мундир меня привлекал, но верх надо всем взяли уланы. Я грезил себя в уланском мундире, похожим на ротмистра Петухова, которого я видел издали.

А когда коронация кончилась и полки стали расходиться и я присутствовал при всех отправках в поход, блеск мундиров, туча красивых лошадей, военная музыка — все это меня совсем с ума свело. Я пел наизусть все марши и жаждал быть офицером. Около того же времени меня стали учить верховой езде, и я** только думал о лошадях и эполетах. Военное настроение пронеслось быстро, но не бесследно; гораздо позже, середь полного совершеннолетия, во все трудные минуты жизни меня охватывала тоска по военной жизни и грезился в ней выход из личной скорби и даже средство политического движения.

Если очень всмотреться в этот факт, то нельзя не распознать, что в нем являлось не новое впечатление и увлечение, а интеграция прошлого, сохраненное и видоизмененное впечатление военных картин из времени коронации.

Зима*** прошла для меня в усиленной внутренней работе и развеяла страсть к военщине. Кроме твоего влияния или под твоим влиянием**** самодеятельность, потребность высказывать свое умственное развитие явилась у меня от очень пустого случая. Французский учитель Кюри, заступивший место Аллера, долго возился около меня, не понимая, как вынудить у меня интерес к его урокам. Читал он со мной Расина. Расин для меня не существовал возле Шиллера. Задавал он мне переводы, я их делал правильно, но лениво; задавал он мне темы для сочинений, я их исполнял крайне глупо. А между тем ему во мне что-то нравилось, и он хлопотал обо мне с любовью, которую я инстинктивно чувствовал. Раз он мне сказал: «Сочиняйте, что хотите, я не стану вам задавать темы, пишите, что вздумаете». Какая-то электрическая искра пробежала по мне. Я к каждому уроку писал, сколько успевал. Первой темой я выбрал чувство дружбы. Кюри был в восторге от двух страничек, мной написанных. Это меня подстрекнуло. Чего уже я не писал ему потом! Всякая мысль, которая приходила в голову, записывалась в тетрадку французских сочинений. От «Contrat social» я перешел к Монтескье, с увлечением читал

* *Далее зачеркнуто:* какую-то
** *Далее зачеркнуто:* полдня
*** *Далее зачеркнуто:* после коронации
**** *Далее зачеркнуто:* у меня явилась

«Décadence» и «Esprit des lois», которые, вероятно, не понимал или понимал вкривь и вкось, и писал для Кюри статейки об английской конституции.

Запольский и тебе и мне страшно надоел. Не помню, кто у тебя заменил его. Мне Волков доставил Василия Игнатьевича Белякова, натуралиста, учителя в гимназии.

Натуралист, человек очень умный, первый выучил меня русской грамоте и так же, как Кюри, дал мне волю запруживать его моими сочинениями, но — противуречие, которое часто доводится встречать — натуралист сбил меня с толку и внес в мои материалистические тенденции (я читал Локка) супернатурализм*. Я с Беляковым часы споривал против врожденных идей; он мне принес три тома «Des idées innées»**, не помню чьего творения,— и я сильно поколебался. Помню вечно это время, как я ночью вставал потихоньку — Зоненберга перевели из моей спальни в темные антресоли, и я спал на свободе — вставал и писал какие-то философские статьи, которые порождали бесконечные споры с Беляковым, но между тем ставили нас в отношения чрезвычайно дружеские, и я к нему был искренне привязан. После я узнал, что он был человек довольно хитрый и корыстный, это меня сильно огорчило.

Но с этого времени не оставалось над мной ни одного влияния, которое бы перечило моим политическим тенденциям, и они становились на первый план. Беляков, если не по характеру, то по уму сочувствовал им. Волков по искреннему убеждению. Аллер, хотя и преподавал мне логику по Кизеветтеру, но по Шиллеру принужден был сочувствовать политическим тенденциям. Анна Егоровна наивно-детски разделяла со мной весь либеральный жар и*** любовь к людям 14 декабря. Ты—но об этом уже и говорить нечего. Отец мой не замечал, потому что я от него скрывался; Зоненберг не понимал, потому что был глуп. Таким образом мои поэтико-политико-философские тенденции разрастались на воле. В это же время я начал страстно заниматься математикой, и Волков стал больше и больше обращаться со мной почти как с юношей, которого он от души любил, чем как с ребенком.

Хорошо было это время первого развития, Герцен! Может, я слишком долго останавливаюсь на нем, но ведь тебе это не скучно, а мне несказанно весело! Когда я вдумываюсь в него — мне будто становится так же легко дышать, как тогда, дышать во всю молодую свежую грудь—чистым весенним воздухом. А тут подошел день и прогулки на Воробьевых горах, день сознания сильной дружбы, день сознания своей дороги... Сколько надежд, сколько сил—чёрт знает. Это так хорошо было, что плакать хочется <...>

Что-то уже я не припомню — в 1827 или <18>28 году моя сестра вышла замуж. Мои отношения к сестре были очень странны. Она лет 6 старше меня. Она мне говорила «ты», я ей говорил «вы». Я к ней имел уважение привычки, она смотрела на меня свысока, как на ребенка. Тем не менее, она мне поверяла свои бальные тайны. Я знал, кто за ней волочится, кто ей нравится. Это был единственный пункт, на котором мы сближались и который установлял между нами дружбу, не имевшую никаких иных корней, потому что мои интересы были ей совершенно чужды. Должность поверенного молодой девушки, которой непременно хотелось влюбиться,

* Раз меня привезли на светлое христово воскресенье к заутрене в домовую церковь Обольянинова, это был обычай. Там возле меня стоял Васильчиков, улан, воспитанник Кюри, слегка замешанный по 14 декабря. Заутреня кончилась, Васильчиков, вздохнувши от устали, с пренебрежением и ненавистью в голосе сказал мне: «Finita la comedia!» <комедия окончена (итал.)> Я так это близко принял к сердцу, и меня так охватила атеистическая тенденция,— что я вот это помню до сих пор.— *Примеч. Огарева.*

** «Врожденные идеи» (франц.).

*** *Далее зачеркнуто:* всю преданность

«ПОХИЩЕНИЕ ПРОЗЕРПИНЫ» СКУЛЬПТУРНАЯ ГРУППА В КУНЦЕВСКОМ ПАРКЕ
Фотография
Исторический музей, Москва

которая искала своего суженого и ни на ком не могла остановиться, сильно действовала на мою природную влюбчивость. Я искал идеальной любви ⟨...⟩ Светское искание влюбиться моей сестры принимало во мне колорит шиллеровских героев. Но предмета у меня в эту эпоху не было. Склонность к Наденьке Колокольцевой прошла, потому что и она, как моя сестра, трактовала меня свысока.

Наконец сестра поверила мне тайну, что у нее жених. Отец долго не решался выдать ее за Плаутина, набирал о нем справки. Мой двоюродный брат Григорий Дмитриевич Колокольцев, бывший лейб-гусар и однополчанин Плаутина, одобрил его, и отец согласился.

Увы! Григорий Колокольцев был тогда уже не гусаром, а жандармом. В жандармы он пошел из боязни, потому что был заподозрен участником в обществе 14 декабря и надеялся поступлением в тайную полицию стереть преследование, а между тем при случае спасать преследуемую молодежь. Я верил этой полусказке, потому что любил его. Приехав к нам в отпуск, он обращался со мной дружески и казался мне человеком затаенно либеральным. Я чуть не создал себе из него героя. Но возвращаюсь к Плаутину.

Плаутин не произвел на меня выгодного впечатления. Мне в нем что-то казалось неискренним. Впрочем, я видел, что сестра моя счастлива и более не беспокоился. Вся кутерьма в доме, пока он был женихом, отдаляла меня от всех * кроме Анны Егоровны ⟨...⟩ Я с ужасом предчувствовал, что скоро ее не будет в доме, сестре уже не нужна гувернантка, уедет моя ласковая англичанка, и я останусь в доме глубоко одинок, чужой в своей

---

* *Далее зачеркнуто:* и сблизила

семье *. Наконец и свадьба была справлена в домовой церкви Обольянинова. Ненавистный Петр Крисанфович был посаженным отцом. Плаутин был одет во всем гусарском наряде, но я уже смотрел на этот наряд с негодованием; мои интересы изменились, я видел в офицерстве поддержку деспотизма — и решил не вступать в военную службу, как ни привлекателен уланский мундир.

Женившись, Плаутин поселился у нас ** в доме. Он, напротив того, старался увлечь меня в военную службу. Я молчал и таился от него. Ему хотелось, чтоб отец послал меня с ним в Царское село и я под его руководством поступил бы в гусары. Дело дошло до того, что раз отец позвал меня в кабинет к Плаутину и спросил, хочу ли я ехать с сестрой в Царское село и готовиться к военной службе. Я сказал, что ни за что на свете не пойду в военную службу, а только в гражданскую. Мне втайне мерещилась дипломатическая карьера и заговор против Николая***, по методе маркиза Бедемара, которого историю я в то время читал с поглощающей страстью. Плаутин взбесился, побледнел и сказал, что что же меня слушать — я сам не знаю, чего хочу. Но мой отец обрадовался до слез; он боялся отпустить меня на убой. Это повернуло меня на большую нежность к отцу. Из этой нежности вышло забавное обстоятельство. Мы с тобой говорили о необходимости составить литературный круг, нечто вроде своей академии. Как же было скрыть такое решение, как приступить к начинанию такого дела без согласия и помощи отца, который так ласково показал мне, что входит в мои интересы. Я ему объявил о проекте нашей академии. Отец рассердился, сказал, что это ведет к политическим обществам, погрозив разлучить меня с тобою. Я сконфузился и притаился. Этим надолго была пресечена всякая откровенность с моей стороны и близость с отцом. Я понял, что мне дома только остается совершенствовать мою склонность к молчанию и скрытности. Я чувствовал себя чужим, мне было стыдно моего увлечения, было досадно и больно. Это была одна из моих самых тяжелых минут в тогдашней жизни.

Плаутин уехал на время в Кременчуг, ради ремонтерства. Анна Егоровна перешла гувернанткой к Пашковым. Я остался один, между отцом и Зоненбергом. У меня дома ничего не было близкого ****; моя жизнь была в свиданьях с тобою.

Но сестра через несколько месяцев воротилась. Их приезд ***** не радовал меня. Мы все были друг другу чужие.

Сестра взяла к себе жить нашу родственницу (из небогатых) — Машеньку Наумову. Я сначала не обращал на нее внимания, она была года четыре старше меня. Одно только я любил — это ее голос. Она пела удивительно. Я заслушивался, но не сближался с ней.

В то время случилось действительно несчастье; с отцом моим был удар******; у него отнялись рука и нога. Он долгое время лежал почти без языка. Я был перепуган, огорчен, но — странное дело — я смутно помню это время. Неужели впечатление скользнуло по мне не сильно, не врезалось мне в память. Неужели любовь к отцу была у меня больше делом внешнего долга, натянутость привычки — и только? Если между нами не было умственного сочувствия, сочувствия направления, то все же была какая-то нежность отношений. Или этого недостаточно? Да, видно, так. Видно, привычная робость, скорее подлая, чем хорошая, и привычная привязанность

---

* *Далее зачеркнуто:* до глубины

** *Далее зачеркнуто:* перешел к нам

*** *Далее зачеркнуто:* в духе

**** *Далее зачеркнуто:* ты мне оставался один

***** *Далее зачеркнуто:* не принес ничего привлекающего в мое домашнее одиночество.

****** *Далее зачеркнуто:* он остался без

не в силах создать семейного единства, и то отношение, на котором вертится все гражданское устройство, отношение отца к детям — только постоянное насилование друг друга во имя этого гражданского устройства, во имя семьи и собственности, и составляет одну из тех призрачных связей, на которых держится историческое безумие, взаимно мешая и портя жизнь двум поколениям — отцам и детям и повторяя свою ложь в продолжении веков неперерываемой цепью. Впоследствии к чувству подлой робости и привычной нежности у меня примешалось чувство сострадания к больному отцу.

А все же старик отжил век без истинной преданности сына и, может, чувствовал это мучительно; а я провел молодость без истинного, на жизнь благословляющего влияния отца. Есть ли исключения в этом порядке

КУНЦЕВО. ПАРК
Фотография
Литературный музей, Москва

вещей? Может быть — не знаю! Республиканцу ⟨17⟩89 года вероятно было так же тяжело видеть в сыне буржуа тридцатых годов, как моему отцу, шедшему путем чинопочитания, тяжело было видеть в сыне революционера.

С которой бы стороны ни стояло благородство человеческое — рознь все равно существует*. В самом физиологическом росте одного поколения и умирании другого мы не можем не видеть противуположного движения; как бы сложны ни были его данные или составные силы, все же окончательная, отвлеченная формула такого механизма сведется на то, что две противуположно движущиеся** силы или, столкнувшись, ушибутся, или скользнув мимо или коснувшись, разлетятся в разные концы друг от друга ***. В самом деле — где же тут взаимность единства?

---

* *Далее зачеркнуто:* Взглянувши на вещи по существу,

** *Далее зачеркнуто:* предметы

*** *Далее зачеркнуто:* проскользнув мимо, разойдутся в разные концы. Где же тут место для единства? Как же тут в самом деле соединиться в одно направ-

В это время я помню один мерзкий поступок с моей стороны, он до того возмутителен, что врезался мне в память сильнее всей остальной обстановки. Мой отец еще лежал больной, не вставая с постели. За несколько времени до его удара меня стали посылать учиться танцовать к танцмейстеру Флагге. У него училось несколько молодых людей и барышен. Одна мне, мимоходом, очень нравилась. Отказаться от урока, несмотря на болезнь отца, мне не хотелось. В назначенный час я сказал Зоненбергу: «Отчего нам не ехать на урок?» (Зоненберг обычно ездил со мной.) Зоненберг не отклонил меня от этой бессердечной неприличности, почему — не знаю. Вдобавок я заметил, что Плаутину хотелось меня не пустить авторитетом. Следственно решено,— мы поехали. Когда мы воротились, Плаутин мне заметил, что это неприлично и что я без спросу его не должен бы ездить. Я не отвечал, но с самодовольствием посмотрел на него, чтоб он понял, что он мне не хозяин. На другой день мне было страшно стыдно перед самим собою и за мою бессердечность и за мелочность перед Плаутиным, который в данном случае был прав. Я долго терзался угрызением совести и, помнится, вовсе перестал ездить к Флагге. Я потому не мог пропустить этого случая, что подобная преданность страстям и капризам играет роль через всю мою жизнь. Отец мой понемногу оправился настолько, что с помощью двух людей ходил или, лучше, двигался по комнате.

Мы на лето поехали жить в Кунцево.

Дай опять забыть темные и мелкие стороны жизни! Дай опять вздохнуть чистым, весенним воздухом! Кунцево осталось у меня в памяти, как блаженный сон. И как же оно хорошо было в то время с своим большим обветшалым домом и садом, скорее похожим на огромный лес, чем на сад. От дома широким просеком круто спускался берег Москвы-реки, с обеих сторон просеки шел лес, густой, зеленый, свежий, заросший кустами между вековых деревьев всех разнообразных пород чернолесья. За рекой зеленела и синелась бесконечная луговая равнина. Там заходило солнце ясно и мирно. По лесу у реки шла дорожка, с одной стороны до проклятого места, с другой выходила верхом берега до Гусарева.

Тонули шелесты, и каждый звук иль шум
В широком ропоте лесного колыханья...

Сколько студеных ключей было в темной зелени! Как хорошо было на все это смотреть пятнадцатилетнему отроку, который блаженствовал в первом действительном * чувстве любви **.

Да! я влюбился в Машеньку Наумову со всей чистотой сердца и со всем колоритом летней ночи, как оно только может быть в пятнадцать лет. Жизнь в небольшом флигеле в Кунцевском саду поневоле заставляла видеться часто. Из моей маленькой учебной комнаты мне было слышно, как она пела; я часто переставал работать и слушал. Бедной Машеньке нужна была чья-нибудь симпатия. Сестра моя была занята своим мужем и своей беременностью, она не могла быть ей подругой. Больной отец мой хлопотал о своем медленном выздоровлении, переносил болезнь мужественно и спокойно, но мог относиться только благосклонно-равнодушно к молоденькой родственнице. Плаутин обращался с Машенькой неприятно насмешливо, как parvenu ***, доженившийся до большого состояния, с бедной девушкой. Машенька невольно искала во мне развлечения, опоры, сочувствия,— почти сострадания в своей одинокой молодой жизни, уни-

---

ление... Разве только тот случай, когда один из движущихся предметов так силен, что, встретясь...

* *Далее зачеркнуто:* сновидении

** *Далее зачеркнуто:* в первом сновидении

*** выскочка (франц.).

женной до жалкой роли какой-то нахлебницы. Она стала мне рассказывать о своем детстве, о воспитании в Смольном монастыре, о своей любви к кому-то, кто ее холодно и плоско разлюбил. Ее доверчивость сближала нас. Помню, как раз приехал к нам ее отец, маленький, толстый, пьяненький и глуповатый старичок. Над ним обыкновенно все трунили. Даже мой отец забавлялся над ним. Плаутин обращался с ним с насмешкой, наглой до нахальства. Я видел, как Машенька страдала. Я старался отвлечь бедного старика от * людской насмешки, которой он не понимал и занимал его, как умел, разговаривая и водя по саду подальше от других. Машенька поняла это, на другой день она просто пришла благодарить меня со слезами на глазах. С тех пор наше сближение пошло crescendo **. Машенька вставала в шестом часу утра, чтоб ходить гулять со мной. Утренняя прогулка был заведена уже давно Зоненбергом и продолжалась неизменно. Конечно, Зоненберг сопутствовал нам на прогулках, конечно я его за это только пуще ненавидел; но долею мы его не замечали. Я вел ее под-руку. Руки наши встречались подее шалью; близко мы прижимались друг к другу, голос дрожал. Не знаю, Зоненберг не замечал или не хотел замечать, но тогда он мне ни слова не говорил об этом. А когда по середам он уезжал в отпуск в Москву, мы с Машенькой гуляли одни. Это был блаженный день в неделе. Живо помню я*** наши утра в кунцевских рощах ****, свежие, росистые, благоухающие; помню, как хорошо Машенька пела во время прогулки. До сих пор помню наизусть все мелодии ее песен. До сих пор, при воспоминании, мне становится так же тепло, нежно и юно на сердце, как бывало тогда. Я ей отыскивал ее любимые цветы в лесу. У нас были любимые скамейки, где мы отдыхали. Был темный ***** сырой грот, полный зеленью, в нем постоянно сочился ключ, капал и звучал по капле, падая в воду. Была соломой крытая беседка на крутом берегу; помню раз, как там хорошо ****** Машенька пела, какой-то мотив из времен герцогини La Vallière.

Между тем слово «любовь» не было произнесено между нами. Все наше сближение было девственно-робко и застенчиво. Я тосковал по слове признания, мне его недоставало. Я написал на клочке бумаги: «Любите ли вы меня?»—и подал ей потихоньку, мимоходом, в окно*******террасы. Она мне таким же способом написала короткое: «Да!»—И мне стало бесконечно хорошо на белом свете. Душа переполнилась, мне надо было высказать тебе мою любовь и мое блаженство. Я написал к тебе по секрету письмо. Ты отвечал мне с нарочным. Твой Петр Федорыч приходил часу в пятом утра. Сначала его интересовала наша переписка, т. е. интересовало подслужиться нам. Ему идти было, по крайней мере, два часа со Старой Конюшенной в Кунцево и два часа обратно. Моя комната выходила окном на террасу. Петр Федорыч в пятом часу постукивал тихонько в окно. Я вскакивал, получал твое письмо, отвечал, плакал от счастья; потом вполголоса смеялся с Петром Федорычем о том, что никто не знает и не догадывается о нашей переписке, и он уходил с тем, чтоб быть дома налицо, когда Иван Алексеевич встанет. Что я писал, что ты писал? Не помню. Письма не сохранились. Помню только, что мы употребляли алгебраические буквы и формулы вместо имен, чтобы никто не догадался, если бы письма попались. Как все это младенчески ********, забавно ********* и хорошо.

---

* *Далее зачеркнуто:* остальной компании
** возрастая (итал.).
*** *Далее зачеркнуто:* эти удивительные
**** *Далее зачеркнуто:* и ночи
***** *Далее зачеркнуто:* удивительный
****** *Далее зачеркнуто:* удивительно
******* *Далее зачеркнуто:* балкона
******** *Далее зачеркнуто:* смешно
********* *Далее зачеркнуто:* вместе светло и изящно

В саду, у реки, на скамейке под высокою липою — сидел я с нею. Солнце заходило за поляной так ясно, река была такая светлая, лес такой пахучий... Я держал ее за руку, голова моя лежала на ее плече, мы оба плакали от полноты счастья...

На этом месте я перерву эту главу. Я опущу все постороннее, оно было незначительно. Я перерву ее здесь, чтобы у тебя осталось светло на сердце, когда ты ее прочтешь, и чтоб я сам, перечитывая ее, мог * опять тихо погрузиться в это сновидение с его теплым летом, его лесными звуками, мягким вечерним переливом света и тени и мягким дыханием молодой любви.

ПРИЛОЖЕНИЕ

‹ОТРЫВОК ИЗ НЕИЗВЕСТНОГО АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО СОЧИНЕНИЯ›

Глава вторая

Да! 1825 год имел для России** огромное значение. Для нас, мальчиков, это было нравственным переворотом и пробуждением. Мы перестали молиться на образа и молились только на людей, которые были казнены или сосланы. На этом чувстве мы и выросли с Сашей. Годы подвигались, мы вступили в Университет, в математическое отделение. Не могу не помянуть из этого времени профессора*** Перевозчикова, который был профессор отменно даровитый, человек с хорошими убеждениями и имел на нас превосходное влияние****. Я, кроме математики, занимался стихотворством и музыкой. Так мы и доросли до 17-летнего возраста. Вот вдруг в одну прекрасную ночь приезжает ко мне полицмейстер Брянчанинов (да еще старый приятель нашего семейства) и берет меня под арест. И вот я нахожусь взаперти в частном доме. Но они со мной обращались хорошо, потому что отец мой был богатый господин.

Автограф (черновой). ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 38, л. 50.

---

* *Далее зачеркнуто:* погрузиться в молодое чудное сновидение, полное лесных звуков, летнего, мягкого, вечернего света и тени и мягкого очарования... дыхания любви.

** *Далее зачеркнуто:* великим возникновением

*** *Далее зачеркнуто:* Щепкина

**** *Далее зачеркнуто:* Талантливые люди, а как люди просто, люди с глубоко

ПИСЬМА ОГАРЕВА

ПИСЬМА ОГАРЕВА К ГЕРЦЕНУ

I. ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА (1832—1833)

Публикация Е. Рудницкой

Печатаемые ниже пять писем Огарева к Герцену, относящиеся к 1832—1833 гг., входили в число бумаг, захваченных жандармами при аресте Герцена в ночь на 21 июля 1834 г. Взято было девять писем Огарева к Герцену; однако не все они понадобились следственной комиссии, не все поэтому и остались в следственном деле, хранящемся ныне в Центральном государственном историческом архиве в Москве (ф. III Отдел., д. № 239, 1834—1835 гг.: «О лицах, певших в Москве пасквильные стихи»).

Новые письма, дополняя ранее известную переписку Герцена и Огарева начала тридцатых годов, непосредственно и ярко передают идейную атмосферу их студенческого кружка. Письма эти значительно углубляют сложившееся представление о характере умственных интересов молодежи, группировавшейся вокруг Герцена и Огарева, о разнообразии и остроте волновавших эту молодежь философских и политических вопросов.

С самого начала кипучая умственная жизнь кружка была подчинена политическим интересам. «Мы вошли в аудиторию,— писал Герцен,— с твердой целью в ней основать зерно общества по образу и подобию декабристов» (XIII, 574). Кружок не сложился в тайное революционное общество, но тем не менее являлся одним из видов политической организации и ставил перед собой именно политические цели. Молодые люди пристально следили за каждым новым философским и политическим словом в России и за границей; в этом выражалось их страстное стремление создать собственную политическую платформу, стремление теоретически обосновать отрицание окружавшей их самодержавно-крепостнической действительности. Герцен и Огарев, как и другие участники их кружка, подходили к философским системам прежде всего с точки зрения критической оценки их общественной значимости — в отличие от абстрактно-метафизического подхода, характерного для большинства членов кружка Станкевича.

К материализму и атеизму Огарев, как и Герцен, пришел позже, в сороковых годах, но уже в начале тридцатых годов в известной мере определяется направление его философских исканий. Примечательно, что хотя Огарев еще находился полностью в плену идеалистических схем, его уже не удовлетворяет абстрактность немецкого идеализма.

В публикуемом письме от 9 сентября 1832 г. Огарев критикует субъективный идеализм Фихте, но подчеркивает, с другой стороны, противоречия и в системе Спинозы. отрывающей природу от человека. Намеченная в этом письме критика Шеллинга продолжена в дальнейшей переписке Герцена и Огарева. Система Шеллинга не удовлетворяла Огарева именно потому, что не выдерживала того критерия социальной прогрессивности, который Огарев неизменно применял ко всем философским системам.

Широко эрудированный в философских учениях XVIII—XIX вв., Огарев никогда не был последователем того или иного философа. «Если у тебя нет в душе живой, собственной философии,— писал он Герцену в письме от 10 августа 1833 г.,— то мало ты успеешь, обирая всех умерших и живых, покойных и не покойных философов. Из лоскутков смешно шить платье» («Мир божий», 1906 г., № 1, январь, стр. 62).

В своих юношеских попытках создать собственную систему мировоззрения Огарев оставался еще в пределах философского идеализма, особенно в вопросах объяснения исторических явлений. Однако необходимо подчеркнуть, что во всех своих построениях Огарев исходил из идеи общественного развития и мечтал о «полном усовершенствовании рода человеческого» (письмо от 3 сентября 1832 г.). Неудивительно, что и его и Герцена привлек Сен-Симон. Как видно из письма Герцена к Огареву от 19 июля 1833 г., Огарев обратил внимание друга именно на социальную сторону учения Сен-Симона (I, 117).

Огарев вместе с Герценом и другими участниками студенческого кружка живо интересовался всеми историческими, политическими, религиозными проблемами, вопросами науки, литературы, искусства, подходя к этим проблемам с точки зрения главного занимавшего кружок вопроса: как обосновать неизбежность переустройства всей общественной жизни на новых социальных началах?

В публикуемом письме от 30 июля 1833 г. Огарев отчетливо характеризует содержание и цель своих научных занятий. «Меня несколько задач занимают,— сообщает он Герцену,— их бы надобно ⟨за⟩писать последовательно, но не знаю ⟨бу⟩дет ли возможно. Они явятся будто поэмы; вот они: 1) Пантеизм и деизм; 2) Философия истории; 3) Натурфилософия; 4) Онтология», и резюмирует: «Мне уже хочется созидать; из ⟨об⟩щих начал моей философии истории должен я вывести план ассоциации».

Разработка социальных вопросов, — вот что определило интерес Огарева и к религиозным учениям Западной Европы, которые рассматривались в кружке главным образом как учения социальные. Мимо внимания Огарева не прошла и система французского католического писателя Ламеннэ в изложении Дамирона (D a m i r o n. Essais sur l'histoire de la philosophie en France au dix-neuvième siècle. P., 1828).

Анализируя исторический ход развития религии, Огарев сделал вывод, что религия неизбежно будет поглощена философией. Но находясь еще полностью во власти идеализма, Огарев понимал самый предмет философии как «познание божества». Тема эта, широко обсуждавшаяся в кружке, нашла свое дальнейшее развитие в публикуемом письме Огарева к Герцену от 29—30 июля 1833 г. и в письме Герцена к Огареву от 7 или 8 августа 1833 г., где Герцен сформулировал свое понимание социальных причин возникновения христианства (I, 125—127).

В письме от 30 июля 1833 г. Огарев сообщает Герцену о том, что с Лахтиным — участником их студенческого кружка — у него «сложная переписка о философии истории». Изо всей этой переписки до нас дошло одно только письмо Лахтина. Оно было захвачено жандармами среди бумаг Огарева и явилось причиной ссылки автора в Саратовскую губернию, где он вскоре умер. Письмо Лахтина к Огареву, датированное 28 июня 1833 г., целиком посвящено вопросам истории и обнаруживает большую глубину и широту постановки исторических проблем в кружке Герцена — Огарева. (Письмо это будет опубликовано в следующем томе «Лит. наследства».) Один из вопросов, затронутых в письме Лахтина,— вопрос об исторических судьбах русского дворянства — обсуждался в кружке, как это видно из публикуемого письма Огарева к Герцену от 3 сентября 1832 г., в предыдущем году и продолжал обсуждаться, когда все участники дискуссии были уже в ссылке. Неиссякавший интерес к этой проблеме объясняется тем, что постановка ее носила отнюдь не только теоретический характер. Проблема исторических судеб русского дворянства возникла и решалась в связи с одним из центральных вопросов, занимавших кружок, — вопросом об определении движущих сил будущей русской революции.

Стремлением к выработке собственной общественной теории объясняется и интерес членов кружка к политическому и общественному строю Соединенных Штатов Америки. Представление о постановке этого вопроса в герценовском кружке мы впервые получаем из публикуемого письма Огарева к Герцену от 3 сентября 1832 г.

Одним из источников знакомства кружка с Соединенными Штатами Америки был Фенимор Купер. Романы Купера в то время в России были весьма популярны. Мимо

внимания кружка не прошло и малоизвестное сочинение Купера, упоминаемое Огаревым в том же письме — «Notions of the Americans», никогда не переводившееся на русский язык и вышедшее в 1828 г. в Америке и в Англии, а в 1829 г. на английском же языке в Германии. Читали члены кружка и другое сочинение, появившееся в то же время и трактующее примерно тот же круг вопросов — книгу Ахилла Мюрата (Achill Murat) «Lettres sur les Etats-Unis à un de mes amis d'Europe» (1830). Письма адресованы графу Тибодо и первоначально были напечатаны в «Revue Trimestrielle» (1828). Ахилл Мюрат, сын Иоахима Мюрата, бывшего маршала Наполеона Бонапарта, сам был не чужд бонапартистских замашек, и этого оказалось достаточно, чтобы его книга в меттерниховской Европе была воспринята как своего рода республиканский манифест, якобы опасный для принципов легитимизма.

Все указанные сочинения являлись апологией политического и общественного строя Соединенных Штатов, но Огарев сумел критически подойти к американской цивилизации. Отмечая прогрессивность, для того времени, политических и социальных принципов, положенных в основу государственного и общественного устройства Америки, Огарев подчеркивает, однако, ограниченность американской цивилизации, идеологическую бедность духовной жизни господствующих классов Америки («там вся умственная, даже политическая деятельность вертится около одного места или, лучше сказать, поглощена одним предметом — промышленностью»). Идеалы ультрабуржуазной Америки, которые с такой страстностью и силой заклеймил несколько позднее Белинский, были глубоко чужды Огареву.

Но, критикуя буржуазную цивилизацию, Огарев обнаруживал непонимание исторического соотношения сил феодально-аристократических и буржуазных. Так, преимущество политической жизни Европы перед Америкой он усматривал именно в наличии в Европе аристократии, которая своей якобы постоянной оппозицией к государству способствует общественному развитию. Этот ошибочный взгляд на феодальную аристократию Огарев в ближайшие годы полностью пересмотрел, но, оставаясь идеалистом в понимании исторического процесса, он до конца жизни не мог понять исторического места буржуазии.

Ранние письма Огарева дают представление не только о широте и разнообразии его идейных исканий, его научных и политических интересов. Они свидетельствуют также о том, что в начале тридцатых годов перед Огаревым со всей остротой встал вопрос о его поэтическом самоопределении.

Отметим, что в публикуемые письма вошли два ранее не известных стихотворения Огарева: «Огонь, огонь в душе горит...» и «В душе столпился ряд видений...», а также два стихотворения, известные до сих пор лишь по небрежной, искажающей текст публикации в «Русской мысли»: «Когда в часы святого размышленья...» и «Они торжественны, минуты вдохновенья...».

* * *

Судьба каждого из упомянутых выше девяти писем Огарева к Герцену, захваченных жандармами при аресте Герцена 21 июля 1834 г., видна из следующего перечня, в котором знаком* мы отмечаем письма, входящие в состав нашей публикации:

1 *. 3 сентября 1832 г.— Использовано Следственной комиссией (ЦГИАМ, ф. III Отдел., 1-я эксп., Приложение № 84 к д. № 239, лл. 141—142).

2 *. 9 сентября 1832 г.— Письмо не было использовано Следственной комиссией, но осталось в ее делопроизводстве (ЦГИАМ, ф. III Отдел., 1-я эксп., Приложение № 87 к д. № 239, лл. 8—9).

3 *. 7 июня 1833 г.— Было возвращено Следственной комиссией И. А. Яковлеву (ЛБ, ф. Г.— О. VIII. 3). Опубликовано неисправно: «Русская мысль», 1888, № 7, стр. 4—6.

4. 23 июля 1833 г.— Было возвращено Следственной комиссией И. А. Яковлеву (ЛБ, ф. Г. — О. VIII. 4). Опубликовано: «Русская мысль», 1888, № 7, стр. 7—8.

5. 10 июля 1833 г.— Было переслано Следственной комиссией в канцелярию московского губернатора для производства расследования по делу студента Московского университета Почеки и дочери музыканта Гебеля. В письме Огарев излагал свои свидетельские показания по этому делу (Моск. обл. архив). Опубликовано: «Голос минувшего», 1919, № 1—4.

6 *. 29—30 июля 1833 г.— Автограф письма был в Следственной комиссии разделен на две части. Первая часть, датированная 29 июля, не понадобилась следствию и была возвращена И. А. Яковлеву (ЛБ, ф. Г.— О. VIII. 5). Вторая часть, датированная 30 июля, была использована в целях обвинения и сохранилась в ЦГИАМ, ф. III Отдел., 1-я эксп., Приложение № 84 к д. № 239, лл. 137—138.

Первая часть, ошибочно принятая за полный текст письма от 29 июля, опубликована: «Русская мысль», 1888, № 7, стр. 8—10. Вторая часть документа до сих пор не печаталась. Ниже письмо публикуется полностью.

7. 10 августа ⟨1833 г.⟩.— Письмо было использовано Следственной комиссией в качестве вещественного доказательства. Находилось, судя по описи и нумерации, в Приложении № 84 к д. № 239 (ЦГИАМ, ф. III Отдел., 1-я эксп.), но неизвестно при каких обстоятельствах, кем и когда было оттуда изъято. Местонахождение автографа в настоящее время неизвестно.

Опубликовано: «Мир божий», 1906, № 1, стр. 62—63.

8. 18—20 августа 1833 г.— Было возвращено Следственной комиссией И. А. Яковлеву (ЛБ, ф. Г.— О. VIII. 6). На подлиннике рукой Герцена помечено: «Письма, бывшие в следственной комиссии» (пометка относится также к письмам 3, 4 и 6 нашего списка). Опубликовано: «Русская мысль», 1888, № 9, стр. 1—3.

9 *. 26 августа 1833 г.— Использовано Следственной комиссией (ЦГИАМ, ф. III Отдел., 1-я эксп., Приложение № 84 к д. № 239, лл. 135—136).

Таким образом, в нашу публикацию входят: три письма, печатаемые впервые (№№ 1, 2 и 9), и два письма (№№ 3 и 6), хотя уже известные в печати, но только по искаженной и неполной публикации в «Русской мысли» за 1888 г.

1

Село Чертково, сентября 3 ⟨1832 г.⟩[1]

Наконец я получил от тебя письмо и снова при⟨нимаюсь за⟩* перо. Но прежде нежели стану отвечать на твое ⟨послание⟩, я хочу сам говорить — душа полна, язык не держится. ⟨Я буду⟩ говорить о том, что даже естественно должно ⟨...⟩ ону человека, который (хотя и на три месяца) сделался ⟨беглец⟩ом от всего живого, деятельного, что прежде разделял ⟨с друзья⟩ми своими, я хочу говорить о философии. Что пробудило ⟨во мне⟩ такую мысль, спросишь ты? Вот ответ: я прочел Дамирона («Hist⟨oire⟩ de la phil⟨osophie⟩ au XIX s⟨ièсle»⟩ en France»), и это заставляет ⟨меня пи⟩сать к тебе о философии, и именно к тебе, потому ⟨что ты⟩ читал эту книгу и, кажется, не приложил к ⟨ней особ⟩енного внимания, судя по тому, что ты мне очень ⟨мало го⟩ворил о ней. В ней нашел я две статьи, которые ⟨мне пока⟩зались особенно важными: статья о развитии религии ⟨..., ко⟩торую ты можешь найти в обозрении системы ⟨Lamenn⟩ais, и статья о философической методе, о философ⟨...⟩. Начнем с первой:

⟨Я⟩ удивляюсь, как ты мог не заметить этой превосход⟨ной стат⟩ьи, которая столь близка к любимой мечте моей: полного усовершенствования рода человеческого.

Ламенне — ⟨католи⟩к, след⟨ственно⟩, пунктуально следуя священному писанию, ⟨рассмат⟩ривал ход религии в одном только израильском на⟨роде и⟩ тут замечает, что религия во все продолжение своего ⟨сущест⟩вования одна и та же, но имеет три эпохи ⟨разви⟩тия: 1) домойсейская,

---

* *Здесь и ниже даем в ломаных скобках предположительное чтение, так как подлинник полуистлел и чернила выцвели.*

2) мойсейская и ⟨3)⟩ христианская; ⟨а это⟩ можно распространить и не на один израильский ⟨народ. Это⟩ можно распространить на весь род человеческий. ⟨Перва⟩я эпоха религии — это эпоха поэтическая, где чело-⟨век ище⟩т божества вне себя, в природе, это *пантеизм*. ⟨Но он⟩ вскоре не удовлетворяется этим, он отделяет божество ⟨от⟩ природы, он обожает

ОГАРЕВ
Рисунок неизвестного художника, 1830-е гг.
Литературный музей, Москва

творца ее — отсюда *теизм*. И ⟨этот⟩ теизм выражает в боге только зиждителя мир⟨оздания⟩; при дальнейшем развитии человечества, когда нравств⟨енные стремл⟩ения становятся более и более необходимыми, ⟨человек⟩ возвышается до понятия единого нравственного ⟨начала⟩, награждает добродетель и наказует порок. ⟨Это⟩ выразилось в христианстве, но религия одна и та же: стремление сблизиться с божеством. Вопрос: должно здесь остановиться религиозное развитие человечества? Нет. Чувство религии ⟨си⟩льное в младенчестве людей, фаталическое в эпохе ⟨теизма⟩, мистически-нравственное, мечтательное, несовершенно ⟨ясное?⟩, как бы

сквозь туман провидящее истину в хри⟨стианстве⟩, неужели может остаться в этом смутном ⟨виде, где⟩ участвует какое-то поэтическое чувство, но от ⟨него⟩ отказывается разум? Наши времена уже сде⟨лались⟩ довольно положительными, чтобы принимать то ⟨только⟩, в чем убежден разум; итак, должно ожидать п⟨оэ⟩зии, в которой идея божества должна быть развита ясно ⟨из⟩ убеждения, из разума, или такой религии, ⟨которая⟩ слилась бы с философией или, лучше сказать, исчеза⟨ет⟩ в философии, т. е. верование в божество превра⟨тилось⟩ бы в познание божества!

Боже! приехали гости — прощай, друг, до другого времени — как не⟨сносно?⟩

Сентября 4

Надобно бы продолжать начатое, но я ⟨отлож⟩ил до следующей почты. Теперь я занят соверше⟨нно другими⟩ мыслями, ты можешь догадаться какими из ⟨письма⟩. Я буду отвечать на твое письмо и буду говорить ⟨по порядку?⟩

* 1) Ты познакомился поближе с Соед⟨иненными⟩ Штатами из ⟨книги⟩ Ахилла Мюрата и находишь, что *мы* худо понимали ⟨эту⟩ страну. Я не причастен к этому; еще прочитав Ку⟨пера⟩ (Notions of Americans)[2], я говорил тебе, что в ⟨них⟩ высшее развитие гражданственности; мне кажется,⟨иного⟩ и не могло быть; вот почему: представь себе возмутившу⟨юся и⟩ отложившуюся страну ссылочных, закоснелых злодеев ⟨и ты⟩ найдешь тут анархию, необходимо анархию; но что м⟨ожно⟩ было ожидать от людей, удалившихся в страну изобилия ⟨от⟩ угнетений правительств европейских (ибо какую мог⟨ли⟩ иную ⟨цель⟩ иметь скрывшиеся от деспотизма Германии и Франции), а еще более для обогащения самих себя? Из их удаления уже видно, ⟨что⟩ 1) они не могли составить общество иное⟨?⟩ как по пра⟨вилам⟩ либ⟨ер⟩альным, ибо бежали от деспотизма и не за⟨...⟩ идеями, современными Локку, Руссо и Монтескье, и что 2) ⟨госу⟩дарственное устройство не могло быть не основано на ⟨положительн⟩ых началах политической экономии — они бежали ⟨для обога⟩щения и большею частью из отечества, в ко⟨тором жил⟩ Адам Смит. Это-то и дает твой резу⟨льтат⟩ — высшее развитие гражданственности, основанное на положительных началах Полит⟨ической⟩ экономии и государствоведения. Но почему ты так нападаешь на Европу и почему думаешь, что ее либералы более ненавидят рабство, нежели любят свободу? взгляни на Францию, чтобы увериться в противном. Кроме того, в Европе более жизни, по самой той причине, что она имеет аристократию; следст⟨венно⟩, всегда оппозиция сильна и ⟨du⟩ choc des opinions jaillit la vérité**, и общество подвигается ⟨бы⟩стро вперед; просвещение общественное. Едва ли ты это найдешь в Америке; посмотри сам, там вся умственная, даже политическая деятельность вертится около одного ⟨ме⟩ста или, лучше сказать, поглощена одним предметом — промышленностью; да вот на другой странице твоего письма вижу, что и ты жалуешься на бездеятельность американцев.

2) *** Поздравляю тебя и с Кузеном и с Мишле[3] и с письмами и тут же перехожу к твоим вопросам, мне заданным; первый!, о цивилизации, идет (вошел) в предположенную мою статью о перехождении в двор⟨янское⟩ сословие; подумай на воле, мне кажется, что наша цивилизация не XIX, но XVIII века; я это развил исторически; к 15 октября явлюсь сам и с статьей, и ⟨ты⟩ узришь. На вопрос о месте я писать не намерен, это пусть будет вопрос домашний.

---

* *Отсюда и до предпоследнего абзаца* («Вот тебе...») *текст письма подчеркнут в Следственной комиссии.*

** из столкновения мнений рождается истина (франц.).

*** *В подлиннике ошибочно:* 3) *и далее соответственно ошибочная нумерация.*

3) Пассекам[4] и Диомиду[5] mes hommages * со всей искренностью, которую ты можешь вообразить во мне.

4) За адрес благодарю и по будущей почте пишу к Мише[6] и к Евгению[7].

5) Почему столь нужный мне лексикон еще не явился?

Я прочел первую часть Лерминье: «Philosophie de droit» **. Много превосходного; много мыслей странных, с которыми едва ли можно согласиться, как, напр⟨имер⟩, законность самоубийства, но последние 4 главы первой части привели меня в восторг. Друг! Прочти их, непременно прочти[8]. Я воспламенился от них, innere Fülle *** так и забушевала, хотелось бы что-нибудь творить, и с досадою и с ужасом вижу, что мне 18 лет и что я в деревне. Но вдруг я вспомнил вас, друзья мои, сравнил то, о чем говорит Лерминье, с нами, и что-⟨то с⟩ладостно заговорило в душе, будущность, прекрасная будущность! Сколько надежд и упований! Друг!

Так посещает в подземелье
Страдальца-узника порой
Души минутное веселье!

И это веселье — будущность! — и я уверен, убежден, что это не Knabengedanke ****, пойми и оцени это убеждение. Но как, что и когда? Дай теперь забыть этот вопрос, дай насладиться! Герцен! прочти четыре последние главы, и твоя душа взойдет в такое состояние жажды деятельности, что все мускулы невольно зашевелятся, как будто бы что-нибудь делаешь, что-нибудь исполняешь, творишь.

Вот тебе комиссия: зайди к Карлу Ивановичу[9], ⟨скажи⟩ ему, что я рад бы написать, да бумаги нет. Папенька цены квартирной уменьшать не хочет, а платеж отсрачивает до генваря; пол пусть переделывает Карл Иванович, о цене пусть скажет Степану[10] и зачтет в квартирный долг переделку. Тороплюсь. Я им обоим напишу по будущей почте.

Теперь прощай, устал и хочу спать. Пиши побольше, потому что мне скучно. Сатин мне писал, Вадя[11] мне ничего не пишет. Прощай.

Твой Н. Огарев

Автограф. ЦГИАМ, ф. III Отдел., 1-я эксп., Приложение № 84 к д. № 239, лл. 141—142.

[1] Год устанавливается на основании следующих строк в тексте письма: «...(хотя и на три месяца) сделался ⟨беглец⟩ом от всего живого...». Из «послужного списка» Огарева, хранящегося в том же архивном деле, известно, что трехмесячный отпуск по службе был предоставлен ему в 1832 г. (с 21 июля по 15 октября).

[2] F. Cowper. Notions of the Americans. Picked up by a Travelling Bachelor. In two volumes. Philadelphia, 1828. Под тем же названием книга вышла в 1828 г. в Лондоне, а в 1829 г. на английском языке — в Германии (Zwickau).

[3] Речь идет не о французском историке, а о немецком философе-гегельянце Людвиге Михелете (Michelet), фамилию которого в кругах московской интеллигенции того времени часто произносили на французский манер: Мишле или Мишеле (см. XIV, 734).

[4] *Пассеки* — Вадим Васильевич Пассек (1808—1842) и его семья.

[5] *Диомид* — Д. В. Пассек (1807—1845), брат Вадима, близкий к кружку Герцена и Огарева.

[6] *Миша* — М. П. Носков, активный член герценовского кружка; в 1832 г. окончил физико-математический факультет Московского университета и был направлен на службу в Петербург.

[7] *Евгений* — Е. В. Пассек (1804—1842), старший из братьев Пассеков; учился в это время в Петербурге. Огарев и Герцен были дружны с ним и состояли с ним в переписке, но особой идейной близости между ними не было.

---

* кланяюсь (франц.).
** «Философия права» (франц.).
*** душевная полнота (нем.).
**** мальчишеская мысль (нем.).

[8] Совет Огарева непременно прочесть книгу французского историка права Лерминье Герцен исполнил только в следующем году. В письме к Огареву от 19 июля 1833 г. Герцен сообщил, что читает книгу Лерминье, а в следующем письме — от 1 августа 1833 г.— писал, что уже дочитывает ее. «Хорошо, но не отлично. Виден юноша, вообще он хорош, разбирая системы, но там, где он говорит от себя, несмотря на всю французскую prolixité *, несмотря на неологизмы, есть что-то недоделанное, неустоявшееся» (I,121).

[9] *Карл Иванович* — Зонненберг (ум. после 1862 г.), был воспитателем Н. П. Огарева, затем поступил на службу к И. А. Яковлеву (отцу Герцена), исполнял его мелкие поручения (см. о нем в «Былом и думах»).

[10] *Степан* — Булатов, приказчик отца Огарева.

[11] *Вадя* — Вадим Пассек.

2

Сентября 9 ⟨1832 г.⟩[1]. Село Чертково

Герцен! Твое письмо так поразило меня, что начинаю отвечать на него (что не в обыкновенном порядке вещей) с конца. Павлов думает, что ты шпион Голохвастова[2], и тебе приходится играть роль Гарвея Бирка[3]. Друг! это ужасно, нестерпимо, я плакал, когда читал это,— но Павлов благородный человек, поезжай к нему и объяснись. Но ты спросишь, на каком основании он поверит тебе? — Пылкость юноши — вот наше красноречие, благородство души — вот наша порука. Но тебе есть еще пристанище от оскорблений; мы тебя знаем, друг! и едва ли наша порука не действительнее на молодежь⟨?⟩, нежели речи (частные) г-д профессоров. Но почему ты знаешь, что Иовский[4] не врет? Разве ты не нагляделся на подлость этого человека? К тому же, Герцен, еще время не ушло и, может быть, Павлов с удивлением скажет (это не панегирик тебе, ибо говорю я): вот был истинно благородный человек! Покуда

Lass untergehen die wandelnden Gestalten!**[5]

Герцен! Теперь пришло время говорить тебе о мысли, которая глубоко заронилась мне в душу и которая одна утешает меня среди жестоких и язвительных ран мизантропии. Слушай и не смей ни скучать, ни смеяться.

Фихте положил начало всего, сделал центром всего — человека; что ж было последствием? Человек отъединился от всего и сделался каким-то ужасно эгоистическим существом. Спиноза вложил всё в бога — и что ж? Человек исчезнул. Шеллинг уравнял бога с природой вещественной и с человеком (оба проявления божества, след⟨ственно⟩ бог = человеку + природе). $A^x = b$—боюсь произнести, но это мне кажется опасным пантеизмом. Смешно исследования философические выводить (позволь германские термины) из *не я* (nicht ich), ибо я не могу вообразить, что познаю что-либо, не ощущая, не познавая самого себя. Итак, начнем с самого себя. Едва я понимаю что-либо, как первое, что мне представляется, это я сам: ich bin, weil ich bin ***. Я сталкиваюсь с природой, и здесь начинается борение. Я хочу поработить себе природу — я двигаю веществом по своему произволу, следуя своей идее — и вот происходит искусство. Я делаюсь творцом — в искусстве я развиваю свою мысль, свою умственную природу. Но я чувствую, что сам себе недостаточен и, по закону причинности, дохожу до высочайшего существа. Но как же существует оно и как все от него произошло? Я сужу по аналогии: когда я творю, то развиваю свою идею; в человеке и природе бог развил свою идею. Когда я развиваю свою идею, то не нахожу никак, что я с нею тождествен, ибо **** чувствую еще

---

* многословность (франц.).

** Пусть скроются блуждающие тени! (нем., из «Фауста» Гёте).

*** я существую, ибо я существую (нем.).

**** *Далее зачеркнуто:* она существовала бы без меня в идее.

особенное какое-то существующее, которое *не зависит* от моей идеи, я ее только постиг и развил. Равно и бог не отождествуется с своим творением, но только развивает в нем мысль, в которой убежден. Какое же назначение творения? Во всем сообразоваться с развитием идеи творца. Вещество развивает идею творца в пространстве, человек — мыслью во времени. Итак, назначение человека — развивать истину, которую постиг творец. Слава богу, друг!

Я ненавижу мелошничество и подлости людей (причину которых должно еще обдумывать), но я тружусь не для них, но для идеи. Друг! Эта мысль

РИСУНОК ОГАРЕВА
Сепия, 1834 г.
Литературный архив, Москва

меня утешает. Я все это писал скоро, след⟨ственно⟩, не ручаюсь ни за полноту, ни за совершенную ясность, но желаю написать об этом пространнее и более во всех отношениях сверить с опытом. Но довольно! устал. От Вадима получил письмо, и он жалуется на скуку.

Но нет, не могу оставить, оставить пера, душа полна, язык не держится; стану писать стихи; слушай этот экспромпт; пусть будет с поправками, — я тебя не совещусь. Слушай:

Огонь, огонь в душе горит
И грудь и давит и теснит,
И новый мир, мечта созданья,
Я б тем огнем одушевил,
Преград где б не было желаньям,
И дух свободно бы парил —
Всё будет ясно предо мною,
Сорву завесу с бытия,
И всё, с душевной полнотою,
Всё обойму вокруг себя.
Мне не предел одно земное

Душе — от призрака пустой,
В ней чувство более святое,
Чем прах ничтожный и немой.
Кто скажет мне: конец стремленью?
Где тот, кто б дерзкою рукой
Границу начертал мышленью
Непреступимою чертой?
Черту отринув роковую,
Я смело сброшу цепь земную*.
Согретый пламенной мечтой,
Я с обновленною душой
Помчусь — другого мира житель —
Предвечной мысли в светлую обитель!

Друг! Самому странно кажется, что с этим письмом (разумеется с тем, которое теперь пишу) мог досидеть до тех пор, что свеча догорает. Прощай! Еще надобно уснуть, пока не рассвело. Завтра поговорим о твоем романе.

Сентября 12

Голова болит, и о романе говорить не хочется. Сейчас писал к Вадиму. Прощай! Завтра нап‹ишу›.

Твой Н. Огарев

Пассекам, Т‹атьяне› П‹етровне›[6] и Диомиду кланяйся (Савичу)[7].

Рукой Герцена на последней странице письма:

Всю сию философскую диссертацию профан Герцен не понял. А может с Носковым[8] сказать, dass er aus minder gutem Stoff geschaffen ist **.

Это NB прибавлено в день получ‹ения›.

Автограф. ЦГИАМ, ф. III Отдел., 1-я эксп., Приложение № 87 к д. № 239, лл. 8—9.

[1] Письмо датируется 1832 годом на следующих основаниях: а) оно не могло быть написано ранее 1832 г., так как Д. П. Голохвастов, который упоминается в письме, был назначен помощником попечителя Московского учебного округа только в ноябре 1831 г.,б) оно не могло быть написано в 1833 г.: в этом году Огарев выехал из деревни в Москву 30 августа. Именно в 1832 г. он оставался в деревне до середины октября.

[2] Объяснение того факта, что известный профессор Михаил Григорьевич Павлов (1793—1840) мог в какой-то момент поверить подобным слухам, Герцен дает в своем письме к Т. П. Пассек, написанном в июне или в июле 1833 г.: «Я слышал, что Павлов, у которого я ревностно занимался, поставил мне 2 за то, что я раз возмутил против него аудиторию и раза два уговаривал студентов нейти к нему на лекции, потому что Павлов, делая выговор какому-то студенту, сказал: „стол и солдат у двери столько же меня понимают, как и амфитеатр“. Из этого вышло дело, его разбирал Дмитрий Павлович Голохвастов. Он вызвал к себе вместе Павлова и меня. Павлов не мог мне этого простить» (I, 109—110). Голохвастов на посту помощника попечителя Московского учебного округа усилил полицейские строгости против прогрессивного студенчества и тем, само собою разумеется, восстановил Герцена против себя. Родство Голохвастова с Герценом (двоюродные братья) было единственным основанием для возникновения грязной сплетни. Что же касается до подлинных отношений Герцена с Голохвастовым, то Герцен сам рассказал о них в «Былом и думах»: «До его назначения в Университет мы были с ним настолько близки, насколько различие лет позволяло (он был лет 16 старше меня). Тут ‹с назначением Голохвастова помощником попечителя Московского учебного округа.— *Е. Р.*› я с ним чуть не рассорился, по крайней мере, лет десять кряду мы смотрели друг на друга с неприязненным холодом... Время моего курса было временем наибольшей политической экзальтации; мог ли же я остаться в хороших отношениях с таким усердным слугою Николая?» (XIII, 175—176).

[3] *Гарвей Бирк* — герой романа Фенимора Купера «Шпион».

---

* *Далее зачеркнуто:*

И новой силой [обновленный] оживленный
Помчусь с душой воспламененной

** что он сделан из менее добротного материала (нем.).

[4] Петр Алексеевич *Иовский* — адъюнкт Московского университета по кафедре права политического и народного, издатель альманаха «Элизиум» (Москва, 1832).

[5] Парафраза первой строки «Посвящения» к «Фаусту» Гёте: «Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten» («Вы снова здесь, изменчивые тени», пер. Б. Л. Пастернака).

[6] *Т⟨атьяна⟩ П⟨етровна⟩* — Кучина, невеста Вадима Пассека, вышедшая за него замуж в ноябре 1832 г.

[7] *А. Н. Савич* — член герценовского кружка, впоследствии известный русский астроном.

[8] О *Носкове* см. примеч. 5 к письму 1.

3

Июня 7 ⟨1833 г.⟩

Начинаю писать на маленьком листочке — виноват; да впрочем, не я виноват, а дело в том, что нет больше бумаги. Пока довольно и этого. Надобно поведать тебе всю историю с моего отъезда. Выехал я, друг! и мне стало грустно, так грустно, как никогда не бывало. А всё Воробьевы горы[1]. Долго я сам в себе таил восторги; застенчивость или что-нибудь другое, чего я и сам не знаю, мешало мне высказать их, но на Воробьевых горах этот восторг не был отягчен одиночеством, ты разделял его со мною, и эти минуты незабвенны, они, как воспоминание о былом счастье, преследовали меня дорогою, а вокруг я только видел лес; все было так синё, синё, а на душе темно, темно; ужасны эти минуты. Что же утешило меня — восторженность; я все последнее время как жил в Москве старался поддерживать себя в восторженном состоянии духа; положим, это напряженность, но это одно поддерживает бодрость духа, свежесть ума, innere Fülle *. Этот ежеминутный восторг должен возвысить, облагородить меня, должен дать мне столько духовного наслаждения в земной жизни, сколько то возможно — а там пусть я умру; ежели ты понял цель, с которой написаны посвященные тебе последние минуты жизни[2], то ты понял, как высоко я ценю смерть, понял и, может быть, не обратил внимания на негладкость стихов, как иные; друг! изящное в идее. Поэзия! сколько мыслей соединяются в этом слове; кто их выразит; слова недостаточны — музыка — а я не могу еще взять именно те звуки, которые слышатся душе моей; неспособность телесная ограничивает фантазию. Но, чёрт возьми; я поэт, моя душа — поэзия, чистая, небесная; она мне подсказывает истину там, где бы я ее не понял холодным рассуждением — вот философия откровения — здесь она действительно существует.

Когда в часы святого размышленья
Мысль светлая в твой ум вдруг западет,
Чиста и пламенна, как вдохновенье,
Она тебя возвысит, вознесет,
Она недаром заронилась,
Как божество, к тебе она,
Чудесной жизнию полна,
Из стран небесных ниспустилась.
Пусть говорят с улыбкою презренья:
Она есть плод обманутой мечты —
Не верь словам холодного сужденья,
Они чужды душевной теплоты.
О! если с чувством мысль сроднилась,
Поверь, она не обольстит,
Она недаром заронилась
И святость истины хранит.

* душевную полноту (нем.).

Я теперь уже начал писать ораторию для Гебеля — «Потерянный рай». Сатин улыбнулся, когда я объявил ему такое заглавие. Бог с ним! А я здесь вижу идею Истории человечества. Не смейся. Если ты помнишь мои стишки «Тоска по отчизне»[3], то ты поймешь, что действительно идея истории человечества заключается в потерянном рае. В этом смысле я хочу выработать ораторию. Может быть, этот труд будет иметь некоторую цену. Если только я найду выражения для мыслей, которые толпятся в голове моей, то он будет иметь цену. А мысли у меня суть следствия вдохновений, а вдохновенье найдет язык. Вот тебе, кстати, еще старинные мои стихи:

Они торжественны, минуты вдохновенья,
Как голос неба на земле,—
Прекрасны, как любовь, как радости мгновенья,
Так сердцу сладостны оне!
Заботы мелкие отходят,
Несносный голос их молчит,
И вдохновенье говорит
И небо на душу низводит.
Она божественным полна,—
Но стало тесно ей — она
Найти стремится выраженья,
Ей надо высказать себя,
И слово звучное ея —
Ее дитя, ее творенье!

Герцен! мы друг друга, кажется, знаем; кажется, можем быть откровенны. Письмá моего ты никому не покажешь. Итак, скажи: с некоторого времени я решительно так полон, можно сказать задавлен, ощущениями и мыслями, что мне кажется, мало того кажется, мне врезалась мысль, что мое призванье быть поэтом, стихотворцем ли, или музыкантом, alles eins*, но я чувствую необходимость жить в этой мысли, ибо имею какое-то самоощущение, что я поэт; положим, я еще пишу дрянно; но этот огонь в душе, эта полнота чувств дает мне надежду, что я буду и порядочно (извини меня за такое похабное слово) писать. Друг! скажи же, верить ли мне моему призванью? Ты, может, лучше меня знаешь, нежели я сам, и не ошибешься. Когда будешь писать о Воробьевых горах, напиши, как в этом месте развилась история нашей жизни, т. е. моей и твоей.

Автограф. ЛБ, ф. Г.— О. VIII. 3.— В искаженном виде было напечатано в «Русской мысли», 1888, № 7, стр. 4—6.

Из-за неправильного расположения второго листа в рукописи в ее первопечатной публикации была допущена важная ошибка и в отношении воспроизведения входящих в состав письма двух стихотворений Огарева. Последние шесть строк («Она божественным полна...» и далее), принадлежащие второму стихотворению «Они торжественны, минуты вдохновенья...», оказались изъятыми из него и присоединенными к концу первого стихотворения «Когда в часы святого размышленья...». Ошибка повторена в издании: Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы, т. I. Л., 1937—1938 («Библиотека поэта», большая серия, стр. 3). Правильное чтение текста установлено А. В. Аскарянц, подготовившей письмо для настоящей публикации.

[1] В «Былом и думах», в главе «Ник и Воробьевы горы» Герцен привел часть настоящего письма от слов: «Выехал я...» до слов: «...а на душе темно, темно» и заключение письма: «Напиши, как в этом месте развилась история нашей жизни, т. е. моей и твоей». Кроме того, последние слова Герцен взял эпиграфом к упомянутой главе (XII, 70, 75; ср. 176—177).

[2] *Последние минуты жизни* — вероятно, заглавие неизвестного нам стихотворения Огарева.

[3] Стихотворение Огарева «Тоска по отчизне» ни в печати, ни в рукописи не известно.

* все равно (нем.).

4

⟨Село Чертково.⟩ Июля 29 ⟨1833 г.⟩

Друг! Твое письмо оживило меня; я теперь опять возвысился на точку, с которой почти не замечаю ничего, что вокруг меня, с которой не вижу пошлых частностей, но только одно общее великое. Одно идеальное могло извлечь меня из этой пропасти, в которую я насильно втащен; мне оставалось или сравняться с этими людьми, или укрыться в недоступный для них мир идей — мог ли я с ними сравняться? Так мир идей, в нем моя жизнь, здесь я дома. Письмо Лахтина[1], Вадима, твое — все это вместе, все это напомнило мне любимые мечты и возвратило к поэзии беглеца. Я теперь спокоен, я забыл бы весь мир земной, если б несносная боль в боку не напоминала мне, что я еще прах, жалкий прах. Мысль мучительная для гордости человека!

Ты пишешь о нашей симпатии. Какая нужда до наших характеров, пусть они разны: у нас есть высшее тождество — тождество душ.— И ты влюблен, Саша, кто *она*, я подозреваю [2]. Но с чего ты взял, что я могу смеяться? зачем пишешь: «ни слова холодного»? Могу ли я смеяться над тем, чего мне недостает и в чем недостаток я глубоко чувствую. Не знаю, друг, что такое, но я не могу влюбиться; мне кажется, вкус мой или слишком испорчен, или то, чего я ищу, не существует. Я ищу красоту, наивность с пылкою и возвышенною душою, но нигде не нахожу, нигде. Ужели это невозможно? Ужели мой идеал так высок или человечество так низко! Но, может быть, еще я встречу этот идеал, и пустое место в душе наполнится. Пока мне предстоит другая деятельность. Друг! Чувствуешь ли всю высоту, всю необъятность этого слова: *поэзия*? Ей одной предан я; она — моя жизнь, моя наука. Еще ни к чему не привело меня рассуждение, но поэзия возвысила меня до великих истин. Она — моя философия, моя политика. Мое размышление — вдохновение. Я не рассуждаю, но

ЭКЗЕМПЛЯР «ИСТОРИИ МАЛОЙ РОССИИ» Д. Н. БАНТЫША-КАМЕНСКОГО (ч. I), ПРИНАДЛЕЖАВШИЙ ГЕРЦЕНУ

На книге автографическая надпись Герцена, 1832 г. Литературный музей, Москва

чувствую. Итак, я требую от себя деятельности поэтической. Следовать за идеями, которые открываются мне во время вдохновенья, неутомимо за ними следовать, созидать, творить, быть в непрерывном восторге — вот чего я хочу. Теперь всё возвысилось в моих глазах, человечество облагородилось; вся эта мелочь людская будто растет; из нее делается что-то великое; целый мир новых людей, исполняющих высочайшие требования, открыт передо мною; в этом мире живу я, как пророк в будущем. Да, как пророк, потому что один взгляд на настоящее разрушит всё. Да зачем смотреть на настоящее? Закрой глаза, друг, ты увидишь что-то гадкое; пусть одна душа смотрит и чувствует. Не мешай ей, ради бога, ни слова о настоящем.— Но я, сын поэзии, предаюсь искусствам, и люди столпились смотреть на мои произведения; люди, которые понимают, что я хотел в них выразить. Я видимо говорю им об невидимом, чувственно об идеальном, и они благословляют посредника между небом и землею. И как радостно бьется сердце твоего друга! Эта слава — заслуженная слава, основанная на чистоте, на возвышенности души, она несравненна! О, если б действительность не противоречила! Но я приеду к вам и окружу себя искусствами. Еще мало, что мы чувствуем в душе поэзию; надобно разлить вокруг себя жизнь поэтическую. Наука (в вашем значении), стихотворство, музыка, театр, всё, что только возвышает человека до жизни творческой, всё должно жить вокруг нас и мы сами — зрителями и актерами. В цепи общей — *жизнь поэтическая* — соединяются все особенные цепи, ибо в ней заключаются все идеи, это высочайшее существование человечества, оно поведет его к высочайшей деятельности. О, когда-то я возвращусь к вам, когда-то в родном кругу друзей непринужденно полетаю мыслию, исполню прекрасные мечты, забуду скуку обыкновенного (commun) существования.

30 июля

Теперь я намерен кончить это послание. Надобно писать к Вадиму. С Лахтиным у меня сложная переписка о философии истории. Но я недоволен. Несколько писем — это слишком тесная рамка; мне хочется лучше и пространнее изложить то, что думаю об этом предмете, и если друзья мои одобрят, стану печатать. Философия истории — это величайший предмет нашего времени. Меня несколько задач занимают; их бы надобно ⟨запис⟩ать последовательно, но не знаю ⟨бу⟩дет ли возможно. Они явятся ⟨будт⟩о поэмы; вот они: 1) Пантеизм и деизм; 2) Философия истории; 3) Натурфилософия; 4) Онтология. Скажу теперь относительно первого, что я уже не пантеист, решительно нет, и с своей стороны прошу тебя *ни слова холодного*, если я думаю, что есть суще⟨ство⟩, которое *Творец*, а мир произошел во времени. См⟨отри⟩, как религиозная мысль развивалась ⟨в⟩ человечестве: до христианства — пантеизм, от христианства — деизм. Подумай об этом, это важно.

Я во время убийственной скуки, которая снедала меня, прочел «Вильгельма Телля». Друг, если ты давно не читал его, р⟨ади⟩ бога, прочти *, и читай ча⟨сто⟩, как можно чаще. Эта пьеса представляет эпоху кризиса. Ах! что я чувствовал, когда читал ее, ты не можешь себе представить; ты поймешь, когда перечтешь еще раз, особенно же в минуту ожесточения, досады, ненависти.

Но всё это мысль разрушения! Мне уже хочется созидать; из ⟨об⟩щих начал моей философии истории должен я вывести план ассоциации. Fourier я еще не прочел, но прочту, может быть, сегодня.

Прощай друг! пиши чаще, поддерживай мое существование, разумеется, ⟨дух⟩овное. Вот тебе еще маленькая пьеска; она была написана при ⟨вос⟩хождении солнца в прекрасное ⟨ут⟩ро:

---

* *От слова* прочти *до конца абзаца текст подчеркнут в Следственной комиссии.*

В душе столпился ряд видений;
Мои все тайные мечты,
Все грезы пылких размышлений,
Душевной дети полноты,
Несутся ясно предо мною,
И резким светом мысль горит.
Всё постигается душою,
И всё ей внятно говорит.
Озарены леса, поляны
Роскошной утренней зарей,
Восходит пышно день румяный,
Приветно светит над землей.
Какой-то дух здесь обитает!
Внезапно мысль просветлена,
Вся тайной божества полна,
Вселенной душу постигает[3].

Теперь, прощай! Бок у меня сильно болит. Прощай.

Твой Н. Огарев

Скажи Лахтину и Вадиму — у меня письма начаты, но у нас вздумали почту отправить ранее обыкновенного, и я не успел докончить.

Письмо печатается по двум разъединенным частям подлинника. Первая часть — датированная 29 июля — автограф ЛБ. Г.— О. VIII. 5, лл. 1—2; вторая часть — продолжение письма, датированное 30 июля—автограф ЦГИАМ, ф. III Отдел., 1-я эксп. Приложение № 84 к д. № 239, лл. 137—138. Первая часть по ошибке была принята за полный текст письма от 29 июля 1833 г. и опубликована в № 7 «Русской мысли» за 1888 г.

[1] Алексей Козьмич *Лахтин* (ум. 9 сентября 1838 г.)— друг Герцена и Огарева, их университетский товарищ, разделявший свободолюбивые устремления герценовского кружка. В 1834 г. был привлечен по делу кружка и выслан в Саратовскую губернию. Из упомянутой в тексте письма Огарева «сложной переписки» с Лахтиным «о философии истории» сохранилось лишь одно письмо (от 28 июня 1833 г.), публикуемое в следующем томе «Лит. наследства» (см. вступительную заметку к наст. публикации).

[2] Огарев имеет в виду Людмилу Васильевну Пассек — предмет юношеского увлечения Герцена («Гаэтана» — в его собственном рассказе об этой любви). См. XII, 429—430 и Т. П. Пассек. Из дальних лет, т. I. М., 1878, стр. 409—412; т. II. М., 1879, стр. 7, 20—22.

[3] Стихотворение «В душе столпился ряд видений...» до сих пор не было известно.

5

⟨Село Чертково.⟩ Августа 26[1] ⟨1833 г.⟩

Сейчас сидел я на крыльце. (Начало странное — да что ж делать, если я в самом деле сидел на крыльце?) Небо ясно. Тепло и тихо. Вид на огромные пруды, которые кажутся рекою, очарователен — по крайней мере в эту минуту. Душа расположена ко всему изящному. Герцен! Сколько мыслей толпятся в голове. Слов недостаточно. Они слишком определенны, чтобы выразить неопределенное. Герцен! Не правда ли, она высока — жизнь художника? Я выше ничего не знаю. Божественная жизнь! Божественная? — да, я не ошибся. Бог живет жизнью художника. Ради всего святого, не смейся над этой мыслью. Я не могу себе иначе представить творения. Бог хотел выразить идею самого себя в формах вещественных. Это величайший акт художника-поэта. Друг! не смейся, не смейся. Если это ложь, заблуждение — оставь мне его, не выводи из него; я с этой мечтой чувствую какую-то новую жизнь. Если б я был живописец!.. Я бы нарисовал человека, прикованного к земле. Он глядит на небо, чистое, спокойное. Тысячи призраков перелетают в голубом воздухе — толпы

ангелов прекрасных—высоко, высоко над всем видимым миром—их взоры светлы, как мысль, их жизнь духовная. И посмотри на юного человека. Небесная радость смешалась в лице его с горестью. Как хорошо это небо, а он весь земной, прикован к земле. Друг! Друг! Какая картина! Зачем с моей душой странным противуречием соединилась неловкость телесная? Почему рука не умеет владеть кистью? Зачем пальцы не двигаются, когда я сижу за фортепьяно? Зачем рифма не клеится, когда я пишу стихи? Жалкое, убийственное противуречие! Неужели все мысли, от которых голова разгорается, не выразятся наружу? О! как оно верно, состояние моей картины! Ужасная истина! Герцен! твое присутствие становится мне необходимым. Твоя душа мне необходима. Кому скажу я всё, что волнуется в душе? Я хочу быть живописцем. Это очень приятное препровождение времени. Я хочу быть музыкантом. Это очень приятно в обществе. Больше я ничего не добьюсь от этих людей. Никто не заглянет в мою душу. Они боятся сильно чувствовать. Они назовут меня безумным. Герцен! Спаси меня от этой несносной борьбы. Напиши мне, по крайней мере, что-нибудь, что бы меня растрогало, что бы взволновало всю мою внутренность. Я буду покойнее. Боже мой, боже мой! Что это за существование! Земля, небо, ад — всё тут, всё!

Ach Herre Gott, ach Herre Gott,
Erbarm' dich doch des Herren!*[2]

Герцен! Я хотел писать много, но не могу. Сильный переворот во всем моем существе. Душа — un champ de bataille**. Идеи и факты, факты и идеи сражаются. Что все труды мои, ночи, проведенные в мечтах, что вся эта поэзия души, когда одно происшествие[3] остановило полет мысли и принесло с собою сомнения и горести. Над кем, бишь, в древности висел меч на волоске, между тем как он утопал в наслаждениях[4]— это я, это изображение моего состояния. Больше я писать не буду, объя<сню> всё это, когда мне вздумается. Если с буд<ущей>— почтой удастся написать — хорошо, а нет — так и не стану, потому что я скоро уезжаю в Москву. Прощай.

Твой Н. Огарев

Скоро увидимся, больше не пиши ко мне, я послезавтра (30 ав<густа>) еду.

На обороте: Его благородию милостивому государю
Александру Ивановичу Герцену.
В Москве. В Старой Конюшенной, Власьевском переулке,
в доме г-на Яковлева под № 166.

Почт. шт. 29 авг. 1833. Пенза

Автограф. ЦГИАМ, ф. III Отдел., 1-я эксп., Приложение № 84 к д. № 239, лл. 135—136. Строки письма от слов «Что все труды мои» до слов «он утопал в наслаждениях» подчеркнуты карандашом в Следственной комиссии.

[1] Ср. в конце письма слова «я послезавтра (30 ав<густа>) еду». Очевидно, письмо было лишь начато 26 августа, а отправлено через два дня — 28-го.

[2] Цитата из стихотворения Гёте «Kenner und Enthusiast» («Знаток и энтузиаст»), пер. Н. Н. Вильмонта.

[3] Огарев имеет в виду известие об учреждении над ним секретного полицейского надзора. Имя Огарева было упомянуто в перлюстрованном письме Я. Костенецкого, осужденного по делу Сунгурова, что и дало повод для установления надзора.

[4] Огарев вспоминает легенду о Дамокле.

---

* Ах боже мой, ах боже мой, будь сударю судьей! (нем.).

** поле битвы (франц.).

II. «АКШЕНСКИЙ ПЕРИОД» (1846—1851)

Публикация Ю. Красовского

Бразды правленья взял я в руки,
Изгнав уныние, как грех,
С надеждой юной на успех,
С запасом мыслей и науки,
Желаньем лучшего томим,
С тем уважением прямым
К лицу, к его правам, свободе,
Которое хотел вселить в народе,
Я думал — барщины постыдной
Взамен введу я вольный труд...

(Огарев. «Деревня»).

Публикуемые 33 письма Огарева к Герцену охватывают хронологически небольшой, но важный период в жизни Огарева, который условно можно назвать «акшенским периодом» его биографии. Огарев вернулся в Россию из своего второго заграничного путешествия в начале марта 1846 г., а в самом конце октября того же года, «простившись надолго с Москвой», он уехал в свое пензенское имение Старое Акшено, где и провел, с небольшими перерывами, почти все время до 1851 г. В январе 1847 г. уехал за границу Герцен с семьей.

Таким образом, в основном, публикуемая переписка велась между Огаревым и Герценом из очень отдаленных географических точек: пензенского провинциального захолустья и европейских столиц — Парижа и Рима.

«Акшенский период» жизни Огарева характеризуется не только усиленной образовательной и научно-теоретической работой, но и, в первую очередь, энергичной практической деятельностью, попытками осуществить давно лелеемые «задушевные экономические проекты» радикального улучшения быта своих крепостных крестьян.

В личной жизни Огарева (в конце 1844 г. он окончательно разошелся с первой женой — Марьей Львовной) «акшенское» пятилетие также имело важное значение: в этот период зародилось и окрепло его новое большое чувство — к Наталье Алексеевне Тучковой.

«Акшенское» пятилетие, проведенное Огаревым в разлуке с Герценом, явилось убедительным доказательством их постоянной идейной близости и одновременно большого общественно-политического роста Огарева, не отставшего от друга в своем идейном развитии. В этот период, начавшийся известным «теоретическим разрывом» с Грановским как с выразителем либеральной линии в русском просветительстве сороковых годов, Огарев делает дальнейшие шаги к революционно-демократической идеологии и материалистической философии. Пятилетие заканчивается вторичным, кратковременным арестом Огарева, крахом его реформаторской деятельности в деревне и попытками нелегального отъезда из России за границу к Герцену в эмиграцию.

«Акшенский период» своей жизни Огарев, которому в 1846 г. исполнилось 33 года, начинает в полном расцвете жизненных сил, в сознании своего идейного и творческого «совершеннолетия». Он полон стремления осуществить широчайшие планы, полон жаждой практической деятельности. 7 июня 1847 г. Огарев пишет Герцену: «Я чувствую откровенно, что я молод, не той первой чудесной молодостью, которая так много ждет, так много фантазирует и которая была так непосредственно хороша, несмотря на все нелепости поступков и страстей, что я ее вспоминаю с любовью и, сознавая, не стыжусь тысячи глупостей и горечей и не раскаиваюсь в них; но я молод именно тем, что моя первая молодость *совершенно* прошла, а силы мои нисколько не утратились, но сосредоточились и стали развиваться в сфере действительности, в положительности фактов». В письме от 8 июля 1847 г. Огарев говорит о том, что

«совершеннолетие юнее и свежее молодости да и энергичнее...» В сознании Огарева его отъезд в Акшено знаменовал собой новый этап в его жизни.

Огарев ехал в деревню — на несколько лет — для достижения той «цели», о которой сказал словами героя своей автобиографической «повести» конца 1840-х гг.— «Деревня»:

Устроить в стороне родной
Хоть этот мирный угол мой
Так, чтоб в нем мог себя поздравить
С свободой прочной селянин,
Деревни вольной гражданин,
Вот всё, чего ищу...

При достижении этой цели Огарев рассчитывал, прежде всего, устранить главное противоречие своей тогдашней жизни: противоречие между своими убеждениями демократа и утопического социалиста, горячего противника крепостнического рабства, с одной стороны, и своим положением помещика, обладателя (после смерти отца в 1838 г.) нескольких тысяч душ крепостных крестьян. Как остро переживал Огарев это противоречие, видно, например, из его письма к Герцену от 14 февраля 1845 г., в котором он писал: «Друг! Чувствовал ли ты когда-нибудь всю тяжесть наследного достояния? Был ли у тебя когда-нибудь горек кусок, который ты кладешь в рот? Был ли ты унижен перед самим собой, помогая бедным — на чужие деньги? Как глубоко чувствуешь ты, что только личный труд дает право на наслаждение? Друг! Уйдем в пролетарии. Иначе задохнешься».

Известно, что желание Огарева избавиться от «тяжести наследного достояния» не осталось в пределах «благих порывов». Одним из первых актов «помещичьей» деятельности Огарева явилось освобождение, за небольшой выкуп, всех крепостных крестьян принадлежавшей ему крупнейшей вотчины — Белоомут Рязанской губернии.

Отпуск на волю 4000 крепостных крестьян с передачей им всей помещичьей земли явился смелым вызовом не только помещикам-крепостникам Рязанской губернии, где это событие возбудило много шума, но и всему крепостническому строю. Но осуществленное Огаревым «освобождение» не дало тех результатов, на которые он рассчитывал. Белоомутская вотчина являлась оброчным имением без усадьбы и барской запашки. Это обстоятельство способствовало тому, что в Белоомуте выделилась сильная верхушка деревенских богатеев-толстосумов, плативших оброк за неимущих, эксплуататорски пользуясь за это их наделами и личным трудом. При освобождении выкуп лег, из-за неопытности Огарева, преимущественно на тех же богатеев, вследствие чего бóльшая часть малоимущих крестьян и бедняков сделалась их неоплатными должниками, попав к ним в полную кабалу.

Хотя освобождение крестьян Белоомута закончилось (оно длилось ряд лет) несколько раньше того времени, к которому относятся публикуемые письма, но и в них мы находим отзвуки этого события. По дороге в Акшено Огарев заехал в Белоомут, желая непосредственно увидеть и изучить результаты освобождения. И тут, в беседах с «обеими партиями» крестьян — с богатыми и бедными, Огарев имел возможность еще раз и наглядно убедиться, что примененный им способ облегчения жизни крепостного крестьянства оказался несовершенен. Белоомутские крестьяне стали лично свободными, но в экономическом отношении произошло еще большее расслоение: малоимущие стали беднее, зажиточные — богаче, а в общем уровне их жизни не произошло, с точки зрения Огарева, особо существенного прогресса.

Несомненно, что неудовлетворительные результаты белоомутского опыта в значительной мере предопределили для Огарева необходимость выработки того нового плана ликвидации крепостного уклада в остальных его поместьях, с которым он явился осенью 1846 г. в Старое Акшено. О своих намерениях Огарев тогда же писал в автобиографических строках стихотворной повести «Господин»:

Решил он, что пора пришла,
Чтоб дело делать в этом мире:
Начать воспитывать крестьян,

В их нравах сделать улучшенье,
Зерно ума и просвещенья
Посеять в глушь далеких стран
Решил — и в путь пустился дальний,
В свою деревню — край печальный!

Новый план Огарева предусматривал совсем другой порядок освобождения. Оно должно было начаться с широких подготовительных мероприятий:

хлопочу
Дать *почву* вольности народной,—

тогда же писал Огарев в своей «Деревне» (курсив наш.— *Ю. К.*).

Такой «почвой» должно было явиться, по мысли Огарева, приобщение крепостного крестьянина к свободному *вольнонаемному* труду. В этих целях Огарев, прежде всего, намеревался ликвидировать в Акшене, а затем и в других своих имениях, барщину и предоставить крестьянам (за небольшую аренду в виде платежей долга в Опекунский совет) вести на обрабатываемой ими земле *самостоятельное* хозяйство. В этих же целях Огарев намеревался превратить собственное хозяйство в своего рода *показательную ферму*, а также построить на своих землях *фабрики и заводы*. Ферма, фабрики и заводы должны были всецело обслуживаться *вольнонаемным* трудом крестьян. В письме к Грановскому от 25 апреля 1847 г. Огарев писал, подводя итоги первого полугодия своей деятельности в Акшено: «Хозяйничаю! Ты подумаешь, что я шучу. Нет, саго, вовсе не шучу. Я надеюсь — *ибо поступаю совершенно чистосердечно* — к будущей осени устроить так, чтобы у меня была большая ферма, а мужики остались бы совершенно сами по себе, на земле, ныне ими для себя обрабатываемой, платя долг в Совет. Это я надеюсь устроить через год (т. е. почти полтора) здесь; а через три года во всех моих доменах. Ergo, это не игра, которая не стоит свеч, и ergo я совершенно отказался от продажи. А впоследствии, ничуть не изменяя весьма задушевному убеждению, буду *продавать* или внаймы отдавать или сам обрабатывать *ферму*. Дай только доказать всем и каждому на деле возможность этого, и тогда я доволен и могу ехать в Москву и дальше с убеждением, что сделал дело» («Звенья», I, стр. 125).

Огарев настолько был увлечен идеей превращения помещичьей усадьбы в сельскохозяйственную ферму с вольнонаемным трудом, что склонен был, на первых порах, усматривать в ферме «норму всего будущего устройства русского» (см. публикуемое письмо от 20 апреля/2 мая 1847 г.). «Ферма,— утверждал Огарев,— подвинет успехи земледелия быстро, а между тем, дав ценность труду, возвысит цены произведений и увеличит и производительность и доходы...» (там же).

Интересно отметить, что Огарев в это время был совершенно чужд той идеализации общины, которая была присуща ему в более поздние годы. «Наша община есть равенство рабства», — писал он в своем проекте народной политехнической школы.

Внедрение вольнонаемного труда в среду крепостного крестьянства Огарев пытался, как сказано, осуществить не только при помощи фермы, но и путем устройства в Акшене и в других своих владениях заводов и фабрик. Фабричный вольнонаемный труд, по его мнению, должен был сыграть решающую роль в изменении *психологии* крестьян, в освобождении их *сознания* от элементов пассивности, привнесенных веками крепостнического рабства. Фабрики, вместе с фермами, по убеждению Огарева, должны были благотворно повлиять на общее развитие материального и духовного быта крестьян его имений.

Письма Огарева испещрены всевозможными экономическими выкладками и расчетами, которые, как он был уверен, убедительно доказывали правильность его хозяйственных проектов и полную возможность их осуществления. «Тебе странно видеть меня в промышленной деятельности,— обращается он 20 октября 1847 г. к Герцену,— мне самому странно. Но я чувствую, что я на месте покуда и прошу верить мне ради моего чистосердечия, поддержанного просто цифирными законами...». «Расчеты мне стали яснее. Возможность привести в исполнение задушевные экономические проекты яснее. Тут две вещи нужны: время и деньги...»

Денег для столь кипучей «промышленной деятельности» понадобилось много, и Огарев не только истратил все свои наличные средства, но вынужден был сделать крупный заем у Герцена. Кроме того, им владела уверенность в том, что средства, вложенные в дело, будут оборачиваться быстро и скоро приведут его к «обогащению». «Пленипотенциарий, агроном и заводчик»—по шутливой характеристике Герцена,— Огарев стремится показать в письмах к Герцену свое превращение из мечтателя-утописта в хозяйственника-практика. Человек, никогда не знавший счета деньгам, относившийся к ним с полным равнодушием, он хлопочет «о приумножении капитала», о «приобретении огромных средств»,—все это, конечно, не в корыстных целях, не для личного пользования, а для реализации своих «многообещающих» экономических проектов, в основе которых всегда лежала мысль об общественной пользе.

И хотя русская крепостническая действительность никак не могла служить источником для такого «экономического» энтузиазма, а соседи-помещики открыто демонстрировали свою враждебность к антикрепостническому и антидворянскому «реформаторству» Огарева, он был в 1847—1848 гг. полон веры в правоту своего дела.

Из всех трудностей, стоявших на пути реформаторской деятельности Огарева, едва ли не более всего его огорчало недоверие к его просветительским опытам со стороны самой крестьянской массы. «Для собственных ⟨крестьянских⟩ выгод мне надо систему барщинной работы свести на систему заплатного труда,— писал Огарев Е. Ф. Коршу 28 июня 1847 г.,— и это никак не ложится в мужицкие головы...» (сб. «Помощь голодающим», М., 1892, стр. 521). Глубоко убежденный в правоте своего дела Огарев был готов весь свой широко задуманный план «привести в исполнение насильно».

Понятно, что на него находили и минуты сомнений, однако и легко преодолевавшиеся им на первых порах. «Если не устоишь против скуки, отвращения, горя, которыми охватывают стычки с упорной косностью и невежеством,— разумеется, бросишь хозяйство и уедешь из деревни, чтоб никогда уже в нее не заглядывать,—писал он в письме от 26 июня 1847 г.—Такие минуты находят нередко; недостаток помощников ⟨...⟩ отнимает силу, горько бывает, но я решился выдержать все во что бы то ни стало — и убежден в пользе результата».

Крушение хозяйственных проектов Огарева и связанных с ними просветительских иллюзий наступило позднее, уже после 1849 г.; оно было вызвано прежде всего его предпринимательскими неудачами и, как следствие, денежным крахом; некоторую роль сыграли и важные перемены в его личной жизни. Конечно, попытка Огарева создать для своих крестьян, в условиях еще непоколебленного крепостнического строя, «почву вольности народной» была заранее обречена на неудачу. Это была просветительская экономическая утопия. Субъективно Огарев исходил в своих планах социально экономических и культурных преобразований в Акшене из широких просветительских идей:

Он захотел нелицемерно
Познанье, ум и жажду дел
. . . . . .
К тому направить, чтоб село
Его трудилось и цвело,
Чтоб грамоте учились дети
И мужики умнели бы без плети.

(«Деревня»)

Идея «блага народного» лежала в основе всех его проектов. Но объективно пропаганда сельскохозяйственной фермы являлась своеобразным отражением и преломлением в сознании Огарева тех буржуазно-аграрных требований, которые начинали предъявляться к крестьянскому хозяйству всем ходом исторического развития страны.

Хозяйственная и культурная деятельность Огарева в Акшене — замечательный памятник русского просветительства 1840-х гг.—заслуживает самого пристального

внимания и ждет своего исследователя-специалиста. Публикуемые письма дают для такого изучения богатый материал.

В публикуемых письмах нашли отражение и усиленные научные занятия Огарева. Огарев изучал самые разнообразные области человеческого знания, хотя более всего его интересовали «положительные», «практические» науки: медицина и физиология, химия и физика, геология и палеонтология. Изучение этих наук, по мысли Огарева, должно

ОГАРЕВ

Рисунок Х. Рейхеля 1842 г. в альбоме, подаренном Огаревым Герцену
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

было создать серьезный научный фундамент для его практической деятельности. Он ставил перед собой задачу глубоко овладеть научными знаниями, стать специалистом. В одном из своих писем он пишет: «Еще год, два, и я убежден в прочной специальности» (письмо от 3 января 1849 г.). Но Огарев не только читал десятки и сотни книг, не только производил практические опыты по физиологии и химии, т. е. сам занимался наукой. Он пытался привить интерес к знаниям и крестьянам. Об этом говорит его известный проект политехнической школы.

В стремлении Огарева изучить естественные науки существенна еще одна сторона. Огарев сам рассматривал изучение естественных наук как основу для выработки

последовательного материалистического мировоззрения, как противоядие против идеализма. В уже цитированном письме от 3 января 1849 г. Огарев о своих занятиях «положительными» науками пишет: «... в этой специальности меня все привлекает — и самый предмет, и то, что *она самый крепкий бич романтизма*» (курсив наш.— *Ю. К.*), а романтизм в понимании Огарева означал идеализм и противопоставление его реализму, материалистическому взгляду в науке и общественной жизни. Спасение «людской породы» Огарев видел в «реальнейшем реалитете» (письмо от 3 февраля 1849 г.). То обстоятельство, что в «акшенский период» жизни Огарев усиленно изучал естественные науки, надо рассматривать, как доказательство его стремления оформить свои материалистические взгляды, стремления создать прочный фундамент для своего философского мировоззрения, Огарев выступает уже в эти годы представителем русской материалистической философии.

Нельзя сказать, чтобы акшенский период оказался очень благоприятным для литературного творчества Огарева: написано было им сравнительно немного. Но судя по письмам 1847 г., на первых порах пребывания в деревне у Огарева возникали многочисленные литературные планы. 3 января 1847 г. Огарев писал Герцену: «Из всех предыдущих и настоящих опытов понемногу составляется в голове драма. Ты не можешь вообразить, как мне трудно к ней решительно приступить. Все кажется то или другое необдуманно и неполно. На несколько страниц пошло и опять сѐло Здешние впечатления дали мысль писать мужицкие рассказы (тоническим размером) <...> Потом повесть, которая идет ужасно легко». В мартовских и апрельских письмах встречаются частые упоминания о работе над романом в стихах и драматической поэмой. Но вскоре упоминания о стихотворных замыслах совсем исчезают из писем Огарева; позднее несколько строк он посвящает своим статьям на экономические темы. В «акшенский период» написаны цитированные выше стихотворные «повести» «Деревня» (отрывок) и «Господин». Публикуемые письма дают много материала для комментирования автобиографических страниц этих повестей.

Интересно высказывание Огарева о романе Герцена «Кто виноват?» Огаревская критика Бельтова — еще одно выступление русского передового человека конца сороковых годов, идейного соратника Белинского, против романтизма и «лишних людей», утверждающее активное, реалистическое и оптимистическое отношение к миру. «Бельтов — больной человек,— пишет Огарев.— Иначе он бы рассчитывал свою силу и объект деятельности и нашел бы среду, где бы мог развернуть ее <...> Я думаю, неумение отыскать самого себя в мире при огромном чувстве самобытности составляет последний фазис нашего романтизма» (письмо от 9 июля 1847 г.). В этом же письме Огарев пишет о «глупости» романтизма, который «прячется от живого понимания личности». Весьма примечательны и некоторые другие высказывания Огарева по вопросам, не связанным с основной тематикой публикуемых писем. Таковы, например, очень интересные замечания Огарева по поводу скептицизма Герцена (письма №№ 17, 22 и 24), отклики на книгу Прудона «Экономические противоречия, или Философия нищеты» (письмо № 30) и др.

В начале пребывания Огарева в акшенской деревне он не замечал своего отрыва от столь привычной для него обстановки напряженных идейных споров в московских содружествах и кружках. Но уже в письмах 1847 г. начинают прорываться нотки тоски и одиночества. «Совершенно ли мне хорошо одному — это другой вопрос,— читаем в письме от 20 июня.— Иногда очень тяжело. Чувство одиночества тем более тягостно, что не только мое наслаждение одиноко, но даже вся моя деятельность одинока».

Особенно ощутительно для Огарева было отсутствие Герцена. Уже его отъезд за границу возбудил в нем «чувство глубочайшего одиночества». Позднее, в письмах 1847—1849 гг., Огарев постоянно спрашивает Герцена о его тогда еще возможном возвращении в Россию. При этом Огарева ни на минуту не покидает уверенность в том, что его идейная дружба с Герценом, их общее понимание жизни, их единство в определении жизненных целей и задач никогда не будут нарушены, как бы ни сложились их личные судьбы. «Я думаю,— пишет Огарев Герцену 4 декабря 1848 г.,— мы и в оди-

накой настроенности и в одинаких убеждениях. В 20-й раз замечаю, сего mio, *что наши жизни так ровно идут, что если бы нас развели на концы мира и свели бы через чёрт знает сколько лет, мы всё же нашли бы, что одинаково перешли одинакие ступени и очутились у тех же результатов*» (курсив наш.— *Ю. К.*).

Особенно трудно было Огареву без дружеской поддержки Герцена в последние годы акшенской жизни, когда, с одной стороны, он переживал крах своих задушевных экономических планов, с другой стороны, в его личной жизни происходили большие осложнения, связанные с тяжбой против него Марьи Львовны и с его отношением к Наталье Алексеевне Тучковой.

«За одну минуту с вами ⟨Герценом и Натальей Александровной⟩ где-нибудь на берегу озера,— читаем в последнем из публикуемых здесь писем,— мы бы ⟨Огарев и Тучкова⟩ отдали все остальные годы... Ведь вы у нас одни, которых мы любим и можем назвать своими...».

Действительно, несмотря на географическую отдаленность, Герцены являлись для Огарева единственными близкими людьми и в этот период. Напомним, что самый отъезд Огарева в Акшено был связан, в первую очередь, с тем напряженным положением в московском кружке, которое создалось в конце 1846 г. Как известно, кризис, приведший к распаду кружка, был вызван глубокими идейными расхождениями.

Говоря словами Огарева, «действительные узы порваны» были основательно, и, как видно из его писем, он сам хорошо отдавал себе отчет в принципиальности этого разрыва. «Чувство симпатии, перешедшее в антипатию или злобу ⟨...⟩, имеет корни действительные, — читаем в письме от 3 января 1847 г.— Это не только *оскорбление* мимоходное, которое забывается. Это не оскорбление даже, а просто расхождение в разные стороны. Вот отчего оно так глубоко въелось...».

Отдельные попытки возобновить дружеские отношения (в частности, с Грановским) положительных результатов не дали. Положение еще более обострилось после 1849 г., когда московские друзья резко отрицательно отнеслись к браку Огарева с Тучковой и создали вокруг этого брака и вокруг процесса об огаревском наследстве тяжелую и неприязненную обстановку.

Истории отношений с Натальей Алексеевной Тучковой посвящены, по сути дела, все письма Огарева 1848—1850 гг. Эти письма — необходимое дополнение к опубликованной в свое время в «Русских пропилеях» (т. 4) переписке Огарева с Тучковой. По этим письмам можно подробно проследить зарождение, развитие и расцвет большого чувства, полностью захватившего Огарева.

«Сердцем полон и живу десять жизней в минуту»,— характеризует Огарев свое состояние в одном из писем 1849 г. Эти же письма красноречиво рассказывают о той борьбе за свое счастье, которую пришлось вести Огареву. 1849 год был, несомненно, одним из напряженнейших годов в его личной жизни. Отказ Марьи Львовны дать развод и возбужденный ею судебный имущественный процесс сразу же создали для Огарева чрезвычайно тяжелое и почти безвыходное положение. Невозможность оформить брак с Н. А. Тучковой, на чем настаивал ее отец, преследования со стороны Марьи Львовны и нависшая угроза полного разорения, неприязнь московских друзей — все это тяжело подействовало на него. «*Жизнь наша имеет здесь такие трагические стороны, что их долго выносить сил нехватит*»,— пишет он в письме от 16 марта 1849 г. Единственный выход — побег за границу к Герцену. Но предпринятые попытки — через Одессу и Крым — оказались неудачными, и Огаревы вынуждены были вернуться в Акшено. Как известно, намерение Огарева не осталось тайной для властей и вместе с другими обстоятельствами повлекло за собой его кратковременный арест в 1850 г.

После 1850 г. мечты о встрече с Герценом еще более усилились: «...мы одиноки и крадем хорошие минуты у жизни,— пишет Огарев в своем последнем из публикуемых здесь писем,— да и хорошие-то минуты проникнуты скорбью ⟨...⟩ только одна мысль: к вам! жива, как и прежде, уцелела от общего разгрома». Встреча с Герценом осуществилась через несколько лет, когда в 1856 г. Огарев вырвался из тисков жандармского наблюдения и, получив, наконец, заграничный паспорт, поспешил к своему другу в Лондон.

Может показаться странным, что в письмах, написанных в период назревания революции 1848 г., не отразились общественные события тех лет и революционные настроения Герцена и самого Огарева. Объясняется это, конечно, прежде всего цензурными условиями. В письмах есть свой подтекст, свой эзопов язык. В особенности это заметно на письмах 1848—1849 гг. Письма Огарева этих лет внешне совершенно «благонадежны»: в них нет ни одного слова об усиливающейся реакции, об удушливой атмосфере николаевского режима и желании освободиться от него. Однако в письме от 9 октября 1848 г. мы находим многозначительную фразу о том, что для здоровья необходим «более теплый климат». Сопоставляя это замечание с позднейшей попыткой бегства Огаревых за границу через южные порты, можно сделать вывод, что мысль о бегстве родилась у Огарева еще до того, как начались осложнения связанные с его новым браком, и была продиктована соображениями общественного порядка. В письмах мелькают такого рода фразы: «Мы каждый в своем углу нетерпеливо переживаем всякую мерзость; личность оскорбляется...» (письмо от 4 декабря 1848 г.); или: «Делаю то же, что и все. Иногда мне хорошо, иногда скверно. Вообще утешительного мало» (письмо от 3 января 1849 г.). Все эти фразы имеют второй, утаенный, общественно-политический подтекст.

В письме от 12 сентября 1849 г. Огарев пишет: «Не то, что естественные науки, а более того — *иные науки* и любовь к вам влечет меня к вам» (курсив наш.— *Ю. К.*). Совершенно ясно, что Огарев в данном случае пишет о революционных событиях на Западе и о своем желании принять в них деятельное участие. Читая письма Огарева этих лет и не упуская из виду их утаенного подтекста, можно по-иному оценить часто встречающиеся фразы о тоске, отчаянии, тяжелой обстановке, относя их во многих случаях не за счет личных переживаний, а за счет политической атмосферы в стране в 1848—1849 гг. И в то же время важно отметить, что Огарев, находясь в условиях жесточайшей реакции и политического гнета николаевской России, не терял веры в лучшее будущее, в победу передовой революционной мысли. Об этом красноречиво свидетельствует следующая фраза в письме от 4 сентября 1849 г.: «...с каким бы страданием ни бился мозг в черепе, как каторжник в тюрьме, все же в нем столько жизни, что он не может не найти себе выхода».

Публикуемые письма Огарева к Герцену представляют существенный интерес для характеристики общественного и психологического облика Огарева сороковых годов. Впервые в научное исследование вводятся документы, разносторонне характеризующие этот период. Поверхностное знание акшенского периода жизни Огарева не давало до сих пор исследователям возможности понять *истоки* его революционного мировоззрения шестидесятых годов. Ведь несомненно, что именно *практическое знакомство с русской деревней*, с русской крестьянской жизнью позволило Огареву отбросить многие элементы юношеской романтики и книжного восприятия действительности. Годы, прожитые в Акшене, явились для Огарева теми годами, когда оформлялись его социально-политические взгляды и когда он усиленно работал над углублением своего философского мировоззрения.

Письма Огарева публикуются по автографам «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, ед. хр. 95).

1

Октября 8 ⟨1846 г.⟩. Москва

Посылаю тебе самый важный документ и доверенности, из которых увидишь, что делать; поспеши все это покончить, как можно скорее, и если для снятия запрещения (которого, кажется, не было сделано, о чем удостоверься аккуратно) нужно представить какие-нибудь деньги, то представь[1]. Григорий Иванович[2] денег не достал; я отдал из взятых у Софьи Федоровны[3]. Но они мне будут необходимы; распорядись так, чтоб я мог

их в скором времени, на какой-нибудь срок, получить здесь, иначе будет мне плохо; или сам по возвращении дай, или у Егор⟨а⟩ Ив⟨ановича⟩[4] возьми, но достань, а я всю сумму, т. е. 5 т⟨ысяч⟩, беру на себя.

Письмо твое из Новограда весьма меня потешило, и я уже джин не зову иначе как «практическое»[5]. Что ж еще сказать? M⟨ada⟩me[6] дурно не поступает. Здесь ужасно скучно. Я, как все дела приведу к концу, уеду ждать тебя в Соколово. А без тебя мне не хочется уехать[7]. Твой отъезд и мысль о том, что после расстанемся на годы, оставляет во мне какую-то пустоту или, лучше, чувство одиночества, довольно неловкое, и надо мне привыкнуть к нему. чтоб стать крепко. Юл⟨ия⟩ Карл⟨овна⟩ в воскресенье выходит замуж[8] Сат⟨ин⟩ отказался от крепких напитков. Барон[9] ходит ежедневно на службу. Но всё inter nos * попрежнему — неловко, но учтиво и с виду задушевно. Более писать нечего. Кое-что работаю con amore **. Есть надежда с делами устроиться выгодно. Пиши ко мне. Дело мое ты можешь кончить в 2 или 3 дня и, per l'amor di Dio***, не мешкай; а как Панаеву[10] нужно тут участвовать, т. е. идти вместе с тобою в граждан⟨скую⟩ палату, то тормоши его. Ты знаешь, что дело для меня важно. Что «Современник»?[11] Ну! Прощай! некогда.

Марья Федоровна[12] кланяется тебе.

На обороте: Герцену и все прилагаемые бумаги ему же.

Письмо адресовано Герцену в Петербург. Герцен выехал туда 1 октября 1846 г. хлопотать о заграничном паспорте.

[1] В этом письме, как и в последующих, речь идет об имущественных и денежных хлопотах, связанных с материальным обеспечением первой жены Огарева — Марьи Львовны рожд. Рославлевой. Огарев окончательно разошелся с ней в конце 1844 г.

[2] *Григорий Иванович* — Ключарев, поверенный И. А. Яковлева, а после его смерти — Герцена; ведал его денежными делами. Письма к нему Герцена см. в «Лит. наследстве», т. 39-40, 1941, стр. 195—243.

[3] *Софья Федоровна* — Каппель, владимирская знакомая Герцена.

[4] *Егор Ив⟨анович⟩* — брат Герцена.

[5] В письме от 3 октября 1846 г., написанном в Торжке, по пути из Москвы в Петербург, Герцен сообщал жене о своем попутчике-купце, из вольноотпущенных крестьян: «У него фляжка с вином, т. е. с водкой, и он угощает меня верст через пять, спрашивая: „не прикажете ли *практического*“. Советую передать это Огар⟨еву⟩» (IV, 416).

[6] Повидимому Огарев имеет в виду Марью Львовну.

[7] Герцен возвратился из Петербурга в Москву в конце октября 1846 г. и 30 октября проводил Огарева, который отправился в свое пензенское поместье Акшено.

[8] *Юлия Карловна* — Рейссиг, сестра Софьи Карловны Корш (см. примеч. 7 к след. письму), вышедшая замуж за В. Р. Ашинова.

[9] *Барон* — прозвище Н. Х. Кетчера.

[10] И. И. Панаев, так же, как и его жена, А. Я. Панаева, подруга Марии Львовны, был посредником в денежных отношениях между Марьей Львовной и Огаревым.

[11] В конце 1846 г. «Современник» перешел в руки Некрасова и И. И. Панаева.

[12] *Марья Федоровна* — Корш, сестра Е. Ф. Корша, близкий друг Грановского, Герцена и Огарева.

2

Суббота вечером ⟨2 ноября 1846 г.⟩. Коломна[1]

Беннет [2] избавил меня от малейшей неприятной минуты раскаянья в глупом поступке, догнав меня в Коломне, где я ночую. Ночую я потому, что темно и я устал, а дорога отвратительная. Переезд скучен. Но отъезд благоразумен. Мне даже и теперь как-то лучше, что вырвался из среды, весьма удушливой. Вчерашнее расставание было венцом всех нелепостей. Ну! да уж мы об этом говорили. А жаль мне, что ты остался один и всё

* между нами (лат.).
** с любовью (итал.).
*** ради бога (итал.).

в той же среде[3]. Я говорю — один, т. е. без меня. Наташа для тебя значит более, чем я, но я для тебя, все же, незаменим. Для меня вы оба и еще одно существо, с которым мои отношения очень близки, но не те, которых бы я желал,— нигде и ничем не заменимы[4]. Сухо и тяжело мне будет в одиночестве, но труд и отсутствие сплетни und des Unsinns * примирят меня с тем временем, которое я проведу в деревне. С послезавтра еще дней пяток предстоит мне тяжелая, не свойственная мне, но интересная работа. Это маленькое государство, называемое село Белоомут, наведет меня на много вопросов. Уже сегодня, говоря с одним мужиком из плебса, я вижу, что сладить будет потруднее, чем я думал, потому что трудно добраться до правды. Обе партии, богатые и бедные, лгут немилосердно. А кроме того нельзя оправдать ни тех, ни других, не наделав страшного вреда. Ну! коротко же придется узнать, что́ такое община![5]

Дело это мне шибко надоест — не моего ума дело. Потом еще скверная дорога дня в четыре приведет меня в Акшено. Тут я отдохну. Три вещи писать и три книги прочесть и кое-что поделать в анатомии и химии. Одну вещь напишу очень скоро, другие более продлятся. Новость ли положения, или в самом деле пробужденная потребность труда, но я нахожусь в припадке деятельности, так что голова сильно занята, несмотря на кочки, которые всякому порядочному человеку грудь бы отбили.

Ну! Прощай! Лягу спать. Завтра буду в Белоомуте; я только потому и писал к тебе сие послание, чтоб ты успокоился насчет Беннета и не ругал бы меня за записку из Бронниц[6]; а извозчику заплати; он вез Беннета верст 20.

Жму руку Наташе и Марье Федоровне. Скажи М⟨арье⟩ Ф⟨едоровне⟩, что шарф ее вылечил меня от кашля. Скажи Софье Карловне[7], что говядина, которую она мне прислала, поддерживает мое существование и заставляет часто прибегать к серебряному стаканчику, подаренному Наташей. Что ни кусок — всё кого-нибудь из вас вспомнишь и — поблагодаришь.

Если увидишь Нонче[8], то приласкай его.

Addio.

Пиши мне в Рязань, poste restante, если хочешь, я там буду через неделю и, ergo, буду иметь о вас известие, что́ мне будет приятно.

На обороте: Его высокоблагородию
Александру Ивановичу Герцену
В Москву
В Старой Конюшенной, на Сивцевом вражке,
в собственном доме, бывшем Яковлева.

Почтовые штемпеля:
Ноября 7 1846 г.
Москва ⟨10 ноября⟩ 1846 г.

[1] Письмо написано Огаревым по дороге в деревню, куда он отправился, выехав из Москвы 1 ноября 1846 г. Датируется на основании сопоставления с дневниковой записью Н. А. Герцен: «30-е, среда. Сегодня я ездила с Марьей Федоровной проститься к Огареву: он уезжает в свою пензенскую деревню и, может быть, надолго... Горько расставаться с ним,— он много увозит с собой» (IV, 436).

[2] Личность *Беннета* установить не удалось.

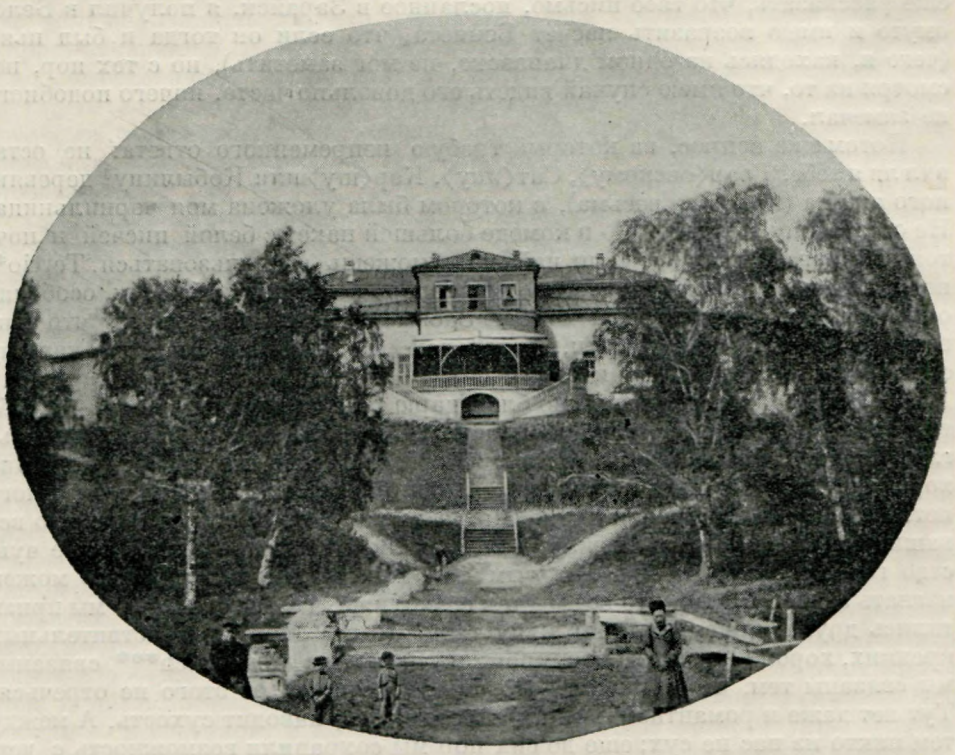
[3] Летом и осенью 1846 г. окончательно выяснилось, что в результате острых идейно-теоретических и политических разногласий между Герценом и Огаревым, с одной стороны, и Грановским, Боткиным, Коршем, Кетчером — с другой, их московский кружок распался. Огарев уехал первым, вырвавшись «из среды, весьма удушливой». В начале 1847 г. уехали за границу Герцен и Наталья Александровна. (О распаде кружка см. «Былое и думы» — XIII, 184—193.)

---

* и вздора (нем.).

[4] 11 ноября 1846 г. Н. А. Герцен записала у себя в дневнике: «Получили письмо от Огарева. Он пишет, что для него Ал⟨ександр⟩, я и еще одно существо нигде и никем не заменимы. У меня захватило дух, когда я прочла эту фразу ⟨...⟩ После Алек⟨сандра⟩ никого нет, кого бы я столько любила, уважала, никого, в ком было бы столько человечественного, истинного. Он грандиозен в своей простоте и верности взгляда. Мне тяжело бы было существовать, если бы он перестал существовать, и у Ал⟨ександра⟩ это единственный человек, вполне симпатизирующий ему» (IV, 439).

Еще одно существо — Евдокия Васильевна Сухово-Кобылина, «Душенька». Об «утаенной любви» Огарева к ней см. в наст. томе, стр. 648 и сл.



СТАРОЕ АКШЕНО. УСАДЕБНЫЙ ДОМ
Фотография В. Чернобаева, 1861—1862 гг.
Исторический музей, Москва

[5] В 1840 г. Огарев путем выкупной операции освободил с землею всех крестьян села Белоомут — самого крупного из имений, доставшихся ему после смерти отца. Однако проведенное освобождение послужило на пользу, главным образом, небольшой кучке белоомутских богатеев: они внесли выкупные деньги за себя и за некоторых из бедняков и тем самым закабалили их. Вместо картины идеальной крестьянской общины, о чем мечтал Огарев, перед ним предстала картина жестокой борьбы богатеев с бедняками («плебсом») (подробнее см. в наст. томе публикацию Е. Рудницкой «Из писем Огарева к М. Л. Огаревой»).

[6] Эта записка Огарева к Герцену неизвестна.

[7] *Софья Карловна* Корш (рожд. Рейссиг), жена Е. Ф. Корша.

[8] *Нонче* — кличка собаки.

3

Акшено. 18 ноября ⟨1846 г.⟩

Я приехал вчера разбитый, т. е. усталый с дороги, с головной болью и в великой agitation nerveuse *. Наконец, выспался und es ist mir behaglich **. У Тучкова[1] еще не был, потому что разными проселочными

* нервной возбужденности (франц.).
** и мне уютно (нем.).

путями попал прежде домой. Сегодня служил панихиду, это день именин моего отца[2]. Вид могилы и связанные с нею воспоминания всегда производят на меня странное впечатление, которое повторилось и на этот раз, несмотря на непогоду и пение двух дьячков в два разные полутона. Возвратясь с кладбища, я получил ваше четверостишие, которому был очень рад[3]. Мимоходом замечу, что хорошо ты сделал, что не писал в Рязань poste restante, потому что мимоездом я был только раз на почте, и именно в этот самый раз, когда я забыл спросить, есть ли ко мне письмы. Нужно еще рассказать, что твое письмо, посланное в Зарайск, я получил в Белоомуте и имею возразить насчет Беннета, что если он тогда и был пьян (чего я, находясь на одном диапазоне, не мог заметить), но с тех пор, несмотря на то, что имею случай видеть его довольно часто, ничего подобного не замечал.

Потом еще вопрос, на который требую непременного ответа: не оставил ли я тебе, Гран⟨овскому⟩, Сат⟨ину⟩, Кор⟨шу⟩ или Кобылину[4] деревянного ящика (простого весьма), в котором была уложена моя чернильница. Не оставил ли я у тебя ⟨?⟩ в комоде большой пакет с белой писчей и почтовой бумагой, которой, если найдешь, можешь воспользоваться. Tertio*, не забыл ли я в Москве еще чего, о чем теперь не помню? Обо всем, особенно о первом, дай немедленный ответ. Засим читайте на обороте, что мне вздумается написать. Кстати, о деньгах из казенной палаты напишу с следующей почтой, как и что.

Милая Наташа, удивительно благодарю тебя за письмо и за то, что тебе так хотелось писать ко мне. Напрасно ты извиняешься в этом; извиненье глупо, а письмо не глупо. Primo**, отвечаю тебе на слова: «Страшно хорошо, т. е. хорошо и страшно»[5]. Нет, оно просто хорошо, страшного нет. За будущность нашей дружбы я не боюсь. Одно скажу только: во все наши отношения теперь вошло — и едва ли пройдет — непобедимое чувство горечи. Даже и мы, которым так хорошо между собою, не можем изгнать задней мысли, что вот мы тем еще ближе, что мы одни, что мы приютились друг к другу, потеряв кучу — не то что снов, но действительных крепких, хороших надежд; что, кроме того, что мы wesentlich*** связаны, мы связаны тем, что мы одни. Это чувство горько, от этого не отречься. Тут нет даже и романтизма; оно, напротив того, наводит сухость. А между тем никто из нас не сух; еще до сих пор мы сохранили возможность с детской откровенностью бросаться на шею к людям, которые чуть нам покажутся симпатичными. Оно реже бывает, чем прежде, а бывает. Мы теперь стоим на весьма опасной точке — предстоит или сделаться сухими или затеряться. Из этого нас спасет весьма простое чувство, которое зовут (что по-русски довольно мудрено) гуманность. Наш Grundton**** — гуманность. Мы перестанем детски симпатизировать (что было благородно и глупо, а если глупо, то не гуманно); мы дадим каждому свое место в нашей любви, будем знать, насколько кому уважения, насколько снисхождения, насколько вражды. Гуманность есть сознание своих отношений к людям. Если у сознания, у разумности есть страсть — то это гуманность. Вести ее в жизни трудно, но если этот труд кто из нас не преодолеет, — addio carissimi,—погибнет совершенно или в натянутом самолюбии, или в натянутом буйстве. Почему я верю, что мы не погибнем, это я объясню тебе тем, что, во-первых, нахожу в нас больше элементов к силе, чем к гибели, а во-вторых, тем, что это моя религия. И, может быть, единственная; у Александра есть вера, по которой он симпатизирует с Аксаковым;

---

* В-третьих (итал.).
** Во-первых (итал.).
*** по существу (нем.).
**** основной тон (нем.).

у меня ее нет, да и довольно прокатиться из Москвы в деревню, чтоб дорога вытрясла остатки ее[6]. Вот это, в самом деле, страшно. Почему же ты думаешь, что я могу ошибиться в том, что я тебе писал? Почему ты думаешь, что я ошибаюсь в нашей внутренней силе? А это было бы одно и то же. Нет. Я не ошибаюсь, cara sorella*. Повторяю, это моя религия, да и твоя, да и его. Если бы одно чувство еще, о котором я тогда писал, во мне как-нибудь, по силе внешней необходимости, могло погибнуть, я бы совершенно был полон горечи, но и совершенно приютился бы к вам и жил бы еще дольше. Веришь ли, что для меня наши отношения не романтизм, а просто сознание? Да и *то* чувство во мне не погибнет, оно слишком ясно, определенно, живо и тихо. Нет, сестра, я чувствую, что еще не так-то легко поддамся чему-нибудь враждебному в жизни. А вопрос: почему ж ты меня не знала прежде, как теперь? Глупый вопрос; я сам знаю, что мы действительно познакомились в мой последний приезд из Соколова.

Ну! теперь ответ на твое письмо кончен, начинается рассказ. Я занял здесь одну половину дома — в длину, что составило восемь комнат, т. е. шагов шестьдесят с одного конца на другой. Нашел кучу книг, кроме тех, которые привез, отличное вино, фортепьяно, почти не пострадавшие от дороги (хотя по приезде и не были еще строены), и кучу нот, которых я почти не буду уметь разобрать. Но расскажи это Марье Федоровне и заметь ей притом, что имеются у меня бетховенские сонаты и симфонии, «Норма», «Лучия» и «Жидовка» и несчетное число вальсов. Также скажи Марье Федоровне, что я ее гораздо больше люблю, чем Нонче. Благодарю ее за отзыв о моем красноречивом молчании,— без шуток,— благодарю ее за то, что она меня любит, и принимаю это к сердцу. Писать ей буду на той неделе, когда возвращусь от Туч⟨ковых⟩, куда еду послезавтра. Работать я ничего здесь не начинал да и не начну до возвращения; а завтра весь день употреблю еще на устройство моего дома. Мебель я всю сосредоточил в двух комнатах, что не значит еще, чтоб в них было много мебели; зато в зале, напр⟨имер⟩, которая длиною (постой! смерю), длиною 16 квадратных шагов ⟨!⟩ — ни одного стула, ни стола и т. п.— ровно ничего, кроме стен, пола, потолка, окон, 6 дверей, 2 печей и камина. Фортепьяно и часть мебели — в гостиной, о которой Сатин может тебе повествовать. Другая часть в маленьком моем кабинете, где также камин и где мне очень хорошо. Остальные комнаты довольно пусты, но не малы. Освещение не так, как у вас на званом ужине, а 2 свечки в кабинете, 1 в гостиной и 1 в спальне.

Fratello! ** Опять остаюсь при своем мнении, что Санд[7] мешается в словах: 1) Не может он исключить из природы физиологического отношения в любви к женщине, и не думаю, чтоб люди сделали глупо, назвавши amour*** ту страсть, которая носит клеймо физиологического различия пола, и amitié**** ту страсть, которая его не носит. (Страсть, впрочем, глупое слово, аффект, т. е. внутреннее состояние, настроенность человека,— вот я что хочу сказать.) 2) Разумеется, всякий сознательный аффект кроток, как бы это выразить,— тих, не буен, но силен, а бессознательный дик,— вот и все различие. 3) Зачем дикость полагать в любви именно к куртизанке? Она гораздо яснее, резче может явиться в других положениях, точно так же и vice versa ***** der Gott und die Bajadera ****** — случай возможный и совсем не неразумный. Везде решают индивиды больше,

---

* дорогая сестра (итал.).
** Брат! (итал.).
*** любовью (франц.).
**** дружбой (франц.).
***** наоборот (лат.).
****** бог и баядера (нем.).

чем общественное положение или даже пороки. Впрочем, Санд, вероятно, так и понимает, да зачем же слова путать, когда иначе проще? Хотел было много распространиться на этот счет, да расхотелось. В другой раз.

И жаль и нет, что не видал Самарина[8]. Оно, впрочем, больше курьезно, чем утешительно.

Нельзя ли переслать «От⟨ечественные⟩ зап⟨иски⟩» да скажи Коршу, чтоб не забыл об «Allg⟨emeine⟩ Zeitung». Книги, которые, по моему предположению, мне будут нужны, я положил на почетное место, а остальные все pêle-mêle * в шкапу и закаялся до них дотрагиваться, чтоб не сбиться с нити. С конца будущей недели писать к тебе стану часто и много. Надеюсь, что все будет больше и больше о чем писать. Во избежание дел, к которым я не способен, я назначу на оные то время дня, когда я ничего своего не могу делать; тогда я буду разговаривать с бурмистрами, смотреть отчеты и всякие Scheine** творить и морочить добрых людей. А остальное время стану крепко заниматься. Надеюсь, что соседи меня избавят от посещений, хотя слухи носятся о противном, но постараюсь отделаться.

Marie[9] называет здешний дом радклифским зáмком; это сегодня в особенности не несправедливо, потому что ветер так и свищет. К несчастью, не могу сегодня настроиться à la Hoffmann. Брал ванну и чувствую себя так ясно и behaglich ***, что ничего не вижу в ветре, кроме залога продолжительной распутицы и весьма трудный переезд к Тучк⟨овым⟩ в Саранск и обратно.

Прощай, Александр, спать пора. Кланяйся всем. Скажи Грановскому, что он первый обещался ко мне писать, и я стану ждать. А жаль, что тебя здесь нет. Жаль, что ты там. Я боюсь, что заживусь здесь. А если бы вы были здесь и не подумал бы год выезжать. Делá выживут, вероятно, очень рано; надо их привести к концу; вижу, что иначе плохо.

Скажи Гран⟨овскому⟩, что он прав насчет управления у меня в имении, а обвинять в лукавстве нашего друга нехорошо. Адрес мой все тот же: Пен⟨зенская⟩ губ⟨ерния⟩, в г. Саранск.

Засим прощай! Дай руку. Еще скажи Мар⟨ье⟩ Фед⟨оровне⟩, что отвечаю ей столь же сильным рукопожатием. Ну! и всем кланяйся.

[1] Алексей Алексеевич *Тучков* (1800 — ок. 1879) — участник движения декабристов, сосед Огарева по поместью в Пензенской губернии, владелец имения Яхонтово, отец Натальи Тучковой, будущей второй жены Огарева, и Елены Тучковой, будущей жены Н. М. Сатина. В феврале 1850 г. подвергся кратковременному аресту, одновременно с Огаревым и Сатиным (арест был отголоском дела петрашевцев), после чего был выслан из Пензенской губернии и отдан под надзор полиции.

[2] Отец Огарева, Платон Богданович, умер 2 ноября 1838 г. и похоронен в Акшене.

[3] Это четверостишие, так же как письмо Герцена, упоминаемое Огаревым, неизвестно.

[4] Александр Васильевич *Сухово-Кобылин* (1820—1903) — известный драматург. См. в наст. томе публикацию писем Огарева к его сестрам Елизавете (в замужестве Салиас де Турнемир) и Евдокии.

[5] Цитируемое Огаревым письмо Н. А. Герцен до нас не дошло.

[6] В главе «Не наши» из «Былого и дум» Герцен отмечал, что К. С. Аксаков «в начале сороковых годов проповедывал сельскую общину, мир и артель...» (XIII, 148). Огарев считал, повидимому, что взгляды самого Герцена в ту пору были близки этой проповеди К. С. Аксакова. В действительности, вера в русское крестьянство по содержанию своему была совершенно различна у Герцена и Аксакова. «У нас была *одна* любовь, но не *одинакая*...» — писал Герцен в некрологе К. С. Аксакова. Что касается до Огарева, то он в начале сороковых годов после неудачи белоомутского освобождения настороженно относился к русской крестьянской общине.

[7] Речь идет о Жорж *Санд* (Sand). Какой именно из романов Ж. Санд послужил поводом для высказываний Огарева — установить не удалось.

---

* как попало (франц.).
** расписки (нем.).
*** уютно (нем.).

ГЕРЦЕН

Рисунок 1842 г. (?) в альбоме, подаренном Герцену Огаревым
Внизу помета: «(Новгород) Al. Herzen pag Филиппович»
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

[8] Юрий Федорович *Самарин* (1819—1876) — публицист и политический деятель славянофильского направления, последовательный монархист и националист.
[9] *Marie* — Марья Львовна.

4

Яхонтово. 21 ноября ⟨1846 г.⟩

Сейчас получил твое письмо от 16[1] и сейчас оправляется почта. Спешу сказать несколько слов. Поздравляю, поздравляю и поздравляю, я чуть не вскрикнул от радости. А потом, Герцен, стало мне неловко. Первая мысль, которая промелькнула,— это чувство глубочайшего одиночества. Хотя бы проститься! А мне кажется, что я постараюсь пробыть здесь до осени. Куда я еще поеду, зачем? Осенью я знаю, зачем я поеду, знаю, кого я хочу видеть. А теперь — не знаю[2]. Герцен! Приезжай, хотя один, недели на 2 в декабре. Путешествие 4 дни, с Мурома на Арзамас и Саранск и до меня 30 верст. Мне теперь глупо, и в деревне произведет дурной эффект, уехать в Москву, а из Москвы вдруг опять в деревню. Герцен, приезжай, *пожалуйста*! Рад я за тебя и не просто рад; новый опыт, брат, и через два года еще взгляд станет яснее. Добрый путь тебе. Пиши часто. Скажи, куда тебе писать, назначь маршрут. Да нет! Лучше приезжай!

Прощай, Наташа! Наслаждайся и понимай!

К будущей субботе приготовлю длинное письмо и вышлю свидетельство.

А⟨лексей⟩ А⟨лексеевич⟩ тебя крепко обнимает, Герцен.

Прощайте. Спешу. М⟨арье⟩ Ф⟨едоровне⟩ кланяюсь и скоро напишу.

На обороте: Его высокоблагородию
Александру Ивановичу Герцену
В Москву
В Старой Конюшенной, на Сивцевом вражке,
в собственном доме, бывшем Яковлева.

Почтовая помета: Саранск. 21 ноября.
Почтовый штемпель: ⟨18⟩46 ноября 25.

[1] Письмо Герцена к Огареву от 16 ноября 1846 г. до нас не дошло; несомненно, однако, что в этом письме Герцен сообщал о снятии с него полицейского надзора и о предстоящей поездке за границу.
[2] Уезжая из Москвы, Огарев, повидимому, обещал Герценам приехать через год, когда предполагалось их возвращение из-за границы.

5

Ноября 30-го ⟨1846 г.⟩. Яхонтово

Это письмо тебе доставит один из благороднейших людей — наш сосед Алексей Дмитриевич Желтухин[1]. Прими его откровенно дружески.

Вчера получил еще письмецо от тебя. Ты едешь 15-го генв⟨аря⟩! Заедешь ли прежде, или нет? Не ведаю. Мне хочется проститься, а ехать не хочется да и нельзя, я думаю; требуется много денег, верного расчета в известных делах, окончания подрядов. Конечно, я не делец, да надо видеть или, лучше, предвидеть, на что все окончательно сведется.— А ты приедешь ли? Герцен! Caro mio! прокатись 1200 верст, тебе ведь уж все равно путешествовать за един раз...

Я до сих пор у Тучкова, где пробуду еще неделю. До сих пор все пировал. Праздновали мое рожденье, рожденье старшей дочери Ал⟨ексея⟩ Ал⟨ексеевича⟩, был спектакль и бал. Я плясал два дня сряду почти без отдыху и даже веселился, как ребенок[2]. Вот все, что я до сих пор делал. Пока я здесь, в Акшене устраивают мою квартиру, свозят кой-какую мебель, etc., etc.; если ты приедешь, то все будет готово к принятию тебя.

Сегодня начну доканчивать одну начатую вещь, которая выйдет, кажется, недурна, и если ты приедешь, надеюсь кое-что показать тебе.

Всё прерывают. Решительно не могу писать. Разве ужо вечером. Завтра надо свезти письмо к Желтухину. Он славный человек. А Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ все такой же славный человек, и да погибнут всякие холопские клеветы.

Зачем же ты занимаешься слоновым хоботом, а говоришь, что рассматриваешь Мап-Монд?*[3] Дай руку, Наташа! Я думал, что получу большое письмо, но, видно, вы моих писем не получали, оных писем с тех пор, как

ДОМ НА УГЛУ СИВЦЕВА ВРАЖКА И МАЛОГО ВЛАСЬЕВСКОГО ПЕРЕУЛКА В МОСКВЕ (ТЕПЕРЬ № 25/9). ЗДЕСЬ С АПРЕЛЯ 1846 г. ПО 19 ЯНВАРЯ 1847 г. ЖИЛ ГЕРЦЕН

Фотография 1912 г.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

я в родных местах, двое! «Кланяться некому да и едва ли кому хочется» — я еще довольно — не то что романтик, а привязанный к ним, чтоб чувствовать какую-то царапину от этих слов; а, впрочем, все-таки, определив свои отношения, чувствую себя сильнее и свежее, хотя и уединеннее.

Надолго ли ты едешь? Увидимся здесь или где-нибудь в ином месте? Мой отъезд из здешней стороны, хотя не так проворно обделается, но и не замедлится. Здесь я не встретил на этот счет возражений и надеюсь дела окончить благополучно. Может, придется ехать тебя отыскивать впоследствии.

Однако ты подожди в Москве моего свидетельства, которое вышлется 5-го декабря и ergo, будет у тебя 10-го или 11-го. 15-го ты можешь выехать ко мне — следст⟨венно⟩, 19-го будешь у меня.

Буду писать к М⟨арье⟩ Ф⟨едоровне⟩ с сею же оказией. Вечером еще припишу. До свиданья!

---

* карту полушарий (франц. «mappemonde»).

1 декабря

Нет, никак не успел ни приписать, ни написать к М⟨арье⟩ Ф⟨едоровне⟩ с сею оказией, а изберу для того почту.

Прощай! Дайте руки, друзья.

Детей целую.

На обороте: Его высокоблагородию
Александру Ивановичу Герцену
В Москву
В старой Конюшенной, на Сивцевом вражке,
в собственном доме, бывшем Яковлева.

[1] Алексей Дмитриевич *Желтухин* (1820—1865)—помещик Пензенской губернии, сосед Огарева и Тучковых; актер-любитель, впоследствии публицист и издатель «Журнала землевладельцев» (1858—1860), стоявшего на страже дворянских интересов.

[2] Это пребывание Огарева в имении Тучковых описано Н. А. Тучковой-Огаревой в ее «Воспоминаниях» (М., 1929, стр. 55).

[3] Смысл этой фразы, являющейся откликом на не дошедшее до нас письмо Герцена к Огареву, неясен.

6

4 декабря ⟨1846 г.⟩. Яхонтово

Последнее известие от тебя, любезный друг Наташа, ошеломило меня. Лика умирает![1] Сожаление и злость — вот что наполняет мысли. Ну! а ты что? Пишите поскорей, пожалуйста. Жду с нетерпением завтрашней почты. Теперь мне уж нельзя ждать тебя в Акшено, Герцен? Чёрт возьми, как это всё нелепо!

Я провожу здесь мои именины и еду домой. Мне здесь не скучно, далеко не скучно, но одиночества хочется.

А писать не хочется,— теперь. Из Акшена напишу длинное письмо к вам и к М⟨арье⟩ Ф⟨едоровне⟩. Сегодня отправляется в Москву сосед наш Желтухин. Благородный юноша! Прими его хорошенько.

Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ тебе кланяется. Здесь такие курьезные дела производятся[2], что он и его секретарь должны были ими заняться, и взятие свидетельства поневоле еще отложилось до следующей почты.

Ваши руки! Прощайте!

Сатина с рождением поздравляю. Пиши. А приедешь ли? Ну! Я жду письма от тебя в большом волнении.

На обороте: Его высокоблагородию
Александру Ивановичу Герцену
В Москву
В Старой Конюшенной, на Сивцевом вражке,
в собственном доме, бывшем Яковлева.

Почтовая помета: 5 декабря.

[1] Годовалая дочь Герцена — Елизавета или, как ее называли, Лика, умерла 27 ноября 1846 г.; письма Герцена к Огареву об этом событии не сохранились.

[2] *Курьезные дела* — возможно, какие-то перипетии борьбы А. А. Тучкова с рекрутскими и другими злоупотреблениями помещичьей властью (см. «Воспоминания» Н. А. Тучковой-Огаревой, цит. изд., стр. 45—46).

7

7 декабря ⟨1846 г.⟩ Яхонтово

Вчера получил весть о смерти Лики[1]. Что сказать, carissimi? Вы сами знаете, какое это и на меня производит впечатление. Ты хотела меня видеть, Наташа... Меня это трогает, несмотря на то, что ничего тут нет для меня неожиданного. А мне вас обоих хочется видеть, но, кажется, это желание ⟨не⟩ состоится. В Белоомут ехать мне всё равно, что в Москву,

мне ехать дня три туда. Белоомут от Москвы 130 верст, а отсюда 500. Да дело в том, что мне ехать весьма неловко. Нужны деньги для завода и ⟨надо⟩ дождаться окончания закупок хлеба, что и будет уже поздно. А ко мне ехать всего 4 дня по хорошей (т. е. по большой) дороге. Знаю, что вам обоим едва ли можно предпринять путешествие (а если б можно обоим — куда бы хорошо было, мне как-то *романтически* хочется, чтоб вы были у меня в деревне), по крайней мере хотя бы Алекс⟨андр⟩ один приехал.

Сейчас еду в Акшено. — Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ едет в Пензу и во вторник вышлет тебе свидетельство. Доверенность Ив⟨ану⟩ Яков⟨левичу⟩[2] вышлю.

Спасибо Саше[3] за письмо, скажи ему, что Беннет, слава богу, здоров.

Прощайте!

Итак, сегодня буду опять в дедовском замке! Обнимаю вас от души. К середе напишу большое письмо.

Платки привези или пришли хоть по почте, они легки, ergo — не дорого.

На обороте: Его высокоблагородию
Александру Ивановичу Герцену. В Москву
В Старой Конюшенной на Сивцевом вражке,
в собственном доме, бывшем Яковлева.

Почтовые пометы:
Саранск, 8 декабря
⟨Москва⟩ 46, декабря 12.

[1] Это письмо Герцена неизвестно.
[2] *Ив⟨ан⟩ Яков⟨левич⟩* — Яковлев, поверенный Огарева.
[3] *Саша* — сын Герцена.

8

10-е ⟨11-е⟩ декабря ⟨1846 г.⟩. Акшено

Хотя написано 10-е, но пишу 11-го. Вчера, надписав число, задумался, пошел бренчать на клавире и так забылся, что лег спать только в 3-м часу, не написав вам ни строчки. Теперь должен спешить. Во-первых, потолкуем о самом важном — как свидеться? Ты говоришь, что мне ничего не стóит вернуться к генварю. Да! если б я думал скоро вернуться; но дело в том, что я очень нескоро вернусь отсюда. Мои подряды кончаются летом; след⟨ственно⟩, я должен их очистить прежде всякой сделки с Бхтм[1], ergo — могу жить здесь. Я чувствую, что мне это нужно sous tous les rapports *. Путешествие на несколько дней только расстроит меня внутренне, и все пойдет к чёрту. А ты на ходу — вот почему я и желаю твоего прибытия. Ты говоришь, что больше недели не можешь отлучиться — прикинь еще 5 дней, и тогда мы 6 дней пробыли бы вместе.

Вероятно, с нынешнею почтою выслано тебе из Пензы свидетельство. Отошли 1000 р. асс⟨игнациями⟩ моей жене через Авдотью Яковлевну[2]; если М⟨арья⟩ Л⟨ьвовна⟩ уехала, пусть перешлют ей в Берлин[3]. Заплати себе деньги, посланные Мюллеру[4], а остальные немедля вышли ко мне, ибо идет закупка хлеба, и деньги страх как нужны.

Спроси у Кавелина, какие книги он назначал для Сазон⟨ова⟩, для истории 17-го столетия в России; я записочку потерял; а ты купи книги, хотя ⟨бы⟩ также из моих денег, и свези их Саз⟨онову⟩[5]. Прошу это выполнить непременно имени моего ради. Можешь их из Берлина переслать р⟨а⟩г roulage **.

Вот и всё. Теперь к твоему письму. Я ждал, что Лиза умрет, а все-таки покоробило при вести, что все уже кончено. Наташа должна быть сильно

* во всех отношениях (франц.).
** через транспортную контору (франц.).

потрясена. Мне стало жаль, что меня с вами нет. Я понимал, что просто мое присутствие, хотя бы ни слова не было сказано, было бы полезно. А двинуться мне с места неразумно, Наташа! Вот и проститься с тобой не удастся! Но делать нечего! Пришли ко мне Александра, Наташа, если только можно, если тебе его отсутствие на 10 дней не слишком тяжело. Если же тяжело — ну! простимся издали. Carissimi! Я здесь надеюсь на многое для себя, что сделает нашу будущую встречу еще совершеннолетнее, но не в смысле оскорблений, а в смысле действительного развития. Я надеюсь привыкнуть к труду, исправить здоровье и отвыкнуть от образа жизни 18-летнего школьника. Знаете ли, что это главная причина, почему я не еду тотчас к вам? Эгоизм ли это с моей стороны, или даже холодность? Так я подумал, решившись долго не уезжать отсюда, но нет! Я хочу *не пропáсть* в пустоте (что могло бы, наконец, случиться) и для этого беру все меры, которые почитаю нужными — и это не эгоизм, а просто самоуважение, от которого не хочу отречься. А между тем ужасно хочется видеться перед отъездом. В последний раз повторяю — приезжай ко мне. Потом приходит в голову — не встретиться ли в Муроме, это ровно по 300 верст от каждого из нас, там дня два можно бы пробыть. Но, Александр, кроме всего другого, у меня есть *романтическое* желание видеть тебя у себя.

Саго, приезжай, пожалуйста. Если же *невозможно* — то напиши поскорей, когда можно встретиться в Муроме, и где, т. е. где там останавливаются, я не знаю — и я тебе тотчас же отвечу, в состоянии ли приехать к данному дню. А лучше здесь повидаться, гораздо лучше.

Все были около тебя во время несчастья, а все-таки не то чувствуется. Как я это понимаю и как это вдвое тяжело! Действительные узы порваны, а происшествие на минуту сблизило, чтоб больше показать, насколько друг от друга стоят далеко. Как мне все это оскорбительно![6]

М⟨арья⟩ Ф⟨едоровна⟩ за границу с вами едет? Боюсь я, что я не так понял. Но если *да*, то я за нее так рад, как будто б сам с вами ехал. Скажи ей это и еще скажи, что я все еще к ней письма не написал, а напишу к субботе.

Прощайте! Пора на почту. Жду самого скорого ответа. Ваши руки!

Кланяюсь всем. Не может ли Кетчер переслать мне свой перевод Неймана[7] или какую-нибудь книгу, на каком бы то из 3-х известных мне языков ни было, о сифил⟨итических⟩ болезнях. Здесь они в народе свирепствуют страшно и большей частью переходят посредством привычки есть всем из одной чашки, так что всего более распространяется болезнь, начиная со рта, и водворяется в целые семейства.

На обороте: Его высокоблагородию
Александру Ивановичу Герцену
В Москву
В Старой Конюшенной, на Сивцевом вражке,
в собственном доме, бывшем Яковлева.

Почтовая помета: Саранск 12 дек.
Штемпель: ⟨18⟩46, декабря 16.

[1] *Бхтм* — повидимому, с Бахметьевым, пензенским помещиком.

[2] *Авдотья Яковлевна* — Панаева. Она была подругой М. Л. Огаревой и принимала деятельное участие во всех ее денежных делах; фактически через руки Панаевой проходили все деньги, выплачивавшиеся Огаревым жене.

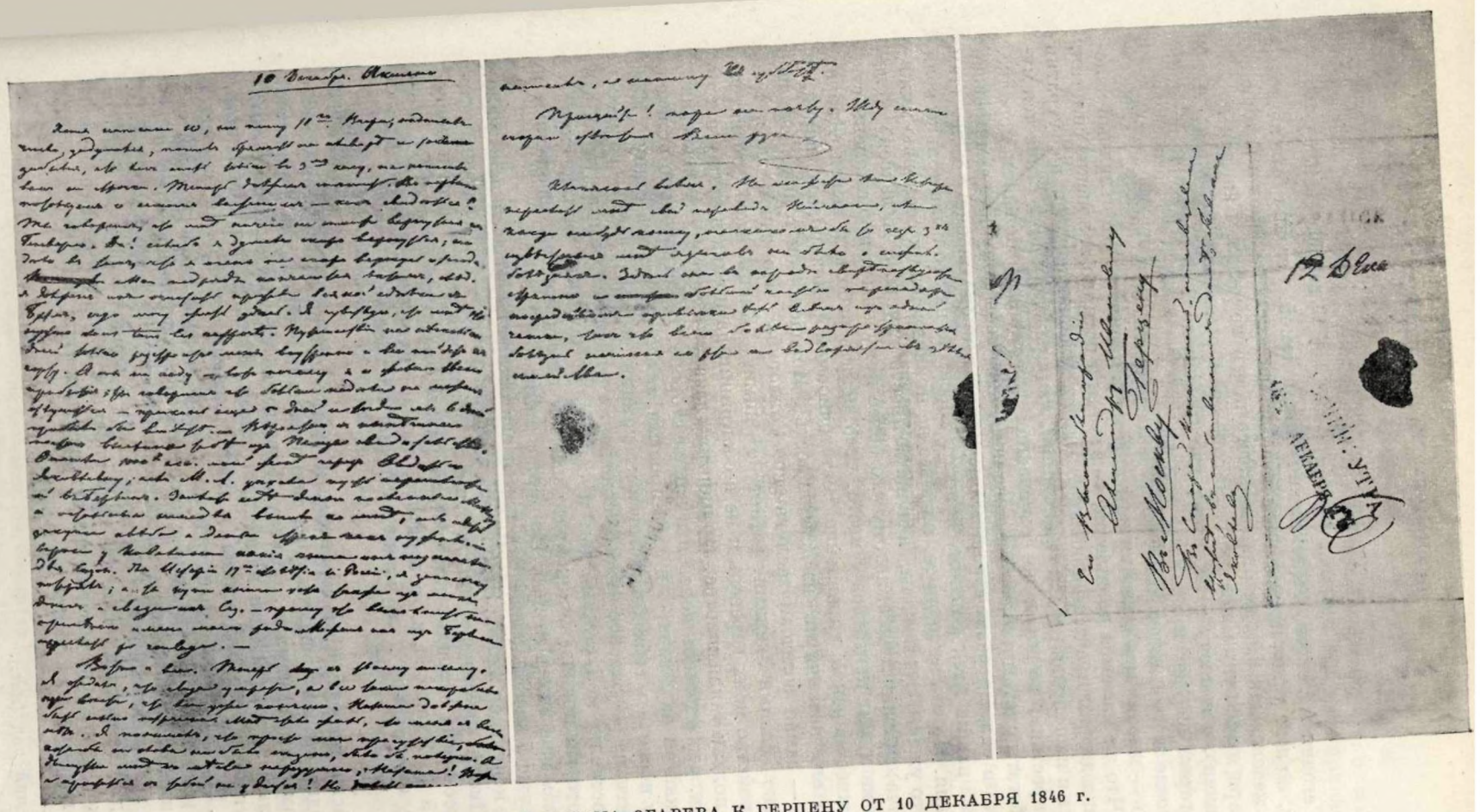
[3] М. Л. Огарева вновь уехала за границу в начале декабря 1846 г.

[4] *Мюллер* — Герман Мюллер-Стрюбинг (см. о нем примеч. 7 к письму № 13).

[5] Н. И. Сазонов жил с конца тридцатых годов в Париже.

[6] Огарев пишет о взаимоотношениях Герцена и членов московского кружка.

[7] Речь идет о книге немецкого автора К. Неймана «Частная патология и частная терапия», вышедшей в Москве в 1846 г., в переводе Н. Х. Кетчера.



АВТОГРАФ ПИСЬМА ОГАРЕВА К ГЕРЦЕНУ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1846 г.
Листы первый, последний и оборот последнего (с адресом)
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

9

19 декабря <1846 г.>. Акшено

Сегодня А<лексей> А<лексеевич> уехал домой. Сегодня был почтовый день, но я не успел приготовить тебе письма; ездил на завод и вообще вот уже неделю как был не один и ничего почти не делал. Кажется до 2-го генваря я всё буду в поездках. 26-го — день рождения А<лексея> А<лексеевича>, и я поеду в Яхонтово, где пробуду до 2-го генв<аря> — день, в который он едет принимать рекрут.

После этого я надолго поселюсь дома. Кстати, об А<лексее> А<лексеевиче> — мнение мое о нем ни на волос не изменилось. Он отличный человек. Что же касается до сплетен, то это были истинно холопские сплетни, что̀ моя дворня мне ясно доказала. Дворня ужасно недовольна, утратив власть и не получая столько жалований, как прежде, и даже старается мутить крестьян, но довольно безуспешно. Крестьяне в большом порядке, т. е. богаты скотом и хлебом и даже кой у кого избы получше, чем прежде. Только в одной деревне страшный неурожай в продолжение 4-х лет (там барской пашни нет), и потому нужда в хлебе, но на это была только воля господня. Но что за люди те, которые не принадлежат к сословию мужиков, это ужас. Глупы и злы, а мужики просто глупы. У А<лексея> А<лексеевича> мужики лучше, потому что более приучены к промышленности. А мои не любят двигаться с места, чтоб искать работы и выгод. Дворня и прежнее барское управление достаточно деморализировало народ, и трудно его натолкнуть на деятельность[1]. Мордасы — и только. Это название — самая большая заслуга гр. Соллогуба[2]. Но зачем же я тебе надоедаю своими делами? Чёрт с ними! Жизнь мою посвятить на устройство моих деревень я не в состоянии, да и едва ли кому послужит в пользу такая жертва. Пример на глазах. А<лексей> А<лексеевич> убежден, что он очень полезен в нашей стороне. Действительно полезен, но уезжай он на 2 года — и след простыл, и его же ругать станут. Нет! не могу посвятить себя хозяйству и провинции. А между тем — сознаюсь в романтизме — ужасное чувство сожаления рождается, когда думаю, что скоро оставлю мой старый дом и сад, где я большей частью скучаю, но к которым привязан, как будто имею к ним нежность. Феодализм и романтизм еще сидят на шее. Но чёрт с ними!

Вот уже 7 недель (кажется), как я вас оставил. Де́ла сделано мало. Все еще кочующая жизнь. Это ужасно глупо, и я жду — не дождусь конца этого. Писать ничего не писал. Химией позанялся, т. е. читал и подготовил кое-какие снаряды, так что материалы совсем поспеют перед моей поездкой в Яхонтово, и, возвратясь, тотчас примусь за дело. Скажи М<арье> Ф<едоровне>, что клавир сегодня настроили.

21 дек<абря>

Написав предыдущую страницу, я посмотрел на имеющиеся у меня книги. Одна старая брошюра меня сильно заняла и напомнила давнишний план драмы, и я принялся за работу[3]. Принялся с наслаждением, что́ выйдет—не знаю. Страницы две написались разом. Вчера хотел продолжать, как вдруг визит уездного медика, и вместо писания отправился смотреть больных. Медик должен быть порядочный медик, по крайней мере и habitus* такой, и репутация. Но что делает провинция из этих людей — это страх! Если б я имел талант к комизму, я написал бы комедию, даже роман, но это для меня невозможно. Избави бог поселиться в деревне или уезде больше, чем на год! Два выхода, т. е. два рода упадка для живущего здесь — или трагическое положение совершенно чуждого человека, или глупая свычка со всеми подлыми интересами.

* внешний вид (лат.).

Вот тебе поручения: 1) Отдай записку Ивану Яковлевичу, т. е. моему поверенному. 2) Отдай письмо и 300 р. ассигнациями, при сем прилагаемые, Немвродовым [4]. 3) Попроси Депре [5] прислать мне 10 бутылок рёдерера (я 10 продал по соседству), 30 бутылок хересу в 5 р., прованского масла 15 бутылок. Долг с меня он должен ждать до марта. 4) Кстати, с сей оказией пришли мне 100°-⟨ный⟩ термометр. 5) Прилагаемую записку и 50 р. отдай нянюшке, которая жила у гр. Сальяса [6]. Зовут ее, кажется, Дарья Дмитриевна, о месте жительства пошли узнать в дом к Кобыл⟨иным⟩ у человека, именуемого Николай Андриянов. Ты пошли за ней — отдай деньги, а там не нужно адресоваться к Ал⟨ександру⟩ Кобыл⟨ину⟩, ни к другим — это мои счеты.

Прошу исполнить поручения, не слишком меня ругая, а так — знаешь ли, с дружелюбием. Желт⟨ухин⟩[7] тебе понравился, очень рад! Он и мне нравится, в нем есть что-то юношеское. Честь и слава Селиванову![8] Я стану его хвалить просто за то, что он дает обеды. Кланяйся Клыкову[9] и скажи, что напишу к нему с будущей почтой. Сегодня еще 5 писем деловых надо справить. А свидетельство, разбойники, все еще не выдают. Как получишь, то вместо пересылки денег к М⟨арье⟩ Л⟨ьвовне⟩ оставь у себя 400 р. серебром на разные дела, о которых с следующей почтой напишу, а остальные перешли немедля сюда, ибо деньги весьма нужны для завода. Завод мой в удивительном порядке и славно идет; поеду туда еще на несколько дней учиться винокурению.

Письмо мое весьма пусто, но так и должно быть, пока я не сделаюсь совсем оседлым.

Секретно. От пьянства я здесь весьма отвык ⟨...⟩ Все это к лучшему. Будет во всем умеренность, и «сердце пусто, ясен ум...», что и доказать надлежало. А 33 года недаром стукнули.

Явно. Итак, ты решительно не приедешь? Глупо! А может быть в Муром?.. Жду ответа. Если мои письмы не отличаются полнотой и длинностью, то и твои, в равной мере, не имеют помянутых достоинств. Это еще больше заставляет желать свидания. Неужели же ты и из-за границы будешь отличаться такой же краткостью писем? Не думаю. А теперь и пенять нельзя, чувствую, что пусто, а когда пусто — и писать нечего. До свидания.

Нельзя ли Депре прислать вино в самый Саранск, который 120 верст ближе к Москве, чем Пенза, и передать [или купцу Кубанцеву], или уездному лекарю Степанову (Алексею Ивановичу).

Кажется, лучше кончить письмо с вечера и приняться за чтение. Написал кучу писем и ничего уже сам выдумать не в состоянии, а завтра надо рано посылать на почту.

Друг мой Наташа, благодарю за твои строки, а сам на эту минуту так глуп, что ничего сказать не хочется. Дай руку, и прощайте, мои сердечные. Сашку целую.

Можно ли у Пецца [10] достать коллекции реагенций, из коих серная и селитренная кислоты в порядочном количестве? Здесь не добьешься хороших, а самому концентрировать долго, скучно и с непривычки напортишь. Можно ли переслать в ящике?

[1] Неудачный опыт освобождения крестьян в Белоомуте при помощи выкупа заставил Огарева отказаться от повторения этого опыта в акшенском имении, тем более, что акшенские крестьяне были значительно беднее белоомутских. Столкновение с реальной жизнью крепостной деревни заставило Огарева выработать новый план улучшения экономического быта крестьян — путем «приучения» их к «промышленности», к вольнонаемному труду (см. письмо № 16).

[2] *Мордасы* — название села в известной повести В. А. Соллогуба «Тарантас» (1845).

[3] Вероятнее всего Огарев имеет здесь в виду именно тот замысел исторической драмы, о котором сообщал в своих письмах 1843 г.: «Замысел огромный: 1-е, оба Иоанна, из которых IV-й будет разделен на две части. 2-е, Федор (до Годунова боюсь дотронуться), Шуйский и патриарх Никон» («Русская мысль», 1890, № 8, стр. 9).

[4] Григорий и Петр *Немвродовы* — крепостные люди Платона Богдановича Огарева — были его внебрачными сыновьями и, значит, братьями Николая Платоновича, который принимал близкое участие в их судьбе и оказывал им материальную помощь.
[5] *Депре* — московский виноторговец.
[6] У графа Андрэ *Салиас де Турнемир*, мужа Е. В. Сухово-Кобылиной.
[7] О *Желтухине* см. примеч. 1 к письму № 5.
[8] Илья Васильевич *Селиванов* (1810—1882) — писатель и мемуарист, пензенский помещик, сосед Огарева.
[9] *Клыков* — художник, встречавшийся с Огаревым в Риме.
[10] *Пецц* — владелец магазина аптекарских и химических товаров в Москве.

10

23 декабря ⟨1846 г.⟩. Акшено ⟨Яхонтово⟩

Сейчас получил ваше письмо, carissimi! Итак, мы не увидимся перед отъездом! Прощайте, друзья! Обнимаю вас горячо. Право, горячо! Как будто отрывается что-то, «als wie ein Stück von mir» *. По крайней мере пишите часто и много. Дайте маршрут, чтоб я знал, куда писать и когда. Ваше письмо прекратило весьма загадочные расчеты эквивалентов и безрассудное перелистывание геологических книг. И вот я как-то странно, почти романтически настроился. Стал разыгрывать Бетховена. Играл, разумеется, скверно, но понимал очень хорошо, и как-то еще более оромантизировался. Но мои фантазии идут не jenseits **, а изобретают все невозможные счастливые события на твердой земле. Невозможные — чёрт знает почему! А чувствую, что никогда не будет, что хочется. Я думаю, эта неуверенность мешает достигать цели. Да что ж с этим делать, когда жизнь так устроена, что какая-нибудь горячка прекратит все твои надежды, или люди сами разовьются так, что, будучи 10 лет убежден в величайшей близости, вдруг находишь, что друг с другом существует только дальность. Ступай, саго, беги далеко, наслаждайся и созревай еще. Есть зрелость, кроме горьких опытов, — это сознание методы жить mit Fülle und Lebenslust ***. Если Юпитер и сделался покойником, все же его олимпийское спокойствие и сила остаются высшей задачей практической ⟨*1 нрзб.*⟩.

Пусть опыты го́рьки, пусть мало возможности перевоспитания в людях и на всех лежит помеха к свободному развитию, т. е. известная организация, запутанная в известные привычки, обычаи и Naturgewalten****; да нельзя же на этом остановиться и надо достигать das ästhetische Leben*****. Как посмотрю на всех и на себя в особенности, что за сумбур и безумие: тебя мучат, ты других мучишь, ты наслаждаешься грязно, или скучаешь глупо, или делаешь не то, что тебе надо, — да когда же из этого выпутаешься? Жизнь дана для наслаждения, а наслаждение человека *изящно*. Зачем же не стряхнуть с себя все неизящное, которое в тебе или в отношениях к другим? Зачем же это длинное улаживание своего живого, разумного, эстетического понимания с противными ему своими привычками или отношениями? Зачем это вечное обхождение с самим собой и с людьми наподобие Адольфа с Элеонорой? Зачем разыгрывать ненужную трагедию? Сожаление и гуманность! Чёрт знает, одно ли это и то же? Намедни я битых два часа должен был разговаривать с работником, который хотел большей платы, чем нужно. Я ему предложил расчесть его, и пусть он отправляется, а я найду другого, а он 2 часа отвечал на это все одно и то же: «Расчет, так расчет, а не то и так останемся». Удивительно умное изречение, потому что прилагается к каждой минуте жизни. А ведь это скучно и глупо. Воля, обузданная одним изящным, т. е. человеческим, ergo, абсолютная, самоопределяющаяся — вот и вся мораль.

* «словно частица меня самого» (нем.).
** потусторонне (нем.).
*** полно и жизнерадостно (нем.).
**** власть естества (нем.).
***** эстетической жизни (нем.).

И вы едете, и я не буду с вами! Жаль! Так бы пожить хотелось полно. Как бы хорошо быть вашим cicerone *! Я чувствую что теперь и с вами я там удивительно бы хорошо жил, понимаю, наконец, очень хорошо die Kategorie des Maasses **, что не значит умеренность, а разумная полнота в жизни.

Ах, Герцен! Наша жизнь должна бы быть лучше греческой, а наслаждение должно бы быть роскошнее, а нет... Зачем же нет? И вернешься опять

А. А. ТУЧКОВ

Рисунок карандашом Х. Рейхеля, 1844 г., в альбоме, подаренном Огаревым Герцену
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

к действительности, т. е. к горьким опытам, к тысячам людей, на которых смотреть сердце надрывается, и к собственным слабостям. До сих пор я тебе вот что скажу: смерть — не весьма оскорбительное дело. Что толку долго разыгрывать невозможность примирения с действительностью? — Но mit dem ästhetischen Leben des Menschengeschlechts muss der Tod nicht mehr statt finden ***. Вглядись в параллельное развитие естествознания и цивилизации — право, хорошо будет потом. А нам от этого не легче. Сколько раз ты глупо будешь странствовать, это ты мне расскажешь

* проводником (итал.).
** категорию меры (нем.).
*** с ⟨наступлением⟩ эстетической жизни человеческого рода смерть не должна больше иметь места (нем.).

по приезде. А скоро ли ты приедешь? Где мы встретимся? С каким запасом светлых сведений и горьких опытов? Да довольно твердить, что этот год был для нас erfahrungsreich* в последнем отношении, надо приняться за опыт im Vernünftigen **; Unsinn *** уже известен, как 5 пальцев, и страх надоел.

Какая ночь светлая! Имеет же свою красоту этот снег при этом освещении. А в особенности мне здесь нравится — das stille Leben ****.

А у вас все хмурятся. Да уезжай уж ты поскорей, Donner Wetter! ***** И Петр Григор⟨ьевич⟩[1] и все — Dio santo! ****** Да с какого же права?

Поздравь от меня Панаева, что Селив⟨анов⟩ у него будет сотрудником [2].

Ты спрашиваешь, что я делал 2 нед⟨ели⟩ у Тучк⟨овых⟩? А как ты думаешь? — Дéла никакого не делал. Фантазировал с ним о разных предметах, а более предался старой и, может, старческой привычке болтать вздор с его детьми или, лучше сказать, юными барышнями [3].

Вот видишь, Наташа, ты не хотела говорить М⟨арье⟩ Ф⟨едоровне⟩, что я ей стану писать, ан я и написал. Что, взяла? — Но поговорим о твоем письме[4]. Верно, ты не сомневаешься в том, что я понимаю и насколько понимаю твои скорби. Часто самому бывает не легче, да и никак силы не наберешь, чтоб поспорить с судьбой и с окружающим, и столько отыщешь в себе пережитого, т. е. умершего, и так это все становится страшно, какая-то безвыходность, и ничего не дается, чего хочется. А камешки не принимаешь за воду. Ты спрашиваешь, что тут лучшего? А вот что — знать, что камень — камень, а не вода — само по себе хорошо, а ребячество в взрослых — уродство. Легче ли от этого? Легче. Потому что насколько набирается горечи от опыта и истины, настолько возбуждается жизни и силы, и жизнь становится шире и... (не смейся над этим словом) — величавей. Я ужасно давно люблю это слово, право оно многозначительно. Что выйдет из этой любви к этому слову, не знаю — сумасшествие или сознание комической дальности своей жизни от этого прилагательного (adjectivi) или гармоническое развитие самого себя — не знаю. Может, c'est une passion malheureuse ******* — так уж на роду написано.

Вот насчет одного, твоя скорбь и негодование совсем обезоруживают мое желание сильно стоять против случайностей, ты догадаешься, что я отвечаю на твои слова о Коле[5]. Ну! Тут больше ничего не придумаю, как крепко пожать тебе руку, будто от этого может быть лучше!!

Вот за 4 дня до почты написал не совсем короткое письмо. Так хочется с вами говорить. Кажется, ваше последнее письмо от 18-го не есть еще ответ на вызов в Муром. А может быть, и это свидание не удастся. Ну! Так и быть! Дайте руки и поезжайте...

Пора перестать писать. Опять вернусь к Дюмасу [6] с комп⟨анией⟩.

Герцен! если будешь в Риме, сходи к гр. Сальяс [7]. Ну, и кланяйся всем от меня.

Прощай пока! Еще припишу в середу. Завтра еду к Тучк⟨овым⟩, откуда и пошлю сие письмо на почту. Мне не хотелось бы выезжать из дому, но нельзя... день его рожденья, и потом он озабочен, раздосадован, печален и стареет, и болен, и мне его жаль, очень жаль.

Fichtre! ******** Уже половина 2-го.

---

* богат опытом (нем.).
** в разумном (нем.).
*** неразумное (нем.).
**** тихая жизнь (нем.).
***** чёрт побери (нем.).
****** святой боже (итал.).
******* это несчастная страсть (франц.).
******** Чёрт возьми! (франц.).

25 дек⟨абря⟩. Яхонтово

Отправляю сегодня письмо. Тучков тебе кланяется.

Желаю встретить новый год по возможности весело и всем нашим тоже.

Что-то давеча думал приписать, да забыл. Если мое свидетельство придет так, что ты уже не успеешь по нем хлопотать, то кому бы поручить? А деньги надо будет отдать Ценкеру и Колли [8] 6000 франк⟨ов⟩ с процентами.

Прощайте, carissimi.

Доверенность отдай моему поверенному.

[1] *Петр Григор⟨ьевич⟩* — Редкин (1808—1891), профессор юридических наук Московского университета; в сороковых годах был близок к кружку Герцена.

[2] Об И. В. Селиванове и его сотрудничестве в «Современнике» см. примеч. 8 к письму № 9.

[3] *Юные барышни* — Елена и Наталья Тучковы.

[4] Это письмо Н. А. Герцен к Огареву неизвестно.

[5] Этими строками Огарев отвечает на не дошедшее до нас письмо, в котором содержалось сообщение Н. А. Герцен о неизлечимой болезни сына: Коля Герцен (1843—1851) был от рождения глухонемым.

[6] *Вернусь к Дюмасу* — повидимому Огарев хочет сказать, что он заканчивает письмо и возвращается к прерванному чтению романа Дюма.

[7] Речь идет о Елизавете Васильевне *Салиас де Турнемир*, которая в это время жила в Италии.

[8] *Ценкер и Колли* — московская банкирская контора.

11

28 ⟨декабря 1846 г.⟩. Яхонтово [1]

Сегодня напишу мало и то вещи деловые. 1) Не забудь отвезти книги Сазон⟨ову⟩ по реестру, который тебе даст Кавелин [2]. 2) У Мар⟨ьи⟩ Львовны есть в Петербурге une dette d'honneur*, которую надо уплатить через посредство Панаевой, по крайней мере 2500 р. ас. теперь и столько же после, всего 5000. Здесь никак нельзя теперь изворотиться, за покупками хлеба. Можешь услужить *последнюю службу* до весны или прежде, то заплати всю, да скажи, кому отдать без тебя. Может, и очень скоро можно, а теперь никак не извернешься. Нельзя — напиши немедля. Желательно, чтоб было можно. Ценкеру надо отдать из тратных денег, полученных за вино; он напоминал. Все это скверно; прежде полутора года и думать нельзя придти в порядок; разве счастливая сделка, на которую я плохо стал надеяться, ибо сомневаюсь, дадут ли столько, сколько мне надо. А быть может! — через месяц узна́ю и напишу.

2-го генв⟨аря⟩ буду дома, и опять получишь длинное послание на прощанки. Теперь до свидания. Дайте руки оба.

Что за страна здесь, Герцен! Но дома я эгоистически доволен, когда могу закрыть глаза и уши и жить про себя. А между тем поездка сюда чрезвычайно полезна и erforschungsreich**. Вполне убежден, что умно сделал, что сюда приехал. Это dernier coup de serviette *** совершеннолетия.

Прощайте!

Пришли мне адрес моего поверенного.

На обороте: Его высокоблагородию
Александру Ивановичу Герцену
В Москву
В Старой Конюшенной, на Сивцевом вражке,
в собственном доме, бывшем Яковлева.

Почтовая помета: Саранск, 29 декабря.

---

* долг чести (франц.).
** плодотворна (нем.).
*** завершающий лоск (франц.).

[1] В дате, поставленной Огаревым, описка: «28 января». Письмо написано до отъезда за границу Герцена и, следовательно, должно датироваться 28 декабря 1846 г. См. также почтовую помету: «Саранск, 29 декабря» и фразу в тексте, указывающую на то, что письмо написано еще в декабре: «2-го генв⟨аря⟩ буду дома, и опять получишь длинное послание...».

[2] См. об этом поручении в письме № 8.

12

⟨Яхонтово.⟩ 1 генваря 1847

Итак, ты в самом деле едешь 15-го. Так тому и быть! Я рад за тебя, сам ты это знаешь. Но мне становится весьма сомнительно будущее. Я боюсь за материальное существование. Я боюсь, что не возьму за свое надлежащей цены и тогда должен буду весьма стесниться. Но я стеснюсь, так и быть, ибо другого выхода не вижу. При каких бы условиях я не жил здесь, я должен буду испортиться. Мои отношения к людям, кроме собственных дурных привычек, должны мне испортить жизнь и характер. Во всех этих Мордасах[1] можно дойти или до совершенного одиночества, или сделаться seigneur'ом *. Ergo, буду стараться устроиться, как говорил, хотя не имею надежды на то довольство, которое полагал возможным.

Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩, кажется, поедет за границу, сколько ему ни трудно будет пекуньярно**, но он шибко болен и одна из дочерей также, т. е. больше, чем они сами думают, и потому я уговариваю их к отъезду. Но это путешествие в секрете, ergo, не говори никому [2].

Еще раз, не забудь книги Саз⟨онову⟩.

От Гран⟨овского⟩ я письма́ не получал. Да полно, писал ли он? — Вы расстаетесь симпатичнее, чем было. Тем лучше. Может быть, когда-нибудь мы и совершенно будем симпатизировать. Приняв в задаток прежнюю близость, оно и весьма вероятно. Но отчего же не верится? Трагический ли пафос барона, который может часто поколебать человека и не столь мягкого, как проф⟨ессор⟩, или самая глубокость случившегося разрыва — заставляют сомневаться? Не знаю. Но едва ли будет когда-нибудь толк [3].

Мне самому сегодня неловко, я не под веселыми впечатлениями пишу. Везде раздоры и размолвки, и везде вижу страждущих, интимно страждущих, мало того, что и случайно страждущих много. Это тебе покажет, Наташа, что я письмо твое понимаю, но нахожу в нем несовершеннолетие sauf le respect que je te dois***. Может быть, человеку горько, но остановиться на горьких опытах нельзя, не впадая в ложно-патетическое или в ложно-апатическое состояние, или, что весьма естественно, хотя с первого взгляда кажется non-sens ****, и в то и в другое разом. Помни die Kategorie des Maasses *****, что в жизни выражается гармонией, и трудись, дойди до ней. Видишь, я пишу коротко, потому что спешу. Завтра еду домой и с будущей почтой напишу больше. Прощайте, друзья, до отъезда еще письма три напишите. Около 15-го я буду писать в Петерб⟨ург⟩ через Панаева. Кстати, что же мое дело об уничтожении акта?[4] Ведь это скверно, что длится, я могу попасть в положение быть в невозможности делать какие бы то ни было сделки.

Да! Счастливый год вам всем, и Михайле Семеновичу [5] скажи поздравление и рукожатие, я об нем давно не осведомлялся. Здоров ли он?

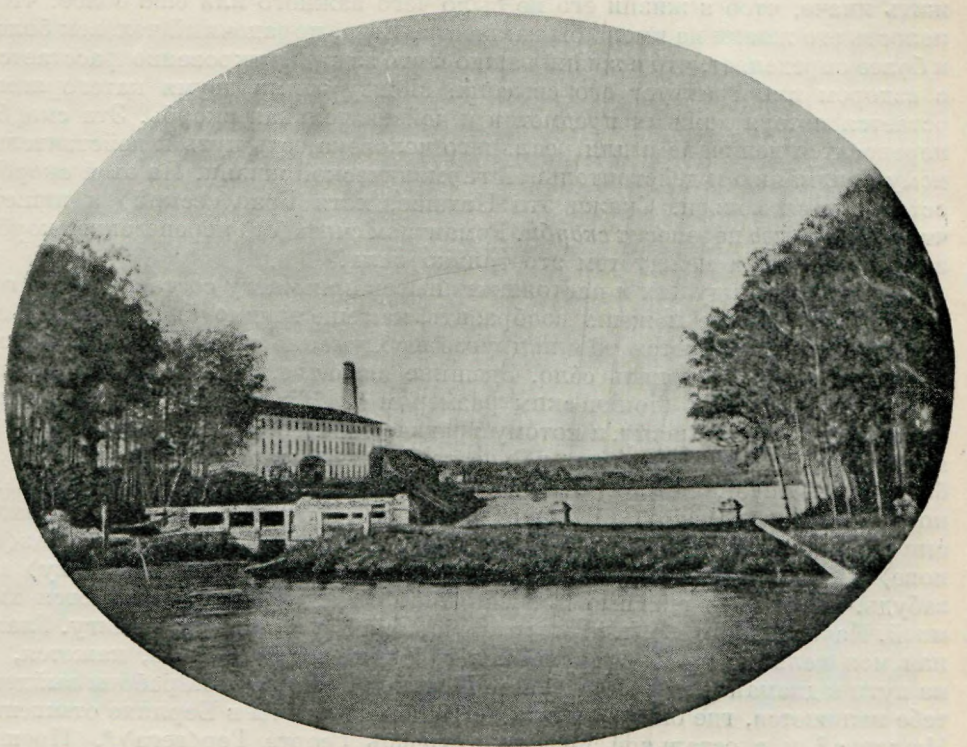
---

* феодалом (франц.).
** в денежном отношении (от лат. «pecunia»).
*** при всем моем к тебе уважении (франц.).
**** бессмыслицей (франц.).
***** категорию меры (нем.).

Доверенность вышлю другому. Пришли мне свою или напиши чин Марьи Каспаровны [6], которой низко поклоняюсь.

На обороте: Его высокоблагородию
Александру Ивановичу Герцену
В Москву
В Старой Конюшенной, на Сивцевом вражке,
в собственном доме, бывшем Яковлева.

Почтовый штемпель: Генваря 6.



СТАРОЕ АКШЕНО. ПРУДЫ И ЗДАНИЕ СУКОННОЙ ФАБРИКИ
Фотография В. Чернобаева, 1861—1862 гг.
Исторический музей, Москва

[1] О *Мордасах* см. примеч. 2 к письму № 9.
[2] Тучковы ездили за границу осенью 1847 г.; это самое раннее из всех доныне известных упоминаний об их предполагаемой поездке.
[3] Огарев имеет здесь в виду распад московского кружка. *Барон* — Н. Х. Кетчер; *профессор* — Т. Н. Грановский.
[4] Повидимому Огарев пишет здесь об оформлении новых денежных условий с М. Л. Огаревой.
[5] *Михайле Семеновичу* — Щепкину.
[6] *Марья Каспаровна* — Рейхель.

13

3 генваря ⟨1847 г.⟩. Акшено

Primo, чернилы бледны, а, secundo, иных нет. Но намерен писать какими бы то ни было. Разом получил по приезде сюда письмо от тебя и от Грановск⟨ого⟩[1]. У Гран⟨овского⟩ романтизм имеет какую-то широту, вот отчего он так симпатичен. Стану ему отвечать сегодня же. Но сперва

хочется поговорить с тобой и о твоем отъезде и о моем *ни с места*. Надо же тебе сказать, что́ я думаю делать, что́ я *давно* думаю делать и что́ внезапно пришло в голову вследствие здешних впечатлений. Главное то, что некоторые личные обстоятельства довершили тот опыт, что вещи, которые имели еще некоторую важность в жизни, совершенно ее утратили. Зато другие приобрели. Ведь вот в чем сущность всего дела, Герцен, что когда вещь начинает терять важность, порядочный человек, т. е. человек с какой-нибудь силой разума и характера, *не горюет*, а просто *перестает* считать важным то, что *не важно*; а потом порядочный человек не может жить иначе, чтоб в жизни его не было чего важного или еще более: чтоб целость его жизни не имела бы важности. Ergo, порядочный человек более и более определяет, что́ в жизни важно и что́ вздор и откровенно расстается с вздором или трактует его свысока. Между этими двумя категориями остается потеря важных предметов и действительная скорбь. Эта скорбь переносится величаво и для реального человека есть путь к действительному пониманию и действительной гармонической жизни. На этой скорби остановиться нельзя. Скажи это Наташе, хотя Гран⟨овский⟩ и пишет, что она *величаво* переносит *скорби*. Романтизм счита⟨ет⟩ перенесение скорби за холодность, а между тем это только сила.

Из всех предыдущих и настоящих опытов понемногу составляется в голове драма[2]. Ты не можешь вообразить, как мне трудно к ней решительно приступить. Все кажется то или другое необдуманно и неполно. На несколько страниц пошло́ и опять се́ло. Здешние впечатления дали мысль писать мужицкие рассказы (тоническим размером)[3]. Как все другое мое — нет места истинному комизму, и потому трагическая настроенность неизбежна; я думаю, что это даже хорошо, ибо не так обыкновенно, а между тем трагос больше действует, чем комизм. Потом повесть, которая идет ужасно легко[4]. — Спроси у Basile Guillaume[5] мои стихи «Море»[6]. Я их совсем забыл, они у него оставались; я бы их здесь переправил. Спроси у него о Саз⟨о-нове⟩ и пр. и перешли мне сведенья *непременно*. Книги Саз⟨онову⟩ не забудь.— Вот тебе главные мои занятия. Остальное ограничивается химией. Начинаю de facto, т. е. опытом, eigenhändig * повторять книгу. Главная моя цель теперь — результаты горения (combustion) и, кажется, я на пути к диаманту ** (что считается шуткой). Что из этой работы выйдет, тебе напишется, где бы ты ни был.— Надеюсь, что ты в Берлине отыщешь Мюллера[7] и в остальной Европе отыщешь Георга Гер⟨вега⟩[8]. Прошу Боткина написать мне, где Фролов[9] и Галах⟨ов⟩[10], чтоб я им мог написать.

Твое письмо, в самом деле, грустно. Чувство симпатии, перешедшее в антипатию или злобу (что ни ты не скрываешь, ни я), имеет корни действительные. Это не только *оскорбление* мимоходное, которое забывается. Это не оскорбление даже, а просто расхождение в разные стороны. Вот отчего оно так глубоко въелось. Я думаю с Базиль-Guillaume мы сойдемся в мнениях, но еще хуже разойдемся — в том модусе, по которому мнения выработаны, и на поверку выйдет антиномия бо́льшая, чем с кем-нибудь. Гран⟨овского⟩ я люблю и стану к нему писать. Корша уважаю и люблю, но писать к нему не стану. К барону вовсе не стану писать, ибо чувствую только злобное сожаление. С Сат⟨иным⟩ всего труднее. Злобы нет, а жалость — то чувство, которое имеем к женщине, которую надоело любить, вот что господствует, и я не знаю, что тут делать. Присоветуй***. Кажется, я сегодня откровенен. Жду от тебя прощального письма. Мы не свиделись, что делать? Надо перейти через это, сколько бы оно оскорбительно ни было, а насколько наше несвидание оскорбительно, ты сам знаешь.

---

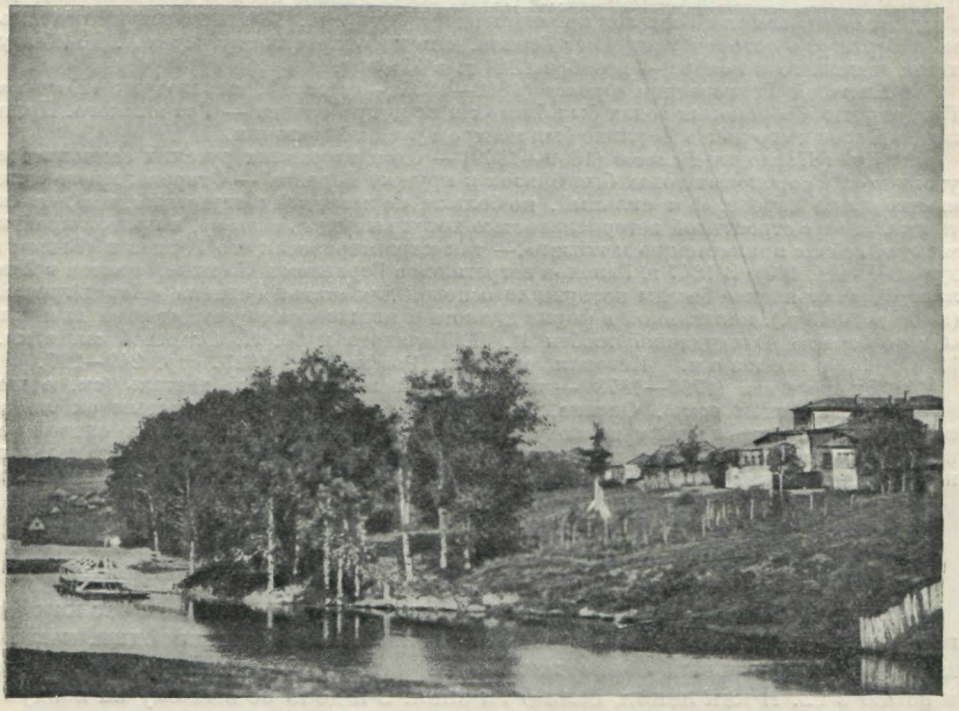
* собственноручно (нем.).
** ⟨к созданию⟩ бриллианта (от франц. «diamant»).
*** Не хочется его оскорбить, а лелеять не могу.— *Примеч. Огарева.*

Теперь о тебе — краткий совет, т. е. маршрут: 1° — Берлин и Дрезден, Гейдельберг, воды; 2° — Фр⟨анция⟩, Италия и опять Фр⟨анция⟩ — Лондон, как хочешь. Швейцария — для прогулки, особенно в сентябре. А что James Fazy? [11] Человек не мимоходный.

Прилагаю записку к Мюллеру и стану теперь писать к Гран⟨овскому⟩. С будущей почтой в последний раз напишу тебе в Москву, а там в Питер.

Наташа, дай руку и прощайте, carissimi.

Извините, что так скверно пишу. Спешу, завтра надо рано отправлять в город, по делам, а уже поздно. Сашку целую.



СТАРОЕ АКШЕНО. УСАДЕБНЫЙ ДОМ СО СТОРОНЫ ПРУДА
Фотография В. Чернобаева, 1861—1862 гг.
Исторический музей, Москва

Доверенность послана.

Кому же дать довер⟨енность⟩ на свидетельство, оно через три дня готово?

Заплати за меня талеров 15-ть Шредеру, книгопродавцу, Unter den Linden, № 23.

[1] Упоминаемые письма Герцена и Грановского к Огареву неизвестны.

[2] Повидимому, речь идет о той же исторической драме, что и в письме от 19 декабря 1846 г.

[3] «Мужицкие рассказы» Огарева неизвестны.

[4] Речь идет о повести «Деревня» (впервые напечатана М. Гершензоном в 1904 г.).

[5] *Basile Guillaume* — В. П. Боткин.

[6] Огарев, повидимому, имеет в виду стихотворение «Небо да море...» или «Прощание с Италией» («На море тихо...»).

[7] Герман *Мюллер-Струбинг* (ок. 1810—1893) — археолог, филолог, искусствовед, участник революционного движения сороковых годов, в частности неудачной попытки восстания во Франкфурте; впоследствии участник событий 1848 года. После франкфуртских событий семь лет сидел в тюрьме; в 1848 г. эмигрировал. В сороковых годах был тесно связан со многими русскими деятелями, приезжавшими

в Берлин или жившими в Берлине, в частности с Огаревым, Тургеневым и др. В своих «Воспоминаниях» Н. А. Тучкова-Огарева так рассказывает о встрече с Мюллером: «Огарев дал моему отцу записочку к берлинскому жителю Герману Мюллеру-Стрюбингу, который был для русских вроде проводника; предупрежденный письмом, он встречал отрекомендованных ему русских, показывал им все, что заслуживало внимание в Берлине...» (М., 1929, стр. 61—62). Мюллер встречал в Берлине и Герцена. В письме к друзьям от 8 февраля 1847 г. Герцен сообщал: «<Мюллер> славный человек, мы с ним в полчаса подружились...» («А. И. Герцен. Новые материалы». М., 1927, стр. 27). Позднее Герцен изменил свое мнение о Мюллере и дал ему довольно саркастическую характеристику в «Былом и думах» (XIII, 322).

[8] В «Былом и думах» Герцен писал: «Когда я ехал из России, Огарев дал мне письмо к Гервегу. Он его знал во время его пущей славы <...> Я застал Гервега в тесной дружбе с Бакуниным и Сазоновым...» (XIII, 500). Данное письмо подтверждает, что Герцен познакомился с Гервегом по рекомендации Огарева. Возможно также, что письмо к Гервегу, о котором упоминает Герцен, Огарев отправил ему через А. Д. Желтухина, ездившего в ноябре — декабре 1846 г. в Москву.

[9] Николай Григорьевич *Фролов* (1812—1855) — географ, переводчик «Космоса» Гумбольдта; в сороковых годах был близок к кружку Герцена — Грановского. Долго жил в Европе; его дом в Берлине был центром русской колонии.

[10] Иван Павлович *Галахов* (1809—1849) — один из ранних русских социалистов-утопистов; в сороковых годах был близок к кружку Герцена — Огарева; много путешествовал по Европе. «Ум сильный, но больше порывистый и страстный, чем диалектический, он с строптивой нетерпеливостью хотел вынудить *истину*, и притом практическую, сейчас прилагаемую к жизни»,— так характеризовал его Герцен в «Былом и думах» (XIII, 103). В 1847 г. Галахов встретился с Герценом в Париже, а затем в Италии. Их итальянские беседы послужили основой для статьи Герцена «Перед грозой» (декабрь 1847 г.), написанной в форме диалога и явившейся первой статьей из цикла «С того берега». О неудачной любви И. П. Галахова к М. Л. Огаревой см. в кн.: М. О. Гершензон. История молодой России. М., 1923, стр. 249—267.

[11] Джемс *Фази* (1796—1878) — швейцарский политический деятель (см. о нем выше в настоящем томе). Оценка, данная Огаревым Фази, с которым он лично встречался, относится к тому периоду, когда имя Фази было еще овеяно славой революционного борца. Как известно, впоследствии Фази отказался от радикальных и социалистических взглядов своей молодости и перешел на реакционные позиции.

14

<Акшено.> 7 генваря <1847 г.>

Начинаю писать немного поздно, потому что уже с лишком час как 8-е генваря. Привычка не спать ночью, Герцен! Кажется, живши один, как бы не начать правильный образ жизни, ан нет! не умею. Ложусь в 3 часа и встаю в 12. И как ленив, если б ты знал! 2-й день не выхожу на воздух. Все некогда. Вчера, проснувшись, принялся пилить баранью голову. Перебрал все мускулы. Потом вынул мозг и глаза. Мозг занимал меня сегодня целый день. Только недавно кончил, и то не совсем; для окончательного разбора потребуется еще 2 овечьи жизни. Глаза остаются на неделю в спирту. Третьего дня пользовался глазами теленка, которого имею счастье есть, но были слишком свежи, т. е. неудоборазделяемы. Читаю Longet[1]. Книга превосходная. Впрочем, и химия не отстает; завтра буду жечь алмаз в кислороде. Пособия не все для науки, но пока достаточно. Достаточно некоторых весьма обыкновенных тел, чтоб поглубже вникнуть в процесс жизни. В природе есть процесс жизни и потом die geographische Gesammtheit *. Для изучения первого не столько нужно необыкновенностей, и потому я не жалуюсь на недостаток средств. Могу жаловаться на две вещи: на недостаток сведений и недостаток памяти. Для облегчения развесил по стенам доски и записываю мелом все, что должно вспомнить при известном случае. Труд, Герцен, должен все преодолеть. Жаль мне, что очень туго пишется, чтение и манипуляции отбросили совсем в другую сторону. Иногда хочется натянуться на производительность, да не ладится. Подожду.

---

* совокупность географических условий (нем.).

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА

Рисунок карандашом Н. А. Герцен (дочери), с пометкой «Park House».
Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва, 1859 г.

У барана на лице недостает многих мускулов в сравнении с человеком. Я ненавидел заниматься миологией, потому что слишком трудно помнить. А между тем голова барана привлекла меня к миологии. Как бедность мускулов лица связана с бедностью интеллигенции*! Ему нельзя наморщить лба, у него не может существовать улыбки; его лицо не может опечалиться. Зато musc. massetor ** развит уродливо. Одна часть удободвижимее, чем у человека: ухо. Ему нужно бояться, прислушиваться в известную сторону; musc. attolens и attrahens auricules*** развитее. А самое ухо, т. е. внутреннее, коротко и сжато. Я неловко резал уши и не мог сообразить, где евстахиева труба, все же она должна быть плохо отделана, если в глаза не бросилась. Мозг следить ужасно трудно. Я же его не совсем удачно разрезал. Непременно 2 головы еще нужны, чтоб ясно осталось в голове его расположение. Потом примусь за спину и за сердце. Манипуляция ужасно много занимает времени; но все же лучше, чем с препаратором. Никто не надоедает, и из своих ошибок много выучиваешься.

Думая о тебе, о твоем отъезде etc. и думая о своих работах, я как-то сегодня живо вспомнил твоих детей. Чёрт знает, приготовишь ли ты их, как нужно, и заставишь ли избежать всего длинного ложного пути воспитания, которое из меня в особенности сделало игноранта****. Я забыл, что́ не нужно было помнить, и не успел узнать, что́ надо было знать. Наташа! Не учи Сашку грамматике, пока он сам не захочет, а заставляй его писать да поправляй ошибки, чтоб он писал правильно par routine*****. А когда грамматика ему предстанет как логико-историческое развитие языка, он сам узнает. Отчего мне стало страшно за детей и я ничего не придумал при этом страхе, как вышеписанную глупость о грамматике? А страшно. Как дать ребенку такой ход, чтоб он вышел гуманен и не мягок, объемлющ и не игнорант? Чтоб специальность не сделала узким? Чтоб общее занятие не сделало ничего не знающим? Чтоб сведения шли об руку или всегда были в запасе на помощь мышлению? Как дать огромную силу на защиту своей личности — без злобы? Жажду наслажденья — без унизительного эксцесса? — Ты права, Наташа, надо для воспитывания людей исключительных, страстно посвятивших себя на это дело. Новое доказательство важности семейства!

В самом деле, лицо животного не может выразить ни радости, ни печали. Для этого употреблен хвост. Уши, глаза и уста существуют только для простого глядения, слушания, и рот только будто продолжение пищеприемного отверстия. У обезьяны хвост перестает быть изъявителем ощущений и становится простым орудием, пятой рукой, и глаза становятся выразительнее; рот еще не развился до улыбки. Для игры лицевых мускулов надо избавиться от шерсти. Организм стремится создать лицо. Как это я еще не читал Кабаниса? [2] Да надо вот что ⟨изучить⟩: rapports du physique et du moral chez les animaux******. Иначе, того гляди, из морального сделаешь apartè*******, который начинается там, где то̀ начинается. Между тем как химическое: rien ne se crée, rien ne se perd********— при общем рассматривании существ переходит в rien ne commence, rien ne finit *********. Есть один Totalität **********.

---

* т. е. интеллекта.
** жевательный мускул (лат.).
*** мускул, приводящий и отводящий раковину уха (лат.).
**** невежду (франц. «ignorant»).
***** по навыку (франц.).
****** Отношение между физической и моральной природой у животных (франц.). Парафраза названия главного труда Кабаниса.
******* нечто обособленное (франц.).
******** ничто не создается, ничто не исчезает (франц.).
********* ничто не начинается, ничто не кончается (франц.).
********** целостность (нем.).

Я сегодня видел чудесный сон!

Неужели это мое последнее письмо в Москву? Как-то не хочется верить. Тяжело будет не писать, хотя и вздор пишешь большей частью.

Я к Гран⟨овскому⟩ писал письмо, в котором раскаиваюсь [4]. Но мне показалось, что в его письме было какое-то забвение прошедшего, не то что сознательное примирение, а так — leichtsinniges Vergessen *, хотя, может быть, только и было, что обхождение того, о чем говорить трудно или не хочется. Но у меня так еще врезаны в память все отношения при моем отъезде, что я не могу представить себе иных. А часто хочется, в особенности с ним, быть попрежнему, сгладить эту недоступную черту между нами! — Напиши же о том, *как* ты уедешь из Москвы? С будущей почтой стану писать тебе через Панаева. А что «Современник»-то? Говорят, Некрас⟨ов⟩ меркантильничает, и Виссари⟨ону⟩ попрежнему плохо [5]. O maledetti! ** — Бог с тобой, Герцен! Ступай, ступай!

Вчера рекрут отправил.

Ты лучше меня будешь гулять, я уверен. А я здесь надеюсь поокрепнуть, привыкнуть к труду и отвыкнуть от вина. Последнее я уже совершил — и результат вот какой: с тех ⟨пор⟩ нет нервических припадков, ни даже от позднего и малого спанья, ни от работы, ни от чего. Вдобавок я лью на себя холодную воду, не жалея.

Прощайте, carissimi, нора спать. До завтра.

8 генв⟨аря⟩

Писать больше некогда.

Счастливый путь вам, carissimi! Гуляйте, гуляйте! Пишите часто, очень часто. Письмо, как воздух, мне потребно. Ну, прощайте.

[1] Франсуа-Ахилл *Лонжe* (Longet, 1811—1871) — французский физиолог, автор вышедшей в 1842 г. книги «Traité d'anatomie et de physiologie du système nerveux de l'homme et des animaux vertèbres» («Курс анатомии и физиологии человека и позвоночных животных»), которую, вероятно, и имеет в виду Огарев.

[2] Пьер-Жан *Кабанис* (Cabanis, 1757—1808) — французский врач и философ, представитель материалистической философии XVIII века. Его сочинение «Rapports du physique et du moral de l'homme» («Отношение между физической и моральной природой человека») вызывало большой интерес у русских утопических социалистов сороковых годов.

[3] Парафраза знаменитого принципа Лавуазье — одной из основ материалистического мировоззрения: «La nature ne fait rien de rien, et la matière ne se perd point» (в природе ничего не делается из ничего, и материя не исчезает).

[4] Это письмо Огарева неизвестно.

[5] Переход «Современника» в руки Некрасова и И. И. Панаева вызвал многочисленные толки. То обстоятельство, что Белинский не был включен в число пайщиков журнала, а оставался в роли сотрудника, вызвало сильное неудовольствие московских друзей критика, неосновательно обвинявших Некрасова в пренебрежении к материальным интересам Белинского. Особенно усердно распространял подобные слухи В. П. Боткин. Однако сам Белинский, положение которого в журнале окончательно определилось к февралю 1847 г., считал себя материально вполне удовлетворенным (см. об этом подробнее в «Лит. наследстве», т. 56, 1950, стр. 186—187).

15

13 марта ⟨1847 г.⟩. Яхонтово

Наконец, после долгого незнания куда писать к вам, я опять могу сказать вам несколько слов, друзья мои. Жаль будет, если не много скажется, потому что поздно, и завтра надо посылать на почту. Как видите, я не дома и целый день был не один. Впрочем это только потому, что Желтух⟨ин⟩ был на короткое время, иначе я здесь располагаю всем утром. Желт⟨ухин⟩ велел тебе сказать, саго, что он тебя в короткое время много полюбил. Он славный человек [1].

* легкомысленное забвение (нем.).

** О черти! (итал.).

Здесь я, вероятно, долго проживу, потому что Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ недели через две едет и летом, вероятно, с вами встретится. Я здесь привык, как дома, и мое пребывание здесь мне мало мешает. Я давно сбирался писать вам, хотя понемногу, но одно занятие меня отвлекло от всякой другой письменности, а именно: роман в стихах, который, сколько мне кажется, мне весьма удается. Надеюсь, что к осени или ближе могу его напечатать и что он останется не без сенсации. Он почти может служить концом первой пиимe [2]. В эту работу я так погрузился, что почти месяц ничего иного не делаю. От этого реторты пусты и бараны живы. Но думаю на днях начать вести все дела разом. Не пойдет — останусь при одном; пойдет — тем лучше.

Жаль мне, что тебя нет, Александр, весьма много нужно бы поговорить, и во многом бы ты принял участие.

Я много думал и говорил о пекуньярных обстоятельствах, и мне проглядывают кой-какие новоизобретенные пути к устройству дел, которые я, осмотрев, — только найдя невозможными или превышающими мое терпение, пойду на сделку с Бахмет⟨ьевым⟩[3]. — Не подумай, чтоб Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ сколько-нибудь мешал мне решиться на последнее, он и сам для себя желает такого рода аферу, т. е. то же сделать с своим possessione *, что и я думал; да ты знаешь, как трудно окончательно на это решиться. А он de facto еще менее решителен, чем я. Его я в последнее время узнал короче и полюбил еще больше.

Без сомнения, я остаюсь вообще при моем обычном плане насчет будущих поездок, но по хозяйству хочется сделать что-нибудь действительно полезное, и на этот счет многое придумываю. Когда будет что-нибудь de facto дельное, то сообщу тебе. Но довольно об этом! Давай говорить о вас.

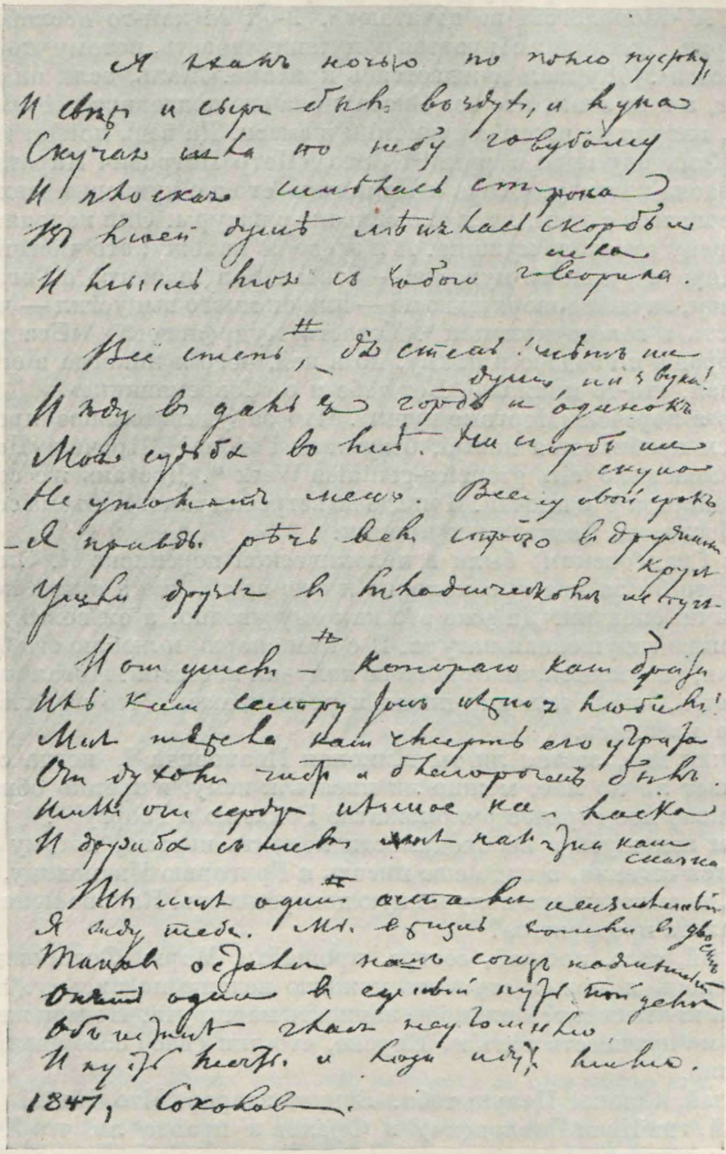
На другой день.

А говорить о вас, как видите, я оставил до утра, потому что не превозмог сна. Получил я два послания с дороги, 2 из Берлина. Последние 2 на днях. Одно с приписками всех. Дайте же крепко сжать вам руки. Только послушайте, Наташа и Марья Федоровна, вы слишком мало говорите о путевых впечатлениях, а мне ужасно хочется знать, как на вас именно подействует новая среда жизни. Что касается до Александра, то я наизусть знаю, что и как, и жду от него только отчет о том, куда выработается его мысль, да еще новостей. Вот он мне пишет о Берлинском музее. Caro! Берлинский музей порядочная дрянь, все, что могу сказать и что ты сам поймешь, побывавши в Италии. Gypsabgüsse** никак не заменят всего изящества мрамора и бронзы. Да и собрание бедно. Я не совсем согласен, чтоб греческое искусство оставляло нас себе чуждыми. Античная гармония форм, во мне по крайней мере, возбуждает чувство необычной Pracht und Fülle des Lebens***. Я не думаю, чтоб мы были очень далеки от древнего искусства; я думаю, что еще нашему миру суждено дойти до этого гомерического спокойствия лиц, до этой стройности и сочувствия к природе и жизни, но с иным, бóльшим содержанием. А ты, верно, не видал в галерее графа Рачинского картины Роберта «Жнецы»[4]. ⟨Это⟩ один из оригиналов, другой оригинал в Лувре. Рассмотри внимательно это удивительное произведение, где соединилась жаркость южного колорита, античная стройность фигур и скорбь современного человека. Чувственность — изобилующий элемент Востока — меня тоже всегда поражал в египетских изваяниях, но, признаюсь, никогда не поражал приятно; тут есть что-то lascif****, животное, нестройное и рабское.

---

* имением (лат.).
** Гипсовые слепки (нем.).
*** роскоши и полноты жизни (нем.).
**** похотливое (франц.).

Из приписки Мюллера я ясно увидал, что благородная струя не скупо была выпита. А я, carissimi, продолжаю принимать ее в самых умеренных количествах. Разумеется, я в асцетизм никогда не впаду, но намерен



СТИХОТВОРЕНИЕ ОГАРЕВА «Я ЕХАЛ НОЧЬЮ ПО ПОЛЮ ПУСТОМУ...», ПОСВЯЩЕННОЕ ГЕРЦЕНУ, 1846 г.

Список рукою Герцена

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

никогда не напиваться свыше известного градуса. Пусть вино оживляет организм, но не болезненно и не дико. Я начинаю питать отвращение ко всему дикому. Вероятно потому, что здесь ежедневно могу видеть дикость и насколько она затемняет человеческое существо и мешает ему ясно и ярко открыться. Ты не знаешь деревни и не знаешь ее быта, интересов, потребностей и возможностей. Когда ты вернешься в нашу сторону

(и я тебя дождусь), я убежден, что наше свидание будет еще совершеннолетнее.

В «Современнике», наконец, поместили «Отъезд», чего мне столько не хотелось, и по этому случаю я заслужил олимпический гнев Виссариона[5]. А «Монологов» не печатают[6]. 2-ой № как-то послабее первого.

Говорят, Виссарион сбирается попутешествовать, потому что болезнь его усиливается[7]. Журнал нуждается в критике. Жаль, если он как-нибудь ослабнет, а я не знаю, кто без Виссариона его поддержит. Комаров что-то, говорят, наврал по части астрономии в смеси. Да ведь придет же в голову давать Комарову перо в руки![8] Зато «Петр Петрович Каратаев» Тургенева скрасил книжку. «Хорь и Калиныч» его же приводит всех в восторг, но я не согласен с этим, хотя оно списано с натуры. Они находят тут изящную сторону русского мужика. А я этого не нахожу; это чистоплотная, но тупая сторона русского мужика.— Статья Бел⟨инского⟩ о Гоголе состоит из выписок, за себя говорящих; но — или он много выпустил — чувствуется надобность в голосе критика[9]. Повесть Кудр⟨явцева⟩ «Без рассвета»[10] очень хороша по задаче и плану, но в ней, чего я никогда в его повестях не замечал, что-то книжное. Вот тебе и о «Современнике».

Здесь я перечел «Мертвые души». Что за удивительное произведение! А и в нем пробивается новый, безумный Гоголь[11]. Прочел «Дон-Жуана». Гете называет его ein grenzlos-geniales Werk *. Достань же себе перевод Гильдемейстера[12] и прочти. Я нигде не встречал такого объема содержания, такого богатства фантазии и иронии.

Мы с Гран⟨овским⟩ были в полемической переписке[13]. Он недоволен мною будто бы за мое высокомерие и еще за то, что я с ним не согласен, будто бы он скептик. Да уже это как ему угодно, а он вовсе не скептик, но роскошно задушевная натура. Я с ним спорю и люблю его бесконечно. От других, разумеется, ни от кого не получал известий. Писал к Риттеру[14], да, кажется, очень неловко писал и раскаиваюсь. Что ж делать! Как-то слова не клеились.

Напиши мне, застал ли ты Николая Ивановича[15], когда он приедет, не напишет ли ко мне, можно ли писать к нему, и крепко обними его за меня. Также мое горячее рукопожатие Рейхелю и Георгу[16].

Засим нахожусь в необходимости кончить письмо, потому что как-то не пишется сегодня, а надо еще писать к Григорию Ивановичу, которому, наконец, посылаю вчера полученную доверенность. Каково меня гражд⟨анская⟩ палата продержала?[17]

Прощай, саго, прощай, сестра, прощайте, Марья Федоровна! Пишите чаще. Теперь я пошел строчить каждую неделю по письму. Я давно бы писал, да кто виноват? Вольно не написать маршрута. Не мог же я пустить мое письмо путешествовать по Европе, что для ⟨вас⟩ совершенно было бы бесполезно.

Прощай, Сашка! Целую тебя. Беннет здоров. Что Коля?

Узнай, где Иван Павлов⟨ич⟩ и Фролов и правда ли что Ив⟨ан⟩ Пав⟨лович⟩ женился?[18]

Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ кланяется.

На обороте: Paris. Messieurs Thurneissen et Comp.
Chaussée d'Antin, 22.
⟨Prière⟩ de vouloir bien remettre la lettre
à Mr Alexandre Herzen
В Париж.
Господам Турнейсену и комп.

Почтовая помета: Саранск 16 марта 1847 г.

---

* безгранично гениальным произведением (нем.).

Несколько строк из этого письма (с упоминанием о Белинском) напечатано в «Лит. наследстве», т. 56, 1950, стр. 189.

[1] О *Желтухине* см. примеч. 1 к письму № 5.

[2] Огарев говорит здесь о своей поэме «Деревня». 25 апреля 1847 г. он писал Т. Н. Грановскому: «Пишу я повесть в стихах. Оной написана одна глава, но в ней местами кой-чего недостает еще, и начата 2-я. Заглавие: Деревня. 1-я глава — приезд, 2-я — отъезд <...> Я готовлю ее для „Современника", но едва ли решусь напечатать, по крайней мере скоро, хотя и кончу в июне» («Звенья», т. 1, 1932, стр. 125; см. об этом также в письме № 16). «Деревня» была впервые опубликована в «Стихотворениях» Огарева, под ред. М. О. Гершензона (М., 1904).

[3] О *Бахметьеве* см. примеч. 1 к письму № 8.

[4] Огарев имеет в виду, повидимому, картину французского художника Леопольда *Робера* (Robert, 1794—1835) — «Жнецы в Понтийских болотах», находившуюся в картинной галерее прусского мецената графа Афанасия *Рачинского* (Raczynski, 1788—1874).

[5] Стихотворение Огарева «Отъезд» было напечатано во второй книжке «Современника». Белинский в это время отрицательно относился к поэзии Огарева. 29 января 1847 г. он писал Боткину: «Насчет стихов Огарева ты меня не совсем понял: кроме гамлетовского направления, давно сделавшегося пошлым, оно бесцветно и вяло в эстетическом отношении. Это набор общих мест и избитых слов, а главное — тут нет стиха, без которого поэзия есть навоз, а не искусство. Ты говоришь, что стихи не обязаны выражать дух журнала, а я говорю: в таком случае и журнал не обязан печатать стихов. Из уст журнала не должно исходить слово праздно. Таково мое мнение» (В. Г. Белинский. Письма, т. III. СПб., 1914, стр. 161—162).

[6] 15 февраля 1847 г. Некрасов писал Тургеневу: «...за Огарева на днях с Белинским мы воевали (впрочем, в дружелюбном тоне), и победа осталась за ним — „Монологи" погибли для света!» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч., т. X. М., 1952, стр. 62). Тем не менее Некрасов и Панаев все же напечатали «Монологи» в № 3 «Современника».

[7] Летом 1847 г. Белинский уехал для лечения за границу. 29 июля 1847 г. он встретился в Париже с Герценом.

[8] Александр Сергеевич *Комаров* — инженер, в сороковых годах был близок к литературным кругам; напечатал несколько заметок в первых номерах «Современника». 17 февраля 1847 г. Белинский писал В. П. Боткину: «Надо тебе сказать еще, что Комаришка же составляет для смеси „Современника" ученые известия. Вдруг профессор Савич <известный астроном.— *Ю. К.*> присылает к Панаеву письмо, где, извиняясь в своей откровенности своим желанием всякого добра „Современнику", говорит, что ученые известия Комаришки для не знающих дела людей очень хороши, но для знающих — курам смех и журналу позор! Вследствие этого подлец Комаришка из „Современника" изгоняется...» (В. Г. Белинский. Письма, т. III. СПб., 1914, стр. 171).

[9] Статья Белинского о «Выбранных местах из переписки с друзьями» была напечатана в № 2 «Современника» за 1847 г. Понимая, что цензура не пропустит откровенного осуждения реакционной книги Гоголя, Белинский построил свою статью о ней главным образом на цитатах из самой книги, сопроводив их довольно осторожным критическим комментарием. Однако и это не спасло статью от цензурных ножниц: она была сокращена почти на треть. «Статья о гнусной книге Гоголя,— писал Белинский,— могла бы выйти замечательно хорошей, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству» (В. Г. Белинский. Письма, т. III, стр. 185).

[10] Петр Николаевич *Кудрявцев* (1816—1858) — профессор Московского университета, одно время приятель Белинского, высоко ценившего его беллетристические произведения. Повесть Кудрявцева «Без рассвета» была напечатана в № 1 «Современника» за 1847 г.

[11] Вероятно, Огарев прочел вышедшее незадолго до того второе издание «Мертвых душ», снабженное авторским предисловием, которое, как отмечал Белинский, внушало живые опасения за славу Гоголя в будущем и «грозило русской литературе новою великою потерею прежде времени» (В. Г. Белинский. Собр. соч. Под ред. С. А. Венгерова, т. X. СПб., 1914, стр. 429).

[12] Отто *Гильдемейстер* (Gildemeister, 1823—1900) — немецкий писатель, переводчик и журналист. Огарев рекомендует Герцену его перевод «Дон-Жуана» Байрона.

[13] См. письма Огарева к Т. Н. Грановскому от 17 января и 14 февраля 1847 г. («Звенья», т. I, стр. 112—117, 119—124) и ответ Т. Н. Грановского («Т. Н. Грановский и его переписка», т. II. М., 1897, стр. 448—449).

[14] *Риттер*, Ritter aus Tambow (рыцарь из Тамбова) — прозвище Н. М. Сатина.

[15] *Николай Иванович* — Сазонов; с ним Герцен встретился в первый же день по приезде в Париж — 25 марта 1847 г.

[16] Адольфу Рейхелю и Георгу Гервегу.

[17] *Григорий Иванович* — Ключарев (см. о нем примеч. 2 к письму № 1). В письме Герцена к Г. И. Ключареву от 28 (16) марта 1847 г. из Парижа — читаем: «Неужели

Огарев до сих пор не высылал вам доверенности на получение 6 или 7 т⟨ысяч⟩ ас⟨сигнациями⟩ в казенной палате?» («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 198).

[18] И. П. Галахов 17 января 1847 г. женился на англичанке Элизе Боуен. Герцен и Анненков были «свидетелями» на этой свадьбе.

16

$\frac{\text{20 апреля}}{\text{2 мая}}$ ⟨1847 г.⟩. Акшено

Caro mio! Давно я не писал к тебе, долго не отвечал на твою маленькую записку из большого города[1]. Раз я писал к тебе на Турнейсена и только раз с тех пор как ты уехал, потому что не знал, куда писать. Теперь ужасно захотелось поговорить с тобою и, вероятно (хотя в несколько приемов), мое письмо будет длинно. Дела ужасно много, друг мой. Сколько раз хотел писать и было некогда. Ты удивишься, что мне некогда. А в самом деле так. Три вещи поглощают все время: наука, литература и *хозяйство*. Последнее удивит тебя еще более, и я намерен серьезно дать тебе отчет в этом. Primo, скажу, что в это время написана статья для «Современника», которою я весьма доволен [2]; пишется поэма, которой 1-я глава кончена почти и вторая начата. Еще несколько скомпонировано из будущей драматической поэмы под заглавием «La nuova divina comedia» *. Что же касается до поэмы, которая теперь пишется, это — повесть в стихах под заглавием «Деревня»; состоит из 2-х глав: 1-я — приезд, 2-я — отъезд. Через месяц или полтора надеюсь кончить.

В науке мало подвигов. Время идет много, но все какое-то школьное шатание и неумение преследует и мешает. Впрочем, химия штудируется не без успеха. Многое проясняется in natur-philosophischem Sinne**, и еще занимает меня приложение. Хлопочу открыть себе совершенно новую отрасль промышленности искусственной фабрикацией настоящего виноградного вина. Для этого предпринимается не совсем без успеха химич⟨еское⟩ разложение мадеры, которую, сколько мне кажется, весьма будет возможно сделать совершенно из тех же элементов, какие в ней находятся, но другим путем, нежели она делается естественно. Сколько могу предположить, фабрикация может обходиться так, что бутылка такой мадеры будет продаваться не дороже 50 коп. асс., и следственно, много заменит в народе водку. До сих пор два элемента мне совершенно известны, есть еще несколько органических щелочей, которые не легко открываются. Я работаю за этим с усердием, тем более, что вижу в этом огромную общественную пользу, если только удастся [3].

Теперь перейдем к хозяйству. Скрепя сердце принялся я за это дело. Но дошел до того, что отнюдь не пойду на сделку с Бахм⟨етьевым⟩ и во что б ни стало добьюсь иной цели или найду средство *почище*. Я недавно принялся за хозяйство. Зиму я удалялся от него. Но, познакомившись с мужиками, я почувствовал такое усердие к цивилизации, что не шутя принялся за дело [4]. Хотя роль плантатора до некоторой степени неизбежна, потому что тупость невежества ничем не пересилишь, кроме приказывания, но я стараюсь избегать даже и последнего, сводя все на определенность в администрации. Пока я верчусь в приведении в порядок администрации, на том основании, чтоб отнюдь не требовалось более работы, чем дозволено законом, и потом чтоб совершенно взвешивалась ценность труда. Конечно, я не разбогатею от этого, да если я когда-нибудь разбогатею, то уж, верно, не посредством усиленных бесплатных работ.

Теперь начинается весна, и я, как школьник, совершенно ничего не знающий, войду в агрономию. Вчерашний снег мне помешал, но вреда не сделал. Снег 19-го апреля! Экой край мерзкий! — Но к чему вся эта забота

* «Новая божественная комедия» (итал.).

** в натур-философском смысле (нем.).

КРЕПОСТНАЯ ДЕРЕВНЯ

Рисунок Н. С. Чернова с пометой художника: «На первой версте от села, нищий, рабочий». Конец 1840-х — начало 1850-х гг.

Исторический музей, Москва

о хозяйстве, спросишь ты? Для того, чтоб сделать⟨ся⟩ фермером, caro mio, ибо иного благородного выхода я не вижу. Ферму я продам хоть тебе, если хочешь, пожалуй хоть Григ⟨орию⟩ Ив⟨ановичу⟩ Ключареву, который хлопочет о моих деньгах в Москве. Capisco, caro mio? * Видишь, что по всем занятиям у меня проектов более, чем когда-нибудь. Что же касается до исполнения... Странно, но je suis plus ferme que je ne le parais **.

Я успел отучиться от чрезмерной чувственности и излишеств. Я редко выпиваю целую бутылку вина в день. Голова моя свежа. Нервные припадки мои, кажется, совсем исчезли. Но что-то мне голо и пусто в жизни, Герцен, должен я в этом сознаться. Трагический элемент, несмотря на блаженность, развивается жестче и безотраднее. Может быть, и самые коллизии с людьми дикими и странными помогают ему развиваться. Сознание усилий не заменяет сознания успеха. А лично что-то так много или утрачено, или не выполнено, что часто страшно тяжело бывает. Умеренность в образе жизни нисколько не составляет das harmonische Maass im Leben ***. Изящного наслаждения жизнью нет. Сердце не полно, и вместо усовершенствованного эллинизма в жизни, о котором я так мечтал, существует какая-то сухая борьба с средой, в которой дышишь. Борьба, которая даже редко доходит до пафоса.

$\frac{2}{\langle 14\rangle}$ мая

Прерванный на сем слове, я только теперь принялся доканчивать это письмо.— Ферма занимает меня чрезвычайно. Размежуясь с мужиками *по владению* и перенеся на их повинность долг, я устрою на моей земле ферму которая по расчету даже при нынешних обстоятельствах не может быть безвыгодна; это меня занимает, Герцен, потому что, прожив здесь около полугода, я убедился, что ферма есть норма всего будущего хозяйства русского, норма, по которой мы из плантаторов перейдем в земледельцев-хозяев (entrepreneurs de maisons rurales, farmers ****). Развивать тебе эту мысль слишком долго, но ты, я думаю, поймешь ее, насколько

* Понимаешь, дорогой мой? (итал.).
** я более стоек, чем кажусь (франц.).
*** гармонического мерила в жизни (нем.).
**** организаторов земельных предприятий (франц.), фермеров (англ.).

знаешь наши хозяйственные дела. Заметь, что и советский долг [5] тут не только не мешает, но способствует. Он, падая на крестьян, вознаграждает помещика за уделение земли *по владению* (т. е. сколько крестьяне для себя в данный момент обрабатывают) и составляет на 37 лет $^2/_3$ налога, который крестьянин платит теперь работами у порядочных помещиков и, конечно, только $^1/_3$ того, что он платит у непорядочных. Помещик же, у которого души не заложены, заложит их для того же оборота. Ферма, которая составит владение и труд помещика, переменит ни на чем, кроме предрассудка и привычки, не основанную систему нашего хозяйства и, представляя все-таки une entreprise rurale en grand *, подвинет успехи земледелия быстро, а между тем, дав ценность труду, возвысит цены произведений и увеличит и производительность и доходы. Я не думаю, чтоб эти немногие строки о вещах, о которых ты, вероятно, там теперь не думаешь, показались тебе скучными. Мне это просто tient à coeur**. Я посвящу на это три года почти постоянного пребывания в деревне, а окончив, сам съезжу попутешествовать, отдохнуть и работать попрежнему в сфере, в которой я больше дома, чем в агрономии, теперь, по крайней мере.

Весна пошла чудесная! Carissimi! Если б вы были со мной, мы провели бы время лучше, чем в Сокол⟨ове⟩. Деревня, где я живу, весьма недурна. Поутру я или объезжаю работы, или ухожу в лес, который составляет и мое действительно поэтическое наслаждение, и главный мой капитал. Ничто не менее романтично, как поэзия природы. От этого она реальна и истинна.

И я могу в ее таинственную грудь,
Как в сердце друга, заглянуть.

А лучше всего в природе лес. Тут столько жизней составляют между собой удивительную целую симфонию, что я не знаю, где может быть для фантазии жить шире. Здесь я могу идти лесом в прямую линию верст 10. Я или наблюдаю его, im forschwissenschaftlichen Sinne ***, или сбираю гербарий, или мне просто так хорошо становится, что я забываю и науку и хозяйство, и дышать становится как-то вольно, роскошно и даже дико, может быть. Скитанье по лесу пробуждает какое-то трудно изъяснимое чувство einer wilden Freiheit ****.

Если б вы здесь были, я бы мог жить от полноты души. В Москву я не поеду или поеду на очень короткое время, чтоб взглянуть на некоторых, даже на Федю [6] (о чем прошу донести Мар⟨ье⟩ Фед⟨оровне⟩. Может быть, Гран⟨овский⟩ ко мне приедет на лето. Я надеюсь на это. Воспоминанье и широкая симпатическая натура этого человека совершенно меня возвращают к нему.— С бароном и Риттером, кажется, у нас никогда ладу не будет. Последнее отношение мне очень неловко, особенно с тех пор, как он заметил это из моих писем к тебе. И ты весьма неосторожно показывал ему кое-что из них. Ты очень хорошо понимаешь, что его жаль, и от этого так мудрено стать перед ним сухо и притом невозможно стать задушевно, особенно когда поотвыкнешь от сантимента грусти и всей истории средних веков.

Теперь я опять стану писать очень часто, Герцен. Мне самому надоело молчать с тобой и не получать от тебя ни строки. На эту минуту я не дома, а у Ал⟨ексея⟩ Ал⟨ексеевича⟩, который в этом месяце уезжает. На днях у него умерла племянница, отчего и дети его (которых я очень люблю, и если вы с ними встретитесь, то, Наташа, познакомься с ними короче, ты

---

* земельное предприятие, широко поставленное (франц.).
** лежит на сердце (франц.).
*** в научно-исследовательском смысле (нем.).
**** дикой свободы (нем.).

можешь иметь большое влияние на эти два очень милые существа, особенно меньшая заслуживает быть весьма развитою) — в унынии. Я ее знал за границей, ей было не больше 20 лет. Ты знаешь, что такого рода смерть наводит страшную досаду. А если, кроме закона необходимости, разглядеть еще вследствие каких невыносимых семейных коллизий являются эти ранние смерти, то уж, верно, не благословенье свернется с языка.

Наташа, Мар⟨ья⟩ Фед⟨оровна⟩, дайте руки. Пишите же, не забывайте меня. Наташа, привези мне из Парижа портфель.

Сашку целую.

КРЕПОСТНАЯ ДЕРЕВНЯ
Рисунок Н. С. Чернова, 1850 г.
Исторический музей, Москва

Что же Саз⟨онов⟩? Когда он сюда едет? Пусть приедет ко мне в деревню. Обнимаю его крепко. Что он давно не пишет?

Что Галах⟨ов⟩? Женится ли он? Где Фрол⟨ов⟩? Я к ним ужасно давно не писал. Ну! да и они ко мне тоже. Галах⟨ову⟩ напишу скоро, а Фрол⟨ову⟩ не могу, потому что не знаю, где он. Извести же меня. Жму руку Рейх⟨елю⟩.

Прощай, саго! Наслаждайся и пиши часто, даже не считаясь письмами, как визитами, что *было бы* с нашей стороны довольно курьезно. Наслаждайся.

[1] Эта записка Герцена к Огареву неизвестна.

[2] 25 апреля 1847 г. Огарев сообщал Т. Н. Грановскому: «Послал в „Современник" статью (вероятно, в смесь) — Письма из провинции (pseudonyme). Не совершенно удовлетворен художественной отделкой, но ручаюсь за меткость и достоинство статьи, если ее не испортят» («Звенья», т. I, стр. 127). В редакции «Современника» она пролежала до осени (см. след. письмо); повидимому, в ответ на запрос Огарева И. И. Панаев писал ему 6 октября 1847 г.: «Напрасно сомневаешься ты в том, что письма твои не будут напечатаны в „Соврем⟨еннике⟩". Они превосходны и будут служить украшением (так сказать) нашего журнала. Они поместятся в *декабрьской книжке*. Бога ради, пиши продолжение их. Такого рода вещи очень и очень полезны, полезнее иных художественных произведений» («Новые пропилеи», т. I, 1923, стр. 17). Тем не менее в «Современнике» эта статья Огарева не появилась. Повидимому, это та самая статья, которая была опубликована в «Полярной звезде» на 1857 г.

под псевдонимом «Антон Постегайкин» с датой — 15 марта 1849 г. (см. Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, М., 1952, стр. 67).

[3] Об этом же Огарев писал и Т. Н. Грановскому («Звенья», т. I, 1932, стр. 125).

[4] План земельного переустройства, о котором Огарев подробно говорит в этом письме и в письмах от 7 июня и 26 июня 1847 г., сложился у него в 1847 г.— и над претворением этого плана в жизнь он работал в течение 1847—1848 гг. Отказавшись от юридического освобождения крепостных крестьян, Огарев решил перестроить их быт экономически. Он намеревался «приучить» крепостных к вольнонаемному труду. С этой целью Огарев приступил к созданию «образцовых земельных ферм», а также фабрик и заводов (см. подробнее во вступительной статье). Глубоко убежденный в правоте и в практической осуществимости своего, в действительности совершенно утопического, плана, Огарев был готов «привести его в исполнение насильно». Во что вылился бы акшенский эксперимент, сказать трудно, но дальнейшие события личной жизни отвлекли Огарева от практического осуществления этого эксперимента.

[5] Огарев имеет в виду долг в Опекунский совет.

[6] *Федя* — Ф. Е. Корш (1843—1915), сын Е. Ф. Корша, впоследствии известный филолог, академик.

17

〈Яхонтово.〉 Июня $\frac{19}{7}$ 〈1847 г.〉

Вот я и опять давным давно не писал к вам, друзья мои, и давным давно не получал от вас писем. В последний раз как я писал к вам, мой посланный, возвратясь с почты, привез мне ваше письмо, и я тотчас собрался отвечать, но меня остановила болезнь. Страшная лихорадочная невралгия надглазного нерва мучила меня недели две до сумасшествия. «Но молодость свое взяла», и я опять здоров, как нельзя лучше. Ты улыбнешься при этом слове «молодость», caro mio! Однако я прав. Я чувствую откровенно, что я молод, не той первой, чудесной молодостью, которая так многого ждет, так много фантазирует и которая была так непосредственно хороша, несмотря на все нелепости поступков и страстей, что я ее вспоминаю с любовью и, сознавая, не стыжусь тысячи глупостей и горечей и не раскаиваюсь в них; но я молод именно тем, что моя первая молодость *совершенно* прошла, а силы мои нисколько не утратились, но сосредоточились и стали развиваться в сфере действительности, в положительности фактов. Если прошлый год был так богат для нас опытом и скорбью совершеннолетия, то этот год богат для меня силой совершеннолетия, молодостью совершеннолетия, если ты допустишь это выражение. Тут, конечно, нет розовых надежд, но есть рассчитанность поступков и живая оценка существующего. Это переход в Praxis*. Этот переход был необходим в моем развитии. Два выхода предстояло: уныние и Praxis. Я страстно и весело перешел в практическую деятельность, с верой в труд и с деспотизмом воли, которой ни ты, ни я сам в себе не замечал. Насколько я предвижу вперед, я на пять или шесть лет *безвыездный хозяин* в деревне. Это решено и будет упорно выдержано. Не говорю о поездках в столицу на один или два месяца в год — это нужный отдых, и отсутствия мои из деревни не переступят означенного срока. Я решился на труд хозяина, думавши целую зиму об этом, и решился не pour acquit de conscience** и не ради необходимости уплатить долги, а с полным расчетом на резкое изменение хозяйства и приобретение огромных средств. Я совершенно понимаю цену богатства и достигну его трудом. Хорош ли расчет и верно ли я проведу свой труд—это докажет опыт. По вашем возвращении, друзья мои, вы посетите меня в моем отшельничестве, и тогда уже многое найдете приведенным в исполнение. Как я буду рад вам, об этом говорить нечего! Сколько и о скольком нам придется болтать друг с другом, это можно предугадывать. Я верю, что в этот раз наше свидание будет еще лучше и мы найдем друг друга еще совершеннолетнее, мужественнее, ровнее и определеннее.

* практическую деятельность (нем.).

** для очистки совести (франц.).

$\frac{20}{8}$ июня

Сегодня я еду домой от Ал⟨ексея⟩ Ал⟨ексеевича⟩. Он отправляется первого июля. Несмотря на его скорый отъезд, я бываю у него и реже и на короткое время. Просто некогда с тех пор как ко всем иным занятиям прибавилась мне должность управляющего. Да и дом мне с тех пор лучше нравится. Романтические воспоминания не одни меня привязывают к нему, но еще и живая определенная деятельность и определенные надежды. А потом и для внутреннего, любимого наслаждения мне дома лучше: местность изящнее. Огромный лес, где я бываю часто и долго. В лесу у меня три занятия: 1) вводимая мной рациональная рубка, извлечение дегтя etc.,

ВНУТРЕННИЙ ВИД ИЗБЫ
Картина маслом Н. С. Чернова, 1864 г.
Русский музей, Ленинград

2) гербаризация, 3) наслаждение. Последнее занятие, разумеется, мне больше всего по сердцу. Мне нигде не бывает так хорошо, как в лесу. Погода теперь чудесная. Совершенно ли мне хорошо одному — это другой вопрос. Иногда очень тяжело. Чувство одиночества тем более тягостно, что не только мое наслаждение одиноко, но даже вся моя деятельность одинока. Пробовал я многое предпринимать en compagnie*, и только Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ (и то не совсем) держится со мною. Другого соседа я в иных случаях пугаю; в устройстве фермы боятся убытков, жалуются на неимение средств. На днях мне очень жутко пришлось, так все наши прошлогодние споры пришли на память, повторились в другой сфере. Это было не так задушевно больно, но одиночество деятельности для меня обозначилось. Ничего! Я не впаду в уныние и все-таки устрою дела, как хочу.— Я звал профессора[1] приехать к себе. Он еще не отвечал. Профессор остался для меня все тою же изящною натурою, которая мне всего ближе, кроме

* в компании (франц.).

тебя. Я думаю, мы с ним можем провести летний месяц очень хорошо, и даже многое скорбное между нами может изгладиться. Приедет он или нет — не знаю! Думаю, что да!

Твой обзор знакомых, с которыми ты встретился, меня сильно интересовал. Он справедлив — не могу не согласиться. Но все же ты не довольно оцениваешь Саз⟨онова⟩. Что касается до его сожительницы, в это я решительно не вступаюсь, Герцен, и не признаю себе права вступаться. Naturgewalt* и некоторые, может быть, ошибочные оценки ее участия во время неловких обстоятельств связывают его. Это дело такое личное, что я не беру на себя la condamnation **. Если тут есть грязность, то, с другой стороны, есть и благородство. Что же касается до Георга[2],— это, без сомнения, одна из самых полных и изящных натур, которую я когда-либо встречал.

Женился ли Гал⟨ахов⟩? Обними его за меня. Где Фрол⟨ов⟩?

Желал бы лично видеть впечатление, которое на тебя производит тамошний мир. Мне кажется, что, несмотря на многое скорбное и удушливое, с которым ты необходимо должен был столкнуться, ты слишком немного обратил внимания на Staat in seiner politiko-oekonomischen Entwickelung***. Боюсь, чтоб Gesamtheit**** фактов и целость развития не скрылись перед тобою за теоретическими неудовольствиями. Впрочем, только боюсь, и то не знаю сам отчего, а думаю иначе.

Думал написать очень много и написал очень мало. Сейчас деловое послание из города, и надо писать деловые письмы. Григорий Иван⟨ович⟩ очень хорошо со мной поступает и берет на себя в Москве многие хлопоты по моим делам[3].

Лучше послать 2 страницы, чем ничего. Дайте руки, друзья. Напиши хорошенько, Наташа, что ты делаешь там, да и Марье Федор⟨овне⟩ не худо написать мне о себе. Не поленитесь, Марья Федоровна! Скажите все впечатления, которые иные страны произвели на вас. Я играю andante Тальберга[4]. Это замечание исключительно посвящено вам.

Addio! Меня зовут.

На обороте: Paris. Monsieur A. Herzen.
Confiée aux soins obligeants
de Mrs Thurneisen et Comp.
Chaussée d'Antin, 22.
В Париж. Господам Турнейсену и компании

Почтовые пометы:
Franco. Саранск. 12 июня;
Moskau. 1847. Juni 17.

[1] *Профессор* — Т. Н. Грановский.
[2] *Георг* — Гервег.
[3] О *Ключареве* см. примеч. 2 к письму № 1.
[4] Сигизмунд *Тальберг* (1812—1871) — известный пианист и композитор.

18

⟨Яхонтово.⟩ $\frac{8 \text{ июля}}{26 \text{ июня}}$ ⟨1847 г.⟩[1]

Я у Ал⟨ексея⟩ Ал⟨ексеевича⟩, который едет 1-го или 2-го июля ⟨ст. ст.⟩, в дороге пробудет еще до выезда ⟨за границу⟩ более месяца; благодарит тебя за предложение и напишет к тебе из Москвы. Славный он человек,

* сила естества (нем.).
** осуждения (франц.).
*** государство в его политико-экономическом развитии (нем.).
**** совокупность (нем.).

carissimo; но что такое делают из человека обстоятельства и среда, в которой он движется, это можно проследить на нем в каждой нитке. Если б он не был так близок мне, это была бы остроумная этюда, а теперь это мне горькая этюда.

Но... эта среда та же, в которой я начинаю вращаться (минус разные невкусные обстановки, от которых я избавлен). И что же, саго? Испортит ли меня эта среда, или я с отвращением обращусь в бегство?— Не думаю. Я слишком прямо иду к цели; я слишком скоро подвину все средства к достижению, чтобы мне можно было привыкнуть к уродливому положению аристократа-плантатора. Назначение русского помещика, ergo—и мое (в этом я глубоко убежден), быть ни тем, ни другим, а быть просто индустриалом, plus ou moins* оптовым. Заметь это, это очень важно. С учреждением ферм (так как мы все же по всему нашему положению с конца в конец России — *земледелы*) хлебопашество и промышленность сильно подвинутся. Может быть, я — как первый — разорюсь на этом, беда не велика, путь проложен; дурно только для примера, но истина свое возьмет. Да я и этого не думаю; я почти убежден в возможности обогащения или, по крайней мере, ясной отчетливости в барыше и убытке. До сих пор никто — и самые лучшие барщинные хозяева — не считают у нас ни капитала, ни труда, т. е. не считают расходов, а только продажею произведений приобретенные деньги. Нетрудно разглядеть, что это детский расчет, ребячество политической экономии. Я это докажу примером. Положим с 10 десятин земли продал 100 четвертей ржи по 7 р. ассигнациями. Я и говорю тотчас, что, дескать, получил 700 р. доходу. Какая нелепость! Земля моя стоит по 100 р. десятина, след⟨ственно⟩ 1000 р. С 1000 р., хорошо употребленных, я должен получить 100 рублей доходу. За обработку барщиной я опять плачу мужику тем же количеством земли, т. е. 10 десятинами (по 1 дес⟨ятине⟩ на тягло), т. е. капиталом в 1000 р. и процентами в 100 р. Вот уже 200 р. расходу. На посев я употребил 10 четвертей по 7 р., след⟨ственно⟩, 70 р. Теперь земля моя заложена по душам; по расчету на 10 десятинах лежит долгу третья часть залога 20 душ (ибо 10 дес⟨ятин⟩ ржи представляют 30 десят⟨ин⟩ в 3-х полях, на обработку надо 10 тягол, представляющих 20 душ, по крайней мере); третья часть залогу 20 душ = 1866 р. (ergo, почти $^{9}/_{10}$ того, что́ стоит земля). Процентов на это 112 р., à 6%. Вот уже расходу 382 р. Прибавь 1% в уплату капитала 18 р. 66 ⟨к.⟩. Теперь провоз проданной ржи смело полагай в 1 р. с четверти = 100 р. Вот уже очевидного расхода 500. Остается барыша 200 р., из которого можно положить верных 150 ⟨на⟩ убыток от скверного севооборота и всегда дурной обработки посредством барщины. Следственно, действительного дохода с капитала в 2000 р. я имею 50 р., что почти равняется убытку, или, лучше: значит 150 р. убытку, ergo: мы работаем в убыток или сводя на-нет все капиталы и труды. Вот расчет барщинной обработки.

Из этого можно заключить, что уже как бы то ни было фермажная обработка земли не может быть убыточнее. В доказательство моего расчета приведу то, что все именья ощутительно приходят в упадок, что́ доказать может статистика Опекунск⟨ого⟩ совета, т. е. число имений, продающихся с аукционного торга и число перезакладываемых имений. Заметьте, еще, что со времени учреждения О⟨пекунского⟩ совета почти ни одно имение не выкуплено, а все *перезаложены*.

Я не думаю, чтоб ты соскучился, читая этот расчет[2]; нельзя не охватывать материальных интересов, если хочешь, чтобы твоя наука была полна и реальна.— Надо и еще заметить, что 50 р. барыша, которые я выше

---

* более или менее (франц.).

положил, мнимы, потому что если расчесть употребляемый на прокормление крестьян хлеб в голодные года, то совсем сойдет на-нет.

При фермажном устройстве расчет следующий:

Приход с 10 дес⟨ятин⟩ — 100 четверт⟨ей⟩ по 7 р.	= 700.
Расход 1) С капитала в 1000 р. %	= 100
2) На пашню по 10 р. с десят⟨ины⟩	= 100
3) На жнитво idem	= 100
4) На уборку idem	= 100
5) На провоз по 1 р. с четв⟨ерти⟩	= 100
6) На посев	= 70
Всего расходу.....	570

Следственно, чистого барыша, очевидного 130 р. От улучшения севооборота и обработки 15 четв⟨ертей⟩ — лишних 105 р., итого барыша 235 р.

Крестьяне уплачивают советский* долг, т. е. платят оброк с 10 дес⟨ятин⟩ 130 р. 66 к. (ежегодный % в сов⟨ет⟩). Разделив это на 10 тягол, выйдет 13 р. 6 к. с тягла на десятину в продолжении 37 лет; а здесь нанять десятину стоит до 16 р.

Кажется, всем выгодно, не говоря о умножении трудолюбия в крестьянах и улучшении промышленности. Как думаешь, саго, можно прохлопотать над этим лет пять безотходно?

Крестьяне платят, следственно, в О⟨пекунский⟩ совет всего с тягла 39 р. 18 к. (с 3-х полей). Они платят подушных и повинностей до 10 р.; словом, на них ляжет налог в 50 р. ежегодно (все в продолжении 37 лет) с тягла, что́ составляет небольшой оброк; доход тягла может быть (если 1 десятина в поле, а надо заметить, что, по большей части, у них не менее 2-х десятин): с 1 десятины ржи — 10 четверт⟨ей⟩ по 7 р. = 70 р., с десятины ярового — 15 четвертей по 4 р. = 60, итого 130 р.; следст⟨венно⟩, тягло за летнюю работу получить за уплатой повинностей 80 р. Теперь за зимнюю ⟨работу⟩ — от 50 до 60 р. при дурном промысле, т. е. когда крестьяне не умеют и не любят промышлять *ремеслом*. Наприм⟨ер⟩, у меня мужики, имея слишком много земли, скорее бедны, чем богаты от избытка ⟨...⟩

Если не устоишь против скуки, отвращения, горя, которыми охватывают стычки с упорной косностью и невежеством, — разумеется, бросишь хозяйство и уедешь из деревни, чтоб никогда уже в нее не заглядывать. Такие минуты находят нередко; недостаток помощников (т. е. contre-maîtres) отнимает силу, горько бывает; но я решился выдержать все во что бы то ни стало — и убежден в пользе результата.

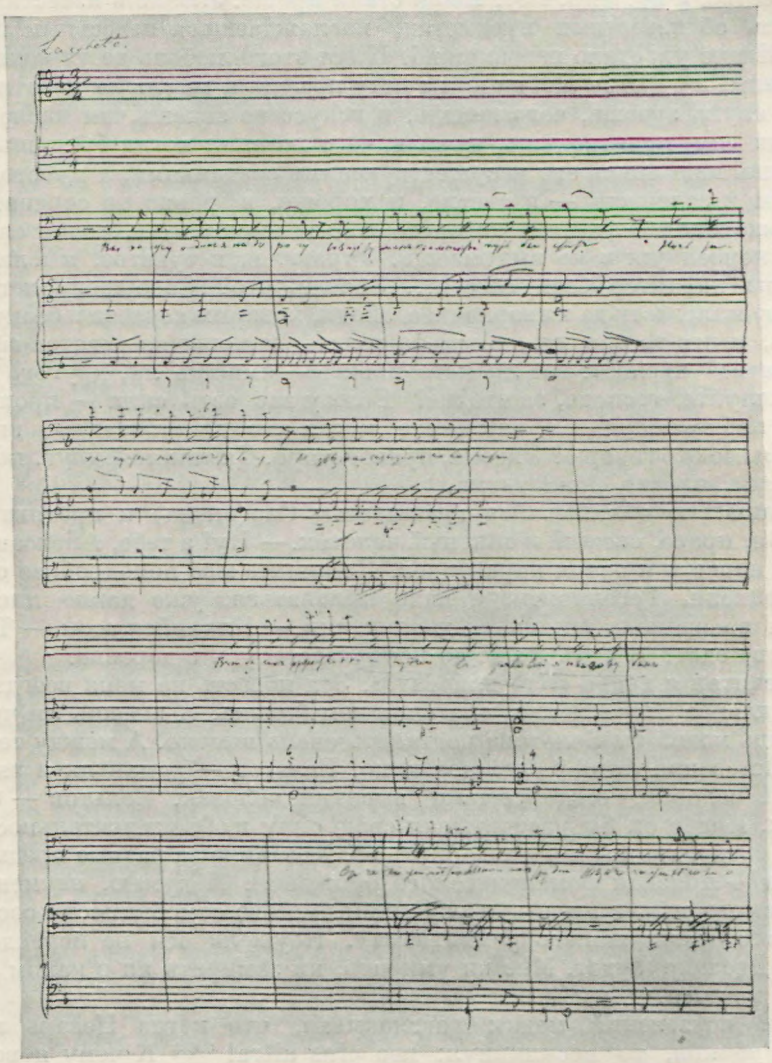
У нас была засуха; теперь опять дожди небольшие; но холод смертный. Ты бы уж давно напялил 20 шапочек на голову и ругал бы холод и головную боль. А я здоров пока. Нервическ⟨ие⟩ припадки совсем отстали. Сон крепок, аппетит удивительный.

⟨Акшено.⟩ $\frac{\text{9 июля}}{\text{27 июня}}$ ⟨1847 г.⟩

Ваше письмо, carissimi, я получил тому назад недели две. Много благодарю всех вас. Мы редко переписываемся, это нехорошо. А между тем, как же иначе? Времени так мало. Живой разговор требуется, а перо лениво. Твое письмо, Наташа, мне ужасно живо напомнило тебя. Мы с тобой не можем не симпатизировать, и потому в твоих письмах для меня никогда нет нелепицы. Все близко понимается. Знаешь ли, что у нас есть сходство

* т. е. в Опекунский совет.— *Ред.*

в характерах; оба мы натуры светлые, а жить нам тяжело; недостаток какой-то целости в жизни и изобилие гордости нас мучит. Ты, может, улыбнешься над этим, а если подумаешь — оно так. Я не порицаю гордости; она двигатель мысли и деятельности, скажу более — единственный двигатель. Это не парадокс; дело в том, что самые широкие интересы, когда



НОТНЫЙ АВТОГРАФ ОГАРЕВА
Романс на слова Лермонтова «Выхожу один я на дорогу»
Литературный музей, Москва

сживаются с лицом и переходят в его кровь и плоть, то преобразовываются в форму индивидуальной гордости, и это единственный залог их развития, их жизни, это единственная форма связи общего с индивидуальным. Если романтизм видит в этом унижение, имморальность, нечистоту души, то это только потому, что романтизм глуп и, будучи сам до ногтей ясен, прячется от живого понимания личности.— Но кто же виноват в том, что натура светлая, а жить тяжело? Среда или сами мы? Ни то, ни другое, вероятно, а разница того и другого. Впрочем, это осевшее

чувство скорби может быть очищено деятельностью. Деятельность стирает с нее остатки романтической пыли, а остается живая, человеческая, весьма простая скорбь, которая знает свой предмет. Ах! сестра! Нельзя уж нам, извиняясь молодостью лет, ни вообще стремиться к любви и тосковать, ни грустить, теряясь в стремлениях и вверх и вдаль, и в науку и в искусство, и пр. и пр. Нет! Вещи стали проще. Любишь известные лицы, думаешь об известных предметах, наслаждаешься известным впечатлением. Иначе уж стало невозможно. Но от этого любовь не утратила ни на йоту силы, и чувство любви ни на йоту прелести, мысль не утратила энергии, в науке знаешь, чего ищешь, в искусстве знаешь, чем наслаждаешься; если сам производишь, знаешь, чего хочешь; когда бродишь в лесу, не ищешь наполнять его несуществующими созданьями, а просто любишь его шум и зеленость — и светло, и хорошо, и ровно на сердце. Только в столкновении с фактом, которого нельзя опрокинуть, является скорбь, иных скорбей уж и не выдумаешь. Утратился в чувстве, мысли и даже поступке характер беспутности... Знаешь что? Совершеннолетие юнее и свежее молодости да и энергичнее. Люди, которым хочется и беспредметно любить, и что-то творить, и что-то делать, похожи на хватов-офицеров, которые всё нюхают: нет ли кого побить — ямщика ли, другого ли кого. Да помилуйте, господа, за что же? Если у вас есть сила — производите; а если побить случится, так бейте, когда кто действительно виноват... К чему я все это говорю? Уж оно, право, старо. Да так, мой друг, последняя филиппика против романтизма.

Наташа! не обманывайся внешностью Саз⟨онова⟩ и протягивай ему руку. Он, право, свежий и сильный человек.— Ну! а тебе, Александр, спасибо за новости и очерк характеров. Напишите мне поподробнее о «Миньоне» Рейхеля. Гегелианец, а надо признаться, уже давно плоше, чем казался во времена школьной диалектики.— Кланяйся всем.— Точно ли Саз⟨онов⟩ едет? Я чуть ли не до ноября останусь в деревне.

Перечитал я вчера «Кто виноват?». Эта повесть на меня всегда производит сильное впечатление, она слишком близка. А знаешь ли что, Герцен? Ведь метил ты Бельтова поставить очень высоко. А между тем Бельтов — durch und durch* ложное лицо. Бельтов — романтик и pseudo**-сильный человек, хотя все-таки высокий человек. Бельтов — больной человек. Иначе он бы рассчитывал свою силу и объект деятельности и нашел бы среду, где бы мог развернуть ее. Хватание за разные предметы без порядка — признак романтического брожения. Я думаю, неуменье отыскать самого себя в мире при огромном чувстве самобытности составляет последний фазис нашего романтизма[3]. Неужели мы не перейдем этот рубеж! Досадно будет. Мне ни умирать, ни замирать ни в каком отношении не хочется.

Один пензенский медик рассказывал, что когда Цезарь перешел через Рубикон, то воскликнул: nec plus ultra! *** К чему я вспомнил эту глупость, чёрт знает!

Ну, прощайте! Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ долго собирается. Не хочется не проводить его и ужасно надо бы домой. Я уже его тороплю.

Дайте руки! Прощайте! На обороте пусть читает Марья Федор⟨овна⟩.

Пиши чаще, однако. Иногда одиночество тягостно, ждешь как праздника дружной речи, толчка, поощрения или иных интересов.

Желт⟨ухин⟩ уехал по части получения наследства.

Печатание моей статьи отложено, не знаю до каких пор, ибо одобрение получил, а почему отложено — не знаю[4]. Поэма подвигается.

---

* насквозь (нем.).
** мнимо (греч.).
*** дальше некуда! (лат.).

В вышеописанном расчете могут быть маловажные ошибки; я сделаю весьма отчетливую статью, вероятно, для журнала Министерства государ‹ственных› имущ‹еств›, в которой уже их не будет[5].

Наташа! Портфель мне нужен для письма, кожаный (buvar) и есть с пропускной бумагой, и чтобы в нем было место уложить сургуч, ножницы, ножичек, перо и карандаш; чтобы он был удобен для дороги и можно бы в него укладывать много бумаги. Хорошо, если к нему приделана чернилица. Надо, чтоб он запирался на замок. Величина его в лист бумаги. Переплетенной в него бумаги, кроме пропускной, не нужно. Дороже 50 р. ас‹сигнациями› дать не хочется. Не худо, чтоб был футляр или чехол.

[1] На это письмо Герцен отвечал письмом от 3 августа 1847 г. (см. V, 47—49).

[2] «Насчет твоих экономических теорий я не стану говорить,— писал Герцен,— потому что я плохо знаю предмет; в них мне всего более нравится яркое доказательство твоей живой и реальной натуры. Быть своевременным, уместным, взять именно ту сторону среды, в которой возможен труд, и сделать этот труд существенным — в этом весь характер практического человека» (V, 47).

[3] Повесть Герцена «Кто виноват?» была напечатана: первая часть в «Отеч. записках», 1845, кн. 12; вторая часть («Владимир Бельтов») в «Отеч. записках», 1846, № 10. Затем повесть была напечатана в приложении к кн. 1 «Современника» за 1847 г. и в том же году вышла отдельным изданием. В своем письме от 3 августа 1847 г. Герцен ответил Огареву подробным рассуждением о Бельтове (см. V, 47).

[4] См. примеч. 2 к письму № 16.

[5] Статья эта неизвестна, но некоторые мысли публикуемого письма нашли отражение в другой статье Огарева «Замечание на замечание г. Чихачева», которая была напечатана в № 228 «Санкт-Петербургских ведомостей» от 5 октября 1847 г.

19

‹Акшено.› $\frac{\text{2 ‹1› ноября}}{\text{20 октября}}$ ‹1847 г.›[1]

Через три дня я еду в Москву, caro mio. Не особенное желание выехать из деревни влечет меня, но дела. Предприятия и обороты большие; я на пути разбогатеть, а это я почитаю необходимым. Еду я за деньгами в Белоомут. Но если мне понадобится еще денег, то где взять? Вышли поскорей (если возможно) доверенность Григорию Ивановичу о размене твоих билетов и выдачу мне взаймы под залог одного из моих имений, находящегося в Пензенской губернии до 85 000 ассигнациями (или на серебро до 25 000). Я тебе буду платить по 8% на два года. Если ты этого не сделаешь, это будет и глупо и скверно, ибо при закладной ты ничего не теряешь, не рискуешь, а 8%>4%. Между тем я сим оборотом могу сделать себе на 1-й год тысяч 50 доходу лишнего, т. е. которого еще не имел (а имею я не более 35), а на второй год и более. А это важно для всех моих здешних предприятий, ибо без этого их подвинуть трудно[2]. Если Ал‹ексей› Ал‹ексеевич› что-нибудь тебе будет говорить про мои дела неодобрительного, то (inter nos*) не верь, потому что я сроду не видывал человека нерасчетливее его, он отчасти и сам сознается в этом, но любит скрывать *от себя* все невыгоды по хозяйству. Почему я говорю inter nos? Потому, друг мой, что когда ему в глаза это говоришь, это его печалит и сердит немного. А если так, par un tiers**, то его самолюбие ‹не› слишком оскорбится. Он милый и благородный человек, но лета — Герцен! Лета и жизнь... Но об этом мы поговорим при свидании. Я своих дел от себя не скрываю. Теперь они скверны, но новые обороты мои рассчитаны верно и ни в каком случае убытку не принесут. Но без денег нечего делать. Мир экономический движется по своим законам. Если ты согласен на мое предложение, то

* между нами (лат.).

** через третье лицо (франц.).

пришли поскорей доверенность, засвидетельствованную в посольстве. Может, я и не возьму твоих денег, если добьюсь прежде, но, на всякий случай, пришли поскорей, потому что корабль мой снят с якоря, и остановиться нельзя. Тебе странно видеть меня в промышленной деятельности, мне самому странно. Но я чувствую, что я на месте покуда, и прошу верить мне ради моего чистосердечия, поддержанного просто цифирными законами. Надеюсь тоже, что вся моя деятельность не заставит тебя усомниться в моем бескорыстии, но что ты оценишь ее важность в моем положении.

Но будет об этом. Где ты? Я писал к тебе через Турнейсена, и при оном письме было еще письмо к моей жене[3], с которой, не знаю, ты встретился ли; а мне очень нужно знать, где она, ибо надо послать ей денег, и не знаю куда. Писал я к тебе недель пять или шесть тому назад, а может и больше. Я все был в разъездах. Теперь опять пишу через Турнейсена, и, вероятно, ты письмо получишь к святкам. Вероятно, будешь в Риме[4]. Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ туда едет. Наташа, возьми же под свое покровительство m-lle Natalie[5]. Право, стоит того, чтобы развить эту богатую натуру. Дай ей смысл к изящному, который по *данным* всего менее мог развиться.

Что я делаю? Немного, caro mio. Хлопоты и расчеты ⟨...⟩

Все же я успел вот в чем:

1) Расчеты мне стали яснее. Возможность привести в исполнение задушевные экономические проекты яснее. Тут две вещи нужны: время и деньги. 2) Поместил в газеты две статьи, из коих одну сам от души уважаю[6]. 3) Подвинул немного поэму. Авось ли к новому году кончу.— Письмо мое поместится в XI книжке «Современника». Каково! Письмо от марта — в ноябре![7] Я бы с тех пор десять написал, если б оно в свое время было напечатано, а теперь с трудом надо наладиться опять на тот же весьма полезный тон. — Еще готовлю в «Современник» письма в другом роде, посвященные тебе[8].

Что же ты делаешь? Твоих писем я еще не читал, ибо к нам приходит «Совр⟨еменник⟩» ровно через 5 недель[9].

Что ты, Наташа, делаешь? Что М⟨арья⟩ Ф⟨едоровна⟩ делает? Что дети? Хорошо ли вам в Италии, carissimi? И в Риме-то вы будете! Подчас бросил бы все хозяйственные занятия и уехал бы в Рим. Но нет! Теперь уже нельзя бросить. Теперь жизнь захвачена в это дело, сколько бы оскорбительных препятствий ни встречалось на пути. Голубое небо и мир искусства тревожат иногда воспоминанье, но от живой делающейся истории оторваться нельзя.

Прощайте, мои милые. Устал я что-то и не хочется писать. Чёрт знает сколько бы дал, чтоб в эту минуту, когда я становлюсь нежен, сидеть с вами и говорить с вами. Когда же вы приедете? Вот уже год как мы врозь, а развитие-то совершается наверно одинаковое.

Addio!

На обороте: Paris. Monsieur Alexandre Herzen.
Confiée aux soins obligeants
de Messieurs Thurneissen et C°
qui sont priés de vouloir bien expédier la lettre
à Mr Herzen où il se trouve.
Chaussée d'Antin 22.

В Париж, господам Турнейсену и комп.

Почтовые пометы:
Franco. Саранск. 23 октября
Moscou. 1847. Octobre 28.

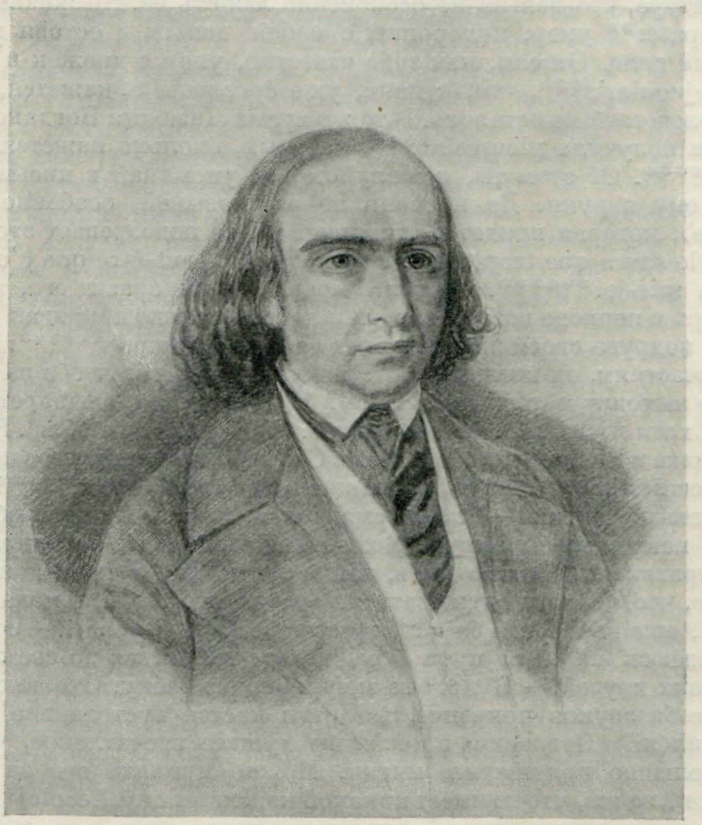
[1] Огарев ошибся, переводя дату со старого на новый стиль.

[2] Распоряжение Герцена о выдаче Огареву взаймы 25 000 рублей см. в его письме к Г. И. Ключареву от 4 декабря 1847 г. («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 206).

[3] Огарев имеет в виду письмо к М. Л. Огаревой от 17/29 октября 1847 г.; оно опубликовано (в переводе с французского) в кн.: Я. Ч е р н я к. Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве. М., 1933, стр. 331.

[4] Герцен и Наталья Александровна выехали из Парижа 21 октября 1847 г. и приехали в Рим 30 ноября.

[5] О встрече Герцена и Натальи Александровны с Тучковыми в Италии и об их совместной жизни там см. в «Воспоминаниях» Н. А. Тучковой-Огаревой (М., 1929, стр. 64). После возвращения Тучковых на родину между Н. А. Герцен и Н. А. Тучковой завязалась оживленная переписка (см. «Русские пропилеи», т. I, М., 1915).



Т. Н. ГРАНОВСКИЙ

Рисунок К. А. Горбунова, 1845 г., в альбоме, подаренном Огаревым Герцену

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

[6] Первая из двух статей — это упомянутая выше (см. примеч. 5 к письму № 18 статья Огарева «Замечания на замечания г. Чихачева». Она была помещена в «Московских ведомостях» от 11 октября 1847 г. Вторая статья — «Замечание на статью „Опыт статистического распределения Российской империи“», была опубликована в «Московских ведомостях», № 116, от 27 сентября 1847 г. Об этой статье Огарев упоминает в письме к Т. Н. Грановскому от 10 сентября 1847 г. («Звенья», т. I, 1932, стр. 138).

[7] См. письмо № 16.

[8] Подразумевается начатый Огаревым цикл статей, озаглавленный «Письма к деревенскому жителю. Посвящено Искандеру». Неоконченная рукопись «Письма первого», обнаруженная Я. З. Черняком в архивном фонде III Отделения, впервые публикуется в наст. томе.

[9] В «Современнике» (1847, кн. 10—11) были напечатаны «Письма из Avenue Marigny» Герцена.

20

Генваря 7 1848 г. / Декабря 26 1847 г. Москва

Давно, страшно давно я не писал к вам, друзья мои. Поездки, болезни и, наконец, праздношатание в Москве, вот причины suffisantes*, хотя и неизвинительные. Прежде чем стану говорить тебе о твоих последних 2-х письмах из Рима[1], скажу несколько слов о здешних друзьях. Мы встретились теплее, нежели расстались. Грановск⟨ий⟩ отделался от предрассудков, и теоретической дальности между нами не существует. Это такая изящная натура, что нельзя не бесконечно любить ее. Но жизнь его смущена. Его pater** умер, похоронив с собой деньги и оставя на именье неоплатимый долг. Он сам, как тебе известно, упал с дрожек и расколол себе ossem jugularis***, что, однако, уже срослось, и, кажется, никаких дурных последствий не осталось. В то же время Лизавета Богдановна[2] простудилась и получила pleuresis****, который, сколько кажется, перешел в phtisia *****. Об этом ты, пожалуйста, не упоминай в письмах, да не попадутся ему в руки. Да и своим не рассказывай, особенно Мар⟨ье⟩ Фед⟨оровне⟩, которая придет в отчаяние. Он не подозревает этого, и она тоже. Il ne le saura que trop tôt, si c'est vrai. Et peut-être que c'est une erreur. Qu'en sais-je?******. Если это правда — это сразит его, тем более, что он теперь в периоде возмужалости и действительно привязан к ней, как к истинной подруге своей жизни, seines ganzen Wirkens*******. Вдобавок ко всем несчастиям, он выходит в отставку, и весной едут оба за границу. Корш тоже выходит в отставку. Зачем? Я почитаю это рыцарством и романтизмом, хотя и уважаю. Он все тот же. Я его ужасно люблю. Кавел⟨ин⟩ выходит[3]. Тоже и Pietro Gregorio[4]. Pietro Gregorio совсем дурак, с позволенья сказать: Borniertheit********, доходящая до Wahnsinn*********. А Кавел⟨ин⟩ славный юноша!—Барон[5] смягчился, кроток и даже любящ. В нем я перемену нашел необычайную. Воздержность на язык изумительная. Он просто исправился. Должно быть, наши отношения в последний год так сразили его, что он стал одумываться. Правда, что эта перемена не всесовершенна... еще бы! Тогда барон перестал бы быть бароном, — но перемена важна. Надеюсь на этом пути помочь ему добраться до светлого верованья в своих друзей.— Ritter[6] на меня наводит тоску. Сколько ни вытягивает из себя звуков покрепче, все откликается пустозвоние прискорбное.— Васил⟨ий⟩ Петрович[7] производит худшее впечатление, чем когда-нибудь. Большие полушария мягки. Можно принять его за флюгерь, тряпку и т. п., за все, что не имеет никакой консистенции. Eccolo!********** Весь отчет.

Теперь перехожу к твоим письмам. Зачем ты в «Avenue Marigny» не занялся политико-экономическими вопросами? Если б занялся, ты и писем бы своих в этом виде не напечатал и никак не предложил бы мне купить за 175 тыс⟨яч⟩ твое имение, приносящее 7000, т. е. по 4% доходу, т. е. купить такое именье значит добровольно принять на себя бесплодную хлопотню, вместо того, чтоб оставить деньги в О⟨пекунском⟩ совете. Расчет! [8]

---

* достаточные (франц.).
** отец (лат.).
*** скуловая кость (лат.—правильно os jugale).
**** плеврит (лат.).
***** чахотку (лат.).
****** Он узнает об этом всегда слишком рано, если это правда. А может быть, это и ошибка, как знать? (франц.).
******* всей своей деятельности (нем.).
******** тупость (нем.).
********* помешательства (нем.).
********** Вот он! (итал.).

Генваря 8, 1848 года ст. ст.

Какова лень! вместо того чтобы скорее и много написать, я откладывал до-нельзя и должен буду торопиться не пропустить почты. Это уже ни на что не похоже, что так долго молчу. Благодарю тебя, Герцен, за присылку доверенности и билета Григор⟨ию⟩ Иван⟨овичу⟩. Для моей фабрики заем мне оказался уже ненужным, потому что я получил 198 т⟨ысяч⟩ с рязанских крестьян и, следственно, расплатился и пустил капитал в оборот. По всем данным и по тому, как устраивается наше бумажное производство, я рассчитываю, что на свой пай буду получать с нее 50 т⟨ысяч⟩ доходу через год[9]. Устройство окончится в будущем сентябре; мастер у меня лучший в России. Он взялся руководствовать фабрикой без жалованья, но из доли, т. е. за исключением 35 т⟨ысяч⟩ доходу, которые должны оставаться исключительно в пользу владельцев, мастеру будет выдаваться треть из дохода, превышающего означенную сумму. Не знаю, насколько может тебя интересовать то, что капитал дает рубль на рубль, тебя, желающего сберечь status quo* состояния и вдобавок блуждающего по окрестностям Рима... но знаю, что меня это ужасно интересует. Я Россию считаю чем-то вроде восточной Индии, куда можно ехать обогатиться, и люблю смотреть на развитие капиталов с какой-то художнической точки зрения. Мне досадно и больно видеть капитал, приносящий 4%, мне больно видеть наши propriétés foncières**, которые и 4% не приносят; но оборотливость и торговля у нас не приносят менее 15%. Рассчитывать (разумеется, не мошеннически) оборот, который должен принести, напр⟨имер⟩, 30% только от искусства вести его, в этом, право, есть что-то художественное.

Но не воображай, чтобы ради этой художественности я не мог представить себе, сколько должна тебя радовать иная художественность в Риме. Напиши мне en détail***, чем ты наиболее наслаждаешься. У меня есть в Риме любимые вещи и любимые места, и я желал бы знать, тот ли же эффект они производят на тебя или нет. Если хочешь действительно помянуть меня, то отправляйся в Альбано; отправляйся оттуда к старому монастырю на другой стороне озера и побудь там сколько захочется. Или отправляйся из Albano по старой Via Appia в Arici. Чёрт знает, как все это хорошо, Герцен. Но для этого надо апрель и май, чтоб видеть в полном блеске эту природу. Отчего природа на меня производит впечатление, гораздо сильнее, нежели искусство? Этот вопрос я задавал себе часто. Личный ли вкус это, или каприз, или вообще на всех впечатление то же? Я думаю — на всех. В искусстве ты переводишь в свое сознание — сознание другого, а середи природы ты сам создаешь твое сознание о ней, и внутренняя Wirksamkeit**** должна быть гораздо сильнее. Я больше люблю окрестности Рима, чем все его древнее и новое искусство.

На днях получил письмо от Германа М⟨юллера⟩. Что за славный человек этот немец![10] Вчера пришло письмо от Тучкова. Благодарю тебя, Наташа, за сближение с ними во имя мое. Они, кажется, довольнее и лучше с тех пор, как ты влияешь на них. Пишу ко всем с сею почтою; вы передадите письмо немедля.— Говорят, Герцен, ты пишешь славную повесть[11]. — Когда же ты назад приедешь? Мне часто ужасно недостает вас. Всего чаще, разумеется, я здесь видаюсь с Кор⟨шем⟩ и Гр⟨ановским⟩, и много нам тебя недостает. Вчера оба подали в отставку.

Ergo, c'est une affaire finie*****: Гран⟨овский⟩ весной едет за границу непременно. Желал бы я с ним, но в этот год невозможно. Здесь я пробуду

* существующее положение (лат.).
** земельные владения (франц.).
*** подробно (франц.).
**** действенность (нем.).
***** Итак (лат.), это дело решенное (франц.).

еще два месяца, работая в универ⟨ситетской⟩ лаборатории под руководством Ляско⟨ского⟩[12]. Потом отправлюсь домой. О работе и пр. постараюсь написать тебе в это время письмо длинное. Вообще ты, я думаю, от меня дней через 10 получишь длинное письмо. Многое на душе лежит, что сказать хочется. Но все это время то дела, то гульба, то очень скверное расположение духа, и потому не пишется никак.

По новейшим надобностям я, может быть, возьму у Григор⟨ия⟩ Иван⟨овича⟩ тысяч восемь ассигн⟨ациями⟩ из твоих денег, а может и 15, если кому нужда придет, а может и ничего — собственными вывернусь. Но, на всякий случай, знай, что до 15 т⟨ысяч⟩ ассигна⟨циями⟩, может быть, возьму, а более не нужно. С M-me Cappelle[13] расквитаюсь на будущий год, я думаю она не сердится нимало, что я еще год продержал деньги, которых ей некуда поместить выгодно.— Засим, прощайте, carissimi! Перестаньте хворать и наслаждайтесь, Марья Федоровна! Какой Федя славный, вы себе представить не можете. Саша тоже очень мил, я на них любуюсь и вспоминаю вас[14].

Ну! Addio! надо писать к Тучкову. Жму вам всем руки крепко. Пишите, адресуя к Коршу.

[1] Эти письма Герцена не сохранились.

[2] *Лизавета Богдановна* — Грановская, рожд. Мюльгаузен (1824—1857) — жена Т. Н. Грановского.

[3] Уход К. Д. Кавелина и П. Г. Редкина из Московского университета, а также уход Е. Ф. Корша из редакции «Московских ведомостей» явились результатом их протеста против недостойного поведения профессора Н. И. Крылова, которого поддерживал министр. Предполагался и уход Т. Н. Грановского (см. «Воспоминания Б. Н. Чичерина», вып. 2. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1929, стр. 60—61, 67 и др.). Этот, на первый взгляд частный эпизод был, несомненно, связан с тем неприкрытым реакционным курсом, который проводило правительство Николая I накануне революции 1848 года; оно стремилось освободить университеты от «вредного» влияния молодых прогрессивных профессоров. Отклик Герцена на это известие см. V, 178.

[4] *Pietro Gregorio* — П. Г. Редкин.

[5] *Барон* — Н. Х. Кетчер.

[6] *Ritter* — Н. М. Сатин.

[7] *Васил⟨ий⟩ Петрович* — Боткин.

[8] Ни в переписке Герцена, ни в других источниках мы не нашли каких-либо сведений о таком предложении.

[9] Приобретение бумажной фабрики явилось заключительным этапом «промышленной деятельности» Огарева. Как и многие другие хозяйственные предприятия Огарева, тальская бумажная фабрика, купленная им в 1848 г., оказалась для него лишь источником неприятностей и финансовых просчетов. В конце концов Огарев потерял к ней всякий интерес. Пожар, уничтоживший фабрику в 1855 г., был воспринят им как своего рода освобождение от обязанностей «индустриала-мученика». «Пожар на фабрике развязал нам руки,— вспоминала Н. А. Тучкова,— беспечные, равнодушные к деньгам, мы почти радовались освобождению от дел» («Архив Огаревых», М., 1930, стр. 258).

[10] *О Мюллере* см. примеч. 7 к письму № 13.

[11] Речь идет о повести «Долг прежде всего», первая часть которой была отправлена Герценом в 1847 г. в «Современник». Повесть по цензурным соображениям не была там напечатана и появилась в сокращенной редакции в сборнике «Прерванные рассказы» (Лондон, 1853). Публикацию первоначальной редакции см. в наст. томе.

[12] Николай Эрастович *Лясковский* (1816—1871) — с 1846 г. профессор фармакологии, ученый аптекарь Московского университета.

[13] О долге Огарева С. Ф. Каппель см. в письме № 1.

[14] *Федя* — Ф. Е. Корш. *Саша* — Александр Евгеньевич Корш (1845—1898), сын Е. Ф. Корша.

21

⟨Акшено.⟩ $\frac{\text{9 октября ст. ст.}}{\text{21 октября}}$ ⟨1848 г.⟩[1]

Вот, carissimi, после долгого молчания[2] весточка — небольшая, может быть, но, как бы коротка ни была, пусть даст вам кой-какое понятие обо мне и моей жизни. Сильно бы хотелось поговорить с вами, многое бы

пересказалось и передумалось, но видите, пока вы катаетесь по Европе, я прикован к Пензе, т. е. к деревне. В последней весточке ты мне пишешь — не живи в Пензе. Эх! caro, нельзя вырваться ближе двух лет (minimum). Надо устроить дела и совершенно обеспечить свои денежные средства. Впрочем, sauf le respect que je dois à mon voisin*, решительно в деревне работать нельзя — душно в этой бесплодной работе. Что ни говори люди, которые

Е. Б. ГРАНОВСКАЯ

Акварель К. А. Горбунова, 1845 г., в альбоме, подаренном Огаревым Герцену

На портрете дарственная надпись Герцена М. К. Рейхель: «Посылаю вам, Мария Каспаровна, портрет, хранившийся у нас двенадцать лет. Вы так любили Елизавету Богдановну — лучше же ему быть у вас. 1857. 13 мая Путней»

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

называют самолюбием и гордостью неудовлетворение маленькой деятельностью (которой результат, впрочем, = 0), я не принимаю этого упрека, и как скоро коммерческими оборотами успею разбогатеть, что здесь возможно, точно в Индии, — то откажусь от дел и успокоюсь. Съезжу отдохнуть на юг, в Крым, что ли, или не знаю куда, только нужен для моего здоровья более теплый климат. Ты тоскуешь в Европе, а я тоскую здесь; кажется результат один — тоска. Впрочем, лично я счастлив.

На днях ко мне приехали гости: графин⟨я⟩ Сальяс[3]. Ее заботливость о моем существовании делает для меня жизнь счастливою. Она во имя

* при всем уважении к моему соседу (франц.).

мое протягивает вам руки — жмет братски. Ее приезд на некоторое время заставил меня забыть милых соседок, а отец их озабочен службой, и потому ровно 2 недели как мы не виделись. Поговорите об этом серьезно. Я намерен увидеться с ними вскоре и вытребовать, чтоб их часто отпускали ко мне, а потом petit à petit* вытребовать, чтоб их отпустили к вам. Я к ним имею какую-то родительскую нежность, т. е. к Natalie, которая славное существо.

Иногда мне нельзя оспаривать ее презрение к жизни, потому что, что же, в самом деле, дает ей жизнь? Перспективу постепенно увянуть в деревне с утешительной мыслью, что мордва будет плакать на похоронах? Право, тут не за что любить жизнь. А положение почти sans issue**: отца оставить жаль, а стащить его с места тоже жаль, потому что тогда он будет не на месте. Тут с его стороны огромный запас эгоизма, впрочем, понятного,— но я всеми силами стану нападать на этот эгоизм, сломлю его или придется поссориться — не знаю. Прежде попробую действовать en diplomate***; может, успею. Чувствую, что на бедных детей, как они возвратились в деревню, пахнуло мертвящим воздухом, и готов на всякую оппозицию в пользу их. Об успехах стану сообщать как можно чаще.

Вот что об них. Теперь о собственном психическом развитии. Я уже два раза менял взгляд на все происходящее и, наконец, вполне с тобой согласен. Только я больше, чем ты, верю в жизнь. Но писать лень, а свидеться желалось бы: когда это будет? Весною ли или через два года — не знаю. Даже не знаю, желать ли тебе еще несколько курсов на водах, что́ так нужно для твоего здоровья и для Наташи, или желать тебе скорого возвращения. Не могу решить вопроса. Знаю только, что видеть тебя хочется, сказать все светлое и мрачное в моей жизни и пожить вместе — хоть здесь в деревне, что было бы для меня праздником. Светлого много в моей жизни, самые задушевные струны звучат гармонически, а вообще так мало надеюсь на полное удовлетворение всей моей человеческой целости, что подчас страшно, а иной раз кажется, что еще доведется пожить хорошо. Я думаю, мы и в одинакой настроенности и в одинаких убеждениях. В 20-й раз замечание, caro mio, что наши жизни так ровно идут, что если бы нас развели на концы мира и свели бы через чёрт знает сколько лет, мы всё же нашли бы, что одинаково перешли одинакие ступени и очутились у тех же результатов.

Теперь запрос: твой несносснейший белый галстух и тупейший формалист Ключарев писал к тебе письмо; разрешай ему поскорей (доверенностью) выдать мне деньги под крепостное заемное письмо; мне необходимо, и надеюсь, что ты не усомнишься, что я у тебя гроша не промотаю. В том немногом, что потрачено для нашей семьи, мы сочтемся при свидании.

M-me Cappelle я заплатил весь долг; но теперь нужны деньги для оборотов дозарезу. Год трудный, но выбарышничать можно много.

Разрешай скорей, чтобы не упустить времени.

Agiotage**** при известных условиях места и времени, когда больше делать нечего и иначе никто не делает, впрочем честный agiotage, т. е. дешевая покупка и дорогая продажа,— необходим, ибо иначе будешь бесполезно глуп.

Ну! прощайте, carissimi, целую вас всех, от мала до велика. Вскоре напишу больше и лучше. Если нужно будет писать что-либо особое к Natalie, то присылайте на мое имя в Saransk, т. е. просто на мое имя, а я уж передам.

Addio. N i c o l a s

---

* мало-помалу (франц.).
** безвыходное (франц.).
*** дипломатично (франц.).
**** биржевая игра (франц.); здесь в значении: «стремление извлечь барыш».

M-lle Michel[4] осталась в Москве для компании коту, который спит у Депре на прилавке.

На первой странице рукой Герцена: Полу⟨чено⟩ нояб⟨ря⟩ 16.

[1] Год определяется на основании письма Огарева к Т. Н. Грановскому от 7 октября 1848 г. («Звенья», т. I, 1932, стр. 142).

[2] В своем письме к Т. Н. Грановскому и Е. Ф. и М. Ф. Корш Герцен 6 сентября 1848 г. спрашивал, где находится Огарев (V, 236). Повидимому, связь между ними была прервана почти на целых десять месяцев: Огарев в декабре 1847 г. вернулся в Акшено.

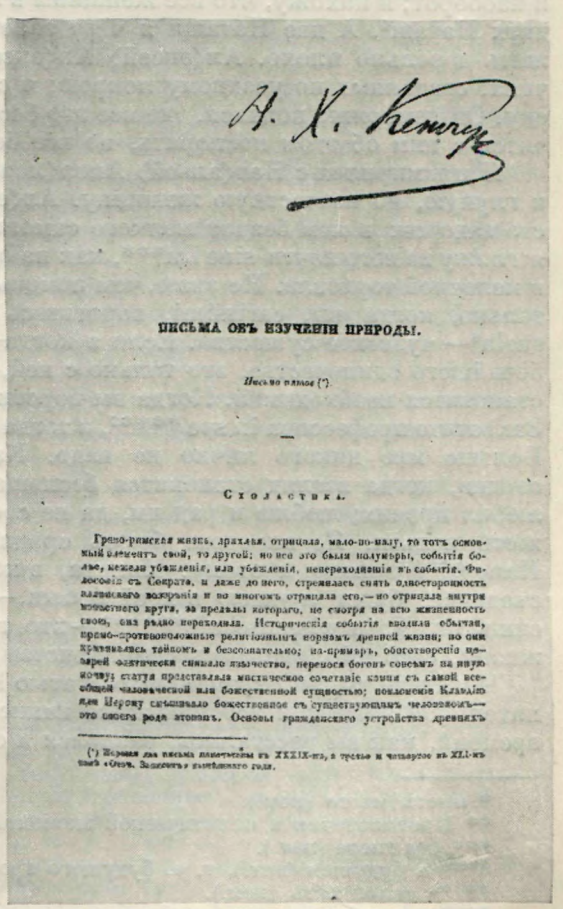
[3] Об отношениях Огарева с Е. В. Салиас де Турнемир см. ниже, в наст. томе.

[4] *M-lle Michel* — гувернантка Тучковых, ездившая вместе с ними, за границу.

22

$\frac{4}{16}$ декабря ⟨1848 г.⟩. Деревня.

День св. великомученицы Варвары! Что ж из этого? Ровно ничего. Отрады от этого ни малейшей. Но я, caro mio, не разделяю твоего мрачного взгляда на эти вещи, не смотрю с десперацией на Запад и не думаю, чтоб поселиться между Москвой и Акшеном было радостно[1]. Мы каждый в своем углу нетерпеливо переживаем всякую мерзость; личность оскорбляется, а мир идет своим порядком. От этого, конечно, нам не легче, но, все же, нет места для уныния. Пожалуй, сравнивай с древним



ПИСЬМА
ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДЫ
(ПИСЬМО ПЯТОЕ)

Оттиск из «Отечественных записок», кн. XI, 1845 г., с надписью Герцена: «Н. Х. Кетчеру»

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

миром, сравнение может stattfinden*. Пожалуй, изучай древний мир, оно может быть приятное препровождение времени. Да что же сделаешь из этого занятия? Выведешь закон повторений Вико?[2] Да что же проку в этой сравнительной анатомии истории? Ведь все же данные другие. Тип человечества сохраняется во всех происшествиях, как сохраняется тип животного во всех породах. Но, приняв это за вечную истину, я лучше люблю исследовать все данные новейшего организма. Об этом много можно поговорить. «Contradictions en économie p⟨olitique⟩»**[3] навели меня на ряд мыслей, которые мало-помалу придут в порядок. Работы ужасно много, друг мой! С сожалением смотрю на трату времени, которая необходимо связана с жизнью. Не ленюсь, но каждый момент страшно дорог. Я недоволен своим существованием, однако работаю насколько могу. В продолжение 2-х или 3-х лет надо кучу вещей передумать и сделать. А после этого я не намерен оставаться в деревне, так ⟨же⟩ как до тех пор не намерен почти выезжать *из оной*, и, кроме занятий, составляющих самый внутренний запрос, намерен нажить много денег, находя, что на этот счет Русь представляет Индию. Благодарю тебя за 25 т⟨ысяч⟩ сер. Я их получил, и все сделано по форме. Надеюсь в два года не погибнуть и расквитаться с тобой совершенно. Ты меня совсем поставил на ноги. Год этот в хозяйственном отношении страшно труден, и без твоей помощи при всех предпринятых делах я мог сесть на мель. Спасибо...

С сею почтою посылаю 1000 целков⟨ых⟩ m-me Og⟨areff⟩. Ты про нее пишешь, что она попрежнему представляет бочку дегтю и ложку меду и наоборот; я нахожу, что все женщины в мире то же представляют, кроме двух Наташ[4]. А две Наташи я чёрт знает как люблю. Здешней Наташе жить довольно плохо. Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ сидит верхом на приличиях, созданных по уездному покрою; я с ним на этот счет имею переписку. Он немножко подался, но все это бесплодно. Вероятно, и не раз случится с ним об этом поспорить, но все бесплодно.

Я примирился с Нат⟨альей⟩ Апол⟨лоновной⟩[5], вижу в ней просто хотя и глупую, но несчастную женщину. Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ с нею просто задорен: в нем бездна мелкого самолюбия и мелкого деспотизма. Но я гляжу на него почти sine ira***, как на огромный капитал, растраченный в мелочной торговле. Не знаю, чем помочь детям. Выход им отчасти будет только, когда вы, carissimi, воротитесь сюда. Наташа! а Наташа-Consuela[6]— чудесное существо. Если я когда-нибудь выхожу из чувства глубочайшего одиночества, это только с ней, и она для меня с каждым днем становится необходимей. Когда вы воротитесь, приезжайте прямо ко мне. Захватите профессора in spe ****[7], и тогда все будет со мною, что я люблю. Больше мне никого лично не надо. Каково ограничивается горизонт сердца, когда взгляд становится беспощадно ясен! И не то, чтобы я не любил прочих; люблю и рад им, да не составляют они того, без чего мне жить нельзя. Я, впрочем, боюсь сродниться с чувством одиночества; Hang ***** имею к этому. Минута, в которую мы таким образом здесь съедемся, будет лучшею в моей жизни.— Ну! чем же я еще занят, спросишь ты. Naturwissenschaft******— это тоже Hang. Может, я под конец жизни, caro mio, сделаюсь специалистом.

Читал ли ты в «Современнике» статью Грановского?[8] Вот тебе для сравнительной анатомии истории живо написанная статья. Вообще он с того времени, как вы расстались, развился и стоит совершенно по сю сторону.

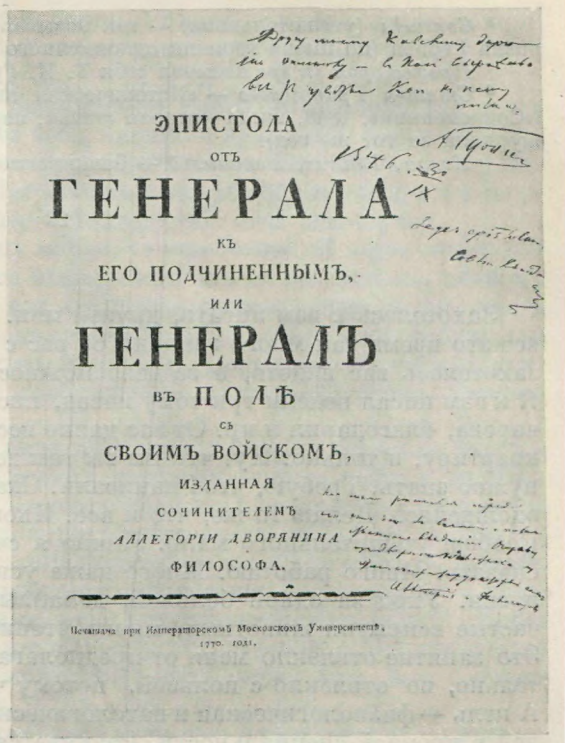
---

* иметь место (нем.).
** Противоречия в политической экономии (франц.).
*** без гнева (лат.).
**** в будущем (лат.), т. е. будущего профессора.
***** склонность (нем.).
****** естествознание (нем.).

КНИГА ДМИТРИЕВА-МАМОНОВА «ЭПИСТОЛА ОТ ГЕНЕРАЛА...» С ШУТОЧНЫМИ НАДПИСЯМИ ГЕРЦЕНА И ОГАРЕВА

Рукой Герцена: «Другу моему Кавелину дарю сию эпистолу, в коей выражены все те чувства, кои к нему питаю. А. Герцен. 1846. 30. IX. Legar epistolam! совет Константину». *Рукой Огарева*: «Кавелин решил передать его эпистолу в вечное и потомственное владение Огареву, из дворян коллежскому регистратору, который сам Аллегория и Философ»

Историческая библиотека, Москва


ЭПИСТОЛА
ОТЪ
ГЕНЕРАЛА
КЪ
ЕГО ПОДЧИНЕННЫМЪ,
ИЛИ
ГЕНЕРАЛЪ
ВЪ ПОЛѢ
СЪ
СВОИМЪ ВОЙСКОМЪ,
ИЗДАННАЯ
СОЧИНИТЕЛЕМЪ
АЛЛЕГОРІИ ДВОРЯНИНА
ФИЛОСОФА.
Печатана при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ,
1770. года.

Да, кроме того, люблю я его женственность; все вместе делает из него благородную и изящную личность. Ужасно люблю его.

Наташа! вот тебе письмо от Наташи. Пиши к ней через меня. Доставка наверное не будет замедлена. Адрес мой тот же.

Прощайте, carissimi. Крепко жму вас к сердцу. Нужно вас видеть и кажется, что нужно видеть здесь.

Да! Сашку целую в лоб и желаю, чтоб этот лоб был хорошо организован. Скажи ему, Наташа, что Беннет спился, а Нонче умер, а Кортик стоит на стойле; а собака у меня новая и называется Минна.

Ну! Кланяйтесь всем. Addio!

Микроскоп привези или пришли. Деньги на этот счет затрать за меня. У меня все же нет денег. Твой капитал рассорти⟨ро⟩ван так, что все же до будущей осени будет голодно.

Посылаю Марье Львовне письмо, в котором извещаю ее о высылке 1000 р. сер. от Колли и Редлиха. Анвелопа* будет тоже на твое имя к Ротшильдам[9]. Извини за комиссию, боюсь, чтоб как-нибудь не залежались где-нибудь деньги, и скажут, что я, дескать, не кормлю и не пою.

Ну! Прощайте совсем, дайте еще раз руки.

[1] В письме к Огареву от 17 октября 1848 г. Герцен, говоря о своем разочаровании в Западной Европе, писал: «Я думаю, кончится тем, что я поселюсь где-нибудь между Яхонтовым и Старым Акшеном...» («А. И. Герцен. Новые материалы», М., 1927, стр. 63).

[2] Джованни-Баттиста *Вико* (Vico, 1668—1744) — итальянский философ, юрист и историк, создатель антинаучной «теории общественного круговорота», развитой в его главной работе «Принципы новой науки».

[3] Огарев, несомненно, имеет в виду книгу Прудона — его главный экономический труд «Système des contradictions économiques, ou la Philosophie de la misère» («Система экономических противоречий, или Философия нищеты»).

[4] *Две Наташи* — Н. А. Герцен и Н. А. Тучкова.

[5] *Нат⟨алья⟩ Апол⟨лоновна⟩* — Тучкова, рожд. Жемчужникова (1802—1894), жена А. А. Тучкова, мать Натальи Алексеевны Тучковой.

* Конверт (от франц. «enveloppe»).

[6] *Consuela* (утешительница) — так называла Н. А. Тучкову Наталья Александровна Герцен (по имени героини одноименного романа Жорж Санд).
[7] *Профессором in spe* называл себя Т. Н. Грановский (см., напр., III, 236).
[8] *Статья Грановского* — «Историческая литература во Франции и Германии» («Современник», 1848, кн. 11—вторая статья; первая была напечатана в первой книге журнала за тот же год).
[9] *Колли, Редлих, Ротшильд* — банкирские конторы.

23

〈Акшено.〉 3 января 1849 г. / 22 декабр[я] 1848 г.

Захотелось к вам писать, друзья мои. От вас давно не было писем, а я все это время так много говорил об вас с m-lle Natalie, что вот страх как захотелось вас видеть, а за невозможностью, по крайней мере, писать. Я к вам писал недели три тому назад, писал, что деньги получил от Ключарева, благодарил и пр. От вас давно вести нет. Знаем, что вы переменили квартиру, и только. Ну! что же вы там делаете на новой квартире? Очень нужно знать. Требую, чтоб написали. Сказать вам, что я делаю? Сделайте одолжение! Делаю то же, что и все. Иногда мне хорошо, иногда скверно. Вообще утешительного мало. Лично я счастлив. Больше ничего не могу сказать. Много работаю. Много даже успел по части физиологии и патологии. Уход за одной больной, деланный с великим усердием к науке, частые вскрытия животных, много чтения подвинули меня не на шутку. Это занятие отвлекло меня от предполагаемого занятия химией исключительно, но отвлекло с пользой, потому что никак не отдалило от цели. А цель — физиологическая и патологическая химия. Еще год, два, и я убежден в прочной специальности. Разумеется, специальность не может быть разъединена с энциклопедическим направлением. Но в этой специальности меня все привлекает — и самый предмет, и то, что она самый крепкий бич романтизма. Политико-экономические задачи также не улетучиваются ins Blaue hinaus*. Вообще голова моя работает, и сердцу тепло. Одно только: холод, снег, какая-то косность этой жалкой природы, которой не в силах преодолеть, навевает часто гнетущую скорбь. Нет! как хочешь, caro mio, а тебе должно быть лучше.

Перейду к другому предмету. M-lle Natalie, которую я люблю чёрт знает как и которая составляет здесь мою единую отраду, страдает она, вот что. Почему? Да потому, что жить скверно. К Ал〈ексею〉 Ал〈ексеевичу〉 я теряю с каждым днем уважение в его семейных отношениях. Мелкий, тупой эгоизм (вдобавок бесхарактерный), домашняя тирания — вот Grundton** его жизни. Я, наконец, объясняюсь напрямик с ним, но он пускается в иеремиады, а толку из этого никакого. Досадно! злоба во мне разыгрывается. Уж я же его со временем доеду, потому что нахожу, что лучше, чтоб он удавился, нежели, чтоб дети удавились. Я не могу передать всей злости, которой он меня наполняет; подчас дрожь берет, когда вспомнишь о тупоумных, мелких, узких, неконсеквентных***, жалких поступках этого человека, который всегда находится в борьбе между своей благородной точкой отправления, булавочным эгоизмом и страхом потерять наше уважение. Скверно это!

Наташа! M-lle Natalie ужасно желает иметь от тебя письмо. Сама не захотела теперь писать и велела только послать тебе листок плюща, который при сем препровождаю. Напиши к ней, адресуй письмо ко мне. Право! ужасно жаль этих юношей, полных жизни и надежд и которым, право, остается выбор один: уйти или умереть[1]. Приезжай сюда и увези

---

* в голубую даль (нем.).
** основной тон (нем.).
*** непоследовательных (от лат. «consequentis»).

их с собой с его согласия или без оного. Больше я ничего не могу придумать. А вдобавок сегодня Natalie ко мне пишет, что весной m-lle Michel приедет. Чёрт знает что такое![2]

Тата была больна[3]. Это меня беспокоило; мне об этом сообщила m-me Ogareff, к которой я послал через тебя письмо и денег 1000 р. сер<ебром>. M-me мне пишет письмы весьма экстравагантные и влюбилась в тебя, Наташа. Чего на свете не бывает! Мое мнение о ней все более и более подтверждается: она im Grunde* хорошее существо, но мозг перепутан.

Если вы думаете, что я напишу много, то ошибетесь. Я хотел много писать, но теперь расхотел, а желаю выбарышничать от вас письмо, поэтому и пошлю сие малое послание. Я все это время страшно был болен, опять призопалия <?> Только первый день совсем не чувствовал боли. А боль эта самая нестерпимая на свете. Лечусь прилежно, хотя и без доктора; к счастию, после многих попыток и соображений нашел лекарство, которое меня излечило.

Странное дело! Я сам и все люди получают для меня значение патологических субъектов. Боюсь впасть в односторонность. M-me Sailhas, которая еще гостит у меня, но на днях уезжает[4], совершенно разыграла для меня роль самого интересного патологического субъекта. У нее чахотка. По этому случаю я в два месяца перечел больше, чем в 2 года, и много действительно понял. Только химико-патологических наблюдений — главной цели моей—не смыслю еще делать. Учусь аускультировать**. Когда здоров, занимаюсь в своей больнице. Через год перееду в Москву и буду ежедневно в клинике Екатерининской больницы при всех вскрытиях.

А теперь недели через две перееду к Ал<ексею> Ал<ексеевичу>, конечно, не для него. Впрочем я с ним не желаю рассориться и сохраню вид дружбы, а может и самую дружбу, потому что он все же во мне действительно больше возбуждает сожаления о безумии, чем ненависть. Я боюсь с ним поссориться, потому что здесь я необходим для Natalie и она для меня.

Засим прощайте, carissimi; целую Сашку и очень желаю его видеть. Выезжу для него лошадь, если он приедет. Жду от вас письма и с нетерпением великим. Если долго не придет, то сам напишу скоро. Веселитесь на новый год.

Сегодня —20° и славная месячная ночь. Грустный, но изящный вид.

Carissimi! а ведь я создан наслаждаться жизнью. Прощайте! Обнимаю вас всех и целую, даже и вас-с, Наталья Александровна, с вашего позволения-с.

Кланяйтесь всем, кому хотите.

Микроскоп не забудь.

[1] Огарев имеет в виду Н. А. и Е. А. Тучковых. Одновременно с этим письмом было написано и письмо к Н. А. Тучковой, в котором Огарев в полный голос говорит о своем чувстве («Русские пропилеи», т. IV, 1917, стр. 50). Через несколько дней Огарев пришел к мысли о необходимости брака с Н. А. Тучковой и в письме к ней от 4 января, написанном на русском языке, вставил многозначительную французскую фразу:

«M-lle Consuela! если бы мне удалось развестись с моей женой, нам надобно обвенчаться; тогда ваш отец был бы спокоен, а вы были бы совершенно свободны...» (там же, стр. 74, пер. с франц.).

[2] И Герцен и Огарев резко отрицательно относились к гувернантке Тучковых m-lle Michel.

[3] Дочь Герцена — Тата в декабре 1848 г. серьезно заболела. Об этом см. в пятой части «Былого и дум» главу «Тифоидная горячка», а также в письме Герцена к П. В. Анненкову от 6 декабря 1848 г. (V, 249).

[4] Е. В. Салиас уехала из Акшена в середине января 1849 г.

---

* в основе (нем.).

** выслушивать больного (от лат. «auscultatio»).

24

⟨Акшено.⟩ 3 февраля ⟨1849 г.⟩

Вместо длинного письма в ответ на твое длинное[1], caro mio, я могу только написать несколько слов. И не очень хочется писать, и некогда. А опаздывать отправкой сих посланий не могу. На днях еду в П⟨е⟩т⟨е⟩рб⟨у⟩рг[2] и потому адресуй письма в контору Языкова[3]. Из наших писем к Наташе узнаешь многое. Рекомендую и тебе discrétion* и осторожность. Я Ал⟨ексеем⟩ Ал⟨ексеевичем⟩ в последнее время более доволен. Он поступает недурно; а некоторые исторические предрассудки нельзя не простить и не уважить, когда весь род человеческий почти à l'unanimité** их уважает. Пожалуйста, если будешь желать быть мне полезен в Париже, то веди себя с расчетцем.

Из твоего послания мне сдается, что, увлекаясь сравнительной патологией, ты ждешь второй миграции для спасения людской породы. Изволь: я, пожалуй, признáю сравнительную патологию в истории, но тогда сделай и ты мне уступку и займись патологической анатомией древнего мира. Укажи мне, где его дикие, но здоровые варвары в наше время? Я их не вижу. Потом: когда древний мир умирал, из него вырабатывалась новая задача — романтизм, штука, имеющая почву in excelsis ***, а задача нашего больного — реальнейший реалитет. Ergo, и внутренние элементы болезни, и реакции организма, и внешние географические условия совсем иные. Сходство только в общем признании патологического факта. Для спасения больного никакого нет средства, кроме реакции его собственного организма против болезни. А так как другого средства нет, то поневоле надо согласиться, что больной должен выздороветь, потому что вечных болезней нет, а смерть в этом случае невозможна. Я думаю, ты слишком вразброд смотришь на факты и не замечаешь деятельного принципа выздоровления, который, очевидно, находится в ходу.

Вот тебе и всё. Больше говорить не хочется. В Петербурге займусь патологической анатомией и химией прилежно. Ты находишь, что я юн в 35 лет[4]. И да, и нет! Во всяком случае, бодр и *не разочарован*. Люблю отдавать каждому чувству, факту и человеку достодолжное и, раз оценив, храню или бросаю, нисколько не теряя веры в лучшие стороны жизни.

Прощай! Крепко обнимаю тебя!

Когда волна вынесет: или ты будешь — увидимся мы в Мордасах, или в Bellevue.

P. S. Хочу писать биографию Ильи Вас⟨ильевича⟩ Селиван⟨ова⟩[5], которая начнется так: «Ил⟨ья⟩ Вас⟨ильевич⟩ С⟨еливанов⟩ родился в 18... году от рязанских, но благородных родителей».

Никол⟨аю⟩ Иван⟨овичу⟩[6] стану писать из Петербурга.

Юману, пожалуй, заплати, да если уже ты в такой охоте платить портным, то заплати и за меня Blaiz 600 франков.

Целую тебя за микроскоп. Вещицы к нему прикупи же. Кстати закажи мне отличный стетоскоп и плессиметр. Надеюсь, что все это вышлешь к Языкову. Я бы нынешнее лето шибко поработал.

[1] «Длинное» письмо Герцена до нас не дошло, и поэтому те суждения Герцена о «сравнительной патологии в истории», о которых пишет Огарев, остаются неизвестными. Публикуемому письму предшествует совместное письмо Огарева и Н. А. Тучковой к Герцену и Наталье Александровне от 2 февраля 1849 г., в котором Огарев сообщал им о своей любви к Тучковой. Огарев писал: «...выхода два — просто уехать или вступить в легальные пути развода и женитьбы. Первое проще и откровеннее, но все же должно оскорбить отца и друга. Второе лучше по всей обстановке отношений с близкими и не близкими людьми. Если б М⟨арья⟩ Л⟨ьвовна⟩ была иного вероиспо-

* сдержанность (франц.).
** единодушно (франц.).
*** в небесной выси (лат.).

ведания или позволила бы мне беспрепятственно искать легальной сепарации в мою пользу (а для нее это должно быть довольно все равно), то дело можно привести к концу ‹...› Похлопочи весьма осторожно около М‹арьи› Л‹ьвовны› и напиши мне как можно скорее, адресуя в контору Языкова для передачи мне...» («Русские пропилеи», т. IV, стр. 83).

[2] Огарев с Н. А. Тучковой приехали в Петербург 20 февраля 1849 г.

[3] Михаил Александрович *Языков*, петербургский приятель Белинского, совместно с Н. Н. Тютчевым содержал «комиссионерскую контору».

[4] В письме от декабря 1848 г. Герцен писал Огареву: «Большое счастие, что ты переживаешь теперь вторую юность» (V, 251).

[5] Об *И. В. Селиванове* см. примеч. 8 к письму № 9.

[6] *Никол‹ай› Иван‹ович›* — Сазонов.

25

Петербург, $\frac{\text{марта } 7}{\text{февраля } 23}$ ‹1849 г.›

Вот мы уже здесь четвертый день, кажется, т. е. я и Наташа, Ал‹ексей› Ал‹ексеевич› и пр. ... Пишу к вам на скорую руку, carissimi, потому что есть случай завтра. Главное о деле: во-первых, вы не смейте выезжать прежде чем покончите в Париже наше дело[1]. Во-вторых, по сведениям, которые я собрал здесь, нужно будет, чтобы Марья Львовна выслала мне свидетельство о болезни, препятствующей продолжению брачных отношений, что именно надо — о том я напишу дней через пять или шесть. Это надеюсь не подвергнет ее никакой инфамации, тем более, что впоследствии она может доказывать выздоровление, но совершенно устраивает мою жизнь, потому что снимает препятствие к браку с Наташей. Материальное же обеспечение Мар‹ьи› Льв‹овны› будет состоять в том, что я тотчас же продам имение и выплачу ей долг немедленно. Вот на что вы должны ее уговорить. Я убежден в ее благородстве, т. е. в том, что она не захочет помешать мне жить, тем более, что такая помеха не устроила бы и ее жизни. Приготовьте ее так, чтоб, когда я напишу подробно о том, что нужно (т. е. через 5 или 6 дней), она согласна была бы всё выслать.

Друзья наши, полагаюсь на ваше красноречие и деятельность.

Carissimi! Дайте нам возможность основать без arrière pensée*, раскаяний личное счастье, и я еще верю, что в нас лежит достаточный запас сил, чтоб развернуться вопреки всем скорбям на свете.

Вот все, что могу сказать об этом, Герцен! Работай же изо всех сил. Я на тебя надеюсь. Отвечай скорее, адресуя в контору Языкова для передачи мне.

Теперь о другом. Тебя ждут сюда. Многие друзья говорят, что это необходимо, иные потому, что хотят тебя видеть, другие потому, что нрава мирного, третьи потому, что в хозяйственном отношении думают, что ты примешь деятельное участие в унаваживании туго производящей почвы. Я принадлежу к первым; но, вспоминая блаженной памяти Ивана Федорыча[2], который все еще жив, часто думаю: так-то так, да вон-то как? Предоставляю тебе самому подумать.

Ты, верно, хорошо знаком с Ротшильдом; что ты его не спросишь, как у него ходят наши ломбардные билеты, неизвестные или именные с бланковой или передаточной надписью (что все равно)?..

Мне бы хотелось узнать ценность наших фондов за границей, на этом можно спекулировать.

В Москве я нашел друзей, более или менее унылых.

Евгений[3] ожидает со дня на день четвертого ребенка. Профессор[4] попал в ординарные, но человек он экстраординарно хороший. Он много развился, и мы с ним совершенно душа в душу. Здесь тоже все довольно уныло. Один Костя[5] представляет из себя неунывающую юность, работает, восхищается безделицами, возводя их значение в степень *m*. Он утешительное

* задней мысли (франц.).

явление, впрочем, и нельзя его горячо не любить. Ritter[6] здесь играл и проигрался. Иван Иванович[7] бредит неблагопристойностями и врет

Отменно мило и умно,
Что ныне несколько смешно[8].

У Языкова умерла дочка. Он плачет и сквозь слезы забавно врет. Хром — а счастливая организация.

Скажи Николаю Ивановичу[9], что без доверенности я к его делам приступиться не могу. Шутит он, что ли, или до такой степени дитя, что этого не понимает?

Литература хромает. Хоть сам Блинов[10] пиши, а все-таки не пройдет хромоногий! Нет ему места на страницах «Современника».

Вот вам всё вкратце — спешу лечь спать.

Наташа не пишет оттого, что не до того. Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ поступает как нельзя лучше, даже лучше, нежели я ожидать мог.

Дайте руки, carissimi. Пишите же как можно скорее. Ждать некогда.

Вообще мне прискорбно и скверно жить. Но сердцем я полон и живу десять жизней в минуту.

Должно быть, мы где-нибудь в Данциге встретимся.

---

28 февраля

Письмо это залежалось, потому что случай был отложен до сегодня. Итак, оно пойдет сегодня. Пишу наскоро. Сколько ни хлопотал, не мог хорошенько добиться толку, но, кажется, дело будет основано вот на чем. М⟨арья⟩ Л⟨ьвовна⟩ должна прислать свидетельство о болезни, препятствующей продолжению брачных сношений. Какое это свидетельство, я пришлю, вероятно, на днях подробное сведение. Но вы приготовьте, ее, чтоб тотчас было подписано, что нужно. Я ей тогда сам напишу. Ждать некогда, я надеюсь, что она не помешает мне жить.

Именье я продаю и тотчас расплачиваюсь с долгами. Вот в чем дело! Друзья! Хлопочите за нас. Мы вас обнимаем крепко.

Еще скажу тебе откровенно и обдуманно, хлопочи о курсе именных билетов с бланковой надписью у Ротшильда.

[1] *Наше дело* — переговоры с Марьей Львовной Огаревой о разводе.

[2] Повидимому, Огарев имеет в виду И. Ф. Паскевича (1782—1856) — виднейшего проводника контрреволюционной и завоевательной политики Николая I, члена Верховного суда над декабристами, свирепого усмирителя в 1831 г. польского восстания. Этой фразой, имеющей, конечно, свой «тайный» подтекст, Огарев предупреждает Герцена об опасности возвращения в Россию.

[3] *Евгений* — Е. Ф. Корш.

[4] *Профессор* — Т. Н. Грановский.

[5] *Костя* — К. Д. Кавелин.

[6] *Ritter* — Н. М. Сатин.

[7] *Иван Иванович* — Панаев.

[8] Неточная цитата из главы восьмой «Евгения Онегина».

[9] *Николай Иванович* — Сазонов. Повидимому, он просил Огарева произвести с его имуществом в России какую-то денежную операцию. Это письмо Сазонова не сохранилось.

[10] Кого здесь имеет в виду Огарев — неясно.

26

⟨Петербург. Февраль—март 1849 г.⟩[1]

Прилагаемое письмо и вексель доставь Марье Львовне[2]. Жду от тебя вести и не дождусь. И хорошо жить вообще, но иной раз нестерпимо утомительно. Пиши скорей.

Еще я тебе должен ответ⟨ить⟩ на нападение за мои занятия медициной. Ты говоришь, что это наука абнормитетов. Вот с этим воззрением я прямо не согласен. Это наука известных норм, и только. Конфликт извест-

ных влияний вызывает в организме определенный тип реакции. Разве это Abnormität?* В таком случае и химическое разложение кристалла абнормитет? Неужели ты с этим не согласен? Да, наконец, что подвигает физиологию, как не патологические опыты?

Защитив в сих коротких словах медицину, советую тебе почитать «Патологию» Генле[3] («Handbuch der rationellen Pathologie von Henle»**. Braunschweig. 1847). Засим прощайте, carissimi. Наташа вас обнимает.

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ
Акварель В. С. Садовникова, 1850 г.
Музей истории и развития Ленинграда

[1] Приблизительная дата письма определяется его содержанием: написано оно, несомненно, после января 1849 г. («Наташа вас обнимает») и до того как переговоры Герцена и Натальи Александровны с Марьей Львовной пришли к неудачному концу.
[2] См. примеч. 1 к письму № 25.
[3] Фридрих-Август *Генле* (Henle, 1809—1885) — немецкий физиолог, анатом и патолог, профессор Гейдельбергского университета.

27

$\frac{16}{4}$ марта ⟨1849 г.⟩. Петербург

Вот мой план, друзья мои, в успехе которого я уверен. М⟨арья⟩ Л⟨ьвовна⟩ должна написать мне официальное письмо, в котором откажется ехать

* отклонение от нормы (нем.).
** «Справочник рациональной патологии Генле» (нем.).

в Россию по причине болезни и пришлет свидетельство тамошнего медика. В письме она должна упомянуть о том, что ее и в России лечили, т. е. сказать, что не возвращается в Россию pour cause de maladie qui a été traitée infructueusement par les médecins en Russie et en France*, что pour cette cause** она *не может* и *не желает* возвратиться. Пугаться этого ей нечего, потому что ведь это не клятва какая-нибудь. Спустя некоторое время, когда здесь все будет кончено, ничто не помешает ей возвратиться, если она захочет. Но теперь официально должно быть сказано, что она *не хочет* возвращаться. Прилагаю нужное свидетельство от тамошнего медика. Я думаю, тебе легко схлопотать это, и ты не пожалеешь для меня расходов. Из свидетельства ты увидишь, что я буду просить о разводе вследствие невозможности супружеского сожительства по болезни жены и представлю свидетельство, которое подтвердится кем-либо из здешних медиков, *когда-то ее лечивших*. Ей же пошлется запрос о действительности всего этого и церковное уговаривание о неразрыве брака. На уговаривание она ответит отрицательно, и тогда здесь дело тотчас покончится. Друзья мои, уговорите ее. Что же нам делать, если вся эта проделка, для нас равнодушная, необходима для того, чтобы не увезти на совести отчаянье отца? Хлопочите, друзья, да еще поскорее, потому что *жизнь наша имеет здесь такие трагические стороны, что их долго выносить сил не хватит*.

Пожалуйста, Герцен, сочини сам официальное письмо от М⟨арьи⟩ Л⟨ьвовны⟩ ко мне, а неофициальных по этому предмету *по почте* чтоб она *отнюдь* не посылала; этим можно бы всё сгубить.

Ты получишь вдруг два письма, из первого увидишь мое мнение о твоих делах.

Прилагаю письмо к М⟨арье⟩ Л⟨ьвовне⟩.

Прочти, уговаривай, действуй. Но как можно скорее. Здесь жить невыносимо, дорого, а уехать нельзя до окончания дела. А нам надо быть вместе (т.е. мне и моей Наташе), a due*** надо и по внутреннему влечению и во избежание обстановки, которая мучит. Когда все кончится, мы с вами увидимся. Действуйте скорее, друзья.

Смотри, чтоб свидетельство медика нисколько не отклонялось от данного.

Для большей достоверности, чтоб вы чего-нибудь не переврали, посылаю pour copie conforme**** письмо, которое М⟨арья⟩ Л⟨ьвовна⟩ должна написать мне с приложением свидетельства. Но высылайте же немедленно. Адрес мой: контора Языкова.

Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ хотел сам писать к тебе обо всем этом, но он нездоров 2-й день. Его поведение с нами и хорошо и нехорошо. Тем это грустнее. Он не может решиться быть против и боится дать волю. Он становится жалок, и это тем хуже, потому что ставит в невозможность вступить в откровенную борьбу, и мучит беспрерывно. Ради дружбы, друзья, работайте поскорее.

28

⟨Петербург.⟩ $\frac{17}{5}$ марта ⟨1849 г.⟩

Вчера пришли ваши письмы, друзья мои, ваши симпатичные письмы. Я плакал, как ребенок, читая их, оттого, что я так полон моей любовью

---

* из-за болезни, которую безуспешно лечили врачи в России и во Франции (франц.).

** по этой причине (франц.).

*** вдвоем (итал.).

**** буквально: «с подлинным верно»; здесь в значении: «для составления точной копии» (франц.).

к Наташе, что ваше симпатичное слово быстро должно было меня растрогать.

Обнимемтесь же крепко все, с полным сознанием, что есть личные связи, от которых светло и тепло на свете, и есть в жизни приют, где можно отдохнуть от всего горького и враждебного. А этого горького и враждебного страшно много. Оно мешает свободно дышать на улицах, оно теснит дóма в форме родительской власти и приличий. Тысячи Rücksichten* томят ежеминутно, а все же хорошо жить. Rücksichten у нас тем более удручительны, что Ал⟨ексей⟩ Ал⟨ексеевич⟩ скорее уныл, чем настойчив; он жалок, и злость пропадает при виде его, и нет силы до конца разорвать, т. е. просто разорвать всю эту сетку нелепых приличий. Твое письмо привело его в совершенное уныние, я предчувствую кучу замедлений, нерешительностей и пр., но я далее мая, много июня, не желал бы медлить.

Если ты увидишь, что m-me согласится, то высылай поскорей всё, что я требую в предыдущем, здесь прилагаемом письме. Если же увидишь, что она не захочет, то ты все-таки поговори с ней, но письма моего ей уже не отдавай[1]. А во всяком случае отвечай как можно скорее. Медлить грустно, скучно, тяжело. Если m-me не согласна, то мы уедем к вам, и я пойду заниматься теологией в Германии, что мне дозволит, по требованию Ал⟨ексея⟩ Ал⟨ексеевича⟩, вступить в легальные формы иного порядка. Но, повторяю, для большего утешения Ал⟨ексея⟩ Ал⟨ексеевича⟩ я бы желал, чтоб m-me согласилась. Во всяком случае, я пока шибко займусь своими делами. Отвечай, если можешь, на другой день по получении этого письма.

Да! Наташа моя действительно находится с нами в совершенном уровне. Да вы, я думаю, все же, менее ее знаете, чем я, она даже хорошо сердится, хорошо нетерпелива. Я юнею, когда вижу и чувствую, как живо и молодо в ней возбуждает гнев какое-нибудь тупое притеснение. Я боюсь, что я стар. Я смотрю с большой холодностью и презрением на все мелочи домашнего тупоумия и редко пускаюсь в схватки, потому что схватки между им ⟨и⟩ мной уже слишком серьезны. Но изо всего этого ты можешь заключить, что надо спешить. Мне тяжело, а ей еще тяжелее. Чёрт знает! Это меня мучит страшно, и жаль мне его, и досадно, и горько, и смешно.

Преглупое отношение. А кажется так дело просто, взял бы мою Наташу да и уехал бы. О помешательство!

Насчет Ник⟨олая⟩ Ив⟨ановича⟩ я писал в предыдущих письмах; я ничего не могу делать без формальных бумаг. Если он может прислать доверенность, то чтоб она была с правом передоверия.

[1] Повидимому, к этому же периоду, к весне или лету 1849 г., относится и письмо Огарева к Герценам, опубликованное в «Русских пропилеях», в котором Огарев пишет:

«Я не так скоро поторопился вас успокаивать, друзья мои, потому что что-нибудь хотелось сказать дельного; но все заботы и хлопоты еще так малорезультатны, что нечего писать, кроме того, что мы с Natalie никогда не отстанем друг от друга. Столица северная нам дорога́ и холодна, переедем на время в другую. А вы-то, счастливцы, сбираетесь в Женеву, мое любимое место. Я рад за вас: это мирный уголок, куда весело приехать семьею и жить про себя. Так бы к вам хотелось! А вы об нас не беспокойтесь, друзья мои! Живы мы и веселы и надеемся, что вы скоро к нам вернетесь и что мы весьма скоро увидимся. Жму руку всем; будьте здоровы!» («Русские пропилеи», т. 4. М., 1917, стр. 88).

Переговоры Герцена и Натальи Александровны с Марией Львовной не привели ни к чему: она категорически отказалась дать развод. Н. А. Герцен писала Огареву: «...*никакой нет надежды*, решительно нет, что-нибудь сделать auprès de M-me, мозг ее расстроен окончательно, неудовлетворенное самолюбие принимает различные

* условностей (нем.).

формы, иногда весьма благородные, наивные даже, но остается все-таки самолюбием к тому ж ни минуты трезвой; она *кричит* о своей любви к тебе, но не сделает ради ее ничего...» («Русские пропилеи», т. I. М., 1915, стр. 264). Отклик на это Герцена см. V, 256.

29

〈Учь-Чум.〉 $\frac{17}{5}$ июля 〈1849 г.〉[1],

Вы, верно, не знаете, carissimi, местечко Учь-Чум, а на карте его не сыщете. А между тем это одно из самых лучших мест в мире, лежит в горах, окружено роскошной и разнообразной зеленью, а за четверть версты видно море. Я редко видал такое раздолье жизни; если бы еще несколько удобств да не такая татарщина, чудо как бы хорошо было. Да нам и хорошо бывает в те минуты, когда задние мысли исчезают. Мне вообще лучше, чем Наташе,— как бы то ни было, для меня разлука менее чувствительна и потому, что я менее привык к близким людям, и потому, что знаю, как вместе с ними бывало скверно.

Впрочем, я должен rehabilitировать А〈лексея〉 А〈лексеевича〉. После трех месяцев тяжелой борьбы, в которой он не мог быть и не был хорош, он уступил благородно не столько из убеждения в истине, сколько из любви к людям, и тут я открыл в нем более нежные струны, нежели какие вы могли слышать. Вот уже месяц как мы расстались, а от него ни строчки. Беспокойство Н〈аташи〉 растет, и мне самому подчас не только за нее, но самому по себе жутко становится. Глупо это! Все условия счастия, все условия наслаждения жизнию и всякого рода смутные, задние мысли мешают ясности существования.

Теперь мы как-то попали в demi-mesure*, уехали от семейства и не встретились с вами. Но я надеюсь, что ваше здоровье недолго будет задерживать наше свидание. Куда бы хорошо было с вами здесь! Мне часто это приходит в голову, но, разумеется, бесплодно. Как давно мы не были вместе, а несмотря на разницу характеров, мы самые близкие люди. Я это наиболее почувствовал при выезде из столицы. Чёрт знает, как мне тяжело было выезжать, хотя ехал с полным упованием в счастии. Невольно я чувствовал, что с большей частью людей связи, порванные внутренно, разрываются и географически[2]. Это чувство производило во мне тяжелый холод, и теперь я не могу отвязаться от него. Вспомни юность, саго, и ужасно неловко подумать, что с тех пор бесплодность жизни каждого втолкнула в одиночество, из которого косо посматривают друг на друга. Sic transit gloria mundi!**

Читаю я здесь кой-какие газеты. Чёрт знает, как там скверно. Я ударяюсь в специальность более и более. Видя, что здесь неудобно заняться анатомией и патологией, я направил все внимание на химию. Занимаюсь немало и попадаю на методу действительно близко познакомиться с фактами. Я занят теперь квалитативным*** анализом неорганических веществ. Я думаю, ты легко догадаешься из предыдущего, что цель моя — патологическая химия. Пора свести многосложные явления на химико-механические законы. Покажи логическую простоту существующего, и основная дурь в понимании должна разлететься.

Я хотел писать много, но, кажется, пора посылать на почту в соседний город Ялту (его найдешь на карте), да и что-то не так и не то говорится.

Где вы? что вы? все те же ль вы? Здоровы ли вы? Пишите в Одессу на имя Александр〈а〉 Федоров〈ича〉 Богданова, в театральном доме[3].

Addio! Обнимаю вас крепко. До свиданья!

---

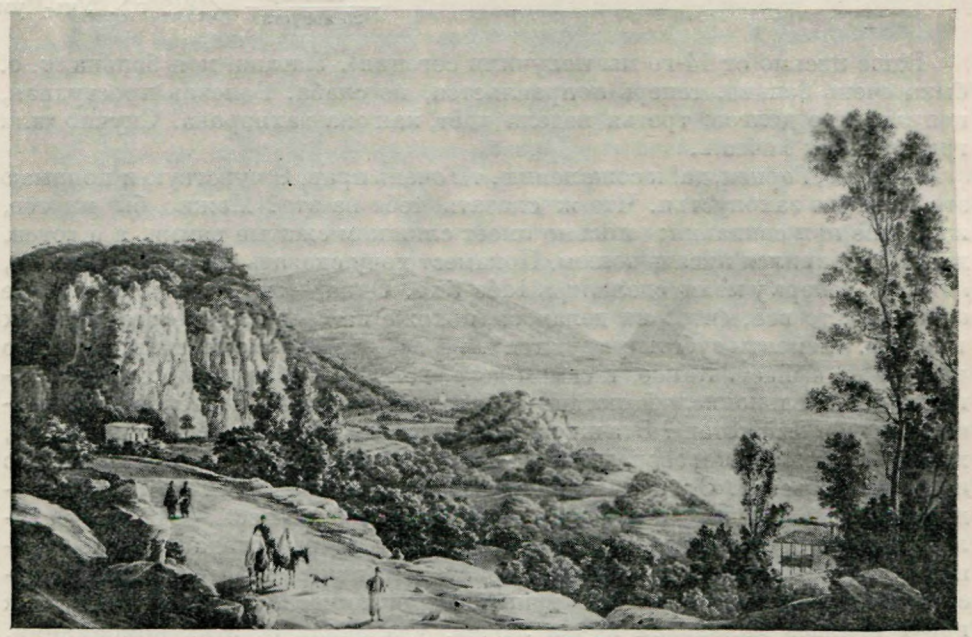
* полумеру (франц.).
** Так проходит слава мира! (лат.).
*** качественным

Я calme* — и таковым пробуду навсегда с истинным моим к вам почтением и таковою же преданностью...

Наташа! Поцелуй за меня Сашу, Тату, Александр⟨а⟩ и себя.

Grüssen sie und drücken sie die Hände
Den Damen und Herrn,
Von denen wir fern;
Den Herrn und Damen,
Mit denen wir nicht beisammen **.

Нас провожали Тат⟨ьяна⟩ Ал⟨ексеевна⟩[4] и Астрак⟨ов⟩[5]. Я с ним в последнее время много сблизился. Это один из лучших, благо⟨ро⟩днейших



КРЫМ. ВИД НА АЮ-ДАГ
Акварель Н. Г. Чернецова, 1837 г.
Эрмитаж, Ленинград

и милейших людей. Его не довольно ценят. Да и в логичности ему господь не отказал. Выпей за его здоровье.

[1] Письмо написано из Крыма, куда Огарев и Тучкова приехали в июне 1849 г., собираясь бежать за границу. Для этого они вначале поехали в Одессу, надеясь сесть там на иностранный корабль. Однако разгром кружка петрашевцев и многочисленные аресты, производившиеся в Петербурге и других городах, заставили их переехать в Крым, чтобы переждать опасное время. Они поселились вблизи Ялты.

[2] Московские друзья во главе с Т. Н. Грановским осуждали брак Огарева с Тучковой. Это внесло новую горечь в отношения Огарева к друзьям, уже подорванные прежними идейными разногласиями. Т. Н. Грановский, Н. Х. Кетчер, Н. Г. Фролов и другие неприязненно встретили приезд Н. А. Тучковой в Москву: сплетни о браке Огарева и о браке Н. М. Сатина, женившегося в это время на сестре Н. А.— Елене,

* спокоен (франц.).
** Кланяйтесь и пожмите руки
Дамам и господам,
От которых мы далеко,
Господам и дамам,
С которыми мы не вместе (нем.).

разговоры о какой-то «темной истории», непонимание серьезности чувства Огарева, запутанность дел, связанных с огаревским наследством,— все это определило резко враждебную реакцию московского кружка. Огарев тяжело переживал осуждение Грановского (см. его письма 1849 года к Т. Н. Грановскому.— «Звенья», т. I, 1932, стр. 145, 154).

[3] Александр Федорович *Богданов* — муж сестры М. С. Щепкина. В 1848—1849 гг. режиссер Одесского театра.

[4] Татьяна Алексеевна *Астракова* (1814—1892) — вдова друга Огарева, Николая Ивановича Астракова.

[5] Сергей Иванович *Астраков* (1817—1866) — брат Н. И. Астракова, преподаватель математики; приятель Огарева.

30

$\frac{\text{сентября}}{\text{23 августа}}$ ⟨1849 г.⟩. Учь-Чум

Ваше письмо от 14-го мы получили сегодня[1]. Наташа моя больна, т. е. была очень больна, теперь поправляется, но слаба. Болезнь простудная, поправление долгое; третья неделя идет, как она захворала. Скучно или грустно! как хочешь.

Ты прав, Герцен, да! к сожалению, ты очень прав. Я чувствую и понимаю это из моего захолустья. Что ж сказать тебе на это? Можно бы многое, но лучше при свидании; письмо имеет слишком сжатые рамки, а я готов, да так и принялся писать волюм. Покамест хочу сказать тебе две аналогии, которые теперь у меня сделались idée fixe. Одна — это химическая. Мне кажется, что всё, ⟨что⟩ ни делалось, похоже на соединение органических веществ. Элементы субституируются*, но всё это те же элементы, и ничего дальше не выйдет. Какое, в самом деле, дело, что если даны хлорная известь и щавельнокислый поташ — будет непременно щавелокислая известь и хлорный поташ? Эта штука только стóит времени, и, раз сделанная, химик не захочет переворачивать всё те же элементы, из которых ничего иного не добьется. Органический мир действует иначе. Его выражение— дрожжи. Это капля, постепенно претворяющая массы.— Другая аналогия чисто историческая. Древний мир, т. е. мир распадающийся, уступил место божественному учению Христа. Этот мир, действительно, представлял переложение тех же тупых, неорганических комбинаций; как вдруг явилась маленькая кучка людей, удаленная от этих комбинаций, проживающая сама по себе где-нибудь в катакомбах, никого не затрагивая. А мир переиначился. Вот органическая комбинация посредством ферментации. Мне жаль, что мы не жили в то время. Уже самая возможность жить вне мира сего, с верою в целостное учение, страшно удовлетворительна и завидна. Религиозный пафос — дело утешительное. Теперь едва ли кто способен к такому пафосу. Наука не имеет пафоса, а между тем наука — вот что дрожжи.

Я пристально вчитался в контрадикции**[2]. Нет ни единой штуки, которая бы возбудила во мне столько мыслей. Я могу сказать, что действительно понял это произведение, которого главное содержание — содержание слишком великое, чтоб быть разом вполне развитым,— это пропорциональность валеров***. Это прямо наводит на естественную классификацию индустрий, которая единственно дает разрешение разделения труда. Не понимаю, как автор не довольно ясно натолкнулся на это. На этих основаниях можно попробовать пожить хотя на южном берегу Крыма или даже в Монтрё, если там не будет уже того зубного лекаря, который сломал тебе челюсть да, чай, еще золотой взял, каналья!

---

* замещают друг друга (от франц. «substituer»).

** противоречия (от франц. «contradiction»).

*** ценностей (от франц. valeur).

А мне ужасно жаль тебя стало, когда я прочел это происшествие в твоем письме. Это из рук вон. Кстати тебе рецепт, рутиной испробованный, против головной боли: ложка о-де-колоня, ложка ammoni liquidi*, 20 капель мятного масла и фунт воды, примочки на голову, лучше в компрессах.

Вследствие разных занятий, Герцен, я не состарился, а поюнел. Во мне нет уныния. Скорбь и презрение — это очень знакомые чувства, но уныния нет. Неужели и эта степень юности пройдет? Чёрт знает! Я как-то уверен, что нет. Мне это как-то слишком ясно, слишком возможно. А если я еще ошибаюсь, то конец исканию. Уеду в какой-нибудь маленький городок прописывать рецепты и брать за визиты по бутылке... St. Péray mousseux**, которое тебе рекомендую. А какой здесь Lunel sec***, просто чудо! Вот климат так климат! все европейские вина сладкие, выращенные здесь, становятся втрое крепче и sec****, сохраняя букет. В Москве не имеют понятия о крымских винах.

Здесь часто дует невыносимый ветер; отныне, глядя на волнующийся лес и море, я буду повторять: «Вот закургузило так закургузило!»

Я унываю только иногда, когда нейдет работа.

Память у меня плоха, слишком много приходится повторять. Руки не совсем ловки. Но все же я успел много. Зимой надеюсь приготовить себя прямо к патологической химии, т. е. к возможности заниматься ею. Еще месяца четыре неорганической химии, а остальное время до весны пойдет органическая химия. Микроскопа не присылай, я им займусь, когда ты весной его привезешь. А ведь весной ты непременно его привезешь. Я дольше и без него и без тебя жить не могу.

Ты знаешь, что М⟨арья⟩ Л⟨ьвовна⟩ подала вексель ко взысканию; что главные деятели тут Панаевы и Некрасов, которым хочется на этот капитал выплачивать ей проценты вместо меня, потому что они находят более выгодным платить по 6% в год с 300 т⟨ысяч⟩, чем по 12% в месяц за 3 т⟨ыс.⟩. Сколько это подло, ты можешь понять, и надеюсь, что если будешь где печатать, то опять в «Отеч⟨ественных⟩ записк⟨ах⟩», а не в «Соврем⟨еннике⟩», ибо это мне личное оскорбление. Результат тот, что я, может быть, за уплатой долгов (и твой, разумеется, будет выплачен), останусь, может быть, при 200 т⟨ысячах⟩, да и М⟨арья⟩ Л⟨ьвовна⟩ больше половины не получит, если пойдет на сделку, а без сделки съедет на почти ничто. Вот куда довело благородство пресловутой Авдотьи Яковлевны и ее сподвижников[3].

Около полуночи

Сейчас перевел Наташу наверх спать. Тебе должно быть известно, что наш домик имеет два этажа и наверху спальня, а внизу салон, где гостей не бывает, и моя лаборатория. Natalie! Если б ты знала, как моя Наташа мила, когда спит, особенно теперь, после болезни, тебе захотелось бы обнять ее крепко. В этом лице столько хорошего, так много жизни, что что Герцен ни говори о невозможности блаженства, но меня оскорбляет, то есть глубоко печалит, что есть весьма естественные arrière-pensées*****, которые должны мутить эту жизнь, глубоко печалит и оскорбляет, что виною этих внутренних, интимных, гуманных (если хочешь) arrière-pensées — все же внешний факт, традиция, нисколько до нас не касающаяся. Как это нелепо! Но с каким бы страданием ни бился мозг в черепе, как каторжник в тюрьме, все же в нем столько жизни, что он не может не найти себе

---

* *жидкого аммония (лат.).*
** Сен-Пере, игристого вина (франц.).
*** сухой Люнель (мускатное вино) (франц.).
**** суше (франц.).
***** задние мысли (франц.).

выхода. Это фраза, скажешь ты. Что ж делать? Сказалось вычурно, а дело-то все-таки правда.

Как бы мне хотелось теперь при лунном свете выпить с вами бутылку St. Péray mousseux на нашей террасе, глядя на море при луне. Чёрт знает! Может быть, воротились бы минуты безотчетного «хорошо». Впрочем, к чёрту их! Время такое, что поэтическое настроение должно уступить место 2 × 2 = 4. Для иного почти некогда. А так и тянет подчас в ту сферу, где «хорошо»! Я закаялся писать стихи. Чёрт ли в умении звучно сказать, когда требуется одно: сказать ясно. Будет время, когда людям можно будет на свободе наслаждаться впечатлениями... через тысячу лет — говорит моя Наташа... но нам, право, некогда. Закургузило так закургузило! Впрочем, и это, может быть, такие минуты на меня нашли, минуты прозаизма (впрочем, проникнутого жарким сознанием истины), а в другое время я опять буду рад забыть дело для чувства. Едва ли мысль заменяет наслаждения чувства. Система сердцебиений и блуждающих нерв для нас слишком близка, чтоб расстаться с нею, для неизвестных комбинаций нитей больших полушарий. Напомни для утешения Георгу, как я раз, пьяный, развивал ему теорию der schlechten Unendlichkeit* в бесконечном развитии человечества, где все эпохи равно скверны, потому что при бесконечности развития равно удалены от совершенства. Попробуй утешить себя мыслью, что каждая эпоха сама себя довлеет, мне кажется, что всякая эпоха сама за себя страдает, и история есть описание патологического развития человечества. Всего этого я желаю не думать. И есть не минуты, а часы и дни, когда глядится спокойнее, когда задача яснее, и верится, что есть основание правильному развитию, которое пускай идет себе в бесконечность, но это не schlechte Unendlichkeit, а органическое развитие зародыша в конкретный, живой, целый организм. В таком случае, по крайней мере, я желал бы принять историю до сих пор, как жизнь бродящих, неорганических элементов, которые еще не были способны создать органические существа.

Я здесь немного занялся геологией, которая представляет здесь большой интерес, ибо здесь юрасическая почва, чисто прорезанная метаморфическим явлением кристаллизационных гор. Все это в огромных размерах, и вершины гор версты по три над уровнем моря. Делал квалитативное разложение минералов. Когда будут веской, то примусь за квантитативное**. Увожу с собой коллекцию минералов и фоссилий***. Перед отъездом отправлюсь в Бахчисарай, где, говорят, фоссилии замечательны. Зиму, вероятно, пробудем у Ал⟨ексея⟩ Ал⟨ексеевича⟩, а весной ты к нам подъедешь. В Константинополь я сбирался съездить, да обстоятельства заставили раздумать[4]. Не знаю, у кого проситься съездить и хорошо ли в это время плаванье. Кн. П. А. Вяземский поехал туда. Ну! Он дело десятое. Если на будущее лето сюда приеду, то непременно съезжу. Съездим вместе. Прощайте, carissimi, завтра припишу[5].

[1] Это письмо Герцена и Натальи Александровны неизвестно.

[2] Огарев пишет об уже упоминавшейся книге Прудона «Système des contradictions économiques, ou la Philosophie de la misère» («Система экономических противоречий, или Философия нищеты») (см. письмо № 22).

[3] Отказ Марьи Львовны дать Огареву согласие на развод и ее угрозы отомстить ему вынудили его принять меры к спасению своего состояния. Немалую роль, конечно, играла и боязнь конфискации имущества в случае бегства за границу. 24 июня 1849 г. Огарев заключил договор с Н. М. Сатиным на фиктивную продажу своего пензенского имения. Марья Львовна подала вексель, выданный ей Огаревым в 1846 г., к взысканию, и над Огаревым нависла угроза разорения.

---

* дурной бесконечности (нем.).

** количественное (франц.).

*** окаменелостей (от франц. «fossile»).

Огарев ошибочно полагал, будто Некрасов, вследствие своей близости с Панаевой, был в курсе всей этой истории; в действительности же высказанные Огаревым, а вслед за ним и Герценом обвинения в том, что Некрасов был как-то причастен к махинациям с векселем, совершенно несправедливы.

[4] Огарев иносказательно сообщает здесь Герцену о своей неудавшейся попытке бежать за границу.

[5] На следующий день Огарев послал Герцену новое письмо, в котором читаем: «Ты жалуешься, что московские письма унылы. В самом деле есть с чего прийти и в уныние. Стесненное положение Евгения, непроходимая хандра барона, отсутствие всякого дела, ничего впереди, мое рухнувшее состояние — все это не может радовать. Смерть Галахова страшно поразила Фролова. Я сам не могу как-то себе представить, что это правда. Поди себе — мирись с необходимостью! — Спешу кончить, еду на почту. Наташа! Когда будешь писать к моей Наташе, напиши и к Елене Сатиной. Это ее обрадует. Они теперь у А⟨лексея⟩ А⟨лексеевича⟩. Скоро с ними свидимся. Что-то моя Наташа долго не оправляется. Перед отъездом еще напишем. Теперь же пишите через Грановск⟨ого⟩.

Прощайте, carissimi; обнимаю крепко вас и детей и Георга. Очень бы желал увидеть приятеля Жемч⟨ужникова⟩. Напомни ему о моем существовании и пожми руку.

Addio!

Мой долг тебе выплатится, вероятно, в скором времени. Пожалуйста ты о нем не беспокойся, я расплачусь честно и съеду на винцо à 20 sols le litre*» («Русские пропилеи», т. IV, стр. 99—100).

Стесненное материальное положение Е. Ф. Корша, о котором упоминает Огарев, создалось после ухода его из «Московских ведомостей».

И. П. Галахов умер осенью 1849 г.

31

Учь-Чум. 12 сентября ⟨1849 г.⟩

Завтра мы едем повидаться с Hélène[1]. Пробудем ли мы зиму у Ал⟨ексея⟩ Ал⟨ексеевича⟩ или нет — ничего неизвестно[2]. Одно знаю, что так как вы приедете, то срок свиданья, крайний срок — год. Мне жаль Крыма, carissimi. Чудный край! Взглянешь — и хорошо становится. Не говорю о людях — все дрянь, даже твой приятель Ветлицкий[3], который очень добродушен и loyal** — ужасно туп. О народе (plebs) говорю еще менее. Грязные и бесчестные татары — и только. Но край удивительно хорош. Если бы здесь мы были вместе — лично все было бы полно. Эх! caro! сегодня луна светила на море, воздух был свеж и приятен, деревья пахли. Чёрт знает, как хорошо! Я люблю мою Наташу. Чёрт знает, как хорошо! Жаль мне Крыма!

А вдобавок я занялся геологией и нашел тут такую бездну хорошего и везу столько фоссилий, что тяжело и весело. Я мог отчасти ориентироваться в науке на здешней почве, и это много. А одна из главных вещей для меня было вот что: schiste argileux***, отчасти onychis schiste****, с виду черный, очень железистый и алюминозный (но вообще calcaire*****), пережженный равняется красной глине, служащей цементом кристаллизованной почве, находящейся сверху. Это terrain métamorphique******. В лаборатории можно-таки разгадать кое-что, совершившееся в природе. Без шуток — это очень важно. На днях мы были в Бахчисарае (где не видали дворца, что ужасает любителей пакостных древностей) и привезли несметное количество раковин; там Muschelkalk*******.

Может быть, год пройдет до нашего свидания. А как бы мне хотелось видеть вас — это невыразимо. Не то что естественные науки, а более того—

---

* по 20 су за литр (франц.).

** честен (франц.).

*** глинистый сланец (франц.).

**** ониксовый сланец (лат. и франц.).

***** известковый (франц.).

****** метаморфическая почва (франц.), т. е. возникшая в результате метаморфизма (глубоких изменений горных пород).

******* раковинный известняк (нем.).

иные науки и любовь к вам влечет меня к вам. Как это делается — не знаю, но после нескольких осцильаций*, саго, я всегда знаю, что мы думаем страшно одинаково. Пусть перо скверное, и я говорю все-таки дело. Глупо — по правде — несмотря на мое желание быть с вами, я не раскаюсь провести год чёрт знает где. Более и основательнее найдется что сказать. А между тем дайте вас обнять, чёрт знает как крепко.

Не присылай микроскопа; мне кажется, он нас соединит, да и я теперь его недостоин. Прощайте, carissimi.

Наташа уснула, поздно, она устала и не совсем здорова, разбужу, и она напишет. Addio! Сашку и Колю и Тату и всех вас— вот как целую — что губам больно.

Im ganzen**, я пребыванием в Крыму очень доволен.

12 сентября[4]

Carissimi! Я завтра уезжаю повидаться с Сатиными. Пишите через них.

Пребыванием в Крыму я доволен. Напишу после как и что. Теперь некогда. Addio!

Рукою Н. А. Тучковой-Огаревой:

О⟨гарев⟩ разбудил меня, чтоб к вам писать, моя Натали. Я ужасно устала, мне хочется только вас крепко обнять и сказать вам, сколько мне необходимо вас видеть. Право, я слишком долго сносила нашу разлуку, пора вам к нам, пора мне домой. Еще раз дайте себя крепко прижать к сердцу. Как приеду куда-нибудь на место, так затянет домой, только с вами; мне это нужно. Целую Сашу, и Ал⟨ександру⟩ жму руку.

Герцен, помните меня хоть немного, мне хочется по-старому с вами...***

[1] *Hélène* — Елена Алексеевна Сатина.

[2] Бежать за границу Огареву и Тучковой не удалось, и это сделало бессмысленным дальнейшее пребывание их в Крыму. В сентябре они выехали в Москву, и в октябре были в Акшене.

[3] *Твой приятель Ветлицкий* — лицо не установленное.

[4] Публикуемый ниже текст — приписка на отдельном листе.

32

⟨Акшено.⟩ $\frac{23}{11}$ октября ⟨1849 г.⟩[1]

Всегда думаю написать вам много, carissimi, и всегда пишу мало. На это тысячи причин. Сегодня особенная — некий Pfilister**** по необходимости отнял весь вечер.

Что ж сказать покороче и поболее? Будущность деловая и всяческая покрыта мраком неизвестности. М⟨арья⟩ Л⟨ьвовна⟩ преследует ожесточенно, но не думаю, чтоб ей удалось, а удастся — плохо будет[2]. Сат⟨ин⟩ теперь помещик в Акш⟨ене⟩. Я рад, что, несмотря на собственное несознание в этом, — он взял вкус (a pris goût*****) к этому положению[3]. А⟨лексей⟩ А⟨лексеевич⟩ очень хорошо поступает, но все же мне здесь unbehaglich******. Поспеши ты сюда хоть весною. Я более и более чувствую — и по положению, и по движению штудий, и по внутреннему горю, и по жаркой любви к тебе, саго, и к тебе, Наташа,— что я могу вздохнуть и отдохнуть хорошо только с вами. Моя Наташа, что ни пиши вам, а я с нею счастлив, и она со мною тоже, но и дня не проживешь, а большая часть

---

* колебаний (от франц. «oscillation»).

** В целом (нем.).

*** *Текст поврежден.*

**** филистер (нем.).

***** пристрастился (франц.).

****** неприятно (нем.).

людей мешает жить[4]. Вот отчего и скорбно, кроме того, что я не предвижу ничего радостного.

Чёрт знает с чего, однако, бывают минуты уверенности, что когда-нибудь с вами я себе выстрою домик, где будет жить хорошо и нам и детям нашим из рода в род.

За сим заключаю оную записку, ибо сказать нечего. Вскоре напишу еще — не что-нибудь особенное, задушевное, а извещу о моих собственных делах.

А вообще Сат⟨ин⟩ и Hélène производят на меня впечатление более unbehaglich*, чем А⟨лексей⟩ А⟨лексеевич⟩.

Я принялся за математику, продолжаю притом штудии химико-медицинские.

[1] Письмо написано после возвращения из Крыма.

[2] В своей борьбе с Огаревым Марья Львовна не брезговала никакими средствами, стремясь использовать все известные ей (и Панаевой) факты способные скомпрометировать Огарева. 6 сентября 1849 г. отец Марьи Львовны — Л. М. Рославлев прислал шефу жандармов, А. Ф. Орлову, донос на Огарева. Донос попал в III Отделение вскоре после ареста петрашевцев, и ему сразу же был дан ход: началось расследование, которое привело к аресту Огарева, А. А. Тучкова и Н. М. Сатина в феврале 1850 г.

[3] После женитьбы Н. М. Сатина на Е. А. Тучковой они обосновались в Акшене, перешедшем формально, по договору с Огаревым, в их владение; вскоре Акшено перешло к Сатиным и фактически.

[4] В письме к Герцену и Наталье Александровне, относящемся к этому же периоду, Н. А. Тучкова писала: «В Крыму было свободнее дышать, здесь всем неловко, но что же делать, надо снести это хладнокровно...» («Русские пропилеи», т. IV, 1917, стр. 103).

33

⟨Акшено. 1850—51 гг.⟩[1]

Наконец и я пишу к вам, моя милая Натали! Давно хотелось, да... некогда! Вдобавок я живу в захолустье. Но мысль моя беспрерывно с вами. Между нами ничего не переменилось и не переменится, и если вы из написанных здесь строк поймете, сколько я вас люблю, то посвятите мне горячую и грустную минуту воспоминания. Ведь вы у нас одни, которых мы любим и можем назвать своими. Дела и отношения страшно сложные разлучают нас. Но хотя я конь, прошедший дотла всю манежную школу, но все же уверен, что сброшу этого тяжелого седока, и постепенно приготовляюсь к этому salto**, хотя бы оно было salto-mortale***. Однако дела и люди страшно надоели. Дела — потому, что они всегда скучны, а люди — потому, что в самолюбивых припадках благородства и рыцарства, они, сами не замечая, хромают на обе эти ноги, уподобляясь детям, воспитанным в Шарантоне. Не виню их, да и жить с ними не могу. Наука была бы огромным утешением и делом, но опять-таки дела и отношения отвлекают. Надеюсь месяца через три поуспокоиться насчет первых и на некоторое время свободно предаться науке. А потом?.. О! За одну минуту с вами где-нибудь на берегу озера[2] мы бы отдали все остальные годы. Но далека эта минута! Выручить могут только терпение и расчет. Дайте же крепко обнять вас и расцелуйте детей. Микроскоп оставьте у себя. Мне не хочется его ожидать, я хочу, чтоб он меня ждал. Покамест здесь обзаведусь другим и провожусь с ним целую зиму. А теперь лето. Мы бродим по лесам и говорим о вас. Addio! Погодите требовать действительного ответа насчет вашего дела со мною; оно верно, за это я ручаюсь, но при настоящих обстоятельствах ничего нельзя тратить; как скоро можно будет, задержки не

---

* неприятное (нем.).

** прыжку (итал.).

*** смертельным прыжком (итал.).

увидите. Теперь же невозможно[3]. Не хочется окончить письмо такой деловой строчкой, потому на прощанье скажу вам, что жизнь моя должна кончиться с теми, с кем началась. Этой отрады я из рук не выпущу. Покамест мы одиноки и крадем хорошие минуты у жизни, да и хорошие-то минуты проникнуты скорбью. Я много состарился; скажу, к сожалению: мы много состарились. Но когда я подумаю, как вы должны были состариться, то невольно такой мороз охватывает все существо мое, что, кажется, ступить нельзя дальше. Невольно спрашивается: куда? и зачем? и только одна мысль: к вам! жива, как и прежде, уцелела от общего разгрома.

Addio!

Рукою Н. А. Тучковой-Огаревой:

Хотелось много вам писать, моя Натали, но здесь еще менее возможности, чем в Яхонт⟨ове⟩. Хотя Еленина Тата[4] ужасно милый ребенок, но все же от таких маленьких существ невольно делается скучно; притом Елена с ними нянчается страшным образом, а мы урывкой сходим в лес, поговорим о вас, так живо все вспоминается, когда мы вдвоем, так захочется с вами побыть! А на все это один ответ... «едва ли»? Теперь вы получили мои письмы, вы поняли мое безгласное положение, мое рабство, прикрытое свободой, вы поняли, как я стремилась к вам и как все было тщетно; нет, вы не могли думать, что мое благоразумие меня остановило; вся моя жизнь противоречит этим предположениям. Что дети? Право, я их ужасно люблю, готова делить с ними время, только так жертвовать собой, как Елена, я не в состоянии, все же хочется учиться, читать, пожить для себя.

Прощайте, друзья, обнимаю от всей души всех вас, а вас еще крепче, моя Натали, ну смотрите же любите меня хоть немножко; при свиданьи я вам объясню, что́ мне испортило так жизнь в этой стране.

На обороте: Марье Каспаровне.

[1] Письмо написано, в Акшене, после освобождения из-под ареста и возвращения из Петербурга. Ему предшествовало, повидимому, письмо Огарева, опубликованное в «Русских пропилеях», которое мы помещаем здесь для связи:

«Давно я не писал к вам. Не моя вина, был слишком занят. Скорее хотелось бы поговорить с вами, чем писать. С тех пор как я писал вам в последний раз, я много состарился, ибо много испытал, все испытал, так что, кажется, прибавить нечего — „и ненависть врагов и клевету друзей". Первое прошло почти без следа; для внешней обстановки жизни было скорее полезно, чем вредно, но на сердце ран не оставило. Последняя же много заставила переменить взгляд на людей и привела к давно предчувствуемому заключению, что с кем моя жизнь началась рука в руку, с тем должна и кончиться. Ко многим я в это время возымел большее уважение, ко многим оно утратилось. Ну! да что об этом. Сколько бы ни накипело горечи, все же переживешь, и все же не замрет ни мысль, ни чувство. Даже, может быть, зрелость и лучше, только это дорого стоит.— Дела мои приковывают меня года на два к сим местам, но, кажется, будут в блестящем положении. Но интересу к ним питаю мало. Наука меня поглощает. Хотелось бы иметь микроскоп. Прощайте, крепко жму вам руки. Право, не много что-то пишется» («Русские пропилеи», т. IV, 1917, стр. 113).

[2] Герцен жил в это время в ~~Женеве~~!

[3] Огарев пишет, повидимому, о тальской бумажной фабрике, которая должна была, по его твердому убеждению, дать ему полное материальное благосостояние. Покупка тальской фабрики, как известно, состоялась на деньги, полученные Огаревым взаймы от Герцена.

[4] *Тата* — дочь Н. М. и Е. А. Сатиных, Наталия; родилась 24 февраля 1850 г.

ПИСЬМА ОГАРЕВА К Е. В. САЛИАС ДЕ ТУРНЕМИР

Публикация Б. Козьмина

Публикуемые 28 писем Огарева к графине Елизавете Васильевне *Салиас де Турнемир* (известной в литературе под псевдонимом *Евгении Тур*) и 4 сохранившихся ответных письма ее представляют большой интерес для изучения политических позиций, которые занимали в шестидесятые годы авторы писем. Письма приобретают особую ценность благодаря тому, что некоторые из них сопровождаются приписками Герцена — существенным дополнением к девяти его письмам к Салиас, уже опубликованным ранее (XV, 390—391; XVII, 16, 46, 175—176, 400, 401—402, 406, 418; XXI, 514). До сих пор были опубликованы лишь два письма Огарева к Салиас: одно, датированное 23 июня 1863 г., было напечатано в «Лит. наследстве», т. 39-40, 1941, где оно ошибочно, как это установил Я. З. Черняк, приписано Герцену; другое же, относящееся к февралю 1864 г., было приведено сыном адресатки, автором исторических романов Е. А. Салиасом в его воспоминаниях «Семь арестов» («Ист. вестник», 1898, № 3, стр. 829—830).

Огарев в своих письмах именует Салиас «старым другом». Действительно, знакомство их и дружеская близость относятся к весьма давнему времени. Е. А. Салиас в своих воспоминаниях писал: «Моя мать... была с юношеских лет дружна с Огаревым, который был для моей бабушки Сухово-Кобылиной „вторым сыном", как она его называла» (там же, стр. 845).

Е. В. Салиас, урожденная Сухово-Кобылина, принадлежала к дворянской семье, хорошо известной в Москве. Ее отец участвовал в Отечественной войне 1812 г., был неоднократно ранен, потерял глаз. Дослужившись до чина генерала и выйдя впоследствии в отставку, он состоял подольским уездным предводителем дворянства. Мать Е. В. Салиас пользовалась репутацией жестокой помещицы; по свидетельству хорошо знавшего ее мемуариста, Е. М. Феоктистова, от ее нрава «крепостным приходилось очень жутко» и в то же время она «имела претензию на образованность» и занималась чтением Шеллинга («Атеней», 1926, кн. 3, стр. 108). Дети Сухово-Кобылиных — три дочери и два сына,— получили хорошее образование. В качестве преподавателей к ним были приглашены известные в то время профессора. Что касается Елизаветы Васильевны, то «историю Российскую преподавал ей профессор Морошкин, литературу — поэт Раич, физику — профессор Максимович» («Знакомые». Альбом М. И. Семевского. СПб., 1888, стр. 268). В числе ее преподавателей был и издатель журнала «Телескоп», профессор Московского университета Н. И. Надеждин. В жизни своей ученицы он сыграл большую роль: они увлеклись друг другом и мечтали соединить свою судьбу. Однако дворянский гонор семьи делал совершенно неприемлемым для Сухово-Кобылиных брак Елизаветы Васильевны с «поповичем» и «семинаристом». Особенно сильно противились этому браку ее мать и брат, известный впоследствии драматург А. В. Сухово-Кобылин, до мозга костей пропитанный дворянскими предрассудками: этот брак представлялся им мезальянсом, позорным для аристократического рода. Удрученная требованием родных прекратить всякие сношения с любимым человеком, Елизавета Васильевна серьезно заболела. По свидетельству одного современника, «она была на волос от сумашествия, на волос от смерти». Правда, ей удалось

избежать и того, и другого, но сильное нервное потрясение отразилось на ее характере, сделало ее болезненно впечатлительной (см. Н. К. Козмин. Николай Иванович Надеждин. СПб., 1912, стр. 457, 491, 501).

Современники, которым приходилось высказываться о Е. В. Салиас, единодушно отмечают тяжелые стороны характера этой по существу доброй, но взбалмошной женщины.

Хорошо знавший ее Е.М.Феоктистов пишет в своих воспоминаниях:«Сама она была, бесспорно, женщина умная, образованная, талантливая, но исполненная больших странностей. Она вся была пыл, экстаз, восторженность, но условливалось это не сердцем, а невероятною какою-то болезненною ее нервозностью... Никогда, даже в очень старческие годы, не удавалось ей достигнуть неоцененного блага — душевного спокойствия; она все волновалась, выходила из себя; одно до последней крайности доведенное увлечение сменялось у нее другим, столь же крайним; беседа с ней представляла нередко очень много интересного, но гораздо чаще действовала утомительно. И, боже мой, как любила она говорить!.. Под влиянием обычного своего возбуждения она постоянно создавала себе миражи, видела людей не такими, какими они были в действительности, а какими создавало их ее воображение; эта женщина, по натуре своей в высшей степени искренняя, извращала факты, выдавала за достоверное то, чего никогда не было и не могло быть, и все это отнюдь не с умыслом, а с твердою уверенностью в своей правдивости».

Феоктистов приводит отзыв Грановского, хорошо знавшего Салиас под конец своей жизни: «Elle est sèche et ardente» («Она суха и пламенна»). Это замечание Феоктистов находит не вполне справедливым, ибо, по его мнению, сухости в Салиас не было. «Она,— пишет Феоктистов,— имела полное право считать себя женщиной положительно доброю; только доброта эта как бы ступевывалась, оставалась незамеченною по сравнению с ее беспрерывными нервными порывами» (Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы. Л., 1929, стр. 362, 366—367).

Слова Грановского почти буквально повторяет В. П. Боткин в одном из писем к Тургеневу. «В Сальяс,— пишет он,— меня всегда поражала эта внутренняя тревожность, кажется, она принадлежит к сухо-страстным натурам» («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка». М.— Л., 1930, стр. 77).

Аналогичными чертами изобразил Салиас и Н. С. Лесков в романе «Некуда», где она выведена под именем маркизы Ксении Григорьевны де Бараль. Образ, нарисованный Лесковым, хотя и несколько карикатурный, был очень схож с оригиналом, и современники без труда догадывались, кто именно послужил романисту прототипом маркизы де Бараль.

Несомненно, неудачная любовь к Надеждину оказала сильное влияние на формирование характера Салиас.

После разрыва с Надеждиным семья Сухово-Кобылиных увезла Елизавету Васильевну за границу, в расчете на то, что там она скорее забудет свое увлечение. Там ей нашли жениха — графа Андрэ Салиаса де Турнемир, отпрыска захудалой и обедневшей ветви старинного и некогда богатого французского дворянского рода. Хотя Ел. В. Сухово-Кобылина была совершенно равнодушна к своему жениху, она согласилась выйти за него, ибо считала свою жизнь разбитою. Ее муж представлял собою, по словам современника, «самое жалкое ничтожество». «Пустейший хлыщ, очень кичившийся своим титулом», он женился на Сухово-Кобылиной из-за ее приданого (около 80 тыс. руб.), от которого у него скоро ничего не осталось. Приехав с женою в Россию, граф Салиас решил научить «русских варваров» изготовлять шампанское и для этого выписал из Франции специалистов-виноделов. Однако его шампанское было такого низкого качества, что не находило потребителей. Салиасу пришлось ликвидировать неудачное предприятие, поглотившее все приданое жены. К этому присоединилась скандальная дуэль, в результате которой Салиасу как французскому подданному было предложено покинуть Россию (Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы, цит. изд., стр. 365, и М. Д. Бутурлин. Воспоминания.— «Русский архив», 1897, № 3, стр. 353). Жена, не чувствовавшая к мужу ни-

чего, кроме презрения, не последовала за ним и нисколько не была огорчена его отъездом [1].

Однако положение ее оказалось весьма трудным: у нее на руках осталось трое малолетних детей, а средств к существованию не было. Родители, выделившие ей приданое, считали все свои обязательства по отношению к ней выполненными. К тому же в это время материальное благосостояние семьи Сухово-Кобылиных сильно пошатнулось.

Е. В. Салиас с детьми поселилась в небольшом домике на 3-й Мещанской улице и жила, главным образом, на те средства, которые получала от своей младшей сестры Евдокии Васильевны, по мужу Петрово-Соловово. «Иная мать так о детях не думает, как ты о нас»,—писала Е. В. Салиас сестре («Труды Библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. III. М., 1934, стр. 188).

Не желая быть в тягость сестре, Е. В. Салиас в поисках средств решила испробовать свои силы в литературе. «Ради заработка явилась в русской литературе Евгения Тур»,— писал ее сын (Е. А. Салиас. Семь арестов.— «Ист. вестник», 1898, № 1, стр. 90)[2].

В 1849 г. на страницах некрасовского «Современника» была напечатана повесть Тур «Ошибка», а в 1851 г. в том же журнале — роман «Племянница». Имя Евг. Тур стало пользоваться популярностью; ее стали называть — конечно, без достаточных на то оснований — «русской Жорж Санд». Известности Евг. Тур много содействовала напечатанная в № 1 «Современника» за 1852 г. статья И. С. Тургенева о романе «Племянница».

Статья эта начиналась с неумеренных похвал дарованию Евг. Тур, «искренности» и «лиричности» ее творчества. «Блестящие надежды, возбужденные г-жею Тур,— писал Тургенев,— оправдались настолько, что уже перестали быть надеждами и сделались достоянием нашей литературы: дарование г-жи Тур, слава богу, не нуждается в поощрениях и может с честью выдержать самую строгую оценку». Однако за этими комплиментами следовали весьма существенные оговорки. Тургенев указывал, что талант Евг. Тур «не первоклассный», что произведения ее страдают растянутостью, вялостью, обилием ненужных рассуждений, неумелой архитектоникой, бледностью, что многие действующие лица безжизненны. «Ей не страшно,— писал Тургенев,— наполнять целые десятки страниц либо ненужными рассуждениями, либо рассказами, не ведущими к делу, либо даже просто болтовней» (И. С. Тургенев. Полное собр. соч., т. XII, СПб., 1898, стр. 303—314).

Статья Тургенева глубоко уязвила Евг. Тур. При ее болезненно развитом самолюбии, отзыв Тургенева, несмотря на все комплименты, был воспринят ею как оскорбление, и она долго не могла простить ему этой статьи («В. П. Боткин и И. С. Тургенев», Неизданная переписка, цит. изд., стр. 10, 12, 15—16).

Гораздо более суровую оценку получил на страницах «Современника» (1854, кн. 5) новый роман Евг. Тур «Три поры жизни», напечатанный в «Библиотеке для чтения» в 1853 г. и вышедший в 1854 г. отдельным изданием. Отзыв о романе принадлежал перу Чернышевского. Он был убийственным. Разобрав содержание романа Тур, Чернышевский пришел к следующему выводу:

«В „Трех порах жизни" нет ни мысли, ни правдоподобия в характерах, ни вероятности в ходе событий; есть только страшная аффектация, натянутость и экзальтация, представляющая все в „каком-то фантастическом сиянии" и как раз навыворот против того, что бывает на белом свете. Над всем этим владычествует неизмеримая пустота содержания» (Н. Г. Чернышевский. Полное собр. соч., т. II. М., 1949, стр. 231).

Салиас была бесконечно оскорблена суровым отзывом Чернышевского и до конца жизни не могла забыть неприятную для нее, но по существу вполне справедливую оценку романа. Чернышевский сделался в ее глазах фигурой одиозной, и по отношению к нему она не находила нужным проявлять и тени беспристрастия.

Ее оскорбленное самолюбие было уязвлено и другими критическими замечаниями, появившимися на страницах «Современника». «Свисток» в «Дружеской переписке Москвы с Петербургом», написанной Некрасовым и Добролюбовым, отнес ее произведения в «область *празднословного романа*» (Н. А. Добролюбов. Полное собр.

соч., т. VI. М., 1939, стр. 231). Анонимный автор злой рецензии на ее книжку, посвященную деятельности известной филантропки Елизаветы Фрей, сурово отозвался о произведении Тур не только потому, что она идеализировала буржуазную филантропию, но и потому, что она расточала либеральные восторги по поводу русского «прогресса». Автором этой рецензии был Добролюбов (там же, т. V, стр. 176—181).

Озлобление против «Современника» Евг. Тур проявила и впоследствии на страницах своего журнала «Русская речь».

Салиас стремилась превратить свой маленький домик на 3-й Мещанской в один из центров культурной и литературной Москвы. Еще в начале сороковых годов она собирала у себя людей, причастных к науке и литературе. В 1843 г. А. И. Тургенев писал из Москвы Вяземскому: «Вчера, как и каждый день, засиделся и заужинался на вечеринке. Графиня Салиас собрала весь блестящий мир; я любезничал с незнакомыми почти до двух часов» (цит. по кн.: Л. П. Гроссман. Преступление Сухово-Кобылина, изд. 2. Л., 1928, стр. 68).

Посещал салон Салиас и Огарев, бывавший в Москве наездами. Салиас он знал еще с детских лет. В салоне Салиас, как раньше в доме Сухово-Кобылиных, его привлекала более всего младшая сестра — красавица Евдокия Васильевна. Много позднее, уже в годы эмиграции, Огарев, вспоминая о «Душеньке Кобылиной», признавался, что, в сущности, за всю свою жизнь он «никого не любил» так сильно, как ее. «А чего не было в этом бесконечно красивом образе,— писал он Герцену в 1859 г.,— и магнетический взгляд, и каждое движение, полное магнетизма нежности, кротости, грации, такта, благоволения» («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 378). В 1842 г. он писал из Москвы жене: «У m-me Salias бываю я довольно часто. Мне так хорошо, можно говорить вздор и видеть прекрасное лицо — две вещи, которые доставляют великую отраду» (цит. по кн.: М. Гершензон. Образы прошлого. М., 1912, стр. 471). Огарев был увлечен красотою сестры Салиас, к ней же самой он в то время питал, по его выражению, «сердечную дружбу» (Я. З. Черняк. Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве. М.—Л., 1933, стр. 322).

Однако впоследствии характер отношения Огарева к Салиас изменился. В начале 1848 г. Огарев приехал из своего пензенского имения Акшена в Москву. Здесь он захворал корью, а весной, когда его здоровье уже поправилось, по предложению Сухово-Кобылиных, отправился погостить в их подмосковное имение, где жила в то время и Салиас. «Там,— рассказывает про Огарева Н. А. Тучкова-Огарева,— вспомнил детство и сблизился с дамами, потом уехал в деревню к себе ⟨...⟩ помню, что в Москве Грановский сказал, смеясь: „Огаревым овладела какая-то граф⟨иня⟩ Салиас — она очень напоминает Марью Львовну ⟨первую жену Огарева.— *Б. К.*⟩, охота ему“» («Архив Огаревых». М., 1930, стр. 299). Осенью того же года Салиас с детьми и гувернанткой приехала в Акшено. О том, что в это время Огарев питал к Салиас чувства не только дружеские, можно судить по его позднейшему письму к Герцену. Когда в 1865 г. Герцен, недолюбливавший Салиас, в одном из своих писем выразил недоумение по поводу того, что Огарев, «специалист по части амурных дел», мог «яростно сочувствовать Васильевне» (XXII, 125) [3], Огарев решительно возражал: «...твой перспикаситет* относительно m-me S⟨alias⟩ не совсем признаю. В ней много благородства и преданности. Относительно меня она это доказала и своим отношением после того, как я с ней мерзко поступил» («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 405).

Утверждая будто он «мерзко поступил» с Салиас, Огарев имел в виду разрыв отношений между ними в начале зимы 1848 г., у него в имении. Салиас, увлеченная Огаревым, поняла ранее, чем он сам, что Н. А. Тучкова, дочь друга и соседа Огарева, полюбила его. Скоро Салиас почувствовала, что и Огарев серьезно увлечен Тучковой. В письмах того периода Огарева к Н. А. Тучковой можно найти несколько сообщений о болезненном состоянии Салиас, о вызванных ревностью нервных припадках, которые мешали ему посещать Тучковых так часто, как ему хотелось бы («Русские пропилеи», т. IV, М., 1917, стр. 19, 20, 25). «Г-жа С⟨алиас⟩ была больна и жалка, а я употреблял все усилия, чтобы сдержаться, потому что, несмотря на то, что мне ее жаль, я едва могу побороть чувство напряженного бешенства, которое привык к ней

* проницательность (от франц. «perspicacité»).

питать,— писал Огарев Н. А. Тучковой 24 декабря 1848 г.— Это пытка, которой вы, к счастию, не знаете! Надо было делать все: надо было утешать — я лгал. У нее талант ставить меня в безвыходное положение, так что я или должен сказать ей убийственную правду, или солгать. Что прикажете делать! Я предпочел быть гуманным, несмотря на все желание убить ее на месте» (там же, стр. 48). Нетрудно представить себе, какое облегчение почувствовал Огарев, когда Салиас на несколько дней уехала к Тучковым. «Один! один! понимаете ли вы, милый друг, весь смысл этого слова? Это огромно! Это свобода!» (там же, стр. 55). Вскоре по возвращении от Тучковых Салиас, убедившаяся, что Наталья Алексеевна окончательно вытеснила ее из сердца Огарева, покинула его усадьбу, оставив ему на всю зиму детей с гувернанткой.

На первых порах Салиас сильно негодовала, жаловалась на Огарева Грановскому и другим его московским друзьям и сумела восстановить их против него («Звенья», т. I, 1932, стр. 146—147, кн. 6, 1936, стр. 361). Однако с течением времени обида забылась, и, как видно из печатаемых нами писем, дружеские отношения между Салиас и Огаревым восстановились, несмотря на то, что по своим общественно-политическим взглядам они далеко не были единомышленниками.

Салиас знала Герцена, как и Огарева, еще по Москве. Брат ее, А. В. Сухово-Кобылин, называет Герцена в автобиографии «другом детства» и приписывает его влиянию свой интерес «к литературным занятиям и особенно к философии Гегеля» (цит. по кн.: Л. П. Гроссман. Преступление Сухово-Кобылина, стр. 68), поклонником которого Сухово-Кобылин остался на всю жизнь. Вряд ли, однако, Герцен в действительности был дружен с Сухово-Кобылиным. Этому могла препятствовать и разница в возрасте: Сухово-Кобылин на пять лет моложе Герцена, а в детские и юношеские годы такая разница имеет большое значение. Как бы то ни было, бесспорно, что Герцен не был так близок с семейством Сухово-Кобылиных, как Огарев, и не питал к Салиас таких дружеских чувств, как он. Наоборот, отношение Герцена к Салиас было скорее отрицательным и продолжало оставаться таким и в шестидесятых годах, когда Герцену пришлось переписываться с ней и встречаться лично. Это объяснялось прежде всего политической позицией Салиас. Но раньше чем говорить о взглядах Салиас в заграничный период ее жизни, необходимо познакомиться с тем, что представлял собою ее московский салон в пятидесятые годы и в начале шестидесятых, когда он являлся одним из центров московского либерализма.

В пятидесятых годах главную роль в салоне Салиас играл Грановский. Они были настолько дружны, что Грановский посвятил ей одну из своих печатных работ: «Песни Эдды о Нибелунгах». В доме Салиас был культ Грановского. Каждое его суждение и слово имело в глазах хозяйки дома непререкаемый авторитет.

Помимо Грановского, в салоне Салиас в эти годы бывал П. Н. Кудрявцев, с которым она была очень близка, Н. Х. Кетчер, Евг. Ф. Корш, В. П. Боткин, А. Д. Галахов, историк К. Н. Бестужев-Рюмин и др. Во время приездов в Москву бывал у Салиас и И. С. Тургенев.

В середине пятидесятых годов Салиас сблизилась с М. Н. Катковым. Она была постоянной сотрудницей «Русского вестника» с основания журнала до 1860 г. В 1858 г. она писала Каткову: «„Русский вестник“ мне чрезвычайно дорог, все его мнения — мои мнения...».

Постепенно умеренно-либеральный характер салона Салиас значительно изменился, состав его посетителей демократизировался: на вечерах у Салиас можно было встретить начинавших свою литературную деятельность Левитова, Слепцова, Лескова, Суворина (в то время настроенного весьма либерально) и других молодых писателей. Постоянным посетителем Салиас и другом ее был профессор Московского университета Вызинский, поляк по национальности, внушивший Салиас горячие симпатии к Польше. Феоктистов, в то время учитель детей Салиас, живший у нее в доме, утверждает, будто бы Вызинский пробудил в Салиас «безграничные симпатии к революционной партии». «Дом ее,— пишет он,— сделался мало-помалу сборищем, бог знает, какого люда,— всё это ораторствовало о свободе, равенстве, о необходимости борьбы с правительством и т. п.» (Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы, цит. изд., стр. 368). В этих словах Феоктистова много преувеличений.

Ни о каких действительных симпатиях Салиас к революционному делу, как мы убедимся ниже, говорить не приходится. Демократизация же салона произошла не столько под влиянием Вызинского, сколько вследствие сближения сына хозяйки, поступившего в 1859 г. на юридический факультет Московского университета, со многими студентами, причастными к студенческому и революционному движению тех лет. Среди ближайших знакомых и приятелей молодого Салиаса мы находим участников известного кружка Заичневского и Аргиропуло, развернувшего в то время большую работу по литографированию и тайному распространению запрещенных в России сочинений Герцена, Огарева, Л. Фейербаха и др. авторов (см. нашу работу «Кружок Заичневского и Аргиропуло».—«Каторга и ссылка», 1930, №№ 7 и 8—9). Товарищи студента Салиаса бывали у него в доме и познакомились с его матерью. Особенно подружилась она с ближайшим другом ее сына — И. Кельсиевым, братом известного эмигранта, а позднее ренегата В. Кельсиева. В отличие от Василия, Иван Кельсиев был стойким революционером, горячо преданным делу народного освобождения. О близости И. Кельсиева к Салиас можно судить по двум письмам, адресованным на ее имя: одно из них осталось неотправленным и было отобрано у него при аресте (сб. «Политические процессы 60-х гг.», под ред. Б. Козьмина. М.—Л., 1923, стр. 111—113), другое написано уже после бегства И. Кельсиева из ссылки (см. в «Лит. наследстве», т. 41-42, 1941, стр. 105—110).

Близость Е. В. Салиас с Кельсиевым не дает еще основания говорить о ней, как о его единомышленнице. Сам Кельсиев во время допросов указывал на это. «Есть люди,— говорил он,— и к этой категории относится графиня Салиас,— которые смотрят на социализм и республику, как на нечто абсолютно негодное, не только как на негодное теперь, но как на негодное и для настоящего, и для будущего» («Политические процессы 60-х гг.», цит. изд., стр. 118).

Что же в таком случае сближало Салиас с такими людьми, как Кельсиев? — Ее ненависть к произволу и деспотизму, к реакционным мероприятиям царского правительства. Недаром в петербургских сферах к ней относились, как к человеку, весьма неблагонадежному в политическом отношении.

В ноябре 1861 г., во время студенческих волнений, происходивших в Московском университете, в III Отделении был получен донос, обвинявший Салиас и жившего вместе с нею проф. Вызинского в том, что они возбуждают студентов к беспорядкам: «Тут,— писал анонимный доносчик,— постоянные сборища. Многие удивляются, отчего Салиас не удалят не только из Москвы, но совсем из империи» (XI, 353). Действительно, Салиас искренно сочувствовала студентам в период этих волнений.

История студенческих волнений 1861 года в Московском университете известна довольно хорошо. Вызваны они были тем, что правительство установило непосильную для многих плату за слушание лекций и лишило студентов прав, которыми они фактически пользовались ранее (право сходок, организации кассы взаимопомощи, товарищеского суда и т. д.). Сопровождались эти волнения временным закрытием университета, арестами, избиениями студентов на площади перед домом генерал-губернатора, куда они собрались, чтобы настаивать на освобождении арестованных товарищей. В числе арестованных были почти все ближайшие друзья Е. А. Салиаса («Ист. вестник», 1898, № 2, стр. 495).

Мать его не скрывала своих симпатий к студенческому движению. На сходку, происходившую в университетском саду, явился, по словам проф. С. В. Ешевского, «один бородатый господин», чтобы передать студентам сочувствие Евгении Тур (С. В. Ешевский. Сочинения по русской истории. М., 1900, стр. LXXIII). Этот факт подтверждает и другой современник, добавляющий кроме того, что в комиссию, учрежденную для рассмотрения вины арестованных, явился студент Салиас и потребовал, чтобы арестовали и его. Получив отказ, он настаивал на своем желании, говоря, что «ему нельзя будет показаться на глаза матери», так как она заявила ему: «Твое место там, где твои товарищи» (П. Д. Шестаков. Студенческие волнения в Москве 1861 г.».— «Русская старина», 1888, № 11, стр. 366). Феоктистов свидетельствует: Е. В. Салиас была в «отчаянии» и упрекала сына в том, что он на воле, а не в числе арестованных. Несколько успокоилась она лишь после того как узнала, что сын ее

избран одним из трех делегатов, которым студенты поручили отправиться в Петербург для передачи царю адреса с требованием освободить арестованных товарищей. Добавим, что в начале 1862 г. Е. А. Салиас в числе некоторых других студентов демонстративно покинул университет в виде протеста против исключения из университета и высылки из Москвы нескольких «зачинщиков» и «вожаков» студенческих волнений («Политические процессы 60-х гг.», цит. изд., стр. 71; Б. Козьмин. Кружок Заичневского и Аргиропуло.— «Каторга и ссылка», 1930, № 8—9, стр. 75—78, 80—82).

Сохранилось два документальных доказательства сочувствия Евг. Тур студентам. Одно из них — ее корреспонденция в «Колокол» о студенческом движении и о жестоком избиении студентов, организованном московской полицией; эта корреспонденция напечатана в № 113 (принадлежность этой корреспонденции перу Салиас удостоверена Феоктистовым. См. его воспоминания, цит. изд., стр. 368). Другое — чрезвычайно резкое письмо ее к И. С. Аксакову, вызванное его статьей в газете «День», в которой осуждались участники студенческого движения («Политические процессы 60-х гг.», цит. изд., стр. 94—97).

В ноябре 1861 г. Александр II, которому было доложено о том, что Салиас сочувствует требованиям студентов, распорядился установить наблюдение за нею и за ее сыном и предложил начальнику III Отделения рассмотреть вопрос о необходимости удалить Салиас из Москвы (XI, 353—354). Узнав в 1862 г., что его флигель-адъютант И. В. Гурко, впоследствии фельдмаршал, собирается жениться на дочери Салиас, Александр остался весьма недоволен (Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы, цит. изд., стр. 373—374).

Однако, хотя сочувствие Салиас студенческому движению не подлежит сомнению, оно не может служить доказательством ее революционной настроенности. В 1861 г. студенческому движению сочувствовали люди не только демократического, но и либерального лагеря. К числу либералов и должна быть отнесена Салиас.

С начала 1861 г. Салиас начала выпускать в Москве двухнедельный журнал «Русская речь». Интересна позиция, занятая этим журналом в ожесточенной полемике, которую вела в это время почти вся русская пресса, консервативная и либеральная, против «Современника», руководимого Чернышевским и Добролюбовым. Эта полемика имела большое общественное значение, ибо она знаменовала отмежевание лагеря демократии от лагеря либерализма. Какую же позицию заняла в этой полемике «Русская речь»? Ненавидевшая Чернышевского Салиас примкнула к стану врагов «Современника». Это совершенно ясно из статьи «Нечто о невежестве в нашей литературе», которой журнал Салиас откликнулся на статью Добролюбова «Из Турина» («Русская речь», 1861, № 28). Известно, как негодовали на Добролюбова российские либералы за то, что он развенчал их кумира — главу итальянского либерализма Кавура — и высмеял пьемонтский конституционализм. Автор статьи «Нечто о невежестве...» вполне разделял их негодование. «Едва ли,— писал он,— в европейской литературе найдется несколько образчиков того безобразного тона в приговорах и суждениях, которым отличаются наши так называемые публицисты». И далее, возмущаясь Добролюбовым, автор статьи не стесняется сравнивать его с Булгариным. Таким образом журнал Евг. Тур в ответственный момент классового размежевания оказался на стороне либерализма, а не демократии.

Однако это не мешало «Русской речи» быть в оппозиции к правительству и потому привлекать к себе усиленное внимание цензуры. Жалуясь на произвол и стеснения, которым подвергалась со стороны цензурного ведомства «Русская речь», Салиас писала: «Это совершенная шайка разбойников, и вы у них в руках, связанные по рукам и ногам» (Н. М. Субботин. Графиня Салиас и ее письма.— «Русский вестник», 1903, № 10, стр. 491). Когда же Салиас начала хлопотать, чтобы в «Русской речи» был разрешен отдел политических обозрений, ей было заявлено, что разрешение будет дано только в том случае, если она откажется редактировать журнал и передаст его в другие руки. Салиас вынуждена была передать официальное редактирование «Русской речи» Феоктистову, который и раньше помогал ей в редакторской работе. Правда, и после этого Салиас осталась фактическим руководителем «Русской речи» (там же).

В ноябре 1861 г. Салиас уехала за границу, где провела около десяти лет. Возможно, что свыше ей был дан «совет» добровольно покинуть Россию, но возможно, что она уехала по собственной инициативе, предвидя такое предложение.

За границей Салиас жила преимущественно в Версале. Вместе с нею уехал из России и проф. Вызинский. Убежденный польский патриот, он сошелся с парижской польской эмиграцией, с ее правым, аристократическим крылом, группировавшимся вокруг сына Адама Чарторыйского, Владислава. Вызинский получил работу в секретариате Вл. Чарторыйского и таким образом оказался в кругу тех польских эмигрантов, которые ждали свободы и независимости для своей родины не от революционной борьбы самого польского народа, а от вмешательства в польские дела правительств западных держав, в частности Наполеона III. Они не понимали и упорно не хотели понять, что, обещая помощь польскому делу, Наполеон III действовал не в интересах Польши, а в своих собственных, и отнюдь не собирался оказать полякам какую-либо реальную поддержку.

Под влиянием Вызинского Салиас прониклась горячей симпатией к Польше и негодовала на царское правительство за жестокое подавление польского восстания 1863 года. Через того же Вызинского Салиас была связана с польскими эмигрантами. «Квартира ее,— жалуется Феоктистов,— сделалась мало-помалу притоном членов народного жонда, к которым присоединились и русские выходцы» (Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы, цит. изд., стр. 55).

В гостях у Салиас встречались друг с другом люди, совершенно различные и по своим политическим взглядам и симпатиям, и по своему положению в обществе. Там можно было видеть бежавшего из Сибири М. А. Бакунина и русского посла в Бельгии кн. Н. А. Орлова. Там член центрального комитета «Земли и воли» А. А. Слепцов встречался с представителями московской знати, приехавшими пожуировать в Париж. Там бывали поляки-эмигранты и представители либеральной петербургской бюрократии, как, например, министр народного просвещения А. В. Головнин. Посещал Салиас и Герцен во время своих наездов в Париж.

Однако, как мы уже отмечали, Герцен, в отличие от Огарева, не чувствовал к Салиас особой симпатии. Это явствует из писем его к Огареву. Сообщая ему, например, о своей предстоящей поездке в Версаль на обед к Салиас, Герцен добавлял: «Далеко, неудобно и будет до бесконечности скучно. Нет, она — „герой не моего романа“» (XVIII, 38).

Эти слова Герцена имеют тем большее значение, что сказаны они уже после смерти его двоих детей, т. е. уже после того, как Салиас проявила большое сочувствие к его горю, на время взяла к себе заболевшую Лизу и заботливо ухаживала за нею (XVII, 420—422). В последний раз Герцен посетил Салиас в 1870 г., незадолго до своей смерти (XXI, 552).

Надо отметить, что и Салиас порой очень неприязненно отзывалась о Герцене, особенно после того, как в 1864 г. редакция «Колокола» отказалась напечатать какую-то ее статью из-за «бранчливого тона» (см. ниже письмо № 17).

Весьма резкий отзыв о Герцене мы находим в письме Салиас к известному адвокату и либеральному публицисту Е. И. Утину, написанном в 1867 г., во время восстания греческого населения Крита против турецкого владычества — в тот момент, когда в связи с этими событиями ожидалась война России против Турции. Герцен в статье «На площади св. Марка», помещенной в л. 238 «Колокола», заявил, что симпатии его, как и симпатии высказавшегося по этому вопросу Гарибальди, находятся на стороне угнетаемых турками греков и славян и что его не смутит, если освободителем этих народов выступит царская Россия (XIX, 259—260). Салиас, далекая от каких бы то ни было симпатий к славянам (за исключением поляков), прочитав статью Герцена, в негодовании писала Утину: «Герцен старый... не хочу написать этого слова... Пора в его лета понять, что энтузиазм, и то *настоящий*, а не фальшивый, совершает чудеса, воодушевляя массы на великие дела — защиту отечества, завоевание свободы и прочее в этом роде, он помогает совершать только глупости, овладевая человеком не умным, но у которого вскружилась голова от успеха, как у Гарибальди теперь. Умен он никогда не был, а теперь просто одурел... А Герцен к этой дури Гарибальди, да своего

фальшивого пафоса прибавил,— ну и вышло смешно и больше ничего» (ЦГЛА, ф. Е. В. Салиас; см. также неотправленное письмо Салиас к Бакунину от 19 мая 1867 г.— «Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 116—120).

Это письмо Салиас заставляет вспомнить об уже упоминавшейся нами статье в ее журнале, написанной в защиту Кавура от обвинений, выдвинутых против него Добролюбовым. Либерал Кавур был ей гораздо ближе и по своим взглядам, и по своему отношению к делу объединения Италии, чем вождь итальянского народа Гарибальди, сыгравший громадную роль в деле освобождения родины. Салиас побаивалась вмешательства народных масс в ход истории. Именно поэтому либерал Кавур был для нее приемлемее, ближе и симпатичнее, чем последовательный демократ Гарибальди или Герцен.

Вступив после приезда в Париж в переписку с издателями «Колокола», Салиас четко выразила свое отношение к их деятельности (к сожалению, из ее писем к Огареву найдено пока четыре. Из ответного письма к ней Огарева от 1 мая 1862 г. видно, что, по ее собственному признанию, с издателями «Колокола» ее соединяет только «*общий враг*», т. е. произвол и деспотизм, царящие в России. Тщетно пытался Огарев уверить Салиас, что «общего врага» недостаточно, что необходимо иметь и «общего друга» и что таким другом должно быть для них обоих русское крестьянство. Его доводы не действовали на Салиас. Тщетно взывал Огарев в письме, написанном в середине июня того же года, к «революционной струнке», якобы присущей Салиас, и доказывал, что она не считает себя социалисткой только потому, что «никогда серьезно об общественном вопросе не думала». Салиас слишком хорошо знала себя, чтоб признать за собою несуществующую «революционную струнку» и столь же несуществующие симпатии к социализму. Салиас прекрасно сознавала, что она расходится с Герценом и Огаревым по принципиально важным пунктам. Социалистические идеи были совершено чужды ей. К русскому крестьянству она, в отличие от Герцена и Огарева, относилась в высшей степени недоверчиво. Мало того, политическая активность крестьянства пугала ее. Если она и питала какие-нибудь надежды на обновление русских политических порядков, то эти надежды были связаны не с крестьянством, а с дворянством, как наиболее образованным сословием тогдашней России. «Вы верили в высшее сословие; оно оказалось подлым»,— писал ей 2 октября 1864 г. Огарев. Когда же Салиас из отношения русского дворянства к польскому восстанию 1863 года убедилась, что оно всемерно поддерживает правительственную политику и что, вследствие этого, с ним не приходится связывать никаких надежд на обновление России, она совершенно разуверилась в возможности самого обновления. «Вы не верите в будущность России»,— с укоризною писал ей 18 августа 1864 г. Огарев. Она и не скрывала своего неверия. «Я *ничему* хорошему в России теперь не верю»,—писала Салиас Е. И. Утину 23 марта 1867 г. (ЦГЛА, ф. Е. В. Салиас).

Проникнутая идеями космополитизма, широко распространенными среди русского дворянства, Салиас была законченной «западницей». Недаром она, по ее собственному выражению, «пришла в восторг» от романа Тургенева «Дым» и писала своей приятельнице А. П. Сусловой: «Этот роман доставил мне минуты наслаждения» (ЦГЛА, ф. Е. В. Салиас, письмо от 19 июня 1867 г.).

Салиас была в восторге от «Дыма», а Герцен и Огарев считали роман крупной творческой неудачей. «Роман Тургенева очень плох»,— писал Герцен Н. А. Тучковой-Огаревой. «Читали ли вы „Дым" И. Тургенева?— спрашивал он Г. Н. Вырубова.— Не стыдно ли в седине своей мастурбировать такую дрянь» (XIX, 293 и 316). Огарев же выразил свое отрицательное отношение к роману в резкой эпиграмме (она впервые публикуется в настоящем томе).

Существовал еще один пункт, по которому Салиас резко расходилась с издателями «Колокола». Раньше она относилась к религии довольно равнодушно, но в парижский период своей жизни, под влиянием посещавших ее польских аристократок, прониклась симпатиями к католицизму. Рассказывая об этом ее увлечении, Феоктистов пишет: «Она не приняла католическую веру, а усвоила себе какие-то мистические верования, какую-то особенную религию, сущность которой не поддавалась пониманию, потому что она сама неохотно говорила о ней; по возвращении графини Салиас в Россию можно

было видеть у нее на стенах множество образов, и православных и католических, наряду с амулетами, ладонками и т. п.» (Е. М. Феоктистов За кулисами политики и литературы, цит. изд., стр. 371).

Атеизм Герцена и Огарева и их материалистическая философия были чужды и ненавистны Салиас. Сообщая в 1866 г. А. П. Сусловой о своем решении перестать писать для взрослых читателей и о задуманном ею «детском романе», Салиас писала: «Пока в ходу Фейербахи, Люисы, Бокли, нам лучше писать для детей по-старинному, с верою в благое провидение, в добродетель, в справедливость, в право, в человеческое достоинство и во все то, что не есть ни мышцы, ни нервы, ни мозг. Мы, признающие дух и бессмертную душу, не годимся для русской публики, сбитой окончательно с толку» (ЦГЛА, ф. Е. В. Салиас, письмо от 31 августа 1866 г.).

Религиозные увлечения Салиас предопределили дальнейшую эволюцию ее социально-политических взглядов. Решающую же роль в этой эволюции сыграла, повидимому, Парижская Коммуна, смертельно перепугавшая Салиас.

В начале семидесятых годов Салиас возвратилась в Россию с совершенно иными настроениями, чем те, с которыми она покидала ее в 1861 г. «Вместо того, чтобы проклинать деспотизм,— пишет Феоктистов,— она только и говорила теперь о необходимости непоколебимо твердой правительственной власти; на столе ее не было места ни для одной газеты или журнала с либеральным направлением» (Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы, цит. изд., стр. 371).

Если раньше Салиас относилась к Александру II, как к извергу, безжалостно подавлявшему стремление польского народа к свободе и независимости, то теперь, в 1881 г., после того как народовольцы казнили его, она стала именовать Александра II «милостивым и добрым царем». Русская пресса приводила Салиас в негодование своей недостаточной, по ее мнению, консервативностью. В 1881 г. Салиас писала сыну: «Газет читать нельзя — до того они красны, невежественны и ведут нас к пропасти. Эта пресса вся красная, без всякого элемента консервации!» («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 260).

Не осталось следа и от былых симпатий Салиас к Польше. Теперь судьба польского народа уже не волнует ее. По иронии судьбы в последние годы жизни Салиас нередко жила в Варшаве, в бывшем дворце польских королей, где была резиденция ее зятя Н. В. Гурко, назначенного в 1883 г. на должность варшавского генерал-губернатора и призванного проводить политику руссификации Польши. Здесь, в этом дворце, и закончила в 1892 г. свои дни бывшая корреспондентка Герцена и Огарева, превратившаяся в крайнюю реакционерку и расставшаяся со своими былыми мечтами об освобождении польского народа.

* * *

Все письма Огарева, за исключением двух, опубликованных ранее, воспроизводятся по фотокопиям, хранящимся в ЦГЛА (ф. 359, ед. хр. 79). Оригиналы этих писем вместе со многими другими письмами из архива Салиас хранились в Рапперсвильском музее в Варшаве. Четыре ответных письма Е. В. Салиас публикуются по автографам «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 105 и 161).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Леонид Гроссман в своей книге «Дело Сухово-Кобылина» (М., 1936, стр. 42) утверждает, что после отъезда Салиаса из России жена «больше его не видела». Но это неверно. В письме к И. С. Тургеневу от 7 октября 1851 г. В. П. Боткин между прочим сообщал: «Вот действительно порядочная новость: к гр. Салиас вдруг неожиданно приехал муж ее и явился с разными претензиями» («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», цит. изд., стр. 9).

[2] Еще в 1830-х гг. Салиас занималась переводами. В 1835 г. в журнале Надеждина «Телескоп», № 2—3, был напечатан ее перевод «Путевых впечатлений» А. Дюма.

[3] М. К. Лемке неправильно датировал это письмо 1859—1860 гг. Действительная дата письма устанавливается при сопоставлении его с цитируемым ниже ответным письмом Огарева.

1

1 мая <1862 г.>. Orsetthouse. Westbourne terrace. Paddington

Что же это как я вам долго не отвечаю на ваше доброе письмо, друг мой? Чай вы меня побранили. Да и я себя побранил. Что-то не хотелось писать, был постоянно глуп и ничего путного не думал и не делал, справлял корректуры и разные мелкие тупоумные работы, так что стал внутренно пуст. Голова постоянно точно свинцом налита. Я начинаю стариться; нервная хворость усиливается и томит. Все это очень некстати, потому что еще дела немало.

Моя французская брошюра, которая, я думал, выйдет в марте, выйдет только на следующей неделе[1]. Печатают страшно долго, и поправлять надоело до смерти. Как выйдет, пришлю вам. В вашем письме меня одно огорчило: вследствие несовершенного согласия с нами, вы говорите, что мы всё же соединены во имя *общего врага*. Нет, этого мне мало, друг мой. Если вы мне протянули руку, если я могу смотреть на ваш портрет и на Женни[2] со всей любовью брата, к какой я только способен, то мне надо, чтоб мы шли не во имя общего врага, а во имя общего друга. А мой друг — крестьянство и то начало иного понятия о праве собственности, которое не имеет корня в Европе. Если мы на этом с вами не расходимся, то мы ни в чем не разойдемся...

Нет, решительно не могу писать сегодня о матерьях важных. Тучки бродят, гроза будет, в воздухе электричество, и, следственно, мне физически невыносимо и тяжело. Я пишу только потому, что не хочется откладывать дольше. Хочется сказать вам, как я рад буду вас видеть и показать вам Лизу[3]. Я думаю около 20 мая отправить их к морю, по предписанию медика и потому что в Лондоне душно. Сам останусь здесь и буду только навещать их у моря; мне мудрено совсем выехать из Лондона дела ради, а куда бы хорошо было для здоровья и отдыха.

А когда Маша[4] приедет? А где Женни?

Не повредим им, напечатав, как ссылали маленького Кельсиева? Я думаю — нет[5]. Напишите об этом сейчас. Не прижмет ли его пуще губернатор? Страдать ничего не сделавши, да еще мелко страдать — так же глупо и несносно, как легко вынести страдание, если оно производит влияние.

«*День*» мы получаем редко. Об Акс<акове> in re* Польши Герц<ен> уже писал[6]. Мне жаль — я люблю Аксакова за какую-то своеобразную чистоту убеждения, а идти приходится врозь. Он вдается в завоевательный панславизм вместо освобождающегося славянства, и собственно руссофилы и лезут в точку зрения незабвенного[7], заменив абстракт самодержавия абстрактом Руси. Мудрено нам писать, когда никто не имеет права отвечать. Да еще одно: у вас там мелкая литературная дрязга, кажется, стала выше всех общественных интересов[8]. Это досадно, но я принимаю это за мимоходное явление, которое пройдет, как скоро реальное дело начнется посерьезнее.

Напишите, нет ли известий об отмене телесных наказаний[9]. Журналы до 29 апр<еля> говорили об этом с красноречием, а как прошел день торжества, т. е. 17/29 апр<еля>[10], то ни единой телеграммы.

Скоро пришлю вам мою визитную карточку, т. е. фотограф<ию>, на той неделе, показать вам, что и я не помолодел, и напомнить вам старого друга.

До свиданья же. Я вас жду.

Все мы жмем вам руку..

Когда ж вы будете? — напишите.

---

* относительно (англ.).

[1] «Французской брошюрой» Огарев именует свою книгу — «Essai sur la situation Russe. Lettres à un Anglais» — «Очерк положения в России. Письма к англичанину»,— вышедшую в Лондоне 8 мая 1862 г. Отрывки из этой книги были напечатаны в «Колоколе» (лл. 128 и 129, от 8 и 15 апреля 1862 г.).

[2] *Женни* (или Дженни) — сын Е. В. Салиас, Евгений Андреевич Салиас де Турнемир, впоследствии небезызвестный беллетрист, автор исторических романов.

[3] *Лиза* — дочь Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой.

[4] *Маша* — Мария Андреевна Гурко, дочь Е. В. Салиас.

[5] Речь идет об Иване Ивановиче *Кельсиеве* (1841—1864), видном участнике московского студенческого движения 1861 года и революционных кружков. Арестованный в 1861 г. И. Кельсиев во время написания этого письма находился в ссылке в г. Верхотурье Пермской губ. В мае 1863 г. Кельсиев бежал за границу, жил вместе с братом, Василием Ивановичем, в Тульче, где и умер. В листе 134 «Колокола», в отделе «Смесь», напечатана заметка «Студент И. Кельсиев и шайка разбойников-бюрократов». Заметка эта была перепечатана из № 3 журнала «Правдивый», издававшегося в Лейпциге кн. П. В. Долгоруковым, где она появилась под названием «Письмо из Москвы». В заметке говорилось, что, отправляя Кельсиева в ссылку, начальство не дало ему возможности собраться в далекий путь; он ехал в легком пальто и без денег. Повидимому, об этой заметке и идет речь в письме Огарева, хотя и непонятно, чем вызваны опасения Огарева, что перепечатка может повредить детям Е. В. Салиас.

[6] *«День»* — еженедельная славянофильская газета, издававшаяся И. С. Аксаковым в Москве с 1861 г. по 1865 г. Об отношении Аксакова к польскому вопросу Герцен, считая несвоевременным выступать открыто против Аксакова, еще не писал в это время ни в «Колоколе», ни в других своих изданиях. Поэтому надо думать, что Огарев имел в виду те критические письма-отзывы на «День», которые Герцен посылал непосредственно И. Аксакову. Одно из этих писем (№ 2) напечатано в т. 39-40 «Лит. наследства», 1941, стр. 250—252.

[7] *Незабвенный* — так после смерти Николая I называл его в официальных актах Александр II. Разумеется, издатели «Колокола» употребляли этот эпитет применительно к Николаю I в ироническом смысле.

[8] Говоря о «литературной дрязге», Огарев имел в виду ту полемику, которую вели в 1861—1862 гг. «Отечественные записки» и другие органы либерального направления против «Современника» и руководителей его — Чернышевского и Добролюбова. Подробно об отношении к этой полемике Огарева, не разобравшегося в ее глубоко принципиальном характере, см. в напечатанном в наст. томе его письмо к Альбертини и в комментариях к нему.

[9] Вопрос об отмене телесных наказаний усиленно обсуждался в это время русской прессой в связи с запиской, представленной в конце 1861 г. царю русским послом в Бельгии кн. Н. А. Орловым. Орлов настаивал на отмене телесных наказаний. Обширные выдержки из этой записки, а также из «слова» митрополита Филарета в защиту розог и шпицрутенов были напечатаны в статье «Кн. Орлов и Филарет митрополит» («Колокол», л. 130, от 22 апреля 1862 г.).

[10] 17/29 апреля — день рождения Александра II.

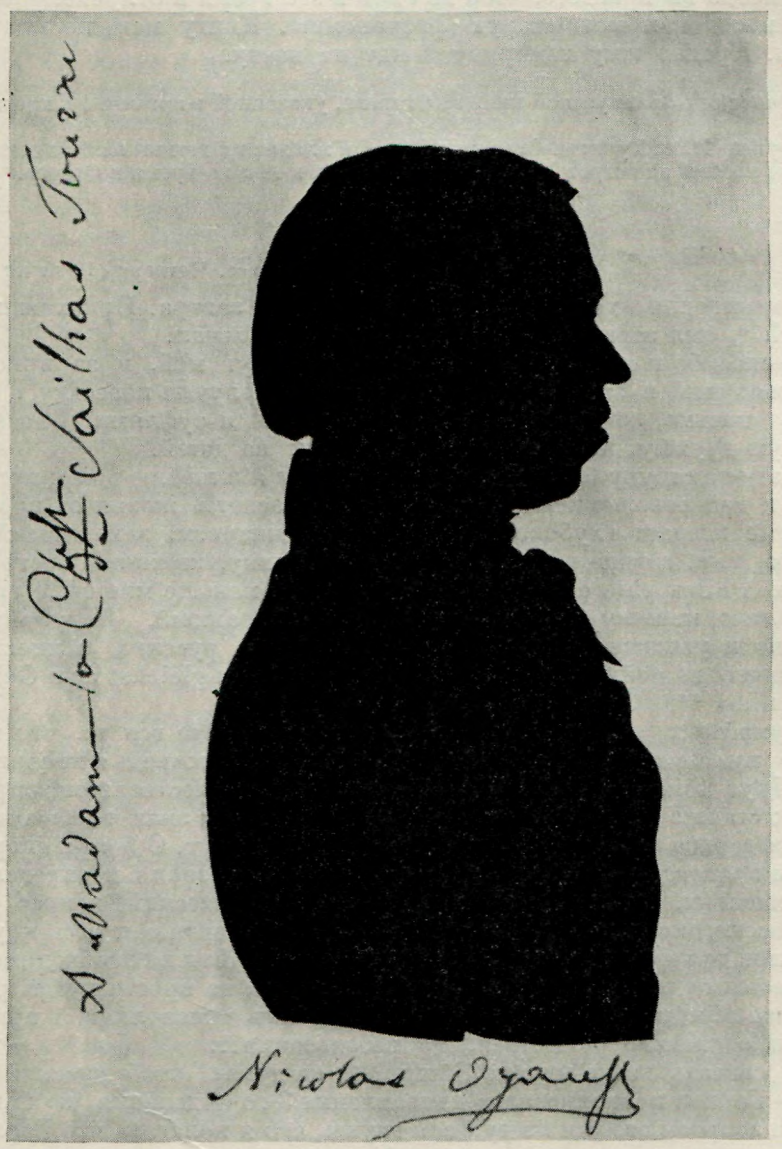
2

⟨Лондон.⟩ 9 мая ⟨1862 г.⟩

Пишу вам второпях несколько слов, друг мой. Посылаю вам всё, что́ могу, т. е. 200 франк⟨ов⟩, или 8 фунт⟨ов⟩ ст⟨ерлингов⟩. Вы их при следующем письме и получите. Сходите сами; это проще и скорей. Кстати, я выручил маленькое пособие за мою брошюру[1]. Когда вам пришлют, т. е. в продолжение лета (не то, чтоб стесняя себя), отдайте. Я только что концы с концами свожу, сводя жизнь на елико возможную умеренность. Что я не практический человек, в этом я каюсь, но так как мне все же легче понять практический мир, чем найтись в нем в жизни с выгодой для себя, то я вам сообщу все, что понял о Лондоне: со времени great exhibition* квартиры, которые стоили $2\frac{1}{2}$ фунт⟨а⟩, стоят 5 и 6 фунт⟨ов⟩. Горячка продлится до конца июля, а там все придет в свое русло. Итак, лично я бы вам сказал: приезжайте завтра, а по расчету должен сказать: выждите горячку. Если у вас есть горничная, то есть вам нужны 2 спальни (одна — master'у**, а другая — servant'у***) и маленькая гостиная,— вы теперь

* большой выставки (англ.).
** хозяину (англ.).
*** слуге (англ.).

заплатите 2 или $2\frac{1}{2}$ фунта в неделю, а обычно 1 ф⟨унт⟩. Стало, теперь вам надо прожить в неделю не менее 5 или 6 фунт⟨ов⟩ (125—150 франк⟨ов⟩), а обычно фунта три. Об отелях я и не говорю — это грабеж. Стало, вот



ОГАРЕВ

Силуэт 1840-х гг. с дарственной надписью Огарева Е. В. Салиас де Турнемир: «A Madame la Comtesse Sailhas Tourne⟨mire⟩. Nicolas Ogareff»

Литературный музей, Москва

как рассудите: если у вас есть на прожиток 150 фр⟨анков⟩ в неделю плюс расход на проезд, на путешествие, то приезжайте смело; если нет — то выждите горячку. Во всяком случае, вы мне до приезда напишите за неделю или дней за 10, чтоб я мог посмотреть квартиру и учредить подешевле и поспокойнее.

В понедельник я отправляю своих к морю[2]. А сам в мае пошляюсь пешком по окрестностям. Я, когда только могу, стараюсь избегать железной дороги, потому что голова кружится до... если не обморока..., то до чувства невыносимого страдания. Стало, мне уже и для того нужно заранее знать, когда вы приедете, чтоб не быть в это время в отлучке.

Посылаю вам мою старую физиономию. Книгу мою посылаю тоже сегодня. Крепко жму вам руку и иду на почту.

[1] Речь идет о французской книжке Огарева, указанной в примеч. 1 к предыдущему письму.

[2] Герцен, Н. А. Тучкова-Огарева с Лизой и младшими детьми в начале мая уехали на летние месяцы на остров Уайт, куда приезжал к ним на время и Огарев.

3

Orsetthouse. Westbourne terrace. Четверг <19 июня 1862 г.>

Пишу сегодня, хотя письмо пойдет только завтра. Приехавши с Isle of Wight*, был завален работой и оттого не отвечал.

Ну, спасибо и тысячу раз спасибо вам, друг мой, и за присланное с Писемск<им>[1] и за троицу[2], на которую я получил повестку, а больше всего за письмо, которое пришло с поясками и туфлями. Спасибо вам за старую дружбу, которая тепло переходит на детей.

Вот эту-то струну благородной сердечности я и люблю в вас; присоединенная к ней революционная струнка вас спасает в жизни от промахов, в которые впадает глубокомысленный доктринаризм, заменивший и то, и другое, т. е. сердце и революционную струнку, книжным построением прусской Philosophie der Geschichte**. Тем не меньше мне было грустно, что вы мою книжку сочли годной для иностранцев[3]. Подумайте хорошенько и увидите, что она годна только для русских, а иностранцы в ней ничего не поймут на том основании, что «Du gleichst dem Geist, den du begriffst» ***(«Фауст»).

Подумайте хорошенько, и вам не покажется, что все то, что в моей книжке, вам самим очень знакомо. Зачем вы говорите: «ведь я не социалист» и пр. Друг мой, ведь вы никогда серьезно об общественном вопросе не думали; станете думать или нет — я этого не знаю; знаю только, что благородное сердце и революционная струнка вас спасут. О боге я спорить не стану; я проповедую веротерпимость. Я не вижу поэзии в неопределенных самоутешениях, а только слабодушие. Я теоретический вопрос ставлю очень высоко; он страшно важен, он d'emblée**** очерчивает весь кругозор, но я дошел до веротерпимости на пути практическом и на необходимость<!> общественного развития данными средствами, а не просто путем разума. Но лучше об этих вещах не говорить, благо есть почва личной привязанности и одинакого общественного негодования...

Что сказать вам о письме Женни? Я не думаю, чтоб русский Молинари — Горлов практиковал в направлении 3-го Отделения, но притеснительные вопросы его так из рук вон глупы, что я полагаю, что Горлов так действовал только потому, что он — Молинари, т. е. тупорожденный[4]. Но все это скучно. И все же Женни прав: зачем вы его толкали в кандидатуру? Он остался бы хорошим человеком и без казенно-ученого диплома. Что диплом ему не поможет быть мировым посредником, это вы увидите из того, что *хорошие* мировые посредники гуртом идут в отставку[5]. Мое предсказание сбывается: в этом положении хорошие посредники, подразнив

---

* острова Уайта (англ.).

** философии истории (нем.).

*** «с тобою схож лишь дух, который сам ты познаешь...» «Фауст» (ч. I, перев. Б. Пастернака).

**** сразу (франц.).

народ возможным приблизительным правосудием, вынуждены будут идти в отставку и оставят народ, настроенный на новый лад, с старым помещичеством и посредниками-взяточниками. Как революционный фермент — оно куда ни шло, но только это тяжело. Стало, и тут Женни нечего искать карьеры. Пусть ему собственное чутье укажет бездипломную дорогу. Велите ему только беречь здоровье, пока жизнь его может быть полезна. От этого я перехожу к вопросу вашего приезда в Лондон. Вы на 4 месяца зимних в Лондоне! Нет, друг мой, этого вы не выдержите. *Мне дышать нечем* в лондонском воздухе, а вам, да и Женни, зимний сезон будет положительно вреден. Поверьте — лучше приехать в сентябре и прожить до конца октября, обычно это лучшее время. Что вы не приехали теперь — это, может, счастливо, потому что холод, как в марте, дождь и сырая мгла постоянны. В Вентноре был такой холод, что я всех своих перевез в Cowes[6], северо-западный, но закрытый от ветров берег острова. Как назло нынешний год самый ужасный изможего 6-летнего пребывания в Англии. Но, судя по средней влажности температуры, осень будет хороша, и мой совет — прожить в Англии *осень, а никак не зиму*.

В России вот что: пожары и Петербург в осадном положении[7], т. е. 4 генерала в 4-х частях города имеют право судить военным судом в 24 часа. Вчера в Ливерпуль пришла телеграмма от английского негоцианта из Петербурга, чтобы остановить его корабли, готовые к отплытию в Россию, потому что дела в России не такие, чтоб рисковать привозом товаров. Курс упал на 1 пенни.

Смутно, тяжело и смрадно это время. Я уверен, что пожары приведут к реакции, заставят высшее сословие порешительнее отказаться от своих прав, чтоб народ не счел их за поджигателей и чтоб иметь возможность сойтись с народом так, чтоб *вместе* требовать земского собора[8]. Без этого сближения, во имя отречения от сословных прав и общего собора правительство всегда наплюет на всякие конституционные попытки и адресы, что́ вам факты доказывают и будут доказывать.

Пояс Лизе отправляю завтра; а троицу на той неделе. Вы не можете поверить, а, может быть, напротив вполне можете поверить, как ваше участие к Лизе идет мне до сердечного дна. Жму вам руку. Прощайте.

На полях:

Хорошо было бы, если б я Кельсиеву[9] не написал из Вентнора о ваших деньгах: Трюбнер[10] *забыл** их послать! что касается до моих. то *когда вам будет легче*** — вышлите через какого хотите банкира.

Приписка рукой Герцена:

Позвольте и мне поблагодарить вас за русские гостинцы.

[1] А. Ф. Писемский, усердно добивавшийся свидания с Герценом, летом 1862 г. приехал в Лондон. Свидание их состоялось 19 июня, которое приходилось в этом году на четверг. Этим и определяется дата настоящего письма Огарева. Перед приездом в Лондон Писемский побывал в Париже, где встретился с Е. В. Салиас, которая послала с ним «гостинцы» Герцену и Огареву.

[2] *Троица* — повидимому, какой-то коллективный портрет.

[3] О книжке Огарева см. примеч. 1 к письму № 1.

[4] Вышедший в начале 1862 г. из Московского университета Е. А. Салиас, уступая настойчивым требованиям матери, переехал из Москвы в Петербург и начал сдавать экзамены при Петербургском университете, добиваясь получения диплома и звания кандидата наук. На экзамене по статистике экзаменовавший его проф. И. Я. Горлов, по словам Е. А. Салиаса (см. его письмо к матери от 19 мая 1862 г. в ЦГЛА, фонд 447, № 19) всячески придирался к нему, задавая вопросы, «об которых в курсе и помину нет», и поставил ему отметку — три. Тройка исключала возможность сдавать экзамены дальше. Вскоре после этой неудачи Салиас, прекратив сдачу экзаменов, уехал к матери за границу.

---

* *В подлиннике слово подчеркнуто двойной чертой.*

** или: легко.— *Примеч. Огарева.*

Иван Яковлевич *Горлов* (1814—1890) — профессор Петербургского университета, представитель вульгарной политической экономии, открыто защищавший в своих работах, не имевших научного значения, буржуазный строй. Густав *Молинари* (1819—1912) — бельгийский экономист, апологет буржуазного строя, в 1860 г. приезжавший в Россию для чтения публичных лекций. С этого времени Молинари сделался постоянным сотрудником «Русского вестника» и использовал страницы катковского журнала для клеветы на социализм и революционное движение.

[5] В № 20 «Современной летописи» за 1862 г. была помещена статья о мировых посредниках. «Мировые посредники покидают свои места,— говорилось в статье,— мировые посредники выходят в отставку,— вот что мы слышим с разных сторон... Правда ли это? Действительно ли мировые посредники выходят в отставку? Что такое движение есть, это мы видим, но еще можно сомневаться в размерах, которые придают ему торжествующие повествователи этого события». Далее автор статьи объяснял, что причиной отставки многих мировых посредников является вражда к ним со стороны помещиков, обвиняющих посредников в том, что они будто бы недостаточно энергично защищают дворянские интересы и потакают крестьянам. Эта статья обратила на себя внимание Герцена и Огарева.

[6] *Вентнор* и *Cowes* — местечки на острове Уайт; первое — на южном, а второе — на северо-западном берегу острова.

[7] Речь идет об опустошительных петербургских пожарах 1862 г. Как известно, правительство распространяло провокационные слухи о том, будто жгут город революционеры. Вызвав панику среди обывателей, правительство подготовило благоприятную почву для таких реакционных мероприятий, как закрытие воскресных школ, приостановка на восемь месяцев журналов «Современник» и «Русское слово», аресты Чернышевского, Серно-Соловьевича, Писарева и других участников революционного движения.

[8] Огарев в 1862 г. был увлечен мыслью о мобилизации общественного мнения вокруг выработки и подачи царю адреса с требованием созыва Земского собора, который определит будущее устройство России. Огарев надеялся, что такой адрес найдет поддержку в разных слоях русского общества, не исключая и дворянства.

[9] Василий Иванович Кельсиев.

[10] Николай *Трюбнер* (1817—1884) — лондонский издатель и книгопродавец. Он взял на себя распространение изданий Герцена и, пользуясь советами и указаниями Герцена и Огарева, сам издавал русские книги. О каких деньгах Салиас, которых Трюбнер не высылал, идет речь — определить трудно.

4

〈Лондон.〉 8 июля 〈1862 г.〉

Много прошло времени с тех пор, как я получил ваше письмо из Спа. Я успел побывать и на Isle of Wight у семьи, успел воротиться в Лондон и работал во все лопатки. «Колокол» я вам послал. Скоро пошлю другой, где вы найдете статью Герцена, лучшую его статью, которая может послужить вам ответом на ваше письмо к нему [1]. Слабые вы люди, старый друг мой, фантазирующие человечество по своей фантазии, называющие «неблагодарною землею землю, столько зол взрастившую, столько беззаконий терпевшую, столько крови пролившую» (это из вашего письма ко мне), как будто есть где-нибудь земля, в которой бы история шла иначе, не путем безумий и кровопролитий, а каким-то углаженным шоссе,— не результатом борьбы и столкновений элементов и сил, а какой-то наперед рассчитанной канителью! Вам горько, что стадный плотоядный зверь кровожаден, да и мне горько, только что это факт, против которого мы бессильны; всё, что мы можем делать,—это настолько разъяснять вопросы, чтоб взгляд на вещи становился яснее и борьба достигала бы цели определеннее, следственно легче, следственно мягче. Не удастся ли когда-нибудь изменить физиологическое построение породы так, чтобы *понимание* было развито у всех настолько, чтоб можно было *столковаться* о лучшем общественном устройстве, прийти к всеобщему сознательному contrat social *,— этого я не знаю, да и никто не знает. Стало, ожидать, чтоб ход развития человеческого вообще, и русского — в особенности, катился по маслу, было бы несбыточной утопией. Личной задачей остается — не терять сочувствия к страданию и не пугаться перед совершающимися событиями.

* общественному договору (франц.).

Что вы будете дальше делать, когда обстоятельства станут всё резче и резче ставиться острыми краями друг к другу, а предотвратить этого нельзя, даже ударившись в чичеринскую централизацию, что вы станете дальше делать, когда вы пугаетесь пустой прокламации и обычного огня и готовы перейти к обвинительным актам Катковых[2], которые лезут присоединиться к обвинительным актам 3-го Отделения. Стыдитесь, старый друг мой! Имейте храбрость смотреть действительности в глаза, не создавая себе утопии истории в виде подушки, набитой клыками плотоядного зверя, но мягкой, как пуховая.

Не видел я эффекта, произведенного троицей на Лизу. Посылаю вам письмо Натали [3] об этом, которое получил вчера. Надо вам сказать, что я троицу достал только в конце прошлой недели, показал Ольге; Тата [4] подклеила головки и отправили мы троицу в Cowes. Вы говорите о маленьких детях[5], как о кусках мяса. Позвольте: другая дочь — Елена — имеет такой умный вид, что я не надивлюсь на нее, точно большой человек в маленьком размере. Мальчик поплоше, но добродушен и влюблен в сестру, а та, как следует большому человеку, — сама по себе и не замечает.

Вот и ваша Оля идет замуж [6]. Скажите ей, что я искренно желаю ей счастия. Какой же это Жуков? Знаете ли вы его? Есть ли вероятности жизни сердечной и спокойной?

Кстати, к Жуковым, друг мой. О своих деньгах вы не хлопочите, если через три месяца ⟨или⟩ около отдадите, то мне будет ко времю [7]. Но не удастся ли вам стянуть с Жуковых 2500 руб. ассигн., которые они мне должны. Не говорю о процентах, но за капитал ручался ваш отец, я ради него и дал взаймы и ради него никогда не протестовал. 10-летняя давность по закону прошла, а по правде тут давность ничего не значит. Если можно — стяните, это мне бы очень кстати пришло.

Ну, прощайте, — на скверном месте письмá зовут завтракать. Не хотел бы я останавливаться на денежных отношениях, но голод и время заставляют кончать. Жму вам руку.

Ваш Огарев

Есть ли у вас последний выпуск «Полярной звезды»?[8] Если нет, то я пришлю.

Приписка рукой Герцена:

Благодарю вас за ваше письмо; странное дело, что я его получил именно в то время, как писал для «Колокола» на него ответ, — исправнее нельзя и быть, как писать длинный ответ за день до получения. Вы увидите в нем (стат⟨ья⟩ под заглав⟨ием⟩ «Молодая Россия и старая Россия» в след⟨ующем⟩ листе) наше глубокое мнение и откровенное и о юношеской запальчивости и о эпидемическом страхе.

Мне Клячко[9] говорил о подобном переводе Пиотровского [10] и друг⟨их⟩ — о том же переводе вы пишете или нет? Трюбнер не хочет издавать, издавать на свой счет мы не можем. Но сделаем все возможное для облегчения или сбыта. — Бакунин далеко не так Гракх Бабеф, как вы думаете, да если б и так был — на меня ни он, ни кто другой не может иметь влияния в направлении. Ведь мне 50 лет.

Потрудитесь справиться на почте о «Колок⟨оле⟩» от 1 июля — там статья «Концы и начала» по поводу «Отцы и дети» Тург⟨енева⟩[11].

[1] Огарев говорит о статье Герцена «Молодая и старая Россия», которая появилась в «Колоколе» (л. 139, от 15 июля 1862 г.) и была посвящена прокламации «Молодая Россия», петербургским пожарам 1862 г. и реакционным мероприятиям русского правительства.

[2] Говоря об «обвинительных актах», Огарев имеет в виду статьи Каткова с резкими и клеветническими нападками на издателей «Колокола»: «Заметку для издателя „Колокола"» («Русский вестник», 1862, № 6) и статью о петербургских пожарах, помещен-

ную Катковым в «Современной летописи Русского вестника», 1862, № 23. В этих статьях Катков обвинял Герцена и Огарева в том, что они являются вдохновителями пожаров.

[3] *Натали* — Н. А. Тучкова-Огарева.

[4] *Ольга* и *Тата* — дети Герцена.

[5] *Маленькие дети* — близнецы, дочь и сын Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой, Елена и Алексей, родившиеся в 1861 г.

[6] *Оля* — О. А. Салиас, вышедшая в 1862 г. замуж за помещика К. Н. Жукова, бывшего в то время мировым посредником.

[7] Из этого письма, как и из других, видно, что Салиас, постоянно испытывавшая нужду в деньгах, брала деньги взаймы у Огарева.

[8] *Последний выпуск «Полярной звезды»* — 2-й выпуск 7-й книжки «Полярной звезды», Лондон, 1862.

[9] Юлиан *Клячко* (1827—1906) — польский эмигрант, публицист, живший в Париже. Принадлежал к партии «белых» и заведывал дипломатической канцелярией Владислава Чарторыйского.

[10] Руфин *Пиотровский* — участник польского восстания 1830 года. После подавления восстания эмигрировал во Францию и принадлежал к демократической части польской эмиграции; по ее поручению в 1843 г. Пиотровский тайно, в качестве эмиссара, отправился в Россию, где был арестован и осужден на каторгу. Работал на Екатерининском заводе; в 1846 г. бежал оттуда и, через Архангельск и Ригу, добрался до Парижа. В 1863—1866 гг. Пиотровский состоял секретарем Парижского народного комитета, объединявшего временно «белое» и «красное» крылья польской эмиграции. В 1862 г. Клячко опубликовал в «Revue de Deux Mondes» извлечение из записок Пиотровского и предложил Герцену сначала сам, а затем через Салиас, издать записки Пиотровского на русском языке. Герцен посвятил запискам статью «Руфин Пиотровский» («Колокол», лл. 135 и 136, от 1 июня и 15 июня 1862 г.), но не принял на себя издание их. Трюбнер тоже уклонился от издания записок. Тем не менее в 1863 г. записки были изданы по инициативе Герцена бернской русской типографией с фиктивным обозначением места издания и типографии («Записки Руфина Пиотровского. Россия и Сибирь. 1843—1846». Norrkoeping, 1863). Подробно об этом см. в моей статье «Герцен, Огарев и „молодая эмиграция“» («Лит. наследство», т. 41-42, 1941). Русскому переводу записок Пиотровского было предпослано предисловие за подписью «Великоруссы». Об этом предисловии идет речь в последующих письмах Огарева к Салиас; это дает нам право высказать предположение, что Салиас была в какой-то степени причастна к написанию или к пересылке этого предисловия.

[11] Статья Герцена «Концы и начала» была напечатана в «Колоколе», лл. 138, 140 142, 144, 145, 148, 149, 154 и 156.

5

〈Лондон.〉 8 сентября 〈1862 г.〉

Письмо ваше от 2-го сентября получено, друг мой, только никакой рукописи и никакого предисловия[1] мы до сих пор не получили. Когда получим, все будет сделано елико возможно к вашему удовольствию. Также не получили и известий о варшав〈ских〉 событиях из того же источника.

Ужасно голова тяжела. Поеду завтра в деревню на несколько дней погулять, т. е. поработать на свободе. Дела куча, насилу поспеваешь и устаешь. Старость пришибает. Зато молодые подростки хороши. Лиза и вся семья воротились с острова; Лизе было 4 сент〈ября〉 4 года. Она в последнее время много поумнела и чрезвычайно мила. Ее светлые глаза меня бесконечно радуют. Зимой, я думаю, все поселимся за городом; лондонский воздух в самом деле невыносимо тяжек. Да и поспокойнее вне города.

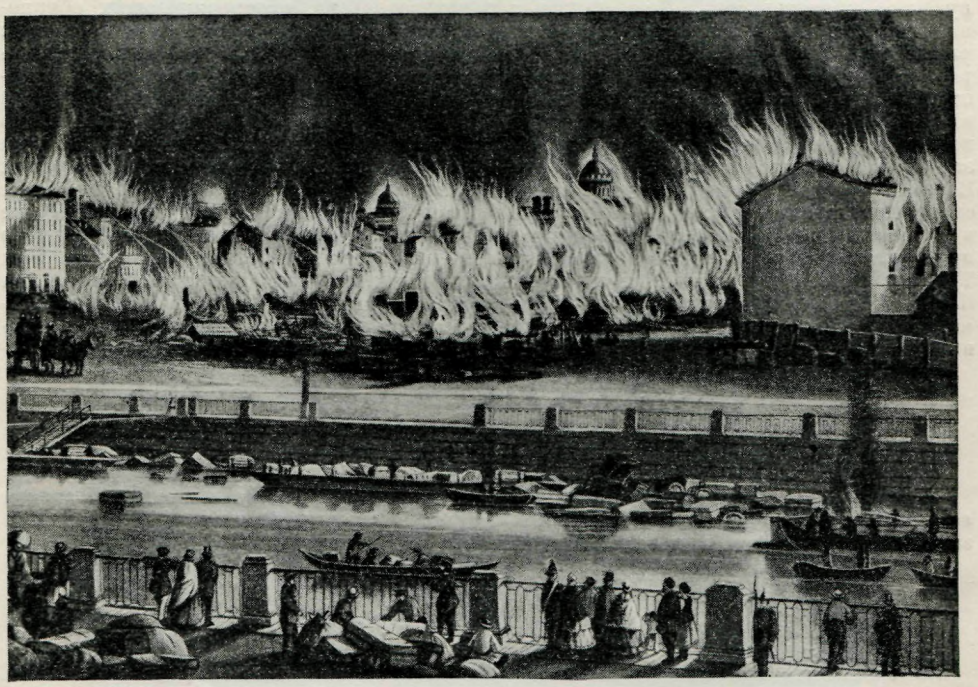
Юр. Голицын [2] уехал в Россию. Я думаю, что он сильно виноват перед собственной совестью за всю русскую жизнь, но, кажется, что он это и чувствует. Это дикая, страстная, неразвитая натура, и потому все дурное русское в нем отразилось; но он не злой человек и с большим музыкальным талантом. По крайней мере, он один из лучших chefs d'orchestre *, каких я встречал. Я думаю, он лучше, чем о нем вообще думают, а если он действительно пришел к покаянию и поддержится на этом, то я ему многое отпущу. Только я мало верю в перемены людей; по крайней мере, я из опыта не могу заключить, чтоб кто-нибудь менялся в характере и складе жизни после того возраста, когда прекращается рост организма. И если

* дирижеров (франц.).

не «каков в колыбельке, таков в могилку», то наверно что как вырос, так и пошел повторять сам себя до последней минуты.

Что же вы делаете в Наугейме? Ведь, чай, там скучно! И во́ды скучны, и немцы скучны да и природа, слишком убранная, надоедает. Вся жизнь как-то выражается вязанием чулка за стаканом вейсбира. Идиллия глубокомысленного тупоумия!

Какие известия у вас от детей? Где и что́ Дженни? Обнимите их всех за меня. С чего вас тошнит ехать в Россию? [3] Я бы дорого дал, чтоб попасть туда, и если бы пришлось сломать себе шею не без пользы для дела, то тотчас бы поехал.



ПОЖАР 28—29 мая 1862 г. в ПЕТЕРБУРГЕ
Раскрашенная литография, современная событию
Исторический музей, Москва

Катков или Катьков (так называет его принц Vеrу дик) [4] вхо дит в милость у начальства. Я ненавижу его направление, а его я презираю и потому лично на него не сержусь. А как направление и как пошлого подлеца, русская литература должна бы по нем хлопнуть хоть у Блюммера [5]. У нас и нам не приходится.

Напомните обо мне в России тем, кто меня помнит и кого я помню, да поклонитесь подросткам.

Крепко жму вам руку... до свиданья. Тоже и Герцен, у которого хлопот полон рот; от этого и оттого, что мне сердечно хотелось к вам писать, я и взялся отвечать вместо него. Откладывать послание мы уже боялись,— как бы вы не уехали...

Ваш Огарев

[1] О «предисловии» см. примеч. 10 к предыдущему письму.

[2] Юрий Николаевич *Голицын*, кн. (1823—1872) — известный дирижер, организовавший в сороковых годах из своих крепостных хор, с которым давал концерты

в Москве и Петербурге. В 1858 г. правительству стало известно, что Голицын находится в сношениях с Герценом и снабжает его литературными материалами. Голицын был выслан в Козлов, откуда он в 1860 г. бежал за границу. Давал концерты в Лондоне. В 1861 г. испросил разрешение на возвращение в Россию. Герцен в «Былом и думах» посвятил Голицыну особую главу.

[3] Салиас писала Огареву, что реакция, все более и более крепнущая в России, делает для нее непереносимой мысль о возвращении на родину.

[4] *Very дик* — кн. Петр Владимирович Долгоруков (1816—1868), известный эмигрант, в 1862—1863 гг. издавал на французском языке журнал «Le véridique» («Правдивый»). Это и дало Огареву повод шутливо называть его «принц Very дик» — игра слов: very (англ.) — «очень» и русское «дик».

[5] Леонид Петрович *Блюммер* (1840—1888) — публицист, в 1861 г. уехавший за границу и издававший там несколько журналов, оппозиционных к царскому правительству. В 1864 г. П. В. Долгоруков печатно обвинил Блюммера в том, что тот — агент русского правительства. Документальных доказательств, подтверждающих обвинение Долгорукова, в архивах до сих пор не обнаружено. В 1865 г. Блюммер получил разрешение возвратиться в Россию. Было ли приведено в исполнение желание Огарева «хлопнуть» по Каткову в журнале Блюммера, сказать трудно. Быть может, помещенная в журнале «Свободное слово» (Берлин, 1862, т. I, вып. 7 и 8, стр. 582—586) заметка «Голоса общественного мнения о Герцене и Каткове», которой предпослано несколько слов «От редакции», находится в некоторой связи с этим намерением. Заметка эта была посвящена травле, поднятой против «лондонских изгнанников» Катковым. И автор заметки, и редакция указывали, что полемизировать с Катковым, не теряя своего достоинства, нельзя, ибо нельзя же «возражать на площадную брань. К тому же в причастность Герцена к петербургским пожарам никто не поверит». В заметке приводились между прочим слова о Герцене одной старушки-горничной, жительницы Тульской губ.: «Совсем у нас перестали сечь с той поры, как читают листки Александра Ивановича. Дай ему бог здоровья, нашему родному батюшке. Прикажу детям и внукам за него бога молить». В редакционном предисловии было напечатано стихотворение, полученное редакцией:

Избави, боже, Искандера
(Нам слишком дни его милы)
От пошлой брани доктринера
И покровительства «Пчелы».

Автор стихотворения имел в виду статью «Северной пчелы» о полемике Каткова с Герценом; издатель «Колокола» с некоторыми оговорками был взят «Пчелой» под защиту от клеветнических выпадов Каткова.

6

<Лондон.> 29 сентября <1862 г.>

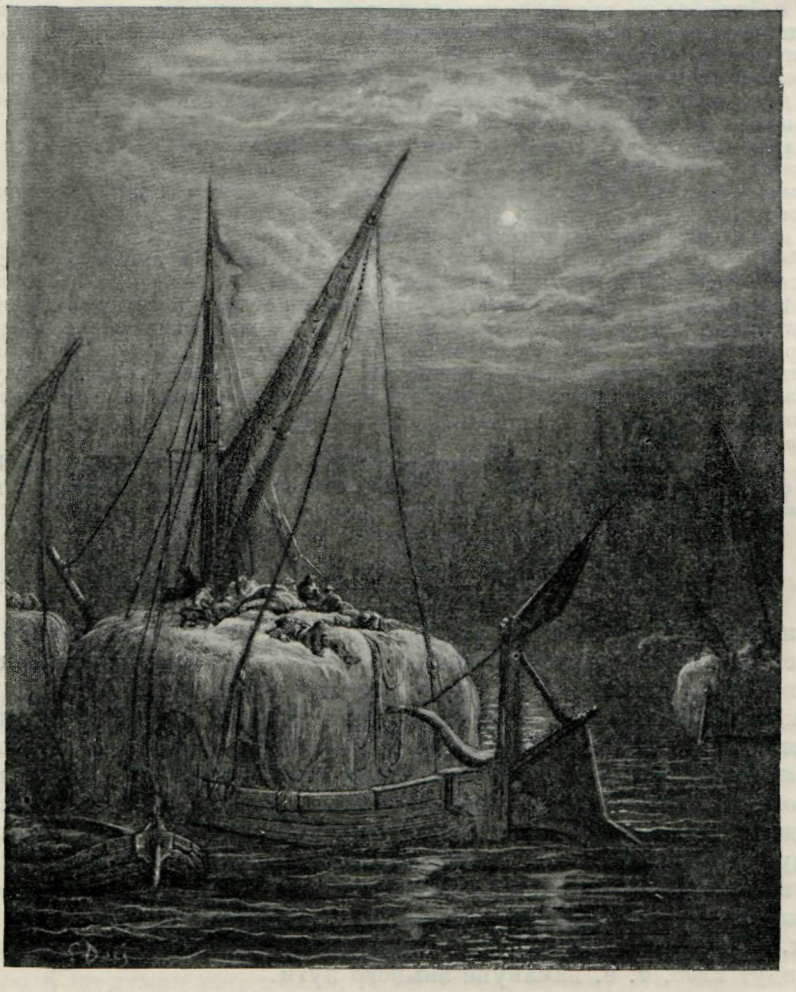
Вероятно, вы всё еще в Наугейме, мой старый друг, потому что из России деньги не могут придти иначе, как гораздо позднее, чем ожидаются; мало ли что мешает — тысячелетие, рекрутство, 60-летие министерства внутренних дел и пр. и пр.[1] — Я к вам писал недавно коротенькую записочку, по той же оказии, по которой вы мне прислали письмы... Умоляю вас на эту записочку обратить все ваше внимание и все старание.

Ваше последнее письмо я получил в Севеноксе (Seven oaks, Kent), где я прожил один дней десять, написал маленькую поэмку [2] и возвратился в Лондон и был так занят, что до сих пор не собрался вам писать.

Итак, ваша мать умерла! [3] Может, между мной и ею не было ничего общего, но дайте мне ее помянуть теми воспоминаниями, которые остались в памяти тепло и мирно. Было время, когда мне казалось, что она имеет ко мне бесконечную дружбу, и мне хотелось оставаться под впечатлением какого-то материнского участия. Помню, как я лежал, едва очнувшись от горячки, во время кори [4]. Она пришла ко мне с Соней [5], — а вы были за границей, — мне стало как-то так светло на сердце от этого посещения, что я и сказать не сумею. И теперь я ее помню именно в эту минуту, и мне ее бесконечно жаль, жаль, что не увижу больше, жаль, что она, может, давно обо мне позабыла. — Ну, да что об этом!

Перевод и предисловие [6] пришли. Кое-что можно и повычеркнуть, а впрочем — вы только сами никому не говорите, — а из нашего брата огнивом не вышибешь того, что не должно быть сказано.

Вы сердитесь на московских или на русских литературных людей вообще. Я слишком презираю их, чтобы сердиться. Я думаю, что литература покончила свое дело впредь до возобновления. А в возобновление русское я верю из других данных, из положения вещей, из того, что непрочное равновесие держаться не может. В Европе я тоже не обретаю литературы и тоже не сержусь, а презираю; тут уже и Жаверы [7] пошли в *герои*.



ЛОНДОН. БАРКИ НА ТЕМЗЕ
Гравюра с рисунка Г. Доре, 1872 г.

Вчера был митинг, в Гайдпарке, в пользу Гарибальди [8]. Цель митинга так была неопределенна, что я никогда не мог понять его пользы. Но случилось хуже моих ожиданий; пришли ирландцы и *побили* англичан — не трогай, мол, папу и не говори против военного постоя в Риме. Кирпичи полетели по головам, но дождь разогнал толпу. Англичан было немного сравнительно с ирландцами, и большая часть относилась к Гарибальди равнодушно, а к драке с хохотом. Et sic transit gloria mundi *. Хуже ничего не было придумано в пользу Гарибальди.

* И так проходит слава мира (лат.).

Где же вы теперь?

Ну, прощайте пока... Дайте руку, закупайте приданое, пожелайте счастья молодым [9], а ведь из такой кучи денег — на их счастье — можно бы прислать кое-что в наш фонд, который становится с каждым днем более необходимым [10].

Ваш О<г а р е в>

[1] В сентябре 1862 г. в Новгороде было торжественно отпраздновано тысячелетие России. В сентябре же праздновалось и шестидесятилетие министерства внутренних дел, созданного вместе с другими министерствами в 1802 г. (см. статью Герцена «Праздник тысячелетия» в «Колоколе», л. 138, от 1 июля 1862 г.).

[2] Несомненно Огарев имеет в виду свою небольшую поэму «Странник», рукопись которой датирована им 17 сентября 1862 г. Поэма эта была напечатана в № 8 «Общего веча», вышедшем 1 января 1863 г.

[3] Мария Ивановна Сухово-Кобылина, урожд. Шепелева (1789—1862).

[4] Огарев болел корью в 1848 г.

[5] *Соня* — Софья Васильевна Сухово-Кобылина, сестра Салиас, талантливая художница.

[6] О «переводе» и «предисловии» см. примеч. 10 к письму № 4.

[7] *Жавер* — полицейский из романа Виктора Гюго «Les misérables», преследующий и разоблачающий беглого каторжника Жан-Вальжана.

[8] В 1862 г. Гарибальди со своими добровольцами сделал попытку захватить Рим. На защиту папы были отправлены пьемонтские войска, разбившие добровольцев в сражении при Аспромонте. Сам Гарибальди был ранен, взят в плен и заключен в крепость. Эти события послужили поводом для митинга в Лондоне, созванного в знак сочувствия к Гарибальди. Однако митинг был сорван ирландскими католиками, сторонниками римского папы.

[9] *Молодые* — Жуковы.

[10] В «Колоколе» (л. 145, от 15 сентября 1862 г.) была помещена заметка Герцена «Общий фонд», сообщавшая о создании при редакции фонда для оказания помощи политическим эмигрантам.

7

31 октября <1862 г.> Richmond

Я опять ушел из Лондона, старый друг мой. Он мне в последнее время стал невыносим от праздношатания языков. Jargon révolutionnaire * меня не тешит, а когда он не имеет направления определенного и ясных оснований, он меня бесит. Я ушел работать на воле и работаю над новыми судебными положениями страстно [1]. Разбор выйдет довольно объемистый. Не знаю, будут ли его читать, — кто-нибудь да прочтет же, — но знаю, что по дороге мне удастся высказать несколько здравых понятий, и совесть моя будет удовлетворена. Новое судоустройство хромает на каждом шагу, а между тем, оно такой же *переворот*, как и освобождение крестьян.

Я уверен, что вы еще во Франкфурте. Во 1-х, потому, что вы мне написали бы, если б уехали, несмотря на то, что я вам так долго не писал. Во 2-х, я не верю, чтобы вам из России прислали денег прежде, чем запродадут хлеб, т. е. накануне зимнего пути.

Мое письмо сегодня будет похоже на записку, а не на письмо. Я не люблю писать к вам так, по обязанности, а только когда хочется. А сегодня пишу по обязанности, потому что Бак<унин> требует настоятельно, чтоб я доставил вам его послание [2]. Сделайте для него, что можете.

Когда я вам писал маленькую записку с *юным* другом [3], я *был уверен*, что вы примете горячее участие, и *все же* бесконечно *обрадовался*, что не ошибся. Обрадовался, что *моя* вера в вас не обманула *меня*! Что же это — дружба к вам или самолюбие? Что б ни было, а вы хороший человек.

Нет, я чувствую, что я сегодня буду ужасно врать. Лучше напишу в другой раз, когда вы известите меня о получении этого письма; а известите немедленно.

Крепко жму вам руку.

* Революционный жаргон (франц.)

[1] 29 сентября ст. ст. 1862 г. были опубликованы «главные основные начала судебной реформы», положенные в основание работы комиссии, созданной для подготовки реформы. На этот правительственный документ Огарев отозвался статьей «Разбор основных положений преобразования судебной части в России», напечатанной в «Колоколе» (лл. 151, 152, 153 и 154) и содержавшей подробную критику правительственной программы судебной реформы.

[2] *Послание* — письмо Бакунина от 28 октября 1862 г. к Салиас, с которой он в это время был еще незнаком. Это письмо Бакунина вместе с другими его письмами к Салиас опубликовано в «Летописях марксизма», 1927, № 3.

[3] *Юный друг* — быть может, В. Ф. Лугинин. В конце сентября 1862 г. он отправился в Париж с рекомендацией от Герцена к Тургеневу (XV, 480).

8

Четверг ‹февраль 1863 г.›

Ну что же это, мой старый друг, вас так недобрые люди притесняют! Да, право, уж лучше поезжайте к heureux habitants des beaux vallons de l'Helvétie*. Только ведь там, должно быть, тоже скучно. Но что же делать? В наши годы человек притерпелся к жизни и должен уметь скучать, а вместе с тем создать себе то внутреннее занятие мысли, которое в старину представлялось в форме религии, иным является в форме науки, другим в форме искусства, и оно-то спасает. Да спасает меня еще убеждение в возможности развития основ русской жизни в сильный строй новой цивилизации. Без этого, конечно, надо бы перестать работать; а с этим убеждением приходится переживать мучительные годы общественной судороги и уклонений от здравого смысла, переживать в терпении, даже не зная, переживешь ли их, или они переживут тебя. Но покуда смерть не прихлопнет — надо же взять на себя терпенье и продолжать свою кротовую работу в общественном мире, уходя иногда на отдых в науку или искусство. Хотя и этот отдых то полон неразрешенными запросами, то теми же тяжелыми мотивами общественной жизни, но все же это отдых. Знаете что — пишите-ка опять роман. Кончаю, потому что П. едет[1]. Герц‹ену› сегодня будет некогда писать, напишет по почте.

На обороте: Графине Сальяс

[1] *П.*— вероятно, член Центрального комитета «Земли и Воли» А. А. Слепцов, живший в то время за границей под фамилией Провансова. Свидание Слепцова с Герценом и Огаревым в Лондоне состоялось в феврале 1863 г. Из Лондона Слепцов выехал в Париж во второй половине февраля; с ним, очевидно, и было отправлено публикуемое письмо.

9

‹Лондон.› 23 июня ‹1863 г.›

Что это как я давно вам не писал, мой старый друг, индо грустно и совестно. Пожалуй, вы подумаете, что я на вас за что-нибудь зол; ей-же-ей — нет. Если вы за что-нибудь негодовали, то, я думаю, и у вас это уже прошло; а я и не думал негодовать. А не писал, потому что всё день от дня откладывалось, за кучей дела. Времена тяжкие, но близкие к развязкам. Разложение, смерть и роды совершаются с болью, но чем сильней разложение, тем, с одной стороны, ближе смерть, а с другой — роды. Процесс этого разложения невесел, спору нет; скорбь, негодование, минутные отчаяния и незыблемая вера бродят в мозгу и не дают покоя. Но надо выдержать. Жаль, если силы не допустят дожить до конца и начала. Чего доброго. Я в продолжительность собственного организма мало верю, т. е. не думаю, чтоб долго прожилось; от этого на последях так усиленно, мучительно хочется работать, что едва успеваешь сладить со своим материалом, который хотелось бы привести в приблизительный порядок. Это одно из главных препятствий личной переписки; от этого так долго не писалось к вам.

* счастливым обитателям прекрасных долин Гельвеции (франц.).

Но вот я накануне переезда на новую квартиру—Elmfield house Teddington. Это 9 миль от Лондона (минут 30 желез⟨ной⟩ дороги). Туда я ухожу завтра. Ухожу — потому что железная дорога становится для меня совершенно невыносима и каждый поезд повергает меня в мучительную пытку, хуже всякого телесного наказания. Если вы соберетесь к нам, то вы нас застанете, следственно, деревенскими жителями. Я долею рад, что буду не в городе, все ненужное отвалится, все нужное найдет нас и за городом. Если вы соберетесь, ведь вы и Дженни привезете? Он написал повесть [1], и я ее не читал, ибо не имею журнала, где она помещена. Пришлите мне ее! Где же Маша? Где же все? Пожалуйста, не помня лиха, отвечайте мне тотчас же по новому адресу. Семья моя уже в Теддингтоне. Все процветают. Маленькие начинают говорить; Лиза перестает умолкать. Она остается моим фаворитом. Это, говорят, нехорошо, но это факт... Ну — прощайте пока, стало — до свидания. Я окружен ящиками и укладываюсь — до проклятия жизни, осужденной на перемещения. Крепко жму вам руки.

[1] *Повесть* — первое литературное произведение Е. А. Салиаса — «Ксаня чудна́я». (Повесть напечатана в №№ 1 и 2 «Библиотеки для чтения» за 1863 г. под псевдонимом: В а д и м). Первоначальное название повести было «Искра божья», но оно было изменено по требованию цензуры.

10

⟨Лондон.⟩ 2 октября, вечером ⟨1863 г.⟩

Старый милый друг мой, я виноват перед вами смертельно, и видите сами, не с каких-нибудь сердцов, а потому, что слишком затормошился. То переезжали, то мой друг уезжал[1], etc. Голова была не на месте. Таким образом я не только провинился моим молчанием, а еще тем, что я, кажется, ваше письмо к К⟨ельсиеву⟩ сжег, среди сотни бумаг [2]. Но дело в том, что я без оказии его бы и не отправил. Была оказия порядочная: жена его брата[3], с которым он теперь вместе, ехала к мужу и уже доехала; но с ней я не посылал, а письма не нахожу да и только. Стало, я его сжег. Просто я не послал бы, потому что жду порядочного адреса, а так все что-то неверно. Вот мои провинности. Каюсь и прошу прощенья. Но теперь другая штука — хуже. Я никакого протеста оттуда не получал. Мой друг, уезжая, не передавал мне. Стало, он не был получен. Получил я несколько строк от двоих о том, что было что-то послано, но этого «что-то» не получено. Справьтесь об этом хорошенько.

Спасибо вам за ваши добрые письмы. Но не горюйте слишком. Времена переходчивы. Только я не удивлюсь, что мы от подлостей перейдем к странным вещам. Вы знаете, что был пункт, на котором мы расходились. Вы верили в высшее сословие; оно оказалось подлым. Но другой вопрос возникает, вопрос настоящий, вопрос экономический. Крестьяне на Украине отказываются от работ и от платежа какого бы то ни было оброка или выкупа, в казну или не в казну, ибо, по их мнению, эта земля их. Куда повернет это настроение — подождем, посмотрим [4]. Вообще нашему брату теперь — и, вероятно, всю зиму — приходится почти сложить руки. Литература и большинство читающих ударились в такую другую сторону, что подобной мерзости не бывало с начала столетия. Продержаться это не может, а ждать приходится. Так как я теперь один, то издание пойдет только раз в месяц. Иначе невозможно. Если приняться за полемику, то можно писать томы, но я думаю, что это бесплодно унизительно. И потому méthode expectative *, тем более, что рациональная медицина в горячках другой методы не употребляет.

* метод выжидания (франц.).

Теперь к вам обращаюсь. Зачем же у меня все-таки не только второй, но и первой повести Женни нет?[5] Я ее требую. Зачем он так молод, что думает, будто нам некогда заниматься этим? Едва ли теперь это не лучшее, да я же никогда не принадлежал к исключительностям, которые ничего знать не хотят, кроме общественных вопросов. Для меня все человеческое разом и дорого, и ненавистно. Повесть непременно скажет мне, до какой степени частная, личная жизнь гадка, — ну! я и удовлетворюсь. Я буду видеть в изящном произведении, что есть, — кроме «Моск⟨овских⟩ вед⟨омост⟩ей», существует личная жизнь частных людей, которые тоже гадки; повесть мне скажет, что, кроме казненных, есть еще несчастные, хорошие люди в уголку мира забытом. Ну! я и удовлетворюсь. Увижу, что все идет как следует. Вообразите себе, что все было бы чрезвычайно хорошо — что ж бы мы стали делать? Со скуки умереть пришлось бы. А повесть Женни я потому хочу, что он остался у меня в памяти и сердце — добрый, больной ребенок; я хочу знать, как и во что он вырос.

От К⟨ельсиева⟩[6] я имею письмы, которыми очень доволен. Это натура не унывающая и деятельная. Мне иногда в голову приходит — не перевести ли его сюда. Пожалуй, что мы стары становимся. Надо наследников. Но это между нами, я об этом и ему не пишу; он, кажется, там полезен. Мешать не надо.

Ваше безденежье еще не беда, а только неприятность. Но вот что грустно, что вообще безденежье заедает. И сделал бы что-нибудь путное, да сил нет. Если у вас есть богатые друзья, сбирайте для фонда[7]. Теперь, и именно теперь — это ужасно нужно. Без этого может быть много дурного или много хорошего невозможно.

Я тут об одном умоляю: если вы со мной и не согласны, то делайте против себя — ради меня. Ведь хуже от этого не будет, а может, вы многих спасете и многому поможете.

Князь Петр[8] вам кланяется, он вас очень любит. Я с ним не ссорюсь и не то, чтоб уж очень сходился. Что это за мелкая натура, боже ты мой! Я стараюсь, чтоб он не был вреден; если его маленькое самолюбьице задето, он способен бессознательно сделать нехорошее. Так, напечатал донос на Краевского, вместо ответа. А в сущности, le diable n'est pas aussi méchant que... que quoi? * Вот уж и не знаю. Просто мне кажется, что чёрт не чёрт, а человечек.

Когда ж это увидимся? Неужто уж у Маши дети? Эх, как время-то летит! Поцелуйте ее от меня, когда писать станете. Пусть же она старого дядю вспомнит.

Мои ребята процветают и очень милы. Лиза — моя фаворитка. Я передал ей ваш поцелуй. Любите ее, когда встретитесь. Мать вас благодарит. А маленькая Леля ужасно умна, мальчик глупее, но выровнится.

Пришлите мне адрес Луг⟨инина⟩[9]. Я боюсь к нему писать: так давно не писал, что не знаю, как бы не ошибиться адресом.

Ну, теперь прощайте, лист идет к концу, а я ко сну. Крепко жму вам руку.

Мне жаль, что он не заехал. Если вернется через ваши края, то непременно вас увидит.

[1] 15 сентября 1863 г. Герцен выехал из Лондона, направляясь в Италию для свидания со старшими дочерьми — Натальей и Ольгой.

[2] Речь идет о письме Салиас к И. И. Кельсиеву. После бегства из России он жил у брата Василия в Тульче. Как видно из следующего письма, Огарев не сжег письмо Салиас, а переслал его по назначению, но забыл об этом.

[3] Жена В. И. Кельсиева, Варвара Тимофеевна, в конце августа с детьми уехала из Лондона в Тульчу к мужу.

---

* чёрт не так страшен, как... как что? (франц.).

[4] 30 июля 1863 г. был издан указ о прекращении обязательных отношений между крестьянами и помещиками украинских губерний с тем, чтобы крестьяне выкупали свои наделы. В некоторых местностях крестьяне отказывались от взноса платежей. Туда были посланы войска, были произведены многочисленные аресты.

[5] О первой повести Е. А. Салиаса «Ксаня чудна́я» см. в примеч. к письму № 9. Вторая повесть его — «Тьма», напечатанная в № 12 «Современника» за 1863 г., под псевдонимом Вадим.

[6] Повидимому, здесь также имеется в виду И. И. Кельсиев.

[7] *Фонд* — общий фонд, организованный при «Колоколе».

[8] *Князь Петр* — П. В. Долгоруков. В № 13 «Листка», издаваемого кн. П. Долгоруковым (Лондон, 1863), стр. 96, в отделе «Смесь», была помещена краткая заметка о том, что по сообщению «Кельнской газеты» («Kölnische Zeitung») «редактор „Голоса" Краевский состоит на жаловании у петербургского правительства». «Из Петербурга нам сообщают,— говорилось в заметке,— что Краевский получает 6 тысяч руб. в год». Очевидно, в это время Огарев не знал еще, что Краевский действительно получал от правительства субсидию на издание «Голоса» (XVI, стр. 236—237).

[9] Владимир Федорович *Лугинин* (1834—1911) — участник революционного движения того времени. С 1862 г. жил за границей и был близок с Герценом и другими русскими эмигрантами. Впоследствии — известный термохимик, профессор Московского университета.

11

⟨Лондон.⟩ 3 октября утром ⟨1863 г.⟩

Для того, чтоб вы очень похохотали, мой старый друг, посылаю вам мое вчерашнее письмо как есть intacte *. С грустью убедившись, что я письмо ваше сжег, к удивлению моему получаю сегодня от К. ответ вам и благодарность мне за присылку вашего письма[1]. Я еще не вставал, когда принесли его письмо, и, лежа в постели, я хохотал четверть часа, как сумасшедший. Каким же дураком я должен вам показаться! Но я хочу, чтоб вы все видели, как было, хочу, чтоб вы посмеялись и подумали, что ваш старый друг из ума выжил. Оно на то похоже.

Кстати: кто из русских в Женеве—Левитский? Вероятно, псевдоним[2]. Но человека Женни должен знать, ибо он через нас прислал письмо к К. и, кажется, их товарищ по университету. Как видно, в очень грустном, т. е. бедном положении. Не можете ли вы навести справку и сообщить мне сведения? — Жму вам руку еще раз и перехожу à l'ordre du jour **.

К. здесь и ниже — И. И. Кельсиев. О письме Салиас к нему см. примеч. 2 к предыдущему письму.

[2] *Левитский*—повидимому, действительно псевдоним. Вероятно, под этим именем появился в Женеве товарищ Салиаса и Кельсиева по Московскому университету Евгений Казимирович Гижицкий, один из руководителей студенческого движения 1861 года, сосланный в г. Мензелинск и оттуда в мае 1863 г. бежавший за границу. В семидесятых годах Гижицкий стал ренегатом и, после того как в «Московских ведомостях» Каткова (№№ 12—14 за 1873 г.) была напечатана его клеветническая статья о русской политической эмиграции, получил разрешение возвратиться в Россию.

12

⟨Лондон.⟩ 9 ноября ⟨1863 г.⟩

Эту записочку, мой старый друг, доставит вам Мих⟨аил⟩ Александр⟨ович⟩ Бакунин. Может, вы с ним в мнениях несколько разнитесь (хотя не думаю, чтобы уж так слишком), но все же потолкуете о многом. Жена его[1] тоже человек добрый, дитя — приласкайте ее.

Г⟨ерцену⟩ я писал во Флоренцию. Я уверен, что он вас увидит в конце месяца[2].

Сам я довольно-таки занят. Одному трудновато вести писанье, читанье и корректуры.

---

* нетронутым (франц.).

** к порядку дня (франц.).

Что-то будет? спрашиваете вы. Я думаю, войны не будет; Милютин в Варшаве, кажется, для мирных переговоров и уступок (8 ноября. Observer). Весной, вероятно, разомнется Польша с Россией. Тогда опять за работу[3].

Прощайте, друг мой. Поцелуйте Дженни. Пришлите же его повести и свою статью о «Paris en Amerique»[4].

[1] *Жена Бакунина* — Антония Ксаверьевна, урожд. Квятковская. Только в 1863 г. ей удалось вырваться из России и приехать к мужу в Лондон.

[2] См. примеч. 1 к письму № 13.

[3] Огарев имеет в виду надежды аристократической части польской эмиграции на то, что Франция и Англия объявят войну России, чтобы поддержать восставших поляков. Как и предвидел Огарев, надежды эти не оправдались. Однако Огарев ошибался, относясь с доверием к информации «Observer» о том, что Н. А. Милютин был послан в Варшаву для мирных переговоров и для уступок полякам. В действительности Милютину было поручено разработать план преобразований, направленных на упрочение русского влияния в Польше, и, в частности составить проект крестьянской реформы, согласно которой крестьяне будут наделены помещичьей землею. Эта мера должна была успокоить крестьян и отвратить их от поддержки восстания и от других попыток добиться национальной независимости. Не зная настоящей задачи, возложенной на Милютина, Огарев надеялся, что русское правительство пойдет на уступки и согласится на отделение Польши от России.

[4] Огарев имеет в виду статью Евгении Тур о книге Лабулэ «Париж в Америке», изданной в 1863 г. «Париж в Америке» — это памфлет на Францию Наполеона III и панегирик США. Статья Тур была напечатана в №№ 5—7 «Библиотеки для чтения» за 1863 г.

13

3 декабря ⟨1863 г.⟩

Пишу несколько слов, мой старый друг. Если мой товарищ [1] не проедет через Париж так, что к ночи приехал, а поутру ускакал, то он будет у вас. Скажите ему, что для него есть в Париже письмо poste restante, чтоб он его всенепременно получил. Желал бы я, чтоб он вас видел, хотя он и здесь ужасно нужен.

От Мих⟨аила⟩ Ал⟨ександровича⟩[2] я имел одно письмо; ему писал 2: одно — на его адрес à M-me B., а другое — через указанный путь, через который ему были отправлены два полярные письма[3], а газету ему я послал к вам. Но мне очень нужно, чтоб он мое последнее письмо через указанный путь получил.

Вот вам письмо чисто комиссионерское. Иное напишу после, а то я сегодня занялся устройством комнат, и выходит, что сердце пусто, празден ум. Жму вам руку и Женни.

[1] *Мой товарищ* —Герцен; он останавливался в Париже, проездом из Флоренции в Лондон, с 3 по 5 декабря и виделся с Сэлиас (см. письмо № 15).

[2] *Мих⟨аил⟩ Ал⟨ександрович⟩* — Бакунин.

[3] *Полярные письма* — повидимому, письма от шведских или финских революционеров, с которыми Бакунин установил связь во время своего пребывания в 1863 г. в Стокгольме.

14

17 декабря ⟨1863 г.⟩

Ну что, мой старый друг, прочли статью?[1] Признайтесь, что против нее у вас ничего на душе не может быть и что вас только рассердил У⟨сов⟩[2]. А ему вы все же от меня много и много кланяйтесь; я его очень люблю, это благородный человек с чрезвычайно ясно организованным мозгом.— Записочку прилагаемую передайте Мих⟨аилу⟩ Ал⟨ександровичу⟩ — весьма нужно.

Что ж вам еще сказать? А какова статья старообр⟨ядца⟩ в «Об⟨щем⟩ в⟨ече⟩»?[3] Этому человеку еще предстоит развитие недюжинное. Я к нему заочно питаю отцовскую нежность. Крепко жму вам руку и Женни. Что ж его по́весть? когда он мне их пришлет?

[1] Речь идет о статье Огарева «Расчистка некоторых вопросов (Конституция и Земский собор)», напечатанной в «Колоколе», лл. 174 и 175, от 1 и 15 декабря 1863 г.

[2] Степан Александрович *Усов* (1832—1897). См. о нем в «Лит. наследстве», т. 41-42, 1941, стр. 21—22.

[3] Огарев имеет в виду статью «От старообрядца иерархам», напечатанную в № 24 «Общего веча» от 1 декабря 1863 г. Статья эта обличала лицемерие православного духовенства и прислужничество его перед властями.

15

24 декабря ⟨1863 г.⟩

Спасибо вам, старый друг, за память о моих именинах, которые совпадали с именинами Николая Павловича[1]. Перед этим торжественным днем был другой — 24 ноября ст. ст. — когда мне стукнуло 50 лет. Но несмотря на эти годы, я столько разнюсь с вами в постановке вопросов (о чем я уже вам писал), что если у нас явится Пугачев, то я пойду к нему в адъютанты, потому что я сотой доли так не ⟨не⟩навижу польское шляхетство, как ненавижу русское дворянство, которое по́шло, подло и неразрывно связано с русским правительством. Зачем вы сюда припутали эмансипацию женщины, разрушение семьи и пр., — этого я совершенно не понимаю. У вас носятся какие-то призраки, мой милый старый друг. Но это не должно поселять между нами сердечной розни. Давайте дружелюбно спорить, я согласен; только Женни не вводите в понятие аристократической свободы, которая равна народному рабству, и менять царизм на шляхетство — игра не стоит свеч. Ну, что ж? Сердитесь? Посердитесь и дайте дружески пожать вашу руку.

Далее рукой Герцена:

Вы были так добры ко мне и в вашем приеме, и в ваших письмах, что я прошу ⟨у⟩ вас позволения сказать несколько слов в ответ на последнее письмо к Огар⟨еву⟩. Будьте уверены, что мы, шедшие по одной дороге с 1825 года, не пошатнемся. Но сильны мы только тогда, когда вполне откровенны. Молчать мы можем. Но говорить из других побуждений, чем из страсти истины и победы во имя ее, — мы не можем. И все опыты подобных уступок оказались неловкими с нашей стороны.

В вашем письме вы меня совершенно оправдали — вы говорите, что вы не делите моих воззрений, потому что вы *никогда* не были со стороны социализма, *а я всегда*; отчего же после этого ждать, чтоб мы смотрели одинаким образом? В 1849 году я проповедовал громко гибель Европы от avortement * социальной революции и с тем же знаменем я поднял заграничную русскую речь.

Вот когда и я поставлю социальное пересоздание ниже политических remue ménag'ей **, тогда я отклонюсь от своей мысли.

Далее — я должен вам рекомендовать, больше — просить вас перечитать наши статьи о провинциях; вы тогда увидите, что у нас и речи не могло быть об отстаивании их для России.

Теперь, т. е. в декабре мес⟨яце⟩, в Лемберге печатается ряд статей, в которых поляки говорят с полной ширью — о необходимости признать русинскую народность и аутономию русинов. Теперь — остатки народ⟨ного⟩ правит⟨ельства⟩ говорят положительно о разделе, т. е. о наделе землей крестьян. Виноваты ли мы, что это говорится в дек⟨абре⟩ 1863, а не в дек⟨абре⟩ 1862? Ведь мы этого требовали в октябре ⟨18⟩62. Тогда ждали выручки от Европы; теперь, когда все мечты пали, они начинают говорить то, что мы говорили. Трагический элемент — трагическим, и будьте уверены, что нынешнее лето измучило нас, но ведь и объективной истине надо отдать долю[2].

---

* неудачи (франц.).

** перетасовок (франц.).

Теперь позвольте мне обратиться к вам с просьбой, даже с двумя.

Вы не пишете — Бак⟨унин⟩ в Париже или уехал; если он еще здесь, то потрудитесь передать ему, что Осип Иванов⟨ич⟩[3] очень заботится о письмах и даже желает, чтобы он послал по известному ему адресу поскорее и известил бы о том, послано или нет.

2-я. Моя просьба к вам и к нему — и притом секретная, т. е. чтоб не знали, откуда идет вопрос. Нельзя ли узнать — точно ли известный партизан *Шварц*[4] содержится в Кронштадте (он уже давно приговорен в каторжную работу), имя его Bronislaw Schwartz. Русское правительство скрывает, что́ оно с ним делает. И близкие ему люди (положим, женщины) в совершенном отчаянии. Не узна́ете ли вы через Ор⟨лова⟩[5]? Вы меня очень одолжите. Не может ли Баку⟨нин⟩ узнать? Только я попрошу вас сделать это скорее.

Засим еще раз требую от вас un vote de confiance* и поздравляю не с тем, что новый год пришел, а с тем, что подлый год прошел.

А. Герцен

Скажите Бак⟨унину⟩, что я на днях получил самое дружеское письмо от Игнатия Хмелинского[6], он ему душевно кланяется. Письмо его печально, но дышит силой.

Далее рукой Огарева:

А от меня спросите его, не получил ли он помимо меня известий от купца Штраубе[7] и дошло ли до него мое письмо. Мне нужно знать.

[1] *Николай Павлович* — царь Николай I.

[2] Это место письма Герцена касается чрезвычайно существенного пункта, в котором он расходился с Салиас. Сторонник права народов на самоопределение, Герцен был вполне последователен и в польском вопросе. Он обещал польским революционерам свою поддержку и содействие при том условии, что поляки, во-первых, признают право крестьян на обрабатываемую землю, во-вторых, право всякого народа располагать своей судьбой. Второе из этих условий было выдвинуто Герценом ввиду того, что он знал о существовании среди польских революционеров людей, мечтавших о восстановлении Польши в ее «исторических» границах, т. е. со включением в нее территорий, населенных украинцами, белоруссами и литовцами. Герцен же считал такое насильственное присоединение чужих территорий ничем не оправданным. Поэтому он настаивал, чтобы за украинцами, белоруссами и литовцами было признано такое же право на самоопределение, как и за поляками. Польские революционеры вынуждены были согласиться с этими установками Герцена; свое согласие они выразили в письме, адресованном издателям «Колокола» и опубликованном в л. 146 (от 1 октября 1862 г.). Что касается Салиас, то она в справедливом требовании Герцена совершенно неосновательно усмотрела стремленье закрепить за царской Россией земли, населенные украинцами, белоруссами и литовцами.

[3] *Осип Иванович* — Джузеппе Мадзини.

[4] Бронислав *Шварц* (или Шварце) — сын польского повстанца 1830 года, эмигрировавшего во Францию после того как восстание было подавлено. Бр. Шварц родился и вырос во Франции. Участвовал в польском восстании 1863 г. Был взят в плен и заключен в Шлиссельбургскую крепость, где провел семь лет. В 1870 г. был освобожден из Шлиссельбурга и выслан в г. Верный (ныне Алма-Ата), оттуда переведен в Томск, а затем за участие в политическом Красном Кресте — в Тунку. В 1889 г. получил разрешение выехать в Галицию и поселился в Кракове. Умер в 1904 г. В 1893 г. опубликовал во Львове свои воспоминания о пребывании в Шлиссельбургской крепости. Русский перевод этих воспоминаний (с некоторыми сокращениями), сделанный С. Басовым-Верхоянцевым, был издан в 1906 г. под названием: «Б. Шварце. Семь лет в Шлиссельбурге».

[5] Князь Николай Алексеевич *Орлов* (1827—1885) — генерал-адъютант, представитель либеральной бюрократии шестидесятых годов, с 1859 по 1869 г. русский посол в Брюсселе. Орлов был близким знакомым Е. В. Салиас и переписывался с ней. В 1870 г. он посетил Герцена, который отзывался о нем, как о «честном человеке» (X, 364 и XVII, 130).

---

* вотум доверия (франц.).

[6] Игнатий *Хмелинский* — польский революционер, организовавший в июне 1862 г. в Варшаве покушение на русского наместника в Польше, вел. кн. Константина Николаевича, и затем эмигрировавший. Хмелинский принимал участие в переговорах польского Центрального народного комитета с Герценом. В 1863 г. он возвратился в Польшу, входил в состав так называемого сентябрьского правительства, затем был некоторое время комиссаром национального правительства в Галиции. Незадолго до конца восстания эмигрировал за границу.

[7] Е. *Штраубе* — стокгольмский книгопродавец, помогавший переправлять через Финляндию в Россию издания Герцена.

16

Е. В. САЛИАС — ОГАРЕВУ

4 генв⟨аря 1864 г.⟩[1]

Я получила вчера «Колокол», благодарю вас[2]. Сказалось сердце Александра Ивановича — я узнала его, и хотя не говорят *спасибо* за сердце, а я не могу не сказать. Давно уже мне хотелось услышать что-нибудь подобное, самой сказать, да я не знала: как? Я бы желала, чтобы Александр Иванович развил мысль в статейке и заклеймил бы этих господ. Ведь это святотатство. Помилуй бог, избивают людей, женщин, детей, ссылают, мучат, пытают — и всё это из идеи равенства, свободы. Всякая скотина-генерал во имя равенства и свободы творит ужасы. Всякая речь говорит о спасении крестьян польских от помещиков — а спасители-то засекали еще вчера у себя своих и не своих крепостных. По крайней мере, в Литве уж никогда не засекали — я говорю о последнем столетии — а что делалось в 16-м — так в 16 везде было жить народу плохо! Русское правительство стало умно; маску свободы надело![3] Но вопрос не в том — если бы *одни* генералы прикрывались маской равенства и свободы; но подумайте — все дураки, все слабые, все полуобразованные (а их легион) верят этому, верят чистосердечно. Порядочные люди повторяют эту гнусную ложь. Теперь там, у нас, на матушке Руси, разделились на мошенников и простяков — dupes*. Какой-нибудь Головнин *знает*, мошенник, что они давят не во имя свободы и равенства, но что *надели* эту маску, что она им выгодна, а какой-нибудь простяк *верит* и кричит. Господи, видеть только весь позор этот, то лучше бы умереть. Что приходится слушать в гостиных! Просто иногда доходишь до отчаяния. Я получила «Колокол» в таком настроении. Он меня поднял. Недавно мне русский говорил то же. Легче стало, прочитав. Если я пришлю статейку, вы ее поместите? Я не буду говорить о мнениях, а просто о впечатлении при чтении русских газет. Впрочем, не знаю — напишется ли? Трудно писать подле Александра Ивановича. Но дело не в самолюбии — у меня авторского так мало, как можно только менее. Совсем не иметь, кажется, нельзя.

Отличный номер «Колокола» — что больше перечитываешь, то больше по сердцу. Не могу вам сказать, как здесь жить тяжело. Не с кем душу отвести. Русских нет; поляки — убитые, мрачные, обезумевшие от страдания — наводят тоску пущую; французы, фразистые, но холодные, речистые, но равнодушные, наводят на презрение, на которое, в сущности, русский права не имеет. Нельзя презирать *никого*, когда свои так гадки, низки, подлы, опозорены. Я дошла до такого состояния, что никого видеть не желаю — и заняться не могу. Всё из рук валится. Выверив всё, ночью просыпаюсь от собственного голоса, что сердце болит.— «Избавьте от этой боли сердца!» — закричала я и проснулась. И действительно, физически сердце болит, и очень часто. Я поняла, что Замойский[4], получив письмо, в котором его извещали, что сына бьют и мучат в цитадели, упал замертво. Сердце перестало биться. Весь факультет парижский лечил его, и он находился 40 часов между жизнью и смертью. Можно получить

* простофиль (франц.).

смертельную болезнь! Я пишу к вам просто, что чувствую. Вы старый друг. Я знаю, вам дела много, я и не прошу ответа — а так, душу отвожу.— У вас свои дети, вы поймете, как горько думать, что годы пройдут и вы их не увидите. В эту Японию, где распарывают животы, в этот Китай, где режут всех, я воротиться не могу. Это личная скорбь, соединенная с скорбью по опозоренной родной стране, невыносима. Я бы хотела о другом писать — но не могу. Днями я упадаю духом — выбиваюсь из сил.

Потапов назначен генерал-губернатором в Западную Сибирь, вероятно, чтобы мучить политических преступников. На его место флигель-адъютант Мезенцов, известный глупостью и тем, что, бывши флигель-адъютантом, подвязывал себе бороду и ходил шпионить на рынок. Впрочем, если бы остался Потапов[5], жертв было бы гораздо больше. Он сыщик по призванию.

[1] Годовая дата устанавливается содержащимся в письме упоминанием о смене А. Л. Потапова на посту управляющего III Отделением Н. В. Мезенцовым.

[2] Салиас получила л. 176 «Колокола» от 1 января 1864 г. В этом «листе» была помещена статья Герцена «1864», в которой он писал о реакции, торжествовавшей тогда в России: «Пусть рухнется эта империя, выработавшая свой тип в Аракчееве, пусть пойдет по миру дворянство, отбивавшее два века кусок хлеба у народа, пусть пропадет, наконец, это мишурное образование, ложное, безнравственное, умевшее прежде ужиться с крепостным правом, а теперь с палачами и доносчиками...» (XVII, 6).

[3] Салиас имеет в виду ряд демагогических мероприятий, проводившихся царским правительством в целях возбуждения вражды со стороны крестьян к польским помещикам. Еще в 1863 г. в Белоруссии и Литве крестьянам были возвращены земли, отрезанные у них по реформе 1861 г. С 1864 г. крестьяне переводились на выкуп и освобождались от барщины и оброка. Выкупные платежи, вносимые ими за землю, были снижены на 20%. В то же время шла подготовка указа, опубликованного 19 февраля/2 марта 1864 г. В силу этого указа крестьянам в Польше была передана в собственность земля, которую они обрабатывали. Вместе с этим они получили в собственность весь живой и мертвый инвентарь, находившийся в их усадьбах, и были освобождены от всяких повинностей в пользу помещиков со сложением с них всех недоимок. В силу этой реформы польским крестьянам было прирезано из помещичьих и казенных земель около 2 млн. моргов. За эту землю им приходилось вносить правительству особый поземельный налог.

[4] Граф Андрей *Замойский* (1800—1874) — один из лидеров правого крыла польской эмиграции, представлявшего интересы польской аристократии. Эмигрант И. Г. Головин писал 18 января 1864 г. кн. А. А. Суворову: «Граф Андрей Замойский... потерял жену, сына и лежит при смерти» (А. И. Герцен. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 605).

[5] Слух о назначении А. Л. *Потапова* (1818—1876) генерал-губернатором в Сибирь не оправдался: он был назначен помощником по гражданской части виленского генерал-губернатора, ближайшим соратником Муравьева-вешателя.

17

31 декабря ст. ст. ⟨1863—12 января 1864 г.⟩

Желаю вам и всем вашим лучшего русского Нового года, чем прошлый. Спасибо вам за ваше благородное письмо, старый друг. Вот вы, кажется, и ближе подходите, а все же я знаю, что мы в постановке вопросов не сойдемся: вы верите в общечеловеческое благородство и в привычку к старой, феодальной жизни. Я ни в то, ни в другое не верю, а верю, что сочетание иных данных даст иной результат. Этот результат, и только он, мне и дорог.

Но перехожу совсем к другому. Вы хорошо знакомы с кн. Труб⟨ецким⟩[1]. Вспомните: Мартьянов[2], Черн⟨ышевский⟩, С⟨ерно⟩-С⟨оловьевич⟩ и пр. — все идет на каторгу. Скажите ему, чтоб он пожертвовал, сколько хочет, для отсылки им. Переслать мы беремся. Мешкать нечего, одни уже ушли, другие не сегодня-завтра уйдут. Собрать собственными средствами пришлось очень немного. А вы знаете, что́ значат в России деньги для ссыльного. Похлопочите об этом, старый друг. Это уж, наконец, не может претить убеждениям кн⟨язя⟩ — ни консервативным, ни политическим.

Жду вашего ответа со страхом и верою. Мысль об этих людях меня преследует. Первого из них я коротко знал и глубоко любил.

Жму вам руку.

Далее рукой Герцена:

Приписываю и я строчку в письме «Ага», как его называют дети. Вы видите, что les vieux de la vieille garde* не совсем утратили дух. Полагаю, что во 2 листе вы будете довольны, если не письмом к Гарибальди, то «Портретом Муравьева», «3/70» и «Календарем за 1863 год»[3].— И мы идем, и Россия идет, страшно идет — многое щемит, давит сердца, — но идет!

Если вы будете говорить Трубец⟨кому⟩, то я попрошу вас и от меня сказать слово — да, действительно, надобно помочь жертвам нашего кроткодушника.

С Новым годом нельзя же не поздравить, хоть он и ошибочен.

А что Шварц? Какого-то Шварца расстреляли.

Будьте здоровы.

Искренно уважающий вас

Ал. Герцен

[1] Князь Николай Иванович *Трубецкой* (1807—1874)—своеобразный представитель дворянской оппозиции, покинувший Россию и поселившийся во Франции. Трубецкой считал себя славянофилом, что не помешало ему, однако, перейти из православия в католичество. На его дочери был женат упоминавшийся выше кн. Н. А. Орлов. Салиас была близка с Трубецким и одно время жила у него в Фонтенебло.

[2] Петр Алексеевич *Мартьянов* (1835—1865) — крепостной крестьянин, разбогатевший на хлебной торговле. В 1861 г., приехав в Лондон, Мартьянов сблизился с Герценом и Огаревым. Убежденный противник крепостного права и дворянства, он питал наивную веру в то, что русский царь может превратиться в «земского царя», защитника интересов крестьянства. Эти свои надежды он изложил в «Письме Александру II», напечатанном в «Колоколе» (л. 132, от 8 мая 1862 г.) и в изданной в 1862 г. брошюре «Народ и государство». В апреле 1863 г., при возвращении в Россию, Мартьянов был арестован и приговорен сенатом к каторжным работам на 5 лет и поселению в Сибири; в 1865 г. умер в иркутской тюремной больнице. Особенно близок Мартьянов был с Огаревым.

[3] Герцен имеет в виду л. 177 «Колокола», от 15 января 1864 г., в котором были напечатаны его статьи: «Письмо к Гарибальди», «Портрет Муравьева», «3/70 копейки с души», и «Сентиментальный взгляд назад» (так Герцен назвал свою статью, которую в настоящем письме он именует «Календарем за 1863 год»).

18

⟨Февраль 1864 г.⟩

Добрый мой старый друг, так давно вам не отвечаю, что даже самому стыдно. Простите мне этот грех. Прежде всего хочу вас спросить об одном: «Тьма», повесть в «Современнике», Женни?[1] Мне чудится, что вы мне писали, что он подписывается «Вадим», а Герцен мне сказал, что он видел эту рукопись у Женни на столе. Искал я в ваших письмах и не нашел, но, несмотря на то, уверен, что эта повесть его. Читал я ее вечером внизу, прочел, пошел к себе наверх, раскрыл мой альбом с фотографиями и поцеловал его портрет. Больше в похвалу ему ничего сказать не могу. Несмотря на некоторые промахи, о которых я ему напишу, если он хочет, тут чрезвычайно симпатичный талант, и я с глубокой радостью даю ему полное благословение.

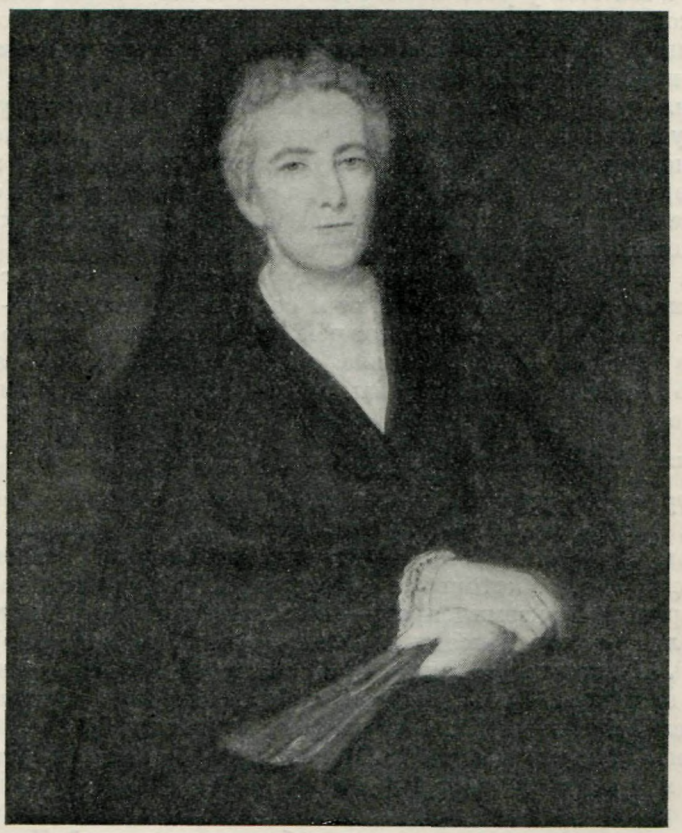
Вашу статью мы ворочали во все стороны и решились ее не печатать... Вы сердитесь (т. е. не за это, а на положение) и потому впадаете в бранчливый тон, который в русской прессе дозволен цензурой, а в европейской может даже навлечь процесс. У Герцена встречаются вещи и подерзче, а привязаться к ним нельзя; а у вас на каждом шагу можно привязаться.

---

* ветераны старой гвардии (франц.).

Мы старались поправить, да невозможно; тогда уже ничего не выйдет, потому что тут только гнев и симпатичен.

Скажите: куда вам выслать записки Пиотровского[2]; у нас их много экземпляров. Только в настоящее время ничего с рук нейдет — ни книги, ни Колокола. Теперь с рук идет одна катковщина. Терпение, старый друг, терпение и вера! Крепко жму вашу руку.



Е. В. САЛИАС ДЕ ТУРНЕМИР
Портрет маслом неизвестного художника, 1860-е гг.
Литературный музей, Москва

Далее рукой Герцена:

Я беру из рук Огарева перо только для того, чтобы прибавить от себя, что «Тьма» — чудесная вещь, и если в ней есть недостатки, то это — недостатки молодости. Если это писал ваш сын, — как мы выдумали сами, — то я поздравляю обеих матерей его, т. е. вас и Россию, с новым талантом.

Надеюсь, что вы были довольны сквозь-строем, которым я провел наше общество в комментариях к письму Гарибальди?[3]

[1] Повесть «Тьма», помещенная в № 12 «Современника» за 1863 г. под псевдонимом «Вадим», принадлежала Е. А. Салиасу.

[2] О «Записках» Пиотровского см. примеч. 10 к письму № 4.

[3] «Ответ Гарибальди» с комментариями Герцена был напечатан в «Колоколе», л. 178, от 1 февраля 1864 г. (XVII, 33—38).

19

26 мая ⟨1864 г.⟩

Пишу к вам, старый друг, просто потому, что сам стосковался о том, что давно не писал. А особого и веселого сказать нечего. Мы 15 июня куда-нибудь переедем, а куда, о том вас извещу[1]. Поджидаем нашего живописца из Италии, т. е. Тату с сестрой. Если хотите посмотреть их портрет, то зайдите к Львицкому взглянуть на превосходнейшую фотографию.

Катков в милости у российского дворянства как нельзя больше и сильней, чем когда-нибудь; даже похвалил остзейское дворянство за то, что оно не приняло ни наделения крестьян землею, ни суд присяжных, предложенные правительством. Это, говорит, парламент, а не то, что какой-нибудь финляндск⟨ий⟩ *сеймик*[2]. Но зато Муравьев в немилости у царя, хотя в милости у Каткова, Аксакова и дворянства. По-моему эта немилость — поворот, потому что дворянство скоро начнет лягать того, кого лягает первый дворянин. Наград ему нет, и на место его другой. Но, вероятно (это мы вчера гадали), сделают его графом виленским, и таким образом выйдут: Mouravieff d'Amour et Mouravieff vilain*[3].

Кстати: ваши Débats[4] стали такой пустой журнал, что бог с ними и с опровержением их покупных статей и со всем франко-англо-германским мнением.— Закончу эту записку вот чем: «Ксаня» имеет много отроческих ошибок, но «Ксаня» — произведение сильного поэтического таланта[5]; поцелуйте его за меня. Крепко жму вам руку —addio! Получил ли Луг⟨инин⟩ мое письмо?

На полях: Кого это они обыскивали: Лукерью?[6]

Далее рукой Герцена:

Статью, о которой вы писали, французскую, отвергнутую «Revue des 2 Mond⟨es⟩», я подарил Fontain'y, и она будет в «La Cloche», начиная с следующего №, т. е. который в Брюсселе выйдет сегодня[7].

Я вам пришлю 2 экземпл⟨яра⟩ — нельзя ли хоть ею разобидеть наших бургравов литературы. Писана она очень умеренно (наружно) — ее хватит на три №. Укажите ее кругу *Труб⟨ецкого⟩* и *Орлова*, — мне кажется, что снова наступает время, в которое Конст⟨антин⟩ Н⟨иколаевич⟩ будет der liberale Grossfürst**. А это всё его приятели.

Где же находится Погосский[8]? Он писал, что болен, и собирался в Фонтенебло,— мне очень хочется ему писать: я считаю себя перед ним виноватым без вины.

Довольны ли вы моими письмами к будущему другу? *Ив. Тург⟨енев⟩*, я полагаю, недоволен[9].

Искренно свидетельствую глубокое уважение.

А. Герцен

[1] В июне Герцен с семьей и Огарев переехали на лето в приморское местечко Bournemouth

[2] Огарев имеет в виду передовую статью Каткова в № 97 «Московских ведомостей» от 1 мая 1864 г. В этой статье Катков заявил, будто бы лифляндский сейм, состоящий в подавляющем большинстве из представителей местного дворянства и небольшого количества горожан, представляет не одно господствующее сословие, но весь край. В то же время Катков пренебрежительно отзывался о финляндском сейме, не желая видеть в нем истинного представителя страны, хотя финляндский сейм состоял из четырех сословных палат, в которых заседали дворяне, горожане, духовенство и крестьяне (разумеется, наиболее зажиточные).

[3] М. Н. Муравьев, получивший от русской демократической журналистики прозвище «вешателя» за свою жестокость, а от царя Александра II титул «графа Виленского», после подавления польского восстания 1863 г., по настоянию либеральной части петербургской бюрократии, был временно отстранен от руководства важными поли-

* Игра слов: Муравьев-Амурский = любимый Муравьев и Муравьев-Виленский = гадкий Муравьев (франц.).

** либеральный великий князь (нем.).

тическими делами. Однако, вопреки мнению Огарева, это вовсе не значило, что Муравьев утратил доверие царя: после покушения Каракозова на Александра II Муравьеву были даны неограниченные полномочия для борьбы с «крамолой».

[4] «Journal des Débats» — французская газета, основанная в 1789 г. Придерживалась умеренно-либерального направления.

[5] О повести Е. А. Салиаса «Ксаня чудна́я» см. примеч. к письму № 9.

[6] О ком идет речь, определить трудно. Эмигранты, окруженные царскими шпионами, отличались большой подозрительностью. Не раз случалось, что, заподозрив кого-либо в шпионстве, они производили у заподозренного обыск.

[7] Герцен имеет в виду свою статью «Nouvelle phase de la littérature russe» («Новая фаза русской литературы»), напечатанную в №№ 44 и 45 «La Cloche». О том, что статья была отвергнута редакцией «Revue des Deux Mondes», не было известно.

[8] Александр Фомич *Погосский* (1816—1874) — журналист, издатель журнала «Солдатская беседа». Был связан с обществом «Земля и Воля» и, живя за границей, находился в сношениях с эмигрантами.

[9] «Письма к будущему другу» были напечатаны Герценом в лл. 180—181, 182, 184, 186 и 213 «Колокола». Тургеневу эти письма не могли понравиться, так как Герцен весьма сурово отозвался в них о некоторых персонажах из его произведений, в частности о Кукшиной из «Отцов и детей». «Тургенев слаб и даже плох,— писал Герцен,— там, где он, насилуя свой талант, пишет на заданную политическую и полемическую, тему; он впадает в шарж, и Кукшина — так же не тип, а карикатура, как князь Луповицкий К. Аксакова».

20

Е. В. САЛИАС — ОГАРЕВУ

Versailles. Rue Mademoiselle, 19. 2 июня ⟨1864 г.⟩[1]

Давно я вам не писала, мой друг, да и некогда было. Я устраивалась в Версале и, наконец, *кое-как* устроилась. Я говорю: кое-как, потому что мало комфорту в том доме, где я живу. Впрочем, c'est le cadet de mes soucis*. Я теперь очень занята Женей. Он пишет из Испании[2], что у него опять разболелись глаза. Ему необходимо надо ехать купаться. Я настоятельно об этом прошу его — купанья в море всегда ему помогали радикально.

Что вам сказать нового? Мало. Из Петербурга приезжают важные лица, которые выражаются, одни так: «Польское восстание такое неожиданное счастье!.. Оно надолго утвердило царскую в России власть, собрало около трона все образованное общество, уничтожило либеральную партию и *раздавило* (sic!) Герцена!». Другие так: «Надо признаться, что Польское восстание — это такая позорная, кровавая и грязная страница в русской истории!» Одни начинают ругать Муравьева, другие царя: «Что он делает? Он на нашу голову да и на свою беды призывает». Сами говорят об армии, что это орды грабителей. В Питере же общество, *образованное* (должно быть), принимало Муравьева с овациями, а царь очень холодно.

Я не знаю адреса Погосского. Знаю, что он в окрестностях Фонтенебло. Его, как я ему и говорила, надула француженка, а он, поверив ее обещаниям, перетащил все семейство из Швейцарии, где они жили тихо и хорошо и где их все любили, в Фонтенебло. Их вместо дома поместили в конюшню, и он принужден был оставить эту женщину, которая обещала золотые горы за 12 франков в день — и это за пищу и квартиру 5 детей и 2 Погосских. Как будто такие цены могут держаться где-нибудь, кроме Швейцарии?.. Если я увижу кого-нибудь из поляков, то спрошу.

Статью Ал⟨ександра⟩ Ив⟨ановича⟩[3], которого сердечно благодарю за «Cloche», я читала. Весьма интересно. Я купила ее еще два экземпляра и всё отправила в Россию. Была *верная* возможность переслать. Но я *полагаю*, что возможность представится еще раз, то если вам возможно пришлите мне 2 экз⟨емпляра⟩ «Колокола» с 1-го генваря 1864 года и 4 экземпляра «La Cloche» с продолжением статьи Алекс⟨андра⟩ Ив⟨ановича⟩. Впрочем, это в случае, что вам *не затруднительно*. Это для моих друзей в Россию. Я около 3-х месяцев копила деньги и кое-что им переслала.

* это наименьшая из моих забот (франц.).

Вчера опять в «Дебатах» *наглая* статья о земских учреждениях. Воля ваша, какая ни на есть мерзость «Дебаты», однако их Европа вся читает[4]. Хотя бы одно слово опровержения кто-нибудь написал. А читали ли вы брошюру Монталамбера?[5] Он ультрамонтанин, но не о том речь. Такого порыва, красноречия, силы, огня и вервы* я давно не видала в литературах, особенно во французской. Начинается дивно, словно поэма.

Я написала Жене, что́ вы пишете о «Ксане». Сам Женя больше всего любит эту свою повесть. Он говорит, что она задушевная его вещь. Вы читаете ли его письма из Испании? Они печатаются в «Голосе» и в России нравятся. Если нет, я, получив их, вам пришлю. Теперь их нет у меня, я их отослала одному приятелю Жени, который обожает его. Я в совершенном удовольствии, что Женя мог избрать карьеру писателя. Я *не смела* даже мечтать о возможности этого. Читая его письма из Испании, я убедилась, что у него талант и *оригинальность таланта*, что еще важнее. Притом, читая его письма, я так и вижу *его личность*, будто я сама с ним путешествую.

Поздравляю вас и Ал⟨ександра⟩ Ив⟨ановича⟩ с приездом молодых живописиц, я думаю все в восторге, и без них было очень пусто. А ваша Лиза что делает? И два других, я не знаю даже (и это стыдно) их имени, что поделывают? Ходят, говорят? А у меня *еще* внук. Маша родила еще сына: *Василия*. Это третий мой внук. У Ольги сын да у Маши два. Не хотят меня обрадовать внучкой. Даже досадно.

[1] Ответ на письмо Огарева от 26 мая 1864 г.

[2] Сын автора письма Е. А. Салиас в 1864 г. провел семь месяцев в Испании. Свои путевые впечатления он описывал в письмах, печатавшихся в газете А. А. Краевского «Голос».

[3] О статье Герцена см. примеч. 7 к письму № 18.

[4] О «Дебатах» см. примеч. 4 к письму № 18.

[5] Шарль-Форб *Монталамбер*, гр. (1810—1870) — французский публицист консервативного направления; сторонник папской власти. Салиас имеет в виду его брошюру «L'insurrection polonaise», изданную в 1863 г. Брошюра эта была проникнута ненавистью к России и сочувствием к польской партии «белых». Автор ее обвинял Наполеона III в том, что он недостаточно активно поддерживал восставших поляков.

21

Bryanston House, Bournemouth. 28 июня ⟨1864 г.⟩

Давно я сбираюсь к вам писать, мой добрый, старый друг, сбираюсь ежедневно и все откладываю; рука не поворачивается, так ⟨как⟩ знаю, что от моего письма вам будет страшно больно. Но делать нечего, надо же. Умер человек, которого вы очень любили, от которого я ждал многого и которому, конечно, надо было бы еще долго пожить. Умер И. Кельсиев[1]. Я чувствую, как вас это известие должно поразить. Я не знал его, а и меня оно поразило так, что вот две недели не могу забыть. Сколько жизни, энергии, готовности на всякую жертву было в этом юноше и достаточно ума, чтобы определить себе деятельность, и все это погибло так внезапно. Он умер нервной горячкой в Тульче. Брат его вылежал в той же болезни и оправился, и только оправился, как занемог Иван, да и не выдержал болезни. Не говоря уже о пробеле в наших рядах, но обрыв такой молодой жизни как-то не ложится в мысль; нельзя с этим помириться. Если хотите, напишите несколько слов к брату, который страшно поражен этой смертью. А впрочем, зачем? Ему не в помощь, а себе, пожалуй, в неприятность! Просто сами одни поплачьте, а если что об нем, т. е. какие-нибудь биографические сведения, напишите мне, я их сохраню в печати.

Хотелось бы перейти к чему-нибудь утешительному, да нет ничего утешительного. Терпение, терпение — только и требуется на эту минуту.

* воодушевления (франц. «verve»).

ЛИЗА ГЕРЦЕН

Рисунок Н. А. Герцен (дочери), 1860-е гг.

Местонахождение оригинала неизвестно. Воспроизводится с негатива Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

Станемте терпеть; в будущем я нисколько не отчаиваюсь. Что лучшее будущее придет, вероятно, после меня — что ж с этим делать; но работать для него пока жив не перестану.

Прочтите-ка в «Москов‹ских› вед‹омостях›» № 151 статью из Петербурга — вот поэма-то безобразия, где Мих‹аил› Никиф‹орович› Катков изволил швырнуть собственной грязью в людей 25-го года[2]. И ни один кулак еще на него не поднялся!

Утешение мне принес господин, приехавший купаться. Это очень светлая голова, и я его очень люблю[3].

Пришлите мне письмы Женни, — у меня их не было, и мне хочется их прочесть. Обнимите его за меня. Каково-то ему будет мое письмо!

Край здесь красив, как всякий приморский край! Но воздух какой-то давящий. Или я не в духе сегодня. Не знаю, право. Прощайте, друг мой, крепко жму вам руку.

Дети, большие и малые, здоровы. Жаль мне, что фотограф как-то не понял, что можно было устроить свидание[4]. Но ce qui est différé n'est pas perdu*. Мне хотелось вам показать Тату, которая очень хороший человек; осенью это и уладим. Мы все сбираемся перебраться на континент[5], только не знаю — осенью или к весне. Тате же непременно надо быть зимой в Риме; ее талант в живописи несомненен; мне бы хотелось, чтобы она сохранила себе приют в жизни, т. е. искусство, потому что ведь без приюта-то еще хуже, друг мой! А мне бы хотелось, чтоб ей было хорошо.

Все наши вам шлют привет.

[1] И. И. Кельсиев умер от тифа 9 июня 1864 г. в Тульче (о его болезни и смерти см. в «Исповеди» В. Кельсиева, опубликованной в «Лит. наследстве», т. 41-42, 1941, стр. 380—381).

* то, что отложено, еще не потеряно (франц.).

[2] Огарев имеет в виду корреспонденцию из Петербурга, помещенную в № 151 «Московских ведомостей» за 1864 г. (подпись *Х*). Автор этой клеветнической корреспонденции обвинял русских революционеров в том, что они будто бы всегда «протягивали руки внешним врагам России» и посягали на ее «целость и единство», выступая «в сторонольских заговорщиков». В подтверждение этой инсинуации автор ссылался на переговоры декабристов С. Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Пестеля с польскими революционерами, извращая сущность и значение этих переговоров.

[3] Огарев имеет в виду С. А. Усова.

[4] *Фотограф* — двоюродный брат Герцена С. Л. Львов-Львицкий (Левицкий). Речь идет о несостоявшемся свидании Салиас с дочерьми Герцена, которые в середине июня 1864 г. были проездом в Париже.

[5] Как известно, переезд Герцена и Огарева на континент состоялся в марте 1865 г.

22

Е. В. САЛИАС — ОГАРЕВУ

31 июля <1864 г.>. Версаль[1]

Сегодня утром принесли мне ваше письмо. Очень прискорбное известие[2]. Очень мне было больно, и я искренно оплакала эту молодую жизнь. Отличный был юноша. Сердце чистое, детски непорочное, энтузиазм, готовность отдать себя на жертву, и отдал; доброе и незлобивое сердце. Умен был, не умел говорить фраз, чем так наши богаты, не был заражен *позитивизмом* и не продал бы не только душу, не только мысль свою, за кусок хлеба, а ровно ничего не отдал бы. Он давал всё *даром*, давал потому, что натура была бескорыстная и высокая. Наивность его была ребяческая, а мысль мужчины с этим.

Я любила его, отчасти как мать, отчасти как друг. Я говорю отчасти, потому что чувство матери к сыну, дочери такое бесконечное. Жаль мне его. Женя будет очень огорчен. Он любил и уважал его. Я всегда думала, что он не жилец здесь. Чист очень был. Я не знаю ничего о нем. Женя должен знать. Он бы мог написать о нем письмо к вам, да не знаю, напишет ли? Он чудак. Когда его что поразит, он не выговаривает, не высказывается тотчас, вдруг. Я не знаю даже, писать ли ему туда об смерти Кельсиева.

Пусть отдохнет. Ему много горя. Его гложет положение нашей земли, отступничество близких, хлестаковство многих, ирокезство массы, невозможность теперь воротиться туда. Желание видеть сестер у него доходит до болезни, желание жить у себя —до тоски. Я иногда не знаю, что с ним делать, и рада, что он в Испании и в Гренаде забылся, веселился. Зачем его *теперь* смущать? Пусть отведет душу. Узнает. Все узнается во-время, и горя впереди вдоволь.

Сожалела я, что не видала детей. Глупо это устроили. Я все ждала да и прождала. Это счастье, если у Таты талант, но женщине можно и без таланта прожить, лишь бы нашла счастие в семье. Иногда талант мешает семейному счастию, если муж не понимает вполне жены. Надо надеяться, что она не выйдет замуж за господина *пошлого*, хотя и доброго, хотя и умного. Ведь и умные бывают пошлы. Зачем вы говорите так легко, en passant *, о путешествии на континент? Это для меня важная вещь. Мне очень хочется вас видеть, и детей, и Герцена. Ведь я его *не* видала в Париже. Это было не свидание, а взгляд один друг на друга. Желала бы видеть, знать *лично*, полюбить, независимо от знаменитости. Просто узнать его как приятеля, сойтись как с другом, быть может, надеюсь: я осенью буду в Цюрихе. Приехавший купаться[3] скажет зачем. Это дело важное. Мне надо на своем поставить и детей в свои руки прибрать.

Великолепная, достойная пера Герцена статья: «7 лет»[4]. Редко мне что в душу вошло, впилось, как эти строки, огнем и скорбию написанные, искренние, из сердца до сердца идущие. Спасибо, спасибо ему. Что уж

* мимоходом (франц.).

плакать? Я немало пла́чу, а читая, так слезы и катились. Я уж очень женщина. Откуда только эти слезы берутся? Кажется, конца им нет. Мне говорил один мой друг, что видеть это возмутительно, но что ж мне делать — будто легче, когда пла́чу. Вот и Серно-Соловьевич. 20 лет каторжной работы[5]. Изверги. Вот и Барановский[6] сослан, по этапам. Да и не перечтешь. А какие иногда письма получаю от матерей, страх берет читать. Себя на место их поставишь, и думается, что сердце бы лопнуло, и умер бы сразу. Да оно и лучше.

Вчера видела объехавшего всю Европу русского, везде сходившегося с русскими (я от них бегаю, как от чумы, ибо больна бываю от их речей). Какие он мне ужасы рассказывал. Даже те, о которых я думала, что они *честные*, заражены катковщиной, чичеринщиной или, по крайней мере, ирокезскими воззрениями, при которых кровь, слезы, терзания, скорби, истязания, изгнания есть *необходимые* бедствия и *миловать* никого не надо для величия (заклятого), для целости и неприкосновенности государства (да будет оно проклято!). Просто я слушала и вся дрожала от злости и негодования. Хоронить нам надо себя. Мы погибли. Глаза наши не увидят, уши наши не услышат человеческих действий и речей ⟨...⟩ Я не читаю русские газеты. Ей-богу, не могу. Сил нет, и духу нехватает![7]

Смерть Кельсиева во всем этом едва ли для него не есть лучшее.

Ему жить лично было не для кого. У него матери нет. Она сумасшедшая, как он мне говорил. Дела *один* человек не сделает, а мы все меньше, чем один, против страшной массы. Впрочем, кто живет еще, тот должен делать, хотя и без надежды. Долг исполнять надо. Не выйдет ничего из этой тины, кроме вони и гниения. Родятся опять черви. От червей не родится орел. Поверьте, что это так, а если не верите этому, то счастливее меня. Я отступаюсь, ибо нехватает ни надежды, ни сил.

Прощайте. Очень, очень буду рада увидеться. Напишите, как полагаете, где и как.

[1] Ответ на письмо Огарева от 28 июня 1864 г.
[2] Речь идет о смерти И. И. Кельсиева.
[3] *Приехавший купаться* — С. А. Усов.
[4] Статья Герцена «VII лет» была напечатана в «Колоколе», л. 187, от 15 июля 1864 г. Она была написана по поводу семилетия со дня основания «Колокола» и содержала в себе весьма яркую картину реакции, восторжествовавшей в России.
[5] Салиас ошибалась относительно приговора по делу Н. А. Серно-Соловьевича: он был осужден Сенатом на 12 лет каторги; позднее постановлением Государственного совета каторжные работы были заменены ему ссылкой на поселение в Сибирь.
[6] *Барановский* — участник польского восстания.
[7] Во вступительной статье нам приходилось уже говорить, что Салиас, находившаяся под влиянием идей космополитизма, не верила в русский народ и в его будущность, а также боялась проявлений активности народных масс.

23

18 августа ⟨1864 г.⟩

Завтра едет У⟨сов⟩[1] и передаст вам это письмо. Сколько этот человек для меня лично сделал, я вам и выразить не могу; он имел терпенье быть моим учителем, да еще каким учителем! Такого превосходного профессора я нигде бы не нашел. Таким образом, он мою старость вполне утешил с этой стороны, так что даже если и недолго проживу, то все же многое успею разъяснить себе, чего без его пособия я не был бы в состоянии сделать.

Но теперь, мой добрый, старый друг, перехожу к другому вопросу. Долго я не решался приступить к нему. Иной раз спрашивал сам себя: да с какого права?.. Но нет! Приступаю к нему по праву всех моих воспоминаний. Я узнал, зачем вы едете в Цюрих[2]. Но скажите, зачем же вы хотите детей в отроческом возрасте оторвать от родины, т. е. от почвы, на

которой они волей или неволей должны будут после жить и действовать? Какой будет результат? Только тот, что вы не сделаете их своими в Европе и сделаете их чужими в России. Вы сделаете им жизнь в тягость и отнимете у них всякую деятельность. Конечно, какой-нибудь талант к специальной науке или специальному искусству может вынести эту разорванность жизни; но обозначился ли уже у которого-нибудь из них этот специальный талант? Да если он и окажется, то кто ручается за то, чтобы он сохранился в юности, т. е. той поре, когда человек уже определяется, — что он такое? Другое дело послать их за границу в юношеском возрасте, в возрасте университетской деятельности, — тогда они поедут учиться, вовсе не разрываясь с той средой, где волей или неволей должны жить и действовать. Тогда они съездят *набраться сил*, а не *сгубить их в разорванном отношении с обеих сторон*.

Вы не верите в будущность России; это ваше мнение. Против и за найдется много доводов; стало, ваше мнение не есть окончательная правда. Какое же право, из-за личного мнения, а, может, из-за личной ошибки, какое право имеете вы вталкивать в немоготу и повсюдную чуждость молодые жизни, вашему сердцу близкие? Образовать их везде можно, и в России точно так же, как и здесь, когда есть на это достаточно денег. А в этом случае денег, кажется, на столько-то хватит. В заключение умоляю вас — одумайтесь и не делайте с детьми из фантазии того, что мы с нашими вынуждены делать из горькой необходимости. — Если мне не надо было этого говорить, мой старый друг, простите мне слово, на которое я решился, конечно, не из нелюбви.

Крепко жму вам руку.

Ваш О г⟨а р е в⟩

А у Кельсиева жена и дочь больны; вероятно, тоже в тифе. Писать к нему средств нет — письмы не доходят. Это ужасно!

Рукой Герцена:

Я думаю в конце осени быть в Швейцарии[3] и там непременно увижусь с вами, только не в Цюрихе. Этот город мне по многому ненавистен[4]. Радуюсь, что мои «VII лет»[5] вам понравились, если вы были ими тронуты, то будете смеяться от моей «Camicia rossa»*[6].

Душевно преданный

А. Герцен

[1] Об Усове см. примеч. 2 к письму № 14. Огарев брал у него уроки математики (см. письмо А. И. Герцена сыну от 15 августа 1864 г.— XVII, 333).

[2] В Цюрихе Салиас намеревалась найти пансион, куда можно было бы отдать на воспитание детей ее сестры, Е. В. Петрово-Соловово.

[3] Расчеты Герцена не оправдались: он приехал в Швейцарию для переговоров с представителями «молодой эмиграции» (в Женеве) только в самом конце 1864 г.

[4] Герцен посетил Цюрих в декабре 1849 г. Там он пережил тяжелую трагедию, вызванную увлечением его жены Гервегом.

[5] Статья Герцена «VII лет».

[6] Статья «Camicia rossa», где описывалось пребывание Гарибальди в Лондоне, была напечатана в «Колоколе» (лл. 188, 189 и 191, от 15 августа, 15 сентября и 15 ноября 1864 г.) и затем вышла отдельной брошюрой.

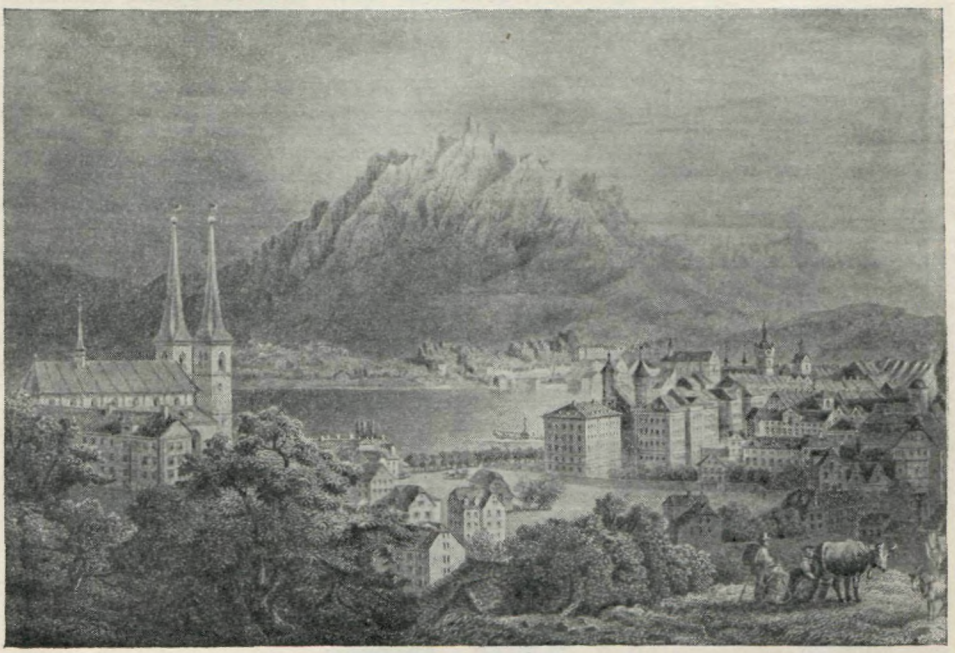
24

1 октября ⟨1864 г.⟩. Tunstall House, Maida Hill

Спешу вам сказать несколько слов. Я думаю, адресоваться вам лучше через тетушку Марью Алексеевну или просто прямо. Но только в обоих случаях *крайне осторожно*, ибо ему очень легко повредить, так что польза будет только вред.

* «Красная рубашка» (итал.).

А ведь не худо бы, если бы вы дали случай, выгородив себя, напечатать про клеветы, распускаемые Павл⟨ом⟩ Вас⟨ильевичем⟩ и Вас⟨илием⟩ Петр⟨овичем⟩[1]. Как мне грустно становится, что я их любил и что иной раз отыскиваю струнку воспоминаний — и тогда-то, оправившись, хочется хватить прямо, чтоб надписи снять нельзя было. Не можете ли вы *как можно скорей*, достать брошюру Шедо-Ферроти[2] «Que fera-t-on de la Pologne»*, говорят, она вся разошлась, и книгопродавец не мог достать; достаньте у знакомых и пришлите по почте, хоть на неделю. Нам это



ЛЮЦЕРН
Литография, 1860-е гг.
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

очень нужно. Спор между Шедо-Ферроти и Катковым! спор, где Шедо-Фер⟨роти⟩ обвиняет Каткова в искажении правительственного направления к добру и в наущении правительства кровожадности! Да прочите сами и прочтите в «Москов⟨ских⟩ вед⟨омостях⟩» защиту Каткова — многозначительную, ибо это длинное decrescendo**.

Я вам ничего не писал о вашем предыдущем письме. Жаль мне, и если обстоятельства так сложились, что лучше где бы то ни было человеческое воспитание, чем аристократничание дома; но будьте осторожны — пожалуй, вы введете молодых людей (или мальчиков) в среду немецко-швейцарского пансиона, где перед их аристократизмом будут гнуться все, начиная с самого воспитательных дел мастера[3]. Что тогда?

Засим, мой добрый, старый друг, прощайте. Погода чудесная, — пойду в поля тоску мыкать. Хотя у меня побольше веры в будущность России, или не веры, а убеждения, и больше терпения, чем у вас, — тем не

---

* *Над зачеркнутым:* l'ennemie de la Russie ⟨враги России — франц.⟩ *рукою Герцена надписан перевод*: «Что сделают с Польшей» (франц.).

** постепенное уменьшение силы звука (итал.).

меньше жизнь тяжеловата. Ну! да на то и плечи даны, чтоб ношу таскать. Обнимаю Женни.

Рукой Герцена:

Второе письмо получили мы — я прошу вас прочесть всю полемику Шедо-Ф⟨ерроти⟩ с Катковым.

[1] *Павел Васильевич* — Анненков, *Василий Петрович* — Боткин. Анненков, находившийся в первые годы существования «Колокола» в постоянных сношениях с его издателями и выражавший им сочувствие, по мере нарастания угрозы народной революции в России, подобно другим либералам, прервал с Герценом и Огаревым всякие сношения. Боткин, бывший сотрудником «Отеч. записок» времен Белинского и некрасовского «Современника», в шестидесятые годы перешел в лагерь реакции. О каких именно клеветах, распространявшихся Анненковым и Боткиным, пишет Огарев, определить не удалось.

[2] *Шедо-Ферроти* — псевдоним появившегося за границей агента русского правительства бар. Фиркса (см. о нем выше в наст. томе). Брошюра, о которой пишет Огарев, отражала взгляды на польский вопрос либеральной части петербургской бюрократии, которая рассчитывала видимостью уступок примирить польское общество с русской правительственной политикой в Польше. М. Н. Катков на страницах «Московских ведомостей» (№№ 195 и 196 за 1864 г.) резко выступил против Шедо-Ферроти. На помощь к Шедо-Ферроти пришел его вдохновитель, министр народного просвещения А. В. Головнин, предложивший органам цензуры не допускать в печать каких бы то ни было полемических статей о книге Шедо-Ферроти. Герцен и Огарев внимательно следили за этими событиями особенно потому, что Катков в своих статьях говорил о той нашумевшей полемике, которую он по поручению правительства вел в 1862 г. против издателей «Колокола». Шедо-Ферроти считал эту полемику крупной заслугой Каткова, нанесшего, по мнению Шедо-Ферроти, поражение не только Герцену, но в его лице и всему революционному движению в России. «Много чести, но это не верно,— отвечал Катков Шедо-Ферроти.—Наш поход на г. Герцена не имел таких последствий... Г-н Герцен был не столько причиной болезни, сколько ее симптомом. Имя г. Герцена действительно утратило то странное, почти мистическое значение, которое было сообщено ему обстоятельствами; но настроение молодых умов мало от этого улучшилось». Вслед за этим Катков доказывал, что Шедо-Ферроти, проповедуя необходимость уступок в пользу польского общественного мнения, тем самым оказывается солидарным с Герценом, от которого на словах он хочет отгородиться.

[3] См. примеч. 2 к предыдущему письму.

25

Е. В. САЛИАС — ОГАРЕВУ

16 октября ⟨1864 г.⟩. Бельфонтен

Любезный друг, я сейчас послала письмо, полученное мною *от русского* с вырезками швейцарских газет, где, по письмам из Симбирска, обвиняют поляков и нигилистов в заговоре и поджоге Симбирска[1]. Там говорится почти то же, что и в «Таймсе». Прочтите письмо русского ко мне, которое получите из Парижа через два дня. Швейцарские газеты можете оставить у себя, но письмо мне возвратите. Я его должна показать кое-кому. С ума сойти можно. Что день, то не легче. Почти все приезжие говорят об апатии общества и о сне, одолевающем всё и всех. Одни реакционеры полны жизни, силы, деятельности. Я боюсь, что назначат комиссию открывать поджигателей, будут пытать и, конечно, найдут их. Чего не найти с пыткой? Стыд потерян. Теперь уже не беспокоятся *о молве* (чего не писали — всё писали, и им газетные статьи приелись), и не задумаются употребить в дело розги, щипцы и рвание ногтей, чтобы исторгнуть признание.

Николаевские генералы (некоторых случалось встречать *лучше, гуманнее* тех мошенников и разбойников, которые с Черкасскими, Бергами, Милютиными, Потаповыми и Муравьевыми[2]) — это всё одного поля ягода. У нас Павел Павл⟨ович⟩ Гагарин, Голицын[3] и другие свирепствуют. Посмотрите, какие законы выдадут.

Я не могу больше да и нечего писать. Очень тяжело.

Сын мой приехал ко мне сюда; он очень устал; семь месяцев с места на место переезжал. Он хорошо знает по-испански, привез кучу книг и

множество материала для писем. У меня нет тех, которые напечатаны, а то бы я вам прислала. Имеете вы вести об Альбертини[4]? Я никаких не имею. Пришли за письмами. Не могу продолжать. Я остаюсь здесь еще, по крайней мере, три недели.

[1] В 1864 г. в Симбирске происходили большие и опустошительные пожары. Реакционеры распустили слухи, будто бы пожары эти являются последствием поджогов, производимых поляками, сосланными в этот город. Для исследования причин пожаров в Симбирск была направлена специальная комиссия во главе с сенатором Ждановым. Произведенное ею следствие установило, что обвинение, возведенное на поляков, является клеветническим. На обратном пути в Петербург сенатор Жданов неожиданно скончался. Носились упорные слухи, будто бы его смерть не была случайной; говорили, что ему якобы удалось открыть различные злоупотребления симбирской администрации, но что собранные им компрометирующие документы после его смерти бесследно исчезли.

[2] Все перечисленные лица были причастны или к беспощадному подавлению польского восстания или же к последовавшему за этим проведению политики руссификации Польши.

Князь Владимир Александрович *Черкасский* (1824—1878) — известный публицист-славянофил, был привлечен Милютиным для проведения упомянутой реформы в Царстве Польском.

Федор Федорович *Берг*, гр. (1793—1874) — генерал-фельдмаршал, в 1863—1864 гг. наместник в Царстве Польском, жестоко подавлявший восстание.

Николай Алексеевич *Милютин* (1818—1872) — известный деятель крестьянской реформы 1861 г.; после восстания 1863 г. был направлен в Варшаву для проведения крестьянской реформы в Царстве Польском.

Александр Львович *Потапов* (1818—1886) — в 1861—1864 гг. управляющий III Отделением.

О М. Н. *Муравьеве* — см. примеч. 3 к письму № 18.

[3] Князь Павел Павлович *Гагарин* (1789—1872) — член Государственного совета, крайний крепостник.

Голицын — повидимому, Александр Федорович Голицын, председатель Следственной комиссии, учрежденной в 1862 г. для расследования «политических преступлений» и для борьбы против революционного движения.

[4] О *Н. В. Альбертини* см. ниже в наст. томе, в предисловии к письму Огарева, адресованному ему.

26

21 ноября ⟨1864 г.⟩

Пишу вам несколько слов, старый, милый друг. Письмы вам возвращаю с *Герценом*[1], а «Монжажа» пришлю по почте[2]; наш служитель переложил его не в тот ящик, и долго его искать. Я вам его пришлю в конце недели или в начале будущей и напишу вам побольше и пришлю свой адрес; я поселился в Ричмонде, но адрес мой еще мне неизвестен; следственно, я вам напишу как скоро совсем поселюсь и буду в состоянии прислать свой адрес. Крепко жму вам руку. Перед отъездом Герц⟨ену⟩ писать некогда, он вам на словах передаст больше.

Глубоко вам преданный.

[1] 21 ноября 1864 г. Герцен выехал в Париж.

[2] «*Монжажа*» (Mon joujou) — повесть Е. А. Салиаса, напечатанная в «Отеч. записках», 1864, кн. 8.

27

⟨14 декабря 1864 г.⟩ Середа вечером

Мой милый, добрый, старый друг, целый день порываюсь к вам и решительно сегодня не дорвусь. Получил телеграмму, что Лиза тоже кашляет. Я думаю, что у Натали это страх слишком понятный, потому что есть с чего с ума сойти. Мы решили так: Герц⟨ен⟩ завтра едет туда с Marie[2]. О докторах мы сейчас телеграфировали. Герц⟨ен⟩ мне тотчас телеграфирует, что и как, и я поэтому решусь, что́ делать. Сегодня мы с ним сговоримся о многом. Завтра, проводив его, отправлюсь к вам. Крепко обнимаю вас[1].

Ваш О г а р е в

[1] Настоящее письмо написано Огаревым после того как он получил известие из Парижа от Н. А. Тучковой-Огаревой о тяжелом заболевании младших детей и о том, что Лиза, повидимому, заразилась от них скарлатиной.

[2] *Marie* — служанка Герцена.

28

22 декабря ⟨1864 г.⟩. Ричмонд 6. Rothsay, villas Richmond hill

Лучше уже написать сколько-нибудь теперь, чем еще откладывать.— Прежде всего, мой добрый, старый друг, дайте еще раз обнять вас за благородную послугу[1], да раз так, потому что хочется — вы хороший человек. Я глубоко ценю нашу встречу, как ни тяжелы были обстоятельства. Ну! да что об этом — вы сами меня настолько знаете, чтоб знать все, что мне близко к сердцу. Приехал я хорошо, болен еще не был[2]. Примусь серьезно лечиться и спасусь в работе от всего скорбного. Из Монпелье вести хорошие: Лиза уже выходит гулять. Авось ли небольшой остаток моей жизни пройдет не бесплодно. — У нас снег, и дождь, и туман, и все же мне дышать легче, чем в вашей столице. Здесь нет ни заразы, ни гувернеров. Я не верю, чтоб вам было здорово жить там, и уверен, что для вас всего бы лучше было жить где-нибудь около Комо, например, и вдесятеро дешевле. Время у меня идет покамест весьма странно; не могу попасть в настоящую колею занятий; письмы, посторонние предметы смущают меня. Не говоря уже о том, что прошлые две недели еще так не выходят из памяти, что трудно преодолеть самого себя; но надеюсь, что на днях дойду до того, что поставлю себя бодрым работником. Начну с примечаний к делу Черн⟨ышевского⟩[3]. Хорошую штучку вы увидите в будущем №, как в Новороссии гонят немцев во имя лютеранизма за принятие баптистских верований[4]. Однако в продолжение этих нескольких дней, в результате только то, что я не болен. Это меня даже мало радует, потому что невозможно, чтоб оно долго продолжалось, а уж скорей бы отделаться, и тогда надолго буду здоров.—Хочется написать маленькому Ут⟨ину⟩[5]. Не знаю, успею ли сегодня, а даже нужно. «Монжажа»[6] еще не перечитывал, хотя непременно хочу, ибо моя критика Женни будет делаться с глубокой любовью к нему; надеюсь, что он в этом не сомневается и крепко жму ему руку.

Ну! прощайте покамест. Пообедаю и пойду на почту —

Dem Sturm, dem Regen,
Dem Wind entgegen *[7].

[1] *Благородная послуга* — помощь, которую оказала Салиас Герцену и Н. А. Огаревой во время болезни их детей.

[2] В связи с болезнью детей Герцена Огарев ездил в Париж, где свиделся с Е. В. Салиас.

[3] Огарев имеет в виду примечания к напечатанной в «Колоколе» (л. 193, от 1 января 1865 г.) записке по делу Николая Гавриловича Чернышевского, составленной в Сенате.

[4] В «Колоколе» (л. 193, от 1 января 1865 г.), в отделе «Смесь», была напечатана заметка, озаглавленная «Гонения в пользу иностранной церкви». В ней описаны были гонения, которым подвергались на юге Украины немцы-баптисты, выступавшие против лютеранской церкви.

[5] *Маленький Ут⟨ин⟩* — известный впоследствии либеральный публицист, сотрудник «Вестника Европы» и адвокат Евгений Исаакович *Утин* (1843—1894), младший брат эмигранта Николая Исааковича Утина. В это время Е. И. Утин находился в Париже и посещал салон Салиас.

[6] О «*Монжажа*» см. примеч. 2 к письму № 25.

[7] Неточная цитата из «Rastlose Liebe» Гёте: вместо «Dem Sturm» нужно «Dem Schnee».

* Буре, дождю, ветру навстречу (нем.).

29

6. Rothsay, villas Richmond hill, S. W.
19 января <1865 г.>

Пишу к вам, мой милый, старый друг, не то, что хочется. Сон ваш не в руку — это далеко не по душе. Пишу только, чтоб сказать вам, что мне скучно и стыдно, что я долго не писал, а между тем виноват не столько я, сколько обстоятельства. Здоровье мое, с приезда из Парижа, отвратительно, мешает порядком работать, но, несмотря на то, что я на затылке ношу заволоку, одобренную факультетом и моим собственным убеждением, тут есть что-то такое недонаблюденное, что́ мешает правильному прогрессу леченья. Я болен раз в неделю с аккуратностью перемежающейся лихорадки; пароксизм или, попросту сказать, эпилептический припадок дня на два [оставляет] приводит меня в положение утомления, во время чего я избегаю настоящего занятия, а отдаюсь чтению «Московск<их> ведомостей». Дней 5 в неделю я свежее и работаю насколько сил хватает; дела бездна и не вижу, как успею сладить. От этого долго к вам и не писал, и теперь — как сказал — далеко не по душе письмо, совсем нет надлежащего расположения — то мысль о деле, то мысль о болезни. Однако вы о последней не очень беспокойтесь; *я убежден, что она мало-помалу* устранится, и, вероятно, в понедельник до пароксизма приму хинины и поправлюсь надолго; трудно добиться до действительного наблюдения, а между тем оно чрезвычайно интересно, я сам для себя чрезвычайно интересный патологический субъект.

Что же касается до дела, то прибегаю к вам с просьбой, которую вам легко исполнить, но только поскорее. Скажите Ут<ину>, чтоб он *тотчас* написал мне, были ли у него от меня соотечественники, куда уехали, оставили ли у него мое письмо к Алекс<андру> Ив<ановичу>?[1] И если оставили, то чтоб он это письмо сию минуту переслал в Монпелье, Hôtel Nevet, M-me Ogareff. Я потому адресуюсь к вам, что боюсь, уж не переменил ли Ут<ин> квартиры, уж не ошибся ли я как-нибудь, то-то была бы нелепость! А пересылка оного письма в Монпелье для меня серьезное дело. Я также дал для передачи Ут<ин>у Лизину книжку, эту тоже прошу переслать в Монпелье не позже 26 января, а пересылку поставить мне на счет до встречи или до высылки стемпами *. Ну вот и вся комиссия, но наблюдите ее исполнение со всем женским усердием, ибо — повторяю — это для меня литературно серьезно, т. е. это для меня дело.

Ну! теперь о вашем письме да и на почту!

Ваше письмо меня кольнуло в чувствительное место. Несмотря на всю мою привычку разрушать собственные идеалы, мне было жаль настроения ваших сестер. Зачем же это все пошло́ в такую бесцветную пустоту?.. Но мне не только Душеньки[2], мне и детей ее жаль, если уже на них теперь отразилась пустота русской дворянской жизни, и отец не мог помочь этому. Читая русские газеты по обязанности, я так вгляделся в пустоту этой русской дворянской жизни, что меня пробрало глубоким отвращением и ненавистью. Вообразите себе, что со всех мест одно и то же: общественных должностей (земск<их> учрежд<ений> и пр.) дворянство бежит, а посмотрите, как оно лепится к престолу и чиновничеству! Нет! старый друг, жаль, когда в эту пустоту тонут существа, которым было отдано, может, все, что было хорошего в сердце, но мудрено, чтоб их жизнь сложилась иначе, и на остальных придется со злобой рукой махнуть и послать их мысленно к чёрту, пока они еще и de facto к нему не отправились.

Теперь о *Женни*. Зачем же он скучает и не работает? Он способен работать. Скажите ему это от меня. Мне хочется его видеть построившим свой эстетический мир на человечески-общественном основании, и я знаю, что

* марками (от англ. stamps).

он на это способен, но пока он себя этой задаче не почувствует преданным,— ему все будет скучно. Пусть ему будет больно, но не могу я равнодушно смотреть на то, что он скучает; меня это коробит. О «Монжаже»[3] еще не пишу, все не довольно силен и свободен от крупной болезни и мелких дел.

Одному мне не тоска, мой старый друг. Если б немножко покрепче был, то бездну бы наработал, а я с работой тороплюсь, потому что все же жизни остается не бог знает сколько, а задачи, — которые, не решив для себя, не могу спокойно покончить,— еще ужасно длинны. Все же к весне думаю поправиться, окрепнуть и встретиться с вами и поговорить по душе наяву.

Спасибо вам за любовь к Лизе[4]. Лиза выправится. Дайте пройти этому тяжелому времени, где я не в помощь по болезни, и все обстоятельства еще не сладились. Натали в состоянии отчаяния после смерти детей, так что я не жду в эти месяцы хорошего влияния на Лизу. Саша был у них — помог; *Герцен* пробудет дольше, чем думал,— всё лучше. А к весне и я подъеду, и для Лизы самый лучший помощник — Тата. Недавно получил от нее письмо, — что это за мягкое, доброе, светлое созданье! Под влиянием этого доброго, любящего взгляда Лиза должна сделаться сама собой.

Ну! за сим прощайте. Пора на почту. И то уже заболтался и не прочел ни одних «Москов⟨ских⟩ ведомостей», а мне их еще 14 перечесть, да 4 «Соврем⟨енные⟩ летописи», да 4 «Дня», да 20 «Инвалидов» и все это, чтоб сварганить маленькую смесь (что́ вовсе не моего ума дело)[5]. Кстати, в том № «Кол⟨окола⟩» будет не моя, а статья NN, и сам не знаю чья, из России, просто прелесть как пробирательна, под заглавием: «Освобождение крестьян и польское восстание»[6]. Склоняю колени перед этим новым неизвестным; хорошо, кабы побольше подобных.

На какой же вы квартире? Всё на той же?

[1] Огарев имеет в виду Е. И. Утина (см. примеч. 5 к предыдущему письму). О каких соотечественниках, которые должны были оставить у Утина письмо Огарева к Герцену, идет речь, неизвестно.

[2] *Душенька* — сестра Е. В. Салиас.

[3] См. примеч. 2 к письму № 25.

[4] Лиза Герцен во время болезни находилась на попечении Е. В. Салиас.

[5] Речь идет об отделе «Смесь» в *л.* 194 «Колокола», от 1 февраля 1865 г., составленном на основании сведений, почерпнутых из русских газет.

[6] Статья «Освобождение крестьян в России и польский вопрос», напечатанная в «Колоколе» (*лл.* 194 и 195, от 1 февраля и 1 марта 1865 г.).

30

11 июня ⟨1865 г.⟩. Boissière

Мой добрый, старый друг, как же я виноват, что так долго не пишу вам после вашего письма и вашего сына?[1] Какая-то усталь напала, «мозги не шевелятся». Наконец самому это состояние делается противно, и хочется прервать молчание, которое завелось между нами с тех пор, как я уехал сюда. Что же сказать вам? Что край здесь очень хорош? — это вы и без меня знаете. И сад наш очень хорош, и дом тоже. Здоровье мое плохо — это правда, хуже чем в Лондоне, так что даже мешает порядком работать. Но к этому можно привыкнуть, распорядиться временем так, чтоб лучше работалось; стало, и распространяться об этом нечего. Лучше скажу вам, что дети все съехались и что я ими очень доволен. Они все трое (т. е. Саша, Тата и Ольга) добрый и неглупый народ. Саша много работает в науке, Тата — в живописи; Ольга еще не сложилась и ленива, но больше работает в музыке. Лиза моя становится ужасно умна, так что я иной раз не могу понять, откуда ей что́ в голову приходит, но зато любит и пошалить.

Дженни я неделю как не видал; авось он приедет сегодня. Я к нему не ездил, потому что далеко и боюсь им помешаю, а сам сконфужусь (потому что стал ужасно дик в последнее время)[2]. Впрочем, в первое свиданье я не сконфузился и, кажется, произвел то впечатление, которое было естественно, т. е. впечатление старого друга. Она мне показалась чрезвычайно милым и добрым ребенком. Внутренно я не так рад счастью Дженни, как бы мог быть в иные годы. Мне кажется, что это счастье всегда связывает жизнь по ногам и рукам так, что самым серьезным сторонам помешает. Впрочем, я ему этого не сказал; успеет узнать! Не я пущу в его мед каплю яда. Мне кажется, что ему теперь очень хорошо жить, и мне от этого будто весело, и тревожить его ничем не хочется.

Что же еще вам сказать, мой старый друг? Да, видно пора кончить на этот раз. Получили ли вы № 197 «К⟨олокол⟩а»? На днях вышлется 198-й.

Крепко жму вам руку.

Нат⟨али⟩ вам кланяется, Гер⟨цен⟩ тоже.

Прощайте пока! Теперь не стану уже так долго молчать.

Ваш О г а р е в

[1] Это — первое письмо Огарева к Салиас после переселения в Швейцарию.

[2] Е. А. Салиас в это время жил в окрестностях Женевы с молоденькой француженкой, которую он увез от нелюбимого ею мужа.

31

5 октября ⟨1865 г.⟩

Долго же не отвечал я вам на ваше письмо, мой милый, старый друг! Причины на это никакой не было, кроме какой-то лени и внутренней скуки. Лиза и Нат⟨али⟩ уехали в Монтрё. Я видел ваше отношение к Лизе, ибо иногда все подмечаю исподтишка, и потому вы поймете, что для меня отсутствие Лизы очень душецарапательно. А потом как-то нездоровилось. Теперь я опять взошел в свою колею и даже, кажется, здоровею, несмотря на все мелочные неприятности женевской жизни. Кстати, один из поводов к неприятностям это Серно-С⟨оловьевич⟩ младший (Александр), который поврежденный и продолжает сумасшествовать[1]. Содержать его решительно нет никакой возможности, помимо коллекты, а коллекта в Женеве невозможна. Если б вам удалось с знакомых русских стянуть для этого дела сколько возможно денег, то присылайте на имя Гер⟨цена⟩ или мне. Гер⟨цену⟩ одному делать из своего кармана жертвы на все стороны становится невозможно. Мой карман равен 0. Если вы выхлопочете долг Ж⟨енни⟩[2], о котором напишу на последней странице этого письма, то и я свою лепту внесу ради памяти старшего С⟨ерно⟩-С⟨оловьевича⟩, которого я много любил или люблю. А теперь я совершенно несостоятелен. Вексель или расписку Ж⟨енни⟩ искал, но не нашел еще, да вряд ли найду, а искание в бумагах для меня вызов на нервный припадок.

С вашим мнением о «Колоколе» далеко не согласен, друг мой, — и знаете ли, что́ мне кажется? — что вы его вовсе не читаете. Не сердитесь за эту заметку, — она невольно пришла в голову, но далее только время покажет и настоящие отношения «Колок⟨ола⟩» и ту колею, форму, в которую он постепенно должен войти и которая ему естественна.

Как же ваше здоровье? Холерина — дело легко проходящее. Но что же такое с Женни, что ему даже пиявки ставили? Напишите, что и как, я хочу знать, а в особенности, как он теперь.

О Жорике ⟨?⟩ Лизе напишу или скажу, ибо надеюсь сам скоро на день-другой съездить. Она ко мне чрезвычайно мило пишет, хочет повидаться со мной и с Татой и с Ольгой, которая приехала теперь на ваканции, — много развилась, выросла в короткое время чрезвычайно, но ребяческий

элемент в ней еще преобладает, хотя она и начала хорошо учиться. Лиза ходит в школу в Монтрё.

Спасибо вам за поклон Тате и ваше мнение о ней. Это одно из существ, которые для меня всего дороже, это одна из самых светлых и гуманных натур, какие я знавал в жизни. Ее действительная, серьезная любовь к Лизе — уже одна сближает меня с ней, кроме всех других хороших сторон ее натуры.

Гер⟨цен⟩ и Тата жмут вам руки, и я вас братски обнимаю и засим кончаю письмо и перехожу к quasi официальной записке.

Жму руку Женни.

[1] А. А. Серно-Соловьевич страдал тяжелой формой душевного расстройства. Эмигранты пытались организовать сбор средств в его пользу («коллекта» в письме Огарева), но вследствие тяжелого материального положения их самих сбор этот был явно недостаточным.

[2] Речь идет о деньгах, взятых у Огарева взаймы Е. А. Салиасом.

32

Genève. Petit Lancy, maison Dunoyer.
6-го ноября ⟨1867 г.⟩

Третьего дня вечером получил я ваше печальное письмо, мой старый друг[1]. Вот оно — черед-то выходит за младшими! А я вот, несмотря на болезнь, живу здоровехонько — так что если б можно было в Версаль придти пешком, я бы к вам пришел (а ездить трудно).

Воображаю положение вашего отца и горесть Душеньки. Напомните ей обо мне и крепко пожмите руку, если она позволит.

Герц⟨ен⟩у пишу сегодня в Ниццу, где он с Татой, Нат⟨али⟩ и Лизой. Лиза выросла, поумнела и плавает, как рыба. Давно я ее не видал! Трудность передвижения ужасно мешает.

Я тоже давно сбирался к вам писать, мой старый друг, но, как следует русскому человеку,— все сбирался и только. Авось ли мы теперь хоть возобновим переписку.

Где же Женни, где Маша? Почему вы одна?

«Колокол» будет с 1-го января выходить по-французски, с русским прибавлением. Работы довольно. Да без работы плохо бы приходилось. Только это и поддерживает.

Вот все, что могу сообщить вам нового. Остальные новости вы сами знаете и знаете то, что утешительного ничего нет.

Крепко жму вам руку, мой старый друг, и глубоко разделяю ваше горе.

Пишите же.

Ваш Н. О г а р е в

[1] Это письмо Салиас к Огареву неизвестно. В нем сообщалось о смерти младшей из сестер Сухово-Кобылиных — Софьи Васильевны, художницы.

ПИСЬМА К РАЗНЫМ ЛИЦАМ
1839—1869 гг.

ПИСЬМА ОГАРЕВА к Н. В. АЛЬБЕРТИНИ, ДЖУЗЕППЕ МАЦЦИНИ, ДЖ. СТЮАРТУ МИЛЛЮ, Н. А. МИЛЮТИНУ, НЕИЗВЕСТНОМУ, М. Л. ОГАРЕВОЙ, РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «GIOVENTÙ», Евд. В. СУХОВО-КОБЫЛИНОЙ

ИЗ ПИСЕМ К М. Л. ОГАРЕВОЙ

Публикация Е. Рудницкой

Публикуемые выдержки из писем Огарева к М. Л. Огаревой извлечены из его обширного эпистолярного дневника за март—апрель 1839 г., адресованного жене. Хранится этот дневник в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинском доме). До сих пор из него были опубликованы всего два письма да и то не полностью: письмо от 21 марта и часть письма от 13—14 апреля («Вестник Европы», 1907, № 10). Написаны все они в рязанском имении Огарева — Верхний Белоомут; Огарев приехал туда, чтобы решить вопрос о дальнейшей судьбе принадлежавших ему крепостных крестьян.

После смерти отца в ноябре 1838 г. Огарев оказался владельцем около 3000 «ревизских душ» крестьян. Вопрос о том, как распорядиться их дальнейшим устройством, стал перед ним со всей остротой. В поисках более быстрого и радикального решения вопроса он пришел к мысли сначала освободить, на основании закона 1803 г. «О вольных хлебопашцах», крестьян своего самого большого рязанского имения — Верхний Белоомут (1820 ревизских душ), с тем, чтобы полученные при выкупе их средства обратить на устройство малоземельных крестьян своих других имений (Орловского — 521 ревизская душа и Пензенского — 500 ревизских душ).

Это бывшее «государево дворцовое ловецкое село», расположенное недалеко от Рязани, на реке Оке, было пожаловано Екатериной II камер-юнкеру и лейб-гвардии Преображенского полка капитан-поручику Михаилу Баскакову в благодарность за помощь при «восшествии на престол». Михаил Баскаков — дядя матери Огарева, Елизаветы Ивановны Баскаковой. В этом имении были лучшие в Рязанской губернии заливные луга, прекрасный строевой лес, выгонная и усадебная земля, рыбные ловли и прочие угодия — всего 8127 десятин.

К концу тридцатых годов XIX в. процесс классового расслоения среди крепостных крестьян огаревской вотчины зашел уже очень далеко. Выделившаяся зажиточная верхушка, уплачивая за бедняков все повинности, фактически распоряжалась их надельными землями и угодьями. Деятельность этих крестьянских воротил простиралась далеко за пределы села. Как указывает рязанский этнограф В. Влазнев, Огаревы «многих своих крестьян принимали на службу по винно-откупному делу и платили им большое жалованье, а некоторые крепостные на имя Огаревых заключали контракты по откупу, подрядам и другим делам, вследствие чего многие крепостные приобрели большое состояние и были откупщиками сами» («Труды Рязанской ученой археографической комиссии», т. V, вып. 2, 1894, стр. 122). Таким образом, некоторым из крестьян огаревской вотчины удавалось обходить ограничения крепостного права; оставаясь крепостными, они становились владельцами огромных состояний. Иные из них, еще при жизни Платона Богдановича Огарева, добились (вероятно за большие суммы) выкупа из крепостного состояния. Несколько семей, в том числе дворовых людей, освободил сам Николай Платонович, ставший

формально владельцем Верхнего Белоомута с момента своего совершеннолетия. Задумав после смерти отца освободить всех крестьян Рязанского поместья, Огарев решил применить тот из вариантов закона «О вольных хлебопашцах», на основании которого земля распределялась между крестьянами по числу душ (другой вариант закона — по количеству выкупа, внесенного каждым). Огарев полагал, что общинное устройство при обилии земли и богатых природных условиях будет гарантией обеспеченного существования освобожденных крестьян.

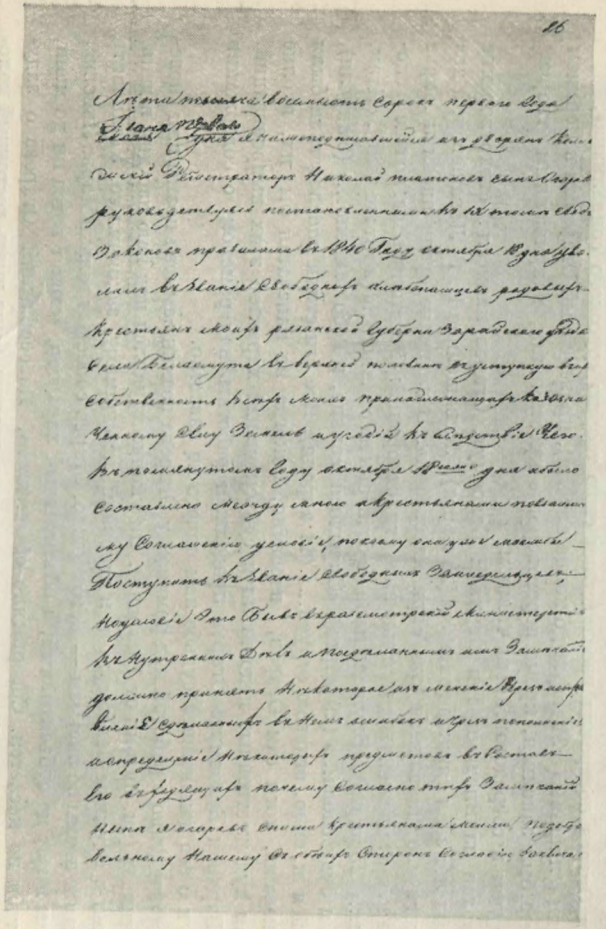
Пользуясь в период ссылки предоставленным ему правом посещать свои имения, расположенные в других губерниях, он и отправился с этим планом в марте 1839 г. из Пензы в Рязань. Вместе с ним поехала Марья Львовна. Она намеревалась побывать в Москве, а если нужно будет — и в Петербурге, чтобы ускорить начатые Огаревым (не без ее давления) в январе 1839 г. хлопоты о разрешении ему переехать на службу в Москву, т. е. возвратиться из ссылки. По дороге Огаревы заехали во Владимир к Герцену. Свидание состоялось 15 марта. Это была первая встреча друзей после четырех лет ссылки. Об этой встрече Герцен рассказал в «Былом и думах», как об одном из самых поэтических моментов их дружбы. Еще во Владимире Огарев написал стихотворение «Марии, Александру и Наташе», посвященное встрече, а несколькими днями спустя, уже в Верхнем Белоомуте,— стихотворение в прозе «Три мгновения».

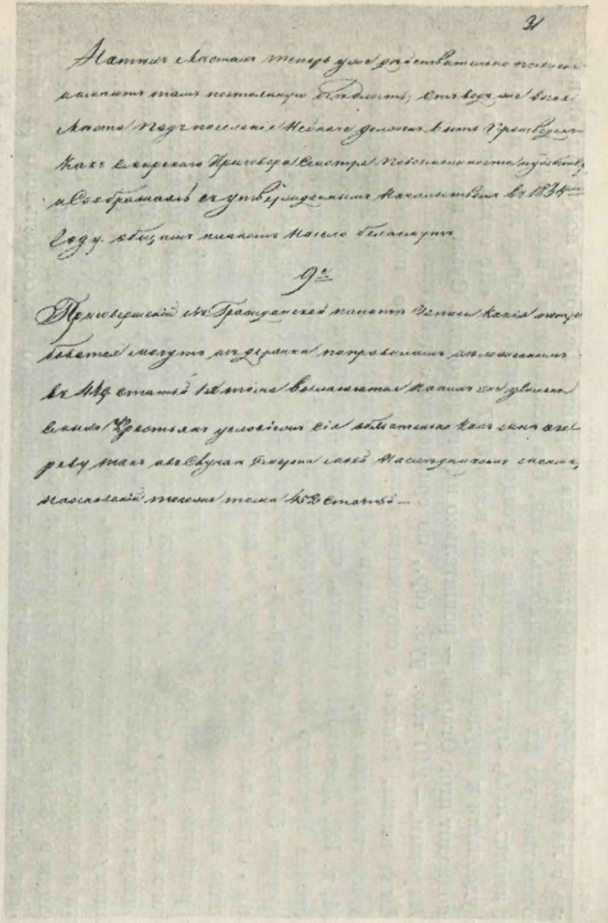
Выехав вместе из Владимира, Огарев с женой расстались по дороге. По приезде в Верхний Белоомут Огарев сразу же начал писать к Марье Львовне (иногда он брался за перо по нескольку раз в день), описывая ей все свои дела, сомнения, творческие замыслы, а также уделяя много места философски-нравственным рассуждениям, обращенным к Марье Львовне: в это время в отношениях Огарева с женой назревал кризис, вызванный все более очевидным равнодушием Марьи Львовны к его идейным устремлениям.

* * *

Несомненный интерес эти письма представляют в той части, где речь идет об освобождении белоомутских крестьян, подготовлявшемся Огаревым. В Верхнем Белоомуте, где Огарев провел несколько месяцев еще в 1837 г., он впервые практически столкнулся с жизнью крепостного крестьянства, с хозяйственной и общественной организацией деревни, с сущностью русской поземельной общины. Огарев глубоко проник в характер экономических взаимоотношений белоомутских крестьян и понял всю сложность предпринимаемого им дела, усугублявшуюся, как уже не раз отмечали исследователи, упорным противодействием жены. Настояния Марьи Львовны привели к тому, что денежный выкуп, вообще обычный в то время, становился непременным исходным условием освобождения крестьян Белоомута. Но этим далеко не исчерпывались трудности, возникавшие при осуществлении задуманного Огаревым плана. Приехав в Верхний Белоомут с намерением освободить всех белоомутских крестьян и убедившись, что обнищание большинства зашло уже далеко, Огарев размышлял над тем, освободить ли десяток самых зажиточных семейств, чтобы, заведя фабрики, использовать полученные деньги на улучшение благосостояния бедняков, или же за определенный выкуп отпустить на волю всех крестьян села Верхний Белоомут? Огарев склонялся ко второму решению, не снимавшему, впрочем, глубоких противоречий, скрытых и в замысле и в способах осуществления проекта. Ему было ясно, что при том глубоком экономическом расслоении, которое произошло в среде белоомутских крестьян, бедняцкое большинство не сможет внести причитающуюся сумму выкупа и неизбежно попадет в кабалу к богатеям, которые за них заплатят. Возникал вопрос, как обеспечить бедняков? Огарев полагал, что выход возможен, если оградить интересы бедняков, с одной стороны, формально-правовым путем, обязав их сохранить общинное землевладение и самоуправление, а с другой — выделить в подворную наследственную собственность луговые угодья, представлявшие главное богатство Верхнего Белоомута. Такой договор должен был, на взгляд Огарева, обеспечить бедняцким хозяйствам прочную материальную базу.

Переговоры между Огаревым и крестьянами весной 1839 г. во время его пребывания в Верхнем Белоомуте не закончились. Они продолжались в Москве, куда Огарев





ПРОЕКТ ДОГОВОРА ОГАРЕВА ОТ 1-го ИЮНЯ 1841 г. С КРЕСТЬЯНАМИ СЕЛА ВЕРХНИЙ БЕЛООМУТ, ОТПУЩЕННЫМИ ИМ НА ВОЛЮ

Копия неизвестной рукой. Листы первый и последний

Центральный литературный архив, Москва

переехал летом 1839 г., причем ему приходилось все так же преодолевать упорное сопротивление жены. Договор на изложенных выше началах был заключен в октябре 1840 г. и после долгих бюрократических оттяжек утвержден в 1842 г. царем.

Однако окончательно договор вошел в силу только в 1846 г., когда была совершена «запись» в Рязанской гражданской палате.

Вместе с личной свободой крестьяне села Верхний Белоомут получили «в вечную и потомственную их собственность» все, без исключения, находившиеся в их владении земли: леса, луга, выгонные и усадебные земли, рыбные ловли и прочие угодья с удобными и неудобными местами, всего 8127 десятин. «Не оставляя из всего этого,— подводит итог Огарев,— решительно ничего за собой». Сумма выкупа, назначенная Огаревым,— 240 тыс. руб. сер., по сравнению с действительной стоимостью земель, была низка. Копия с отпускного акта, содержащего подробные расчеты Огарева с крестьянами, опубликована в «Трудах Рязанской ученой архивной комиссии», 1894, т. IX. Достаточно сказать, что десять лет спустя после своего освобождения крестьяне Верхнего Белоомута, продав лишь $^1/_5$ часть принадлежавшего им леса, получили 550 тыс. руб. сер., т. е. почти в 2,5 раза больше той суммы, какую причиталось с них получить Огареву за всю землю и за все угодья.

Будущее показало Огареву утопичность его надежд на гармоническое хозяйственное развитие Верхнего Белоомута. Глубокое проникновение в хозяйственную жизнь этого села дало Огареву материал для суждений о русской поземельной общине. Подводя итоги своего белоомутского эксперимента, Огарев в 1847 г. характеризовал общину как «формальное равенство», как «равенство рабства». Опыт Верхнего Белоомута и последующие годы хозяйственной деятельности в русской деревне вплоть до эмиграции в 1856 г. привели Огарева к убеждению, что русская крестьянская поземельная община является тормозом экономического и социального развития России. Дальнейшая эволюция взглядов Огарева привела его, как и Герцена, к вере в общину как в социалистическую форму народного самоустройства. На этой вере Герцен и Огарев построили впоследствии свою теорию «русского социализма».

Месяц с лишним (с 21 марта до конца апреля), проведенный Огаревым в Верхнем Белоомуте, был заполнен, кроме переговоров с крестьянами, напряженным творческим трудом и сосредоточенным чтением.

Приехав из Владимира в Верхний Белоомут, Огарев написал стихотворение «Я с юных лет знал тяжкие гоненья» (23 марта), посвященное Е. Г. Левашевой, а два дня спустя упоминавшиеся уже «Три мгновения». В дневнике среди писем к Марье Львовне за этот месяц находятся еще пять стихотворений: «Расстались мы, но еще в сновидении...» (25 марта), «Блуждал народ в безверьи и сомненьи...» (в тот же день), «Итак, с тобой я буду снова...» (29 марта), «Скрылося солнце, и небо темнело...» (5 апреля), «Ну, лейся ж, вино, огневою струей...» (11 апреля). Все эти стихи впоследствии были опубликованы, хотя сам Огарев, вероятно, никогда не напечатал бы их, вполне сознавая художественные недостатки и субъективный характер этих импровизаций.

В Верхнем Белоомуте Огарев продолжал работать над романом; о содержании романа и о его дальнейшей судьбе нам ничего не известно.

Одновременно с работой над романом у Огарева возник замысел поэмы или «повести в стихах» (см. письмо от 7 апреля). Он упорно трудился над нею изо дня в день, пока жил в Верхнем Белоомуте и, в основном, повидимому, закончил ее. Установить содержание поэмы по письмам — невозможно. Огарев сообщает только Марье Львовне, что поэма имеет не субъективный, а объективный характер, «сюжет вовсе ни до меня, ни до тебя не касается. Совершенно объективен». Из сообщений Огарева о задуманной поэме можно сделать еще вывод, что она должна была иметь восточный колорит. Судьба этого произведения неизвестна.

Публикуемые выдержки составляют небольшую, но наиболее интересную часть эпистолярного дневника Огарева за март — апрель 1839 г.; они содержат новые данные для суждения о том, чем был занят Огарев в самый канун возвращения из ссылки. Они дают возможность представить себе круг умственных и литературных интересов Огарева, его творческую работу и, в первую очередь, предпринятую им подготовку к освобождению крепостных крестьян.

1

⟨Белоомут.⟩ 23 марта ⟨1839 г.⟩

...Потом был у меня с визитом староста с Нижней половины. Ты его знаешь. Он больше часу говорил без умолку. Смотрели мы планы и разговаривали о межеванье и о новом соседе Алифанове[1], который купил тепловских крестьян и в наш мирный Белоомут занес воинскую удаль выслужившегося солдата. Нечего и говорить, что это время было проведено глупо и скучно. Потом я стал читать Гегеля (Barchou de Penhoên)[2] и прочел весь очерк системы. Много тут сходного с моими мыслями. Удивлялся я строгим логическим выводам Maestro философии. Но холоден

СЕЛЬСКИЙ БАЗАР
Сепия А. Ф. Чернышева, 1851 г.
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

показался он мне. В его мире нет любви. А без любви что же за мир? Потом я написал стихи Е. Г. Л.[3] и со временем их тебе доставлю. Тут сердце согрелось. Какой-то неземной мир пролетел надо мной, и вот я стал писать к тебе. Надо было согреться после холодного Гегеля, чтоб говорить с милой.

2

⟨Белоомут.⟩ 27 марта ⟨1839 г.⟩

Вечером у меня был священник с Нижней половины — отец Надеждина[4]. Это посещение мне растрогало душу. Старик, простой мужик, необразованный человек, но умный старик и благородно чудный человек в иных случаях, т. е. в денежных. Трудами наживал он с малолетства, не хочет пользоваться незаслуженным, а между тем несчастье гнетет его.

Во всю мою жизнь, сказал он мне, не знал минуты радости, и горько заплакал, и я заплакал. Вообрази себе этого седого старика, большого роста, с седою бородой, резкими чертами лица (сын ужасно похож на него), который весь век провел в суровых работах, но так удручен горем, что плачет, как ребенок,— это ужасно. Стал он мне рассказывать о сыне, о том, как пострадал он, стал плакать, говорить, как он, отец, чуть-чуть тогда не умер. О! как это меня встревожило. Вспомнил я моего отца, вспомнил, как он должен был страдать во время оно, — и я заплакал.

Стал он мне потом рассказывать, как умер отец Василий, его зять, помнишь — мы у него были в гостях — стал просить о своих внучатах, чтоб я не оставил их в случае нужды. О! ты не можешь себе представить, какое влияние произвела на меня эта сцена. Когда этот старик со мной прощался, он хотел поцеловать у меня руку. Лицо мое вспыхнуло, и сердце забилось. Мне можно бы целовать у тебя руку, старик, ты дожил до седин, дожил чисто, как только твое образование позволяло тебе, — а я что? Много ли я еще выстрадал? Доставал ли я хлеб в поте лица? Рыдал ли я над гробом сына и над несчастием другого сына — над потерею единственных подпор моей старости? — А я еще подчас ропщу на свою судьбу!.. О! как легко осудить человека! Так же легко, как трудно быть хорошим человеком! Нет, я не виню Надеждина. Много, кажется, говорили про него ложного. А тому, у кого есть отец, отец, которого он любит, трудно не упасть духом в беде, которая этому отцу может отворить двери в могилу.

3

⟨Белоомут.⟩ 8 час. утра 28 числа ⟨марта 1839 г.⟩

...Я теперь пишу свой роман, но на минуту оставил его, чтоб не забыть сказать тебе слова старика Надеждина: берегись около воды — замочишься; берегись около огня — обожжешься; берегись около царя — голова слетит.

4

Белоомут. 3-го апреля ⟨1839 г.⟩

...Сейчас я писал преудивительную просьбу на Алифанова губернатору. Вообрази, этот негодяй в церкви избил Дему[5] чуть не до полусмерти, оттого, что не любит видеть Дему в церкви.

...Говорят, Эрн[6] ждет моего ответа в Москве. Нельзя ли его отыскать через Луизу Иван⟨овну⟩[7] или N.[8] и сказать ему, что я так скоро не могу еще ничего сказать, и что я напишу письмо об управлении моим именьем к А⟨лександру⟩[9], которое увидев, он и скажет да или нет.

5

⟨Белоомут.⟩ 4 апреля ⟨1839 г.⟩

11½ часов. Сейчас были у меня старики из крестьян. Они узнали о моем большом намерении[10] и приходили благодарить и кланялись в ноги, а мне было страх совестно, особливо когда 90-летний Набатов, который едва на ногах стоит, упал в землю передо мной — молокососом. Я вспыхнул, и мороз пробежал по коже... Они обещаются хлопотать, чтоб дело кончилось. Из этого следует только то, что 20 т., о которых я говорил, у меня теперь не будет, а надо дом продать. Скажи Сысонину[11], что я его за 30 т. асс. уступаю.

9 часов вечера

Всё ездил с визитами. Скучно ужасно. Везде все говорят об Алифанове и об Деме. Точно Пенза: всё сплетни. Попов это ужасно занимает. Познакомился с здешним благочинным, который протопоп на Нижней половине.

Он говорит точно семинарист риторического класса. Один только визит к старику Набатову был мне по сердцу. Этому человеку 80 лет. Он живет, как и прежде, с своими внучками и любуется на них. Читает церковные книги, наделяет нищих из доходов, что получает от маленького торга скотом — и все его благословляют. Знаешь ли, что эти люди достойны быть выставлены в романе. Гоголя старосветские помещики не большего заслуживают внимания. Да они и похожи на них. Набатов прожил со своею женою 60 лет душа в душу. Эти картины простого скромного быта, право, лучше всех картин Бальзака. Его 30-летние женщины ничего не значат против простой старухи, которая безмятежно прожила 80 лет с полной любовью к ближнему. Да! она лучше всех этих раздушенных 30-летних дам с их пышными будуарами и изысканным разговором. Что они ни делай, все они холодные эгоистки только.— Я выдумал удивительный способ окончить *большое дело*, и оно непременно таким образом состоится.

6

⟨Белоомут.⟩ Апреля 6-го ⟨1839 г.⟩

Сидел у меня с час старик Надеждин. Этот человек в самом деле очень несчастен. Сын далеко, зять умер, жена пьяница. Он беспрерывно плачет и всегда наводит на меня печаль. Но я этой печали не боюсь — она происходит от сострадания; стало быть, в ней нет эгоистического чувства...

10 час. вечера

После обеда я спал мертвым сном целый час. Не брани меня. Это случилось не нарочно. Я стал читать «L'Espérance»*[12]. Прочел целое посвящение à M-me la baronne de Verry**. Тут между справедливыми нападками на современную литературу проглядывает такая напыщенность и гордость, что это мне не понравилось. Потом следует предисловие. Тут такая претензия на высокий ум и столько фраз, которых мысли не в состоянии выдержать философской критики, что я заснул, кажется, на 3-й странице. Проснулся и не знал, что начать. Хватался за мою статью о христианстве— нейдет на лад. Хватался за «Кота Мурра»[13]—не читается. Принялся продолжать мой роман и писал много и устал. А вместе с тем какое-то грустное расположение ложилось на душу. Какие-то воспоминания о прошедшем, исполненном прелести, возникали в ней...

7

7-го апреля ⟨1839 г.⟩. Полночь

Мария, дитя мое. С самого утра я еще не сказал тебе ни слова. Не сердись на меня. Вот тебе повесть целого дня. Я провел его и хорошо и дурно. Но скорей хорошо, чем дурно. Как скоро отправил к тебе письмо, принялся читать «Ускока». Он очень хорош, очень хорош. Рассказ превосходен. Этот рассказ относительно искусства выше гораздо ее философских романов. Он может стать наряду с «Maîtres Mosaïstes»***[14]. В романах философических много натянутых мыслей и неестественных лиц; часто видно, как действующее лицо подводится под идею, и это портит эффект. А «Ускок» не имеет претензий. Тут все лица развиты сообразно своему характеру и выдержаны. Но странную идею породил во мне «Ускок». Какое⟨-то⟩ стремление видеть страны Востока. Такой каприз ориентализма, что я не могу дать ни тебе, ни себе отчета. Всё дальше и дальше—взошла мне в голову мысль писать поэму и таким разме-

* «Надежда» (франц.).
** Баронессе де Верри (франц.).
*** «Мастерами-мозаичистами» (франц.).

ром, каким еще поэмы не были писаны, но который, мне кажется, удивительно свойственен русскому языку. К сожалению, я так давно не читал ни одного курса просодии, что не могу назвать этот размер. Он мне понятен без названия (новое доказательство, что терминология ничего не прибавляет к науке). Не стану рассказывать тебе сюжета; лучше узнаешь, когда прочтешь. А я целый день писал эту поэму, т. е. кроме пяти часов, из которых 2 были употреблены на «Ускока», а 3 на обед, сон и визиты к Каширину[15] и Карташеву[16]. Вот почему мое сегодняшнее письмо к тебе начинается завтра, т. е. ровно в полночь. Маша, не сердись. Ведь каждый стих есть только мысль, и каждая посвящена тебе — следственно, каждый посвящен тебе, а потому и вся поэма посвятится тебе. Впрочем, сюжет вовсе ни до меня, ни до тебя не касается. Совершенно объективен. А кстати, о Каширине и Карташеве. С наших последних переговоров за мной еще более ухаживают и оказывают удивительную благодарность и уважение. Дитя я или добрый человек, не знаю, а это меня радует.—Еще скажу тебе, что у меня новая фантазия: я очень часто вспоминаю, как ты воротилась с Кавказа, и это воспоминание всегда меня сильно трогает. Но мне часто кажется, что вот, когда дверь отворится, ты взойдешь, а сердце забьется и— покажется голова Алеши, завитая на манер цирюльничьих вывесок. А я вздохну и улыбнусь. Эпиграф моей поэмы, кажется, из Жан-Поля: «Es steht eine Eiche im Norden, träumt an eine Palme, die weit»*[17].

8

⟨Белоомут.⟩ 8 апреля ⟨1839 г.⟩

... Ничего не мог делать. Поэма не писалась, роман не писался. «Оберман»[18] мне показался скучным и неестественным. Я стал ходить, и тысяча нелепостей одна другой страшнее приходили мне в голову и мучили меня. Я хотел тотчас схватить перо и писать к тебе и остановился. Зачем говорить тебе о том, что́ человек чувствует в минуту печальную; зачем туманить твою жизнь скорбными грезами? Я вспомнил мои последние 4 стиха к памяти Лев⟨ашевой⟩, стал молиться и отказался от эгоистического удовольствия записывать, что чувствуешь, хотя бы это и очень растревожило других. Тут пришел Петр Ив⟨анович⟩[19]. Я думал, что он мне свыше был послан для спасения. В простом разговоре забыл я скорбь и потом мог переправить несколько стихов из поэмы и написать несколько строк к тебе. Несколько строк, потому что я, несмотря на то, что рано, сейчас лягу спать, чтоб опять не придти в прежнее нестерпимое расположение духа и потому, что спать хочется. До завтра, Маша! А Оберман и Майер[20] ужасно похожи друг на друга, а N. S.[21] также. Это поэзия безнадежности. Бог с ней, не хочу. Верить хочу.

9

⟨Белоомут.⟩ 9 апр⟨еля 1839 г.⟩ 11 час. утра

Здравствуй, Маша! Прошла скорбь отчаянная. Я сегодня опять спокоен духом, только тихая грусть осталась в сердце. Да это уж не ново; это только значит, что я в своей тарелке. Проснувшись часов в 7, я продолжал поэму; право, есть очень хорошие стихи; я постараюсь переработать дурные ⟨...⟩ Я хочу придать другую физиономию старинному предписанию Буало: vingt fois corrigez votre ouvrage**. Но Буало холоднее смотрел на вещи, чем я. Я его не люблю. Мы только к этой мысли пришли с разных сторон и, может быть, очень удивились нежданной встрече.

Полночь. Еще несколько слов хочу сказать Марии. Теперь я все писал поэму (или повесть в стихах). Первая глава подходит к концу. Мне ка-

* «Стоит на севере дуб, мечтает о далекой пальме» (нем.).
** двадцать раз исправьте свое сочинение (франц.).

КУЛАК
Рисунок П. М. Боклевского, 1860-е гг.
Исторический музей, Москва

жется, будто недурно. Когда увидимся, прочтем. Если ты и N.[22] скажете, что дурно — тогда сожгу. Только время будет потеряно. Да ведь писать было весело; стало быть, труд награжден. А мне хорошая минута теперь дороже, чем когда-нибудь. Прежде ты у меня была — ты моя лучшая поэма; так я много мог начесть прекрасных минут. А теперь она мне очень дорога. Минута занятия — одна минута спокойствия, когда горе забывается. Это будто стакан вина, который веселит, а там снова тоска. И в самом деле, я иногда чувствую, что мои поэтические наслаждения натянуты, что в них я ищу забытья и всеми ⟨средствами⟩ поддерживаю душу на какой-то искусственной высоте.

10-го или 11-го апреля. Час ночи

Поздно я принимаюсь тебе писать сегодня, Мария. Давеча имел маленькую неприятность, т. е. неудачу в большом предприятии, но об этом поговорим после ⟨...⟩ Но главное дело, отчего я до сих пор не писал, это моя поэма. Первая песнь кончена. Мне пока нравится, не знаю, что̀ другие скажут ⟨...⟩ А между тем я в самом деле теперь так устал, что ничего не могу порядочного сказать: весь выписался.

10

⟨Белоомут.⟩ 11 апреля ⟨1839 г.⟩. 2 час. пополудни

Здравствуй, Меричка! Сейчас приехал, ездил верхом, смотрел Оку, еще по ней проехать можно. Завтра пошлю к тебе Алешу; дай мне ответ на следующий вопрос. Поговори об этом с N. Но больше ни с кем не

говори. Вот в чем дело: мужики никак не могут заплатить 800 000 асс. мне и 300 т. в Совет. А предлагают мне 500 000 асс. и 300 т. в Совет, и все расходы их. Я думал, что они врут и притворяются. Сказал им, что я никак не могу согласиться. Взял окладную книгу. Вот, что я начел, полагая везде излишки в мою пользу; стало, они собственно и такой суммы не могут заплатить, а будут принуждены часть занять.

Я распределяю капиталы, и след⟨овательно⟩ возможность заплатить выкуп по количеству оброка.

127 семейств платят оброку по 43 ⟨р. с⟩ семейства

		{всегда с недоимкой, нищие за выкуп ничего не дадут
42	21 р. 50 к.	
89	64 р. 50 к.	полагать можно за выкуп 8 000
78	86	15 000
63	107 до 150	150 000
55	150—215	220 000
22	215—250	180 000
14	250—300	170 000
8	300—350	160 000
3	350—450	70 000
4	700—900	100 000
		872 000⟨!⟩

Это, как видишь, со всевозможными натяжками. Скорей разрешите, что мне делать. Если я отпущу 10 семейств, то я могу получить 200 000, с которых 8000 доходу и 32 000 оброку с остальных. В Совет остается платить в продолжение 25 лет по 21 000; стало, наличный доход за вычетом из 40 000 — 21 000 = 19 000. Если же я всех отпущу за 500 000, то казенными процентами чистого дохода 20 000. Что полезнее, что благороднее, что добрее, что чище? Скорей отвечайте. Это меня мучит. Я, может, чего-нибудь не досматриваю. Скорей отвечайте, ради бога. Если я отпущу, то будет ли это святое дело? Если я не отпущу, то буду ли я каналья? — Скорей отвечайте. Это меня мучит. Скажи N., что он ошибается, если думает, что рано отпускать, потому что надо прежде поправить бедных. Я это думал, но это ложь. На воле скорей поправятся, к тому же у свободн⟨ых⟩ хлебопашцев повинностей 2—50 с души в год и только.— Так отвечайте же по совести. Ты — по совести, а не по расчетам. N.— по совести, а не по системе. Отвечайте. Никому об этом не сказывай.

Если отпустить, то вот еще расчет. Низовые именья не должны хлопотать о казенных процентах, потому что тогда процентов останется 16 000. Стало, из белоомутского выкупного капитала еще 4000 казен⟨ных⟩ проц⟨ентов⟩ лишних. Тогда я пенз⟨енские⟩ именья устрою, и будь я ничтожный человек, если через 4 года всё не будет выкуплено и через 12 л⟨ет⟩ всё приведено в то положение, к которому клонятся все мои труды.

800 т. ассиг. составляют миллион. 500 т. ассиг. составляют 600 т. 20 т. ассиг. составляют 25 т. А 4 т. ассиг., которые останутся от платежа процентов за пенз⟨енские⟩ именья, составляют 4900 р.

9 час⟨ов⟩ вечера

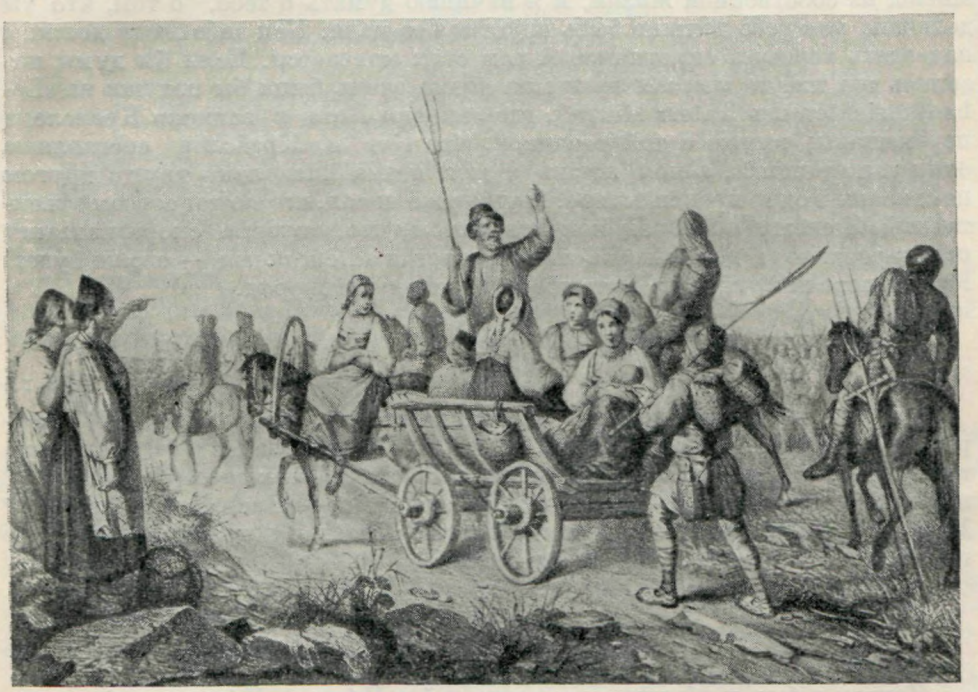
Я сегодня начал вторую главу поэмы. Что-то мне слишком легко пишется. Это заставляет меня сомневаться в достоинстве труда. Мне очень будет жаль времени, если труд этот ничего не стоит. Я бы желал его показать кому-нибудь, чтоб мне сказали да или нет. Но ты знаешь, что попы и Петр Ив⟨анович⟩[23] не великие ценители достоинства литературного

произведения. Тяжело одиночество, Маша. Представь себе музыканта, который бы играл в такой зале, где звук не разносится ⟨более чем?⟩ на два шага, а слушатели сидят далёко, далёко. И если же к тому музыкант сомневается, хорошо он или дурно играет. Вот так и я.

11

⟨Белоомут.⟩ 12 апр⟨еля⟩ 8 час.

...Признаюсь, мне почти всё равно, но я чувствую, что мне пора быть в Москве, и если в самом деле пора, то оно и будет, независимо от людей, действующих pro и contra*.



ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПОКОСА
Автолитография Л. К. Плахова, 1845—1846 гг.
Исторический музей, Москва

Но зачем ты теперь хочешь ехать в Петер⟨бург?⟩Может, оно и не время... А потом я должен один воротиться. Но делай как хочешь, я тебе уж это писал. Что должно быть, то будет. Но не мечи благородной гордости человеческой к ногам сильных. Лучше даль, даль снеговая, чем это... И так уже у меня на душе пятном лежит некоторое послание[24]. Ради бога, pas de prostitution de l'âme**. После неудачи каково будет сознать в душе своей подлость. Ха, ха, ха! Да от этого можно в иной час расшибить голову о камень. Потом же всё это значит скакать в страну лжи за ложным благом ⟨...⟩

Отвечай же мне на вопрос о крестьянах; он меня будет мучить, след⟨ственно⟩ отвечай поскорей. Если да, то присылай бутылку шампанского. Впрочем, и за 500 т. асс. дело состоится не прежде года или двух, а до тех пор я буду в Москве непременно. Мне кажется, что с этим сопряжена необходимость быть в Москве непременно, а если так, то я и буду в Москве.

---

* за и против (лат.).
** только без душевного разврата (франц.).

Святое дело я сделаю, если сделаю. Вот уж это будет доказательство, что благородство во мне не есть абстракт головы, а действительно живет в сердце.

12 апр⟨еля⟩ Полночь.

Когда П⟨етр⟩ И⟨ванович⟩ ушел, я опять принялся писать поэму. И в ней дошел до происшествий души моего героя печальных. И самому стало еще грустнее. Мне уж начинает казаться, что уж и я, так же как он, обижен природой. Что и мне так же тяжело от этого. Его любовь к существу отдаленному я принимаю за свою, потому что и ты от меня далёко. И вот всё ты мелькаешь в воображении. Половина стиха вырвется, а тут явится эпизод из собственной жизни, и я начинаю думать о тебе, о том, что ты делаешь, как тебе должно быть грустно без меня. Как тебе люди должны надоедать вечными сплетнями. А там стих кончается. Если бы думы писались тут же, то моя жизнь и моя поэма очень были бы похожи на «Lebensansichten des Katers Murr»*, где записки Кота и записки Крейслера перемешаны; только с той разницей, что Кот и Крейслер составляют один целый роман, а моя жизнь и моя поэма нисколько друг с другом не связаны в одно происшествие. Я тебе уже писал, что сюжет совсем объективный. Я спешу поскорей кончить, потому что, кажется, скоро настанет разочарование в достоинстве стихов, и тогда adieu, конец — его не будет. Куй железо пока горячо. Вот тебе и русская поговорка.

12

⟨Белоомут.⟩ 13 апр⟨еля 1839 г.⟩

Вот тебе несколько поручений, чтоб не забыть, скажу теперь. 1) Портрет Александра. 2) Crucifix**. 3) Bible traduite par Cahen***[25], если нет, то выпиши. 4) Грамматику польскую и сочинение *Мицкевича* («Dziady»**** и «Крымские сонеты»)[26].—Вот и всё. Да, еще Heine—«Buch der Lieder»***** Какие-то книги ты мне еще присылаешь! Иногда я чувствую большую потребность в романе, еще не известном.

13

⟨Белоомут.⟩ 16 апр⟨еля 1839 г.⟩. 8 час. вечера

Поутру я был у обедни, потом пил чай у П⟨етра⟩ И⟨вановича⟩, потом поправлял и переписывал 2-ю главу поэмы. Потом был в гостях у старика Набатова; потом был на имянинах у Карташева и разговаривал с протопопом. Ты не поверишь, как эти люди еще невежественны. Наконец, я дома. Могу писать к тебе, Маша, душа сильно тоскует. На улицах песни, русские унылые песни. Я отворил окошко. В этих звуках есть что-то родное и такое печальное, что они мне нравятся.

14

⟨Белоомут.⟩ 18-го апр⟨еля 1839 г.⟩

Милая Мери! Как пасмурно сегодня. Верно, мне будет грустно. Если не приедет Ал⟨еша⟩, будет и очень грустно. 5 дней без твоего письма—это несносно. Как скоро будет переезд, пошлю ямщиков.— Как я давно ничего не читаю; только и могу писать. Морошкин[27] сказал бы, что для меня настала эпоха экспансивности и при этом сделал бы жест кулакосжатия

* «Житейские воззрения Кота Мурра» (нем.).
** Распятие (франц.).
*** Библию в переводе Каэна (франц.).
**** «Деды» (польск.).
***** Гейне — «Книгу песен» (нем.).

к себе и кулакоразжатия от себя. Ты его не знала. Это один из тех людей, которые делаются безумными от логических выводов и философско-поэтических метафор, от этого они Европе пророчат полигамию, а их самих давит Эльбрус всей тяжестью своей, когда они на него смотрят. Жалки все эти люди на ходулях. Не так выражается истинное вдохновение. Истинное вдохновение не говорит того, чего нет, а только то, что есть. Так ведется от «Магабгараты»[28] до наших дней. Тут ты найдешь Гомера, которого принцесса везет белье в тележке и находит в тростнике нагого Одиссея — и всё это имеет прелесть высокой наивности. Тут ты найдешь: «Рече и бысть, повеле и создашася»[29]. Найдешь Шекспира и Гёте, и сюда же можно включить

...Простой помещик, добрый барин,
И надпись так его гласит:
. . . . . .Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир [30].

Заметь, что все великие поэты наивны. Шиллер некогда разделил поэзию на сентиментальную и наивную (романтическую и классическую). Мне кажется, это несправедливо. В поэзии наивность и истинность — одно и то же. Наивен Гомер в принцессе-прачке; но наивен и Гёте в Вертере. Гюго гонялся за наивностью, да уж если кто за чем гонится, то это выходит неестественно, даже не наивно. Но к чему я пишу это рассуждение? В таком благоразумном расположении духа имею честь находиться.

15

⟨Белоомут.⟩ 21 апр⟨еля 1839 г.⟩ 10 час. вечера

Завтра еду чем свет. Рад, рад, люблю — вот больше ничего не умею сказать. Я не то что схожу с ума, а просто с ума сошел. И поэма еще не докончена, а я еду. И писать не хочется. Только и знаю, что еду к тебе. Как я упадал духом в последнее время и как я воскрес!

Белинский отчасти прав в том, ⟨что⟩ сказал, отчасти не прав[31]. Il y a du vrai et du faux*.

16

⟨Село Чертково⟩ 26 ⟨мая 1839 г.⟩ 10 час. вечера

...Итак, ты теперь аристократка, ты даже, может быть, желала бы видеть свадьбу ее и⟨мператорского⟩ в⟨еличества⟩. Поздравляю с этой переменой. Да как же ты уживешься с таким плебеем, как я[32]? — О, Маша, прости, я не знаю, что говорю, но мне больно, больно, мне кажется, что всё, что в тебе было доброго, исчезнет, умрет от этого света, который блестит, как снег, и так же холоден. О! больно, больно, Маша, слов нет выразить, как больно. Этой ценой я не хотел бы купить своего прощения. Неужели все благородные чувства были только на языке и круг ничтожных аристократов может погасить в душе всё, что в ней было зажжено богом? Ужасно! О скорей, скорей приезжай, Маша, реши сомненья — сил нет, душа замирает. Ужасно, невыносимо[33]!

[1] *Алифанов — сосед Огарева, владелец села Нижний Белоомут; бывший крестьянин этого села, выслужившийся из солдата до штаб-ротмистра.*

[2] «Histoire de la philosophie allemande depuis Leibnitz jusqu'à Hegel» par Barchou de Penhoën, v. 1—2. P., 1836. См. отзыв Герцена о книге Баршу в письме к Н. Х. Кетчеру от 7 февраля 1839 г. (II, 240).

[3] *Е. Г. Л.*— Екатерина Гавриловна Левашева (рожд. Решетова), двоюродная сестра декабриста И. Д. Якушкина, близкий друг П. Я. Чаадаева и Н. Х. Кетчера. Приняла участие в судьбе Герцена и Огарева после их ареста.

* Тут есть верное и неверное (франц.).

[4] Отец Н. И. Надеждина, известного критика и журналиста.

[5] *Дема* — слабоумный крестьянин села Верхний Белоомут.

[6] *Эрн* Гавриил Каспарович — брат Марьи Каспаровны Эрн (Рейхель).

[7] *Луиза Иван‹овна›* — мать Герцена.

[8] *N.*— Н. Х. Кетчер.

[9] *А‹лександр›* — Герцен.

[10] *Большим намерением, большим делом* Огарев называет план отпуска белоомутских крестьян и устройство крестьян других принадлежавших Огареву имений.

[11] *Сысонин* — повидимому, поверенный Огарева по управлению домом отца в Москве.

[12] О каком произведении пишет Огарев, установить не удалось.

[13] *Кот Мурр* — роман Э. Т. Гофмана «Житейские воззрения Кота Мурра».

[14] Романы Жорж Санд «L'Uscoque» и «Maîtres Mosaïstes», напечатанные впервые в журнале «Revue de Deux Mondes» в 1833—1838 гг.

[15] *П. Каширин* — крестьянин села Верхний Белоомут. В 1877 г., в качестве волостного старшины Белоомута, узнав о смерти Огарева, созвал крестьянский сход, чтобы почтить его память.

[16] Фаддей Семенович *Карташев*— крестьянин села Верхний Белоомут. Еще в 1837 г. Огарев добился освобождения от крепостной зависимости Фаддея Семеновича, его сыновей — Николая, Василия и Ивана и его внуков — Карпа, Димитрия и Павла Васильевичей (по материалам Рязанского обл. архива, сообщенным редакции «Лит. наследства» В. А. Максимовым).

[17] Огарев ошибся: он цитирует не Жан-Поля Рихтера, а известное стихотворение Г. Гейне («Ein Fichtenbaum steht einsam...») и цитирует неверно.

[18] «*Оберман*» — роман французского писателя Этьена Пивера де Сенанкура (1770—1846). Белинский относил этот роман к числу произведений, продолжавших разработку образа Вертера, «этого родоначальника слабых, болезненных натур, которыми всегда так обильны переходные эпохи» (В. Г. Белинский. Собр. соч., т. X, стр. 475).

[19] *Петр Ив‹анович›*—Ракитин, крестьянин села Верхний Белоомут; был освобожден Огаревым от крепостной зависимости в 1837 г. вместе с сыновьями Тихоном и Николаем.

[20] *Н. В. Майер* — врач; в тридцатых годах служил при штабе командующего войсками Кавказской линии ген. Вельминова. Огарев познакомился с ним на Кавказе в 1838 г., как с ближайшим другом Н. М. Сатина. Радикализм политических взглядов Майера носил ярко выраженный христианско-мистический характер. О докторе Майере см. статью в «Лит. наследстве», т. 45-46, 1948, стр. 473.

[21] *N. S.*— Н. М. Сатин.

[22] *N.*— Н. Х. Кетчер.

[23] *Петр Ив‹анович›* — Ракитин (см. примеч. 19).

[24] Речь идет о хлопотах, предпринятых М. Л. Огаревой в Москве, а затем и в Петербурге, с целью освободить Огарева из ссылки. По ее настояниям 25 января 1839 г. Огарев обратился с письмом к Бенкендорфу («Мир божий», 1906, № 4, стр. 136—137).

[25] *S. Cahen* (Каэн) — парижский издатель библии, выходившей в тридцатых — сороковых годах. Огарев имеет в виду издание: «La Bible», trad. nouvelle avec hébreu en regard par S. Cahen.

[26] Это — самое раннее упоминание о Мицкевиче в переписке Огарева. Известно, что Огарев относился к Мицкевичу с большой любовью. Он перевел на русский язык некоторые стихотворения польского поэта и включил прозаический перевод стихотворения «К русским друзьям» в издание «Дум Рылеева», выпущенных им и Герценом в 1859 г. в Лондоне. Вероятно, под впечатлением поэзии Мицкевича и, в частности, поэмы «Дзяды» («Деды») Огарев написал поэму «Царица моря» (литовское предание), которую исследователи поэзии Огарева относят именно к концу тридцатых годов.

[27] Федор Лукич *Морошкин* (1804—1857) — профессор кафедры российских гражданских законов Московского университета.

[28] «*Магабгарата*»— древнейший индийский поэтический эпос.

[29] Изречение из библии о «сотворении мира».

[30] Неточно, по памяти приведенная цитата из главы второй «Евгения Онегина»: «Он был простой и добрый барин...» и т. д.

[31] По всей вероятности, через Н. Х. Кетчера Огарев переслал Белинскому какие-то свои стихи, быть может законченные главы поэмы, которую писал в это время. Вероятно, отзыв Белинского сообщила Огареву Марья Львовна.

[32] Тяготение М. Л. Огаревой к «светской жизни» явилось одной из серьезных причин, приведших впоследствии к полному разрыву с нею Огарева.

[33] Этот отрывок взят из письма Огарева к Марье Львовне, которое уже не относится к белоомутскому эпистолярному дневнику. Оно было написано Огаревым после получения им от Марьи Львовны известия из Петербурга о том, что ее хлопоты закончились успешно и Огареву разрешен перевод на службу в Москву. Неизбежный разрыв Огарева с женой, который он всячески стремился предотвратить, стал теперь очевиден. Марья Львовна окончательно порвала с идейными интересами мужа и его друзей, увлекшись светской жизнью.

ПИСЬМА К Евд. В. СУХОВО-КОБЫЛИНОЙ

Публикация Я. Черняка

В 1939 г., одновременно с рукописью стихотворений «Buch der Liebe», посвященных Евд. В. Сухово-Кобылиной, в Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР поступил и были переданы впоследствии в Институт русской литературы АН СССР автографы трех писем Огарева к ней же. Два из них написаны в 1842 г.: первое — 14—17 июня ст. ст. из Петербурга, за три дня до отъезда Огарева за границу; второе — 22 июля н. ст. из Карлсбада, после того как, совершив трехнедельное путешествие по городам Германии, Огарев прибыл на воды для лечения. Третье письмо написано два года спустя, 1 июня н. ст. 1844 г., из Берлина.

Кроме указанных трех писем в настоящей публикации воспроизводятся еще два письма из Берлина, подготовленные нами к печати при участии Ю. А. Красовского — от 14 октября н. ст. 1844 г. и 8 января н. ст. 1845 г. Подлинники хранятся в Центральном государственном литературном архиве.

Публикуемые письма интересны не только тем, что они освещают малоизвестную сторону биографии Огарева. Они свидетельствуют также о круге его умственных интересов и занятий в начале сороковых годов.

Огарев говорит в них о Пушкине, о Гёте, о своем отношении к романтизму Шиллера, о Дрезденской картинной галерее; говорит о том, что после долгих блужданий нашел, наконец, истинную сферу своей деятельности — художественное творчество; выражает характерные для него в 1842—1843 гг. сомнения в объективной ценности его стихов.

Об адресатке писем — Евдокии Васильевне Сухово-Кобылиной, «Душеньке», об увлечении ею, пережитом Огаревым, мы подробнее говорим в другом месте настоящего тома (см. выше комментарий к «Buch der Liebe»). Огарев не делился ни с кем из друзей, даже с Герценом, своим чувством и сохранил его в тайне от самой Евд. В. Сухово-Кобылиной (обращенные к ней стихи стали известны ей лишь после смерти Огарева). Эта утаенность «мечтательной любви» к «Душеньке» подтверждается и публикуемыми письмами. Они носят дружеский характер. Отдельные прорывающиеся признания не нарушают характера дружбы и не уничтожают колорита разносторонней и чистосердечной беседы, которую ведет Огарев со своей корреспонденткой.

До нас не дошли ни ответные письма Евд. В. Сухово-Кобылиной, ни другие письма Огарева к ней. Без сомнения, их было еще несколько (впрочем, не думаем, чтобы Огарев писал ей часто).

Печатаемые письма являются своего рода комментарием к публикуемому выше циклу стихов Огарева «Buch der Liebe». Уже по одному этому они заслуживают внимания.

Но письма содержат в себе также некоторые подробности, имеющие более широкий общественно-исторический и историко-литературный интерес. Мимоходом Огарев рассказывает о своей поездке в Новгород к Герцену, в конце мая 1842 г., и о том, как Герцен переносит ссылку (письмо от 14—17 июня). Этим же письмом устанавливается, что, вернувшись из Новгорода в Петербург, накануне отъезда за границу, Огарев прожил один или два дня у Белинского.

Разговоры в Новгороде с Герценом и в Петербурге с Белинским в то время не могли не коснуться темы, одинаково существенной для всех троих: только что вышедшей в свет книги Гоголя «Мертвые души» и споров, которые возникли в связи с этой книгой.

11 июня Герцен занес в свой дневник следующее: «Он <Огарев> привез „Мертвые души" Гоголя,— удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную силы национальность <...> Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле; и там, и тут одно утешение в вере и в упования на будущее. Но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование

ins Blaue *, а имеет реалистическую основу: кровь как-то хорошо обращается у русского в груди <...> Но всё это ни одной йотой не уменьшает горечь жизни» (III, 29). Белинский же как раз в те дни, когда у него жил Огарев, работал над своей первой статьей о «Мертвых душах». Давая в публикуемом письме резко отрицательную характеристику окружающей действительности («куда ни обернусь, об чем ни подумаю, от всего так тяжело становится, что глаз не затворишь»), Огарев тем самым отразил атмосферу только что закончившихся бесед.

Нет нужды подробно напоминать здесь о первом выступлении Белинского по поводу «Мертвых душ». Мы хотим лишь указать, что, говоря о великом «творении чисто русском, национальном, выхваченном из тайника народной жизни, столько же истинном, сколько и патриотическом, беспощадно сдергивающем покров с действительности», Белинский перекликается с Герценом и Огаревым (В. Г. Белинский. Соч. под ред. С. А. Венгерова, т. VII. СПб., 1914, стр. 253).

Берлинские письма 1844—1845 гг. представляют также большой интерес, заключая в себе новые данные для характеристики развития мировоззрения Огарева в конце периода его «заграничных скитаний» 1841—1845 гг. Окончательно расставшись в конце 1844 г. с Марьей Львовной, Огарев углубился в научные занятия. В кругу его интересов в это время немецкая философия, в особенности критика Гегеля, естественные науки и медицина, экономическое положение Европы, в частности положение финансовой системы в ряде европейских стран.

В своем идейном развитии Огарев именно в это время окончательно порывает с идеализмом и романтизмом. Становясь материалистом и атеистом, Огарев все резче и определеннее, сперва в письмах к друзьям, а затем, по возвращении в Россию, и непосредственно — в «кружке» Герцена, выступает в качестве сторонника полного разрыва со всякими романтическими иллюзиями, с либерализмом и идеализмом в сфере общественно-политической жизни, с эстетикой «бесполезного», с религиозными «представлениями и привидениями», как он выражается в последнем из публикуемых писем.

В сфере поэтического творчества эти же годы отмечены уходом от романтической и любовной лирики в область «объективного» творчества. Огарев задумывает и пишет ряд произведений: драматическую поэму, драму, повесть, которые не дошли до нас (нам известны из этих произведений лишь две неопубликованные главы повести «Гулевой», написанные в 1843 г. под непосредственным влиянием «Мертвых душ» Гоголя). Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что эти произведения (по всей вероятности они не были окончены) знаменовали перелом в творчестве Огарева — его приход к реализму, к реалистической поэзии мысли. Об этом отчетливо свидетельствует ряд реалистических стихотворений, поэм, повестей в стихах, написанных Огаревым в 1846—1849 гг., т. е. в первые же годы после возвращения в Россию.

Публикуемые письма 1844 г. написаны в самый критический период духовного и творческого развития Огарева. Они поэтому заслуживают пристального внимания. Настроение Огарева в этот период отразилось в них с большой отчетливостью и прямотой.

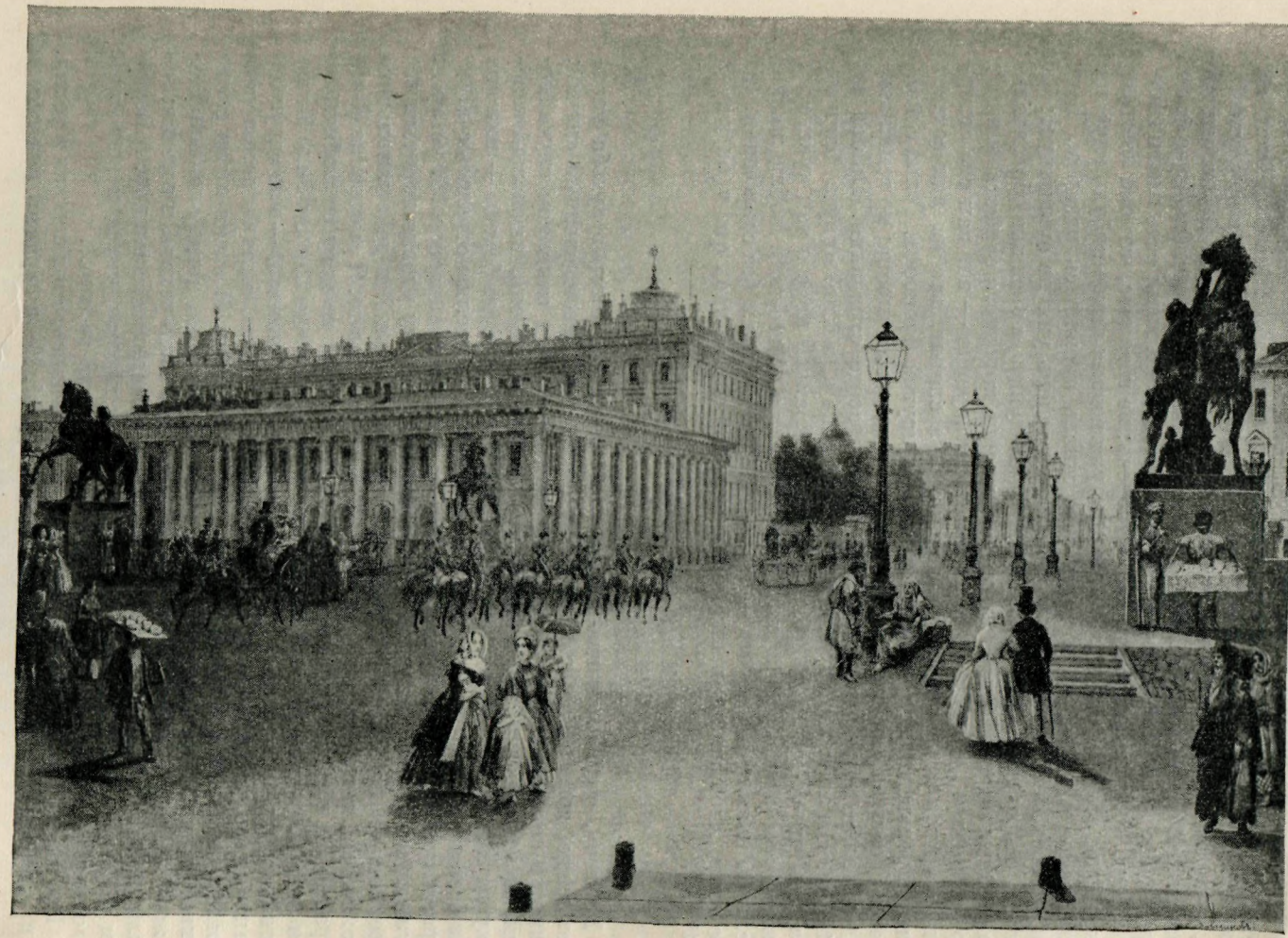
1

Павловск. Июня 14 <1842 г.>

Primo**— извините, что я пишу по-русски, — привычка к языку мне дает больше простора, пишу без обдумываний и остановок, что в голову придет. Это вас не обязывает писать ко мне тоже по-русски. Пишите на каком хотите диалекте — только пишите.

Я приехал в Петербург позже, нежели думал. Прихожу на почту — письмо от вас. Спасибо вам — вижу, что вы человек добрый и сострадательный. Мне как-то легче стало существовать, когда швейцар вынул пакет из своего шкафа и подал мне, и я увидел, что вы меня не обманули. Вот уже три дня прошло с тех пор; я читал и перечитывал ваше письмо и, наконец, пишу к вам. С первых строк ваших я живо представил себе, как

* на голубую даль (нем.).
** Во-первых (итал.).



ПЕТЕРБУРГ. НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ У АНИЧКОВА ДВОРЦА

Акварель В. С. Садовникова, 1851 г.

Эрмитаж, Ленинград

вы сидите одна за полночь и вас тревожит фантастическая робость, а вы пишете, исполняя данное обещание, и мне стало жаль, что вы тревожились ради меня, хотя я и очень был доволен этим дружеским поступком. На 3-й странице вашего письма я нашел, что граф[1] вам привез дурные вести о брате[2] и вы боитесь, что впереди вам будет много горя. Мне кажется, не будет. Зачем судьбе посылать вам горе? Судьба обязана заботливо служить вам, а не печалить вас; по крайней мере так мне кажется. И вы жалуетесь на жизнь! Конечно, я не рассмеялся при этой жалобе, да и вы наперед были уверены, что я не рассмеюсь. Но не жалуйтесь на жизнь; есть много светлых минут, которые искупают всю ее горечь; не говорите, что она не стоит ни копейки; если вы один раз в жизни чувствовали какое-нибудь глубоко человеческое чувство, то и тогда уже жизнь прожилась недаром. Был один человек, которого я много любил, он теперь уже не существует; он был поэт с нравом тихим, вечно страждущею душою, а внешние обстоятельства никогда не улыбались ему в продолжение короткого существования[3]. Мир его праху! Он когда-то написал стихотворение — вот вам его содержание, стихов я не помню: два художника спорят, кто из них создаст лучшее произведение; один изваял Венеру, другой Лаокоона. Толпа с жадностью бросилась смотреть на Венеру, не замечая Лаокоона; но гений земли восстал — потребовал должной дани красоте страдания. Dulden ist göttlich*. Вы этому не верите. А это так: даже в каждой минуте блаженства есть что-то мучительно грустное; по крайней мере я так чувствую; может, оттого, что не знаю полного блаженства. А все-таки люблю жизнь; а если бы пришлось умереть — я умер бы без страха и без сожаленья. Но я не верю, чтоб жизнь ваша могла быть горька. Je veux que v⟨ou⟩s ayez tort**.

И дай бог, чтобы все печали
Шли мимо вас бы далеко...[4]

Не хочу, чтоб вы когда-нибудь испытали горе, которое судьба насылает извне, горе оскорбительное, где виден один бессмысленный случай; а ничего нет оскорбительнее как существовать под влиянием случайностей, от которых не убережешься; это какой-то камень, падающий человеку на голову чёрт знает откуда. Но вас судьба будет беречь — или она еще бессмысленнее, чем я думаю. Я вам только позволяю страдать с Шиллеровой Sehnsucht***, страдать желанием чего-то прекрасного. Я устарел; я уже не могу симпатизировать с Шиллером[5], не могу удовлетвориться его стремлением ins Blaue****; дайте мне жизни реальной и действительного блаженства, вот здесь, а не jenseits*****, не там где-то. Я смотрю на Шиллера как на прекрасного юношу, которого люблю, не могу не любить, но для которого я ужасно стар. Но когда вы говорите, что хорошо было бы так читать его с вами на берегу реки, на вашем любимом месте, — мне вдруг так стало больно, что этого не случилось. Мне так хорошо было бы помолодеть с вами, опять уйти в какое-то чудесное сновидение. И зачем я так скоро уехал? куда спешу? Зачем отказался от наслаждения, когда оно было возможно? Не знаю. Мне показалось, что мне надо было уехать, и я уехал; это было оскорбительно глупо, но я уехал — и сожаление бесплодно. А между тем часто думаю, что мне у вас было бы так хорошо, что я, может быть, отдохнул бы от того, что в жизни так нестерпимо горько...

Вы, может быть, спросите, что же со мной сталось, с тех пор как я уехал. Я прожил несколько времени у старого друга[6]. И он страдает под гнетом

---

* Страдание божественно (нем.).
** Я хочу, чтобы вы ошиблись (франц.).
*** тоскою (нем.).
**** в голубую даль (нем.).
***** по ту сторону (нем.).

обстоятельств несмотря на его обычную веселость. Потом приехал в Петербург и переехал в Павловск в ожидании парохода. Здесь я неистово хохочу.

Веселость это или только закружение — сами рассудите. Этот минутный выход из скорби не удовлетворяет. У меня один выход: искусство. Тут является во мне живая деятельность. Много планов в голове, много уже начатого, рука просится к перу, перо к бумаге.

Spät erklingt, was früh erklang.
Glück und Unglück wird Gesang *[*].

Вы мало знаете Goethe. Почитайте его; может быть, этот всеобъемлющий дух займет вас. Прочтите Wahlverwandschaften[8] в мое воспоминание. А жаль, что я с вами не перечел Wallenstein'a[9]. Тут уже действительные люди и действительная жизнь. Кстати, вы так мне натвердили Тогенбурга, что я беспрерывно пою на разные голоса

Ritter, treue Schwesterliebe etc.... **[10]

Хочу сегодня ездить верхом. Но по здешней гладкой стороне это не так весело как у вас; да и поеду-то einsam mit meinen einsamen Gedanken***. Хорошо, что вы прогулки верхом поставили в главе всех удовольствий. Знаете ли что: жизнь, которая живется, гораздо занимательнее книги.

Вчера я был в Царском селе. Что за сад! мне как-то хорошо было. И лицей тут — я думал о Пушкине.

Однако все уже просыпаются, и мне пора кончать. Я встал в пять часов, чтобы писать к вам. Целый день до весьма поздней ночи я болтал и двигался, а вчера целую ночь проходил. Сон для меня не существует. И несмотря на то я не худею и, кажется, проживу ужасно долго — но не за границей, как вы думаете[11]. Мне хочется пожить в Риме — это главная цель поездки. Я стану писать кой-что о Рафаэле[12]. Ну! все встали, и кругом пошли говоры и шутки. Я не расположен уже вовсе смеяться сегодня, но, вероятно, увлекусь всеобщим движением.— Прощайте! дайте руку. Скоро я буду на Балтийском море. Если захотите писать вашему покорному слуге в Карлсбад вскоре, то ваше письмо меня найдет; если нет, то ждите, пока я вам скажу, где я и что я. А скоро, может, я настолько выйду у вас из памяти, что вы и не напишете. Время будет уходить, а с ним возрастет лень писать к друзьям. Но я не буду ленив писать к вам — право не буду,— вот увидите, что не буду.

Отчего вы говорите, что когда я возвращусь—v⟨ou⟩s serez déjà vieille****. В полгода или год будто вы состареетесь. Вы даже и в душе не постареете. Право, вы моложе, нежели вы думаете. Вас всё увлекает — и поэтические фантазии, и шум света, вам еще долго жить, и вы будете счастливы. А я — я не желал бы долго жить, хотя и люблю жизнь. Но хочется провести остальные годы, сохранив в себе всё истинно человеческое, т. е. истинно прекрасное. Хочу, чтоб все наслаждения были человеческие и чтоб их было много, много. А вот этого-то и не будет. На дне души есть что-то темное, чего никак не изгонишь.

всё тщетно,
Жажда счастья безответна,
А судьбы угрюмый ход
Глупо движется вперед...[13]

---

* Позднее звучит, что когда-то звучало. Горе и счастие песнею стало (нем.).
** Сладко мне твоей сестрою, милый рыцарь, быть (перев. Жуковского).
*** одинокий со своими одинокими мыслями (нем.).
**** вы будете уже старой (франц.).

Вот в каком расположении духа я уезжаю. Может быть, вам станет на эту минуту жаль путешественника. Пожелайте ему доброго пути и потом — продолжайте вышивать ваш ковер тихо и мирно, а всё же не забудьте вовсе странника. Он едет in den Sturm des Meeres und in den Sturm des Lebens hinaus* и вам о себе напомнит.

Жму руку вашей сестре. Будьте обе счастливы. Addio. Mes respects aux vôtres**.

Июня 17. Петербург

Это письмо до сих пор не послано. Отчего мне захотелось написать вам еще несколько строк? Да отчего же и не написать, когда хочется. Я здесь веду жизнь тихо и мудро. Живу я у Белинского. Вот мы вечер проболтали очень разумно. А теперь 3-й час. Он спит. А мне не спится. Куда ни обернусь, об чем ни подумаю, от всего так тяжело становится, что глаз не затворишь. Все люди, мне посторонние, так для меня отвратительны, что ни к кому не могу собраться с духом съездить. Люди более близкие мне отрадны, но во мне происходит что-то для них постороннее, по крайней мере не высказанное. Мне суждено большую часть внутренней тревоги затаивать в себе — и горько, —

Да стыдно жаловаться мне,
А в том, что как-то чудно
Живет в душевной глубине,
Мне высказаться трудно[14].

Ношу в себе и радость и горе, и жить до смерти тяжело. Когда же хорошо будет? Неужто никогда?..

Вам хотелось бы побывать в Париже, пишете вы. Верю. Но желал бы знать, что̀ вас влечет туда. Шум ли света, внешний блеск или глубокая, томительная жажда человеческих ощущений, жажда ответа на внутреннюю музыкальность души? Мучат ли вас вопросы многие или желание широкого наслаждения? Или вы только хотите удовольствий, тупо занимающих и холодно развлекающих? Желал бы знать, что в вас происходит. Но... не могу. Могу только думать, вспоминая о вас, что в вас есть возможность бесконечной внутренней душевной полноты. Однако вы скажете, что все эти нелепости можно писать только человеку, страдающему бессонницей и бездельем. Ну! виноват, простите. Я завтра извинюсь и припишу мое prendre congé*** поблагоразумнее.

[1] *Граф* — муж Елизаветы Васильевны (сестры «Душеньки»), граф Андрэ Салиас де Турнемир.

[2] *Брат* — Александр Васильевич Сухово-Кобылин.

[3] О ком идет речь, неизвестно; может быть, о рано умершем Николае Веревкине (1813—1838), друге детства Огарева, выступавшем в литературе под псевдонимом Рахманный. Однако слова о «тихом нраве» находятся в противоречии с той характеристикой, которую дал Веревкину Огарев в «Моей исповеди» (см. выше в наст. томе).

[4] Несколько измененная автоцитата из неопубликованного стихотворения «Прощайте, в сердце это слово...».

[5] Об отношении юного Огарева к Шиллеру имеется ценное свидетельство в его записи 1856 г., обращенной к Герцену (см. «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 358).

[6] У Герцена, находившегося в Новгороде, в ссылке, Огарев провел 11 дней, уехав от него в Петербург 10 июня 1842 г.

[7] Эпиграф к циклу стихотворений Гёте «Lieder».

[8] Повесть Гёте «Избирательное сродство».

[9] Драматическая поэма Шиллера в двух частях — «Лагерь Валленштейна» и «Смерть Валленштейна».

---

* в бурю моря и в бурю жизни (нем.).

** Прощайте, мое почтение вашим (итал. и франц.).

*** прощание (франц.).

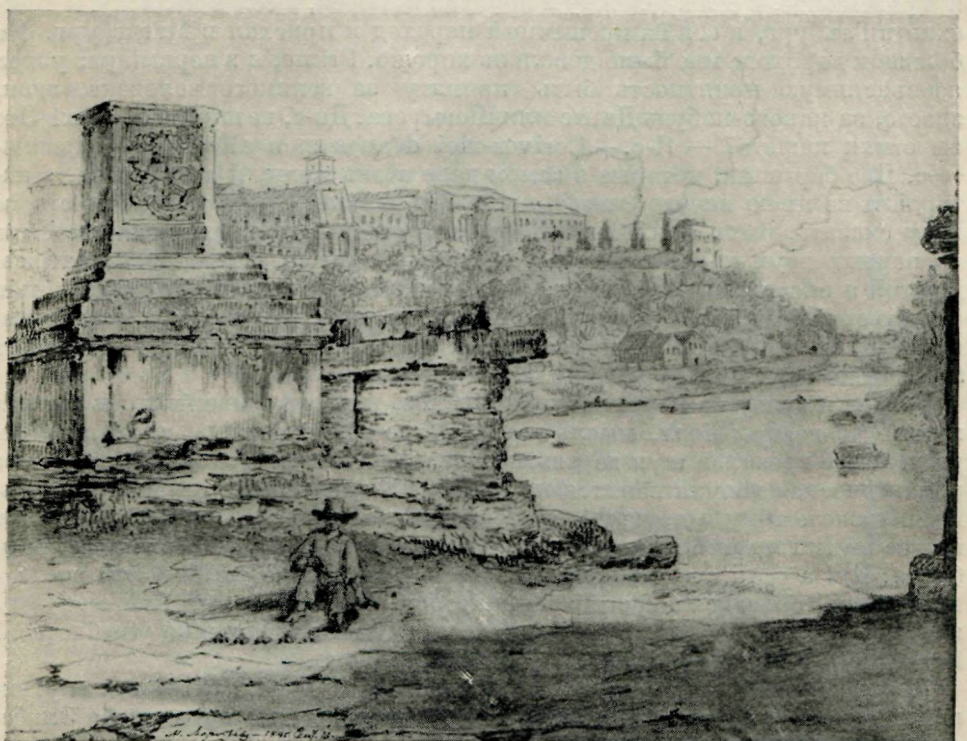
[10] Баллада Шиллера «Рыцарь Тогенбург». Огарев приводит ее первую строку

[11] Огарев уехал за границу 20 июня 1842 г., через три дня после написания настоящего письма. Вернулся в Россию весной 1846 г.

[12] После пребывания зимой 1842/43 г. в Риме, уже находясь в Германии, Огарев 29 сентября — 28 октября 1843 г. писал о Рафаэле друзьям (см. «Русская мысль», 1890, кн. 8, стр. 13—14).

[13] Автоцитата из стихотворения: «Buono giorno! мне опять...» (см. «Стихотворения и поэмы», т. II. Л., 1938, стр. 358—361. В этом издании стихотворение ошибочно датировано 1847—1848 гг.).

[14] Автоцитата из стихотворения «Исповедь» («Мой друг, тебе хотел бы я...»).



У СТЕН СТАРОГО РИМА
Рисунок М. Н. Воробьева, 1846 г.
Третьяковская галерея, Москва

2

Карлсбад. Июля $\frac{22}{10}$ ⟨1842 г.⟩

Наконец, мой путь кончен, и я дома. Finie la vie de garçon*. Я ложусь спать рано, чему доказательством служит то, что теперь 2-й час ночи. Встаю рано и провожу утро в разных ученых занятиях, как-то: пью кофе, курю цигару, развертываю книгу и кладу ее в сторону; беру другую, и той одинакая участь. Хочу писать, а упрямая рифма ушла, и куда ушла — прости ей господи — неужели к Амалии Николаевне Олсуфьевой[1], которая живет возле? Mais c'est impossible. Jamais rime n'a été aussi absurde**. Что же делать? Вот видите что́: собрался писать к вам. Что вы? Где вы?

* Кончена жизнь холостяка (франц.).

** Но это невозможно. Никогда еще рифма не была столь нелепой (франц.).

Здоровы ли, веселы ли? Теперь вы со всеми вашими и вам хорошо, по крайней мере лучше, счастливей жить на свете. Вероятно, мое послание, нагрянув к вам в великолепном издании in folio с изображением Гамбурга nach dem Brande*[2], заставит вас зевнуть при мысли, что всё это со временем надо будет прочесть, и вместе с тем напомнит вам о человеке, которого вы, может быть, уже порядочно забыли. Ведь уже скоро два месяца, как я от вас уехал, а может и больше 2-х месяцев[3]. Я не помню ни дней, ни чисел. Кажется только, что я ехал ужасно долго. Вот-с я сел на маленький пароход и приехал в Кронштадт, и сел на большой пароход и приехал в Травемюнде, и сел в тележку и приехал в Любек, и сел в коляску и приехал в Гамбург, и сел на крошечный пароход и приехал в Магдебург. На большом пароходе мне было довольно хорошо. Primo, я в первый раз узнал неизъяснимую приятность быть принятy за великого человека, эдак, знаете, за какого-нибудь Данте или Шевырева. Да-с, не шутите. — Ах! Это вы стихи пишете? — Я-с.— Ecrivez-moi d⟨an⟩s mon album**.— Извольте-с. Две барышни, которые в самом деле очень милы, и еще третья, о которой я не имею ничего сказать, и две маменьки, о которых я ничего не хочу сказать, были поклонниками моего удивительного дарования. Одна из первых двух носит чудесные белокурые волосы и прекрасные глаза. Другой я писал в альбом стихи, о которых так же мало могу сказать, как о третьей барышне. Но зато мое имя стоит на одном листе с именем виконта Д'Арленкура. Как приятно так внезапно очутиться в Faubourg St. Germain***.

Видел я грозу на море и закат и восход, и хорошо мне было, я слушал вечные разговоры волн, мысль терялась где-то, через море уходила к берегу, и мне грезился шум деревьев и песни соловья... Dio mio!**** Что за романтическая чепуха валится на бумагу. К вам теперь страшно писать. Вы покажете тому и другому, и кто-нибудь, может быть, пожмет плечами на все шутки и улыбнется над строкою, над которой я нисколько не улыбался. Ну! а если вы и сами улыбнетесь? Нет, вы не улыбнетесь, вам будет совестно смеяться над старым приятелем. Не правда ли? Вам мое горе не будет смешно, а на добродушную шутку вы добродушно улыбнетесь? Если б было иначе — мне было бы очень больно.

Перескакиваю Гамбург, где я был знаком всё еще с русскими спутницами да еще с портным и сапожником, перескакиваю пароход по Эльбе, где было скучно, и Магдебург мимо, и привожу вас в Лейпциг по железной дороге. Возьмите письма русского путешественника[4] и Reichard, Guide du voyageur***** и узнаете подробно всё нужное о Лейпциге, кроме того, что я здесь встретился и провел день с Одоевским[5]. Потом мы уехали в Дрезден. Опять я был в галерее. Это была самая отрадная минута в путешествии. Долго шлялся я по свету и не знал, что́ именно мое дело, в каком мире я могу жить; пришло время самоопределений, и я убедился, что могу жить только в мире искусства; я живу только, когда принимаю впечатление художественного произведения или когда пишу. Специальность обозначилась. Но довольно о себе; хочу говорить о Мадонне. Мне удивительно стало ясно, что Рафаэль носил в душе, во всю жизнь свою, идеал Мадонны и Христа. Во всех Мадоннах и Христах нечто общее. Сходство Христа Мадонны della sedia****** и большой Мадонны (в Дрезденс⟨кой⟩ галер⟨ее⟩) разительно. Как он понял этого ребенка, грустного и задум-

---

* после пожара (нем.).
** Напишите мне в альбом (франц.).
*** в Сен-Жерменском предместье ⟨Парижа⟩ (франц.).
**** Боже мой! (итал.).
***** «Путеводитель» Рейхардта (франц.).
****** в кресле (итал.).

чивого, который предчувствует свою великую будущность. Эти глаза умные, в которых видна какая-то дума, обращены на зрителя, как будто ребенок уже хочет говорить народу о тайнах неба. Лучше нельзя было выразить Христа-ребенка. Отчего этот тип исчез в «Преображенье»—для меня психологическая задача; а не люблю я Христа «Преображенья». Мадонна, очевидно, вырабатывалась в сознании художника постепенно, начиная от Мадонны di Foligno; высшее развитие идеала — Дрезденская мадонна. Мадонна непорочная не знает, что с ней совершилось, но чувствует, что совершилось что-то великое и что ребенок, который у нее на руках,— божественный ребенок. Она не смотрит на него; глаза ее устремлены в даль неопределенно — *от того, что сознание ее неопределенно и ей довольно* присутствия ребенка; чтобы больше чувствовать всю святость, всю божественность его, ей не нужно глядеть на него. Насколько выше это постижение Мадонны, например, той Мадонны, которая моет Христа в корыте (Дрезд⟨енская⟩ галер⟨ея⟩). Я благоговел и наслаждался. Много и еще хорошего: «Ночь» Корреджио, мой любимый «Нептун» Рубенса, «Христос» Тициана и всё, что вы уже знаете. А вот pastelli Рафаэля Менгса; его неподражаемый амур. Над ним головка девушки, читающей письмо[6]. Боже мой! Если бы вы знали, как это лицо похоже на вас. Немного посветлее волосы — и это был бы ваш портрет. Я отправился искать гравюру — и ее не существует. В этот раз я больше чем когда-нибудь проклял тупоумие немцев.

Наконец, я в немецком дилижансе, с немецкими людьми и немецкими шутками доехал до Карлсбада. Отсюда поеду в Эмс, буду гулять по Рейну.

Если вы еще настолько помните мое существование, чтоб писать ко мне, то не очень медля пишите в Эмс poste restante. Хорошо или худо, что я ваши слова принял au pied de la lettre* и пишу вам о всех моих радостях и скорбях — не знаю. Знаю только, что мне весело писать к вам.

Гуляю я в великом божьем мире,
И жадно впечатления ловлю,
И все они волнуют грудь мою,
И струны откликаются на лире.
Взойдет ли день, засветит ли луна,
Иль птица в роще темной встрепенется,
Или промчится с ропотом волна,—
Мне весело и хорошо поется.

*

Я слушаю, уходят взоры в даль,
И вдруг в душе встает воспоминанье,
И воскресает прежняя печаль,
И ноет сердце, полное страданья.
Взойдет ли день, засветит ли луна,
Иль птица в роще темной встрепенется,
Или промчится с ропотом волна, —
И грустно мне и хорошо поется [7].

Скажите — вам еще стихи не надоели, в особенности мои? Иногда я боюсь, что все они ужасно однообразны; это доказывает, что у меня в душе однообразно; а это страшно. Впрочем, я пишу драму и поэму[8]. Это уже

* буквально (франц.).

не так однообразно, тут уже есть лица и характеры. Конечно, моя личность проглянет сквозь всего ⟨!⟩, и мне ужасно досадно, что не могу я отделаться от моей личности. Что в ней? К чему она? Кому она нужна, когда даже и мне нестерпимо надоела? А потеряться в мире фантазии, в создании образов, нисколько меня не повторяющих, но существующих в действительной жизни и существующих прекрасно, как бы это было хорошо! Какой верный выход из всего мучительного и какая роскошная раздольная жизнь! Если б вы знали, как всё современное мне близко и как я не могу выдумать ни одной завязки, где бы она ни отразилась, и как всё это томительно — вы бы пожалели обо мне. А всего хуже, что моя особа не менее меня занимает и я чувствую, что никогда не буду в состоянии смотреть на мир сверху, как Гёте, а всюду вплету себя, свою особенную, одностороннюю точку зрения. Это для художника оскорбительно.

Приехав сюда, я говорил с Marie о ваших, и теперь мне ясен смысл вашего последнего письма и вашей печали. И вам суждено знать печаль! Видно, всё хорошее в мире должно страдать. Судьба с ненавистью берет по́дать со всего того, чему позволила существовать прекрасно. Неужели же одно спасенье уйти в свой эгоизм и ничему не сочувствовать? Нет, я не хочу такого спасенья. Пусть все сомнения, скорби и все наслаждения и даже всякое блаженство измучат, истомят. Умру рано, но поживу полной человеческой жизнью и умирая погрожу судьбе кулаком, чтобы показать ей мое бессильное презрение.

Кто-то по соседству играет на фортепьяно и поет, и мне так грустно стало, что я готов бы кричать или плакать. Но, к сожалению, имею достаточное презрение даже к собственной грусти, что не могу плакать, а кричать нельзя, раз — m-me Pélican, наша хозяйка, а другое — полиция. Вследствие чего я пишу молча. Перечитываю мое письмо и вижу в нем странную бессвязицу; не знаю, почему я, вообще маловерящий, верю настолько вашей дружбе, что не могу думать, чтоб вы смеялись над моим посланием или позволили бы кому-нибудь смеяться.

В сентябре я буду в Ницце, потом в Неаполе и, наконец, в Риме. Вы думаете, что забуду поклониться Cavonardgi — ошибаетесь. Тотчас отыщу его. Но до тех пор я буду иметь от вас известие. По крайней мере, надеюсь. Теперь прощайте. Дайте руку. Как мне хочется знать, что́ вы делаете, и как бы хотелось вас видеть, но я путешествую. Addio. Mon amitié à votre soeur. Mes respects à papa et maman. Je me rappelle au souvenir de Mr. Henry et j'espère que Mr. Alexandre me conserve son amitié d'autrefois. Farewell, but not for ever, if you please*[9].

Marie[10] vous dit à tous ses amitiés; je l'ai trouvée beaucoup mieux portante**.

На обороте: Russie. Moscou
Mademoiselle Kobiline.
В Москве
Ее высокоблагородию
Евдокии Васильевне Сухово-Кобылиной
На Кисловке, в доме графа Сухтелена.
Почтовый штемпель: 22 Juli.

---

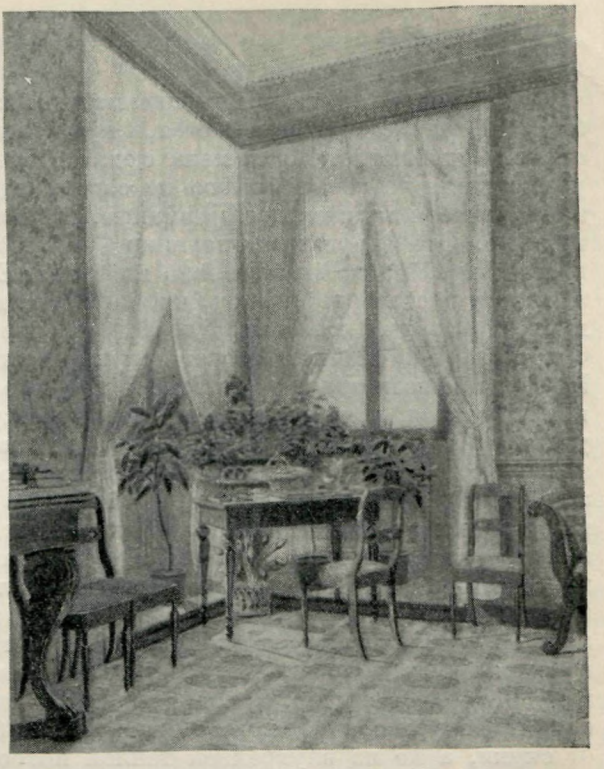
* Прощайте (итал.). Дружеский привет вашей сестре. Мое почтение отцу и матери. Напомните обо мне г. Анри, и я надеюсь, что Александр сохранил ко мне прежнюю дружбу (франц.). Прощайте, но не навсегда, прошу вас (англ.— парафраза начальных строк стихотворения Байрона «Fare thee well»).

** Мария вам всем шлет дружеские приветы. Я застал ее в значительно лучшем состоянии (франц.).

КОМНАТА
Евд. В. СУХОВО-КОБЫЛИНОЙ
В РИМЕ

Акварель Ф. А. Клагеса

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва



[1] Ироническую характеристику Дмитрия и Амалии *Олсуфьевых* — общих московских знакомых — см. в письме Огарева к М. Л. Огаревой от начала января 1842 г. (М. Гершензон. Образы прошлого. М., 1912, стр. 452).

[2] На первой странице почтового листа имеется литография, изображающая Гамбург после пожара. Под рисунком приведенное Огаревым название: «Nach dem Brande».

[3] Огарев виделся с Евд. В. Сухово-Кобылиной в Воскресенском, под Москвой, в мае 1842 г.

[4] В «Письмах русского путешественника» Карамзина Лейпцигу посвящено письмо, помеченное «июля 16-го».

[5] Речь идет о кн. Владимире Федоровиче Одоевском.

[6] Ср. письмо Огарева к друзьям, в том числе к Герцену, от 1—3 августа 1842 г. («Русская мысль», 1899, № 11, стр. 10—16), в котором тоже дана подробная характеристика Дрезденской мадонны и других прославленных мадонн Рафаэля (1483—1520). Мадонна di Foligno написана в 1512 г., находится в галерее Ватикана в Риме; Мадонна della sedia (в кресле), написанная около того же времени, находится в галерее Питти во Флоренции. Соображения Огарева относительно постепенного развития образа мадонны на картинах Рафаэля едва ли основательны, так как наиболее вероятной датой создания Сикстинской (Дрезденской) мадонны является 1513 год, т. е. картина примыкает по времени создания к перечисленным выше. Картина «Преображение Христа», упоминаемая Огаревым,— последняя большая работа Рафаэля, действительно написанная холодно и сухо. Мадонна с корытом (del'Catino) принадлежит ученику Рафаэля, Джулио Романо (ок. 1492—1546). Вазари указывает, что она написана в позднейший период жизни художника, в Мантуе для герцога Федериго Гонзага. Картина Корреджио (ок. 1488—1534) «Ночь» («Рождество Христово») написана в двадцатых годах XVI в. Картина «Нептун» не принадлежит кисти великого фламандского художника Рубенса (1577—1640). Она написана учениками по его эскизу в 1635 г. Картина великого венецианского художника эпохи Возрождения Тициана (1477—1576) «Кесарев динарий», которую имеет в виду Огарев, написана около 1520 г. Антон-Рафаэль *Менгс* (1728—1779) — немецкий живописец.

[7] Неизвестное в печати стихотворение Огарева.

[8] Ни драма, ни поэма этого времени нам неизвестны.

[9] Привет сестре — Елизавете Васильевне. Упоминаемый здесь *Mr Henry* — ее муж, граф Анри (Андрэ) Салиас де Турнемир; *Александр* — ее брат, драматург А. В. Сухово-Кобылин.

[10] *Marie* — жена Огарева, Мария Львовна.

3

Берлин. $\frac{\text{1-го июня}}{\text{20-го мая}}$ 1844.

Вы, верно, не ждете от меня письма из Берлина. Я и сам никак не думал быть в Берлине; оно бы, кажется, и незачем и скучно. Но судьба захотела иначе. Судьба притащила меня сюда с больным другом, которому хотят резать жилы на ногах, самого не совсем здорового ни телом, ни духом и в особенности страждущего карманом. Сколько времени я проживу здесь — не знаю. Это зависит от операции Сат⟨ина⟩[1]. Желал бы вернуться к августу домой, но не знаю можно ли будет. Если вы спросите, откуда я — то я могу достоверно сказать, что я из Италии, и не только из Италии, но даже из Корсики, и не только из Корсики, но даже из знаменитого города Франкфурта-на-Майне, насчет скуки достойного соперника Берлина. Почему мне всего скучней в Немечине — это вопрос весьма затруднительный. Кажется, и народ здесь ученый и рассудительный, и книг много, и улицы чисты, и театр порядочный, и с утра меня будит шарманка, которая за потерею одного зубца на валике всегда пропускает одну ноту в басу,— а скучно! В Италии мне лучше. К тому же в этот раз я был в Италии весной, когда всё начинало цвести и зеленеть, и я сам поневоле забылся в какой-то чудесной жизни, в которой живешь, как во сне, и от которой я было давно отвык. А прежде моей поездки в Италию я был в другой стороне, в большом, шумном, живом городе, где всё меня привлекало, увлекало, хотя не так задушевно, как в Италии[2]. Там я ни разу не брал пера в руки, но жил и был доволен, а здесь я опять принялся работать. Неужто потому, что здесь скучно, холодно и как-то мертво? Неужто во избежание скуки? Не думаю или не хочу сознаться. Мне больно думать, что я работаю от скуки, а не из внутренней теплой потребности. Да мало ли что бывает больно! И стареться бывает больно, и признаться не хочется, что душа вянет постепенно. Да я и не признаюсь в этом. Кажется еще столько живых сил в душе, которым не суждено растратиться даром.

Да что ж я так разболтался. Вам, может быть, до смерти не хочется и скучно разбирать буквы, выделанные не с великим каллиграфическим искусством. И вдобавок глупо говорить так много о себе. Лучше стану говорить с вами о вас. Да как же это сделать? Я так давно ничего об вас не знаю; даже не знаю, где вы. Вероятно в Воскрес⟨енском⟩, где я вас оставил тому назад два года с лишком. Как это много, два года! В два года, кажется, столько можно наделать путного. Но, к несчастью, я не могу путешествовать *с фруктом* (avec fruit*). Жизнь проходит довольно пусто. Дай бог, чтоб она для вас была полной и отраднее, чтоб вы не только веселились, но в самом деле были счастливы.

Чуть было не забыл сказать вам о весьма важной вещи. Попросите (хотя христа-ради) вашего папеньку и тетушку прислать мне сколько-нибудь денег из следующих мне процентов[3] (если *все*, то это меня несказанно обрадует), потому что мне скоро нечем будет существовать, вследствие того, что я немного неосторожно тратил (вероятно, по молодости лет). Но это неосторожное траченье затрудняет меня в ожидании доходов с моих владений, потому что я не знаю, что́ и как. Вообразите себе: если вдруг в одно прекрасное или, лучше, туманное утро явится какой-нибудь сапожник и скажет: «А пожалуйте 3 талера за сапоги». А я ему скажу: «Warten Sie, mein Bester»**,— ведь это будет очень прискорбно. Из этого вы смело можете заключить, что вышеписанное «*чуть было не забыл*» сказано фигурально и что я о помянутой вещи никак не мог забыть, потому что эта вещь *важная*.

---

* плодотворно (франц.).
** подождите, любезный (нем.).

Это письмо вас застанет в начале русского лета, которое, вероятно, теплее берлинского. Мне ужасно жаль, что провожу лето не дома, а здесь, особенно в хорошие дни, такой берет Heimweh*, что это даже глупо. Засим — прощайте! Не поминайте лихом. Mes respects à votre papa et à votre maman**. Жму дружески руку Александру, если он еще помнит о моем существовании.

Адрес мой: Berlin. Behrenstrasse, № 28.

Прощайте! Веселитесь! Я слыхал, что вы очень много веселились прошлую зиму. Но теперь, вероятно, живете в деревне и найдете минуту написать мне несколько слов.

Приписка к Е. В. Салиас де Турнемир:[4]

Je vous écris, madame la comtesse, quoique vous ne daigniez plus m'écrire. Quoique nous soyons paresseux tous les deux, mais voici une preuve que ma paresse est moins forte que mon amitié pour vous. Or, ma paresse est souverainement forte: jugez donc de mon amitié! Mais sans plaisanteries, vraiment cela me fait beaucoup de peine de ne pas savoir depuis 7 mois ce que vous devenez et j'attendrai de vos nouvelles avec la plus vive impatience. Je comptais vous revoir à l'heure qu'il est. Mais les circonstances en décident autrement, et je ne sais si je puis être à Moscou avant trois mois. Ma femme, que j'ai laissée en Italie en bonne santé pour aller prendre soin d'un ami malade, va rentrer en Russie plus tôt, je crois, à moins que je ne suis libre de l'accompagner à temps, dont je doute fort quoique je le veuil le bien. Vous savez qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais enfin dans trois mois j'espère vous présenter mes hommages en personne et je voudrais bien que vous soyez aussi contente de me revoir que je le serai de vous revoir, ce dont je doute aussi. Le doute — voyez — c'est une maladie bien douloureuse, mais incurable. Quoiqu'il en soit, par un égoïsme tout particulier j'aime tout autant, si ce n'est plus, avoir de l'attachement pour les personnes que d'en recevoir. Mes propres sentiments me rendent content et s'en est assez pour moi. Mais pourtant je ne crois pas avoir démérité en quoi que ce soit à vos yeux et je compte sur un peu d'amitié qui me fera beaucoup de plaisir. Un peu de bienveillance de la part de quelques individus et une petite place au soleil dans la nature, — voilà tout ce que je demande à la vie, pour avoir quelques instants heureux. J'espère que mes prétentions ne sont pas trop grandes. Dîtes-moi ce que vous avez fait depuis tant de mois; que fait votre petite Marie? Elle doit être bien gentille. Maitenant adieu — je vais expédier cette missive. Rappelez-moi au souvenir de votre mari et soyez heureuse.

J'ai l'honneur d'être...

Перевод:

Я вам пишу, графиня, хотя вы не удостаиваете меня больше письмами. Хотя мы оба ленивы, но вот доказательство, что моя дружба к вам сильнее моей лени. А моя лень безмерно сильна: судите же о моей дружбе! Но шутки в сторону, право меня очень огорчает, что уже 7 месяцев я не знаю, что с вами, и я буду ждать вестей от вас с живейшим нетерпением. Я рассчитывал увидеть вас уже теперь. Но обстоятельства решили иначе, и я не знаю, смогу ли быть в Москве ранее чем через три месяца. Моя жена, которую я в добром здоровье оставил в Италии, чтобы самому отправиться ухаживать за больным другом, вернется, я думаю, в Россию раньше, если только я не освобожусь во-время, чтобы ее сопровождать, в чем я сильно сомневаюсь, хотя мне этого и очень бы хотелось. Но вы знаете, что не всегда делаешь то, что хочется. Тем не менее через три месяца я надеюсь лично засвидетельствовать вам свое почтение, и я очень желал бы, чтобы вы были так же рады увидеться со мной, как я увидеться

---

* тоска по родине (нем.).

** Засвидетельствуйте мое почтение вашему отцу и вашей матери (франц.).

с вами, в чем я также сомневаюсь. Сомнение, видите ли,— болезнь очень мучительная, но неизлечимая. Как бы то ни было, из эгоизма совершенно особого рода, я столь же, если не больше, люблю испытывать привязанность к людям, чем пользоваться ею с их стороны. Мои собственные чувства меня удовлетворяют, и этого с меня достаточно. Впрочем, не думаю, что я чем-нибудь провинился в ваших глазах, и я рассчитываю на немного дружбы, которая доставит мне много радости. Немного доброжелательства со стороны некоторых лиц и маленькое место под солнцем где-нибудь на лоне природы — вот все, что мне нужно от жизни, для того, чтобы испытать несколько счастливых мгновений. Я надеюсь, что мои требования не чрезмерны. Скажите мне, что вы поделывали в течение стольких месяцев; что поделывает ваша маленькая Мари? Она, должно быть, очень мила. А теперь — прощайте, надо отправить это послание. Передайте поклон вашему мужу и будьте счастливы.

Имею честь быть...

[1] Николай Михайлович *Сатин* (1814—1873) страдал тяжелой формой ревматизма; болезнь особенно усилилась, когда Сатина в 1834 г., арестовав, поместили в нетопленное помещение. После этого более десятилетия болезнь периодически лишала его возможности передвигаться. Огарев относился к Сатину с братской дружбой и несколько раз по многу месяцев ухаживал за больным.

[2] О путешествиях Огарева по Италии, Германии, Франции см. в наст. томе в примечаниях к публикации стихов из цикла «Buch der Liebe».

[3] Деньги, данные Огаревым взаймы Сухово-Кобылиным, упоминаются также в позднейшей переписке Огарева с Е. В. Салиас, публикуемой в наст. томе.

[4] Другие письма Огарева к Е. В. Салиас периода сороковых годов нам неизвестны.

4

Берлин. 14/2 октября <1844 г.>

Вчера я получил ваше письмо и вексель. Много благодарю вас за поспешность, и если это вас расстроило хотя на один день, то мне очень жаль. Ваше письмо застает меня в тяжелую минуту. Четыре дни тому назад жена родила мертвого ребенка, но сама она здорова. Вы можете себе представить, какое впечатление это произвело на нее и на меня. Говорить об этом, право, не хочется. Всё, что я знаю, это то, что я имею довольно силы, чтоб никогда не пасть перед властью судьбы, а взглянуть на нее с презрением да и идти дальше своей дорогой. Henry[1] сегодня уехал из Берлина. Вчера он просидел у нас вечер. Он здоров. Я недавно узнал всё, что у вас было, и понимаю, сколько тревог вы пережили. Но, не получая от вас так давно ни строчки, я думал, что вам некогда и не хочется писать и что, не видавшись года три, люди обыкновенно уже не находят что сказать друг другу. От этого я против обыкновения не обратился к вам как к моей покровительнице, а писал прямо к вашему отцу. Но, признаюсь, я очень обрадовался вашему посланию. Мне было бы жаль если б вы меня совсем забыли. Dunque* от души благодарю вас за письмо.

Долго я еще не увижу вас. Отчего?.. не знаю. Не могу решиться вернуться нынешней зимой. А хочется домой, ужасно хочется. Здесь мне столько и стольких недостает, что часто впадаю в непроходимую тоску. Но я постарел. Жизнь больше определилась. Уже не могу существовать ins Blaue hinaus**. Я остаюсь на зиму в Берлине и—учусь. Не могу отстать от некоторой нити des Denkens*** и жертвую знанию задушевной потребностью видеть близких людей. Да и что-то страшно мне возвращаться теперь. Мне кажется, что

Cari luoghi, io vi trovai,
Ma quel di non trovo più!****.

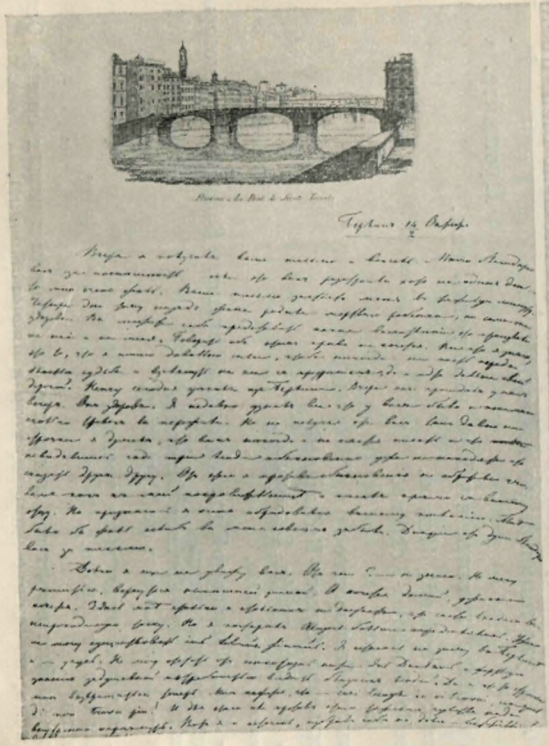
---

* Итак (итал.).

** в неопределенности (нем., «в голубой дали»).

*** мышленья (нем.).

**** места дорогие, где я находился, но где меня более нет! (итал.) (ср. XVI, 433).



АВТОГРАФ ПИСЬМА ОГАРЕВА к Евд. В. СУХОВО-КОБЫЛИНОЙ ОТ 14/2 ОКТЯБРЯ 1844 г.
Центральный литературный архив, Москва

И для этого или против этого тяжелого чувства надо внутренно окрепнуть. Вот я и остаюсь, избрав себе на долю Beschäftigung, die nie ermattet*.

Извините, что этот листок не совсем чист; но на нем вид моей милой Флоренции. Это был мой любимый листок.

Итак, вы теперь скучаете в Воскресенском.

...В эту пору
Деревня докучает взору
Однообразной наготой[2].

Что ж? Скорей в Москву! Из однообразия деревни в пустоту московской жизни. Скажите... вам еще не надоела пустота? Бывает ли вам, по крайней мере, очень весело? Может, привычка заставляет или позволяет находить веселье. Да и дай бог чтоб вам было весело, а что-то сомнительно.

Отчего ж графиня[3] не удостоила меня ни полстрочкой? Попросите ее в другой раз написать хотя: «je v⟨ou⟩s salue»**.

Если вам в деревне скучно и найдете минуту написать ко мне — то напишите. Это будет с вашей стороны доброе дело. Я скоро останусь совершенно один. И мой выздоравливающий Сатин уедет. Я буду между книг и между людей, которые больше похожи на книги, чем на людей. Не раз будет хотеться вздохнуть повольнее. Письма будут мне действительным утешением. А развлечение мое — добрый конь, который меня ежедневно носит по плоским окрестностям Берлина. Вот и всё. Театр отвратительный; я туда и не заглядываю.—Что касается до науки — то вы также знаете, что das Denken*** идет путем тяжелых сомнений, и каждый результат надо выстрадать.— Вот вам моя жизнь. Надеюсь, что ваша утешительней и что если вы вздумаете вспомнить обо мне и написать в Behrenstrasse, 28, то мне будет отрадно прочесть ваше послание. Впрочем, если б вам было и невесело, все же мне было бы отрадно читать ваши письмы.

Насчет денег, если ваш отец вышлет их мне, то сделает мне великую услугу; я могу выслать в получении расписку, засвидетельствованную посольством, если это нужно.

Засим прощайте! Я очень был бы рад сказать «здравствуйте!» — но пока прощайте. Будьте здоровы, спокойны, веселы etc... всё, что есть лучшего на свете, пусть придет на вашу долю.

Ma femme vous remercie p⟨ou⟩r votre souvenir ainsi que vos soeurs. Elle reste couchée encore, mais elle se porte parfaitement bien, quoiqu'elle pleure****. А я уж никогда не плáчу.

Прощайте.

Не смею больше писать, чтоб не наскучить вам.

На обороте: Russland. Moscou.
Mademoiselle Suchowo-Kobiline.
В Москву
Ее высокоблагородию
Евдокии Васильевне Сухово-Кобылиной
На Кисловке, в доме графа Сухтелена.

Почтовый штемпель: Berlin 13/10.

[1] *Henry* — Андрэ Салиас де Турнемир, муж Елизаветы Васильевны, с которым она незадолго перед тем разошлась.
[2] Неточная цитата из «Евгения Онегина».
[3] *Графиня* — Е. В. Салиас де Турнемир.

* занятие, которое никогда не утомляет (нем.).
** шлю вам привет (франц.).
*** мышление
**** Моя жена благодарит вас за память, так же как и ваших сестер. Она еще не встает с постели, но вполне здорова, хотя и плачет (франц.).

5

Берлин. 8 генв<аря> 1845 / 26 <?> декабр<я> 1844

Вчера получил ваше письмо. Сажусь писать к вам не потому, чтоб это было un moment de loisir*, а потому, что я не считаю не делом писать к вам. Берлин и наука не сделали из меня абстрактное существо; живые отношения к людям, которых я люблю, мне дороги и святы, и потому переписка для меня дело важное. Это вместо предисловия. Теперь давайте болтать о том, что в голову придет. Primo — mercì за письмо! Я думал, что вы уже так заленились или закружились, что не найдете времени для добровольного изгнанника. А как мне захотелось в Москву, если б вы знали! Так бы вот сел да и поехал. Но не могу. Меня обдает каким-то фантастическим страхом, когда я думаю, что я вернусь в Москву, — и я напеваю :

Cari luoghi, io vi trovai,
Ma quel di non trovo più!

Должно быть я стар стал и в прошлом для меня больше чудес, чем в будущем. Многое я ненавижу в прошедшем, но этого не вычеркнешь, и того, что хорошо было, не вернешь. Впереди мало ждется. Боюсь, чтоб лучшее, что во мне есть, не разрушилось. Вот я и медлю — и сижу в Берлине. Потом работа удерживает. Не верьте Бульверу[1]. Наука не сушит и не убивает души. Мысль не уединяет от людей. Мысль дает живые симпатии и доброжелательство, готовое на пожертвования для людей. Презрение, которое она дает, не презрение к людям, не насмешка над тем, что действительно свято и полно любви; это только презрение к ложному, нечеловеческому, эгоистическому. Мысль требует жертвы — конечно! Она требует разрыва с мечтой и ложью, хотя бы этот разрыв стоил жизни. Вы прогоняете мысль, когда она удручает вас. Вы ее боитесь. Попробуйте не бояться, и вы увидите, какая сильная и широкая жизнь откроется перед вами. Даже самая скорбь покажется вам чем-то великим. Если сомнение — путь ума к истине, то скорбь — путь сердца, и кто не знал этой скорби, тому истина всегда будет чужая. Я не боюсь скорби и дорожу ею. Вы спрашиваете: отчего она?.. Что сказать вам на это? что назвать? какой факт? Но факт ничего не значит. Он значит настолько, насколько мы даем ему своей души. «Les choses sont ce que nous en pensons»**, говорит Гамлет. И с чего же радоваться в этом мире, в кото<ро>м мы живем? Если смотреть на него без презрения и равнодушия, а с глубокой человеческой любовью, то не иметь скорби — не честно. Прибавьте к этим страданиям за *грехи мира* свои личные потребности!.. Стремление фантазии, жажда блаженства! Как задушить их? Они мучат, и с каждым днем бываешь принужден более и тяжелее от них отказываться. Шутить жизнью?.. Нет! уже я не могу этого.

Ich bin zu alt, um nur zu spielen,
Zu jung, um ohne Wunsch zu sein! ***

Не называйте это пустыми страданиями. Что же важно, если мысль и чувство не важны? Ограничиться ежедневными происшествиями?.. Но что ж в них утешительного?

«Penser... c'est se trouver seul au monde!»**** Нет! это неправда. Это одиночество только кажется. Penser—значит носить целый мир в душе и

---

* минутой досуга (франц.).
** «Вещи — это то, что мы о них думаем» (франц.).
*** Я слишком стар, чтоб знать одни забавы,
И слишком юн, чтоб вовсе не желать.
(Гете, «Фауст», 1-я часть, 4-я сцена. Перев. Б. Пастернака).
**** Мыслить... значит оказаться одиноким в мире (франц.).

жить его бесконечной жизнью. Если б даже и люди оставили—то с мыслью я меньше один, чем они, которые видятся друг с другом и не слышат как друг у друга бьется сердце. Но и это неправда. Мысль везде находит симпатию, лишь бы она была живая, действительная мысль, а не только пустая дума над самим собой и над тем, что жизнь нас обманула. Жизнь не обманывает. Мы ее не понимаем и обманываемся. Обман — мститель за то, что мы оскорбляем истинную жизнь.

Aber flüchtet aus der Sinne Schranken
In die Freiheit der Gedanken,
Und die Furchterscheinung ist entflohn,
Und der ew'ge Abgrund wird sich füllen;
Nehmt die Gottheit auf in euren Willen,
Und sie steigt von ihrem Götterthron.
Des Gesetzes strenge Fessel bindet
Nur den Sklavensinn, der es verschmäht;
Mit des Menschen Widerstand verschwindet
Auch des Gottes Majestät.

(Schiller. Das Ideal und das Leben) *

Теперь я не боюсь уединения, в котором живу. Оно нужно для внутренней переработки. Я являюсь к вам если не веселее, то спокойнее, по крайней мере, сильнее и откровеннее сам с собой; если не счастливей, то с большим уважением к жизни.

Au reste**, я также хохочу du bout des lèvres***; часто даже легкомыслен, как ребенок, и рад принимать участие в каждой глупости.

Но зачем же вы начинаете смеяться только du bout des lèvres? Зачем скучаете внутренно? К чему вам печали? Если б я мог принять на себя ваши печали, я взял бы их с радостью, лишь бы вам было хорошо и тепло на божьем свете. Вы не ошибетесь, если вспомните обо мне в минуту горя и радости; во мне они, без сомнения, найдут живой отголосок. Благодарю за доверенность. Впрочем, за что ж благодарить? если б вы иначе обо мне думали — мне было бы обидно, да вы и не можете иначе обо мне думать. Но зачем же и вы не досказываете и рвете письмы, которые ко мне пишете? Напр⟨имер⟩, что вас встревожило по приезде в Москву? Хотели сказать и не сказали. Знаете — когда находишься далеко, как хочется знать даже все ежедневные происшествия и иметь перед глазами жизнь далеких, но близких людей; а между тем эта жизнь является в каком-то тумане; напрасно хочешь что-нибудь разглядеть в ней, а все-таки смотришь. В другой раз не рвите писем — пишите, что в вас происходит на ту минуту. Также не бойтесь, говоря со мной, враждовать с тем, что управляет нашей судьбой. С тех пор, как я разрушил для себя на этот счет все представления или привидения, я, может быть, сказал бы многое, что примиряет с жизнью и дает силу. Но dio santo!**** как же не поду-

---

* Но над тесной мыслью пламенея,
Пусть обнимет вас идея —
И грозящий призрак отошел,
И сомкнулась пропасть роковая;
К божеству стремитесь, призывая,
И оно покинет свой престол.
Лишь для тех, кто покорен от века
Зов закона тягостен и строг.
Коль умолкнул ропот человека —
Потерял величье бог.

(Шиллер. Идеал и жизнь. Перев. А. Кочеткова).

** Впрочем (франц.).
*** нехотя (франц.).
**** боже мой! (итал.).

мать, что надоедаешь вам? Берлин так и веет педантизмом и диссертацией и наводит зевоту. Как же не бояться привести вас к этому неприятному чувству, когда беспрестанно хочется закрывать глаза и раскрывать рот?

Вы ездите в оперу. Я слышал Salvi[2] в «Лючии»[3] прошлую зиму. Он очень хорош и тем более, что вы давно не слыхали хорошего певца. Не дают ли у вас «Пуритан»[4]? Вспомните обо мне, когда их будут давать. Я был как во сне, когда их слушал, и плакал так, как редко в жизни плачется. Тогда пела Clara Novello[5]. Она удивительно хорошо ходит; я ужасно люблю смотреть, как она ходит. Она вышла замуж. C'est ainsi que passe la gloire du monde!*. Здесь, говорят, чудесная певица m-elle Lind[6]; я был болен, когда она пела в «Норме», а с тех пор «Норму» не дают.

Лучшее мое знакомство в городе Берлине — m-me d'Arnim, т. е. знаменитая Беттина. Чудесная, благородная женщина. Я уже тем доволен, что она существует на свете[7].

Вы говорили обо мне с Lise Bibikoff[8]! Позвольте не называть ее кн⟨ягиней⟩ Оболенской. Я не могу ее себе иначе представить, как Lise Bibikoff. Зачем брать чужие имена? Tout l'individu disparaît sous un autre nom**; бедная Лиза! Она была очень добрая девушка. Кланяйтесь ей от меня тысячу раз. Я очень жалел, услыхавши о ее несчастии. Что тут делать! Против власти случая и природы можно треснуться головой — ничего не переменишь. *Il faut subir****. Самое отвратительное слово, в котором выражается самая отвратительная зависимость. И вы еще потеряли близкого человека! Кажется, я его знал. Он был молод. И вам жалко, что горе забывается? Видите ли, как вы, не давая себе отчета, высоко цените скорбь. Ничего нет труднее, как забывать. Душе хочется, чтоб то, что она любит, было так же бесконечно, как ее любовь. А природа берет свое. Замещение прежних лиц новыми и всё новыми, этот бесконечный ряд меняющихся человеческих образов рождает в душе бесконечную пустоту и скуку. Одно воспоминание заставляет уходить глубоко в свою душу и спасает. Я решился ничего не забывать, — иного для того, чтоб не переставать любить, другого для того, чтоб всегда помнить, что́ надо смело отбросить из жизни.

Я сегодня что-то чересчур рефлектирую. Soyez patiente! Zürnen sie nicht dieser Laune — Sie sind ja immer so gut****. — Я говорю и пишу разом на трех языках, чтоб не искать слов.

Жена моя в Париже и сегодня должна ехать оттуда в Италию, где единственно она чувствует себя здоровою. Mr. Henry она не видала в Париже. Мне невозможно было за ней следовать; я как-то сам был не совсем здоров, а Италия меня всегда расстроивает, несмотря на мою любовь к Италии. Полезен Север для меня. Потеря ребенка, которая меня сильно оскорбила, без сомнения, для жены моей нелегко может забыться. Едва ли Париж рассеял ее...

Я здесь живу смирно. Со мной Сатин, который ходит на всей ноге, но плохо. Сбирается в Париж. Я же ни с места до весны. Весной Сатин хочет ехать на Кавказ [9]. Тогда и я с ним; в таком пути я его не оставлю. Это мы выдумали на днях. На Кавказ—да и только! Он видит в этом выздоровление (может быть!). Я — для себя ничего не вижу. Разве взгляну на степь и горы. Что, если б вы летом очутились на Кавказе?.. Вздор какой!

---

* Вот так и проходит мирская слава! (франц.).

** Весь человек исчезает под другим именем (франц.).

*** Надо терпеть (франц.).

**** Будьте терпеливы! (франц.). Не сердитесь на такое расположение духа—вы ведь всегда так добры (нем.).

J'aurais fait les honneurs de la maison*. Я эту сторону знаю и имею к ней пристрастие. Сколько ни живу в Европе, все же чувствую себя aus einem wilden Geschlechte**. Подчас так хочется проскакать по степи на тройке!.. Или на коне!..

Верховая езда и здесь для меня развлечение. Иных здесь и нет. Театры плохи. В свет я по обычаю не езжу. И вы скучаете в свете? Признайтесь, что нет ничего столько натянутого, холодно-учтивого и гордого собственной пустотой как то, что называют светом, и куда все ездят скучать, очень важно уверяя, что веселятся. Я совершенно отказываюсь от лицемерия и не хочу быть там, где мне скучно, видеться с кем не хочется и терять жизнь в пустых учтивостях.

Скажите вашей сестре, что я хотел было рассердиться за то, ⟨что⟩ она меня ⟨за⟩бывает***, но подумал и только прошу qu'elle me tende la ⟨main⟩****; когда вздумаете, напишите и не рвите писем, точно как будто ва⟨м⟩ надо сперва начерно написать, а потом перебелить (казенное вы⟨ражение⟩). Пишите, чем скорее, тем лучше. Но... когда вздумаете.

Meine Empfehlungen zu Hause. Leben sie wohl! Ganz der Ihrige*****.

Квартира моя теперь Universitätsstrasse, № 3.

Опять распечатываю письмо, чтоб поздравить вас с Новым годом и пожелать вам счастия, какого-нибудь чуда, если хотите, которое бы вас несказанно обрадовало.

Я чуть было не забыл про Новый год и не пожелал себе счастия. Не верю чудесам и новому. Знаю, что я сам в себе ношу свое счастие и несчастие и силу отстоять себя от случайной неудачи.

Но для вас мне не не хочется ⟨!⟩ не верить в возможность нежданных радостей и чего-нибудь счастливого, и потому я вам желаю счастия, alles das Beste, die schönsten Tage im Leben******.

Распечатывая, я поджег немного пакет. Не взыщите — знаете мою природную неловкость.

На обороте:

Russland. Moscou.
Mademoiselle Souchowo-Kobiline.
В Москву
Ее высокоблагородию
Евдокии Васильевне Сухово-Кобылиной
На Кисловке, в доме гр. Сухтелена.

Почтовый штемпель: Berlin 10/1.

[1] *Бульвер* — Бульвер-Литтон, Эдуард-Джордж (1803—1873), английский романист, критик и политический деятель.

[2] Лоренцо *Сальви* (1810—1887) — итальянский оперный певец (тенор), гастролировавший зимой 1844/45 г. в Москве.

[3] «*Лючия де Ламермур*» — опера Доницетти.

[4] «*Пуритане*» — опера Беллини.

[5] О *Кларе Новелло* см. выше в наст. томе.

[6] Женни *Линд* (1820—1887) — известная шведская певица.

[7] *Беттина* — литературное имя Элизабет фон Арним (1785—1859), известной немецкой писательницы. В позднейших письмах к друзьям (1845) Огарев отзывается о ней гораздо холоднее.

[8] *Lise Bibikoff* (по мужу Оболенская) — московская знакомая Огаревых. Несчастие, о котором пишет Огарев, — смерть ее мужа, Д. Н. Оболенского (в 1844 г.).

[9] Н. М. Сатин в середине февраля 1845 г. уехал в Париж. Вернулся он в Россию одновременно с Огаревым в марте 1846 г. Поездка их на Кавказ не состоялась.

* Я бы вас радушно принял (франц.).
** из дикого племени (нем.).
*** *Это место письма и ниже повреждено, читается предположительно.*
**** чтобы она протянула мне руку (франц.).
***** Мое почтенье вашим домашним. Будьте здоровы. Весь ваш (нем.).
****** всего лучшего, прекраснейших дней в жизни (нем.).

Н. А. МИЛЮТИНУ

Публикация Н. Захарьина

Две записки Огарева 1846 г. к Николаю Алексеевичу *Милютину* (1818—1872), известному впоследствии либерально-бюрократическому деятелю, видному участнику подготовки крестьянской реформы 1861 года, представляют интерес в трех отношениях. Во-первых, ими документально подтверждается факт личного общения Огарева и Герцена во второй половине сороковых годов с Милютиным, факт, который ранее известен не был. Во-вторых, поскольку в литературе неоднократно возникал вопрос о позднейшей связи Н. А. Милютина с редакцией «Колокола» (в 1858—1859 гг.) и о характере его сотрудничества в органе Герцена — Огарева, мы получаем косвенное подтверждение возможности этого сотрудничества (ср. в работе М. М. Клевенского «Герцен-издатель и его сотрудники» краткую сводку данных по этому вопросу.—«Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 600). В-третьих, мы получаем некоторые дополнительные данные о тех хлопотах, которые были предприняты Герценом в 1846 г., чтобы добиться права выехать за границу.

Обе записки связаны с этими хлопотами. Огарев возвратился в Москву из-за границы в самом начале марта 1846 г. Первая записка датирована 14 марта. В записке Огарев рекомендует Милютину своего соседа по пензенскому имению и друга А. А. Тучкова, человека прогрессивных взглядов, привлекавшегося после 14 декабря 1825 г. к следствию по обвинению в участии в «Союзе Благоденствия». Просьба уведомить «о нашем общем знакомом Николае Ивановиче» касается, по всей вероятности, Н. И. Сазонова, который, находясь в Париже, очутился в весьма затруднительном денежном положении и был посажен в долговую тюрьму в Клиши. Огарев еще за границей начал хлопоты об освобождении Сазонова, доставал деньги для уплаты его долгов и, очевидно, еще из Берлина писал о Сазонове Милютину.

С гораздо большей определенностью можно расшифровать дальнейшую часть записки. Запрос об «А. И.». т. е. о Герцене, был связан с необходимостью добиться снятия политического надзора, тяготевшего над Герценом около одиннадцати лет. Снятие надзора зависело и от министра внутренних дел, и от московского генерал-губернатора, и от III Отделения.

Известно, что осенью 1846 г. надзор с Герцена был снят, и в декабре он со своей семьей получил заграничный паспорт. Сыграл ли в этом какую-нибудь роль Н. А. Милютин, мы не знаем. Нужно думать, что он не отнесся безучастно к просьбам Огарева. Во всяком случае, из второй записки, датированной 15 июня, можно заключить, что Милютин готов был оказать помощь Герцену. Огарев благодарил за полученный от Милютина ответ и, пользуясь поездкой в Петербург молодого знакомого Герцена, Дмитрия Александровича Засядко, прямо поставил перед Милютиным вопрос: «Есть ли для него ⟨Герцена⟩ какие-нибудь препятствия к отъезду за границу». Отметим, между прочим, что в начале октября того же года, когда Герцен сам приехал по тому же делу о заграничном паспорте в Петербург, он виделся там с Д. А. Засядко (см. IV, 426—428), быть может, в связи с его недавним посредничеством. Сведения о рано умершем Засядко—лицейском товарище Салтыкова-Щедрина, близком знакомом Петрашевского, Некрасова, Грановского, Герцена и Огарева — крайне скудны. Наиболее полную сводку имеющихся упоминаний о Засядко см. в кн.: С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. I, изд. 2. М., 1951 (по указателю имен).

Другое лицо, упоминаемое Огаревым в его записках, И. П. Арапетов, был университетским товарищем Герцена и Огарева. Впоследствии Арапетов, как и Н. А. Милютин, принадлежал к либеральной бюрократии и стал членом «редакционных комиссий», подготовивших «Положения» 19 февраля.

В 1859 г. Огарев в известной эпиграмме «Ростовцевская комиссия» писал:

Там, во школе, во фламандской,
Заседает Фирс Ламанской,
А ему же для советов

Дан бездарный Арапетов.
Для гармоньи вместо лютен
К ним прибавлен сам Милютин...

(См. «Стихотворения и поэмы». Л., 1938, т. II, стр. 345—346).

Совершенно очевидно, что отношение Огарева к Милютину и Арапетову радикально изменилось. От прежней приязни к ним, о которой свидетельствуют печатаемые письма, не осталось и следа. Это, конечно, не означало, что материалы, которые посылал в «Колокол» Н. А. Милютин, не могли представлять интереса для редакции.

1

Москва, 14 марта ⟨1846 г.⟩

Вот уже около двух недель как мы в Москве, почтеннейший Николай Алексеевич. Я всё жду от вас какого-нибудь уведомления о нашем общем знакомом Николае Ивановиче.

Это письмо вам доставит мой друг Алексей Алексеевич Тучков, с которым знакомство вам наверно доставит много удовольствия. Он пробудет в Петербурге две недели. Сделайте одолжение, пришлите мне с ним какие-нибудь сведения о А⟨лександре⟩ И⟨вановиче⟩, если это возможно. Я был очень рад свидеться с московскими друзьями; надеюсь жить здесь хорошо и кое-что работать. Но не хочу более писать, а времени мало и говорить на письме не умею. Надеюсь свидеться с вами в Питере осенью. Дайте руку — пока прощайте.

Преданный вам Н. Огарев

От души кланяюсь Арапетову.
Алексей Алексеевич Тучков — Сергиев⟨ская⟩ улица, д. Пантелеева

На обороте: Его высокородию,
Николаю Алексеевичу Милютину.
В Министерство внутренних дел.

Автограф. ЦГИАЛ, ф. 869, оп. 1, ед. хр. 1007, л. 1.

2

⟨Москва, Соколово. 15 июня 1846 г.⟩

Вот вам еще письмо, любезнейший Милютин, и еще новый знакомый — Засядко, с которым вы верно будете рады сойтись, и вот вам еще поручение: нельзя ли осведомиться о нашем друге Герцене — есть ли для него какие-нибудь препятствия к отъезду за границу или нет; известите меня об этом, если успеете, с тем же г. Засядкой, который возвращается через 28 дней. Вы, верно, извините меня, что я вас мучу комиссиями, но я решился вас мучить, зная что вы станете хлопотать с радостью.— Благодарю вас за письмо, привезенное мне Тучковым. Оно мне ясно напомнило вашу столицу и всю трудность для хорошего человека спокойного существования в ней.— Прощайте! спешу — кругом говорят и пьют — ваше здоровье. Милютин! — Кланяйтесь Арапетову.

Преданный вам Н. Огарев

15 июня

На обороте: Его высокородию
Николаю Алексеевичу Милютину.
В Министерство внутренних дел.

Автограф. ЦГИАЛ, ф. 869, оп. 1, ед. хр. 1007, л. 3. — Письма сообщены и подготовлены к печати В. Боградом.

Н. В. АЛЬБЕРТИНИ

Публикация Б. Козьмина

Николай Викентьевич *Альбертини* (1826—1890), которому адресовано письмо Огарева — известный либеральный публицист пятидесятых — семидесятых годов, постоянный сотрудник журнала «Отечественные записки», до перехода их в руки Некрасова, и газеты «Голос».

Уроженец г. Остер Черниговской губернии, Альбертини обучался сначала в 3-й московской гимназии, а затем, в 1846 г., поступил на юридический факультет Московского университета. Здесь он слушал лекции Грановского, Кавелина, Кудрявцева, Соловьева. В 1851 г., после окончания университета, Альбертини был «определен» преподавателем истории и законоведения во 2-й кадетский корпус. С 1857 г. он начал сотрудничать в «Отечественных записках»; там печатались его рецензии и статьи о книгах исторического и политического содержания. В 1859 г. Альбертини принимал близкое участие в журнале «Московское обозрение». В том же году ему пришлось переехать в Петербург: «Отечественным запискам» было разрешено печатать политическое обозрение, и Краевский поручил вести обозрение Альбертини. С этих пор он посвятил себя исключительно литературной работе и скоро приобрел известность в либеральных кругах.

Осенью 1861 г., когда в Петербургском университете происходили студенческие волнения, Альбертини, сочувствовавший, подобно многим представителям либерального общества, студентам, разрешил им устроить сходку у себя на квартире. Об этом стало известно III Отделению: у Альбертини был произведен обыск, а сам он подвергся аресту, правда, кратковременному.

В начале 1862 г. Альбертини уехал за границу, где пробыл более года. Пять месяцев он прожил в Лондоне. Там он нередко посещал Герцена, с которым был знаком еще по Москве, там познакомился с Огаревым, Бакуниным, Кельсиевым и другими русскими, группировавшимися вокруг редакции «Колокола». Осенью 1862 г. Альбертини переехал в Гейдельберг, где в то время было немало русских. Здесь он принимал участие в организации русской читальни, служившей для русской колонии одновременно и политическим клубом (см. мою статью «Герцен, Огарев и „молодая эмиграция"» — «Лит. наследство», т. 41-42, 1941). В феврале 1863 г. Альбертини решил возвратиться в Россию.

Правительству из донесений агентов было известно, что Альбертини неоднократно посещал Герцена и других русских эмигрантов в Лондоне. Поэтому на границе он был подвергнут обыску (оказавшемуся безрезультатным) и затем отдан под суд. Привлеченный по так называемому процессу 32-х (Н. А. Серно-Соловьевич и др.), Альбертини был оправдан (см. М. Л е м к е. Очерки освободительного движения шестидесятых годов. СПб., 1908, стр. 18 и сл.). Однако в 1866 г. он был арестован вновь по делу о русской читальне в Гейдельберге и выслан из Петербурга.

Пятнадцать лет Альбертини пришлось провести в ссылке. За это время он побывал в Мезени, Шенкурске, Архангельске, Ревеле и других местах. Только в 1880 г. ему разрешили возвратиться в Петербург. За все эти годы он не прекращал литературной деятельности, оставаясь постоянным сотрудником «Голоса», пока правительство не закрыло газету. После этого он участвовал во многих других изданиях. Однако в середине восьмидесятых годов он отошел от литературы и журналистики и посвятил себя исключительно чиновничьей службе. (Биографические данные об Альбертини заимствованы нами из названной книги М. К. Лемке, из статьи в I томе «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых» С. А. Венгерова, а также из указанных ниже архивных дел.)

Альбертини дважды подвергался допросу об отношениях его с Герценом и Огаревым: во время следствия по процессу 32-х и следствия по делу о гейдельбергской читальне. В первый раз Альбертини заявил, что он не разделял взглядов редакции «Колокола», и в подтверждение сослался на свою пятилетнюю деятельность в «Отечественных записках», которая, по его выражению, «всегда отличалась строго законною

почвою, крепкою преданностью власти и закону». Что касается его сношений с «лондонскими пропагандистами», то эти сношения якобы ограничивались несколькими свиданиями. уклоняться от которых он считал «делом неделикатным». «Самые свидания эти,— говорил Альбертини,— были редки и под конец моего пребывания в Лондоне прекратились» (ЦГИА, ф. 112, д. № 69, Правительствующего сената, 5-го департ., 1-го отдел., «О лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами», лл. 2006, 2032—2033).

Показания Альбертини по делу о гейдельбергской читальне были более пространными.

«Герцен,— рассказывал Альбертини,— знавал меня еще в сороковых годах, когда я, сын бедных родителей, учился в 3-й московской гимназии: он оказывал мне тогда некоторую помощь. Спустя несколько недель по прибытии моем в Лондон Герцен отыскал меня. Как ни компрометировало бы меня знакомство с этим человеком, но, зная что весьма многие русские литераторы, сохранивши постоянно репутацию честных граждан, не уклонялись, бывая в Лондоне, от свиданий с Герценом, а главное, памятуя его внимание ко мне в детстве, я бывал у него. Там я увидал Бакунина, тогда только что бежавшего из Сибири. Он познакомился со мной и начал, с своей стороны, оказывать мне некоторые знаки внимания. Отношения мои с эмигрантами были отношения знакомства, не более; в их затеи, предположения, в агитацию, пропаганду я не входил и даже разговоров с ними об этом предмете не имел. Герцен мне больше рассказывал об английской жизни, о русской литературе и литераторах сороковых годов. Бакунин больше рассказывал, как он в 1848 г. производил революции. В середине моего пребывания в Лондоне знакомство этих людей мне начало становиться в тягость; я убеждался более и более, что между ими и мною нет ничего общего, что это отверженцы своей страны, тогда как меня она всецело тянула к себе... К концу моего пребывания в Лондоне я уже так был далек от эмигрантов, что уехал, ни с одним из них не простившись» (ЦГИА, ф. высочайше утвержденной Следственной комиссии, д. № 311, 1866 г. Показания Альбертини от 9 июня 1866 г., лл. 180—181).

Было бы ошибкой полностью доверять этому показанию, тем более, что дано оно было через четыре года после событий, о которых в нем идет речь. Альбертини, по причинам, совершенно понятным, не хотел и не мог быть до конца откровенным с допрашивавшими его следователями.

Прежде всего явно неправдоподобно сообщение будто бы лондонские свидания Альбертини с редакторами «Колокола» состоялись по инициативе отыскавшего его в Лондоне Герцена. Надо думать, что Альбертини сам сообщил Герцену о своем приезде в Лондон и затем получил приглашение посетить его.

Далее, несомненно, что еще до приезда в Лондон Альбертини, если не непосредственно, то через своего друга и ближайшего товарища по «Отечественным запискам» С. С. Громеку, находился в сношениях с лондонскими эмигрантами.

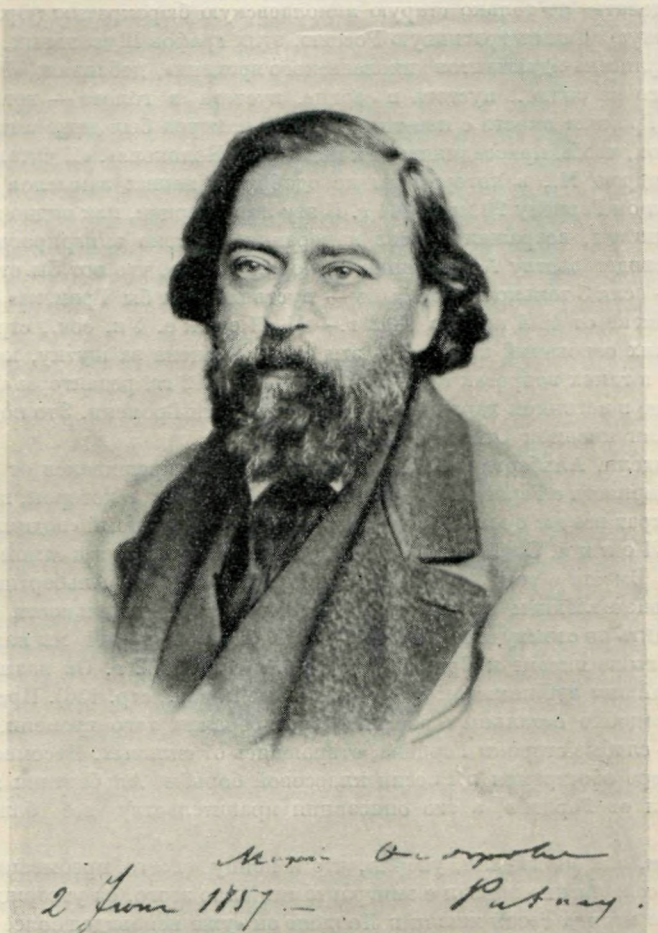
Что представлял собою в это время Громека? В прошлом — жандармский офицер, в будущем — седлецкий губернатор, яростно проводивший руссификацию после разгрома польского восстания 1863 г., Громека в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов занимал видное место среди либеральных публицистов. Литературную известность он приобрел еще в первые годы царствования Александра II, когда на страницах «Русского вестника» Каткова и в других изданиях печатались его статьи на такую животрепещущую тему, как произвол, беззакония, лихоимство и казнокрадство тогдашней полиции. Заметим в скобках, что Добролюбов (а также и соратники его по «Современнику») иронически относился к Громеке и впоследствии с насмешкою вспоминал то время,

Когда Громека с силой адской
Всё о полиции писал.

Ироническое отношение Добролюбова к нашумевшим статьям Громеки вызывалось тем, что за вопросом об очищении полиции от преступных элементов Громека не видел более важных и неотложных задач русской жизни — необходимости полного

уничтожения самодержавия и крепостничества. Возможно также, что неожиданный либерализм Громеки, столь противоречивший его недавнему прошлому, справедливо казался Добролюбову и его товарищам по «Современнику» весьма подозрительным и непрочным.

Этих сомнительных сторон деятельности Громеки, повидимому, в то время еще не усмотрел Герцен. Сохранилось несколько писем, адресованных Громекою Герцену (в отрывках и с большим количеством искажений напечатаны М. П. Драгомановым



ОГАРЕВ

Фотография с дарственной надписью Огарева М. Ф. Корш: «Марии Федоровне. 2 июня 1857. Putney»

Исторический музей, Москва

в № 57 «Вольного слова». Женева, 1883; полностью будут опубликованы в следующем томе «Лит. наследства»). Письма относятся к 1859—1861 гг. и пропитаны приторной лестью и подобострастием. О тоне писем Громеки к Герцену могут дать представление даже краткие выдержки. «Утешительно думать,— писал Громека 11 мая 1861 г.,— что у нас в Лондоне свой король есть. И когда бы вы знали, как боятся этого короля наши цари и царьки!» «Жму вашу благородную руку — на нее только и надежда... Повторяю, нет у нас другой надежды, кроме вас»,—писал он 18 апреля 1861 г. «Я часто повторял вам в письмах моих, что у нас одна только надежда — на вас. Это не фраза.

Если бы вы были среди нас, вы были бы русским Гарибальди, а теперь нам остается читать ваше евангелие и ждать, пока вы расшевелите нас»,— писал он 20 мая 1861 г.

Громека в письмах к Герцену информировал его о петербургских новостях, о различных предположениях и мерах правительства, посылал ему конфиденциальные правительственные документы (вроде циркуляра по поводу всеподданнейшего отчета киевского генерал-губернатора кн. Васильчикова, напечатанного Герценом в 100-м листе «Колокола», и др.). Он давал издателю «Колокола» советы, например: рекомендовал ему «отделать» не только старую николаевскую бюрократию (Орлова, Панина и др.), но и «юную административную Россию, этих графов Шуваловых, кн. Паскевичевых и всех флигель-адъютантов николаевского времени», добавляя: «Ужаснее этого народа я ничего не знаю... пустота в сердце, пустота в голове — вот их заслуга».

В 1861 г. Громека вместе с кем-то из друзей намерен был даже эмигрировать из России в Лондон, чтобы присоединиться к издателю «Колокола». «Я читал ваше доброе письмецо к Андрею Н., в котором вы не одобряете наших замыслов перебраться к вам»,— писал он Герцену 20 мая 1861 г. В эту пору Герцен, как видно из только что приведенной цитаты, возражал против намерения Громеки эмигрировать, но годом позже он, по свидетельству Альбертини, «говорил как-то, что вот бы отдохнуть ему, а „Колокол" — если б только можно было — пусть издавал бы Громека» (Письмо Альбертини к Громеке от 16/4 апреля 1862 г.— М. Л е м к е. Ук. соч., стр. 137).

Нет никаких оснований принимать эти слова Герцена за шутку, как это сделал Лемке. Герцен в таких вопросах не шутил. В 1861—1862 гг. редакторы «Колокола» не разобрались еще в истинном характере оппозиционности Громеки. Это подтверждается печатаемым нами письмом Огарева.

Как мы видели, Альбертини на допросах усердно открещивался от всякой политической солидарности с Герценом. Конечно, с тем Герценом, в котором, по выражению Ленина, «демократ все же брал... верх» над либералом, который «поднял знамя революции» (В. И Л е н и н. Соч., т. 18, стр. 12, 14), у Альбертини и в самом деле не было ничего общего. Вместе с тем нет ничего удивительного, что Альбертини находился под большим впечатлением от журнально-политической деятельности Герцена. Об этом можно судить по отзыву его об издателе «Колокола», который мы находим в цитированном уже выше письме к Громеке от 16/4 апреля 1862 г. Он называет Герцена «нашим величайшим публицистом» (М. Л е м к е. Ук. соч., стр. 136). Происходило это потому, что, подобно остальным российским либералам того времени, Альбертини «возвеличивал» слабые стороны Герцена, отвращаясь от сильных. Несомненно, однако, и то, что по мере обострения в России классовой борьбы, Альбертини все дальше и дальше отходил от Герцена, а его оппозиция правительству все более и более тускнела.

Альбертини, как мы видели, уверял, что к концу своего пребывания в Лондоне он фактически совершенно порвал с эмигрантами. Мало этого, он утверждал даже, что в последние два месяца своей жизни в Лондоне он «уже ненавидел более эмигрантов». «Их понятия и взгляды на вещи, по мере того как они выяснялись для меня в разговорах, хотя бы о предметах, далеких от политики,— говорил Альбертини на допросе в Следственной комиссии,— становились для меня более и более противными; употребляю это слово, потому что оно лучше всего выражает истинное мое чувство». В подтверждение он ссылался на свое письмо к Краевскому от 1 августа 1862 г. из Лондона (ЦГИА, цит. дело Следственной комиссии, лл. 181—193). В письме мы находим между прочим следующие строки: «В последнее время я живу почти никого не видя, почти одинокий. Говорю — одинокий, потому что очень редко вижу русских, со многими из них я разошелся в мнениях до того, что даже как-то неловко с ними встретиться, другие — пошлые дураки» (М. Л е м к е. Ук. соч., стр. 178).

У нас нет оснований не доверять искренности этого письма. Повидимому, между Альбертини и представителями русской эмиграции в Лондоне действительно произошло в это время некоторое охлаждение. Однако несомненно и то, что полного разрыва между ними еще не было. Так, в бумагах, отобранных у Альбертини при обыске, произведенном в 1886 г., оказалось одно небольшое письмо Герцена от 11 апреля <1862 г.>.

Оно не сохранилось в деле, и о содержании его можно судить лишь по сообщению чиновника, составлявшего докладную записку. Вместе с этим письмом Герцен посылал Альбертини два письма к членам английского парламента с просьбою доставить предъявителю возможность присутствовать на заседании парламента. При этом, как отметил чиновник, Герцен советовал «предъявить эти письма при входе одному из паткулей», т. е. одному из полисменов (ЦГИА, цит. дело Следственной комиссии, л. 100). Поясним, что Паткуль был петербургским обер-полицмейстером, «прославившимся» осенью 1861 г. нападением на безоружных студентов Петербургского университета.

В конце 1862 г. Альбертини, как сказано выше, переехал в Гейдельберг. Если даже поверить его утверждению, что за время пребывания в Гейдельберге он не поддерживал якобы никаких сношений ни с Герценом, ни с Огаревым, то переписка его с Бакуниным все же остается неопровержимым фактом. Это он сам принужден был признать: в отобранных у него бумагах было обнаружено незаконченное письмо на имя Бакунина (в деле Следственной комиссии оно не сохранилось).

По словам Альбертини, инициатива переписки исходила от Бакунина, который обратился к нему с вопросами относительно его жизни в Гейдельберге. Альбертини ответил Бакунину и вскоре получил от него новое письмо, в котором тот между прочим спрашивал о дошедших до Гейдельберга новостях из России. Ответом на этот вопрос и являлось то незаконченное письмо, которое в 1866 г. попало в руки жандармов (ЦГИА, цит. дело Следственной комиссии, лл. 180—181). В нем Альбертини, по словам его показания, между прочим писал о необходимости наладить доставку «Колокола», который «доходит до России плохо».

Эта забота об организации доставки «Колокола» в Россию показывает, что, вопреки уверениям Альбертини, в гейдельбергский период своей жизни он еще не порвал окончательно связи с Лондоном. Однако несомненно и то, что это было уже накануне его полного разрыва с эмигрантами.

На допросе в Следственной комиссии Альбертини между прочим заявил:

«Чистосердечно сознаваясь в том, что я имел слабость дважды писать к Бакунину (из этих писем одно осталось неотправленным), я вместе с тем заявляю торжественно и готов подтвердить присягою на св. кресте и евангелии, что более этого сношений с эмигрантами я не имел. Ни одного письма я не писал ни к Герцену, ни к Огареву, ни к Кельсиеву, ни к Долгорукову, ни к Блюммеру. С возвращения моего в Россию я вел себя как верный подданный моего государя и ни в чем противозаконном, преступном или подозрительном не участвовал» (ЦГИА, цит. дело Следственной комиссии, л. 181).

Нет никаких оснований сомневаться в полной искренности последних слов Альбертини. Действительно, со времени возвращения в Россию он вел себя относительно правительства вполне лойяльно. Его пятнадцатилетнюю ссылку по делу о гейдельбергской читальне нельзя не признать вопиющей несообразностью: никакой опасности для самодержавия этот человек уже не представлял. С Альбертини произошло то же самое, что и с другими «поклонниками» Герцена из либеральных кругов: как только они убедились, что Герцен «безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма» (В. И. Л е н и н. Соч., т. 18, стр. 14), они из его поклонников обратились в его врагов.

Публикуемое нами письмо Огарева было написано еще тогда, когда Альбертини жил в Лондоне. Именно об этом письме автор его и вспомнил во время допроса в Следственной комиссии.

«Во время моего пребывания в Лондоне,— рассказывал Альбертини,— я, помнится, получил письмо от Огарева, в котором он со своей точки зрения толковал о положении русской литературы; письмо это, может быть, уцелело у меня. Конечно, оно осталось без всяких последствий, так как советам и внушениям их я не намерен был следовать. Тем не менее я не находил компрометирующим для себя хранить это письмо. Для будущего оно могло быть небезынтересным памятником» (ЦГИА, цит. дело Следственной комиссии, л. 99).

Альбертини ошибся: этого письма в его бумагах не оказалось; он, очевидно, забыл, что еще до возвращения в Россию передал его графине Е. В. Салиас (Евг. Тур),

с которой в то время был близок. Через Е. В. Салиас это письмо, вместе с другими принадлежавшими ей бумагами, попало в польскую библиотеку в Рапперсвиле.

Однако Альбертини был вполне прав, выражая надежду, что это письмо явится «небезынтересным памятником» эпохи шестидесятых годов. Действительно, письмо представляет значительный интерес, как отклик одного из издателей «Колокола» на знаменательную полемику, которую в 1861—1862 гг. с легкой руки Каткова вела против «Современника», Чернышевского и Добролюбова почти вся тогдашняя русская пресса как реакционная, так и либеральная. «Отечественные записки» в лице своих ближайших сотрудников — Громеки, Альбертини и других — принимали в этой полемике самое деятельное участие. Выступление «Отечественных записок» и других органов либеральной прессы против руководителей «Современника» свидетельствовало о том, что, в связи с отменой крепостного права, вызвавшей в России обострение классовой борьбы, либерализм стремился полностью и окончательно отмежеваться от революционного демократизма.

В этом отношении позиция, занятая «Отечественными записками», в высшей степени характерна. Вступив в полемику несколько позже «Русского вестника» Каткова, «Отечественные записки» вели ее с неменьшим ожесточением. Отвечая на их выпады, Чернышевский во второй из своих статей — «Полемические красоты»—справедливо указывал, что в ряде книжек журнала «по всем отделам, составляющимся постоянными соучастниками редакции „Отечественных записок", рассеяны в неисчислимом количестве выходки против „Современника"» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1950, стр. 733).

Не менее прав был Чернышевский, когда он отмечал крайнюю неопределенность общей позиции «Отечественных записок». «Страна эта велика и обильна,— писал руководитель «Современника»,— но порядка в ней нет». Чернышевский указывал, что «Отечественным запискам» никак не удается добиться определенности и единства направления. «Чего-чего не набито в них сплошь и рядом: западничество и славянофильство, умеренность и крайний образ мыслей, и все это обвито непроницаемым туманом. Как будто соединены листы, вырванные из „Русского вестника" и „Современника", из „Русской беседы" и „Русского слова", с обрывками из покойного „Москвитянина" и прежних „Отечественных записок" времен Белинского» (там же, стр. 733—734).

Эта неопределенность и эклектичность программы приводили к тому, что журнал Краевского в своей полемике против «Современника» отличался крайней непоследовательностью и даже противоречивостью. То на страницах журнала можно было встретить уверения в том, что у всего русского «литературного ополчения» «один враг — невежество и произвол, одна цель — благо родины» («Отеч. записки», 1861, кн. 6, «Заметка», стр. 70), ибо в России не существует различных политических партий и направлений. «Все у нас,— писал Громека,— желают одного — распространения просвещения, устранения невежества и произвола, водворения законности и правильного развития. К этой благородной цели *одинаково стремятся все наши журналы* <...> Споры могут быть только относительно тех или других средств, той или другой формы распространения просвещения» (там же, кн. 8, «Современная хроника России», стр. 81; выделено мною.— *Б. К.*). То, наоборот, сотрудники «Отечественных записок» подчеркивали, что у них нет ничего общего с руководителями «Современника», они яростно обрушивались на Чернышевского и Добролюбова как на своих непримиримых врагов и не останавливались перед самой нелепой и бесцеремонной клеветой по их адресу. То, полемизируя с «Современником», они чуть не дословно повторяли выпады, вычитанные у Каткова; то заимствовали свои полемические аргументы из известных статей Герцена «Very dangerous!!!» и «Лишние люди и желчевики».

Подобно Каткову, сотрудники «Отечественных записок» обвиняли Чернышевского и его товарищей по журналу в том, что у них отсутствуют положительные взгляды. Альбертини называл их «людьми без убеждений, без веры» (там же, кн. 3, «Политическое обозрение», стр. 24). В другой статье он уверял, будто «Современник», ограничиваясь исключительно отрицанием, «ни разу не заикнулся о том, что он особенно любит», чего добивается (там же, кн. 8, «Политическое обозрение», стр. 82).

В полном противоречии с этим утверждением сотрудники «Отечественных записок» в других статьях признавали, что «Современник» придерживается вполне определенных взглядов, но во имя своей теории он не желает якобы считаться ни с потребностями русской жизни, ни со взглядами и вкусами народа. «„Современник", — уверял Громека,— не желает знать ни истины, ни свободы, ни прав человека и для осуществления своей теории «не расположен щадить никого и ничего» (там же, «От С. С. Громеки к Н. Г. Чернышевскому», стр. 80).

Вслед за редактором «Русского вестника» Альбертини обвинял «Современник» в «легкомысленном отношении к вопросам науки, жизни, ко всему тому, что мы считаем общественным делом» (там же, кн. 3, «Политическое обозрение», стр. 25). Громека, солидаризируясь с этим обвинением, утверждал, будто бы сотрудники некрасовского журнала «бросают грязью в лучшие человеческие верования», «осмеивают всякое благородное увлечение», «объявляют, что весь мир наполнен одними негодяями и мошенниками», и все это — «из одного только фокусничанья и привлечения почтеннейшей публики» (там же, кн. 5, «Современная хроника России», стр. 20).

Подобно Каткову, «Отечественные записки» упрекали сотрудников «Современника» в том,что они готовы глумиться над всем без разбора, даже над тем, что достойно не издевательства, а уважения и преклонения. Они способны «смеяться над всяким благородным увлечением» (там же, кн. 2, «Современная хроника России», стр. 95). Они не останавливаются даже перед тем, чтобы бросить «комком грязи в такого гиганта, как Макколей» (там же, кн. 3, «Политическое обозрение», стр. 25).

Особенно же возмущались сотрудники «Отечественных записок» той резкой критикой, которой Чернышевский и Добролюбов подвергали лидера итальянских либералов Кавура, «гениального», по мнению Громеки и Альбертини, человека и истинного освободителя Италии. В идиллических тонах расписывал Альбертини политические порядки Пьемонтского королевства. Там, по его словам, существует «самая тесная связь между правительством и народом», там правительство поступает «совершенно в духе народа» и всемерно стремится удовлетворять его потребности, а «народ, со своей стороны, любит свое правительство, которое считает лучшим в мире, гордится им, искренно ему предан». С яростью нападал Альбертини на Добролюбова за его знаменитое «Письмо из Турина», в котором критик разоблачал мнимое благополучие населения Пьемонта и выявлял как классовую сущность политики Кавура, так и призрачность пьемонтского конституционализма. «И вот,— писал Альбертини,— является „Письмо из Турина", в котором уже не помоями,— нет, этого мало,— а раствором ассафетиды, какою-то такою гадостью, которой уже нет названия, облито все, что составляет славу, величие современной Италии, чем она гордится, на что с удивлением, с восторгом, с уважением смотрят добрые люди во всех частях света <...>» (там же, кн. 4, «Политическое обозрение», стр. 94). Не довольствуясь злобной руганью и клеветой, Альбертини, раздраженный критикой западноевропейского либерализма, сравнивал Чернышевского и Добролюбова с продажным журналистом Булгариным (там же, стр. 98).

Озлобление Альбертини и других сотрудников «Отечественных записок» показывало, что они прекрасно понимали, каким жестоким ударом по российскому либерализму являлись статьи «Современника», посвященные критике Кавура, Токвилля, Макколея. Критикуя западных либералов, «Современник» тем самым критиковал политическую линию либералов отечественных. Этим и объясняется страстность и грубость полемических выпадов «Отечественных записок» против «Современника».

Обвинение сотрудников «Современника» в том, что, нападая на либералов, они тем самым укрепляют реакцию, было обычным, многократно повторяющимся полемическим приемом со стороны «Отечественных записок». Так, например, жалуясь на «дух мрака, внезапно охвативший нашу журналистику», Громека характеризовал сотрудников «Современника» как «темные силы, выдающие себя за провозвестников света» (там же, кн. 4, «Современная хроника России», стр. 63—64). Анонимный автор «Заметки», напечатанной в кн. 6 «Отечественных записок» за 1861 г., нападая на Добролюбова и его «Свисток», утверждал, что его «болезненный и недобрый смех» вреден для русского общества, ибо он «не только замедляет наше общее выздоровление, но еще

помогает болезненным и умерщвляющим силам», т. е. реакции (там же, кн. 6, «Заметка», стр. 71).

Даже после появления в печати второй статьи Чернышевского «Полемические красоты», в которой автор пытался втолковать сотрудникам «Отечественных записок» действительное направление политической линии, проводимой «Современником», Альбертини продолжал твердить, что сотрудники некрасовского журнала оказывают поддержку реакции, являются «вредной задержкой истинному прогрессу», и называл их представителями лжелиберализма, «граничащего с полным обскурантизмом» (Н. Альбертини. Автору «Полемических красот».— «Отеч. записки», 1861, кн. 8, стр. 76).

Так Альбертини и его товарищи усердно обыгрывали и упорно раздували мысли, высказанные Герценом в статье «Very dangerous!!!», те мысли, от которых сам Герцен (после того, как его посетил Чернышевский) вынужден был, как известно, публично отказаться (X, 61).

Вообще, как уже было указано, не только Альбертини, но и другие сотрудники «Отечественных записок» в своей полемике против «Современника» широко использовали произведения Герцена. Приведем несколько примеров.

Говоря о статье Добролюбова, посвященной Роберту Оуэну, Громека противопоставлял ей ссылку на «источник, более свежий и глубокий». Хотя он и не называл этот источник, было ясно, что Громека имеет в виду статью Герцена о Роберте Оуэне, напечатанную в 6-й книжке «Полярной звезды», вышедшей в начале 1861 г. («Отеч. записки», 1861, кн. 8, стр. 80—81).

Другой сотрудник «Отечественных записок», известный поэт М. П. Розенгейм, которого так зло и метко высмеивал Добролюбов, выступил в августовской книжке за 1861 г. с фельетоном «Заметки праздношатающегося». В этом фельетоне он упрекал добролюбовский «Свисток» в «словесном бретерстве» и, воспроизводя заключительную часть статьи Герцена «Very dangerous!!!», писал:

Всё ему смешки, забава,
Всё ругает, всё бранит,
Словно вправду Станислава
Досвистаться норовит.

(Там же, стр. 92—93).

Наконец, во второй книжке «Отечественных записок» за 1862 г. появилась статья под заглавием «Письма об изучении безобразия» (ср. герценовские «Письма об изучении природы») за подписью: П. Прогрессистов. Автор ее, негодуя на «балаганный тон и кривляние» сотрудников «Свистка», вспоминал об одном из «самых знаменитых, почтенных всею Европою публицистов», т. е. о Герцене, и открыто ссылался на написанную им против «свистунов» статью.

Так широко и усердно публицисты и поэты «Отечественных записок» старались использовать в своих интересах либеральные ошибки и колебания Герцена, стремясь изобразить себя его единомышленниками. Это нужно было им для того, чтобы замаскировать ту «предательскую политику широковещательного краснобайства и позорной дряблости», которую они наравне со всеми другими русскими либералами неуклонно проводили и за которую им пришлось впоследствии расплачиваться своими боками, ибо, как указал Ленин, «когда „бестактные и самоуверенные" свистуны и „задиры" были удалены», правительство «без церемонии» взяло всех либералов «в ежовые рукавицы» (В. И. Ленин. Соч., т. 5, стр. 33). Уж одна судьба Альбертини служит выразительной иллюстрацией приведенного утверждения Ленина.

Весьма характерно для политической позиции «Отечественных записок» и то, что, стремясь доказать свою мнимую солидарность с Герценом, сотрудники этого журнала одновременно находили возможным расшаркиваться перед Катковым. Полемизируя с «Современником», они заимствовали у редактора «Русского вестника» многие формулировки и аргументы. Но этого мало. Громека не постеснялся открыто солидаризироваться с Катковым. Имея в виду статью Каткова «Старые боги и новые боги», направленную против «Современника», Громека писал: «Замечательна эта статья особенно

но тонкости приемов и искусству, с которым автор бьет своего врага...» («Отеч. записки», 1861. кн. 4, «Современная хроника России», стр. 33).

Несмотря на отмеченную выше недостаточную четкость, а порою и противоречивость позиции «Отечественных записок» в их полемике против «Современника», сущность расхождения, разделявшего эти журналы, обнаружилась в ходе полемики с достаточной определенностью. Полную ясность в этот вопрос внесла статья «Русская литература», напечатанная в 8-й книжке «Отечественных записок» за 1861 г. и принадлежавшая, повидимому, редактору журнала, С. С. Дудышкину. Автор статьи не скрывал, что «Отечественные записки», в отличие от «Современника», стоят на стороне буржуазной политической экономии и высоко ценят не только Милля и Кэри, но и такого типичного представителя вульгарной экономической науки, каким был Бастиа, отнюдь не соглашаясь с той критикой, которой подвергал взгляды этих экономистов Чернышевский на страницах «Современника».

С неменьшей откровенностью автор названной статьи признал, что в основе защиты Кавура и других западных либералов лежит признание редакцией «Отечественных записок» *«закона постепенности исторической»* (там, же, кн. 8, стр. 151; выделено нами.— *Б. К.*).

Ясно, что у пропагандистов народной революции, какими являлись руководители «Современника», не могло быть ничего общего с защитниками буржуазного строя и апологетами «постепенного» прогресса. Либералов из «Отечественных записок» перспектива народной революции приводила в ужас, и из страха перед нею они были готовы идти на союз с Катковым и с правительством.

В кн. 12 «Отечественных записок» за 1861 г. Громека разъяснил, что в русской журналистике существуют два крайних фланга и центр. Что касается флангов, то на знамени одного из них (имелся в виду «Современник» и его единомышленники) якобы написано: «всё существующее безумно», а другого — «всё существующее разумно». Таково различие между флангами: однако, несмотря на это различие, оба фланга «стоят в области чистого умозрения и, следовательно, близко соприкасаются друг с другом». Что же касается «Отечественных записок», то они, как и «Русский вестник» Каткова, занимают место в центре, одинаково далеко от обоих флангов (там же, кн. 12, «Современная хроника России», стр. 42).

Статья «Русская литература» в кн. 8 «Отечественных записок» за 1861 г. и только что изложенное выступление Громеки привели к совершенному выяснению политической позиции журнала Краевского. С полной определенностью обнаружилось, что разделяют этот журнал и «Современник» не расхождения по второстепенным или частным вопросам, а проблемы принципиальные. В ходе полемики стало ясно: «Отечественные записки» Краевского и «Современник» Некрасова — политические враги, стоящие на противоположных классовых позициях. Эту противоположность, вместе с большинством современников, видел Бакунин, хотя и по-своему объяснял ее. В своих неопубликованных показаниях по делу о гейдельбергской читальне Альбертини сообщает: «От меня Бакунин выпытывал больше всего о разных лицах, участвующих в литературе, о Чернышевском, например, о покойном Добролюбове, о Якушкине, о Громеке, о Мельникове. Мои отзывы о них не совсем нравились Бакунину. «Так, я помню, например, что когда я сказал ему, что направление Добролюбова было вредно и что я считаю одним из лучших дел, сделанных моим другом Громекою,— его злую полемику против Добролюбова и Чернышевского,— Бакунин заметил на это, что мы и Громека — птенцы неопытные, что нас надобно, как он выразился, *обработать* еще, что вот Добролюбов, Чернышевский — те уж были люди, совершенно доделанные, *обработанные* вконец. Затем он принимался обрабатывать меня, доказывая, что литература, идущая против „Современника", вся закуплена правительством, а что „Современник" один — нет, и что поэтому, полемизируя против „Современника", мы этим самым, значит, доказываем только, что и сами берем деньги. Возражения мои вызывали с его стороны досаду и гнев» (ЦГИА, цит. дело Следственной комиссии, лл. 181—183).

Что же касается Огарева, то даже весной 1862 г., когда позиции обоих журналов были уже вполне выяснены, он еще не понимал глубокого принципиального значения уже завершенной полемики. В публикуемом письме к Альбертини Огарев называет

эту полемику «дрязгой», порожденной раздражительностью мелких самолюбий, и высказывает убеждение, что «из-за этой дрязги пропадает дело».

Главным же «делом» освободительного движения Огарев считал в тот момент борьбу за сплочение крестьянства вокруг требований «чтоб вся земля была земская» и за созыв Земского собора, который должен был практически содействовать осуществлению этих требований; в случае, если царь откажет в созыве Земского собора, народ должен ответить на этот отказ восстанием («Куда и откуда» — «Колокол», л. 134 от 22 мая 1862 г., ср. Н. П. О г а р е в. Избр. социально-политические и философские произведения, т. 1, М., 1952, стр. 578). Сплачивать же крестьян на борьбу за «земскую землю» и готовить народную революцию можно было, по мнению Огарева, только в «провинции», на местах, а не литературной пропагандой со страниц столичных журналов. В письме к Н. А. Серно-Соловьевичу от 8/20 июня 1862 г. Огарев писал: «Состоится ли он ⟨Земский собор⟩, будет ли он сам чем-то переходным или действительно организующим? Как знать! Но я думаю, что из всех последних событий вы убедитесь, что мое озлобление на литературную дрязгу не было слишком пусто; мое озлобление шло к тому, что я вообще в петербургской суете не вижу исхода. Тут нет живой жизни, нет построения будущего, нет места для коренного движения и преобразования. Опять прихожу к моей теме, шепчу и кричу ее вам в уши, чтоб она неотступно вас преследовала: живая жизнь в провинции; если у вас нет корня в провинции — ваша работа не пойдет в рост. Я даже рад, что Петербург не в силах ничего сделать, потому что все, что он ни сделает, будет иметь результат только тот же — отместку провинции. Уясните это ⟨...⟩ провинциалу, ищите друзей в провинции. Вы только в провинциях встретите народ, а не мещан-извозчиков, для которых всего менее понятна коренная цель — земской земли. Мне жаль молодежь, которой не обвиняю ⟨...⟩, мне жаль и ваших мещан-извозчиков — они не виноваты. Рознь верхушек уж слишком велика, чтобы понять друг друга, и сближение их всего меньше возможно на Невской набережной и Марсовом поле — оно возможно только при реках черноморско-каспийских. Оставьте мертвых погребать мертвых. Работайте в провинциях» («Былое», 1906, № 1, стр. 230—231).

Письмо Огарева к Н. А. Серно-Соловьевичу вскрывает подоплеку тех ошибочных суждений и оценок, по поводу полемики «Современника» и «Отеч. записок», которые мы находим в публикуемом документе. Увлеченный поисками союзников «на общее дело», Огарев стремится убедить Альбертини в том, что Чернышевский — вовсе не идейный противник сотрудников «Отечественных записок», а *«в сущности единомышленник»* их. Огарев проповедует Альбертини и Громеке примирение с их якобы «мнимым врагом». Одновременно он старается доказать своему корреспонденту, будто у него, Альбертини, и у его товарищей по журналу нет ничего общего с Катковым.

Между тем Огарев, обращаясь с письмом к Альбертини, уже знал, что Громека от своего имени и от имени Альбертини (правда, без согласия и воли последнего) ведет переговоры с Катковым относительно их участия в «Русском вестнике». Сохранилось интереснейшее письмо Альбертини к Громеке, написанное 16/4 апреля 1862 г., т. е. почти за месяц до письма Огарева, в котором тот, убеждая Громеку воздержаться от соглашения с Катковым, писал: «Вы не поверите, как тяжело отозвалось здесь ⟨т. е. в кругу Герцена.— *Б. К.*⟩ ваше известие о *союзе* с Катковым. Ведь союз этот,— ежели только вы не шутите,—объяснил для А. И. ⟨Герцена⟩ падение таких людей, как друзья его Евг. Корш, Кетчер, нынешних друзей Чичерина» (М. Л е м к е. Ук. соч., стр. 139).

Таким образом, редакторы «Колокола» уже знали о намечающемся соглашении Громеки с Катковым, и тем не менее Огарев находил возможным задавать Альбертини недоуменный вопрос: «Каким образом Громека может соединиться с вредным направлением *Каткова*, идущего против реальных экономических начал и бессословного самоуправления во имя узенького доктринаризма?»

Правда, соглашение между Громекою и Катковым не состоялось: Катков звал Громеку, но Громека в «Русский вестник» не вернулся. Однако он, как уже было упомянуто выше, решился на не менее одиозный шаг, обнаружив тем истинную сущность своего временного либерализма и грошевую цену поверхностной оппозиционности: он оставил литературу для высокого административного поста, сопряженного со спе-

циальным заданием — проводить в Польше политику насильственной руссификации. Вот чем кончил человек, которого Огарев весной 1862 г. ошибочно принял за «единомышленника» не только своего, но и Чернышевского: Громека лишь по недоразумению вступил в борьбу против руководителя «Современника».

〈Лондон. 11 мая 1862 г.〉

Любезный Альбертини!

Перечитывая «Современник» и «Отечественные записки», нельзя не прийти к заключению, что в литературе господствует *дрязга*, вытекающая из раздражительности мелких самолюбий, и что из-за этой дрязги пропадает дело. Это наводит на мысль, что *эта литература* покончила свое дело так же, как и *это правительство*. И правительство, и литература поставили на ноги вопросы народной жизни, вызвали духов, а совладать с ними, направить их не в силах. Правительство затерялось в мелочи регламентаций и различных личных выгод; литература затерялась в мелочи завистей и личных оскорблений.

Может, и впрямь тут уже нечего делать, нечем помочь и придется оставить больных умирать, как знают. Может быть, число подписчиков на журналы будет уменьшаться по мере того, как число реальных народных деятелей будет увеличиваться. Издатели будут наказаны убытками за то, что личную дрязгу ставили на первый план, вследствие чего утратили понимание дела.

Я думаю, что состояние литературы оправдывает мой скептицизм, мое недоверие к ней, и едва ли вы усомнитесь, что я прав. Но если есть еще искра надежды на выздоровление больных, то решитесь же на усиленную попытку проповедовать в литературе забвение дрязги и союз на общее дело.

Здесь надо различать личности от направлений. Союз с вредными направлениями был бы преступен, союз с благим направлением, при забвении личных распрей, был бы подвигом гражданской доблести.

Каким образом Громека может соединиться с вредным направлением *Каткова*, идущего против реальных экономических начал и бессословного самоуправления во имя узенького доктринаризма? Ведь и защитники Чичерина говорят, что они идут по строгому историческому пути, не замечая или скрывая, что они идут не по историческому пути, а по пути предательского полицейского доктринаризма. Эдак вашим друзьям может придти в голову, что ничуть не грешно соединиться и с этим мнимо-историческим направлением, лишь бы это было против *Чернышевского*?

А, по совести, там, где Чернышевский серьезен, разве он не представляет того направления, с которым только вы и можете симпатизировать?

Уговорите ваших друзей забыть обиду и протянуть руку на серьезное действие мнимому врагу, который, в сущности, единомышленник.

Денежно *издатель* от этого только выиграет. Нравственно выиграют *редакторы*, потому что вместо личностей пойдут во имя общего русского дела.

Тот из вас, кто первый протянет руку на союз, тому и честь гражданского подвига.

А если этого не случится, Альбертини, то бог с ней, нехай ее пропадает ваша чиновничье-семинарско-*кабацкая* литература, и пусть она заменится реальным народным движением, к которому она оказывается неспособною. Реальное движение создаст свою литературу не кабацкую, а народную.

Ваш О г а р е в

11 мая 1862 г.

Фотокопия с подлинника, хранившегося до 1939 г. в Рапперсвильском музее в Варшаве.— ЦГЛА, ф. 359, оп. 1, ед. хр. 74, лл. 1—2.

ДЖ. СТЮАРТУ МИЛЛЮ

Публикация Н. Захарьина

Публикуемое по черновому автографу письмо Огарева обращено к английскому буржуазно-либеральному экономисту и философу-идеалисту Джону Стюарту *Миллю* (1806—1873).

В письме, не имеющем авторской даты, речь идет о брошюре Огарева «Essai sur la situation russe. Lettres à un Anglais». Она вышла в Лондоне 8 мая 1862 г. у Трюбнера (см. «Объявления о книгах», № 13 за 1862 г., приложение к «Колоколу», л. 132; см. также выше в наст. томе). Герцен весьма высоко оценил эту брошюру Огарева: он разослал ее многим деятелям, русским и иностранным. 9 мая 1862 г., посылая несколько экземпляров брошюры И. С. Тургеневу, Герцен писал: «Не можешь ли ты меня одолжить, отославши прилагаемую книжку Огар‹ева› (чрезвычайно замечательную) Henri Martin...» (XV, 128). 21 мая, вновь обращаясь к Тургеневу, Герцен писал: «Прошу усердно излишний экземпляр книги Огар‹ева› послать Делаве» ‹т. е. Н. Делаво.— *Н. З.*› (XV, 137). Несколькими днями позже Мишле сообщил Герцену: «Только что получил из Лондона работу г. Огарева, имеющую важное значение ‹...› Я очень хотел бы его поблагодарить» (XV, 140—141). Герцен 27 мая отвечал Мишле: «Брошюра Огарева ‹...› является, по моему мнению, наиболее важным из того, что написано о современном положении России» (XV, 140). Рассылалась брошюра и самим Огаревым. Сообщая Герцену весной 1862 г. о своей переписке с Луи Бланом (она остается неизвестной), Огарев добавлял: «Сегодня я написал предлинное письмо Луи Блану об эмансипации, потому что он мне прислал мою статью с похвалою» («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 397—398).

Приведенные выдержки из писем Герцена и Огарева свидетельствуют, что в течение мая 1862 г. брошюра «Essai sur la situation russe» была послана многим лицам. Миллю, однако, она была отправлена позже, не ранее начала августа: в публикуемом письме содержится сообщение о событии, происшедшем 7/19 июля 1862 г. в Петербурге,— об аресте Чернышевского. Точных данных о том, когда именно это известие дошло до Герцена и Огарева, в литературе нет. Л. И. Мечников, живший в Италии и находившийся в ту пору в переписке с Чернышевским и редакцией «Современника», ничего не знал о происшедшем до начала августа. 2/14 августа он написал Чернышевскому короткое письмо, в котором упоминал о петербургских арестах и намекал на то, что опасается, не находится ли среди арестованных Чернышевский (см. «Процесс Н. Г. Чернышевского». Саратов, 1939, стр. 67). Следует, однако, думать, что редакция «Колокола», связанная нелегальным путем с петербургскими революционерами, одной из первых была извещена о случившемся. Отметим также, что 6 августа датировано письмо К. Д. Кавелина из Парижа, адресованное к Герцену, в котором упомянуто и о петербургских арестах вообще и об аресте Чернышевского, в частности (см. «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к Герцену и Огареву». Женева, 1892, стр. 81—82). В публикуемом письме Огарев говорит об аресте Чернышевского как о событии, известие о котором еще не получило широкого распространения; поэтому мы вправе предположить, что он узнал об аресте лишь незадолго перед тем — приблизительно, в конце июля или в начале августа ст. ст. 1862 г. К этому периоду и следует отнести публикуемое письмо.

* * *

Дж. Стюарт Милль принадлежал к числу тех идеологов буржуазного общества, которые пытались в целях «улучшения» капиталистического строя использовать некоторые идеи современного им утопического социализма. Эклектизм и противоречия политико-экономической теории Милля, мнимость его «сочувствия» социализму «в отдаленном будущем» с огромной проницательностью вскрыл Чернышевский. Над советом совершенствовать в ожидании этого будущего буржуазный строй Чернышевский иронизировал, указывая, что «улучшения» частной собственности не оставят

от нее и следа, останется только «урезанный кусочек, беречь который не стоит хлопот» (Н. Чернышевский. Избранные экономические произведения, т. III, ч. 2, М., 1949, стр. 100). В другой связи Чернышевский прямо говорит, вскрывая буржуазный характер теории Милля: «Вот и видно, что коммерческого класса теория» (Н. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. IX. М., 1949, стр. 1003).

Книга Чернышевского «Очерки политической экономии по Миллю» (1861) заслужила высокую оценку Маркса. «Континентальная революция 1848—1849 гг.,— писал Маркс,— отразилась и на Англии. Люди, все еще претендовавшие на научное значение и не довольствовавшиеся ролью простых софистов и сикофантов господствующих классов, старались согласовать политическую экономию капиталистов с притязаниями пролетариата, которых уже нельзя было более игнорировать. Отсюда тот плоский синкретизм, лучшим представителем которого является Джон Стюарт Милль. Это — банкротство „буржуазной" политической экономии, как мастерски выяснил уже в своих „Очерках политической экономии по Миллю" великий русский ученый и критик Н. Чернышевский» (К. Маркс. Капитал, т. I. М., 1951, стр. 13).

Отношение Герцена и Огарева к Миллю было далеко не столь последовательно критическим, как отношение Чернышевского. Герцен, являясь сильным критиком буржуазных общественных порядков, сумел блестяще использовать нападки Милля на застойный характер английского общества в своей статье о книге Милля «On liberty» («Колокол», л. 40-41, 15 апреля 1859 г.), вошедшей впоследствии в состав «Былого и дум» (см. ч. VI, прибавление). Летом 1862 г., во втором письме цикла «Концы и начала», он вновь возвратился к тем едким определениям, какие давал Милль английской действительности. Милль определял ее как власть нравственной ничтожности и «collective mediocrity» (коллективной посредственности) буржуазии и мещанства (XIV, 223, ср. XV, 257). Со своей стороны, Огарев видел в Милле ученого, принимающего участие в критике некоторых сторон политической и экономической системы капитализма. Характеризуя в своих статьях бедственное положение крестьянства, фермеров-арендаторов и батраков в Англии и Америке, Огарев, обращаясь к работам английского экономиста, резко выступал, как и Герцен, против капитализма. «Огарев пригвоздил к позорному столбу буржуазию, захватившую политическую власть и богатства в свои жадные и цепкие руки, подвергающую трудящихся мучительной эксплуатации» («Большевик», 1952, № 12, стр. 71). «Он ⟨Огарев⟩ разглядел, что за словесной мишурой конституций буржуазных стран скрывается своекорыстная, узко эгоистическая классовая подоплека» (там же). Однако вскрыть со всей отчетливостью оборотную сторону критики Милля — стремление укрепить буржуазный строй — ни Герцен, ни Огарев не сумели, хотя оба они, например, решительно возражали против идеализации Миллем мелкой индивидуальной земельной собственности, высказывались против его мальтузианских тенденций. Посылая свою брошюру Миллю, Огарев отдавал себе отчет в том, что противопоставление «русского социализма» западноевропейской капиталистической действительности не встретит в Милле сочувствия.

Брошюра Огарева, имеющая подзаголовок «Письма к англичанину», начиналась прямыми полемическими замечаниями по адресу противников социализма. «Милостивый государь,— писал Огарев, обращаясь к неизвестному,— вы затронули два близких мне вопроса: Россию и социализм. Вам любопытно бы узнать Россию, а социализма вы не любите; поэтому, я думаю, что дружеская полемика между нами может стать интересной и полезной для нас обоих...» (цитируем в нашем переводе). Далее следовало развитие известных идей Герцена и Огарева о том, что понятия «Россия» и «социализм» нераздельны, чему и посвящена вся брошюра.

Непосредственным толчком, побудившим Огарева послать свою брошюру Миллю, явилась новая книга Милля «Considerations on representative government» («Замечания о представительном образе правления»), вышедшая в 1861 г. В книге Огарев нашел критику парламентских систем европейских стран, приложимую, как ему представлялось, также к «конституционным» поползновениям либерального дворянства в России. Весной 1862 г. тайное общество «Земля и Воля» противопоставило различным конституционным проектам лозунг «самосозыва» бессословного

Земского собора. Огарев в июне — октябре 1862 г. готовил, в соответствии с планами «Земли и Воли», проекты крестьянских адресов, основным требованием которых был созыв Земского собора. Как разъяснил видный участник «Земли и Воли», анонимно выступивший в 1868 г. в журнале «Народное дело» (Женева) со статьей «Пропаганда и организация», лозунг созыва Земского собора был принят обществом «Земля и Воля» с целью воспрепятствовать буржуазно-дворянским конституционным проектам. «Оно ⟨Общество «Земля и Воля».— *Н. З.*⟩ столько же стремилось к самосозванному Народному собранию, сколько хотело помешать возможной случайности созвания правительством официального Земского собора, то есть дарования какой-нибудь непристойной конституции»,— пишет хорошо осведомленный и осторожный автор («Народное дело», 1868, октябрь, №№ 2 и 3, стр. 33—34).

Статья Огарева «Конституция и Земский собор», напечатанная в «Колоколе» лишь во второй половине 1863 г. (1 июня — 1 декабря), но задуманная и начатая осенью 1862 г., начинается словами: «Конституция может быть дана, но Земский собор должен быть взят»,— в точном соответствии с планом «Земли и Воли», изложенным анонимным автором и приведенным нами выше. Вся статья Огарева посвящена критике различных форм «представительства» в европейских странах и противопоставляет этим формам «бессословный Земский собор», приводя разносторонние основания необходимости его созыва. Эпиграфом к своей статье Огарев избрал выдержку из «частного письма» Дж. Стюарта Милля, являющегося ответом на публикуемое нами письмо. Полный текст ответа Милля до нас не дошел, приводим выдержку в переводе Огарева (письмо было написано по-французски): «Мне кажется, что нельзя не согласиться с основной мыслью вашей книги, т. е. с тем, что чиновничество составляет действительную язву России и что всякое преобразование останется безуспешным, если не освободит из-под его несносного ига людей и вещи и не отдаст равно общие и частные интересы на решение самих заинтересованных. По моему убеждению, это гораздо важнее самого благоустроенного представительства, хотя в России, кажется, что и то и другое (представительство и самоуправление) должны идти рука об руку и друг для друга необходимы» («Колокол», л. 164, от 1 июня 1863 г., стр. 1351). Приведенная выдержка показывает, что Милль сочувственно отозвался о брошюре Огарева, хотя и не дает представления о содержании всего ответа.

Огарев пишет Миллю, что, работая над французской брошюрой, он имел в виду русских читателей, добрая часть которых еще ищет истину в иностранной прессе. О том же говорит Огарев и в других письмах и в печати. Так, в письме к Е. В. Салиас читаем: «...мне было грустно, что вы мою книжку сочли годной для иностранцев. Подумайте хорошенько и увидите, что она годна только для русских, а иностранцы в ней ничего не поймут...» (см. выше в наст. томе). В статье, напечатанной в «Общем вече», Огарев говорит: «Выписываю вам простой расчет из моей книжки, писанной на французском языке (будто бы для того, чтобы познакомить Европу с Россией, а в сущности для того, что большая часть образованных русских верит только в иностранные книжки)» («Общее вече», № 23, от 15 ноября 1863 г., стр. 108).

На русском языке брошюру Огарева предполагалось издать в 1863 г. Перевод был подготовлен Н. И. Жуковским, но по каким-то причинам, остающимся неизвестными, выпущен в свет не был (см. «Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. XII. М., 1951, стр. 164).

Не состоялось также издание брошюры на английском языке. Тем не менее, в 1868 г. Огарев осуществил свое намерение, высказанное в письме к Миллю, сделать к брошюре дополнения. Переработав брошюру и дополнив ее сведениями о ходе развития событий в России в 1862—1867 гг., он вновь напечатал ее по-французски, под названием «La Russie actuelle et son developpement», на этот раз не в отдельном издании, а во французском «Колоколе» («Kolokol», 1868, №№ 1, 2, 4, 6, 8 и 10), без заключительной части. На русском языке известна только одна глава из брошюры 1862 г.: она напечатана в «Колоколе», лл. 128 и 129, от 8 и 15 апреля 1862 г.— «Финансовая реформа в России».

Варианты публикуемого чернового автографа приводятся лишь в тех случаях, когда они дают что-либо существенное для дополнения текста.

LETTRE À SIR J. STUART MILL

<Вторая половина июля — август 1862 г.>

Monsieur,

Il y a bien longtemps que je voulais vous envoyer mon «Essai sur la situation russe». Je dois l'avouer—une sorte de timidité m'a retenu de le faire jusqu'à présent.

Je pensais: et si la question n'avait pas assez d'intérêt pour vous, si vous vous souciez de la réforme en Russie tout aussi peu que de mon petit livre.

Je l'ai écrit en français, mais j'avais en vue mon public russe, dont encore une bonne partie cherche la vérité dans la presse étrangère et si je désirais et désire d'être lu par quelqu'un parmis les européens, c'est certainement par vous, monsieur, parce que j'estime en vous le penseur lucide.

Je viens de lire vos «Considerations on representative government» et voilà que mon idée de vous envoyer mon livre me reprend d'une manière irrésistible. Il est impossible qu'un fait aussi grave qu'une réorganisation prochaine et inévitable d'un immense pays sur les bases d'un droit *coutumier* de chacun à la terre et d'un selfgovernment électif, qui vient au jour dès que [l'empire] l'envahissement bureaucratique commence à crouler par sa propre inconsistance, — il est impossible dis-je, qu'un pareil fait passe inaperçu devant vos yeux. Je prends donc la liberté de vous envoyer mon livre, non par amour propre d'auteur, mais par l'intime conviction qu'un homme comme vous ne doit pas, *ne peut pas* laisser passer avec indifférence *des faits* d'une importance sociale telle, qu'ils entrent nécessairement comme des éléments dans l'histoire des générations futures.

Je me crois parfaitement d'accord avec vos principes[1], et si dans mon livre quelques déductions de détail vous paraissaient contestables et douteuses, — c'est qu'en vérité personne ne peut échapper au point de vue que l'individu prend dans la tradition nationale, dans l'habitude à un certain ordre de choses, et si ces différences de points de vue n'amènent pas à des vérités absolues, au mois elles empêchent de tomber dans l'applicabilité oiseuse des théories préconçues et l'indétermination des principes abstraits. La sympathie, que j'ai pour votre manière de penser me fait espérer que mon livre réussira à tourner votre attention sur le développement de mon pays. Pourtant je me hâte d'ajouter que la marche des choses chez nous est plus rapide qu'on ne le pense généralement, et si je venais à faire une édition anglaise — sans rien changer quant au fond de mon livre; je devrais .y ajouter un appendice considérable. De nouvelles réformes sont venues depuis, ou plutôt *vont venir* (car elles sont à l'état de projets officiels); elles vont accélerer et relentir en même temps les tendances de pays vers un selfgovernment général: ce sont la réforme judiciaire et la réforme de l'administration des recettes et des dépenses departementales. La contradiction que j'énonce en disant accélerer et relentir ne revient à zéro, mais bien à un mouvement d'oscillation.

Comme point de départ d'une réorganisation totale ces réformes sont tout à fait radicales. Comme lois ce sont des imitations du code français, parfois de la juridiction anglaise même, mais où l'impérialisme conserve sa part de lion: ces réformes contentent bon nombre d'indolents et relentissent le mouvement; mais en même temps elles éveillent les questions et rendent la solution du problème de plus en plus inévitable. Le congrès national représentatif à suffrage universel (à deux degrés— car autrement je ne puis me le représenter) me parait être l'idée qui fermente dans tout le pays.

Si la lecture vous suggérait quelques questions, le désir d'avoir des explications et des détails — vous me feriez un immense plaisir en me les demandant.

Agréez, monsieur, etc.

P. S. [Pardon pour l'édition; la faute en est à l'éditeur. J'ai tâché de corriger à la plume les erreurs d'impression les plus insupportables]

Mon adresse est L⟨ondon⟩ O⟨rsett⟩ h⟨ouse⟩ W⟨estbourne⟩ t⟨errace⟩. C'est là que je demeure d'ordinaire avec mon ami m-r Herzen, dont je partage les travaux.

Vos principes d'é⟨conomie⟩ p⟨olitique⟩ ont été traduits et commentés dans la revue russe le «Contemporain» par m-r Tch⟨ernychevsky⟩. Le «Contemporain» a été défendu par le g⟨ouvernem⟩ent, et votre commentateur se trouve pour le m⟨om⟩ent d⟨ans⟩ le cachot de la f⟨ortere⟩sse de P⟨étersbour⟩g. Réforme d'un côté, persécution de l'autre — notre g⟨ouverneme⟩nt développe une théorie d'oscillation éminemment révolutionnaire[2].

Автограф. ЦГЛА, ф. Огарева (№ 359), ед. хр. 78. Автограф на пяти разрозненных листках. Нумерация 26—29 проставлена рукой автора. Часть текста от слов «De nouvelles réformes...» до «...mouvement d'oscillation» обнаружена нами в одной из записных книжек Огарева, хранящихся в ЛБ (Г.— О., VI. 27, зап. книжка № 9).

Перевод*:

ПИСЬМО К СЭРУ ДЖ. СТЮАРТУ МИЛЛЮ

⟨Вторая половина июля — август 1862 г.⟩

Милостивый государь,

Мне уже давно хотелось послать вам мой «Опыт о современном положении России». Должен признаться, до сих пор меня удерживала какая-то робость.

Я думал: а что, если вопрос не представляет для вас достаточного интереса, а что, если реформа в России занимает вас столь же мало, сколь и моя книжечка.

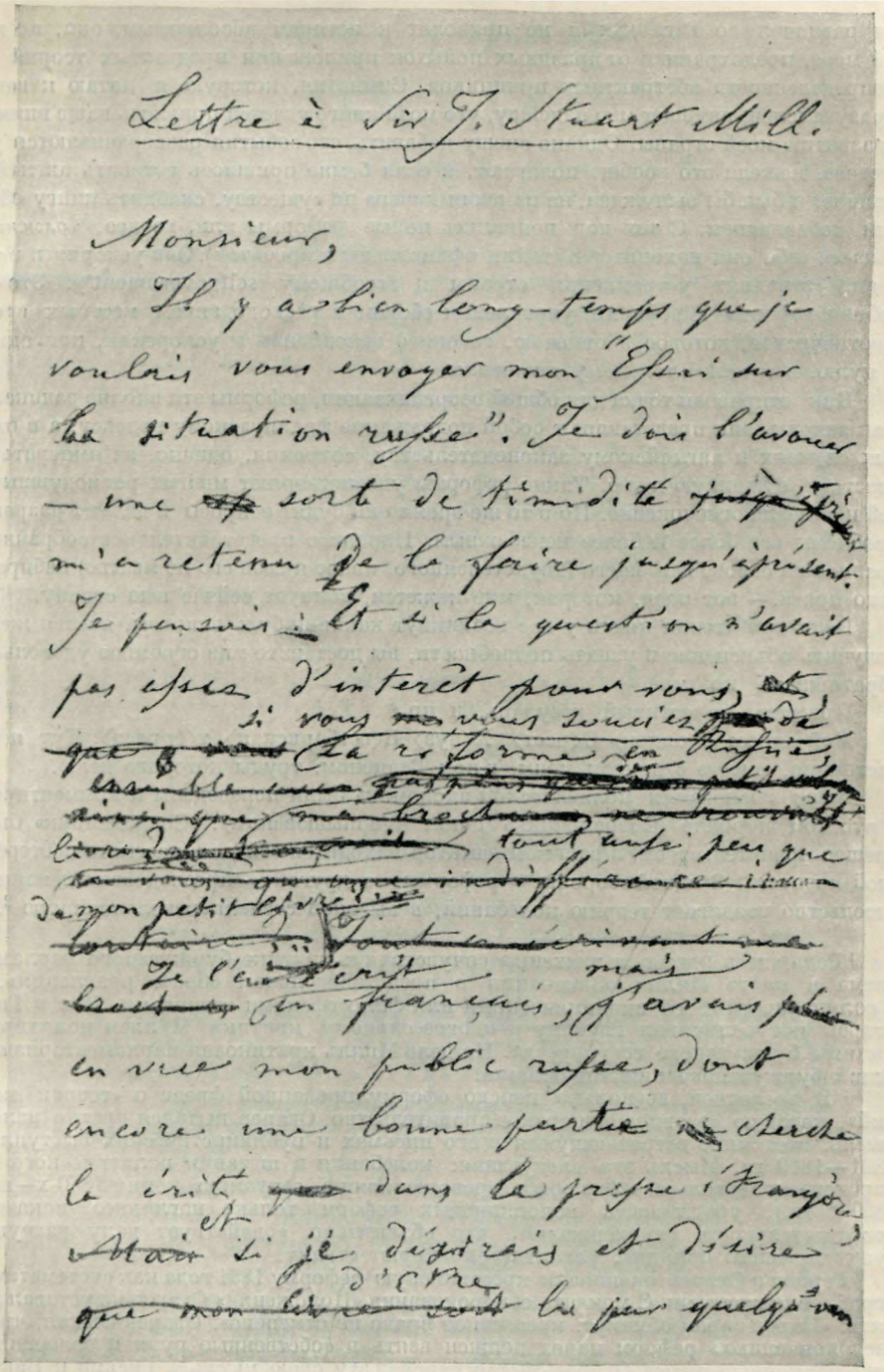
Я написал ее по-французски, но имел в виду свою русскую публику, добрая часть которой еще ищет истину в иностранной прессе. Если же я хотел и хочу, чтобы меня прочитал кто-либо из европейцев, то уж, конечно, прежде всего вы, милостивый государь, потому что я уважаю в вас проницательного мыслителя.

Я только что прочел ваши «Considerations on representative government»**, и вот мной вновь, уже с непреодолимой силой, овладело желание послать вам свою книгу. Невозможно, чтобы факт такой важности, как предстоящая в ближайшее время неминуемая реорганизация огромной страны на основах *обычного* права каждого на землю и выборного selfgovernment***, которое возникнет, как только****, в силу собственной своей несостоятельности, захватническая бюрократическая власть начнет рушиться,— невозможно, повторяю, чтобы подобный факт прошел незамеченным вами. Итак, я позволяю себе послать вам свою книгу не из авторского самолюбия, а по глубокому убеждению, что такой человек, как вы, не должен, *не может* равнодушно пройти мимо *фактов*, социальное значение которых столь велико, что они неизбежно войдут существенными элементами в историю будущих поколений.

Я полагаю, что совершенно согласен с вашими принципами[1], и если в моей книге некоторые частные выводы показались бы вам спорными и сомнительными, то это потому, что поистине никому не дано отрешиться от взглядов, которые личность черпает в своей национальной традиции и в привычках к определенному порядку вещей. И если

---

* *Перевод этого письма выполнен автором публикации.*
** «Замечания о представительном образе правления» (англ.).
*** самоуправления (англ.).
**** *Далее зачеркнуто:* империя



Lettre à Sir J. Stuart Mill.

Monsieur,

Il y a bien long-temps que je voulais vous envoyer mon "Essai sur la situation russe". Je dois l'avouer — une ~~[illegible]~~ sorte de timidité ~~jusqu'à présent~~ m'a retenu de le faire jusqu'à présent. Je pensais : Et si la question n'avait pas assez d'interêt pour vous, ~~et~~ si vous ~~[illegible]~~ vous souciez ~~[illegible]~~ de ~~que [illegible]~~ la réforme en Russie, ~~[illegible]~~ tout aussi peu que ~~[illegible]~~ de mon petit livre ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Je l'ai écrit en français, mais j'avais ~~[illegible]~~ en vue mon public russe, dont encore une bonne partie ~~[illegible]~~ cherche la écrit ~~que~~ dans la presse étrangère ~~Mais~~ et si je désirais et désire ~~que mon livre soit~~ d'être lu par quelqu'un

АВТОГРАФ ПИСЬМА ОГАРЕВА К ДЖОНУ СТЮАРТУ МИЛЛЮ
ОТ ИЮЛЯ – АВГУСТА 1862 г.

Лист 1

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

эти различия во взглядах и не приводят к истинам абсолютным, они, по крайней мере, предохраняют от праздных попыток приложения предвзятых теорий и от неопределенности абстрактных принципов. Симпатия, которую я питаю к вашему образу мыслей, внушает мне надежду, что моей книге удастся привлечь ваше внимание к развитию моей страны. Однако спешу добавить, что события разворачиваются у нас быстрее, нежели это вообще полагают, и если б мне пришлось готовить английское издание, я был бы вынужден, не изменяя ничего по существу, снабдить книгу обширным добавлением. С тех пор появились новые реформы или, вернее, *должны появиться* (ибо они находятся в стадии официальных проектов). Они ускорят и в то же время замедлят устремления страны к всеобщему selfgovernment'у. Это — судебная реформа и реформа управления сбором и расходованием местных средств. Противоречие, которое я отмечаю, говоря о замедлении и ускорении, приводит не к нулю, а к колебательному движению.

Как отправная точка для общей реорганизации, реформы эти вполне радикальны. Как законы, они представляют собой подражание французскому кодексу, а в отдельных случаях и английскому законодательству, сохраняя, однако, за императорской властью ее львиную долю. Такие реформы удовлетворяют многих равнодушных людей и замедляют движение. Но в то же время они будят вопросы и делают разрешение проблемы все более и более неизбежным. Народное представительное собрание, избранное на основе всеобщего (двухстепенного, иначе я себе его не мыслю) избирательного права,— вот идея, которая, мне кажется, волнует сейчас всю страну.

Если при чтении книги у вас возникнут какие-нибудь вопросы, явится желание получить объяснение и узнать подробности, вы доставите мне огромное удовольствие, обратившись ко мне.

Примите, милостивый государь, и пр.*

Мой адрес: Л⟨ондон⟩ О⟨рсет⟩ Х⟨ауз⟩ В⟨естборнская⟩ т⟨ерраса⟩. Тут я живу постоянно, вместе с другом моим, г-ном Герценом, труды которого делю.

Ваши «Основания политической экономии» были переведены и комментированы в русском журнале «Современник» г-ном Ч⟨ернышевским⟩. «Современник» был запрещен правительством, а ваш комментатор находится сейчас в каземате п⟨етербург⟩ской крепости. С одной стороны — реформы, с другой — преследования; наше правительство развивает теорию колебаний, в высокой степени революционную [2].

[1] Речь здесь идет о выражении сочувствия к критике буржуазного парламентаризма в книге Милля «Замечания о представительном образе правления», а не о солидарности с его экономическими или философскими взглядами. Как и Герцен, Огарев преувеличивал глубину и прогрессивность критики Миллем политической системы буржуазного государства. На деле Милль критиковал парламентаризм с позиций буржуазного индивидуализма.

[2] В последней, несколько неясно сформулированной фразе о «теории колебаний», которую «развивает» царское правительство, Огарев пытался кратко изложить мысль, постоянно встречающуюся в его письмах и публицистических выступлениях 1861—1869 гг. Мысль эта следующая: колебания и шатания политического курса царского правительства (в период «революционной ситуации» конца 1850-х—начала 1860-х гг.), уродливость половинчатых реформ только нагляднее показывают несостоятельность самодержавия, что объективно содействует делу разрушения существующего порядка, революционизируют страну.

Герцен и Огарев оценивали крестьянскую реформу 1861 года как систематическое ограбление крестьян. С момента обнародования «Положений» Огарев не уставал повторять: «Народ царем обманут, крепостное право не отменено». Огарев считал, что дело «недоконченных» реформ народ должен взять в собственные руки и завершить его революционным путем. Огарев сформулировал эту свою мысль в письме к Бакунину от 31 октября 1862 г. («Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву». Женева, 1896, стр. 88—89).

В 1869 г. Огарев писал: «...неудача постепенных реформ вызывает революцию, как неизбежность» (см. наст. том, стр. 201).

Эта мысль является основною и в брошюре Огарева, и в публикуемом нами письме.

---

* *Далее зачеркнуто начало постскриптума:* P. S. Извините недостатки издания; вина лежит на издателе; я постарался исправить от руки наиболее недопустимые опечатки.

ДЖУЗЕППЕ МАЦЦИНИ

Публикация Н. Захарьина

Ниже печатаются два письма Огарева к выдающемуся деятелю итальянского национально-освободительного движения Джузеппе *Маццини*, или *Мадзини** (1805—1872).

Письма публикуются по черновому тексту, находящемуся в одной из записных книжек Огарева. Текст не датирован, но мы располагаем достаточными данными, чтобы определить время работы Огарева и над этими набросками и над тем полемическим выступлением против Маццини, о котором идет речь в публикуемых набросках.

В тексте упоминается брошюра Маццини, вышедшая на нескольких языках в январе — феврале 1865 г. Первое письмо Огарева написано вскоре по прочтении брошюры.

Это подтверждается положением текста в записной книжке: набросок письма к Маццини следует непосредственно за выписками из январских — февральских номеров русских газет. Наконец, в тексте имеются поправки и пометки Герцена. В это время Герцен виделся с Огаревым только в дни своего пребывания в Лондоне — между 22 февраля и 15 марта 1865 г. (XXII, 343). Таким образом, дата первого наброска уточняется: конец февраля — первая половина марта 1865 г. Труднее определить дату второго наброска. Он сделан, несомненно, позже: из текста явствует, что Огарев, уже после того как набросал первое письмо, лично встретился с Маццини, который находился в это время в Лондоне (см. письма Маццини к Н. А. Тучковой-Огаревой, помеченные Лондоном — «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», М., 1930, стр. 18 и сл.). В начале апреля Огарев покинул Лондон и переехал в Женеву (см. XVIII, 73, 74, 75, 82, 83). «Последнее свидание» с Маццини, о котором говорится в письме, происходило, следовательно, в марте или в начале апреля 1865 г., незадолго до отъезда Огарева на континент. Но мы ничего не знаем о том, вскоре ли после этого свидания Огарев возвратился к теме своего спора с Маццини и написал проект второго письма. Текст второго письма в записной книжке следует непосредственно за текстом первого — таким образом, его надлежало бы отнести к марту — апрелю. Но по одному этому признаку датировать документы невозможно. Поэтому мы останавливаемся на дате более приблизительной — не ранее второй половины марта — или шире: весна 1865 г.

Брошюра Маццини, направленная против папы Пия IX, появилась, как мы сказали, в первые месяцы 1865 г. В библиографии произведений Маццини, составленной Джулио Канестрелли (Giulio Canestrelli. Bibliografia degli scritti di Giuseppe Mazzini. Roma, 1892, 120 нумерованных экземпляров) находим ее описание: «G. Mazzini a Pio IX Papa. Il Piemonte, minacciato e gli accordi segreti. Milano, Coradetti, C. e. C°, 1865, p. 32»**.

Как сообщает тот же библиограф, брошюра была предварительно напечатана в газете «L'Unità italiana». Огарев, владея итальянским языком, мог, конечно, ознакомиться с брошюрой в подлиннике, но вероятнее, что он прочел ее в английском переводе, выпущенном в начале 1865 г. Трюбнером, с которым по делам «Колокола» находился в постоянных сношениях («Adress to Pope Pius IX on his Encyclical Lettre». London, Trübner and C°, 1865, in 16°, p. 24)***

История брошюры Маццини такова. В декабре 1864 г. папа Пий IX издал энциклику «quanta cura» с одновременным опубликованием списка, так называемог

---

* Правильное произношение *Мадзини* (Mazzini). Сохраняем во всем томе традиционную русскую транскрипцию *Маццини*, употреблявшуюся Герценом и Огаревым.— *Ред.*

** «Дж. Маццини папе Пию IX. Угроза Пьемонту и тайные соглашения. Милан, изд. Корадетти, К. и К°, 1865, стр. 32 (итал.).

*** «Послание папе Пию IX о его энциклике». Лондон, изд. Трюбнера и К°, 1865, в 16 долю, стр. 24 (англ.).

«силлабуса», запрещаемых и осуждаемых им «заблуждений» («Syllabus errorum»). Это был реакционнейший документ, направленный против революционных идей и всех прогрессивных течений научной мысли. «Силлабус» содержал восемьдесят осуждаемых положений и учений.

Маццини выступил со страстным протестом против папской энциклики. Он разоблачил и заклеймил *политическую реакционность* выступления папы. Но, будучи сам идеалистом, противником материализма и атеизма, Маццини, естественно, не мог противопоставить средневековой идеологии сколько-нибудь ясную и последовательную систему *теоретических* возражений. Слабость позиции Маццини и отмечает Огарев в первом же публикуемом нами наброске. Он справедливо видит источник теоретической слабости Маццини в его идеализме. Поэтому он предполагает назвать цикл своих возражений —«Письма к идеалисту» («Lettres à un idéaliste»).

Но, посоветовавшись, как всегда, с Герценом, Огарев в тексте письма зачеркнул предполагаемое заглавие задуманного цикла. На рукописи имеется пометка Герцена,—он предложил озаглавить цикл просто: «Письма к Маццини». Огарев согласился.

Публикуемый нами набросок второго письма содержит заявление Огарева о том, что в дальнейших письмах он предполагает заменить полемику «догматическим изложением» своей теории, противоположной взглядам Маццини. Расхождение с Маццини в сфере теории глубоко «печалит» Огарева, «но не может,—как он пишет,— ни повлиять на согласие в ⟨...⟩ практических устремлениях, ни поколебать симпатию», которую он питает к своему корреспонденту.

Публикуемые наброски должны были, повидимому, служить предисловием или послесловием к серии критических писем Огарева о брошюре Маццини. Однако в известной нам части рукописного наследия Огарева ни самой этой серии, ни каких-либо черновых набросков к ней нет. Неизвестны эти наброски и в печати, в публикациях документов из архива Маццини.

Ценность этих отрывочных набросков несомненна. Мы узнаем из них, прежде всего, что в области теоретических философских воззрений Огарев противопоставлял свои материалистические и атеистические взгляды — идеалистическим и религиозным взглядам Маццини.

Мы узнаем, далее, что в области «практических устремлений», т. е. республиканских целей практической революционной работы, Огарев хотя и признавал свое и Герцена «согласие» с Маццини, все же оговаривал глубокое принципиальное различие в самом содержании, задачах и условиях революционной борьбы Италии и России. «Мы не можем расходиться,— пишет Огарев, — в наших [практических] устремлениях; если расхождения и возникают, то не в самих *устремлениях*, но скорее в силу того, что *вещи*, к которым эти устремления приложимы,—различны: положение, вопросы, волнующие наши отечества, их средства — иные». Разумеется, эти расхождения не исключали возможности для Огарева обсуждать с Маццини время от времени различные вопросы самой «техники» подпольной революционной работы.

И действительно, из другого документа, впервые публикуемого в настоящем томе (см. выше), мы узнаем, что Огарев и деятели «Земли и Воли» пользовались техническими средствами и конспиративным революционным опытом, выработанными Маццини.

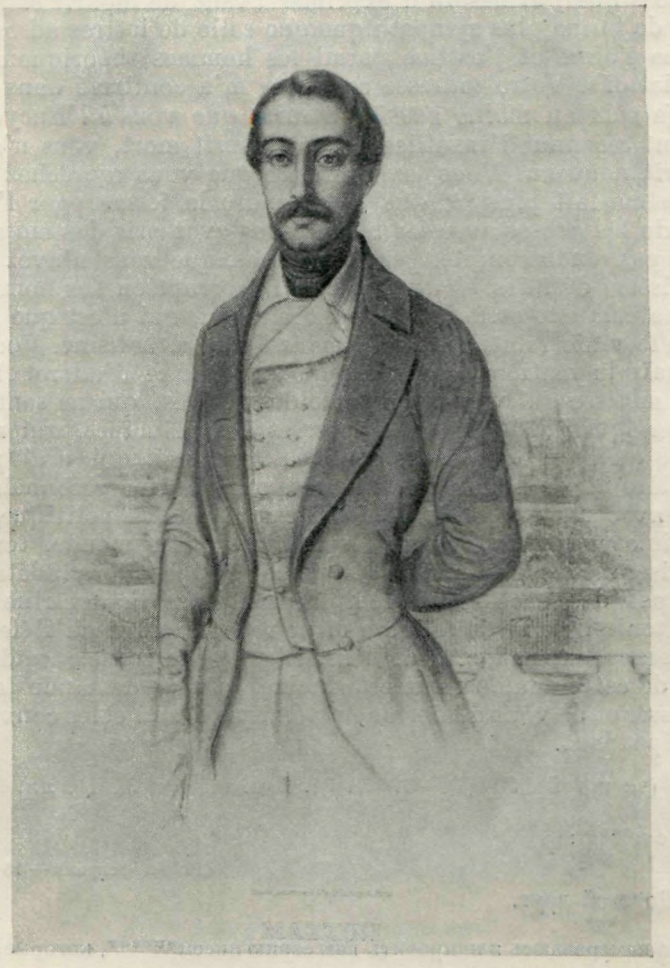
В печатаемых письмах Огарев подчеркивал противоположность теоретической основы своей деятельности взглядам Маццини. Огарев придавал громадное значение теории: «Я теоретический вопрос ставлю очень высоко. Он страшно важен. Он d'emblée* очерчивает весь кругозор»,—писал Огарев в 1862 г. (см. наст. том, стр. 810).

В теории он видел обоснование революционной практики. Начиная с середины шестидесятых годов Огарев особенно упорно размышлял над тем, как применить материалистическую теорию к главнейшим вопросам революционного движения.

Необходимо отметить, однако, что Огарев, как и Герцен, часто употреблял вместо понятий «материализм», «материалистическое познание», термины: «реализм», «реаль-

* сразу (франц.).

ное», «действительное» знание и т. п. Говоря о себе, как о мыслителе, признающем «лишь то, что есть», указывая на отсутствие «реальности» в принципах Маццини, Огарев, несмотря на сбивчивость своей терминологии, отвергал с позиций материалиста всю сумму идеалистических и «спиритуалистических» воззрений, пропагандировавшихся Маццини.



ДЖУЗЕППЕ МАЦЦИНИ
Глава римского триумвирата, 1849 г.
Литография
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

Публикуемые письма свидетельствуют, наконец, что Огарев и в 1865 г. ставил перед собой давно уже возникшую перед ним задачу — изложить *систему* своих теоретических воззрений. В какой мере был исполнен этот замысел — остается неизвестным. Напомним только, что 1 мая 1868 г. Герцен спрашивал у Огарева: «Что ты поправил или переписал твое *посмертное письмо*?» (XX, 266; курсив мой.— *Н. З.*).

Следовательно, «посмертное письмо», излагающее теоретические выводы, т. е. какое-то философско-политическое завещание Огарева, действительно существовало, но не дошло до нас, как и критический разбор брошюры Маццини и многие другие теоретико-философские работы Огарева.

1

⟨Конец февраля — 15 марта 1865 г.⟩

Cher ami.

Il y a longtemps que je me propose de vous adresser une série de lettres*, faisant un livre, mais j'étais indécis. Je cherchais un cadre pour y placer quelques idées que j'ai besoin d'exprimer avant de mourir et je pensais ne pas trouver de forme plus sympathique que celle de lettres adressées au seul individu que j'aime et j'estime parmi les hommes théoriquement opposés à mes convictions. Votre «adresse au pape» m'a confirmé dans mon projet.

Certes, je suis au moins aussi contraire que vous à l'Encyclique; mais tout en ayant reconnu l'insuffisance de l'esprit mort, vous n'avez pas reconnu l'esprit nouveau. Vous avez fait ce que vous reprochez aux autres; vous avez même fait plus ** que de prendre la forme pour l'esprit, vous avez confondu les choses avec les mots. Vous avez pris des mots, dont vous ne vous êtes pas rendu compte, pour les choses, que vous n'avez pas [compri ⟨ses⟩] [précisées] définies. Vous avez pris la corruption des hommes pour de la théorie matérialiste et le principe de la vertu, qui n'est que la condition réelle*** de la vraie relation sociale, pour du spiritualisme. Vous vous êtes efforcé de haïr la matière, qui n'est qu'un mot, et d'adorer l'esprit, qui n'est qu'un mot, ce qui vous a fait dire des vérités, qui ne sont pas la [déduction] conséquence de vos principes, et des principes, qui n'ont pas de vérité, parce qu'ils n'ont pas de réalité. Pour moi, qui n'ai pas d'amour pour la matière ni de haine pour l'esprit, mais qui ne reconnais que ce qui est, je vois avec une profonde douleur, que l'homme politique, qui est le seul que j'aime et j'estime parmi les hommes de ce monde, tout en brisant la vieille église, s'efforce de mettre à sa place**** des idées indéterminées qui [n'auront pas de succès] [ne remplaceront pas la doctrine qui passe] ne pourront tenir lieu ni de religion ni de science parce qu'il⟨leur⟩ manque l'esprit du temps nouveau, c. à d. [l'intelligence] la conscience de la réalité.

Au nom de cette douleur, qui est sincère, je vous demande la permission de vous adresser et de vous dédier une polémique d'ami et les convictions d'un homme indépendant.

Автограф (черновой). ЛБ. Г.—О. VI. 34. Зап. книжка № 11, лл. 21—23.

Перевод*****:

⟨Конец февраля — 15 марта 1865 г.⟩

Дорогой друг.

Уже давно намереваюсь я направить вам серию писем******, которые составили бы книгу, но был в нерешительности. Я искал плана для изложения некоторых мыслей, которые я испытываю потребность высказать прежде чем умереть, и мне думалось,

---

* *Далее зачеркнуто:* sous le titre de lettres à un idéaliste. *Против этого места на обороте предыдущего листа рукою Герцена написано:* Я не сказал бы: lettres à un idéaliste, а просто — à Mazzini.

** *Слово* plus *переделано из слова* pis *(возможно рукой Герцена). Против этого места на обороте предыдущего листа рукой Герцена написано вместо:* fait pis — fait plus.

*** *Слово* réelle *вписано над зачеркнутыми латинскими словами:* sine qua non. *Против этого места на обороте предыдущего листа рукой Герцена написано:* condition réelle.

**** *Далее зачеркнуто:* des échafaudage⟨s⟩ de mots. *Над зачеркнутым вписано и, в свою очередь, зачеркнуто:* quelque chose. *Против этого места на обороте предыдущего листа рукой Герцена написано:* échafaudage *⟨2 нрзб⟩.*

***** *Перевод этого и следующего письма выполнен автором публикации.*

****** *Далее зачеркнуто:* под названием письма к идеалисту. *Против этого места на обороте предыдущего листа рукою Герцена написано:* Я не сказал бы: письма к идеалисту, а просто — к Маццини.

что я не найду более подходящей формы, чем форма писем, обращенных к единственному человеку, любимому и уважаемому мной среди тех людей, чьи теоретические убеждения противоположны моим. Ваше «Послание к папе» утвердило меня в моем намерении.

Конечно, я, по меньшей мере, такой же противник энциклики, как и вы; но, хотя вы и признали недостаточность мертвого духа, вы духа нового все же не признали. Вы сделали то, в чем сами упрекаете других. Вы не только приняли форму за сущность, но более* того, вы смешали суть вещей со словами. Вы приняли слова, в которых не отдали себе отчета, за суть, которой не** определили. Вы приняли людскую испорченность за теорию материализма, а нравственное начало, которое является лишь

ПРОБУЖДЕНИЕ ИТАЛИИ
Автолитография О. Домье, 1859 г.
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

естественным*** условием истинно социальных отношений, за спиритуализм. Вы силились ненавидеть материю, которая всего лишь слово, и поклоняться духу, который всего лишь слово, что привело вас к высказыванию истин, не вытекающих из ваших принципов и принципов, в которых нет истины, потому что в них нет реальности. Что касается меня, то, не испытывая ни любви к материи, ни ненависти к духу, а признавая лишь то, что есть, я с глубокой скорбью вижу, что современный деятель, единственный, кого я люблю и уважаю среди людей политического мира, разрушая

---

* *Слово* более *переделано из слова* хуже. *Против этого места на обороте предыдущего листа рукою Герцена написано вместо*: хуже того — более того.

** *После слова* не *зачеркнуто: а.* поняли *б.* уточнили

*** *Слово* естественным *вписано над зачеркнутыми латинскими словами*: sine qua non ⟨непременным условием⟩. *Против этого места, на обороте предыдущего листа, рукою Герцена написано*: естественным условием

старую церковь, силится утвердить на ее месте* неопределенные идеи, которые** не смогут заменить ни религии, ни науки, ибо они лишены духа нового времени, т. е. *** сознания реальности.

Во имя этой искренней скорби я прошу у вас разрешения адресовать и посвятить вам дружескую полемику и суждения независимого человека.

2

⟨Весна 1865 г.⟩

Cher ami, mon post-scriptum va être un avant propos. Vous m'avez témoigné tant d'amitié dans notre dernière entrevue que je tiens plus que jamais à vous dédier un travail, qui n'a [encore ni forme, ni précision] pas encore de forme, pour lequel je n'ai fait que préparer quelque matériaux, mais qui n'en fait pas moins la question la plus intime de ma vie [ou bien du peu de temps qui me reste à vivre]. Je vous avais écrit une lettre à ce sujet immédiatement après avoir lu votre [réponse à l'encyclique] adresse au pape. Je ne vous l'avais pas envoyée; je craignais qu'elle ne mette du froid entre nous. Mais je vous demande sincèrement pardon pour cette pensée, car c'est impossible que *vous* puissiez prendre ma lettre en mauvaise part. C'était mal de ma part d'avoir eu cette pensée de malade. Plus je [pense à] vous [et] connais—plus je sens que nous ne pouvons différer dans nos tendances pratiques; s'il y entre des différences ce n'est pas dans les *tendances* [pratiques] mêmes, mais bien en ce que les *choses* auxquelles les tendances sont appliquables sont différentes; la situation, les questions qui agitent nos patries, leurs moyens sont autres. Mais dans le sens le plus sérieux de la *théorie* — nous sommes complètement opposés. Or, d'après ma nature, la théorie a été toujours la chose la plus vitale de mon existence et pour le peu d'années qui me restent à vivre elle me tient principalement à coeur. Vous concevez donc que la différence dans nos convictions sur ce chapitre me donne un profond chagrin, mais ne peut influer ni sur [l'unanimité] l'accord de nos tendances pratiques, ni sur [la grande affection que j'ai pour vous et] l'inébranlable sympathie que je vous porte. Je me décide donc de vous envoyer ma lettre telle que je vous l'avais écrite après la lecture de votre brochure, en ajoutant maintenant qu'il est très probable que dans mon travail je ne fasse aucune polémique contre vous; je pourrai me borner à vous adresser l'exposition dogmatique de ma théorie. Je crois même que je suis plutôt capable de ce genre de travail, que d'un travail de polémique. Mais comme il se passera bien du temps avant que je ne vienne à bout de mettre quelque chose en ordre, je ne suis pas sûr de la forme que je choisirai.**** J'ai foi en ce que malgré toutes les divergences elle ne fera qu'affermir notre amitié.

Автограф (черновой). ЛБ. Г.— О. VI. 34. Зап. книжка № 11, лл. 25—26.

Перевод:

⟨Весна 1865 г.⟩

Дорогой друг, мой постскриптум превращается в предисловие. Вы мне выказали столько дружбы во время последнего нашего свидания, что мне более чем когда-либо захотелось вам посвятить труд, не имеющий***** еще формы, для которого я только

---

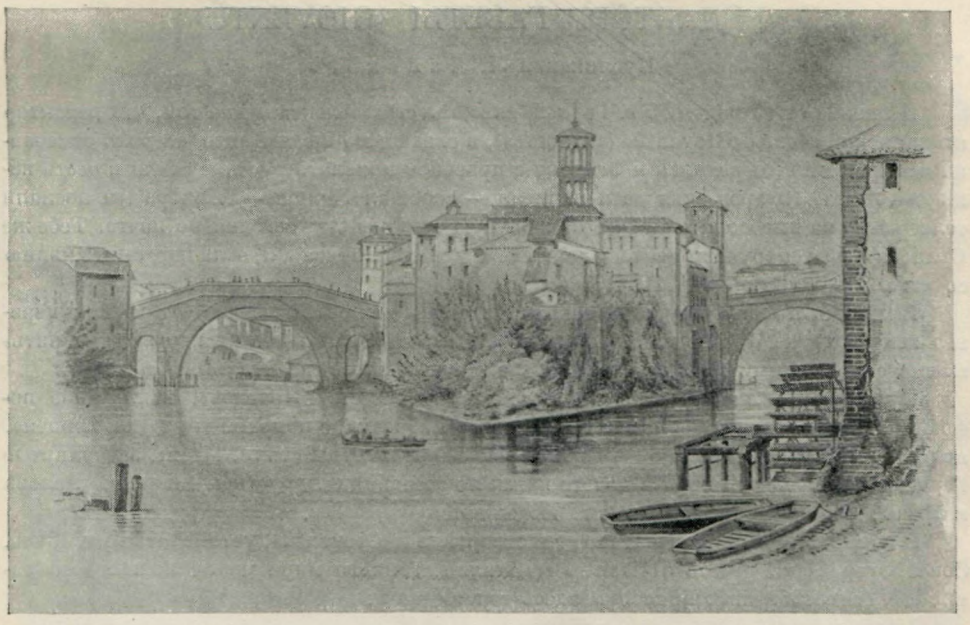
* *Далее зачеркнуто*: нагромождение слов. *Над зачеркнутым вписано и, в свою очередь, зачеркнуто*: нечто. *Против этого места на обороте предыдущего листа рукою Герцена написано*: нагромождение ⟨*2 нрзб*⟩.

** *Далее зачеркнуто*: *а.* не будут иметь успеха *б.* не заменят преходящую доктрину

*** *Далее зачеркнуто*: понимания

**** *Ранее читалось:* [Voici donc ci-joint ma première lettre. J'ai foi en ce qu'elle ne servira qu'à affermir notre sympathie].

***** *Далее зачеркнуто:* еще ни формы, ни ясности



РИМ. ВИД НА ТИБР И НА ОСТРОВ ТИБЕРИНО
Рисунок неизвестного художника, 1840-е гг.
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

подготовил некоторые материалы, но который, тем не менее, является заветнейшим делом моей жизни*. Я вам написал по этому поводу письмо, тотчас по прочтении вашего** послания к папе. Я его вам не отправил; я опасался, как бы оно не вызвало охлаждения между нами. Но я искренне прошу у вас извинения за эту мысль, ибо невозможно, чтобы *вы* истолковали мое письмо в дурном смысле. Нехорошо с моей стороны было допустить такую нездоровую мысль. Чем больше я вас узнаю, тем больше чувствую, что мы не можем расходиться в наших [практических] устремлениях; если расхождения и возникают, то не в самих *устремлениях*, но скорее в силу того, что *вещи*, к которым эти устремления приложимы, — различны: положение, вопросы, волнующие наши отечества, их средства — иные. Но в отношении *теории*, в самом серьезном значении этого слова, мы с вами совершенно противоположны. А теория — соответственно моей натуре — всегда была самой жизненно важной стороной моего существования, и в те немногие годы, которые остается мне еще прожить, она по-прежнему будет особенно близкой моему сердцу. Вы, следственно, поймете, что разница наших убеждений в этой области глубоко меня печалит, но не может ни повлиять на согласие*** в наших практических устремлениях, ни**** поколебать симпатию, которую я к вам питаю. Я решаюсь, поэтому, послать вам свое письмо, таким, каким я написал его сразу по прочтении вашей брошюры, добавив теперь, что по всей вероятности я не стану в моем труде полемизировать с вами; возможно, что я ограничусь догматическим изложением своей теории. Я даже думаю, что более способен к работе такого характера, чем к полемике. Но так как пройдет немало времени, прежде чем мне удастся привести кое-что в порядок, я еще твердо не знаю, какую форму выберу*****. Я верю, что, несмотря на все разногласия, оно только укрепит нашу дружбу.

* *Далее зачеркнуто:* или того недолгого срока, который мне осталось жить.
** *Далее зачеркнуто:* ответа на энциклику
*** *Слово* согласие *вписано над зачеркнутым* единство.
**** *Далее зачеркнуто:* на большую любовь, которую я к вам питаю.
***** *Ранее читалось:* Итак, я прилагаю к сему мое первое письмо. Я верю, что оно послужит только укреплению нашей симпатии.

РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «GIOVENTÙ»

Публикация Л. Ланского

В письме от 15 мая 1865 г. Герцен известил сына Александра о том, что редактор итальянской газеты «Gioventù» («Юность»), в связи с юбилеем Данте, широко отмечавшимся в Италии, обратился к Огареву с просьбой прислать русские стихи в честь великого поэта. «Огарев взял да и написал,— сообщал Герцен.— ...Вчера мы послали телеграмму на имя comité du Dante* и другую в „Juvent'y" сегодня по почте. Тебе же Огар⟨ев⟩ и я поручаем сейчас справиться, все ли получено, и, если нет, снять копию со стихов и отдать им» (XVIII, 92).

Прилагая к письму русский текст стихов, Герцен сообщал, что Огарев сам перевел эти стихи на французский язык прозой, и предлагал Александру «смастерить» вместе с Бакуниным правильный перевод (тоже в прозе) на итальянский язык.

Публикуемое письмо Огарева к редактору газеты «Gioventù», написанное по-французски и сохранившееся в виде чернового наброска, с поправками рукой Герцена, является именно тем письмом, при котором были посланы стихи. Места, зачеркнутые Герценом, приводятся нами в подстрочных примечаниях к русскому переводу; слова и фразы, внесенные им же в текст, выделяются *курсивом*.

В каком виде было напечатано стихотворение в «Gioventù», установить не удалось. Сонет Огарева «Il giorno di Dante» («Италия, земного мира цвет») вошел в собрание его стихотворений; приводим здесь текст сонета:

Суровый Дант не презирал сонета.
П у ш к и н

IL GIORNO DI DANTE

Италия, земного мира цвет,
Страна надежд великих и преданий,
Твоих морей плескание и свет
И синий трепет горных очертаний
Живут в тиши моих воспоминаний,
Подобно снам роскошных юных лет!
Италия! я шлю тебе привет
В священный день народных ликований!
Но в этот день поэта «вечной муки»
Готовь умы к концу твоих невзгод,
Чтоб вольности услышал твой народ
Заветные торжественные звуки.
И пусть славян многоветвистый род
Свободные тебе протянет руки.

Genève, Boissière le 15 mai 1865

Monsieur,

Je vous remercie [infiniment] *fraternellement* pour [l'honneur que vous m'avez fait de m'adresser] votre lettre du 2 mai[1]. Je m'étais mis immédiatement à l'ouvrage, pour faire aussi vite que possible; je [sympathisais] tenais profondément à votre pensée et je croyais de mon devoir de faire arriver à la fête du grand Dante une voix russe, quelque faible qu'elle soit, pourvu qu'elle puisse dire toute la sympathie, que [ma nation, ou bien tout ce qu'il y a de librement pensant parmi les Russes, ont] nous avons pour l'Italie et toute la foi que nous avons dans son avenir. Je vous envoie [donc] une petite poésie en langue russe et j'y joins une traduction française. Je *puis en outre vous envoyer q⟨uel⟩q⟨ues⟩ exemplaires imprimés.* [Le cercle Slave à Genève s'est réuni pour envoyer et m'a chargé d'envoyer par télégramme et par lettre ses félicitations au comité de la fête de Dante.]

Agréez, monsieur, la haute considération de votre tout dévoué N. O.

---

* дантовского комитета (франц.).

Перевод:

Женева, Буасьер, 15 мая 1865

Милостивый государь,

Приношу вам* *братскую* благодарность** за ваше письмо от 2 мая [1]. Я немедленно же принялся за работу, чтобы выполнить ее возможно быстрее***; ваша мысль была мне очень близка, и я считал своим долгом подать на празднике великого Данте русский голос, как бы слаб он ни был, лишь бы он выразил всю симпатию****, питаемую нами к Италии и всю нашу веру в ее будущее*****. Посылаю вам небольшое стихотворение

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕЙЗАЖ
Акварель Сократа Воробьева, начало 1850-х гг.
Третьяковская галерея, Москва

на русском языке и прилагаю к нему французский перевод. *Я могу, кроме того, прислать вам н⟨есколь⟩ко печатных экземпляров******.

Примите, милостивый государь, выражение глубочайшего уважения от всецело преданного вам Н⟨и к о л а я⟩ О⟨г а р е в а⟩

Автограф (черновой) с поправками рукой Герцена. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 134.

[1] Это письмо к Огареву неизвестно.

---

* *Далее зачеркнуто Герценом:* бесконечную

** *Далее зачеркнуто Герценом:* за честь, которую вы мне сделали, обратившись

*** *Далее зачеркнуто Герценом:* я сочувствовал

**** *Далее зачеркнуто Герценом:* моей нации, или, вернее, всех тех из русских, кто свободно мыслит

***** *Далее зачеркнуто Герценом:* Итак

****** *Далее зачеркнуто Герценом:* Славянский кружок в Женеве собрался и поручил мне отправить по телеграфу и письменно поздравления комитету по чествованию Данте.

К НЕИЗВЕСТНОМУ

Публикация Е. Рудницкой

Публикуемая записка Огарева датируется на основании его письма к Герцену от 11 ноября 1869 г. (см. «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 569). Как в письме, так и в записке речь идет о книге А. Станкевича «Тимофей Николаевич Грановский». И в письме и в записке Огарев характеризует книгу в одинаковых выражениях.

Несомненно, записка адресована тому «новому хорошему человеку», который, как сообщает об этом Огарев Герцену в указанном письме, привез книгу из России. В записке, в обращении Огарев называет этого «нового хорошего человека» — «мой новый друг». Установить, кому она адресована, не удалось.

Записка целиком посвящена оценке книги А. Станкевича. Так же как и в письме к Герцену, Огарев отзывается о книге резко отрицательно, не входя при этом в обсуждение личности самого Грановского. В письме к Герцену подобное обсуждение было излишним: оба хорошо знали, как каждый из них относился к Грановскому. Адресуясь же к «новому другу», Огарев вскользь поясняет ему свои былые отношения с Грановским, отмечая, что причиной расхождения, происшедшего между ними в конце сороковых годов, явились «не только юношеские, но и теоретические размолвки». Самый же характер критики книги А. Станкевича свидетельствует о глубокой симпатии Огарева к Грановскому. Он возмущен тем, что автор не понимает предмета, о котором пишет; возмущен стремлением А. Станкевича «пригладить» Грановского, изобразить его верноподданным профессором, стоящим на одном уровне с обществом, окружавшим его. Интересно отметить, что эту же мысль развивал Салтыков-Щедрин в своей известной статье «Один из деятелей русской мысли», представляющей собою развернутую, хотя и не оконченную рецензию на книгу А. Станкевича («Отеч. записки», 1870, кн. 1; вошло в Полн. собр. соч., т. 8. М., 1937). Щедрин высмеивает стремление автора показать, будто Грановский и так называемое «московское общество» сороковых годов вполне соответствовали друг другу, стремление затушевать в деятельности Грановского все прогрессивное и выходящее за пределы казенной науки.

Весьма лаконичный, но совершенно в том же духе, что у Огарева, отзыв Герцена о книге А. Станкевича находим в его письме к М. К. Рейхель от 22 ноября 1869 г. «Читали ли вы книгу Станк‹евича› о Грановском? — спрашивает Герцен и продолжает.— Плох он, т. е. Станк‹евич›, и плох написал и много напутал, но мне напомнил время лекций и светлые годы 45, 46. Но не такого биографа нужно было Грановскому» (XXI, 528). Однако в несколько более раннем письме от 18 ноября 1869 г.— в письме к Огареву (публикуется в настоящем томе) — Герцен подчеркивает одно качество книги А. Станкевича, которое обходит Огарев: хотя эта книга всего лишь «плохая литография с картины», она дает «*повод* восстановления», в какой степени их собственное начальное идейное развитие (т. е. развитие Герцена и Огарева) отличалось от идейного развития Грановского. У Грановского, отмечает Герцен, «общественные вопросы, потребность политической борьбы и des Eingreifens* самому ‹...› едва обозначается в Берлине» (т. е. в 1837—1839 гг.). Таким образом, теоретические размолвки с Грановским в конце сороковых годов, о которых говорил Огарев, рассматриваются Герценом глубже — не как изолированный факт, а как закономерное следствие столкновения двух непримиримых направлений — либерального и революционного.

Откликнулся на книгу А. Станкевича и М. Бакунин. В пространном письме к Огареву от 23 ноября 1869 г. («Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву». Под ред. Драгоманова. Женева, 1896, стр. 244—245) он поделился с ним своими впечатлениями, причем в центре его внимания оказалась не оценка книги, а характеристика самого Грановского. Бакунин подошел к оценке личности Грановского антиисторически, поставив его немногим выше автора книги, которого сам же называет «узеньким, мизерненьким идеалистом». В мировоззрении Грановского Бакунин под-

* вмешательства (нем.).

черкивает только слабое, ограниченное, полностью игнорируя то прогрессивное, что было в профессорской деятельности Грановского до разрыва с Герценом и Огаревым во второй половине сороковых годов. Бакунин с головой выдал Грановского Станкевичу, т. е. тогдашнему русскому монархическому либерализму, призывая Герцена и Огарева духовно отречься от их общего друга.

И на этот раз левая фраза Бакунина объективно ставила его в один ряд с открытыми врагами русского освободительного движения.

⟨Женева. Ноябрь 1869 г.⟩

Я читаю биографию Грановского. Что это за эзели* должны быть — мой приятель Станкевич и покойный Кудрявцев. Такого унижения при желании возвысить память Гранов⟨ского⟩ я не думал встретить. Идеалистическая казуистика, казенный слог мемуаров о генерале Кутузове и т. п. Я дочту до конца потому, что многое меня интересует. Но — в сущности — это дичь невероятная. Зачем же выставлять все ошибочки мальчика, чтоб заявить им глубочайшую преданность. Их можно заявлять мерзким состоянием общества — и тогда это перешло бы в историческое наблюдение за ходом дел, и оно могло бы быть интересно.

Вот вам рецензия, мой новый друг. Я немножко разошелся ⟨с Грановским⟩ в конце 40-х годов, и может вследствие не только юношеских, но и теоретических размолвок. Но оскорбить его память я ничем бы не хотел; и выписывать юношеские quasi-метафизические ошибки нелепо.

Станкевича могла увлечь любовь к брату, а может и недостаток реального смысла. Но все ж это прискорбно. Уже если что можно было проводить в этом жизнеописании, то это только физиолого-исторический смысл, остальное все становится бессмыслицей.

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 80.

* ослы (нем.).

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИБЛИОГРАФИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ ОГАРЕВА

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Составили Л. и Р. Мандельштам

Судьба эпистолярного наследия Огарева резко отличается от судьбы эпистолярного наследия Герцена. Письма Огарева рассеяны по различным изданиям и не учтены. Поэтому по отношению к ним невозможно ограничиться библиографической справкой.

Библиография по Огареву вообще крайне бедна. В 1908 г. вышли составленные Д. П. Тихомировым «Материалы для библиографического указателя произведений Николая Платоновича Огарева и литературы о нем» («Известия Отделения русского языка и словесности Академии Наук», 1907, т. XII, кн. 4). Однако узнать из этой библиографии, что в том или другом издании напечатаны письма, можно только в тех случаях, когда наличие писем оговорено в заголовках. После 1908 г. вообще не появлялось сколько-нибудь полной библиографии по Огареву.

Ссылки на публикации писем Огарева, хранившихся в Гос. литературном музее, имеются в 5-м выпуске «Бюллетеней Гос. литературного музея» («Герцен, Огарев и их окружение», 1940). Ссылки на публикации писем, хранящихся в Рукописном отделе Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, даны в «Описании рукописей Н. П. Огарева» (М., 1952), составленном А. В. Аскарянц.

Публикации писем Огарева, не входящих в состав указанных собраний, нигде учтены не были.

Таким образом, настоящий указатель является первой попыткой собрать данные о всех публикациях писем Огарева. Разрешить эту задачу исчерпывающим образом мешают существенные пробелы нашей общей аналитической библиографии, а также то обстоятельство, что письма часто печатаются внутри текстов статей или книг.

Нам удалось зарегистрировать свыше 650 писем Огарева к 70 адресатам (73 публикации). Вполне точно определить число опубликованных писем оказалось невозможным, так как в некоторых случаях осталось неясным, являются ли напечатанные тексты самостоятельными письмами или отрывками из одного и того же письма. Особенно затруднен подсчет писем, адресованных к Т. П. Пассек. Известно, как небрежно публиковала она документальные материалы. В различных ее публикациях встречаются письма, текст которых совпадает только в начале или в конце. Это обстоятельство ввело в заблуждение последующих публикаторов. Так, например, в публикации, помещенной в «Невском альманахе» (см. нашу запись № 36), сказано, что все письма печатаются впервые. Между тем, помещенное там письмо от 6 апреля 1873 г. дважды публиковалось Пассек с некоторыми вариантами (см. наши записи 1 и 2).

Много ошибок и противоречий допущено публикаторами при датировке писем Огарева. П. В. Анненков, обращавшийся с огаревскими материалами весьма бесцеремонно, между прочим неправильно датировал несколько писем Огарева из-за того, что его женитьбу, состоявшуюся в 1836 г., отнес к 1838 г. (см. № 3). Эту ошибку повторила за ним Е. С. Некрасова (см. № 5), прибавив несколько новых. Далеко не свободны от неправильностей и последующие публикации. Примеры ошибок в публикациях писем Огарева и анализ причин этих ошибок даны в статье Я. З. Черняка «Фонд

Н. П. Огарева» в 12-м выпуске «Записок Отдела рукописей» (Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина, 1951). Так на стр. 69 Я. З. Черняк доказывает, что автором письма к Е. В. Салиас от 23 июня 1863 г., опубликованного П. Дьяконовым в «Лит. наследстве» (т. 39-40, 1941, стр. 257—258), является не Герцен, как полагал публикатор, а Огарев.

Много поправок к публикациям писем Огарева содержит составленное А. В. Аскарянц под редакцией Я. З. Черняка «Описание рукописей Н. П. Огарева» (М., Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина, 1952).

Мы не ставили перед собой задачу критически пересмотреть датировку писем в публикациях. В описаниях приведены преимущественно даты, указанные публикаторами. Однако, по мере возможности, нами были использованы имеющиеся в печати поправки и уточнения. В отдельных случаях мы уточняли датировку писем на основе анализа текста. Все изменения, внесенные в указанные публикаторами даты, и источники новых дат оговорены в соответствующих описаниях.

В нашем указателе учтены письма Огарева, опубликованные в России и в СССР с 1878 по 1952 гг. включительно. Из заграничных изданий нами указано только одно женевское издание 1896 г.: «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву». Эта книга отмечена нами потому, что именно на нее, а не на подцензурную перепечатку, изданную в Петербурге в 1906 г., чаще всего ссылаются исследователи.

Как правило, указывались первые публикации; из повторных же публикаций те, которые содержат существенные дополнения или уточнения.

Указания на перепечатки давались только в следующих случаях: 1) когда письмо ранее публиковалось только за рубежом, 2) когда перепечатки помещены в издании, содержащем также и новые публикации писем Огарева.

Материал расположен хронологически, в той последовательности, в какой публикации появлялись. Такое расположение помогает установить, когда именно данный текст Огарева вошел в научный сбиход.

Каждая библиографическая запись содержит следующие элементы:

1) Название публикации.

2) Название и выходные данные издания, в котором помещена публикация. В тех случаях, когда публикация не имеет собственного названия и включена в текст статьи или книги, она описана под заглавием этой книги или статьи.

3) Перечень страниц, на которых напечатаны письма.

4) Аннотацию, содержащую перечень адресатов и дат писем Огарева. Если публикация содержит большое количество писем, — указаны только конечные даты (первого и последнего письма). Письма, опубликованные с указанием года, но без числа и месяца, описаны по форме — б. ч. и б. м. 1849 г. Если месяц указан, но нет числа, описание дано по форме — б. ч. июль 1835 г. Если число и месяц указаны, но не обозначен год, описание дано по форме — 3 сентября б. г. Даты писем и имена адресатов, не имеющиеся в публикациях, а установленные составителями, заключены в угловые скобки. Допущенные Огаревым (судя по публикациям) явные ошибки в датировке отмечены знаком *. В конце некоторых аннотаций помещены указания на неточности в публикации, а также на те источники, которые дали возможность определить даты, имена адресатов и т. д.

К нашей работе приложен алфавитный указатель адресатов.

1878

1. П а с с е к Т. П. Из дальних лет. Воспоминания, т. I. СПб., 1878, стр. 258—259.

Письмо к Т. П. Пассек (б. ч. и б. м. 1873 г.) с приложением стихов. Письмо это, с некоторыми расхождениями в тексте, было опубликовано в 1881 г. под датой 6 апреля б. г. и в 1917 г. под датой 6 апреля 1873 г. (см. №№ 2 и 36).

1881

2. П а с с е к Т. П. Из дальних лет.— Полярная звезда, 1881, № 1, стр. 140—142, 149; № 2, стр. 22—24, 27—31; № 3, стр. 62—67, 69—70, 72—73, 75—76; № 4, стр. 124—125, 127—128, 132; № 5, стр. 134—136.

Тридцать три письма и отрывка: четыре к А. И. Герцену (18 августа 1833 г. и три б. ч. и б. м. 1833 г.), одно к Н. И. Астракову (24 июля ⟨1839 г.⟩), тринадцать к С. И. Астракову (без даты ⟨1849 г.⟩; 9 октября и 30 декабря 1852 г.; 9 ноября 1853 г. ⟨1852 г.?⟩; 9 марта 1853 г.; 26 января, 19 марта, 28 мая, б. ч. июль 1854 г., 30 октября 1855 г.; 6 октября 1856 г., две приписки к письмам А. И. Герцена ⟨август и декабрь 1856 г.⟩), приписка к письму Н. А. Тучковой-Огаревой и А. И. Герцена к Т. А. Астраковой (7 ноября/26 октября ⟨1856 г.⟩), четырнадцать к Т. П. Пассек (6 апреля и 31 августа ⟨1873 г.⟩, одиннадцать без дат ⟨1873 г.⟩ и 12 августа⟨1874 г.⟩).

Количество писем определено условно. Текст пяти из писем к Т. П. Пассек (31 августа и четыре без дат ⟨1873 г.⟩) частично совпадает с текстом писем, опубликованных в 1941 г. (см. № 63). Письмо к ней же от 6 апреля ⟨1873 г.⟩ было напечатано с некоторыми разночтениями в 1878 г. (см. № 1) и в 1917 г. (см. № 36). Отрывок из письма к Герцену был напечатан с дополнениями в 1889 г. (см. № 6).

Даты приписок к письмам Герцена установлены по Полн. собр. соч. и писем Герцена (VIII, стр. 326, 353 и 376). Остальные уточнения дат сделаны на основе анализа текста.

1883

3. Анненков П. В. Идеалисты тридцатых годов.— Вестник Европы, 1883, № 3, стр. 154—159, 161—166, 170—171; № 4, стр. 502, 531, 534—538.

Отрывки из писем к А. И. Герцену, Н. М. Сатину, Н. Х. Кетчеру и другим московским друзьям большей частью без точного указания адресатов и без дат ⟨1835 г.? — 1845 г.?⟩.

А. В. Аскарянц (Описание рукописей Н. П. Огарева, стр. 158—161, 163) указывает пятнадцать писем к Н. Х. Кетчеру, выдержки из которых приведены Анненковым.

1888

4. Из переписки недавних деятелей.—Русская мысль, 1888, № 7, стр. 4—10; № 9, стр. 1—16; № 10, стр. 1—15; № 11, стр. 1—15.

Двадцать два письма: двадцать одно к А. И. Герцену (7 июня 1833 г.— весна 1840 г.?), одно к Н. А. Герцен (приписка к письму М. Л. Огаревой 12 декабря 1839 г.). Часть писем к А. И. Герцену содержит обращения к Н. А. Герцен.

Количество писем определено условно.

Указания Н. М. Мендельсона на допущенные здесь искажения текста писем см.: «Лит. наследство», т. 7-8, 1933, стр. 290. Уточнения дат и указания на нарушения последовательности текста писем см. в кн.: Аскарянц А. В. Описание рукописей Н. П. Огарева. М., 1952, стр. 130—131, 134.

1889

5. Из переписки недавних деятелей.— Русская мысль. 1889, № 1, стр. 1—16; № 4, стр. 1—16; № 10, стр. 5—8, 14—16; № 11, стр. 1—17; № 12, стр. 1—21.

Тридцать писем: семнадцать к А. И. Герцену, в том числе два с приписками к Н. А. Герцен (1839 г.— 15—16 февраля 1845 г.), восемь к М. Л. Огаревой (отрывки — 1 марта 1836 г., б. ч. и б. м., 11 и 23 апреля ⟨1836 г.⟩, 15 апреля 1840 г.?, три б. ч. и б. м. 1840 или 1841 г.), пять к группе московских друзей (А. И. Герцену, Т. Н. Грановскому, В. П. Боткину и Н. Х. Кетчеру — 20 июня, 19 июля/1 августа— 3 августа 1842 г.; 2 февраля, 28/16 марта, 18/6 апреля 1843 г.). Письмо от 2 февраля 1843 г. содержит обращения к Н. А. Герцен и Е. Б. Грановской. Письмо от 18/6 апреля 1843 г. начинается посланием в стихах к Т. Н. Грановскому.

Количество писем определено условно.

Три письма к М. Л. Огаревой (б. ч. и б. м., 11 и 23 апреля) ошибочно отнесены публикатором к 1838 г. Год уточнен на основе содержания писем и указаний в публикации, что они писались до свадьбы. Имеются указания, что напечатанное здесь под датой 15—16 февраля 1840 г. письмо к Герцену является частью большого письма от 2—16 февраля 1845 г. (см. № 52).

Указания Н. М. Мендельсона на допущенные в публикации искажения текста писем к Герцену см.: Лит. наследство, т. 7-8, 1933, стр. 290.

6. Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания, т. III. СПб., 1889, стр. 12—15, 93, 106, 110—111, 130, 275—276.

Тринадцать писем: шесть к Т. П. Пассек (без дат <1873 г. ?>), пять к Н. А. Тучковой (7 и 8 декабря б. г., три без дат <1848 г. или 1849 г.?>), одно к Н. М. Сатину (14 марта 1856 г.), одно к А. И. Герцену (без даты <1833 г.?>).

Количество писем определено условно.

Отрывок из письма к Герцену был опубликован в 1881 г. (см. № 2).

7. Письма А. И. Герцена и Н. П. Огарева к Вас. Ив. Кельсиеву.— Русская старина, 1889, № 1, стр. 184—190.

Шесть писем (21 декабря <1864 г.>; 17 и 29 октября, 13 декабря <1865 г.>; 9 и 24 мая <1866 г.>).

Пять последних писем написаны совместно с Герценом. Участие Герцена в письме от 17 октября не оговорено в публикации.

Год письма от 17 октября и принадлежность части его текста Герцену установлены по Полн. собр. соч. и писем Герцена (XXII, стр. 139). Годы остальных написанных совместно с Герценом писем уточнены по т. XVIII того же издания (стр. 241, 281, 388, 405). Год письма от 21 декабря определен по его содержанию (смерть близнецов— детей Н. А. Тучковой-Огаревой).

1890

8. Из переписки недавних деятелей. — Русская мысль, 1890, № 3 стр. 4—10; № 4, стр. 1—7; № 8, стр. 1—18; № 9, стр. 1—13; № 10, стр. 1—12.

Шесть писем: четыре к группе московских друзей (16/3*—17 июня, 21—28 июля, 29/17 сентября—28 октября 1843 г.; 12 июня/30 мая * — 13 июня 1844 г.), два к А. И. Герцену (8—9 июля и 22 августа н. ст. 1844 г.).

В первом письме к Герцену — обращения к Н. А. Герцен и Т. Н. Грановскому.

Количество писем определено условно.

Указания Н. М. Мендельсона на допущенные здесь искажения текста писем к Герцену см.: Лит. наследство, т. 7-8, 1933, стр. 290.

1891

9. Из переписки недавних деятелей.— Русская мысль, 1891, № 6, стр. 1—22; № 7, стр. 19—21, 26—36; № 8, стр. 9—12, 19—24.

Семь писем к А. И. Герцену (25/13 сентября—10 октября, 6—7 ноября, 29/17—31 декабря 1844 г.; 2—10 февраля, 31 марта—15* апреля <1 апреля?> 1845 г., 10/22 января, 27 января 1846 г.).

В первом письме — обращения к Н. А. Герцен и Т. Н. Грановскому. В письме от 29/17—31 декабря 1844 г.— приписки к Н. А. Герцен.

Количество писем определено условно. Имеются указания, что письмо от 2—10 февраля 1845 г. является частью письма от 2—16 февраля 1845 г. (см. № 52).

Указания Н. М. Мендельсона на допущенные здесь искажения текста писем см.: Лит. наследство, т. 7-8, 1933, стр. 290—291.

1892

10. Из переписки недавних деятелей.— Русская мысль, 1892, № 9, стр. 7—8.

Шуточное послание в стихах к Н. Х. Кетчеру <1844 г.>.

Авторство Огарева и год установлены по примечанию в кн.: Огарев Н. П. Стихотворения. Под ред. М. О. Гершензона, т. 1, М., 1904, стр. 403.

11. Из писем людей сороковых и пятидесятых годов. (Сообщил Е. Ф. Корш).— В сб.: Помощь голодающим. М., изд. «Русских ведомостей», 1892, стр. 521—528.

Четыре письма: три к Е. Ф. Коршу (28 июня и 20 августа 1847 г.; б. ч. и б. м. <1856 г.>. в стихах), одно к нему же и Т. Н. Грановскому (1847 г.).

Год письма в стихах установлен по кн.: Огарев Н. П. Стихотворения и поэмы, т. 1. М., «Советский писатель», 1937, стр. 394.

А. В. Аскарянц (Описание рукописей Н. П. Огарева, стр. 164) указывает, что письма 1847 года даны с большими купюрами.

12. П и с ь м а к П. В. Анненкову.— В кн.: П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 годов. СПб., изд. А. С. Суворина, 1892, стр. 636—653.

Четырнадцать писем (23 ноября 1852 г.; 6 ноября, 15 декабря 1853 г., 16 декабря 1853 г.— 5 января 1854 г., 9 февраля, 16 марта, середина года, 21 декабря 1854 г.; 3 июня, 24 июня, 15 июля, 10 августа 1855 г. и два без дат). Здесь же перепечатаны отрывки из писем, опубликованные Анненковым в 1883 г. (см. № 3).

Здесь, так же как и в издании «Лит. воспоминаний» Анненкова 1909 г., числится 15 номеров писем Огарева. Однако под номером 15-м в обоих изданиях помещено стихотворение, которое не может быть отнесено к письмам.

1894

13. В л а з н е в В. Материалы для историко-статистического очерка бывших Государевых дворцовых рыбных ловцов сел: Белоомута, Ловец, Любичи и Дединова.— Труды Рязанской ученой архивной комиссии, т. 9, вып. 2, 1894 г., стр. 129.

Два письма к белоомутским старшинам: одно к Даниле Семеновичу (23 декабря 1847 г.), другое — к Герасиму Тимофеевичу (14 марта 1849 г.).

Эти письма перепечатаны также в сб.: Под знаменем науки. М., 1902, стр. 662—669.

1896

14. П и с ь м а М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С биографическим введением и объяснительными примечаниями М. П. Драгоманова. Женева, 1896, стр. 87—89, 147—150.

Два письма к Бакунину (31 октября 1862 г., 12 ⟨сентября⟩ 1863 г.). М. П. Драгоманов пометил последнее письмо «12 октября», но М. К. Лемке в полном собрании сочинений Герцена (XVI, стр. 577) указывает, что следует читать: «сентября».

А. В. Аскарянц (Описание рукописей Н. П. Огарева, стр. 126) относит письмо 1863 г. к октябрю, не обозначая числа. Там же она указывает на искажения текста письма.

1902

15. Р у с с к и е писатели в их переписке. Герцен и Огарев. Публикация М. О. Гершензона.— Русская мысль, 1902, № 11, стр. 147—152, 159—166.

Семь писем: два к А. И. Герцену (одно б. ч. и б. м. 1846 г.? без указания адресата; другое написано после 1856 г.), пять к Н. М. Сатину («Завещание» перед отъездом за границу в 1856 г.; б. ч и б. м., 25/13 октября 1856 г. или 1857 г.; приписки к письмам Герцена 29 мая 1860 г. и б. ч. сентября 1862 г.).

Даты приписок к письмам Герцена уточнены по Полн. собр. соч. и писем Герцена (X, стр. 324; XV, стр. 473).

А. В. Аскарянц (Описание рукописей Н. П. Огарева, стр. 138—139) относит первое письмо к Герцену к 1859—1860 гг., а другое письмо к нему же — к первой половине 1857 г.

16. Н е к р а с о в а Е. С. Николай Платонович Огарев. (Раннее детство).— В сб.: Под знаменем науки. М., 1902, стр. 51.

Отрывки (короткие) из двух писем к М. Л. Огаревой (13—15 апреля 1839 г. и без даты 1838 г.?). Письмо 13—15 апреля см. также под № 29.

1903

17. Г е р ш е н з о н М. О. История одной дружбы. (Грановский, Герцен, Огарев).— Научное слово, 1903, № 8, стр. 88, 91, 93, 95; № 9, стр 53—55.

Письмо к Т. Н. Грановскому (б. ч. и б. м. 1854 г. или 1855 г.), отрывок из письма к нему же (б. ч. и б. м. 1845 г.), отрывки из писем к А. И. Герцену (б. ч. и б. м. 1845 г.; без даты) и к М. Л. Огаревой (б. ч. и б. м. 1846 г.).

18. Гершензон М. О. Н. П. Огарев и его крепостные.— Научное слово, 1903, № 4, стр. 85, 86, 88, 95—103.

Отрывки из писем к М. Л. Огаревой (б. ч. апреля 1839 г., начало 1840 г. и 5 марта 1840 г.), к московским друзьям (начало 1838 г. и 8 января 1839 г.), к Е. Ф. Коршу и Т. Н. Грановскому (лето 1847 г.).

1904

19. Некрасова Е. С. А. И. Герцен, его хлопоты о заграничном паспорте и последняя поездка в Петербург.—Русская мысль, 1904, № 10, отд. 2, стр. 43, 52—58.

Отрывки из приписки к письму Н. А. Герцен к А. И. Герцену (3 октября 1846 г.).

20. Огарев Н. П. Стихотворения. Под ред. М. О. Гершензона, т. 1, М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1904, стр. 384—385, 388—389, 411.

Письмо к П. Л. Лаврову (при посылке ему стихотворения «На новый год», 29—30 ноября 1876 г.), отрывки из писем к М. Л. Огаревой (3/15 декабря?, 15/27 декабря, 19 декабря 1841 г.; 12 февраля 1842 г.). Здесь же (стр. 403—404) повторно помещено шуточное послание в стихах к Н. Х. Кетчеру 1844 г., впервые опубликованное в 1892 г. (см. № 10).

1906

21. Лемке М. Дело Н. Г. Чернышевского.— Былое, 1906, № 3, стр. 105—106.

Отрывок из совместного с А. И. Герценом письма к Н. Н. Обручеву (15—20 августа 1861 г.).

Адресат и дата установлены по Полн. собр. соч. и писем Герцена (XI, стр. 212).

22. Лемке М. За что арестовали Н. Г. Чернышевского.— Былое, 1906, № 1, стр. 230—231.

Письмо к Н. А. Серно-Соловьевичу (<20—24 июня 1862 г.>).

Лемке ошибочно приписал все письмо одному Герцену. В действительности письмо написано Огаревым. Герцену принадлежит только приписка. Указание на авторство Огарева впервые появилось в 1906 г. (Былое, № 3, стр. 103).

23. Лемке М. Очерки жизни и деятельности Герцена, Огарева и их друзей. По неизданным источникам.— Мир божий, 1906, № 1, стр. 62—63; № 4, стр. 136—137.

Два письма: к А. И. Герцену (10 августа 1833 г.), к А. Х. Бенкендорфу (25 января 1839 г.).

24. Фомин А. Новый историко-литературный клад.— Русская мысль, 1906, № 4, стр. 13.

Совместное с Герценом письмо к Н. И. Тургеневу (28 марта 1861 г.).

1907

25. Гершензон М. О. Огарев и его любовь.— Вестник Европы, 1907, № 10, стр. 653—681; № 11, стр. 5—74; № 12, стр. 459—489, 495—496.

Пятьдесят восемь писем, включая отрывки: пятьдесят шесть к М. Л. Огаревой (начало лета 1841 г. — 25 августа 1845 г.), письмо к пензенскому губернатору А. А. Панчулидзеву (б. ч. и б. м. 1850 г.), отрывок из письма к А. И. Герцену (22 августа н. ст. 1844 г.).

Уточнения с ссылками на перепечатку 1912 г. в кн. М. О. Гершензона «Образы прошлого» см.: Аскарянц А. В. Описание рукописей Н. П. Огарева, стр. 168—169.

26. Переписка Герцена и Огарева.— В кн.: Отчет Московского публичного и Румянцевского музеев за 1906 год. М., 1907, стр. 41, 46.

Отрывки из семи писем к А. И. Герцену (б. ч. и б. м. 1860 г.; 4 марта, 31 июля, 9 августа, 12 сентября 1867 г.; 5 июня 1868 г.; 30 марта 1869 г.).

1908

27. Лемке М. Процесс 32-х.— В кн. того же авт.: Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». СПб., изд-во О. Н. Поповой, 1908, стр. 70—71.

Письмо (с припиской А. И. Герцена) к <А. Запаснику (начало декабря 1861 г.)>. Здесь же повторно опубликовано письмо к Н. А. Серно-Соловьевичу (см. № 22).

Адресат и время написания письма к Запаснику установлены по Полн. собр. соч. и писем Герцена (XI, стр. 361).

1911

28. Материалы по истории русской литературы и культуры.— Русская мысль, 1911, № 1, отд. 2, стр. 149—151.

Письмо без указания адресата (27 декабря 1842 г.).

Я. З. Черняк относит это письмо к 27 декабря 1841 г. и называет его адресатом Н. М. Сатина на основе косвенных указаний в письмах Н. П. Огарева к М. Л. Огаревой от 22 декабря и 27 декабря 1841 г., напечатанных в кн: Гершензон М. Образы прошлого. М., изд-во ОКТО, 1912, стр. 453 и 458.

1912

29. Гершензон М. Любовь Н. П. Огарева.— В кн. того же авт.: Образы прошлого. М., 1912, стр. 334—341, 352—364, 372—376, 379—387.

Шестнадцать впервые публикуемых полностью писем к М. Л. Рославлевой-Огаревой (два без дат — между 11 февраля и 26 апреля, 1 марта, 23 апреля 1836 г.; 21—22 марта, 13—15 апреля, б. ч. и б. м. 1839 г.; шесть записок б. ч. и б. м., письма 30 мая, 6—8 июня, 14—16 июня 1840 г.?). Здесь же напечатаны пятьдесят шесть писем к М. Л. Огаревой 1841—1845 гг. и письмо к А. А. Панчулидзеву 1850 г., опубликованные в 1907 г. (см. № 25), а также отрывки из ранее опубликованных писем к А. И. Герцену.

Три из писем к М. Л. Огаревой 1836 г. и одна из записок к ней же б. ч. и б. м. 1840 г. были не полностью и с искажениями опубликованы в 1889 г. (см. № 5). Отрывок из письма от 13—15 апреля 1839 г. был напечатан в 1902 г. (см. № 16).

А. В. Аскарянц (Описание рукописей Н. П. Огарева, стр. 167—170) уточняет количество и датировку опубликованных здесь писем.

30. Письма Ник. Плат. Огарева.— Щукинский сборник, вып. 10. М., 1912, стр. 225—228.

Пять писем к И. К. Б<абсту> (17 декабря 1854 г.; 21 мая, 21 июня, 12 июля, 17 сентября 1855 г.).

1913

31. Неизданные материалы о Н. П. Огареве. Сообщил М. Гершензон.— Голос минувшего, 1913, № 7, стр. 198; № 11, стр. 205.

Приписка к письму А. И. Герцена к Н. М. Сатину (16 октября 1867 г.) и начало письма к А. А. Краевскому (27 февраля 1852 г.).

32. Н. П. Огарев. Сообщил М. Гершензон.— Голос минувшего, 1913, № 2, стр. 231—233.

Два письма к А. И. Герцену (<июнь?> 1855 г. и 10 ноября 1867 г.).

1916

33. Неизданные стихотворения Н. П. Огарева.— В кн.: Русские пропилеи. Материалы по истории русской мысли и литературы. Собрал и приготовил к печати М. Гершензон, т. 2. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1916, стр. 144, 146—147, 171.

Четыре письма: одно к московским друзьям при посылке своих стихотворений для напечатания <1843 г. или 1844 г.>, одно к Н. А. Огаревой (14 июля 1865 г.), одно без указания адресата <возможно к ней же, конец июня или июль 1870 г.>, одно в стихах к А. Н. Майкову и С. <М.> Воробьеву (1842 г. или 1843 г.).

1917

34. Архив Н. П. Огарева. 1.— В кн.: Русские пропилеи. Материалы по истории русской мысли и литературы. Собрал и приготовил к печати М. О. Гершензон, т. 4. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1917, стр. 5—83, 88, 90—92, 99—102, 104—105, 112—113, 132, 138—140, 143, 147—149, 151, 153, 155—157, 164—166, 203—206, 210—220, 222—223, 225—233, 240—249, 263—266, 271—273.

Пятьдесят пять писем и приписок, включая совместные с Н. А. Тучковой-Огаревой (1838 г., середина 1840 г., 1848—1850, 1854—1856 и 1859—1862 гг.). Одиннадцать к А. И. Герцену, пять к А. И. и Н. А. Герцен, два к Н. А. Герцен, двенадцать к Н. А. Тучковой; одно к ней же после брака, два к Н. А и Е. А. Тучковым, четыре к их родителям, четыре к Н. М. Сатину, одно к нему же и А. А. Тучкову с припиской к С. И. Астракову, тринадцать к А. А. Тучкову.

Пять приписок к письмам Н. А. Тучковой-Огаревой не отражены в перечне документов, помещенном в книге.

35. Герцен А. И. Полное собрание сочинений и писем. Под ред. М. К. Лемке, т. VII, Пг., изд. наследников автора, 1917, стр. 166.

Отрывок из письма к Н. М. Сатину (14 января 1853 г.).

36. Из архива А. Н. Пешковой-Толиверовой.— Невский альманах, вып. 2. «Из прошлого». Пг., 1917, стр. 197—199.

Четыре письма к Т. П. Пассек (6 апреля, 25 июня, 14 октября 1873 г., 2 февраля б. г.).

В предисловии не совсем верное утверждение: «В воспоминаниях Т. П. Пассек „Из дальних лет" эти письма не помещены». Одно письмо (от 6 апреля 1873 г.: «Наконец-то вчера пришло твое послание из Вены, старый друг Таня, и пришло накануне дня его рождения») с припиской, начинающейся стихами-эпиграфом («Я жду тебя, когда зефир игривый...»), опубликовано Т. П. Пассек (без приписки) дважды с некоторыми вариантами (см. №№ 1 и 2). Приписка частично опубликована в 1889 г. в качестве эпиграфа к письму без даты в третьем томе воспоминаний Пассек «Из дальних лет» (см. № 6).

1919

37. Герцен А. И. Полное собрание сочинений и писем. Под ред. М. К. Лемке, т. X. Пг., Лит.-издат. отдел Наркомпроса, 1919, стр. 81—83, 347—350.

Три письма к А. И. Герцену (7—8 августа 1859 г. и первая половина 1860 г.). Первое из писем 1860 г было с некоторыми расхождениями в тексте напечатано в 1917 г. (см. № 34). Ряд отрывков из писем к Герцену напечатан в различных томах полного собрания сочинений Герцена.

38. Клевенский М. К биографии Герцена и Огарева (по архивным материалам).— Голос минувшего, 1919, № 1-4, стр. 68—69.

Письмо к А. И. Герцену (10 июля 1833 г.).

1920

39. Герцен А. И. Полное собрание сочинений и писем. Под ред. М. К. Лемке, т. XV, Пб., Госиздат, 1920, стр. 568; т. XVI, стр. 90—92, 148, 516—517.

Четыре впервые публикуемые письма: к В. И. Баксту (15 декабря 1862 г.), к А. А. Слепцову (8 мая 1863 г.), к Герцену (отрывок, 18 ноября 1863 г.), к П. В. Долгорукову (черновик с исправлениями Герцена, б. ч. и б.м. 1863 г.). Здесь же (т. XVI, стр. 493 и 496) отрывки из письма к М. А. Бакунину (12 сентября 1863 г.), ранее опубликованного М. П. Драгомановым под датой «12 октября» (см. № 14).

А. В. Аскарянц (Описание рукописей Н. П. Огарева, стр. 157) предположительно относит письмо к Долгорукову к 1864 г.

1922

40. Герцен А. И. Полное собрание сочинений и писем. Под ред. М. К. Лемке, т. XVII, Пб., Госиздат, 1922, стр. 132—135, 280—282; т. XIX, стр. 240 и 247.

Два письма к деятелю русского раскола О. С. Гончару (Гончарову — 10 марта и 4 июля 1864 г.), отрывки из двух писем к Герцену (март 1867 г.).

41. Комарова В. Д. Из стасовского архива.— Сборник Пушкинского дома на 1923 год. Пг., Госиздат, 1922, стр. 285.

Письмо к Д. В. Стасову (4 сент. 1859 г.?). Здесь же (стр. 282) напечатана записка к Стасову (без прямого указания адресата).

41-а. Кантор Р. М. В погоне за Нечаевым. Пб., изд. «Мысль», 1922, стр. 51, 66.

Две записки издателю Н. В. Постникову (К.-А. Роман) (28 апреля и 1 августа 1870 г.).

1923

42. Алексеев В. К биографии Н. П. Огарева. — Красный архив, 1923, т. 3, стр. 209—210.

Письмо к Александру II (11 мая/30 апреля 1859 г.). Письмо это было опубликовано в 1859 г. (Колокол, л. 46).

43. Герцен А. И. Frisant la question polonaise.— В кн. того же авт.: Полн. собр. соч. и писем. Под ред. М. К. Лемке, т. XX, М.— Пг., Госиздат, 1923, стр. 238, 248.

Начало письма Огарева к Комитету русских офицеров в Польше (декабрь 1862 г.). Приведено на французском языке в статье Герцена, напечатанной в 1868 г. (Kolokol, № 7). Письмо это было опубликовано на русском языке в «Сборнике посмертных статей Александра Ивановича Герцена» (Женева, 1870, стр. 204—205). Французский текст отрывка и русский перевод его Лемке не вполне соответствуют тексту, напечатанному в 1870 г. См. в настоящем томе публикацию Я. З. Черняка.

44. Лемке М. Политические процессы в России 1860-х годов, изд. 2-е, М.—Пг., Госиздат, 1923, стр. 187—190.

Письмо к Н. Н. Обручеву (15—20 августа 1861 г.). Отрывок из этого письма был впервые, без указания адресата, опубликован в 1906 г. (см. № 21).

1927

45. А. И. Герцен. Новые материалы. К печати приготовил Н. М. Мендельсон. М., изд-во Всесоюзн. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1927, стр. 15—17, 90, 91 (Труды Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина).

Шуточное письмо к Н. Х. Кетчеру, написанное вместе с Герценом (зима 1842 г.). Приписки к письмам Герцена к тому же адресату (16 марта и 2 мая 1839 г.).

Отрывок из написанной Герценом части шуточного письма датирован М. К. Лемке маем 1841 г. (Полн. собр. соч. Герцена, т. II, стр. 430).

А. В. Аскарянц (Описание рукописей Н. П. Огарева, стр. 162) относит это письмо к январю— февралю? 1842 г.

46. Мурановский сборник, вып. 1. Мураново, изд. Музея им. Тютчева в Муранове, 1928, стр. 87—88.

Письмо к И. С. Аксакову (приписка к письму Герцена 5 октября 1860 г.).

1929

47. Черняк Я. З. Конец Огаревского дела (по неопубликованным материалам).— Новый мир, 1929, № 10, стр. 165—167.

Отрывок из письма к Н. М. Сатину (б. ч. и б. м. 1857 г.), записка к М. М. Каракозову (б. ч. и б. м. 1857 г.).

1930

48. Архив Н. А. и Н. П. Огаревых. Собрал и приготовил к печати М. Гершензон. М.— Л., Госиздат, 1930, стр. 19, 36—38, 43, 60, 69—71, 73, 83—84, 90—91, 98—99, 100—123, 246.

Пятьдесят шесть писем: одно к Н. А. Огаревой (14 января 1865 г.), одиннадцать к Лизе Герцен (два б. ч. и б. м. 1865 г. или 1866 г.; 2 сентября 1865 г. или 1866 г.; два б. ч. и б. м. 1866 г., б. ч. января и 15 января 1866 г.; 20 января 1867 г.; б. ч. ноябрь 1868 г., 1 ноября <1873 г.>, 17 января <1874 г.>), три к А. И. Гер-

цену (5, 23 ноября, 22 декабря 1869 г.), два к Н. М. Сатину (начало 1870 г. и 16 декабря 1870 г.), два к А. П. Плаутиной (б. ч. и б. м. 1873 г. или 1874 г. и 12 апреля 1875 г. или 1876 г.), одно к В. С. Плаутиной (без даты 1873 или 1874 г.), два к Г. Сетерленд (4 сентября б. г. и 9 января 1862 г.), тридцать четыре к М. Сетерленд (1859 — 1864 гг.).

Даты двух последних писем к Лизе Герцен уточнены по № 5 Бюллетеней Гос. литературного музея (Герцен, Огарев и их окружение. М., 1940, стр. 140).

49. К о з ь м и н Б. Неопубликованное письмо Н. П. Огарева.— Красный архив, т. 1 (38), 1930, стр. 172—173.

Письмо к И. П. Ворожцову (18 января 1865 г.).

1931

50. П и с ь м а Н. П. Огарева. Вступ. статья, ред. и прим. Н. Мендельсона.— Новый мир, 1931, № 5, стр. 173—194.

Одиннадцать писем 1841—1847 гг.: восемь к Т. Н. Грановскому, два к А. И. Герцену, одно к М. Ф. Корш.

Эти письма перепечатаны в 1932 г. (см. № 51). Там же (Звенья, т. 1) на стр. 100 Н. М. Мендельсон сообщает, что публикация 1931 г. была осуществлена без его наблюдения, и снимает с себя ответственность за допущенные в ней погрешности.

1932

51. О г а р е в Н. П. Письма к Т. Н. Грановскому, А. И. Герцену и М. Ф. Корш. Сообщил и комментировал Н. М. Мендельсон.— Звенья, т. 1, 1932, стр. 100—154.

Восемнадцать писем: одно к Т. Н. Грановскому и Е. Ф. Коршу (<26 сентября> 1848 г.), тринадцать к Т. Н. Грановскому (май 1841 г., весна 1841 г.? со стихами; 17—18 января, 14—15 февраля, 25 апреля, 25—26 апреля, 5 июня и 10 сентября 1847 г.; 7 октября 1848 г., 16 октября 1848 г.?; весна 1849 г.?, 28 июня 1849 г., б. ч. и б. м. конец 1849 г. или начало 1850 г.); два к А. И. Герцену (8 марта и 26 декабря 1845 г.), одно к М. Ф. Корш (июнь 1847 г.?), одно к Т. Н. Грановскому и Н. Х. Кетчеру (11—12 июля 1849 г.). В письме к Т. Н. Грановскому от 10 сентября 1847 г. приписка к Н. Г. Фролову.

А. В. Аскарянц (Описание рукописей Н. П. Огарева, стр. 156) уточняет дату письма к Т. Н. Грановскому и Е. Ф. Коршу.

1933

52. И з п е р е п и с к и А. И. Герцена и Н. П. Огарева.— Каторга и ссылка, 1933, № 3, стр. 123—129.

Отрывок из письма к Герцену (13—14 февраля 1845 г.). В публикации доказывается, что этот отрывок является частью письма от 2—16 февраля (см. №№ 5 и 9).

53. Ч е р н я к Я. З. Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве (Дело Огарева—Панаевой) по архивным материалам. М.— Л., «Academia», 1933, стр. 306—310, 314—317, 319—320, 321—323, 327—328, 331—333, 346—348, 353—354, 359—361, 394—397, 491—493, 495—497, 524—525, 527—530.

Девятнадцать впервые опубликованных писем: одиннадцать к М. Л. Огаревой: 16 ноября 1845 г.; 16 августа, б. ч. август или сентябрь, 4 декабря* 1846 г.; 23 апреля, б. ч. и б. м. осень, 29/17 октября 1847 г.; 27 мая, 8 июня, 14/2 сентября, 30 сентября, 16/4 декабря 1848 г.), восемь к Н. М. Сатину (14 января, б. ч. январь начало года, б. ч. июнь, 15 июня 1850 г.; 28 июля 1854 г.?; 14 августа, 21 ноября 1855 г.). Кроме того, ряд перепечаток из сб. Русские пропилеи, т. 4 (см. № 34).

Письмо, ошибочно датированное Огаревым «4 декабря», публикатор относит к ноябрю 1846 г.

1934

54. А. И. Г е р ц е н и Н. П. Огарев. Письма к П. В. Анненкову. Публикация и предисловие В. Ф. Покровской. Под ред. и с примеч. Н. Мендельсона.—Звенья, т. III—IV, 1934, стр. 395—396, 400—405, 409, 413—419, 421—423.

Десять писем (в том числе девять, написанных совместно с Герценом ⟨до 17 июня⟩, 1, 13 и конец июля 1858 г.: 14 мая, 24 августа, 8 сентября, 6 октября, 20 ноября и 11 декабря 1860 г.).

1936

55. Герцен и Огарев. Новые материалы. Сообщили С. А. Переселенков и Я. З. Черняк. Комментарии Я. З. Черняка.—Звенья, т. VI, 1936, стр. 342—344, 358, 365—376, 378—379, 381—383, 389—390, 393—396, 399—406, 408—412.

Тридцать девять писем, включая стрывки и черновики: одно к В. Н. Кашперову (5 марта ⟨1849 г.⟩), одно к М. Л. Огаревой (май — июнь 1843 г.), одно к А. И. Герцену (без даты после 1856 г., на листке письма Т. Н. Грановского к Герцену от 1851 г.), шесть к М. Н. Островскому (7 апреля 1850 г.; б. ч. май, 13 октября, 12 ноября 1851 г.; 27 сентября 1852 г.; 12 июля 1853 г.?), одно к нему же и В. Н. Кашперову (18 апреля 1852 г. или 1853 г.), два к А. А. Краевскому (27 февраля 1852 г. и б. ч. и б. м. 1857 г.), одно к В. С. Печерину (29 марта 1863 г.), шесть к П. Л. Лаврову (9 августа, 3 сентября 1875 г. с приложением набросков статьи «Отношения работника и хозяина»; 2 января, 5 августа 1876 г. и два без дат 1876 г. или 1877 г.?), одно к В. М. ⟨?⟩ Озерову (б. ч. и б. м. 1874 г.), восемь к В. С. Плаутиной (11 февраля, 12 марта, 7 и 19 апреля, 16 июня, 1, 6 и 26 октября 1873 г.), два к А. П. Плаутиной (10 февраля б. г. и 12 января 1877 г. с приложением стихов), одно в Женевское бюро взыскания налогов (16 марта 1871 г.), одно к Д. Фази? (3 августа б. г.), два к М. К. Элпидину (б. ч. и б. м. и 12 апреля 1873 г.), два к лондонскому издателю Трюбнеру (27 января 1874 г.? и без даты), одно к неизвестному (б. ч. и б. м. ⟨после 1856 г.⟩), два в редакцию «Suisse radicale» (3 сентября и 29 октября б. г.).

Письмо к А. А. Краевскому от 27 февраля было частично опубликовано в 1913 г. (см. № 31).

Дата письма к Кашперову уточнена (1849 г. вместо 1840 г.) на основании устного указания Я. З. Черняка. А. В. Аскарянц (Описание рукописей Н. П. Огарева, стр. 165, 179—180) уточняет дату одного из писем к П. Л. Лаврову и относит к 1872 г. письма в редакцию «Suisse radicale». Письмо к Озерову см. также под № 70.

1937

56. Из неопубликованных документов А. И. Герцена и Н. П. Огарева.— Советское искусство, 1937, № 16, стр. 4.

Письмо к Герцену (14 сентября ⟨1867 г.⟩).

1941

57. Отрывки и наброски. Публикация Б. Козьмина.— Лит. наследство, т. 39-40, 1941, стр. 356.

Черновик письма без указания адресата (между 1853 и 1855 гг.).

А. В. Аскарянц (Описание рукописей Н. П. Огарева, стр. 179) предположительно относит письмо к 1857 г. и предположительно же называет его адресатом Н.М.Сатина.

58. Письма А. И. Герцена Е. В. и Д. В. Пассекам. Публикация М. Финкеля и А. Белецкого.— Там же, стр. 188.

Приписка Огарева к письму Вячеслава Васильевича Пассека и Герцена к Евгению и Диомиду Васильевичам Пассекам (29 апреля 1833 г.).

59. Письма Н. П. Огарева А. И. Герцену. Публикация А. Аскарянц и З. Кеменевой. Предисловие и комментарий Ю. Красовского.— Там же, стр. 371—573.

Сто пятьдесят одно письмо (апрель 1856 г.—15 января 1870 г.?). В письмах 17 августа 1859 г. и 11 ноября 1869 г. приписки к Н. А. Тучковой-Огаревой. В письмах от 30 января, 10, 20, 24 и 25 июля 1867 г. обращения к Н. А. Герцен (дочери). Три из публикуемых писем были напечатаны в 1930 г. в «Архиве Н. А. и Н. П. Огаревых» (см. № 48).

А. В. Аскарянц (Описание рукописей Н. П. Огарева, стр. 138, 144, 148—149) уточняет даты некоторых из писем. Первое письмо она относит не к апрелю, а к концу мая.

60. Письма Н. П. Огарева А. П. Плаутиной. Публикация С. Переселенкова.— Там же, стр. 606—610.

Пять писем (18 и 26 марта, 10 мая 1874 г.; 9 февраля 1876 г.; б. ч. и б. м. 1877 г.). В дополнении к этой публикации редакцией приложено еще три письма, напечатанных по черновикам (из записных книжек Огарева). Письма эти, за исключением одного (помеченного 10 августа б. г.), не датированы. Публикатор считает, что все они относятся к последним годам жизни Огарева.

А. В. Аскарянц (Описание рукописей Н. П. Огарева, стр. 176) относит письмо от 9 февраля к 1875 г. и отмечает наличие неточностей текста в публикации письма от 1877 г.

61. Письма Н. П. Огарева П. Л. Лаврову. Предисловие и комментарии Ю. Красовского.— Там же, стр. 576—597.

Сорок восемь писем (16 мая 1875 г.— 22 апреля 1877 г.). Уточнения см.: Аскарянц А. В. Описание рукописей Н. П. Огарева, стр. 164—165.

62. Письма Н. П. Огарева разным лицам. Публикация Б. Козьмина и С. Переселенкова.— Там же, стр. 610—614.

Пять писем: к А. В. Головнину (июнь или июль 1858 г.), к А. А. Тучкову (вторая половина 1859 г.?), к И. И. Кельсиеву (апрель 1864] г.), к А. А. Герцену (5 мая 1876 г.). к неизвестному (после смерти Герцена).

А. В. Аскарянц (Записки Отдела рукописей, вып. 12, 1951, стр. 169—170) опубликовала письмо к неизвестному в качестве окончания письма к В. Озерову. Она же в «Описании рукописей Н. П. Огарева» (стр. 130, 154, 180) относит письмо к А. В. Головнину к 1857 г., а письмо к А. А. Тучкову — к началу января 1860 г., письмо к А. А. Герцену — к 1875 г. и отмечает неточности публикации последнего письма.

63. Письма Н. П. Огарева Т. П. Пассек. Публикация Б. Козьмина.—Там же, стр. 599—605.

Девять писем (24 февраля 1873 г.— 13 июля 1874 г.). Письмо от 23 <29?> декабря 873 г. было опубликовано со значительными искажениями без даты в воспоминаниях Т. П. Пассек (см. № 2).

Текст четырех других писем (26 августа, 28 сентября, 30 сентября и 18 октября 1873 г.) также частично совпадает с письмами, опубликованными Т.П. Пассек (см. № 2).

64. Статья «О русском духовенстве». Публикация С. Переселенкова.—Там же стр. 336 (франц. текст), 338 и 341.

Два письма: одно <к А. А. Герцену> при посылке статьи-ответа на вопросы Пензи <середина 1869 г.>, другое к М. А. Бакунину <середина 1869 г.>.

Адресат первого письма и время написания обоих писем установлены на основе помещенной в комментарии (стр. 341) цитаты из письма А. И. Герцена к Огареву.

А. В. Аскарянц (Описание рукописей Н. П. Огарева, стр. 127) указывает на неточности в публикации письма к Бакунину.

65. Из истории отношений А. И. Герцена и Н. П. Огарева с М. А. Бакуниным. Публикация З. Кеменевой.— Лит. наследство, т. 41-42, 1941, стр. 68—70, 72—80.

Четыре написанных совместно с Герценом письма: три к М. А. Бакунину (21 апреля, 8 мая, 1 сентября 1863 г.), одно к А. А. Герцену и к Феликсу, участнику экспедиции Лапинского (11 июня 1863 г.).

66. Из переписки русских революционных эмигрантов. Публикация Б. Козьмина.— Там же, стр. 64—66.

Два письма: к Н. И. Утину (конец марта 1867 г.), к С. Г. Нечаеву («От дедушки внучку», начало 1870 г.? Напечатано по черновику из записной книжки Огарева).

1945

67. Два неопубликованных письма А. И. Герцена. Комментарии Б. П. Козьмина.— Лит. газета, 1945, № 5, стр. 2.

Письмо к Густаву Фогту, написанное совместно с Герценом (19 марта 1863 г.).

1950

68. Белинский в неизданной переписке современников.— Лит. наследство, т. 56, 1950, стр. 166, 189.

Отрывки из писем к Е. В. Сухово-Кобылиной (17 июня 1842 г.) и к А. И. Герцену (13 марта 1847 г.).—Публикация Я. З. Черняка.

69. Описание фондов Государственного литературного музея.— Звенья, т. VIII, 1950, стр. 807—811, 813.

Отрывки из писем к М. Л. Огаревой, к А. А. Тучкову, к Н. А. и Е. А. Тучковым, к Н. М. Сатину (1838—1860 гг.). — Публикация Н. Курсинской. Отрывок из письма к Е. В. Салиас (24 декабря 1863 г.).— Публикация Н. Дилевской.

1951

70. Из записных книжек Н. П. Огарева. Публикация Я. З. Черняка и А. В. Аскарянц.— Записки Отдела рукописей (Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина), вып. 12, 1951, стр. 167—172.

Три письма: к А. И. Герцену (середина февраля — середина марта 1867 г.), к В. А. <?> Озерову (письмо-статья — Знание и революция, б. ч. апрель — май 1874 г.), к М. А. Бакунину (21 ноября 1874 г.).

Начало письма к Озерову было напечатано в Звеньях, т. VI, 1936 г. (см. № 55). Окончание этого письма опубликовано в т. 39-40 Лит. наследства, 1941 (см. № 62).

71. Письмо Н. П. Огарева к А. И. Герцену и к московским друзьям (осень 1836 г.). Публикация Е. Л. Рудницкой.— Там же, стр. 179—186.

Письмо начинается стихотворным обращением к друзьям.

1952

72. Аскарянц А. В. Описание рукописей Н. П. Огарева. Под ред. Я. З. Черняка. М., 1952, стр. 127, 130, 139, 165, 175—176, 182—183 (Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина).

Десять полностью напечатанных писем: одно к М. А. Бакунину (29 б. м. 1873 г.), одно к Лизе Герцен (22 февраля 1865 г.), одно к А. И. Герцену (1859 г. или 1860 г.). одно к П. Л. Лаврову (29? марта 1876 г.), одно к Н. А. Огаревой и Лизе Герцен (28 марта 1866 г.), одно к А. П. Плаутиной (1876 или 1877 г.), четыре к неустановленным лицам (4 июля 1871 г.? и три б. ч. и б. м. 1870-е гг.).

73. Мартыновская В. Экономические воззрения Н. П. Огарева.—Вопросы экономики, 1952, № 9, стр. 83.

Отрывок из письма к Н. Х. Кетчеру (<26 апреля> 1837 г.).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АДРЕСАТОВ ПИСЕМ Н. П. ОГАРЕВА

Аксаков Иван Сергеевич — 46
Александр II — 42
Анненков Павел Васильевич — 12, 54
Астраков Николай Иванович — 2
Астраков Сергей Иванович — 2, 34
Астракова Татьяна Алексеевна — 2
Бабст Иван Кондратьевич — 30
Бакст Владимир Игнатьевич — 39
Бакунин Михаил Александрович — 14, 39, 64, 65, 70, 72
Беннендорф Александр Христофорович — 23
Боткин Василий Петрович — 5
Бюро по взысканию налогов в Женеве — 55
Воробьев Сократ Максимович — 33
Ворожцов Иван Прокофьевич (владелец спичечной фабрики в Вятской губернии) — 49
Герасим Тимофеевич (старшина села Белоомут) — 13
Герцен Александр Александрович — 62, 64, 65
Герцен Александр Иванович — 2—6, 8, 9, 15, 17, 19, 23, 25, 26, 29 (повторно), 32, 34, 37—40, 48, 50—52, 55—56, 59, 68, 70—72
Герцен Лиза — 48, 72
Герцен Наталия Александровна (жена) — 4, 5 8, 9, 34
Герцен Наталия Александровна (дочь) — 59
Головнин Александр Васильевич — 62
Гончар (Гончаров) Осип Семенович — 40
Грановская Елизавета Богдановна — 5
Грановский Тимофей Николаевич — 5, 8, 9 11, 17, 18, 50, 51
Данила Семенович (старшина села Белоомут — 13
Долгоруков Петр Владимирович — 39
Запасник Александр — 27

Каракозов Михаил Михайлович (племянник М. Л. Огаревой) — 47
Кашперов Владимир Никитич — 55
Кельсиев Василий Иванович — 7
Кельсиев Иван Иванович — 62
Кетчер Николай Христофорович — 3, 5, 10, 20 (повторно), 45, 51, 73
Комитет русских офицеров в Польше — 43
Корш Евгений Федорович — 11, 18, 51
Корш Мария Федоровна — 50, 51
Краевский Андрей Александрович — 31, 55
Лавров Петр Лаврович — 20, 55, 61, 72
Майков Аполлон Николаевич — 33
Московские друзья — 3, 5, 8, 18, 33, 71
Нечаев Сергей Геннадиевич — 66
Обручев Николай Николаевич — 21, 44 (уточнение)
Огарева Мария Львовна — 5, 16, 17, 18, 20, 25, 29, 53, 55, 69
Огарева Наталия Алексеевна (см. также Тучкова Наталия Алексеевна) — 33, 48, 49, 51, 59, 72
Озеров Владимир Михайлович (Александрович?) — 55, 62, 70
Островский Михаил Николаевич — 55
Панчулидзев Александр Алексеевич — 25, 29 (повторно)
Пассек Диомид Васильевич — 58
Пассек Евгений Васильевич — 58
Пассек Татьяна Петровна — 1, 2, 6, 36, 63
Печерин Владимир Сергеевич — 55
Плаутина Анна Платоновна (сестра Н. П. Огарева) 48, 55, 60, 72
Плаутина Вера Сергеевна (племянница Н. П. Огарева) — 48, 55
Постников Н. В. (Роман Карл-Арвид Иоганнович) — 41-а
Рославлева Мария Львовна — см. Огарева М. Л.
Салиас де Турнемир Елизавета Васильевна (Евгения Тур) — 69
Сатин Николай Михайлович — 3, 6, 15, 28, 31, 34, 35, 47, 48, 53, 57, 69
Серно-Соловьевич Николай Александрович — 22, 27 (уточнение)
Сетерленд Генри — 48
Сетерленд Мэри — 48
Слепцов Александр Александрович — 39
Стасов Дмитрий Васильевич (юрист) — 41
Сухово-Кобылина Евдокия Васильевна — 68
Трюбнер Николай (лондонский издатель) — 55
Тургенев Николай Иванович — 24
Тучков Алексей Алексеевич (отец Н. А. Тучковой-Огаревой) — 34, 62, 69
Тучкова Елена Алексеевна (сестра Н. А. Тучковой-Огаревой, с 1849 г. жена Н. М. Сатина) — 34, 69
Тучкова Наталия Алексеевна (см. также Огарева Наталия Алексеевна) — 6, 34, 69
Тучкова Наталия Аполлоновна (мать Н. А. Тучковой-Огаревой) — 34
Утин Николай Исаакович — 66
Фази Джемс — 55 (предположительно)
Феликс (участник «экспедиции Лапинского», секретарь И. Демонтовича) — 65
Фогт Густав — 67
Фролов Николай Григорьевич — 51
Эдпидин Михаил Константинович — 55
«Suisse radicale» (редакция журнала) — 55
Неустановленные лица — 28 55, 62, 72

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Составил Ю. Масанов

Абамелик, Анна Давыдовна — см.: Баратынская, А. Д.
Абель — 316.
А—в — см.: Алябьев, К.
А. Г., криптоним Герцена — 13, 20.
Адлерберг, Владимир Федорович — 132.
Адоратский, Владимир Викторович — 492.
Аксаков, Иван Сергеевич — 1, 2, 122, 398, 401, 456, 803, 807-08, 830, 918, 922.
Аксаков, Константин Сергеевич — 730, 732, 831.
Аксенфельд, перев.— 412.
Александр I — 21, 31, 74-76, 159, 182, 184, 664, 666, 687-90.
Александр II — 248, 262, 264-65, 270-71, 382, 415-16, 420, 431, 433, 463, 473, 481, 553, 564, 573, 580-89, 595, 597-98, 642-43, 656, 803, 806, 808, 828, 830-31, 882, 918, 922.
Александр III — 395, 475.
Александров, В.— 115-16, 265, 287.
Алексеев, Виктор Павлович — 918.
Алексеев, Михаил Павлович — 229-32.
Алексеев, Николай Александрович — 481, 492.
Алифанов, сосед Огарева — 849-50, 857.
Аллер, учитель Огарева — 667, 680, 682, 684, 686-88, 693-94.
Альбертини, Николай Викентьевич —4, 808, 839, 845, 881-91.
Алябьев, К. (А—в), агент III Отделения— 578-80.
Андриянов, Николай — 741.
Анненков, Павел Васильевич — 13, 29, 207-08, 212, 229, 249, 524, 636, 674, 758, 781, 837-38, 910, 912, 914, 919, 922.
Антонович, Максим Алексеевич — 412, 414.
Анфантен, Бартелеми-Проспер — 563.
Анциферов, Николай Павлович — 269, 277, 279, 291-378.
Апраксин, генерал — 265.
Аракчеев, Алексей Андреевич — 76, 158, 166, 827.
Арапетов, Иван Павлович — 879-80.
Аргиропуло, Перикл Эммануилович — 802-03.
Ариосто, Лудовико — 311.
Аристов, поручик — 516.
Армеллини, Карло — 254.
Арналь, Этьен — 208, 212.
Аргольд, Иван Николаевич — 512.
Арним, Элизабет фон — 877-78.
Арну, Жюль — 329.
Арсеньев, Константин Иванович — 456.
Артемьева, Евдокия Викторовна — см.: Витберг, Е. В.
Арцишевский, врач — 515.
Аскарянц, Анна Вагановна — 490, 534, 714, 910, 912, 914-22.
Асселин, Луи — 549.
Астраков, Николай Иванович — 365, 790, 912, 922.
Астраков, Сергей Иванович —789-90, 912, 917, 922.
Астракова, Татьяна Алексеевна — 310, 312, 321, 364-65, 370, 376, 378, 454, 789-90, 912, 922.
Аттила — 169.
Ауэрбах, Александр Андреевич — 415-16.
Ауэрбах, Герман Андреевич — 415-16.
Ауэрбах, Юлия Федоровна — 415-16.
Ауэрбахи — 415, 428.
Ауэршперг, Карл — 284.
Ахшарумов, Николай Дмитриевич —394.
Ашинов, Василий Романович — 727.

Бабёф, Гракх — 160, 201, 563, 813.
Бабст, Иван Кондратьевич — 249, 600, 916, 922.
Бажанов, содержатель кофейни — 388, 391.
Базилева, Зинаида Петровна — 489.
Базилевский — 338, 341.
Байрон, Джордж-Гордон — 374, 528, 530, 533-34, 654, 681-82, 868.
Бакст, Владимир Игнатьевич — 276, 278, 393-94, 917, 922.
Бакунин, Михаил Александрович — 1, 2, 28, 30, 88, 138, 151, 153, 155-57, 159, 168, 181-83, 188-90, 192-93, 196-97, 201, 217, 276, 284, 286, 302, 305, 359, 378, 381, 384-85, 401-03, 406, 408, 413, 416, 426, 428-33, 436-40, 448-50, 454, 456, 487, 492, 518, 520-21, 534-40, 550-51, 557, 576-78, 658, 750, 804-05, 813, 818-19, 822-23, 825, 881-82, 884, 889, 898, 906, 908-09, 911, 914, 917, 921-22.
Бакунина (рожд. Квятковская), Антония Ксаверьевна — 822-23.
Балашевич-Потоцкий, агент III Отделения — 557.
Бальзак, Оноре — 104, 112, 178, 384, 426, 671, 851.
Бамбергер, Людвиг — 410.
Бантыш-Каменский, Дмитрий Николаевич — 715.

Барановский, участник польского восстания — 835.
Барановский, подпоручик — 515.
Баратынская (рожд. Абамелик), Анна Давыдовна — 680.
Барбес, Арман — 218.
Барнум, Финеас-Тейлор — 98, 104, 112.
Баррот, де — 556.
Барсуков, Николай Платонович — 230.
Барсукова, Лидия Евгеньевна — 456.
Баршу, Огюст — 857.
Баскаков, Михаил — 845.
Баскакова, бабка Огарева — 677.
Басов-Верхоянцев, Сергей Александрович — 825.
Бастиа, Клорд-Фредерик — 889.
Батаков (или Батанов) — 409-10.
Батый, хан — 14.
Бауэр, Генрих — 376, 378.
Бах, Александр Николаевич — 416.
Бахметев, Павел Александрович — 272, 276-77.
Бахметьев, пензенск. помещик — 737-38, 754, 757-58.
Бедемар, маркиз — 696.
Бейдеман, Александр Егорович — 255, 495.
Беккер, Карл-Фердинанд — 686.
Беклемишев, Ф. А.— 247.
Белевский, псевд. Т. А. Астраковой — 365.
Белецкий, Александр Иванович — 456, 920.
Белинский, Виссарион Григорьевич — 28, 30, 83, 88, 154, 207, 212, 379, 384, 388, 390-91, 413, 454, 456, 523, 527-28, 530, 648, 705, 724, 753, 756-57, 783, 857-60, 864, 922.
Беллини, Винченцо — 353, 651, 878.
Белоголовый, Николай Андреевич — 422.
Белявская, Ирина Михайловна — 226-28, 233-36, 280-83, 489.
Беляев, Козьма Васильевич — 317-18.
Беляков, Василий Игнатьевич — 670, 694.
Бенза, Эрнесто — 612.
Бенкендорф, Александр Христофорович — 21, 65, 76, 858, 915, 922.
Беннет — 727-28, 730, 737, 756, 779.
Бентам, Иеремия — 100, 109, 159, 181-82, 184, 190, 197.
Бенуа, Филипп — 187.
Бер, учитель Огарева — 682-83.
Беранже, Пьер-Жан — 104, 108, 112.
Берг, Федор Федорович — 838-39.
Бердушек — 415.
Беренгард, король Павии — 305.
Берман, А. И.— 254, 290.
Бернацкий, Алоизий-Проспер — 312-13, 327-28, 335.
Бестужев, Михаил Александрович — 664.
Бестужев, Николай Александрович—416.
Бестужев-Рюмин, Константин Николаевич — 801.
Бестужев-Рюмин, Михаил Павлович—834.
Беттина, псевд. Элизабет фон Арним — 877-78.
Бетховен, Людвиг — 742.
Бибикова, Елизавета Ивановна—см.: Менгден, Е. И.
Бируля, капитан — 515.
Бисмарк, Отто-Эдуард — 355, 430.
Блазерна, проф.— 434.
Блан, Луи — 1, 4, 162, 174, 218, 892.
Блудов, Дмитрий Николаевич — 596.
Блюм, Леон — 90.
Блюммер, Леонид Петрович —815-16,885.
Боборыкин, Петр Дмитриевич — 454.
Бобров, Евгений Александрович — 455.
Бобянский, поручик — 516.
Богданов, А., художник — 263.
Богданов, Александр Федорович — 788, 790.
Боголюбов, Алексей Петрович — 255.
Боград, Владимир Эммануилович — 880.
Бодиско, Александр Андреевич — 98.
Бодиско, Василий Константинович — 98.
Боклевский, Петр Михайлович — 234-35, 853.
Бокль, Генри-Томас — 806.
Болдырев, содержатель пансиона — 665, 684.
Болла, Ф., художник — 340.
Бологов, поручик — 515.
Бомарше, Пьер-Огюстен-Карон — 104, 112.
Бонапарт, Пьер — 447.
Бончар — 442.
Бордюгов, Иван Иванович — 478-80.
Боссак, Фред-Кароль — 430, 432.
Боткин, Василий Петрович — 28, 207, 212, 305, 322, 324, 422, 448, 528, 648, 651, 728, 748-49, 753, 757, 772, 774, 798-99, 801, 806, 837-38, 912, 922.
Боткин, Николай Петрович — 212, 322, 343-44, 346, 422.
Боткин, Сергей Петрович — 285, 421-22.
Боуэн, Элиза — 758.
Бочаров, Михаил Ильич — 529.
Бочечкарова, Евгения Ивановна — см.: Конради (рожд. Бочечкарова), Е. И.
Браге, Тихо — 168, 193.
Брайт, Джон — 361.
Браницкий, Ксаверий Владиславович— 366-67, 369-70, 375-78.
Броневский, штабс-капитан — 515.
Бруннов, Филипп Иванович — 148.
Брут, Марк-Юний — 100, 109.
Брюллов, Николай Федорович — 255.
Брюнинг (рожд. Ливен) — 358-59, 371-72, 374.
Брянчанинов, полицеймейстер — 700.
Буало-Депрео, Николя — 852.
Будзилович, поручик — 515.
Будковский, Густав Яковлевич — 207, 255-56.
Булатов, Иван Михайлович —662, 677-79.
Булатов, Степан Михайлович — 678, 690, 709-10.
Булгарин, Фаддей Венедиктович — 338, 803, 887.
Булевский, Людвиг — 366-67, 418.
Бульвер-Литтон, Эдуард-Джордж — 875, 878.
Бурачек, Степан Анисимович — 84.
Бутков, Владимир Петрович — 132.
Бутурлин, Михаил Дмитриевич — 798.
Бучеров, художник — 255.
Бушо, учитель Герцена — 692.

Вагнер, Рихард — 296, 445.
Вадим — см.: Салиас де Турнемир, Е. А.
Вазари, Джорджо — 869.
Вакульский, врач — 515.
Вартель, Пьер-Франсуа — 453-54.
Васбиндер, знакомый Герцена — 364-67.
Василий Яковлевич, староста в с. Покровском — 356, 358.
Васильев, Иосиф Васильевич — 255.
Васильев, Михаил Николаевич — 255.
Васильев, Федор Александрович — 507.
Васильчиков, Александр Алексеевич (?) — 255.
Васильчиков, Николай Александрович — 671, 694.
Вашингтон, Джордж — 554.
Велепольский, Александр — 536.
Веллингтон, Артур-Уэлсли — 355.
Вельтман, Александр Фомич — 455.
Венгеров, Семен Афанасьевич — 528, 672, 757, 860, 881.
Вера Артамоновна, няня Герцена — 326.
Веревкин, Александр Николаевич — 686.
Веревкин, Михаил Николаевич — 686.
Веревкин, Николай Никитович — 665, 692.
Веревкин, Николай Николаевич — 665, 667, 672, 684, 686, 688, 692, 864.
Веревкин, Федор Николаевич — 665, 667, 684, 686.
Веревкины — 668, 684, 691-92.
Ветлицкий — 793-94.
Веттершриндт, учитель Огарева — 682-83.
Ветхий старик, псевд. Огарева — 601.
Видиль — 120, 122.
Видок, Франсуа-Эжен — 104, 112.
Вико, Джованни-Баттиста — 778-79.
Виктор-Эммануил II, кор. Сардинии — 305.
Виктория, кор. Англии — 218.
Вилле, доктор — 343-44.
Вильгельм I, имп. — 427.
Вильмонт, Николай Николаевич — 718.
Виньи, Альфред — 671.
Виргилий, Публий Марон — 49, 644-45.
Висковатова — 579.
Висконти, книгопрод. — 408.
Витберг, Александр Лаврентьевич — 21-22.
Витберг, Вера Александровна — 21-22.
Витберг (рожд. Артемьева), Евдокия Викторовна — 21-22.
Вихерский, Феликс — 428.
Влазнев, Василий Кузьмич — 845, 914.
Вовчок, Марко, псевд. М. А. Маркович — 138.
Войцаровский, Андрей — 149.
Вокульский, Ксаверий — 492.
Волков, Иван Федорович — 665-67, 672, 683-84, 688, 694.
Волконский, Петр Михайлович — 355, 597.
Волней, Константин-Франсуа — 77.
Вольтер, Франсуа-Мари-Аруэ — 8, 12, 18, 20, 49-50, 264, 528, 530, 532, 647, 663.
Вольфзон, Вильгельм — 29-31, 69, 83, 88, 358.
Вормс, Николай Александрович — 412, 415-16, 568.
Воробьев, Максим Никифорович — 865.
Воробьев, Сократ Максимович — 389, 907, 916, 922.
Ворожцов, Иван Прокофьевич — 919, 922.
Воронцовы — 169.
Ворцель, Станислав — 207, 214, 218, 226-28, 233-34, 290.
Вреде, Карл-Филипп — 144.
Вронченко, Федор Павлович — 132, 597.
Вызинский, Генрих Викентьевич — 801-02, 804.
Вырубов, Григорий Николаевич — 198, 287, 384, 404, 409, 424, 427, 430-31, 454, 805.
Вяземский, Петр Андреевич — 150, 600, 792, 800.

Г. Г. — 432-33.
Гааг, Луиза Ивановна — 115, 119, 288, 296, 300, 304, 306-09, 311-13, 316-17, 321, 333, 335, 338, 340, 350, 358, 392, 437, 850, 858.
Гаврилов 3-й, прапорщик — 516.
Гагарин, Павел Павлович — 838-39.
Гаевский, Виктор Павлович — 455.
Гайдебуров, Павел Александрович — 287.
Гакстгаузен, Август — 244, 376, 378.
Галахов, Алексей Дмитриевич — 249, 801.
Галахов, Иван Павлович — 713, 748, 750, 756, 758, 761, 764.
Галилей, Галилео — 168, 193.
Галлер, Альбрехт — 142.
Ган, штабс-капитан — 516.
Гарибальди, Джузеппе — 125-33, 136, 213, 330, 334, 395, 404-05, 804-05, 817-18, 828-29, 836.
Гартман, Мориц — 343.
Гаспарини, г-жа — 353, 366, 372, 374.
Гаспера — 284.
Гассер, К. — 119.
Гауг, Эрнст — 296, 328, 330-44, 346-50, 352-54, 366-68, 370, 378, 392.
Ге, Николай Николаевич — фронтиспис.
Гебасевич, офицер — 515.
Гебель, Франц-Ксавер — 118, 706, 714.
Гегель, Георг-Фридрих-Вильгельм — 170, 379, 386, 636, 801, 849, 857, 860.
Гейне, Генрих — 169, 320, 602, 604, 634, 641, 655-56, 856, 858.
Гейнс, Владимир, поручик — 518.
Гейнс, генеральша — 486, 518.
Гельвеций, Клод-Адриан — 50.
Генле, Фридрих-Август — 785.
Гено-де-Мюсси, Ноэль — 656.
Георг, женевский книгопродавец — 287, 426, 428.
Герасим Тимофеевич, старшина с. Белоомут — 914, 922.
Герасимов, Сергей Васильевич — 497.
Гервег, Георг — 4, 23, 246, 288, 292, 294, 296, 298, 313, 318, 320, 322, 324-25, 331-41, 343-44, 346-48, 350, 355, 359, 362-63, 378, 436, 438, 441, 748, 750, 756-57, 764, 792, 836.
Гервег, Эмма — 296, 319-20, 324, 330, 336, 341, 343-44, 350.
Гергей, Артур — 104, 112, 251.
Геронтий — см.: Ливанов, Г.
Герцен, Александр Александрович — 1, 2, 137, 181, 302, 304, 308, 311-12, 314, 316-

17, 320, 327, 331-35, 342, 350, 353-54, 359, 364-65, 367-71, 374, 378, 393-96, 406, 410, 418-21, 433-38, 440-42, 444-46, 450, 452, 456, 486, 492, 518-19, 522, 534-39, 542, 549-50, 737, 741, 749, 752, 756, 761, 779, 781, 789, 794, 836, 842, 906, 921-22.
Герцен, Александр Александрович (Туп)— 402-03, 415-16, 444, 450, 452-53.
Герцен, Алексей Александрович (Лелябой) — 116, 385, 437, 813-14, 821.
Герцен, Владимир Александрович — 327.
Герцен, Егор Иванович — 117-18, 312-14, 317-18, 320, 326, 330, 341-42, 370, 439-40, 727.
Герцен, Елена Александровна (Лелягерл) — 116, 385, 437, 813-14.
Герцен, Елизавета Александровна (Лика) — 736-37.
Герцен, Елизавета Александровна — 288, 290, 385, 396-98, 401-06, 409, 414, 418, 420, 424-26, 431, 433-34, 436-38, 441-42, 444, 456, 656-57, 804, 807-08, 810-11, 813-14, 820, 821, 832-33, 839-44, 918-19, 922.
Герцен (рожд. Захарьина), Наталья Александровна — 2, 16, 22, 115-16, 288, 292-96, 298-301, 303-08, 310-12, между 312-313, 314-16, 318-29, 331-33, 337-42, 345, 348, 350, 358, 365-66, 376, 378, 380, 385, 389-90, 392, 436-37, 440-41, 445, 669, 725, 728-31, 734-38, 741, 744-45, 748-49, 752, 754, 760-61, 764, 766-71, 773, 776, 778-82, 785, 787-89, 791-96, 836, 846, 912-13, 915, 917, 922.
Герцен, Наталья Александровна (дочь)— 1-2, 4, 116, 181-82, 184-86, 191, 256-58, 293, 300-04, 312, 314, 317, 320-21, 325, 327-28, 330-31, 333-34, 339, 342, 348, 352-53, 359, 362-66, 368-72, 374-77, 379, 385, 396-97, 402-03, 405-06, 408, 418, 420-21, 433-42, 444-50, 452-53, между 472-73, 619, 656, 658, 751, 781, 789, 794, 813-14, 821, 830, 833-34, 842-44, 920, 922.
Герцен, Николай Александрович — 115, 288, 296, 300, 302, 304-06, 308-14, 316, 321, 333, 335, 338, 340, 350, 358, 392, 437, 744-45, 794.
Герцен, Николай Александрович (внук)—2.
Герцен (в замуж. Моно), Ольга Александровна — 2, 207, 256, 279, 301-02, 304-06, 314, 320, 327, 331, 334, 339, 342, 352-53, 359, 362, 364-66, 368, 370-71, 374-75, 377-78, 385, 396-97, 418, 421, 424, 436, 438, 440-42, 444-46, 448-49, 452-53, 813-14, 821, 830, 842-43.
Герцен (рожд. Феличе), Терезина — 2, 419, 421, 438.
Гершензон, Михаил Осипович — 230, 341, 455, 572, 651, 653, 749-50, 757, 800, 869, 913-18.
Гёте, Иоганн-Вольфганг — 184, 374, 388, 528, 530, 532-33, 645, 686, 692, 710, 713, 718, 756, 840, 857, 859, 863-64, 868, 875.
Гетсон, Шарлотта — 403.
Гибель, содержательница пансиона —682.
Гибсон, Томас — 361.
Гижицкий, Евгений Казимирович —822.
Гийо, Ив — 549.
Гилочева <?> — 393.
Гильдемейстер, Отто — 756-57.
Гинзбург, Борис Самойлович — 490.
Гинзбург, Лидия Яковлевна — 21-22, 242-47, 248-50, 285-86.
Гискра, Карл — 207, 284-85, 290.
Гладстон, Вильям — 125-27, 130, 132.
Гоголь, Николай Васильевич — 84, 106, 113, 756-57, 851, 859-60.
Гокс, Эмилия — 213.
Голицын, Александр Федорович 838-39.
Голицын, Юрий Николаевич — 814-16.
Головин, Иван Гаврилович — 305, 362, 364, 827.
Головнин, Александр Васильевич — 261, 463, 804, 826, 838, 921-22.
Головчинер, Виктория Даниловна — 456.
Голостенов — 678.
Голостеновы — 678.
Голохвастов, Дмитрий Павлович — 710, 712.
Голубева, Вера Александровна — см.: Витберг, В. А.
Голубцова (в замуж. Гогенлоэ), Екатерина Ивановна — 680.
Гомер — 130, 645, 857.
Гонзага, Федериго — 869.
Гончар (Гончаров), Осип Семенович — 561, 918, 922.
Гораций Флакк, Квинт — 49.
Горбунов, Кирилл Антонович — 83, 771, 775.
Горлов, Иван Яковлевич — 810-12.
Горский-Данилович, поручик — 512, 517.
Горчаков, Александр Михайлович — 601.
Готье, Владимир Иванович — 212.
Гофман, издатель — 215.
Гофман, Эрнст-Теодор-Вильгельм-Амадей — 671, 732, 851, 856, 858.
Грановская (рожд. Мюльгаузен), Елизавета Богдановна — 316, 456, 772, 774-75, 912, 922.
Грановский, Тимофей Николаевич —27-28, 98, 207, 316, 348-49, 375, 384, 441-42, 444-46, 456, 527, 648, 651-52, 719, 721, 725, 727-28, 730, 732, 746-50, 753, 756-57, 760-64, 771-74, 777-80, 783-84, 789-90, 793, 798, 800-01, 879, 881, 908-09, 912-15, 919-20, 922.
Грез, Жан-Батист — 104, 112.
Грей, Генри—129.
Грей, Томас — 654.
Грекович, полк. инструктор — 516.
Греч, Николай Иванович — 600.
Григорьев, Аполлон Александрович — 543.
Григорьян, Камсар Нарсесович — 265.
Громека, Степан Степанович — 1, 882-84, 886-91.
Грон, поручик — 515.
Гроссман, Леонид Петрович —800-01, 806.
Грошев, С. И., фотограф — 531.
Гулевич, Михаил Семенович — 271, 393, 397-98, 402, 410.
Гумбольдт, Александр-Фридрих-Вильгельм — 750.
Гуно, Шарль — 653.

Гурко, Иосиф Владимирович — 803, 806.
Гурко (рожд. Салиас де Турнемир), Мария Андреевна — 807-08, 820-21, 832, 844.
Гусев, Николай Николаевич — 653.
Гюбер — 289.
Гюго, Виктор—90, 210, 218, 430, 818, 857.
Гюйо, Жак — 323, 333.

Давыдов, В. Л. <?> — 432-33.
Давыдов, Денис Васильевич — 76.
Давыдов, Иван Иванович — 388, 390.
Д'Аламбер, Жан-ле-Рон — 197.
Д'Арленкур, Виктор-Прево — 866.
Дамирон, Филипп — 704, 706.
Данила Семенович, старшина с. Белоомут — 914, 922.
Данич — 429, 431.
Данте, Алигьери — 645, 866, 906-07.
Дантон, Жорж-Жак — 156, 170.
Дардель, врач — 395-96.
Даревский, поручик — 515.
Даримон, Альфред — 288, 346-47, 354, 360-62, 364.
Даримон, жена Альфреда Даримона — 360-61.
Дашкевич, Григорий — 492.
Дашкевич, поручик — 515.
Дашкова, Екатерина Романовна — 49.
Девиль, врач — 115-16, 439-40.
Дежазе, Полина-Виржини — 212.
Делавиль, Анри — 109.
Делаво — 41, 892.
Де-Ла-Год, Люсьен — 98, 104, 112.
Демонтович, Иосиф — 518, 521.
Депре, Камилл — 395, 741-42, 777.
Дерби, Эдвард-Джоффрей — 126.
Державин, Гавриил Романович — 528.
Деру, Абель — 549.
Дзагурова, Юлия Павловна — 4.
Дзонетти-Борзино, Леопольдина — 333.
Дибич, Иван Иванович — 76.
Дидро, Дени — 8, 11, 532.
Дизраэли, Бенджамин — 126.
Дилевская, Наталья Александровна — 922.
Дитрих, художник — 79.
Дмитриев, поручик — 515.
Дмитриев-Мамонов, Федор Иванович (псевд., «Дворянин-философ») — 779.
Дмоховский, поручик — 515.
Добровольский — 478, 480.
Добровольский 1-й, поручик — 515.
Добровольский 2-й, поручик — 515.
Доброговский, капитан — 515.
Добролюбов, Николай Александрович — 271, 381, 412-14, 460-61, 468-69, 475, 477-81, 489, 491-92, 523, 799-800, 803, 805, 808, 882-83, 886-89.
Долгоруков, Владимир Петрович — 415-16, 422.
Долгоруков, Петр Владимирович — 259, 261, 382, 397-98, 415-16, 422, 425, 433, 539, 673, 808, 815-16, 821-22, 885, 917, 922.
Домагальский, Михаил — 366-67.
Домбровский, Ярослав — 441.
Доможиров — 689.
Домье, Оноре — 96, 361, 903.
Донец-Хмельницкий, подполковн. — 516.
Доницетти, Гаэтано — 322, 324, 878.
Доре, Гюстав — 351, 363, 367, 369, 817.
Достоевский, Федор Михайлович — 384, 401-02, 414.
Д. П-ъ — см.: Пассек, Д. В.
Драгоманов, Михаил Петрович — 1, 2, 248, 456, 535, 883, 908, 914, 917.
Драгоманова, Людмила Михайловна —2.
Дрюэ, Шарль — 366, 368.
Дубельт, Леонтий Васильевич — 425.
Дудышкин, Степан Семенович — 889.
Думшин, Григорий Данилович — 556.
Дьяконов, Навел Алексеевич — 456.
Дювер, Феликс-Огюст — 212.
Дюма (отец), Александр — 212, 745, 806.
Дюма (сын), Александр — 104, 112.
Дюран, Андрэ — 17-18.
Дюринг, Евгений — 244.

Екатерина II, имп.— 18, 20, 73-74, 690, 845.
Елагин, Николай Васильевич — 264-65.
Елена Павловна, в. кн.— 249.
Елисеев, Григорий Захарович — 491.
Ермолов, Алексей Петрович — 76.
Ермолова, генеральша — 556.
Ешевский, Степан Васильевич — 802.

Жабицкий, Антон — 226-28.
Жанен, Жюль — 671.
Жданович, офицер — 515.
Жебровский, штабс-капитан — 516.
Желтухин, Алексей Дмитриевич — 734-36, 741-42, 750, 753, 757, 768.
Жемчужников, Федор Аполлонович — 402-03, 406, 409, 793.
Жемчужникова, Надежда Дмитриевна — см.: Колокольцева, Н. Д.
Жемчужникова, Наталья Аполлоновна — см.: Тучкова, Н. А.
Жерольд, Бланшар —355.
Жирарден, Эмиль — 162, 174, 410.
Жиске, Анри — 104, 112.
Жихарев, Михаил Иванович — 456.
Жорж Санд —98, 103, 109, 111, 293-94, 347, 355, 359, 364, 391, 530, 533, 731-32, 780, 799, 851-52, 858.
Жуков, К. Н.— 813-14, 818.
Жукова (рожд. Салиас де Турнемир), Ольга Андреевна — 813-14, 818, 832.
Жуковский, Василий Андреевич — 528, 611, 863.
Жуковский, Николай Иванович — 271, 393-94, 427-28, 450, 578, 894.
Жуковский, Юлий Галактионович — 276-77, 393-94.
Жюль, слуга Герцена — 394-95.
Жюльен, Луи-Антуан — 353.

Забелин, Иван Егорович — 207, 212.
Загоскин, Михаил Николаевич — 325.
Загряжский, Егор Семенович — 518.
Заичневский, Петр Григорьевич — 491, 802-03.
Замойский, Андрей — 826-27.
Замойский, Владислав — 233.
Запасник, Александр — 916, 922.
Запольский, Василий Ипатьевич — 665, 672, 683-84, 687-88, 691-94.
Заремба, поручик — 516.

Засядко, Дмитрий Александрович — 879-80.
Захарьин, Н.— 879-80, 892-98, 899-905.
Зейн 1-й, поручик — 512, 517.
Зеленов, поручик — 516.
Зольгер, Рейнгольд — 362-63.
Зонненберг (Зоненбург), Карл Иванович — 371-72, 665, 681-84, 688-89, 694, 696, 698-99, 709-10.

Иванов, Александр Андреевич — 443.
Ивашев, Василий Петрович — 149.
Ивашева, Вера Васильевна — см.: Черкесова, В. В.
Ильинский, квартальный надзиратель — 601.
Иоанн Грозный — 20, 74, 162.
Иовский, Петр Алексеевич — 710, 713.
Иовчук, Михаил Трифонович — 489.
Иоганнис, музыкант — 653-54.
Искандер, псевд. А. И. Герцена — 145, 166, 171-72, 478, 527, 530, 771, 816.
Ислявин, Константин Александрович — 653.
Итинский 1-й, офицер — 515.
Ишутин, Николай Андреевич — 553, 568, 656.

Кабанис, Пьер-Жан — 683, 752-53.
Кабе, Этьен — 160.
Кавелин, Константин Дмитриевич — 1, 2, 28, 208, 212, 248-49, 448, 524, 600, 737, 745, 774, 779, 783-84, 881, 892.
Кавур, Камилл — 370, 803, 805, 887, 889.
Кадоль, Огюст-Жан-Батист-Антуан — 685.
Калинин, Михаил Иванович — 526.
Кальвин, Жан — 140, 144-45.
Кампе, изд. — 215.
Канестрелли, Джулио — 899.
Кантор, Рувим Моисеевич — 433, 576, 579-80, 918.
Каншин, Д. Б.— 456.
Капман, Леонид Рафаилович — см.: Ланский, Л. Р.
Капп, Фридрих — 432.
Каппель, Софья Федоровна — 726-27, 774, 776.
Каракозов, Дмитрий Владимирович — 382, 526, 542, 568, 598, 642-43, 656-57, 831.
Каракозов, Михаил Михайлович — 918, 922.
Карамзин, Николай Михайлович — 528, 691-92, 869.
Карл I, король Англии — 412.
Карлейль, Джейн Уэлш — 229, 354.
Карлейль, Томас — 1, 4, 207, 229-32, 291, 354, 375, 455.
Карпини, Плано — 14, 18.
Карр, Эдуард — 318.
Карташев, Фаддей Семенович — 852, 856, 858.
Картуш, Луи-Доминик — 264-65.
Касаткин, Виктор Иванович — 273, 276-78, 392-94, 408, 410, 418, 556-57.
Касаткина, Елизавета Васильевна —418.
Катков, Михаил Никифорович — 455, 542, 553-54, 561-62, 600, 636, 801, 813-16, 822, 830, 833, 837-38, 882, 886-91.
Кауниц, Венцель-Антон-Доминик — 52, 73.
Каффи, Ипполито — 308.
Каширин, П., крестьянин — 852, 858.
Кашкин, Евгений Петрович — 663.
Кашкин, Николай Евгеньевич —663.
Кашкин, Николай Николаевич — 663, 672.
Кашкин, Николай Сергеевич — 664, 672.
Кашкин, Сергей Николаевич — 663-64, 667, 681, 688.
Кашкина, Елизавета Евгеньевна — 663-65, 667, 676, 681, 688.
Кашкины — 663-64, 672, 681.
Кашперов, Владимир Никитич — 920-922.
Казн, С., издатель — 856, 858.
Квятковская, Антония Ксаверьевна — см.: Бакунина, А. К.
Кек, Александр — 678.
Кельсиев, Василий Иванович — 146, 278, 382, 401-03, 406, 418, 420, 429, 455, 557, 802, 808, 811-12, 821, 832-33, 881, 885, 913, 922.
Кельсиев, Иван Иванович — 802, 807-08, 820, 821-23, 832-36, 921, 923.
Кельсиева, Варвара Тимофеевна — 406, 821.
Кеменева, Зинаида Васильевна — 456, 920-21.
Кеплер, Иоганн — 549.
Кестнер, секретарь Ротшильда — 148.
Кетчер, Николай Христофорович — 13, 16, 98, 117, 248-49, 320, 374-75, 380, 386, 388, 390-91, 527, 600, 648, 651, 727-28, 738, 746-47, 772, 774, 777, 789, 792, 801, 850, 853-54, 857-58, 890, 912-13, 915, 918-19, 922-23.
Кизеветтер, Иоганн-Готтфрид-Карл-Христиан — 694.
Кине, Эдгар — 218, 425-26.
Кинкель, Готфрид — 207, 281-83, 290, 358-59, 395-96, 418.
Киселев, Николай Петрович — 357.
Киселев, Павел Дмитриевич — 255.
Клагес, Федор Андреевич — 869.
Клапка, Георг — 1, 393.
Кларендон, Эдвард-Гайд — 127, 132.
Клевенский, Митрофан Михайлович — 278, 456, 595, 879, 917.
Клодт фон Юргенсбург, Михаил Константинович — 255.
Клоц, Анахарсис — 170.
Клыков, художник — 741-42.
Ключарев, Григорий Иванович — 341-42, 456, 726-27, 756-59, 764, 769, 771, 773-74, 776.
Клячко, Юлиан — 813-14.
Коббет, Вильям — 231.
Кобден, Ричард — 361-62, 364.
Ковалевский, Владимир Онуфриевич — 271, 393.
Козенц, Энрико — 296.
Козмин, Николай Кирович — 798.
Козьмин, Борис Павлович — 21, 251-54, 271-78, 286, 381, 393-94, 455-56, 463, 466, 490, 523, 525, 550-51, 575, 659, 797-844, 881-91, 919-21.
Колачек, Адольф — 325-26, 343-44, 346.
Колли и Редлих, банкиры — 779-80.

Колокольцев, Александр Дмитриевич — 678.
Колокольцев, Григорий Дмитриевич — 647, 695.
Колокольцева (в замуж. Жемчужникова), Надежда Дмитриевна — 680, 695.
Кольман, Карл Карлович — 255.
Кольцов, Алексей Васильевич — 472.
Комаров, Александр Сергеевич — 756-57.
Комарова, Варвара Дмитриевна — 455, 918.
Конради (рожд. Бочечкарова), Евгения Ивановна — 287.
Константин Николаевич, в. кн.— 261-62, 825, 830.
Константин Павлович, в. кн.— 669-70, 693.
Конт, Огюст — 198, 549.
Коперник, Николай — 198, 549.
Корадетти, К., издатель — 899.
Корнель, Пьер — 49, 210.
Корреджио, Антонио-Аллегри — 390, 606, 867, 869.
Корроди, Сальмон — 615.
Корсини, Наталья Иеронимовна — см.: Утина, Н. И.
Корф, Модест Андреевич — 596.
Корш, Александр Евгеньевич — 774.
Корш, Евгений Федорович — 28, 249, 527, 530, 600, 722, 727-30, 732, 748, 762, 773-74, 777, 783-84, 792, 801, 890, 913, 915, 919, 923.
Корш, Мария Федоровна — 212, 317-18, 343-44, 378, 456, 727-28, 731-32, 734-36, 738, 740, 744, 754, 756, 760-61, 764, 768, 770, 772, 774, 777, 883, 919, 923.
Корш (рожд. Рейссиг), Софья Карловна— 727-29.
Корш, Федор Евгеньевич — 760, 762, 774.
Костенецкий, Яков Иванович — 718.
Костомаров, Всеволод Дмитриевич —475.
Костюшко, Тадеуш-Андрей-Бонавентура — 84.
Кох — 335, 340.
Коцебу, Август-Фридрих — 594.
Коцен, Иосиф — 130.
Кочетков, А.— 876.
Кошелев, Александр Иванович — 2.
Коштоянц, Хачатур Сергеевич — 123-24.
Кошут, Лайош — 1, 90, 215, 218, 233, 251, 253-54.
Краевский, Андрей Александрович — 146, 454, 578-80, 821-22, 832, 881, 884, 886, 889, 916, 919-20, 923.
Краснопевцев, штабс-капитан — 516.
Красовский, Юрий Александрович — 23-26, 27-88, 379-454, 542, 719-96, 859, 920-21.
Крестовский, Всеволод Владимирович — 542.
Кригер, поручик — 515.
Криль, А.— 572.
Критские, братья (Василий, Михаил и Петр) — 460.
Кромвель, Оливер — 172, 180, 231, 554.
Кружков, Владимир Семенович — 479, 492.
Крупская, Надежда Константиновна — 485, 492.
Крупский, Константин Игнатьевич — 485, 492, 516-17.
Крупский, Станислав — 492.
Крылов, Никита Иванович — 774.
Крюков, Дмитрий Львович — 27.
Кряжев, Василий Степанович — 692.
Кубанцев, купец — 741.
Кудеро, Огюст — 549.
Кудрявцев, Петр Николаевич — 756-57, 801, 881, 909.
Кузен, Виктор — 708.
Кузюкова, Александра Васильевна — 4.
Кулешов, Василий Иванович — 255-56.
Купер, Фенимор — 704-05, 708-09, 712.
Курно, Антуан-Огюст — 197.
Курочкин, Василий Степанович — 108.
Курсинская, Нина Александровна — 922.
Кутузов, штабс-капитан — 512, 517.
Кучин, Алексей — 370.
Кушева, Екатерина Николаевна — 523, 525, 550, 598, 600.
Кэри, Генри-Чарльз — 4, 207, 242-47, 290, 889.
Кюри, учитель Огарева — 693-94.
Кюхельбекер, Вильгельм Карлович — 688.

Лабри, Рауль — 238.
Лабулэ, Эдуард-Рене — 823.
Лавров, Петр Лаврович — 285, 524, 578, 915, 920-23.
Лаврова, Мария Петровна — см.: Негрескул (рожд. Лаврова), М. П.
Лавуазье, Антуан-Лоран — 549, 753.
Лагорио, Лев Феликсович — 255.
Лагуна, поручик — 516.
Лакомб, Поль — 549.
Лакруа, Альбер — 402.
Ламеннэ, Гюг-Фелисите-Робер — 704, 706.
Ламорисьер, Луи — 295.
Лангевич, Марианн — 538-39, 557.
Лангенбек, Бернар-Рудольф — 422.
Ланский, Леонид Рафаилович — 95, 99-114, 151, 207-12, 256-58, 266-70, 290, 456, 906-07.
Лапинский, Феофил — 378, 456, 518, 921, 923.
Лассаль, Фердинанд — 170, 179.
Лафайет, Мари-Жозеф — 388, 390.
Лахтин, Алексей Козьмич — 704, 715-17.
Левассор, Пьер — 208, 211-12.
Левашев — 689.
Левашева (рожд. Решетова), Екатерина Гавриловна — 848-49, 852, 857.
Леверсон, Монтенгью-Ричард — 456.
Левин, декабрист — 665, 672.
Левин, Федор — 665, 667, 684, 686.
Левин, Шнеур Менделевич — 234.
Левитов, Александр Иванович — 801.
Левитский — см.: Гижицкий, Е. К.
Левицкая, Полина Сергеевна — 453-54.
Левицкий, Иван Андреевич — 277-78.
Левицкий, Сергей Львович — 153, 255-56, 830, 834.
Левье, врач — 430, 432, 433-34, 438, 442, 446, 450.
Ледрю-Роллен, Александр-Август — 299, 332.
Лейбниц, Готфрид-Вильгельм — 857.

Леметр, Фредерик — 211.
Лемке, Михаил Константинович — 2,7,13, 16, 30-31, 115, 117, 120, 133-34, 138, 147, 157-58, 181, 187, 191, 215, 231, 233, 254, 256, 276, 284, 299-301, 305, 320, 322, 326, 340, 344, 362, 365, 376, 378-79, 403, 409, 416, 433-34, 449, 455-56, 492, 524-25, 535, 557, 560, 562, 566, 668, 672-73, 806, 881, 884, 890, 914-18.
Ленин, Владимир Ильич — 3, 4, 11, 151, 153-54, 156, 161, 192, 249, 262, 271, 291, 381-82, 459, 467, 469, 489-90, 559, 595, 600, 884-85, 888.
Ле Нуар, Виктор — 447, 454.
Леонтьев, Константин Николаевич — 553, 561-62, 636.
Лерминье, Эжен — 709-10.
Лермонтов, Михаил Юрьевич — 369, 377, 526, 581, 589, 598-99, 652, 767.
Леру, Пьер — 241, 431-32.
Лесков, Николай Семенович — 798, 801.
Летурно, Шарль — 549.
Лефевр, Андре — 549.
Либейроль, Шарль — см.: Рибейроль, Шарль.
Ливанов, Геронтий — 560-61.
Либкнехт, Вильгельм — 431-32.
Линд, Женни — 877-78.
Линков, Яков Иосифович — 213-14, 218-25.
Линтон, Вильям — 224-25, 247.
Лобанов-Ростовский, Алексей Борисович — 672.
Лозанн, Огюстен-Теодор — 212.
Лойко, офицер — 515.
Локк, Джон — 670, 694, 708.
Лонже, Франсуа-Ахилл — 750, 753.
Лопатин, Герман Александрович — 286.
Лопухина, Анна Петровна — 73.
Луве, Шарль — 104, 112.
Лугинин, Владимир Федорович — 271, 393, 427, 656, 819, 821-22, 830.
Луи Бонапарт — см.: Наполеон III.
Лунин, обер-полицеймейстер — 362.
Львов-Львицкий, Сергей Львович — см.: Левицкий, С. Л.
Льюис Джордж-Генри — 806.
Людовик-Филипп — 86, 165.
Люис — см.: Льюис.
Люкс, Георг-Ильберт — 422.
Лютер Мартин — 99-100, 108-09, 528.
Лясковский, Николай Эрастович — 774.

Мадзини, Джузеппе — см.: Маццини, Д.
Маевский, поручик — 516.
Мазад, Шарль — 268, 270.
Майер, Николай Васильевич — 425, 852, 858.
Майков, Аполлон Николаевич — 645, 916, 923.
Макашин, Сергей Александрович — 879.
Макиавелли, Никколо — 198.
Маковицкий, Душан Петрович — 28.
Маколей, Томас-Бабингтон — 887.
Максимов, Виктор Алексеевич — 858.
Максимова — 442.
Малов, Михаил Яковлевич — 47.
Мальтус, Томас-Роберт — 241.
Мамонтова — 579.
Мандельштам, Лидия Сергеевна — 215-17, 259-60, 290, 455-56, 910-23.
Мандельштам, Роза Семеновна — 455-56, 910-23.
Марио, Джузеппе — 353.
Мария Николаевна, в. кн.— 255.
Маркович, Мария Александровна — см.: Вовчок, Марко.
Маркс, Карл — 151-52, 156, 158, 192, 207, 213-14, 218, 228, 230-31, 238, 244, 251, 281, 286, 378, 382, 428, 432, 893.
Мартыновская, Валентина Сергеевна — 922.
Мартьянов, Петр Алексеевич — 425-26, 827-28.
Марфа Ивановна, няня Огарева — 678.
Масальский, Константин Петрович — 390-91.
Масальский, капитан — 516.
Массоль, Мари-Александр— 302, 304, 313.
Матвей Савельевич, слуга Герцена — 71, 425.
Матеучи, Карло — 415-16.
Маццини, Джузеппе — 4, 162, 200, 213-14, 218, 230, 243, 247, 254, 296, 333, 335-36, 339-41, 346-47, 353-54, 375-76, 434, 456, 538-39, 554, 556, 825, 845, 899-905.
Маццолени, Перикл — 207, 213-14, 290.
Машковцев, Николай Георгиевич — 22.
Меассалер, Адельгейда — 304-05, 316
Медведева, Прасковья Петровна — 117-18.
Медичи, Джакомо — 296, 334-35, 340.
Мезенцов, Николай Владимирович — 580, 827.
Мейербер, Джакомо — 366.
Мейзенбуг, Мальвида — 2, 23-24, 116, 134, 252, 256-57, 279-81, 285, 290, 385, 396, 412, 415, 418, 421, 424, 436, 438, 440, 442, 444-46, 448, 452-54.
Мейн, Ричард — 129.
Мельгунов, Николай Александрович — 1, 303-05, 313-14, 322, 324, 326-27, 339, 342, 346, 348-49, 352-54, 356, 358, 361-64, 366, 368-69, 375-76.
Мельгуновы — 314.
Мельников (Печерский), Павел Иванович — 889.
Менгден, Елизавета Ивановна (рожд. Бибикова, в первом браке Оболенская) — 663, 672, 877-78.
Менгс, Антон-Рафаэль — 867, 869.
Мендельсон, Николай Михайлович — 23, 28, 455, 524, 912-13, 918-19.
Менцель, Вольфганг — 532.
Мерославский, Людвиг — 283, 430, 432, 482, 510.
Мерчинский, В.— 201, 381, 412, 414-15, 418, 422, 426, 430-31.
Меттерних, Клемент-Венцель — 254.
Мечников, Лев Ильич — 271, 393, 396, 410, 415-16, 418, 892.
Мечникова, Надежда Львовна — 396.
Мещерский, Александр Николаевич — 442, 444-45, 450.
Миклуха-Маклай, Николай Николаевич— 275.
Милль, Джон Стюарт — 4, 352, 845, 889, 891-98.

Милорадович, Михаил Андреевич — 27, 75-76, 664.
Милютин, Дмитрий Алексеевич — 551.
Милютин, Николай Алексеевич — 454, 566, 823, 838-39, 845, 879-80.
Милютин, купец — 426-27.
Миньяр, Пьер — 104, 112.
Мирабо, Онорэ-Габриель — 168.
Михайлов, Михаил Ларионович — 381, 412-14, 423, 475, 480, 482, 486, 489, 491-92, 600, 604.
Михайлов, поручик — 516.
Михелет, Людвиг — 708-09.
Мицкевич, Адам — 378, 856, 858.
Мишле, Жюль — 30, 218, 266, 269, 291, 296, 305, 310, 314, 342, 346-47, 369, 892.
Модзалевский, Борис Львович — 672.
Молинари, Густав — 810, 812.
Моллер, Александр — 556-58.
Монастырский, полк. библиотекарь — 515.
Монастырский, поручик — 516.
Моно, Габриэль — 279, 305.
Монталамбер, Шарль-Форб — 832.
Монтескье, Шарль-Луи — 670, 693, 708.
Мориц, В., художник — 611.
Морошкин, Федор Лукич — 797, 856, 858.
Мосальский, Вячеслав Яковлевич — 492.
Мочалов, Павел Степанович — 207.
Мрочек, Александр — 492.
Мрочек, поручик — 485, 516.
Мрочковский, Валериан — 402, 416.
Муравьев, Андрей Николаевич — 84.
Муравьев, Михаил Николаевич — 526, 589, 598, 656, 827-28, 830-31, 838-39.
Муравьев, Никита Михайлович — 664.
Муравьев (Амурский), Николай Николаевич — 247, 262, 830.
Муравьев-Апостол, Сергей Иванович — 834.
Мюллер-Стрюбинг, Герман — 355, 359, 365-67, 737-38, 748-50, 755, 773-74.
Мюльгаузен, Елизавета Богдановна — см.: Грановская (рожд. Мюльгаузен) Е. Б.
Мюльгаузен, Юлия Богдановна — 316, 456.
Мюнцер, Томас — 99, 108.
Мюрат, Ахилл — 705, 708.
Мюрат, Иоахим — 705.

Набатов, крестьянин — 850-51, 856.
Надежда Семеновна, компаньонка бабушки Огарева — 678.
Надеждин, Иван — 849-51, 858.
Надеждин, Николай Иванович — 797-98, 806, 850-51, 858.
Налбандян, Михаил Лазаревич — 492.
Наперетков, поручик — 515.
Наполеон I — 67, 75, 102, 110, 165, 203, 418, 553, 705.
Наполеон III — 107, 114, 125, 218, 238, 247, 252, 254, 260, 269, 291, 313, 315-16, 324, 327, 340, 359, 362, 370, 382, 804, 823, 832.
Насакин, Василий Абрамович — 690.
Наумов — 699.
Наумова, Мария — 696, 798-700.
Невежин, поручик — 516.
Негрескул (рожд. Лаврова), Мария Петровна — 285.
Негрескул, Михаил Федорович — 285-86.
Нейман, К.— 738.
Неккер, Жак — 52.
Неклюдов, А. М. — 247.
Некрасов, Николай Алексеевич — 183, 468, 478-80, 492, 527, 727, 753, 757, 771, 791, 793, 799-800, 879, 881, 889, 919.
Некрасова, Екатерина Степановна — 350, 463, 910, 914-15.
Нелатон, Огюст — 422.
Немвродов, Василий Иванович — 662, 686.
Немвродов, Григорий Васильевич — 741-42.
Немвродов, Петр Васильевич — 741-42.
Немцов, псевдоним Алябьева (?) — 579-80.
Нерон, Клавдий-Тиберий-Германик — 130.
Нефтель, Василий Федорович — 425-26.
Нечаев, Сергей Геннадиевич — 151, 182, 189-90, 201, 286, 384, 433, 449, 454, 550-52, 576, 578-79, 599, 918, 921, 923.
Нечкина, Милица Васильевна — 459-522, 523, 659-700.
Нидергубер — 346-47.
Николадзе, Николай Яковлевич — 278, 418.
Николай I — 21, 27, 31, 75-76, 82, 119, 150, 234-36, 242, 245-46, 251, 254, 265, 267, 269, 284, 350, 359, 374, 480, 487, 597, 647, 664, 666, 668, 670-71, 692-93, 696, 712, 774, 784, 808, 824-25.
Нионский, И., псевд. А. И. Герцена — 137-39, 181, 287, 426, 429.
Новелло, Клара-Анастасия — 616, 651, 877-78.
Новиков, Михаил Николаевич — 665, 672.
Новикова, Н. Н.— 489, 491.
Новицкий, Николай Дементьевич— 478, 480, 512.
Нович, Иона Савельевич — 138.
Новосветин, А.— 549.
Носков, Михаил Павлович — 456, 709, 712.
Носов, М. В.— 560-61.
Ноэль, гувернантка — 680, 686.
Нуар — см.: Ле Нуар.
Ньютель, врач — 656.
Ньютон, Исаак — 50, 549.

Оболенская (рожд. Бибикова), Елизавета Ивановна — см.: Менгден, Е. И.
Оболенская (рожд. Сумарокова), Зоя Сергеевна — 416.
Оболенский, Д. Н. — 878.
Оболенский, Евгений Петрович — 663-64, 666-67, 688.
Обольянинов, Петр Хрисанфович — 74, 690, 694, 696.
Обручев, Владимир Александрович — 460, 475, 480, 482, 486.
Обручев, Николай Николаевич — 120, 478, 480-81, 915, 918, 923.
Обухов, штабс-капитан — 515.
Овербек, Фридрих-Иоганн — 366.

Огарев, Николай Гаврилович — 672.
Огарев, Платон Богданович — 662, 664, 674, 676-78, 680, 682, 684, 686-90, 694-98, 700, 709-10, 720, 729, 732, 742, 845-46, 850.
Огарева, бабка Н. П. Огарева — 666, 668, 672, 677-78, 689-90.
Огарева, Анна Платоновна — см.: Плаутина (рожд. Огарева), А. П.
Огарева (рожд. Баскакова), Елизавета Ивановна — 662-63, 674, 676, 678, 845.
Огарева (рожд. Рославлева), Мария Львовна — 22, 392, 436, 602-03, 605, 647, 719, 725, 727, 729, 732, 734, 737-38, 741, 745, 747, 750, 770-71, 778-79, 781-87, 791-92, 794-95, 800, 845-58, 860, 868-69, 871-72, 874, 877, 912, 914-16, 919-23.
Огарева, Мария Николаевна — см.: Челищева, М. Н.
Огарева (рожд. Тучкова), Наталья Алексеевна — см.: Тучкова-Огарева, Н. А.
Огородников, Павел Иванович — 512, 517.
Одоевский, Александр Иванович — 659, 661, 667.
Одоевский, Владимир Федорович — 651, 667, 688, 866, 869.
Озеров, Владимир Михайлович (Александрович?) — 578, 920-23.
Озеров, Владислав Александрович — 376.
Олег, кн. киевский — 50.
Оленина — 677.
Олещенко, поручик — 516.
Олсуфьев, Дмитрий — 869.
Олсуфьева, Амалия Николаевна — 865, 869.
Ордынский, Борис Иванович — 455.
Орлов, Алексей Федорович — 795, 884.
Орлов, Григорий Григорьевич — 425.
Орлов, М. Н.— 653.
Орлов, Николай Алексеевич — 804, 808, 825, 828, 830.
Орлов, Пимен Никитич — 603.
Орловы — 73.
Орсини, Феличе — 288, 296, 340.
Остерман-Толстой, Александр Иванович — 140.
Островский, Александр Николаевич — 542, 548-49.
Островский, Кристин — 456.
Островский, Михаил Николаевич — 549, 920, 923.
Оуэн, Роберт — 194, 242, 291, 340, 353-54, 563, 888.

П.— см.: Слепцов, А. А.
Павел I — 31, 73-74, 76, 350.
Павлов, Михаил Григорьевич — 710, 712.
Павлов, Николай Филиппович —350, 375.
Павлов, Платон Васильевич — 502, 508.
Пальмерстон, Генри — 125-27, 130.
Пальмье, доктор — 330.
Панаев, Иван Иванович — 29, 212, 527, 727, 744, 746, 753, 757, 761, 784, 791.
Панаева, Авдотья Яковлевна — 727, 737-38, 745, 791, 793, 795, 919.
Панин, Виктор Никитич — 884.
Панины — 582, 595.
Пантелеев, Лонгин Федорович — 393-94.
Панчулидзев, Александр Алексеевич— 527, 653, 915-16, 923.
Паскевич, Иван Федорович — 27, 75, 251, 673, 783-84, 884.
Пассек, Вадим Васильевич — 13-16, 709-13, 715-17.
Пассек, Вячеслав Васильевич — 920.
Пассек Диомид Васильевич — 16, 18, 456, 709, 712, 920, 923.
Пассек, Евгений Васильевич — 456, 709, 920, 923.
Пассек, Людмила Васильевна — 717.
Пассек (рожд. Кучина), Татьяна Петровна — 4, 7, 8, 16, 117-18, 125, 649-50, 658, 712-13, 717, 910-13, 917, 921, 923.
Пассеки — 709, 712.
Пастернак, Борис Леонидович — 713, 810, 875.
Пастухов, Николай Иванович — 601.
Паткуль, Александр Владимирович — 885.
Пашковы — 696.
Пащенко, майор — 516.
Пеллико, Сильвио — 32.
Пензи — 430, 432-34, 436, 438-42, 445-46, 921.
Перевощиков, Дмитрий Матвеевич — 700.
Переселенков, Степан Александрович — 524-25, 920-21.
Перов, Василий Григорьевич — 171, 183.
Перовский, Лев Алексеевич — 527.
Перуджини, Пьетро — 606.
Пестель, Павел Иванович — 461, 596, 664-65, 668, 834.
Петр I — 19-20, 27, 31, 50, 69, 73-74, 76, 98, 113, 159, 169, 200, 353, 463, 525.
Петр Федорович, слуга — 699.
Петрашевский, Михаил Васильевич — 247, 460, 462, 664, 879.
Петров, Антон — 169.
Петрова-Званцева, Н. Н.— 229.
Петрово-Соловово, Евдокия Васильевна — см.: Сухово-Кобылина, Е. В.
Петрово-Соловово, Мария Михайловна — 650.
Петухов, ротмистр — 693.
Пецд, владелец аптекарского магазина — 741-42.
Печерин, Владимир Сергеевич — 27-28, 30, 456, 920, 923.
Пешкова-Толиверова, Александра Николаевна — 917.
Пиа, Феликс — 218.
Пианчиани, Луиджи — 218, 220, 222.
Пизаканне, Карло — 296, 340-41.
Пий IX — 332, 899.
Пиклер — 58.
Пикулин, Павел Лукич — 375.
Пименов, Дмитрий Иванович — 312-13.
Пиотровский, Руфин — 813-14, 829.
Пирогов, Николай Иванович — 396.
Пирс, Франклин — 241.
Писарев, Дмитрий Иванович — 412-14, 527, 540, 542-44, 549, 812.
Писемский, Алексей Феофилактович — 810-11.
Платон — 50.

Плаутин, Сергей Федорович — 670, 695-96, 698-99.
Плаутина (рожд. Огарева), Анна Платоновна — 670, 677, 680, 682, 694-96, 698, 919-23.
Плаутина, Вера Сергеевна — 919-20, 923.
Плахов, Лавр Козьмич — 855.
Погодин, Михаил Петрович —230, 542-43.
Погосский, Александр Фомич — 830-31.
Поджио, Александр Викторович—446,448.
Покровская, Вера Федоровна — 919.
Полевой, Николай Алексеевич — 13, 210.
Полежаев, Александр Иванович — 77.
Полесник, Абрам — 370.
Полодьев, прапорщик — 516.
Полонский, Вячеслав Павлович — 31.
Поль, Карл Карлович— 456.
Поль-де-Кок — 104, 112.
Попов, поручик — 516.
Попова, Ольга Ивановна — 456.
Попова, О. Н., издат.— 916.
Постегайкин, Антон, псевд. Н. П. Огарева — 762.
Постников, Николай Васильевич — см.: Роман, Карл-Арвид Иоганнович.
Потапов, Александр Львович — 420, 827, 838-39.
Потебня, Андрей Афанасьевич — 484-85, 512-14, 534-36, 538, 541, 557, 565.
Почека, Яков Иванович — 706.
Прасковья Алексеевна, няня Огарева — 662, 674, 678.
Пристли, Джозеф — 549.
Провансов — см.: Слепцов, А. А.
Протасов, Николай Александрович — 597.
Прудон, Пьер-Жозеф — 1, 4, 162, 174, 207, 230, 237-41, 266, 269, 277, 288, 290, 294, 296, 304-05, 342, 346-48, 354, 356, 358-59, 361, 364-66, 372, 376, 563, 724, 779, 792.
Прыжов, Иван Григорьевич — 492.
Пугачев, Емельян Иванович — 4, 169, 178, 203, 824.
Пульский, Ференц — 207, 251-54, 290.
Путинцев, Владимир Александрович — 117-19, 120-22, 125-32, 137-45, 146-50, 151, 157-204.
Путятин, Евфимий Васильевич — 247.
Пушкин, Александр Сергеевич — 76-77, 150, 279, 294, 340, 526, 599-601, 665, 667-68, 684, 859, 868, 906.
Пушкин, Алексей Михайлович — 673.
Пушкин, Василий Львович — 601.
Пушкина, Наталия Алексеевна — см.: Челищева, Н. А.
Пушин, Иван Иванович — 663-64.
Пыпин, Александр Николаевич — 182, 420.
Пятковский, Александр Петрович — 137, 182-83, 287, 421.

Рагозин, Виктор Иванович— 454.
Радищев, Александр Николаевич — 666.
Раевская (рожд. Бибикова), Екатерина Ивановна — 663.
Раевский, Михаил Федорович — 146, 429.
Раич, Семен Егорович — 797.
Ракитин, Петр Иванович — 852, 854, 856, 858.
Раковский, поручик — 516.
Рале, учитель — 395.
Расин, Жан-Батист — 49, 210, 693.
Рафаэль — см.: Санти, Раффаэлло.
Рахманный, псевд. Н. Н. Веревкина — 672, 684, 864.
Рачинский, Афанасий — 754, 757.
Рашель (Феликс, Элизабет) — 210-11.
Редкин, Петр Григорьевич — 27, 744-45, 772, 774.
Рей, Аристид — 436-37.
Рейссиг, Софья Карловна — см.: Корш (рожд. Рейссиг), С. К.
Рейссиг, Юлия Карловна — 727.
Рейтерн, Михаил Христофорович—415-16.
Рейхардт, Христиан-Готтлиб — 866.
Рейхель, Адольф — 284, 300-02, 304, 306-08, 313-14, 317, 324, 326-28, 330-32, 335, 339, 342, 346-50, 352, 355-56, 358-61, 363-65, 367-69, 371, 374, 376, 756-57, 761, 768.
Рейхель, Александр — 304, 312-14, 316, 322, 324-25, 359, 365.
Рейхель, Маврикий (Мориц) — 304, 331, 346-47, 359, 362-63, 368, 371-72, 377.
Рейхель (рожд. Эрн), Мария Каспаровна — 1-3, 24, 27-30, 98, 115, 118, 150, 179, 209, 212, 220, 229, 238, 241, 252, 256, 288, 291-378, 403-05, 441, 747, 775, 796, 858, 908.
Рейхель, Х.— 723, 743.
Ренан, Эрнест — 384, 410, 412.
Репин, Илья Ефимович — 642.
Решетова, Екатерина Гавриловна — см.: Левашева, Е. Г.
Ржонсницкий, польский эмигрант — 278.
Рибейроль, Шарль — 89-90, 207, 218-25, 290.
Рив, Эмилия — 207, 256-58, 290.
Рикс, доктор — 516.
Рист, Шарль — 2.
Рихтер, Иоганн-Пауль-Фридрих («Жан-Поль») — 230, 852, 858.
Ришелье, Луи-Франсуа-Арман — 673.
Робен, Поль — 436-37.
Робер, Леопольд — 754, 757.
де Роберти, Евгений Валентинович — 430-31.
Робеспьер, Максимилиан — 8, 11, 170, 647.
Родионов, Н. Л.— 424.
Родичев, мировой посредник — 424.
Розенгейм, Михаил Павлович — 888.
Рокка, Пьер — 342.
Роман, Карл-Арвид Иоганнович — 432-33, 576-80, 918, 923.
Романо, Джулио — 869.
Рославлев, Л. М.— 795.
Рославлева, Мария Львовна — см.: Огарева, М. Л.
Россель, Чарльз — 130.
Россель, Юрий Андреевич — 287.
Ростовцев, Яков Иванович — 264.
Ротчев, Александр Гаврилович — 369-70, 374.
Ротшильд Джемс — 119, 148, 302, 313, 317-18, 328, 352, 354, 359, 361, 364, 368-69, 375-78, 402-03, 406, 408-09, 422, 779-80, 783-84.
Рубенс, Петер-Пауль — 867, 869.

Руге, Арнольд — 207, 355, 359.
Рудницкая, Евгения Львовна — 703-18, 729, 845-58, 908-09, 922.
Рудольф, музыкант — 653-54.
Рунич, Екатерина [illegible] — 26.
Руп, Катерина — 439-40.
Руссо, Жан-Жак — 7, 8, 11, 50, 77, 100, 109, 174, 530, 532, 665, 667, 670, 708.
Рык, штабс-капитан — 516.
Рылеев, Кондратий Федорович — 77, 267, 269, 415-16, 461, 524, 526, 599, 664-65, 667-68, 684, 688, 858.

Сабанеева, Екатерина Алексеевна — 672.
Сабашниковы, Михаил и Сергей Васильевичи — 774, 915-17.
Савелий, староста в с. Покровском — 356, 358.
Савицкий, Иван Михайлович — 134, 433-34.
Савич, Алексей Николаевич — 712-13, 757.
Савич, поручик — 516.
Садовников, Василий Семенович — 785, 861.
Сажин, Михаил Петрович — 578.
Сазонов, Николай Иванович — 13, 16, 28, 31, 304, 313, 319-20, 328, 330, 339, 341, 380, 386, 388, 737-38, 745-46, 748, 750, 756-57, 761, 764, 768, 782-84, 787, 879-80.
Салиас де Турнемир, Андрэ — 741-42, 798, 806, 862, 864, 868-69, 872, 874, 877.
Салиас де Турнемир, Евгений Андреевич — 797, 799, 802-03, 806-08, 810-11, 815, 820-24, 826, 828-34, 838-44.
Салиас де Турнемир (рожд. Сухово-Кобылина), Елизавета Васильевна — 4, 456, 471, 648, 650, 732, 742, 744-45, 775, 777, 781, 797-844, 864, 868-69, 871-72, 874, 878, 885-86, 894, 911, 922-23.
Салиас де Турнемир, Мария Андреевна — см.: Гурко (рожд. Салиас де Турнемир), М. А.
Салиас де Турнемир, Ольга Андреевна — см.: Жукова (рожд. Салиас де Турнемир), О. А.
Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович — 98, 117, 414, 879, 908.
Сальви, Лоренцо — 877-78.
Самарин, Юрий Федорович — 2, 732, 734.
Санд, Морис — 109.
Санти, Раффаэлло — 390, 606, 863, 865-67, 869.
Сатин, Николай Михайлович — 212, 330, 349-50, 375, 386, 388, 390-91, 397, 401-03, 406, 409, 430-31, 444, 709, 714, 727, 730-32, 736, 748, 756-57, 760, 772, 774, 784, 789, 792, 794-96, 852, 858, 870, 872, 874, 877-78, 912-14, 916-20, 922-23.
Сатина (рожд. Тучкова), Елена Алексеевна — 397-98, 403, 409, 427, 431, 450, 732, 745, 781, 789, 793-97, 917, 922-23.
Сатина, Наталия Николаевна — 444, 796.
Сатины — 402, 794.
Саффи, Марк-Аврелий — 1, 218, 254, 346-47.
Свентославский, Зенон — 223-24.
Селиванов, Илья Васильевич — 741-42, 744-45, 782-83.
Семевский, Михаил Иванович — 797.
Сенакур, Этьен — 858.
Сен-Жюст, Луи — 8, 11, 86.
Сенковский, Михаил Андреевич — 680, 683.
Сенмар (Сен-Марс), Анри Куаффье де Рюзе — 671, 673.
Сен-Симон, Анри-Клод — 67, 194, 462, 562-63, 704.
Сераковский, Сигизмунд Игнатьевич — 480.
Серве, Михаил-Мигуэль — 145.
Сергеев, А. — 7-12.
Серно-Соловьевич, Александр Александрович — 134, 136, 271, 393, 418, 480, 560, 567-68, 812, 843-44.
Серно-Соловьевич, Николай Александрович — 276, 393, 480, 482, 491, 560, 827, 835, 843, 881, 890, 915-16, 923.
Сетерленд, Генри — 393-94, 431, 439-40, 442, 452-53, 655, 919, 923.
Сетерленд, Мэри — 386, 394, 431, 453, 633, 635, 653, 655, 919, 923.
Сеченов, Иван Михайлович — 123.
Симон, Жюль — 162, 174.
Скаретка, полиц. агент — 148.
Скарятин, Владимир Дмитриевич — 542.
Скворцов, Андрей Е. — 22.
Скоропадский — 2.
Скотт, Вальтер — 671.
Слепцов, Александр Александрович — 276, 409, 554-60, 804, 819, 917, 923.
Слепцов, Василий Алексеевич — 801.
Сливицкий, Петр Михайлович — 512.
Смит, Адам — 708.
Соболевский, Алексей Иванович — 302.
Солдатенков, Козьма Терентьевич — 600.
Соллогуб, Владимир Александрович — 740-41.
Соловьев, Николай Иванович — 542-49.
Соловьев, Сергей Михайлович — 212, 881.
Соммерсетский, герцог — 125.
Сомов, поручик — 516.
Сорокин, Иван Максимович — 478, 480.
Спиноза, Барух — 703.
Станевич, Онуфрий Фердинандович — 478, 480.
Станкевич, Александр Владимирович — 316, 344, 348, 350, 356, 358, 369, 371, 441, 445-46, 908.
Станкевич, Елена Константиновна — 314, 364-65, 376, 378.
Станкевичи — 292, 316, 320, 322, 352-56, 361, 366, 375-76.
Стасов, Дмитрий Васильевич — 455, 918, 923.
Стелла — см.: Савицкий, И. М.
Степанов, Алексей Иванович — 741.
Страффорд, Томас — 412.
Строганов, Александр Григорьевич — 456.
Струве, Густав — 336, 340.
Струве, Петр Бернгардович — 154.
Стюарт, А. Ф. — 393-94.
Субботин, Николай Михайлович — 803.
Суворин, Алексей Сергеевич — 801.
Суворов, Александр Аркадьевич — 827.
Сумароков, Александр Петрович — 51.

Сумароков, Сергей Павлович — 416.
Сумарокова, Зоя Сергеевна — см.: Оболенская (рожд. Сумарокова), З. С.
Сунгуров, Николай Петрович — 53, 460, 718.
Суслова, Аполлинария Прокофьевна — 805-06.
Сухово-Кобылин, Александр Васильевич — 648, 730, 732, 741, 797, 800-01, 806, 862, 864, 868-69, 871.
Сухово-Кобылин, Василий Александрович — 797, 874.
Сухово-Кобылина (в замуж. Петрово-Соловово), Евдокия Васильевна — 609, 648-52, 729, 732, 799-800, 836, 841-42, 845, 859-78, 922-23.
Сухово-Кобылина, Елизавета Васильевна — см.: Салиас де Турнемир, Е.В.
Сухово-Кобылина (рожд. Шепелева), Мария Ивановна — 648, 816, 818.
Сухово-Кобылина, Софья Васильевна — 816, 818, 844.
Сухово-Кобылины — 797-801.
Сысонин, поверенный Огарева —850, 858.
Сю, Эжен — 671.
Сю, домовлад.— 332-33.

Таландье, Альфред — 218.
Талейран, Шарль-Морис — 198, 374.
Тальберг, Сигизмунд — 764.
Тальма, Франсуа-Жорж — 210.
Тараканова, кн.— 149.
Тата — см.: Герцен, Наталья Александровна.
Таф — 284.
Телеки, Шандор — 254.
Телль, Вильгельм — 404-05, 431, 716.
Тесье дю Моте, Мари-Эдмон — 207, 288, 290, 298, 331, 333-35, 339, 342-43, 346, 348, 350, 353, 362, 367-68, 372, 374, 376, 378.
Тесье дю Моте, жена М.-Э. Тесье дю Моте — 290, 331, 333, 344, 346, 368, 374.
Тидге, Христофор-Август — 528, 530, 686.
Тилли — 78.
Тимашев, Александр Егорович — 259-60.
Тиме, М.— 416.
Тимофеев, поручик — 516.
Тихомиров, Д. П.— 910.
Тициан — 867, 869.
Токвилль, Алексис — 887.
Толстой, Дмитрий Андреевич — 657.
Толстой, Лев Николаевич — 28, 602, 629, 653-54.
Толстой, Сергей Николаевич — 653.
Толь, Карл Федорович — 78.
Тома, Альбер — 218.
Торэ, Этьен-Жозеф-Теофиль — 1.
Трепк, Пандур — 73.
Трепов, Федор Федорович — 428.
Тромпетер, Полина — 22.
Трубецкой, Николай Иванович — 827-28, 830.
Трубецкой, Сергей Петрович — 664-65, 672.
Трубецкие — 149.
Трубников — 285.
Трюбнер, Николай, изд. — 246-47, 811-14, 892, 899, 920, 923.
Тур, Евгения—см.: Салиас де Турнемир, Ел. В.
Тургенев, Александр Иванович — 361-62, 800.
Тургенев, Иван Сергеевич — 1, 106, 113, 117, 146, 150, 229, 249, 265, 368, 375, 412-14, 429, 444, 446, 448, 454, 524, 568, 581, 594, 600-01, 750, 756-57, 798-99, 801, 805-06, 813-14, 819, 830-31, 892.
Тургенев, Николай Иванович — 149-50, 195, 915, 923.
Турнейсен — 212, 756, 758, 764, 770.
Турнерелли, Эдуард — 19.
Тутакевич, штабс-капитан — 516.
Туп — см.: Герцен, Александр Александрович (Туп).
Тучков, Алексей Алексеевич — 402-03, 406, 729, 732, 734-37, 740, 743-46, 754, 756, 760, 763-64, 768-70, 773-74, 776, 778-84, 786-88, 792-95, 800, 879-80, 917, 921-23.
Тучкова, Елена Алексеевна — см.: Сатина (рожд. Тучкова), Е. А.
Тучкова (рожд. Жемчужникова), Наталья Аполлоновна — 402-03, 778-79, 917, 923.
Тучкова-Огарева, Наталья Алексеевна— 2, 115-16, 133-34, 189, 285, 288, 290, 292, 298, 320-22, 350, 365-66, 376, 378-79, 385, 397-98, 401-03, 406, 408-09, 418-21, 424-27, 433-34, 436-38, 441, 445-46, 448, 452-56, 538-39, 542, 654, 656-57, 719, 725, 732, 736, 745, 750-51, 770-71, 774, 776, 778-96, 800-01, 805, 808, 810, 813-14, 839-44, 899, 912-13, 916-18, 920, 922-23.
Тучковы — 731-32, 736, 744, 747, 771, 777, 800-01.
Тхоржевский, Станислав — 134, 381, 392, 398-400, 402-04, 408-10, 415-16, 418, 420, 422, 425, 427-30, 432-34, 436-38, 441-42, 444, 448-50, 452-53.
Тэн, Ипполит — 384, 426.
Тютчев, Николай Николаевич —249, 783.
Тютчев, Федор Иванович — 654.

Углов, А.— 284-85.
Урбен, книготорговец — 212.
Усов, Степан Александрович — 271, 393, 823-24, 833-36.
Устинов, Александр Васильевич — 413.
Утин, Евгений Исаакович — 804-05, 840-42.
Утин, Николай Исаакович — 271-72, 393-94, 558, 840, 921, 923.
Утина (рожд. Корсини), Наталия Иеронимовна — 393-94.

Фажон, Этьен — 90.
Фази, Джемс — 1, 138, 140-42, 144, 336, 340, 342, 344, 393, 749-50, 920, 923.
Федоров, Степан Николаевич — 478, 480.
Фейербах, Людвиг — 802, 806.
Феликс, участник «Экспедиции Лапинского» — 456, 921, 923.
Феличе, Терезина — см.: Герцен, Терезина.
Феоктистов, Евгений Михайлович — 797-98, 801-04, 806.

Филиппович Владимир Иванович — 733
Фигнер, Александр Самойлович — 665, 688, 692.
Филарет, митрополит — 668, 808.
Филарет Захарович — 556.
Филиппеус, К. Ф. — 580.
Финкель, М. — 456, 920.
Фиркс, Федор Иванович — см.: Шедо-Ферроти.
Фихте, Иоганн-Готлиб — 11, 703, 710.
Флагге, танцмейстер — 698.
Фогт, Адольф — 285, 396, 416, 419-20.
Фогт, Густав — 456, 921, 923.
Фогт, Карл — 229, 253-54, 287, 296, 340, 342-44, 346, 348-50, 367, 392-93, 396.
Фомин, Александр Григорьевич — 915.
Фомм, Мария — 353, 367-68, 372, 374.
Франк, А., парижский книгопродавец — 304-05, 355-56, 358, 361.
Франк, Цезарь — 395-96.
Франклин, Вениамин — 96-97, 100, 108.
Франсуа, слуга Герценов — 339, 341, 367-68.
Франц-Иосиф, имп.— 325.
Фрей, Елизавета — 800.
Фрейлигрет, Фердинанд — 1.
Фрейлих, швейцарский педагог — 395-96.
Фридрих III, имп.— 426-27.
Фрикен, Алексей Федорович — 445-46.
Фролов, Николай Григорьевич — 648, 652, 748, 750, 761, 764, 789, 793, 919, 923.
Фролова, Аксинья Ивановна — 326.
Фрязинова, Екатерина Степановна — 4.
Фурье, Шарль — 194, 201, 462.
Фуше, Жозеф — 104, 112.

Халютин, поручик — 516.
Ханыков, Николай Владимирович — 454.
Херасков, Михаил Матвеевич — 51.
Хмелинский, Игнатий — 825-26.
Хованская (рожд. Яковлева), Мария Алексеевна — 365.
Ховрина, Мария Дмитриевна — 361-62.
Хоецкая, Мария — 320, 372, 374, 736-78.
Хоецкий, Карл-Эдмунд — 207, 280-81, 320, 324, 342, 346-47, 350, 359, 365-68, 370-72, 374-78.
Холмогоров, Фирс, псевд. Н. П. Огарева — 585, 595-96.

Цабель, Луиза — 304-05, 307-09, 311-13, 314, 316.
Цверцякевич, Иосиф — 536-37.
Ценкер и Колли, банкиры — 745.
Цицерон, Марк-Туллий — 32.
Цугаловский, поручик — 515.

Ч., криптоним Б. Н. Чичерина — 248.
Чаадаев, Петр Яковлевич — 77, 362, 857.
Чамберт — 128.
Чарторыйский, Адам — 233, 804.
Чарторыйский, Владислав — 486, 804, 814.
Чарторыйские — 233.
Челищев, Александр Александрович — 673.
Челищев, Александр Иванович — 666, 672.
Челищев, Н. А.— 673.
Челищев, Петр Иванович — 666.
Челищева (рожд. Огарева), Мария Николаевна — 666-67, 672-73, 688.
Челищева (рожд. Пушкина), Наталия Алексеевна — 673.
Челищевы — 666, 673.
Черкасский, Владимир Александрович — 839.
Черкесов, Александр Александрович — 285, 287, 393, 427-28.
Черкесова (рожд. Ивашева), Вера Васильевна — 427-28.
Чернецкий, Людвиг — 134, 189, 285-86, 381, 394, 403, 408, 414-15, 424-25, 428-29, 431, 446, 454, 566.
Чернецов, Григорий Григорьевич — 615.
Чернецов, Никанор Григорьевич — 789.
Чернобаев, В.— 679, 729, 747, 749.
Чернов, Николай Степанович — 759, 761, 763.
Чернышев, Алексей Филиппович — 255, 849.
Чернышев, Захар Григорьевич — 425.
Чернышева, Анна Иродионовна — 425.
Чернышевы — 169, 178.
Чернышевская, Нина Михайловна — 491.
Чернышевская, Ольга Сократовна — 460, 475.
Чернышевский, Николай Гаврилович — 3, 120-22, 154, 271, 275, 381-82, 412-14, 460-61, 469, 472-78, 480-82, 486-91, 494, 523, 542, 560, 564, 771, 799-800, 803, 808, 812, 827, 840, 886-93, 896, 898, 915, 919.
Черняк, Яков Захарович — 133-36, 151, 157-204, 456, 489-90, 523-658, 672, 771, 797, 800, 859-78, 910-11, 916, 918-22.
Чертов, поручик — 516.
Чесноков, Дмитрий Иванович — 151-56.
Чиркин, штабс-капитан — 516.
Чихачев Андрей Иванович — 769, 771.
Чичерин, Борис Николаевич — 1, 2, 207, 248-50, 554, 593-94, 600-01, 774, 890.
Чортов, конспир. кличка И. Г. Прыжова — 492.

Шад — 686.
Шаллер, Юлиан — 342, 344, 348-49.
Шварц, Бронислав — 825, 828.
Швейцер, Жан-Батист — 238.
Шевченко, Тарас Григорьевич — 482, 489.
Шевырев, Степан Петрович — 543, 866.
Шедо-Ферроти, Д. К., псевд. Федора Ивановича Фиркса — 148, 150, 207, 261-65, 450, 837-38.
Шекспир, Вильям — 12, 126, 129, 363, 388, 857.
Шелгунов, Николай Васильевич — 475, 480, 482, 486, 491, 560.
Шелгунова, Людмила Петровна — 278, 393-94.
Шеллинг, Фридрих-Вильгельм-Иосиф — 11, 703, 710, 797.
Шемановский, Михаил Иванович — 479.
Шен — 130.
Шенк, А., художник—41, 47. 53, 59, 65, 71, 75.

Шеню — 98, 104, 112.
Шепелева, Мария Ивановна — см.: Сухово-Кобылина, М. И.
Шереметева, Ольга Геннадиевна — 456.
Шестаков, Петр Дмитриевич — 802.
Шестов, Лев — 653.
Шефтсбюри, Антони-Ашли-Купер — 128.
Шиллер, Фридрих — 8, 11, 12, 330, 384, 388, 391, 528, 530, 532, 665-68, 686-87, 692-94, 857, 859, 862, 864-65, 876.
Шилов, Алексей Алексеевич — 491.
Шиф, Гуго — 436-37, 452.
Шиф, Мориц — 433-37, 439-41, 444-46.
Шишманов, И.— 2.
Шкроб, Сергей Иванович — 538, 541.
Шнепф — 98, 104, 112.
Шомбург, банк. служащий — 119, 302, 314, 318, 328, 342, 352, 354, 356, 358-60, 362, 367.
Шор, почт-директор — 580.
Шпильман, Иоганн — 304-06, 308-12, 314, 316, 321, 333, 358.
Шредер, книгопродавец — 749.
Штром, Иван Васильевич — 255.
Штраубе, Е., книгопрод.— 825-26.
Штраух, А.— 491.
Шувалов, Иван Иванович — 49, 148, 884.
Шурц, Карл — 1.

Щеголев, Павел Елисеевич — 672.
Щедрин, Александр Аполлонович —255.
Щепкин, Михаил Семенович — 3, 207-08, 210-12, 375, 746-47, 790.
Щепкин, Николай Михайлович — 212, 456.
Щепкин, Павел Степанович — 700.
Щепкина, Александра Владимировна — 365, 456.
Щербаков, Алексей Яковлевич — 381, 403-04.
Щербатов — 673.
Щербина, Николай Федорович — 654.

Эдельсон, Евгений Николаевич — 542.
Эдмон, Шарль — 288.
Элпидин, Михаил Константинович —410, 920, 923.
Эльсберг, Яков Ефимович — 11, 89-94, 95-98, 261-65, 382, 489.
Эльфинстон, Джон — 57.
Энгельс, Фридрих —151, 213-14, 218, 228, 230-31, 238, 244, 251, 281, 286, 378, 428, 432.
Энгельсон, Александра Христофоровна — 328, 331, 367-68.
Энгельсон, Владимир Аристович — 318, 320, 324-26, 330-31, 334, 339, 342, 348-49, 367-68, 370, 372, 375.
Эрн, Гавриил Каспарович — 850, 858.
Эрн, Мария Каспаровна — см.: Рейхель, М. К.
Эфрос, Наталья Давыдовна — 94, 224-25, 237-41, 288, 290, 456.
Эффиа, Антуан — 673.

Юшанов, Алексей Лукич — 149.
Юшков, шталмейстер — 687-88.

Яворский, Стефан — 51.
Яганов, полк. казначей — 515.
Языков, Михаил Александрович — 208, 212, 782-84, 786.
Языков, Николай Михайлович — 84.
Якоби, Павел Иванович — 271, 393, 427-28.
Яковлев, Алексей Александрович — 372.
Яковлев, Иван Алексеевич — 7, 117-18, 328, 342, 358, 370, 699, 705-06, 710, 727, 730.
Яковлев, Иван Яковлевич — 737, 741.
Яковлев, И. — 13-20.
Яковлев, Петр — 678.
Яковлев, поручик — 515.
Яковлева, Мария Алексеевна — см.: Хованская, М. А.
Яковлевы — 668.
Якубович, Александр Иванович — 664, 667, 692.
Якушкин, Иван Дмитриевич — 857, 889.
Якушкин, Павел Иванович — 276-77.

Biffi, врач — 434, 436, 438.
Biggs, m-me — 336, 340, 353.
Carr, E.— 294.
Dillon, François — см.: Гауг, Э.
Douis, домовлад.— 322, 324.
Ducas — 680.
Fasbinder — см.: Васбиндер.
Fontaine, Léon — 830.
Gawronski, Fr. Rawita — 233.
Hachette, изд.— 430, 432.
Hetzel, изд.— 430, 432.
Horsetter, Анна Егоровна — 663-67, 681-82, 684, 688, 692, 694-96.
I<skander>, псевд. А. И. Герцена — 225.
Lacroix, изд.— 430, 432.
La Vallière, Françoise-Louise de—699.
Marlet, H.—89, 92.
Michel, гувернантка Тучковых — 777, 781.
Ortlieb, Федосья Христьяновна — 677, 679, 682.
Pacelli, музыкант — 333.
Pacelli, жена музыканта — 333.
Piorry, доктор — 212.
Sarto, Andrea, del — 606.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ . . . . . .

ГЕРЦЕН

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА. СТАТЬИ. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

РАННИЙ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ НАБРОСОК
Публикация А. Сергеева 7

ЗАТЕРЯННАЯ СТАТЬЯ О КАЗАНИ
Публикация И. Яковлева 13

В АЛЬБОМ В. А. ВИТБЕРГ
Публикация Л. Гинзбург 21

У ИСТОКОВ «БЫЛОГО И ДУМ»
Публикация Ю. Красовского 23

РАННЯЯ РЕДАКЦИЯ ПОВЕСТИ «ДОЛГ ПРЕЖДЕ ВСЕГО»
Публикация Ю. Красовского 27

САТИРА-ПАМФЛЕТ ПРОТИВ КОСМОПОЛИТИЗМА
Публикация Я. Эльсберга 89

О БУРЖУАЗНОЙ ЕВРОПЕ
СТАТЬЯ ИЗ НЕЗАВЕРШЕННОГО ЦИКЛА СЕРЕДИНЫ 1850-х ГОДОВ.
Предисловие Я. Эльсберга
Публикация Л. Ланского 95

ДВЕ ЗАПИСИ В ДНЕВНИКЕ
Публикация В. Александрова 115

ДВА НЕИЗВЕСТНЫХ ОТРЫВКА ИЗ «БЫЛОГО И ДУМ»
Публикация В. Путинцева 117

НАБРОСОК ОТВЕТА НА СТАТЬЮ ЧЕРНЫШЕВСКОГО
Публикация В. Путинцева 120

ЗАПИСЬ О СТАРОСТИ И СМЕРТИ
Публикация Х. Коштояна 123

НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ГЛАВА ИЗ «CAMICIA ROSSA»
Публикация В. Путинцева 125

ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛЬСКИМ ДЕМОКРАТАМ
Публикация Я. Черняка 133

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА ИЗ ЦИКЛА «СКУКИ РАДИ»
АЛЬПИЙСКИЕ ВИДЫ. — ЖЕНЕВА
Публикация В. Путинцева 137

ОТВЕТ «БИРЖЕВЫМ ВЕДОМОСТЯМ»
Публикация В. Путинцева 146

ГЕРЦЕН И ЕГО ПИСЬМА «К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ»
Предисловие Д. Чеснокова
Публикация В. Путинцева и Я. Черняка 151

ПОСЛЕДНЯЯ АВТОРСКАЯ РЕДАКЦИЯ ПИСЕМ «К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ»
Основной текст 157
Варианты 173

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ТЕКСТА ПИСЕМ «К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ»
Статья Герцена «Между старичками» 181
Ответы Огарева «Старому другу» 188

ПИСЬМА ГЕРЦЕНА

ПИСЬМА К РАЗНЫМ ЛИЦАМ 1847—1869 гг.

М. С. ЩЕПКИНУ
Публикация Л. Ланского 207

ПЕРИКЛУ МАЦЦОЛЕНИ
Публикация Я. Линкова 213

РЕДАКТОРУ «KÖLNISCHE ZEITUNG»
Публикация Л. Мандельштам 215

ШАРЛЮ РИБЕЙРОЛЮ
Публикация Я. Линкова 218

СТАНИСЛАВУ ВОРЦЕЛЮ
Публикация И. Белявской 226

ТОМАСУ КАРЛЕЙЛЮ
Публикация М. Алексеева 229

НЕИЗВЕСТНОМУ ПОЛЬСКОМУ ЭМИГРАНТУ
Публикация И. Белявской 233

ПЬЕРУ-ЖОЗЕФУ ПРУДОНУ
Публикация Натальи Эфрос 237

ГЕНРИ-ЧАРЛЬЗУ КЭРИ (?)
Публикация Л. Гинзбург 242

Б. Н. ЧИЧЕРИНУ
Публикация Л. Гинзбург 248

ФЕРЕНЦУ ПУЛЬСКОМУ
Публикация Б. Козьмина 251

Г. Я. БУДКОВСКОМУ
Публикация В. Кулешова 255

ЭМИЛИИ РИВ
Публикация Л. Ланского 256

ИЗДАТЕЛЮ ГАЗЕТЫ «DAILY NEWS»
Публикация Л. Мандельштам 259

Д. К. ШЕДО-ФЕРРОТИ (Ф. И. ФИРКСУ)
Публикация Я. Эльсберга 261

НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ
Публикация В. Александрова 265

НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ
Публикация Л. Ланского 266

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ «МОЛОДОЙ ЭМИГРАЦИИ»
Публикация Б. Козьмина 271

ОЛЬГЕ ГЕРЦЕН
Публикация Н. Анциферова 279

КАРЛУ-ЭДМУНДУ ХОЕЦКОМУ
Публикация И. Белявской 280

ГОТФРИДУ КИНКЕЛЮ
Публикация И. Белявской 281

КАРЛУ ГИСКРА
Публикация А. Углова 284

НЕИЗВЕСТНОЙ
Публикация Л. Гинзбург 285

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ»
Публикация В. Александрова 287

М.-Э. ТЕСЬЕ ДЮ МОТЭ
Публикация Натальи Эфрос 288

ПИСЬМА к М. К. РЕЙХЕЛЬ 1850—1852 гг.
Публикация Н. Анциферова 291

ПИСЬМА к Н. П. ОГАРЕВУ 1864—1870 гг.
Публикация Ю. Красовского 379

НЕУЧТЕННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПИСЕМ ГЕРЦЕНА
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Составили Л. и Р. Мандельштам 455

ОГАРЕВ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ. ПУБЛИЦИСТИКА. АГИТАЦИОННЫЕ И ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О РЕВОЛЮЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ (1859—1861 гг.)

Статья и публикация М. Нечкиной 459

ПЯТЬ РЕВОЛЮЦИОННО-КОНСПИРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИЗ БУМАГ ОГАРЕВА 493

1. <ЦЕЛЬ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА> 494

2. <ЦЕЛЬ РУССКОГО ДВИЖЕНИЯ> 501

3. <ЗАГРАНИЧНЫЕ ОБЩЕСТВА> 502

4. <СПИСОК ОФИЦЕРОВ-ЧЛЕНОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ> 515

5. <ТРИ ВОПРОСА> 518

НЕИЗДАННЫЕ И НЕСОБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОГАРЕВА

Вступительная статья, публикация и комментарии Я. Черняка 523

ИЗ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 527

АГИТАЦИОННЫЕ И САТИРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 581

ЛИРИКА 602

«МОЯ ИСПОВЕДЬ» ОГАРЕВА

Статья и публикация М. Нечкиной 659

ПИСЬМА ОГАРЕВА

ПИСЬМА ОГАРЕВА К ГЕРЦЕНУ

I. ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА (1832—1833)

Публикация Е. Рудницкой 703

II. «АКШЕНСКИЙ ПЕРИОД» (1846—1851)

Публикация Ю. Красовского 719

ПИСЬМА ОГАРЕВА к Е. В. САЛИАС ДЕ ТУРНЕМИР

Публикация Б. Козьмина 797

ПИСЬМА К РАЗНЫМ ЛИЦАМ 1839—1869 гг.

ИЗ ПИСЕМ К М. Л. ОГАРЕВОЙ

Публикация Е. Рудницкой 845

ПИСЬМА К Евд. В. СУХОВО-КОБЫЛИНОЙ

Публикация Я. Черняка 859

Н. А. МИЛЮТИНУ

Публикация Н. Захарьина 879

Н. В. АЛЬБЕРТИНИ

Публикация Б. Козьмина 881

ДЖ. СТЮАРТУ МИЛЛЮ
Публикация Н. Захарьина 892

ДЖУЗЕППЕ МАЦЦИНИ
Публикация Н. Захарьина 899

РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «GIOVENTÙ»
Публикация Л. Ланского 906

К НЕИЗВЕСТНОМУ
Публикация Е. Рудницкой 908

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИБЛИОГРАФИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ ОГАРЕВА
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Составили Л. и Р. Мандельштам 910

Именной указатель
Составил Ю. Масанов 924

В ТОМЕ 255 ИЛЛЮСТРАЦИЙ И 7 ВКЛЕЕК

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии Наук СССР

•

Редакторы издательства *Н. И. Игнатова* и *А. Т. Лифшиц*
Технический редактор *Г. Н. Шевченко*
Корректор *В. Г. Богословский*

РИСО. АН СССР № 5102. Т-07762. Изд. № 3556.
Тип заказ № 608. Подп. к печ. 12/XI 1952 г.
Формат бум. 70×108$^{1}/_{16}$. Бум. л. 29,5+7 вклеек
Печ. л. 80,83. Уч.-изд. 88+0,6 л. вклеек.
Тираж 9000

Цена по прейскуранту 1952 г. 55 руб. 25 коп.

2-я тип. Издательства Академии Наук СССР
Москва, Шубинский пер., д. 10